

ЖАН-ЖАК  
РУССО  
•  
ТРАКТАТЫ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



**JEAN-JACQUES  
ROUSSEAU**

**TRAITÉS  
ÉCRITS POLITIQUES**



# Ж А Н - Ж А К Р У С С О

## ТРАКТАТЫ

Издание подготовили

*В. С. АЛЕКСЕЕВ-ПОПОВ, Ю. М. ЛОТМАН,  
В. А. ПОЛТОРАЦКИЙ, А. Д. ХАЮТИН*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1969

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ  
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»:**

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов,  
Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,  
В. В. Виноградов,  
И. Н. Голенищев-Кутузов,  
А. А. Елистратова, В. М. Жирмунский,  
Н. И. Конрад (председатель),  
Д. С. Лихачев, Д. В. Ознобишин (ученый секр.),  
Ю. Г. Оксман, Ф. А. Петровский,  
А. М. Сажонов, С. Д. Сказкин, С. Л. Утченко*

**Ответственный редактор  
А. З. МАНФРЕД**

## О Т Р Е Д А К Ц И И

Несмотря на большую популярность социально-политических произведений Жан-Жака Руссо в России, на их плодотворное воздействие на нашу передовую общественную мысль, переводы многих из них относятся еще к концу XVIII в., а некоторые вообще никогда не переводились.

Мысль об издании главных социально-политических произведений Руссо в серии «Литературные памятники» принадлежала академику В. П. Волгину, принявшему на первой стадии этой большой работы непосредственное участие в ней. Осуществлялась она во время нового подъема интереса к творчеству философа в связи с широко отмеченным в 1962 г. 250-летием со дня его рождения.

Составители стремились к тому, чтобы данное издание заключало в себе все главные социально-политические сочинения Руссо, представляющие наибольший теоретический интерес. Так как объем книги не позволял поместить все их полностью, то некоторые представлены лишь частично («Письма с Горы», «Соображения об образе Правления в Польше») и вошли в раздел «Дополнений», содержащий и фрагменты незавершенных сочинений Руссо на социально-политические и исторические темы. Сюда же вошли впервые публикуемые Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС конспективные выписки К. Маркса из «Общественного договора» Руссо, относящиеся к 1843 г.

Перевод всех включенных в данное издание произведений осуществлен заново, а частично — впервые (первый набросок «Общественного договора», «Письма с Горы», «Проект конституции для Корсики», фрагменты социально-политических сочинений).

Авторы переводов стремились не только наиболее точно и полно передать содержание мысли Руссо, но и сохранить многообразие средств ее литературного выражения, особенности его стиля.

Особое внимание было уделено соблюдению единого подхода к воспроизведению сложной, далеко еще не устоявшейся терминологии трактатов Руссо.

Целям соблюдения стиля эпохи служит сохранение свойственного традиции XVIII в. и индивидуальной манере Руссо применения им заглавных букв в написании ряда понятий-терминов при определенном оттенке их зна-

чения (Государство, Правление, Закон, Суверен и др.), равно как и сохранение курсива, служащего для выделения определенной части текста, а также выполняющего роль кавычек (например, в названиях упоминаемых им книг).

В основу переводов было положено остающееся лучшим, сделанное Ч. Воганом на основании изучения рукописей и первых публикаций произведений Руссо издание его «Политических сочинений» (J.-J. Rousseau. Political writings, edited from the original manuscripts and the authentic editions with introductions and notes by C. E. Vaughan, v. I, II. Cambridge, 1915), а также третий том «Собрания сочинений» Руссо, осуществляемого в наши дни во Франции в серии «Библиотека Плеяды» под руководством Б. Ганьебена, М. Раймона и при участии многих видных специалистов — авторов обширных и ценных комментариев (J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III. Contrat social et écrits politiques. Paris, «Bibliothèque Pléiade», 1964).

Все примечания с нумерацией римскими цифрами принадлежат Руссо, как подстрочные, так и расположенные за текстом «Рассуждения о происхождении неравенства». Знаком \* отмечены подстрочные переводы иноязычных текстов, сделанные А. Д. Хаятиным. Примечания составителей к тексту произведений Руссо имеют нумерацию арабскими цифрами и помещены в последнем разделе издания («Приложения»). Ссылки на сочинения Руссо в статьях и примечаниях, там где это не оговорено особо, даются (в скобках) на страницы настоящего издания.

Редакция выражает признательность дирекции Шотландской Национальной галереи (Эдинбург), любезно предоставившей для данного издания репродукцию с хранящегося в ней портрета Руссо работы художника А. Рамзей, а также редактору «Собрания сочинений» Руссо, издаваемого «Библиотекой Плеяды», декану филологического факультета Женевского университета профессору Б. Ганьебену и б. директору Библиотеки г. Невшатель Клер Росселе за ценные текстологические консультации.

# ТРАҚТАТЫ





*ЖАН-ЖАК РУССО*

*Портрет работы А. Рамзеей. Масло, 1765 г.*

Национальная Шотландская галерея. Эдинбург.

РАССУЖДЕНИЕ,  
ПОЛУЧИВШЕЕ ПРЕМИЮ  
ДИЖОНСКОЙ АКАДЕМИИ В 1750 ГОДУ  
ПО ВОПРОСУ,  
ПРЕДЛОЖЕННОМУ ЭТОЮ ЖЕ АКАДЕМИЕЙ:  
«СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ  
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ  
ОЧИЩЕНИЮ ПРАВОВ?»<sup>1</sup>



Barbarus hic ego sum, quia non  
intelligor illis

Ovid[ius]\*.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ<sup>2</sup>

*Что такое известность? Вот злосчастный труд, коему я обязан моею известностью. Конечно же, это сочинение, которое принесло мне премию и создало мне имя, в лучшем случае — посредственно и, смею добавить, оно — одно из самых незначительных во всем этом издании<sup>3</sup>. Какой бездны терзаний совсем не знал бы автор, если бы это первое его сочинение было принято лишь так, как оно того заслуживало. Однако должно же было случиться, чтобы благосклонность, тогда еще неоправданная, навлекла на меня постепенно строгости, которые еще более несправедливы<sup>4</sup>.*

ПРЕДИСЛОВИЕ<sup>5</sup>

*Вот один из самых великих и прекрасных вопросов, которые когда-либо поднимались. В этом Рассуждении речь идет вовсе не о тех метафизических тонкостях, которые заполнили все области литературы и от которых не*

---

\* Я здесь чужеземец, ибо никто меня не понимает. Овидий<sup>6</sup> (лат.).— Тристин, V. Элегия X, стих 37.

всегда свободны и академические программы, но об одной из тех истин, от коих зависит счастье человеческого рода.

Предвижу, что мне нелегко простят то, что я осмелился предложить свое решение в этом споре. Прямо нападая на то, чем люди нынче восхищаются, я могу ожидать лишь всеобщего осуждения; и даже если удостоился одобрения нескольких Мудрецов<sup>7</sup>, не могу все же рассчитывать на одобрение Публики; и потому выбор мой сделан: я не надеюсь угодить ни Остроумцам, ни Кумирам моды. Во все времена будут люди, которым суждено подчиняться воззрениям своего века, своей Страны и своего Общества. Иной корчит из себя сегодня Вольнодумца и Философа; по той же причине он обязательно был бы фанатиком во времена Лиги<sup>8</sup>. Совсем не для таких Читателей надо писать, если хочешь прожить долее своего века.

Еще одно слово, и я кончаю. Мало рассчитывая на ту честь, какая была мне оказана, я до такой степени переработал и расширил это Рассуждение после того, как отослал его, что сделал из него в некотором роде новое произведение<sup>9</sup>. Теперь же я счел себя обязанным восстановить сей труд в том виде, в каком он был отмечен премией. Я лишь вставил в него несколько примечаний и сохранил два добавления, которые легко увидеть<sup>10</sup> и которые, быть может, не получили бы одобрения Академии. Я считал, что справедливость, уважение и признательность требуют от меня, чтобы я сделал это предупреждение.

### РАССУЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

#### СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ ОЧИЩЕНИЮ ПРАВОВ?

*Decipimur specie recti\*.*

Возрождение Наук и Искусств очищению или же порче Правов<sup>11</sup> способствовало? Вот что предстоит нам рассмотреть. Чью сторону должен я принять в этом вопросе? Ту, господа, которая подобает порядочному человеку, если он ничего не знает, но не теряет из-за этого ни в какой мере уважения к самому себе.

Трудно будет,— и я это чувствую,— отстаивать то, что предстоит мне сказать, в том Суде, перед которым я выступаю. Как решиться хулить Науки перед одним из ученейших собраний в Европе, восхвалять невежество перед знаменитою Академией<sup>12</sup> и примирить презрение к научным за-

\* Мы, честные люди, обманываемся видимостью правды (лат.)<sup>13</sup>. Г о р а ц и й. Искусство поэзии, 25.

нятиям с уважением к истинным Ученым? Я видел все эти противоречия, но они меня не остановили. Не Науку я оскорбляю,— сказал я самому себе,— Добродетель защищаю я перед людьми добродетельными. Честность для людей порядочных еще дороже, чем ученость для ученых. Чего же мне страшиться? Просвещенности ли собрания, меня слушающего? Да, я страшусь, признаюсь в этом; но за построение моей речи я опасаюсь, а не за мнение оратора. Справедливые Властители всегда без колебаний сами признавали себя неправыми, когда в спорах возникало сомнение; а для того, кто отстаивает правое дело, положение всего благоприятнее, когда ему приходится защищаться перед честным и просвещенным противником, судьбою в собственном своем деле.

К этому соображению, меня ободряющему, присоединяется еще и другое, заставляющее меня решиться: я принял сообразно природному моему разумению сторону истины, и чего бы я ни добился, одна награда все же не уйдет от меня — я найду ее в глубине моего сердца.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сколь величественно и прекрасно зрелище, когда видим мы, как человек в некотором роде выходит из небытия при помощи собственных своих усилий; как рассеивает он светом своего разума мрак <sup>14</sup>, коим окутала его природа, как поднимается он над самим собою, как возносится он в своих помыслах до небесных пределов; как проходит он гигантскими шагами, подобно солиду, по обширным пространствам Вселенной, и — что важнее еще и труднее, — как он углубляется в самого себя, чтобы в себе самом изучить человека и познать его природу, его обязанности и его судьбу. И все эти чудеса вновь совершились на памяти недавних поколений <sup>15</sup>.

Европа уже опять впадала в варварство первых веков <sup>16</sup>. Народы этой части света, ныне столь просвещенные, жили несколько столетий тому назад в состоянии худшем, чем невежество. Не знаю, какой наукоподобный жаргон, еще более презренный, чем само невежество <sup>17</sup>, присвоил себе право называться наукой и поставил возвращению настоящего знания почти неодолимые препятствия. Нужен был переворот, чтобы опять привести людей к здравому смыслу; и он пришел, наконец, с той стороны, с которой его меньше всего можно было бы ждать. Тупой мусульманин <sup>18</sup>, этот извечный гонитель литературы, — вот кто возродил ее среди нас. С падением трона Константина <sup>19</sup> обломки древней Греции были перенесены в Италию. Франция в свою очередь обогатилась от этих драгоценных останков. Вскоре за литературою последовали науки: к искусству писать присоединилось искусство мыслить: последовательность эта кажется странной, и все же она, быть

может, более, чем естественна: и людям стало открываться главное преимущество общения с музами, — преимущество это делает людей более общительными, так как оно внушает им при помощи произведений, достойных общего одобрения, желание друг другу понравиться.

У духа есть свои потребности, как и у тела. Эти последние образуют самые основания общества; первые же придают ему приятность. В то время как Правительство и Законы обеспечивают безопасность и благополучие объединившихся людей, Науки, Литература и Искусства — менее деспотичные, но, быть может, более могущественные, — покрывают гирляндами цветов железные цепи<sup>20</sup>, коим опутаны эти люди; подавляют в них чувство той исконной свободы, для которой они, казалось бы, рождены; заставляют их любить свое рабское состояние и превращают их в то, что называется цивилизованными народами. Необходимость воздвигла троны; Науки и Искусства их укрепили. Сильные мира сего, возлюбите дарования и покровительствуйте тем, кто их развивает<sup>1</sup>.

Цивилизованные народы, развивайте дарования: счастливые рабы, вы им обязаны этим нежным и тонким вкусом, которым вы кичитесь, этой кротостью характера и благоразумною сдержанностью нравов, которые делают общение между вами столь тесным и легким; одним словом, дарования дают вам видимость всех добродетелей, хоть вы и не обладаете из них ни одною.

Вот такого рода обходительностью, тем более приятною, чем менее она старается себя показать, отличались некогда Афины и Рим в столь превозносимые дни их величия и блеска; безусловно, благодаря этой же именно обходительности и наш век, и наша Нация переживут все времена и все народы. Философский тон без педантизма, естественные и все же предупредительные манеры, равно далекие как от германской грубости, так и от итальянского фиглярства, — вот плоды вкуса, приобретенного основательными занятиями и усовершенствованного в светском общении.

Как было бы приятно жить среди нас<sup>21</sup>, если бы внешность всегда выражала подлинные душевные склонности, если бы благопристойность была добродетелью, если бы наши возвышенные моральные афоризмы служили нам в самом деле правилами поведения, если бы настоящая философия была неотделима от звания философа! Но столь многие качества слишком редко

<sup>1</sup> Государи всегда рады видеть, как среди их подданных распространяется вкус к приятным искусствам и к излишествам, если это не влечет за собою вывоза денег; ибо, помимо того, что таким путем они воспитывают в подданных душевное убожество, столь присущее рабству, они еще очень хорошо знают, что все потребности, которые теперь появляются у народа, суть цепи, которые он сам на себя возлагает. Александр, желая удержать ихтиофагов в зависимом от него положении<sup>22</sup>, принудил их отказаться от рыбной ловли и питаться теми же продуктами, что и другие народы; но дикарей Америки, которые ходят совершенно нагими и живут лишь тем, что им приносит охота, так и не удалось покорить; в самом деле, какое ярмо можно наложить на людей, которым ничего не нужно?

оказываются вместе, и добродетель едва ли шествует с такою пышною свитой. Богатство наряда может говорить нам о зажиточности человека, а его изящество — о том, что это человек со вкусом, но здоровый и крепкий человек узнается по другим приметам: под деревенской одеждою землешца, а не под шитым золотым нарядом придворного, — вот где окажется сильное и крепкое тело. Наряды не менее чужды добродетели, которая есть сила и крепость души. Добродетельный человек — это атлет, который находит удовольствие в том, чтобы сражаться нагим; он презирает все эти ничтожные украшения, которые помешали бы ему проявить свою силу и большая часть которых была изобретена лишь для того, чтобы скрыть какое-нибудь уродство.

До того, как искусство обтесало наши манеры и научило наши страсти говорить готовым языком, нравы у нас были грубые и простые, но естественные, и различие в поведении с первого взгляда говорило о различии характеров. Человеческая природа, в сущности, не была лучшею, но люди видели свою безопасность в легкости, с какою они понимали друг друга, и это преимущество, ценности которого мы уже не чувствуем, избавляло их от многих пороков.

Ныне, когда более хитроумные ухищрения и более тонкий вкус свели искусство нравиться к определенным принципам, в наших нравах воцарилось низкое обманчивое однообразие, и все умы кажутся отлитыми в одной и той же форме: вежливость без конца чего-то требует, благопристойность приказывает, мы без конца следуем обычаям и никогда — собственному своему разуму. Люди уже не решаются казаться тем, что они есть; и при таком постоянном принуждении эти люди, составляющие стадо, именуемое обществом, поставленные в одинаковые условия, будут все делать то же самое, если только более могущественные причины их от этого не отвратят. Никогда не знаешь как следует, с кем имеешь дело: для того, чтобы узнать своего друга, нужно таким образом ждать крупных событий, т. е. ждать, когда на это уже нет больше времени, так как именно ради этих событий и было бы важно узнать, кто твой друг.

Какая вереница пороков тянется за этою неуверенностью. Нет больше ни искренней дружбы, ни настоящего уважения, ни обоснованного доверия. Подозрения, недоверие, страхи, холодность, сдержанность, ненависть постоянно скрываются под этим неизменным и коварным обличем вежливости, под этою столь хваленою благовоспитанностью, которой мы обязаны просвещенности нашего века. Никто уже не станет поминать всуе имя Владыки вселенной, но его оскорбляют богохульством, и это не оскорбляет наш слух. Люди уже не превозносят свои собственные заслуги, но они умаляют заслуги других людей. Никто уже не станет грубо оскорблять своего врага, но его умеют ловко оклеветать. Национальная вражда угасает, но вместе с нею угасает и любовь к Отечеству. Невежество, достойное презрения, заменяется

опасным пирронизмом<sup>23</sup>. Появляются недозволенные излишества, бесчестные пороки; но иные из пороков и излишеств награждаются именем добродетелей; нужно обладать ими или притворяться, что ими обладаешь. Пусть кто угодно превозносит воздержанность мудрецов нашего времени; я же вижу в этом лишь утонченную развращенность, столь же мало достойную моей похвалы, как их искусственная простота<sup>11</sup>.

Вот какой чистоты достигли наши нравы; вот как стали мы добродетельными людьми. Литература, науки и искусства вправе требовать, чтобы оценили по достоинству то, что принадлежит им в этом столь спасительном превращении. Я добавлю только одно соображение: если бы житель каких-нибудь отдаленных стран попытался создать себе представление о европейских нравах, исходя из состояния наук в наших странах, из совершенства наших искусств, из благопристойности наших театральных представлений, из мягкости наших манер, из приветливости наших речей и из того, как люди всякого возраста от утренней зари до заката солнца, казалось бы, только и делают, что наперебой стараются перешеголять друг друга в услужливости,— то у этого чужеземца сложилось бы о наших нравах представление как раз обратное тому, что они собой представляют в действительности.

Там, где нет никакого результата, там нечего искать и какой-либо причины, но здесь результат несомненен — явная испорченность; и наши души развратились по мере того, как шли к совершенству наши науки и искусства. Можно ли сказать, что это несчастье свойственно лишь нашему веку? Нет, господа, беды, вызванные нашим ненужным любопытством, стары, как мир. Ежедневные приливы и отливы вод Океана не более связаны с движением планеты, что светит нам по ночам<sup>24</sup>, чем судьба нравов и честности с успехами наук и искусств. Люди видели, что добродетель исчезла по мере того, как их сияние поднималось все выше над нашим горизонтом, и то же явление наблюдалось во все времена и повсеместно.

Возьмите Египет — эту первую школу вселенной — с его благодатным климатом под медным, раскаленным небом; взгляните на эту знаменитую страну, откуда Сезострис<sup>25</sup> некогда отправился завоевывать мир. Эта страна становится матерью философии и изящных искусств, и вскоре после этого — завоевана Камбизом, затем греками, римлянами, арабами и, наконец, турками<sup>26</sup>.

Возьмите Грецию, некогда населенную героями, которые дважды одолели Азию, один раз у Трои, а другой — у собственных своих очагов<sup>27</sup>. Рождающаяся литература не внесла еще испорченности в сердца ее обитателей; но развитие искусств, разложение нравов и иго македонца последовали непосредственно одно за другим; и Греция по-прежнему ученая, по-прежнему сладост-

<sup>11</sup> «Я люблю,— говорит Монтень,— *собеседование и спор, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо служить зрелищем для великих мира сего и выставлять напоказ свой ум и умение болтать я считаю делом вовсе неподобающим для порядочного человека*»<sup>28</sup>. Таково ремесло всех наших остроумцев, кроме одного<sup>29</sup>.

страстная и по-прежнему порабощенная в результате происходивших в ней переворотов получала лишь новых повелителей<sup>30</sup>. Все красноречие Демосфена<sup>31</sup> никак не могло оживить организм, обессиленный роскошью и искусствами.

Во времена Энниев и Теренциев<sup>32</sup> — вот когда Рим, основанный пастухом<sup>33</sup> и прославленный земледельцами<sup>34</sup>, начинает приходить в упадок. Но после Овидиев, Катуллов, Марциалов<sup>35</sup> и этой толпы непристойных писателей, одни имена которых возмущают стыдливость, Рим, бывший когда-то храмом добродетели, превращается в театр преступлений, позор народов и игрушку варваров. Эта столица мира пала в конце концов под тяжестью ярма, которое она наложила на столь многие народы, и накануне дня ее падения одному из ее граждан был пожалован титул «арбитра хорошего вкуса»<sup>36</sup>.

А что скажу я о том центре Восточной империи<sup>37</sup>, который по своему положению, казалось бы, должен был быть центром всего мира, об этом прибежище наук и искусств, изгнанных из остальной части Европы, быть может, скорее вследствие осмотрительности, нежели из варварства? Все, что в разврате и испорченности есть самого постыдного — в изменах, убийствах и отравлениях, — самого черного, все, что есть в скопищах всех преступлений самого жестокого, — вот что образует основу истории Константинополя; вот он, чистый источник, из которого просочились к нам знания<sup>38</sup>, коими кичится наш век.

Но к чему нам искать в далеких временах доказательства той истины, подтверждения которой налицо перед нами? В Азии есть огромная страна<sup>39</sup>, где литература в почете и ведет к самым высоким должностям в государстве. Если бы науки очищали нравы, если бы учили они людей проливать кровь за свое отечество, если бы внушали они мужество, то народы Китая должны были быть мудрыми, свободными и непобедимыми. Но если нет такого порока, который не властвовал бы над ними, если нет такого преступления, которое не было бы у них обычным, если ни познания министров, ни так называемая мудрость законов, ни многочисленность жителей этой обширной империи не смогли ее оградить от ига невежественного и грубого монгола<sup>40</sup>, — то пригодились ли ей все ее ученые? Что получила страна от почестей, коими они осыпаны? Не то ли, что населяют ее рабы и злодеи?

Противопоставим этому картину нравов немногочисленных народов, которые, предохранив себя от этой заразы ненужных знаний, своими добродетелями создали собственное свое счастье и явили собою пример для других народов. Таковы были древние персы — удивительная нация, где изучали добродетель<sup>41</sup>, как у нас изучают науку, которая с такою легкостью покорила Азию и которая, единственная, прославилась тем, что история ее установлений стала восприниматься как философский роман<sup>42</sup>. Таковы были скифы<sup>43</sup>, о которых до нас дошли столь восторженные хвалебные отзывы. Таковы были германцы; перо, уставшее описывать преступления<sup>44</sup> и мерзости образованного,



богатого и сластолюбивого народа, с чувством облегчения рисовало их простоту, невинность и добродетели. Таков был даже Рим во времена своей бедности и неведения; такой, наконец, показала себя до наших дней эта нация крестьян<sup>45</sup>, столь превозносимая за храбрость, которую не могли сломить бедствия, и за верность, которую не мог поколебать дурной пример<sup>III</sup>.

Отнюдь не по глупости предпочли эти последние упражнения ума иные упражнения. Они не могли не знать, что в других странах праздные люди проводят жизнь в спорах о высшем благе, о пороке и о добродетели и что спесивые болтуны, расточая сами себе величайшие похвалы, все остальные народы смешивают в один, под одним презрительным прозвищем варваров. Но эти варвары присмотрелись к их правам и научились презирать их ученость<sup>IV</sup>.

Забуду ли я, что из самых недр Греции поднялся этот город, столь же знаменитый счастливым своим неведением, как и мудростью своих законов; эта республика скорее полубогов, чем людей, настолько добродетели их, казалось, превосходили все человеческое? О, Спарта, вечное посрамление бесплодной учености<sup>46</sup>! В то время, как пороки, предводительствуемые изящными искусствами, вместе с ними проникали в Афины, где тиран с таким старанием собирал творения первого из поэтов<sup>47</sup>, ты изгнала из своих стен искусства и художников, науки и ученых!

Исход событий показал цену этих различий. Афины стали обителью вежливости и хорошего вкуса, странною ораторов и философов; изящество строений соответствовало в этом городе изяществу языка: повсюду видны были там мрамор и холст, оживленные руками искуснейших мастеров; из Афин вышли эти удивительные произведения, которые будут служить образцами во все развращенные века. Лакедемон<sup>48</sup> являл собою менее блистательную картину. Там, — говорили другие народы, — люди рождаются добродетельными и кажется, что сам воздух этой страны внушает добродетель. От ее обитателей нам кажется лишь память о их героических деяниях. Разве такие памятники должны иметь для нас меньше цены, чем мраморные изваяния, что остались нам от Афин?

<sup>III</sup> Я не осмеливаюсь говорить здесь о счастливых народах, не ведающих даже названий тех пороков, с которыми нам так трудно справляться, об этих дикарях Америки, чей простой и естественный уклад жизни Монтень без колебаний предпочитает не только законам Платона<sup>49</sup>, но даже всему тому самому совершенному, что философия когда бы то ни было сможет изобрести для управления народами. Он приводит тому множество разительных примеров для тех, кто способен этим восхищаться. «Но ведь, — говорит он, — они не носят коротких штанов!»<sup>50</sup>.

<sup>IV</sup> По совести, пусть мне скажут, какого мнения должны были быть сами афиняне о красноречии, когда они его так старательно изгоняли из неподкупного совета, чьи приговоры не оспаривали сами боги? Что думали римляне о медицине, когда изгнали ее из своей Республики?<sup>51</sup> А когда кое-какие остатки человечности заставили испанцев запретить своим законникам въезд в Америку, какое представление должны были они иметь о юриспруденции? Не скажете ли вы, что они думали одним этим поступком искупить все зло, которое они причинили этим несчастным индейцам?<sup>52</sup>.

Некоторые мудрецы, правда, противостояли общему потоку и убереглись от порока в обители муз. Но послушайте, какое суждение высказал первый и самый несчастный из этих мудрецов<sup>53</sup> о художниках своего времени:

«Я изучил,— говорит он,— поэтов, и смотрю на них как на людей, чье дарование вводит в заблуждение их самих и других: они выдают себя за мудрецов, их считают таковыми, но они менее всего мудрецы.

От поэтов,— продолжает Сократ,— я перешел к художникам. Никто не был большим невеждою в искусствах, чем я; никто не был больше меня убежден, что художники владеют весьма замечательными секретами. Между тем я увидел, что их положение не лучше положения поэтов и что все они, и те и другие, пребывают во власти одного и того же предрассудка. Самые искусные из них достигли совершенства в своем деле и потому считают себя мудрейшими из людей. Это их самомнение заставило потускнеть в моих глазах весь блеск их знания: так что поставив себя на место оракула и вопрошая себя, кем бы я предпочел быть — самим собою или ими,— знать то, чему они научились, или же знать, что я ничего не знаю, я ответил самому себе и Богу: я хочу остаться самим собою.

Мы не знаем — ни софисты, ни поэты, ни ораторы, ни художники, ни я,— что́ есть истина, добро, красота. Но есть между нами то различие, что хотя эти люди ничего не знают, все они полагают, что знают кое-что; тогда как я, если и ничего не знаю, то, по меньшей мере, не имею на этот счет никаких сомнений. Так что все это превосходство, дарованное мне оракулом, сводится лишь к тому, что я твердо убежден в том, что мне неизвестно то, чего я не знаю».

Итак, вы видите, что самый мудрый из людей, по суждению богов, и самый ученый из афинян, по мнению всей Греции, Сократ, воздает хвалу неведению! Можно ли верить, что если бы вновь ожил он среди нас в наше время, наши ученые и художники заставили бы его изменить свое мнение? Нет, милостивые государи: этот справедливый человек продолжал бы презирать наши ненужные науки; он никак не способствовал бы приумножению той массы книг, коими засыпают нас со всех сторон, и он оставил бы, как он это и сделал, в назидание своим ученикам и нашим внукам лишь свой пример и память о своих добродетелях. Вот так хорошо поучать людей.

Сначала Сократ в Афинах, за ним Катон старший в Риме<sup>54</sup> обрушились на этих коварных и хитрых греков, которые создавали соблазны для добродетели и ослабляли мужество своих сограждан. Но науки, искусства и диалектика все же восторжествовали: Рим переполнялся философами и ораторами; военная дисциплина оказалась в пренебрежении; к земледелию стали относиться с презрением; люди разделились на секты и забыли об общем отечестве. Вместо священных слов: свобода, бескорыстие, повиновение законам, появились имена: Эпикур, Зенон, Аркесилай<sup>55</sup>. *С тех пор, как среди нас начали появляться ученые,— говорили их собственные философы,— добродетельные*

*люди сокрылись*<sup>56</sup>. До тех пор римляне довольствовались тем, что поступали добродетельно; все погибло, когда они начали изучать добродетель.

О, Фабриций!<sup>57</sup> Что почувствовала бы ваша великая душа, если бы на ваше несчастье, вновь вызванный к жизни, вы увидели пышное обличие Рима, который спасен был некогда вашей рукою и который честное ваше имя прославило больше, чем все его завоевания? «Боги! — сказали бы вы, — во что превратились эти соломенные крыши и скромные очаги, где некогда обитали умеренность и добродетель? Какое пагубное великолепие сменило римскую простоту? Что это за незнакомый язык?»<sup>58</sup> что за изнеженные нравы? что означают эти статуи, эти картины, эти здания? Безумные, что вы наделали? Вы, повелители народов, вы превратились в рабов тех никчемных людей, которых вы покорили!<sup>59</sup> Риторы — вот кто правит вами! Для того, чтобы обогатить архитекторов, художников, скульпторов и комедиантов — вот для чего оросили вы вашу кровью Грецию и Азию! Останки Карфагена стали добычею флейтиста!<sup>60</sup> Римляне, спешите же уничтожить эти амфитеатры; разбейте эти мраморные изваяния, сожгите эти картины! Изгоните рабов, которые вас себе подчиняют, и пагубные искусства их, вас развращающие. Пусть другие руки прославляют себя ненужными дарованиями; единственное дарование, достойное Рима, — это завоевание мира, чтобы установить в нем царство добродетели<sup>61</sup>. Когда Киней принял наш сенат за собрание царей<sup>62</sup>, он не был ослеплен ни ненужною пышностью, ни изысканною утонченностью; он не услышал там никчемного красноречия, в котором изошряются и находят наслаждение праздные люди. Что же увидел Киней такого величественного? О, граждане! он увидел зрелище, какого никогда не дадут вам ни ваши богатства, ни все ваши искусства, самое прекрасное зрелище, которое когда-либо видели под небесами: собрание двухсот добродетельных людей, достойных повелевать в Риме и править землею».

Но давайте перенесемся через века и пространства и посмотрим, что произошло в наших странах и у нас на глазах; или нет — лучше отбросим отвратительные картины, которые могли бы задеть нашу чувствительность, и избавим себя от труда повторять то же самое под другими названиями. Не напрасно вызвал я тень Фабриция и заставил ли я сказать этого великого человека хоть что-нибудь такое, чего я не смог бы вложить в уста Людовика XII или Генриха IV?<sup>63</sup> В наше время, правда, Сократу не пришлось бы выпить сок дикуты, но ему пришлось бы испытать нечто еще более горькое — отвратительные насмешки и презрение, что во сто раз хуже, чем смерть.

Вот каким образом роскошь, распущенность и рабство во все времена становились наказанием за все исполненные гордыни попытки выйти из счастливого неведения, в которое погрузила нас вечная Мудрость. Густая пелена, которою покрыла она все свои действия, казалось, достаточно предупреждала нас о том, что она вовсе не предназначала нас для ненужных и пустых размышлений. Но сумели ли мы воспользоваться или безнаказанно пренебречь хоть

одним из ее уроков? Народы, знайте же раз навсегда, что природа хотела уберечь вас от знания, как мать, которая вырывает опасный предмет из рук своего дитяти; что все тайны, которые она от нас скрывает, — это беды, от которых она нас ограждает; что трудности учения — это не меньшее из ее благодеяний. Люди испорчены; они могли бы быть еще хуже, если бы имели несчастье родиться учеными.

Сколь унизительны для человечества подобные размышления! сколь должна от них страдать наша гордость! Как! честность — это дочь невежества? науки и добродетель — несовместимы? Каких только выводов нельзя сделать из этих предпосылок? Но чтобы примирить эти кажущиеся противоположности, нужно лишь увидеть, как напрасны и пусты те горделивые названия, которые нас ослепляют и которые мы так легко даем человеческим знаниям. Рассмотрим же науки и искусства сами по себе: посмотрим, к чему должны привести их успехи; и без колебаний примем все те выводы из наших рассуждений, которые окажутся в согласии с выводами истории.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Древнее предание, перешедшее из Египта в Грецию, говорит, что тот из богов, который был врагом людского покоя<sup>64</sup>, был изобретателем наук V. Что же должны были думать о науках сами египтяне, среди которых они зародились? Дело в том, что они видели перед собою источники, науки породившие. В самом деле, если перелистаем мы все летописи мира и даже воспользимся, при помощи разных философских построений, все пробелы в очень сбивчивых хрониках, мы не найдем такого источника человеческих знаний, который отвечал бы нашим любимым представлениям о их происхождении. Астрономия родилась из суеверий; красноречие — из честолюбия, ненависти, лести, лжи; геометрия — из скупости; физика — из праздного любопытства, — все они и даже сама мораль вместе с ними — из человеческой гордыни. Науки и искусства, таким образом, обязаны своим происхождением нашим порокам<sup>65</sup>; мы бы меньше сомневались в их достоинствах, если бы своим происхождением обязаны они были нашим добродетелям.

Порочное их происхождение даже слишком наглядно открывается перед нами снова в том, чему они служат. К чему были бы нам искусства, если бы

V Нетрудно понять аллегорическое сказание о Прометее; и не похоже на то, чтобы греки, приковавшие его на Кавказе<sup>66</sup>, думали о нем сколько-нибудь лучше, чем египтяне о своем боге Тотте. «Сатир, — рассказывается в одной старинной басне, — увидев впервые огонь, хотел его обнять и поцеловать, но Прометей крикнул ему: „Сатир, ты будешь оплакивать бороду на твоём подбородке, ибо огонь жжется, когда к нему прикасаются!“»<sup>67</sup>. Таков сюжет фронтисписа.

не питающая их роскошь? Не будь людской несправедливости, зачем понадобилась бы нам юриспруденция? Что случилось бы с историей, если бы не было ни тиранов, ни войн, ни заговорщиков? Одним словом, кто бы захотел проводить свою жизнь в бесплодном созерцании, если бы каждый, сообразуясь лишь с обязанностями человека и с требованиями природы, отдавал все свое время только родине, несчастным и своим друзьям? Неужто мы созданы для того, чтобы умереть прикованными к краям колодца, в котором скрылась истина? <sup>68</sup> Одно только это соображение должно было с первых шагов отпугнуть всякого человека, который всерьез стремился бы просветиться, изучая философию.

Сколько опасностей, сколько ложных путей угрожают нам в научных исследованиях! Через сколько ошибок, в тысячу раз более опасных, чем польза, приносимая истиною, нужно пройти, чтобы этой истине достигнуть? Несоразмерность затрат и результатов очевидна: ибо ложное может выступать в бесконечных сочетаниях, истина же существует лишь в одном виде <sup>69</sup>. Впрочем, кто же ищет ее со всею искренностью? Даже при самом большом желании, по каким признакам можно с уверенностью ее узнать? В этой толчее различных мнений, что будет нашим *критерием*, позволяющим верно судить о ней? <sup>VI</sup> И что всего труднее, — если по счастью мы найдем, наконец, этот критерий, — кто из нас сумеет правильно его применить?

Если наши науки бессильны решить те задачи, которые они перед собою ставят, то они еще более опасны по тем результатам, к которым они приводят. Рожденные в праздности, они, в свою очередь, питают праздность, и невозместимая потеря времени — вот в чем, раньше всего, выражается вред, который они неизбежно приносят обществу. В политике, как и в морали, не делать никакого добра — это большое зло; и каждый бесполезный гражданин может рассматриваться как человек вредный <sup>70</sup>. Ответьте же мне, знаменитые философы, вы, которые открыли нам, почему тела притягивают друг друга в пустоте <sup>71</sup>; каковы при обращениях планет отношения пространств, пройденных за равные промежутки времени <sup>72</sup>; какие кривые имеют сопряженные точки <sup>73</sup>, точки склонения и точки изгиба; как человек все видит в Боге <sup>74</sup>; как душа и тело отвечают друг другу <sup>75</sup> не сообщаясь так же, как двое часов в разных местах; какие небесные тела могут быть обитаемы <sup>76</sup>; какие насекомые размножаются необычным образом <sup>77</sup>, — ответьте мне, говорю я, вы, которые дали нам столько блистательных открытий: если бы вы не узнали ничего из этих вещей, были бы мы менее многочисленны, хуже управляемы, менее грозны для врагов, процветали бы меньше или были бы менее порочны? Поду-

<sup>VI</sup> Чем меньше люди знают, тем более сведущими они себя считают. Разве перипатетики в чем-либо сомневались? <sup>78</sup> Разве Декарт не построил вселенную из кубов и вихрей? <sup>79</sup> И разве даже теперь в Европе найдется настолько плохой физик, который не взялся бы бойко объяснить глубокую тайну электричества <sup>80</sup>, хотя она, вероятно, всегда будет приводить в отчаяние истинных философов?

майте же еще раз о значении ваших произведений и если самые просвещенные труды наших ученых и наших лучших граждан для нас столь малополезны, скажите нам, что должны мы думать об этой толпе безвестных писателей и праздных грамотеев, которые высасывают жизненные соки государства, не принося ровно никакой пользы.

Праздных, говорю я? О, если бы Богу было угодно, чтобы так было на самом деле! Нравы были бы тогда здоровее, а общество — спокойнее. Но эти бесполезные и ничтожные витин наступают на нас со всех сторон, вооруженные своими пагубными парадоксами, подкапываются под самые основы веры<sup>81</sup> и уничтожают добродетель. Они презрительно улыбаются, когда слышат старые эти слова: «родина», «религия» и обращают свои дарования и свою философию на то, чтобы все, что есть у людей святого, разрушить и опорочить. И не то, чтобы они ненавидели в самом деле добродетель и наши догматы; они — враги общественного мнения; и чтобы снова привести их к подножию алтарей, достаточно было бы зачислить их в безбожники. О, это неистовое желание — отличиться — тех, кому это не дано!

Это большое зло — потеря времени. Но зло еще худшее несут с собою литература и искусства. Такое зло — роскошь, рожденная, как и они, из праздности и людского тщеславия<sup>82</sup>. Роскошь редко обходится без наук и искусств, они же никогда не обходятся без роскоши. Я знаю, что наша философия, неистощимая в изобретении удивительных афоризмов, утверждает, вопреки всему вековому опыту, что роскошь сообщает блеск государствам<sup>83</sup>; но, забыв о необходимости законов против роскоши, осмелится ли она также отрицать, что долговечность империй зиждется на добрых нравах и что роскошь представляет собою диаметрально противоположность добрым нравам? Пусть роскошь представляет собою достоверный признак богатства; пусть она даже служит, если угодно, для умножения богатств: что же следует заключить из этого парадокса, столь достойного наших дней? и что станется с добродетелью, если люди будут вынуждены обогащаться любой ценою? Политики древности беспрестанно говорили о нравах и о добродетели; наши — говорят лишь о торговле и о деньгах<sup>84</sup>. Один вам скажет, что человек стóит в такой-то стране столько, сколько можно было бы за него получить, если продать его в Алжир<sup>85</sup>; другой, следуя тому же расчету, найдет такие страны, где человек не стоит ничего<sup>86</sup>, и такие, где он стоит меньше, чем ничего. Они оценивают людей как стада скота. По их мнению, ценность человека в Государстве определяется лишь тем, что он в этом Государстве потребляет; таким образом, один сибарит стоил бы добрых тридцати лакедемонян<sup>87</sup>. Вот и угадайте, которая из этих двух республик, Спарта или Сибарис, была покорена горстью крестьян<sup>88</sup> и которая из них повергла в трепет Азию.

Монархию Кира завоевал с тридцатью тысячами человек государь<sup>89</sup> более бедный, чем самый незначительный из персидских сатрапов; а скифы, самый нищий из всех народов, противостояли самым могущественным монархам все-

ленной<sup>90</sup>. Две знаменитые республики оспаривали друг у друга власть над миром<sup>91</sup>; одна из них была очень богатой, у другой — не было ничего, и именно эта последняя разрушила первую. Римская империя, поглотив все богатство мира, стала добычей людей, даже не знавших, что такое богатство. Франки завоевали Галлию, саксы — Англию<sup>92</sup>, не имея иных сокровищ, кроме храбрости и бедности. Толпа бедных горцев, все вождения которых не шли дальше нескольких бараньих шкур, унизив гордыню австрийцев, сокрушила затем богатейшую и грозную Бургундскую династию<sup>93</sup>, приводившую в трепет владетелей Европы. Наконец, все могущество и вся мудрость наследника Карла V<sup>94</sup>, подкрепленные всеми сокровищами Индии, разбились о горсточку ловцов сельдей<sup>95</sup>. Пусть наши политики соблаговолят прекратить свои подсчеты и поразмыслят над этими примерами, и пусть они раз и навсегда поймут, что за деньги можно приобрести все, кроме добрых нравов и обычаев добрых граждан.

О чем же, строго говоря, идет речь, когда мы рассуждаем о роскоши? О том, чтобы узнать, что важнее всего для держав: быть блестящими и существовать недолго или добродетельными и долговечными? Я говорю блестящими, но каким блеском? Склонность к пышности едва ли уживется в одних и тех же душах с любовью к честности. Нет, невозможно, чтобы умы, погрязшие во множестве ничтожных забот, возвысились когда-нибудь до чего-либо великого, и если бы даже у них и хватило на это сил, им не хватило бы на то мужества.

Каждому художнику желанны рукоплескания. Похвалы современников — это самая драгоценная часть его награды. Что же ему делать, чтобы заслужить эти похвалы, если он имел несчастье родиться среди такого народа и в такое время, когда вошедшие в моду ученые позволили легкомысленной молодежи задавать тон; когда мужи жертвуют своими вкусами в угоду тиранам их свободы<sup>VII</sup>; когда один пол решается одобрять лишь то, что соответствует малодушную другого, и потому терпят провал шедевры драматической поэзии<sup>96</sup> и отвергаются чудеса гармонии?<sup>97</sup> Что же сделает художник, господа? Он принизит свой гений до уровня своего века и предпочтет создавать произведения посредственные, которыми будут восхищаться при его жизни, нежели чудеса искусства, которыми будут восхищаться лишь через долгое время после его

VII Я весьма далек от того, чтобы считать, что такое влияние женщин есть само по себе зло. Это дар, которым их наградила природа; лучше направляемое, это влияние могло бы принести столько же добра, сколько зла оно причиняет сегодня. Никто еще не понимает, какие выгоды приобрело бы общество, если бы эта половина человеческого рода, которая управляет другою, получала лучшее воспитание. Мужчины всегда будут такими, как это будет угодно женщинам: если же вы хотите, чтобы они стали великими и добродетельными, научите женщин тому, что есть величие души и добродетель. Рассуждения, которые влечет за собою эта тема и которыми некогда занимался Платон, заслуживают дальнейшего развития под пером, имеющим право писать о том же после столь великого мастера и защищать столь великое дело.

смерти. Скажите нам, знаменитый Аруз<sup>98</sup>, сколько откровенных и сильных красот принесли Вы в жертву нашим ложным приличиям! и скольких великих созданий стоил Вам дух галантности, породивший столько безделушек!

Так распушенность нравов — неизбежное следствие роскоши — в свою очередь ведет к испорченности вкуса. Если же случайно среди людей, выдающихся по своим дарованиям, найдется один, у которого достанет твердости в душе, чтобы не примениться к духу своего века и не унижить себя жалкими творениями, — то горе ему! Он умрет в нужде и забвении. И это не пророчество, а плоды горького опыта! Карл, Пьер<sup>99</sup>, пришло время, когда кисть, предназначенная для того, чтобы умножать величие храмов наших изображениями возвышенными и священными, выпадет из ваших рук или будет осквернена тем, что станет украшать непристойными картинками дверцы экипажей<sup>100</sup>. А ты, соперник Праксителя и Фидия<sup>101</sup>, чьим резцом древние могли бы воспользоваться, чтобы творить себе богов, способных оправдать в наших глазах их идолопоклонство; неподражаемый Пигаль, твоей руке придется лепить животы смешных уродцев<sup>102</sup>, или — она не найдет себе работы.

Размышляя о нравах, нельзя не вспомнить с наслаждением картины простоты обычаев первобытных времен. Это — прекрасное побережье, украшенное руками одной только природы, к которому беспрестанно обращаются наши взоры и от которого отдаляешься столь неохотно. Когда люди были невинны и добродетельны, они хотели, чтобы боги были свидетелями их поступков, и они жили с богами под одной и тою же крышею; но вскоре, когда люди стали недобрыми, им наскучили эти неудобные свидетели и они удалили их в великолепные храмы. В конце концов, они изгнали богов и оттуда, чтобы обосноваться в этих храмах самим, или, по меньшей мере, храмы богов уже перестали отличаться от домов людей. Это было пределом упадка нравов, и никогда пороки не заходили столь далеко, как в то время, когда их, так сказать, поддерживали мраморные колонны и когда они у входа во дворцы великих мира сего были запечатлены в коринфских капителях.

Пока умножаются жизненные удобства, совершенствуются искусства и расширяется роскошь, истинное мужество хиреет, воинские доблести исчезают; и все это тоже дело наук и всех этих искусств, что развиваются в тиши кабинетов. Когда готы опустошили Грецию<sup>103</sup>, все библиотеки были спасены от сожжения лишь благодаря тому, что один из победителей подумал: надо оставить врагам то их достояние, которое так удачно отвращает их от военных упражнений и располагает к занятиям праздным и требующим сидячего образа жизни. Карл VIII оказался повелителем Тосканы<sup>104</sup>, почти не обнажая шпаги; а весь его двор приписал эту неожиданную легкость победы тому, что итальянские государи и дворянство больше увлекались остроумием и ученостью, чем занимались упражнениями, развивающими силу и воинское рвение. В самом деле, говорит тот здравомыслящий человек<sup>105</sup>, который приводит эти два случая, все эти примеры учат нас, что при таком военном порядке и при



всяком ему подобном изучение наук гораздо более способствует расслаблению и утрате мужества, чем укреплению этих чувств и воодушевлению людей.

Римляне признавались, что воинская доблесть исчезала среди них по мере того, как они начинали понимать толк в картинах, гравюрах<sup>106</sup>, сосудах из золота и серебра и заниматься изящными искусствами; и, как если бы эта знаменитая страна была предназначена судьбою постоянно служить примером для других народов, возвышение дома Медичи и возрождение искусств<sup>107</sup> вновь и, быть может, навсегда погубили ту воинскую славу, которую Италия, казалось, возвратила себе за несколько веков перед тем.

Древнегреческие республики с той мудростью, какою блещет большая часть их установлений, запретили своим гражданам заниматься всеми теми спокойными и требующими сидячего положения ремеслами, которые, ослабляя и разрушая тело, слишком рано иссушают стойкость души. В самом деле, как, думаете вы, смогут встретиться лицом к лицу с жаждой, усталостью опасностями и смертью люди, которых малейшая нужда угнетает, а малейшая трудность лишает мужества? Откуда возьмется у солдат мужество, чтобы нести непомерные тяготы, к которым у них нет никакой привычки? Откуда возьмется у них пыл, чтобы совершать вынужденные переходы под командованием офицеров, которые не в силах держаться в седле? Пусть не указывают мне в ответ на прославленную доблесть всех этих современных воинов, которые вымуштрованы столь умело. Мне весьма расхваливают их храбрость в день битвы, но мне никак не объясняют, как они выдерживают чрезмерное напряжение, как они переносят капризы разных времен года и непогоды. Достаточно, чтобы немного пригрело солнце или выпал снег, достаточно лишить этих воинов некоторых удобств, чтобы в несколько дней рассеять и уничтожить лучшую из наших армий. Бесстрашные воины, стерпите однажды правду, которую вам столь редко приходится слышать. Вы храбры, я это знаю; вы одержали бы с Ганнибалом победу при Каннах и при Тразимене<sup>108</sup>; Цезарь пересек бы с вами Рубикон<sup>109</sup> и поработил свою страну: но никак не с вами перешел бы Ганнибал через Альпы и не с вами победил бы Цезарь ваших предков<sup>110</sup>.

Битвы не всегда решают успех войны, и добиться успеха — это для генералов искусство более высокое, чем искусство выигрывать сражения. Иной бесстрашно бросается в огонь, но это не мешает ему быть очень плохим офицером; и даже солдату, пожалуй, нужнее немного больше силы и выносливости, чем такая храбрость, которая не оберегает его от смерти. И не все ли равно для государства, как погибнут его войска: от лихорадки ли и простуды или от неприятельского оружия.

Если развитие наук вредно отражается на воинских качествах, то на свойствах моральных оно отражается еще более вредно. С первых же лет нашей жизни безрассудное воспитание изощряет наш ум<sup>111</sup> и извращает наши суж-

дения. Я вижу повсюду бесчисленные заведения, где с большими затратами воспитывают молодежь, чтобы научить ее всему, но только не выполнению ее обязанностей. Ваши дети не будут знать своего родного языка, зато они научатся говорить на других языках, которые нигде не употребляются; они научатся слагать стихи, которые они сами едва ли смогут понимать, не умея отличать заблуждения от истины, они овладеют искусством делать их, с помощью благовидных доказательств, неразличимыми и для других; но они не будут знать, что означают слова: великодушие, справедливость, воздержание, человечность; сладостное слово «родина» никогда не дойдет до их слуха, и, если перед ними говорят о Боге, то не столько для того, чтобы они почитали Бога, сколько чтобы они его боялись <sup>VIII</sup>. Я бы предпочел, сказал один мудрец <sup>112</sup>, чтобы мой ученик проводил время, играя в мяч, это, по меньшей мере, сделало бы его тело подвижным. Я знаю, что детей нужно как-то занимать и что праздность есть для них самая страшная опасность. Чему же они должны научиться? Вот, поистине, удивительный вопрос! Пусть они учатся тому, что они должны будут делать, когда станут мужчинами <sup>IX</sup>, а не тому, что они должны позабыть.

<sup>VIII</sup> «Философские мысли» <sup>113</sup>.

<sup>IX</sup> Таково было воспитание спартиатов, по свидетельству самого великого из их царей <sup>114</sup>. «Достоинно величайшего внимания,—говорит Монтень,—что в превосходном наставлении о государственном устройстве у Ликурга, поистине удивительном по своему совершенству и уделяющем однако столь много внимания прокормлению детей, как главной своей задаче, в самом этом пристанище муз, так редко упоминается об учении; как будто этому презирающему всякое иное ярмо юношеству вместо наших учителей наук дали лишь учителей доблести, благоразумия и справедливости» <sup>115</sup>.

Посмотрим теперь, как говорит этот же писатель о древних персах: Платон, говорит наш автор, рассказывает <sup>116</sup>, что «старший сын их царствующей династии воспитывался следующим образом. После рождения его поручали не женщинам, но двум евнухам, пользовавшимся наибольшим доверием царей по причине их добродетели. Они заботились о том, чтобы сделать его тело красивым и здоровым, и, когда ему исполнилось семь лет, заставляли его садиться на коня и отправляться на охоту. Когда он достигал четырнадцатилетнего возраста, они передавали его в руки четверки: самого мудрого, самого справедливого, самого воздержанного и самого доблестного из всей нации. Первый учил его религии, второй — быть всегда правдивым; третий — побеждать свою жадность; четвертый — ничего не бояться» <sup>117</sup>. Все, добавляю я, стремились сделать его благонравным и ни один — ученым.

«Астиаг,—говорится у Ксенофонта,—спросил у Кира <sup>118</sup> о его последнем уроке. В нашей школе,—отвечал тот,—высокий мальчик, имевший короткий хитон, отдал его одному из своих товарищей меньшего роста и забрал у того принадлежащий ему более длинный хитон. Когда наш наставник предложил мне быть судьей в этом споре, я рассудил, что следует сохранить такое положение вещей, и это будет удобнее всего для обоих. В ответ на это он мне доказал, что я поступил плохо; ибо я исходил только из соображений удобства, а следовало прежде всего иметь в виду справедливость, которая требует, чтобы ни у кого не отнимали силою то, что ему принадлежит; и еще сказал, что мальчика за это высекли точно так же, как секут нас в

Наши сады украшены статуями, а наши галереи — картинами. Что же, по вашему, изображают эти шедевры искусства, выставленные для всеобщего обозрения — защитников отечества или еще более великих людей, кои обогатили его своими добродетелями? Нет. Эти картины изображают все заблуждения сердца и ума <sup>119</sup>, заботливо выбранные из древней мифологии и выставленные на обозрение нашим детям с их ранних лет, вне сомнения, для того, чтобы у них всегда были перед глазами примеры дурных поступков даже прежде, чем они выучатся читать.

Откуда рождаются все эти заблуждения, если не из пагубного неравенства <sup>120</sup>, появившегося среди людей из-за различия дарований и унижения добродетелей? Вот самый очевидный результат всех наших занятий и самое опасное из всех их последствий. Уже не спрашивают больше о человеке, честен ли он, но — есть ли у него дарования; ни о книге, полезна ли она, но — хорошо ли она написана. Награды щедро расточаются остроумию, а для добродетели уже не остается никаких почестей. Есть тысячи наград за прекрасные речи, и ни одной — за прекрасные деяния. Пусть мне все же скажут, можно ли сравнить славу лучшего из рассуждений, которые будут увенчаны наградами в этой академии, с заслугами того, кто учредил эти награды.

Мудрец вовсе не гонится за богатством, но он не равнодушен к славе; и когда он видит, как дурно она бывает распределена, его добродетель, которую дух соревнования оживил бы и сделал бы полезною для общества, начинает томиться и постепенно угасает в нищете и безвестности. Вот к чему должно в конце концов привести повсеместное предпочтение дарований приятных дарованиям полезным, и это слишком хорошо подтверждается и нашим опытом со времен обновления наук и искусств. У нас есть физики, геометры, химики, астрономы, поэты, музыканты, художники — у нас нет больше граждан; и если они еще и остались, рассеянные по нашим глухим деревням, то погибают там в бедности и пренебрежении <sup>121</sup>. Таково положение, до которого они теперь низведены; вот какие чувства выказываем мы тем, кто дает нам хлеб, а нашим детям молоко.

Я признаю, однако, что зло не столь велико, как оно могло бы быть. Всевышняя прозорливость, помещая рядом с вредоносными растениями обычные целебные травы, а в самом теле многих ядовитых животных противоядие от их укусов, научила властителей, которые суть ее слуги, подражать ее мудрости. И вот следуя ее примеру, из самых недр наук и искусств, источников тысячи неурядиц, этот великий монарх <sup>122</sup>, чья слава из века в век будет лишь

---

деревне, когда мы забываем первый акорд от глагола *τίπτω* \*. Мой учитель должен был произнести превосходную речь *in genere demonstrativo* \*\*, прежде чем убедил меня, что его школа может сравниться с тою».

\* Я бью (*греч.*).

\*\* В образцовом, показательном роде (*лат.*).

возрастать, извлек эти знаменитые общества <sup>123</sup>, наделенные одновременно опасным грузом человеческих знаний и священным бременем нравственности; общества, прославившиеся благодаря тому вниманию, которое они уделяют поддержанию чистоты нравов, и благодаря требованию такой чистоты нравов от новых членов.

Эти мудрые установления, упроченные его августейшим преемником <sup>124</sup> и послужившие образцом для всех королей Европы <sup>125</sup>, послужат, по меньшей мере, уздой для литераторов, которые все поголовно, стремясь к чести быть принятыми в академии, будут следить за собою и будут стараться удостоиться этого в награду за полезные труды и безупречные нравы. Те из собраний, которые для соискания премий, присуждаемых за литературные достоинства, изберут темы, способные возродить в сердцах граждан любовь к добродетели, покажут, что такая любовь царит безраздельно среди их участников, и дадут народам столь редкое и приятное наслаждение увидеть, что ученые общества приносят человеческому роду не одни только приятные знания, но и благотворные наставления.

Пусть же не приводят мне в качестве возражения то, что есть для меня лишь новое доказательство моей правоты. Многочисленность принимаемых мер только слишком хорошо доказывает, что эти меры нужно принимать, и мы вовсе не ищем лекарства от несуществующих болезней. Почему же нужно, чтобы эти меры из-за их недостаточности носили все еще характер обычных лекарств? Многочисленность учреждений, созданных для пользы ученых, может еще более привлечь внимание к самим предметам наук и обратить умы к их изучению. Можно подумать, если судить по принимаемым предосторожностям, что земледельцев слишком много и что следует бояться недостатка философов. Я вовсе не хочу проводить рискованное сравнение между земледелием и философией: этого никто бы не поддержал. Я только спрошу: что такое философия? что содержит писания наиболее известных философов? каковы уроки этих друзей мудрости? Если их послушать, разве нельзя их принять за толпу шарлатанов, что кричат каждый свое на общественной площади: идите ко мне, только я один никогда не ошибаюсь? Один утверждает, что тел вообще нет в природе и что все есть мое представление о них <sup>126</sup>; другой, что нет ни иного вещества, кроме материи, ни иного бога, кроме вселенной <sup>127</sup>. Этот заявляет, что не существует ни добродетелей, ни пороков и что добро и зло в области нравственности — это выдумки <sup>128</sup>; тот — что люди суть волки <sup>129</sup> и могут со спокойною совестью пожирать друг друга. О, великие философы! Почему не оставляете вы для друзей и детей своих эти полезные уроки? вы бы сразу были за них вознаграждены, и мы не боялись бы найти в ком-нибудь из наших друзей или детей одного из ваших приверженцев.

Вот каковы они, эти удивительные люди, которым еще при жизни их современники так щедро расточали свое уважение и которым после кончины было уготовано бессмертие! вот те мудрые наставления, которые мы от них

получили и которые мы передаем из поколения в поколение нашим потомкам! Разве язычество, подверженное всем заблуждениям человеческого разума, оставило потомству что-либо, что можно было бы сравнить с постыдными памятниками, которые уготовало ему книгопечатание, в царстве Евангелия? Нечестивые писания Левкиппа и Диагора<sup>130</sup> погибли вместе с ними; еще не было изобретено искусство увековечивать странные причуды человеческого разума; но благодаря типографским литерам<sup>x</sup> и тому применению, какое мы им находим, опасные заблуждения Гоббсов и Спиноз<sup>131</sup> сохраняются навеки. Прославленные писания, на которые не были способны невежественные и грубые отцы наши, соединитесь у наших потомков с этими еще более опасными сочинениями, что дышат испорченностью нравов нашего времени, и, все вместе, несите грядущим векам достоверную историю развития и успехов наших наук и наших искусств. Если прочтут они вас, у них не останется никаких сомнений относительно того вопроса, который мы сегодня поднимаем; и, если только не будут они еще безрассуднее, чем мы, то возденут руки к небу и скажут с горечью в сердце: «Боже всемогущий, ты, который властвуешь над умами, освободи нас от знаний и от пагубных искусств отцов наших и верни нам неведение, невинность и бедность — единственные блага, которые могут составить наше счастье и которые только и будут драгоценными в твоих глазах».

Но если успехи наук и искусств ничего не прибавили к нашему истинному счастью, если они испортили наши нравы и нанесли ущерб чистоте вкуса, что подумаем мы о толпе наивных писателей, что убрали перед храмом муз преграды, защищавшие доступ к нему и расставленные природою как испытание силы для тех, кого прельщает знание? Что подумаем мы об этих компиляторах, нескромно взломавших двери науки и впусивших в святилище ее чернь, недостойную приближаться к этому святилищу; тогда как следовало бы желать, чтобы все те, кто не может продвинуться далеко на поприще ли-

---

<sup>x</sup> Если посмотреть на ужасающие неурядицы, которые книгопечатание уже породило в Европе, если судить о будущем по тем успехам, которые делает зло изо дня в день, легко можно предвидеть, что наши властители не преминут приложить к изгнанию этого ужасного зла из своих государств столько же усилий, сколько попросили они на его распространение. Султан Ахмет<sup>132</sup>, уступая настояниям нескольких так называемых людей со вкусом, согласился устроить в Константинополе типографию; но едва был пущен в ход типографский пресс, как его пришлось уничтожить и выбросить части его в колодезь. Говорят, что халиф Омар<sup>133</sup>, когда его спросили о том, как поступить с Александрийской библиотекой, ответил в таких выражениях: «Если книги этой библиотеки содержат вещи, противоречащие Алькорану, — то они дурны и их следует сжечь; если же они содержат лишь те же учения, что и Алькоран, опять-таки сожгите их, потому что они излишни». Наши ученые приводили это рассуждение как верх нелепости<sup>134</sup>. Однако же, представьте себе на месте Омара Григория Великого<sup>135</sup>, а вместо Алькорана — Евангелие, библиотека опять-таки была бы сожжена, и это было бы, быть может, самым прекрасным деянием этого знаменитого первосвященника.

тературы, были отогнаны от входа в святилище и занялись ремеслами, полезными для общества? Тот, кто всю свою жизнь был бы скверным рифмоплетом, посредственным геометром, быть может, стал бы великим в изготовлении тканей. Никакие учителя не понадобились тем, кому природою было предназначено создать школу. Бэконы, Декарты и Ньютоны<sup>136</sup> — эти наставники человеческого рода, сами не имели никаких наставников; — и какие педагоги привели бы их туда, куда вознес этих людей их могучий гений? Заурядные учителя могли бы лишь ограничить их кругозор узкими рамками своих собственных возможностей. Ведь именно первые препятствия научили их прилагать усилия и помогли им преодолеть то огромное пространство, которое они прошли. Если и нужно позволить некоторым людям посвятить себя изучению наук и искусств, то лишь только тем, кто почувствует в себе силы, чтобы самостоятельно идти по их стопам и опередить их; этим немногим и следует воздвигать памятники во славу человеческого ума. Но если мы хотим, чтобы ничто не было ниже их гения, нужно, чтобы ничто не было ниже их ожиданий — вот то единственное поощрение, в котором они нуждаются. Душа незаметно приходит в соответствие с тем, что ее занимает, и лишь великие события создают великих людей. Первейший в красноречии был в Риме консулом<sup>137</sup>, а, может быть, величайший из философов — канцлером Англии<sup>138</sup>. Как вы считаете, если бы один из них занимал лишь кафедру в каком-нибудь университете, а другой достиг лишь скромного академического содержания; как вы считаете, спрашиваю я, на их произведениях не сказалось бы их положение в обществе? Пусть же короли не гнушаются допускать в свои советы людей более всего способных быть для них хорошими советчиками; пусть откажутся они от этого давнего предубеждения, порожденного гордынею вельмож, что искусство править народами труднее, чем искусство их просвещать; будто легче заставить людей поступать хорошо по собственному желанию, чем принуждать их к тому же с помощью силы; пусть первоклассные ученые получат при дворе почетный кров; пусть они получат там единственную достойную их награду: возможность содействовать своим влиянием счастью народов, которые они научат мудрости; лишь тогда увидят люди, на что способны добродетель, наука и власть, возбуждаемые духом благородного соревнования и действующие в согласии на благо человеческому роду. Но до тех пор, пока с одной стороны будет только власть, а с другой — только знания и мудрость, ученые редко будут думать о великих вещах, государи будут совершать хорошие поступки еще реже, а народы будут все так же порочны, испорчены и несчастны.

Что до нас, людей обыкновенных, которым небо не отпустило столь великих дарований и которых оно не предназначает к подобной славе, то давайте по-прежнему останемся в тени. Не будем гнаться за известностью, коей мы не достигнем и которая при настоящем положении вещей никогда не воздаст нам того, что она нам стоила, если бы у нас были все права, чтобы ее добиться.

Зачем же искать наше счастье в мнении других, когда мы можем его найти в самих себе. Предоставим другим заботу учить народы их долгу и ограничимся тем, что будем хорошо выполнять свой долг; нам нет нужды знать об этом больше.

О добродетель, возвышенная наука простых душ! Нужно ли, право, столько усилий и приспособлений, чтобы тебя познать? Разве не запечатлены во всех сердцах твои принципы? и разве, чтобы узнать твои законы, не достаточно ли уйти в самого себя и прислушаться к голосу своей совести, когда страсти безмолвствуют? <sup>139</sup> Вот истинная философия, научимся же ею довольствоваться; и, не завидуя славе тех знаменитых людей, которые достигают бессмертия в республике ученых, попытаемся провести между ими и нами то почетное различие, которое замечали когда-то между двумя великими Народами <sup>140</sup>: один из них умел хорошо говорить, а другой — хорошо поступать.

РАССУЖДЕНИЕ  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
И ОСНОВАНИЯХ НЕРАВЕНСТВА  
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ



Non in depravatis, sed in his quae  
bene secundum naturam se habent,  
considerandum est quid sit naturale.

Aristoteles]. Politic[a], lib. I,  
cap. II\*.

*ЖЕНЕВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ*<sup>1</sup>

**СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ, ВЫСОКОЧТИМЫЕ  
И ВЛАДЕТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРИ!**

Будучи убежден, что лишь добродетельному гражданину подобает воздавать своему отечеству почести, которые оно могло бы открыто принять, я вот уже тридцать лет тружусь<sup>2</sup>, чтобы заслужить право принести вам публично дань уважения; теперь счастливый случай отчасти восполняет то, чего не смогли сделать мои усилия, и я счел, что мне позволено будет более сообразоваться с одушевляющим меня рвением, чем с правом, которое должно было бы дать мне на то достаточные полномочия. Так как я имел счастье родиться среди вас, то как могу я размышлять о равенстве между людьми, которое предуказано самой природою, и о неравенстве, которое установлено людьми<sup>3</sup>, не задумываясь над глубокой мудростью, с которою и то и другое, счастливо сочетаясь в этом Государстве, способствуют, наиболее приближающимся к естественному закону и наиболее благоприятным для общества образом, поддержанию общественного порядка и счастью частных лиц? Доискиваясь принципов, которые здравый смысл может внушить касательно устройства Прав-

---

\* «Не по извращенному, но по тому, что вполне сообразно с природою, должно заключать о том, что естественно». Аристотель<sup>4</sup>. Политика, кн. I, гл. II (лат.).



ления, я был так поражен, когда увидел их все в действии в вашем Правлении, что даже если бы я и не родился в стенах ваших, я не смог бы, полагаю, не преподнести эту картину человеческого общества тому из всех народов, который, как мне кажется, пользуется самыми большими благами такого Правления и лучше всех других сумел предупредить возможные злоупотребления.

Если бы мне было дано избрать место моего рождения, я избрал бы общество, численность коего была бы ограничена<sup>5</sup> объемом человеческих способностей, то есть возможностью быть хорошо управляемым, общество, где каждый был бы на своем месте и потому никто не был бы вынужден передавать другим возложенные на него должностные обязанности — Государство, где все частные лица знали бы друг друга, и от взоров и суда народа не могли бы потому укрыться ни темные козни порока, ни скромность добродетели, и где эта приятная привычка видеть и знать друг друга делала бы любовь к отечеству скорее любовью к согражданам, чем к той или иной территории.

Я желал бы родиться в стране, где у суверена и у народа могли бы быть только одни и те же интересы, так, чтобы все движения машины были всегда направлены лишь к общему счастью; а так как это может произойти лишь в том случае, когда народ и суверен есть одно и то же лицо, то отсюда следует, что я желал бы родиться при Правлении демократическом, разумно умеренном.

Я бы хотел жить и умереть свободным, т. е. таким образом подчиненным законам, чтобы ни я сам, ни кто-либо другой не мог сбросить с себя их почетного ярма, этого спасительного и нетяжкого ярма, под которое самые гордые головы склоняются тем послушнее, что они не способны склониться под какое-либо иное<sup>6</sup>.

Итак, я бы хотел, чтобы никто в Государстве не мог ставить себя выше Закона и чтобы никто извне не мог навязать никакого закона, который обязано было бы признавать Государство. Ибо, каково бы ни было устройство Правления, если при нем найдется хоть один-единственный человек, который не будет подчинен Закону, то все остальные неизбежно окажутся во власти этого последнего (I); и если налицо один правитель, принадлежащий данному народу, а другой — чуждый ему<sup>7</sup>, то как бы ни разделили они между собою власть, невозможно, чтобы и тому и другому оказывали должное повиновение и чтобы Государство было управляемо должным образом.

Я никак не хотел бы жить в Республике, недавно образовавшейся, как бы хороши ни были ее законы, из опасения, что форма Правления, устроенная, быть может, иначе, чем это требовалось бы в данный момент, не соответствовала бы новым гражданам или гражданам не соответствовали бы новой форме Правления, и Государству грозили бы потрясения и гибель почти с самого его рождения. Ибо свобода подобна той грубой и сочной пище или тем благородным винам, которые хорошо питают и укрепляют людей сильных и к ним

привыкших, но только отягощают, обессиливают и ошьяняют слабых и изнеженных, которые к ним не приучены. Народы, уже привыкшие иметь повелителей, больше не в состоянии обходиться без них. Если они пытаются свергнуть иго, то еще больше удаляются от свободы, так как принимают за свободу безудержную распушенность, которая ей противоположна; такие перевороты почти всегда отдают этих людей в руки соблазнителей, которые только отягчают их цепи. Даже народ Рима, этот образец всех свободных народов, не был в состоянии управлять собою, когда вышел из-под гнета Тарквиниев<sup>8</sup>. Уже низко павший в рабстве и в позорных работах, которые навалили на него Тарквинии, он представлял собою сначала лишь бессмысленную чернь; с ней пужно было обращаться бережно и управлять ею нужно было с величайшею мудростью, чтобы, привыкая понемногу дышать благотворным воздухом свободы, эти души, обессилевшие, или, вернее, огрубевшие под властью тирании, постепенно приобрели ту строгость нравов и ту мужественную гордость, которые превратили их, в конце концов, в самый достойный уважения из всех народов. Я постарался бы, следственно, найти себе отечество в счастливой и спокойной Республике, которой древность терялась бы, так сказать, во мраке времен, которая подвергалась бы лишь таким испытаниям, что способны были укрепить в ее жителях мужество и любовь к отечеству, и где граждане, издавна привыкшие к мудрой независимости, были бы не только свободны, но и достойны свободы.

Я бы желал избрать себе отечество, чуждое, благодаря счастливой неспособности к ним, кровожадной страсти к завоеваниям и избавленное, благодаря еще более счастливому географическому положению, от страха стать само добычею другого Государства; вольный город, расположенный среди многих народов, из которых ни одному не было бы выгодно его захватить<sup>9</sup>; одним словом, Республику, которая никак не искушала бы честолюбия своих соседей и которая могла бы с основанием рассчитывать на их помощь в случае нужды. Отсюда следует, что в таком счастливом положении ей не приходилось бы опасаться ничего, кроме как самой себя; и если бы граждане ее упражнялись во владении оружием, то они делали бы это скорее для поддержания того воинственного пыла и той мужественной гордости, которая так к лицу свободе и питает свободолюбие, чем из необходимости заботиться о самозащите.

Я попытался бы найти страну, где право законодательства принадлежало бы всем гражданам, ибо кто может знать лучше самих граждан, при каких условиях подобает им жить совместно в одном и том же обществе? Но я не одобрил бы плебисцитов, подобных плебисцитам у римлян, когда руководители Государства и люди, наиболее заинтересованные в его сохранении, исключались из совещаний, от которых нередко зависело его спасение, и где в результате нелепой непоследовательности законов магистраты были бы лишены тех прав, которыми пользовались простые граждане.

Я желал бы, напротив, закрыть дорогу своекорыстным и плохо понятным законопроектам и опасным нововведениям, которые, в конце концов, погубили афинян, и чтобы поэтому не всякий имел возможность предлагать новые законы, когда и как ему заблагорассудится; чтобы право это принадлежало одним только магистратам<sup>10</sup>; чтобы сами магистраты пользовались им весьма осмотрительно; чтобы народ, со своей стороны, был столь же осторожен, когда он дает свое согласие на эти законы; чтобы обнародование их могло происходить лишь с соблюдением такого рода процедуры, что прежде, чем государственное устройство было бы поколеблено, у людей было бы время убедиться, что именно великая древность законов и делает их священными и почитаемыми. Потому что народ уже скоро начинает презирать такие законы, которые на его глазах ежедневно меняются, и потому что, привыкнув пренебрегать старыми обычаями, люди часто вносят большее зло, чтобы исправить меньшее.

И особенно я бежал бы, как неизбежно дурно управляемой, такой Республики, где народ, полагая, что он может обойтись без своих магистратов или что он может предоставить им лишь призрачную власть, неосмотрительно сохранил бы в своих руках управление гражданскими делами и осуществление своих собственных законов: таким должно было быть несовершенно устройство первых Правлений<sup>11</sup>, вышедших непосредственно из естественного состояния, и в этом же заключался один из тех пороков, что погубили Афинскую Республику.

Но я избрал бы такую Республику, где частные лица, довольствуясь тем, что утверждали бы законы сообща и по представлению правителей разрешали бы наиболее важные общественные дела, учредили бы пользующиеся уважением органы управления, тщательно разграничили бы отдельные ведомства, избирали бы из года в год наиболее способных и наиболее неподкупных из своих сограждан, чтобы отправлять правосудие и править государством; и где добродетели магистратов свидетельствовали бы, таким образом, о мудрости народа,— и первые и вторые глубоко почитали бы друг друга. Так что, если бы когда-нибудь пагубные недоразумения нарушили общественное согласие<sup>12</sup>, то эти времена ослепления и ошибок были бы отмечены проявлением сдержанности, взаимного уважения и общего преклонения перед законами: это и есть предвестие и залог искреннего и вечного внутреннего мира.

Таковы суть, СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ, ВЫСОКОЧТИМЫЕ И ВЛАДЕТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРИ, те преимущества, которые я желал бы найти в отечестве, которое я бы себе избрал. А если бы Провидение присоединило к этому еще и прелестное местоположение, умеренный климат, плодородную почву и вид самый восхитительный из существующих под небесами, то для полноты моего счастья я желал бы лишь пользоваться всеми этими благами на лоне этого счастливого отечества, мирно живя в принятом общении с моими согражданами, проявляя по

отношению к ним и по их примеру гуманность, дружбу и все добродетели и оставив по себе хорошую память как о добродетельном человеке и о честном и доблестном патриоте.

Если бы, менее счастливый или слишком поздно умудренный, я бы оказался вынужден в иных краях кончать отягченную болезнями угасающую жизнь, сожалея о покое и мире, которых лишила меня неблагоприятная юность, я бы, по меньшей мере, питал в своей душе те же чувства, которым не мог бы дать исхода в моей стране, и, проникнувшись нежною и бескорыстною любовью к далеким моим согражданам, я обратил бы к ним из глубины души моей такую, приблизительно, речь:

«Дорогие мои сограждане, или, скорее, братья мои, потому что узы крови, как и законы, связывают нас почти всех! Мне отрадно, что я не могу думать о вас, не думая одновременно о всех благах, которыми вы пользуетесь и цену которым, быть может, никто не знает лучше, чем я, который их потерял. Чем больше размышляю я о вашем политическом и гражданском положении, тем меньше могу я себе представить, что может быть в природе лучшее положение дел человеческих. При всех иных формах Правления, когда речь заходит о том, чтобы обеспечить наибольшее благо Государства, все ограничивается постоянно одними проектами, или, самое большее, только возможностями. Что же до вас, то ваше счастье вполне создано, остается им пользоваться; и для того, чтобы стать совершенно счастливыми, вам нужно лишь уметь довольствоваться своим счастьем. Ваш суверенитет, приобретенный или отвоеванный острием шпаги и оберегаемый в течение двух веков вашею доблестью и мудростью, наконец, полностью и повсеместно признан. Ваше государственное устройство превосходно, оно продиктовано возвышеннейшим разумом и гарантируется дружественными и уважаемыми державами; ваше Государство мирно; ни войн, ни завоевателей не приходится вам бояться; нет у вас других повелителей, кроме как мудрые законы, вами составленные, приводимые во исполнение неподкупными магистратами, вами избранными. Вы не столь богаты, чтобы обессилеть от изнеженности и утратить в суетных наслаждениях вкус к истинному счастью и подлинным добродетелям и не столь бедны, чтобы нуждаться в помощи извне, чтобы восполнить то, чего не обеспечивает вам ваш прилежный труд. И вам почти ничего не стоит сохранять эту драгоценную свободу, которую у великих наций поддерживают лишь с помощью непомерных налогов.

Пусть же существует вечно, на счастье своим гражданам и в пример народам, Республика эта, столь мудро и столь счастливо устроенная! Вот единственный обет, который вам остается провозгласить, и единственная забота ваша. От вас самих зависит отныне не создать свое счастье, — ваши предки избавили вас от этого труда, — но упрочить его, мудро им пользуясь. От вашего постоянного единения, от вашего повиновения законам, от вашего уважения к служителям их зависит ваше благополучие. Если остаются средь вас

малейшие зачатки злобы или недоверия, спешите их уничтожить как пагубные всходы, из которых взойдут рано или поздно ваши несчастья и гибель Государства. Я призываю вас всех заглянуть в глубину своей души и прислушаться к тайному голосу своей совести. Знает ли кто-нибудь из вас во всей вселенной корпорацию более неподкупную, более просвещенную и более достойную уважения, чем корпорация вашей магистратуры. Разве все ее члены не подают вам пример умеренности, простоты нравов и самого искреннего согласия? Даруйте же безоговорочно столь мудрым руководителям то спасительное доверие, которым разум обязан добродетели; помните, что они вами избраны, что они оправдывают это избрание и что почести, положенные тем, кого облекли вы высокими должностями, неизбежно передаются и вам самим. Нет среди вас ни одного человека столь мало просвещенного, чтобы не знать, что там, где прекращается власть законов и сила защитников их, там не может быть ни для кого ни безопасности, ни свободы. Что же требуется от вас, кроме как исполнять с надлежащим доверием то, что вы все равно обязаны были бы исполнить, следуя своим подлинным интересам, долгу и во имя разума. Пусть преступное и пагубное безразличие к сохранению государственного устройства никогда не побудит вас пренебречь мудрыми мнениями наиболее просвещенных и наиболее ревностных среди вас; но пусть справедливость, умеренность и более всего уважения достойная твердость продолжат управлять всеми вашими поступками и в вас являть всему миру пример народа гордого и скромного, столь же ревнивого к своей славе, как и к своей свободе. Особенно остерегайтесь — и это будет мой последний совет — внимать когда-либо зловецким кривотолкам и ядовитым речам<sup>13</sup>, коих тайные мотивы часто более опасны, чем те действия, которые они имеют своею целью. Весь дом просыпается и приходит в тревогу, едва раздастся голос доброго и верного сторожа, который лает только при приближении воров; но всем ненавистна назойливость этих шумливых животных, которые беспрестанно нарушают общественный покой и чьих постоянных и неуместных предупреждений даже не слышно тогда, когда они нужны».

И вы, СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ И ВЫСОКОЧТИМЫЕ ГОСУДАРИ, вы, достойные и уважаемые магистраты свободного народа, позвольте мне принести вам лично дань моего уважения и почтения. Если есть в мире положение, способное прославить тех, которые его занимают, то это, безусловно, то положение, которое доставляют таланты и добродетель, положение, которого вы сделали достойны и до которого возвысили вас ваши сограждане. Их собственные достоинства придают новый блеск вашим и, потому что вы избраны людьми, способными управлять другими, для того, чтобы управлять ими самими, я нахожу, что вы стоите настолько же выше других магистратов, насколько свободный народ, и особенно тот народ, руководить которым вы имеете честь, стоит по своей просвещенности и по разуму своему выше черни других государств.

Да будет мне позволено привести пример, о котором должна была бы остаться более прочная память и который всегда будет жить в моем сердце. Я не могу вспомнить, не испытывая сладчайшего волнения, о добродетельном гражданине <sup>14</sup>, которому я обязан появлением на свет и кто часто в детстве беседовал со мною о том уважении, которое вам надлежит оказывать. Я вижу его еще, живущего трудом рук своих и питающего душу свою возвышеннейшими истинами. Я вижу книги Тацита, Плутарха и Гродия <sup>15</sup>, перед ним лежащие, вперемешку с его рабочими инструментами. Я вижу подле него любимого его сына, внимающего со слишком малою пользой нежным наставлениям лучшего из отцов. Но если заблуждения безрассудной юности и заставили меня в течение некоторого времени забыть столь мудрые уроки, мне все же досталось счастье испытать на себе в конце концов, что как бы сильна ни была склонность к пороку, трудно ожидать, чтобы плоды воспитания, в которое вложена часть души, погибли навсегда.

Таковы суть, СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ И ВЫСОКОЧТИМЫЕ ГОСУДАРИ, граждане и даже простые обитатели <sup>16</sup>, рожденные в государстве, которым Вы управляете; таковы эти опытные и толковые люди, о которых под именем рабочих и народа у других наций существуют столь низкие и столь ложные представления. Мой отец — я с радостью признаю это — совсем не выделялся среди своих сограждан: он был подобен им всем; и каков бы он ни был, нет ни одного места, где не искали бы его общества и не поддерживали с ним отношений, и притом даже с пользою для себя, самые достойные люди. Мне не подобает и, слава богу, нет необходимости говорить вам о почтении, коего могут ждать от вас люди такого закала, равные вам как по воспитанию, так и по естественному праву и праву рождения, но поставившие себя ниже вас по собственной воле вследствие ваших достоинств, которым они должны были оказать и оказали предпочтение, и за которое вы, в свою очередь, обязаны им некоторого рода признательностью. Я замечаю с живым удовлетворением, какую кротостью и снисходительностью смягчаете вы суровость, подобающую служителям законов; сколь щедро воздаете вы им уважением и проявлениями внимания за то повиновение и почтение, которым они вам обязаны: поведение это, исполненное справедливости и мудрости, способно все более и более изглаживать память о тех злосчастных событиях <sup>17</sup>, о которых нужно забыть, чтобы никогда более не увидеть их снова; поведение это тем более основательно, что этот справедливый и великодушный народ превращает долг свой в удовольствие, что ему от природы нравится почитать вас и что наиболее горячо отстаивающие свои права наиболее склонны уважать ваши.

Не должно казаться удивительным, что руководители гражданского общества любят его славу и счастье; но более, чем удивительно, для спокойствия людей, когда те, кто смотрит на себя как на магистратов или скорее как на повелителей более священной и более возвышенной отчизны, проявляют любовь к земной отчизне, что их кормит <sup>18</sup>. Как отрадно мне, что я могу сделать

столь редкое исключение в нашу пользу и поставить в ряды наших лучших граждан этих ревностных хранителей утвержденных законами священных догм, этих почтенных пастырей душ, живое и сладостное красноречие которых тем лучше утверждает в наших сердцах заповеди Евангелия, что они всегда начинают с того, что выполняют их сами. Всем известно, с каким успехом совершенствуется в Женеве высокое искусство проповедничества. Но так как люди слишком привыкли видеть, что говорят одно, а делают другое, то лишь немногие знают до какой степени царят в корпорации наших священнослужителей дух христианства, святость нравов, строгость к самому себе и мягкость по отношению к другим. Быть может одному только городу — Женеве — подобает явить миру назидательный образец столь совершенного единения в рядах общества богословов и литераторов<sup>19</sup>; и на их признанной мудрости и умеренности, на их рвении к процветанию государства я и основываю в значительной степени надежду на вечное его спокойствие; и я отмечаю с удовольствием, смешанным с удивлением и почтением, какое содрогание вызывают у них принципы тех варваров, что считаются священными<sup>20</sup>, коих не один пример дает нам история и которые для защиты так называемых божьих прав, т. е. своих интересов, проливали человеческую кровь тем щедрее, что их собственная, как они льстили себя надеждой, всегда должна щадиться.

Могу ли я забыть о той драгоценной половине Республики, которая составляет счастье другой и коей кротость и мудрость поддерживают в ней мир и добрые нравы. Любезные и добродетельные гражданки, вашему полу всегда будет суждено управлять нашим. Сколь радостно, если ваша целомудренная власть, проявляемая только в супружеском союзе, дает себя чувствовать лишь во славу государства и всеобщего счастья! Именно так повелевали женщины в Спарте и так именно достойны вы повелевать в Женеве. Какой варвар-мужчина может противиться голосу чести и разума в устах нежной супруги? и кто не проникнется презрением к бесполезной роскоши при виде вашего простого и скромного наряда, которому ваши личные достоинства придают такой блеск, что этот наряд уже кажется самым счастливым дополнением к вашей красоте? Именно вам надлежит поддерживать всегда вашу любезную и невинную власть и вашим тонким умом любовь к законам в Государстве и согласие между гражданами, объединить посредством счастливых браков враждующие семьи и более всего исправлять убедительною кротостью ваших наставлений и скромным изяществом вашей беседы дурные манеры, которые наша молодежь усваивает в иных краях, откуда вместо стольких полезных вещей, что могли бы пойти им впрок, наши молодые люди приносят с собой, наряду с ребячливым тоном и смешными замашками, заимствованными у падших женщин, лишь преклонение перед уж не знаю какими так называемыми идеалами, внешне скрашивающими рабское состояние, перед идеалами, которые никогда не заменят священной свободы. Будьте же всегда тем, что вы есть, — целомудренными хранительницами нравов и нежных уз мира;

и продолжайте отстаивать по всякому случаю права сердца и природы на пользу долгу и добродетели.

Я хочу думать, что не буду опровергнут фактами, когда основываю на подобных залогах свою надежду на общее счастье граждан и славу Республики. Я признаю, что, обладая всеми этими преимуществами, Республика не будет блистать тем блеском, который ослепляет большинство глаз и детская и пагубная страсть к которому — самый смертельный враг и счастья, и свободы. Пусть развращенная молодежь ищет в иных краях легких удовольствий и затем долгого раскаяния; пусть так называемые люди со вкусом в иных местах восхищаются великолепием дворцов, красотой экипажей, изысканностью мебелировки, пышностью зрелищ и всеми утонченностями изнеженности и роскоши. В Женеве можно увидеть только людей; но ведь и такое зрелище, конечно, имеет свою цену, и те, кто ищут его, конечно же, стоят более, чем поклонники всего остального.

Соблаговолите, СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ, ВЫСОКОЧТИМЫЕ И ВЛАДЕТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРИ, все с одинаковою добротою, принять почтительные свидетельства того, как мне дорого ваше общее благополучие. Если оказался я столь несчастен, что повинен в несколько нескромной восторженности в этом живом излиянии моей души, то умоляю вас простить мне эту восторженность, видя в ней только нежную привязанность истинного патриота и пылкое и законное рвение человека, который не знает для себя большего счастья как видеть вас всех счастливыми.

С глубочайшим почтением,

СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ, ВЫСОКОЧТИМЫЕ И ВЛАДЕТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРИ,

*ваш нижайший и покорнейший слуга и согражданин*

Жан-Жак Руссо

Шамбери, 12 июня 1754 г.



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Наиболее полезным и наименее продвинувшимся из всех знаний<sup>21</sup> человеческих мне представляется знание человека (II); и я осмеливаюсь утверждать, что одна надпись дельфийского храма<sup>22</sup> содержала в себе наставление более важное и более глубокое, чем все толстые книги моралистов. Поэтому я смотрю на предмет этого рассуждения как на один из самых интересных вопросов, которые может выдвинуть для обсуждения философия, и, к несчастью для нас, как на один из самых щекотливых вопросов, которые могли бы разрешить философы: ибо как познать источник неравенства между людьми, если не начать с познания их самих? и как удается человеку увидеть себя таким, каким создала его природа, через все те изменения, которые должна была произвести в его изначальной организации последовательная смена времен и вещей, и отделить то, что было ему присуще с самого начала, от того, что обстоятельства и развитие прибавили к первоначальному его состоянию или изменили в нем? Подобно статуе Главка<sup>23</sup>, которую время, море и бури настолько обезобразили, что она походила не столько на бога, сколько на дикого зверя, душа человеческая, извращающаяся в обществе в силу тысячи причин, беспрестанно вновь возобновляющихся, вследствие приобретения множества знаний и заблуждений, изменений в телосложении и постоянного столкновения страстей, переменяла, так сказать, свою внешность почти что до неузнаваемости, и мы находим теперь в ней вместо существа, действующего всегда по определенным и неизменным принципам, вместо той небесной и величественной простоты, которую запечатлел в ней ее творец, лишь безобразное противоречие между страстью, полагающей, что она рассуждает, и разумом в бреду.

Еще более жестоко то, что все успехи человеческого рода беспрестанно отдаляют его от первоначального его состояния, и, следовательно, чем более накапливаем мы новых знаний, тем более отнимаем мы у себя средств приобрести самое важное из всех; так что, по мере того, как мы углубляемся в изучение человека, мы, в известном смысле, утрачиваем способность его познать.

Нетрудно видеть, что именно в этих последовательных изменениях природы человека и следует искать первые истоки различий между людьми, которые, по общему мнению, были так же равны между собою, как равны были животные каждого вида, прежде чем различные физические причины вызвали среди некоторых видов образование отмечаемых нами теперь в них различностей. В самом деле, было бы непостижимо, если бы все эти изменения, чем бы они ни были вызваны, сразу же и одинаковым образом переиначили всех индивидуумов этого вида; однако тогда как одни стали совершеннее или выродились и приобрели различные новые качества, хорошие или дурные, которые не были присущи их природе, другие долгие оставались в перво-

зданном своем состоянии. И таков был между людьми первый источник неравенства, который легче показать, таким образом, в общей форме, чем с точностью указать его истинные причины.

Пусть же мои читатели не думают, что я осмеливаюсь льстить себя надеждою, будто увидел я то, что увидеть мне кажется столь трудным. Я начал несколько рассуждений, я решился высказать несколько предположений не столько в надежде разрешить этот вопрос, сколько с намерением придать ему ясность и привести его в истинный вид. Другие легко пойдут дальше по этому же пути, но никому не будет легко достигнуть предела, ибо это не легкое предприятие — выделить то, что врождено и что искусственно в теперешней природе человека, и вполне познать состояние, которое более не существует, которое быть может никогда не существовало<sup>24</sup>, которое, вероятно, не будет никогда существовать и о котором нужно все же иметь правильное представление, чтобы как следует судить о нынешнем нашем состоянии. Даже больше, чем думают, потребуется твердости духа тому, кто возьмется точно определить, какие предосторожности принять, чтобы произвести серьезные наблюдения по этому предмету; и верное решение следующей задачи не кажется мне недостойным Аристотелей и Плиниев нашего века<sup>25</sup>: *Какие будут необходимы опыты, чтобы удалось познать естественного человека? и каковы средства, которые позволят проделать эти опыты в обществе?* Далекий от мысли, что я мог бы взяться за решение этой задачи, я полагаю, что достаточно продумал этот вопрос, чтобы осмелиться ответить уже сейчас: и величайшим философам не зазорно будет руководить этими опытами и могущественнейшим государям их предпринимать, так как вряд ли было бы разумно ожидать, что придет само собою такое стечение обстоятельств и такое неуклонное, или, скорее, такое последовательное развитие наших знаний, да еще в сочетании с необходимой с обеих сторон доброй волей, которое одно только позволило бы достичь успеха.

Эти исследования, которые так трудно провести и о которых так мало думали до сей поры, дают все же единственное остающееся у нас средство устранить множество затруднений на пути к познанию действительных основ человеческого общества. Это именно незнание человеческой природы и покрывает такую туманностью и мраком истинное определение естественного права: ибо идея права, говорит г-н Бурламаки<sup>26</sup>, и еще более идея естественного права, это, очевидно, идеи, относящиеся к природе человека. Таким образом, из этой самой природы человека, — продолжает он, — и его организации и его состояния и следует выводить принципы этой науки.

Не без удивления и не без стыда замечаешь, как мало согласия царит по этому важному вопросу между различными авторами, которые им занимались. Среди самых серьезных писателей едва ли найдется двое, которые имели бы на этот счет одинаковое мнение. Не говоря уже о философях древности, как будто задавшихся целью противоречить друг другу в самых основных

принципах, римские юристы подчиняют, без разбора, человека и всех других животных одному и тому же естественному закону, потому что они понимают под этим понятием скорее тот закон, который природа устанавливает для самой себя, чем тот, который она предписывает человеку; или же скорее из-за особого значения, придаваемого этими юристами слову *закон*, которое они, как будто, берут в этом случае лишь для выражения общих отношений, устанавливаемых природой между всеми живыми существами для их общего сохранения<sup>27</sup>. Люди новых времен, признающие под именем закона лишь правило, предписываемое существу нравственному, т. е. разумному, свободному и рассматриваемому в его отношениях с другими существами, ограничивают, следовательно, область применения естественного закона единственным животным, одаренным разумом, т. е. человеком; но, определяя закон этот каждый по-своему, все они основывают его на столь метафизических принципах, что даже среди нас очень немногие в состоянии понять эти принципы, не говоря уже о возможности самим их обнаружить. Так что все определения этих ученых мужей, всегда, к тому же, противоречивые, согласуются только в том, что невозможно понять естественный закон и, следовательно, повиноваться ему, не будучи весьма великим мастером рассуждать и глубоким метафизиком: а это непременно означает, что люди должны были использовать для установления общества такие познания, которые даются только с большим трудом и лишь очень немногим людям уже в самом этом обществе<sup>28</sup>.

Раз мы так мало знаем природу и так неодинаково понимаем смысл слова *закон*, то очень трудно будет прийти к соглашению относительно верного определения естественного закона. К тому же, все определения, которые находим мы в книгах, имеют помимо того недостатка, что они вовсе не единообразны, еще и тот, что они выводятся из множества знаний, которыми люди не обладают от природы, и из преимуществ, представление о которых можно получить только по выходе из естественного состояния. Начинают с того, что изыскивают правила, относительно которых, для общей пользы, людям было бы хорошо согласиться между собою, а затем собранию этих правил дают название *естественный закон*, ссылаясь только на благо, которое, как они полагают, произойдет от повсеместного применения этих правил. Вот, поистине, слишком удобный способ давать определения и объяснять природу вещей с помощью соглашений, допускаемых почти произвольно.

Но до тех пор, пока мы совершенно не знаем естественного человека, тщетно будем мы пытаться определить закон, им полученный, или тот закон, который лучше всего соответствует его природе. Мы можем вполне ясно сказать относительно этого закона только вот что: чтобы он был законом, нужно не только, чтобы воля того, на кого он налагает обязательство, могла сознательно ему подчиниться; но, кроме того, чтобы он был естественным, нужно, чтобы он говорил голосом самой природы.

Отложив потому в сторону все научные книги, которые учат нас видеть людей такими, какими они себя сделали, и размышляя о первых и простейших действиях человеческой души<sup>29</sup>, я полагаю, что вижу в ней два начала, предшествующие разуму; из них одно горячо заинтересовывает нас в нашем собственном благосостоянии и самосохранении, а другое внушает нам естественное отвращение при виде гибели или страданий всякого чувствующего существа и главным образом нам подобных. Из взаимодействия и того сочетания, которое может создать из этих двух начал наш ум, без того, чтобы было необходимо добавлять сюда еще свойство общежительности<sup>30</sup>, — и могут, как мне кажется, вытекать все принципы естественного права; принципы, которые разум затем вынужден вновь возводить на иные основания, когда, в результате последовательных успехов в своем развитии, он, в конце концов, подавляет природу.

Таким образом вовсе не обязательно делать из человека философа прежде, чем делать из него человека<sup>31</sup>. Его обязанности по отношению к другим не диктуются исключительно запоздалыми уроками мудрости; и пока не будет он противиться внутреннему влечению к состраданию, он никогда не причинит зла ни другому человеку, ни какому бы то ни было чувствующему существу, исключая тот случай, когда дело идет о его существовании, и он уже вполне закономерно обязан оказать предпочтение себе самому. Таким образом мы покончим и с давнишними спорами о причастности животных к естественному закону: ибо ясно, что, будучи лишены знаний и свободы, они не могут признавать этот закон; но так как они имеют с нашей природою нечто общее, поскольку и они одарены способностью чувствовать, то можно считать, что они также должны быть причастны естественному праву и что на человеке лежат по отношению к ним некоторого рода обязанности. В самом деле, получается, что если я обязан не причинять никакого зла мне подобному, то не столько потому, что он есть существо мыслящее, сколько потому, что он есть существо чувствующее: это качество, общее и животному и человеку, должно, по меньшей мере, давать первому из них право не подвергаться напрасно мучениям по вине другого<sup>32</sup>.

Это именно изучение первобытного человека, подлинных его потребностей и главных основ его понимания своих обязанностей есть также единственное верное средство для устранения тех бесчисленных трудностей, которые возникают перед нами при разрешении вопроса о происхождении неравенства в положении личностей<sup>33</sup>, об истинных основаниях политического Организма, о взаимных правах его членов и в отношении множества других подобных вопросов, столь же важных, как и мало освещенных.

Если обратить на человеческое общество взгляд спокойный и беспристрастный, то оно явит нам сначала, как будто, только насилие людей могущественных и угнетение слабых: ум восстает против жестокости первых; мы склонны оплакивать слепоту вторых. И так как ничего нет среди людей менее

постоянного, чем эти внешние отношения, чаще порождаемые случаем, чем мудростью, и именуемые слабостью или могуществом, богатством или бедностью, то человеческие установления кажутся с первого взгляда возведенными на кучах зыбучего песка. Только присмотревшись к ним поближе, только убрав пыль и песок, окружающие здание, замечаешь незыблемое основание, на котором оно воздвигнуто, и научаешься видеть его устои. Итак, без серьезного изучения человека, его естественных способностей и их последовательного развития мы никогда не сможем провести этих различий и отделить, в настоящем устройстве вещей, то, что создано божественной волей<sup>34</sup>, от того, что хотело бы себе приписать человеческое искусство. Политические и моральные исследования, которые влечет за собой важный вопрос, мною рассматриваемый, полезны, таким образом, всесторонне, а предположительная история Правлений будет для человека поучительным уроком во всех отношениях. Когда подумаешь о том, во что бы мы превратились, будучи предоставлены самим себе, как не благословлять того, чья благодетельная рука, исправляя наши установления и делая их незыблемыми, предупредила беспорядки и создала наше счастье теми средствами, которые, казалось, должны были довершить наши бедствия.

*Quem te Deus esse  
Jussit, et humana qua parte locatus es in re,  
Disce\*.*

### ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИМЕЧАНИЯХ<sup>35</sup>

Я добавил к этому произведению некоторые примечания, сообразно моей несколько беспечной привычке работать урывками. Примечания эти подчас настолько отклоняются от моей темы, что незачем читать их одновременно с текстом. Поэтому я перенес их к концу Рассуждения, в котором я пытался, насколько мог, следовать наиболее прямым путем. Те, кому достанет решимости вновь приняться за чтение, могут, развлечения ради, еще раз пошарить в поисках добычи и попытаться просмотреть эти примечания; беда будет невелика, если остальные не прочтут их вовсе.

---

\* Кем быть тебе Бог  
Повелел, и что сделано здесь человеком,  
Поведай (лат.).

Персидский 36. Сатиры, III, 71.

## РАССУЖДЕНИЕ

О человеке, вот о ком предстоит мне говорить: и сам вопрос, мною рассматриваемый, требует, чтобы я говорил об этом людям; ибо подобных вопросов не предлагают, когда боятся чтить истину. Я буду, таким образом, убежденно защищать дело человечества перед мудрецами, которые меня к тому побуждают, и я не буду недоволен самим собою, если окажусь достойным темы моей и судей моих.

Я вижу в человеческом роде два вида неравенства: одно, которое я называю естественным или физическим, потому что оно установлено природою и состоит в различии возраста, здоровья, телесных сил и умственных или душевных качеств; другое, которое можно назвать неравенством условным или политическим, потому что оно зависит от некоторого рода соглашения и потому что оно устанавливается или, по меньшей мере, утверждается с согласия людей. Это последнее заключается в различных привилегиях, которыми некоторые пользуются за счет других: как то, что они более богаты, более почитаемы, более могущественны, чем другие, или даже заставляют их себе повиноваться.

Не к чему спрашивать, каков источник естественного неравенства, потому что ответ содержится уже в простом определении смысла этих слов. Еще менее возможно установить, есть ли вообще между этими двумя видами неравенства какая-либо существенная связь. Ибо это означало бы, иными словами, спрашивать, обязательно ли те, кто повелевают, лучше, чем те, кто повинуются, и всегда ли пропорциональны у одних и тех же индивидуумов телесная или духовная сила, мудрость или добродетель их могуществу или богатству: вопрос этот пристало бы ставить разве что перед теми, кто признает себя рабами своих господ: он не возникает перед людьми разумными и свободными, которые ищут истину.

О чем же именно идет речь в этом Рассуждении? О том, чтобы указать в поступательном развитии вещей тот момент, когда право пришло на смену насилию и природа, следовательно, была подчинена Закону; объяснить, в силу какого сцепления чудес сильный мог решиться служить слабому, а народ — купить воображаемое спокойствие ценою действительного счастья.

Философы, которые исследовали основания общества, все ощущали необходимость восходить к естественному состоянию, но никому из них это еще не удавалось. Одни не колебались предположить<sup>37</sup> у человека в этом состоянии понятие о справедливом и несправедливом, не позаботившись показать ни того, должен ли он был иметь такое понятие, ни даже того, было ли оно для него полезно. Другие говорили<sup>38</sup> о естественном праве каждого на сохранение того, что ему принадлежит, не объясняя, что понимают они под словом *принадлежать*. Третьи, наделив сперва<sup>39</sup> более сильного властью над более слабым, немедленно создали Управление, не думая о том, что должно

было пройти некоторое время, прежде чем слова «власть» и «управление» получили понятный для людей смысл. Наконец, все, беспрестанно говоря о потребностях, жадности, угнетении, желаниях и гордости, перенесли в естественное состояние представления, которые они взяли в обществе: они говорили о диком человеке, а изображали человека в гражданском состоянии. Большею части наших философов не приходило даже в голову сомневаться в том, что естественное состояние существовало, между тем как очевидно, когда читаешь священные книги, что первый человек, получивший непосредственно от Бога знания и наставления, вовсе не был сам в этом состоянии; и, если относиться к писаниям Моисея<sup>40</sup> с тем доверием, с которым подобает относиться к ним всякому христианскому философу, то уже нельзя допустить, что люди, даже до потопа, когда-либо находились в естественном состоянии в его чистом виде, если только они не впали в него снова в результате какого-нибудь необычайного события — парадокс этот очень трудно защищать и совершенно невозможно доказать.

Начнем же с того, что отбросим все факты<sup>41</sup>, ибо они не имеют никакого касательства к данному вопросу. Мы должны принимать результаты розысканий, которые можно провести по этому предмету, не за исторические истины, но лишь за предположительные и условные рассуждения, более способные осветить природу вещей, чем установить их действительное происхождение, и подобные тем предположениям, которые постоянно высказывают об образовании мира наши натуралисты<sup>42</sup>. Религия предписывает нам верить, что так как сам Бог вывел людей из естественного состояния сразу же после сотворения мира, то они не равны, потому что он хотел, чтобы они не были равными; но религия не запрещает нам, на основании одной только природы человека и существ, его окружающих, строить предположения о том, во что человеческий род мог бы превратиться, если бы он был предоставлен самому себе<sup>43</sup>. Вот — то, что у меня спрашивают, и то, что я ставлю себе задачей рассмотреть в этом Рассуждении. Так как тема моя относится к человеку вообще, то я постараюсь говорить таким языком, который понятен был бы всем нациям; или, точнее, — отвлекаясь от места и времени, чтобы думать лишь о людях, которым я говорю, я предположу, что нахожусь в Лицее афинском<sup>44</sup>, повторяя уроки моих учителей, имея судьями Платонов и Ксенократов<sup>45</sup>, а слушателем — род человеческий.

О человек! Из какой бы ты ни был страны, каковы бы ни были твои взгляды, слушай, — вот твоя история, такая, какой, полагаю, я прочел ее не в книгах, написанных тебе подобными, которые лживы, а в природе, которая никогда не лжет. Все, что от нее, — истинно; ложно будет лишь то, что я, не желая того, прибавлю от себя. Времена, о которых буду я говорить, очень отдаленны: как изменился ты с тех пор по сравнению с тем, каким был. Я опишу тебе, так сказать, жизнь твоего рода, судя по свойствам, которые ты получил, которые воспитание твое и привычки твои могли извратить, по

которых не могли они уничтожить. Есть, чувствую я, такой возраст, на котором отдельный человек хотел бы остановиться: ты будешь искать тот возраст, на котором ты желал бы, чтобы остановился род твой. Огорченный нынешним твоим состоянием по причинам, которые сулят твоему несчастному потомству еще большие огорчения, ты, возможно, пожелаешь вернуться назад; и это чувство должно вылиться в похвальное слово первым предкам твоим, критику современников твоих и внушить ужас тем, кто будет иметь несчастье жить после тебя.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сколь ни важно для того, чтобы правильно судить о естественном состоянии человека, изучить его с момента первого его появления на свет и рассмотреть, так сказать, первый эмбрион этого вида, я не стану следить последовательные изменения его организации, я не стану останавливаться на изучении организма животных, дабы узнать, что мог человек представлять собою вначале, если стал в конце концов тем, чем он стал<sup>46</sup>. Я не стану исследовать, не были ли его продолговатые ногти, как думает Аристотель, сначала вовсе крючкообразными когтями; не был ли он покрыт шерстью, как медведь; и, когда он ходил на четвереньках, не определяли ли его взоры, устремленные к земле и простиравшиеся всего на несколько шагов вперед, самый характер и границы его представлений. Обо всем этом я мог бы высказать здесь только предположения неопределенные и почти лишенные оснований. Сравнительная анатомия сделала еще слишком мало успехов, наблюдения естествоиспытателей еще чересчур неопределенны, чтобы можно было на такой основе построить убедительное рассуждение. Поэтому, не полагаясь здесь на низшедшие на нас озарения свыше и не учитывая изменения, которые должны были совершиться в строении тела человека как внешнем, так и внутреннем, по мере того как он приучал свои члены к новым действиям и переходил к новым видам пищи, я предположу, что он во все времена был таким же, каким вижу я его сегодня: ходил на двух ногах, пользовался своими руками так же, как пользуемся нашими руками мы, охватывал своим взглядом всю природу и измерял взором своим обширное пространство неба.

Освободив существо, таким образом устроенное, от всех сверхъестественных даров, которые могло оно получить, и от всех искусственных способностей, которые оно могло приобрести лишь в результате долгого развития; словом, рассматривая его таким, каким оно должно было выйти из рук природы, я вижу перед собою животное, менее сильное, чем одни, менее проворное, чем другие, но, в общем, организованное лучше, чем какое-либо другое. Я вижу, как утоляет оно свой голод под каким-нибудь дубом и жажду — из



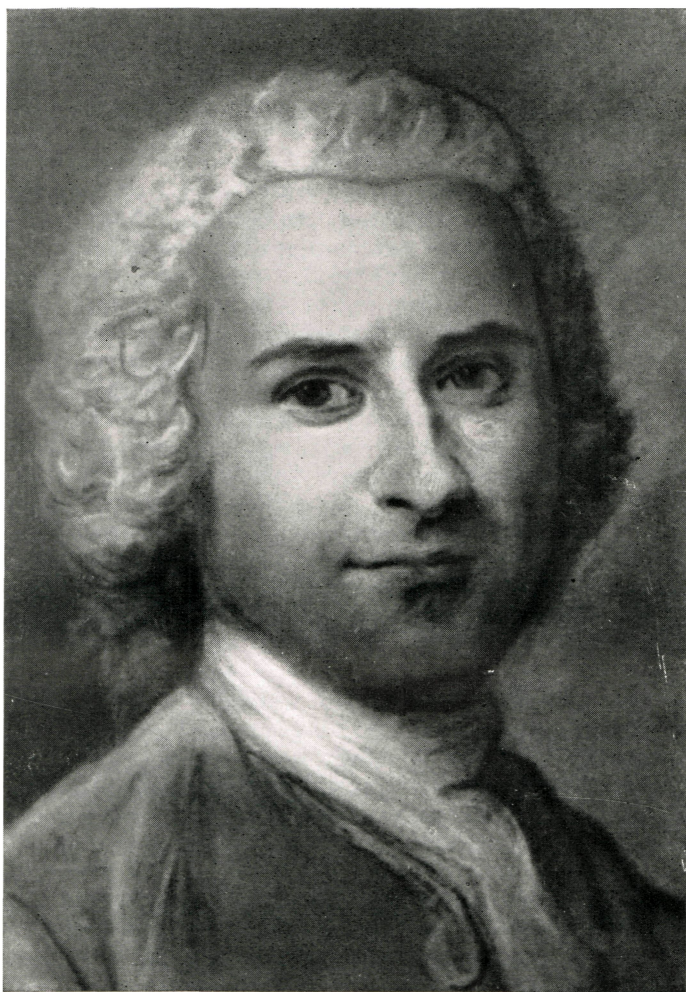
первого встретившегося ему ручья; как находит оно ложе свое под тем же деревом, что доставило ему пищу, — и вот уже удовлетворены все его потребности.

Земля, предоставленная своему естественному плодородию и покрытая огромными лесами, которых еще не калечил топор, предлагает на каждом шагу склады питания и убежища всякого рода животным. Люди, рассеянные среди них, наблюдают, перенимают их навыки и поднимаются таким образом до инстинкта животных: с тем преимуществом, что каждый вид животных обладает лишь своим собственным инстинктом, а человек, который, быть может, не обладает ни одним принадлежащим только ему инстинктом, присваивает себе их все; употребляет в равной мере почти все те виды пищи, которые разделяют между собою другие животные, и, следовательно, находит средства к существованию с меньшим трудом, чем любое из них.

Привыкнувшие с детства к превратностям погоды, к зимней стуже и к летнему зною, приученные к тяготам и вынужденные нагими и безоружными защищать свою жизнь и добычу от других хищных зверей или спастись от них бегством, люди приобретают телосложение крепкое и почти не подверженное изменениям. Дети, появляясь на свет, наследуют превосходное телосложение своих отцов и укрепляют его посредством тех же упражнений, которые его создали; они приобретают, таким образом, всю силу, на которую человеческий род способен. Природа поступает с ним так же, как закон Спарты с детьми ее граждан; она делает сильными и крепкими тех, которые хорошо сложены, и уничтожает всех остальных, отличаясь этим от наших обществ, в которых государство, превращая детей в тяжкое бремя для их отцов, убивает их без всякого разбора еще до их появления на свет.

Так как тело дикого человека — это единственное известное ему орудие, он использует его и для многих таких целей, к которым наши тела, по недостатку упражнений, уже неспособны; самая наша изобретательность лишает нас той силы и той ловкости, которую дикого человека заставляла приобретать необходимость. Имей он топор, разве могла бы рука его ломать столь крепкие ветви? Имей он пращу, разве мог бы он с такою меткостью бросать камни рукою? Будь у него лестница, разве мог бы он с такою легкостью взлезать на деревья? Будь у него лошадь, разве был бы он столь быстр в беге? Дайте цивилизованному человеку время собрать около себя все его машины: не придется сомневаться, что он легко одержит верх над диким человеком; но если хотите вы увидеть борьбу еще более неравную, то поставьте их друг против друга нагими и безоружными и вы вскоре увидите, какое это преимущество — иметь постоянно все силы свои в своем распоряжении, всегда быть готовым ко всякой неожиданности и носить, так сказать, всего себя с собою (III).

Гоббс утверждает<sup>47</sup>, что человек от природы бесстрашен и ждет только случая нападать и сражаться. Один знаменитый философ<sup>48</sup>, напротив, полагает, и Кэмберленд<sup>49</sup> и Пуфендорф<sup>50</sup> также это утверждают, что ничего



*ЖАН-ЖАК РУССО*  
*Портрет работы Ла Тур. Пастель*

нет столь робкого, как человек в его естественном состоянии, и что он всегда дрожит от страха и готов бежать при малейшем шуме, который он слышит, при малейшем движении, которое он заметит. Это, быть может, и так относительно тех предметов, которые ему неизвестны; и я нисколько не сомневаюсь, что он пугается всех новых зрелищ, открывающихся перед ним, всякий раз, когда он не может распознать, должен ли он от этого ждать хорошего или плохого в физическом отношении и не может соразмерить свои силы с грозящими ему опасностями; такого рода обстоятельства весьма редки в естественном состоянии, где все идет так однообразно и когда лицо земли не подвергается тем внезапным и непрерывным изменениям, которые вызывают на земле страсти и непостоянство целых народов. Но дикий человек, живя непосредственно среди животных и с ранних пор в таком положении, когда ему приходится меряться с ними силами, вскоре начинает сравнивать их с собою и, чувствуя, что он в большей мере превосходит их ловкостью, чем они его — силою, приучается их уже не бояться. Заставьте медведя или волка сражаться с дикарем, крепким, ловким и храбрым, как и все они, вооруженным камнями и хорошей дубиной, и вы увидите, что опасность будет, по меньшей мере, взаимной и что после многих подобных опытов хищные звери, которые вообще не любят нападать друг на друга, неохотно станут нападать на человека, которого они сочтут столь же хищным, как они сами. Что же до животных, у которых силы действительно больше, чем у него ловкости, то по отношению к ним он находится в положении других видов, более слабых, которые все же существуют; причем у человека есть то преимущество, что, будучи не менее, чем они, проворен в беге и находя на деревьях почти что обеспеченное убежище, он может всякий раз вступать в борьбу или уклоняться от нее и выбирать между бегством и схваткою. Добавим, что, кажется, нет ни одного животного, которое по своей природе нападало бы на человека, кроме как в случаях самозащиты или крайнего голода, и проявляло бы по отношению к нему столь резкую антипатию, чтобы это свидетельствовало о том, что один из этих видов предназначен природою служить пищей для другого.

Вот, без сомнения, те причины, по которым негры и дикари так мало тревожатся о том, что они могут встретиться в лесу с хищными зверями. Венесуэльские карайбы, среди прочих, живут в этом отношении в полной безопасности, не испытывая ни малейшего неудобства. Хотя они почти наги, говорит Франсуа Кореаль<sup>51</sup>, они смело углубляются в чащу, вооруженные только стрелою и луком; но никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из них был растерзан дикими зверями.

Другие враги человека, более страшные, от которых он не может себя защитить такими же средствами, суть естественные немощи, детство, старость и всякого рода болезни: печальные признаки нашей слабости, из которых

Фронтиспис первого издания трактата Ж.-Ж. Руссо «Рассуждение о происхождении неравенства».

Подпись:

«Он возвращается к равным себе».

первые два общи всем животным, а последний присущ главным образом человеку, живущему в обществе. Если говорить о детях, я мог бы даже заметить, что женщине-матери, которая повсюду носит свое дитя с собою, легче его прокормить, чем самкам многих животных, которые вынуждены беспрестанно уходить и возвращаться, затрачивая на это много сил, — как для того, чтобы отыскать себе пищу, так и для того, чтобы выкармливать своих детенышей молоком или кормить их. Правда, если погибает мать, то и ребенку грозит большая опасность погибнуть вместе с ней; но такая же опасность грозит сотне других видов животных, детеныши которых в течение долгого времени не в состоянии сами отыскивать себе пищу; и если детство у нас более продолжительно, то, поскольку и

жизнь наша более продолжительна, все опять-таки оказывается в этом отношении примерно равным, хотя в том, что касается продолжительности детского возраста и числа детенышей, действуют уже другие законы, не относящиеся к моей теме. У стариков, которые мало действуют и мало потеют, потребности в пище убывают вместе со способностью ее добывать; а так как вольная жизнь избавляет их от подагры и ревматизма, а старость — это из всех бед та, которую человек менее всего в состоянии облегчить, то они угасают в конце концов так, что и не видно, как они перестали существовать, и они почти что не замечают этого сами<sup>52</sup>.

Что до болезней, то я никак не хочу повторять здесь те пустые и живые декламации против медицины, исходящие от большинства здоровых людей; но я спрошу, есть ли какие-нибудь серьезные наблюдения, из которых можно



Il retourne chez les Egaux.

## DISCOURS

SUR L'ORIGINE ET LES FONDEMENTS  
DE L'INEGALITE PARMИ LES HOMMES.

Par JEAN JACQUES ROUSSEAU  
CITOYEN DE GENÈVE.

Non in depravatis, sed in his quæ bene secundum  
naturam se habent, considerandum est quid sit na-  
turale. Аристот. Politic. L. 2.



A AMSTERDAM,

Chez MARC MICHEL REY.

M D C C L V.

Титульный лист первого издания  
трактата Ж.-Ж. Руссо «Рассуждение  
о происхождении неравенства».  
Амстердам, 1755

было бы заключить, что в странах, где искусством этим более всего пренебрегают, средняя продолжительность жизни человека меньше, чем в тех странах, где его насаждают всего заботливее. Да и как могло бы это быть, если мы изобретаем для себя болезней больше, чем медицина может нам предоставить лекарств? Крайнее неравенство в образе жизни, избыток праздности у одних, избыток работы у других; та легкость, с какою можно возбуждать и удовлетворять наши аппетиты и нашу чувственность; слишком изысканная пища богатых, которая сообщает им горячительные соки и вызывает у них расстройство пищеварения, плохая пища бедных, которой, к тому же, им часто не хватает и недостаток которой заставляет их с жадностью переполнять свой желудок, когда это случайно оказывается возможным; бессонные

ночи, излишества всякого рода, неумеренные порывы всех страстей, тревожения и истощение умственных сил, бесконечные огорчения и заботы, которые человек испытывает при любом имущественном положении и которые постоянно гложут его душу — вот печальные доказательства того, что большая часть болезней наших — это дело наших собственных рук и что мы могли бы почти всех их избежать, если бы сохранили образ жизни простой, однообразный и уединенный, который предписан нам был природою. Если она предназначала нас к тому, чтобы мы были здоровыми, то я почти решаюсь утверждать, что состояние размышления — это уже состояние почти что противоестественное и что человек, который размышляет — это животное извращенное. Когда подумаешь о прекрасном здоровье дикарей, по меньшей мере тех, которых мы сами не погубили с помощью наших спиртных напитков; когда вспомнишь, что они почти не знают никаких иных немощей, кроме как раны

и старость, то склоняешься к мысли, что легко можно было бы составить историю человеческих болезней, если проследить историю гражданских обществ. Таково, по крайней мере, мнение Платона<sup>53</sup> — он, судя по некоторым лекарствам, применявшимся или одобрявшимся Подалирием и Махаоном<sup>54</sup>, пришел к выводу, что различные болезни, которые неизбежно должны были вызвать эти лекарства, были, стало быть, еще совсем неизвестны среди людей; а Цельс<sup>55</sup> сообщает, что диета, столь необходимая ныне, была изобретена только Гиппократом<sup>56</sup>.

При столь немногих источниках болезней человек в естественном состоянии почти что не нуждается в лекарствах и еще менее — во врачах; человеческий род в этом отношении находится в положении, отнюдь не худшем, чем все остальные; и у охотников нетрудно узнать, много ли больных животных попадает к им по пути. Много встречают они животных с опасными ранами, которые сами собою очень хорошо зарубцевались; с переломами костей и даже членов, которые выправились без помощи иного хирурга, кроме времени, иного режима, кроме обычной их жизни; эти животные выздоровели окончательно, хотя их не мучили операциями, не отравляли ядами и не изнуряли постами. Наконец, сколь бы ни было полезно нам искусство врачевания, правильно используемое, все же очевидно, что если больному дикарю, предоставленному самому себе, не на кого надеяться, кроме как на природу, ему зато и нечего опасаться, кроме своей болезни: это делает нередко его положение более предпочтительным, чем наше.

Остережемся же смешивать дикого человека с теми людьми, которых видим мы перед собою. Природа обходится со всеми животными, предоставленными ее заботам, с особою нежностью, которая как бы показывает, насколько ревниво относится она к этому своему праву. Лошадь, кошка, бык и даже осел, в большинстве своем, отличаются более высоким ростом и все — более крепким телосложением, большею живостью, силою и храбростью пока живут в лесах, а не в домах наших; они теряют половину этих преимуществ, когда становятся домашними, и можно сказать, что все наши старания хорошо обращаться с этими животными и хорошо кормить их ведут лишь к их вырождению. То же происходит и с человеком: приобретая способность жить в обществе и становясь рабом, он делается слабым, боязливым и приниженным, а его образ жизни изнеженный и расслабленный окончательно подтачивает и его силы и его мужество. Прибавим, что различия между людьми в состояниях диком и домашнем должны быть еще больше, чем между животными дикими и домашними, ибо, поскольку природа обходится одинаково с животным и с человеком, все жизненные удобства, которых человек доставляет себе больше, чем приручаемым им животным, суть особые причины, которые вызывают более ощутимое его вырождение.

Итак, для этих первых людей не составляет столь большого несчастья, ни, даже, столь большого препятствия для их самосохранения — нагота, от-

существование жилища и всех тех ненужностей, которые считаем мы столь необходимыми. Если кожа их не покрыта шерстью, то в жарких странах они в этом не нуждаются, а в холодных странах они быстро научаются приспособлять в качестве одежды шкуры тех животных, которых они победили. Если у них только две ноги, чтобы бегать, зато у них две руки, чтобы позаботиться о своей защите и о своих нуждах. Дети их научаются ходить, быть может, поздно и с трудом, зато матери легко носят их с собою — этого преимущества нет у других видов, у которых мать, будучи преследуема, оказывается вынужденной бросать своих детенышей на произвол судьбы или же соразмерять свой бег с их бегом<sup>1</sup>. Наконец, если не предполагать тех исключительных и случайных обстоятельств, у которых я буду говорить в дальнейшем и которые вполне могли бы никогда не иметь места, то ясно, во всяком случае, что первый, кто изготовил себе одежду и построил себе жилище, доставил себе этим вещи мало необходимые, потому как до того времени он обходился без них, и мы не видим, почему бы он не мог, став взрослым, вести тот образ жизни, который он вел с самого своего детства.

Одиноким, праздным, всегда в непосредственной близости к опасности диким человек должен любить спать и сон его должен быть чутким, как у животных, которые, думая мало, спят, так сказать, все время, когда они не думают. Так как забота о самосохранении составляет почти единственную его заботу, то наиболее развитыми его способностями должны быть те, главное назначение которых служить для нападения и для защиты, либо для того, чтобы овладеть своей добычей, либо для того, чтобы не стать самому добычей другого животного. Напротив, те органы, которые совершенствуются лишь под влиянием изнеженности и чувственности, должны оставаться в грубом состоянии; это исключает в дикаре утонченность какого бы то ни было рода: и так как чувства его разделяются по такому признаку, то осязание и вкус будут у него крайне грубы, зрение же, слух и обоняние — в высшей степени обостренными. Таково животное состояние вообще и таково же, по свидетельству путешественников, состояние большинства диких народов. Поэтому вовсе не следует удивляться ни тому, что готтентоты мыса Доброй Надежды<sup>57</sup> различают невооруженным глазом корабли в открытом море с такого же расстояния, как голландцы с помощью зрительных труб; ни тому, что дикари Америки чувствуют испанцев по их следу, как самые лучшие псы; ни тому, что все эти дикие народы без труда переносят свою нагогу, возбуждают аппетит свой с помощью индейского перца и пьют европейские крепкие напитки, как воду.

<sup>1</sup> Тут возможны некоторые исключения: к примеру, животное из провинции Никарагуа; оно похоже на лисицу; у него ноги напоминают руки человека, и оно, согласно Кореаю<sup>58</sup>, имеет под животом карман, в который мать кладет детей, когда ей приходится спасаться бегством. Это, безусловно, то же животное, что в Мексике называют *глакатином*<sup>59</sup>, и самке которого Лаэт<sup>60</sup> приписывает подобный же карман, имеющий то же назначение.

До сих пор я рассматривал только физическое естество человека, попробуем теперь взглянуть на него со стороны духовной и нравственной.

Во всяком животном я вижу лишь хитроумную машину<sup>61</sup>, которую природа наделила чувствами, чтобы она могла сама себя заводить и ограждать себя, до некоторой степени, от всего, что могло бы ее уничтожить или привести в расстройство. В точности то же самое вижу я и в машине человеческой с той только разницей, что природа одна управляет всеми действиями животного, тогда как человек и сам в этом участвует как свободно действующее лицо. Одно выбирает или отвергает по инстинкту, другой — актом своей свободной воли; это приводит к тому, что животное не может уклониться от предписанного ему порядка, даже если бы то было ему выгодно, человек же часто уклоняется от этого порядка себе во вред.

Именно поэтому голубь умер бы с голоду подле миски, наполненной превосходным мясом, а кошка — на груде плодов или зерна, хотя и тот и другая прекрасно могли бы кормиться этою пищей, которою они пренебрегают, если бы они только догадались ее отведать. Именно поэтому люди невоздержанные предаются излишества, которые вызывают волнения и смерть, так как ум развращает чувства, а желание продолжает еще говорить, когда природа умолкает.

У всякого животного есть свои представления, потому что у него есть чувства; оно даже до некоторой степени комбинирует свои представления, и человек отличается в этом отношении от животного лишь как большее от меньшего<sup>62</sup>. Некоторые философы даже предположили, что один человек больше отличается от другого человека, чем человек — от животного. Следовательно, специфическое отличие, выделяющее человека из всех других животных, составляет не столько разум, сколько его способность действовать свободно. Природа велит всякому живому существу, и животное повинуетя. Человек испытывает то же воздействие, но считает себя свободным повиноваться или противиться, и как раз в сознании этой свободы проявляется более всего духовная природа его души. Ибо физика некоторым образом объясняет нам механизм чувств и образование понятий; но в способности желать, или точнее — выбирать и в ощущении этой способности можно видеть лишь акты чисто духовные, которые ни в коей мере нельзя объяснить, исходя из законов механики.

Но если бы трудности, с которыми связано изучение всех этих вопросов, и оставляли все же некоторый повод для споров относительно этого различия между человеком и животным, то есть другое, весьма характерное и отличающее их одно от другого свойство, которое уже не может вызвать никаких споров: это — способность к самосовершенствованию, которая с помощью различных обстоятельств ведет к последовательному развитию всех остальных способностей, способность, присущая нам как всему роду нашему, так и каждому индивидууму; в то время, как животное по истечении нескольких месяцев



после рождения на свет становится тем, чем будет всю жизнь, а род его, через тысячу лет, — тем же, чем был он в первый год этого тысячелетия. Почему один только человек способен впадать в слабоумие? Не потому ли, что он таким образом возвращается к изначальному своему состоянию; и в то время как животное, которое ничего не приобрело и которое тем более не может ничего потерять, всегда сохраняет свой инстинкт, человек, теряя вследствие старости или иных злоключений все то, что он приобрел благодаря его способности к совершенствованию<sup>63</sup>, снова падает таким образом даже ниже еще, чем животное? Было бы печально для нас, если бы мы вынуждены были признать, что эта отличительная и почти неограниченная способность человека есть источник всех его несчастий, что именно она выводит его с течением времени из того первоначального состояния, в котором он проводит свои дни спокойно и невинно; что именно она, способствуя с веками расцвету его знаний и заблуждений, пороков и добродетелей, превращает его со временем в тирана себя самого и природы (IV). Было бы ужасно, если бы мы должны были восхвалять, как существо благодетельное, того, кто первым подсказал обитателю берегов Ориноко, как применять дощечки<sup>64</sup>, которыми он зажимает виски своих детей и которые являются, по меньшей мере, одной из причин их слабоумия и первобытного их счастья.

Дикий человек, предоставленный природою одному лишь инстинкту, или, точнее, вознаграждаемый за возможное отсутствие инстинкта такими способностями, которые сперва позволяют ему заменить его, а потом поднимают его значительно над природою, — этот человек начнет с чисто животных функций. Замечать и чувствовать — таково будет первое его состояние, которое будет у него еще общим со всеми другими животными; хотеть и не хотеть, желать и бояться — таковы будут первые и почти единственные движения души его до тех пор, пока новые обстоятельства не вызовут в ней нового развития.

Что бы там ни говорили моралисты, а разум человеческий все же многим обязан страстям<sup>65</sup>, которые, по общему признанию, также многим ему обязаны. Именно благодаря их деятельности и совершенствуется наш разум; мы хотим знать только потому, что мы хотим наслаждаться, и невозможно было бы постигнуть, зачем тот, у кого нет ни желаний, ни страхов, дал бы себе труд мыслить. Страсти, в свою очередь, ведут свое происхождение от наших потребностей, а развитие их — от наших знаний; ибо желать или бояться чего-либо можно лишь на основании представлений, которые можем мы иметь об этом или же следуя естественному импульсу; и дикий человек, лишенный каких бы то ни было познаний, испытывает лишь страсти этого последнего рода. Его желания не идут далее его физических потребностей (V); единственные блага в мире, которые ему известны, — это пища, самка и отдых; единственные беды, которых он страшится, — это боль и голод. Я говорю боль, а не смерть, ибо никогда животное не узнает, что такое — умереть, и

знание того, что такое смерть и ужасы ее — это одно из первых приобретений, которые человек делает, отдаляясь от животного состояния <sup>66</sup>.

Мне было бы легко, если бы это было необходимо, подтвердить сие мнение фактами и показать, что у всех народов мира успехи разума оказались в точном соответствии с потребностями, которые они получили от природы или которым подчинили их обстоятельства, и, следовательно, с теми страстями, которые побуждали их удовлетворять эти потребности. Я показал бы, как в Египте науки и искусства рождались и распространялись вместе с разливами Нила <sup>67</sup>; я проследил бы за развитием их у греков, где они зародились, развились и поднялись до небес среди песков и скал Аттики, но не могли укорениться на плодородных берегах Еврота <sup>68</sup>; я отметил бы, что вообще народы Севера более изобретательны, чем народы Юга <sup>69</sup>, потому что им труднее без этого обойтись; как если бы природа таким образом хотела уравнять возможности, наделив умы тем плодородием, в котором она отказала почве.

Но даже если мы и не будем прибегать к малодостоверным свидетельствам истории, разве не всякому понятно, что все, казалось бы, удаляет от дикого человека искушение и средства перестать быть таковым? Его воображение ничего не рисует ему, его сердце ничего от него не требует. То, что нужно для удовлетворения его скромных потребностей, столь легко можно найти под руками и он столь далек от уровня знаний, необходимого для того, чтобы желать приобрести еще больше, что у него не может быть ни предвидения, ни любознательности. Зрелище природы становится ему безразличным по мере того, как оно становится для него привычным; вечно тот же порядок, вечно те же перевороты; он не склонен удивляться величайшим чудесам, и не у него следует искать тот философский склад ума, который пужен человеку, чтобы он смог однажды заметить то, что до этого видел он ежедневно. Его душа, которую ничто не волнует, предается только лишь ощущению его существования в данный момент, не имея никакого представления о будущем, как бы оно ни было близко, и его планы, ограниченные, как и кругозор его, едва простираются до конца текущего дня. Такова еще и сегодня степень предвидения караива: он продает поутру хлопковое ложе свое и, плача, приходит выкупать его к вечеру, так как он не предвидел, что оно может ему понадобиться на ближайшую ночь <sup>70</sup>.

Чем больше размышляем мы по этому вопросу, тем более увеличивается в наших глазах дистанция между чистыми ощущениями и самыми несложными знаниями; и невозможно себе представить, как мог человек, только своими силами и без помощи общения с себе подобными и не подстрекаемый необходимостью, преодолеть столь большое расстояние. Сколько веков, возможно, протекло, прежде чем люди оказались в состоянии увидеть иной огонь, кроме небесного! сколько понадобилось им разного рода случайностей, чтобы научиться самым обычным способам пользоваться этою стихией! сколько раз

погасал он у них, прежде чем они постигли искусство разводить его вновь! и сколько раз, быть может, каждый из секретов этих умирал вместе с тем, кто открывал его! Что же сказать нам о земледелии, искусстве, которое требует столько труда и столько предусмотрительности, зависит от столь многих других искусств, которое, вполне очевидно, может применяться только в обществе, хотя бы недавно возникшем, и служит нам не столько для того, чтобы добывать из земли ту пищу, которую земля исправно доставляла бы и без него, сколько для того, чтобы заставить ее производить предпочтительнее то, что нам более всего по вкусу? Но предположим, что люди размножились настолько, что продуктов природы оказалось бы уже недостаточно, чтобы их прокормить,— предположение это, отметим попутно, свидетельствовало бы, что этот образ жизни заключает в себе великую выгоду для человеческого рода. Предположим, что земледельческие орудия, без кузниц и мастерских, попали бы в руки дикарей, упав с неба; что люди эти побороли бы в себе смертельное отвращение, которое все они питают к продолжительному труду; что они научились бы предвидеть столь задолго свои потребности; что они догадались бы, как нужно обрабатывать землю, высевать семена и сажать деревья; что они открыли бы искусство молоть хлебные зерна и вызывать брожение в винограде — всему этому должны были бы их научить боги, потому что невозможно постигнуть, как могли бы они научиться этому сами,— кто после всего этого был бы столь безрассуден, чтобы выбиваться из сил, обрабатывая поле, которое будет опустошено первым же пришельцем — безразлично, человеком или животным,— которому приглянется эта жатва? И почему бы каждый решил проводить жизнь свою в тяжелых трудах, если он будет тем менее уверен в том, что получит вознаграждение за них, чем более будет оно ему необходимо? Словом, как может положение это побудить людей обрабатывать землю до тех пор, пока не будет она вообще разделена между ними, то есть пока не будет вообще уничтожено естественное состояние?

Если бы мы захотели предположить, что дикий человек столь же далеко ушел в искусстве мышления, каким нам представляют его наши философы; если бы мы, по их примеру, сделали его самого философом, самостоятельно открывающим возвышеннейшие истины, создающим себе путем целого ряда отвлеченных рассуждений принципы справедливого и разумного, основанные на любви к порядку вообще или на познанной воле Создателя его: словом, если бы мы предположили, что у него в голове столько же смысла, сколько в действительности там оказывается непонятливости и тупости,— то какую пользу извлек бы род человеческий из такого рода умственного развития, которое не могло бы передаваться от одного индивидуума к другому и умирало бы вместе с тем, кто проделал его? Каковы могли бы быть успехи рода человеческого, рассеянного в лесах среди животных? И до какой степени могли бы взаимно совершенствоваться и взаимно просвещать друг друга люди,

которые, не имея ни постоянного жилища, ни какой бы то ни было нужды один в другом, встречались бы, быть может, не более двух раз в своей жизни, не узнавая друг друга и не вступая друг с другом в разговор? <sup>71</sup>

Подумайте, сколькими представлениями обязаны мы употреблению речи; как изощряет и облегчает грамматика действия ума; каких невообразимых усилий и какого огромного времени стоило впервые изобрести языки: присоедините к этим соображениям предыдущие, и тогда судите сами, сколько тысяч веков потребовалось, чтобы развить последовательно в человеческом уме способность производить те действия, на которые он был способен.

Да будет мне позволено бросить беглый взгляд на трудности, связанные с вопросом о происхождении языков <sup>72</sup>. Я мог бы ограничиться здесь изложением или повторением исследований по этому вопросу г-на аббата де Кондильяка <sup>73</sup>, они полностью подтверждают мое мнение и они-то, быть может, и дали мне первое представление об этом предмете. Но способ, каким этот философ разрешает трудности, которые он сам же себе создает в вопросе о происхождении установленных законов, показывает, что он предположил то, что я подвергаю сомнению, а именно — уже установленную своего рода связь между изобретателями языка; поэтому я полагаю, что, отсылая читателя к его размышлениям, я должен присоединить к ним и мои, чтобы представить эти трудности в освещении, соответствующем моей теме. Первая трудность, которая здесь возникает, состоит в том, чтобы представить себе, каким образом языки могли оказаться нужны, ибо если люди не имели никаких сношений между собою и никакой нужды в них, то непонятна ни потребность в этом изобретении, ни возможность его, если не было оно необходимо. Я вполне мог бы сказать, как многие другие, что языки родились в домашних сношениях между отцами, матерями и детьми. Но помимо того, что это вовсе не опровергло бы возражений, это значило бы совершить ошибку, которую совершают все, кто, размышляя о естественном состоянии, переносят на него понятия, взятые в обществе, видят всегда семью соединенной в одном и том же жилище и ее членов, сохраняющих между собою союз столь же тесный и столь же постоянный, каким он является у нас, где их объединяет столько общих интересов; между тем, в этом первобытном состоянии не было ни домов, ни хижинок, ни какого бы то ни было рода собственности, и поэтому каждый располагался как и где придется — и часто только на одну ночь: самцы и самки соединялись случайно волею встречи, случая и желания, не испытывая особой необходимости в речи, чтобы передавать то, что им нужно было сказать друг другу; они покидали друг друга с такою же легкостью. Мать сначала выкармливала своих детей, потому что ей самой это было необходимо; затем привычка делала их для нее дорогими — и она кормила их потому, что это было им необходимо. Как только у них появлялись силы искать себе пропитание, они немедленно покидали мать, и так как едва ли

было какое-нибудь другое средство отыскивать друг друга, кроме как не терять друг друга из виду, то они вскоре доходили до того, что переставали даже узнавать друг друга. Отметим еще, что так как ребенок должен объяснить все, что ему надобно, и, следовательно, ему нужно сказать матери больше, чем мать должна сказать ему, то именно ребенку нужно потратить больше всего труда на это изобретение, и язык, которым он пользуется, должен быть в значительной степени его собственным созданием<sup>74</sup>. Это плодит столько же языков, сколько существует индивидуумов, чтобы на них разговаривать; этому способствует еще кочевой образ жизни, который не дает ни одному наречию времени укорениться. Если же сказать, что мать диктует ребенку слова, которыми он должен будет пользоваться, чтобы попросить у нее то или иное, то сие наглядно показывает, как обучают языкам, уже сложившимся, но это вовсе не объясняет, как они складываются.

Предположим первую эту трудность преодоленною; перенесемся на мгновение через огромное пространство, которое должно было отделять естественное состояние от возникшей уже потребности в языках, и попытаемся узнать, предполагая, что языки необходимы (VI), как они могли начать устанавливаться. Новая трудность, еще бóльшая, чем предыдущая. Ибо если люди нуждались в речи, чтобы научиться мыслить, то они еще более нуждались в умении мыслить, чтобы изобрести искусство речи<sup>75</sup>, и если бы мы поняли, каким образом звуки голоса взяты были как условные передатчики наших мыслей, то все же останется еще узнать, каковы могли быть сами передатчики условия этого для понятий, которые, не имея предместом своим нечто осязаемое, не могли быть определяемы ни жестами, ни голосом. Так что едва ли можно строить какие-либо основательные предположения относительно зарождения этого искусства сообщать другим свои мысли и устанавливать сношения между умами; искусства возвышенного, которое столь далеко уже ушло от своих истоков, но, на взгляд философа, остается еще столь далеким от своего совершенства, что нет человека достаточно дерзкого, который решился бы утверждать, что оно когда-нибудь придет к этому совершенству — даже если бы перевороты, которые неизбежно приносит с собой время, и прекратились, к выгоде для него, даже если бы академии расстались со всеми своими предрассудками или предрассудки умогли перед лицом академий, и академии могли бы непрерывно, на протяжении целых столетий, заниматься только этим затруднительным вопросом.

Первый язык человека, язык наиболее всеобщий, наиболее выразительный и единственный, в котором нуждался он, прежде чем пришло ему убеждать в чем-то людей уже объединившихся, — это крик самой природы<sup>76</sup>. Так как этот крик исторгался у человека лишь силою некоторого рода инстинкта в случаях настоятельной необходимости, чтобы умолять о помощи при большой опасности или об облегчении при тяжких страданиях, то им редко пользовались в повседневной жизни, где царят чувства более умеренные.

Когда представления людей стали расширяться и усложняться и когда между людьми установилось более тесное общение, они постарались найти знаки более многочисленные и язык более развитый, они увеличили число изменений голоса и присоединили к ним жесты, которые по природе своей более выразительны и смысл которых менее зависит от предварительного условия. Они, таким образом, выражали предметы видимые и движущиеся посредством жестов, а те, которые действуют на слух, — посредством звукоподражаний. А так как жесты означают почти только такие предметы, которые налицо, или такие, которые легко описать, и видимые действия, так как применение жестов не всеобъемлюще, потому что темнота или возникновение преграды в виде какого-либо предмета делают их бесполезными и потому что они скорее требуют внимания, чем возбуждают его, то, в конце концов, додумались заменить их изменениями голоса, которые, не имея такой же связи с определенными представлениями, все же более способны выражать их в виде условных обозначений. Замена эта может совершиться только с общего согласия и притом таким способом, который довольно трудно было осуществить людям с мало развитыми, ввиду отсутствия упражнений, органами речи, и такая замена сама по себе кажется еще более непостижимой, потому что это единственное согласие должно было быть каким-либо образом мотивировано, и, следовательно, получается, что весьма необходимо было прежде обладать речью, чтобы потом ввести ее в употребление.

Надо полагать, что первые слова, которыми люди пользовались, имели в их уме значение гораздо более широкое, чем слова, которые употребляют в языках, уже сложившихся; и что, не ведая разделения речи на составные ее части, они придавали каждому слову сначала смысл целого предложения<sup>77</sup>. Когда они начали отличать подлежащее от сказуемого и глаголы от существительных, что было уже не малым подвигом человеческого гения, существительных было вначале лишь столько же, сколько имен собственных, настоящее время инфинитива было единственным временем глаголов<sup>78</sup>; а что до прилагательных<sup>79</sup>, то понятие о них должно было развиваться лишь с большим трудом, потому что всякое прилагательное есть слово абстрактное, а абстракции суть операции трудные и мало естественные.

Каждый предмет получил сначала свое особое название, вне зависимости от родов и видов, которые эти первые учителя не были в состоянии различать, и все индивидуумы представлялись их уму обособленными, какими и являются они на картине природы. Если один дуб назывался А, то другой дуб назывался Б, ибо первое наше представление, которое возникает при виде двух предметов — это то, что они не одно и то же, и часто нужно немало времени, чтобы подметить, что у них есть общего; так что чем более ограниченными были знания, тем обширнее становился словарь<sup>80</sup>. Затруднения, связанные со всею этою номенклатурой, нельзя было легко устранить, ибо, чтобы расположить живые существа согласно общим и родовым обозначениям, нужно

было знать свойства и различия, нужны были наблюдения и определения, то есть требовались естественная история и метафизика в гораздо большем объеме, чем то могло быть известно людям того времени.

К тому же общие понятия могут сложиться в уме лишь с помощью слов, а рассудок постигает их лишь посредством предложений. Это — одна из причин, почему у животных не может образоваться таких понятий и почему они не смогут когда бы то ни было приобрести ту способность к совершенствованию, которая от этих понятий зависит. Когда обезьяна, не колеблясь, переходит от одного ореха к другому, то разве думаем мы, что у нее есть общее понятие об этом роде плодов и что она сравнивает сложившийся у нее первообраз с этими двумя отдельными предметами? Нет, конечно; но вид одного из этих орехов вызывает в ее памяти ощущения, вызванные у нее другим, а глаза ее, уже приспособившись определенным образом, предуведомляют ее орган вкуса о том, как он должен приспособиться. Всякое общее понятие чисто умственно; если только к нему хоть чуть-чуть примешивается воображение, понятие сразу же становится частным. Попробуйте представить себе образ дерева вообще — это вам никогда не удастся: помимо вашей воли, вы должны будете увидеть его маленьким или большим, густым или с редкою листвою, светлым или темным, и если бы от вас зависело увидеть в нем лишь только то, что свойственно всякому дереву, то образ этот больше не походил бы на дерево. То, что существует только как чистая абстракция, также можно увидеть подобным образом или постигнуть лишь посредством речи. Одно только определение треугольника даст вам о нем истинное представление; но как только вы представите себе треугольник в уме, то это будет именно такой-то треугольник, а не иной, и вы обязательно придадите ему ощутимые линии или окрашенную плоскость. Нужно, следовательно, произносить предложения, нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия<sup>81</sup>: ибо как только прекращается работа воображения, ум может продвигаться лишь с помощью речи. Если, таким образом, первые изобретатели могли дать названия лишь тем понятиям, которые у них уже были, то отсюда следует, что первые существительные никогда не могли быть ничем иным, кроме как именами собственными.

Но когда, посредством непостижимых для меня способов, наши новоявленные грамматики начали расширять свои понятия и делать более общими свои слова, то невежество изобретателей должно было ограничить этот метод весьма тесными рамками; и так как сначала они чрезмерно умножили число названий индивидуумов, ибо не знали родов и видов, то впоследствии они образовали уже слишком мало видов и родов, ибо существа они не рассматривали с точки зрения всех их различий. Чтобы продвинуть разделение достаточно далеко, нужно было иметь больше опыта и знаний, чем могло у них быть, больше исследований и труда, чем пожелали они на это употребить. А если и теперь открывают ежедневно новые виды, которые до сих пор

ускользали от всех наших наблюдений, то подумайте, сколько их должно было укрыться от людей, которые судили о вещах лишь по первому взгляду. Что же до первоначальных категорий и наиболее общих понятий, то излишне прибавлять, что они также должны были от них ускользать. Как могли они, например, представить себе или понять такие слова, как материя, дух, сущность, способ, образ, движение, когда наши философы, которые столь долгое время уже ими пользуются, с большим трудом могут их понять сами, и,— так как понятия, которые связываем мы с этими словами, всецело отвлеченные, — они не находят им никакого прообраза в природе?

Я останавлиюсь на этих первых шагах и умоляю моих судей прервать здесь чтение и подумать: после изобретения существенных, т. е. той части языка, которую создать было легче всего, — какой еще путь должен был пройти язык, чтобы он мог выражать все мысли людей, чтобы он мог получить постоянную форму, чтобы на нем можно было разговаривать публично и с его помощью воздействовать на общество? Я умоляю их поразмыслить над тем, сколько потребовалось времени и знаний, чтобы изобрести числа (VII), слова, обозначающие отвлеченные понятия, аористы и все времена глаголов, частицы, синтаксис, чтобы научиться составлять предложения, суждения и чтобы создать всю логическую систему речи. Что до меня, то, уstraшенный все умножающимися трудностями и убежденный в том, что, как это уже почти доказано, языки не могли возникнуть и утвердиться с помощью средств чисто человеческих <sup>82</sup>, я предоставляю всем желающим заниматься обсуждением сего трудного вопроса: что было нужнее — общество, уже сложившееся, — для введения языков, либо языки, уже изобретенные, — для установления общества.

Как бы ни обстояло дело с происхождением языка и общества, все же по тому, сколь мало природа позаботилась о сближении людей на основе их взаимных потребностей и об облегчении им пользования речью, видно, по меньшей мере, сколь мало подготовила она их способность к общезнанию <sup>83</sup> и сколь мало внесла она своего во все то, что сделали они, чтобы укрепить узы общества. В самом деле, невозможно представить себе, почему человек в этом первобытном состоянии больше нуждался бы в другом человеке, чем обезьяна или волк — в себе подобных; и если даже предположить, что была у него в этом нужда, то какая причина могла бы побудить другого человека идти ему в этом навстречу; наконец, даже в этом последнем случае, как могли бы они достигнуть между собою соглашения относительно тех или иных условий. Нам беспрестанно повторяют, я это знаю, что не было ничего столь несчастного, как человек в этом состоянии <sup>84</sup>; и если верно, как я надеюсь, это доказал, что лишь через много веков у него могли появиться желание и возможность выйти из этого состояния, то винить в этом надо бы природу, а не того, кого она таким именно создала. Но если я правильно понимаю это выражение *несчастный*, то слово это либо вовсе не имеет смыс-



да, либо означает лишь мучительные лишения и страдания души или тела; и если так, то я бы очень хотел, чтобы мне объяснили, какого рода могут быть несчастья существа свободного, спокойного душою и здорового телом. Я спрашиваю, который из двух образов жизни — в гражданском обществе или в естественном состоянии — скорее может стать невыносимым для того, кто живет в этих условиях? Мы видим вокруг нас почти только таких людей, которые жалуются на свою жизнь, и многих таких, которые лишают себя жизни, когда это в их власти; законы божеский и человеческий вместе едва способны остановить этот беспорядок. А случалось ли вам когда-либо слышать, я спрашиваю, чтобы дикарь на свободе хотя бы только подумал о том, чтобы жаловаться на жизнь и кончать с собою. Судите же с меньшим высокомерием о том, по какую сторону мы видим подлинное человеческое несчастье. И напротив, могло ли быть существо столь же несчастное, как дикий человек, ослепленный познаниями, измученный страстями и рассуждающий о состоянии, отличном от его собственного. То было весьма мудрым предвидением, что способности, которыми обладал этот человек в потенции, должны были развиваться только тогда, когда уже были случаи их упражнять, так чтобы они не оказались для него излишними и обременительными прежде времени или же запоздалыми и бесполезными в случае надобности. В одном только инстинкте заключалось для него все, что было ему необходимо, чтобы жить в естественном состоянии; а в просвещенном уме заключается для него лишь то, что ему необходимо, чтобы жить в обществе.

На первый взгляд кажется, что люди, которые в этом состоянии не имели между собою ни какого-либо рода отношений морального характера, ни определенных обязанностей, не могли быть ни хорошими, ни дурными и не имели ни пороков, ни добродетелей<sup>85</sup>; если только, принимая эти слова в некоем физическом смысле, мы не назовем пороками те качества индивидуума, которые могут препятствовать его самосохранению, а добродетелями — те качества, которые могут его самосохранению способствовать; в этом случае пришлось бы назвать наиболее добродетельным того, кто менее всех противился бы простейшим внушениям природы. Но, если мы не будем отходить от обычного значения этого слова, то лучше не высказывать пока суждения, которое могли бы мы вынести о таком положении, и не доверяться нашим предрассудкам до тех пор, пока, имея в руках надежное мерило, мы не исследуем, больше ли добродетелей, чем пороков, среди людей цивилизованных, либо же — приносят ли этим людям больше пользы их добродетели, чем вреда — их пороки; либо — является ли развитие их знаний достаточным вознаграждением за то зло, которое они взаимно причиняют один другому по мере того, как научаются добру, которое они должны делать друг другу; либо же, в общем, — не было ли бы их положение более предпочтительным, когда им нечего было терять и не надо было ни страшиться зла, ни ждать добра от кого бы то ни было, чем тогда, когда, сделавшись зависимыми от

всего решительно, они обязались бы ждать всего от тех, кто не обязывается что-либо им давать.

Более же всего воздержимся заключать вместе с Гоббсом<sup>86</sup>, что пока человек не имеет понятия о доброте, он от природы зол, что он порочен, пока не знает добродетели; что он неизменно отказывает себе подобным в услугах, если он не считает себя к тому обязанным, и что, в силу права на владение вещами, ему необходимыми, — права, которое он не без основания себе присваивает, — он безрассудно мнит себя единственным обладателем всего мира<sup>87</sup>. Гоббс очень хорошо видел недостаточность всех современных определений естественного права, но следствия, которые выводит он из своего собственного определения, показывают, что он придает ему такое значение, которое не менее ложно. Исходя из принципов, им же установленных, этот автор должен был бы сказать, что естественное состояние — это такое состояние, когда забота о нашем самосохранении менее всего вредит заботе других о самосохранении, и состояние это, следовательно, есть наиболее благоприятное для мира и наиболее подходящее для человеческого рода. Он, однако, утверждает как раз противное, когда включает, весьма некстати, в то, что составляет заботу дикого человека о своем самосохранении, необходимость удовлетворять множество страстей, кои суть порождение общества и которые сделали необходимым установление законов. Злой, — говорит он<sup>88</sup>, — это сильное дитя. Остается выяснить, является ли дикарь сильным дитятею? Допустим, что мы бы с ним в этом согласились, что бы он из этого вывел? Что, если, будучи сильным, человек этот так же зависел от других, как тогда, когда он слаб, что нет такой крайности, которая могла бы его остановить: он прибил бы свою мать, если бы она слишком замешкалась дать ему грудь; он задушил бы одного из своих младших братьев, если бы тот ему докучал; он укусил бы за ногу другого, если бы тот толкнул его или обеспокоил. Но — быть сильным и одновременно зависимым — это два предположения, которые исключают друг друга при естественном состоянии: человек слаб, когда он зависим, но он освобождается от зависимости прежде еще, чем становится сильным. Гоббс упустил из виду, что та же причина, которая мешает дикарям использовать свой ум, как утверждают наши юристы, в то же время мешает им злоупотреблять своими способностями, как утверждает он сам. Так что можно было бы сказать, что дикари не злы как раз потому, что они не знают, что значит быть добрыми; ибо не развитие познаний и не узда Закона, а безмятежность страстей и неведение порока мешают им совершать зло: *Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio virtutis* \*. Есть, впрочем, еще одно начало, которое Гоббс совсем упустил из

---

\* «Им приносит больше пользы незнание пороков, чем другим — знание добродетелей»<sup>89</sup> (лат.). Ю с т и н. История, II, 15.

вида и которое, будучи дано человеку для смягчения, в известных обстоятельствах, неукротимости его самолюбия или его стремления к самосохранению, пока еще не родилось чувство самолюбия (VIII), умеряет его рвение в борьбе за свое благополучие врожденным отвращением, которое он испытывает при виде страданий ему подобного<sup>90</sup>. Полагаю, что мне нечего бояться каких-либо возражений, если я отдам человеку ту единственную природную добродетель, признать которую был вынужден даже самый злостный хулитель добродетелей человеческих<sup>91</sup>. Я говорю о жалости, о естественном сочувствии к существам, которые столь же слабы, как мы, и которым грозит столько же бед, как и нам: добродетель эта тем более всеобъемлюща и тем более полезна для человека, что она предшествует у него всякому размышлению, и столь естественна, что даже животные иногда обнаруживают явные ее признаки. Не говоря уже о нежности матерей к их детенышам и о тех опасностях, которым идут они навстречу, чтобы оградить своих детенышей от этих опасностей, разве не приходится нам ежедневно наблюдать, сколь противно лошади раздавить ногою какое-либо живое существо. Всякое животное чувствует некоторое беспокойство, когда встречает на своем пути мертвое животное его же вида; есть даже такие, которые устраивают своим собратьям нечто вроде погребения; и жалобный рев скота, когда он попадает на бойню, говорит о том впечатлении, которое производит на него это ужасное зрелище, его поражающее. Мы с удовольствием замечаем, что и автор *Басни о пчелах*<sup>92</sup>, вынужденный признать человека существом сострадательным и чувствительным, в том примере, который он по этому случаю приводит, изменяет своему изысканному и холодному стилю и представляет нам волнующий образ человека, находящегося взаперти, который видит, как за окном дикий зверь вырывает дитя из объятий матери, крошит смертоносными своими зубами его слабые члены и разрывает ногтями трепещущие внутренности этого дитяти. Какое страшное волнение должен испытать свидетель подобной сцены, которая никак не касается его самого! какие муки должен он испытывать при этом зрелище от того, что не может он оказать никакой помощи ни лишившейся чувств матери, ни умирающему ребенку.

Таков чисто естественный порыв, предшествующий всякому размышлению, такова сила естественного сострадания, которое самым развращенным нравам еще так трудно уничтожить, ибо видим же мы ежедневно, как на наших спектаклях умиляется и льет слезы над злоключениями какого-нибудь несчастливца тот, кто, оказавшись он на месте тирана, еще более отягчил бы муки врага своего, подобно кровожадному Сулле<sup>93</sup>, столь чувствительному к несчастьям, если не он был их причиною, или этому Александру Ферскому<sup>94</sup>, который не решался присутствовать на представлении какой бы то ни было трагедии, опасаясь, как бы не увидели, как стонет он вместе с Андромахой и Приамом<sup>95</sup>, что не мешало ему без волнения слушать вопли стольких граждан, которых убивали ежедневно по его же приказаниям.

*Mollissima corda*

*Humano generi dare se natura fatetur,  
Quae lacrimas dedit\*.*

Мандевилль хорошо понимал, что, несмотря на все свои моральные принципы, люди навсегда остались бы нечем иным, как чудовищами, если бы природа не дала им сострадание в помощь разуму; но он не увидел, что уже из этого одного качества возникают все общественные добродетели, в которых хочет он отказать людям. В самом деле, что такое великодушие, милосердие и человечность, как не сострадание к слабым, к виновным или к человеческому роду вообще? Благожелательность и даже дружба суть, если взглянуть на это как следует, результат постоянного сострадания, направленного на определенный предмет; ибо желать, чтобы кто-нибудь не страдал — разве это не значит желать, чтобы он был счастлив? Если верно, что сострадание есть всего лишь такое чувство, которое ставит нас на место того, кто страдает<sup>96</sup>, — чувство безотчетное и сильное у человека дикого, развитое, но слабое у человека в гражданском состоянии, — то истинность моих слов получает новое подтверждение. В самом деле, сострадание будет тем сильнее, чем теснее отождествит себя животное — зритель с животным страдающим. Ведь очевидно, что отождествление это должно было бы быть несравненно более полным в естественном состоянии, чем в таком состоянии, когда люди уже рассуждают. Разум порождает самолюбие, а размышление его укрепляет; именно размышление заставляет человека обратить свои мысли на самого себя, именно размышление отделяет человека от всего, что стесняет его и удручает. Философия изолирует человека; именно из-за нее говорит он втихомолку при виде страждущего: «Гибни, если хочешь, я в безопасности». Только опасности, угрожающие всему обществу, могут нарушить спокойный сон философа и поднять его с постели. Можно безнаказанно зарезать ближнего под его окном; ему стоит только закрыть себе руками уши и несколько успокоить себя несложными доводами, чтобы не дать восстающей в нем природе отождествить себя с тем, которого убивают<sup>97</sup>. Дикий человек полностью лишен этого восхитительного таланта; и, по недостатку благоразумия и ума, он всегда без рассуждений отдается первому порыву человеколюбия. Во время бунтов, во время уличных драк сбегается чернь, а человек благоразумный старается держаться подальше; сброд, рыночные торговки разнимают дерущихся и мешают почтенным людям перебить друг друга.

Итак, совершенно очевидно, что сострадание — это естественное чувство, которое, умеряя в каждом индивидууме действие себялюбия, способствует взаимному сохранению всего рода. Оно-то и заставляет нас, не рассуждая,

\* Нежнейшее сердце

Дать роду людскому, видно, желала природа,  
Коль наделила слезами (лат.)<sup>98</sup>.

спешить на помощь всем, кто страдает у нас на глазах; оно-то и занимает в естественном состоянии место законов, нравственности и добродетели, обладая тем преимуществом, что никто и не пытается послушаться его кроткого голоса; именно оно не позволит какому бы то ни было сильному дикарю отнять у слабого ребенка или у немощного старика с трудом добытую пищу, если сам он надеется найти ее для себя в другом месте; именно оно внушает всем людям вместо этого возвышенного предписания: *Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобою*<sup>99</sup>, то другое предписание доброты естественной, которое куда менее совершенно, но, быть может, более полезно, чем предыдущее: *Заботься о благе твоём, причиняя как можно меньше зла другому*. Словом, именно в этом естественном чувстве скорее, чем в каких-либо хитроумных соображениях, следует видеть причину того отвращения к содеянной злу, которое всякий человек испытывает, даже независимо от тех или иных принципов воспитания. Хотя Сократу и умам его закала, возможно, и удавалось силою своего разума приобщиться добродетели, но человеческий род давно бы уже не существовал, если бы его сохранение зависело только от рассуждений тех, которые его составляют.

Обладая страстями столь мало деятельными, и уздою, столь спасительною, эти люди, скорее неистовые, чем злые, более озабоченные тем, чтобы оградить себя от зла, чем подверженные искушению причинить зло другому, не вступали в слишком опасные распри между собою; так как не было между ними сношений какого-либо рода, и они, следовательно, не знали ни тщеславия, ни преклонения, ни уважения, ни презрения; так как они не имели ни малейшего понятия о «твоем» и «моем», как и какого-либо действительного понятия о справедливости: так как считали насилия, которым могли подвергнуться, злом легко исправимым, а не обидою, требующею наказания, и так как они даже не помышляли о мести,— разве только, что осуществляли ее машинально и немедленно, как собака, что кусает брошенный в нее камень,— то их споры редко приводили к кровавым последствиям, если только не имели они своим предметом чего-нибудь более существенного, нежели пища. Но я вижу здесь еще один предмет, более опасный, о котором мне и остается поговорить.

Среди страстей, которые волнуют сердце человека, есть одна, пылкая, неукротимая, которая делает один пол необходимым другому; страсть ужасная, презирающая все опасности, опрокидывающая все препятствия; в своем неистовстве она, кажется, способна уничтожить человеческий род, который она предназначена сохранять. Во что превратятся люди, став добычею этой необузданной и грубой страсти, не знающей ни стыда, ни удержу, и оспаривающие повседневно друг у друга предметы своей любви ценою своей крови.

Надо прежде всего признать, что чем более неистовы страсти, тем более необходимы законы, чтобы их сдерживать. Но, помимо того, что беспорядки и преступления, которые ежедневно вызывают среди нас эти страсти, довольно хорошо показывают недостаточность законов в этом отношении, было бы еще

неплохо исследовать, не родились ли вообще эти беспорядки вместе с самими законами; ибо в том случае,— если бы они были способны бороться с беспорядками,— то самое малое, чего от них следовало бы потребовать, это: чтобы они покончили с тем злом, которого без них вообще бы не существовало.

Начнем с того, что отделим в чувстве любви духовное от физического. Физическое — это вообще желание, влекущее один пол к соединению с другим. Духовное — это то, что определяет это желание и направляет его исключительно на один только предмет, или, по меньшей мере, сообщает этому желанию, направленному на этот предпочитаемый предмет, высшую степень напряжения. Таким образом, нетрудно увидеть, что духовная сторона любви — это чувство искусственное, порожденное жизнью в обществе и превозносимое женщинами с великою ловкостью и старанием, чтобы укрепить свою власть и сделать господствующим тот пол, который должен был бы подчиняться<sup>100</sup>. Чувство это, основывающееся на определенных понятиях о достоинствах и красоте, понятиях, которых у дикаря вообще не может быть, и на сравнениях, которые он вообще не в состоянии делать, должно быть ему почти незнакомо. Ибо, так как в уме его не могло еще сложиться отвлеченных понятий о правильности и соразмерности, то душа его также неспособна чувствовать восхищение и любовь, которые, хотя и безотчетно, рождаются из применения этих понятий. Он послушен только своему темпераменту, который получил он от природы, а не вкусу, которого он не мог еще приобрести; и любая женщина хороша для него.

Эти люди ограничены знанием одной только физической стороны любви и счастливы, не ведая тех индивидуальных предпочтений, что разжигают это чувство, и умножают его трудности; они должны поэтому не так часто и не так живо чувствовать приступы любовного неистовства; а раз так, то и столкновения между ними должны быть более редки и менее жестоки. Воображение, которое, среди нас, творит столько бед, ничего не говорит сердцу дикаря; каждый спокойно ждет внушения природы, отдается ему, не выбирая, более с удовольствием, чем со страстью; и, как только удовлетворена потребность, желание угасает все целиком.

Бесспорно поэтому, что и сама любовь, как и все прочие страсти, приобрела лишь в обществе тот неукротимый пыл, который делает ее столь часто гибельною для людей; и представлять диких людей беспрестанно истребляющими друг друга ради удовлетворения своих зверских инстинктов тем более смехотворно, что мнение это противоречит фактам и что, например, караибы — народ, который менее, чем какие-либо из ныне существующих народов, отделился от естественного своего состояния,— как раз миролюбивее всех в своих любовных делах и менее всех подвержены ревности<sup>101</sup>, хотя они и живут в знойном климате, который, казалось бы, должен сообщать страстям этим еще большую деятельность.

Что же до выводов, которые можно было бы сделать из наблюдений над различными видами животных, из схваток самцов, которые повседневно оро-

шают кровью наши птичники или оглашают весною своими криками наши леса, оспаривая друг у друга самку, то здесь надо прежде всего исключить все те виды, внутри которых природа, самым очевидным образом, установила иные соотношения между полами, чем у нас: таким образом, петушиные бои вовсе не дают основания для каких-либо заключений относительно человеческого рода. У тех видов животных, у которых пропорция соблюдается более строго, бои эти могут иметь причину только немногочисленность самок по сравнению с числом самцов, либо наличие таких промежутков времени, в течение которых самки вообще не подпускают к себе самцов, а это возвращает нас к первой же причине,— ибо если каждая самка допускает к себе самца только два месяца в году, то в результате число самок как бы уменьшается на пять шестых. Однако ни один из этих двух случаев не применим к человеческому роду, где число самок обычно превосходит число самцов и где никогда не приходилось наблюдать, даже у дикарей, чтобы самки, как это имеет место у других видов, периодически то искали самцов, то не подпускали их к себе. Кроме того, поскольку у многих из этих животных период течки наступает одновременно для всего вида, то настает ужасный момент всеобщего возбуждения, сумятицы и боев за самку: момент, который вообще никогда не наступает среди людей, потому что в человеческом роде любовь никогда не бывает связанною с теми или иными периодами. Поэтому из боев некоторых животных за обладание самкой нельзя заключать, что то же самое, вероятно, происходило и с человеком в естественном состоянии, а если бы и можно было сделать такой вывод, то потому как раздоры эти вовсе не уничтожают другие виды животных, следует, по меньшей мере, думать, что они не были бы более пагубными для нашего рода и, весьма очевидно, произвели бы в естественном состоянии еще меньше опустошений, чем производят они в обществе, особенно же в тех странах, где нравственность еще чего-то стоит и где ревность любовников и месть супругов вызывают ежедневно поединки, убийства и еще худшее; где долг вечной верности служит лишь к тому, чтобы вызывать прелюбодеяния, и где сами законы воздержания и чести неизбежно увеличивают разврат и множат число искусственных выкидышей.

Сделаем выводы: дикий человек, который, блуждая в лесах, не обладал трудолюбием, не знал речи, не имел жилища, не вел ни с кем войны и ни с кем не общался, не нуждался в себе подобных, как и не чувствовал никакого желания им вредить, даже, может быть, не знал никого из них в отдельности, был подвержен лишь немногим страстям, и, довольствуясь самим собою, обладал лишь теми чувствами и познаниями, которые соответствовали такому его состоянию; ощущал только действительные свои потребности, смотрел лишь на то, что, как он думал, представляло для него интерес, и его интеллект делал не большие успехи, чем его тщеславие. Если случайно делал он какое-нибудь открытие, то тем менее мог он кому-нибудь о нем сообщить, что не знал даже собственных детей. Искусство погибало вместе с изобретателем.

Не было ни образования, ни прогресса, бесполезно множились поколения; и, так как каждое из них отправлялось от той же точки, то целые столетия протекали в той же первобытной грубости; род был уже стар, а человек все еще оставался ребенком.

Если я столь долго распространялся об этом предполагаемом первобытном состоянии человека, то это потому, что мне нужно уничтожить старые заблуждения и укоренившиеся предрассудки, и я счел себя обязанным докопаться до корня и показать на картине действительно естественного состояния, что неравенство, пусть даже естественное, имело в этом состоянии далеко не такие размеры и значение, как это утверждают наши писатели.

В самом деле, нетрудно увидеть, что среди тех особенностей, которые составляют различие между людьми, многие считаются естественными, тогда как они являются лишь порождением привычек и различий в образе жизни, которые становятся свойственны людям в обществе. Так, крепость или хилость телосложения и зависящие от этого сила или слабость часто определяются в большей мере тем, закаляли или изнежили человека воспитанием, чем первоначальным строением его тела. Так же обстоит дело и с силами ума; и притом воспитание не только создает различия между умами образованными и необразованными, но оно увеличивает еще и различия между первыми соответственно их образованности; ибо если пойдут по одной дороге великан и карлик, то каждый шаг и первого и второго даст новое преимущество великану. И вот, если мы сравним огромное разнообразие в способах воспитания и в образе жизни у людей различных разрядов в гражданском обществе с простотою и единообразием жизни животной и дикой, когда все питаются одною и тою же пищею, ведут одинаковый образ жизни и делают в точности одно и то же, мы пойдем, насколько менее значительными должны быть различия между людьми в естественном состоянии, чем в общественном состоянии, и насколько должно увеличиться естественное неравенство внутри человеческого рода в результате неравенства, порождаемого общественными установлениями.

Но, если бы природа и была столь пристрастна в распределении своих даров, как это утверждают, то какое преимущество перед остальными получили бы те, к которым она бы оказалась более всего благосклонна, при таком положении вещей, которое делало почти невозможными сношения между ними? Там, где нет никакой любви, к чему там красота? Какой прок от ума людям, которые вообще не умеют говорить, и от хитрости — тем, у которых нет никаких дел. Мне постоянно повторяют, что более сильные будут угнетать слабых. Но пусть мне объяснят, что понимают под этим словом «угнетение». Одни будут господствовать с помощью насилия, другие будут изнемогать, будучи вынуждены подчиняться всем прихотям первых. Вот как раз то, что наблюдаю я среди нас, но я не вижу, как можно говорить это же о дикарях, которым было бы совсем даже нелегко втолковать, что такое порабощение и господство. Человек, конечно, может завладеть плодами, которые собрал дру-



гой, дичью, которую тот убил, пещерою, что служила ему убежищем; но как сможет он достигнуть того, чтобы заставить другого повиноваться себе? и какие могут быть узы зависимости между людьми, которые ничем не обладают? Если меня прогонят с одного дерева, то мне достаточно перейти на другое; если меня будут тревожить в одном месте, кто помешает мне пойти в другое? Если найдется человек, столь превосходящий меня силою и, сверх того, столь развращенный, столь ленивый и столь жестокий, чтобы заставить меня добывать для него пищу, тогда как он будет пребывать в праздности? ему придется поставить себе задачей ни на один миг не терять меня из виду и, ложась спать, с превеликою тщательностью связывать меня из страха, чтобы я не убежал и не убил его, т. е. ему придется добровольно обречь себя на труд гораздо более тяжкий, чем тот труд, которого он захотел бы избежать и чем тот труд, который он взвалил бы на меня. Если же, несмотря на все это, бдительность его ослабеет хоть на минуту? если внезапный шум заставит его повернуть голову? я пробегу двадцать шагов по лесу, — и вот уже оковы мои разбиты, и он не увидит меня больше никогда в жизни.

Даже если не вдаваться более в эти ненужные подробности, каждому должно быть ясно, что узы рабства образуются лишь из взаимной зависимости людей и объединяющих их потребностей друг в друге, и потому невозможно поработить какого-либо человека, не поставив его предварительно в такое положение, чтобы он не мог обойтись без другого: положение это не имеет места в естественном состоянии, и потому каждый свободен в этом состоянии от ярма, а закон более сильного там не действителен.

После того, как я доказал, что неравенство едва ощущается в естественном состоянии и что влияние его в этом состоянии почти равно нулю, мне остается показать его происхождение и развитие в ходе последующего развития человеческого ума. После того, как я показал, что *способность к совершенствованию*, общественные добродетели и другие способности, которые естественный человек получил в потенции, никогда не могли развиться сами собою, что для этого было необходимо случайное сочетание многих внешних причин, которое могло никогда и не возникнуть, и без чего человек навсегда остался бы в своем изначальном состоянии, мне остается еще рассмотреть и сопоставить различные случайности, которые могли способствовать совершенствованию человеческого разума, вызывая одновременно вырождение человеческого рода, превращать человека в существо злое, делая его одновременно способным к общежитию, и от эпохи столь далекой дойти, в конце концов, до той поры, когда человек и мир стали такими, какими мы их видим.

Я признаюсь, что события, которые предстоит мне описать, могли происходить по-разному, и поэтому, делая свой выбор, я могу руководиться лишь теми или иными предположениями. Но кроме того, что догадки эти превращаются в доводы, если они суть наиболее вероятные из тех, которые можно

вывести из природы вещей, и представляют собою единственно возможные средства, чтобы открыть истину,— следствия, которые собираюсь я вывести из этих догадок, вовсе не будут из-за этого предположительными, так как, основываясь на только что установленных мною принципах, нельзя построить никакой иной системы, которая не доставила бы мне тех же результатов и из которой я не мог бы вывести тех же заключений.

Это избавит меня от необходимости развивать мои соображения о том, каким образом удаление во времени от этих событий восполняет для нас недостаточную их правдоподобность; о поразительной силе причин весьма незначительных, ежели они действуют непрерывно; о невозможности, с одной стороны, опровергнуть некоторые гипотезы, если, с другой, мы оказываемся не в состоянии придать им значение достоверных фактов; о том, что если нам даны два факта как достоверные и их нужно связать цепью фактов промежуточных, неизвестных или рассматриваемых как таковые, то это — дело истории, если она у нас есть, доставить нам факты, их соединяющие; это — дело философии, если фактов не хватает, установить сходные факты, которые могут связать первые между собою; наконец, судить о том, насколько сходство различных фактов сводит их к гораздо меньшему числу различных категорий, чем нам это представляется. Мне достаточно представить эти предметы рассмотрению моих судей; мне достаточно поступить таким образом, чтобы обычным читателям уже не было нужды их рассматривать.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первый, кто, огородив участок земли<sup>102</sup>, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!» Но очень похоже на то, что дела пришли уже тогда в такое состояние, что не могли больше оставаться в том же положении. Ибо это понятие — «собственность», зависящее от многих понятий, ему предшествовавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в человеческом уме. Нужно было достигнуть немалых успехов, приобрести множество навыков и познаний, передавать и увеличивать их из поколения в поколение, прежде чем был достигнут этот последний предел естественного состояния. Начнем поэтому с более ранней поры и попытаемся охватить взглядом с одной только точки зрения это медленное развитие событий и знаний в самой естественной их последовательности.

Первым чувством человека было ощущение его бытия; первой его заботой — самосохранение. Плоды земли доставляли ему все необходимые средства к жизни; инстинкт научил его ими пользоваться. Голод и другие влечения заставляли его поочередно испытать то один, то другой способ существования, и среди этих влечений было одно, звавшее его продолжать свой род; эта слепая страсть, лишенная всякого сердечного чувства, влекла за собою только акт чисто животный. Удовлетворив потребность, оба пола уже больше не узнавали друг друга, и даже ребенок ничего уже больше не значил для матери, как только он мог обойтись без нее.

Таково было положение нарождающегося человека; такова была жизнь животного, которому сначала были доступны лишь ощущения в чистом виде и которое едва пользовалось дарами, предподносимыми ему природою, еще не помышляя о том, чтобы что-нибудь у нее отвоевать. Но вскоре он столкнулся с трудностями; нужно было научиться их преодолевать. Высота деревьев, мешавшая человеку добираться до плодов; соперничество животных, которые хотели питаться этими же плодами; свирепость тех из них, которые угрожали его собственной жизни, — все заставляло его настойчиво упражнять свое тело; надо было стать ловким, быстрым в беге, сильным в борьбе. Естественные орудия — ветки деревьев и камни — вскоре попали ему под руку. Он научился преодолевать естественные препятствия, сражаться в случае необходимости с другими животными, оспаривать свою пищу даже у других людей или находить себе новую пищу взамен той, которую приходилось уступать более сильному.

По мере того, как разрастался человеческий род, трудности множились, как и люди. Различия почв, климата, времен года должны были заставить людей вносить различия и в свой образ жизни. Неурожайные годы, долгие и суровые зимы, палящий зной летом, уничтожающий всю растительность, требовали от них новой изобретательности<sup>103</sup>. На берегах морей и рек люди изобретают лесу и крючок, становятся рыболовами и начинают питаться рыбой. В лесах они себе делают луки и стрелы и становятся охотниками и воинами. В холодных странах они одеваются в шкуры убитых ими животных. Гроза, извержение вулкана или какой-нибудь другой счастливый случай знакомит их с огнем — новым средством борьбы с суровостью зимы; они научаются сохранять огонь, затем — воспроизводить его и, наконец, готовить на нем мясо, которое они прежде пожирали сырым.

Это постоянно повторяющееся сопоставление различных живых существ с собою и одних с другими естественно должно было породить в уме человека представления о некоторых соотношениях. Эти отношения, которые мы выражаем словами: большой, маленький, сильный, слабый, быстрый, медленный, боязливый, смелый, и другие подобные понятия, сравниваемые в случае необходимости и притом почти бессознательно, породили в конце концов у него что-то вроде размышления, или, скорее, какое-то машинальное благо-

разумие, которое подсказывало ему предосторожности, наиболее необходимые для его безопасности.

Новые знания, которые появились в результате этого развития, увеличили превосходство его над другими животными и заставили его осознать это превосходство. Он научился ставить животным ловушки, он старался перехитрить их тысячью способов; и хотя многие из тех животных, которые могли быть для него полезны или опасны, превосходили его силою в схватке или быстротою в беге, он стал со временем господином первых и грозю вторых. И поэтому первый взгляд, брошенный человеком на себя самого, вызвал в нем первое движение гордости; и поэтому, едва научившись различать положение различных существ по отношению друг к другу и признав себя первым как представителя своего вида, он уже исподволь готовился притязать на это первое место и как индивидуум.

Хотя ему подобные и не были для него тем же, чем являются они для нас, хотя он навряд ли имел больше общения с ними, чем с другими животными, все же и они не были забыты им в его наблюдениях. Сходные черты, которые мог он со временем подметить между ними, между своею самкою и самим собою, заставили его предполагать существование еще и других сходных черт, которые не были им замечены; и видя, что все они ведут себя так же, как и он вел бы себя при подобных обстоятельствах, он пришел к заключению, что они думают и чувствуют совершенно так же, как и он; и эта важная истина, прочно утвердившись в его уме, благодаря предчувствию столь же верному, но более быстрому, чем логическая операция, заставила его следовать наилучшим правилам поведения, которых ему надлежало с ними придерживаться, чтобы обеспечить себе преимущества и безопасность.

Наученный опытом, что стремление к благополучию — это единственная движущая сила человеческих поступков<sup>104</sup>, он стал способен отличать те редкие случаи, когда общие интересы позволяли ему рассчитывать на содействие ему подобных, и те случаи, еще более редкие, когда соперничество заставляло его их остерегаться. В первом случае он объединялся с ними в одном стаде<sup>105</sup> или, самое большее, в некоторого рода свободной ассоциации, которая ни на кого не налагала никаких обязательств и которая существовала лишь до тех пор, пока существовала кратковременная потребность, ее вызвавшая. Во втором случае, каждый стремился поставить себя в более выгодное положение, либо открыто применяя силу, если он считал это для себя возможным, либо с помощью ловкости и изворотливости, если он чувствовал себя более слабым.

Вот каким образом люди могли незаметно для самих себя приобрести некоторое грубое понятие о взаимных обязательствах и о том, сколь выгодно их исполнять; но лишь постольку, поскольку этого могли требовать интересы насущные и осязаемые, ибо они не знали, что такое предусмотрительность; и они не только не думали о далеком будущем, но не помышляли даже о зав-

трашем дне. Если охотились на оленя, то каждый хорошо понимал, что для этого он обязан оставаться на своем посту, но если вблизи кого-либо из них пробежал заяц, то не приходится сомневаться, что он без зазрения совести пускался за ним вдогонку и, настигнув свою добычу, весьма мало сокрушался о том, что таким образом лишил добычи своих товарищей.

Легко понять, что для подобных сношений нужен был язык, не многим более утонченный, чем язык ворон или обезьян, которые собираются в стаи, примерно, по той же причине. Нечленораздельные крики, много жестов и несколько звукоподражательных шумов должны были долгое время составлять всеобщий язык; путем добавления в каждой местности нескольких членораздельных и условных звуков, возникновение которых, как я уже говорил, совсем не легко объяснить, получились языки особые, но грубые и несовершенные, такие, примерно, какие и теперь еще встречаются у различных диких народов.

Я проношу стрелю через множество веков, подгоняемый быстротекущим временем, обширностью того, о чем нужно мне рассказать, и тем, что вначале развитие почти не приметно, ибо чем медленнее сменяли друг друга события, тем быстрее можно их описывать.

Эти первые успехи дали, в конце концов, человеку возможность делать успехи более быстро. Чем больше просвещался ум, тем более совершенствовались изобретательность и навыки<sup>106</sup>. Вскоре люди перестали устраиваться на почлег под первым попавшимся деревом или укрываться в пещерах; у них появилось нечто вроде топоров из твердых и острых камней для того, чтобы рубить дерево, копать землю и строить хижины из ветвей, которые они впоследствии додумались обмазывать глиной и грязью. Это была эпоха первого переворота, который привел к установлению и выделению семей и к появлению своего рода собственности<sup>107</sup>; уже тогда из-за нее возникало, быть может, немало споров и схваток. Но так как самые сильные были, по всей вероятности, первыми, которые построили себе жилища и чувствовали себя способными их защищать, то следует полагать, что слабые сочли делом более быстрым и надежным последовать их примеру, чем пытаться выгнать их из этих жилищ; а что до тех, у которых уже были хижины, то каждый из них не слишком пытался завладеть хижиню своего соседа, и не столько потому, что она принадлежала не ему, сколько потому, что она не была ему нужна и что он не мог бы ее захватить, не вступив в весьма ожесточенную схватку с семьею, ее занимавшею.

Первые душевные движения явились результатом нового положения, когда в одном общем жилище оказывались вместе мужа и жены, отцы и дети. Привычка к совместной жизни породила самые нежные из известных людям чувств — любовь супружескую и любовь родительскую. Каждая семья превращалась в маленькое общество<sup>108</sup>, сплоченное тем более тесно, что единственными узами в нем были взаимная привязанность и свобода; и тогда именно установились первые различия в образе жизни людей разного пола, которые

до этого вели одинаковый образ жизни. Женщины стали чаще оставаться дома и приучились охранять хижину и детей, тогда как мужчина отправлялся добывать пищу для всех. Оба пола начали также, ведя жизнь несколько менее суровую, понемногу утрачивать свою дикость и силу. Но если каждый из них в одиночку стал менее способен сражаться с хищными зверями, зато уже оказалось, что легче защищаться от них общими силами.

В этом новом состоянии, когда жизнь была простою и уединенною, а потребности очень умеренными и люди уже изобрели орудия, чтобы эти потребности удовлетворять, у них оставалось весьма много досуга, и они использовали этот досуг для того, чтобы доставлять себе разнообразные жизненные удобства, которые отцам их были неизвестны; и это было первое ярмо, которое они надели на себя, сами того не подозревая, и первый источник тех бедствий, которые они уготовили своим потомкам. Ибо, кроме того, что люди продолжали таким образом изнеживаться и телом и духом, удобства эти потеряли, благодаря привычке к ним, почти всю свою прелесть и выродились в настоящие потребности; не столь приятно было обладать этими удобствами, сколь мучительно — их лишиться; и люди чувствовали себя несчастными, потеряв их, хотя они и не чувствовали себя счастливыми, обладая ими <sup>109</sup>.

Теперь немного более понятно, как входила в употребление речь или как она незаметно совершенствовалась в кругу каждой семьи, и уже можно сделать некоторые предположения о том, как различные частные причины могли содействовать распространению речи и ускорить ее развитие, делая ее более необходимою. Большие наводнения или землетрясения окружали населенные местности водою или пропастьями; совершающиеся на земном шаре перевороты отрывали от материка отдельные части и разбивали их на острова <sup>110</sup>. Повяло, что у людей, которые таким образом оказались сближенными и принужденными жить вместе, скорее должен был образоваться общий язык, чем у тех людей, которые еще вольно блуждали в лесах на материке. Весьма возможно, что после первых попыток мореплавания островитяне и принесли нам умение пользоваться речью; по меньшей мере, весьма вероятно, что общество и языки возникли на островах и достигли там совершенства прежде, чем они стали известны на материке.

Все начинает принимать иной вид. Люди, блуждавшие до сих пор в лесах, теперь уже ведут более оседлый образ жизни и понемногу сближаются, соединяются в разные стада и, наконец, образуют в каждой стране отдельный народ, объединенный нравами и обычаями, не какими-либо уставами и законами, а одинаковым образом жизни, одинаковым питанием и общим влиянием климата. Постоянное соседство не может, в конце концов, не породить некоторой близости между различными семьями. Молодежь обоего пола живет в соседних хижинах. Кратковременная связь, которой требует природа, приводит вскоре, в результате взаимных посещений, к связи не менее приятной, но более постоянной. Люди привыкают присматриваться к различным предметам

и сравнивать; незаметно для самих себя они приобретают понятия о достоинствах и красоте, которые заставляют их оказывать предпочтение тому или другому. Привыкшие видеть друг друга, люди не могут обойтись без того, чтобы не видеть друг друга еще и еще. В душу закрадывается нежное и сладкое чувство, но, встретив хоть малейшее сопротивление, оно превращается уже в неукротимую страсть. Вместе с любовью просыпается ревность; раздор торжествует, и нежнейшей из страстей приносится в жертву человеческая кровь.

По мере того, как понятия и чувства возникают одно за другим, по мере того, как развиваются ум и сердце, род человеческий постепенно выходит из состояния дикости; связи расширяются, а узы становятся все более тесными. Люди привыкают собираться вместе перед хижинами или вокруг большого дерева; пение и пляски — истинные детища любви и досуга стали развлечением, или скорее занятием для праздных мужчин и женщин, объединенных в том или другом скопище. Каждый начал присматриваться к другим и стремиться обратить внимание на себя самого, и некоторую цену приобрело общественное уважение. Тот, кто лучше всех пел или плясал, самый сильный, самый красивый, самый ловкий, самый красноречивый становился наиболее уважаемым, — и это было первым шагом одновременно и к неравенству и к пороку. Из этих первых предпочтений родились, с одной стороны, тщеславие и презрение, а с другой — стыд и зависть; и брожение, вызванное этою новой закваскою, дало в конце концов соединения гибельные для счастья и невинности.

Как только люди начали взаимно оценивать друг друга и как только в их уме сложилось понятие об уважении, каждый начал на него предъявлять права, и стало уже невозможно безнаказанно отказывать в нем кому бы то ни было. Отсюда возникли первые правила обхождения, даже среди дикарей; и поэтому всякая умышленная обида превращается в оскорбление, ибо наряду с причиненным обидою злом каждый видел в ней и презрение к его личности, часто более непереносимое, чем само зло. А так как каждый платил за презрение, ему оказанное, сообразно тому, насколько значительным он считал себя, то месть стала ужасною, а люди — кровожадными и жестокими. Это — именно та ступень развития, которой достигло большинство диких народов, нам известных; а так как многие не делали достаточного различия между понятиями и не заметили, что эти народы уже далеки от первоначального естественного состояния, то они и поспешили сделать заключение, что человек от природы жесток <sup>111</sup> и что он нуждается для смягчения его нравов в наличии внутреннего управления; между тем нет ничего более кроткого, чем человек в первоначальном состоянии, когда поставленный природою равно далеко от неразумия животных и от гибельных познаний человека в гражданском состоянии, побуждаемый равно инстинктом и разумом <sup>112</sup> лишь к тому, чтобы ограждать себя от зла, ему угрожающего, он удерживается естественною сострадательностью от того, чтобы самому кому-либо причинять зло, и притом ничто не влечет его к этому, хотя бы даже ему и содейли какое-нибудь зло.

Ибо, согласно аксиоме мудрого Локка <sup>113</sup>, *не может быть причинен ущерб там, где полностью отсутствует собственность.*

Следует, однако, отметить, что складывающееся общество и отношения, уже установившиеся между людьми, потребовали от них качеств, отличных от тех, которыми они обладали по изначальной своей природе; в человеческих поступках начинает проявляться понятие о морали, а так как до появления законов каждый был единственным судьей полученных им обид и единственным мстителем за них, то доброта, уместная в чисто естественном состоянии, была уже неуместна в условиях образующегося общества; необходимо было, чтобы наказания становились более суровыми, по мере того как учащались случаи нанесения обид, и страху мести надлежало заменить собою узду законов. Таким образом, хотя люди и стали менее выносливы и естественная сострадательность подверглась уже некоторому ослаблению, все же этот период развития человеческих способностей, лежащий как раз посредине <sup>114</sup> между безразличием изначального состояния и бурною деятельностью нашего самодлюбия, должен был быть эпохой самой счастливою и самой продолжительною. Чем больше размышляешь об этом состоянии, тем более убеждаешься, что оно было менее всех подвержено переворотам, что оно было наилучшим для человека и ему пришлось выйти из этого состояния лишь вследствие какой-нибудь гибельной случайности, которой, для общей пользы, никогда не должно было бы быть. Пример дикарей, которых почти всех застали на этой ступени развития, кажется, доказывает, что человеческий род был создан для того, чтобы оставаться таким вечно; что это состояние является настоящею юностью мира, и все его дальнейшее развитие представляет собою по видимости шаги к совершенствованию индивидуума, а на деле — к одряхлению рода.

До тех пор, пока люди довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что шили себе одежды из звериных шкур с помощью древесных шипов или рыбьих костей, украшали себя перьями и раковинами, расписывали свое тело в различные цвета, совершенствовали или украшали свои луки и стрелы, выдалбливали с помощью острых камней какие-нибудь рыбацьи лодки или грубые музыкальные инструменты, словом, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу одному человеку, и только такими промыслами, которые не требовали участия многих рук, они жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько они могли быть такими по своей природе, и продолжали в отношениях между собою наслаждаться всеми радостями общения, не нарушавшими их независимость <sup>115</sup>. Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих <sup>116</sup>, — исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью; и обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета.



Искусство добывания и обработки металлов и земледелие<sup>117</sup> явились теми двумя искусствами, изобретение которых произвело этот огромный переворот<sup>118</sup>. Золото и серебро — на взгляд поэта, железо и хлеб — на взгляд философа — вот что цивилизовало людей и погубило человеческий род. Ведь ни то ни другое не были известны дикарям Америки, которые потому-то и остались навсегда дикарями; а другие народы, по-видимому, оставались в состоянии варварства и тогда, когда они уже применяли одно из этих искусств без другого. И, быть может, одно из лучших объяснений тому, что Европа оказалась, если не раньше, то, по меньшей мере, прочнее и лучше цивилизованною<sup>119</sup>, чем другие части света, состоит в том, что она одновременно и богаче всех железом и родит больше всех хлеба.

Трудно догадаться, как люди пришли к знакомству с железом и научились им пользоваться; ибо невероятно, чтобы они сами додумались добывать это вещество из рудников и подвергать его необходимой предварительной обработке, чтобы расплавить, не зная еще, что из этого получится. С другой стороны, в еще меньшей степени можно приписать это открытие какому-нибудь случайному пожару, так как залежи руды образуются только в бесплодных местах<sup>120</sup>, лишенных деревьев и растительности, и можно сказать, что природа позаботилась о том, чтобы скрыть от нас эту роковую тайну. Остается, таким образом, предположить лишь такого рода чрезвычайные обстоятельства, как то, что какой-нибудь вулкан, извергающий расплавленные металлы, внушил людям, наблюдавшим это, мысль воспроизвести эту деятельность природы. И нужно еще предположить, что обладали эти люди немалым мужеством и немалою предусмотрительностью, чтобы взяться за столь трудную работу и в такой мере предвидеть те выгоды, которые они смогут из этого извлечь; ведь это доступно лишь умам уже более развитым, чем должны были быть их умы в то время.

Что до земледелия, то принцип его был известен задолго до того, как оно стало для людей привычным занятием, и почти невозможно, чтобы у людей, непрерывно занятых добыванием себе пищи — плодов деревьев и растений, не появилось в достаточно скором времени понятие о том, какими путями природа осуществляет размножение растений. Но их изобретательность, вероятно, обратилась в эту сторону лишь очень поздно — потому ли, что деревья, которые наряду с охотой и рыбной ловлей доставляли им пищу, не нуждались в их заботах, либо потому, что не знали они употребления хлебных злаков, либо потому, что у них не было орудий, чтобы эти злаки возделывать, либо потому, что не обладали они способностью предвидеть свои будущие потребности, либо, наконец, потому, что у них не было средств помешать другим завладеть плодами их труда. Когда люди стали более изобретательными, можно полагать, что они начали с помощью острых камней или заостренных палок сажать вокруг своих хижин кое-какие овощи и корни<sup>121</sup>, еще задолго до того, как они научились готовить открытое поле и приобрели орудия,

необходимые для земледелия в больших размерах. Но тогда пришлось бы оставить без внимания то обстоятельство, что, отдавая свои силы этому занятию и засевая землю, люди должны были решиться сначала кое-чем пожертвовать, чтобы затем приобрести многое. Однако такая предусмотрительность плохо вяжется со складом ума дикаря, которому очень трудно, как я говорил, подумать поутру о том, что понадобится ему вечером.

Таким образом, необходимо было изобретение других искусств, чтобы приобщить человеческий род к искусству земледелия. Как только появилась нужда в том, чтобы одни люди плавил и ковали железо, необходимо было, чтобы другие люди их кормили. Чем больше умножалось число рабочих, тем меньше оказывалось рук, чтобы добывать пищу для всех, но ртов, которые требовали пищи, не становилось меньше; а так как одним нужны были продукты питания в обмен на их железо, то другие открыли, в конце концов, секрет, как использовать это железо, чтобы умножать съестные припасы. Отсюда возникли, с одной стороны, земледельство и сельское хозяйство, а с другой — искусство обрабатывать металлы и расширять область их применения<sup>122</sup>.

Неизбежным следствием обработки земли был ее раздел, а как только была признана собственность, должны были появиться первые уставы правосудия. Ибо, чтобы определить каждому — его, нужно, чтобы каждый мог чем-нибудь обладать; кроме того, когда люди стали заглядывать в будущее и увидели, что все они могут кое-что потерять, среди них уже не оказалось ни одного, кому не приходилось бы страшиться возмездия за тот ущерб, который он мог нанести другому. Так объяснить происхождение собственности тем более естественно, что невозможно себе представить, чтобы это понятие — собственность — возникло иначе, как из трудовой деятельности, ибо мы не видим, что, кроме своего труда, человек мог внести в что-либо не им созданное, чтобы себе это присвоить. Один только труд, давая земледельцу право на продукты земли, им обработанной, дает ему, следовательно, право и на землю, по меньшей мере, до сбора урожая, — и так из года в год: что, делая обладание непрерывным, легко превращается в собственность. Когда древние, говорит Гроций, прозвали Цереру законодательницей<sup>123</sup>, а праздник, справлявшийся в ее честь, называли фесмофориями<sup>124</sup>, то они желали этим дать понять, что раздел земли привел к возникновению нового вида права, а именно права собственности, отличного от права, которое вытекает из естественного закона.

При таком положении вещей равенство могло бы сохраниться, если бы люди обладали одинаковыми дарованиями и если бы, к примеру, использование железа и потребление продуктов питания постоянно находились в точном равновесии. Но соответствие, ничем не поддерживаемое, было вскоре нарушено; самый сильный производил своим трудом больше, чем другие; самый искусный извлекал больше выгоды из своей работы; самый изобретательный находил способы сократить затраты труда; земледельец мог больше нуждаться

в железе, или кузнец — в хлебе; и при одинаковой затрате труда один зарабатывал много, а другой едва существовал. Так незаметно обнаруживает свое возрастающее значение естественное неравенство наряду со складывающимся неравенством <sup>125</sup>, и различия между людьми, углубляясь в силу различия внешних обстоятельств, делаются более ощутимыми, более постоянными в своих проявлениях и начинают в той же мере влиять на судьбы отдельных лиц.

Когда дела уже пришли в такое состояние, то легко представить себе все остальное. Я не стану задерживаться здесь на описании того, как, одно за другим, изобретались другие искусства, как развивались языки, как проверялись на деле и находили себе применения дарования, как возрастало неравенство состояний, как использовались и какие злоупотребления порождали богатства, не буду приводить все те подробности, которые с этим связаны и которые каждый может легко восполнить. Я ограничусь лишь тем, что окину взглядом весь род человеческий при этом новом положении вещей.

И вот уже все наши способности получили полное развитие, действуют память и воображение, настороже — самолюбие, становится деятельным разум, и ум уже почти достиг доступного ему предела совершенства. Вот уже наши естественные свойства приведены в действие, положение и участь каждого человека определяются не только размерами его имущества и его способностью приносить пользу или наносить вред, но его умом, красотой, силою или ловкостью, заслугами или дарованиями; а так как одни только эти качества могли принести уважение, то вскоре потребовалось иметь эти качества или делать вид, что ими обладаешь; стало выгоднее притворяться не таким, каков ты есть на самом деле. Быть и казаться — это, отныне, две вещи совершенно различные <sup>126</sup>, и следствием этого различия явились и внушающий почтенье блеск, и прикрытая обманом хитрость, и все те пороки, что составляют их свиту. С другой стороны, из свободного и независимого, каким был человек прежде, он стал, таким образом, в результате появления множества новых потребностей, подвластен, так сказать, всей природе и, в особенности, себе подобным; он становится, в некотором смысле, их рабом, даже становясь их господином <sup>127</sup>, если он богат — он пуждается в их службе, если он беден — он нуждается в их помощи, и, даже занимая среднее положение между тем и другим, он не в состоянии обойтись без других людей. Поэтому ему приходится беспрестанно стараться заинтересовать себе подобных в своей судьбе и заставить их находить действительную или кажущуюся выгоду в том, чтобы трудиться для его пользы: это делает его лукавым и изворотливым с одними, непреклонным и жестоким с другими и приводит его к необходимости обманывать всех тех, в ком он нуждается, если он не может их заставить себя бояться и если он не видит свою выгоду в том, чтобы служить им с пользою для себя. Наконец, ненасытное честолюбие, страсть к увеличению относительных размеров своего состояния, не так в силу действительной потребности, как для того, чтобы поставить себя выше других, внушает всем

людям низкую склонность взаимно вредить друг другу, тайную зависть, тем более опасную, что, желая вернее нанести удар, она часто рядится в личину благожелательности словом, состязание и соперничество, с одной стороны, противоположность интересов — с другой, и повсюду — скрытое желание выгадать за счет других. Все эти бедствия — первое действие собственности и неотделимая свита нарождающегося неравенства.

До тех пор, пока не были изобретены знаки, представляющие богатства, эти последние могли состоять разве что из земель и скота — единственного вещного имущества, каким могут обладать люди. Но когда владения, переходящие по наследству, возросли в числе и размерах настолько, что покрыли собою всю землю и стали все соприкасаться друг с другом, то одни владения могли расти уже только за счет других; и остальные люди, оставшиеся ни с чем, так как слабость или беспечность помешали им, в свою очередь, приобрести земельные участки, стали бедняками, ничего не потеряв<sup>128</sup>; все изменилось вокруг них, но сами они не изменились и оказались вынужденными получать или похищать средства к существованию из рук богатых; и отсюда начали возникать, в зависимости от различий в характерных особенностях тех и других, господство и порабощение или насилие и грабежи. Богатые, со своей стороны, едва успев познать наслаждение властью, стали вскоре презирать всех остальных и, используя своих прежних рабов, чтобы подчинить себе новых, они только и помышляли о покорении и о порабощении своих соседей, подобно тем голодным волкам, которые, раз отведав человеческого мяса, отвергают всякую другую пищу и бросаются только на людей.

Таким образом, самые могущественные или самые бедствующие обратили свою силу или свои нужды в своего рода право на чужое имущество, равносильное в их глазах праву собственности. и за уничтожением равенства последовали ужаснейшие смуты; так несправедливые захваты богатых, разбой бедных и разнузданные страсти и тех и других, заглушая естественную сострадательность и еще слабый голос справедливости, сделали людей скупыми, честолюбивыми и злыми. Начались постоянные столкновения права сильного с правом того, кто пришел первым, которые могли заканчиваться лишь сражениями и убийствами (IX). Нарождающееся общество пришло в состояние самой страшной войны: человеческий род, погрязший в пороках и отчаявшийся, не мог уже ни вернуться назад, ни отказаться от злосчастных приобретений, им сделанных; он только позорил себя, употребляя во зло способности, делающие ему честь, и сам привел себя на край гибели.

*Attonitus novitate mali, divesque, miserque,  
Effugere optat opes, et quæ modo voverat odit\*.*

\* Зла позвизной поражен и богатч, и бедняк в то же время,  
Рад бы бежать он теперь от богатств, столь недавно желанных.

О в и д и й. Метаморфозы, XI, 127—128 (лат.)<sup>129</sup>.

Люди не могли в конце концов не задуматься над этим столь бедственным положением и над несчастьями, на них обрушившимися. Богатые в особенности должны были вскоре почувствовать, насколько невыгодна для них эта постоянная война, все издержки которой падали на них и в коей опасность для жизни была общей, а для имущества — односторонней. Впрочем, какой благовидный вид они ни придавали бы своим захватам, они понимали достаточно хорошо, что последние основываются лишь на шатком и ложном праве; и раз то, что было ими захвачено, они приобрели лишь с помощью силы, то силою же можно было это у них отнять, причем у них не было никаких оснований на это жаловаться. Даже те, которых обогатило одно трудолюбие, едва ли могли лучше обосновать право на свою собственность. Напрасно бы они говорили: «Ведь это я построил эту стену, я приобрел этот участок земли своим трудом». «Но кто определил границы ваших владений? — могли бы им ответить, — и на каком основании притязаете вы на то, чтобы вам за наш счет уплатили за тот труд, который мы на вас вовсе не возлагали? Разве вам неизвестно, что множество ваших братьев погибает или страдает от недостатка того, чего у вас слишком много, и что вам нужно категорическое и единодушное согласие человеческого рода, чтобы присвоить себе из общих средств существования то, что превышает вашу потребность?» Не имея веских доводов, чтобы оправдаться, и достаточных сил, чтобы защищаться; легко одолевая отдельного человека, но сам одолеваемый разбойничьими шайками; один против всех, ибо, по причине взаимной зависти, он не мог объединиться с равными ему, чтобы бороться с врагами, объединенными общею надеждою на удачный грабеж, — богатый составил, наконец, под давлением необходимости наиболее обдуманней из всех планов, которые когда-либо зарождались в человеческом уме: обратить себе на пользу самые силы тех, кто на него нападал, превратить своих противников в своих защитников, внушить им иные принципы и дать им иные установления, которые были бы для него настолько же благоприятны, сколь противоречило его интересам естественное право<sup>130</sup>.

С этой целью, показав предварительно своим соседям все ужасы такого состояния, которое вооружало их всех друг против друга, делало для них обладание имуществами столь же затруднительным, как и удовлетворение потребностей; состояния, при котором никто не чувствовал себя в безопасности, будь он беден или богат, — он легко нашел доводы, на первый взгляд убедительные, чтобы склонить их к тому, к чему он сам стремился. «Давайте объединимся, — сказал он им, — чтобы оградить от угнетения слабых, сдерживать честолюбивых и обеспечить каждому обладание тем, что ему принадлежит: давайте установим судебные уставы и мировые суды, с которыми все обязаны будут сообразоваться, которые будут нелицеприятны и будут в некотором роде исправлять превратности судьбы, подчиняя в равной степени могущественного и слабого взаимным обязательствам. Словом, вместо

того, чтобы обращать наши силы против себя самих, давайте соединим их в одну высшую власть, которая будет править нами, согласно мудрым законам, власть, которая будет оказывать покровительство и защиту всем членам ассоциации, отражать натиск общих врагов и поддерживать среди нас вечное согласие».

Даже и подобной речи не понадобилось, чтобы увлечь грубых и легковерных людей, которым к тому же нужно было разрешить слишком много споров между собою, чтобы они могли обойтись без арбитров, и которые были слишком скупы и честолюбивы, чтобы они могли долго обходиться без повелителей. Все бросились прямо в оковы, веря, что этим они обеспечат себе свободу; ибо, будучи достаточно умны, чтобы постигнуть преимущества политического устройства, они не были достаточно искушенными, чтобы предвидеть связанные с этим опасности. Предугадать, что это приведет к злоупотреблениям, скорее всего способны были как раз те, кто рассчитывал из этих злоупотреблений извлечь пользу, и даже мудрецы увидели, что надо решиться пожертвовать частью своей свободы, чтобы сохранить остальную, подобно тому, как раненый дает себе отрезать руку, чтобы спасти все тело.

Таково было или должно было быть происхождение общества и законов, которые наложили новые путы на слабого и придали новые силы богатому (X), безвозвратно уничтожили естественную свободу, навсегда установили закон собственности и неравенства<sup>131</sup>, превратили ловкую узурпацию в незыблемое право и ради выгоды нескольких честолюбцев обрекли с тех пор весь человеческий род на труд, рабство и нищету. Легко видеть, почему образование одного только общества сделало неизбежным образование всех остальных и почему, чтобы противостоять силам соединенным, в свою очередь, нужно было соединиться. Быстро умножаясь в числе или распространяясь, общества вскоре покрыли всю поверхность земли; и уже невозможно было найти во всем мире хотя бы один уголок, где бы можно было сбросить с себя ярмо и отвести голову от меча, который часто направлялся неуверенною рукою, но был постоянно занесен над головой каждого человека. После того, как гражданское право стало таким образом законом, общим для всех граждан, естественный закон применялся уже только в области отношений между различными обществами, где под названием международного права он был смягчен некоторыми молчаливыми соглашениями, чтобы сделать возможным общение и чтобы создать некоторую замену естественной сострадательности; она теряет в отношениях между обществами почти всю ту силу, которой она обладала в отношениях между людьми, и продолжает жить лишь в великих душах немногих граждан мира<sup>132</sup>, которые переносятся через воображаемые преграды между народами и, по примеру всевышнего Существа, их создавшего, распространяют свою благожелательность на весь человеческий род.

Политические организмы, оставаясь, таким образом, в отношениях между собой в естественном состоянии<sup>133</sup>, уже скоро испытали на себе те же неудобства, которые, ранее, заставили отдельных людей выйти из этого состояния; и состояние это стало еще более пагубным для отношений между этими большими Организмами, чем оно было ранее для отношений между индивидуумами, их составляющими. Отсюда произошли войны между народами, сражения, убийства, насилия, которые приводят в содрогание природу и возмущают разум, и все те ужасные предрассудки, которые возводят в ранг добродетелей почет, приобретаемый кровопролитием. Самые почтенные мужи научились считать одной из своих обязанностей — уничтожать себе подобных: в конце концов, люди стали убивать друг друга тысячами, сами не ведая из-за чего, и за один день сражения совершалось больше убийств, и при взятии одного города — больше гнусных дел, чем совершилось их в естественном состоянии на протяжении целых веков на всей земле. Таковы первые открывающиеся нам последствия разделения человеческого рода на различные общества. Обратимся к тому, как сие совершилось.

Я знаю, что многие объясняют возникновение политических обществ другими причинами, как, например, завоеваниями более могущественного<sup>134</sup> или объединением слабых<sup>135</sup>; впрочем, остановимся ли мы на той или иной из этих причин не имеет никакого значения для того, что я хочу установить. Однако причина, только что мною указанная, представляется мне самой естественною в силу следующих соображений. В первом случае право завоевания, не будучи вообще правом, не может служить основанием для какого-либо другого права, ибо завоеватель и завоеванные народы всегда остаются в состоянии войны между собою, если только нация, вновь обретя полную свободу, не изберет добровольно своим главой своего победителя. До этого, какие бы неравноправные договоры ни имели место — все они основываются лишь на насилии и, следовательно, в силу одного этого факта, недействительны; принимая эту гипотезу, мы не увидим здесь ни подлинного общества, ни Политического организма, ни иного закона, кроме закона более сильного<sup>136</sup>. Во втором случае, слова *сильный* и *слабый* — двусмысленны; для того промежутка времени, который отделяет установление права собственности или первой заимки от установления политических Правлений, смысл этих терминов лучше передается терминами *бедный* и *богатый*, потому что до появления законов богатый и в самом деле не имел никакого другого средства подчинить равных себе, как посягнуть на их имущество или уделить им часть своего. В-третьих, так как бедным нечего было терять, кроме своей свободы, то с их стороны было бы величайшим безумием, если бы они добровольно лишили себя единственного оставшегося у них достоинства, ничего не приобретаая взамен; напротив, богатые были, так сказать, уязвимы во всех частях их достояний и поэтому причинить им ущерб было гораздо легче, следовательно, им приходилось принимать гораздо больше предосторожно-

стей, чтобы оградить себя от этого; наконец, разумно предположить, что скорее нечто было изобретено теми, кому это было полезно, чем теми, кому это приносит вред.

Нарождающееся Правление не имело никакой постоянной и регулярной формы. При отсутствии философии и опыта можно было увидеть только уже представившиеся неудобства, а об исправлении остальных начинали думать лишь по мере того, как они обнаруживались. Несмотря на все труды мудрейших Законодателей, политическое устройство оставалось все же несовершенным, потому что оно было почти всецело делом случая, а так как это устройство было плохим с самого начала, то с течением времени могли быть обнаружены его недостатки, найдены средства их устранения, но никак не исправлены пороки, лежащие в его основе: без конца чинили, тогда как нужно было сначала расчистить место для постройки и убрать старые материалы, как это сделал Ликург в Спарте<sup>137</sup>, чтобы затем уже воздвигнуть добротное здание. Общественное состояние сначала заключалось лишь в том, что были приняты несколько соглашений общего характера, которые все частные лица обязывались соблюдать, а за соблюдение этих соглашений перед каждым из них ручалась община. Нужно было, чтобы опыт показал, насколько слабым было подобное устройство и как легко было нарушителям соглашений избежать изобличения или наказания за провинности, свидетелем и судьей которых должно было быть лишь само общество; нужно было, чтобы закон стали обходить тысячью способов, нужно было, чтобы неудобства и беспорядки продолжали беспрестанно умножаться, чтобы людям в конце концов пришла мысль верить отдельным лицам опасную вещь — публичную власть и возложить на магистратов заботу надзирать за соблюдением решений народа. Ибо утверждать, что правители были избраны до того, как была образована конфедерация, и что служители законов существовали ранее самих законов, — это такое предположение, которое даже нельзя всерьез опровергать.

Не более разумно было бы полагать, что народы с самого начала бросились в объятия неограниченного властителя без всяких условий и безвозвратно, и что первое средство обеспечить общую безопасность, до которого думались люди, гордые и не знавшие порабощения, состояло в том, чтобы как можно скорее отдать себя в рабство<sup>138</sup>. В самом деле, для чего поставили они над собою начальников, как не для того, чтобы защищать себя от угнетения и охранять свое имущество, свою свободу и свою жизнь, которые суть, так сказать, составные элементы их бытия? Таким образом, если, с точки зрения отношений между людьми, с человеком не может случиться ничего худшего, как видеть себя отданным на милость другого человека, то разве не было бы противно здравому смыслу, если бы люди с самого начала лишили себя, отдав их в руки правителя, тех единственных благ, для сохранения которых им нужна была его помощь? Что мог он им предложить взамен за уступку столь прекрасного права? и если бы он осмелился все же потребо-



вать этой уступки под тем предлогом, что это необходимо для их защиты, то разве не услышал бы он тотчас в ответ слова из басни<sup>139</sup>: «А что же, еще худшее, может причинить нам враг?» Стало быть, бесспорно — и это основное положение конституционного права в целом, — что народы поставили над собою правителей, чтобы защищать свою свободу, а не для того, чтобы обратить себя в рабов. *На то у нас и есть государь*, говорил Плиний Траяну<sup>140</sup>, *чтобы предохранить нас от появления повелителя.*

Наши политики изрекают о любви к свободе такие же софизмы, какие наши философы изрекали о естественном состоянии. На основании того, что они видят, они судят о совершенно других вещах, которые они никогда не видели, и приписывают людям естественную склонность к рабству, потому что люди, которых видят они перед собою, терпеливо сносят это свое рабское состояние; они не задумываются над тем, что со свободой дело обстоит так же как с невинностью и добродетелью, цену которым ощущаешь лишь до тех пор, пока ими обладаешь, и вкус к которым утрачиваешь, едва только их потеряешь. «Я знаю утехи твоей страны, — говорил Брасид<sup>141</sup> одному сатрапу, который сравнил уклад жизни в Спарте с укладом жизни в Персеполесе<sup>142</sup>, — но отрады моего отечества не могут быть тебе известны».

Как не знавший узды дикий скакун вздымает гриву, бьет копытами о землю и яростно отбивается, как только к нему приближаются с удиллами, тогда как выезженная лошадь терпеливо сносит и хлыст и шпоры, так и дикарь не может склонить голову под ярмо, которое человек цивилизованный несет безропотно, и предпочитает свободу полную тревог спокойствию порабощения. Не по глубокому падению порабощенных народов нужно судить о естественном предрасположении человека к рабству или против рабства, но по тем чудесам, которые совершили все свободные народы, чтобы оградить себя от угнетения. Я знаю, что первые не устают превозносить мир и спокойствие, которыми они наслаждаются в своих оковах, и что они *miserrimam servitutem* расет *appellant*\*. Но когда я вижу, что вторые жертвуют удовольствиями, покоем, богатством, властью и даже самою жизнью, чтобы сохранить только это достояние, к которому с таким пренебрежением относятся те, кто его потеряли; когда я вижу, как животные, которые рождены свободными и ненавидят неволю, разбивают голову о прутья своей тюрьмы; когда я вижу, как толпы совершенно нагих дикарей презирают наслаждения европейцев и не обращают внимания на голод, огонь, железо и смерть, чтобы сохранить свою независимость, я понимаю, что не рабам пристало рассуждать о свободе.

Что до власти отцовской, из которой многие<sup>143</sup> выводили происхождение власти неограниченного правителя Государства и вообще общества, то, не прибегая даже к тем доказательствам противного, которые уже дали Локк<sup>144</sup>

\* Жалкое рабство называют миром (*лат.*). Та ц и т. История, кн. IV, гл. XVII<sup>145</sup>.

и Сидней<sup>146</sup>, достаточно будет указать, что нет ничего более далекого от жестокого духа деспотизма, чем мягкость этой власти<sup>147</sup>, поскольку она больше заботится о выгоде того, который повинуется, чем о пользе того, который приказывает; что по закону природы отец является повелителем ребенка лишь до тех пор, пока тому необходима его помощь, а после окончания этого срока они становятся равными и тогда сын, полностью независимый от отца, обязан почитать его, но не повиноваться, ибо признательность, конечно, является долгом, который нужно выполнять, но не правом, которого можно для себя требовать. Вместо того, чтобы утверждать, что гражданское общество происходит из отцовской власти, следовало бы говорить, напротив, что именно от общества эта власть получает свою главную силу. Какой-либо индивидуум был признаваем отцом многих лишь пока они оставались собранными вокруг него. Узами, удерживающими детей в подчинении отцу, является лично принадлежащее ему его имущество: и он может оставить им в наследство часть, пропорциональную тому, что они заслужат у него постоянным соблюдением его воли. Однако подданные отнюдь не могут ожидать подобной милости от своего деспота, так как они сами и все то, чем они обладают, представляет собой его собственность, или по крайней мере он притязает на это: они вынуждены получать как милость то, что он оставляет им из их собственного имущества. Он отправляет правосудие, когда их обирает, он милует их, оставляя им жизнь.

Если бы мы продолжали таким образом рассматривать факты с точки зрения права<sup>148</sup>, то нашли бы, что предположение о добровольном установлении тирании имеет столь же мало основательности, как и истинности, и было бы трудно объяснить, как может иметь силу какой-либо договор, налагающий обязательства только на одну из сторон, в котором все возлагается только на нее и который оборачивался бы во вред тому, кто по этому договору берет на себя обязательства. Эта отвратительная система рассуждений очень далека от того, чтобы применяться даже в наши дни мудрыми и добрыми монархами, особенно же королями Франции, как это можно видеть из различных мест их эдиктов и в частности из следующего известного сочинения<sup>149</sup>, обнародованного в 1667 году от имени и по приказанию Людовика XIV: *«Пусть же не смеют говорить, что суверен не подвластен законам его Государства, потому что положение обратное — это истина международного права, которую льстецы иногда оспаривали, но которую добрые государи всегда почитали как божество — покровительницу их государств. Насколько справедливее сказать вместе с Платоном, что для полного благополучия королевства нужно, чтобы подданные повиновались государю, чтобы государь повиновался Закону и чтобы Закон был справедлив и всегда был направлен к общественному благу»*. Я не стану вовсе останавливаться на исследовании вопроса о том, что, если свобода является благороднейшей из способностей человека, то не унижает ли он свое естество, не низводит ли он

себя до уровня животных — рабов инстинкта — и не оскорбляет ли он своего создателя, если отказывается безоговорочно от этого драгоценнейшего из всех его даров; если он позволяет совершаться всем тем преступлениям, которые тот запрещает совершать нам, для того чтобы угодить свирепому или безумному господину; и не большим ли должно быть возмущение сего блистательного работника, если он увидит прекраснейшее свое создание обеспеченным, чем если увидит он его уничтоженным. Я пренебрегу, если угодно, авторитетным мнением Барбейрака, который ясно заявляет, следуя Локку<sup>150</sup>, что никто не может настолько продать свою свободу, чтобы подчиниться самовластной силе, которая обходила бы с ним по своей прихоти: *«Ибо,— добавляет он,— это означало бы продать свою собственную жизнь, которая нам не принадлежит»*. Я спрошу только, по какому праву те, которые не побоялись унижить самих себя до такой степени, смогли подвергнуть такому же бесчестию свое потомство и отказаться за него от тех благ, которыми оно обязано отнюдь не их щедротам и без которых сама жизнь становится в тягость для всех тех, кто ее достоин.

Пуфендорф говорит<sup>151</sup>, что точно так же, как мы передаем другим свое имущество посредством соглашений и договоров, мы можем лишиться себя свободы в чью-либо пользу. Это кажется мне совершенно неправильным рассуждением. Ибо, во-первых, имущество, мною отчуждаемое, превращается в нечто совершенно для меня чуждое, и мне безразлично, будут ли употреблять его во зло или нет; но весьма важно для меня, чтобы никоим образом не злоупотребляли моей свободой; и я не могу, не становясь виновным в том зле, которое меня заставят совершать, подвергать себя опасности превратиться в орудие преступления. Кроме того, так как право собственности является лишь результатом соглашений между людьми и людьми же установлено, то всякий человек по своему желанию может распоряжаться тем, что ему принадлежит. Но не так обстоит дело с основными дарами природы, такими, как жизнь и свобода, пользоваться коими разрешено каждому; и, по меньшей мере, сомнительно, чтобы люди были вправе лишиться себя этих даров природы; лишая себя одного из этих даров, мы унижаем свое естество, отнимая у себя другой — мы свое естество уничтожаем, поскольку оно в этом и заключается, и так как никакое земное благо не может вознаградить нас за утрату обоих этих даров, то отказываться от них за какую бы то ни было цену значило бы нанести оскорбление одновременно и природе, и разуму. Но если бы и можно было отчуждать свою свободу, как свое имущество, то разница была бы все же очень велика для детей, которые пользуются имуществом отца лишь вследствие передачи им его прав, тогда как свобода — это дар, который они получают от природы как люди, и поэтому у их родителей нет никакого права лишать их этого дара. Следовательно, подобно тому, как, чтобы установить рабство, пришлось совершить насилие над природой, так и для того, чтобы увековечить право рабствования, нужно было изменить природу; и юрисконсульты, кото-

рые с важностью провозгласили <sup>152</sup>, что дитя рабыни рождается рабом, поставили иными словами, что человек не рождается человеком.

Мне, стало быть, представляется бесспорным не только то, что различные виды Правления вовсе не имели своим источником неограниченную власть, которая есть лишь извращение Правления, крайний его предел и приводит его в конце концов к тому же закону более сильного, средством преодоления которого и были различные виды Правления; но, кроме того, что если бы даже они с этого и начинались, то такая власть, будучи по своей природе незаконной, не могла служить основанием ни прав общества, ни, следовательно, неравенства, вводимого установлениями.

Не вдаваясь сейчас в разыскания по вопросу о природе первоначального соглашения, лежащего в основе всякой Власти, я ограничусь тем, что, следуя общепринятому мнению <sup>153</sup>, буду здесь рассматривать создание Политического организма как подлинный договор между народами и правителями, которых он себе выбирает <sup>154</sup>, договор, по которому обе стороны обязуются соблюдать законы, в нем обусловленные и образующие связи их союза. Так как народ, в том, что касается до отношений внутри общества, соединил все свои желания в одну волю, то все статьи, в которых эта воля выражается, становятся основными законами, налагающими определенные обязательства на всех членов Государства без исключения <sup>155</sup>, а один из этих законов определяет порядок избрания и власть магистратов <sup>156</sup>, уполномоченных наблюдать за исполнением остальных статей договора. Эта власть простирается на все, что может служить для сохранения установленного государственного устройства; но она не может изменить это устройство. К этому добавляются и определенные почести, которые внушают почтение к законам и их служителям, а для личности служителей законов — прерогативы, вознаграждающие их за нелегкие труды, — плату за хорошее управление. Магистрат, со своей стороны, обязуется использовать вверенную ему власть лишь соответственно намерениям своих доверителей, обеспечить каждому возможность мирно пользоваться тем, что ему принадлежит, и неизменно предпочитать общественную пользу своим собственным интересам.

Прежде чем опыт показал, что знание человеческой души заставило предвидеть неизбежные при подобном устройстве злоупотребления, оно должно было казаться тем более прекрасным, что те лица, на которых было возложено следить за его сохранением, сами были более всего в этом заинтересованы. Ибо магистратура и ее права покоятся лишь на основных законах; поэтому с уничтожением этих последних магистраты тотчас перестали бы быть законными, народ больше не был бы обязан им повиноваться, а так как не магистраты, а Закон составлял бы сущность Государства, то каждый по праву вновь обрел бы свою естественную свободу.

Стоит только подумать об этом повнимательнее, чтобы все это подтвердилось еще и другими соображениями; а из природы договора мы увидим, что

он не может быть нерасторжимым. Ибо если бы вообще не было более высокой власти, которая могла бы быть порукою за верность вступающих в договорные отношения их взаимным обязательствам и заставить их выполнять эти обязательства, то стороны остались бы единственными судьями в своем собственном деле, и каждая из них всегда имела бы право отказаться от договора, лишь только она обнаружила бы, что другая сторона нарушает его условия или что эти условия перестали ее удовлетворять. Кажется, на этом именно принципе может быть основано право одностороннего отречения. К тому же, если рассматривать, как мы это и делаем, лишь то, что установлено людьми,— если магистрат, держащий в своих руках всю полноту власти и присваивающий себе все выгоды договора, имеет все же право отказаться от власти, то народ, который расплачивается за все ошибки правителей, тем более должен иметь право отказаться от зависимости. Но ужасные раздоры и бесконечные неурядицы, которые неизбежно повлекла бы за собою эта опасная возможность, лучше, чем что-либо иное, показывают, насколько Правительства, людьми установленные, нуждаются в основе более прочной, чем один только разум; и насколько необходимо было для мира в обществе, чтобы божественная воля вмешалась, дабы придать верховной власти характер священный и неприкосновенный, что отняло у подданных пагубное право ею распоряжаться<sup>157</sup>. Если бы религия принесла людям лишь только это благо, то и этого было бы достаточно, чтобы люди должны были дорожить ею и принять ее, даже с присущими ей злоупотреблениями, так как она берегает больше крови, чем фанатизм заставляет ее проливать<sup>158</sup>. Но будем следовать за основной нитью нашей гипотезы.

Различные виды Правлений ведут свое происхождение лишь из более или менее значительных различий между отдельными лицами в момент первоначального установления. Если один человек выделялся среди всех могуществом, доблестью, богатством или влиянием, то его одного избирали магистратом, и Государство становилось монархическим. Если несколько человек, будучи примерно равны между собою, брали верх над остальными, то этих людей избирали магистратами, и получалась аристократия. Те люди, чьи богатства или дарования не слишком отличались, и которые меньше других отошли от естественного состояния, сохранили сообща в своих руках высшее управление и образовали демократию. Время показало, какая из этих форм была более выгодною для людей. Одни по-прежнему подчинялись только лишь законам; другие вскоре стали повиноваться господам. Граждане хотели сохранить свою свободу; подданные помышляли лишь о том, как бы отнять свободу у своих соседей, так как они не могли примириться с тем, что другие наслаждаются благом, которым они сами уже больше не пользуются. Словом, на одной стороне оказались богатства и завоевания, а на другой — счастье и добродетель.

При этих различных видах Правления все магистратуры были поначалу

выборными, и если богатство не влекло за собой предпочтения, то последнее отдавалось достоинствам, определяющим естественное превосходство, и возраст, приносящему опытность в делах и хладнокровие при вынесении решений. Старейшины у древних евреев, геронты в Спарте, сенат в Риме и даже сама этимология нашего слова *сеньор*<sup>159</sup> показывают, как некогда почиталась старость. Чем чаще выбор падал на мужей преклонного возраста, тем чаще должны были происходить выборы и тем больше ощущались связанные с проведением выборов затруднения; появляются интриги, образуются группировки, ожесточается борьба партий, вспыхивают гражданские войны; наконец, кровь граждан начинают приносить в жертву так называемому счастью Государства, и остается сделать еще один только шаг, чтобы впасть в анархию предшествующей эпохи. Честолюбивые начальники воспользовались этими обстоятельствами, чтобы сохранить навсегда свои должности за своими семьями; народ, привыкший к зависимости, покою и жизненным удобствам и уже не способный разбить свои оковы, согласился, чтобы порабощение его усилилось, дабы его спокойствие упрочилось. И, таким образом, правители, став последственными, привыкли рассматривать свою магистратуру как семейное имущество, а самих себя — как собственников Государства, которого они первоначально были лишь должностными лицами; называть сограждан своих своими рабами, причислять их, как скот, к вещам, им принадлежащим, и называть самих себя богоравными и царями царей<sup>160</sup>.

Если мы проследим поступательное развитие неравенства во время этих разнообразных переворотов, то обнаружим, что установление Закона и права собственности было здесь первой ступенью, установление магистратуры — второю, третьею же и последнею было превращение власти, основанной на законах<sup>161</sup>, во власть неограниченную. Так что богатство и бедность были узаконены первой эпохою, могущество и беззащитность — второю, третьею же — господство и порабощение, — а это уже последняя ступень неравенства и тот предел, к которому приводят в конце концов все остальные его ступени до тех пор, пока новые перевороты не уничтожат Власть совершенно или же не приблизят ее к законному установлению.

Чтобы понять необходимость такого развития, нужно иметь в виду не столько побудительные причины установления Политического организма, сколько ту форму, которую он принимает при своем претворении в действительность, и те неудобства, которые его установление влечет за собою. Ибо пороки, которые делают необходимыми общественные установления, сами по себе делают неизбежными и те злоупотребления, которым они открывают дорогу. И так как, за исключением одной только Спарты, где Закон заботился главным образом о воспитании детей и где Ликург утвердил такие нравы, которые почти избавили его от необходимости присоединять к ним законы, — законы, в общем, менее сильные, чем страсти, сдерживают людей, их не из-

меня, и легко было бы показать, что всякую Власть, которая, не извращаясь и не изменяясь, следовала бы в точности своей первоначальной цели, не было бы необходимости и устанавливать; и что та страна, в которой никто не обходил бы законов и не злоупотреблял бы властью магистрата, не нуждалась бы ни в магистратах, ни в законах <sup>162</sup>.

Различия в политическом положении неизбежно влекут за собою различия в положении гражданском. Когда возрастает неравенство между народом и его правителями, это вскоре дает себя знать и в отношениях между частными лицами, и оно видоизменяется тысячью способов в зависимости от страстей, дарований и случайных обстоятельств. Магистрат не мог бы захватить незаконную власть, не создав своих креатур, которым он, однако, вынужден уступить некоторую долю этой власти. К тому же граждане позволяют себя угнетать лишь постольку, поскольку, увлекаемые слепым честолюбием и вглядываясь больше в то, что у них под ногами, чем в то, что у них над головою, они начинают больше дорожить господством, чем независимостью, и соглашались носить оковы, чтобы иметь возможность, в свою очередь, налагать цепи на других. Очень трудно привести к повиновению того, кто сам отнюдь не стремится повелевать, и самому ловкому политику не удастся поработить людей, которые не желают ничего другого, как быть свободными. Но неравенство легко распространяется среди людей с душой честолюбивою и низкою, которые всегда готовы испытывать судьбу и господствовать или повиноваться почти с одинаковою охотой в зависимости от того, благосклонна к ним судьба или нет. Таким образом, должно было наступить время, когда народ оказался настолько ослеплен, что его предводителям стоило лишь сказать ничтожнейшему из людей: «Будь великим и ты и весь твой род» — и он сразу же всем начинал казаться великим и становился великим в своих собственных глазах, а его потомки еще более возвышались по мере того, как они от него удалялись. Чем более давней и неопределенной была причина, тем более увеличивалось ее действие; чем больше тунеядцев можно было насчитать в семье, тем более знаменитой эта семья становилась.

Если бы здесь уместно было входить в подробности, я бы легко объяснил, как среди частных лиц, даже без вмешательства Правительства, неизбежным становится неравенство влияния и авторитета (XI), лишь только они, объединившись в одном обществе, оказываются вынуждены сравнивать себя друг с другом и считаться с различиями между собою, которые они обнаруживают при постоянном общении, в котором должны находиться. Эти различия многообразны. Но так как вообще богатство, знатность или ранг, могущество и личные достоинства — это главные различия, на основании которых судят о месте человека в обществе, то я мог бы доказать, что согласие или борьба между этими различными силами — это и есть самый верный показатель того, хорошо или дурно устроено Государство. Я показал бы, что хотя из этих четырех видов неравенства личные качества являются причиною появления

всех остальных, все эти виды, однако, сводятся, в конце концов, к богатству, ибо оно самым непосредственным образом определяет благосостояние, его легче всего передавать и поэтому с его помощью можно легко купить все остальное; наблюдение это дает возможность довольно точно судить о степени удаления народа от его изначального устройства и о том, далеко ли он ушел по пути к крайнему пределу разложения. Я отметил бы, как это всеобщее стремление к славе, почестям и отличиям, всех нас снедающее, заставляет развивать и сравнивать дарования и силы, как это стремление возбуждает и умножает страсти и как, делая всех людей конкурентами, соперниками или даже врагами, оно совершает ежедневно перемены в их судьбе, делает причиною всякого рода успехов и катастроф, заставляя сталкиваться на одном и том же поприще стольких соискателей. Я показал бы, что именно этому страстному стремлению заставить говорить о себе <sup>163</sup>, этой страсти отличаться, которая почти всегда заставляет нас быть вне себя, мы обязаны тем лучшим и тем худшим, что есть в людях: нашими добродетелями и пороками, нашими науками и заблуждениями, нашими завоевателями и нашими философами, т. е. многим дурным и лишь немногим хорошим. Я доказал бы, наконец, что если горсть могущественных и богатых находится на вершине величия и счастья, тогда как толпа пресмыкается в безвестности и нищете, то это происходит от того, что первые ценят блага, которыми они пользуются, лишь постольку, поскольку другие этих благ лишены и, оставаясь в том же положении, они перестали бы быть счастливыми, если бы народ перестал быть несчастным.

Но одни только эти подробности могли бы составить материал для обширного сочинения, в котором можно было бы взвесить преимущества и неудобства всякого Правления сравнительно с правами естественного состояния, разоблачить все те разнообразные виды, в которых неравенство проявлялось вплоть до сего дня и в которых может оно проявиться в грядущие века, сообразно природе этих Правлений и тем переворотам, которые неизбежно произойдут в них со временем. Мы увидели бы массу, угнетаемую внутри Государства в результате именно тех мер предосторожности, которые были приняты ею, чтобы противостоять внешней угрозе; мы увидели бы, как постоянно растет угнетение, причем угнетенным никогда не дано знать, каков будет его предел и какие у них останутся законные средства, чтобы остановить его рост; мы увидели бы, как теряют свою силу и угасают мало-помалу гражданские права и национальные вольности и как протесты слабых начинают рассматриваться как мятежный ропот; мы увидели бы политику ограничения какой-то группой наемников числа тех лиц, которые удаляются от чести защищать общие интересы государства <sup>164</sup>, мы увидели бы, как из этого возникает необходимость налогов, как павший духом земледелец даже в мирное время покидает свои поля и бросает плуг, чтобы опоясаться мечом; мы увидели бы рождение гибельных и диковинных принципов понимания



чести, мы увидели бы как защитники отечества рано или поздно превращаются во врагов его, постоянно держащих кинжал занесенным над головами своих сограждан, и как неизбежно приходит время, когда они скажут угнетателю их отечества:

*Pectore si fratris gladium juguloque parentis  
Condere me jubeas, gravidaeque in viscera partu  
Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra* \*.

Из крайнего неравенства положений и состояний, из разнообразия дарований и страстей, из искусств бесполезных, искусств вредных, из знаний поверхностных и неглубоких появились бы сонмы предрассудков, равно противных разуму, счастью и добродетели. Мы увидели бы, как правители ревностно поддерживают все то, что может ослабить объединившихся людей, разъединяя их; все, что может придать обществу видимость согласия и посеять в нем семена подлинного раздора; все, что может внушить различным сословиям недоверие и взаимную ненависть, противопоставляя их права и их интересы и, следовательно, усилить власть, всех их сдерживающую<sup>165</sup>.

И среди всей этой безурядицы и переворотов постепенно поднимет свою отвратительную голову деспотизм; пожирая все, что увидит он хорошего и здорового во всех частях Государства, в конце концов, он начнет попирать ногами и законы, и народ и утвердится на развалинах Республики. Времена, предшествующие этой последней перемене, будут временами смут и бедствий, но, в конце концов, чудовище поглотит все; и у народов больше не будет ни правителей, ни законов, но одни только тираны. С этой минуты не может быть больше речи ни о нравственности, ни о добродетели. Ибо повсюду, где царит деспотизм, *cui ex honesto nulla est spes* \*\*, он не терпит, наряду с собою, никакого иного повелителя; как только он заговорит, не приходится уже считаться ни с честностью, ни с долгом, и слепое повиновение — вот единственная добродетель, которая оставлена рабам.

Это — последний предел неравенства и крайняя точка, которая замыкает круг и смыкается с нашею отправною точкою. Здесь отдельные лица вновь становятся равными, ибо они суть ничто; а так как у подданных нет иного закона, кроме воли их господина, а у него нет другого правила, кроме его страстей, то понятия о добре и принципы справедливости вновь исчезают; здесь все сводится к одному только закону более сильного и следовательно к новому естественному состоянию, отличающемуся от того состояния, с которого мы начали, тем, что первое было естественным состоянием в его чи-

\* Если мечом поразить повелишь мне любимого брата,  
Иль дорогого отца, иль супругу с младенцем в утробе,  
Сердце сожмется в груди, но исполнит рука приказанье.

Лукан. Фарсалия, или О гражданской войне, I, II, 376—378 (лат.)<sup>166</sup>.

\*\* Которому не свойственно ничто порядочное (лат.)<sup>167</sup>.

стом виде, а это последнее — плод крайнего разложения. Впрочем оба эти состояния столь мало отличаются друг от друга, а договор об установлении Власти настолько расшатан деспотизмом, что деспот остается повелителем лишь до тех пор, пока он сильнее всех; но как только люди оказываются в силах его изгнать, у него нет оснований жаловаться на насилие. Восстание, которое приводит к убийству или к свержению с престола какого-нибудь султана, это акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает<sup>168</sup>. Все, таким образом, идет своим естественным путем, и какова бы ни была развязка сих быстрых и частых переворотов, никто не может жаловаться на несправедливость других, но только на собственное свое неблагоприятное или на свое несчастье.

Открывая и прослеживая, таким образом, забытые и затерянные пути, которые должны были привести человека из состояния естественного в состояние гражданское, восстанавливая с помощью намеченных мною выше промежуточных этапов те, которые я должен был опустить из-за недостатка времени или которые вообще не были подсказаны мне моим воображением, всякий внимательный читатель может быть поражен огромностью того пространства, которое разделяет оба эти состояния. В этом медленном общем развитии он увидит решение бесконечного множества проблем моральных и политических, которые не могут разрешить наши философы. Он поймет, что человеческий род в одну эпоху — это не род человеческий в другую эпоху, и потому причина, по которой Диоген никак не мог найти человека<sup>169</sup>, заключена в том, что он искал среди своих современников человека времен уже минувших. «Катон,— скажет этот читатель,— погиб вместе с Римом<sup>170</sup> и со свободой, потому что не было ему места в его веке; и величайший из людей лишь удивлял тот мир, которым он правил бы пятью столетиями ранее». Словом, он объяснит, как душа и страсти человеческие, незаметно подвергаясь порче, изменяют, так сказать, и свою природу; вот почему с течением времени изменяются предметы наших потребностей и удовольствий; вот почему изначальное в человеке постепенно исчезает, и общество открывает тогда глазам мудреца лишь скопище искусственных людей и притворных страстей, которые суть продукт этих новых отношений и не имеют никакого действительного основания в природе. То, что мы узнаем здесь с помощью размышления, полностью подтверждается и наблюдениями: дикарь и человек цивилизованный настолько отличаются друг от друга по душевному складу и склонностям, что высшее счастье одного повергло бы другого в отчаянье. Первый жаждет лишь покоя и свободы, он хочет лишь жить и оставаться праздным, и даже спокойствие духа стойка не сравнится с его глубоким безразличием ко всему остальному. Напротив, гражданин, всегда деятельный, работающий в поте лица, беспрестанно терзает самого себя, стремясь найти



ЖАН-ЖАК РУССО

Рисунок А. Граффа

занятия, еще более многотрудные; он работает до самой смерти; он даже идет на смерть, чтобы иметь возможность жить, или отказывается от жизни, чтобы обрести бессмертие. Он заискивает перед знатыми, которых ненавидит, и перед богачами, которых презирает; он не жалеет ничего, чтобы добиться чести служить им; он с гордостью похваляется своей низостью и их покровительством и, гордый рабским своим состоянием, он с пренебрежением говорит о тех, которые не имеют чести разделять с ним это его состояние. Какое зрелище представили бы для караиба тягостные и вызывающие зависть труды какого-нибудь европейского министра! Какую мучительную смерть не предпочел бы этот беспечный дикарь ужасам подобной жизни, которые часто даже не скрашивает отрадное сознание того, что правильно поступаешь! Но, чтобы он увидел, какова цель стольких страданий, нужно, чтобы слова *могущество* и *репутация* приобрели смысл в его уме; нужно, чтобы он понял, что существуют люди, которые придают значение тому, как на них смотрит остальной мир, которые считают себя счастливыми и довольными самими собой скорее потому, что так полагают другие, чем потому, что они сами так считают. Такова и в самом деле действительная причина всех этих различий: дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда — вне самого себя; он может жить только во мнении других, и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного своего существования. В мою тему не входит показывать, как из подобного предрасположения возникает такое безразличие к добру и злу наряду со столь прекрасными рассуждениями о морали; как все сводится к внешней стороне вещей и как поэтому все становится притворным и наигранным — честь, дружба, добродетель и часто даже сами пороки, так как люди, в конце концов, открыли секрет, как с их помощью прославиться, — словом, как, приучившись постоянно вопрошать других о том, что мы собою представляем, и никогда не решаясь спросить об этом самих себя, мы обладаем теперь, несмотря на такое обилие философии, гуманности, вежливости и высоких принципов, одною только внешностью, обманчивою и пустою: честью без добродетели, разумом без мудрости и наслаждениями без счастья. Мне достаточно было доказать, что не таково изначальное состояние человека и что один только дух общества и неравенство, им порождаемое, так изменяют и портят наши естественные наклонности.

Я старался показать происхождение и развитие неравенства, установление политических обществ и то дурное применение, которое они нашли, насколько все это может быть выведено из природы человека, с помощью одного лишь светоча разума и независимо от священных догматов, дающих верховной власти санкцию божественного права. Из сказанного выше следует, что неравенство, почти ничтожное в естественном состоянии, усиливается и растет за счет развития наших способностей и успехов человеческого ума и становится, наконец, прочным и узаконенным в результате установления

собственности и законов. Отсюда также следует, что неравенство личностей, вводимое только одним положительным правом, вступает в противоречие с правом естественным всякий раз, когда этот вид неравенства не соединяется в таком же отношении с неравенством физическим: различие это достаточно ясно показывает, что должны мы думать в этой связи о том виде неравенства, которое царит среди всех цивилизованных народов, ибо явно противоречит естественному закону, каким бы образом мы его ни определяли, — чтобы дитя повелевало старцем, глупец руководил человеком мудрым и чтобы горстка людей утопала в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

(I) Геродот рассказывает, что после убийства Лже-Смердиса <sup>171</sup>, когда семь освободителей Персии собрались вместе, чтобы решить, какую им установить в Государстве форму правления, Отанес решительно высказался в пользу Республики; предложение в устах сатрапа тем более удивительное, что, если даже не говорить о тех личных притязаниях на власть, которые могли у него быть, вельможи вообще больше смерти боялся такого Правления, которое заставляет их уважать людей. Отанеса, как легко поверить, никто не послушался; и он, увидев, что все остальные собираются приступить к избранию монарха и не желая ни повиноваться, ни повелевать, добровольно уступил соперникам свое право на престол, потребовав вместо всякого вознаграждения только свободы и независимости для себя и для своих потомков, что и было ему предоставлено. Если бы Геродот и не сообщал нам ничего об ограничениях, которыми была обставлена эта привилегия, все же непременно следовало бы предположить, что такие ограничения были сделаны; иначе Отанес, не признавая никаких законов и не будучи обязан ни перед кем отчитываться, оказался бы всемогущим в Государстве и был бы даже еще могущественнее, чем сам царь. Но почти невероятно, чтобы человек, способный при подобных обстоятельствах удовольствоваться подобною привилегией, был способен ею злоупотреблять. И действительно, мы не видим, чтобы это право вызывало в царстве когда-либо хоть малейшую смуту, ни по вине мудрого Отанеса, ни по вине кого-либо из его потомков.

(II) С самого же начала я с уверенностью ссылаюсь на одно из тех авторитетных мнений, которые должны пользоваться полным признанием у философов, поскольку они исходят от ума основательного и возвышенного, такого, какие одни лишь философы умеют находить и понимать.

«Как бы мы ни были заинтересованы в том, чтобы познать самих себя, я не уверен, не знаем ли мы лучше все то, что не есть „мы“. Природа наделила нас орга-

вами, предназначенными единственно для того, чтобы служить для нашего самохранения; мы же пользуемся ими лишь для восприятия внешних впечатлений: мы стремимся лишь распространиться вовне и существовать вне себя. Слишком занятые умножением функций наших чувств и увеличением области внешнего распространения нашего существа, мы редко пользуемся тем внутренним чувством, которое возвращает нас к нашим истинным измерениям и которое отдаляет от нас все, что к этому не относится. А между тем именно этим чувством должны мы пользоваться, ежели мы желаем себя познать; это единственное чувство, с помощью которого мы можем о себе судить. Но как придать этому чувству всю его действительность и силу? как освободить нашу душу, в которой оно заключается, от всех неверных представлений нашего ума? Мы утратили привычку пользоваться этим чувством; эта привычка не получила никакого развития в бурях наших телесных ощущений, она иссушена огнем наших страстей; сердце, ум, чувства — все ей противодействовало» («Естественная история»<sup>172</sup>, IV, стр. 151; «О природе человека», т. II, 1749, стр. 430). [...]

(III) Все знания, которые требуют размышления, все знания, которые приобретаются лишь путем развития понятий и совершенствуются лишь постепенно, по-видимому, совершенно недоступны для дикого человека, потому что он не общается с ему подобными, потому что, другими словами, он не располагает орудием, служащим для этого общения, и потребностями, делающими такое общение необходимым. Его знания и навыки ограничиваются умением прыгать, бегать, драться, метать камни и влезать на деревья. Но если он умеет делать лишь это, зато умеет он это делать гораздо лучше, чем мы, не обладающие теми же потребностями. А так как все его навыки зависят единственно от телесных упражнений и не могут по этой причине передаваться от одного индивидуума к другому и развиваться, то первый человек мог быть в них столь же искусен, как и самые далекие его потомки. [...]

(IV) Один знаменитый автор<sup>173</sup>, исчисляя блага и несчастья человеческой жизни и сравнивая оба итога, нашел, что последний намного превышает первый и что, в общем, жизнь для человека — довольно скверный подарок. Я несколько не удивляюсь его выводу: он исходил во всех своих рассуждениях из состояния человека в гражданском обществе. Если бы восходил он до человека естественного, то можно полагать, что пришел бы к результатам весьма отличным; он заметил бы, что у человека почти нет иных несчастий, кроме тех, которые он сам для себя создал; и природа была бы оправдана. Не без усилий удалось нам сделать себя столь несчастными. Когда, с одной стороны, смотришь на безмерные труды людей, на такое множество наук, ими разработанных, искусств, ими изобретенных, на такое множество сил, ими приложенных, засыпанных пропастей, скрытых гор, снесенных скал, рек, превращенных в судоходные, распаханых земель, вырытых озер, осушенных болот, огромных зданий, воздвигнутых на суше; на море, покрытое кораблями и матросами; и когда, с другой стороны, исследуешь, немного поразмыслив, какие подлинные блага принесло все это для счастья рода человеческого, то можно лишь поразиться удивительному несоответствию между первыми и вторыми итогами и пожалеть об ослеплении человека, которое, дабы насытить его гордыню и не зная уж какое тщеславное

восхищение самим собою, заставляет его с жаром гоняться за тем, что может его сделать несчастным и что благодетельная природа позаботилась от него отворотить.

Люди — злы; печальный и долгий опыт избавляет нас от необходимости это доказывать. Между тем человек от природы добр,— полагаю, это я доказал<sup>174</sup>. Что же могло испортить его до такой степени, если не изменения, которые совершились в его телосложении, не те успехи, которых добился он, и не те знания, которые он приобрел. Вы можете сколько угодно восхищаться человеческим обществом; все же остается не менее верным, что оно неизбежно побуждает людей ненавидеть друг друга в той мере, как сталкиваются их интересы; взаимно оказывать друг другу мнимые услуги, а на деле причинять друг другу всевозможные несчастья. Что можем мы подумать о таком общении, когда интересы каждого отдельного человека внушают ему принципы, прямо противоположные тем, которые общая польза внушает обществу в целом, и когда каждый видит свою выгоду в несчастье другого? Нет, быть может, ни одного состоятельного человека, которому алчные наследники, а часто и собственные его дети, не желали бы втайне смерти; нет ни одного корабля в море, крушение которого не было бы доброй вестью для какого-нибудь торговца; нет ни одного дома, пожара которого вместе со всеми бумагами, в нем находящимися, не желал бы увидеть какой-нибудь недобросовестный должник; нет ни одного народа, который не радовался бы бедствиям своих соседей. И мы, таким образом, извлекаем пользу из невзгод наших ближних, и проигрыш одного почти всегда становится причиною благополучия другого. Но еще опаснее то, что общественные бедствия составляют предмет ожиданий и надежд множества частных лиц; одним нужны болезни, другим — мор, третьим — война, четвертым — голод. Я видел отвратительных людей, которые плакали от горя, когда год обещал быть урожайным, а огромный и страшный лондонский пожар<sup>175</sup>, который стоил жизни и имущества стольким беднякам, принес состояние, быть может, больше десяти тысячам человек. Я знаю, что Монтень порицает афищянина Демада<sup>176</sup> за то, что тот добился наказания работника, который продавал гробы слишком дорого и наживался на смерти своих сограждан; но так как исходит Монтень при этом из того соображения, что в таком случае пришлось бы наказывать всех людей, то, очевидно, что оно только подтверждает мои соображения. Проникните же, сквозь все наши пустые знаки благожелательности, в то, что творится в глубине душ; подумайте над тем, каким должно быть положение вещей, когда люди вынуждены расточать друг другу ласки и в то же время готовить друг другу гибель, когда они рождаются врагами по долгу и плутами по расчету. Если ответят мне: общество так устроено, что каждому человеку выгодно служить другим,— я отвечу, что это было бы очень хорошо, если бы ему не было еще более выгодно вредить им. Нет такой законной выгоды, чтобы ее не превысила выгода, которую можно получить незаконно; и вред, причиняемый ближнему, всегда приносит больше дохода, чем услуги. Вопрос, следовательно, только в том, чтобы найти способы обеспечить себе безнаказанность; и именно для достижения этого могущественные используют все свои силы, а слабые — всю свою хитрость.

Дикарь, когда ему удалось пообедать,— в мире со всей природою и друг всем ему подобным. Если порою ему приходится оспаривать свою пищу у другого, то он никогда не вступает в драку, не сравнив предварительно трудности победы с тем, насколько ему трудно отыскать себе пищу в другом месте; и так как гордость не играет никакой роли в этой битве, то дело ограничивается несколькими ударами гулака; победитель ест, побежденный отправляется искать счастья — и вот мир уже восстановлен. Но с человеком в обществе дело обстоит совсем не так — ему нужно сначала позаботиться о том, что необходимо, потом уже об избыточном: приходят наслаждения, огромные богатства, появляются подданные, затем рабы, и нет у него ни минуты передышки. Еще более странно, что, чем менее естественны и настоятельны потребности, тем более разгораются страсти и, что еще хуже, — тем больше есть возможностей их удовлетворить; так что после долгого ряда счастливых событий, поглотив множество сокровищ и обездолив множество людей, мой герой кончит тем, что станет все истреблять, пока не останется единственным господином всего мира. Такова, в общих чертах, поучительная картина, если не жизни человеческой, то, по меньшей мере, тайных душевных устремлений всякого цивилизованного человека <sup>177</sup>.

Сравните, без предвзятости, состояние человека гражданского общества и человека дикого и определите, если сможете, сколько новых дверей растворил первый из них страданию и смерти,— если даже не говорить о его злости, о его нуждах, о его несчастьях. Если вы примете во внимание терзающие нас душевные муки, изнуряющие и приводящие в отчаяние бурные страсти; чрезмерные труды, коими обременены бедняки, и еще более опасную негу, которой предаются богачи, что заставляет одних умирать от нужды, а других — от излишеств; если вы подумаете о чудовищной смеси различных продуктов, составляющих нашу пищу, о вредных приправах к ним, об испорченных продуктах питания, о фальсифицированных лекарствах, о плутнях тех, кто ими торгует, об ошибках тех, которые их назначают, о ядовитых свойствах сосудов, в которых их готовят; если вы обратите внимание на эпидемические болезни, порождаемые дурным воздухом там, где скученно живут огромные скопления людей, — на болезни, вызываемые изнеженностью нашего образа жизни, постоянными переходами из домов, в которых мы живем, на открытый воздух и обратно, привычкою надевать или снимать платье без достаточных предосторожностей, на все заботы, которые вследствие чрезмерной нашей чувствительности превратились в необходимые привычки, и на то, что пренебрежение этими заботами или их отсутствие стоит нам затем жизни или здоровья; если присоедините вы к этому итогу пожары и землетрясения, которые, поглощая или разрушая целые города, тысячами губят их жителей <sup>178</sup>, словом, окиньте взором все опасности, кои в силу всех этих причин беспрестанно нагромождаются над нашею головою, и вы поймете, как дорого природа заставляет нас расплачиваться за то презрение, с каким отнеслись мы к ее урокам.

Я не стану здесь повторять о войне то, что сказал я о ней в другом месте, но я хотел бы, чтобы люди осведомленные пожелали или отважились хоть раз сообщить публике подробности тех ужасных злодеяний, которые совершаются в армиях



поставщиками продовольствия и содержателями госпиталей: мы увидели бы, что их не слишком хорошо скрытые злоухищрения, в результате которых самые блестящие армии молниеносно тают, губят больше солдат, чем косит их оружие неприятеля. Итог не менее удивительный получился бы, если подсчитаем мы число людей, ежегодно погибающих на море либо от голода, либо от цинги, либо от пиратов, либо от пожаров, либо от кораблекрушений. Ясно, что следует также отнести за счет установленного права собственности<sup>179</sup> и, стало быть, за счет общества, убийства, отравления, грабежи на больших дорогах и самые наказания за эти преступления, необходимые, чтобы предупредить несчастья еще больше; но так как за убийство одного человека лишаются жизни два человека и более, то неизбежно получается, что эти наказания удваивают потери человеческого рода. Сколько есть постыдных средств помешать рождению человека и обмануть природу либо из-за склонностей грубых и извращенных, которые оскорбляют прекраснейшее ее творение,—склонностей, которых никогда не ведали ни дикари, ни животные и которые порождены в цивилизованных странах лишь развращенным воображением, либо посредством этих тайных выкидышей, достойных плодов разврата и порочных понятий о чести, либо из-за того, что множество детей остается без помощи или убивается,—это жертвы нищеты их родителей или дикого страха их матерей, наконец из-за того, что изувечиваются несчастные, частично само бытие которых и все их потомство приносятся в жертву суетным песнопениям<sup>180</sup>, или, что еще хуже, дикой ревности некоторых мужчин: изувечение это в последнем случае вдвойне оскорбляет природу и по тому, как теперь обращаются с этими изувеченными, и по тому применению, для которого они теперь предназначаются!

Но не имеют ли место тысячи случаев еще более частых и еще более опасных, когда отцовские права открыто оскорбляют требования человечности?<sup>181</sup> Сколько дарований загублено и сколько стремлений подавлено безрассудным принуждением со стороны отцов! Сколько людей, которые отличились бы на подходящем для них поприще, умирают несчастными и лишенными славы, занимаясь другим делом, к которому их совсем не влекло! Сколько счастливых, хоть и неравных браков было расторгнуто или расстроено и сколько целомудренных супругов было опозорено в результате существования сословного строя, постоянно противоречащего естественному порядку! Сколько других нелепых союзов заключено по расчету вопреки требованиям любви и разума! Сколько честных и добродетельных супругов отравляют себе жизнь, потому что они друг другу не подходят! Сколько юных и несчастных жертв скупости своих родителей бросаются в объятия порока или коротают печальные свои дни в нерасторжимых узах, отвергаемых сердцем, в узах, которые создало одно только золото! Счастливы порою те, кто столь мужественны или, можно даже сказать, добродетельны, чтобы лишиться себя жизни<sup>182</sup>, прежде чем дикое насилие заставит их провести ее в преступлениях и отчаянии! Простите мне, навеки безутешные отцы и матери, я невольно растравлю ваши раны; но пусть послужат они вечным и страшным примером всякому, кто осмеливается, даже во имя природы, совершать насилие над священнейшим из ее прав!

Если я говорил лишь о тех неудачно заключенных связях, которые суть плод установленных в нашем обществе порядков, то не думаете ли вы, что те союзы, в заключении коих решающую роль играли любовь и симпатия, ничем не стеснены?

Что, если бы вздумал я показать, что задет самый источник рода человеческого и даже священнейшие его узы, когда люди смеют прислушаться к голосу природы лишь после того, как предварительно подумают об имущественном положении и когда, вследствие беспорядочности гражданских отношений, добродетели и пороки перемешались так, что воздержание стало полагать преступною предосторожностью, а отказ дать жизнь себе подобному — актом человеколюбия! Но не будем разрывать завесу, скрывающую столько ужасов, ограничимся тем, что назовем зло по имени и предоставим другим найти средства, чтобы это зло исцелить.

Прибавьте ко всему этому ряд вредных занятий, которые сокращают жизнь или разрушают здоровье, таких, как работа в рудниках, различные виды обработки металлов, минералов, в особенности же свинца, меди, ртути, кобальта, мышьяка, ртутья<sup>183</sup>, иные опасные ремесла, которые ежедневно стоят жизни многим работникам: то ли кровельщикам, то ли плотникам, то ли каменотесам и тем, кто работает в каменоломнях; соедините, говорю я, все это вместе, и вы увидите, что установление и усовершенствование обществ послужили причинами того уменьшения численности человеческого рода, которое уже было отмечено не одним философом<sup>184</sup>.

Роскошь, коей не может не быть там, где люди гонятся за жизненными удобствами и почестями, уже скоро довершает то зло, которое началось с возникновения обществ; под тем предлогом, что роскошь доставляет средства к жизни бедным<sup>185</sup>, которых она не должна была бы плодить, она разоряет всех остальных и рано или поздно лишает Государство населения.

Роскошь — это лекарство, что горше той болезни, которую оно якобы исцеляет, или, скорее, она сама по себе — худшее из всех зол, которые могут существовать в Государстве, будь оно большим или малым; чтобы кормить толпы слуг и нищих, ею же порождаемых, она притесняет и разоряет земледельца и гражданина, подобно тем палящим южным ветрам, что, покрывая траву и деревья прожорливыми пасокомыми, лишают пищи полезных животных и несут с собою голод и смерть повсюду, где слышится их дыхание.

Из общества и из роскоши, им порождаемой, возникают свободные и механические искусства, торговля и промышленность, науки, и все те излишества, что содействуют расцвету ремесел, обогащают и губят Государства. Эта гибель вызывается очень простою причиной. Легко видеть, что земледелие по своей природе должно быть наименее прибыльным из всех занятий, ибо продукты его более всего необходимы людям, и поэтому цены на них должны соответствовать возможностям самых бедных. Из этого же принципа можно вывести то правило, что доходность занятий, в общем, обратно пропорциональна их полезности и что наиболее необходимые из них, в конце концов, окажутся в полнейшем пренебрежении. Отсюда видно, что следует думать о подлинных выгодах, которые несет с собою промышленность, и о практических результатах ее успехов.

Таковы одиозные причины всех тех бедствий, в которые изобилие ввергает, в конце концов, самые прославленные народы. В то время как развиваются и достигают процветания промышленность и ремесла, землепашец, презираемый, обремененный налогами, необходимыми для поддержания роскоши, и принужденный коротать свои дни между трудом и голодом, покидает свои поля и отправляется в города искать хлеб, который он должен был бы туда доставлять. Чем больше ослепляют столицы бессмысленные взоры народа, тем больше следовало бы скорбеть душою при виде покинутых деревень, невозделанных полей и больших дорог, наводненных несчастными гражданами, превратившимися в нищих или воров и обреченных кончать жалкую свою жизнь на колесе или на куче навоза. Так Государство, обогащаясь, в то же время ослабляет себя и лишается населения, и самые могущественные монархии, положив немало трудов, чтобы стать богатыми и безлюдными, становятся в конце концов добычею бедных народов, которые поддаются пагубному искушению их завоевать и, в свою очередь, обогащаются и ослабляют себя до тех пор, пока и их не завоюют и не уничтожат другие народы.

Пусть хоть однажды соблаговолят объяснить нам, что могло породить эти полчища варваров, которые в течение стольких веков наводняли Европу, Азию и Африку. Совершенство ли их ремесел, мудрость ли их законов, выдающиеся ли достоинства их внутренних порядков были причиною этой чудовищной их численности? Пусть соблаговолят сказать нам наши ученые, почему, вместо того, чтобы до такой степени размножаться, эти свирепые и грубые люди, которым не было дано ни знаний, ни сдерживающих сил, ни образованности, не истребляли друг друга, ежеминутно оспаривая друг у друга пищу или место для охоты. Пусть объяснят они нам, как только у этих презренных хватило смелости взглянуть в лицо людям столь искусными и ловким, как мы, обладавшим в то время столь прекрасною воинскою дисциплиною, столь прекрасными кодексами и столь мудрыми законами. Наконец, почему с тех пор, как в северных странах общество стало более совершенным и было затрачено столько трудов, чтобы растолковать людям их взаимные обязанности и искусство жить сообща приятно и мирно, мы не видим, чтобы с севера надвигалось что-либо подобное тем несметным ордам человеческим, которые скоплялись там в былые времена. Я очень боюсь, что кто-нибудь додумается, в конце концов, мне ответить, что все эти великие вещи, а именно: искусства, науки и законы, были весьма мудро изобретены людьми как моровая язва, чтобы предупредить чрезмерное размножение человеческого рода, из опасения, как бы тот мир, который отведен нам для жизни, не оказался, в конце концов, слишком тесным для его обитателей.

Так что же! нужно разрушить общество, уничтожить «твое» и «мое», вернуться в леса жить там вместе с медведями? — такой вывод вполне в духе моих противников; но я предпочитаю их опередить и тем избавить от позора. О вы, до слуха которых не долетел голос неба и кто не видит для рода своего иного предназначения, как окончить в мире краткую земную жизнь; вы, которые можете оставить внутри городских стен ваши пагубные приобретения, беспокойный ваш ум, вашу развращенную душу и необузданные ваши желания; верните себе, ибо то в вашей

власти, вашу былую, изначальную невинность, идите в леса, чтобы не видеть и не вспоминать о преступлениях ваших современников, и не бойтесь унижить ваш род, отказываясь от его познаний, чтобы отказаться от его пороков. Что же до людей, мне подобных, в которых страсти уничтожили навсегда первоначальную простоту, которые не могут больше ни питаться травами и желудями, ни обходиться без законов и без правителей; тех, которые в лице своего родоначальника удостоились услышать наставления свыше; тех, которые в этом моем стремлении найти в человеческих поступках изначальную, а не приобретенную с течением времени нравственность, увидят единственное оправдание заповеди <sup>186</sup>, которая сама по себе безразлична и не объяснима в любой иной системе понятий; словом, тех, кто убежден, что божественный голос призвал весь род человеческий к просвещению и ко блаженству небесного познания,— то все они будут стараться, укрепляясь в добродетелях, заслужить вечную награду, которой следует им за это ожидать. Они будут уважать священные узы обществ, членами коих они являются; они будут любить себе подобных и будут служить им всеми своими силами; они будут неукоснительно подчиняться законам и людям, которые являются их творцами и их служителями; они будут особенно почитать добрых и мудрых государей, которые умеют предупредить, исцелить или сделать менее ощутимыми множество злоупотреблений и бедствий, постоянно угрожающих подавить нас своею тяжестью; они будут возбуждать рвение этих достойных правителей, указывая им без страха и без лести на величие их задачи и на суровость их долга; но не меньше будут они презирать такой строй, который может держаться лишь при помощи стольких достойных всякого уважения людей — при помощи, чаще желаемой, чем получаемой; строй, который, несмотря на все заботы этих людей, приносит с собою больше действительных бедствий, чем мнимых выгод.[...]

(V) Мне кажется, что это совершенно очевидно, и я не могу постигнуть, откуда, по мнению наших философов, берутся все те страсти, которые они приписывают человеку в естественном состоянии. За исключением одного только физически необходимого, которого требует сама природа, все остальные наши потребности являются таковыми лишь вследствие привычки, а до появления этой привычки они вовсе не были потребностями; либо вследствие наших желаний, а мы не можем желать того, что не в состоянии мы познать. Отсюда следует, что так как дикарь желает лишь того, что ему известно, а известно ему лишь то, чем он владеет или чем он без труда может овладеть, ничто не может быть столь спокойным, как его душа, и столь ограниченным, как его ум. [...]

(VI) Я решительно остерегусь вдаваться в философские размышления, вызываемые преимуществами и недостатками такого объяснения установления языков; ведь мне не позволено нападать на общераспространенные заблуждения, а ученая публика относится к предассудкам своим со слишком большим уважением, чтобы сносить мои так называемые парадоксы. Предоставим, поэтому, говорить тем людям, которым не вменяли в преступление того, что они осмеливались иногда принимать сторону разума наперекор суждению толпы. «Nec quidquam felicitati humani generis decederet,

si, pulsa tot linguarum peste et confusione, unam artem callerent mortales, et signis, motibus, gestibusque licitum foret quidvis explicare. Nunc vero ita comparatum est, ut animalium quæ vulgo bruta creduntur melior longe quam nostra hac in parte videatur conditio, utpote quæ promptius, et forsitan felicius, sensus et cogitationes suis sine interprete significent, quam ulli queant mortales, praesertim si peregrino utantur sermone». Is. Vossius. *De Poemat. cant. et viribus rhythmi*, p. 66\* [De Poematum cantu et viribus rhythmi. Oxford, 1673, p. 65—66].

(VII) Платон, показывая, насколько необходимы понятия о дискретных величинах и об их соотношениях даже в самых простых искусствах, справедливо издевается над авторами его времени, которые утверждали, что Паламед изобрел числа во время осады Трон<sup>187</sup>, как будто, говорит этот философ<sup>188</sup>, Агамемнону<sup>189</sup> могло быть до того времени неизвестно, сколько у него ног. В самом деле, понятно, что общество и искусства не могли достичь той ступени развития, какой достигли они ко времени осады Трон, если бы не знали чисел и счета; но все же необходимость знакомства с числами до приобретения других познаний не позволяет еще представить себе с большею ясностью, как они были изобретены. Когда уже изобретены имена числительные, то легко объяснить их смысл и представить себе те понятия, которые такие имена обозначают, но, чтобы их изобрести, нужно было прежде, чем усвоить эти понятия, приобрести навыки, так сказать, философского размышления, научиться рассматривать творения единственно в их сущности и независимо от того, как мы их воспринимаем: абстракция эта очень трудна, очень метафизична, очень мало естественна, а между тем без этой абстракции нельзя было бы переносить понятия с одного вида и рода на другой, а понятие числа не могло бы стать общепринятым. Дикарь мог представлять себе свою правую и свою левую ногу в отдельности или смотреть на обе свои ноги как на неделимое понятие «пары», никогда не задумываясь над тем, что ног у него две; ибо одно дело — понятие представляющее, которое изображает нам предмет, а другое — понятие числа, которое предмет определяет. Еще менее был он в состоянии сосчитать до пяти, и хотя, прикладывая одну ладонь к другой, он мог заметить, что пальцы их в точности соответствуют, он все же был весьма далек от того, чтобы решить, что на обеих руках число пальцев у него одинаково; о том, сколько у него пальцев, он знал не больше, чем о том, сколько у него волос; и если бы кто-нибудь, объяснив ему предварительно, что такое числа, сказал ему, что пальцев на ногах у него столько же, сколько и на руках, то он был бы, возможно, очень удивлен, если бы, слив их, обнаружил, что это действительно так.

\* «И не менее счастлив был бы человеческий род, если бы, избавившись от столь пагубного смешения языков, смертные знали бы лишь одно искусство речи, и если бы можно было передавать все, о чем можно подумать, знаками, движениями и жестами. Теперь же дело обстоит так, что животные, которые обыкновенно считаются неразумными, оказываются в значительно лучшем положении, чем мы, так как они выражают свои ощущения и мысли значительно быстрее, а может быть и лучше, чем это в состоянии делать какие бы то ни были люди, особенно если им приходится говорить на чужом языке». Is. Фоссиус. О пении стихов и об особенностях ритма<sup>190</sup>. Оксфорд, 1673, стр. 65—66 (лат.).

(VIII) Не следует смешивать самолюбие и любовь к самому себе — две страсти, весьма различные по своей природе и по действию, которое они производят. Любовь к самому себе — это чувство естественное, побуждающее каждое животное заботиться о самосохранении, а у человека это чувство направляется разумом и умеряется сострадательностью, порождая гуманность и добродетель. Самолюбие — это производное, искусственное чувство, возникшее лишь в обществе, заставляющее каждого индивидуума придавать самому себе больше значения, чем всему остальному, побуждающее людей причинять друг другу всевозможное зло и являющееся подлинным источником понятия о чести.

Так как это вполне понятно, то я заявляю, что в нашем первобытном состоянии, когда состояние было действительно естественное, самолюбия не существует; ибо так как каждый человек в отдельности смотрит на самого себя как на единственное во всей вселенной существо, им интересующееся, как на единственного, кто в состоянии судить о собственных его достоинствах, то невозможно, чтобы в душе его могло зародиться чувство, которое имеет своим источником сравнения, для человека в этом состоянии недоступные. В силу той же причины человек этот не мог бы испытывать ни ненависти, ни жажды мести — страстей, которые могут возникнуть лишь из представления о какой-нибудь нанесенной ему обиде; но так как обиду вызывают презрение или намерение причинить вред, а не зло, то люди, не умеющие ни оценивать друг друга, ни сравнивать себя друг с другом, могут учинить один по отношению к другому много действий насильственных, когда им от этого бывает какая-либо польза, не вызывая друг у друга обиды. Словом, так как каждый человек смотрит на себе подобных почти так же, как если бы перед ним были животные другого вида, то он может отнимать добычу у более слабого и уступать свою добычу более сильному, и смотреть на эти грабежи лишь как на естественные происшествия, не испытывая ни малейшего ощущения гордыни или досады и не ведая никакого иного чувства, кроме радости за успехи или более за неудачу. [...]

(IX) Мне могли бы возразить, что при такого рода раздорах люди, вместо того, чтобы упорно истреблять друг друга, рассеялись бы по всей земле, если бы этому рассеянию не препятствовали никакие границы. Но, во-первых, границами этими по меньшей мере должны бы быть границы мира, и если мы подумаем о чрезвычайно быстром росте населения, который является результатом естественного состояния, то мы поймем, что земля при этом положении вскоре оказалась бы заполненной людьми, принужденными таким образом жить друг подле друга. К тому же, они бы рассеялись по земле, если бы беда возникла сразу и если бы изменение это свершилось в течение одних суток. Но они рождались под ярмом, они уже привыкли носить его, когда почувствовали его тяжесть, и потому довольствовались тем, что ожидали случая его сбросить. В конце концов, они привыкли уже ко множеству удобств, которые вынуждали их жить друг подле друга, и в силу этого им было уже не так легко рассеяться по земле, как в первобытные времена, когда каждый нуждался лишь в себе самом и принимал решение, не дожидаясь согласия другого.

(X) Маршал де Виллар<sup>191</sup> рассказывает, что когда во время одной из его кампаний из-за колоссального мошенничества одного из поставщиков продовольствия в его армии поднялся ропот недовольства, он сделал этому поставщику суровое внушение и пригрозил, что прикажет его повесить. «Эта угроза не может ко мне относиться,— дерзко ответил ему мошенник,— я смею Вас уверить, что нельзя повесить человека, который располагает сотней тысяч экю». «Я не знаю как это получилось,— наивно продолжает маршал,— но он и в самом деле не был повешен, хотя сто раз заслуживал виселицы».

(XI) Полная равномерность в распределении была бы противна даже тому строгому равенству, что присуще естественному состоянию, если бы эта равномерность и была осуществима в гражданском обществе; и поскольку все члены Государства обязаны служить ему сообразно своим дарованиям и силам своим, то, в свою очередь, граждан следует отличать и возвышать соответственно их служению. Именно в этом смысле нужно понимать то место у Исократ<sup>192</sup>, где он хвалит первых афинян за то, что сумели они отличить, который из двух видов равенства более всего полезен: тот ли, что состоит в предоставлении одинаковых преимуществ всем гражданам без различия, либо тот, что состоит в распределении преимуществ соответственно заслугам каждого. Эти искусные политики, добавляет оратор, отвергнув то несправедливое равенство, которое не делает никаких различий между злодеями и людьми добродетельными, неуклонно стремились к такому равенству, которое вознаграждает и наказывает каждого соответственно его заслугам. Но, во-первых, никогда не существовало такого общества, как бы низко оно ни пало, где бы не делали никакого различия между злодеями и добродетельными людьми; и в вопросах нравственности, где Закон не может достаточно точно установить такое мерило, которое могло бы служить руководящим принципом для магистрата, весьма мудрым является такой порядок, когда для того, чтобы судьба или положение граждан в обществе не зависели исключительно от воли магистрата, Закон запрещает ему судить людей как личности, и ему остается судить лишь поступки. Только столь чистые нравы, как у древних римлян, делали возможным существование цензоров, у нас же подобные должности через короткое время перевернули бы все вверх дном. Общественное уважение должно отличать злодеев от людей добродетельных. Магистрат — это судья лишь в строго правовых вопросах; народ — вот настоящий судья нравов — судья неподкупный и, в этом отношении, даже просвещенный; судья, которого иногда обманывают, но которого никак нельзя подкупить. Ранг граждан должен, следовательно, определяться не личными их достоинствами, что означало бы дать магистратам возможность применять Закон почти произвольно, но на основании той службы, которую они фактически несут Государству и которая поддается более точной оценке.

## О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ



Слово «экономия», или «ойкономия» происходят от «οἶκος», *дом* и от «νόμος», *закон* и по своему первоначальному смыслу означает лишь благо-разумное и законное управление домом<sup>1</sup> для общего блага всей семьи. Значение этого термина впоследствии распространилось и на управление большой семьей, что есть Государство. Для того, чтобы различать сии два значения, в этом последнем случае экономию называют *общей*, или *политической экономией*<sup>2</sup>; а в другом — *домашней*<sup>3</sup>, или *частной экономией*. В этой статье речь идет только о первой.

Если бы между Государством<sup>4</sup> и семьей и существовало такое сходство, как это утверждают многие авторы, то даже из этого не следовало бы еще, что правила поведения, принятые в одном из этих двух обществ, были бы приемлемы в другом. Эти общества слишком различаются по своей величине, чтобы быть управляемы одинаковым образом; и всегда будет огромное различие между управлением домашним, когда отец может увидеть все сам, и гражданским управлением, когда правитель почти все видит лишь чужими глазами. Для того, чтобы положение дел здесь стало одинаковым, нужно было бы, чтобы дарования, сила и все способности отца возрастали пропорционально величине семьи и чтобы душа могущественного монарха относилась



к душе обычного человека так, как размеры его владений относятся к достоянию одного частного лица.

Но как может управление Государством походить на управление семьею, которая имеет столь отличное от него основание? Отец физически сильнее, чем дети, и поэтому до тех пор, пока им нужна его поддержка, отцовскую власть можно по справедливости считать установленною самою природою<sup>5</sup>. В большой семье, члены которой от природы равны между собою, политическая власть, устанавливаемая часто произвольно, может быть основана только на соглашениях, а магистрат может приказывать другим только в силу законов. Власть отца над детьми установлена для их же собственной пользы и потому не может, по самому смыслу вещей, включать право жизни и смерти; верховная власть, однако, у которой нет иной цели, кроме как общее благо, не может иметь иных пределов, как правильно понимаемая общественная польза: это различие я поясню в своем месте. Обязанности отца продиктованы ему естественными чувствами и таким тоном, который редко позволяет ему не повиноваться. У правителей нет ничего похожего на это правило, и они в своих отношениях с народом на деле связаны только теми обещаниями, которые они ему дали, и исполнения коих он вправе требовать. Другое различие, еще более важное, состоит в том, что у детей нет ничего, что бы они не получили от отца, и поэтому очевидно, что все права собственности принадлежат ему или же от него исходят. Совершенно противоположным образом обстоит дело в большой семье, где общее управление устанавливается лишь для того, чтобы обеспечить собственность частных лиц, появление которой предшествует ему. Главная цель трудов всего дома состоит в том, чтобы сохранить и умножить отцовское достояние, дабы отец мог когда-нибудь разделить его между детьми, не уменьшая их доли, тогда как богатство казны<sup>6</sup> — это лишь средство, часто весьма дурно понимаемое, для того, чтобы сохранить частным лицам мир и изобилие. Одним словом, малая семья обречена на то, чтобы угаснуть и распасться однажды на ряд других подобных семейств; большая же семья создана для того, чтобы длительно существовать в одном и том же состоянии; и поэтому для роста малой семьи нужно, чтобы она увеличивалась, тогда как для большой семьи достаточно, чтобы она сохранялась, и даже, более того, можно легко доказать, что всякое увеличение для нее скорее вредно, чем полезно.

По многим причинам, вытекающим из самой сути дела, в семье должен приказывать отец. Во-первых, власть не должна распределяться поровну между отцом и матерью, но следует, чтобы управление было единым и чтобы, при расхождении во мнениях, один голос был преобладающим и решающим. Во-вторых, сколь легкими мы бы ни захотели признать недомогания, свойственные женщине, они все же создают для нее некоторый период бездеятельности: это достаточное основание, чтобы не отдавать ей в данном деле первенства, ибо при совершенном равновесии достаточно соломинки, чтобы

*Титульный лист отдельного издания  
статьи «О политической экономии».  
Женева, 1765.*

склонить весы в ту или иную сторону. Кроме того, муж должен иметь право надзора за поведением своей жены, потому что для него важно быть уверенным в том, что дети, которых он вынужден признавать и кормить, не принадлежат кому-нибудь другому. Женщина, которой не нужно опасаться ничего подобного, не имеет таких же прав по отношению к своему мужу. В-третьих, дети должны повиноваться отцу сначала по необходимости, затем из благодарности<sup>7</sup>: получая от него все, в чем они нуждаются, на протяжении первой половины своей жизни, они должны посвятить вторую половину жизни тому, чтобы доставлять отцу все ему необходимое. В-четвертых, что до слуг, то они также обязаны ему служить за то содержание, которое он им дает, исключая тот случай, когда условия найма перестают их удовлетворять и они расторгают договор. Я ничего не говорю о рабстве<sup>8</sup>, потому что оно противно природе, и никакое право не может его узаконить.

Ничего подобного нет в обществе политическом. Правитель не только не имеет естественного интереса в счастье частных лиц, но нередко даже пытается найти свою собственную пользу в том, чтобы они были несчастны. Если магистратура наследственна, тогда нередко ребенок повелевает взрослыми; если магистратура выборна, тогда при проведении выборов дают себя чувствовать тысячи неудобств; и в том, и в другом случае утрачиваются все преимущества отцовского авторитета. Если у вас только один правитель, то вы отданы на милость господина, у которого нет никаких оснований вас любить; если у вас правителей несколько, то приходится терпеть одновременно и их тиранию, и их раздоры. Одним словом, злоупотребления неизбежны, а послед-

LE CITOYEN  
OU  
DISCOURS  
SUR  
L'ECONOMIE  
POLITIQUE,  
PAR

Mr. JEAN - JACQUES ROUSSEAU,  
*Citoyen de GENEVE.*



A GENEVE

MDCC LXV.

ствия их пагубны во всяком обществе, где общественный интерес и законы не имеют никакой естественной силы и беспрестанно ущемляются личным интересом и страстями правителя и членов.

Хотя деятельность отца семейства и деятельность первого магистрата должны быть направлены к одной и той же цели, пути их столь различны, долг и права их настолько не совпадают, что смешать их можно, только создав себе ложные представления о первоначальных законах общества и впад в заблуждения, роковые для человеческого рода. В самом деле, если голос природы — это лучший совет, к которому хороший отец должен прислушиваться, чтобы хорошо исполнять свои обязанности, то для магистрата голос природы — только ложный наставник, который беспрестанно действует, увлекая этого последнего в сторону от выполнения его обязанностей, и рано или поздно приводит к его гибели или к гибели Государства, если магистрата не удержит от этого самая возвышенная добродетель. Единственная предосторожность, необходимая отцу семейства, это — оградить себя от пороков и помешать извращению своих естественных склонностей; но эти-то естественные склонности и развращают магистрата. Для того, чтобы поступать хорошо, первому из них нужно лишь прислушиваться к голосу своего сердца; второй же становится предателем в тот самый миг, когда слышится голос сердца: самый его разум должен быть для него подозрителен, и он должен руководиться только общественным разумом, который есть Закон. Вот почему природа создала множество хороших отцов семейств, но с тех пор, как существует мир, человеческая мудрость создала лишь очень немного хороших магистратов<sup>9</sup>.

Из всего того, что я только что изложил, следует, что различие между *общественной экономией* и *частной экономией* было сделано с полным основанием; и, поскольку Гражданская община и семья не имеют ничего общего между собою, кроме обязательства их правителей сделать и первую и вторую счастливыми, ни права их не могут возникать из одного и того же источника, ни одни и те же правила поведения подходить для них обеих. Я полагал, что этих немногих строк достаточно, чтобы опровергнуть ту отвратительную теорию, которую кавалер Филмер<sup>10</sup> пытался утвердить в сочинении под заглавием *Patriarcha*\* и которому два выдающихся человека<sup>11</sup> оказали слишком много чести, написав в ответ на него по книге. Впрочем, это — заблуждение весьма древнее, так как даже Аристотель, который в некоторых местах своей «Политики»<sup>12</sup> сам к нему склоняется, считает уместным нападать на это заблуждение в других местах.

Я прошу моих читателей отчетливо различать, кроме того, *общественную экономию*, о которой я буду говорить и которую я называю *Правлением*, от высшей власти, которую я называю *Суверенитетом*; различие это состоит в том, что одной из них принадлежит право законодательства, и она в некото-

\* «Патриарх» (лат.).

рых случаях налагает обязательства даже на саму *Нацию* в целом, тогда как другой принадлежит только власть исполнительная<sup>13</sup>, и она может налагать обязательства лишь на частных лиц.

Да будет мне позволено<sup>14</sup> воспользоваться на миг сравнением обычным и во многих отношениях неточным, которое, однако, поможет лучше меня понять.

Политический организм, взятый в отдельности, может рассматриваться как членосоставленный живой организм, подобный организму человека. Верховная власть — это его голова; законы и обычаи — мозг, основа нервов и вместилище рассудка, воли и чувств, органами которых являются его судьи и магистраты; торговля, промышленность и сельское хозяйство — его рот и желудок, которые готовят пищу для всего этого организма; общественные финансы — это кровь, которую мудрая *экономия*, выполняющая функции сердца, гонит, чтобы она по всему телу разносила пищу и жизнь; граждане — тело и члены, которые дают этой машине<sup>15</sup> движение, жизнь и приводят ее в действие, и их нельзя ранить ни в какой отдельной их части так, чтобы ощущение боли не дошло сразу же до мозга, если животное находится в здоровом состоянии<sup>16</sup>.

Жизнь и первого, и второго — это *я*, общее для целого, взаимная чувствительность и внутреннее соответствие всех частей. Если это сообщество прекращается, если единство формы распадается и смежные части перестают принадлежать друг другу иначе, как при наложении, — человек мертв или Государство распалось.

Политический организм — это, следовательно, условное существо, обладающее волей, и эта общая воля, которая всегда направлена на сохранение и на обеспечение благополучия целого и каждой его части, и которая есть источник законов, является для всех членов Государства, по отношению к этим членам и к Государству, мерилом справедливого и несправедливого: истина эта, скажу между прочим, показывает, насколько основательно столь многие авторы рассматривали как кражу те ухищрения, к которым предписано было прибегать детям в Лакедемоне, чтобы заслужить свой скудный обед<sup>17</sup>; как будто бы все то, что велит Закон, могло не быть законным. Смотрите в статье «Право»<sup>18</sup> источник того великого и ясного принципа, развитием которого является эта статья.

Важно отметить, что это мерило справедливости, надежное по отношению ко всем гражданам, может быть ошибочным в применении к чужестранцам, и причина тому очевидна: ибо тогда воля Государства, хотя и является общею по отношению к его членам, не является уже таковою по отношению к другим Государствам и их членам, но становится для них волей частною и индивидуальною, мерилом справедливости которой является естественный закон; это равным образом сводится к установленному нами принципу. Ибо тогда мир — как один большой город<sup>19</sup> — превращается в Политический организм, естественным законом которого является всегда общая воля, входящие

же в него Государства и различные народы являются лишь индивидуальными членами этого организма.

Из этих именно различий в применении к каждому политическому обществу и к его членам и возникают мерилы самые всеобщие и самые надежные, на основании которых можно судить о том, хорошо или дурно Правление, и вообще о нравственности всех поступков человеческих.

Всякое политическое общество состоит из других меньших обществ различного рода, из которых каждое имеет свои интересы и свои правила. Но эти общества, которые видны каждому, так как они имеют форму внешнюю и узаконенную, не являются единственными на деле существующими в Государстве обществами; все те частные лица, которых объединяет общий интерес, образуют такое же число постоянных или недолговечных сообществ, сколько этих общих интересов. Сила этих сообществ менее очевидна, но не менее действительна, и лишь исправное соблюдение различных соотношений между ними дает подлинное знание нравов. Все эти молчаливо созданные или оформленные ассоциации и видоизменяют самыми различными способами вид воли общественной влиянием своей собственной. Воля этих частных обществ выступает всегда в двух отношениях: для членов ассоциации — это общая воля; для большого общества — это частная, которая весьма часто оказывается правой с одной стороны и порочною с другой. Иной может быть благочестивым священником или храбрым солдатом, или ревностным патрицием, но плохим гражданином. Иное решение может быть выгодным для малой общины людей и очень опасным для большой. Правда, поскольку частные общества всегда подчинены обществам, в состав которых они входят, то повиноваться должно скорее этим последним, чем другим; обязанности гражданина важнее, чем обязанности сенатора, а обязанности человека важнее, чем обязанности гражданина. Но, к несчастью, личный интерес всегда оказывается в обратном отношении к долгу и увеличивается по мере того, как ассоциация становится все более узкой, а обязательства — менее священными: это — неоспоримое доказательство того, что воля наиболее общая всегда также и самая справедливая и что голос народа есть и в самом деле глас Божий.

Из этого не следует, что решения, принятые обществом, всегда справедливы; они могут не быть таковыми, когда речь идет об иностранных делах, я уже указал по какой причине. Таким образом не исключено, чтобы хорошо управляемая Республика вела несправедливую войну. Также не исключено, чтобы Совет какой-нибудь демократии издал плохие декреты и осудил невинных, но это никогда не случится, если народ не будет введен в соблазн частными интересами, которыми несколько ловких людей сумеют, в силу своего влияния и красноречия, подменить его интересы. Тогда иное дело — решение, принятое обществом, и иное дело — общая воля. Пусть же мне не возражают, ссылаясь на демократию Афин, потому что Афины не были в действительности демократией, но весьма тиранической аристократией, управляемой уче-

ными и ораторами. Рассмотрите тщательно, что происходит при вынесении какого-нибудь решения, и вы увидите, что общая воля всегда защищает общее благо; но весьма часто возникает тайный раскол, молчаливый сговор тех, кто умеет, в своих частных интересах, отклонить собрание от решений, к коим оно склонно по природе своей. Тогда Общественный организм практически разделяется на несколько других организмов, члены которых выражают общую волю, хорошую и справедливую по отношению к этим новым организмам, но несправедливую и дурную по отношению к целому, от которого каждый из таких организмов отъединяется.

Отсюда видно, как легко можно объяснить с помощью этих принципов те явные противоречия, которые замечаем мы в поведении стольких людей, вполне добросовестных и честных в некоторых отношениях, в других же отношениях — обманщиков и плутов, попирающих ногами самые священные обязанности и до самой смерти верных обязательствам часто незаконным. Так, самые испорченные люди все же оказывают своего рода уважение тому, во что верит общество; например, — это было отмечено в статье «Право», — даже разбойники, враги добродетели в большом обществе, поклоняются ее изображению в своих пещерах<sup>20</sup>.

Утверждая общую волю в качестве первого принципа общественной *экономии* и главной основы всякого Правления, я не считал нужным всерьез рассматривать вопрос о том, принадлежат ли магистраты к народу или народ — магистратам, и о том, следует ли в общественных делах сообразоваться с благом Государства или с благом правителей. С давних пор этот вопрос был разрешен в одном смысле практикою, а в другом — разумом; и вообще было бы большой глупостью надеяться, чтобы те, которые на деле являются господами, предпочли иные интересы своим собственным. Поэтому было бы удобно разделить общественную *экономю*, кроме того, на народную и тираническую. Первая из них — это *экономиа* всякого Государства, в котором между народом и правителями царит единство интересов и воли; вторая будет существовать неизбежно повсюду, где у Правительства и у народа будут различные интересы и, следовательно, когда стремления каждого из них будут противоположны. Основные правила этой последней *экономии* пространно записаны в архивах истории и в сатирах Макиавелли<sup>21</sup>. Другие правила можно найти лишь в писаниях тех философов, кои осмеливаются требовать прав человечности.

I. Итак, первый и самый важный принцип Правления, основанного на законах или народного, т. е. такого, которое имеет своею целью благо народа, состоит, как я уже говорил, в том, чтобы во всем следовать общей воле. Но, чтобы ей следовать, нужно ее знать и, в особенности, уметь хорошо отличать ее от частной воли, начиная с самого себя: такое различие всегда очень трудно сделать, и просветить нас в этом отношении может лишь возвышенная добродетель. Для того, чтобы хотеть, надо быть свободным, и поэтому

другая едва ли меньшая трудность — это обеспечить одновременно и общественную свободу, и авторитет Правительства. Если вы поищите те причины, которые побудили людей, объединившихся в большое общество<sup>22</sup> во имя их взаимных интересов, объединиться более тесно в гражданских обществах, вы не найдете никакой иной причины, кроме потребности обеспечить имущество, жизнь и свободу каждого члена общею защитой<sup>23</sup>. Иначе, как можно заставить людей защищать свободу одного из них, не ущемляя свободы других? и как удовлетворить общественные нужды, не вредя собственности тех частных лиц, которых принуждают способствовать этому? Какими бы софизмами мы ни пытались это скрасить, все же несомненно, что если мою волю можно стеснять, то я уже более не свободен; и я уже не хозяин моего имущества, если кто-либо другой может к нему прикоснуться. Эта трудность, которая должна была казаться неодолимою, была устранена вместе с первой при помощи самого возвышенного из человеческих установлений или, скорее, небесным вдохновением, которое научило человека подражать в этом мире непреложным наказаниям Божества. С помощью какого непостижимого искусства удалось найти средство подчинить людей, чтобы сделать их свободными? использовать для служения Государству имущество, руки и самую жизнь всех его членов, не принуждая их и не спрашивая их мнения? сковать их волю с их собственного согласия? придавать решающее значение их согласию вопреки их отказу и принуждать их самим себя наказывать, когда они делают то, чего не хотели? Как может оказаться, что они повинуются, а никто не повелевает; что они служат и не имеют господина; когда в действительности они тем более свободны, что при кажущемся подчинении никто не теряет из своей свободы ничего, кроме того, что может вредить свободе другого? Эти чудеса творит Закон. Одному только Закону люди обязаны справедливостью и свободою; этот спасительный орган воли всех восстанавливает в праве естественное равенство между людьми; этот небесный голос внушает каждому гражданину предписания разума общественного и научает его, поступая соответственно правилам собственного своего разума, не быть при этом в противоречии с самим собою. И только Закон правители должны заставить говорить, когда они повелевают; ибо как только один человек попытается независимо от законов подчинить своей частной воле другого человека, он тотчас же выходит из гражданского состояния и ставит себя по отношению к этому другому человеку в состояние чисто естественное, когда повинование никогда не предписывается иначе, как силой необходимости.

Самый настоятельный интерес правителя так же, как и самый необходимый его долг, состоит, стало быть, в том, чтобы заботиться о соблюдении законов, служителем которых он является и на которых основывается весь его авторитет. Если он должен заставить других соблюдать законы, то с еще большим основанием должен соблюдать их он сам<sup>24</sup>, раз он пользуется всем их покровительством, ибо его пример имеет такую силу, что если бы народ и

согласился потерпеть, чтобы правитель освободил себя от ярма Закона, ему следовало бы остерегаться пользоваться этой столь опасной прерогативой, которую вскоре попытались бы, в свою очередь, узурпировать другие и часто ему во вред. В сущности, так как все обязательства, налагаемые обществом, по своей природе взаимны, то нельзя поставить себя выше Закона, не отказываясь от преимуществ, которые дает общество; и никто не обязан ничем тому, кто считает, что он ничем никому не обязан. По той же причине при правильно устроенном Правлении никакое изъятие из действия Закона никогда не будет дароваться ни на каком основании. Граждане же, которые имеют заслуги перед отечеством, должны получить в вознаграждение за них те или иные почести, но никак не привилегии; ибо Республика уже накануне гибели, если кто-нибудь может подумать, что это хорошо — не повиноваться законам. Но если бы когда-либо знать или военные, или какое-либо другое сословие в Государстве усвоили себе такое правило, то все погибло бы безвозвратно.

Сила законов зависит еще больше от собственной их мудрости, чем от суровости их исполнителей; а общественная воля получает наибольший свой вес от разума, которым она продиктована; потому-то Платон и рассматривает<sup>25</sup> как весьма важную предосторожность — необходимость в начале эдиктов всегда помещать преамбулу, которая показывала бы их справедливость и пользу. В самом деле, первый из законов — это уважение законов; суровость наказаний<sup>26</sup> — это лишь бесполезное средство, придуманное неглубокими умами, чтобы заменить страхом то уважение, которого они не могут добиться иным путем. Всегда замечали, что в тех странах, где пытки всего ужаснее, — их применяют чаще всего; так что жестокость наказаний говорит лишь о многочисленности правонарушителей, а наказывая за все с одинаковою строгостью, мы вынуждаем виновных совершать преступления, чтобы избежать наказания за свои проступки.

Но хотя Правительство и не властно над Законом, и то уже много значит, что оно выступает как поручитель за него и имеет тысячу средств заставить его любить. Только в этом и состоит талант управления. Когда имеешь в руках силу, не требуется искусства, чтобы повергнуть всех в трепет; точно так же немного надо искусства и для того, чтобы завоевать сердца, ибо опыт давно уже приучил народ быть благодарным своим правителям за то, что они ему не причинили всего того зла, какое они могли ему причинить, и обожать своих правителей, когда народ им не ненавистен. Глупец, которому повинуются, может, как и всякий другой, карать преступления — настоящий государственный деятель умеет их предупреждать; он утверждает свою достойную уважения власть не столько над поступками, сколько, в большей еще мере, над волею людей. Если бы он мог добиться того, чтобы все поступали хорошо, ему самому уже не оставалось бы ничего делать, и вершиною его трудов была бы возможность самому оставаться бездеятельным. Досто-



верно, по меньшей мере, что самый большой талант правителей состоит в том, чтобы скрывать свою власть, дабы сделать ее менее отталкивающей и управлять Государством столь мягко, чтобы казалось, что оно и не нуждается в руководителях.

Я заключаю, таким образом, что так же, как первый долг Законодателя состоит в том, чтобы привести законы в соответствие с общей волей, так и первое правило общественной *экономики* состоит в том, чтобы управление соответствовало законам. Для того, чтобы Государство не было дурно управляемо, достаточно даже того, чтобы Законодатель предусмотрел, как он это и должен был сделать, все, чего требуют условия местности, климата, почвы, нравов, соседства и все внутренние отношения в народе, которому он должен был дать установления<sup>27</sup>. Это не означает, что не остается еще множества частных внутренних управления и *экономики*, которые предоставляются мудрому попечению Правительства. Но всегда есть два непогрешимых правила, которые укажут, как правильно поступать в этих случаях: одно из них — дух Закона; этим надлежит руководиться, принимая решения в тех случаях, которые Закон не мог предусмотреть; второе — это общая воля, источник и естественное дополнение всех законов, и ее всегда следует вопрошать при отсутствии прямых указаний закона. Как, скажут мне, узнать общую волю в тех случаях, когда она никак не высказывалась? нужно ли будет собирать всю нацию при каждом непредвиденном событии? Оснований собирать нацию тем меньше<sup>28</sup>, что вовсе не обязательно, чтобы ее решение представляло собою выражение общей воли; этот способ неосуществим, когда мы имеем дело с многочисленным народом, и в нем редко возникает необходимость, когда Правительство имеет добрые намерения. Ибо правители хорошо знают, что общая воля всегда принимает сторону самую справедливую; так что нужно лишь быть справедливым, чтобы быть уверенным в том, что следуешь общей воле. Часто, когда ее слишком открыто попирают, она все же проявляет себя, несмотря на все страшные стеснения со стороны публичной власти. Я пытаюсь найти как можно ближе примеры, которым надлежит следовать в подобном случае. В Китае<sup>29</sup> государь, как правило, всегда и неизменно делает своих чиновников виновными во всех разногласиях, которые возникают между ними и народом. Если в какой-нибудь провинции вздорожает хлеб, интенданта сажают в тюрьму<sup>30</sup>. Если в другой провинции возникает мятеж, то губернатора отрешают от должности, и каждый мандарин отвечает головою за всякую беду, что случится в его округе. Это не значит, что потом дело не расследуется по всем правилам в суде, но долгий опыт научил опережать таким образом его приговор. Здесь редко приходится исправлять какую-либо несправедливость; и император, убежденный в том, что народное недовольство никогда не бывает беспричинным, всегда различает среди мятежных криков, за которые он карает, справедливые жалобы, кои он удовлетворяет.

Это уже много — установить во всех частях Республики порядок и мир; это уже много, если в Государстве царит спокойствие и уважается Закон. Но если не делается ничего больше, то во всем этом будет больше видимости, чем реальности, и Правительство с трудом добьется повиновения, если оно будет требовать одного только повиновения. Если это хорошо — уметь использовать людей такими, каковы они, — то еще много лучше — сделать их такими, какими нужно, чтобы они были; самая неограниченная власть — это та, которая проникает в самое нутро человека и оказывает не меньшее влияние на его волю, чем на его поступки. Несомненно, что люди, в конце концов, то, во что превращает их Правительство: воины, граждане, мужи, когда оно этого желает; чернь и сброд, когда ему это угодно; и всякий государь, который презирает своих подданных, сам себя позорит, когда обнаруживается, что он не смог сделать их достойными уважения. Создавайте же мужей, если хотите вы повелевать мужами; если хотите вы, чтобы законам повиновались, сделайте так, чтобы их любили и чтобы достаточно было подумать о том, что должно сделать, чтобы то было исполнено. В этом-то и заключалось великое искусство Правительств древних в те отдаленные времена, когда философы давали законы народам и использовали свое влияние лишь для того, чтобы делать народы мудрыми и счастливыми. Отсюда столько законов против роскоши, столько уложений о нравах, столько провозглашенных обществом правил, которые с величайшею разборчивостью принимались или отвергались. Даже тираны не забывали об этой важной части управления, и они уделяли столько же внимания развращению нравов своих рабов, сколько магистраты — заботам об исправлении нравов своих сограждан. Но наши новые Правительства, которые считают, что они все сделали, когда извлекут деньги, даже не представляют себе, что необходимо или возможно прийти к этому.

II. Второй существенный принцип общественной *экономии* не менее важен, чем первый. Вы желаете, чтобы осуществилась общая воля? сделайте так, чтобы все изъявления воли отдельных людей с нею сообразовались, а так как добродетель есть лишь соответствие воли отдельного человека общей воле, то, дабы выразить это в немногих словах, установите царство добродетели.

Если бы политики были меньше ослеплены своим тщеславием, они бы увидели, насколько невозможно, чтобы какое-либо установление действовало в соответствии со своим назначением, если его развитие не направлять в соответствии с законом долга; они бы поняли, что самая важная движущая сила публичной власти заключена в сердцах граждан, и ничто не может заменить добрые нравы как опору Правительства. Мало того, что лишь люди честные могут исполнять законы; в сущности лишь люди порядочные умеют им повиноваться. Тот, кто не боится угрызений совести, не убоится и пыток — кары менее страшной, менее длительной и такой, которую, по крайней мере, можно надеяться избежать; и какие бы предосторожности ни были приняты, — те, кому, чтобы творить зло, нужна лишь безнаказанность, едва ли не пайдут

способов обойти Закон и уйти от наказания. Тогда, поскольку все частные интересы объединяются против общего интереса, который не является больше интересом кого-либо в отдельности, все пороки общества, чтобы ослабить законы, приобретают силу большую, чем законы, чтобы уничтожить пороки; и разложение народа и правителей захватывает, в конце концов, и Правительство, сколь мудрым оно бы ни было. Худшее из всех зол состоит в том, что законам подчиняются по видимости, лишь для того, чтобы на деле с большей уверенностью их нарушать. Вскоре самые лучшие законы превращаются в самые пагубные; было бы во сто раз лучше, если бы их вообще не существовало; оставалось бы еще это последнее средство, когда других средств уже нет. В подобном положении тщетно нагромождают эдикты на эдикты, постановления на постановления: все это приводит лишь к появлению новых злоупотреблений, не исправляя прежних. Чем больше умножаете вы число законов, тем большее презрение вы к ним вызываете; и все надзиратели, которых вы ставите,— это лишь новые нарушители, которые поставлены делиться с прежними или грабительствовать отдельно. Вскоре наградою венчают не добродетели, а разбой; самые подлые люди пользуются наибольшим доверием; чем выше они поднимаются, тем большее презрение к себе вызывают; самые их почетные звания кричат об их подлости, и их позорят сами эти почести. Если они покупают одобрение правителей или покровительство женщин, так только для того, чтобы торговать, в свою очередь, правосудием, своею должностью и Государством; а народ, который не видит, что их пороки — это первая причина его несчастий, ропщет и восклицает со стоном: «Все мои беды лишь от тех, которым я плачú, чтобы они меня от этих бед оградили».

Вот тогда-то голос долга, который уже замолк в сердцах граждан, правители вынуждены заменить криком ужаса или приманкою какой-либо кажущейся выгоды, которой они завлекают своих ставленников. Вот тогда-то и приходится прибегать ко всем тем мелким и презренным хитростям, которые они называют *государственными принципами* и *тайнами кабинета*. Все, что остается от силы Правительства, используется его членами, чтобы губить и вытеснять друг друга, а дела оказываются заброшенными или же ведутся лишь в той мере, в какой того требует личная выгода, и сообразно тому, как она их направляет. Наконец, все искусство этих великих политиков состоит в том, чтобы так загуманить глаза людям, в которых они нуждаются, чтобы каждый считал, что он трудится в своих интересах, действуя в их интересах; я говорю в *их* интересах, как будто подлинный интерес правителей в самом деле требует уничтожить своих подданных, чтобы их подчинить и разорить, дабы обеспечить себе обладание их имуществом.

Но когда граждане любят свои обязанности, а блюстители публичной власти искренне стараются поощрять эту любовь своим примером и заботами, все трудности исчезают; управление приобретает легкость, избавляющую правителей от необходимости прибегать к тому малопонятному искусству, мер-

зость которого и составляет всю его тайну. Никто уже не сожалеет об этих необъятных умах, столь опасных и столь обожаемых, о всех этих великих министрах, чья слава неотделима от бедствий народа; добрые нравы общества заменяют гений правителей, и чем более царит добродетель, тем меньше нужны дарования. Даже честолюбивым замыслам лучше служит исполнение долга, чем узурпация. Народ, убежденный в том, что его правители трудятся лишь для того, чтобы составить его счастье, своим уважением освобождает их от трудов по укреплению их власти; и история показывает нам в тысячах случаев, что если народ предоставляет власть тем, кого он любит и кто его любит, то такая власть во сто раз неограниченнее, чем всякая тирания узурпаторов. Это не значит, что Правительство должно бояться пользоваться своею властью, но что оно должно использовать ее только в соответствии с законами. Вы найдете в истории тысячу примеров правителей честолюбивых или боязливых, которых погубили уступчивость или гордыня, — но ни одного примера правителя, которому пришлось плохо лишь потому, что он был справедлив. Однако нельзя смешивать пренебрежение с умеренностью и мягкость со слабостью. Нужно быть суровым, чтобы быть справедливым. Допустить злодеяние, которое мы вправе и в силах уничтожить, значит стать самому злодеем. *Siculi enim est aliquando misericordia puniens, ita est crudelitas parcens* \*.

Недостаточно сказать гражданам: «*Будьте добрыми!*» — надо научить их быть таковыми; и даже пример, который в этом отношении должен служить первым уроком, не есть единственное необходимое здесь средство. Любовь к отечеству всего действеннее, ибо, как я уже говорил, всякий человек добродетелен, когда его частная воля во всем соответствует общей воле; и мы с охотою желаем того же, чего желают любимые нами люди.

Похоже на то, что чувство человечности выдыхается и ослабевает, если оно должно охватить все на свете, и что бедствия в центре и на севере Азии<sup>31</sup> или в Японии не могут нас волновать в такой мере, как бедствия какого-нибудь европейского народа. Надо каким-то образом сосредоточить интерес и сострадание, чтобы придать им большую действенность. Однако, если уже такая наша склонность может принести пользу только тем, с кем нам приходится жить, то хорошо, по крайней мере, что человечность, сконцентрированная в кругу сограждан, обретает в них же новую силу, укрепляемую привычкою постоянно видеть друг друга и общими интересами, их объединяющими. Несомненно, величайшие чудеса доблести были вызваны любовью к отечеству; это чувство сладкое и пылкое, сочетающее силу самолюбия со всей красотой добродетели, придает ей энергию, которая, не искажая сего чувства, делает его самую героическою из всех страстей. Любовь к отечест-

\* «Ибо, как иногда милосердие наказывает, так и жестокость иногда щадит» (лат.). Августин<sup>32</sup>. Послания, СЛII,

ву — вот что породило столько бессмертных деяний, чей блеск ослепляет слабые наши глаза, и столько великих людей, чьи давние добродетели стали почитаться за басни с тех пор, как любовь к отечеству стала предметом насмешек. Не будем тому удивляться; порывы чувствительных сердец кажутся химерами всякому, кто их не испытывал; и любовь к отечеству, во сто крат более пылкая и более сладостная, чем любовь к возлюбленной, познается только тогда, когда ее испытаешь: но легко заметить во всех сердцах, кои она согревает, во всех поступках, кои она внушает, тот пылающий и возвышенный жар, каким не светится самая чистая добродетель, если отделена она от любви к отечеству. Осмелимся противопоставить самого Сократу Катону<sup>33</sup>: один из них был более философом, а другой — более гражданином. Афины уже погибли, и только весь мир мог быть Сократу отечеством; Катон же всегда носил свое отечество в глубине своего сердца; он жил лишь ради него и не мог его пережить. Добродетель Сократа — это добродетель мудрейшего из людей; но рядом с Цезарем и Помпеем<sup>34</sup> Катон кажется богом среди смертных. Один из них наставляет несколько человек, воюет с софистами<sup>35</sup> и умирает за истину; другой — защищает Государство, свободу, законы от завоевателей мира<sup>36</sup> и, наконец, покидает землю<sup>37</sup>, когда больше не видит на ней отечества, которому он мог бы служить. Достойный ученик Сократа был бы добродетельнейшим из своих современников; достойный соперник Катона был бы из них величайшим. Добродетель первого составила бы его счастье; второй искал бы свое счастье в счастье всех. Мы получили бы наставления от первого и пошли бы за вторым; и уже это одно решает, кому оказать предпочтение; ибо никогда не был создан народ, состоящий из мудрецов, — сделать же народ счастливым возможно.

Мы желаем, чтобы народы были добродетельны? так научим же их прежде всего любить свое отечество. Но как им его полюбить, если оно значит для них не больше, чем для чужеземцев, и дает лишь то, в чем не может оказать никому? <sup>38</sup> Было бы намного хуже, если бы в своем отечестве они не имели даже гражданской безопасности, и их имущество, жизнь или свобода зависели бы от милости людей могущественных, причем им невозможно было бы или не разрешено было бы сметь требовать установления законов. Тогда, подчиненные обязанностям гражданского состояния, и не пользуясь даже правами, даваемыми состоянием естественным, не будучи в состоянии использовать свои собственные силы, чтобы себя защитить, они оказались бы, следовательно, в худшем из состояний, в котором могли только оказаться свободные люди, и слово *отечество* могло бы иметь для них только смысл отвратительный или смешной. Не следует полагать, что можно повредить или порезать руку так, чтобы боль не отдалась в голове; и не более вероятно, чтобы общая воля согласилась на то, чтобы один член Государства, каков бы он ни был, ранил или уничтожил другого<sup>39</sup>, за исключением того случая, когда такой человек в здравом уме тычет пальцами ему прямо в глаза. Безопасность

частных лиц так связана с общественной конфедерацией, что если не учитывать должным образом людской слабости, такое соглашение должно было бы по праву расторгаться, если в Государстве погиб один-единственный гражданин, которого можно было спасти; если несправедливо содержали в тюрьме хотя бы одного гражданина или если был проигран хоть один судебный процесс вследствие явного несправедливости. Ибо, коль разорваны основные соглашения<sup>40</sup>, непонятно, какое право или какие интересы могли бы удерживать народ в общественном союзе, если только он не будет удержан в этом союзе одною лишь силой, которая неизбежно вызывает распад гражданского состояния.

В самом деле, разве обязательство Нации в целом не состоит в том, чтобы заботиться о сохранении жизни последнего из ее членов столь же старательно, как и о всех остальных? и разве благо одного гражданина — это в меньшей степени общее дело, чем благоденствие всего Государства? Если нам скажут, что справедливо, чтобы один погиб ради всех, я восхищусь таким изречением в устах достойного и добродетельного патриота, который обрекает себя на смерть добровольно и подчиняясь долгу ради спасения своей страны. Но если под этим понимают, что Правительству дозволено принести в жертву невинного ради безопасности многих, то я нахожу, что этот принцип — один из самых отвратительных, какие когда-либо изобретала тирания; самый ложный из всех, какие можно выдвинуть; самый опасный из всех, какие можно приять, и наиболее открыто противоречащий основным законам общества. Не только не должен один-единственный погибать ради всех, но, более того, все обязуются своим имуществом<sup>41</sup> и своей жизнью защищать каждого из них так, чтобы слабость отдельного человека всегда была защищена общественною силою, а каждый член Государства — всем Государством. Мысленно отторгните от народа одного индивидуума за другим, а затем заставьте сторонников этого принципа получше объяснить, что они понимают под *Организмом Государства*, и вы увидите, что, в конце концов, они сведут Государство к небольшому числу людей, которые не суть народ, но служители народа и которые, обязавшись особою клятвою погибнуть сами ради его безопасности, пытаются этим доказать, что он должен погибать во имя их безопасности.

Хотите найти примеры той защиты, которую Государство обязано оказывать своим членам, и того уважения, которое оно обязано оказывать их личности? лишь у знаменитейших и храбрейших наций земли следует искать эти примеры, и только свободные народы знают, что стоит человек. В Спарте — известно в каком замешательстве пребывала вся Республика, когда вопрос шел о том, чтобы наказать одного виновного гражданина. В Македонии — казнь человека была делом столь важным, что, при всем величии Александра<sup>42</sup>, этот могущественный монарх не решался хладнокровно приказать умертвить преступника македонца до тех пор, пока обвиняемый не предстал перед своими согражданами, чтобы себя защитить, и не был ими осужден. Но римля-

не превосходили все другие народы в уважении, которое у них Правительство оказывало отдельным людям, и в скрупулезном внимании к соблюдению неприкосновенных прав всех членов Государства. Не было у них ничего столь священного, как жизнь простых граждан; требовалось собрание всего народа, не менее, чтобы осудить одного из них. Даже сам Сенат и Консулы при всем их огромном значении не имели на это права; и у могущественнейшего народа в мире преступление и наказание гражданина было общественным несчастьем. Может быть, именно потому, что римлянам казалось столь жестоким проливать кровь за какое бы то ни было преступление, по закону *Porcia* \* смертная казнь была заменена изгнанием для всех тех, кто согласился бы пережить потерю столь сладостного отечества. Все дышало в Риме и в армиях этою любовью сограждан друг к другу и этим уважением к имени римлянина, которое поднимало дух и возбуждало доблесть у каждого, кто имел честь носить это имя. Шапка гражданина, освобожденного из рабства, гражданский венок того, кто спас жизнь другому, — вот на что взирали с наибольшим удовлетворением среди всего великолепия триумфов<sup>43</sup>; и следует отметить, что из венцов, которыми награждали на войне за прекрасные деяния, лишь гражданский венок и венок триумфаторов были из травы и листьев: все остальные были только золотыми. Так Рим стал добродетельным, и так он стал владыкою мира. Честолюбивые правители! Пасгух управляется со своими собаками и стадами, а ведь он лишь последний из людей. Если повелевать — это прекрасно, то лишь при условии, что те, кто нам повинуются, могут сделать нам честь. Уважайте же ваших сограждан, и вы сами сделаетесь достойными уважения; уважайте свободу, и ваше могущество будет с каждым днем возрастать; не превышайте никогда своих прав, и вскоре они станут безграничны.

Пусть же родина явит себя общей матерью граждан; пусть выгоды, коими пользуются они в своей отчизне, делают ее для них дорогою; пусть Правительство оставит им в общественном управлении долю, достаточную для того, чтобы они чувствовали, что они у себя дома; и пусть законы будут в их глазах лишь поручительством за общую свободу. Эти права, сколь они ни прекрасны, принадлежат всем людям, но злая воля правителей легко сводит на нет их действие даже тогда, когда она, казалось бы, не посягает на них открыто. Закон, которым злоупотребляют, служит могущественному одновременно и наступательным оружием, и щитом против слабого; предлог «общественное благо» — это всегда самый опасный бич для народа. Самое необходимое и, быть может, самое трудное в Правлении это — строгая неподкупность, чтобы всем оказать справедливость и в особенности, чтобы бедный был защищен от тирании богатого. Самое большое зло уже свершилось, когда есть бедные, которых нужно защищать, и богатые, которых необходимо сдерживать. Толь-

\* Порция (лат.)<sup>44</sup>.

ко в отношении людей со средним достатком законы действуют со всей своей силой; они в равной мере бессильны и против сокровищ богача и против нищеты бедняка; первый их обходит, второй от них ускользает; один рвет паутину, а другой сквозь нее проходит.

Вот почему одно из самых важных дел Правительства: предупреждать чрезмерное неравенство состояний, не отнимая при этом богатств у их владельцев, но лишая всех остальных возможности накапливать богатства; не воздвигая приютов для бедных, но ограждая граждан от возможности превращения в бедняков. Люди неравномерно расселяются по территории Государства и скопляются в одном месте, в то время как другие места безлюдют; искусства увеселительные и прямо мошеннические поощряются за счет ремесел полезных и трудных<sup>45</sup>, земледелие приносится в жертву торговле; откупщик становится необходимой фигурой лишь вследствие того, что Государство плохо управляет своими финансами; наконец, продажность доходит до таких крайностей, что уважение определяется числом пистолет и даже доблести продаются за деньги — таковы самые ощутимые причины изобилия и нищеты, подмены частною выгодой выгоды общественной, взаимной ненависти граждан, их безразличия к общему интересу, развращения народа и ослабления всех пружин Правления. Таковы, следовательно, беды, которые трудно облегчить, когда они дают себя чувствовать, но которые должно предупреждать мудрое управление, дабы сохранять наряду с добрыми нравами уважение к законам, любовь к отечеству и непреложность общей воли.

Все эти предосторожности будут, однако, недостаточны, если не взятая за них еще более заблагосверменно. Я кончаю эту часть общественной *экономики* тем, с чего я должен был начать. Родина не может существовать без свободы, свобода без добродетели, добродетель без граждан. У вас будет всё, если вы воспитаете граждан; без этого у вас все, начиная с правителей Государства, будут лишь жалкими рабами. Однако воспитать граждан — это дело не одного дня; и, чтобы иметь граждан-мужей, нужно наставлять их с детского возраста. Пусть не говорят мне, что тот, кто должен управлять людьми, не может добиваться от них совершенства, которое им несвойственно от природы и им недоступно; что он не должен и пытаться уничтожить в них страсти, и что выполнение подобного замысла было бы скорее желательно, чем возможно. Я соглашусь со всем этим тем более, что человек, вовсе лишенный страстей, был бы, конечно, очень дурным гражданином<sup>46</sup>. Но следует также согласиться с тем, что если только не учить людей вообще ничего не любить, то возможно научить их любить одно больше, чем другое, и любить то, что действительно прекрасно, а не то, что безобразно. Если, к примеру, учить граждан с достаточно раннего возраста всегда рассматривать свою собственную личность не иначе, как с точки зрения ее отношений с Государством в целом, и смотреть на свое собственное существование лишь, так сказать, как на часть существования Государства<sup>47</sup>, то они смогут в конце



концов прийти к своего рода отождествлению себя с этим большим целым, почувствовать себя членами отечества, возлюбить его тем утонченно-сильным чувством, которое всякий отдельный человек испытывает лишь по отношению к самому себе; они смогут возвышать постоянно свою душу до этой великой цели и превратить, таким образом, в возвышенную добродетель сию опасную склонность, из которой рождаются все наши пороки. Не одна только философия доказывает возможность воспитания этих новых наклонностей, но и история приводит тому тысячи ярких примеров: если они среди нас столь редки, то потому лишь, что никто не заботится о том, чтобы у нас были настоящие граждане, и потому, что еще меньше беспокоятся о том, чтобы взяться достаточно рано за их воспитание. Уже не время изменять наши естественные наклонности, когда они начали развиваться и когда привычка соединяется с самолюбием; уже не время спасать нас от самих себя, когда *человеческое я*, однажды поселившись в наших сердцах, начало там эту достойную презрения деятельность, которая поглощает всю добродетель и составляет всю жизнь людей с мелкой душою. Как могла бы зародиться любовь к отечеству среди стольких иных страстей, которые ее заглушают? и что остается для сограждан от сердца, поделенного между скупостью, любовью к славе и тщеславием?

С первой минуты жизни надо учиться быть достойными жить; и подобно тому, как рождаясь, мы уже тем самым приобретаем права граждан, так миг нашего рождения должен быть и началом отправления наших обязанностей. Если есть законы для зрелого возраста, должны быть законы для детства, которые должны учить ребенка повиноваться другим<sup>48</sup>; и, если мы не делаем разум каждого отдельного человека единственным судьей его обязанностей, тем менее можно предоставить познаниям и предрассудкам отцов воспитание их детей, так как это для Государства еще важнее, чем для отцов. Ибо, по естественному ходу вещей, смерть отца часто скрывает от него последние плоды воспитания; отечество же рано или поздно почувствует результат воспитания<sup>49</sup>; Государство остается, а семья распадается. Если же публичная власть, занимая место отцов и возлагая на себя эту важную обязанность, получает их права, выполняет их обязанности, то у отцов остается тем менее поводов на это жаловаться, что в этом отношении они только изменяют свое название; и они будут иметь, называясь все вместе *гражданами*, такую же власть над своими детьми, какую они имели каждый в отдельности, называясь *отцами*; и когда они будут говорить от имени Закона, дети окажут им не меньшее повиновение, чем тогда, когда они говорили с ними от имени самой природы. Общественное воспитание в правилах, предписываемых Правительством, и под надзором магистратов, поставленных сувереном, есть, таким образом, один из основных принципов Правления народного или осуществляемого посредством законов<sup>50</sup>. Если дети воспитываются вместе в условиях равенства; если они впитали в себя уважение к законам Государства

и к принципам общей воли; если они научены уважать эти законы и принципы превыше всего; если окружены они примерами и предметами, кои беспрестанно говорят им о нежной матери, их питающей, о любви, которую она к ним испытывает, о бесценных благах, кои они от нее получают, и о том, чем они ей обязаны со своей стороны, то не будем сомневаться в том, что так они научатся нежно любить друг друга, как братья, желать всегда только того, чего хочет общество, научатся вместо бесплодной и пустой болтовни софистов совершать деяния, достойные мужей и граждан, и станут со временем защитниками и отцами того отечества, коего детьми они столь долго были.

Я не буду вовсе говорить о магистратах, призванных руководить этим воспитанием, которое, несомненно, есть наиважнейшее дело Государства. Понятно, что если бы такие знаки общественного доверия давались без разбора; если бы эта возвышенная обязанность не была для тех, которые достойно исполнили бы все прочие обязанности, наградою за их честные труды, сладостной утехой их старости и вершиною<sup>51</sup> всех оказанных им почестей,— все предприятие было бы бесполезным, а воспитание — безуспешным: ибо повсюду, где урок не подкрепляется авторитетом, а предписание — примером, образование остается бесплодным; и сама добродетель теряет свой вес в устах того, кто не поступает добродетельно. Но пусть прославленные воины, склонясь под бременем своих лавровых венков, проповедают мужество; пусть неподкупные магистраты, посевшие в своих пурпурных мантиях и в трибуналах, научают справедливости; таким образом и те, и другие воспитают себе добродетельных преемников и будут передавать из века в век грядущим поколениям опыт и таланты правителей, мужество и добродетель граждан и общее всем соревнование в умении жить и умереть во имя отечества.

Я знаю лишь три народа, которые прежде осуществляли общественное воспитание, именно: критяне, лакедемоняне и древние персы<sup>52</sup>; у всех трех оно имело величайший успех, а у двух последних совершило чудеса<sup>53</sup>. Когда мир оказался разделенным на нации, слишком многочисленные, чтобы ими можно было хорошо управлять, это средство стало уже неосуществимым; и еще иные причины, которые читатель сам легко может увидеть, помешали сделать попытку осуществить такое воспитание у какого-либо народа новых времен. Весьма примечательно, что римляне смогли обойтись без общественного воспитания; но Рим в течение пятисот лет непрерывно был таким чудом, какое мир не должен надеяться увидеть еще раз. Добродетель римлян, порожденная отвращением к тирании и к преступлениям тиранов и врожденною любовью к отечеству, превратила все их дома в школы граждан; а безграничная власть отцов над своими детьми внесла такую строгость нравов в распорядок жизни частных лиц, что отец, внушающий еще больший страх, чем магистраты, был в своем домашнем суде цензором нравов и стражем законов.

Так Правительство, внимательное и имеющее добрые намерения, непрестанно следящее за тем, чтобы поддерживать и оживлять у народа любовь к отечеству и добрые нравы, задолго предупреждает те беды, которые наступают рано или поздно как следствие безразличия граждан к судьбе Республики, и удерживает в тесных пределах те личные интересы, которые настолько разобщают отдельных людей, что Государство, в конце концов, ослабляется из-за их могущества, и ему нечего ждать от их доброй воли. Повсюду, где народ любит свою страну, уважает законы и живет просто, остается сделать совсем немного, чтобы составить его счастье; и в общественном управлении, где слепой случай играет меньшую роль, чем в судьбе отдельных людей, мудрость столь близка к счастью, что эти две вещи сливаются.

III. Недостаточно иметь граждан и защищать их, нужно подумать еще о их пропитании; и удовлетворение общественных нужд, очевидным образом связанное с общей волей,— это третья существенная обязанность Правительства. Сия обязанность состоит, как это легко можно понять, не в том, чтобы наполнять амбары частных лиц и избавлять их от труда, но в том, чтобы сделать для них изобилие настолько доступным, что труд для этого будет всегда необходим и никогда не бесполезен<sup>54</sup>. Эта обязанность распространяется также на все действованиа, кои касаются до содержания фиска в порядке и до расходов общественного управления. Вот почему, после того как мы сказали об общей *экономии* по отношению к руководству людьми, нам остается рассмотреть сию экономию по отношению к управлению имуществом<sup>55</sup>.

Эта часть представляет не менее трудностей для разрешения и не менее противоречий для устранения, нежели предыдущая. Несомненно, что право собственности — это самое священное из прав граждан и даже более важное в некоторых отношениях, чем свобода: потому ли, что оно теснее всего связано с сохранением жизни; потому ли, что имущество легче захватить и труднее защищать, чем личность, и в силу этого следует больше уважать то, что легче похитить; либо, наконец, потому, что собственность — это истинное основание гражданского общества и истинная порука в обязательствах граждан, ибо если бы имущество не было залогом за людей, то не было бы ничего легче, как уклониться от своих обязанностей и насмеяться над законами. С другой стороны, не менее бесспорно, что содержание Государства и Правительства требует расходов и издержек, и так как всякий, кто приемлет цель, не может отказаться от средств ее достижения, то отсюда следует, что члены общества должны из своих средств участвовать в расходах по его содержанию. К тому же, с одной стороны, трудно обеспечивать безопасность собственности частных лиц, не затрагивая ее с другой; и невозможно, чтобы все регламенты, определяющие порядок наследований, завещаний, контрактов, не стесняли граждан в некоторых отношениях в распоряжении их собственным имуществом и, следовательно, в их праве собственности.

Но кроме того, что я сказал выше о согласии, которое царит между силою Закона и свободою гражданина, надо, в отношении распоряжения имуществом граждан, сделать одно важное замечание, которое сразу разрешает многие трудные вопросы. Оно состоит в том, как показал Пуфендорф<sup>56</sup>, что по своей природе право собственности не распространяется за пределы жизни собственника, и в тот момент, когда человек умер, его имущество уже более ему не принадлежит. Таким образом предписывать ему условия, на которых он может им распоряжаться, означает, в сущности, не столько изменить его право по видимости, сколько расширить его в действительности.

В общем, хотя установление законов, определяющих права частных лиц в распоряжении их собственным имуществом, принадлежит лишь суверену, дух этих законов, коему Правительство должно следовать в их применении, состоит в том, что, переходя от отца к сыну и от одного родственника к другому, имущество должно сколь можно менее уходить из семьи и отчуждаться из нее. Тому есть ощутимое основание в пользу детей: для них право собственности было бы весьма бесполезно, если бы отец им не оставлял ничего; кроме того, дети нередко сами содействовали своим трудом приобретению имущества отца и, стало быть, сами приобрелись к его праву. Но есть и другое соображение, более отдаленное и не менее важное: ничего нет более губельного для нравов и для Республики, чем постоянные изменения положения и состоятельности граждан; изменения эти суть подтверждение и источник тысячи беспорядков, которые все опрокидывают и смешивают; в итоге те, которые воспитываются для одного, оказываются предназначенными для другого<sup>57</sup>; и не те, которые возвышаются, ни те, которые падают, не могут усвоить ни правил, ни познаний, подобающих их новому состоянию, и еще гораздо менее того способны выполнять обязанности этого состояния. Теперь я перехожу к предмету общественных финансов.

Если бы народ сам собою управлял и если бы не было ничего посредствующего между управлением Государством и гражданами, им оставалось бы лишь устраивать складчину в случае необходимости, в соответствии с общественными нуждами и возможностями отдельных лиц, и так как каждый никогда не терял бы из виду ни то, как собираются, ни то, как используются собранные средства, то не оставалось бы здесь места для обманов и злоупотреблений; Государство никогда не было бы обременено долгами, а народ — налогами; или, по крайней мере, уверенность в правильности использования средств примиряла бы с суровостью обложения. Но дела не могли бы идти таким образом; и каким бы ограниченным в своих размерах ни было Государство, гражданское общество в нем всегда слишком многочисленно, чтобы им могли править все его члены<sup>58</sup>. Совершенно необходимо, чтобы общественные средства проходили через руки управителей, которые, кроме государственного интереса, имеют и свой частный интерес, к коему они прислушиваются не в последнюю очередь. Народ, который, со своей стороны, заме-

чает не столько общественные нужды, сколько жадность начальников и безумные их траты, ропщет, видя себя лишенным необходимого ради того, чтобы доставить другим излишнее; и когда эти злоухищрения ожесточат его однажды до определенной степени, самое неподкупное управление не сможет восстановить к себе доверия. Тогда, если отчисления добровольны, они не дают ничего; если они вынуждены, они незаконны; и в этой жестокой альтернативе: дать погибнуть Государству или посягнуть на священное право собственности, которое есть опора Государства, состоит трудность справедливой и мудрой экономии<sup>59</sup>.

Первое, что должен сделать после установления законов *основатель учреждений Республики*<sup>60</sup>, это — найти фонды, достаточные для содержания магистратов и прочих чиновников и для покрытия всех общественных расходов. Эти фонды называются *эвариум* или *фиск*, если они в деньгах; *общественный домен*, если они в землях; и эти последние намного предпочтительнее первых по причинам, которые нетрудно увидеть. Всякий, кто достаточно поразмыслит над этим вопросом, вряд ли сможет в этом отношении разойтись в мнениях с Бодэном<sup>61</sup>, который рассматривает общественный домен как наиболее основательное и наиболее надежное из средств обеспечения нужд Государства; и следует отметить, что первую заботою Ромула<sup>62</sup> при разделе земель было — выделить треть из них для этой цели. Я признаю возможность того, чтобы продукт домена, которым плохо управляют, свелся к нулю; но сама сущность домена вовсе не такова, что он должен плохо управляться.

До того, как такие фонды получают то или иное употребление, они должны быть ассигнованы или утверждены собранием народа или Штатов страны; это собрание должно затем определить, как они будут употреблены. После этой торжественной процедуры, которая делает эти фонды неотчуждаемыми, они, так сказать, изменяют свою природу, и доходы от них становятся столь священны, что отвлечь хоть малейшую часть их во вред их назначению — это не только самое позорное из всех хищений, но и преступление оскорбления величества. Великий позор для Рима, что неподкупность квестора Катона<sup>63</sup> могла быть там особо отмечена и что император, вознаграждая несколькими монетами талант певца, счел необходимым добавить, что это деньги из имущества его семьи, а не из государственного имущества. Но если мало находится Гальб<sup>64</sup>, где искать нам Катонов? И когда порок уже не позорит, — найдутся ли правители столь щепетильные, чтобы не позволить себе прикоснуться к общественным доходам, предоставленным их попечению; такие правители, которые не стали бы уже вскоре обманывать самих себя, притворяясь, что они в самом деле смешивают свои пустые и скандальные раздоры со славою Государства, а средства для распространения своей власти со средствами увеличения его мощи. Вот в этой-то щекотливой части управления и является единственным действенным орудием добродетель, а неподкупность магистрата — единственною уздою, способною сдерживать

его алчность. Книги и все счета управителей служат не столько для выявления их недобросовестности, сколько для ее сокрытия; предусмотрительность же никогда не бывает столь же находчивою в изобретении новых предосторожностей, сколь изобретательно плутовство в том, чтобы их обойти. Оставьте же все реестры и бумаги и передайте финансы в верные руки; это — единственное средство для того, чтобы ими верно управляли.

Когда общегосударственные фонды уже созданы в установленном порядке, правители Государства — это по праву их распорядители; ибо распоряжение средствами составляет часть управления, часть существенную всегда, хотя и не всегда в равной степени. Влияние этой части увеличивается по мере того, как уменьшается влияние прочих движущих сил, и можно сказать, что Правительство достигло последней степени разложения, когда у него нет другого движителя, кроме денег. А так как всякое Правление непременно стремится к расслаблению, то уже это основание само по себе объясняет, почему ни одно Государство не может существовать, если его доходы не увеличиваются непрерывно.

Как только появляется ощущение необходимости такого увеличения, — это уже и первый признак внутреннего беспорядка в Государстве; и мудрый управитель, думая о том, как добыть денег, чтобы удовлетворить насущную нужду, не пренебрегает поисками отдаленной причины этой новой нужды: как моряк, который, видя, что вода заливает его корабль, приказывая пустить в ход помпы, не забывает приказать найти и заделать пробойну.

Из этого правила вытекает самый важный принцип управления финансами, именно: гораздо более усердно трудиться над тем, чтобы предупредить нужды, чем над тем, чтобы увеличивать доходы. Какие бы старания ни прилагались, помощь, которая приходит лишь после беды и медленнее, чем беда, всегда заставляет страдать Государство: пока думают о том, как бороться с одним злом, уже дает себя знать другое, и вновь изысканные средства уже сами вызывают новые затруднения, так что, в конце концов, нация обременяется долгами, народ угнетается, Правительство теряет всю свою силу и делает уже лишь немного, тратя много денег. Я полагаю, что из этого великого принципа, когда он был твердо установлен, вытекали чудеса древних Правлений, которые делали больше своею бережливостью, чем наши Правления с помощью всех своих богатств; и, быть может, отсюда произошло народное понимание слова *экономия*, которое подразумевает скорее разумное, бережное обращение с тем, что имеется, чем средства приобрести то, чего нет.

Оставляя в стороне общественный домен, который приносит Государству доходы в размере, определяющимся честностью тех, кто им управляет, мы были бы поражены, если бы сумели оценить в достаточной мере силы общего государственного управления, особенно тогда, когда оно пользуется только законными средствами, увидев, как много могут сделать правители для обеспечения общественных нужд, не носящая на имущество частных лиц. Так

как правители — хозяева всей торговли в Государстве, то ничего нет для них легче, как направлять торговлю таким образом, чтобы обеспечить все, часто даже, по видимости, ни во что не вмешиваясь. Распределение продуктов питания, денег и товаров в правильных соотношениях, сообразно времени и месту — вот подлинный секрет управления финансами и источник богатства, если только те, которые управляют финансами, умеют глядеть достаточно далеко и допускать в случае надобности кажущиеся убытки в ближайшее время, чтобы получить на деле огромные прибыли в отдаленном будущем. Когда видишь, что какое-нибудь Правительство, вместо того, чтобы взимать пошлины, платит премии за вывоз хлеба в урожайные годы и за поставку хлеба в годы неурожайные<sup>65</sup>, то поверить истинности этих фактов можно лишь тогда, когда убеждаешься в этом своими собственными глазами; эти же факты отнесли бы к романам, если бы они произошли в древности. Предположим, что для предупреждения голода в неурожайные годы было бы предложено устроить общественные склады<sup>66</sup>; в скольких странах содержание учреждения столь полезного послужило бы предлогом для введения новых податей! В Женеве эти амбары, устроенные и содержащиеся мудрою администрацией, составляют общественные запасы в голодные годы и основной доход Государства во все времена. *Alit et ditat* \* — эту прекрасную и справедливую надпись можно прочесть на фасаде здания. Чтобы изложить здесь экономическую систему хорошего Правления, часто обращал я взор к Правлению этой Республики: я счастлив, что нахожу в моем отечестве пример такой мудрости и такого преуспевания, царство которых я желал бы видеть во всех странах!

Если мы рассмотрим, как возрастают потребности Государства, мы увидим, что происходит это почти так же, как у отдельных людей; не столько в результате подлинной необходимости, сколько в результате роста бесполезных желаний; и часто расходы увеличивают лишь для того, чтобы иметь предлог увеличить сборы; так что Государство иногда выиграло бы, если бы обходилось без богатства, и это кажущееся богатство для него по сути более обременительно, чем сама бедность. Можно, правда, надеяться сделать подданных более зависимыми, давая им одной рукою то, что взято у них другою; и это была бы политика, которую Иосиф<sup>67</sup> применял по отношению к египтянам. Но этот пустой софизм тем более пагубен для Государства, что деньги не возвращаются в те же руки, из которых они вышли, и, исходя из подобных принципов, мы обогащаем лишь бездельников тем, что отбираем у людей полезных<sup>68</sup>.

Вкус к завоеваниям — это одна из наиболее наглядных и наиболее опасных причин такого увеличения расходов. Сей вкус, порожденный нередко честолюбием совсем иного рода, чем то, о котором он, казалось бы, возве-

\* Питает и насыщает (*лат.*).

щает, не всегда таков, каким он кажется; и подлинная побудительная причина здесь — не столько мнимое желание возвеличить нацию, сколько тайное желание увеличить внутри страны власть правителей посредством умножения численности войск и отвлечения умов граждан от других забот к военным делам.

И только то, по меньшей мере, вполне достоверно, что нет на свете ничего столь попираемого и столь несчастного и ничтожного, как народы-завоеватели, и даже сами их успехи лишь увеличивают их несчастья. Если б даже не учила нас тому история, сам разум наш подсказал бы нам, что чем обширнее Государство, тем больше, в полном соответствии с этим, и обременительнее расходы такого Государства; ибо нужно, чтобы все провинции внесли свою долю на расходы по содержанию общего государственного управления, и чтобы каждая провинция, кроме того, расходовала на содержание своего особого управления такую же сумму, как если бы она была самостоятельной. Добавьте к тому, что все состояния создаются в одном месте, а потребляются в другом: это вскоре нарушает равновесие между производством и потреблением и истощает многие области ради обогащения одного-единственного города.

И вот другая причина увеличения потребностей общества, которая тесно связана с предыдущею. Может наступить время, когда граждане, уже не считая себя больше людьми, заинтересованными в общем деле, перестанут быть защитниками отечества, и когда магистраты предпочтут командовать наемниками, а не свободными людьми, пусть даже только для того, чтобы при случае использовать первых, дабы лучше подчинить себе вторых. Таково было положение Рима к концу Республики и при императорах; ибо все победы первых римлян так же, как и победы Александра<sup>89</sup>, были одержаны храбрыми гражданами, которые умели в случае необходимости проливать свою кровь за отечество, но которые никогда ее не продавали. Лишь при осаде Вей начали платить римской пехоте<sup>70</sup>; и Марий был первым, кто во время Югуртинской войны<sup>71</sup> обесчестил легионы, введя в них вольноотпущенников, бродяг и прочих наемников. Став врагами тех народов, которые они брались сделать счастливыми, тираны расположили здесь свои регулярные войска якобы для того, чтобы сдерживать чужеземцев, а на самом деле, дабы угнетать жителей. Для создания таких войск нужно было оторвать от земли земледельцев; нехватка этих последних вызвала уменьшение количества съестных припасов, а содержание таких войск вызвало введение налогов, которые увеличивали стоимость сих припасов. Это первое неустройство вызвало ропот народов. Для того, чтобы подавить это сопротивление, надо было увеличить численность войск и, следовательно, нищету; и чем больше возрастало отчаяние, тем больше приходилось его еще усугублять, дабы предупредить его последствия. С другой стороны, эти наемники, коих можно было оценивать по той цене, за которую они сами себя продавали, гордые своим унижением, прези-



рали законы, их защищавшие, и своих братьев, чей хлеб они ели, они почли для себя за большую честь быть телохранителями Цезаря<sup>72</sup>, чем защитниками Рима; и они-то, обреченные на слепое повиновение, держали, по самому своему положению в Государстве, кинжал запесенным над своими согражданами и были готовы уничтожить всех по первому знаку. Нетрудно было бы показать, что вот это и было одною из главных причин разрушения Римской империи.

Изобретение артиллерии и укреплений заставило в наши дни властителей Европы восстановить применение регулярных войск для защиты своих городов; но, при наличии более законных оснований, приходится все же опасаться, чтобы результат не оказался в такой же степени губительным. Не меньше придется обезлюдить деревни, чтобы сформировать армии и гарнизоны; чтобы их содержать, придется не меньше попираť народы; и эти опасные нововведения вырастают с некоторого времени с такою быстротою во всех наших странах, что можно предвидеть лишь грядущее запустение Европы и, рано или поздно, разорение тех народов, которые ее населяют.

Как бы то ни было, нельзя не увидеть, что подобные установления неизбежно опрокидывают ту правильную экономическую систему, которая привлекает главный доход Государства из общественного домена, и оставляют лишь столь пагубные средства, как субсидии и налоги, о которых мне и остается теперь сказать.

Здесь следует вновь вспомнить, что основанием общественного соглашения является собственность; и его первое условие состоит в том, чтобы каждому обеспечивалось мирное пользование тем, что ему принадлежит<sup>73</sup>. Правда, по тому же договору каждый, хотя бы и молчаливо, обязуется вносить свою долю на общие нужды. Но это обязательство не должно ущемлять основной закон, и если даже предположить, что сами вносящие средства признали очевидную необходимость расходов,— ясно, что складчина, для того чтобы она была законною, должна быть добровольной. Добровольной не в соответствии с частной волей,— как если бы было необходимо иметь согласие каждого гражданина и каждый должен был вносить лишь столько, сколько ему угодно, что открыто противоречило бы самому духу конфедерации,— но в соответствии с общей волей, с большинством голосов и при соблюдении такой пропорциональной раскладки, которая не оставляла бы места для произвола при обложении<sup>74</sup>.

Эта истина, что налоги не могут быть установлены законным образом иначе, как с согласия народа или его представителей<sup>75</sup>, была признана всеми без исключения философами и законооведами, приобретшими какой-либо авторитет в вопросах государственного права, не исключая самого Бодэна<sup>76</sup>. Если некоторые установили принципы, по внешности противоположные, то, помимо того, что нетрудно увидеть частные причины, которые их к тому побудили,— они вносят сюда столько условий и ограничений, что, в сущности, дело сводится к тому же самому. Ибо, то — может ли народ отказывать,

либо должен ли государь требовать, — безразлично, что до права; если же речь идет лишь о силе, то делом самым бесполезным было бы рассматривать, что законно, а что нет.

Обложения, которым подвергается народ, бывают двух видов: одно — вещественное, которое взимается с имущества, другое — личное, которое вносится с головы. И тем и другим даются название *налогов* или *субсидий*: когда народ устанавливает сумму, которую он предоставляет, она называется *субсидией*; когда он предоставляет всю сумму обложения, тогда — это *налог*. Мы читаем в книге *О духе законов*<sup>77</sup>, что обложение с головы более свойственно состоянию рабства, а обложение вещей более подобает состоянию свободы. Это было бы неоспоримо, если бы размер сборов с головы был одинаков; ибо не было бы ничего более непропорционального, чем подобное обложение; а дух свободы как раз и состоит в точном соблюдении пропорций. Но если поголовное обложение в точности пропорционально средствам отдельных лиц, — каким могло быть обложение, которое во Франции носит название *подушного* и которое, таким образом, падает одновременно на вещи и на людей, — то оно является самым справедливым и, следовательно, самым подходящим для свободных людей<sup>78</sup>. Эти пропорции, как может показаться сначала, легко соблюдать, так как они соответствуют положению, которое каждый занимает в обществе, а каково это положение, всем известно. Но мало того, что скупость, влияние и обман способны исказить все вплоть до очевидного, — при этих расчетах редко учитывают все составные части, которые должны в них входить. Во-первых, следует учитывать соотношение количеств, в соответствии с которым, при всех равных условиях, тот, у кого в десять раз больше имущества, чем у другого, должен платить в десять раз больше. Во-вторых, соотношение в потреблении: т. е. различие между необходимым и избыточным<sup>79</sup>. Тот, у кого есть лишь самое необходимое, не должен вообще ничего платить; обложение имеющего избыток может составлять в случае необходимости все то, что есть у него сверх необходимого<sup>80</sup>. На это он скажет, что при его положении то, что было бы излишним для человека, ниже его стоящего, для него необходимо. Но это — ложь: ибо у вельможи две ноги, как и у волопаса, и так же, как у того, только один желудок. Более того, это так называемое необходимое столь мало необходимо для его положения, что если бы он сумел от него отказаться ради какого-нибудь похвального дела, то заслужил бы только еще большее уважение. Народ пал бы ниц перед министром, который идет в Совет пешком, потому что он продал свои кареты, когда Государство испытывало крайнюю нужду. В конце концов Закон не предписывает никому роскошествовать, а то, что благоприспособно, никогда не бывает доводом против права.

Третье соотношение, которого никогда не учитывают, а оно должно было бы считаться первым — это соотношение пользы, которую каждый извлекает из общественной кофедерации, весьма усердно защищающей огромные владе-

ния богача и едва позволяющей несчастному бедняку пользоваться хижинною, которую он построил своими руками. Все выгоды общества — разве они не для могущественных и богатых? разве не они одни занимают все доходные должности? разве не им одним предоставлены все милости, все льготы? и разве не в их пользу действует вся публичная власть? Если влиятельный человек обкрадывает своих кредиторов или совершает иные мошенничества, разве не уверен он всегда в своей безнаказанности? Палочные удары, которые он раздает; насилия, которые он совершает; сами смерти и убийства, коих он виновник — разве такие дела не стараются замаять, так что уже через шесть месяцев о них нет и речи? Если же обворовали такого человека, всю полицию сразу же ставят на ноги, и горе невинным, на которых бросит он подозрение! Проезжает он через опасное место — уже готовы эскорты; сломается его экипаж — все летят к нему на помощь; послышится шум у его дверей, он скажет лишь слово — и все умолкает; обеспокоит его чем-нибудь толпа, он делает знак — и все успокаивается; окажется на его пути возчик — его люди готовы убить этого возчика; и скорее будет раздавлено пятьдесят почтенных людей, идущих пешком по своим делам, чем будет задержан один какой-нибудь наглый бездельник, едущий в своем экипаже. Все эти знаки уважения не стоят ему ни одного су; они — право богатого человека, а не оплачиваются им своим богатством. И как меняется картина, когда речь идет о бедняке! чем больше обязано ему человечество, тем в большем отказывает ему общество. Для него закрыты все двери, даже когда он вправе потребовать их открыть; и если иногда он добивается справедливости, то с большим трудом, чем другой получил бы милость. Если нужно выполнять повинности, набирать ополчение, — именно ему отдают предпочтение; он всегда несет, кроме своего бремени, еще и то бремя, от которого его более богатый сосед в состоянии себя освободить. При малейшем несчастии, которое с ним случается, все от него отворачиваются; если жалкая его тележка опрокидывается, то мало того, что никто не приходит ему на помощь, я считаю его счастливым, если он при этом избежит оскорблений со стороны скорой на руку челяди какого-нибудь молодого герцога. Одним словом, всякая безвозмездная подмога бежит его, когда он в нужде, именно потому, что ему нечем за нее платить; но я могу считать его человеком погибшим, если, на его несчастье, у него честная душа, миленькая дочь и могущественный сосед.

Не менее важно обратить внимание еще на одно обстоятельство, а именно: убытки бедняков гораздо труднее возместить, чем убытки богача, и трудность приобретения всегда возрастает по мере того, как растет потребность. Ничто не творится из ничего; это верно в делах, как и в физике: деньги — это семена денег, и иногда труднее заработать первый пистоль, чем второй миллион. Более того: то, что платит бедный, навсегда для него потеряно и остается в руках богача или к нему возвращается; а так как одним только людям, которые принимают участие в Управлении, или тем, которые

к нему приближены, идет рано или поздно вся сумма налогов, то они, даже платя свою долю, весьма заинтересованы в том, чтобы налоги увеличивались.

Резюмируем в нескольких словах сущность общественного договора людей двух состояний: *«Вы во мне нуждаетесь, ибо я богат, а вы бедны; заключим же между собой соглашение: я позволю, чтобы вы имели честь мне служить при условии, что вы отдадите мне то немногое, что вам остается, за то, что я возьму на себя труд приказывать вам»*<sup>81</sup>.

Если все это тщательно собрать воедино, то мы обнаружим, что для того, чтобы обложение было справедливым и действительно пропорциональным, оно должно производиться не только в соответствии с размером имущества плательщиков, а на основе сложного соотношения различий в их положении и излишков их имуществ: эта операция весьма важна и весьма затруднительна, а совершают ее повседневно толпы чиновников, почтенных людей, сведущих только в арифметике, тогда как Платоны и Монтескье не решились бы за нее взяться иначе, как с содроганием и только испросив предварительно у неба ниспослать им необходимые для того познания и беспристрастность.

Другое неудобство обложения людей состоит в том, что оно слишком ощутимо и что сбор взимается с чрезмерной строгостью: это не означает, однако, что оно не оставляет места для значительных недоборов, так как легче скрыть от податного списка и от преследований свою голову, чем имущество.

Из всех прочих видов обложения цензива, или поземельная талья<sup>82</sup>, всегда считалась наиболее выгодною в тех странах, где больше придают значения сумме сбора и надежности взимания, нежели степени стеснения народа<sup>83</sup>. Осмеливались даже говорить, что нужно возложить на крестьянина большее бремя, чтобы пробудить его от лени, и что он ничего не делал бы, если бы ему не нужно было ничего платить. Но опыт опровергает в отношении всех народов этот смехотворный принцип во всех случаях: в Голландии, в Англии, где землепашец платит очень мало, и особенно в Китае, где он не платит ничего, — там и земля лучше всего возделывается. Напротив, всюду, где землепашец оказывается обложенным пропорционально тому, сколько родит его поле<sup>84</sup>, он забрасывает его или берет с него лишь ровно столько, сколько ему необходимо для жизни. Ибо для того, кто теряет плоды своего труда, не делать ничего означает оказаться в выигрыше; штрафовать же за труд — это весьма странный способ изгонять лень.

Из налога на землю или на зерно, особенно, когда он чрезмерен, проистекают два расстройства столь ужасные, что они должны в конечном счете непременно обезлюдить и разорить все страны, где он установлен.

Первое вытекает из недостатка денег в обращении: ибо торговля и промышленность притягивают в столицы все деньги деревни; а так как налог уничтожает ту соразмерность, которая могла бы еще иметь место между нуждами земледельца и ценою его зерна, деньги беспрепятственно уходят и ни-

когда не возвращаются; чем богаче город, тем беднее страна. То, что приносит обложение, переходит из рук государя или финансиста в руки тех, кто занимается ремеслом и торговлей; и земледелец, который всегда получает из этого лишь наименьшую часть, истощает, в конце концов, свои силы, платя все время столько же, а получая все меньше. Как жить человеку, если у него есть вены и нет никаких артерий, или если его артерии несут кровь лишь на расстояние в четыре пальца от сердца? Шардэн говорит, что в Персии взимаемые царем налоги с продуктов питания выплачиваются также продуктами питания. Сей обычай, о существовании которого в этой стране в прошлом, до Дария<sup>85</sup>, свидетельствует Геродот, может предупредить то зло, о котором я только что сказал. Но, если только в Персии интенданты, директора, чиновники и сторожа складов — люди не какого-то иного рода, чем повсюду в других местах, мне трудно поверить, что хоть малейшая часть этих продуктов доходит до царя, что хлеб не портится во всех амбарах и что большинство складов не уничтожается пожарами.

Второе расстройство возникает из того, что кажется преимуществом, а на деле только усугубляет бедствия еще до того, как они станут заметными; оно состоит в том, что хлеб — это продукт, который налоги несколько не удорожают в стране, производящей хлеб; и несмотря на его безусловную необходимость, количество его уменьшается, тогда как цена не увеличивается: это приводит к тому, что люди умирают от голода, хотя хлеб не дорожает, и только земледелец остается обремененным таким налогом, который он не мог для себя уменьшить за счет цены хлеба при продаже. Нужно обратить внимание на то, что о поземельной талье нельзя судить так же, как об обложении всех товаров, потому что такое обложение повышает их цену и оно оплачивается, таким образом, не столько торговцами, сколько покупателями. Ибо такое обложение, сколь значительным оно бы ни было, все же устанавливается добровольно и оплачивается торговцем лишь в соответствии с купленными у него товарами; а так как этот последний покупает лишь столько, сколько он может продать, то он и диктует цену покупателю. Земледелец же, независимо от того, продает он или нет, вынужденный в определенные сроки платить за возделываемый им участок земли, никак не может ждать, пока за его продукт дадут желательную для него цену: и если бы он не продавал своего продукта, чтобы содержать самого себя, он был бы вынужден продавать этот продукт для того, чтобы уплатить талью; так что иногда именно непомерность обложения и поддерживает низкие цены на хлеб.

Заметьте, кроме того, что помощь со стороны торговли и промышленности не только не может сделать талью более терпимой, создавая изобилие денег, но делают ее еще более обременительной. Я не стану настаивать на том, что вполне очевидно, а именно: если большее или меньшее количество денег в Государстве может дать ему больше или меньше кредита вовне, это никоим образом не меняет действительного достояния граждан и не делает их ни

более, ни менее состоятельными<sup>86</sup>. Но я сделаю следующие два важные замечания: первое — если только у Государства нет избытка продуктов питания и если изобилие денег не возникает от продажи этих продуктов за границей, то лишь те города, в которых идет торговля, ощущают такое изобилие, крестьянин же становится от этого лишь относительно беднее; второе — поскольку цены на всё повышаются с увеличением количества денег в обращении, то приходится соответственно повышать налоги, так что земледелец оказывается более обремененным налогами, хотя у него не больше средств.

Должно видеть, что поземельная талья — это в действительности налог на произведения земли. Между тем каждый согласится, что нет ничего столь опасного, как налог на хлеб, если его платит покупатель; как же не видеть, что зло во сто раз горше, когда этот налог платит сам земледелец. Разве это не значит посягать на самую основу Государства до его истоков? разве это не значит действовать самым непосредственным образом так, чтобы страна обезлюдела и, следовательно, в конце концов, была совершенно разорена? Ибо для нации нет худшего голода, чем голод на людей.

Только подлинному государственному мужу дано в распределении налогов видеть нечто более важное, чем вопрос финансов; превратить обременительные повинности в полезные уставы управления и позволить народу надеяться, что такие установления имели своею целью скорее благо нации, нежели доход от обложения.

Пошлины на ввоз чужеземных товаров, до которых очень падки жители, хотя страна не имеет в них нужды; пошлины на вывоз товаров, производимых из местного сырья, из страны, которая не имеет их в избытке, но без которых не могут обойтись чужеземцы; пошлины на изделия ремесел и художеств бесполезных и слишком доходных, пошлины на ввоз в города вещей, служащих лишь целям украшения, и вообще на все предметы роскоши отвечают этой двойной цели. А посредством таких налогов, которые облегчали бы положение бедного и ложились бы всей своею тяжестью на богатство, только и можно предупреждать постоянное увеличение неравенства состояний, порабощение богатыми массы работников и бесполезных слуг, умножение числа праздных людей в городах и бегство из деревень.

Важно установить между ценою вещей и пошлинами, которыми они облагаются, такое соотношение, чтобы, вследствие огромных размеров прибыли, отдельные люди в своей алчности не доходили до занятия контрабандою. Надо, кроме того, предупреждать легкость контрабанды, отдавая предпочтение таким товарам, которые труднее всего спрятать. Наконец, следует, чтобы налог платил скорее тот, кто использует вещь, облагаемую пошлиною, нежели тот, кто такую вещь продает; этого последнего размера пошлины, которую он должен внести, ввели бы только в большее искушение и заставили стараться провезти такие вещи контрабандой. Таков неизменный обычай в Китае, в той стране мира, где налоги выше всего и где они лучше всего упла-

чиваются: торговец не платит там ничего; пошлину вносит только покупатель, и это не приводит ни к ропоту, ни к мятежам, так как продукты, необходимые для жизни, такие, как рис и хлеб, совершенно не облагаются и, следовательно, народ не притеснен, налог же падает лишь на людей состоятельных. Впрочем, все эти предосторожности должны диктоваться не столько боязнию контрабанды, сколько той заботой, которую Правительство должно уделять тому, чтобы оградить отдельных людей от соблазна незаконных прибылей, каковой соблазн, превратив их в плохих граждан, не замедлит превратить их в людей бесчестных.

Пусть установят большие налоги на содержание ливрейных слуг, на экипажи, зеркала, люстры и гарнитуры мебели, на дорогие материи и на золотое шитье, на дворы и сады при особняках, на всякого рода зрелища, на профессии таких бездельников, как шуты, певцы, скоморохи; одним словом, на всю эту массу предметов роскоши, забавы и праздности, которые всем бросаются в глаза и тем менее могут быть скрыты от нас, что единственное их назначение в том и состоит, чтобы себя показывать, и которые были бы бесполезны, если бы не были на виду. И пусть не страшатся того, что подобный доход носил бы произвольный характер, поскольку он относится к предметам не первой необходимости. Полагать, что люди, единожды соблазвившись роскошью, смогут когда-либо от нее отказаться, значит плохо знать людей; они скорее сто раз откажутся от необходимого и предпочтут умереть от голода, чем от стыда. Увеличение трат будет лишь новым основанием к тому, чтобы продолжать эти траты, когда тщеславное желание казаться богатым обратит на пользу себе и цену вещи, и расходы на уплату налога. До тех пор, пока будут на свете богатые, они захотят отличаться от бедных; и Государство сможет создать себе доход менее всего обременяющий и более всего надежный, только лишь основываясь на этом различии.

По той же причине промышленности никак не придется страдать от такого экономического порядка, который обогатил бы финансы, оживил сельское хозяйство, облегчив бремя земледельца, и привел бы незаметно все состояния к тому среднему достатку, который составляет подлинную силу Государства. Могло бы случиться, я это признаю, что налоги способствовали бы более скорому исчезновению некоторых мод, но это означало бы только, что они заменяются другими, и от этого работник бы выиграл, а казна ничего бы не потеряла. Одним словом, предположим, что дух Правления состоит в том, чтобы подати всегда имели основой избыток богатств; тогда произойдет одно из двух: либо богатые откажутся от своих избыточных трат и будут совершать траты лишь полезные, которые вновь обратятся в пользу Государства, тогда распределение налогов сделает то, к чему приводят лучшие законы против роскоши: расходы Государства неизбежно уменьшатся вместе с расходами частных лиц, и казна, таким образом, не потеряет от того, что получит меньше, так как расходование денег уменьшится еще значительно;

либо, если богатые несколько не уменьшат свою расточительность, то казна получит из суммы налогов те средства, которые она искала, чтобы удовлетворить подлинные нужды Государства. В первом случае казна обогащается настолько, насколько уменьшаются ее расходы; во втором — она опять-таки обогащается за счет расходов частных лиц не на необходимое.

Добавим ко всему этому еще одно важное различие из области государственного права, которому Правительства, желающие всё делать сами, должны были бы уделить большое внимание. Я говорил, что обложение людей и налоги на вещи самой первой необходимости, прямо посягающие на право собственности и, следовательно, на истинное основание политического общества, всегда влекут за собою опасные последствия, если они не устанавливаются с прямого согласия народа или его представителей. Не так обстоит дело с обложением вещей, без которых можно обойтись. Ибо тогда человек вовсе не принужден платить, и его взнос может быть сочтен добровольным; так что особое согласие каждого из плательщиков дополняет общее согласие и даже, в некотором роде, предполагает такое согласие: ибо с какой стати народ будет противиться всякому обложению, которое ложится лишь на тех, кто согласен его платить? Это представляется мне несомненным: все, что не запрещается законами и не противоречит правам, и может быть запрещено Правительством, — все это Правительством должно быть разрешено путем установления сбора. Если, к примеру, Правительство может запретить пользование каретами, оно может, с еще большим основанием, ввести налог на кареты: средство мудрое и полезное для того, чтобы осудить пользование ими, не приказывая, однако, сие прекратить. Тогда можно смотреть на налог, как на своего рода штраф, доход от которого возмещает то зло, которое этим штрафом наказуется.

Кто-нибудь мне возразит, быть может, что так как те, которых Бодэн называет *наглецами*<sup>87</sup>, т. е. те, кто налагают или выдумывают налоги, принадлежат к классу богатых, то они и не подумают освободить остальных от тягот за свой счет и возложить на самих себя это бремя, чтобы облегчить бремя бедняков. Но следует отбросить подобные мысли. Если бы в каждой нации те, кому суверен поручает управление подданными, были по своему положению их врагами, то не стоило бы вообще исследовать, что они должны делать, чтобы сделать их счастливыми.



## СУЖДЕНИЕ О ВЕЧНОМ МИРЕ



Проект вечного Мира, который по своему содержанию более всех прочих замыслов достоин занимать ум добродетельного человека, был также тем из всех проектов аббата де Сеп-Пьера, над которым он размышлял дольше всего и который разрабатывал с наибольшим упорством; ибо трудно назвать иначе то проповедническое рвение, которое никогда не покидало его в этом деле, несмотря на очевидную невозможность успеха, на смешное положение, в которое он ставил себя изо дня в день, и на неприятности, которые ему приходилось беспрестанно испытывать. Похоже на то, что это святое сердце, помышляющее единственно об общем благе, измеряло внимание, которое оно уделяло тем или иным вопросам, единственно степенью их полезности, никогда не позволяя себе ни останавливаться перед препятствиями, ни помышлять о личной выгоде.

Если когда-нибудь какая-либо моральная истина и была доказана, то мне представляется, что это — общая и частная польза сего проекта. Преимущества, которые были бы результатом его осуществления, и для каждого государя, и для каждого народа, и для всей Европы, огромны, ясны, неоспоримы; невозможно придумать что-либо более основательное и более точное, чем рассуждения, при помощи которых автор обосновывает эти преимущества. Создайте Европейскую Республику на один только день — этого достаточ-

но, чтобы она существовала вечно: каждый на опыте увидел бы свою личную выгоду в общем благе. Однако те же самые государи, которые защищали бы эту Республику всеми силами, если бы она существовала, точно так же воспротивились бы сегодня ее созданию, и они обязательно помешают ей утвердиться, подобно тому, как воспрепятствовали бы ее умиранию. Таким образом, сочинение аббата де Сен-Пьера о вечном Мире выглядит на первый взгляд бесполезным для создания такой Республики и излишним для того, чтобы ее сохранить. Значит, это — бесплодное мудрствование, скажет какой-нибудь нетерпеливый читатель. Нет, это — книга основательная и разумная, и то, что она существует, весьма важно.

Начнем с рассмотрения затруднений, выдвигаемых теми, кто судит о доводах не силою разума, а только по результатам, и кому нечего возразить против этого проекта, кроме того, что он не был осуществлен. В самом деле, скажут они без сомнения, если его преимущества столь существенны, почему же суверены Европы его не приняли? почему пренебрегают они своею собственною выгодою, если эта выгода им столь хорошо доказана? Слыхано ли, чтобы они к тому же отказывались от средств увеличить свои доходы и могущество? Если этот проект столь хорош, как это утверждают, то можно ли поверить, что они не поторопились его принять, как спешили принимать все те проекты, которые в течение столь долгого времени всякий раз сбивали их с пути, и что они предпочли тысячу обманчивых средств явной выгоде?

Что и говорить, это правдоподобно, если только не предполагать, что мудрость глав Государств равна их честолюбию и что они видят свои выгоды тем лучше, чем сильнее их желают; на самом же деле избыток самолюбия наказывается главным образом тем, что приходится постоянно прибегать к таким средствам, которые самолюбие оскорбляют, и сам жар страстей — это почти всегда именно то, что отвращает их от цели. Будем же, следовательно, отличать в политике, как и в морали, выгоду действительную от выгоды кажущейся. Первая заключалась бы в вечном Мире; это доказано в *Проекте*. Вторая заключается в том состоянии полной независимости, которая освобождает суверенов от власти Закона и отдает их во власть случая, подобно безумному кормчему, который, дабы проявить ненужные знания и заставить матросов повиноваться себе, вместо того, чтобы поставить корабль на якорь, предпочитает в бурю плыть между скал.

Все занятия королей или тех, на кого они возлагают обязанность делать то, что они должны делать сами, относятся только к двум целям: распространять их господство за пределы своей страны и делать его как можно более неограниченным внутри нее. Всякая другая цель либо восходит к этим двум, либо служит для них лишь предлогом. Таковы цели: *общественное благо, счастье подданных, слава нации* — слова, навсегда изгнанные из кабинетов

министров и употребляемые в публичных эдиктах столь неуклюже, что они постоянно возвещают лишь гибельные приказания, и народ стонет заранее, когда его повелители говорят ему о своих отеческих заботах.

Судите по этим двум основным принципам, как могут государи принять предложение, которое прямо противоречит первому из этих принципов и едва ли более благоприятно для второго. Ибо вполне понятно, что Европейский Сейм закрепляет форму Правления каждого Государства не в меньшей мере, чем его границы; что нельзя оградить государей от мятежа подданных, не ограждая одновременно подданных от тирании государей; и что иначе такое устройство не сможет существовать. Итак, я спрашиваю, найдется ли в целом мире хоть один-единственный суверен, который, если, так сказать, ограничить возможности осуществления самых дорогих его замыслов, потерпел бы без возмущения даже мысль о том, что ему придется быть справедливым, и притом не только к чужеземцам, но и к своим собственным подданным.

Нетрудно понять также, что война и завоевания, с одной стороны, и усугубляющийся деспотизм, с другой, взаимно помогают друг другу; что у народа, состоящего из рабов, можно вволю брать деньги и людей, чтобы с их помощью покорять другие народы; что война дает одновременно и предлог для новых денежных поборов и другой не менее благовидный предлог для того, чтобы постоянно содержать многочисленные армии, дабы держать народ в страхе. Наконец, каждому достаточно хорошо видно, что государи-завоеватели, по меньшей мере, так же воюют со своими подданными, как и со своими врагами, и что положение победителей не лучше положения побежденных. «Я разбил римлян, — писал Ганнибал карфагенянам, — пришлите мне войск; я наложил на Италию контрибуцию — пришлите мне денег». Вот что означают *Te Deum* \*, фейерверки и веселье народа во время триумфов его повелителей.

Что же до раздоров между государями, то можно ли надеяться призвать на более высокий суд людей, похваляющихся тем, что они держат власть от своего меча, и поминающих Бога лишь только потому, что Он на небе. Разве подчинятся суверены в своих спорах судебным решениям, если вся строгость законов никогда не могла заставить частных лиц разрешать свои споры таким путем? Простой дворянин, если ему нанесут оскорбление, не снисходит до того, чтобы подавать жалобу даже в трибунал маршалов Франции<sup>1</sup>; а вы хотите, чтобы король жаловался в Европейский Сейм? И еще одно различие в том, что один из них грешит против законов и подвергает свою жизнь двойной опасности, тогда как другой подвергает опасности лишь своих подданных; берясь за оружие, он прибегает к праву, признанному всем человеческим родом, за использование которого он притязает держать отчет перед одним только Богом.

\* Тебя Бога [славим] (лат.).

Титульный лист первого русского перевода работы Ж.-Ж. Руссо «О вечном Мире». С.-Петербург, 1771

Государю, который подвергает свое дело случайностям войны, известно, что он подвергается риску; но он видит не столько этот риск, сколько те выгоды, которые он надеется приобрести, потому что он гораздо меньше боится слепого случая, чем уповает на свою собственную мудрость. Если он могущественен, он рассчитывает на свои силы; если он слаб, он рассчитывает на союзы; иногда ему полезно успокоить недовольных внутри страны, ослабить непокорных подданных, даже испытать превратности судьбы; а ловкий политик умеет извлекать выгоду даже из своих собственных поражений. Я надеюсь, что читатель будет помнить, что так рассуждаю не я, а придворный софист, который предпочитает власть над большой территорией и немногими подданными, бедными и покорными, той колебимой власти, которую дают государю правосудие и законы над народом счастливым и процветающим.

И опять-таки на основе того же принципа этот придворный софист отвергает такие доводы против войны, как прекращение торговли, сокращение населения, расстройство финансов и действительные убытки, вызываемые бесполезными завоеваниями. Исчислять всегда в деньгах приобретения и убытки суверенов — это расчет весьма ошибочный; степень могущества, которое они видят мысленно перед собою, никак не измеряется миллионами, которыми они обладают. Государь всегда пускает в ход свои проекты; он хочет повелевать, чтобы обогатиться и обогатиться, чтобы повелевать. Он будет жертвовать поочередно то одну из этих целей, то другую, чтобы достигнуть той из них, которой он не достиг: но он преследует эти две цели в отдельности лишь для того, чтобы, в конце концов, достигнуть и той и другой в сово-

## СОКРАЩЕНИЕ,

сдѣланное

ЖАНЬ ЖАКОМЬ РУСО,

Женевскимъ гражданиномъ,

изъ проекта

## О ВѢЧНОМЪ МИРѢ,

сочиненнаго господиномъ Абабомъ

*Де-Сент-Пьеромъ.*

Переведено съ Французскаго

цѣна 20 коп.



ВЪ САНКТ ПЕТЕРБУРГѢ,

1771 года.

купности; ибо для того, чтобы стать господином и людей, и вещей, ему нужно обладать одновременно и властью и деньгами.

Добавим, наконец, в отношении тех великих преимуществ, которые общий и вечный мир должен принести торговле, что эти преимущества достоверны и неоспоримы сами по себе, но, будучи общими для всех, они не будут ощутимы ни для кого в отдельности; потому что такие преимущества ощущаются лишь постольку, поскольку они не одинаковы для всех, и потому, что для увеличения своего относительного могущества нужно стремиться лишь к благам для одной стороны.

Непрестанно обманываясь видимостью вещей, государи, следовательно, отвергли бы этот мир, если бы они сами взвесили свои интересы; что же будет, если они предоставят делать это своим министрам, чьи интересы всегда противоположны интересам народа и почти всегда — интересам государя? Министрам война нужна для того, чтобы сделаться необходимыми, ставить государя в затруднительные положения, из которых он не мог бы выйти без их помощи, и, если потребуется, погубить Государство, лишь бы только не погубить свою карьеру; война необходима им для того, чтобы притеснять народ под предлогом удовлетворения общественных нужд; для того, чтобы выдвигать своих ставленников, наживаться на рыночных спекуляциях и втайне создавать тысячи отвратительных монополий; война необходима им для того, чтобы удовлетворять свои страсти и вытеснять друг друга; война необходима им для того, чтобы захватить в свои руки государя, вырывая его из придворного окружения, когда там ведутся прогив них опасные интриги. Они потеряли бы все эти возможности при установлении вечного мира. И люди еще не перестают спрашивать, почему этот проект не принят, коль скоро он осуществим! Они не видят, что в этом проекте нет ничего невозможного, кроме того, что министры не могут его принять. Что же сделают они, чтобы помешать принять этот проект? То же, что делали всегда: они выставят его в смешном виде.

Не следует также полагать, подобно аббату де Сен-Пьеру, что даже при наличии доброй воли, которой ни у государей, ни у их министров не будет никогда, легко найти благоприятный момент для осуществления этой системы; ибо для этого необходимо, чтобы сумма частных интересов не преобладала над общим интересом и чтобы каждый рассчитывал найти в благе всех то наибольшее благо, на которое он может надеяться для самого себя. А это требует такого совпадения мудрых решений в стольких умах и такого согласия во взаимоотношениях и интересах, что едва ли можно надеяться на счастливый случай, который сам принесет совпадение всех этих необходимых предпосылок. Между тем, если этого совпадения нет, то заменить его может лишь сила: и тогда надо уже не убеждать, а принуждать; и нужно не писать книги, а собирать полки.

Таким образом, хотя проект этот и был весьма мудрым, в выборе средств его осуществления сказывалось простодушие автора. Он попросту считал, что

было бы достаточно собрать Конгресс, представить этому Конгрессу его статьи — чтобы сразу же все их подписали, и все этим было бы сделано. Согласимся же, что во всех своих проектах этот честный человек довольно хорошо видел результаты, к которым они приведут, но судил, как дитя, о средствах их осуществления.

Для того, чтобы доказать, что проект Христианской Республики не есть химера, я хотел бы только назвать первого автора такого проекта: ибо очевидно, что ни Генрих IV не был сумасшедшим, ни Сюлли — фантазером<sup>2</sup>. Аббат де Сен-Пьер ссылался на этих великих людей, когда предлагал возродить их систему. Но сколь различны времена, обстоятельства, предложения, способы, которыми они были сделаны, и сами их авторы!

Чтобы судить об этом, бросим взгляд на общую обстановку в момент, избранный Генрихом IV для осуществления своего замысла. Могущество Карла Пятого<sup>3</sup>, который господствовал в одной половине мира и заставлял дрожать вторую, побуждало его стремиться к всемирной монархии, полагаясь на имевшиеся в его распоряжении огромные средства для достижения успеха и на огромные дарования, которые он мог использовать для этой цели. Его сын<sup>4</sup>, более богатый и менее могущественный, следуя беспрестанно этому плану, который он был не в состоянии осуществить, таким образом, непрерывно держал Европу в состоянии беспокойства; и австрийская династия<sup>5</sup> приобрела такое влияние на другие Державы, что ни один государь не царствовал спокойно, если он не был с нею в хороших отношениях. Филипп III<sup>6</sup>, еще менее искусный король, чем его отец, получил в наследство все эти притязания. Испанское могущество все еще внушало некоторый почтительный страх Европе, и Испания продолжала занимать господствующее положение скорее потому, что к такому положению привыкли, нежели потому, что она обладала достаточной силой, чтобы держать всех в повиновении. В самом деле, мятеж в Нидерландах<sup>7</sup>, военные приготовления для борьбы с Англией<sup>8</sup>, гражданские войны во Франции — все это истощило силы Испании и сокровища Индии; австрийский дом, разделенный на две ветви<sup>9</sup>, не действовал уже столь согласованно; и хотя император пытался сохранить или завоевать себе в Германии такой авторитет, каким обладал Карл Пятый, он лишь отталкивал от себя государей и содействовал образованию лиг, которые чуть не свергли его с трона. Так задолго подготавливались упадок австрийского дома и восстановление свободы для всех государей. Однако никто не решался первым сбросить иго и в одиночку подвергнуться риску войны; пример самого Генриха IV, которому пришлось в ней столь худо, лишил мужества всех остальных. К тому же, если исключить герцога Савойского<sup>10</sup>, который был слишком слаб и зависим, чтобы он мог что-либо предпринять, среди стольких глав Государств не было ни одного человека с головою, который был бы в состоянии задумать и осуществить такое предприятие; каждый ждал, чтобы время и обстоятельства позволили ему разбить свои

оковы. Вот каково было, в общих чертах, положение, когда Генрих задумал план образования Христианской Республики и готовился привести его в исполнение. То был проект великий, весьма заслуживающий восхищения сам по себе, и я ни в коей мере не хочу умалить его достоинства; но тайною основою его была надежда ослабить грозного врага, и потому он приобрел от сей побудительной причины ту действительность, которую он получил бы едва ли от одного только стремления к общей пользе.

Посмотрим теперь, какие средства этот великий человек употребил, чтобы подготовить столь возвышенное предприятие. Я охотно назову здесь, в первую очередь, то, что он хорошо видел все трудности; так что, задумав сей проект уже в детстве, он обдумывал его в течение всей своей жизни и отложил его осуществление до самой своей старости: такое благоразумие доказывает прежде всего наличие стремления и пылкого и сдерживаемого, которое в трудных делах одно только в состоянии преодолеть значительные препятствия; и, кроме того, наличие мудрости и терпеливой и рассудительной, что задолго прокладывает себе путь силою предусмотрительности и подготовки. Ибо велико различие между начинаниями необходимыми, в которых само благоразумие требует предоставить кое-что воле случая, и теми начинаниями, оправдать которые может лишь их успех, потому что, если мы можем обойтись и без них, то должны пытаться их совершить только тогда, когда действуем наверняка. Глубокая тайна, в которой он хранил это предприятие в течение всей своей жизни, была так же важна, как и трудна в столь великом деле: необходимо было содействие стольких людей, и стольким людям было выгодно помешать этому предприятию. Представляется, что хотя он и привлек на свою сторону большую часть Европы и состоял в союзе с самыми могущественными властителями, у него было все время лишь одно доверенное лицо, знавшее его план полностью; и по счастью, ниспосланному небом лишь наилучшему из королей, этим лицом был неподкупный министр. И пока еще в народе ничего не было известно об этих великих замыслах, все подвигалось в тайне к их осуществлению. Дважды ездил Сюлли в Лондон: с королем Яковом<sup>11</sup> начались переговоры, и король шведский<sup>12</sup> обещал поддержку со своей стороны; был заключен союз с немецкими протестантами<sup>13</sup>, и можно даже было быть уверенными в содействии государей Италии<sup>14</sup>; все способствовало осуществлению этой великой цели, не будучи в состоянии сказать, какова она, подобно тем рабочим, которые трудятся каждый в отдельности над частями новой машины, форма и назначение которой им неизвестны. Что же благоприятствовало такому общему движению? Был ли то вечный мир, которого никто не ожидал и за который немногие стали бы ратовать? Была ли то общественная польза, которая никогда не бывает пользою для кого-либо одного? Аббат де Сен-Пьер мог бы на это надеяться. Но на самом деле каждый действовал лишь в видах собственной своей пользы, которую Генрих IV умел им всем показать в весьма выгодном свете. Королю

Англии нужно было избавиться от непрерывных заговоров католиков<sup>15</sup> в своем королевстве, которых постоянно подбивала к тому Испания. Он, кроме того, видел превеликую выгоду в освобождении Объединенных провинций<sup>16</sup>, поддерживать которые стоило ему весьма дорого, причем эта поддержка приводила его ежедневно на грань войны, а войны этой он страшился или же предпочитал внести в нее свой вклад когда-нибудь, один раз, вместе со всеми остальными, чтобы навсегда от нее избавиться. Король Швеции хотел обеспечить себе владение Померанией<sup>17</sup> и утвердиться в Германии. Курфюрст Пфальца, который был тогда протестантом и главою Аугсбургского исповедания<sup>18</sup>, имел виды на Богемию<sup>19</sup> и разделял притязания короля Англии. Государям германским нужно было пресечь несправедливые захваты австрийского дома. Герцог Савойский получал Милан и Ломбардскую корону<sup>20</sup>, которой он страстно домогался. Сам папа, устав от испанской тирании, присоединился к союзу, когда ему было обещано Неаполитанское королевство. Голландцам, которые получали больше, чем все остальные, обеспечивалась свобода. Наконец, кроме общей заинтересованности в унижении высокомерной Державы, что желала господствовать повсюду, у каждого была частная заинтересованность, весьма сильная, весьма ощутимая, которую ни в какой мере не подрывала боязнь попасть из-под власти одного тирана под власть другого, потому что было условлено, что завоевания будут разделены между всеми союзниками, за исключением Франции и Англии, которые не имели права оставить что-либо за собою. Этого было достаточно, чтобы успокоить тех, кто более всего опасались честолюбивых замыслов Генриха IV. Но этому мудрому государю было известно, что, не оставляя себе ничего по этому соглашению, он, тем не менее, получал от него больше, чем кто-либо иной. Ибо, хотя он ничего не добавлял к тому наследию, которое получил, ему достаточно было разделить наследство единственного государя, превосходившего его своим могуществом, чтобы стать самому наиболее могущественным; и всем было отчетливо видно, что, приняв все предосторожности, которые могли обеспечить успех этого предприятия, он не пренебрег и теми мерами, которые давали ему первенство в том сообществе, которое он хотел создать.

Больше того, его приготовления вовсе не ограничивались образованием грозных внешних лиг и заключением союза с его соседями и соседями его врага. Заинтересовав столько народов в унижении первого властителя Европы, он не забывал одновременно готовиться, чтобы самому стать таковым. Он потратил пятнадцать лет мира на то, чтобы достойно подготовиться к тому начинанию, которое задумал. Он наполнил свои сундуки деньгами, свои арсеналы — артиллериею, оружием, боевыми припасами; он задолго подготовил средства на непредвиденные нужды. Но он сделал, безусловно, больше того, мудро управляя своими подданными, незаметно искоренения семена раздоров и приведя свои финансы в столь большой порядок, что они могли обеспечить ему все необходимое, без того, чтобы ему пришлось наложить новое бремя



на своих подданных. Так что, обеспечив внутренний мир и оставаясь грозным для внешних врагов, он оказался в состоянии вооружить и содержать шестьдесят тысяч человек и двадцать военных кораблей, покидать свое королевство, не оставляя в нем ни малейшего источника смут, не трогая своих обычных доходов и не облагая свой народ ни одним су новых налогов.

Добавьте к стольким приготовлениям для осуществления этого предприятия то же рвение и благоразумие, с какими оно было задумано, как со стороны его министра, так и с его стороны. Наконец, во главе военных экспедиций — такой предводитель, как он сам, тогда как у его противника не было уже полководца, который мог бы ему противостоять, и вы можете судить, что у него было все, что может предвещать счастливый исход, чтобы преуспеть. Не постигая его намерений, Европа, внимательно наблюдавшая за его огромными приготовлениями, с некоторым страхом ожидала их результата. Малейший повод привел бы к началу этого великого переворота; война, которая должна была быть последней, подготавливала бессмертный мир, когда событие, роковая тайна которого должна была навести на Европу еще больший ужас, уничтожило последнюю надежду на мир. Удар кинжала<sup>21</sup>, сбравший жизнь этого доброго короля, вновь погрузил Европу в вечные войны, и теперь у нее уже не может быть надежды на то, что они когда-нибудь прекратятся. Как бы там ни было, — вот средства, которые Генрих IV сосредоточил, чтобы осуществить то установление, которое аббат де Сен-Пьер тщетно желал создать при помощи одной лишь книги.

Пусть же не говорят, что если его система не была принята, то потому, что она не была хороша; пусть говорят, напротив, что она была слишком хороша, чтобы быть принятой. Ибо порок и злоупотребления, из которых извлекает выгоду множество людей, распространяются сами собой; но то, что полезно для всего общества, почти никогда не осуществляется иначе, как силой, ибо частные интересы почти всегда этому противятся. Без сомнения, вечный мир в настоящее время — это проект совершенно бессмысленный; но пусть нам отдадут Генриха IV или Сюлли, — и вечный мир окажется разумным проектом. Или лучше давайте, отдав дань восхищения столь прекрасному плану, утешимся тем, что никогда не увидим его осуществленным: ибо это может быть совершенно лишь при помощи средств, насильственных и опасных для человечества.

Никому не приходилось видеть, чтобы союзные лиги образовывались иначе, как при помощи переворотов, и, основываясь на этом, кто из нас решится сказать, следует ли желать или страшиться создания такой европейской лиги? Она, быть может, сразу принесла бы зла больше, чем удалось бы предупредить с ее помощью на века вперед.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ,  
ИЛИ  
ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВА



Foederis aequas  
Dicamus leges  
Virg[ilius]. Aeneid, XI\*.

*ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ*

*Этот небольшой трактат извлечен мною из более обширного труда<sup>1</sup>, который я некогда предпринял, не рассчитав своих сил, и давно уже оставил. Из различных отрывков, которые можно было извлечь из того, что было написано, предлагаемый ниже — наиболее значителен, и, как показалось мне, наименее недостоин внимания публики. Остальное уже более не существует.*

*КНИГА I*

Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на законах и надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы — такими, какими они могут быть<sup>2</sup>. В этом исследовании я все время буду стараться сочетать то, что разрешает

---

\* Мы расскажем о справедливых законах, основанных на договоре. Верг[илий]. Энеида, XI, [321] (лат.).

право, с тем, что предписывает выгода, так, чтобы не оказалось никакого расхождения между справедливостью и пользой<sup>3</sup>.

Я приступаю к делу, не доказывая важности моей темы. Меня могут спросить: разве я государь или законодатель, что пишу о политике. Будь я государь или законодатель, я не стал бы терять время на разговоры о том, что пужно делать, — я либо делал бы это, либо молчал.

Поскольку я рожден гражданином свободного Государства и членом суверена<sup>4</sup>, то, как бы мало ни значил мой голос в общественных делах, права подавать его при обсуждении этих дел достаточно, чтобы обязать меня уяснить себе их сущность, и я счастлив, что всякий раз, рассуждая о формах Правления, нахожу в моих розысканиях все новые причины любить образ Правления моей страны.

## Глава I

### ПРЕДМЕТ ЭТОЙ ПЕРВОЙ КНИГИ

Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах<sup>5</sup>. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они<sup>6</sup>. Как совершилась эта перемена? Не знаю. Что может придать ей законность? Полагаю, что этот вопрос я смогу разрешить.

Если бы я рассматривал лишь вопрос о силе и результатах ее действия, я бы сказал: пока народ принужден повиноваться и повинуетя, он поступает хорошо; но если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его, — он поступает еще лучше; ибо, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому ее у него похитили, он либо имеет все основания вернуть ее, либо же вовсе не было оснований ее у него отнимать. Но общественное состояние — это священное право, которое служит основанием для всех остальных прав. Это право, однако, не является естественным; следовательно, оно основывается на соглашениях. Надо выяснять, каковы эти соглашения. Прежде чем приступить к этому, я должен обосновать те положения, которые я только что выдвинул.

## Глава II

### О ПЕРВЫХ ОБЩЕСТВАХ

Самое древнее из всех обществ и единственное естественное — это семья<sup>7</sup>. Но ведь и в семье дети связаны с отцом лишь до тех пор, пока нуждаются в нем. Как только нужда эта пропадает, естественная связь рвется. Дети, избавленные от необходимости повиноваться отцу, и отец, свободный от обязанности заботиться о детях, вновь становятся равно независимыми. Если они

и остаются вместе, то уже не в силу естественной необходимости, а добровольно; сама же семья держится лишь на соглашении.

Эта общая свобода есть следствие природы человека. Первый ее закон — самоохранение, ее первые заботы — те, которыми человек обязан самому себе, и как только он вступает в пору зрелости, он уже только сам должен судить о том, какие средства пригодны для его самосохранения, и так он становится сам себе хозяином.

Таким образом, семья — это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель — это подобие отца, народ — детей, и все, рожденные равными и свободными, если отчуждают свою свободу, то лишь для своей же пользы. Вся разница в том, что в семье любовь отца к детям вознаграждает его за те заботы, которыми он их окружает, — в Государстве же наслаждение властью заменяет любовь, которой нет у правителя к своим подданным.

Гроций отрицает, что у людей всякая власть устанавливается для пользы управляемых<sup>8</sup>: в качестве примера он приводит рабство<sup>1</sup>. Чаще всего в своих рассуждениях он видит основание права в существовании соответствующего факта. Можно было бы применить методу более последовательную, но никак не более благоприятную для тиранов.

По мнению Гроция, стало быть, неясно, принадлежит ли человеческий род какой-нибудь сотне людей или, наоборот, эта сотня людей принадлежит человеческому роду и на протяжении всей своей книги он, как будто, склоняется к первому мнению. Так же полагает и Гоббс<sup>10</sup>. Таким образом человеческий род оказывается разделенным на стада скота, каждое из которых имеет своего вожака берегущего оное с тем, чтобы его пожирать.

Подобно тому, как пастух — существо высшей природы по сравнению с его стадом, так и пастыри людские, кои суть вожаки людей, — существа природы высшей по отношению к их народам. Так рассуждал, по сообщению Филона<sup>11</sup>, император Калигула, делая из такой аналогии тот довольно естественный вывод, что короли — это боги, или что подданные — это скот.

Рассуждение такого Калигулы возвращает нас к рассуждениям Гоббса и Гроция. Аристотель прежде, чем все они<sup>12</sup>, говорил также, что люди вовсе не равны от природы, но что одни рождаются чтобы быть рабами, а другие — господами.

Аристотель был прав; но он принимал следствие за причину. Всякий человек, рожденный в рабстве, рождается для рабства; ничто не может быть вернее этого. В оковах рабы теряют все, вплоть до желания от них освободиться<sup>13</sup>,

---

<sup>1</sup> «Ученые розыскания о публичном праве часто представляют собою лишь историю давних злоупотреблений, и люди совершенно напрасно давали себе труд слишком подробно их изучать». — (Трактат<sup>9</sup> о выгодах Фр[анции] в сношениях с ее соседями г-на маркиза д'А[ржансона], напечатанный у Рея в Амстердаме). Именно это и сделал Гроций.

они начинают любить рабство, подобно тому, как спутники Улисса<sup>14</sup> полюбили свое скотское состояние<sup>1</sup>.

Итак, если существуют рабы по природе, так только потому, что существовали рабы вопреки природе. Сила создала первых рабов, их трусость сделала их навсегда рабами.

Я ничего не сказал ни о короле Адаме, ни об императоре Ное<sup>15</sup>, отце трех великих монархов, разделивших между собою весь мир, как это сделали дети Сатурна<sup>16</sup>, в которых иногда видели этих же монархов. Я надеюсь, что мне будут благодарны за такую мою скромность; ибо, поскольку я происхожу непосредственно от одного из этих государей и, быть может, даже от старшей ветви, то, как знать, не оказался бы я после проверки грамот вовсе даже законным королем человеческого рода? Как бы там ни было, никто не станет отрицать, что Адам был властелином мира, подобно тому как Робинзон<sup>17</sup> — властелином своего острова, пока он оставался единственным его обитателем, и было в этом безраздельном обладании то удобство, что монарху, прочно сидевшему на своем троне, не доводилось страшиться ни мятежей, ни войн, ни заговорщиков.

### Глава III

#### О ПРАВЕ СИЛЬНОГО

Самый сильный никогда не бывает настолько силен, чтобы оставаться постоянно повелителем, если он не превращает своей силы в право, а повиновения ему — в обязанность. Отсюда — право сильнейшего; оно называется правом как будто в ироническом смысле, а в действительности его возводят в принцип. Но разве нам никогда не объяснят смысл этих слов? Сила — это физическая мощь, и я никак не вижу, какая мораль может быть результатом ее действия. Уступать силе — это акт необходимости, а не воли; в крайнем случае, это — акт благоразумия. В каком же смысле может это быть обязанностью?

Предположим на минуту, что так называемое право сильнейшего существует. Я утверждаю, что в результате подобного предположения получится только необъяснимая галиматья; ибо, если это сила создает право, то результат меняется с причиной, то есть всякая сила, превосходящая первую, приобретает и права первой. Если только возможно не повиноваться безнаказанно, значит возможно это делать на законном основании, а так как всегда прав са-

<sup>1</sup> См. небольшой трактат Плутарха, озаглавленный: *О разуме бессловесных*.

мый сильный, то и нужно лишь действовать таким образом, чтобы стать сильнейшим. Но что же это за право, которое исчезает, как только прекращается действие силы? Если нужно повиноваться, подчиняясь силе, то нет необходимости повиноваться, следуя долгу; и если человек больше не принуждается к повиновению, то он уже и не обязан это делать. Отсюда видно, что слово *право* ничего не прибавляет к силе. Оно здесь просто ничего не значит.

Подчиняйтесь властям. Если это означает — уступайте силе, то заповедь хороша, но излишня; я ручаюсь, что она никогда не будет нарушена. Всякая власть — от Бога<sup>18</sup>, я это признаю; но и всякая болезнь от Него же: значит ли это, что запрещено звать врача? Если на меня в лесу нападет разбойник, значит, мало того, что я должен, подчиняясь силе, отдать ему свой кошелек; но, даже будь я в состоянии его спрятать, то разве я не обязан по совести отдать ему этот кошелек? Ибо, в конце концов, пистолет, который он держит в руке, — это тоже власть.

Согласимся же, что сила не творит право и что люди обязаны повиноваться только властям законным. Так перед нами снова возникает вопрос, поставленный мною в самом начале.

#### Глава IV

#### О РАБСТВЕ<sup>19</sup>

Раз ни один человек не имеет естественной власти над себе подобными и поскольку сила не создает никакого права, то выходит, что основой любой законной власти среди людей могут быть только соглашения.

Если отдельный человек, говорит Гроций<sup>20</sup>, может, отчуждая свою свободу, стать рабом какого-либо господина, то почему же не может и целый народ, отчуждая свою свободу, стать подданным какого-либо короля? Здесь много есть двусмысленных слов, значение которых следовало бы пояснить; ограничимся только одним из них — *отчуждать*. Отчуждать — это значит отдавать или продавать<sup>21</sup>. Но человек, становящийся рабом другого, не отдает себя; он, в крайнем случае, себя продает, чтобы получить средства к существованию. Но народу — для чего себя продавать? Король не только не предоставляет своим подданным средства к существованию, более того, он сам существует только за их счет, а королю, как говорит Рабле<sup>22</sup>, немало надо для жизни. Итак, подданные отдают самих себя с условием, что у них заберут также их имущество? Я не вижу, что у них останется после этого.

Скажут, что деспот обеспечивает своим подданным гражданский мир. Пусть так, но что же они от этого выигрывают, если войны, которые им навя-

зывает его честолюбие, если его ненасытная алчность, притеснения его правления разоряют их больше, чем это сделали бы их раздоры? Что же они от этого выигрывают, если самый этот мир становится одним из их бедствий? Спокойно жить и в темницах, но разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя там хорошо? Греки, запертые в пещере Циклопа<sup>23</sup>, спокойно жили в ней, ожидая своей очереди быть съеденными.

Утверждать, что человек отдает себя даром, значит — утверждать нечто бессмысленное и непостижимое: подобный акт незаконен и недействителен уже по одному тому, что тот, кто его совершает, находится не в здравом уме. Утверждать то же самое о целом народе — это значит считать, что весь он состоит из безумцев: безумие не творит право<sup>24</sup>.

Если бы каждый и мог совершить отчуждение самого себя, то он не может этого сделать за своих детей; они рождаются людьми и свободными; их свобода принадлежит им, и никто, кроме них, не вправе ею распоряжаться. До того, как они достигнут зрелости, отец может для сохранения их жизни и для их благополучия принять от их имени те или иные условия, но он не может отдать детей безвозвратно и без условий, ибо подобный дар противен целям природы и превышает отцовские права. Поэтому, дабы какое-либо самовластное Правление стало законным, надо, чтобы народ в каждом своем поколении мог сам решать вопрос о том, принять ли такое Правление или отвергнуть его; но тогда это Правление не было бы уже самовластным.

Отказаться от своей свободы — это значит отречься от своего человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее обязанностей. Невозможно никакое возмещение для того, кто от всего отказывается. Подобный отказ несовместим с природою человека; лишить человека свободы воли — это значит лишить его действия какой бы то ни было нравственности. Наконец, бесполезно и противоречиво такое соглашение, когда, с одной стороны, выговаривается неограниченная власть, а с другой — безграничное повиновение. Разве не ясно, что у нас нет никаких обязанностей по отношению к тому, от кого мы вправе все потребовать? И разве уже это единственное условие, не предполагающее ни какого-либо равноценного возмещения, ни чего-либо взамен, не влечет за собою недействительности такого акта? Ибо какое может быть у моего раба право, обращенное против меня, если все, что он имеет, принадлежит мне, а если его право — мое, то разве не лишены какого бы то ни было смысла слова: мое право, обращенное против меня же?

Грочий и другие видят происхождение так называемого права рабовладения еще и в войнах<sup>25</sup>. Поскольку победитель, по их мнению, вправе убить побежденного, этот последний может выкупить свою жизнь ценою собственной свободы, — соглашение тем более законное, что оно оборачивается на пользу обоим.

Ясно, однако, что это так называемое право убивать побежденных ни в коей мере не вытекает из состояния войны. Уже хотя бы потому, что люди, пре-

Титульный лист первого издания  
«Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  
Амстердам, 1762

бывающие в состоянии изначальной независимости, не имеют столь постоянных сношений между собою, чтобы создалось состояние войны или мира; от природы люди вовсе не враги друг другу<sup>26</sup>. Войну вызывают не отношения между людьми, а отношения вещей, и поскольку состояние войны может возникнуть не из простых отношений между людьми, но из отношений вещных, поскольку не может существовать войны частной<sup>27</sup>, или войны человека с человеком, как в естественном состоянии, где вообще нет постоянной собственности, так и в состоянии общественном, где все подвластно законам.

Стычки между отдельными лицами, дуэли, поединки суть акты, не создающие никакого состояния войны; что же до частных войн, узаконенных Установлениями Людовика IX<sup>28</sup>, короля Франции, войн, что прекращались Божьим миром<sup>29</sup>, — это злоупотребления феодального Правления, системы самой бессмысленной<sup>30</sup> из всех, какие существовали, противной принципам естественного права и всякой доброй *политии*.

Итак, война — это отношение отнюдь не человека к человеку, но Государства к Государству, когда частные лица становятся врагами лишь случайно и совсем не как люди и даже не как граждане<sup>1</sup>, но как солдаты; не как члены отечества, но только как защитники его.

# CONTRAT SOCIAL,

O U

P R I N C I P E S

D U

# DROIT POLITIQUE,

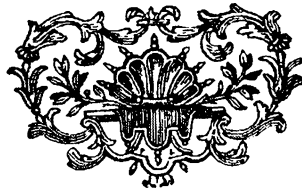
P A R J. J. R O U S S E A U,

C I T O Y E N D E G E N È V E,

— *federis aequus*

*Dicamus leges.*

*Aeneid. XI,*



A A M S T E R D A M,

Chez M A R C M I C H E L R E Y,

M. D C C. L X I I.

<sup>1</sup> Римляне, которые знали и соблюдали право войны более, чем какой бы то ни было народ в мире, были в этом отношении столь щепетильны, что гражданину разрешалось служить в войске добровольцем лишь в том случае, когда он обязывался



Наконец, врагами всякого Государства могут быть лишь другие Государства, а не люди, если принять в соображение, что между вещами различной природы нельзя установить никакого подлинного отношения.

Этот принцип соответствует также и положениям, установленным во все времена, и постоянной практике всех цивилизованных народов. Объявление войны служит предупреждением не столько Государствам, сколько их подданным. Чужой, будь то король, частный человек или народ, который грабит, убивает или держит в неволе подданных, не объявляя войны государю, — это не враг, а разбойник. Даже в разгаре войны справедливый государь, захватывая во вражеской стране все, что принадлежит народу в целом, при этом уважает личность и имущество частных лиц; он уважает права, на которых основаны его собственные. Если целью войны является разрушение вражеского Государства, то победитель вправе убивать его защитников, пока у них в руках оружие; но как только они бросают оружие и сдаются, переставая таким образом быть врагами или орудиями врага, они вновь становятся просто людьми, и победитель не имеет более никакого права на их жизнь<sup>34</sup>. Иногда можно уничтожить Государство, не убивая ни одного из его членов. Война, следовательно, не дает никаких прав, которые не были бы необходимы для ее целей. Это — не принципы Гроция, они не основываются на авторитете поэтов, но вытекают из самой природы вещей и основаны на разуме.

Что до права завоевания, то оно основывается лишь на законе сильного. Если война не дает победителю никакого права истреблять побежденных людей, то это право, которого у него нет, не может служить и основанием права на их порабощение. Врага можно убить только в том случае, когда его нельзя сделать рабом, следовательно: право поработить врага не вытекает из права его убить<sup>35</sup>; значит, это несправедливый обмен — заставлять его покупать ценою свободы свою жизнь, на которую у победителя нет никаких прав. Ибо разве не ясно, что если мы будем основывать право жизни и смерти на праве рабовладения, а право рабовладения на праве жизни и смерти, то попадем в порочный круг?

Даже если предположить, что это ужасное право всех убивать существует, я утверждаю, что раб, который стал таковым во время войны, или завоеванный народ ничем другим не обязан своему повелителю, кроме как повиновени-

---

сражаться против врага и именно против определенного врага. Когда легион, в котором Катон-сын<sup>31</sup> начинал свою военную службу под командованием Поппилия, был переформирован, Катон-отец написал Поппилию<sup>32</sup>, что, если тот согласен, чтобы его сын продолжал служить под его началом, то Катона-младшего следует еще раз привести к воинской присяге, так как первая уже недействительна, и он не может более сражаться против врага. И тот же Катон писал своему сыну, чтобы он остерегся принимать участие в сражении, не принеся этой новой присяги. Я знаю, что мне могут противопоставить в этом случае осаду Клузума<sup>33</sup> и некоторые другие отдельные факты, но я здесь говорю о законах, обычаях. Римляне реже всех нарушали свои законы, и у них одних были законы столь прекрасные.

ем до тех пор, пока его к этому принуждают. Взяв эквивалент его жизни, победитель вовсе его не помиловал: вместо того, чтобы убить побежденного без всякой выгоды, он убил его с пользою для себя. Он вовсе не получил над ним никакой власти, соединенной с силою; состояние войны между ними продолжается, как прежде, сами их отношения являются следствием этого состояния, а применение права войны не предполагает никакого мирного договора. Они заключили соглашение, пусть так; но это соглашение никак не приводит к уничтожению состояния войны<sup>36</sup>, а, наоборот, предполагает его продолжение.

Итак, с какой бы стороны мы ни рассматривали этот вопрос, право рабства недействительно не только потому, что оно незаконно, но также и потому, что оно бессмысленно и ничего не значит. Слова *рабство* и *право* противоречат друг другу; они взаимно исключают друг друга. Такая речь: *Я с тобой заключаю соглашение полностью за твой счет и полностью в мою пользу, соглашение, которое я буду соблюдать, пока это мне будет угодно, и которое ты будешь соблюдать, пока мне это будет угодно* — будет всегда равно лишена смысла независимо от того, имеются ли в виду отношения человека к человеку или человека к народу.

## Глава V

### О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ВСЕГДА ВОСХОДИТЬ К ПЕРВОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Если бы я даже и согласился с тем, что до сих пор отвергал, то сторонники деспотизма не много бы от этого выиграли. Всегда будет существовать большое различие между тем, чтобы подчинить себе толпу, и тем, чтобы управлять обществом. Если отдельные люди порознь один за другим поработаются одним человеком, то, каково бы ни было их число, я вижу здесь только господина и рабов, а никак не народ и его главу. Это, если угодно, — скопление людей, а не ассоциация; здесь нет ни общего блага, ни Организма политического. Такой человек, пусть бы даже он и поработил полмира, всегда будет лишь частное лицо; его интерес, отделенный от интересов других людей, это всегда только частный интерес. Если только этот человек погибает, то его держава распадается, как рассыпается и превращается в кучу пепла дуб, сожженный огнем.

Народ, говорит Гроций, может поставить над собою короля. По мнению Гроция, стало быть, народ является таковым и до того, как он подчиняет себя королю. Но такое действие представляет собою гражданский акт; оно предполагает решение, принятое народом. Таким образом, прежде чем рассматривать акт, посредством которого народ избирает короля, было бы неплохо рассмот-

реть тот акт, в силу которого народ становится народом, ибо этот акт, непременно предшествующий первому, представляет собой истинное основание общества<sup>37</sup>.

В самом деле, не будь никакого предшествующего соглашения, откуда бы взялось — если только избрание не единодушно — обязательство для меньшинства подчиняться выбору большинства? и почему сто человек, желающих господина, вправе подавать голос за десять человек, того совершенно не желающих? Закон большинства голосов сам по себе устанавливается в результате соглашения и предполагает, по меньшей мере единожды, — единодушие.

## Глава VI

### ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАШЕНИИ

Я предполагаю, что люди достигли того предела, когда силы, препятствующие им оставаться в естественном состоянии, превосходят в своем прогиводействии силы, которые каждый индивидуум может пустить в ход, чтобы удержаться в этом состоянии. Тогда это изначальное состояние не может более продолжаться, и человеческий род погиб бы, не измени он своего образа жизни.

Однако, поскольку люди не могут создавать новых сил<sup>38</sup>, а могут лишь объединять и направлять силы, уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному движителю и заставить их действовать согласно.

Эта сумма сил может возникнуть лишь при совместных действиях многих людей; но — поскольку сила и свобода каждого человека — суть первые орудия его самосохранения — как может он их отдать, не причиняя себе вреда и не пренебрегая теми заботами, которые есть его долг по отношению к самому себе? Эта трудность, если вернуться к предмету этого исследования, может быть выражена в следующих положениях:

«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всю общую силу личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная задача, которую разрешает Общественный договор<sup>39</sup>.

Статьи этого Договора определены самой природой акта так, что малейшее видоизменение этих статей лишило бы их действительности и полезности; поэтому, хотя они, пожалуй, и не были никогда точно сформулированы, они повсюду

ду одни и те же, повсюду молчаливо принимаются и признаются до тех пор, пока в результате нарушения общественного соглашения каждый не обретает вновь свои первоначальные права и свою естественную свободу, теряя свободу, полученную по соглашению, ради которой он отказался от естественной.

Эти статьи, если их правильно понимать, сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины; ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех; а раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других.

Далее, поскольку отчуждение совершается без каких-либо изъятий, то единение столь полно, сколь только возможно, и ни одному из членов ассоциации нечего больше требовать. Ибо, если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то, поскольку теперь не было бы такого старшего над всеми, который был бы вправе разрешать споры между ними и всем народом, каждый, будучи судьей самому себе в некотором отношении, начал бы вскоре притязать на то, чтобы стать таковым во всех отношениях; естественное состояние продолжало бы существовать, и ассоциация неизбежно стала бы тиранической или беспорядочной.

Наконец, каждый, подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому в отдельности, и так как нет ни одного члена ассоциации, в отношении которого остальные не приобретали бы тех же прав, которые они уступили ему по отношению к себе, то каждый приобретает эквивалент того, что теряет, и получает больше силы для сохранения того, что имеет.

Итак, если мы устраним из общественного соглашения то, что не составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к следующим положениям: *Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого*<sup>40</sup>.

Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное Целое, состоящее из стольких членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это Целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее я, свою жизнь и волю. Это лицо юридическое, образующееся следовательно в результате объединения всех других, некогда именовалось *Гражданской общиной*<sup>1</sup>, ныне же

---

<sup>1</sup> Истинный смысл этого слова почти совсем стерся для людей новых времен: большинство принимает город за Гражданскую общину, а горожанина — за гражданина<sup>41</sup>. Они не знают, что город составляют дома, а Гражданскую общину — граждане. Эта же ошибка в древности дорого обошлась карфагенянам. Я не читал, чтобы подданному какого-либо государя давали титул *civis*<sup>\*</sup>, ни даже в древности — македонцам или в наши дни — англичанам, хотя эти последние ближе к свободе, чем все остальные. Одни французы совершенно запросто называют себя *гражданами*, по-

\* Гражданин (лат.).

именуется *Республикою*, или *Политическим организмом*: его члены называют этот Политический организм *Государством*, когда он пассивен, *Сувереном*, когда он активен, *Державою* — при сопоставлении его с ему подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности получают имя *народа*, а в отдельности называются *гражданами* как участвующие в верховной власти, и *подданными* как подчиняющиеся законам Государства. Но эти термины часто смешиваются и их принимают один за другой; достаточно уметь их различать, когда они употребляются во всем их точном смысле.

## Глава VII

### О СУВЕРЕНЕ

Из этой формулы видно, что акт ассоциации<sup>44</sup> содержит взаимные обязательства всего народа и частных лиц и что каждый индивидуум, вступая, так сказать, в договор с самим собою, оказывается принявшим двойное обязательство, именно: как член суверена в отношении частных лиц и как член Государства по отношению к суверену<sup>45</sup>. Но здесь нельзя применить то положение гражданского права, что никто не обязан выполнять обязательства, взятые перед самим собой, ибо велико различие между обязательствами, взятыми перед самим собою, и обязательствами, взятыми по отношению к целому, часть которого ты составляешь.

Следует еще заметить, что, поскольку каждый выступает в двойном качестве, решение, принятое всем народом, может иметь обязательную силу в области отношений всех подданных к суверену, но не может, по противоположной причине, наложить на суверена обязательства по отношению к себе самому, и что, следовательно, если бы суверен предписал сам себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить, — это противоречило бы самой природе Политического организма. Поскольку суверен может рассматривать себя лишь в одном-единственном отношении, то он попадает в положение частного человека, вступающего в соглашение с самим собою<sup>46</sup>; раз так, нет и не может

---

тому что у них нет, как это видно из их словарей, никакого представления о действительном смысле этого слова; не будь этого, они, незаконно присваивая себе это имя, были бы повинны в оскорблении величества. У них это слово означает добродетель, а не право. Когда Боден собрался говорить о наших Гражданах и Горожанах<sup>42</sup>, он совершил грубую ошибку, приняв одних за других. Г-н д'Аламбер не совершил этой ошибки, и в своей статье *Женева*<sup>43</sup> хорошо показал различия между всеми четырьмя (даже пятью, если считать простых иностранцев) разрядами людей в нашем городе, из которых лишь два входят в состав Республики. Ни один из известных мне французских авторов не понял истинного смысла слова *гражданин*.

быть никакого основного закона, обязательного для Народа в целом, для него не обязателен даже Общественный договор<sup>47</sup>. Это, однако, не означает, что Народ, как целое, не может взять на себя таких обязательств по отношению к другим, которые не нарушают условий этого Договора, ибо по отношению к чужеземцу он выступает как обычное существо, как индивидуум.

Но Политический организм или суверен, который обязан своим существованием лишь святости Договора<sup>48</sup>, ни в коем случае не может брать на себя таких обязательств, даже по отношению к другим, которые сколько-нибудь противоречили бы этому первоначальному акту, как, например, отчуждение какой-либо части самого себя или подчинение себя другому суверену. Нарушить акт, благодаря которому он существует, значило бы уничтожить самого себя, а ничто ничего и не порождает.

Как только эта масса людей объединяется таким путем в одно целое, уже невозможно причинить вред ни одному из его членов, не задев целое, и тем более нельзя причинить вред целому так, чтобы члены его этого не почувствовали. Стало быть и долг, и выгода в равной мере обязывают обе договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и одни и те же люди должны стремиться использовать в этом двояком отношении все преимущества, которые дает им объединение.

Итак, поскольку суверен образуется лишь из частных лиц, у него нет и не может быть таких интересов, которые противоречили бы интересам этих лиц; следовательно, верховная власть суверена нисколько не нуждается в поручителе перед подданными, ибо невозможно, чтобы организм захотел вредить всем своим членам; и мы увидим далее, что он не может причинять вред никому из них в отдельности<sup>49</sup>. Суверен уже в силу того, что он существует, является всегда тем, чем он должен быть.

Но не так обстоит дело с отношениями подданных к суверену; несмотря на общий интерес, ничто не могло бы служить для суверена порукою в выполнении подданными своих обязательств, если бы он не нашел средств обеспечить их верность себе.

В самом деле, каждый индивидуум может, как человек, иметь особую волю, противоположную общей или несходящую с этой общей волей, которой он обладает как гражданин. Его частный интерес может внушать ему иное, чем то, чего требует интерес общий. Само его естественно независимое существование может заставить его рассматривать то, что он должен уделять общему делу, лишь как безвозмездное приношение, потеря которого будет не столь ощутима для других, сколь уплата этого приношения обременительна для него, и если бы он рассматривал то юридическое лицо, которое составляет Государство, как отвлеченное существо, поскольку это — не человек, он пользовался бы правами гражданина, не желая исполнять обязанностей подданного; и эта несправедливость, усугубляясь, привела бы к разрушению Политического организма.

Итак, чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости: условие это составляет секрет и двигательную силу политической машины, и оно одно только делает законными обязательства в гражданском обществе, которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и открывали бы путь чудовищнейшим злоупотреблениям.

### Глава VIII

## О ГРАЖДАНСКОМ СОСТОЯНИИ

Этот переход от состояния естественного к состоянию гражданскому производит в человеке весьма приметную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и придавая его действиям тот нравственный характер, которого они ранее были лишены. Только тогда, когда голос долга сменяет плотские побуждения, а право — желание, человек, который до сих пор считался только с самим собою, оказывается вынужденным действовать соответственно другим принципам и советоваться с разумом, прежде чем следовать своим склонностям. Хотя он и лишает себя в этом состоянии многих преимуществ, полученных им от природы, он вознаграждается весьма значительными другими преимуществами; его способности упражняются и развиваются, его представления расширяются, его чувства облагораживаются и вся его душа возвышается до такой степени, что если бы заблуждения этого нового состояния не низводили часто человека до состояния еще более низкого чем то, из которого он вышел, то он должен был бы непрестанно благословлять тот счастливый миг, который навсегда вырвал его оттуда и который из тупого и ограниченного животного создал разумное существо — человека.

Сведем весь этот итог к легко сравнимым между собой положениям. По Общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает. Чтобы не ошибиться в определении этого возмещения, надо точно различать естественную свободу, границами которой является лишь физическая сила индивидуума, и свободу гражданскую, которая ограничена общей волей,

а также различать обладание, представляющее собой лишь результат применения силы или право того, кто пришел первым, и собственность, которая может основываться лишь на законном документе.

К тому, что уже сказано о приобретениях человека в гражданском состоянии, можно было бы добавить моральную свободу, которая одна делает человека действительным хозяином самому себе; ибо поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода. Но я уже и так сказал по этому вопросу более, чем достаточно, а определение философского смысла слова *свобода* не входит в данном случае в мою задачу.

## Глава IX

### О ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ

Каждый член общины подчиняет себя ей в тот момент, когда она образуется, таким, каков он есть в это время, подчиняет ей самого себя и все свои силы, составной частью которых является и принадлежащее ему имущество. Это не означает, что вследствие такого акта владение, переходя из рук в руки, изменяет свою природу и становится собственностью в руках суверена. Но так как силы Гражданской общины несравненно больше, чем силы отдельного человека, то и ее владение фактически более прочно и неоспоримо, хотя и не становится более законным, по крайней мере, в глазах чужеземцев. Ибо Государство является в отношении своих членов хозяином всего их имущества в силу Общественного договора, который в Государстве служит основой всех прав; но для других Держав Государство является таковым лишь по праву первой заимки, перешедшему к нему от отдельных лиц.

Право первой заимки, хотя оно и в большей степени является таковым, нежели право сильного, превращается в подлинное право лишь после того, как установлено право собственности. Каждый человек от природы имеет право на все, что ему необходимо; но акт положительного права, делающий его собственником какого-либо имущества, лишает его тем самым прав на все остальное. Получив свою часть, он должен ограничиться ею и не имеет больше никакого права на то, что принадлежит общине. Вот почему право первой заимки, столь непрочное в естественном состоянии, безоговорочно уважается всяким человеком, принадлежащим к гражданскому обществу. В понимании этого права уважается не столько чужое, сколько то, что не принадлежит тебе.

Вообще же, для того чтобы узаконить право первой заимки на какой-либо участок земли, необходимы следующие условия: во-первых, чтобы на этой



земле еще никто не жил; во-вторых, чтобы занято было лишь столько, сколько необходимо, чтобы прокормиться; в-третьих, чтобы вступали во владение землею не в силу какой-либо пустой формальности, но в результате расчистки и обработки ее — этого единственного признака собственности, который при отсутствии юридических документов должен быть признаваем другими.

В самом деле, признать право первой заимки за потребностями и трудом<sup>50</sup> — не значит ли это распространить это право настолько, насколько оно может простираться? Можно ли не ставить границ этому праву? Достаточно ли ступить ногою на общий участок земли, чтобы провозгласить себя тотчас же его хозяином? Достаточно ли иметь силу, необходимую для того, чтобы прогнать оттуда на некоторое время других людей, чтобы отнять у них право когда-либо вернуться на этот участок? Как может человек или народ завладеть огромною территорией, лишив человеческий род этой территории, иначе, как не в результате наказуемого захвата, поскольку этот акт лишает других людей мест обитания и источников существования, которые природа дает им всем в общее пользование? Когда Нуньес Бальбоа<sup>51</sup>, став на берегу, объявил от имени Кастильской короны, что он вступает во владение Южным морем и всей Южной Америкой, было ли этого достаточно, чтобы лишить всех жителей этих стран их владений и преградить доступ в них всем государям мира? Такого рода формальные акты повторялись впоследствии неоднократно и довольно безуспешно; и католический король мог бы сразу завладеть из кабинета всем миром, но ему пришлось бы затем исключить из своих владений все то, чем ранее еще завладели другие государи.

Теперь понятно, каким образом соединенные и смежные земли частных лиц превращаются в территорию, подвластную всему народу, и каким образом право суверенитета, распространяясь с подданных на занимаемые ими участки земли, становится одновременно вещным и личным, что ставит их владельцев в большую зависимость, и самые их силы делает залогом их верности. Монархи древности, видимо, не понимали как следует этого преимущества и, называя себя лишь царями персов, скифов, македонян, считали себя не столько господами стран, сколько повелителями людей. Государи нашего времени именуют себя более хитро королями Франции, Испании, Англии и т. д. Владея таким образом землей, они могут быть вполне уверены в том, что ее обитатели у них в руках.

Примечательно в этом отчуждении то, что община, принимая земли частных лиц, вовсе не отбирает у них эти земли, — она лишь обеспечивает этим лицам законное владение ими, превращая захват в подлинное право, а пользование в собственность. Теперь уже владельцы рассматриваются как хранители общего достояния<sup>52</sup>, их права признаются всеми членами Государства и защищаются всеми силами этого Государства от чужеземца, и эти частные лица, в результате уступки, выгодной для всего общества, а еще более для них самих, приобретают, так сказать, все то, что отдали: парадокс этот, как мы это

увидим далее, очень легко объясняется различием прав, которые имеют суверен и собственник на одну и ту же землю.

Может также случиться, что люди начинают объединяться раньше, чем они стали чем-либо обладать, и, захватив затем участок земли, достаточный для всех, пользуются им сообща или разделяют его между собой либо поровну, либо в определенных соотношениях, устанавливаемых сувереном. Каким бы путем ни происходило это приобретение, право, которое каждое частное лицо имеет на свою собственную землю, всегда подчинено тому праву, которое община имеет на все земли, без чего не было бы ни прочности в общественных связях, ни действительной силы в осуществлении суверенитета<sup>53</sup>.

Я закончу эту главу и эту книгу замечанием, которое должно служить основой всей системы отношений в обществе. Первоначальное соглашение не только не уничтожает естественное равенство людей, а, напротив, заменяет равенством как личностей и перед законом все то неравенство, которое внесла природа в их физическое естество; и хотя люди могут быть неравны по силе или способностям, они становятся все равными в результате соглашения и по праву<sup>1</sup>.

## КНИГА II

### Глава I

#### О ТОМ, ЧТО СУВЕРЕНИТЕТ НЕОТЧУЖДАЕМ

Первым и самым важным следствием из установленных выше принципов является то, что одна только общая воля может управлять силами Государства в соответствии с целью его установления, каковая есть общее благо. Ибо, если противоположность частных интересов сделала необходимым установление общества, то именно согласие этих интересов и сделало сие возможным. Общественную связь образует как раз то, что есть общего в этих различных ин-

---

<sup>1</sup> При дурных Правлениях это равенство лишь кажущееся и обманчивое; оно служит лишь для того, чтобы бедняка удерживать в его нищете, а за богачом сохранять все то, что он присвоил. На деле законы всегда приносят пользу имущим и причиняют вред тем, у кого нет ничего: отсюда следует, что общественное состояние выгодно для людей лишь поскольку они все чем-либо обладают и поскольку ни у кого из них нет ничего излишнего.

гересах; и не будь такого пункта, в котором согласны все интересы, никакое общество не могло бы существовать. Итак, обществом должно править, руководясь единственно этим общим интересом.

Я утверждаю, следовательно, что суверенитет, который есть только осуществление общей воли, не может никогда отчуждаться и что суверен, который есть не что иное, как коллективное существо, может быть представляем только самим собою. Передаваться может власть, но никак не воля.

В самом деле, если возможно, что воля отдельного человека в некоем пункте согласуется с общей волей, то уж никак не возможно, чтобы это согласие было длительным и постоянным, ибо воля отдельного человека по своей природе стремится к преимуществам, а общая воля — к равенству. Еще менее возможно, чтобы кто-либо поручился за такого рода согласие, хотя такой поручитель и должен был бы всегда существовать; это было бы делом не искусства, а случая. Суверен вполне может заявить: «Сегодня я хочу того же, чего хочет или, по крайней мере, говорит, что хочет, такой-то человек». Но он не может сказать: «Я захочу также и того, чего захочется этому человеку завтра» — потому что нелепо, чтобы воля сковывала себя на будущее время и потому что ни от какой воли не зависит соглашаться на что-либо противное благу существа, обладающего волею. Если, таким образом, народ просто обещает повиноваться, то этим актом он себя уничтожает; он перестает быть народом. В тот самый миг, когда появляется господин, — нет более суверена; и с этого времени Политический организм уничтожен.

Это вовсе не означает, что приказания правителей не могут считаться изъявлениями общей воли в том случае, когда суверен, будучи свободен противиться им, этого не делает. В подобном случае всеобщее молчание следует считать знаком согласия народа. Это будет объяснено ниже более пространно

## Глава II

### О ТОМ, ЧТО СУВЕРЕНИТЕТ НЕДЕЛИМ

В силу той же причины, по которой суверенитет неотчуждаем, он неделим, ибо воля либо является общею, либо ею не является; она являет собою волю народа как целого, либо — только одной его части. В первом случае эта провозглашенная воля есть акт суверенитета и создает закон. Во втором случае — это лишь частная воля или акт магистратуры; это, самое большее, — декрет.

<sup>1</sup> Для того чтобы воля была общею, не всегда необходимо, чтобы она была единодушна; но необходимо, чтобы были подсчитаны все голоса; любое изъятие нарушает общий характер воли.

Но наши политики<sup>54</sup>, не будучи в состоянии разделить суверенитет в принципе его, разделяют суверенитет в его проявлениях. Они разделяют его на силу и на волю, на власть законодательную и на власть исполнительную; на право облагать налогами, отправлять правосудие, вести войну; на управление внутренними делами и на полномочия вести внешние сношения; они то смешивают все эти части, то отделяют их друг от друга; они делают из суверена какое-то фантастическое существо, сложенное из частей, взятых из разных мест. Это похоже на то, как если бы составили человека из нескольких тел, из которых у одного были бы только глаза, у другого — руки, у третьего — ноги и ничего более. Говорят, японские фокусники на глазах у зрителей рассекают на части ребенка, затем бросают в воздух один за другим все его члены — и ребенок падает на землю вновь живой и целый. Таковы, приблизительно, приемы и наших политиков: расчленив Общественный организм с помощью достойного ярмарки фокуса, они затем, не знаю уже как, вновь собирают его из кусков.

Заблуждение это происходит из того, что они не составили себе точных представлений о верховной власти и приняли за ее части лишь ее проявления. Так, например, акт объявления войны и акт заключения мира рассматривали как акты суверенитета, что неверно, так как каждый из этих актов вовсе не является законом, а лишь применением закона, актом частного характера, определяющим случай применения закона, как мы это ясно увидим, когда будет точно установлено понятие, связанное со словом *закон*.

Проследивая таким же образом другие примеры подобного разделения суверенитета, мы обнаружим, что всякий раз, когда нам кажется, что мы наблюдаем, как суверенитет разделен, мы совершаем ошибку; что те права, которые мы принимаем за части этого суверенитета, все ему подчинены и всегда предполагают наличие высшей воли, которой они только открывают путь к осуществлению.

Невозможно и выразить, каким туманом облеклись в результате столь неточных представлений о верховной власти выводы авторов, писавших о политическом праве, когда те пытались на основании установленных ими принципов судить о соответственных правах королей и подданных. Каждый может увидеть в третьей и четвертой главах первой книги Гроция<sup>55</sup>, как этот ученый муж и его переводчик Барбейрак путаются и сбиваются в своих софизмах, боясь слишком полно высказать свои мысли или же сказать о них недостаточно и столкнуть интересы, которые они должны были бы примирить. Гроций, бежавший во Францию, недовольный своим отечеством и желая угодить Людовику XIII, которому посвящена его книга, ничего не жалеет, чтобы отнять у народов все их права и сколь возможно искуснее облечь этими правами королей. К этому же, очевидно, стремился и Барбейрак, посвятивший свой перевод королю Англии Георгу I<sup>56</sup>. Но, к сожалению, изгнание Якова II<sup>57</sup>, которое он называет отречением, принуждало его сдерживаться, прибегать

к различным переделкам и уверткам, чтобы не выставить Вильгельма узурпатором<sup>58</sup>. Если бы оба эти автора следовали истинным принципам, все трудности были бы устранены, и они оставались бы все время последовательными, но тогда они, увь, сказали бы правду и угодили бы этим только народу. Но истина никогда не ведет к богатству и народ не дает ни поста посланника, ни кафедр, ни пенсий.

### Глава III

#### МОЖЕТ ЛИ

#### ОБЩАЯ ВОЛЯ ЗАБЛУЖДАТЬСЯ<sup>59</sup>

Из предыдущего следует, что общая воля неизменно направлена прямо к одной цели и стремится всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу, но не всегда видят, в чем оно. Народ не подкупишь, но часто его обманывают и притом лишь тогда, когда кажется, что он желает дурного<sup>60</sup>.

Часто существует немалое различие между волею всех и общею волею. Эта вторая блюдет только общие интересы; первая — интересы частные и представляет собою лишь сумму изъявлений воли частных лиц. Но отбросьте из этих изъявлений воли взаимно уничтожающиеся крайности<sup>1</sup>; в результате сложения оставшихся расхождений получится общая воля.

Когда в достаточной мере осведомленный народ выносит решение, то, если граждане не вступают между собою ни в какие сношения, из множества незначительных различий вытекает всегда общая воля и решение всякий раз оказывается правильным. Но когда в ущерб основной ассоциации образуются сговоры, частичные ассоциации<sup>61</sup>, то воля каждой из этих ассоциаций становится общею по отношению к ее членам и частною по отношению к Государству; тогда можно сказать, что голосующих не столько же, сколько людей, но лишь столько, сколько ассоциаций. Различия становятся менее многочисленными и дают менее общий результат. Наконец, когда одна из этих ассоциаций настолько велика, что берет верх над всеми остальными, в результате

<sup>1</sup> «Каждый интерес,— говорит м[аркиз] д'А[ржансон],— основывается на другом начале. Согласие интересов двух частных лиц возникает вследствие противоположности их интересу третьего»<sup>62</sup>. Он мог бы добавить, что согласие всех интересов возникает вследствие противоположности их интересу каждого. Не будь различны интересы, едва ли можно был бы понять, что такое интерес общий, который тогда не встречал бы никакого противодействия; все шло бы само собой и политика не была бы болес искусством.

получится уже не сумма незначительных расхождений, но одно-единственное расхождение. Тогда нет уже больше общей воли, и мнение, которое берет верх, есть уже не что иное, как мнение частное.

Важно, следовательно, дабы получить выражение именно общей воли, чтобы в Государстве не было ни одного частичного сообщества и чтобы каждый гражданин высказывал только свое собственное мнение<sup>1</sup>; таково было единственное в своем роде и прекрасное устройство, данное великим Ликургом. Если же имеются частичные сообщества, то следует увеличить их число и тем предупредить неравенство между ними, как это сделали Солон, Нума<sup>63</sup>, Сервий<sup>64</sup>. Единственно эти предосторожности пригодны для того, чтобы просветить общую волю, дабы народ никогда не ошибался.

#### Глава IV

### О ГРАНИЦАХ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ СУВЕРЕНА

Если Государство или Гражданская община — это не что иное, как условная личность, жизнь которой заключается в союзе ее членов, и если самой важной из забот ее является забота о самосохранении, то ей нужна сила всеобщая и побудительная, дабы двигать и управлять каждой частью наиболее удобным для целого способом. Подобно тому, как природа наделяет каждого человека неограниченной властью над всеми членами его тела, общественное соглашение дает Политическому организму неограниченную власть над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общею волей, носит, как я сказал, имя суверенитета.

Но, кроме общества как лица юридического, мы должны принимать в соображение и составляющих его частных лиц, чья жизнь и свобода, естественно, от него независимы. Итак, речь идет о том, чтобы четко различать

<sup>1</sup> «Vera cosa è,— говорит Макнавелли,— che alcune divisioni nuocono alle repubbliche, e alcune giovano: quelle nuocono, che sono dalle sette e da partigiani accompagnate; quelle giovano, che senza sette, senza partigiani, si mantengono. Non potendo adunque provvedere un fondatore d'una repubblica che non siano nimicizie in quella, ha da proveder almeno che non vi siano sette». *Hist. Florent.*, lib. VII\*.

\* «Верно,— говорит Макнавелли,— что некоторые разделения причиняют вред республикам, а некоторые приносят пользу: те, что причиняют вред, связаны с наличием сект и партий; те же, что приносят пользу, существуют без партий, без сект. Следовательно, поскольку основатель республики не может предусмотреть, что в ней не будет проявлений вражды, он должен, по крайней мере, обеспечить, чтобы в ней не было сект». «Ист[ория] Флоренц[ии]», кн. VII<sup>65</sup> (итал.).

соответственно права граждан и суверена<sup>1</sup>; а также обязанности, которые первые должны нести в качестве подданных, и естественное право, которым они должны пользоваться как люди.

Все согласны<sup>66</sup> с тем, что все то, что каждый человек отчуждает по общественному соглашению из своей силы, своего имущества и своей свободы, составляет лишь часть всего того, что имеет существенное значение для общины. С этим все согласны; но надо также согласиться с тем, что один только суверен может судить о том, насколько это значение велико.

Все то, чем гражданин может служить Государству, он должен сделать тотчас же, как только суверен этого потребует, но суверен, со своей стороны, не может налагать на подданных узы, бесполезные для общины; он не может даже желать этого, ибо как в силу закона разума, так и в силу закона естественного ничто не совершается без причины.

Обязательства, связывающие нас с Общественным организмом, непреложны лишь потому, что они взаимны, и природа их такова, что, выполняя их, нельзя действовать на пользу другим, не действуя также на пользу себе. Почему общая воля всегда направлена прямо к одной цели и почему все люди постоянно желают счастья каждого из них, если не потому, что нет никого, кто не относил бы этого слова *каждый* на свой счет и кто не думал бы о себе, голосуя в интересах всех? Это доказывает, что равенство в правах и порождаемое им представление о справедливости вытекает из предпочтения, которое каждый оказывает самому себе и, следовательно, из самой природы человека; что общая воля, для того, чтобы она была поистине таковой, должна быть общей как по своей цели, так и по своей сущности; что она должна исходить от всех, чтобы относиться ко всем, и что она теряет присущее ей от природы верное направление, если устремлена к какой-либо индивидуальной и строго ограниченной цели, ибо тогда, поскольку мы выносим решение о том, что является для нас посторонним, нами уже не руководит никакой истинный принцип равенства.

В самом деле, как только речь заходит о каком-либо факте или частном праве на что-либо, не предусмотренном общим и предшествующим соглашением, то дело становится спорным. Это — процесс, в котором заинтересованные частные лица составляют одну из сторон, а весь народ — другую, но в котором я не вижу ни закона, коему надлежит следовать, ни судьи, который должен вынести решение. Смешно было бы тогда ссылаться на особо по этому поводу принятое решение общей воли, которое может представлять собою лишь решение, принятое одной из сторон и которое, следовательно, для другой стороны является только волею постороннею, частною, доведенною в этом случае до несправедливости и подверженной заблуждениям. Поэтому,

<sup>1</sup> Внимательные читатели, не снесите, пожалуйста, обвинять меня здесь в противоречии. Я не мог избежать его в выражениях вследствие бедности языка; но пожмите.

подобно тому, как частная воля не может представлять волю общую, так и общая воля, в свою очередь, изменяет свою природу, если она направлена к частной цели, и не может, как общая, выносить решение ни в отношении какого-нибудь человека, ни в отношении какого-нибудь факта. Когда народ Афин, например, нарицал или смешал своих правителей, воздавал почести одному, налагал наказания на другого и посредством множества частных декретов осуществлял все без исключения действия Правительства, народ не имел уже тогда общей воли в собственном смысле этих слов; он действовал уже не как суверен, но как магистрат. Это покажется противным общепринятым представлениям, но дайте мне время изложить мои собственные.

Исходя из этого, надо признать, что волю делает общею не столько число голосов, сколько общий интерес, объединяющий голосующих, ибо при такого рода устройении каждый по необходимости подчиняется условиям, которые он делает обязательными для других: тут замечательно согласуются выгода и справедливость, что придает решениям по делам, касающимся всех, черты равенства, которое тотчас же исчезает при разбирательстве любого частного дела, ввиду отсутствия здесь того общего интереса, который объединял и отождествлял бы правила судьи с правилами тяжущейся стороны.

С какой бы стороны мы ни восходили к основному принципу, мы всегда придем к одному и тому же заключению, именно: общественное соглашение устанавливает между гражданами такого рода равенство, при котором все они принимают на себя обязательства на одних и тех же условиях и все должны пользоваться одинаковыми правами. Таким образом, по самой природе этого соглашения, всякий акт суверенитета, т. е. всякий подлинный акт общей воли, налагает обязательства на всех граждан или дает преимущества всем в равной мере; так что суверен знает лишь Nation как целое, и не различает ни одного из тех, кто ее составляет. Что же, собственно, такое акт суверенитета? Это не соглашение высшего с низшим, по соглашению Целого с каждым из его членов; соглашение законное, ибо оно имеет основой Общественный договор; справедливое, ибо оно общее для всех; полезное, так как оно не может иметь иной цели, кроме общего блага; и прочное, так как поручителем за него выступает вся сила общества и высшая власть. До тех пор, пока подданные подчиняются только такого рода соглашениям, они не подчиняются никому, кроме своей собственной воли; и спрашивать, каковы пределы прав соответственно суверена и граждан, это значит спрашивать, до какого предела простираются обязательства, которые эти последние могут брать по отношению к самим себе — каждый в отношении всех и все в отношении каждого из них.

Из этого следует, что верховная власть, какой бы неограниченной, священной, неприкосновенной она ни была, не переступает и не может переступать границ общих соглашений, и что каждый человек может всецело



распоряжаться тем, что ему эти соглашения предоставили из его имущества и его свободы; так что суверен никак не вправе наложить на одного из подданных большее бремя, чем на другого. Ибо тогда спор между ними приобретает частный характер и поэтому власть суверена здесь более не компетентна.

Раз мы допустили эти различия, в высшей степени неверно было бы утверждать, что Общественный договор требует в действительности от частных лиц отказа от чего-либо; положение последних в результате действия этого договора становится на деле более предпочтительным, чем то, в котором они находились ранее, так как они не отчуждают что-либо, но совершают лишь выгодный для них обмен образа жизни неопределенного и подверженного случайностям на другой — лучший и более надежный; естественной независимости — на свободу; возможности вредить другим — на собственную безопасность; и своей силы, которую другие могли бы превзойти, на право, которое объединение в обществе делает неодолимым. Сама их жизнь, которую они доверили Государству, постоянно им защищается, и если они рискуют ею во имя его защиты, то разве делают они этим что-либо иное, как не отдают ему то, что от него получили? Что же они делают такого, чего не делали еще чаще и притом с большей опасностью, в естественном состоянии, если, вступая в неизбежные схватки, будут защищать с опасностью для своей жизни то, что служит им для ее сохранения? Верно, что все должны сражаться, если это необходимо, за отечество, но зато никто не должен никогда сражаться за самого себя. И разве мы не выигрываем, подвергаясь ради того, что обеспечивает нам безопасность, части того риска, которому нам обязательно пришлось бы подвергнуться ради нас самих, как только мы лишились бы этой безопасности?

## Глава V

### О ПРАВЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Спрашивают: как частные лица<sup>67</sup>, отнюдь не имея права распоряжаться своею собственной жизнью, могут передавать суверену именно то право, которого у них нет<sup>68</sup>. Этот вопрос кажется трудноразрешимым лишь потому, что он неверно поставлен. Всякий человек вправе рисковать своей собственной жизнью, чтобы ее сохранить. Разве когда-либо считали, что тот, кто выбрасывается из окна, чтобы спастись от пожара, виновен в покушении на самоубийство? Разве обвиняют когда-либо в этом преступлении того, кто погибает в бурю, хотя при выходе в море он уже знал об опасности ее приближения?

Общественный договор имеет своей целью сохранение договаривающихся. Кто хочет достичь цели, тот принимает и средства ее достижения, а эти средства неотделимы от некоторого риска, даже связаны с некоторыми потерями. Тот, кто хочет сохранить свою жизнь за счет других, должен, в свою очередь, быть готов отдать за них жизнь, если это будет необходимо. Итак, гражданину уже не приходится судить об опасности, которой Закону угодно его подвергнуть, и когда государь говорит ему: «Государству необходимо, чтобы ты умер», — то он должен умереть, потому что только при этом условии он жил до сих пор в безопасности и потому что его жизнь не только благодеяние природы, но и дар, полученный им на определенных условиях от Государства.

Смертная казнь, применяемая к преступникам, может рассматриваться приблизительно с такой же точки зрения: человек, чтобы не стать жертвой убийцы, соглашается умереть в том случае, если сам станет убийцей. Согласно этому договору, далекие от права распоряжаться своей собственной жизнью люди стремятся к тому, чтобы ее обезопасить; и не должно предполагать, что кто-либо из договаривающихся заранее решил дать себя повесить.

Впрочем, всякий преступник, посягающий на законы общественного состояния, становится по причине своих преступлений мятежником и предателем отечества; он перестает быть его членом, если нарушил его законы; и даже он ведет против него войну. Тогда сохранение Государства несовместимо с сохранением его жизни; нужно, чтобы один из двух погиб, а когда убивают виновного, то его уничтожают не столько как гражданина, сколько как врага. Судебная процедура, приговор — это доказательство и признание того, что он нарушил общественный договор и, следовательно, не является более членом Государства. Но поскольку он признал себя таковым, по крайней мере своим пребыванием в нем, то он должен быть исключен из государства путем либо изгнания как нарушитель соглашения, либо же путем смертной казни как враг общества. Ибо такой враг — это не условная личность, это — человек; а в таком случае по праву войны побежденного можно убить.

Но, скажут мне, осуждение преступника есть акт частного характера. Согласен: потому право осуждения вовсе не принадлежит суверену; это — право, которое он может передать, не будучи в состоянии осуществлять его сам. Все мои мысли связаны одна с другою, но я не могу изложить их все сразу.

Кроме того, частые казни — это всегда признак слабости или нерадивости Правительства. Нет злодея, которого нельзя было бы сделать на что-нибудь годным. Мы вправе умертвить, даже в назидание другим, лишь того, кого опасно оставлять в живых <sup>69</sup>.

Что до права помилования или освобождения виновного от наказания, положенного по Закону и определенного судьей, то оно принадлежит лишь тому, кто стоит выше и судьи и Закона, т. е. суверену; но это его право еще

не вполне ясно, да и случаи применения его очень редки. В хорошо управляемом Государстве казней мало не потому, что часто даруют помилование, а потому, что здесь мало преступников; в Государстве, клонящемся к упадку, многочисленность преступлений делает их безнаказанными. В Римской Республике ни Сенат, ни консулы никогда не пытались применять право помилования; не делал этого и народ, хотя он иногда и отменял свои собственные решения. Частые помилования предвещают, что вскоре преступники перестанут в них нуждаться, а всякому ясно, к чему это ведет. Но я чувствую, что сердце мое рожет и удерживает мое перо; предоставим обсуждение этих вопросов человеку справедливому, который никогда не оступался и сам никогда не нуждался в прощении.

## Глава VI

### О ЗАКОНЕ

Общественным соглашением мы дали Политическому организму существование и жизнь; сейчас речь идет о том, чтобы при помощи законодательства сообщить ему движение и наделить волей. Ибо первоначальный акт, посредством которого этот организм образуется и становится единым, не определяет еще ничего из того, что он должен делать, чтобы себя сохранить.

То, что есть благо и что соответствует порядку<sup>70</sup>, является таковым по природе вещей и не зависит от соглашений между людьми. Всякая справедливость — от Бога, Он один — ее источник; но если бы мы умели получать ее с такой высоты, мы бы не нуждались ни в правительстве, ни в законах. Несомненно, существует всеобщая справедливость, исходящая лишь от разума, но эта справедливость, чтобы быть принятой нами, должна быть взаимной. Если рассматривать вещи с человеческой точки зрения, то при отсутствии естественной санкции законы справедливости бессильны между людьми; они приносят благо лишь бесчестному и несчастье — праведному, если этот последний соблюдает их в отношениях со всеми, а никто не соблюдает их в своих отношениях с ним. Необходимы, следовательно, соглашения и законы, чтобы объединить права и обязанности и вернуть справедливость к ее предмету. В естественном состоянии, где все общее, я ничем не обязан тем, кому я ничего не обещаю; я признаю чужим лишь то, что мне не нужно. Совсем не так в гражданском состоянии, где все права определены Законом.

Но что же такое, в конце концов, закон? До тех пор, пока люди не перестанут вкладывать в это слово лишь метафизические понятия<sup>71</sup>, мы в наших рассуждениях будем, по-прежнему, уж не понимать друг друга; и даже если



*ЖАН-ЖАК РУССО*

*Миниатюра XVIII в.*

Государственный Эрмитаж. Ленинград

объяснят нам, что такое закон природы, это еще не значит, что благодаря этому мы лучше поймем, что такое закон Государства.

Я уже сказал, что общая воля не может высказаться по поводу предмета частного. В самом деле, этот частный предмет находится либо в Государстве, либо вне его. Если он вне Государства, то посторонняя ему воля вовсе не является общей по отношению к нему; а если этот предмет находится в Государстве, то он составляет часть Государства: тогда между целым и частью устанавливается такое отношение, которое превращает их в два отдельных существа; одно — это часть, а целое без части — другое. Но целое минус часть вовсе не есть целое; и пока такое отношение существует, нет более целого, а есть две неравные части; из чего следует, что воля одной из них вовсе не является общею по отношению к другой.

Но когда весь народ выносит решение, касающееся всего народа, он рассматривает лишь самого себя, и если тогда образуется отношение, то это — отношение целого предмета, рассматриваемого с одной точки зрения, к целому же предмету, рассматриваемому с другой точки зрения, — без какого-либо разделения этого целого. Тогда сущность того, о чем выносятся решение, имеет общий характер так же, как и воля, выносящая это решение. Этот именно акт я и называю законом.

Когда я говорю, что предмет законов всегда имеет общий характер, я разумею под этим, что Закон рассматривает подданных как целое, а действия — как отдельные, но никогда не рассматривает человека как индивидуум или отдельный поступок. Таким образом, Закон вполне может установить, что будут существовать привилегии, но он не может предоставить таковые никакому определенному лицу; Закон может создать несколько классов граждан, может даже установить те качества, которые дадут право принадлежать к каждому из этих классов; но он не может конкретно указать, что такие-то и такие-то лица будут включены в тот или иной из этих классов; он может установить королевское Правление и сделать корону наследственной; но он не может ни избирать короля, ни провозглашать какую-либо семью царствующей, — словом, всякое действие, объект которого носит индивидуальный характер, не относится к законодательной власти.

Уяснив себе это, мы сразу же поймем, что теперь излишне спрашивать о том, кому надлежит создавать законы, ибо они суть акты общей воли; и о том, стоит ли государь выше законов, ибо он член Государства; и о том, может ли Закон быть несправедливым, ибо никто не бывает несправедлив по отношению к самому себе; и о том, как можно быть свободным и подчиняться законам, ибо они суть лишь записи изъявлений нашей воли.

И еще из этого видно, что раз в Законе должны сочетаться всеобщий характер воли и таковой же ее предмета, то все распоряжения, которые самовластно делает какой-либо частный человек, кем бы он ни был, никоим образом законами не являются. Даже то, что приказывает суверен по частно-

му поводу, — это тоже не закон, а декрет; и не акт суверенитета, а акт магистратуры.

Таким образом, я называю Республикою всякое Государство, управляемое посредством законов<sup>72</sup>, каков бы ни был при этом образ управления им; ибо только тогда интерес общий правит Государством и общее благо означает нечто. Всякое Правление<sup>1</sup> посредством законов, есть республиканское: что такое Правление, я разъясню ниже.

Законы, собственно — это лишь условия гражданской ассоциации. Народ, повинующийся законам, должен быть их творцом: лишь тем, кто вступает в ассоциацию, положено определять условия общежития. Но как они их определяют? Сделают это с общего согласия, следуя внезапному вдохновению? Есть ли у Политического организма орган для выражения его воли? Кто сообщит ему предусмотрительность, необходимую чтобы проявления его воли превратить в акты и заранее их обнародовать? Как иначе провозгласит он их в нужный момент? Как может слепая толпа, которая часто не знает, чего она хочет, ибо она редко знает, что ей на пользу, сама совершить столь великое и столь трудное дело, как создание системы законов? Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не всегда видит, в чем оно. Общая воля всегда направлена верно и прямо, но решение, которое ею руководит, не всегда бывает просвещенным. Ей следует показать вещи такими, какие они есть, иногда — такими, какими они должны ей представляться; надо показать ей тот верный путь, который она ищет; оградить от сводящей ее с этого пути воли частных лиц; раскрыть перед ней связь стран и эпох; уравновесить привлекательность близких и ощутимых выгод опасностью отдаленных и скрытых бед. Частные лица видят благо, которое отвергают; народ хочет блага, но не ведает в чем оно. Все в равной мере нуждаются в поводах. Надо обязать первых согласовать свою волю с их разумом; надо научить второй знать то, чего он хочет. Тогда результатом просвещения народа явится союз разума и воли в Общественном организме; отсюда возникнет точное взаимодействие частей и, в завершение всего, наибольшая сила целого. Вот что порождает нужду в Законодателе.

---

<sup>1</sup> Под этим словом я разумею не только Аристократию или Демократию, но вообще всякое Правление, руководимое общей волей, каковая есть Закон. Чтобы Правительство было законосообразным, надо, чтобы оно не смешивало себя с сувереном, но чтобы оно было его служителем: тогда даже Монархия есть Республика. Это станет ясным из следующей книги.

## Глава VII

## О ЗАКОНОДАТЕЛЕ

Для того чтобы открыть наилучшие правила общежития, подобающие народам, нужен ум высокий, который видел бы все страсти людей и не испытывал ни одной из них; который не имел бы ничего общего с нашею природой, но знал ее в совершенстве; чье счастье не зависело бы от нас, но кто согласился бы все же заняться нашим счастьем; наконец, такой, который, уготовляя себе славу в отдаленном будущем, готов был бы трудиться в одном веке, а пожинать плоды в другом<sup>1</sup>. Потребовались бы Боги, чтобы дать законы людям.

Тот же вывод, который делал Калигула применительно к фактам, Платон возводил в принцип для определения свойств человека, призванного к гражданской деятельности или к тому, чтобы стать царем, принцип, поисками которого он занят в своей книге о Правлении<sup>73</sup>. Но если верно, что великие государи встречаются редко, то что же тогда говорить о великом Законодателе? Первому надлежит лишь следовать тому образцу, который должен предложить второй. Этот — механик, который изобретает машину; тот — лишь рабочий, который ее собирает и пускает в ход. При рождении обществ, — говорит Монтескье, — сначала правители Республик создают установления, а затем уже установления создают правителей Республик<sup>74</sup>.

Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое замкнутое и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивидуум в известном смысле получает свою жизнь и свое бытие; переиначить организм человека, дабы его укрепить; должен поставить на место физического и самостоятельного существования, которое нам всем дано природой, существование частичное и моральное. Одним словом нужно, чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен другие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без содействия других. Чем больше эти естественные силы иссякают и уничтожаются, а силы, вновь приобретенные, возрастают и укрепляются, тем более прочным и совершенным становится также и первоначальное устройство; так что, если каждый гражданин ничего собою не представляет и ничего не может сделать без всех остальных, а сила, приобретенная целым, равна сумме естественных сил всех индивидуумов или превышает эту сумму, то можно ска-

<sup>1</sup> Народ становится знаменитым лишь когда его законодательство начинает клониться к упадку. Неизвестно, в течение скольких веков устройство, данное Ликургом, составляло счастье спартанцев, прежде чем о них заговорили в других частях Греции.

зять, что законы достигли той самой высокой степени совершенства, какая только им доступна.

Законодатель — во всех отношениях человек необыкновенный в Государстве. Если он должен быть таковым по своим дарованиям, то не в меньшей мере должен он быть таковым по своей роли. Это — не магистратура; это — не суверенитет. Эта роль учредителя Республики совершенно не входит в ее учреждения. Это — должность особая и высшая, не имеющая ничего общего с властью человеческой. Ибо если тот, кто повелевает людьми, не должен властвовать над законами, то и тот, кто властвует над законами, также не должен повелевать людьми. Иначе его законы, орудия его страстей, часто лишь увековечивали бы совершенные им несправедливости; он никогда не мог бы избежать того, чтобы частные интересы не искажали святости его создания.

Когда Ликург давал законы своему отечеству, он начал с того, что отрекся от царской власти<sup>75</sup>. В большинстве греческих городов существовал обычай поручать составление законов чужестранцам. Этому обычаю часто подражали итальянские Республики нового времени; так же поступила Женеvская Республика, и она не может пожаловаться на результаты<sup>1</sup>. Рим в пору своего наибольшего расцвета увидел, как возродились в его недрах все преступления тирании, и видел себя уже на краю гибели, потому что соединил на головах одних и тех же людей знаки достоинства законодателя и власти царя.

Между тем даже Децемвиры никогда не присваивали себе<sup>76</sup> права вводить какой-либо закон своею собственною властью. *«Ничто из того, что мы вам предлагаем, — говорили они народу, — не может превратиться в закон без вашего согласия. Римляне, будьте сами творцами законов, которые должны составить ваше счастье».*

Вот почему тот, кто составляет законы, не имеет, следовательно, или не должен иметь какой-либо власти их вводить; народ же не может, даже при желании, лишиться себя этого непередаваемого права, ибо согласно первоначальному соглашению, только общая воля налагает обязательства на частных лиц, и никогда нельзя быть уверенным в том, что воля какого-либо частного лица согласна с общею, пока она не станет предметом свободного голосования народа. Я уже это говорил, но бесполезно это еще раз повторить.

Итак, мы обнаруживаем в деле создания законов одновременно две вещи, которые, казалось бы, исключают одна другую: предприятие, превышающее

<sup>1</sup> Те, кто смотрят на Кальвина лишь как на богослова<sup>77</sup>, не понимают, по-видимому, всей широты его гения. Составление наших мудрых Эдиктов, в котором он принимал немалое участие, делает ему столько же чести, как и его «Наставление»<sup>78</sup>. Какие бы перевороты ни произошли со временем в нашей вере, — до тех пор пока не угаснет среди нас любовь к отечеству и свободе, — в нашей стране никогда не перестанут благословлять память этого великого человека.



человеческие силы, и, для осуществления его,— власть, которая сама по себе ничего не значит.

И вот еще одна трудность, заслуживающая внимания. Мудрецы, которые хотят говорить с простым народом своим, а не его языком, никогда не смогут стать ему понятными. Однако есть множество разного рода понятий, которые невозможно перевести на язык народа. Очень широкие планы и слишком далекие предметы равно ему недоступны; поскольку каждому индивидууму по вкусу лишь такая цель управления, которая отвечает его частным интересам, он плохо представляет себе те преимущества, которые извлекает из постоянных лишений, налагаемых на него благами законами. Для того чтобы рождающийся народ мог одобрить здравые положения политики и следовать основным правилам пользы государственной, необходимо, чтобы следствие могло превратиться в причину, чтобы дух общежительности, который должен быть результатом первоначального устройства, руководил им, и чтобы люди до появления законов были тем, чем они должны стать благодаря этим законам. Так, Законодатель, не имея возможности воспользоваться ни силою, ни доводами, основанными на рассуждении, по необходимости прибегает к власти иного рода, которая может увлекать за собою, не прибегая к насилию, и склонять на свою сторону, не прибегая к убеждению.

Вот что во все времена вынуждало отцов наций призывать себе на помощь небо и наделять своею собственною мудростью богов, дабы народы, покорные законам Государства как законам природы и усматривая одну и ту же силу в сотворении человека и в создании Гражданской общины, повиновались по своей воле и покорно несли бремя общественного благоденствия.

Решения этого возвышенного разума, недоступного простым людям, Законодатель и вкладывает в уста бессмертных, чтобы увлечь божественною властью тех, кого не смогло бы поколебать в их упорстве человеческое благоразумие<sup>1</sup>. Но не всякому человеку пристало возвестить глас богов и не всякому поверят, если он объявит себя истолкователем их воли. Великая душа Законодателя — это подлинное чудо<sup>79</sup>, которое должно оправдать его призвание. Любой человек может высечь таблицы на камне или приобрести треножник для предсказаний; или сделать вид, что вступил в тайные сношения с каким-нибудь божеством; или выучить птицу, чтобы она вещала ему что-либо на ухо; или найти другие грубые способы обманывать народ. Тому,

<sup>1</sup> «*E veramente*,— говорит Макнавелли,— *mai non fù alcuno ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che non ricorresse a Dio, perchè altrimenti non sarebbero accettate; perchè sono molti beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in se ragioni evidenti da potergli persuadere ad altrui*.— *Discorsi sopra Tito Livio*, L. I, cap. XI). «В самом деле, не было ни одного учредителя чрезвычайных законов какого-либо народа, который бы не прибегнул к Богу, так как иначе они не были бы приняты; есть много благ, которые хорошо понятны мудрецам, но сами по себе недостаточно очевидны, чтобы можно было убедить в них других людей».— «Рассуждение на первую декаду Тита Ливия», кн. I, гл. XI (*итал.*).

кто умеет делать лишь это, пожалуй, удастся собрать толпу безумцев; но ему никогда не основать царства, и его нелепое создание вскоре погибнет вместе с ним. Пустые фокусы создают скоропреходящую связь, лишь мудрость делает ее долговременной. Все еще действующий иудейский закон и закон потомка Исмаила<sup>80</sup>, что вот уже десять веков управляет половиною мира, доныне возведают о великих людях, которые их продиктовали, и в то время как горделивая философия или слепой сектантский дух видят в них лишь удачливых обманщиков<sup>81</sup>, истинного политика восхищает в их установлениях тот великий и могучий гений, который дает жизнь долговечным творениям.

Не следует, однако, заключать из всего этого вместе с Уорбертоном<sup>82</sup>, что предмет политики и религии в наше время один и тот же; но что при становлении народов одна служит орудием другой<sup>83</sup>.

### Глава VIII

#### О НАРОДЕ

Подобно архитектору, который, прежде чем воздвигнуть большое здание, обследует и изучает почву, чтобы узнать, сможет ли она выдержать его тяжесть, мудрый законодатель не начинает с сочинения законов, самых благих самих по себе, но испытует предварительно, способен ли народ, которому он их предназначает, их выдержать. Вот почему Платон отказался дать законы жителям Аркадии<sup>84</sup> и Киренаики<sup>85</sup>, зная, что оба эти народа богаты и не потерпят равенства. Вот почему на Крите были хорошие законы и дурные люди, ибо Минос взялся установить порядок<sup>86</sup> в народе, исполненном пороков.

Блестали на земле тысячи таких народов, которые никогда не вынесли бы благих закопов; народы же, которые способны были к этому, имели на то лишь весьма краткий период времени во всей своей истории. Большинство народов, как и людей, восприимчивы лишь в молодости; старея, они становятся неисправимыми. Когда обычаи уже установились и предрассудки укоренились, опасно и бесполезно было бы пытаться их преобразовать; народ даже не терпит, когда касаются его недугов, желая их излечить, подобно тем глупым и малодушным больным, которые дрожат при виде врача.

Это не значит, что подобно некоторым болезням, которые все переворачивают в головах людей и отнимают у них память о прошлом, и в истории Государств не бывает бурных времен, когда перевороты действуют на народы так же, как некоторые кризисы на индивидуумов; когда на смену забве-

нию приходит ужас перед прошлым, и когда Государство, пожираемое пламенем гражданских войн, так сказать, возрождается из пепла и вновь оказывается в расцвете молодости, освобождаясь из рук смерти. Так было со Спартой во времена Ликурга, с Римом после Тарквиниев, так было в наши времена в Голландии и в Швейцарии после изгнания тиранов<sup>87</sup>.

Но такие события редки: это — исключения, причива которых всегда лежит в особой природе такого Государства. Они даже не могли бы повториться дважды в жизни одного и того же народа; ибо он может сделаться свободным тогда, когда находится в состоянии варварства, но более на это не способен, когда движитель гражданский износился<sup>88</sup>. Тогда смуты могут такой народ уничтожить, переворотам же более его не возродить; и как только разбиты его оковы, он и сам распадется и уже больше не существует как народ. Отныне ему требуется уже повелитель, а никак не освободитель. Свободные народы, помните правило: «Можно завоевать свободу, но нельзя обрести ее вновь».

Юность — не детство<sup>89</sup>. У народов, как и у людей, существует пора юности или, если хотите, зрелости, которой следует дожидаться, прежде чем подчинять их законам. Но наступление зрелости у народа не всегда легко распознать; если же ввести законы преждевременно, то весь труд пропал. Один народ восприимчив уже от рождения, другой не становится таковым и по прошествии десяти веков. Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, того, что творит и создает все из ничего. Кос-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершен-но не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского общества<sup>90</sup>. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого. Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских. Он помещал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, убедив их, что они были тем, чем они не являются. Так наставник-француз воспитывает своего питомца, чтобы тот блистал в детстве, а затем навсегда остался ничтожеством. Российская империя пожелает покорить Европу — и сама будет покорена. Татары, ее подданные или ее соседи, станут ее, как и нашими, повелителями<sup>91</sup>. Переворот этот кажется мне неизбежным. Все короли Европы сообща способствуют его приближению.

## Глава IX

### ПРОДОЛЖЕНИЕ

Подобно тому, как природа установила границы роста для хорошо сложенного человека, за пределами которых она создает уже лишь великанов или карликов, так и для наилучшего устройства Государства есть свои границы протяженности, которую оно может обладать и не быть при этом ни слишком велико, чтобы им можно было хорошо управлять, ни слишком мало, чтобы оно было в состоянии поддерживать свое существование собственными силами<sup>92</sup>. Для всякого Политического организма есть свой *максимум* силы, который он не может превышать и от которого он, увеличиваясь в размерах, часто отдалается. Чем более растягивается связь общественная, тем более она слабеет; и вообще Государство малое относительно сильнее большого.

Тысячи доводов подтверждают это правило. Во-первых, управление становится более затруднительным при больших расстояниях, подобно тому, как груз становится более тяжелым на конце большего рычага. Управление становится также более обременительным по мере того, как умножаются его ступени. Ибо в каждом городе есть прежде всего свое управление, которое оплачивается народом; в каждом округе — свое, также оплачиваемое народом; то же — в каждой провинции; затем идут крупные губернаторства, наместничества и вице-королевства, содержание которых обходится все дороже по мере того, как мы поднимаемся выше, и притом все это за счет того же несчастного народа; наконец, наступает черед высшего управления, которое пожирает все. Такие неумеренные поборы постоянно истощают подданных: они не только не управляются лучше всеми этими различными органами управления, они управляются хуже, чем если бы над ними был только один его орган. И уже почти не остается средств для чрезвычайных случаев; а когда приходится прибегать к этим средствам, Государство всегда оказывается на грани разорения.

Это еще не всё: у Правительства оказывается не только меньше силы и быстроты действий, чтобы заставить соблюдать законы, не допускать притеснений, карать злоупотребления, предупреждать мятежи, которые могут вспыхнуть в отдаленных местах; но и народ уже в меньшей мере может испытывать привязанность к своим правителям, которых он никогда не видит; к отечеству, которое в его глазах столь же необъятно, как весь мир, и к согражданам своим, большинство из которых для него чужие люди. Одни и те же законы не могут быть пригодны для стольких разных провинций, в которых различные нравы, совершенно противоположные климатические условия и которые поэтому не допускают одной и той же формы правления. Различные законы порождают лишь смуты и неурядицы среди подданных: живя под властью одних и тех же правителей и в постоянном между собою

общении, они переходят с места на место или вступают в браки с другими людьми, которые подчиняются уже другим обычаям, а в результате подданные никогда не знают, действительно ли им принадлежит их достояние. Таланты зарыты, добродетели неведомы, пороки безнаказанны среди этого множества людей, незнакомых друг другу, которых место нахождения высшего управления сосредоточивает в одном месте. Правители, обремененные делами, ничего не видят собственными глазами — Государством управляют чиновники. И вот уже необходимы особые меры для поддержания авторитета центральной власти, потому что столько ее представителей в отдаленных местах стремятся либо выйти из подчинения ей, либо ее обмануть; эти меры поглощают все заботы общества; уже нет сил заботиться о счастье народа; их едва хватает для защиты его в случае нужды; так организм, ставший непомерно большим, разлагается и погибает, раздавленный своею собственной тяжестью.

С другой стороны, Государство, чтобы обладать прочностью, должно создать для себя надежное основание, дабы оно успешно противостояло тем потрясениям, которые ему обязательно придется испытать, и выдержать те усилия, которые неизбежно потребуются для поддержания его существования. Ибо у всех народов есть некоторая центробежная сила, под влиянием которой они постоянно действуют друг против друга и стремятся увеличить свою территорию за счет соседей, как вихри Декарта. Таким образом слабые рискуют быть в скором времени поглощены, и едва ли кто-либо может уже сохраниться иначе, как приведя себя в некоторого рода равновесие со всеми, что сделало бы давление повсюду приблизительно одинаковым.

Из этого видно, что есть причины, заставляющие Государство расширяться, и причины, заставляющие его сжиматься; и талант политика не в последнюю очередь выражается в том, чтобы найти между теми и другими такое соотношение, которое было бы наиболее выгодным для сохранения Государства. Можно сказать, вообще, что первые причины, будучи лишь внешними и относительными, должны быть подчинены вторым, которые суть внутренние и абсолютные. Здоровое и прочное устройство — это первое, к чему следует стремиться; и должно больше рассчитывать на силу, порождаемую хорошим образом правления, нежели на средства, даваемые большой территорией.

Впрочем известны Государства, устроенные таким образом, что необходимость завоеваний была заложена уже в самом их устройстве: чтобы поддержать свое существование, они должны были непрестанно увеличиваться. Возможно, они и радовались немало этой счастливой необходимости, но она предрекавала им, однако, наряду с пределом их величины и срок неизбежного их падения<sup>93</sup>

## Глава X

### ПРОДОЛЖЕНИЕ

Политический организм можно измерять двумя способами, именно: протяженностью территории и численностью населения; и между первым и вторым из этих измерений существует соотношение, позволяющее определить для Государства подобающие ему размеры. Государство составляют люди, а людей кормит земля. Таким образом, отношение это должно быть таким, чтобы земли было достаточно для пропитания жителей Государства, а их должно быть столько, сколько земля может прокормить. Именно такое соотношение создает *максимум* силы данного количества населения. Ибо если земли слишком много, то охрана ее тягостна, обработка — недостаточна, продуктов — избыток; в этом причина будущих оборонительных войн. Если же земли недостаточно, то Государство, дабы сие восполнить, оказывается в полной зависимости от своих соседей; в этом — причина будущих наступательных войн. Всякий народ, который по своему положению может выбирать лишь между торговлей и войною, сам по себе — слабый народ; он зависит от соседей, он зависит от событий; его существование всегда необеспечено и кратковременно. Он покоряет — и меняет свое положение, или же покоряется — и превращается в ничто. Он может сохранить свободу лишь благодаря незначительности своей или величию своему.

Нельзя выразить в числах постоянное отношение между протяженностью земли и числом людей, достаточным для ее заселения; это невозможно сделать как по причине различий в качествах почвы, степени ее плодородия, в свойствах производимых ею продуктов, во влиянии климатических условий, так и вследствие различий, которые представляет организм людей, населяющих эту землю, из которых одни потребляют мало в плодородном краю, а другие — много на неблагоприятной земле. Следует еще принять в расчет бóльшую или меньшую плодovitость женщин; то, что в стране могут быть более или менее благоприятные условия для заселения, чему Законодатель может надеяться способствовать своими установлениями; но для того он должен основывать свои суждения не на том, что он видит, а на том, что предвидит, и должен исходить не столько из настоящего состояния населенности, сколько из того, каких размеров она должна естественным образом достигнуть. Наконец, в тысячах случаев особые условия местности требуют или позволяют, чтобы люди занимали больше места, чем это кажется необходимым. Так, следует расселиться реже в гористой стране, где естественные уголья, именно: леса, пастбища, требуют меньшей затраты труда; где, как показывает опыт, женщины плодovитее, чем на равнинах, и где большая поверхность склонов оставляет для обработки лишь малую горизонтальную площадь, которая одна только и может приниматься в расчет, когда речь идет

об использовании плодородной земли. Напротив, можно селиться погуще вблизи берега моря, даже среди почти бесплодных скал и песков, потому что рыболовство может в значительной степени дополнить здесь то, что приносит земля, потому что люди здесь должны быть более сплоченными для отпора пиратам; потому что, кроме всего прочего, такую страну легче освободить от избыточного населения, создавая колонии.

Для того чтобы дать установления народу, к этим условиям следует добавить еще одно, которое, однако, не может заменить никакое другое, но без которого все другие условия бесполезны: народ должен пользоваться благами изобилия и мира. Ибо время, когда складывается Государство, подобно времени, когда строится батальон, — это момент, когда организм менее всего способен к сопротивлению и когда его легче всего уничтожить. Можно успешнее сопротивляться во время полного беспорядка, чем в момент брожения, когда каждый поглощен своим положением, а не общей опасностью. Пусть только война, голод или мятеж возникнут в этот критический момент, и Государство неминуемо падет.

Это не значит, что многие Правительства не возникали именно во время таких бурь; но тогда эти-то Правительства и разрушают Государство. Узурпаторы всегда вызывают или выбирают такие смутные времена, чтобы провести, пользуясь охватившим все общество страхом, разрушительные законы, которых народ никогда не принял бы в спокойном состоянии. Выбор момента для первоначального устройства — это один из самых несомненных признаков, по которым можно отличить творение Законодателя от дела тирана.

Какой же народ способен к восприятию законов? Тот, который будучи уже объединен в каком-либо союзе происхождением, выгодой или соглашением, вообще еще не знал на себе подлинного ярма законов; у которого нет ни глубоко укоренившихся обычаев, ни глубоко укоренившихся предрассудков; который не боится подвергнуться внезапному нашествию; который, не вмешиваясь в споры своих соседей, может один противостоять каждому из них или воспользоваться помощью одного, чтобы отразить другого; тот народ, каждый член которого может быть известен всем и которому нет нужды возлагать на человека большее бремя, нежели то, какое он в состоянии нести; тот, который может обойтись без других народов и без которого может обойтись всякий другой народ<sup>1</sup>; тот, который не богат и не беден и мо-

<sup>1</sup> Если бы из двух соседних народов один не мог обойтись без другого, то создалось бы положение очень тяжелое для одного и очень опасное для другого. Всякий мудрый народ в подобном случае постарается поскорее освободить другой от этой зависимости. Тласкаланская республика<sup>94</sup>, лежащая внутри Мексиканской империи, предпочла обходиться без соли, чем покупать ее у мексиканцев или даже согласиться брать ее даром. Мудрые тласкаланцы увидели ловушку, скрытую под такой щедростью. Они сохранили свободу; и это малое Государство, заключенное внутри огромной империи, явилось в конце концов орудием ее гибели.

жет обойтись собственными средствами<sup>95</sup>; наконец, тот, который сочетает устойчивость народа древнего с восприимчивостью народа молодого. Трудность создания законов определяется не столько тем, что нужно устанавливать, сколько тем, что необходимо разрушать. Причина же столь редкого успеха в этом деле — невозможность сочетать естественную простоту с потребностями общежития. Все эти условия, правда, трудно соединимы. Потому-то мы и видим так мало правильно устроенных Государств.

Есть еще в Европе страна, способная к восприятию законов: это остров Корсика. Мужеством и стойкостью, с какими этот славный народ вернул и отстоял свою свободу<sup>96</sup>, он, безусловно, заслужил, чтобы какой-нибудь мудрый муж научил его, как ее сохранить. У меня есть смутное предчувствие, что когда-нибудь этот островок еще удивит Европу<sup>97</sup>.

## Глава XI

### О РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ

Если попытаться определить, в чем именно состоит то наибольшее благо всех, которое должно быть целью всякой системы законов, то окажется, что оно сводится к двум главным вещам: *свободе и равенству*. К свободе — поскольку всякая зависимость от частного лица настолько же уменьшает силу Государства; к равенству, потому что свобода не может существовать без него.

Я уже сказал, что такое свобода гражданская. Что касается до равенства, то под этим словом не следует понимать, что все должны обладать властью и богатством в совершенно одинаковой мере; но, что касается до власти, — она должна быть такой, чтобы она не могла превратиться ни в какое насилие и всегда должна осуществляться по праву положения в обществе и в силу законов; а, что до богатства, — ни один гражданин не должен обладать столь значительным достатком, чтобы иметь возможность купить другого, и ни один — быть настолько бедным, чтобы быть вынужденным себя продавать<sup>1</sup>: это предполагает в том, что касается до знатных и богатых, ограничение размеров их имущества и влияния, что же касается до людей малых — умерение скарденности и алчности.

<sup>1</sup> Вы хотите сообщить Государству прочность? Тогда сблизьте крайние ступени, насколько то возможно; не терпите ни богачей, ни нищих. Эти два состояния, по самой природе своей неотделимые одно от другого, равно гибельны для общего блага; из одного выходят пособники тираннии, а из другого — тираны. Между ними и идет всегда торг свободой народною, одни ее покупают, другие — продают.



Говорят, что такое равенство — химера, плод мудрствования, не могущие осуществиться на практике. Но если зло неизбежно, то разве из этого следует, что его не надо, по меньшей мере, ограничивать. Именно потому, что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранять его.

Но эти общие цели всякого хорошего первоустройства должны видоизменяться в каждой стране в зависимости от тех отношений, которые порождаются как местными условиями, так и отличительными особенностями жителей; и на основе этих именно отношений и следует определять каждому народу особую систему первоначальных установлений, которая должна быть лучшей, пусть, быть может, не сама по себе, но для того Государства, для которого она предназначена. Если, к примеру, почва неблагоприятна и бесплодна или земли слишком мало для жителей данной страны? обратитесь тогда к промышленности и ремеслам, произведения которых вы будете обменивать на съестные припасы, которых вам недостает. Если же, напротив, вы занимаете богатые равнины и плодородные склоны? если вы живете на хорошей земле, и у вас недостает населения? тогда посвятите все ваши заботы земледелию, что умножает число людей, и изгоните ремесла, которые окончательно лишили бы край населения, сосредоточив в нескольких пунктах территории то небольшое число жителей, которое там есть<sup>1</sup>. Если вы занимаете протяженные и удобные берега? тогда пустите в море корабли, развивайте торговлю и мореходство; это будет краткое, но блестящее существование. Если море омывает у ваших берегов лишь почти неприступные скалы? тогда оставайтесь варварами и питайтесь рыбой; так вы будете жить спокойнее, лучше, быть может, и, уж наверное, счастливее. Словом, кроме правил, общих для всех, каждый народ в себе самом заключает некое начало, которое располагает их особым образом и делает его законы пригодными для него одного. Так, некогда для древних евреев, а недавно для арабов, главным была религия, для афинян — литература, для Карфагена и Тира — торговля, Родоса — мореходство, Спарты — война, а для Рима — добродетель<sup>98</sup>. Автор *Духа законов* показал на множестве примеров, каким путем Законодатель направляет первоустройство страны к каждой из этих целей.

Устройство Государства становится воистину прочным и долговечным, когда сложившиеся в нем обычаи соблюдаются настолько, что естественные отношения и законы всегда совпадают в одних и тех же пунктах, и последние, так сказать, лишь укрепляют, сопровождают, выправляют первые. Но если Законодатель, ошибаясь в определении своей цели, следует принципу, отличному от того, что вытекает из природы вещей; если один из принципов

<sup>1</sup> «Любая из отраслей внешней торговли, — говорит м[аркиз] д'А[ржансон], — несет с собою лишь мнимую выгоду для королевства в целом; она может обогатить только нескольких частных лиц, даже несколько городов, но вся нация от этого ничего не выигрывает, и положение народа от этого не улучшается»<sup>99</sup>.

ведет к порабощению, а другой — к свободе; один — к накоплению богатств, другой — к увеличению населения; один — к миру, другой — к завоеваниям, — тогда законы незаметно потеряют свою силу, внутреннее устройство испортится, и волнения в Государстве не утихнут до тех пор, пока оно не подвергнется разрушению или изменениям и пока неодолимая природа не вступит вновь в свои права.

## Глава XII

### РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ

Чтобы упорядочить целое, или придать наилучшую форму государству, следует принять во внимание различные отношения. Во-первых, действие всего Организма на самого себя, т. е. отношение целого к целому, или суверена к Государству. А это отношение слагается из отношения промежуточных членов, как мы увидим ниже.

Законы, управляющие этими отношениями, носят название политических законов<sup>100</sup> и именуются также основными законами — не без известных причин, если это законы мудрые. Ибо если в каждом Государстве существует лишь один правильный способ дать ему хорошее устройство, то народ, нашедший этот способ, должен его держаться. Но если установленный строй плох, то зачем принимать за основные те законы, которые не дают ему быть хорошим? Впрочем, при любом положении дел народ всегда властен изменить свои законы, даже наилучшие; ибо если ему угодно причинить зло самому себе, то кто же вправе помешать ему в этом?

Второе отношение — это отношение членов между собою или же ко всему Организму. Оно должно быть в первом случае сколь возможно малым, а во втором — сколь возможно большим, дабы каждый гражданин был совершенно независим от всех других и полностью зависим от Гражданской общины, что достигается всегда с помощью одних и тех же средств; ибо лишь сила Государства дает свободу его членам. Из этого-то второго отношения и возникают гражданские законы.

Можно рассмотреть и третий вид отношений между человеком и Законом, именно: между послушанием и наказанием. А это отношение ведет к установлению уголовных законов, которые в сущности не столько представляют собой особый вид законов, сколько придают силу другим законам.

К этим трем родам законов добавляется четвертый, наиболее важный из всех; эти законы запечатлены не в мраморе, не в бронзе, но в сердцах граждан; они-то и составляют подлинную сущность Государства; они изо дня в

день приобретают новые силы; когда другие законы стареют или слабеют, они возвращают их к жизни или восполняют их, сохраняют народу дух его первых установлений и незаметно заменяют силою привычки силу власти. Я разумею нравы, обычаи и, особенно, мнение общественное. Эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального; в этой области великий Законодатель трудится незаметно — тогда, когда кажется, что он вводит лишь преобразования частного характера, — но это лишь дуга свода, непоколебимый замочный камень которого в конце концов образуют гораздо медленнее складывающиеся нравы.

Из этих различных разрядов политические законы, составляющие форму Правления, есть единственный род законов, который относится к моей теме.

### КНИГА III

Прежде чем говорить о различных формах Правления, попытаемся установить точный смысл этого слова, который до сих пор не был еще достаточно разъяснен<sup>101</sup>.

#### Глава I

### О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВООБЩЕ

Я предупреждаю читателя, что эту главу должно читать не торопясь, со вниманием и что я не владею искусством быть ясным для того, кто не хочет быть внимательным.

Всякое свободное действие имеет две причины, которые сообщают ему производят: одна из них — моральная, именно: воля, определяющая акт, другая — физическая, именно: сила, его исполняющая. Когда я иду по направлению к какому-нибудь предмету, то нужно, во-первых, чтобы я хотел туда пойти, во-вторых, чтобы ноги мои меня туда доставили. Пусть паралитик захочет бежать, пусть не захочет того человек проворный — оба они останутся на месте. У Политического организма — те же движители; в нем также различают силу и волю: эту последнюю под названием *законодательной власти*, первую — под названием *власти исполнительной*. Ничто в нем не делается или не должно делаться без их участия.

Мы видели, что законодательная власть принадлежит народу и может

принадлежать только ему. Легко можно увидеть, исходя из принципов, установленных выше, что исполнительная власть, напротив, не может принадлежать всей массе народа как законодательнице или суверену, так как эта власть выражается лишь в актах частного характера, которые вообще не относятся к области Закона, ни, следовательно, к компетенции суверена, все акты которого только и могут быть, что законами.

Сила народа нуждается, следовательно, для себя в таком доверенном лице, которое собирало бы ее и приводило в действие согласно указаниям общей воли, которое служило бы для связи между Государством и сувереном, и некоторым образом осуществляло в обществе как коллективной личности то же, что производит в человеке единение души и тела<sup>102</sup>. Вот каков в Государстве смысл Правительства, так неудачно смешиваемого с сувереном, коего оно является лишь служилым.

Что же такое Правительство? Посредствующий организм, установленный для сношений между подданными и сувереном, уполномоченный приводить в исполнение законы и поддерживать свободу как гражданскую, так и политическую.

Члены этого организма именуются магистратами или *королями*, т. е. *правителями*; а весь организм носит название *государя*<sup>1</sup>. Таким образом совершенно правы те, кто утверждают, что акт, посредством которого народ подчиняет себя правителям, это вовсе не договор. Это, безусловно, не более как поручение, должность; исполняя это поручение, они, простые чиновники суверена, осуществляют его именем власти, блюстителями которых он их сделал, власть, которую он может ограничивать, видоизменять и отбирать, когда ему будет угодно; ибо отчуждение такого права несовместимо с природой Общественного организма и противно цели ассоциации.

Итак, я называю *Правительством* или верховным управлением осуществление исполнительной власти согласно законам, а государем или магистратом человека или корпус, на которые возложено это управление.

Именно в Правительстве заключены те посредствующие силы, соотношение которых и определяет отношение целого к целому, или суверена к Государству. Это последнее можно представить в виде отношения крайних членов непрерывной пропорции, среднее пропорциональное которой — Правительство<sup>103</sup>. Правительство получает от суверена приказания, которые оно отдает народу, и, дабы Государство находилось в устойчивом равновесии, нужно, чтобы, по приведении, получилось равенство между одним произведением, или властью Правительства как такового, и другим произведением, или властью граждан, которые являются суверенными, с одной стороны, и подданными — с другой.

<sup>1</sup> Потому-то в Венеции кслегну именуяют *светлейший государь*<sup>104</sup>, даже когда дож в ней не присутствует.

Более того, невозможно изменить ни один из трех членов, не нарушив сразу же пропорции. Если суверен захочет управлять или магистрат давать законы, или если подданные откажутся повиноваться, тогда на смену порядку приходит беспорядок, сила и воля перестают действовать согласно, и распавшееся Государство делается, таким образом, добычею деспотизма или анархии. Наконец, подобно тому как в каждом отношении есть только одно среднее пропорциональное, так и в Государстве возможен лишь один лучший для него род Правления. Но так как множество событий могут изменить те отношения, в которых выступает народ, то различные виды Правления могут быть хороши не только для различных народов, но и для одного и того же народа в различные времена.

Чтобы попытаться дать представление о различных отношениях, которые могут господствовать между этими двумя крайними, я возьму для примера численность народа как отношение, которое легче выразить.

Предположим, что Государство состоит из десяти тысяч граждан. Суверен может рассматриваться лишь как понятие собирательное и как нечто целое; но каждый отдельный человек в качестве подданного рассматривается как индивидуум. Таким образом, суверен относится к подданному, как десять тысяч к единице, т. е. каждый член Государства обладает лишь одной десяти-тысячной частью верховной власти суверена, хотя он и подчинен ей полностью. Пусть народ состоит из ста тысяч человек; положение подданных не изменяется, и каждый из них в равной мере испытывает всю силу законов, тогда как его голос, сведенный к одной стотысячной, имеет в десять раз меньше влияния на то, как эти законы будут составлены. В таком случае, хотя подданный все время представляет собою единицу, отношение суверена к гражданину увеличивается пропорционально увеличению числа граждан. Отсюда следует, что чем больше растет Государство, тем больше сокращается свобода.

Когда я говорю, что отношение увеличивается, я разумею под этим, что оно удаляется от равенства. Таким образом, чем отношение больше в понимании геометров<sup>105</sup>, тем меньше отношение в обычном понимании; в первом случае — отношение, рассматриваемое с точки зрения количества, измеряется его частным; во втором, — рассматриваемые с точки зрения тождества, отношения оцениваются подобием.

Итак, чем менее сходны изъявления воли отдельных лиц и общая воля, т. е. нравы и законы, тем более должна возрастать сила сдерживающая. Следовательно, Правительство, чтобы отвечать своему назначению, должно быть относительно сильнее, когда народ более многочисленен.

С другой стороны, поскольку увеличение Государства представляет блюстителям публичной власти больше соблазнов и средств злоупотреблять своей властью, то тем большею силою должно обладать Правительство, чтобы сдерживать народ, тем больше силы должен иметь в свою очередь и суверен,

чтобы сдерживать Правительство. Я говорю здесь не о силе абсолютной, но об относительной силе разных частей Государства.

Из этого двойного отношения следует, что непрерывная пропорция между сувереном, государем и народом не есть вовсе произвольное представление, но необходимое следствие, вытекающее из самой природы Политического организма. Из этого следует еще, что, поскольку один из крайних членов, а именно, народ, как подданный, неизменен и представлен в виде единицы, то всякий раз, как удвоенное отношение увеличивается или уменьшается, простое отношение увеличивается или уменьшается подобным же образом, и что, следовательно, средний член изменяется. Это показывает, что не может быть такого устройства Управления, которое было бы единственным и безотносительно лучшим, но что может существовать столько видов Правления, различных по своей природе, сколько есть Государств, различных по величине.

Для того чтобы выставить эту систему в смешном виде, скажут, пожалуй, что, по-моему, дабы найти это среднее пропорциональное и образовать Организм правительственный, нужно лишь извлечь квадратный корень из численности народа; я отвечу, что беру здесь это число только для примера; что отношения, о которых я говорю, измеряются не только числом людей, но вообще количеством действия, складывающимся из множества причин; во всяком случае, если для того, чтобы высказать свою мысль покороче, я временно и прибегну к геометрическим понятиям, то я прекрасно знаю, что точность, свойственная геометрии, никак не может иметь места в приложении к величинам из области отношений между людьми.

Правительство есть в малом то, что представляет собой заключающий его Политический организм — в большом. Это — условная личность, наделенная известными способностями, активная как суверен, пассивная как Государство; в Правительстве можно выделить некоторые другие сходные отношения, откуда возникает, следовательно, новая пропорция; в этой — еще одна, в зависимости от порядка ступеней власти, и так до тех пор, пока мы не достигнем среднего неделимого члена, т. е. единственного главы или высшего магистрата, который можно представить себе находящимся в середине этой прогрессии, как единицу между рядом дробей и рядом целых чисел.

Чтобы не запутаться в этом обилии членов, удовольствуемся тем, что будем рассматривать Правительство как новый организм в Государстве, отличный от народа и от суверена и посредствующий между тем и другим.

Между этими двумя организмами есть то существенное различие, что Государство существует само по себе, а Правительство — только благодаря суверену. Таким образом, господствующая воля государя является или должна быть общей волей или законом; его сила — лишь сконцентрированная в нем сила всего народа. Как только он пожелает осуществить какой-нибудь акт самовластный и произвольный, связь всего Целого начинает ослабевать.

Если бы, наконец, случилось, что государь возымел свою личную волю, более деятельную, чем воля суверена, и если бы он, чтобы следовать этой воле, использовал публичную силу, находящуюся в его руках, таким образом, что оказалось бы, так сказать, два суверена — один по праву, а другой — фактически, — то сразу же исчезло бы единство общества и Политический организм распался бы.

Между тем, для того чтобы Правительственный организм получил собственное существование, жил действительной жизнью, отличающей его от организма Государства, чтобы все его члены могли действовать согласно и в соответствии с той целью, для которой он был учрежден, он должен обладать отдельным *я*, чувствительностью, общей его членам, силой, собственной волей, направленной к его сохранению. Это отдельное существование предполагает Ассамблеи, Советы, право обсуждать дела и принимать решения, всякого рода права, звания, привилегии, принадлежащие исключительно государю и делающие положение магистрата тем почетнее, чем оно тягостнее. Трудности заключаются в способе дать в целом такое устройство этому подчиненному целому, чтобы оно не повредило общему устройству, укрепляя свое собственное; чтобы оно всегда отличало свою особую силу, предназначенную для собственного сохранения, от силы публичной, предназначенной для сохранения Государства; чтобы, одним словом, оно всегда было готово жертвовать Правительством для народа, а не народом для Правительства.

Впрочем, хотя искусственный организм Правительства есть творение другого искусственного организма и хотя оно обладает, в некотором роде, лишь жизнью заимствованною и подчиненною, — это не мешает ему действовать с большею или меньшею силою или быстротою, пользоваться, так сказать, более или менее крепким здоровьем. Наконец, не удаляясь прямо от цели, для которой он был установлен, он может отклоняться от нее в большей или меньшей мере в зависимости от того способа, коим он образован.

Из всех этих различий и возникают те соотношения, которые должны иметь место между Правительством и Государством, сообразно случайным и частным отношениям, которые видоизменяют само это Государство. Ибо часто Правительство, наилучшее само по себе, станет самым порочным, если эти отношения не изменятся сообразно недостаткам Политического организма, которому они принадлежат.

## Глава II

О ПРИНЦИПЕ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

Чтобы установить общую причину этих различий, надо различать государя и Правительство, подобно тому как я выше разграничил Государство и суверен.

Магистрат может состоять из большего или меньшего числа членов. Мы указывали, что отношение между сувереном и подданными тем больше, чем многочисленнее народ: и, по очевидной аналогии, мы можем сказать то же об отношении между Правительством и магистратами.

Однако общая сила Правительства, будучи всегда силой Государства, никогда не изменяется; из чего следует, что чем больше оно затрачивает этой силы, чтобы воздействовать на своих собственных членов, тем меньше остается ему силы, чтобы воздействовать на весь народ.

Итак, чем магистраты многочисленней, тем Правительство слабее. Поскольку это положение — основное, постараемся разъяснить его получше.

Мы можем различать в лице магистрата три существенно различных вида воли. Во-первых, собственную волю индивидуума, которая стремится лишь к своей частной выгоде; во-вторых, общую волю магистратов, которая совпадает единственно с выгодой государя и которую можно назвать корпоративной волей; она является общей по отношению к Правительству и частной — по отношению к Государству, в состав которого входит данное Правительство; в-третьих, волю народа или верховную волю, которая является общей как по отношению к Государству, рассматриваемому как целое, так и по отношению к Правительству, рассматриваемому как часть целого.

При совершенных законах воля частная или индивидуальная должна быть ничтожна; корпоративная воля, присущая Правительству, должна иметь весьма подчиненное значение; и следовательно, воля общая или верховная должна быть всегда преобладающей, быть единым правилом для всех остальных волеизъявлений.

Напротив, в силу естественного порядка вещей эти различные виды воли тем более активны, чем больше они сконцентрированы. Таким образом, общая воля всегда самая слабая, второе место занимает воля корпоративная, самое же первое из всех — воля каждого отдельного лица; таким образом, в Правительстве каждый член, во-первых, это он сам, затем магистрат и потом — гражданин; последовательность прямо противоположная той, какой требует общественное состояние.

Если это так, то когда вся власть оказывается в руках одного человека, тогда частная воля и воля корпоративная полностью соединены и, следовательно, последняя достигает той наивысшей степени силы, какую она только



Титульный лист  
«Общественного договора»  
Руссо, изданного в Лионе  
в 1790 г.

из библиотеки кн. Н. Б. Юсупова  
в Архангельском

может иметь. Но так как от степени силы воли зависит и применение силы, а абсолютная сила Правительства совершенно не изменяется, то из этого следует, что наиболее активным из Правительств является Правление единоличное.

Напротив, объединим Управление и законодательную власть; сделаем государя из суверена, а каждого гражданина сделаем магистратом; тогда корпоративная воля, слившись с общею волею, не будет активнее последней и оставит за частной волей всю ее силу. Тогда Правительство, неизменно обладая все той же абсолютною силою, в этом случае будет обладать *минимумом* относительной силы, или активности.

Эти отношения бесспорны и могут быть подтверждены еще и другими соображениями. Ясно, например, что каждый магистрат более активен в своей корпорации, чем каждый гражданин в своей, и что, следовательно, частная воля имеет гораздо больше влияния на действия Правительства, чем на действия суверена; ибо каждый магистрат почти всегда облечен какою-либо функцией Управления, между тем как каждый гражданин, взятый в отдельности, не исполняет никакой функции суверенитета. Впрочем, чем больше расширяется Государство, тем более фактически увеличивается и его сила, хотя она и не увеличивается пропорционально его расширению. Но если Государство остается тем же самым, то число магистратов может сколько угодно увеличиваться — Правительство фактически не приобретает от этого больше силы, потому что его сила — это сила Государства, мера которой всегда одинакова. Таким образом, относительная сила или действительность Правительства уменьшается без того, чтобы увеличивалась его абсолютная или практическая сила.

DU  
CONTRAT SOCIAL,  
OU  
PRINCIPES  
DU DROIT POLITIQUE.  
PAR J. J. ROUSSEAU,  
*Citoyen de Genève.*

sceleris impas  
Dicimus leges. JEN. ID. XI.



A LYON chez J. R. DELAMOLLIÈRE.

1790.

Ex Bibliotheca Arcangelina

Несомненно еще, что отправление дел становится тем медлительнее, чем больше людей им занимается; что, возлагая слишком много надежд на благоразумие, недостаточно надеются на счастливый поворот судьбы; что упускают благоприятные случаи и так много обсуждают, что часто теряют плоды обсуждения.

Я только что доказал, что Правительство ослабляется по мере того, как возрастает число магистратов; а выше я доказал, что чем многочисленнее народ, тем более должна увеличиваться сила сдерживающая. Отсюда следует, что отношение между числом магистратов и Правительством должно быть обратным отношению между числом подданных и сувереном; т. е. чем больше расширяется Государство, тем больше должно Правительство сокращаться в своей численности; так, чтобы число правителей уменьшалось в той же мере, в какой численность народа возрастает.

Впрочем, я говорю здесь лишь об относительной силе Правительства, а не о правильности его действий. Ибо, напротив, чем многочисленнее магистрат, тем больше воля корпоративная приближается к общей воле; тогда как при одном-единственном магистрате эта же корпоративная воля есть, как я уже говорил, лишь воля отдельного лица. Таким образом, в одном отношении теряется то, что можно выиграть в другом, и искусство Законодателя как раз и состоит в умении определить ту точку, в которой сила и воля Правительства, находясь все время в обратной пропорции, сочетаются в отношении, наиболее выгодном для Государства.

### Глава III

#### РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЙ

В предыдущей главе мы видели, почему разные виды или формы Правительства различают по числу членов, которые их составляют; в этой главе остается показать, как производится это разделение.

Суверен может, во-первых, вручить Правление всему народу или большей его части так, чтобы стало больше граждан-магистратов, чем граждан — просто частных лиц. Этой форме Правления дают название *демократии*.

Или же он может сосредоточить Правление в руках малого числа, так чтобы было больше простых граждан, чем магистратов, и такая форма носит название *аристократии*.

Наконец, он может сконцентрировать все правление в руках единственного магистрата, от которого получают свою власть все остальные. Эта форма наиболее обычна и называется *монархией* или королевским Правлением.

Следует заметить, что все эти формы или, по меньшей мере, первые две из них могут быть более или менее широкими, причем соответствующие различия довольно значительны, ибо демократия может объявить весь народ, либо охватить не более половины его. Аристократия в свою очередь может охватить от половины народа до неопределенно малого числа граждан. Даже королевская власть может быть подвержена известному разделению. В Спарте, по ее конституции, постоянно было два царя, а в Римской империи случилось, что бывало до восьми императоров одновременно<sup>106</sup>, причем нельзя было сказать, что империя разделена<sup>107</sup>. Таким образом, есть точка, где каждая форма Правления сливается со следующей, и мы видим, что при наличии лишь трех названий Правление способно в действительности приписать столько различных форм, сколько есть в Государстве граждан.

Более того: поскольку один и тот же род Правления может в некоторых отношениях подразделяться еще на другие части, в одной из которых управление осуществляется одним способом, а в другой — другим, то из сочетания этих трех форм может возникнуть множество форм смешанных, из которых каждая способна дать новые, сочетаясь с простыми формами.

Во все времена много спорили о том, которая из форм Правления наилучшая, — того не принимая во внимание, что каждая из них наилучшая в одних случаях и худшая в прочих.

Если в различных Государствах число высших магистратов должно наводиться в обратном отношении к числу граждан, то отсюда следует, что, вообще говоря, демократическое Правление наиболее пригодно для малых Государств, аристократическое — для средних, а монархическое — для больших. Это правило выводится непосредственно из общего принципа. Но как учесть множество обстоятельств, которые могут вызвать исключения?

#### Глава IV

### О ДЕМОКРАТИИ

Тот, кто создает Закон, знает лучше всех, как этот Закон должен приводиться в исполнение и истолковываться. Итак, казалось бы, не может быть лучшего государственного устройства, чем то, в котором власть исполнительная соединена с законодательною. Но именно это и делает такое Правление в некоторых отношениях непригодным, так как при этом вещи, которые должны быть разделяемы, не разделяются, и государь и суверен, будучи одним и тем же лицом, образуют, так сказать, Правление без Правительства.

Неправильно, чтобы тот, кто создает законы, их исполнял, или чтобы на

род как целое отвлекал свое внимание от общих целей, дабы обращать его на предметы частные. Ничего нет опаснее, как влияние частных интересов на общественные дела, и злоупотребления, допускаемые Правительством при применении законов,— это беда меньшая, нежели подкуп законодателя — это неизбежное последствие существования частных расчетов. Тогда, поскольку искажена сама сущность Государства, никакое преобразование уже невозможно. Народ, который никогда не употребит во зло свою власть в Правлении, не сделает этого и в отношении своей самостоятельности; народ, который всегда хорошо правил бы, не нуждался бы в том, чтобы им управляли.

Если брать этот термин в точном его значении, то никогда не существовала подлинная демократия, и никогда таковой не будет. Противно естественному порядку вещей, чтобы большое число управляло, а малое было управляемым. Нельзя себе представить, чтобы народ все свое время проводил в собраниях, занимаясь общественными делами, и легко видеть, что он не мог бы учредить для этого какие-либо комиссии, чтобы не изменилась и форма управления.

В самом деле, я думаю, что могу принять за правило следующее: когда функции Правления разделены между несколькими коллегиями, то те из них, что насчитывают наименьшее число членов, приобретают рано или поздно наибольшие вес и значение, хотя бы уже по причине того, что у них, естественно, облегчается отправление дел.

Впрочем, каких только трудносоединимых вещей не предполагает эта форма Правления! Во-первых, для этого требуется Государство столь малое, чтобы там можно было без труда собирать народ, и где каждый гражданин легко мог бы знать всех остальных; во-вторых,— большая простота нравов, что предотвращало бы скопление дел и возникновение трудноразрешимых споров, затем — превеликое равенство в общественном и имущественном положении, без чего не смогло бы надолго сохраниться равенство в правах и в обладании властью; наконец, необходимо, чтобы роскоши было очень мало, или чтобы она полностью отсутствовала. Ибо роскошь либо создается богатствами, либо делает их необходимыми; она развращает одновременно и богача и бедняка, одного — обладанием, другого — вожделением; она предает отечество изнеженности и суетному тщеславию; она отымает у Государства всех его граждан, дабы превратить одних в рабов других, а всех — в рабов убеждений.

Вот почему один знаменитый писатель<sup>108</sup> полагал главным принципом Республики добродетель, ибо все эти условия без нее не могли бы существовать. Но поскольку этот высокий ум не делал необходимых различий, то оказалось, что у него часто нет в суждениях правильности, иногда — ясности; и он не увидел того, что, поскольку верховная власть везде одинакова,— один и тот же принцип<sup>109</sup> должен лежать в основе всякого правильно устро-

енного Государства — в большей или меньшей степени, конечно, соответственно форме Правления.

Прибавим, что нет Правления, столь подверженное гражданским войнам и внутренним волнениям, как демократическое, или народное, потому что нет никакого другого Правления, которое столь сильно и постоянно стремилось бы к изменению формы или требовало больше бдительности и мужества, чтобы сохранять свою собственную. Более, чем при любом другом, при таком государственном устройстве должен гражданин вооружиться силою и твердостью и повторять всю свою жизнь ежедневно в глубине души то, что говорил один доблестный Воевода<sup>1</sup> на Польском Сейме: *«Malo periculosam libertatem quam quietum servitium»* \*.

Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но Правление столь совершенное не подходит людям<sup>11</sup>.

## Глава V

### ОБ АРИСТОКРАТИИ

Здесь у нас есть две весьма различные условные личности, именно: Правительство и суверен; и, следовательно, две воли общие, одна — по отношению ко всем гражданам, другая — только к членам управления. Таким образом, хотя Правительство и может устанавливать внутренний порядок по своему усмотрению, оно никогда не может обращаться к народу иначе, как от имени суверена, т. е. от имени самого народа; этого никогда не следует забывать.

Первые общества управлялись аристократически<sup>110</sup>. Главы семейств обсуждали в своем кругу общественные дела. Молодые люди без труда склонялись перед авторитетом опыта. Отсюда — названия: *жрецы, старейшины, сенат, геронты*<sup>111</sup>. Дикари Северной Америки управляют собою так и в наши дни, и управляются очень хорошо.

Но по мере того, как неравенство, создаваемое первоначальным устройством, брало верх над неравенством естественным, богатство или могущество получали предпочтение перед возрастом, и аристократия стала выборной. Наконец, поскольку власть стала передаваться вместе с богатством от отца к детям, делая семьи патрицианскими, то и Правление сделалось наследственным, поэтому можно было увидеть двадцатилетних сенаторов.

<sup>1</sup> Познанский воевода, отец короля Польского<sup>112</sup>, герцога Лотарингского.

\* Предпочитаю волнения свободы покою рабства (*лат.*).

<sup>11</sup> Ясно, что слово *optimates* у древних означает не «наилучшие», но «наиболее могущественные».

Таким образом, есть три рода аристократии: природная, выборная и наследственная. Первая пригодна лишь для народов, находящихся в начале своего развития; третья представляет собою худшее из всех Правлений. Вторая — лучше всех; это — аристократия в собственном смысле слова.

Помимо того, что оба вида власти при этом разграничиваются, такой род аристократии обладает еще и тем преимуществом, что члены ее избираются. Ибо в народном Правлении все граждане рождаются магистратами; выборная же аристократия ограничивает количество должностных лиц малым числом, и они делаются таковыми лишь путем избрания<sup>1</sup>: при таком порядке честность, просвещенность, опытность и все другие основания для предпочтения и уважения общественного суть каждое новый залог того, что управление будет мудрым.

Кроме того, собрания проходят более спокойно, дела обсуждаются лучше, отправляются более упорядоченно и без промедления; влияние Государства за его пределами лучше поддерживается почтенными сенаторами, чем толпою людей неизвестных или презираемых.

Словом, именно тот строй будет наилучшим и наиболее естественным, когда мудрейшие правят большинством, когда достоверно, что они правят им к его выгоде, а не к своей собственной. Вовсе не следует напрасно усложнять механизм, ни делать с помощью двадцати тысяч людей то, что сто человек выбранных могут сделать гораздо лучше. Следует, однако, заметить, что интересы целого здесь начинают менее направлять публичную силу на соблюдение правил общей воли, и что другое неизбежное отклонение лишает законы части их исполнительную силу.

Что до особых условий, то при аристократическом Правлении Государство вовсе не должно быть столь малым, а народ столь первобытным и прямодушным, чтобы исполнение законов следовало непосредственно за народной волею, как при доброй демократии. Народ не должен также быть столь многочисленным, чтобы начальники, разбросанные по разным местам для управления им, могли корчить из себя суверена, каждый в своем округе, и сделаться сначала независимыми, чтобы в конце концов стать повелителями.

Но если аристократия требует несколькими добродетелями менее, чем народное Правление, она требует зато других добродетелей, которые свойственны ей одной, — таких, как умеренность со стороны богатых и умение довольствоваться своим положением со стороны бедных; ибо строгое равенство было бы тут, по-видимому, неуместно; оно не соблюдалось даже в Спарте.

<sup>1</sup> Очень важно установить законами форму избрания магистратов, ибо, предоставляя это делать по его воле государю, нельзя избежать превращения аристократии в наследственную, как это случилось в республиках *Венецианской* и *Бернской*<sup>113</sup>. Поэтому первая уже давно представляет собой разложившееся Государство; вторая же еще сохраняется благодаря чрезвычайной мудрости своего Сената: это — исключение, весьма почтенное и весьма опасное.

Впрочем, если эта форма предполагает вообще некоторое имущественное неравенство, то для того, чтобы управление общественными делами поручалось тем, кто больше всех других может посвятить этому все свое время; но не для того, как утверждает Аристотель, чтобы богатым всегда оказывалось предпочтение<sup>114</sup>. Напротив, важно, чтобы избрание бедного научало иной раз народ, что достоинства людей суть более существенные основания к тому, чтобы предпочесть их, нежели богатство.

## Глава VI

### О МОНАРХИИ

До сих пор мы рассматривали государя как условное собирательное лицо, объединенное в одно целое силой закона, и как блюстителя исполнительной власти в Государстве. Теперь нам надлежит рассмотреть тот случай, когда эта власть сосредоточена в руках одного физического лица — реального человека, который один имеет право располагать ею в соответствии с законами. Это то, что называется монарх или король.

Совершенной противоположностью другим видам управления, при которых собирательное существо представляет индивидуум, является данный вид, при котором индивидуум представляет собирательное существо, так что то духовное единство, что образует государя, здесь является одновременно и физической единицей, в которой все способности, соединяемые Законом с такими усилиями при другом Правлении, оказываются объединенными сами собою.

Так воля народа и воля государя, и публичная сила Государства, и отдельная сила Правительства — все подчиняется одной и той же движущей силе; рычаги машины находятся в одних и тех же руках; все движется к одной и той же цели. Нет никаких направленных в противоположные стороны движений, которые взаимно уничтожались бы; и нельзя представить себе никакой другой вид государственного устройства, при котором меньшее усилие производило бы большее действие. Архимед<sup>115</sup>, спокойно сидящий на берегу и без труда спускающий на воду большой корабль, напоминает мне искусного монарха, который из кабинета управляет своими обширными Провинциями, приводит все в движение, а сам выглядит при этом неподвижным.

Но если нет никакого другого Правления, которое обладало бы большею силою, то нет и такого, при котором частная воля имела бы больше власти и легче достигала господства над всеми остальными. Правда, здесь все движется к одной и той же цели; но сия цель вовсе не есть благоденствие об-

щества; и сама сила управления беспрестанно оборачивается во вред Государству<sup>116</sup>.

Короли хотят быть неограниченными; и издавна уже им твердили, что самое лучшее средство стать таковыми — это снискать любовь своих подданных. Это правило прекрасное и в некоторых отношениях даже весьма справедливое. К сожалению, при дворах оно всегда будет вызывать только насмешки. Власть, возникающая из любви подданных, несомненно, наибольшая; но она непрочна и условна; никогда не удовлетворятся ею государи. Наилучшие короли желают иметь возможность быть даже злыми, если им так будет угодно, оставаясь при этом повелителями. Какой-либо увещатель от политики может сколько угодно говорить, что раз сила народа — это их сила, то им самим выгоднее всего, чтобы народ процветал, был многочисленным и грозным; они очень хорошо знают, что это не так. Их личный интерес прежде всего состоит в том, чтобы народ был слаб, бедствовал и никогда не мог им сопротивляться. Конечно, если предположить, что подданные всегда будут оставаться совершенно покорными, то государь был бы тогда заинтересован в том, чтобы народ был могущественен, дабы это могущество, будучи его собственным, сделало государя грозным для соседей. Но так как интерес народа имеет лишь второстепенное и подчиненное значение и так как оба предположения несомнимы, то естественно, что государи всегда предпочитают следовать тому правилу, которое для них непосредственно выгодно. Это как раз то, что настойчиво разъяснял древним евреям Самуил<sup>117</sup>: именно это с очевидностью показал Макиавелли<sup>118</sup>. Делая вид, что он дает уроки королям, он преподавал великие уроки народам. «Государь» Макиавелли — это книга республиканцев<sup>1</sup>.

Мы нашли, исходя из соотношений общего характера, что монархия подходит лишь для больших Государств, и мы вновь убедимся в этом, когда рассмотрим монархию как таковую. Чем многочисленнее аппарат управления, тем становится меньше и ближе к равенству отношение между государем и подданными; это отношение при демократии представляет собой единицу или составляет равенство. Это же отношение увеличивается по мере того, как Правление сосредоточивается; и оно достигает своего *максимума*, когда Правление оказывается в руках одного лица. Тогда расстояние между государем и народом становится слишком велико, и Государству начинает недо-

<sup>1</sup> Макиавелли был порядочным человеком и добрым гражданином; но, будучи связан с домом Медичи, он был вынужден, когда отечество его угнеталось, скрывать свою любовь к свободе. Один только выбор им его отвратительного героя<sup>119</sup> достаточно обнаруживает его тайное намерение; а сопоставление основных правил его книги о Государе с принципами его же *Рассуждения о Тите Ливии* и его *Истории Флоренции* доказывает, что этот глубокий политик имел до сих пор лишь читателей поверхностных или развращенных. Римская курия<sup>120</sup> наложила на его книгу строжайшее запрещение. Еще бы, ведь именно папский двор Макиавелли и изобразил наиболее прозрачно.



ставать внутренней связи. Чтобы образовалась эта связь, нужны, следовательно, посредствующие состояния, необходимы князья, вельможи, дворянство, чтобы они их заполнили собою. Но ничто из всего этого не подходит малому Государству, которому все эти промежуточные степени несут разорение.

Но если трудно сделать так, чтобы большое Государство управлялось хорошо, то еще гораздо труднее достигнуть того, чтобы оно управлялось хорошо одним человеком, а каждый знает, что получается, когда король назначает заместителей.

Существенный и неизбежный недостаток, который при всех условиях ставит монархическое Правление ниже республиканского, состоит в том, что при втором из них голос народа почти всегда выдвигает на первые места только людей просвещенных и способных, которые занимают их с честью; тогда как те, кто достигает успеха в монархиях, это чаще всего мелкие смутьяны, ничтожные плуты, мелочные интриганы, чьи жалкие талантики позволяют им достичь при дворе высоких должностей, но лишь для того, чтобы, едва их достигнув, обнаружить перед народом полную свою неспособность. Народ гораздо реже ошибается в выборе такого рода, чем государь, и человек, истинно достойный, оказывается на посту министра при монархии почти столь же редко, как глупец на посту главы Правительства при республике. Поэтому, если, по некоей счастливой случайности, один из этих людей, рожденных, чтобы править, берется за кормило управления в монархии, которую уже почти привела на край пропасти кучка столь славных правителей, то всех поражает, как он мог найти выход из этого положения — и это составляет эпоху в жизни страны.

Чтобы монархическое Государство могло быть хорошо управляемо, была бы необходима соразмерность величины или протяженности его со способностями того, кто правит. Легче завоевывать, чем управлять. С помощью соответствующего рычага можно одним пальцем поколебать мир; но, чтобы поддерживать его, необходимы плечи Геркулеса. Если велико только Государство, то государь почти всегда слишком для него мал. Когда, напротив, случается, что Государство слишком мало для его главы, а это бывает очень редко, то оно все-таки плохо управляется, потому что глава, увлеченный обширностью своих замыслов, забывает об интересах подданных; и они оказываются не менее несчастными при правителе, злоупотребляющем избытком своих талантов, чем при правителе, ограниченном отсутствием у него таких. Было бы хорошо, если бы королевство могло, так сказать, расширяться или сокращаться при каждом царствовании сообразно со способностями государя; тогда как таланты какого-либо Сената представляют собой величину более постоянную, и при таком устройстве Государство может иметь неизменные границы, а управление при этом будет вестись несколько не хуже.

Самый ощутимый недостаток Правления одного человека — это отсутствие той непрерывной преемственности, которая при двух других формах Правления образует непрерываемую связь. Раз король умер, нужен другой, выборы создают опасные перерывы; они проходят бурно; и если только граждане не обладают бескорыстием, неподкупностью, почти невозможными при этой форме Правления, то возникают всяческие происки и подкупы. Трудно, чтобы тот, кому Государство продалось, не продал его в свою очередь и не возместил себе за счет слабых деньги, которые у него исторгли люди могущественные. Рано или поздно все становится продажным при подобном управлении, и то спокойствие, которым пользуются под властью королей, горше смуты междоусарствий.

Что предпринимали, дабы предотвратить эти бедствия? Делали корону наследственной в некоторых семьях и установили порядок наследования, предупреждающий всякие споры после смерти короля. Другими словами, заменив неудобства регентств неудобства выборов, предпочли кажущееся спокойствие мудрому управлению и предпочли пойти на риск получить в качестве правителей детей, чудовищ, слабоумных, лишь бы избежать споров о том, как лучше выбирать хороших королей. Не приняли во внимание, что, подвергая себя таким образом риску выбора, имеешь почти все шансы против себя. Весьма разумны были слова юного Дионисия, которому отец, упрекая его в каком-то позорном поступке, сказал: «Разве я тебе подавал когда-либо подобный пример?» «Ах! — отвечал сын. — Ваш отец не был королем».

Все способствует тому, чтобы лишить справедливости и разума человека, воспитываемого, дабы он повелевал другими. Много прилагается стараний, чтобы научить юных принцев тому, что называют искусством царствовать: не видно, однако, чтобы такое воспитание шло им на пользу. Было бы лучше начать с обучения их искусству повиноваться. Самые великие короли, те, которых прославила история, были воспитаны вовсе не для того, чтобы царствовать; это — наука, которую никак нельзя усвоить хуже, чем после слишком долгого обучения, и которую лучше усваивают повинувшаяся, чем повелевая. *Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio principe, aut volueris* \*.

Это отсутствие преемственности влечет за собою непостоянство в королевском Правлении. Приспосаблиясь то к одному, то к другому плану в зависимости от характера царствующего государя или людей, которые царствуют за него, такое Правительство не может иметь ни определенной цели, ни последовательного образа действий в течение долгого времени; изменчивость эта заставляет Государство все время колебаться между одним замыс-

---

\* «Ибо самое удобное и самое быстрое средство отличить добро от зла — это спросить тебя, чего бы ты хотел, а чего нет, если бы королем был не ты, а другой» (лат.). [Т а ц и т. История, кн. I, 16].

лом и другим, что не имеет места при других Правлениях, где государь всегда один и тот же. Поэтому ясно, что, если при дворе больше хитрости, то в Сенате больше мудрости, и что Республики идут к своим целям, руководясь более постоянными и последовательными планами; между тем, как каждый переворот в составе кабинета министров производит переворот в Государстве, поскольку правило, общее для всех министров и почти для всех королей, заключается в том, чтобы во всяком деле поступать прямо противоположно своему предшественнику.

В этом же отсутствии преемственности можно почерпнуть опровержение весьма обычного для монархических политиков ложного умозаключения, которое состоит не только в том, что Управление обществом сопоставляется с управлением домом, а государь — с отцом семейства (ошибка, уже опровергнутая), но и в щедром наделении этого магистрата всеми добродетелями, в которых он мог бы нуждаться, и в неизменном предположении, что государь есть то, что он должен собою представлять; вследствие этого предположения королевское Правление, конечно же, становится предпочтительнее всякого другого, потому что оно бесспорно самое сильное, и, чтобы быть также наилучшим, ему недостает лишь такой воли правительственного корпуса, которая более соответствовала бы общей воле.

Но если, по словам Платона, человек, которому самой природой предназначено быть королем, есть существо настолько редкостное, то сколько же раз природе и случаю удастся возложить на него корону? И если воспитание человека, которому предназначено быть королем, непременно его портит, то чего следует ожидать от поколений людей, возвращенных, чтобы царствовать? Следовательно, смешивать королевское Правление с Правлением доброго короля — это значит вводить самого себя в заблуждение. Дабы увидеть, что представляет это Правление само по себе, нужно рассмотреть, каково оно при государях недалеких или злых; ибо они либо такими взойдут на трон, либо же трон сделает их такими.

Эти трудности не ускользнули от внимания наших авторов, но они насколько этим не смутились. Спасение, говорят они, заключается в том, чтобы повиноваться безропотно<sup>121</sup>: Бог дает дурных королей во гневе, и их нужно терпеть как кару небесную. Рассуждение это весьма поучительно, что и говорить; но оно было бы, кажется, уместнее в слове с кафедры, нежели в книге о политике. Что сказать о таком враче, который обещает чудеса, а все его искусство в том, чтобы призывать больного к терпению? Хорошо известно, что нужно терпеть Правительство дурное, раз такова форма Правления; дело тогда заключалось бы в том, чтобы найти Правление хорошее.

## Глава VII

О ПРАВЛЕНИЯХ СМЕШАННЫХ <sup>122</sup>

Собственно говоря, отдельные виды Правления в чистом виде не существуют. Единоличному правителю нужны подчиненные ему магистраты; народное Правление должно иметь главу. Таким образом, при разделении исполнительной власти всегда существует постепенный переход от большего числа к меньшему с тою разницею, что большое число может зависеть от малого или — малое от большого.

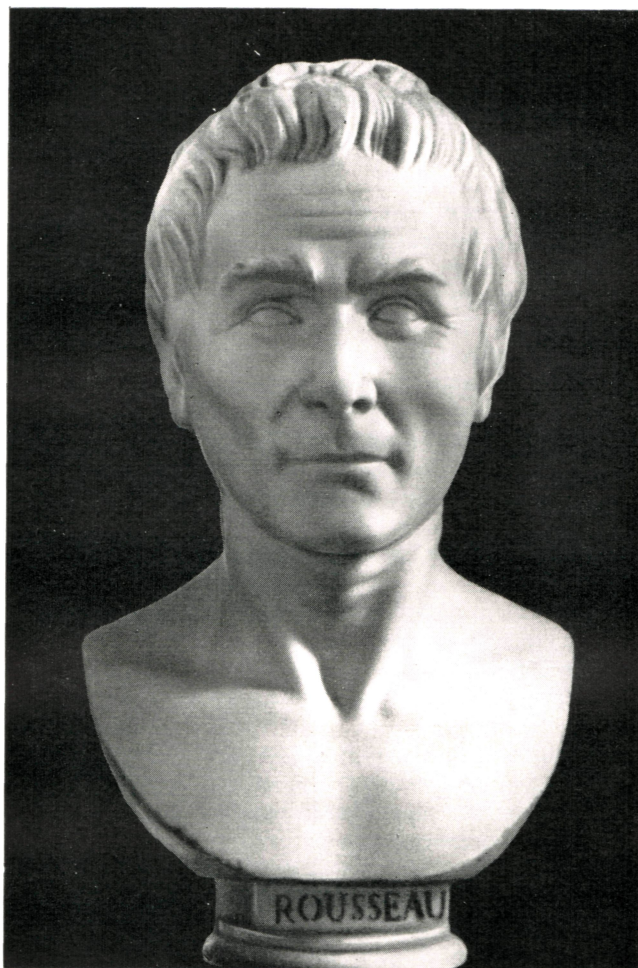
Иногда налицо разделение власти поровну; либо когда составные части находятся во взаимной зависимости, как это наблюдается в Правительстве Англии; или же когда власть каждой части независима, но неполна, как в Польше <sup>123</sup>. Эта последняя форма — дурна, потому, что в таком случае единства в Правлении нет и нет внутренней связи в Государстве.

Который из видов Правления лучше: чистый или смешанный? <sup>124</sup> Вопрос этот весьма занимает политиков; и на него нужно дать такой же ответ, какой я дал выше относительно всякой формы Правления.

Простое Правление — лучшее само по себе по одному тому, что оно простое. Но если исполнительная власть не зависит в достаточной мере от законодательной, т. е. когда существует больше отношений между государем и сувереном, чем между народом и государем, то такое отсутствие соразмерности необходимо исправить, разделяя Правительство. Ибо тогда власть всех его частей над подданными не уменьшается, а разделение делает их все вместе менее сильными по отношению к суверену.

Это же затруднение устраняют иногда при помощи посредствующих магистратов, которые, оставляя Правительство в целости, служат только для уравнивания обеих властей и для поддержания их взаимных прав. Но тогда Правление не будет смешанным, оно будет умеренным.

Подобными же путями можно устранить и противоположное затруднение и, если Правление чересчур слабо, учредить коллегии, чтобы его сосредоточить: это практикуется во всех демократиях. В первом случае Правление разделяют, чтобы его ослабить, а во втором — чтобы его усилить. Ибо максимум силы и слабости одинаково встречается при простых видах Правления, в то время как смешанные формы дают среднюю силу.



*ЖАН-ЖАК РУССО*

*Мраморный бюст. Неизвестный французский мастер XVIII в.  
Историко-краеведческий музей. Винница*

## Глава VIII

О ТОМ,  
ЧТО НЕ ВСЯКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ  
ПРИГОДНА ДЛЯ ВСЯКОЙ СТРАНЫ

Свобода — это не плод, созревающий под всеми небесами, поэтому она доступна и не всем народам. Чем больше обдумываешь этот принцип, установленный Монтескье, тем более убеждаешься в его истинности; чем больше его оспаривают, тем больше дают случаев подтвердить его с помощью новых доказательств.

При всех Правлениях в мире та собирательная личность, которую представляет собой общество, потребляет и ничего не производит. Откуда же она получает то, что потребляет? Из труда ее членов. Излишек у частных лиц и создает то, что необходимо для удовлетворения нужд всего общества. Отсюда следует, что общественное состояние может существовать лишь тогда, когда труд людей приносит больше, чем необходимо для удовлетворения нужд их.

Однако этот излишек не одинаков во всех странах мира. В одних он значителен, в других — невелик, в иных — равен нулю, в иных — отрицательная величина. Это отношение зависит от того, насколько благодатен климат, от способа обработки, которого требует земля, от природных особенностей ее произведений, от силы ее обитателей, от того, нужно ли им потреблять больше или меньше и от многих других подобных отношений, из которых оно складывается.

С другой стороны, все роды Правления неодинаковы по своей природе; среди них есть более или менее прожорливые, и основой различий служит тот принцип, что чем больше взимаемые в обществе обложения отдаляются от своего источника, тем более они обременительны. Не величиной обложения следует измерять это бремя, но тем путем, который должны совершить суммы, чтобы вернуться в те руки, из которых они вышли. Когда это обращение совершается быстро и оно хорошо налажено, не имеет значения, много ли или мало платят, народ всегда богат и финансы всегда в хорошем состоянии. Напротив, как бы мало народ ни давал, если это немногое ему не возвращается, он, непрерывно отдавая, вскоре оказывается истощенным; Государство никогда не бывает богато, а народ всегда нищ.

Отсюда следует, что чем больше увеличивается расстояние между народом и Правительством, тем более обременительным становится обложение. Так, при демократии народ облагается меньше всего; при аристократии он облагается уже больше; при монархии он несет наибольшие тяготы. Монархия, следовательно, пригодна только для богатых народов; аристократия —

для Государств средних как по богатству, так и по величине; демократия — для Государств малых и бедных <sup>125</sup>.

В самом деле, чем больше размышляешь, тем лучше видишь, что в этом особенно сказывается разница между свободными и монархическими Государствами. В первых — все служит для общей пользы; в других — силы общественные и частные взаимно противоположны, и одна из них растет только за счет ослабления другой. И, в конечном счете, деспотизм правит подданными не для того, чтобы сделать их счастливыми, но разоряет их, чтобы ими править.

Вот, следовательно, каковы в каждой стране, те естественные основания, по которым можно определить форму Правления, обуславливаемую особенностями климата, и даже сказать, какого рода жителей должна иметь такая страна.

Места неблагодарные и бесплодные, где урожай не стоит труда затраченного, чтобы его получить, должны оставаться невозделанными и пустынными или заселенными разве только дикарями. Там, где труд людей приносит только самое необходимое, могут обитать лишь варварские народы: никакой гражданский порядок не был бы там возможен. Места, где урожай, по сравнению с затраченным трудом, имеет средние размеры, подходят для свободных народов. Те места, где обильная и плодородная почва дает большие урожаи при небольшой затрате труда, требуют монархического управления, чтобы роскошь государя поглощала чрезмерные излишки у подданных; ибо лучше, чтобы этот излишек был поглощен Правительством, чем растрочен частными лицами. Есть исключения, я это знаю: но самые эти исключения подтверждают правило тем, что рано или поздно они вызывают перевороты, восстанавливающие естественный порядок вещей.

Будем всегда отличать общие законы от тех частных причин, которые могут только видоизменять их действие. Если бы даже весь Юг был занят Республиками, а весь Север — деспотическими Государствами, все же не будет менее справедливым то, что в силу особенностей климата деспотизм пригоден для жарких стран, варварство — для холодных, а наилучшее правление — для областей, занимающих место между теми и другими. Я понимаю также, что, принимая принцип, можно спорить о его приложениях: могут сказать, что есть холодные страны, весьма плодородные, и южные — весьма бесплодные. Но это — трудность лишь для тех, кто не рассматривает сего вопроса во всех отношениях. Необходимо, как я уже сказал, принимать в расчет соотношения труда, сил, потребления и так далее.

Предположим, что из двух равных участков земли один приносит пять, а другой — десять. Если жители первого потребляют четыре, а жители второго — девять, то излишек продукта в первом случае составит одну пятую, а во втором — одну десятую. Стало быть, поскольку отношение обоих этих излишков обратно отношению продуктов, то участок земли, производящий лишь пять, даст излишек вдвое больший, чем тот, что производит десять.

Но речь идет не о двойном количестве продукта; и я не думаю, что кто-либо решится вообще приравнять плодородие стран холодных к плодородию стран жарких. Тем не менее, допустим, что такое равенство существует; поставим, если угодно, на одну доску Англию и Сицилию, Польшу и Египет. Дальше к югу будут у нас Африка и Индия; дальше к северу не будет больше ничего. При таком равенстве в производительности, какое различие в обработке земли! В Сицилии нужно лишь поскрести землю; в Англии — сколько трудов нужно затратить на ее обработку! А там, где нужно больше рук, чтобы получить столько же продукта, излишек неизбежно должен быть меньше.

Учтите, кроме того, что одно и то же количество людей в жарких странах потребляет гораздо меньше. Климат там требует умеренности, чтобы люди чувствовали себя хорошо: европейцы, которые хотят там жить, как у себя дома, гибнут от дизентерии и несварения желудка. *Мы*, — говорит Шарден, — хищные звери, волки в сравнении с азиатами. Некоторые приписывают умеренность персов тому, что их страна менее возделана; я же, напротив, полагаю, что их страна потому-то и не столь изобилует припасами, что жителям нужно меньше. Если бы их умеренность, — продолжает он, — была результатом недостатка в продуктах питания в стране, то мало ели бы только бедные, тогда как это относится вообще ко всем; и в каждой провинции ели бы больше или меньше в зависимости от плодородия края, между тем как по всему царству можно наблюдать одинаковую умеренность. Они весьма довольны своим образом жизни; они говорят, что стоит лишь взглянуть на их цвет лица, чтобы понять, насколько их образ жизни лучше того, что ведут христиане. В самом деле, цвет лица у персов матовый; кожа у них красивая, тонкая и гладкая; тогда как у их подданных — армян, что живут по-европейски, — кожа грубая, нечистая, а тела их жирны и грузны <sup>126</sup>.

Чем ближе к экватору <sup>127</sup>, тем меньше надо людям для жизни. Они почти не едят мяса; рис, манс, кускус, сорго, хлеб из маниоковой муки <sup>128</sup> составляют их обычную пищу. В Индии есть миллионы людей, прокормление которых не стоит и су в день. Даже в Европе мы видим заметную разницу, что до аппетита, между народами Севера и народами Юга. Испанец проживет неделю обедом между. В странах, где люди более обжорливы, стремление к роскоши распространяется также на предметы питания. В Англии это проявляется за столом, ломящимся от мясных блюд; в Италии угощением служат сахар и цветы.

Роскошь в одежде представляет такие же различия. Там, где смены времен года быстры и резки, носят одежды лучшие и более простые; в странах, где одеваются лишь для украшения, в одеждах ищут больше блеска, чем пользы; сами одежды там — предмет роскоши. В Неаполе вы всегда увидите людей, прогуливающихся по Позилиппо <sup>129</sup> в расшитых золотом куртках, но без чулок. То же самое можно сказать о постройках, — когда не приходится



бояться суровости погоды, все внимание уделяется внешнему великолепию. В Париже и Лондоне желают жить в тепле и с удобствами; в Мадриде есть великолепные салоны, но совсем нет окон, которые закрывались бы, а люди спят в крысиных норах.

Пища значительно питательнее и сочнее в жарких странах; это третье отличие, которое не может не оказать влияния на второе. Почему в Италии едят столько овощей? Потому что они там хороши, питательны, отличны на вкус. Во Франции пищей овощам служат только вода, они совсем не питают и за столом им не придают никакой цены; между тем они занимают по меньшей мере, по меньшей мере, столько же труда для их выращивания. Опытю установлено, что хлеба берберийские, к тому же уступающие французским, дают гораздо больший выход муки, и что хлеба французские в свою очередь дают муки больше, чем на Севере. Из этого можно заключить, что подобный постепенный переход наблюдается вообще в этом же направлении от экватора к полюсу. А разве это не явный убыток — получать из равного количества продуктов меньше пищи?

Ко всем этим различным соображениям я могу прибавить еще одно, которое из них вытекает и их подкрепляет: жаркие страны менее нуждаются в обитателях, чем холодные, а прокормить их могут больше; это вызывает двойной излишек, опять-таки к выгоде деспотизма. Чем больше пространства занимает одно и то же число жителей, тем затруднительнее для них становятся восстания, потому что нельзя сговориться ни быстро, ни тайно, и потому что Правительству всегда легко открыть замыслы и прервать сообщения. Но чем более скучивается многочисленный народ, тем менее может Правительство узурпировать права суверена: вождам совещаться у себя дома столь же безопасно, как государю в его Совете, и толпа столь же быстро собирается на площадях, как войско в местах своего расположения. Преимущество, следовательно, на стороне, тиранического Правительства тогда, когда оно может действовать на больших расстояниях. С помощью опорных точек, которые оно себе создает, сила такого Правительства увеличивается на расстоянии подобно силе рычагов<sup>1</sup>. Сила же народа, напротив, действует лишь тогда, когда она сконцентрирована; она выдыхается и исчезает, распространяясь по поверхности, подобно действию рассыпанного по земле пороха, который загорается лишь крупица от крупицы. Таким образом, страны, наименее населенные, наиболее подвержены тирании: хищные звери царят лишь в пустынях.

<sup>1</sup> Это не противоречит тому, что я говорил выше (кн. II, гл. IX) о неудобствах больших Государств, ибо там речь шла о власти Правительства над его членами, а здесь речь идет о его силе по отношению к подданным. Расселенные повсюду члены Правительства служат ему точками опоры, чтобы воздействовать на народ издалека, но у него нет никакой точки опоры, чтобы воздействовать непосредственно на самих этих членов. Таким образом, в одном случае длина рычага составляет его слабость, а в другом — силу.

## Глава IX

## О ПРИЗНАКАХ ХОРОШЕГО ПРАВЛЕНИЯ

Когда, стало быть, спрашивают в общей форме, которое из Правлений наилучшее, то задают вопрос неразрешимый, ибо сие есть вопрос неопределенный, или, если угодно, он имеет столько же верных решений, сколько есть возможных комбинаций в абсолютных и относительных положениях народов.

Но если бы спросили, по какому признаку можно узнать, хорошо или дурно управляется данный народ, то это было бы другое дело, и такой вопрос действительно может быть разрешен.

Однако его вовсе не разрешают, потому что каждый хочет сделать это на свой лад. Подданные превозносят покой в обществе, граждане — свободу частных лиц; один предпочитает безопасность владений, а другой — безопасность личности; один считает, что наилучшее Правление должно быть самым суровым, другой утверждает, что таким может быть только самое мягкое; этот хочет, чтобы преступления карались, а тот — чтобы они предупреждались; один считает, что хорошо держать соседей в страхе, другой предпочитает оставаться им неизвестным; один доволен, когда деньги обращаются, другой требует чтобы народ имел хлеб. Даже если бы мы и пришли к соглашению в этих и в других подобных пунктах, то разве подвинулись бы далеко? Раз нет точной меры для духовных свойств, то даже и придя к соглашению относительно признаков — как этого достичь в оценке?

Что до меня, то я всегда удивляюсь тому, что не обращают внимания на следующий столь простой признак Или по недобросовестности не хотят его признавать. Какова цель политической ассоциации? Бережение и благоденствие ее членов. А каков наиболее верный признак, что они убережены и благоденствуют? Это их численность и ее рост. Не ищите же окрест сей признак — предмет столь многих споров. При прочих равных условиях такое Правление, когда без сторонних средств, без предоставления права гражданства, без колоний граждане плодятся и множатся, есть, несомненно, лучшее. Правление, при котором народ уменьшается в числе и оскудевает, есть худшее. Счетчики, теперь дело за вами: считайте, измеряйте, сравнивайте <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> На основании того же принципа должно судить о веках, заслуживающих предпочтения с точки зрения благоденствия человеческого рода. Слишком много восхищались теми веками, когда наблюдался расцвет литературы и искусства, не проникая в сокрытые цели культуры этих веков, не принимая в соображение ее пагубные ре-

## Глава X

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ВЛАСТЬЮ  
И О ЕЕ СКЛОННОСТИ К ВЫРОЖДЕНИЮ

Как частная воля непрестанно действует против общей, так и Правительство постоянно направляет свои усилия против суверенитета. Чем больше эти усилия, тем больше портится государственное устройство; а так как здесь нет другой воли правительственного корпуса, которая, противостоя воле государя, уравновешивала бы ее, то рано или поздно должно случиться, что государь подавляет в конце концов суверен и разрывает общественный договор. В этом и заключается исконный и непременный порок, который с самого рождения Политического организма беспрестанно стремится его разрушить, подобно тому как старость и смерть разрушают в конце концов тело человека.

Есть два общих пути, по которым всякое Правительство может переродиться, именно: когда оно сосредоточивается или когда Государство распадается.

Правительство сосредоточивается, когда число его членов уменьшается, т. е. когда оно превращается из демократии в аристократию и из аристокра-

зультаты: *Idque apud imperitos humanitas vocabatur, quum pars servitutis esset* \*. Неужели мы никогда не научимся видеть в принципах, которые находим мы в книгах, грубую корысть, говорящую устами их авторов. Нет, что бы о том они ни говорили, если, несмотря на внешний блеск, страна теряет население, неправда, что все идет в ней хорошо, и еще недостаточно, если у одного поэта<sup>130</sup> сто тысяч ливров ренты, чтобы считать его век лучшим из всех. Нужно меньше обращать внимания на кажущееся спокойствие и на успокоенность правителей, чем на благосостояние подданных и в особенности наиболее многочисленных сословий. Град разоряет несколько каптонов, но он редко приводит к голоду. Мятежи, гражданские войны весьма тревожат правителей, но они не составляют настоящих бедствий для подданных, которые могут даже получить передышку, пока идет спор о том, кому их тиранить. В действительности процветание или бедствия порождаются постоянным их состоянием, в котором обычно они находятся; когда все подавлено под игом — вот тогда все приходит в упадок, вот тогда правители, безвозбранно разоряя подданных, *ubi solitudinem faciunt, pacem appellant* \*\*. Когда распри вельмож волновали французское королевство и когда парижский коадьютор<sup>131</sup> ходил в Парламент с кинжалом в кармане, это не мешало тому, чтобы французский народ жил, счастливый и многочисленный, в изрядном и свободном довольстве. Некогда Греция процветала в разгар самых жестоких войн: кровь лилась там потоками, а вся страна была заселена людьми. Казалось, говорит Макиавелли<sup>132</sup>, что среди убийств, изгнаний, гражданских войн, наша Республика стала в результате еще более могущественной; доблесть ее граждан, их нравы, их независимость более способствовали ее укреплению, чем все раздоры — ее ослабление. Небольшое волнение возбуждает души, и процветание роду человеческому приносит не столько мир, сколько свобода.

\* «Глупцы именуют образованностью то, что уже было началом порабощения» (лат.) — Тацит и т. Агрикола<sup>133</sup>, XXI.

\*\* «Они превращают все в пустыню и называют это миром» (лат.) — Тацит и т. Агрикола, XXX.

тии в монархию. Такая склонность заложена в нем от природы<sup>1</sup>. Если бы оно обращалось вспять, т. е. шло от меньшего числа членов к большему, то можно было бы сказать, что оно ослабляется, но такое обратное движение невозможно.

В самом деле, Правление изменяет форму только тогда, когда износившиеся пружины делают его столь слабым, что оно не может сохранить свою прежнюю. Так что, если бы оно продолжало еще ослабляться, расширяясь, то его сила стала бы совершенно ничтожной, и оно просуществовало бы еще меньший срок. Следовательно, необходимо возвращаться назад и заводить пружины по мере того, как они ослабевают; иначе поддерживаемое ими Государство разрушится.

<sup>1</sup> Медленное образование и развитие Венецианской Республики на ее лагунах являются примечательный пример такой последовательности; и весьма удивительно, что по прошествии двенадцати веков венецианцы, по-видимому, находятся только на второй ступени, которая началась при *Serrar di Consiglio* \* в 1198 г. Что до герцогов, которые у них некогда были и которыми их попрекают, то, что бы ни гласило *Squittinio della libert  veneta* \*\*, доказано, что они вовсе не были их государями.

Мне не преминут привести в качестве возражения Римскую Республику, которая, скажут, развивалась совершенно противоположным путем, переходя от монархии к аристократии и от аристократии к демократии. Я весьма далек от того, чтобы об этом думать таким образом.

Первые установления Ромула<sup>134</sup> были смешанным Правлением, которое быстро выродилось в деспотизм. В силу особых причин Государство погибло преждевременно, как умирает младенец до того, как достигнет зрелого возраста. Изгнание Тарквиниев явилось подлинной эпохой рождения Республики. Но она не приняла вначале постоянной формы, потому что была сделана лишь половина дела, так как не был уничтожен патрициат. Ибо поскольку при этом наследственная аристократия, которая является наихудшим из видов управлений, основанных на законе, продолжая сталкиваться с демократией, этой формой Правления, неустойчивой и колеблющейся, не была упрочена, как это доказывал Макиавелли<sup>135</sup> с появлением Трибуната: только тогда появились настоящее Правительство и подлинная демократия. В самом деле, тогда народ не был только сувереном, но также магистратом и судьей. Сенат был лишь подчиненною палатою, предназначенной ограничивать и концентрировать Власть: а сами Консулы, хотя и патриции, хотя и первые магистраты, хотя и военачальники с неограниченною властью на войне, были в Риме лишь выборными главами народа.

С тех пор Правление следует своей естественной склонности и явно тяготеет к аристократии. Поскольку патрициат уничтожался как бы сам собою, аристократия находилась уже не в корпорации патрициев, как это имеет место в Венеции и Генуе, а среди членов Сената, состоящего из патрициев и плебеев, и даже в корпорации Трибунов, когда они начали присваивать себе действительную власть. Ибо названия не изменяют сути вещей и если у народа появляются начальники, которые правят за него, то, как бы они не именовались, это всегда аристократия.

Злоупотребление властью при аристократическом правлении породило гражданские войны и триумвират. Сулла, Юлий Цезарь, Август<sup>136</sup> в действительности стали монархами, и, наконец, при деспотизме Тиберия<sup>137</sup>, Государство распалось. Следовательно, история Рима отнюдь не опровергает выдвинутое мною положение — она его подтверждает.

\* «Закрытие Совета» (итал.)<sup>138</sup>.

\*\* «Голос о свободе Венеции» (итал.)<sup>139</sup>.

. Распад Государства может произойти двумя путями.

Во-первых, когда государь больше не управляет Государством сообразно с законами и когда он узурпирует верховную власть. Тогда происходят remarkable изменения: не Правительство, а Государство сжимается; я хочу сказать, что большое Государство распадается и в нем образуется другое Государство, состоящее только из членов Правительства и являющееся по отношению к остальному народу лишь его господином и тираном. Так что в ту минуту, когда Правительство узурпирует суверенитет, общественное соглашение разорвано, и все простые граждане, по праву возвращаясь к своей естественной свободе, принуждены, а не обязаны повиноваться.

То же происходит и тогда, когда члены Правительства в отдельности присваивают себе власть, которую они должны осуществлять лишь сообща: это не меньшее нарушение законов и порождает еще большую смуту в Государстве: тогда получается, так сказать, столько же государей, сколько магистратов; и Государство, не менее разделенное, чем Правление, погибает или изменяет свою форму.

Когда Государство распадается, то злоупотребление Властью, какова бы она ни была, получает общее название *анархии*. В частности, демократия вырождается в *охлакратию*<sup>140</sup>, аристократия — в *олигархию*<sup>141</sup>. Я бы добавил, что монархия вырождается в *тиранию*, но это последнее слово имеет два смысла и требует пояснения.

В обычном смысле слова, тиран — это король, который правит с помощью насилия, не считаясь со справедливостью и законами. В точном смысле слова тиран — это частное лицо, которое присваивает себе королевскую власть, не имея на то права. Именно так понимали слово *тиран* греки; они так называли и хороших и дурных государей, если их власть не имела законного основания<sup>1</sup>. Таким образом, *тиран* и *узурпатор* суть два слова совершенно синонимичные.

Чтобы дать различные наименования различным вещам, я именую *тираном* узурпатора королевской власти, а *деспотом* — узурпатора власти верховной. Тиран — это тот, кто противу законов провозглашает себя правителем, действующим согласно законам; деспот — тот, кто ставит себя выше самих законов. Таким образом, тиран может не быть деспотом, но деспот — всегда тиран.

<sup>1</sup> «*Omnes enim et habentur et dicuntur tyranni, qui potestate utuntur perpetua in ea civitate quae libertate usa est*». Corn. Nep. in *Miltiad* \*. Правда, Аристотель (Eth. Nicom. lib. VIII, с. X) \*\* видит отличие тирана от короля в том, что первый правит для своей личной пользы, а второй лишь для пользы своих подданных. но обычно все греческие авторы употребляли слово *тиран* в ином смысле. как это видно. в особенности, из Ксенофонтова *Гиерона*<sup>142</sup>, кроме того, если следовать за Аристотелем, оказалось бы, что никогда еще с сотворения мира не существовало ни одного короля.

\* «Все те считались и назывались тиранами, кто пользовался постоянной властью в государстве, наслаждавшемся свободой». — Корнелий Непот. Мильтиад (*лат.*)<sup>143</sup>.

Ником[ахова] эт[ика], кн. VIII. гл. X.

## Глава XI

## О СМЕРТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

Так, естественно и неизбежно склоняются к упадку наилучшим образом устроенные Правления. Если Спарта и Рим погибли, то какое Государство может надеяться существовать вечно? <sup>144</sup> Если мы хотим создать прочные установления, то не будем помышлять сделать их вечными. Чтобы достичь успеха, не следует ни пытаться свершить невозможное, ни льстить себя надеждою придать созданию людей прочность, на которую создания рук человеческих не позволяют рассчитывать.

Политический организм так же, как и организм человека, начинает умирать с самого своего рождения и несет в себе самом причины своего разрушения. Но и тот и другой могут иметь сложение более или менее крепкое и способное сохранить этот организм на более или менее длительный срок. Организм человека — это произведение природы; устройство Государства — это произведение искусства <sup>145</sup>. От людей не зависит продление срока их жизни; от них зависит продлить жизнь Государства настолько, сколь сие возможно, дав ему наилучшее устройство, какое только оно может иметь. И самым лучшим образом устроенное Государство когда-нибудь перестанет существовать; но позже, чем другое, если никакой непредвиденный случай не приведет его к преждевременной гибели.

Первооснова политической жизни заключается в верховной власти суверена. Законодательная власть — это сердце Государства, исполнительная власть — его мозг, сообщающий движение всем частям. Мозг может быть парализован, а индивидуум будет еще жить. Человек остается идиотом — и живет, но как только сердце перестает сокращаться, животное умирает.

Не законами живо Государство, а законодательной властью. Закон, принятый вчера, не имеет обязательной силы сегодня; но молчание подразумевает согласие, и считается, что суверен непременно подтверждает законы, если он их не отменяет, имея возможность это сделать. То, что суверен единожды провозгласил как свое желание, остается его желанием, если только он сам от него не отказывается.

Почему же столь почитают древние законы? Именно поэтому. Надо полагать, что лишь превосходство волеизъявлений древних могло сохранить их в силе столь долго; если бы суверен не признавал их неизменно благодетельными, он бы их тысячу раз отменил. Вот почему законы не только не теряют силу, но беспрестанно приобретают новую силу во всяком хорошо устроенном Государстве; уже одно то, что они древние, делает их с каждым днем все более почитаемыми; тогда как повсюду, где законы, старея, теряют силу, это доказывает, что нет там больше власти законодательной и что Государство перестает жить.

## Глава XII

КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ  
ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ СУВЕРЕНА

Суверен, не имея другой силы, кроме власти законодательной, действует только посредством законов; а так как законы суть лишь подлинные акты общей воли, то суверен может действовать лишь тогда, когда народ в собрании. Народ в собрании, скажут мне, — какая химера! Это химера сегодня, но не так было две тысячи лет тому назад. Изменилась ли природа людей?

Границы возможного в мире духовном менее узки, чем мы полагаем; их сужают наши слабости, наши пороки, наши предрассудки. Низкие души не верят в существование великих людей; подлые рабы с насмешливым видом улыбаются при слове *свобода*.

Основываясь на том, что совершилось, рассмотрим то, что может совершиться. Я не стану говорить о Республиках древней Греции; но Римская Республика была, как будто, большим Государством, а город Рим — большим городом. По данным последнего ценза<sup>146</sup>, в Риме оказалось четыреста тысяч граждан, способных носить оружие, а по последней переписи в империи было около четырех миллионов граждан, не считая подданных, иностранцев, женщин, детей, рабов.

Каких только затруднений не воображают себе, что связаны с необходимостью часто собирать огромное население этой столицы и ее окрестностей. А между тем немного недель проходило без того, чтобы римский народ не собирался и даже по нескольку раз. Он не только осуществлял права суверенитета, но даже часть прав по Управлению. Он решал некоторые дела, разбирал некоторые тяжбы, и весь этот народ столь же часто бывал на форуме магистратом, как и гражданином.

Восходя к начальным временам в истории народов, мы найдем, что большинство древних Правлений, даже монархических, таких как Правления македонян и франков, имели сходные Советы. Как бы там ни было, а уже один этот неоспоримый факт разрешает все трудности: заключать по существу о возможном — это значит, мне кажется, делать верный вывод.

Глава XIII<sup>147</sup>

## ПРОДОЛЖЕНИЕ

Недостаточно, чтобы народ в собрании единожды утвердил устройство Государства, одоблив свод законов; недостаточно, чтобы он установил постоянный образ Правления или преуказал раз навсегда порядок избрания ма-

гистратов. Кроме чрезвычайных собраний, созыва которых могут потребовать непредвиденные случаи, надо, чтобы были собрания регулярные, периодические, созыв которых ничто не могло бы ни отменить, ни отсрочить, так, чтобы в назначенный день народ на законном основании созывался в силу Закона, без того, чтобы для этого необходима была еще какая-нибудь процедура созыва.

Но, за исключением этих собраний, правомерных уже по одному тому, что они созываются в установленный Законом срок, всякое собрание народа, которое не будет создано магистратами, для того поставленными, и соответственно с предписанными формами, должно считаться незаконным и все там содеянное не имеющим силы, потому что даже само приказание собираться должно исходить от Закона.

Что до более или менее частой повторяемости законных собраний, то сие зависит от стольких различных соображений, что здесь невозможно преподать точные правила. Можно, в общем, сказать только одно, что чем больше силы у Правительства, тем чаще должен являть себя суверен.

Это, скажут мне, может быть хорошо для одного города; но что делать, когда их в Государстве несколько? Разделить ли верховную власть? или же должно сконцентрировать ее в одном только городе, а все остальные подчинить ему?

Я отвечу, что не следует делать ни того, ни другого. Во-первых, верховная власть неделима и едина, и ее нельзя разделить, не уничтожив. Во-вторых, никакой город, так же как и никакой народ, не может быть на законном основании подчинен другому, потому что сущность Политического организма состоит в согласовании повиновения и свободы и потому, что слова эти — *подданный* и *суверен* указывают на такие же взаимоотношения, смысл которых соединяется в одном слове — *гражданин*.

Я отвечу еще, что это всегда зло — объединять несколько городов в одну Общину гражданскую — и что, желая совершить такое объединение, не должно льстить себя надеждою, что удастся избежать естественно связанных с этим затруднений. Вовсе не следует ссылаться на злоупотребления в больших Государствах тому, кто считает, что Государства должны обладать малыми размерами. Но как наделить малые Государства силой достаточной, чтобы противостоять большим? как некогда древнегреческие города противостояли великому царю<sup>148</sup>, и как в более близкое к нам время Голландия и Швейцария противостояли австрийскому дому<sup>149</sup>.

Все же, если невозможно свести размеры Государства до наилучшей для него величины, то остается еще одно средство: не допускать, чтобы оно имело столицу; сделать так, чтобы Правительство имело местопребывание попеременно в каждом городе и собирать там поочередно Штаты страны.

Заселите равномерно территорию, распространите на нее всю одну и те же права, создайте в ней повсюду изобилие и оживление, — именно таким



образом Государство делается сразу и наиболее сильным и лучше всего управляемым. Помните, что стены городов возводятся из обломков домов деревень. При виде каждого дворца, возводимого в столице, я словно вижу, как разоряют целый край.

#### Глава XIV ПРОДОЛЖЕНИЕ

Как только весь народ на законном основании собрался в качестве суверена, всякая юрисдикция Правительства прерывается, исполнительная власть временно отрешается, и личность последнего гражданина становится столь же священной и неприкосновенной, как личность первого магистрата, ибо там, где находится представляемый, нет более представителей. Большая часть волнений, поднимавшихся в Риме в Комициях<sup>150</sup>, происходила от незнания этого правила или от пренебрежения им. Консулы были тогда лишь первоприсутствующими народа, Трибуны — простыми ораторами<sup>1</sup>, Сенат — вообще ничем.

Эти промежутки времени, когда исполнительная власть временно отрешена и государь признает или должен признать того, кто в действительности его выше, всегда были для него опасны; и эти собрания народа — защита Политического организма и узда для Правительства во все времена вселяли ужас в сердца правителей; поэтому они, чтобы отвратить граждан от таких собраний, никогда не жалеют стараний, чинят препятствия и затруднения, раздают посулы. Если же граждане скупы, трусливы, малодушны, больше привязаны к покою, чем к свободе, то они недолго могут устоять против все возрастающих усилий Правительства. Вот каким образом, когда противодействующая сила беспрестанно возрастает, власть суверена в конце концов исчезает и большинство Общин слабеют и преждевременно гибнут.

Но между властью суверена и самовластным Правительством иногда встает посредствующая власть, о которой надо сказать отдельно.

---

<sup>1</sup> Приблизительно в том смысле, какой придают этому слову в английском Парламенте. Сходство этих должностей привело бы к столкновению Консулов и Трибунов, хотя бы и была приостановлена всякая юрисдикция.

## Глава XV

## О ДЕПУТАТАХ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

Как только служение обществу перестает быть главным делом граждан и они предпочитают служить ему своими кошельками, а не самолично, — Государство уже близко к разрушению. Нужно идти в бой? — они нанимают войска, а сами остаются дома. Нужно идти в Совет? — они избирают Депутатов и остаются дома. Наконец, так как граждан одолевает лень и у них в избытке деньги, то у них, в конце концов, появляются солдаты, чтобы служить отечеству, и представители, чтобы его продавать.

Хлопоты, связанные с торговлей и ремеслами, алчность в погоне за живою, изнеженность и любовь к удобствам — вот что приводит к замене личного служения денежными взносами. Уступают часть своей прибыли, чтобы легче было ее потом увеличивать. Давайте деньги — и скоро на вас будут цены. Слово *финансы* — это слово рабов, оно неизвестно в гражданской общине. В стране, действительно свободной, граждане все делают своими руками — и ничего — при помощи денег; они не только не платят, чтобы освободиться от своих обязанностей, но они платили бы за то, чтобы исполнять их самим. Я весьма далек от общепринятых представлений; я полагаю, что натуральные повинности менее противны свободе, чем денежные подати.

Чем лучше устроено Государство, тем больше в умах граждан заботы общественные дают ему перевес над заботами личными. Там даже гораздо меньше личных забот, ибо, поскольку сумма общего блага составляет более значительную часть блага каждого индивидуума, то последнему приходится меньше добиваться его путем собственных усилий. В хорошо управляемой Гражданской общине каждый летит на собрания; при дурном Правлении никому не хочется и шагу сделать, чтобы туда отправиться, так как никому не интересуют то, что там делается, ибо заранее известно, что общая воля в них не возобладает, и еще потому, наконец, что домашние заботы поглощают все. Хорошие законы побуждают создавать еще лучшие, дурные — влекут за собою еще худшие. Как только кто-либо говорит о делах Государства: *что мне до этого?* следует считать, что Государство погибло.

Охлаждение любви к отечеству, непрерывное действие частных интересов, огромность Государств, завоевания, злоупотребление Властью натолкнули на мысль о Депутатах или Представителях народа в собраниях нации. Это то, что в некоторых странах смеют называть Третьим сословием. Таким образом, частные интересы двух сословий поставлены на первое и второе места; интересы всего общества — лишь на третьем.

Суверенитет не может быть представляем по той же причине, по которой он не может быть отчуждаем. Он заключается, в сущности, в общей воле,

а воля никак не может быть представляема; или это она, или это другая воля, среднего не бывает. Депутаты народа, следовательно, не являются и не могут являться его представителями; они лишь его уполномоченные; они ничего не могут постановлять окончательно. Всякий закон, если народ не утвердил его непосредственно сам, недействителен; это вообще не закон. Английский народ считает себя свободным: он жестоко ошибается. Он свободен только во время выборов членов Парламента: как только они избраны — он раб, он ничто. Судя по тому применению, которое он дает своей свободе в краткие мгновенья обладания ею, он вполне заслуживает того, чтобы он ее лишился.

Понятие о Представителях принадлежит новым временам; оно досталось нам от феодального Правления, от этого вида Правления несправедливого и нелепого, при котором род человеческий пришел в упадок, а звание человека было опозорено. В древних Республиках и даже в монархиях народ никогда не имел Представителей; само это слово было неизвестно. Весьма странно, что в Риме, где Трибуны были столь свято чтимы, никто даже не представлял себе, что они могли бы присвоить себе права народа, и что при столь огромной численности населения они никогда не пытались провести собственной властью хотя бы один плебисцит. Пусть судят, однако, о затруднениях, которые иногда вызывает наличие такой массы народа, по тому, что случилось во времена Гракхов<sup>151</sup>, когда часть граждан подавала голоса с крыш.

Там, где право и свобода — всё, затруднения ничего не значат. У этого мудрого народа все было поставлено на соответствующее место; он предоставил своим ликторам<sup>152</sup> делать то, что не осмелились бы сделать Трибуны; он не опасался, что ликторы могут захотеть его представлять.

Чтобы все же объяснить, каким образом Трибуны иногда представляли народ, достаточно постигнуть, как Правительство представляет суверен. Поскольку Закон — это провозглашение общей воли, то ясно, что в том, что относится до власти законодательной, народ не может быть представляем; но он может и должен быть представляем в том, что относится к власти исполнительной, которая есть сила, приложенная к Закону. Отсюда видно, что если рассматривать вещь как следует, мы обнаружим, что законы существуют лишь у очень немногих народов. Как бы то ни было, несомненно, что Трибуны, не обладая никакою частью исполнительной власти, никогда не могли представлять римский народ по праву своей должности, но лишь узурпируя права Сената.

У греков все, что народу надлежало делать, он делал сам; непрерывно происходили его собрания на площади. Он жил в мягком климате; он вовсе не был алчен: рабы выполняли его работу<sup>153</sup>; главной заботой его была собственная свобода. Не имея более тех же преимуществ, как сохранить те же

права? Ваш более суровый климат порождает у вас больше потребностей<sup>I</sup>: шесть месяцев в году общественной площадью нельзя пользоваться; вашу глухую речь не слышать на открытом воздухе; вы больше делаете для вашего барыша, нежели для свободы вашей, и гораздо меньше страшитесь рабства, нежели нищеты.

Как! Свобода держится лишь с помощью рабства? Возможно. Эти две крайности соприкасаются. Все, чего нет в природе, связано с затруднениями, а гражданское общество более, чем все остальное. Бывают такие бедственные положения, когда можно сохранить свою свободу только за счет свободы другого человека и когда гражданин может быть совершенно свободен лишь тогда, когда раб будет до последней степени рабом. Таково было положение Спарты. Вы же, народы новых времен, у вас вообще нет рабов, но вы — рабы сами; вы платите за их свободу своею. Напрасно вы похваляетесь этим преимуществом, я вижу здесь больше трусости, чем человечности.

Всем этим я вовсе не хочу сказать, что следует иметь рабов и что право рабовладения законно, поскольку я уже доказал противное. Я только указываю причины того, почему народы новых времен, мнящие себя свободными, имеют Представителей и почему древние народы их не имели. Что бы там ни было, но как только народ дает себе Представителей, он более не свободен; его более нет<sup>154</sup>.

Рассмотрев все основательно, я считаю, что суверен отныне может осуществлять среди нас свои права лишь в том случае, если Гражданская община очень мала. Но если она очень мала, то она будет покорена? Нет. Я покажу ниже<sup>II</sup>, как можно соединить внешнее могущество многочисленного народа с легко осуществляемым управлением и добрым порядком малого Государства.

---

<sup>I</sup> Допустить в холодных странах роскошь и изнеженность жителей Востока значит пожелать наложить на себя их цепи; значит подвергнуться этому с еще большей неизбежностью, чем они.

<sup>II</sup> Именно это я и намеревался сделать на протяжении этого произведения, когда, рассматривая внешние сношения, я добрался бы до конфедераций. Предмет этот совершенно нов, здесь должны быть еще установлены первоначальные принципы.

## Глава XVI

О ТОМ,  
ЧТО УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ОТНЮДЬ НЕ ЕСТЬ ДОГОВОР

Когда установлена как следует законодательная власть, требуется установить таким же образом власть исполнительную, ибо эта последняя, действующая лишь посредством актов частного характера, по самой своей сущности отличаясь от первой, естественно от нее отделена. Если бы возможно было, чтобы суверен, рассматриваемый как таковой, обладал исполнительной властью, то право и действия так смешались бы, что уже неизвестно было бы, что Закон, а что — не он, и Политический организм, так извращенный, стал бы вскоре добычею того насилия, противостоять которому он был создан.

Поскольку по Общественному договору все граждане равны, то все могут предписывать то, что все должны делать, но никто не имеет права требовать, чтобы другой сделал то, чего он не делает сам. Именно это право, необходимое, чтобы сообщить жизнь и движение Политическому организму, и дает суверен государю, учреждая Правительство.

Многие утверждали <sup>155</sup>, что этот акт является договором между народом и теми правителями, которых он себе находит: договором, в котором оговариваются условия, на которых одна из сторон обязуется повелевать, а другая — повиноваться. Со мной согласятся, я надеюсь, что это странный способ заключать договоры. Но посмотрим, можно ли защищать такое мнение.

Во-первых, верховная власть не может видоизменяться, как не может и отчуждаться; ограничивать ее — значит ее уничтожить. Нелепо и противоречиво, чтобы суверен ставил над собою старшего; обязываться подчиняться господину значило бы вернуться к состоянию полной свободы.

Кроме того, очевидно, что такой договор народа с теми или иными лицами являлся бы актом частного характера, откуда следует, что этот акт не мог бы являть собою ни закон, ни акт суверенитета, и что, следовательно, он был бы незаконен.

Понятно также, что договаривающиеся стороны подчинялись бы в своих взаимоотношениях единственно естественному закону, без какого бы то ни было поручителя в их взаимных обязательствах, что во всех отношениях противоречит гражданскому состоянию. Тот, у кого в руках сила, всегда управляет и исполнением; стало быть, с равным успехом можно было бы дать имя договора такому действию одного человека, который сказал бы другому: «Я отдаю вам все мое достояние при условии, что вы вернете мне из него то, что вам будет угодно».

Существует только один договор в Государстве,— это — договор ассоциации, и он один исключает здесь любой другой<sup>156</sup>. Нельзя представить себе никакого публичного договора, который не был бы нарушением первого.

## Глава XVII

### ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В каком же смысле нужно понимать акт, которым учреждается Правительство? Я замечу прежде всего, что — это акт сложный, или состоящий из двух других актов, именно: установления закона и исполнения закона<sup>157</sup>.

Первым из них суверен постановляет, что будет существовать Правительственный корпус, установленный в той или иной форме,— и ясно, что этот акт есть закон.

Вторым — народ нарицает начальников, на коих будет возложено учреждаемое Управление. Но, нарицая их, он творит акт частного характера, не другой закон, но лишь продолжение первого и Действие правительственное.

Трудность состоит в том, чтобы понять, как возможно Действие правительственное, когда нет еще Правительства; и каким образом народ, являющийся лишь сувереном или подданным, может при определенных обстоятельствах стать государем или магистратом.

И в этом раскрывается еще одно из удивительных свойств Политического организма из тех свойств, посредством которых он примиряет действия, по видимости противоречивые. Это свойство проявляется во внезапном превращении верховной власти в демократию, таким образом, что безо всякой заметной перемены и только в силу нового отношения всех ко всем, граждане, став магистратами, переходят от общих актов к актам частного характера и от Закона к его исполнению.

Это изменение отношений вовсе не какая-нибудь чисто умозрительная тонкость, не имеющая примера в практике: оно имеет место в английском Парламенте тогда, когда Нижняя палата в определенных случаях превращается в большой комитет, чтобы лучше обсуждать дела, и следовательно из Верховного собрания, каким она была в предыдущий момент, становится обыкновенной комиссией; таким образом, она затем уже делает доклад самой себе как Палате Общин о том, что она только что определила в качестве большого комитета, и снова обсуждает в одном качестве то, что она уже решила в другом.

Таково преимущество, свойственное Правительству при демократии: оно может быть установлено посредством простого акта общей воли. После чего это временное Правительство остается у власти, если такова принятая форма, или устанавливает именем суверена образ Правления, предписываемый Законом; и все, таким образом, совершается по правилу. Невозможно учредить Правительство каким-либо иным законным способом, и не отказываясь от установленных выше принципов.

### Глава XVIII

#### СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАХВАТ ВЛАСТИ

Из этих разъяснений следует, в подтверждение главы XVI, что акт, учреждающий Правительство, — это отнюдь не договор, а закон; что блюстители исполнительной власти отнюдь не господа народа, а его чиновники; что он может их назначать и смещать, когда это ему угодно, что для них речь идет вовсе не о том, чтобы заключить договор, а о том, чтобы повиноваться; и что, беря на себя должностные обязанности, которые Государство возлагает на них, они лишь исполняют свой долг граждан, не имея никоим образом права обсуждать условия.

Когда же случается, что народ учреждает Правительство наследственное, то ли монархическое — в одной семье, то ли аристократическое — в одном сословии граждан, это вовсе не означает, что он берет на себя обязательство: это — временная форма<sup>158</sup>, которую он дает управлению до тех пор, пока ему не будет угодно распорядиться по этому поводу иначе.

Правда, эти изменения всегда опасны, и не следует касаться уже установленного Правительства, за исключением того случая, когда оно становится несовместимым с общим благом. Но эта осмотрительность — правило политики, а не принцип права, и Государство не в большей мере обязано предоставлять гражданскую власть своим высшим должностным лицам, чем власть военную своим генералам.

Правда также, что в подобном случае невозможно соблюсти со всею тщательностью все формальности, которые требуются для того, чтобы отличать акт правильный и законный от мятежного волнения, и волю всего народа от ропота политической фракции. Здесь, особенно в неблагоприятном случае, следует соблюдать только то, что, по всей строгости права, обязательно должно быть соблюдено. И именно из этого обязательства государь и извлекает большое преимущество для сохранения своей власти вопреки воле народа, причем, нельзя сказать, чтобы он ее узурпировал. Ибо, делая вид, что он пользуется

лишь своими правами, он очень легко может их расширить и препятствовать, под предлогом сохранения общественного спокойствия, созыву собраний, предназначенных для восстановления доброго порядка; таким образом, он пользуется молчанием, нарушением которого препятствует, и беспорядками, которые вызывает, чтобы истолковать в свою пользу мнение тех, кого страх заставляет молчать, и чтобы наказать тех, кто осмеливается говорить. Таким именно образом Децемвиры, будучи сначала избраны на год<sup>159</sup>, а затем еще на один, пытались удержать власть в своих руках навсегда, не позволяя более собираться Комициям; и именно таким легким способом все Правительства мира, раз облеченные публичной силой, рано или поздно присваивают себе верховную власть.

Периодические собрания, о которых я говорил выше, способны предупредить или отсрочить это несчастье, особенно, когда не требуется каких-либо формальностей для их созыва; ибо тогда государь не может им воспрепятствовать, не показав себя открыто нарушителем законов и врагом Государства.

Открытие этих собраний, которые имеют целью лишь поддержание общественного договора, всегда должно производиться посредством двух предложений, которые нельзя никогда опускать и которые ставятся на голосование в отдельности.

Первое: *Угодно ли суверену сохранить настоящую форму Правления.*

Второе: *Угодно ли народу оставить управление в руках тех, на кого оно в настоящее время возложено.*

Я предполагаю здесь то, что, думаю, уже доказал, именно: не существует в Государстве никакого основного закона, который не может быть отменен, не исключая даже и общественного соглашения. Ибо если бы все граждане собрались, чтобы расторгнуть это соглашение с общего согласия, то можно не сомневаться, что оно было бы вполне законным образом расторгнуто. Гроций даже полагает, что каждый может отречься от Государства<sup>160</sup>, членом которого он является, и вновь возвратить себе естественную свободу и свое имущество, если покинет страну<sup>1</sup>. Но, было бы пелепо, чтобы все граждане, собравшись вместе, не могли сделать то, что может сделать каждый из них в отдельности.

---

<sup>1</sup> Конечно, ее нельзя покинуть, чтобы уклониться от своего долга и избавиться от служения отечеству в ту минуту, когда оно в нас нуждается. Бегство тогда было бы преступным и наказуемым; это было бы уже не отступлением, но дезертирством.



## КНИГА IV

## Глава I

О ТОМ,  
ЧТО ОБЩАЯ ВОЛЯ НЕРАЗРУШИМА

До тех пор, пока некоторое число соединившихся людей смотрит на себя как на единое целое, у них лишь одна воля во всем, что касается до общего самосохранения и общего благополучия. Тогда все пружины Государства крепки и просты, его принципы ясны и прозрачны: нет вовсе запутанных, противоречивых интересов; общее благо предстает повсеместно с полною очевидностью, и, чтобы понять, в чем оно, нужен лишь здравый смысл. Мир, единение, равенство — враги всяких политических ухищрений. Людей прямых и простых трудно обмануть именно потому, что они просты; приманки, хитроумные предлоги не вводят их в заблуждение: они недостаточно тонки даже для того, чтобы быть одураченными. Когда видишь, как у самого счастливого в мире народа крестьяне, сойдясь под дубом, вершат дела Государства и при этом всегда поступают мудро, можно ли удержаться от презрения к ухищрениям других народов, что делают себя знаменитыми, несчастными и ничтожными с таким искусством и со столькими таинствами?

Управляемому таким образом Государству требуется совсем немного законов, и по мере того, как становится необходимым обнародовать новые, такая необходимость ощущается всеми. Первый, кто их предлагает, лишь высказывает то, что все уже чувствуют, и не требуется ни происков, ни красноречия, чтобы стало законом то, что каждый уже решил сделать, как только уверится в том, что другие поступят так же, как он.

Людей, любящих порассуждать, обманывает то, что, видя лишь Государства, дурно устроенные с самого их возникновения, они убеждены, что в Государствах невозможно поддерживать подобного рода управления. Они смеются, воображая все те глупости, в которых ловкий мошенник или вкрадчивый ворун могут уверить жителей Парижа или Лондона. Они не знают, что Кромвель был бы заключен в тюрьму<sup>161</sup> жителями Берна, а герцог де Бофор — жевенцами.

Но когда узел общественных связей начинает распускаться, а Государство — слабеть, когда частные интересы начинают давать о себе знать, а малые общества — влиять на большое, тогда общий интерес извращается и встречает противников; уже единодушие не царит при голосованиях; общая воля не есть

более воля всех; поднимаются пререкания, споры; и самое справедливое мнение никогда не принимается без препирательств.

Наконец, когда Государство, близкое к своей гибели, продолжает существовать лишь благодаря одной обманчивой и пустой форме, когда порвалась связь общественная во всех сердцах, когда самая низменная корысть нагло прикрывается священным именем общественного блага,— тогда общая воля немеет; все, руководясь тайными своими побуждениями, подают голос уже не как граждане, будто бы Государства никогда и не существовало; и под именем законов обманом проводят неправые декреты, имеющие целью лишь частные интересы.

Следует ли из этого, что общая воля уничтожена или извращена? Нет: она всегда постоянна, неизвратима и чиста; но она подчинена другим волеизъявлениям, которые берут над нею верх. Каждый, отделяя свою пользу от пользы общей, хорошо понимает, что он не может отделить ее полностью, но причиняемый им обществу вред представляется ему ничем по сравнению с теми особыми благами, которые он намеревается себе присвоить. Если не считать этих особых благ, то он желает общего блага для своей собственной выгоды столь же сильно, как и всякий другой. Даже продавая свой голос за деньги, он не заглушает в себе общей воли, он только уклоняется от нее. Его вина состоит в том, что он подменяет поставленный перед ним вопрос и отвечает не на то, что у него спрашивают, таким образом вместо того, чтобы сказать своим голосованием: *выгодно Государству*, он говорит: *выгодно такому-то человеку или такой-то партии, чтобы прошло то или иное мнение*. Итак, закон, которому в интересах общества надлежит следовать в собраниях, состоит не столько в том, чтобы поддерживать здесь общую волю, сколько в том, чтобы она была всякий раз вопрошаема и всегда ответствовала.

Я мог бы высказать здесь немало соображений о первичном праве — подавать голос при всяком акте суверенитета, праве, которого ничто не может лишить граждан, и о праве подавать мнение, вносить предложения, подразделять, обсуждать, которое Правительством всячески старается оставить лишь за своими членами. Но этот важный предмет потребовал бы особого трактата; и я не могу все сказать в этом.

## Глава II

### О ГОЛОСОВАНИЯХ

Из предыдущей главы видно, что способ, каким ведутся общие дела, может служить довольно надежным указателем состояния нравов и здоровья Политического организма в данное время. Чем больше согласия в собраниях,

т. е. чем ближе мнения к полному единодушию, тем явственнее господствует общая воля; но долгие споры, разногласия, шумные перебранки говорят о преобладании частных интересов и об упадке Государства.

Это проявляется менее явно, когда в его состав входят два или несколько сословий, как в Риме — патриции и плебеи, чьи распри нередко волновали Комиции даже в самые лучшие времена Республики. Но это — исключение, более кажущееся, чем действительное, ибо тогда, вследствие пороков, внутренне присущих такому Политическому организму, образуются, так сказать, два Государства в одном: то, что неверно в отношении обоих вместе, верно для каждого в отдельности. И в самом деле, даже в наиболее бурные времена, плебисциты среди народа, когда Сенат не вмешивался, проходили всегда спокойно и решения их определялись значительным большинством голосов, ибо у всех граждан был лишь один интерес, у народа — лишь одна воля.

В противоположной точке, замыкающей круг, возвращается единодушие: это бывает, когда у граждан, внавших в рабство, нет больше ни свободы, ни воли. Тогда страх и лезть заменяют подачу голосов выкриками; уже больше не обсуждают: боготворят или проклинают. Таков был позорный способ подачи мнений в Сенате при императорах. Иногда это делалось со смехотворными предосторожностями. Тацит замечает<sup>162</sup>, что при Отоне<sup>163</sup> сенаторы, осыпая Вителлия<sup>164</sup> проклятиями, старались в то же время поднять ужасный шум, чтобы он, случайно сделавшись повелителем, не мог знать, что, собственно, сказал каждый из них.

Из этих различных соображений рождаются принципы, по которым должно устанавливать способ подсчета голосов и сопоставления мнений в соответствии с тем, насколько легко узнается общая воля и насколько Государство клонится к упадку.

Есть один только закон, который по самой своей природе требует единодушного согласия: это — общественное соглашение. Ибо вхождение в ассоциацию граждан есть самый добровольный акт в мире; поскольку всякий человек рождается свободным и хозяином самому себе, никто не может ни под каким предлогом подчинить его без его согласия<sup>165</sup>. Постановить, что сын рабыни рождается рабом, это значит постановить, что он не рождается человеком<sup>166</sup>.

Следовательно, если после заключения общественного соглашения окажется, что есть этому противящиеся, то их несогласие не лишает Договор силы, оно только препятствует включению их в число его участников: это — чужестранцы среди граждан. Когда Государство учреждено, то согласие с Договором заключается уже в самом выборе местопребывания гражданина; жить на данной территории — это значит подчинить себя суверенитету<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Это всегда должно относиться лишь к свободному Государству. Ибо в других случаях семья, имущество, отсутствие пристанища, нужда, насилие могут удержать жителя в стране против его воли; и тогда само по себе одно его пребывание в стране уже не предполагает более его согласия на Договор или на нарушение Договора.

За исключением этого первоначального Договора, мнение большинства всегда обязательно для всех остальных: это — следствие самого Договора. Но спрашивается, как человек может быть свободен и в то же время принужден сообразоваться с желаниями, что не суть его желания? Как те, кто несогласен с большинством, могут быть свободны и одновременно подчиняться законам, на которые они не давали согласия?

Я отвечаю, что вопрос неправильно поставлен. Гражданин дает согласие на все законы, даже на те, которые принимаются вопреки его желанию, и даже на те, которые карают его, если он осмеливается нарушить какой-либо из них. Непременная воля всех членов Государства — это общая воля; это благодаря ей они граждане и свободны<sup>1</sup>. Когда на собрании народа предлагают закон, то членов собрания спрашивают, собственно говоря, не о том, одобряют они это предложение или отвергают, а о том, сообразно оно или нет с общей волей, которая есть их воля. Каждый, подавая свой голос, высказывает свое мнение по этому вопросу, и путем подсчета голосов определяется изъявление общей воли. Если одерживает верх мнение, противное моему, то сие доказывает, что я ошибался и что то, что я считал общею волею, ею не было. Если бы мое частное мнение возобладало, то я сделал бы не то, чего хотел, вот тогда я не был бы свободен.

Это, правда, предполагает опять-таки, что все особенности общей воли воплощены в большинстве голосов. Когда этого уже нет, то какое бы решение ни было принято — нет более свободы.

Показав выше, как в решениях, принимаемых всем обществом, заменяли общую волю изъявлениями воли частных лиц, я уже достаточно определил и средства, способные предупредить такое злоупотребление; об этом я буду еще говорить ниже. Что до того, какое относительное большинство голосов достаточно, чтобы видеть здесь провозглашение общей воли, то я также излагал уже принципы, по которым можно установить и это. Разница в один-единственный голос нарушает разделение поровну: один-единственный несогласный разрушает единодушие. Но между единодушием и разделом голосов поровну есть ряд случаев, когда голоса разделяются неравно и в каждом из них можно устанавливать число, позволяющее видеть провозглашение общей воли сообразно состоянию и нуждам Политического организма.

Два общих принципа могут служить для определения этих отношений: первый — говорящий о том, что чем важнее и серьезнее решения, тем более мнение, берущее верх, должно приближаться к единогласию; второй — чем скорее требуется решить рассматриваемое дело, тем меньшей должна быть раз-

<sup>1</sup> В Генуе у входа в тюрьмы и на кандалах каторжников можно прочесть слово: *Libertas* \*. Такое применение этого девиза прекрасно и справедливо. В самом деле, лишь преступники всех состояний мешают гражданину быть свободным. В стране, где все эти люди были бы на галерах, наслаждались бы самой полной свободой.

\* Свобода (*lat.*).

ница, требуемая при разделении голосов: для решений, которые должны быть приняты немедленно, перевес в один только голос должен быть признан достаточным<sup>167</sup>. Первое из этих положений представляется более подходящим при рассмотрении законов, второе — при рассмотрении дел<sup>168</sup>. Как бы там ни было, именно путем сочетания этих положений и устанавливаются те наилучшие отношения большинства и меньшинства голосов, чтобы решение считалось принятым.

### Глава III О ВЫБОРАХ

Что до выборов государя и магистратов, представляющих собою, как я сказал, сложные акты, то здесь есть два пути, именно: избрание и жребий. И тот, и другой применялись в разных Республиках, и еще в настоящее время наблюдается весьма сложное смешение обоих способов при избрании дожа Венеции.

*Выборы по жребию*, — говорит Монтескье<sup>169</sup>, — *соответствуют природе демократии*. Я с этим согласен, но почему это так? *Жребий*, — продолжает он, — *есть такой способ выбирать, который никого не обижает; он оставляет каждому гражданину достаточную надежду послужить отечеству*. Но причины не в этом.

Если обратить внимание на то, что избрание начальников есть дело Правительства, а не суверена, то мы увидим, почему выборы по жребию более свойственны демократии, где управление тем лучше, чем менее умножаются акты его.

Во всякой подлинной демократии магистратура — это не преимущество, но обременительная обязанность, которую по справедливости нельзя возложить на одного человека скорее, чем на другого. Один лишь Закон может возложить это бремя на того, на кого падет жребий. Ибо тогда, поскольку условия равны для всех и так как выбор не зависит от людей, нет такого рода применения Закона к частному случаю, которое нарушило бы всеобщий характер его.

При аристократическом строе государя выбирает государь, Правительство сохраняется само собою; и здесь именно уместно голосование.

Пример избрания дожа Венеции подтверждает это различие, а не опровергает его: эта смешанная форма подходит смешанному роду Правления. Ибо это заблуждение — считать форму Правления в Венеции подлинной аристократией. Если народ не принимает там никакого участия в Управлении, то именно знать и является там народом. Множество бедных варнавитов<sup>170</sup>

никогда не имело доступа к какой-либо из магистратур, и их принадлежность к дворянству дала им всего-навсего пустое звание *Превосходительства* и право заседать в Большом Совете. Так как этот Совет столь же многочислен, как наш Генеральный Совет в Женеве, то его знатные члены имеют не больше привилегий, чем наши обычные граждане. Очевидно, что если не говорить о крайнем несходстве обеих Республик в целом, то Горожане Женевы в точности соответствуют венецианскому патрициату; наши Уроженцы и Жители — Горожанам и народу Венеции; наши крестьяне — подданным Венеции на материке; наконец, как бы мы ни рассматривали эту Республику, отвлекаясь от ее размеров, ее Правление не более аристократично, чем наше<sup>171</sup>. Вся разница в том, что поскольку у нас нет никакого пожизненного главы, мы не испытываем необходимости прибегать к жребию.

Выборы по жребию создавали бы мало затруднений в подлинной демократии, где ввиду того, что все равны как по своим правам, так и по своим дарованиям, как по принципам своим, так и по состоянию своему, тот или иной выбор становится почти что безразличен. Но я уже сказал, что никогда не существовало подлинной демократии.

Когда соединяют выборы и жребий, то первым путем следует заполнять места, требующие соответствующих дарований, такие, как военные должности; второй путь более подходит в тех случаях, когда достаточно здравого смысла, справедливости, честности, как в судебных должностях; потому что в правильно устроенном Государстве качества эти свойственны всем гражданам.

Ни жребий, ни голосования совершенно не имеют места при монархическом Правлении. Поскольку монарх по праву один — государь и единственный магистрат, то выбор его заместителей принадлежит лишь ему одному. Когда аббат де Сен-Пьер предлагал увеличить число Советов короля Франции<sup>172</sup> и выбирать их членов посредством проводимого в них голосования, он не понимал, что предлагает изменить форму Управления.

Мне остается еще сказать о способе подачи и сбора голосов в собрании народа. Но, быть может, очерк истории устройства внутреннего управления в Риме в этом отношении более наглядно объяснит все принципы, чем я мог бы это установить. Не недостойно внимания рассудительного читателя увидеть с некоторыми подробностями, как разбирались дела общественные и частные в Совете из двухсот тысяч человек.

## Глава IV

## О РИМСКИХ КОМИЦИЯХ

У нас нет никаких вполне достоверных памятников первых времен Рима. Весьма вероятно даже, что большая часть того, что о них рассказывают — это басни<sup>I</sup>; и вообще нам как раз больше всего не хватает именно той наиболее поучительной части летописей народов, которая представляет собою историю их становления. Опыт каждодневно учит нас, по каким причинам возникают перевороты в Государствах, но так как никакой народ больше не образуется, то, дабы объяснить, как образовались народы, нам остается только строить догадки.

Обычаи, которые мы находим уже установившимися, свидетельствуют, по меньшей мере, о том, что они имели некогда свое начало. Из традиций, восходящих к этому началу, те, что поддерживаются самыми крупными авторитетами и подкрепляются наиболее вескими основаниями, должны считаться наиболее достоверными. Вот положения, которых стремился я держаться, когда исследовал, как самый свободный и самый могущественный народ на земле осуществлял свою верховную власть

После основания Рима, зарождающаяся Республика, т. е. армия основателя, состоявшая из альбанов, сабинов и чужеземцев, была разделена на три класса, которые, по этому делению, приняли название *триб*<sup>173</sup>. Каждая из этих триб была подразделена на десять курий, а каждая курия на декурии, во главе которых были поставлены предводители, называвшиеся *курионами* и *декурионами*.

Кроме того, из каждой трибы выделили по отряду из ста верховых или всадников, который назывался *центурией*, из чего видно, что эти подразделения, почти бесполезные в городе, были сначала чисто военными. Но как бы предчувствие грядущего величия заставило маленький город Рим уже тогда дать себе внутреннее управление, приличествующее столице мира.

Из этого первого разделения вскоре возникло затруднение: дело в том, что тогда как трибы альбанов<sup>II</sup> и сабинов<sup>III</sup> оставались постоянно в одном и том же состоянии, триба пришельцев<sup>IV</sup> беспрестанно увеличивалась в результате постоянного притока этих последних; и она не замедлила обогнать обе другие. Средство, которое нашел Сервий<sup>174</sup>, чтобы устроить этот опасный беспорядок, состояло в том, чтобы изменить разделение; и разделение по

<sup>I</sup> Имя — *Рома*, которое, как утверждают, происходит от *Ромул*, — это слово греческое и означает *сила*, имя *Нума* — тоже греческое и означает *закон*. Вероятно ли, что оба первых царя этого города уже наперед носили имена, столь соответствующие тому, что они совершили?

<sup>II</sup> *Ramnenses*.

<sup>III</sup> *Tatienses*.

<sup>IV</sup> *Luceres*.

племенам, которое он уничтожил, заменить другим — по тем местам города, которые занимала каждая триба. Вместо трех триб он создал четыре, из которых каждая занимала один из холмов Рима и носила его имя. Таким образом, исправляя неравенство в настоящем, он предупреждал его и на будущее; и чтобы это разделение касалось не только мест, но и людей, он запретил жителям одного квартала переходить в другой: это предотвратило смешение племен.

Он удвоил также три уже существовавшие центурии всадников и добавил к ним двенадцать новых, но, все же, под старыми названиями, — способ простой и справедливый; так он окончательно отделил корпорацию всадников от массы народа, не вызвав недовольства этого последнего.

К этим четырем городским трибам Сервий добавил пятнадцать других, названных им сельскими трибами, потому что они были составлены из жителей деревни, разделенных на такое же число округов. Впоследствии было образовано столько же новых, и вот римский народ оказался разделенным на тридцать пять триб, — число, оставшееся неизменным до конца Республики.

Это разграничение триб города и триб деревни имело следствие, которое достойно быть отмеченным, потому что вообще нет другого такого примера и потому что Рим обязан ему и сохранением своих прав, и ростом своих владений. Можно было бы полагать, что городские трибы вскоре присвоят себе власть и почести и не замедлят унижить трибы сельские: оказалось совсем наоборот. Известна склонность первых римлян к сельской жизни. Эту склонность внушил им мудрый наставник, который соединил свободу с трудами сельскими и ратными и, так сказать, выдворил из деревни в город искусства, ремесла, интриги, богатство и порабощение.

И так как все, кто в Риме выделялся, обитали за городом и занимались земледелием, то уже привыкли искать лишь там главную опору Республики. Этот образ жизни, которому следовали достойнейшие из патрициев, высоко почитался всеми; простую и трудовую жизнь сельских жителей предпочитали праздной и рассеянной жизни горожан Рима; и тот, кто, обрабатывая землю, становился уважаемым гражданином, был бы лишь несчастным пролетарием в городе. Не без причины, говорил Варрон<sup>175</sup>, наши великодушные предки создали в деревне питомник тех крепких и доблестных мужей, что защищали их в период войны и кормили в период мира. Плиний определенно говорит<sup>176</sup>, что сельские трибы, благодаря своему составу, пользовались особым почетом, а в городские трибы из сельских переводили тех презренных, которых хотели унижить. Сабин Аппий Клавдий<sup>177</sup>, прибыв в Рим, чтобы там поселиться, был осыпан почестями и записан в сельскую трибу, которая впоследствии приняла имя его семьи. Наконец, вольноотпущенники входили все в городские трибы, и никогда — в деревенские, и за все время существования Республики не было ни одного примера, чтобы кто-либо из этих вольноотпущенников достиг какой-либо магистратуры, даже став гражданином.



Это был превосходный принцип, но в применении его зашли так далеко, что это в конце концов привело к переменам и, конечно, к злоупотреблениям во внутреннем управлении.

Во-первых, Цензоры, давно уже присвоившие себе, совершенно произвольно, право переводить граждан из одной трибы в другую, позволили большинству записываться в любую из них; это, конечно, не могло привести ни к чему хорошему и отнимало у цензуры одно из важных средств воздействия. Более того, поскольку знатные и могущественные все записывались в сельские трибы, а вольноотпущенники, ставшие гражданами, оставались вместе с чернью в городских, то трибы вообще не имели теперь ни места, ни территории; но все они настолько смешались, что членов каждой можно было отличать только по спискам, так что понятие, выражаемое словом *триба*, перестало быть связано с определенной территорией и оказалось связанным с личностями или даже почти утратило всякое содержание.

Случалось также, что трибы города, будучи ближе к власти и часто оказываясь более сильными в Комициях, продавали Государство тем, кто не гнушался покупать голоса черни, которая заполняла собой эти трибы.

Что до курий, то поскольку первый законодатель создал их по десяти в каждой трибе, то весь народ римский, тогда живший внутри стен города, оказался состоящим из тридцати курий, из которых каждая имела свои храмы, своих богов, своих чиновников, своих жрецов и свои празднества, называвшиеся *компиталиями*<sup>178</sup> и напоминавшие те *паганалии*<sup>179</sup>, которые впоследствии появились в сельских трибах.

Так как при новом разделении Сервия это число, тридцать, не делилось поровну между установленными им четырьмя трибами, то он решил оставить это деление нетронутым; и курии, независимые от триб, сделались новым подразделением жителей Рима. Но о куриях не было и речи ни среди сельских триб, ни среди входившего в их состав населения, потому что раз трибы стали чисто гражданскими установлениями и поскольку был введен другой порядок для набора войск, то военные подразделения Ромула оказались излишними. Таким образом, хотя каждый гражданин и был записан в какую-нибудь трибу, далеко не каждый гражданин был записан в какую-нибудь курию.

Сервий произвел еще и третье разделение, которое не имело никакого отношения к обоим предыдущим, а стало по своим результатам самым важным из всех. Он разделил весь римский народ на шесть классов, различавшихся не по месту проживания и не по людям, но по имуществу; так что в первые классы попали богатые, в последние — бедные, а в средние — люди со средним достатком. Эти шесть классов состояли из ста девяноста трех подразделений, называемых *центуриями*, и эти подразделения распределялись так, что в один первый класс их входило более половины, а последний составляла всего одна. Таким образом, оказалось, что класс, наименее многочислен-

ный по числу людей, включал наибольшее число центурий, а последний класс целиком считался только одним подразделением, хотя в него входило более половины жителей Рима.

Чтобы народу было труднее проникнуть в суть последствий этого последнего передела, Сервий старался придать ему вид военной реформы; он включил во второй класс две центурии оружейников и две центурии орудий войны<sup>180</sup> — в четвертый. В каждом классе, за исключением последнего, он отделил молодых от старых, т. е. тех, кто был обязан носить оружие, от тех, кого возраст освобождал от этого по законам, — различие, которое больше, чем различие имущественное, приводило к необходимости часто повторять перепись или пересчет. Наконец он пожелал, чтобы народные собрания проходили на Марсовом поле и чтобы все те, кто по возрасту подлежали военной службе, приходили туда со своим оружием.

В последнем же классе он не провел такого разделения на молодых и старых; причина была в том, что чернь, из которой этот класс состоял, вообще не удостоивалась чести носить оружие для защиты отечества; надо было иметь домашний очаг, чтобы получить право его защищать. И в тех бесчисленных толпах наемных негодяев, которыми блещут ныне армии королей, нет, вероятно, ни одного, кто не был бы с презрением изгнан из римской когорты в те времена, когда солдаты были защитниками свободы.

В этом последнем классе отличали, впрочем, еще *пролетариев* от тех, кого называли *capite censi*\*. Первые, не совсем еще низведенные до ничтожества, давали по крайней мере Государству граждан, иногда даже солдат при крайней необходимости. Что касается до тех, которые ровно ничего не имели и которых можно было пересчитать только по головам, то их вообще сбрасывали со счетов, и Марий был первым, кто удостоил набирать их в солдаты.

Не решая здесь, было ли это третье разделение хорошо или дурно само по себе, я могу, мне кажется, утверждать, что только простые нравы первых римлян, их бескорыстие, их любовь к земледелию, их презрение к торговле и погоне за наживой могли сделать его осуществимым. Где найдется такой народ в новые времена, у которого всепоглощающая жадность, дух беспокойства, интриги, постоянные перемещения, вечные перемены в имущественном положении позволили бы подобному устройению продержаться в течение двадцати лет, не перевернув все Государство? Надо еще отметить, что нравы и цензура, более сильные, чем это устройство, исправили многие его недостатки в Риме, и что иной богач оказывался выдворенным в класс бедных за то, что слишком выставлял напоказ свое богатство.

Из всего этого легко можно понять, почему почти всегда упоминаются лишь пять классов, хотя в действительности их было шесть. Шестой, не

---

\* Вносимые в ценз без имущества (*лат.*).

поставлявший ни солдат в армию, ни голосующих на Марсовом поле<sup>1</sup>, и почти ни на что непригодный при Республике, редко принимался в расчет.

Таковы были различные подразделения римского народа. Посмотрим теперь, к какому результату это приводило в собраниях. Эти собрания, законно созываемые, назывались *Комициями*; они происходили обычно на римском форуме или на Марсовом поле и разделялись на Комиции по куриям, Комиции по центуриям и Комиции по трибам, сообразно той из этих трех форм, по которой они созывались. Комиции по куриям были учреждены Ромулом, по центуриям — Сервием, по трибам — народными Трибунами. Ни один закон не принимался, ни один магистрат не избирался иначе, как в Комициях; и так как не было ни одного гражданина, который не был бы записан в одну из курий, одну из центурий или одну из триб, то отсюда следует, что ни один гражданин не был лишен права голоса и что народ римский был по-настоящему суверен и юридически, и фактически.

Чтобы Комиции считались созданными законно и чтобы то, что там делалось, имело силу закона, необходимы были три условия: первое — чтобы корпорация или магистрат, которые их созывали, были для того облечены надлежащей властью; второе — чтобы собрание происходило в один из дней, дозволенных законом; третье — чтобы предназначения были благоприятны.

На чем основано первое правило, не требуется объяснять. Второе — это вопрос порядка: так, не дозволялось собирать Комиции в праздничные и базарные дни, когда деревенский люд, прибывавший в Рим по своим делам, не имел времени, чтобы провести день на форуме. Посредством третьего условия Сенат держал в узде гордый и беспокойный народ и к стати умерял пыл мятежных Трибунов. Эти последние, однако, находили не одно средство освободиться от такого рода стеснений.

Обсуждению на Комициях подлежали не только законы и выборы правителей. Так как римский народ присвоил себе самые важные функции Правления, то можно сказать, что судьба Европы решалась на его собраниях. Это разнообразие вопросов порождало и различные формы этих собраний, смотря по тому, о чем надлежало принять решение.

Чтобы судить об этих различных формах, достаточно их сравнить. Ромул, учреждая курии, имел в виду сдерживать Сенат с помощью народа и народ с помощью Сената, господствуя в равной мере над обоими. Посредством этой формы он дал народу преобладание в численности, чтобы уравновесить этим то преобладание в могуществе и богатстве, которое он оставил за патрициями. Но, сообразно с духом монархии, он предоставил все-таки больше преимуществ патрициям, которые через своих клиентов могли влиять на распределение голосов. Это удивительное установление патронов и клиентов

<sup>1</sup> Я говорю на *Марсовом поле* потому, что там именно и собирались Комиции по центуриям. При двух других формах народ собирался на *форуме* или в ином месте, и тогда у *capite censi* было столько же влияния и власти, сколько у первых граждан.

было шедевром политики и человеческой природы; без него патрициат, столь противный духу Республики, не мог бы существовать. Риму одному принадлежала честь дать миру этот прекрасный пример, который никогда не приводил к злоупотреблениям, причем ему все же никогда не следовали.

Так как именно эта форма куриий существовала при царях до Сервия и так как царствование последнего Тарквиния<sup>181</sup> вообще не считалось законным, то царские законы, в отличие от всех других, стали обозначаться как *leges curiatae* \*.

При Республике курии, все так же ограничиваясь четырьмя городскими трибами и заключая в себе уже одну лишь римскую чернь, не могли удовлетворить ни Сенат, стоящий во главе патрициев, ни Трибунов, которые, несмотря на то, что были плебеями, стояли во главе состоятельных граждан. Поэтому курии потеряли всякое значение; падение их было таково, что тридцать ликторов, собравшись вместе, делали то, что должны были делать Комиции по куриям.

Разделение по цензуриям было столь благоприятно для аристократии, что не сразу поймешь, почему Сенат не брал постоянно верх в Комициях, которые носили это название, и посредством которых избирались Консулы, Цензоры и другие курильные магистраты<sup>182</sup>. В самом деле, из ста девяносто трех цензурий, которые составляли все шесть классов народа Рима, в первый входило девяносто восемь, а так как голоса считались только по цензуриям, то один первый класс имел перевес по числу голосов над всеми остальными. Когда все эти цензурии приходили к соглашению, то уже прекращали сбор голосов; то, что решало меньшинство, выдавалось за решение большинства, и можно сказать, что в Комициях по цензуриям дела решались скорее в зависимости от того, у кого было больше денег, чем от того, кто собрал больше голосов.

Но эта безмерная власть умерялась двумя средствами. Во-первых, поскольку в классе богатых состояли, обычно, Трибуны и, всегда, — большое число плебеев, то они уравновешивали влияние патрициев в этом первом классе.

Второе средство состояло вот в чем: вместо того, чтобы приводить цензурии к голосованию в соответствии с тем, в какой они входили класс, что вынуждало бы всегда начинать с первой, выбирали одну из них по жребию, и только эта одна<sup>1</sup> участвовала в выборах, после чего все цензурии, созываемые на другой день, уже по их положению в общем порядке цензурий, снова проводили выборы, и они обычно только подтверждали решение, вынесенное

\* Законы, принятые куриями (*лат.*).

<sup>1</sup> Эта цензурия, избиравшаяся по жребию, называлась *praerogativa* \*\*, потому что она была первой, у которой отбирали голоса; и отсюда-то и произошло слово *прерогатива*.

\*\* От *прае* — пред, впереди и *гого* — спрашивать (*лат.*).

накануне. Так, право подавать пример, определявшееся положением цензурии среди других цензурий, отдавалось теперь жребию, согласно принципам демократии.

Из этого обычая проистекало еще одно преимущество, — то, что граждане деревни имели время между двумя ступенями выборов справиться о достоинствах неокончательно избранного кандидата, так чтобы подавать свои голоса со знанием дела. Но якобы для ускорения дела, в конце концов добились отмены этого обычая, — и те и другие выборы стали проводиться в тот же день.

Комиции по трибам были собственно Советом римского народа. Они созывались только Трибунами; здесь избирались Трибуны и здесь же проходили проводимые ими плебисциты. Сенат не только не имел здесь никакого влияния, он даже не имел права здесь присутствовать; и, принужденные повиноваться законам, в голосовании которых они не могли принять участия, сенаторы в этом отношении были менее свободны, чем самые последние из граждан. Эта несправедливость понималась совершенно неправильно, а ее одной было достаточно, чтобы сделать недействительными декреты такого целого, куда имели доступ не все его члены. Если бы даже все патриции и присутствовали на этих Комициях по праву, которое они на это имели в качестве граждан, то, обратившись тогда в простых частных лиц, они почти не влияли бы на исход такого рода голосования, которое осуществляется путем поголовного подсчета голосов, и где самый ничтожный пролетарий имеет столько же значения, как и Первый Сенатор.

Таким образом мы видим, что эти различные распределения не только создавали порядок при подсчете голосов столь многочисленного народа, но, кроме того, они никак не сводились к формам, безразличным сами по себе, — каждая давала свои результаты, соответствующие тем целям, которые и ставили предпочесть эту форму всем другим.

Даже если не входить насчет этого в дальнейшие подробности, из предыдущих разъяснений вытекает, что Комиции по трибам были наиболее благоприятны для народного Правления, а Комиции по цензуриям — для аристократии. Что до Комиций по куриям, где одна только римская чернь составляла большинство, то, поскольку они годились лишь для того, чтобы создавать благоприятные условия для тирании и дурных замыслов, они должны были потерять всякую славу, потому что даже мятежники воздерживались от такого средства, которое слишком явно раскрывало их планы. Несомненно, что все величие римского народа воплощалось в Комициях по цензуриям, которые одни только были полными, тогда как в Комициях по куриям не хватало сельских триб, а в Комициях по трибам — Сената и патрициев.

Что до способа подсчета голосов, то у первых римлян он был столь же прост, как и их нравы, хотя и не до такой степени, как в Спарте. Каждый

подавал свой голос вслух, писец по очереди их записывал; большинство голосов в каждой трибе определяло результат голосования трибы; большинство голосов среди триб определяло результат голосования народа; и так же в куриях и в центуриях. Этот обычай был хорош, пока честность царила между гражданами и когда каждый стыдился подавать публично голос за несправедливое мнение или за недостойного кандидата. Но, когда народ развратился и когда голоса стали покупать, уже потребовалась тайная подача голосов, чтобы недоверием сдерживать покупателей и чтобы оставить плутам возможность не быть изменниками.

Я знаю, что Цицерон порицает эту перемену и видит в ней одну из причин падения Республики. Но хотя я и понимаю, какой вес должно иметь в данном случае авторитетное мнение Цицерона<sup>183</sup>, я не могу с ним согласиться: я думаю, напротив, что гибель Государства ускорила тем, что не совершали достаточно часто изменений подобного рода. Как пища людей здоровых не годится для больных, так же не следует желать управлять испорченным народом посредством тех же законов, которые подходят для народа здорового. Ничто не доказывает этого правила лучше, чем долговечность Венецианской Республики, некоторое подобие которой существует еще и сейчас единственно потому, что ее законы годятся лишь для недобрых людей.

Гражданам, таким образом, стали раздавать таблички, с помощью которых каждый мог голосовать так, чтобы неизвестно было, каково его мнение. Установили также новые формальности при собирании табличек, подсчете голосов, сравнении чисел и так далее, что не помешало часто подозревать добросовестность чиновников, на коих были возложены эти обязанности<sup>1</sup>. Наконец, чтобы предотвратить частные сделки и куплю-продажу голосов, издавали особые эдикты, самая многочисленность которых свидетельствует о их бесполезности.

В последние времена Республики часто приходилось прибегать к чрезвычайным средствам, чтобы восполнить неудовлетворительность законов. То предвещали чудеса; но это средство, которое могло воздействовать на народ, не действовало на тех, которые им управляли; то спешно созывали собрание прежде, чем кандидаты могли успеть заключить свои сделки; то все собрание посвящали речам, когда видели, что народ обманут и готов принять дурное решение. Но, в конце концов, честолюбие успешно обходило все препятствия; и вот что представляется почти невероятным — среди стольких злоупотреблений, этот огромный народ, следуя своим старинным правилам, не переставал выбирать магистратов, проводить законы, разбирать тяжбы, отправлять дела частные и общественные почти с такою же легкостью, с какою это мог бы делать сам Сенат.

<sup>1</sup> *Custodes, Diribitores, Rogatores suffragiorum* \*.

\* Наблюдатели, раздатчики табличек, собиратели голосов (лат.).

## Глава V О ТРИБУНАТЕ

Когда невозможно установить точное соотношение между составными частями Государства или когда причины, устранить которые нельзя, беспрестанно нарушают эти соотношения, тогда устанавливают особую магистратуру, никак не входящую в общий организм, и она возвращает каждый член в его подлинное отношение и образует связь или средний член пропорции, либо между государем и народом, либо между государем и сувереном, либо же между обеими сторонами одновременно, если это необходимо.

Этот организм, который я назову *Трибунатом*, есть блюститель законов и законодательной власти. Он служит иногда для того, чтобы защищать суверен от Правительства, как это делали в Риме народные Трибуны; иногда — чтобы поддерживать Правительство против народа, как это делает теперь в Венеции Совет Десяти; иногда же — чтобы поддерживать между ними равновесие, как это делали Эфоры<sup>184</sup> в Спарте.

Трибунат вовсе не есть составная часть Гражданской общины и не должен обладать никакой долей ни законодательной, ни исполнительной власти. Но именно поэтому его власть еще больше, ибо, не будучи в состоянии ничего сделать, он может всему помешать. Он более священен и более почитаем как защитник законов, чем государь, их исполняющий, и чем суверен, их дающий. Это очень ясно видно в Риме, когда гордые патриции, всегда презиравшие весь народ, принуждены были склоняться перед простым чиновником народа, который не имел ни покровительства, ни юрисдикции.

Трибунат, разумно умеряемый, — это наиболее прочная опора доброго государственного устройства; но если он получает хоть немногим более силы, чем следует, он опрокидывает все. Что до слабости, то она не в его природе, и если только представляет он из себя кое-что, он никогда не может значить менее, чем нужно.

Он вырождается в тиранию, когда узурпирует исполнительную власть, которую он должен лишь умерять, и когда хочет издавать законы, которые должен лишь блюсти. Огромная власть Эфоров не представляла опасности, пока Спарта сохраняла свои нравы, но она ускорила их начавшееся разложение. Кровь Агиса<sup>185</sup>, убитого этими тиранами, была отмщена его преемником; преступление и наказание Эфоров равным образом ускорили гибель Республики, и после Клеомена<sup>186</sup> Спарта уже была ничем. Рим нашел свою погибель на том же пути; и чрезвычайная власть трибунов, шаг за шагом узурпируемая, послужила, в конце концов, с помощью законов, созданных для сохранения свободы, охранною грамотою императорам, которые ее уничтожили. Что же до Совета Десяти в Венеции, то — это кровавое судилище, одинаково ужасное и для патрициев и для народа; и оно, вместо того, чтобы защищать своим высоким авторитетом законы, служит, после полного вырож-

дения оных, лишь для того, чтобы наносить в потемках удары, которые не смеют даже замечать.

Трибунал ослабляется, как и Правительство, при увеличении числа его членов. Когда Трибуны римского народа, сначала в числе двух, затем пяти, хотели удвоить это число, то Сенат им не противился, твердо уверенный, что сможет сдерживать одних с помощью других: это и не преминуло случиться.

Лучшее средство предупредить узурпацию столь опасного корпуса, средство, о котором не помышляло до сих пор ни одно Правительство, было бы — не делать этот корпус постоянным, но определять промежутки, в течение которых он прекращал бы свое существование. Эти промежутки, которые не должны быть настолько велики, чтобы дать время злоупотреблениям утвердиться, могут устанавливаться Законом, так чтобы их легко можно было в случае необходимости сокращать посредством чрезвычайных указов.

Это средство, мне кажется, не представляет затруднений, потому что, как я сказал, трибунал, не составляя части государственного устройства, может быть устранен без ущерба для этого последнего; и оно мне кажется действительным, потому что магистрат, вновь введенный, отправляется вовсе не от той власти, которую имел его предшественник, но от власти, которую дает ему Закон.

## Глава VI

### О ДИКТАТУРЕ <sup>187</sup>

Негибкость законов, препятствующая им применяться к событиям, может в некоторых случаях сделать их вредными и привести через них к гибели Государство, когда оно переживает кризис. Соблюдение порядка и форм требует некоторого времени, в котором обстоятельства иногда отказывают. Может представиться множество случаев, которых Законодатель вовсе не предвидел, и это весьма необходимая предусмотрительность: понять, что не все можно предусмотреть.

Не нужно поэтому стремиться к укреплению политических установлений до такой степени, чтобы отнять у себя возможность приостановить их действие. Даже Спарта давала покой своим законам.

Но лишь самые большие опасности могут уравновесить ту, которую влечет за собою изменение строя общественного; и никогда не следует приостанавливать священную силу законов, если дело не идет о спасении отечества. В этих редких и очевидных случаях забота об общественной безопасности выражается особым актом, который возлагает эту обязанность на достойнейшего. Это поручение может быть дано двумя способами, в соответствии с характером опасности.



Если, чтобы ее устранить, достаточно увеличить действенность Правительства, то Управление сосредоточивают в руках одного или двух из его членов, и, таким образом, изменяют не власть законов, а только форму их применения. Если же опасность такова, что соблюдение законов становится препятствием к ее предупреждению, то назначают высшего правителя, который заставляет умолкнуть все законы и на некоторое время прекращает действие верховной власти суверена. В подобном случае то, в чем заключается общая воля, не вызывает сомнений, и очевидно, что первое желание народа состоит в том, чтобы Государство не погибло. Следовательно, прекращение действия законодательной власти отнюдь ее не уничтожает. Магистрат, который заставляет эту власть умолкнуть, не может заставить ее говорить; он господствует над нею, не будучи в состоянии быть ее представителем. Он может творить все, исключая законы.

Первое средство применялось римским Сенатом, когда он формулю посвящения возлагал на Консулов обязанность принимать меры для спасения Республики. Второе — когда один из двух Консулов назначал Диктатора<sup>1</sup>: обычной этот был принят Римом по примеру Альбы.

В первые времена Республики к диктатуре прибегали весьма часто, потому, что Государство не было еще настолько устойчивым, чтобы оно могло поддерживать себя одною лишь силою своего внутреннего устройства.

Так как нравы тогда делали излишними множество предосторожностей, которые были бы необходимы в другое время, то не боялись ни того, что Диктатор злоупотребит своей властью, ни что он попытается удержать ее сверх установленного срока. Казалось, напротив, что столь огромная власть была бременем для того, кто ею был облечен, настолько он торопился от нее освободиться, как если бы это было делом слишком трудным и слишком опасным: заменять собою законы.

Поэтому не опасность дурного употребления, а опасность вырождения этой высшей магистратуры заставляет меня осуждать неумеренное пользование ею в первые времена Республики. Ибо если так щедро назначали на эту должность для проведения выборов, освящения храмов, выполнения вещей чисто формальных, то можно было уже опасаться, как бы она не стала менее грозной в случае подлинной необходимости, и как бы постепенно не привыкли видеть в диктатуре пустое звание, если его используют лишь при пустых церемониях.

К концу Республики римляне, став более осмотрительными, избегали диктатуры столь же неразумно, как прежде неразумно ею злоупотребляли. Отрадно было убедиться, что опасения их были мало основательны; что самая слабость столицы была залогом ее безопасности при всяких посягатель-

---

<sup>1</sup> Это назначение совершалось ночью и тайно, как будто стыдились поставить человека выше законов.

ствах магистратов, которые пребывали в самом ее лоне; что Диктатор мог в известных случаях защищать свободу общественную, никогда не имея возможности посягнуть на нее; и что надетые на Рим оковы, очевидно, были выкованы вовсе не в самом Риме, а в его армиях. То слабое сопротивление, которое оказали Марий — Сулле и Помпей — Цезарю, ясно показало, чего можно было ожидать от внутренней власти, обращенной против внешней силы.

Эта ошибка заставила их совершить крупные промахи: так, например, когда не назначили диктатора в деле Катилины<sup>188</sup>. Ибо, поскольку вопрос шел лишь о самом городе, и самое большое о какой-нибудь итальянской провинции, то с тою неограниченной властью, которую законы давали Диктатору, он мог бы легко рассеять заговор; а заговор этот был подавлен лишь благодаря счастливому стечению случайностей, на что никогда не должно было полагаться человеческое благоразумие.

Вместо этого, Сенат ограничился передачей всей своей власти Консулам. Так и случилось, что Цицерон, чтобы действовать успешно, был вынужден превысить свою власть в существенном пункте; и если первые взрывы ликования заставили одобрить его поведение, то впоследствии с полным основанием у него потребовали отчета за кровь граждан, пролитую вопреки законам: этого упрека нельзя было бы сделать Диктатору. Но красноречие Консула пленило всех; и сам он, хотя и римлянин, любил больше собственную славу, чем отечество, и не столько искал наиболее законного и наиболее верного способа спасти Государство, сколько средства приписать себе все заслуги в этом деле<sup>1</sup>. Поэтому его справедливо осыпали почестями как освободителя Рима и столь же справедливо наказали как нарушителя законов. Как бы блестяще ни было его возвращение из ссылки, это была уже, несомненно, милость.

Впрочем, каким бы способом ни было дано это важное поручение, важно ограничить его продолжительность весьма кратким сроком, который ни в коем случае не может быть продлен. Во время кризисов, которые и заставляют учреждать диктатуру, Государство вскоре бывает уничтожено или спасено, и, раз настоятельная необходимость миновала, диктатура делается тиранической или бесполезной. В Риме Диктаторы, оставаясь таковыми лишь на шесть месяцев, отказывались большей частью от этой должности еще до истечения срока. Если бы срок был больше, они, быть может, попытались бы еще его продлить, как поступили Децемвиры с годичным сроком. У Диктатора было лишь время, чтобы распорядиться в отношении того крайнего случая, который сделал необходимым его избрание; у него не было времени помышлять о других планах.

<sup>1</sup> Именно в этом он и не мог быть убежден, если бы предложил назначить Диктатора, так как не смел назвать самого себя и не мог быть уверен, что его коллега назовет его.

## Глава VII

### О ЦЕНЗУРЕ

Подобно тому, как провозглашение общей воли совершается посредством Закона, так и объявление суждения всего общества производится посредством цензуры. Общественное мнение есть своего рода Закон, служителем которого выступает Цензор; он лишь применяет этот закон, по примеру государя, к частным случаям.

Цензорский трибунал, таким образом, вовсе не является судьей народно-го мнения, — он лишь объявитель его; и как только он от него отходит, его решения уже безосновательны и не имеют действия.

Бесполезно проводить различие между нравами какого-либо народа и тем, что он почитает, ибо все это восходит к одному и тому же принципу и неизбежно смешивается. У всех народов мира не сама природа, а их взгляды определяют, что им любо. Исправьте взгляды людей, и нравы их сами собою сделаются чище. Любят всегда то, что прекрасно, или то, что находят таковым; но в этом-то суждении и ошибаются; следовательно, именно это суждение и следует выправлять. Кто судит о нравах, судит о чести, а кто судит о чести, тот выводит свой закон из общего мнения.

Взгляды народа порождаются его государственным устройством. Хотя Закон и не устанавливает нравы, но именно законодательство вызывает их к жизни: когда законодательство слабеет, нравы вырождаются. Но тогда приговор Цензоров уже не может сделать того, чего не сделала сила законов.

Отсюда следует, что цензура может быть полезна для сохранения нравов, но никогда — для их восстановления. Учреждайте Цензоров, пока законы в силе; как только они потеряли силу — все безнадежно; ничто, основанное на законе, больше не имеет силы, когда ее не имеют больше сами законы.

Цензура оберегает нравы, препятствуя порче мнений, сохраняет их правильность, мудро прилагая их к обстоятельствам, иногда даже уточняет их, когда они еще неопределенны. Обычай иметь секундантов на дуэлях, доведенный до умопомрачения во Французском королевстве, был здесь уничтожен единственно следующими словами одного из королевских эдиктов: *Что до тех, которые имеют трусость звать секундантов...* Этот приговор, предупреждая приговор общества, сразу же определил его. Но когда те же эдикты захотели объявить, что и драться на дуэли — это трусость, — что весьма верно, но противоречит общему мнению, — то общество подняло на смех это решение, о котором у него уже составилось свое суждение.

Я сказал в другом месте<sup>1</sup>, что так как мнение общественное не может

<sup>1</sup> Я лишь указываю в этой главе то, что я более пространно рассмотрел в *Письме к г-ну д'Аламберу* 189.

подвергаться принуждению, то не требовалось ни малейшего намека на это в коллегии, учрежденной, чтобы его представлять. Нельзя вдоволь надвинуться на то, с каким искусством этот движитель, полностью утраченный у людей новых времен, действовал у римлян, а еще лучше у лакедемонян.

Когда человек дурных нравов высказывал верное мнение в Совете Спарты, то Эфоры, не принимая его в расчет, поручали какому-нибудь добродетельному гражданину высказать то же соображение. Какая честь для одного, какое предостережение для другого, хотя ни тот, ни другой не получили ни похвалы, ни порицания! Какие-то пьяницы с Самоса<sup>11</sup> осквернили трибунал Эфоров: на другой день публичным эдиктом самосцам было разрешено быть негодьями. Настоящее наказание было бы менее сурово, чем подобная безнаказанность. Когда Спарта выносила приговор относительно того, что честно или бесчестно, то Греция не оспаривала ее приговоры.

### Глава VIII

#### О ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ<sup>190</sup>

У людей сначала не было ни иных царей, кроме богов, ни иного Правления, кроме теократического. Они рассуждали как Калигула, и рассуждали тогда правильно. Требуется длительное извращение чувств и мыслей, чтобы люди могли решиться принять за господина себе подобного и льстить себя надеждою, что от этого им будет хорошо.

Из одного того, что во главе каждого политического общества ставили бога, следовало, что было столько же богов, сколько народов. Два народа, друг другу чуждых и почти всегда враждебных, не могли долго признавать одного и того же господина; две армии, вступая в битву друг с другом, не могли бы повиноваться одному и тому же предводителю. Так из национального размежевания возникало многобожие, и отсюда теологическая и гражданская нетерпимость, что, естественно, одно и то же, как это будет показано ниже.

Если греки воображали, что находят своих богов у варварских народов, так это потому, что они, точно так же, воображали себя природными суверенами этих народов. Но в наши дни весьма смехотворной выглядит такая ученость<sup>191</sup>, которая доказывает тождественность богов различных народов; как будто Молох<sup>192</sup>, Сатурн и Кронос могли быть одним и тем же богом; как

<sup>11</sup> Они были с другого острова, который в этом случае запрещают нам назвать принятые в нашем языке приличия<sup>193</sup>.

будто Ваал<sup>194</sup> финикийян, Зевс греков и Юпитер латинян могли быть одним и тем же; как будто могло остаться что-либо общее у фантастических существ, носивших различные имена!

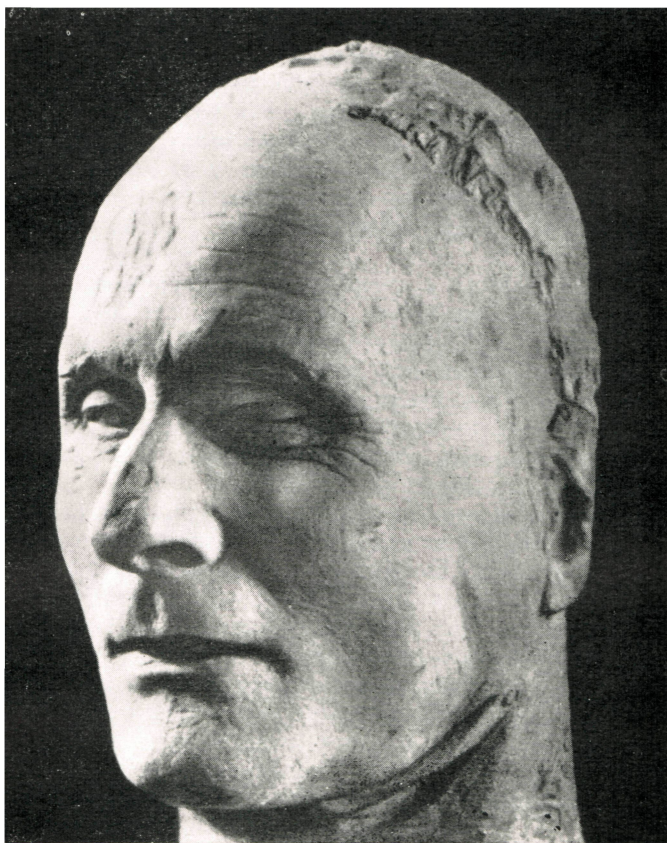
Если же спросят, почему во времена язычества, когда у каждого Государства была своя вера и свои боги, не было никаких религиозных войн, то я отвечу, что так было именно потому, что каждое Государство, имея свою веру, равно как и свое Правление, не отличало собственных богов от собственных законов. Политическая война была также религиозной; области каждого из богов были, так сказать, определены границами наций. Бог одного народа не имел никаких прав на другие народы. Боги язычников вовсе не были богами завистливыми; они разделили между собою власть над миром. Даже Моисей и народ древнееврейский иногда склонялись к этой мысли, говоря о боге Израиля. Они считали, правда, за ничто богов хананеян<sup>195</sup>, народов проклятых, обреченных на уничтожение, место которых они призваны были занять. Но посмотрите, как говорили они о божествах соседних народов, нападать на которых им было запрещено: *Разве владение тем, что принадлежит Хамосу<sup>196</sup>, вашему Богу,— говорил Иефай аммонитянам<sup>197</sup>,— не положено вам по закону? Мы по тому же праву обладаем землями, которые наш Бог-победитель приобрел для себя<sup>1</sup>*. Это означало, как мне кажется, полное признание равенства между правами Хамоса и правами бога Израиля.

Но когда евреи, подчиненные царям вавилонским, а впоследствии царям сирийским, захотели упорствовать в непризнании какого-либо иного бога, кроме своего, то этот отказ уже рассматривался как бунт против победителя и навлек на евреев те преследования, о которых можно прочесть в их истории и которым примера мы не видим нигде до возникновения христианства<sup>II</sup>.

Всякая религия была, следовательно, неразрывно связана с законами того Государства, которое ее предписывало, а раз так, то не было иного способа обратить народ в свою веру, как поработить его, ни иных миссионеров, кроме как завоеватели; а так как обязательство изменить веру было законом для побежденных, то нужно было победить, а затем уже говорить об этом. Вовсе не люди сражались за богов, но, как у Гомера, боги сражались за людей; каждый просил победы у своего бога и платил за нее новыми алтарями. Римляне, прежде чем брать какой-нибудь город, приказывали местным богам

<sup>I</sup> *Nonne ea quae possidet Chamos deus tuus tibi jure debentur?* Таков текст Вульгаты<sup>198</sup>. Отец де Каррьер перевел: *Не полагаете ли вы, что имеете право владеть тем, что принадлежит Хамосу, богу вашему?* Мне неизвестно, как сильно выражается это в древнееврейском тексте, но я вижу, что в Вульгате Иефай положительно признает право бога Хамоса и что французский переводчик ослабляет это признание посредством слов *по-вашему*, чего нет в лагинском тексте.

<sup>II</sup> Совершенно очевидно, что Фокейская война<sup>199</sup>, называемая *священной войной*, не была войной религиозной. Она имела целью наказание святотатцев, а не подчинение инаковерующих.



*Посмертная маска Ж.-Ж. Руссо  
работы Гудона*

его покинуть; и если они оставили тарентинцам их разгневанных богов, то лишь потому, что считали тогда этих богов подчиненными своим и принужденными воздавать им почести. Они оставляли побежденным их богов подобно тому, как оставляли им их законы. Венец Юпитеру Капитолийскому<sup>200</sup> был часто единственною данью, которую они налагали.

Наконец, поскольку римляне вместе со своею властью распространяли и свою веру и своих богов и так как они часто сами принимали богов побежденных народов в число своих собственных, предоставляя и тем и другим Право гражданства, то у народов этой обширной империи незаметно оказалась масса богов и верований, почти одинаковых повсюду; и вот каким образом язычество стало в известном тогда мире единственною и единой религией.

При этих-то обстоятельствах Иисус и пришел установить на земле царство духа; а это, отделяя систему теологическую от системы политической, привело к тому, что Государство перестало быть единым, и вызвало междоусобные распри, которые с тех пор уже никогда не переставали волновать христианские народы. А так как эта новая идея царства не от мира сего никак не могла уместиться в головах язычников, то они всегда смотрели на христиан, как на настоящих мятежников, которые, под личиною покорности, искали лишь удобного момента, чтобы сделаться независимыми и повелителями и ловко захватить власть, которой они, пока были слабы, выказывали лишь притворное уважение. Такова была причина гонений.

То, чего боялись язычники, свершилось. Тогда все изменило свой облик; смиренные христиане заговорили иным языком, и вскоре стало видно, как это так называемое царство не от мира сего обернулось, при видимом земном правителе<sup>201</sup>, самым жестоким деспотизмом в этом мире.

Однако, поскольку постоянно существовали также и государь и гражданские законы, то, в результате такого двоевластия, возник вечный спор относительно разграничения власти, что и сделало совершенно невозможным в христианских государствах какое-либо хорошее внутреннее управление, и никогда нельзя было понять до конца, кому — светскому господину или священнику — положено повиноваться.

Все же многие народы, и даже в Европе или в ее соседстве, захотели сохранить или восстановить прежнюю систему — но не имели успеха. Дух христианства заполонил все. Религия так и осталась или вновь сделалась независимую от суверена и утратила необходимую связь с организмом Государства. У Магомета были весьма здравые взгляды; он хорошо связал воедино всю свою политическую систему, и пока форма его Правления продолжала существовать при Халифах<sup>202</sup>, его преемниках, Правление это было едино и тем именно хорошо. Но арабы, сделавшись народом процветающим, образованным, воспитанным, изнеженным и трусливым, были покорены варварами: тогда слова началось размежевание между обеими властями. Хотя оно

и менее явственно у магометан, чем у христиан, но оно все же есть у первых, в особенности, в секте Али<sup>203</sup>; и есть государства, как Персия, где оно дает себя чувствовать и поныне.

У нас в Европе короли Англии нарекли себя главами Церкви<sup>204</sup>; так же поступили и русские цари<sup>205</sup>. Но, с помощью этого титула, они сделались не столько господами Церкви, сколько ее служителями; они приобрели не столько право ее изменять, как власть ее поддерживать; они в ней не законодатели, они в ней лишь государи. Везде, где духовенство составляет корпорацию<sup>1</sup>, оно — повелитель и законодатель в своей области. Существует, следовательно, две власти, два суверена и в Англии и в России так же, как и в других местах.

Из всех христианских авторов философ Гоббс — единственный, кто хорошо видел и зло, и средство его устранения, кто осмелился предложить соединить обе главы орла и привести все к политическому единству, без которого ни Государство, ни Правление никогда не будут иметь хорошего устройства. Но он должен был видеть, что властолюбивый дух христианства несовместим с его системой и что интересы священника будут всегда сильнее, чем интересы Государства. Не столько то, что есть ужасного и ложного в политических воззрениях Гоббса, как то, что в них есть справедливого и истинного, и сделало их ненавистными II.

Я полагаю, что, рассматривая под этим углом зрения исторические факты, легко можно было бы опровергнуть противоположные взгляды Бейля<sup>206</sup> и Уорбертона, из которых один утверждает, что никакая религия не полезна для Политического организма, а другой уверяет, напротив, что христианство — это самая твердая его опора. Можно было бы доказать первому, что не было создано ни одно Государство без того, чтобы религия не служила ему основой; а второму — что христианский закон в сущности более вреден, чем полезен, для прочного государственного устройства. Чтобы меня поняли до конца, я должен лишь придать немного более точности тем слишком неопределенным религиозным идеям, которые имеют отношение к моей теме.

Религия по ее отношению к обществу, которое может пониматься в широ-

<sup>1</sup> Следует заметить, что духовенство превращает в единый Корпус не столь его официальные собрания, как во Франции, сколь общенне Церквей. Общение и отлучение от него являются общественным соглашением духовенства, соглашением, с помощью которого оно всегда будет повелителем народов и королей. Все священники, которые пребывают между собою в общении, суть граждане, пусть даже они живут на противоположных концах света. Это изобретение — шедевр политики. Ничего подобного не существовало среди языческих священнослужителей; поэтому они никогда не составляли Корпуса духовенства.

<sup>II</sup> Смотрите, между прочим, в одном из писем Гроция к брату, от 11 апреля 1643 г., что этот ученый человек одобряет и что порицает в книге *de Cive* \*. Правда, склонный к снисходительности, он, по-видимому, прощает автору то, что он сказал хорошего, за то, что он сказал дурного, но не все столь снисходительны.

\* «О Гражданине» (лат.)<sup>208</sup>.



ком значении, или в более узком<sup>207</sup>, разделяется на два вида, именно: религию человека и религию гражданина. Первая — без храмов, без алтарей, без обрядов, ограниченная чисто внутреннею верою во всевышнего Бога и вечными обязанностями морали, — это чистая и простая религия Евангелия, истинный теизм и то, что можно назвать естественным божественным правом. Другая, введенная в одной только стране, дает ей своих богов, своих собственных патронов и покровителей. У нее свои догматы, свои обряды, свой внешний культ, предписываемый законами; исключая ту единственную нацию, которая ей верна, все остальное для нее есть нечто неверное, чуждое, варварское; она распространяет обязанности и права человека не далее своих алтарей. Таковы были все религии первых народов, которые можно назвать божественным правом гражданским или положительным.

Существует еще третий род религии, более необычный и странный; эта религия, давая людям два законодательства, двух правителей, два отечества, налагает на них взаимоисключающие обязанности и мешает им быть одновременно набожными и гражданами. Такова религия Лам, такова религия японцев, таково римское христианство<sup>209</sup>. Эту последнюю можно назвать религиозно-священнической. Отсюда происходит такой род смешанного и необщественного права, которому нет точного названия.

Если рассматривать эти три рода религии с точки зрения политической, то все они имеют свои недостатки. Третий род ее столь явно плох, что забавляться, доказывая это, значило бы попусту терять время. Все, что нарушает единство общества, никуда не годится; все установления, ставящие человека в противоречие с самим собою, не стоят ничего.

Вторая хороша тем, что соединяет в себе веру в божество и любовь к законам и тем, что, делая отечество предметом почитания для граждан, она учит их, что служить Государству — это значит служить Богу-покровителю. Это — род теократии, при которой вообще не должно иметь ни иного первосвященника, кроме государя, ни иных священнослужителей, кроме магистратов. Тогда умереть за свою страну — это значит принять мученичество; нарушить законы — стать нечестивцем; а подвергнуть виновного проклятию общества — это значит обречь его гневу богов: *Sacer est od \**.

Но она плоха тем, что, будучи основана на заблуждении и лжи, она обманывает людей, делает их легковверными, суеверными и топит подлинную веру в Божество в пустой обрядности. Она еще более плоха тогда, когда, ставясь исключительной и тиранической, она делает народ кровожадным и нетерпимым; так что он живет лишь убийством и резнею и полагает, что делает святое дело, убивая всякого, кто не признает его богов. Это, естественно ставит такой народ в состояние войны со всеми остальными, весьма вредное для собственной его безопасности.

\* Да будет проклят! (лат.).

Остается, следовательно, религия человека, или христианство, но не нынешнее, а Евангелия, которое совершенно отлично от первого. Согласно этой религии, святой, возвышенной и истинной, люди, чада единого Бога, признают себя все братьями; а общество, которое их объединяет, не распадается даже с их смертью.

Но эта религия, не имея никакого собственного отношения к Политическому организму, оставляет законам единственно ту силу, которую они черпают в самих себе, не прибавляя никакой другой; и от этого одна из главнейших связей отдельного общества остается неиспользованною. Более того, она не только не привязывает души граждан к Государству, она отрывает их от него, как и от всего земного. Я не знаю ничего более противного духу общественному.

Нам говорят, что народ из истинных христиан составил бы самое совершенное общество, какое только можно себе представить. В этом предположении я вижу только одну большую трудность: общество истинных христиан не было бы уже человеческим обществом.

Я даже утверждаю, что это предполагаемое общество не было бы, при всем его совершенстве, ни самым сильным, ни самым прочным. Вследствие того, что оно совершенно, оно было бы лишено связи; разрушающий его порок состоял бы в самом его совершенстве.

Каждый исполнял бы свой долг: народ был бы подчинен законам; правители были бы справедливы и воздержанны, магистраты — честны, неподкупны; солдаты презирали бы смерть; не было бы ни тщеславия, ни роскоши. Все это очень хорошо, но посмотрим, что дальше.

Христианство — это религия всецело духовная, занятая исключительно делами небесными; отечество христианина не от мира сего. Он исполняет свой долг, это правда; но он делает сие с глубоким безразличием к успеху или неудаче его стараний. Лишь бы ему не за что было себя упрекать, а там — для него не важно, хорошо или дурно обстоит все здесь, на земле. Если Государство процветает, он едва решается вкусить от общественного благоденствия; он боится возгордиться славою своей страны. Если Государство приходит в упадок, он благословляет руку Божию, обрушившуюся на его народ.

Чтобы в обществе царил мир и чтобы не нарушалась гармония, следовало бы, чтобы все граждане без исключения были равно добрыми христианами. Но если, к несчастью, найдется хоть один-единственный честолюбец, один-единственный лицемер, какой-нибудь Катилина, например, какой-нибудь Кромвель, то он, конечно же, легко справится со своими благочестивыми соотечественниками. Христианское милосердие с трудом допускает, чтобы было плохо худо думать о ближнем своем. Как только такому человеку, с помощью какой-либо хитрости, удастся их обмануть и завладеть частью публичной силы, — он уже укрепился в своем положении; Богу угодно, чтобы его

уважали; вскоре является и власть; Богу угодно, чтобы ей новиновалишь. Блюститель этой власти злоупотребляет ею? Это — розга, которою Бог наказывает своих детей. Совестно было бы изгнать узурпатора; нужно было бы нарушить покой общественный, пустить в ход насилие, пролить кровь. Все это плохо вяжется с кротостью христианина, и после всего разве не безразлично, быть ли свободным или рабом в этой юдоли скорби? Главное — попасть в рай; а покорность воле Божьей — это лишь еще одно средство к тому.

Случится ли какая внешняя война? граждане охотно идут на бой; ни один между ними не помышляет о бегстве; они исполняют свой долг, но без страсти к победе; они скорее умеют умирать, чем побеждать. Окажутся они победителями или побежденными, какое это имеет значение? Разве Провидение не знает лучше, что им надобно? Представьте себе, какую выгоду может извлечь неприятель гордый, неистовый, страстный из их стоицизма! Поставьте лицом к лицу с ними те благородные народы, которые снедала неукротимая любовь к славе и к отечеству; предположите, что ваша Христианская Республика стоит против Спарты или Рима. Набожные христиане будут разбиты, раздавлены, уничтожены, прежде чем они успеют опомниться, или будут обязаны спасением лишь тому презрению, которое будет питать к ним их враг. Прекрасна была, по-моему, клятва солдат Фабия: они клялись не умереть или победить; они поклялись вернуться победителями и сдержали клятву. Никогда не принесли бы подобную клятву христиане: они подумали бы, что этим искушают Бога.

Но я ошибаюсь, когда говорю Христианская Республика: каждое из этих слов исключает другое. Христианство проповедует лишь рабство и зависимость. Его дух слишком благоприятен для тирании, чтобы она постоянно этим не пользовалась. Истинные христиане созданы, чтобы быть рабами; они это знают, и это их почти не тревожит; сия краткая жизнь имеет в их глазах слишком мало цены.

Христианские войска превосходны, говорят нам. Я это отрицаю. Пусть мне покажут таковые. Что до меня, то я вообще не знаю никаких христианских войск. Мне приведут в пример Крестовые походы. Не вступая в споры о доблести крестоносцев, замечу, что это вовсе не были христиане, это были солдаты первосвященника; это были граждане Церкви. Они сражались за ее духовную страну, которую она неизвестно как превратила в земную. Строго говоря, это опять сводится к язычеству. Поскольку Евангелие не устанавливает никакой национальной религии, среди христиан невозможна священная война.

При языческих императорах христианские солдаты были храбры; все христианские авторы уверяют нас в этом, и я им верю: это было соревнование в чести с языческими войсками. Как только императоры стали христианами, это соревнование прекратилось, и когда крест изгнал орла, не стало и всей римской доблести.

Но, оставляя в стороне политические соображения, вернемся к праву и установим принципы по этому важному пункту. Право над подданными, которое получает суверен по общественному соглашению, никак не распространяется, как я сказал, далее границ пользы для всего общества<sup>1</sup>. Следовательно, подданные обязаны суверену отчетом в своих воззрениях лишь постольку, поскольку эти воззрения важны для общины. А для Государства весьма важно, чтобы каждый гражданин имел религию, которая заставляла бы его любить свои обязанности; но догматы этой религии интересуют Государство и его членов лишь постольку, поскольку эти догматы относятся к морали и обязанностям, которые тот, кто ее исповедует, обязан исполнять по отношению к другим<sup>210</sup>. Каждый может иметь, кроме этого, какие ему угодно мнения, и суверену вовсе не положено их знать. Ибо, поскольку он не обладает никакими полномочиями в ином мире, то какова бы ни была судьба его подданных в грядущей жизни, — это не его дело, лишь бы они были хорошими гражданами в этой.

Существует, следовательно, исповедание веры чисто гражданское, статьи которого надлежит устанавливать суверену; и не в качестве догматов религии, но как правила общежития, без которых невозможно быть ни добрым гражданином, ни верным подданным<sup>11</sup>. Не будучи в состоянии обязать кого бы то ни было в них верить, он может изгнать из Государства всякого<sup>211</sup>, кто в них не верит, причем не как нечестивца, а как человека, неспособного жить в обществе, как человека, неспособного искренне любить законы, справедливость и жертвовать в случае необходимости жизнью во имя долга. Если же кто-либо, признав уже публично эти догматы, ведет себя, как если бы он в них не верил, пусть он будет наказан смертью; он совершил наибольшее из преступлений: он солгал перед законами.

Догматы гражданской религии должны быть просты, немногочисленны, выражены точно, без разъяснений и комментариев. Существование Божества могущественного, разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого; загробная жизнь, счастье праведных, наказание злых, святость Общественного договора и законов, — вот догматы положительные. Что касается

<sup>1</sup> В Республике, — говорит м[аркиз] д'А[ржансон], — каждый совершенно свободен в том, что не вредит остальным<sup>212</sup>. Вот неизменная граница; ее нельзя определить более точно. Я не могу отказать себе в удовольствии сослаться иногда на эту рукопись, хотя и неизвестную публике, чтобы воздать должное памяти славного и уважаемого человека, который, даже став министром, сохранил сердце истинного гражданина и прямые и здравые взгляды на образ правления в своей стране.

<sup>11</sup> Цезарь, защищая Катилину<sup>213</sup>, пытался установить догмат смертности души. Чтобы его опровергнуть, Катон и Цицерон не стали забавляться философствованием; они ограничились указанием на то, что Цезарь говорил как дурной гражданин и выдвигал систему взглядов, гибельную для Государства. И Сенату римскому, в самом деле, надлежало принять решение именно относительно этого, а не по богословскому вопросу.

отрицательных догматов, то я ограничусь одним-единственным: это нетерпимость. Она входит в те религиозные культы, которые мы исключили.

Те, кто отличают нетерпимость гражданскую от нетерпимости теологической, по-моему, ошибаются. Оба эти вида нетерпимости не отделимы друг от друга. Невозможно жить в мире с людьми, которых считаешь проклятыми; любить их, значило бы ненавидеть Бога, который их карает; безусловно необходимо, чтобы они были обращены в нашу веру или чтобы они подверглись преследованиям. Всюду, где допущена религиозная нетерпимость, невозможно, чтобы она не имела никакого воздействия на то, что относится к гражданскому порядку<sup>1</sup>. А как только нетерпимость получает возможность такого воздействия, суверен более не суверен, даже в земной жизни. С этих пор священнослужители, это — настоящие повелители, а короли суть лишь их чиновники.

Теперь, когда нет уже и не может быть религии одного только народа, которая исключала бы все остальные, должно терпеть все религии, которые и сами терпимы к другим, если только их догматы ни в чем не противоречат долгу гражданина. Но кто смеет говорить: *вне Церкви нет спасения*, тот должен быть изгнан из Государства, если только Государство это не Церковь, и государь это не Первосвященник. Такой догмат хорош лишь при теократическом Правлении; при всяком другом он пагубен. Причина, по которой, как говорят, Генрих IV перешел в католичество<sup>214</sup>, должна была бы побудить отречься от этой веры всякого честного человека, и, особенно, всякого государя, умеющего рассуждать.

---

<sup>1</sup> Брак, например, являясь гражданским договором, дает гражданские права, без коих невозможно даже само существование общества. Предположим, что какому-либо духовенству удастся присвоить себе одному право осуществлять этот акт, — право, которое оно неизбежно должно узурпировать при всякой нетерпимой религии. Разве не ясно в этом случае, что, возвышая власть Церкви, оно сделает бесполезной власть государя, которому тогда достанутся лишь те подданные, коих соблаговолит отдать ему духовенство? Поскольку духовенство будет господином над тем, венчать или не венчать людей, смотря по тому, признают или не признают они то или иное учение; смотря по тому, примут или отвергнут они ту или иную форму исповедания; смотря по тому, будут ли они ей более или менее преданы; то разве не ясно, что, поступая благоразумно и не уступая, оно одно будет распоряжаться распределением наследств, должностей, гражданами, самим Государством, которое не сможет существовать, если оно будет состоять только из незаконнорожденных? Но, скажут, в этом увидят злоупотребление; вызовут на суд, издадут декреты, обратятся к светской власти. Какое убожество! Духовенство, если оно будет обладать сколько-нибудь, — я не говорю даже мужеством, — здравым смыслом, не будет противиться и пойдет своим путем. Оно спокойно позволит жаловаться, вызывать в суд, издавать декреты, арестовывать и в конце концов останется господином положения. Это, мне думается, небольшая жертва, — уступить часть, если ты уверен, что завладеешь всем<sup>215</sup>.

*Глава IX*  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После того, как я установил истинные принципы политического права и попытался заложить основания Государства, мне следовало бы укрепить оное посредством его внешних отношений: это включало бы международное право, торговлю, право войны и завоеваний; публичное право, союзы, переговоры, договоры и так далее. Но все это составляет уже новый предмет, чрезчур обширный, чтобы мой взгляд мог его охватить. Мне следует рассматривать то, что более близко ко мне.

# ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ДЛЯ КОРСИКИ



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Просят дать план Правления, подходящего для Корсики: это значит, что не представляют себе, сколь многого при этом просят. Существуют народы, которые, как бы за то ни взяты, не могли бы иметь хорошего Управления, потому что у них Закон не имеет твердой основы, а Правление без законов не может быть хорошим Правлением. Я не говорю, что корсиканский народ находится в такого рода положении; совсем наоборот, он представляется мне более всего предрасположенным по своей природе к тому, чтобы получить хорошее управление. Но этого еще недостаточно: все может быть применено во вред, и такие злоупотребления часто неизбежны; а коль скоро речь идет о политических учреждениях, то следует знать, что злоупотребления приходят через столь малое время после возникновения этих последних, что едва ли стоит и создавать такие учреждения, чтобы увидеть столь быстрое их вырождение.

Это неудобство хотят предотвратить посредством механизмов, удерживающих Правление в его первоначальном состоянии; на него налагают тысячу цепей, тысячу пут, чтобы удержать его, когда оно начнет клониться к вырождению; и его так спутывают, что, согнувшись под тяжестью своих оков, оно остается в бездействии, в неподвижности, и если и не склоняется к падению, то, тем не менее, неизменно идет к своему концу.

Все это происходит потому, что слишком разделяют две вещи неразделимые: организм, который управляет, и организм, которым управляют. Эти два организма в первоначальном устройстве составляют единство; они разделяются лишь впоследствии, в результате злоупотреблений.

Самые мудрые в подобном случае создают, соблюдая все необходимые условности, Правление для нации. Есть, однако, гораздо более важная задача: создать нацию для Правления. В первом случае, по мере того как Правление вырождается, соответствие исчезает, так как нация остается все тою же. Во втором случае, все постепенно изменяется; и нация, увлекая за собой Правление, сохраняет его, когда сама сохраняется, и вызывает его вырождение, когда вырождается. Нация и ее Правление подходят друг другу во все времена.

Корсиканский народ находится в том счастливом состоянии, которое делает хорошее внутреннее устройство возможным; он может приняться за это дело с самого начала и принять все меры к тому, чтобы не выродиться. Исполненный крепости и здоровья он может установить у себя в стране такое Правление, которое сохранит ему крепость и здоровье. Однако такое устройство сразу же натолкнется на некоторые препятствия. Корсиканцы не приобрели еще пороков других наций, но уже приобрели их предрассудки; эти предрассудки — вот с чем необходимо бороться и вот что нужно уничтожить, чтобы создать хорошее государственное устройство.

## ПРОЕКТ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Выгодное положение острова Корсика<sup>1</sup> и счастливый нрав его жителей, казалось бы, дают им разумную надежду на то, чтобы стать процветающим народом и занимать подобающее им положение в Европе, если в том устройстве, которое ими задумано, они обратят свои взоры в эту сторону. Но крайнее истощение, в которое их ввергли сорок лет непрерывных войн<sup>2</sup>, нынешняя бедность их острова, его безлюдность и опустошенность — состояние, в котором он теперь находится, — не позволяют сейчас же ввести у себя разорительное управление, такое, какое было бы нужно для того, чтобы создать отвечающий этой цели твердый порядок. К тому же, тысяча непреодолимых



препятствий встала бы перед ними при осуществлении этого плана. Генуя, владеющая еще частью побережья<sup>3</sup> и почти всеми приморскими поселениями, будет снова и снова, тысячу раз уничтожать их создающийся флот, беспрестанно подвергающийся двойной опасности со стороны генуэзцев и со стороны берберов<sup>4</sup>. Корсиканцы смогут владеть морем лишь с помощью вооруженных кораблей, которые обойдутся им вдесятеро дороже того, что они могли бы заработать торговлей. Не защищенные от нападения ни с суши, ни с моря, вынужденные обороняться со всех сторон, к чему они придут? Предоставленные произволу всех, не имея возможности, из-за своей слабости, заключить какое бы то ни было выгодное торговое соглашение, они были бы всем и во всем покорны; они получали бы, подвергаясь такому риску, лишь доходы, которые презрел бы всякий другой и которые неизменно сводились бы к нулю. Пусть бы даже волею счастливой случайности, что и вообразить нелегко, они преодолели все трудности, тогда само их процветание привлекло бы к ним жадные взоры их соседей и создало бы новую опасность для их плохо обеспеченной свободы. Являя собою постоянный предмет вожделений для великих Держав и зависти для малых, остров их жил бы ежеминутно под угрозой нового порабощения, от которого он уже не смог бы освободиться.

С какою бы целью ни желала корсиканская нация получить государственное устройство, первое, что она должна сделать, это — обеспечить себе самой все то постоянство, которое для нее доступно. Всякий, кто зависит от других и не имеет своих внутренних средств, не сможет стать свободным. Союзы, договоры, доверие людей — все это может привязать слабого к сильному, но никак не сильного к слабому.

Поэтому оставьте переговоры Державам и рассчитывайте лишь на самих себя. Храбрые корсиканцы, кто лучше вас знает все, что можно получить у самих себя? Не имея ни друзей, ни поддержки, ни денег, ни армии, подчиненные грозным повелителям<sup>5</sup>, вы одни, без чьей-либо помощи, сбросили их иго. Вы видели, как объединялись они в лиги, направленные против вас, как один за другим самые грозные властители Европы наводняли ваш остров чужеземными армиями; вы все превозмогли. Одна только ваша твердость совершила то, чего не смогли бы сделать никакие деньги; если бы вы желали сохранить ваши богатства, вы потеряли бы свободу. Не надо судить о вашей нации по другим нациям; принципы, взятые из вашего собственного опыта, — это и есть самые лучшие принципы, по которым вы сможете управлять собою.

Дело не столько в том, чтобы вы стали иными, чем вы сейчас, сколько в том, чтобы вы сумели сохранить себя такими, как вы есть. Корсиканцы приобрели многое с тех пор, как они получили свободу; они соединили благоразумие с храбростью; они научились подчиняться равным себе; они приобрели добродетели и добрые нравы, не имея никаких законов; если бы они могли на том остаться, я бы, пожалуй, не считал, что необходимо что-либо делать. Но

когда минет объединившая их опасность, вновь вспыхнет заглохшая было перед лицом этой опасности внутренняя рознь; и вместо того, чтобы объединить свои силы для поддержания независимости, эти враждующие группы будут использовать эти силы друг против друга, и будут уже не в силах защититься, если нападут на них еще раз. Теперь мы уже знаем, что нужно предупредить. Разделение корсиканцев на враждующие между собою группы было для их повелителей коварным средством сделать их слабыми и зависимыми<sup>6</sup>; но эта хитрость, непрерывно ими применяемая, воспитала в конце концов в жителях Корсики склонность к взаимной вражде и сделала их от природы беспокойными, мятежными, а управление ими — затруднительным, даже для их собственных правителей. Нужны хорошие законы, нужно новое внутреннее устройство, чтобы восстановить согласие, от которого тирания ничего не оставила, вплоть даже до желания его добиться. Корсика, подвластная чужеземным повелителям и не способная покорно нести на себе их жестокое иго, бурлила постоянно. Теперь нужно, чтобы ее народ научился новому и искал мира в свободе.

Вот, следовательно, те принципы, которые, по-моему, должны служить основой для их законодательства: использовать все лучшие качества своего народа и своей страны в наибольшей мере; развивать и объединять собственные свои силы; лишь на эти силы опираться; и не помышлять о чужеземных Державах, как если бы ни одной из них вовсе не существовало.

Будем отпирать от этого при обосновании принципов наших установлений.

Остров Корсика не может увеличить свои денежные богатства, поэтому он должен стремиться стать богаче людьми. Сила, которую дает численность населения, более существенна, нежели та, которую дают финансы, и действует она гораздо вернее. То, что создают руки человеческие, всем видно и всегда предназначено для всех. Не так обстоит дело с использованием денег: они текут и тают в делах частного назначения; их копят для одной цели; их тратят на другую; народ платит за то, чтобы ему оказывали покровительство, и то, что он отдает, служит для его же угнетения. Из этого следует, что Государство, богатое деньгами, всегда слабо, а Государство, богатое людьми, всегда сильно<sup>7</sup>.

Чтобы умножить число людей, нужно умножить сумму средств к их существованию; отсюда — земледелие. Я понимаю под этими словами не искусство вдаваться в тонкости сельского хозяйства, учреждать академии, которые о нем рассуждают, создавать книги, которые касаются этого предмета. Я имею в виду государственное устройство, которое побуждает народ расселяться по всей поверхности занимаемой им территории и там оседать; обрабатывать эту территорию во всех местах; любить сельскую жизнь и труды, к ней относящиеся; находить в ней в такой мере все необходимое и все при-

ятное для жизни, чтобы уже не иметь никакого желания эту жизнь оставить. Склонность к сельскому хозяйству благотворна не только потому, что она умножает средства к существованию населения, но также потому, что она придает нации в целом такой характер и такие нравы, которые все больше увеличивают численность самого населения. Во всякой стране прирост населения в деревнях больше, чем в городах, по причине ли простоты сельской жизни, которая создает телосложение более крепкое; по той ли причине, что сельские жители заняты упорным трудом, а это предупреждает разврат и пороки. Ибо при всех прочих равных условиях, самые целомудреннейшие женщины, у которых чувственность менее всего подогревается постоянною привычкою к наслаждениям, они производят на свет больше детей, чем другие; и не менее достоверно, что мужчины, истощенные развратом, неизбежным плодом праздности, менее способны к зачатию, чем те мужчины, которых трудовой образ жизни делает более сдержанными.

Крестьяне привязаны к своей земле много больше, чем горожане — к своим городам. Равенство, простота сельской жизни имеют для тех, кто никакой другой жизни не знает, такую привлекательность, что у них не возникает желания сменить свою жизнь на другую. Отсюда — удовлетворенность своим состоянием, которая делает человека спокойным; отсюда — любовь к отечеству, которая привязывает его к существующему в стране внутреннему устройству.

Обработка земли делает людей терпеливыми и крепкими, такими, какие нужны, чтобы стать хорошими солдатами. Те солдаты, которых набирают в городах, строптивы и изнежены; они не могут переносить тяготы войны; число их тает во время переходов; их уносят болезни; они дерутся друг с другом и бегут при виде врага. Закаленная милиция — вот войска самые надежные и наилучшие; настоящее воспитание солдата — обработка земли.

Единственное средство удержать Государство в состоянии независимости от кого-либо — это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться — вы зависите от других; ваши соседи могут назначить вам за ваше серебро ту цену, какая им будет угодна, потому что они могут ждать. Хлеб же, который нам необходим, имеет для нас такую цену, что мы не можем по этому поводу спорить; а во всякого рода торговле тот, кто меньше всего торопится, диктует свою цену другому. Я признаю, что при системе финансовой надо было бы исходить из других соображений; все зависит от конечной цели, к которой мы стремимся. Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу.

Скажут, что лучше было бы иметь и то, и другое; но эти вещи несовместимы, как это будет показано дальше. Во всякой стране, скажут мне далее, возделывают землю. Я с этим согласен: так же, как во всякой стране ведется торговля, повсюду продают и покупают, мало или много — но это не значит, что повсюду сельское хозяйство и торговля процветают. Я не рассматриваю

здесь то, что делается вследствие необходимого хода вещей, но то, что вытекает из особенностей того или иного Правления и общего духа нации.

Хотя форма Правления, которую народ принимает, определяется чаще случаем и счастьем, чем его выбором, однако в природе и почве каждой страны заложены такие качества, которые делают одно Правление более подходящим, чем другое; и каждая форма Правления имеет особую силу, которая склоняет народы к тому или иному занятию.

Форма Правления, которую нам следует избрать, во-первых, не будет дорогостоящей, потому что Корсика бедна; а во-вторых, — более всего благоприятна для сельского хозяйства, так как сельское хозяйство является пока что единственным занятием, которое может сохранить корсиканскому народу добытую им независимость и дать ему ту устойчивость, в которой он так нуждается.

Управление, которое обходится дешевле всего, это — такое управление, которое имеет меньше всего ступеней и требует наименьшего числа различных разрядов: это, в общем, — строй республиканский, и, в частности, — демократический.

Управление, более всего благоприятное для сельского хозяйства, это — такое управление, которое не сосредоточено в одном каком-либо месте и не требует неравномерного расселения народа, но позволяет ему равномерно расселиться по данной территории: такова демократия.

Мы видим в Швейцарии весьма поразительное применение этих принципов. Швейцария — в общем страна бедная и бесплодная. В ней повсюду республиканское Правление. Но в более плодородных кантонах, таких как кантоны Бернский, Солерский и Фрибургский, Правление аристократическое. В более бедных кантонах, там, где обработка земли — дело более неблагодарное и требует большего труда, Правление демократическое. Государство имеет лишь то, что нужно, чтобы существовать при простейшей форме управления. Оно истощилось бы и погибло при всякой иной.

Скажут, что Корсика, страна более плодородная и расположенная в более мягком климатическом поясе, может снести и более обременительное Управление. Это было бы верно в иное время; но теперь, угнетенная долгим рабством, истощенная долгими войнами, корсиканская нация прежде всего нуждается в том, чтобы восстановить свои силы. Когда она использует богатства своей плодородной земли, она сможет помышлять о том, чтобы стать процветающей, и дать себе более блестящее управление. Скажу больше того: успех первоначального устройства вызовет в дальнейшем необходимость его изменения. Возделывая поля, мы образовываем свой ум; всякий земледельческий народ множится; он умножается в соответствии с тем, что приписит ему земля; и, когда эта земля плодородна, он умножается, в конце концов, столь усиленно, что земли может ему уже не хватить; тогда он вынужден создавать колонии<sup>8</sup> или изменить свое Правление.

Когда страна перенаселена, избыток жителей нельзя уже использовать для обработки земли; этот избыток надлежит использовать в промышленности, в торговле, в ремеслах; и эта новая система требует другого управления. Пусть же государственное устройство, которое собирается создать Корсика, приведет эту страну в скором времени к необходимости изменить его именно таким образом! Но пока не будет в ней людей больше, чем она может занять, пока на острове останется хоть пядь целины, Корсика должна придерживаться земледельческой системы и не менять ее до тех пор, пока территория острова не окажется уже недостаточной для народа, населяющего этот остров.

Земледельческая система требует, как я сказал, демократического строя; таким образом, форма управления, которую нам предстоит избрать, уже ясна. Правда, при ее применении предстоит внести некоторые изменения в соответствии с величиною острова; ибо Правление чисто демократическое подходит скорее для небольшого города, чем для нации. Невозможно собрать в одном месте все население страны, как это можно сделать с населением одного города; а когда верховная власть вручается депутатам, Правление уже изменяется и становится аристократическим. Для Корсики подходит смешанное Правление, то есть такое Правление, когда народ собирается вместе лишь по частям и когда блюстители его власти часто сменяются. Это прекрасно понял автор сочинения, написанного в 1764 г. в Весковадо<sup>9</sup>; сочинении превосходного, по которому можно уверенно справляться обо всем, что нами здесь не объясняется.

Эта форма, утвердившись, даст два преимущества. Первое — то, что управление будет поручаться лишь небольшому числу людей; это позволяет выбирать людей просвещенных. Второе — то, что все члены Государства станут оказывать содействие верховной власти: это создаст для всего народа условия для полного совершенства, позволит ему расселиться по всей поверхности острова и заселить этот остров повсюду равномерно. В этом — основной принцип предлагаемого нами устройства. Сделаем же его таким, чтобы оно повсюду поддерживало равновесие населения; и одним этим мы сделаем государственное устройство Корсики самым совершенным, какое возможно. Если хорош этот принцип, то наши правила становятся вполне ясны, и все наше дело удивительно упрощается<sup>10</sup>.

Часть этого дела уже сделана: нам предстоит разрушить не столько учреждения, сколько предрассудки; дело идет не столько об изменении, сколько о завершении. Ваши установления подготовили сами генуэзцы; заботою, достойною Провидения, они, думая укрепить тиранию, заложили основу свободы. Они отняли у вас почти всякую торговлю; и, в самом деле, для вас сейчас не время иметь торговлю. Если бы была для вас возможна внешняя торговля, то ее следовало бы запретить до тех пор, пока ваше государственное устройство не получит прочного основания и пока внутри своей страны

вы не будете получать все, что можете получить. Генуэзцы препятствовали вывозу продуктов питания, которые вы производите; а ваши интересы требуют вовсе не того, чтобы эти продукты вывозились, но того, чтобы на острове рождалось достаточно людей, чтобы их потреблять.

Отдельные церковные приходы и судебные округа<sup>11</sup>, которые генуэзцы образовали или собирались учредить, чтобы облегчить себе сбор податей,— это единственное возможное средство установить демократию для всего народа, который не может сразу собраться в одном месте. Эти приходы и округа суть также единственное средство, чтобы страна была независимой от городов, которые легче держать под ярмом. Они, кроме того, постарались уничтожить знать, лишить ее званий и титулов, уничтожить крупные лены. Это счастье для вас, что они взяли на себя все, что в этом деле было отталкивающего, все, что вы, быть может, не смогли бы сделать, если бы не сделали они того прежде вас. Заканчивайте же их дело без колебаний; полагая, что трудятся ради себя, они трудились ради вас. Только цели у вас весьма разные: генуэзцам важна была сама эта мера, а вам — ее последствия. Они хотели лишь унижить благородное сословие; вы же хотите облагородить нацию. Это — вопрос, по которому у корсиканцев, как я вижу, нет еще здравых предствлений. Во всех своих меморандумах, в Аахенском протесте<sup>12</sup>, они жаловались, что Генуя унизила или, даже более того, уничтожила их знатное сословие. Это было, несомненно, огорчительно, но не было бедою; это, напротив,— преимущество, без которого им было бы невозможно оставаться свободными.

Это значит принять тень за тело — видеть достоинство Государства в титулах некоторых из его членов. Когда Корсика принадлежала Генуе, ее населению могло быть полезно иметь маркизов, графов, титулованную знать, которая служила, так сказать, посредником корсиканского народа перед Республикою. Но против кого были бы нынче полезны подобные защитники, которые способны не столько оградить корсиканский народ от тиранни, сколько присвоить себе право самим его тиранить? которые разоряли бы народ своими притеснениями и раздорами до тех пор, пока один из них, поработивши прочих, не превратил бы всех своих сограждан в своих подданных?

Будем различать два рода знати: знать феодальную, которая присуща монархии, и знать политическую, которая присуща аристократии. Первая из них имеет несколько званий или ступеней: одни здесь титулованные, другие — не титулованные, начиная с крупных вассалов и кончая простыми дворянами; права этой знати, хотя и являются наследственными,— это так сказать, права индивидуальные; они остаются закрепленными за каждою семьею и, будучи совершенно независимыми друг от друга, они независимы также от внутреннего устройства Государства и от суверенитета. Вторая, напротив, объединена в единую нераздельную корпорацию, все права которой принадлежат целому, а не отдельным его членам; эта знать составляет столь существ-

венную часть Политического организма, что ни она не может без него существовать, ни он без нее; и все индивидуумы, ее составляющие, по своему рождению будучи равны по титулам, привилегиям и своему авторитету, сливаются в одно под общим названием патрициев.

Из титулов, которые носила древняя корсиканская знать, из названий феодальных поместий, которыми она владела, и из ее почти суверенных прав явствует, что эта знать принадлежала к первому роду и что она была обязана своим происхождением либо завоевателям — маврам или французам, либо государям, которым папы пожаловали остров Корсику<sup>13</sup>. Но дворянство этого рода тем менее имеет оснований войти в демократическую или смешанную Республику, что оно не может даже быть включено в состав аристократии, ибо аристократия допускает лишь права всей корпорации, а не индивидуальные права. Демократия, после добродетели, не признает ничего благородным, кроме свободы; аристократия также не признает благородным ничего, кроме законной власти. Все, что чуждо для определенного внутреннего устройства, должно быть изгнано бесследно из Политического организма. Оставьте же другим Государствам все эти титулы маркизов и графов, унижительные для простых граждан<sup>14</sup>. Основным законом ваших установлений должно быть равенство. Все должно подчиняться равенству, вплоть до самой власти, которая устанавливается лишь для того, чтобы его защищать. Все должны быть равны по праву рождения; Государство должно жаловать отличия лишь за заслуги. за добродетели, за службу отечеству; и эти отличия не должны уже быть наследственными, если качества, давшие к тому основания, не перешли по наследству. Мы вскоре увидим, как можно выделить у народа различные разряды так, чтобы рождение и знатность не играли при этом никакой роли. Все лены, присяга вассалов, чинш и феодальные повинности<sup>15</sup>, уничтоженные ранее, будут таким образом уничтожены навсегда; и Государство выкупит все еще существующие так, чтобы все сеньориальные грамоты и права<sup>16</sup> были уничтожены и отменены на всем острове<sup>1</sup>.

Чтобы все части Государства сохраняли между собою, насколько сие возможно, такое же равенство, как то, которое мы стремимся установить между индивидуумами, следует упорядочить границы областей, церковных приходов и судебных округов так, чтобы уменьшить ту крайнюю неравномерность, которая в них наблюдается. Одна только провинция, включающая Бастию и Неббьо, насчитывает столько же жителей, сколько семь провинций — Капкорсо, Аллерия, Портовеккьо, Сартене, Вико, Кальви и Альгальола. Провинция Аяччо насчитывает больше жителей, чем все четыре соседние с нею провинции вместе взятые. Не устраняя границ полностью и не уничтожая существующих отношений и делений, можно уменьшить посредством некоторых

<sup>1</sup> Я вижу из различных сочинений, которые были мне переданы, что корсиканцы весьма горюют о своем дворянстве и об уничтожении ленов.

небольших изменений эти огромные несоразмерности. К примеру, упразднение ленов делает возможным образовать из территории ленов Канари, Брандо и Нонца новый судебный округ, который, будучи дополнен церковным приходом Пьетрабуньо, окажется по своим размерам примерно равным судебному округу Капокорсо. Лен Истрия, объединенный с провинцией Сартене, все же не уравнивает еще эту провинцию в размерах с провинцией Кортте; а провинция Бастия и Неббьо, если ее даже и уменьшить на один церковный приход, может быть разделена на два судебных округа, все еще весьма крупные, которые будет отделять друг от друга Гуоло. Это лишь к примеру, чтобы вы меня поняли; ибо я не знаю достаточно местность, чтобы я мог что-либо решить окончательно.

Благодаря этим незначительным изменениям, остров Корсика, который я вижу полностью свободным, окажется разделенным на двенадцать судебных округов, не слишком отличающихся друг от друга по своим размерам и значению, особенно после того, как мы ограничим, как должно сделать, муниципальные права городов и тем самым сократим ту сферу юрисдикции, которую эти округа обладали благодаря этим городам.

Города в стране полезны настолько, насколько в них развивают торговлю и ремесла; но для системы, которую мы приняли, города вредны. Их жители — или земледельцы, или бездельники. Но землю всегда лучше обрабатывают крестьяне, чем горожане; а вот от праздности-то и идут все пороки, которые до настоящего времени разоряли Корсику. Глупая гордость горожан лишь развращает землянщца и отбивает у него охоту трудиться. Предавшись изнеженности и тем страстям, которые она возбуждает, горожане погружаются в разврате и продают себя, чтобы удовлетворить эту потребность. Корысть заставляет их раболепствовать, а безделье лишает покоя; они рабы или бунтовщики, но никогда несвободные люди. Это различие ощутимо давало себя знать в течение всей недавней войны и с тех пор, как нация разбила свои оковы. Сила и крепость ваших приходов — вот что свершило нынешний переворот; их неизбежность — вот что его поддержало; к вам от них перешло это непоколебимое мужество, которого не могли сломить никакие превратности судьбы. Города, населенные людьми корыстолюбивыми, предали свою нацию, чтобы сохранить себе несколько ничтожных привилегий, которым генуэзцы умели искусно придать цену; и, справедливо наказанные за свою трусость, города остаются гнездами тирании, тогда как корсиканский народ наслаждается уже с гордостью свободой, которую он добыл ценою своей крови.

Вовсе не нужно, чтобы земледельческое население взирало с вождедением на жизнь в городах и завидовало судьбе бездельников, их населяющих; вовсе не нужно, следовательно, поощрять переезд в города особыми преимуществами, задерживающими заселение всей страны и подрывающими свободу нации. Нужно, чтобы землепашец не стоял по рождению своему ниже кого



бы то ни было; чтобы он видел над собою лишь законы и магистратов; и чтобы он сам мог стать магистратом, когда он того достоин по своим дарованиям и неподкупности. Одним словом, города и их жители так же, как феоды и их владельцы, не должны сохранить никаких особых привилегий. Все на острове должны иметь одинаковые права, нести одинаковые повинности. и остров должен превратиться целиком и полностью в то, что именуют местным названием: Terra di commune \* 17.

Но если города вредоносны, то столицы приносят вред еще больший; столица — это бездна, в которой почти вся нация теряет свои добрые нравы, законы, свое мужество и свободу. Воображают, что большие города способствуют росту сельского хозяйства, потому что они поглощают много продовольствия; но еще больше они поглощают земледельцев, либо в результате желания этих последних взяться за новое привлекающее их ремесло, либо в результате естественного разращения городского населения, которое получает постоянное пополнение из деревень. В окрестностях столицы дарит оживление; но чем больше от нее удаляешься, тем больше все напоминает пустыню. Из столицы идет непрерывно дыхание той чумы, которая истощает и, в конце концов, уничтожает нацию.

Однако каждому Правительству необходим центр, некое средоточие, которому бы все подчинялось: было бы слишком неудобно сделать верховное управление перемещающимся с места на место. Чтобы оно могло переходить из провинции в провинцию, пришлось бы разделить остров на несколько небольших союзных Штатов, из которых каждый по очереди превращался бы в средоточие верховной власти; но эта система усложнила бы ход государственной машины; ее части были бы меньше между собою связаны.

Остров, не будучи столь большим, чтобы сделать такого рода разделение необходимым, все же слишком велик, чтобы можно было обойтись совсем без столицы. Но следует, чтобы все судебные округа имели свой объединяющий центр в столице, однако без того, чтобы в эту столицу тянулось население; чтобы все с нею сообщалось и чтобы все, тем не менее, оставалось на своем месте. Одним словом нужно, чтобы место пребывания верховного Правительства было не столько столицею, сколько главным городом.

Сама необходимость определила здесь выбор нации так, как это сделал бы разум. Генуэзцы, сохранив господство над приморскими городами, оставили вам лишь город Кортэ<sup>18</sup>; расположенный не менее удачно, для управления корсиканского, чем Бастиа для управления генуэзского. Кортэ, находящийся в середине острова, отстоит со всех сторон почти на равном расстоянии от побережья. Он расположен как раз между обеими большими частями острова di quà и di là de'monti \*\* и в равной мере доступен всем. Он расположен да-

\* Территория коммуны (итал.).

\*\* По эту и по ту сторону гор (итал.).

леко от берега, что сохранит его жителям их нравы, простоту, прямодушие, национальный характер долгие, чем если бы он был подвержен влиянию чужестранцев. Он расположен в самой возвышенной части острова с весьма здоровым климатом, но мало плодородной почвой, и почти у истока рек: это, делая подвоз продовольствия более затруднительным, никак не позволяет ему слишком разрастаться. Если же добавить ко всему этому предосторожность, состоящую в том, чтобы не делать ни одну из важных государственных должностей ни наследственную, ни даже пожизненную, то следует предположить, что должностные лица, будучи лишь временными жителями в этом городе, долго не придадут ему того пагубного великолетия, которое порождает блеск и гибель Государств.

Вот первые соображения, на которые меня натолкнуло беглое ознакомление с местными условиями острова. Прежде чем говорить теперь более подробно о Правлении, следует начать с того, что оно должно делать и какими принципами должно руководиться. Вот что окончательно определит его форму; ибо каждая форма Правления имеет свой присущий и свойственный ей дух, от которого она никогда не уклонится.

Мы разравнивали до сих пор национальную почву<sup>19</sup> настолько, насколько могли это сделать; попытаемся же теперь начертать на ней план здания, которое нужно воздвигнуть. Первый принцип, из которого нам следует исходить, — это национальный характер: каждый народ имеет или должен иметь национальный характер; если бы не было его у народа, то пришлось бы начинать с того, чтобы ему такой характер дать. Жители островов, в особенности, мало смешиваются с другими народами и поэтому имеют обычно наиболее ярко выраженный национальный характер. В частности, корсиканцы обладают таковым от природы; и если этот характер, обезображенный рабством и тиранией, с трудом теперь распознается, зато, благодаря обособленному положению корсиканцев, его легче восстановить и сохранить.

Остров Корсика, говорит Диодор<sup>20</sup>, горист, порос лесами и орошается большими реками. Жители его питаются молоком, медом и мясом, которые страна дает им очень щедро; они соблюдают в отношениях между собою принципы справедливости и человечности более неуклонно, нежели другие варвары; тот, кто первым нашел мед в горах или в дуплах деревьев, уверен, что никто не будет у него этот мед оспаривать. Они всегда уверены в том, что найдут своих овец, который каждый метит своим знаком и затем отпускает пастись без всякой охраны; тем же духом равенства, они, очевидно, руководятся во всех обстоятельствах своей жизни.

Великие историки умеют в самых простых рассказах без собственных рассуждений объяснить читателю причину каждого факта, о котором они сообщают.

Если страна заселена не колонистами, то изначальный характер жителей определяется именно природою почвы. Земля грубая, неровная, труднообра-

батываемая должна доставлять больше пищи зверям, чем людям; поля там должны быть редки, а пастбища обильны. Отсюда — разведение скота и пастушеская жизнь. Стада, принадлежащие отдельным людям, бродящие в горах, перемешиваются, смешиваются. Нет иного замка, чтобы запереть мед, кроме метки первого, кто его нашел; собственность может устанавливаться и сохраняться лишь на основе общего доверия; и крайне необходимо, чтобы все было справедливо: иначе ни у кого ничего не будет, и народ погибнет.

Горы, леса, реки, пастбища — можно подумать, что читаешь описание Швейцарии? Поэтому-то в Швейцарии некогда встречался тот национальный характер, который Диодор приписывает корсиканцам, — справедливость, человечность, доверие. Вся разница состояла в том, что, живя в более суровом климате, швейцарцы были более трудолюбивы; погребенные в течение шести месяцев под снегом, они вынуждены были делать запасы на зиму; разбросанные по своим скалам, они обрабатывали их, затрачивая много труда, который делал их крепкими; постоянный труд не давал им времени узнать страсти; сообщения были все время затруднены, и потому, когда снега и льды окончательно их разъединяли, каждый в своей хижине был вынужден довольствоваться самим собою и своею семьей: отсюда — их несложные и грубые промыслы. Каждый занимался в своем доме всеми необходимыми ремеслами: все были каменщиками, плотниками, возчиками. Реки и потоки, разделяющие их друг от друга, давали зато каждому из них средства обойтись без своих соседей; множились лесопилни, кузни, мельницы; они научились использовать ручьи как для того, чтобы приводить в движение колеса, так и для того, чтобы иметь больше воды для поливов. Так, среди их пропастей и холмов, каждый, живя на своей земле, научился извлекать из нее все, что ему необходимо, чувствовать себя на ней привольно и не желать ничего сверх этого. Так как интересы и нужды не сталкивались и так как никто не зависел от другого, то все они имели между собою лишь добродетельные и дружеские связи; согласие и мир царили в их многочисленных семействах. Не приходилось им почти ни о чем между собою договариваться, кроме как о браках, в которых считались лишь с природной склонностью; эти браки заключались не из честолюбия и их не могли расстроить ни выгода, ни неравенство.

Так этот народ бедный, но не испытывавший ни в чем нужды, жил в совершеннейшей независимости и множился, таким образом, в единении, которого ничто не могло нарушить; у него не было добродетелей, ибо ввиду отсутствия пороков, которые нужно было бы преодолевать, ему ничего не стоило поступать добродетельно; и народ этот был добрым и справедливым, даже не зная, что такое справедливость и что — добродетель. Из силы, с какою эта трудовая и независимая жизнь привязывала швейцарцев к их отечеству, и возникли два главных средства для его защиты, именно: согласие в решениях и мужество в сражениях. Когда подумаешь о постоянном единстве, которое царило среди этих мужей, без повелителей, почти без законов, мужей,

которых окружавшие их государи с помощью всяческих ухищрений политики пытались разобщить; когда видишь неколебимую твердость, стойкость, даже ожесточение, которое эти грозные люди проявляли в сражениях, решившись умереть или победить и не допуская даже мысли о том, чтобы отделить свою жизнь от свободы, — нетрудно уже постигнуть те чудеса, которые они совершали для защиты своей страны и независимости; не удивляешься больше, когда видишь, как три величайшие державы<sup>21</sup> и войска самые закаленные в Европе поочередно терпели неудачу в своих действиях против этой геронческой нации, которую простота ее делала столь же непобедимой для хитрости, как мужество ее — для доблести. Корсиканцы! Вот пример, которому вы должны следовать, чтобы вернуться к вашему первоначальному состоянию.

Но эти поселения, которые знали сначала лишь самих себя, свои горы и свой домашний скот, защищаясь от других наций, узнали эти другие нации; их победы открыли им границы соседей; слава их храбрости породила у государей мысль их использовать. Государи начали содержать на жалованьи эти войска, которые они не могли победить; эти храбрые люди, которые столь хорошо защищали свою свободу, стали душителями свободы других народов. Вызывало удивление то, что они сохранили, служа чужим государям, ту же доблесть, с какою они этим государям противостояли, ту же верность, какую сохраняли они своему отечеству; что они продавали за деньги доблести, которые менее всего можно купить и которые деньги в самом скором времени развращают. Но в эти ранние времена они сохраняли на службе у государей ту же гордость, с какою они этим государям противостояли; они смотрели на себя не столько как на телохранителей, сколько как на защитников, и считали, что продают государям не столько свои услуги, сколько свое покровительство.

Незаметно они развратились и стали уже только наемниками; вкус к деньгам дал им почувствовать, что они бедны; презрение к своему состоянию неприметно уничтожило добродетели, порожденные этим состоянием, и швейцарцы превратились в людей, которые обходятся в пять су, подобно тому, как французы обходятся в четыре. Другая причина, более скрытая, развратила эту крепкую нацию. Уединенная и простая жизнь делала их независимыми так же, как и сильными; каждый из них не знал иного господина, кроме себя; но так как у них у всех были одинаковые интересы и одинаковые вкусы, то они без труда объединялись, ибо желали сделать одно и то же; однообразие их жизни заменяло им Закон. Но когда в результате общения с другими народами они приучились любить то, чего должны были бы опасаться, и восхищаться тем, что должны были бы презирать, честолюбие предводителей заставило их изменить своим правилам; они почувствовали, что для того, чтобы лучше господствовать над народом, надо привить ему другие вкусы, которые сделают людей зависимыми друг от друга. Отсюда — появление торговли, промыслов и роскоши, которые, привязывая частных лиц к установленной в об-

ществе власти их ремеслами и нуждами, заставляют их зависеть от тех, которые управляют, гораздо больше, чем это имело место в их первоначальном состоянии.

Бедность начала ощущаться в Швейцарии лишь тогда, когда в этой стране начали появляться деньги; деньги установили такое же неравенство в средствах к жизни, как и в судьбах людей; они стали для всех, кроме полностью неимущих, главным средством приобретения. Торговые заведения и мануфактуры увеличились в числе; ремесла отняли множество рук у сельского хозяйства. Люди, неравномерно расселяясь, множились и переселялись в края, более благоприятно расположенные, где легче было добывать средства к жизни. Одни покинули свою родину, другие стали для нее бесполезными, ибо потребляли и ничего не производили; большое число детей стало им в тягость. Населенность заметно уменьшилась; и в то время как множилось население в городах, возросшее пренебрежение к обработке земель, более обременительные жизненные потребности, делая более необходимыми иноземные товары, поставили страну в большую зависимость от ее соседей. Праздная жизнь породила разврат и умножила число прихлебателей в свите властителей; любовь к отечеству, угасшая во всех сердцах, уступила место одной только любви к деньгам; и так как все чувства, возвышающие душу, были подавлены, не видно было больше ни твердости в поведении, ни силы в решениях. Когда-то бедная Швейцария диктовала свою волю Франции; теперь же богатая Швейцария дрожит, когда нахмурит брови какой-нибудь французский министр<sup>22</sup>.

Вот великие уроки для корсиканского народа; посмотрим же, как он должен их использовать. Корсиканский народ сохраняет многие из своих исконных добродетелей, которые намного облегчат ему его новое государственное устройство. Он также приобрел в рабстве много пороков, от которых он должен освободиться. Из этих пороков некоторые исчезнут сами собою с исчезновением причины их породившей, для прочих же нужно, чтобы противоположная причина искоренила страсть, их порождающую.

Я ставлю на первое место неукротимый и свирепый нрав, который приписывают корсиканцам. Обвиняют их и в том, что они строптивы: откуда это может быть известно, если ими никогда не управляли по справедливости? Возбуждая их все время друг против друга, следовало бы заметить, что эта вражда оборачивается нередко против тех, которые ее породили.

Я ставлю на второе место склонность к воровству и убийствам, внушившую к корсиканцам всеобщее отвращение. Источник этих двух пороков — лень и безнаказанность. Это вполне понятно, когда речь идет о первом из них, и это легко доказать, когда речь идет о втором: семейные распри и мстительные замыслы, которые беспрестанно занимали их умы, рождаются в праздных беседах, принимают определенную форму в мрачных размышлениях и без труда приводятся в исполнение, раз есть уверенность в безнаказанности.

Кто не проникся бы ужасом и отвращением к варварскому Правительству, которое при виде того, как эти несчастные убивают друг друга, не щадило никаких усилий, чтобы их к тому побуждать снова и снова? Убийство не было наказуемо; что я говорю? оно вознаграждалось; цена крови была одним из доходов Республики. Нужно было, чтобы несчастные корсиканцы, дабы избежать полного взаимного уничтожения, данью выкупали себе, как милость, право не носить оружия<sup>23</sup>.

Пусть корсиканцы, приученные к трудовой жизни, расстанутся с привычкою бродить по острову как бандиты; пусть их занятия спокойные и простые держат их в кругу своей семьи; пусть эти занятия оставляют им мало выгод, которые они могли бы между собою оспаривать! Пусть их труд легко доставляет им средства существования, им и их семьям! Пусть те, у которых есть все необходимое для жизни не будут, кроме того, обязаны иметь деньги в звонкой монете: либо для того, чтобы платить оброк и прочие подати, либо для того, чтобы удовлетворять свои прихоти и стремление к роскоши, которая, нисколько не содействуя благополучию того, кто ею похваляется, лишь возбуждает зависть и ненависть остальных!

Легко видеть, как система, которую мы избираем, несет с собой все эти преимущества; но этого недостаточно. Дело идет о том, чтобы приучить народ к этой системе, чтобы заставить его полюбить то занятие, которое мы ему хотим дать, определить этим занятием свои удовольствия, желания, вкусы, превратить его в счастье всей жизни и им ограничить свои честолюбивые замыслы.

Генуэзцы хвастаются, что они способствовали развитию на острове сельского хозяйства; корсиканцы, кажется с этим соглашаются. Я же с этим не соглашусь; они не преуспели, а это доказывает, что то была попытка с негодными средствами. Поступая так, Республика не ставила себе задачей увеличение числа жителей острова, поскольку она открыто покровительствовала убийствам; Республика не ставила себе задачей и обеспечить корсиканцам жизнь в довольстве, потому что она разоряла их поборами; она не ставила себе задачей даже облегчение взимания податей, потому что она взимала пошлины за продажу и перевозку различных видов продовольствия и запрещала их вывоз. Она имела своею целью, напротив, сделать те же самые подати, которые она не решалась увеличить, еще более обременительными; она имела своею целью держать корсиканцев в унижении, привязывая их, так сказать, к их нивам; отвращая их от торговли, от ремесел, от всех доходных промыслов; мешая им возвышаться, получать образование, обогащаться. Она заботилась о том, чтобы все продукты питания скупались по заниженным ценам в силу монопольного права ее чиновников. Она принимала все меры к тому, чтобы выкачать из острова все деньги, дабы сделать деньги необходимыми на острове и непременно помешать их притоку на остров. Никакая тирания не смогла бы употребить уловки более утонченной; делая вид, что

поощряет земледелие, она истощала нацию до предела; она хотела превратить ее в толпу презренных крестьян, живущих в самой жалкой нищете.

Что из всего этого получилось? Корсиканцы, потеряв веру в себя, оставили работу, которая уже не давала им никакой надежды; они предпочитали ничего не делать, чем трудиться себе в убыток. Жизнь трудовая и простая уступила место лени, безделью, всякого рода порокам: кража доставляла им деньги, в которых они нуждались, чтобы платить оброк, и которых они никак не могли получить от продажи плодов своего труда; они покидали свои поля, чтобы идти трудиться на большие дороги.

• • •

Я не вижу никаких других более быстрых и более надежных средств, чтобы восстановить положение, кроме как два следующие: привязать, так сказать, людей к земле, чтобы они получали от нее свои права и свои отличия; и другое средство — укрепить эту связь семейными узами, сделав ее необходимою для отцовского состояния.

Я думаю, что, опирая основной Закон на вытекающие из природы вещей различия в состояниях, корсиканскую нацию можно разделить на три класса, неравенство которых, оставаясь неизменно личным, могло бы успешно заметить неравенство, связанное с происхождением или с местом жительства, неизбежное следствие системы привилегий феодальных и городских, нами уничтожаемой. Первым классом будет класс *граждан*; вторым — класс *патриотов*; третьим — класс *соискателей*. Ниже будет указано, какие основания дадут право быть записанным в каждый из этих классов и какими привилегиями можно будет пользоваться в каждом из них.

Это разделение по классам не должно производиться посредством переписи или подсчета одновременно с установлением нового государственного устройства, а должно устанавливаться последовательно, само собою, в ходе дальнейшего развития.

Первым актом проектируемого установления должно быть принесение торжественной клятвы всеми корсиканцами в возрасте от двадцати лет; и все те, кто принесут такую клятву, все без изъятия должны быть записаны в число граждан. Весьма справедливо, чтобы все эти доблестные мужи, освободившие нацию ценою своей крови, обладали всеми этими преимуществами, и чтобы они, в первую очередь, и воспользовались свободой, которую завоевали.

Но, начиная со дня основания союза и торжественного принесения клятвы, все те, рожденные на острове, кто еще не достиг этого возраста, останутся в классе соискателей до тех пор, пока при следующих условиях они не смогут подняться до обоих других классов.

Всякий соискатель, вступивший в законный брак и владеющий каким-ни-

будь наделом, независимо от приданого его жены, будет записан в класс патриотов.

Всякий патриот, женатый или овдовевший, у которого будут двое детей, собственное жилище и земельный надел, достаточный для его прокормления, будет записан в класс граждан.

Этот первый шаг достаточен для того, чтобы придать важное значение владению землей, но недостаточен для того, чтобы ее должным образом возделывать, если не будет устранена необходимость в деньгах, которая и была причиною бедности острова при гегуэзском Правлении. Надо считать непреложным тот принцип, что повсюду, где деньги — предмет первой необходимости, нация отвращается от сельского хозяйства, чтобы заняться более доходными ремеслами; земледелие превращается тогда либо в предмет торговли и подобие производства для крупных арендаторов, либо в последнее спасение от нищеты для массы крестьян. Те, кто обогащается от торговли и промышленности, помещают, когда они достаточно наживутся, свои деньги в земельные участки, которые возделывают для них другие; вся нация оказывается, таким образом, разделенною на богатых бездельников, владеющих землею, и на нищих крестьян, которым не на что жить, хотя они эту землю обрабатывают.

Чем больше деньги нужны частным лицам, тем больше нужны они Правительству; откуда следует, — чем больше процветает торговля, тем выше налоги; и для того, чтобы платить эти налоги, не имеет значения, что крестьянин обрабатывает свой участок земли, если он не продает ее продукты. Неважно, что у него есть хлеб, вино, растительное масло; ему обязательно нужны деньги, нужно, чтобы он всегда и всюду нес съестное в город; чтобы он превратился в мелкого торговца, в мелкого продавца, в мелкого мошенника. Его дети, воспитанные в обстановке развращающего посредничества, привыкают к городской обстановке и теряют вкус к своему положению; они охотнее превращаются в матросов или солдат, чем наследуют занятие своих отцов. Вскоре деревня лишается населения, а город начинает кишеть бродягами; мало-помалу хлеба начинает нехватать, народная нищета увеличивается по мере увеличения богатства отдельных лиц; и первая, и вторая вместе ведут за собою все пороки, которые в конце концов приводят к гибели нации.

Я столь уверенно считаю всякую торговую систему разрушительною для сельского хозяйства, что не исключаяю отсюда даже торговлю съестными припасами, которые суть продукт сельского хозяйства. Для того чтобы сельское хозяйство могло продержаться при этой системе, нужно, чтобы прибыль можно было разделить поровну между торговцем и земледельцем. Но это-то и невозможно; потому что первый по своему желанию занимается торговлей, второй же — к этому занятию вынуждается, и в силу этого первый будет всегда диктовать свои условия второму: это отношение, нарушающее равновесие, не может создать положения прочного и устойчивого.



Не следует представлять себе, что остров станет богаче, когда у него будет больше денег. Это будет верно по отношению к другим народам и при внешних сношениях; но сама по себе нация не богаче и не беднее, когда она имеет больше или меньше денег; или, — и это, в конечном счете, одно и то же, — в зависимости от того, быстро или медленно обращается внутри нации то же количество денег. Мало того, что деньги — это только знак; но, к тому же, — это знак относительный, который получает подлинное значение только в результате неравномерного его распределения. Ибо, если предположить, что на острове Корсика каждый человек имеет лишь десять экю, либо же, что он имеет сто тысяч экю, то соотношение состояний всех будет в обоих случаях совершенно одинаковым; люди в результате не богаче и не беднее по отношению друг к другу; и единственное различие состоит в том, что при этом втором предположении торговые отношения будут более затруднены. Если бы Корсика нуждалась в чужестранцах, то она нуждалась бы в деньгах; но так как она может удовлетворить сама себя, то она в чужестранцах не нуждается; и так как деньги полезны лишь как знак неравенства, то чем меньше будет их обращаться на острове, тем вернее будет достигнуто там настоящее изобилие. Нужно посмотреть, нельзя ли все то, что делается с помощью денег, делать без помощи денег; и предположив, что это возможно, нужно сравнить оба способа в применении к нашему предмету.

Факты доказывают, что земля на острове Корсика, даже в состоянии целины или полного истощения, в котором она находится, дает достаточно для пропитания его жителей; известно ведь, что в течение тридцати шести военных лет, когда они больше орудовали оружием, чем плугом, к ним не заходил ни один корабль, который привез бы им какие-либо продукты или съестные припасы для удовлетворения их нужд; у этого острова есть все, что ему нужно, и, помимо съестных припасов, все для того, чтобы привести его жителей к процветанию и чтобы это процветание поддерживать, ничего не ввозя извне. У него есть шерсть для тканей, пенька и лен для полотна и канатов, кожи для обуви, строевой лес для морских кораблей, железо для кузниц, медь для предметов домашнего обихода и для мелкой монеты. У него есть соль для собственного употребления; у него будет больше соли, чем ему нужно, при восстановлении соляных копей Аллерии, которые генуэзцы с таким трудом и с такими затратами приводили в состояние разорения и которые назло им дают все же еще соль. Корсиканцы, если бы они того захотели, могли бы не вести внешней торговли, разве только если они пожелают покупать то, что не является необходимым; таким образом, деньги, даже в подобном случае, не были бы им нужны для торговли, потому что они были бы единственным товаром, который им нужен. Отсюда следует, что для сношений с другими нациями Корсика не нуждается в деньгах.

Внутри остров достаточно велик и изрезан горами; его большие и многочисленные реки мало судоходны; его части не имеют между собою естествен-

ных сообщений; но различие производимых в этих частях продуктов держит их во взаимной зависимости, поскольку они всегда нуждаются друг в друге. Провинция Капо Корсо, которая не производит почти ничего, кроме вина, нуждается в хлебе и растительном масле, которые ей поставляет провинция Баланья. Провинция Корте, расположенная на возвышенности, равным образом дает зерно и не имеет всего остального. Провинция Бонифацио, расположенная на берегу болота и у другой оконечности острова, нуждается во всем и не производит ничего. Проект равномерного заселения требует, таким образом, постоянного оборота продуктов питания, легкости расчетов между одним каким-нибудь судебным округом и остальными и, следовательно, внутренней торговли.

Это так, но по этому поводу я могу сделать два замечания: первое — при содействии Государства эта торговля может большей частью производиться путем обмена; второе — при том же содействии и как естественный результат наших установлений эта торговля и эти обмены должны изо дня в день уменьшаться и свестись в конце концов к чему-то весьма незначительному.

Известно, что при том разорении, которое принесли на Корсику генуэзцы, деньги, которые все время только вывозили и не ввозили вовсе, стали в конце концов такою редкостью, что в некоторых округах острова уже не знали, что такое монета; там и продажа и покупка производились только путем обмена.

Корсиканцы в своих меморандумах приводили этот факт как одну из своих обид; они были правы, потому что деньги были нужны для уплаты податей, и из-за этого бедных людей, у которых денег уже не было, хватали и описывали их вещи, лишая самых необходимых орудий, скарба, одежды, их жалких лохмотьев, которые нужно было перевозить из одного места в другое и от которых при продаже нельзя было выручить и десятой части их стоимости; так что, не имея денег, они платили налог в десять раз больший.

Но так как при нашей системе никто не будет вынужден платить подать деньгами, то отсутствие денег, не будучи признаком нищеты, не послужит и к тому, чтобы нищету увеличить; обмены можно будет производить натурою и без посредствующих ценностей, и можно будет жить в довольстве, никогда не держа в руках ни одного су.

Я знаю, что при генуэзских правителях, которые запрещали и затрудняли тысячью способов вывоз продуктов питания из одной провинции в другую, коммуны создавали склады зерна, вин, растительного масла в ожидании времени благоприятного и дозволенного для вывоза, и что наличие этих складов служило генуэзским чиновникам предлогом для множества отвратительных монополий. Мысль о таких складах не является, таким образом, новой, и поэтому ее легче было бы осуществить; это дало бы для обмена средство простое и удобное для нации и для отдельных лиц, и оно не повлекло бы за собою такие неудобства, которые сделали бы его обременительным для народа.

Но даже если не создавать настоящие склады или хранилища, можно было бы установить в каждом приходе или же в каждом главном городе провинции общественный реестр по двойной системе ведения счетов, в которой частные лица записывали бы каждый год, с одной стороны, тот вид и то количество продуктов питания, которые у них в избытке, а с другой стороны — те продукты, которых им не достает. По балансу и сопоставлению этих реестров, которые велись бы в каждой провинции, можно было бы так определить цену продуктов и меру вывоза, что каждый приход обеспечивал бы потребление своих излишков и приобретение того, что ему нужно, так что не было бы ни недостатка, ни избытка в количестве необходимого и все это делалось бы столь удобным образом, как если бы сам урожай соразмерялся с нуждами каждого прихода.

Эти операции могут производиться самым точным образом и без денег, как таковых: либо путем обмена натурою, либо с помощью каких-нибудь простых идеальных счетных монет, которые служили бы мерилом для сравнения ценностей, как, например, пистоли во Франции <sup>24</sup>; либо на основе каких-нибудь вещных ценностей, которые поддаются количественному сравнению и могут быть применены в качестве денег: у греков это был бык, у римлян — овца. Тогда, впрочем, один бык может стоить больше или меньше, чем другой бык, а одна овца — больше или меньше другой овцы: эти расхождения заставляют нас отдать предпочтение идеальным деньгам, потому что они всегда имеют точно определенную ценность, поскольку речь идет об отвлеченном соотношении.

Пока вы будете соблюдать эти правила, равновесие в торговле будет сохраняться; и обмены, которые будут определяться только относительным изобилием или недостатком продуктов и большей или меньшей легкостью перевозки, будут также взаимно уравниваться; и производство всех продуктов острова при равном их распределении само собою станет соразмерно с уровнем населенности. Добавлю, что общественное управление сможет без труда направлять эти торговые сделки, эти обмены, уравнишивать их, устанавливать их размеры, осуществлять их распределение; потому что до тех пор, пока они будут совершаться в натуре, общественные чиновники не смогут этим злоупотреблять, и у них не будет даже такого искушения. Тогда как превращение продуктов в деньги открывает возможности для всяческого лихоимства, для всяких монополий, для всяких мошенничеств, обычных для должностных лиц в подобном случае.

Следует ожидать многих затруднений вначале; но эти затруднения неизбежны при установлении всякого нового внутреннего устройства, которое противоречит существующему обыкновению. Добавлю, к этому, что новое управление, однажды установленное, с каждым годом будет все более упрощаться — не только потому, что практика позволит накопить некоторый опыт в этом деле; но и потому, что в результате установления этого нового внут-

ренного устройства будет непрерывно и неуклонно уменьшаться число торговых сделок, пока это число не сведется к наименьшему из возможных: и это — конечная цель, которую должно перед собою поставить.

Нужно, чтобы все имели средства к существованию и чтобы никто не обогатился; вот основной принцип процветания нации; и то внутреннее устройство, которое я предлагаю, со своей стороны, ведет к этой цели столь прямо, насколько возможно. Продукты не первой необходимости, которые не являются предметом торговли и не продаются за деньги, будут производиться лишь в соответствии с потребностью в необходимом; и всякий, кто сможет получить немедленно те продукты, которых у него нет, не будет иметь никакой выгоды в том, чтобы иметь этих продуктов слишком много.

Как только произведения земли перестанут быть товаром, их выращивание мало-помалу соразмерится в каждой провинции и даже в каждом наследственном владении с общими потребностями этой провинции и частными потребностями земледельцев. Каждый будет стараться, обрабатывая свое поле, получить все, что ему необходимо, натурою, а не путем обмена, который всегда будет менее надежен и менее удобен насколько бы он ни был упрощен.

Это большое преимущество, безусловно, если можно сеять на каждом участке земли то, что этот участок лучше всего производит; при такой системе размещения культур страна дает больше продуктов и притом с большею легкостью, чем при любой другой. Но это соображение, при всей его важности, имеет лишь второстепенное значение. Лучше, чтобы жители были хорошо расселены. Судя по общему развитию торговли и обменов, невозможно, чтобы разрушительные пороки не проникали в нацию. Различие в качестве участков при их выборе может быть возмещено трудом, и лучше плохо использовать поля, чем людей. Впрочем, всякий земледелец может и должен сделать этот выбор на своих землях, а каждый приход или община — на своих общинных землях, как об этом говорится ниже.

Вы будете опасаться, я это чувствую, как бы такая экономическая система не произвела действия противоположного тому, которого я от нее ожидаю; как бы она не отвратила людей от земледелия вместо того, чтобы к нему побуждать; как бы поселенцы, не получая никаких денег за свои продукты, не забросили свою работу; может случиться, что они будут ограничиваться тем, что нужно им для пропитания, и, не гоняясь за избытком и довольствуясь тем, что будут получать все для них безусловно необходимое, оставят невыделанною целиной всю остальную часть своих земель<sup>25</sup>. Будут, пожалуй, ссылаться на опыт генуэзского Управления, при котором запрещение вывозить продукты питания за пределы острова приводило именно к такого рода результатам.

Но следует учитывать, что при этом управлении деньги, будучи предметом первой необходимости, составляли непосредственную цель труда: следо-

вательно, всякий труд, который не мог принести денег, неизбежно оказывался в пренебрежении; земледелец, угнетенный всевозможными унижениями, притеснениями, несчастиями, считал свою судьбу самой плачевной; видя, что он не может найти в этом своем состоянии богатства, он искал какого-либо другого занятия или падал духом. Здесь же внутреннее устройство в самой своей основе направлено к тому, чтобы сделать это состояние счастливым при всей его незначительности, уважаемым при всей его простоте. Обеспечивая удовлетворение всех жизненных потребностей, доставляя все средства приобрести уважение, средства уплаты всех общественных податей, без продажи и торговли, такое внутреннее устройство делает невозможную даже мысль о каком-либо ином, превосходящем его. Те, кто будут пребывать в этом состоянии, не видя ничего, что стояло бы выше их, будут этим своим состоянием гордиться; пролагая себе, таким образом, путь к более высоким должностям, они будут нести труды, связанные с этим положением, так же, как первые римляне. Не будучи в силах выйти из этого состояния, люди захотят в нем отличиться, захотят нести связанные с ним труды лучше, чем другие люди: собирать большие урожаи, поставлять большую долю Государству, заслужить на выборах признание народа. Многочисленные семейства будут хорошо питаться, хорошо одеваться и воздадут за это честь правителям; и так как единственный смысл роскоши — в действительном изобилии, то каждый захочет отличиться такой роскошью. Пока сердце человеческое будет тем, что оно есть, подобные установления не будут приводить к нерадивости.

То, что отдельные магистраты и отцы семейств должны делать в каждом судебном округе, в каждом приходе, в каждом наследственном владении, чтобы не нуждаться в других, то должно делать Правительство всего острова, чтобы не испытывать нужды в соседних народах.

Точный реестр товаров, которые поступили на остров в течение определенного ряда лет, даст надежные и верные сведения о тех, без которых нельзя обойтись; ибо только при настоящем положении вещей в таком реестре могут оказаться предметы роскоши и то, что излишне. В результате тщательных наблюдений как над тем, что остров производит, так и над тем, что он может производить, мы обнаружим, что потребность в товарах чужеземного происхождения сводится к весьма небольшому числу вещей, и это полностью подтверждается фактами, потому что в годах 1735 и 1736, когда остров, блокированный генуэзским флотом, не имел никакого сообщения с материком, он не только не испытывал никакой нехватки в продовольствии, но и вообще не знал никаких невыносимых лишений. Всего ощутимее был недостаток военных припасов, кож, хлопчатой бумаги для фитилей; впрочем, эту последнюю заменяли сердцевиною некоторых видов тростника.

Из этого небольшого числа необходимых завозных товаров нужно исключить еще и то, чего остров не производит сейчас, но что он может производить, когда будет лучше обработан и оживотворен, благодаря промышленно-

сти. Чем больше надлежит изгонять искусства бесполезные, искусства, услаждающие и изнеживающие, тем больше следует поощрять ремесла, которые полезны для сельского хозяйства и выгодны для человеческой жизни. Нам не нужны ни резчики по дереву, ни золотых дел мастера, но нам нужны плотники и кузнецы; нам нужны ткачи, хорошие суконщики, а не вышивальщицы и волочильщицы золота.

Следует прежде всего обеспечить себя наиболее необходимым сырьем, а именно: деревом, железом, шерстью, кожей, пенькою и льном. Остров изобилует лесом как строительным, так и для отопления; но не следует полагаться на это изобилие и оставлять использование и вырубку лесов единственно на усмотрение владельцев. По мере того, как население острова будет расти, и число расчищенных участков увеличится, леса будут быстро истребляться, а восполнить то, что уничтожено, можно будет лишь очень медленно.

Швейцария была некогда покрыта лесами в таком изобилии, что испытывала от этого неудобства; но, как ради умножения пастбищ, так и для создания мануфактур, они были вырублены без меры и без порядка; и теперь вместо этих необозримых лесов видны лишь почти голые скалы. По счастью, наученные печальным примером Франции, швейцарцы увидели опасность и приняли меры к упорядочению вырубки, насколько это от них зависело. Остается еще только решить, не слишком ли запоздали их предосторожности, ибо, если, несмотря на все это, количество лесов в Швейцарии с каждым днем уменьшается, то ясно, что эти леса должны в конце концов исчезнуть.

Корсике, которая взялась бы за упорядочение и ограничение вырубок значительно ранее, не пришлось бы этого опасаться; нужно заблаговременно создать строжайшее управление лесами и этим так соразмерить вырубки, чтобы прирост равнялся потреблению. Не следует поступать так, как во Франции, где смотрители вод и лесов, имея право срубить одно дерево, находят для себя выгодным уничтожить все; они, к тому же, делают это весьма старательно. Следует глядеть в далекое будущее: хотя и несвоевременно сейчас создавать флот, но наступит время, когда его должны будут создать; и тогда вы почувствуете выгоду того, что вы не отдали для постройки чужих флотов прекрасные леса, расположенные вблизи от моря. Надлежит вырубать или продавать деревья старые и уже бесполезные; но следует оставить все те деревья, которые полны сил; они найдут применение в свое время.

Говорят, на острове нашли залежи меди — это хорошо; но еще ценнее залежи железа. Они конечно же есть на острове: положение его, горы, природа почвы, теплые минеральные воды в провинции Капо Корсо и в других местах — все это склоняет меня к мысли, что много таких залежей будет найдено, если хорошо искать и если использовать для этих поисков людей сведущих. Если это так, то разработку этих залежей следует позволять не всюду; надо выбрать месторождения наиболее богатые, наиболее близкие к

лесам и рекам, чтобы устроить плавильни, и чтобы оттуда можно было про- вести пути, наиболее удобные для перевозки.

Такое же внимание надлежит уделить всякого рода мануфактурам, каж- дой из них по принадлежности, дабы сколь можно более облегчить труд и его распределение. Следует, однако, остерегаться создавать такого рода за- ведения в наиболее населенных и наиболее плодородных частях острова. На- против, при всех прочих равных условиях, следует избирать участки самые бесплодные, такие, которые, не будь они заселены благодаря развитию про- мышленности, остались бы безлюдными. Вследствие этого будет несколько больше затруднений в снабжении необходимыми припасами; но те преиму- щества, которые будут этим достигнуты, и те неудобства, которых можно бу- дет избежать, должны, безусловно, взять верх над этим соображением.

Прежде всего мы следуем здесь нашему великому и главному принципу, который состоит в том, чтобы не только расселять и умножать население, но и в том, чтобы сделать заселение острова равномерным настолько, насколько это возможно. Ибо если бы бесплодные места не были заселены для разви- тия промышленности, они остались бы безлюдными; а это означало бы поте- рю этого количества земли для возможного увеличения численности нации.

Если бы подобные заведения были созданы в местах плодородных, то оби- лие продуктов питания и прибыль от труда, неизбежно бóльшая в промыслах, чем в сельском хозяйстве, отвращали бы землепашцев или их семьи от сель- ских работ и, незаметно лишая деревню населения, вынуждали бы привлекать из отдаленных мест новых поселенцев, чтобы обрабатывать землю. Таким образом, перенаселяя некоторые места нашей территории, мы лишили бы населения другие места и, нарушив таким образом равновесие, пошли бы пря- мо против духа наших установлений.

Перевозка продуктов питания, повышая их стоимость на фабриках, тем самым уменьшит доход рабочих, и, приближая их состояние к состоянию земледельца, будет лучше поддерживать равновесие между ними. Это равно- весие не может, однако, не быть таким, чтобы преимущество не оставалось все же за промышленностью, то ли потому, что деньги, которые имеются в Госу- дарстве, вкладываются в промышленность в избытке, то ли из-за силы богат- ства, которое проявляется в могуществе и неравенстве, то ли потому, что бóльшее число людей, собранных вместе, обладает бóльшей силой, и этих людей властолюбцы умеют собрать в целях своей выгоды. Весьма важно, по- этому, чтобы эта часть людей, которая оказывается в наиболее благоприят- ном положении, оставалась в зависимости от остальной части нации в отно- шении средств существования; и в случае возникновения внутренних раздо- ров в народе, по природе нашего устройства именно поселянин будет дикто- вать свои условия рабочему.

Приняв эти предосторожности, можно без опасения поощрять на острове введение полезных ремесел; и вряд ли эти заведения при хорошем управле-

нии не смогут обеспечить необходимое всем, не исключат необходимость привоза извне чего бы то ни было, кроме разве что нескольких пустяков, для ввоза которых следует разрешить соответствующий вывоз, постоянно тщательно уравновешиваемый со ввозом под наблюдением чиновников управления.

До сих пор я говорил о том, как корсиканский народ может существовать в довольстве и независимости при наличии весьма незначительной торговли; как большая часть той незначительной торговли, которая ему необходима, может с легкостью совершаться путем обмена; и как этот народ может свести почти на нет необходимость ввоза извне. Отсюда видно, что если применение денег и разменной монеты не может быть полностью прекращено в делах частных лиц, то применение этих денег можно, по меньшей мере, свести к столь малому, что почти исчезнет почва для злоупотреблений; что таким путем нельзя будет нажить большие состояния — если все же этим путем и можно было бы такие состояния наживать, то они были бы почти что бесполезны и принесли бы мало выгоды их владельцам.

Ну, а общественные финансы, как мы будем управлять ими? Какие доходы ассигнуем на управление? Сделаем ли его бесплатным? Как будем покрывать расходы на его содержание? Вот это и нужно нам сейчас рассмотреть.

Финансовые системы — это изобретения новых времен: слово «финансы» было известно древним не более, чем такие слова, как «оброк» и «подушное». Слово *vectigal* \* понималось в ином смысле, как об этом будет сказано ниже. Суверен облагал податями народы завоеванные или побежденные и никогда не облагал податями своих собственных подданных, особенно в Республиках. Не народ Афин облагался налогом, напротив, — ему еще платило Правительство; а Рим, которому его войны должны были стоить так дорого, часто раздавал народу зерно и даже земли. И Государство все же существовало, содержало огромные армии на море и на суше, осуществляло очень крупные общественные работы, тратило, по крайней мере, столько же, сколько тратят, пропорционально, современные Государства. Как же это делалось?

Надо различать в жизни Государств две эпохи: становление и рост. При становлении Государства, оно не имело другого источника дохода, кроме общественного домена, и этот домен был значителен. Ромул сделал общественным доменом одну треть всех земель; вторую треть он выделил на содержание жрецов и предметов культа; лишь третья разделялась между гражданами. Это было немного, но оно было свободно от уплаты податей. Вы полагаете, что французский земледелец не удовольствовался бы охотно даже одною третью того, что он обрабатывает, при том условии, что эту треть он имел бы свободной от всякой тали, всякой дорожной повинности, от всякой десятины, если бы он не платил никаких налогов?

\* Подать, налог (*лат.*).



Таким образом общественный доход собирался не в виде денег, а в виде продуктов питания и других продуктов. Расходы были такого же рода, что и доход. Ни магистратам, ни войскам не платили денег: их кормили, их снабжали одеждой; и, в случаях настоятельной необходимости, чрезвычайные повинности народа заключались в обязанности выполнять определенные работы, а не в обязательной уплате денег. Трудоемкие эти работы почти ничего не стоили Государству: то было делом его грозных легионов, которые трудились так же, как сражались, и которые состояли не из черни, а из граждан.

Когда римляне начали расширять пределы своего Государства и стали завоевателями, они начали собирать с побежденных народов средства для содержания своих войск; когда они платили своим войскам, то для этого налогами облагались подданные, но никогда неримляне. Когда же Государству грозила опасность, то и Сенат облагал себя; он делал займы, которые аккуратно погашал; и за все время, пока существовала Республика, я не знаю случая, чтобы римский народ когда-либо платил денежную подать, ни поголовную, ни с земель.

Корсиканцы! Вот вам прекрасный образец! Не удивляйтесь, что у римлян было больше добродетелей, чем у других народов: деньги там были менее необходимы, у Государства были малые доходы, а оно свертало большие дела. Его сокровищницею были руки граждан. Я мог бы сказать, что, судя по положению Корсики и по форме ее Правления, в мире не будет никакого другого Государства, содержание которого стоило бы дешевле; потому что, будучи островом и Республикою, она несколько не будет нуждаться в регулярных войсках и потому что правители Государства, поскольку они все возвращаются потом в состояние граждан, которые все равны, не смогут получить от общего достояния ничего такого, что не стало бы опять общим достоянием через очень небольшой срок.

Но не в этом вижу я нерв силы общественной. Напротив, я хочу, чтобы много тратили на служение Государству; спор идет лишь, чтобы сказать точнее, о выборе платежных средств. Для меня финансы в Политическом организме — это жир, который, проникая в определенные мышечные ткани, отягчает тело ненужной тучностью и делает его скорее тяжелым, нежели сильным. Я хочу напитать Государство пищей более полезною, которая сама соединялась бы с тем, что она питает; которая могла бы превратиться в сухожилия, в мышцы, не закупоривая сосудов, которая придавала бы членам силу, а не толщину, и укрепила бы тело, не отяжеляя его.

Меньше всего желая, чтобы Государство было бедным, я хотел бы, напротив, чтобы у него было все и чтобы доля каждого в общих благах была пропорциональна его служению. Приобретение всего добра египтян в казну фараона, проведенное Иосифом, было бы благом, если бы он не сделал чересчур много или недостаточно. Но, не вдаваясь в ненужные рассуждения, которые только отдалили бы меня от моей задачи, достаточно разъяснить здесь

мою мысль: дело не в том, что нужно совершенно уничтожить собственность частных лиц, потому что это невозможно, но в том, чтобы заключить ее в более тесные пределы, дать ей меру, принципы, узду, которая бы ее сдерживала, направляла, ограничивала ее рост и которая бы держала ее всегда в подчинении по отношению к общественному достоянию. Я хочу, одним словом, чтобы право собственности Государства было сколь возможно большим и сколь возможно незыблемым, а право собственности граждан сколь возможно малым и непрочным. Вот почему я стараюсь избежать того, чтобы собственность заключалась в такого рода вещах, обладание которыми является безраздельным,— как это имеет место, например, в отношении звонкой монеты и денежных знаков,— которые легко скрыть от надзора общественного.

Учреждение общественного домена<sup>26</sup> не есть, я с этим согласен, дело столь же легкое сегодня на Корсике, уже разделенной между ее жителями, каким оно было в нарождающемся Риме до того, как завоеванная им территория принадлежала кому бы то ни было. Между тем я знаю, что на острове есть много прекрасных целинных земель, которые Правительство легко может использовать, либо отчуждая их на определенное число лет тем, кто их обрабатывает, либо же заставляя в виде особой повинности обрабатывать целину в каждой общине. Нужно было бы побывать на месте, чтобы судить о том, как можно распределить эти земли и как их можно использовать; но я несколько не сомневаюсь, что при помощи некоторых обменов и некоторых несложных упорядочений можно будет в каждом судебном округе и даже в каждом приходе выделить земли домена, которые могут даже увеличиться через несколько лет тем путем, о котором будет сказано в законе о наследовании.

Другое средство, еще более легкое, и которое должно дать доход более чистый, более надежный и гораздо более значительный, состоит в том, чтобы следовать находящемуся у меня перед глазами примеру протестантских Кантонов. Во время реформации в этих Кантонах протестанты завладели церковными десятинами; а эти десятины, на которые они пристойно содержат свое духовенство, составляли главный доход Государства. Я не говорю, что корсиканцы должны посягать на доходы церкви: боже сохрани! Но я полагаю, что для народа не будет большим притеснением, когда Государство потребует от него столько же, сколько требует от него духовенство, имеющее уже достаточный доход от земельных наделов. Сумма этого налога будет собираться без труда, без затруднений и почти что без затрат, потому что нужно будет лишь удвоить церковную десятину и забрать половину ее.

Я извлекаю еще один вид дохода, самый надежный и наилучший, из самих людей, используя их труд, руки и сердца, а не их кошельки, на службу отечеству: либо для защиты отечества, в ополчениях; либо для его повседневных нужд, при помощи повинностей, на общественных работах.

Пусть это слово — «повинность» не пугает республиканцев! Я знаю, что во Франции повинности ненавидят; но разве ненавидят их в Швейцарии?

Дороги там проводят в порядке выполнения повинностей и никто на это не жалуется. Видимое удобство оплаты может соблазнить лишь умы поверхностные — а вот правило бесспорное: чем меньше посредствующих звеньев между нуждою и службою, тем менее тягостною должна быть служба.

Не решаясь развить здесь мою мысль полностью, не выдавая повинности и все личные труды граждан за безусловное благо, я соглашусь, если угодно, с тем, что было бы лучше, если бы все делалось за плату, если бы только средства платежа не вызывали множества огромных злоупотреблений и несчастий, еще больших, еще более безграничных, чем те несчастья, которые могут возникнуть из-за такого принуждения; особенно тогда, когда тот, который налагает повинности, относится к тому же разряду, что и те, на кого эти повинности налагаются.

Впрочем, для того, чтобы повинности распределялись поровну, будет справедливо, чтобы тот, кто не имеет никакой земли и потому не может платить десятину с ее продуктов, платил эту десятину трудом своих рук; таким образом, повинности должны падать по преимуществу на класс соискателей. Но граждане и патриоты должны водить их на работу и сами показывать им пример того, как надо трудиться. Пусть все, что делается для общего блага, будет всегда почетным! Пусть даже магистрат, занятый иными заботами, покажет, что эти труды не ниже его достоинства, как те римские Консулы, которые, дабы подать пример своим войскам, сами первыми принимались за работы по разбивке лагеря.

Что до штрафов и конфискации, которые составляют в Республиках четвертый род доходов, то я надеюсь, что при установлении настоящего внутреннего устройства нашей Республики, этот род доходов будет в ней равен почти нулю, и поэтому я его даже не беру в расчет.

Поскольку все эти общественные доходы, по самой природе вещей, должны поступать натурою, а не в виде денег, то представляется затруднительным собирать их, хранить и использовать; и это отчасти верно. Но здесь речь идет об управлении не наиболее легком, а наиболее здоровом; и предпочтительнее, чтобы оно вызывало несколько больше затруднений, но зато порождало меньше злоупотреблений. Наилучшая экономическая система для Корсики и для всякой Республики, безусловно, не является лучшей для монархии и для всякого крупного Государства. Система, которую я предлагаю, не имела бы успеха ни во Франции, ни в Англии и не могла бы даже там утвердиться; но она имеет наибольший успех в Швейцарии, где уже много веков тому назад она утвердилась, и это — единственная система, которая оказалась Швейцарии под силу.

Право сбора доходов в каждом судебном округе отдают на откуп; эти доходы выплачиваются натурою или деньгами по выбору тех, кто платит сборы; магистратам и чиновникам, большею частью, также платят хлебом, вином, фуражом, дровами. Таким образом, сбор доходов не бывает ни затруднитель-

ным для всего общества, ни обременительным для частных лиц; но вот — неудобство, которое я вижу в таком способе: при нем есть люди, чьим ремеслом является зарабатывать на государе и притеснять его подданных.

Крайне важно, чтобы Республика не терпела в своем составе ни одного финансиста по его положению в обществе; и не столько из-за бесчестных заработков этих людей, сколько потому, что они являют собою самый пагубный пример.

Примеру этому скоро начинают следовать многие; почет, приносимый недозволенным избытком, его выгоды и преимущества убивают в народе все добрые чувства и порождают презрение к бескорыстию, простоте нравов и ко всем добродетелям, над которыми даже глумятся.

Остережемся же увеличивать сокровищницу денежную за счет сокровищницы духовной: именно эта последняя действительно отдает нам во власть людей и всю их силу, тогда как при помощи первой приобретает лишь видимость услуг, но не покупается воля. Предпочтительнее, чтобы управление фиском находилось в руках какого-нибудь отца семейства и чтобы мы при этом потеряли кое-что, чем если мы получим больше, а управление фиском будет находиться в руках ростовщика.

Оставим же сбор доходов в руках государственного управления, хотя бы это и принесло много меньше. Не допустим, чтобы и это управление доходами стало профессией; ибо это имело бы почти те же дурные последствия, что и при отдаче сбора доходов на откуп. То, что делает финансовую систему наиболее вредною, — это профессия финансиста. Ни за какую цену не следует допускать существования откупщиков в Государстве. Вместо того, чтобы превращать получение сборов и общественных доходов в занятие, дающее наживу, следует превратить это в испытание достоинств и неподкупности молодых граждан; нужно, чтобы это управление сборами превратилось в испытательный срок для новичков на общественных должностях и в первый шаг к достижению магистратур. Эта мысль подсказана мне была сравнением управления парижскою Городскою больницею, о растратах и кражах в которой известно каждому, с управлением Городской больницей в Лионе, которое являет пример порядка и бескорыстия и, быть может, не имеет себе равного на земле. Что, лионцы, сами по себе, лучше парижан? Нет, но в Лионе эта административная должность является временною. Нужно сначала хорошо справиться с этою должностью, чтобы иметь возможность стать эшевроном и купеческим старшиной<sup>27</sup>; тогда как в Париже управители являются таковыми по своему положению пожизненно; они устраиваются наилучшим образом, чтобы извлечь возможно большую выгоду из должности, которая не является для них ни в коей мере испытанием, но службой, наградой, положением в обществе, связанным, так сказать, с другими положениями. Есть определенные должности, доходность которых, как бы по предварительному уговору, может быть увеличена за счет права обкрадывать бедных.

И пусть не думают, что этот труд требует больше опыта и познаний, чем их может быть у молодых людей; он требует лишь проворства, которое им в особой степени свойственно; и так как они обычно менее скупы, менее жестоки, чем пожилые люди, при взыскании сборов, и более чувствительны, с одной стороны, к несчастьям бедняка, а, с другой, — весьма заинтересованы в том, чтобы хорошо исполнять должность, которая является для них испытанием, то они ведут себя, занимая эту должность, в точности так, как нужно для дела.

Сборщик податей каждого церковного прихода будет представлять свои счета приходу, сборщик каждого прихода — своему судебному округу, а сборщик каждого судебного округа — Счетной палате, которая будет состоять из определенного числа государственных Советников. Общественная казна будет состоять, таким образом, большею частью из продуктов питания и других продуктов, распределенных по небольшим складам во всей стране, и частично из денег, которые будут внесены в общую кассу после того, как из этих денег будут взяты небольшие суммы на местные расходы.

Так как люди всегда будут вольны платить свою долю деньгами или продуктами питания по особой таксе, которая будет определяться ежегодно в каждом судебном округе, Правительство, подсчитав однажды, каким должно быть наилучшее соотношение между этими двумя видами сборов, в случае, если это соотношение изменится, сразу же сможет обнаружить это изменение, определить его причину и исправить расчеты.

Вот ключ к нашему политическому управлению: единственная его часть, требующая искусства, расчетов, размышления. Именно поэтому Счетная палата, которая повсюду в других местах является лишь коллегией во всех отношениях второстепенной, будет здесь в центре всех дел, будет приводить в движение весь аппарат управления и будет состоять из лучших умов в Государстве.

Если сборов в виде продуктов питания окажется слишком много, а сборов в виде денег — недостаточно, это будет знаком того, что и сельское хозяйство и заселение развиваются хорошо, но что полезная промышленность оказывается в пренебрежении; уместно будет несколько ее оживить из опасения, что отдельные люди, становясь таким образом слишком вольными, слишком независимыми, слишком дикими, не будут больше в достаточной мере связаны со своим Правительством.

Но этого нарушения пропорциональности, безошибочного признака процветания, никак не следует опасаться, и его легко можно исправить. Не так будет обстоять дело с другим нарушением противоположного рода, которое, как только оно дает себя чувствовать, уже говорит об очень многом, и его нельзя столь быстро исправить. Ибо когда платящие сборы будут вносить больше денег, нежели продуктов питания, то это будет безусловным знаком того, что налицо слишком большой вывоз за границу; что торговать становит-

ся слишком легко; что наиболее прибыльные ремесла распространяются по острову за счет земледелия; и значит, простота нравов и все добродетели, которые с нею связаны, начинают вырождаться. Злоупотребления, которые вызывает это изменение, указывают на средства, которые нужно использовать, чтобы воспрепятствовать этому. Но применять эти средства следует с большою осмотрительностью, ибо здесь гораздо легче предупредить зло, чем его уничтожить.

Если лишь ввести налоги на предметы роскоши, закрыть свои порты для торговли с границею, уничтожить мануфактуры, остановить обращение звонкой монеты, то этим мы только ввергнем народ в лень, нищету, уныние. Мы заставим деньги исчезнуть, не увеличивая количества продовольствия; мы уничтожим силу богатства, не возрождая силу труда. Изменять цену монеты — это опять-таки плохая мера в Республике, во-первых, потому, что тогда все общество само себя обкрадывает, а это вообще ничего не дает; во-вторых, потому, что между количеством знаков и количеством вещей существует соотношение, постоянно устанавливающее их относительную ценность, и потому, что когда государь хочет изменить денежные знаки, он лишь изменяет названия, ибо ценность вещей неизбежно изменяется в том же отношении. У королей это означает совсем другое; и когда государь поднимает курс монеты, он получает от этого выгоду, так как обкрадывает своих кредиторов. Однако, если только эта операция повторяется, то выгода уравнивается и сводится к нулю, так как тем самым утрачивается общественное доверие.

Установите в таком случае законы против роскоши, но сделайте их более всего строгими для первых людей в Государстве и ослабляйте их строгость для более низких ступеней; сделайте так, чтобы можно было хвалиться простотою своего обихода и чтобы богач не знал, какой почет приносят деньги. И это вовсе не беспредметные рассуждения: именно таким образом венецианцы даруют лишь своим знатым людям право носить падуанское черное грубое сукно, чтобы лучшие жители города считали за честь обладать подобным преимуществом.

Когда существует простота в нравах, аграрные законы необходимы, потому что тогда богатый, не имея возможности помещать свои богатства в что-либо иное, будет увеличивать свои земельные владения. Но ни аграрные законы, ни какой-либо другой закон никогда не могут иметь обратного действия; и нельзя конфисковать какие-либо земли, приобретенные законно, сколько бы этих земель ни было, по более позднему закону, который запрещает иметь столько земли. Никакой закон не может отнять у кого-либо какую-либо часть его имущества; Закон может только помешать ему приобрести еще больше. Тогда, если он преступает закон, он заслуживает наказания; и излишек, незаконно приобретенный, может и должен быть конфискован. Римляне увидели необходимость аграрных законов, когда уже не время было их

устанавливать; и из-за того, что не сделали они того различия, которое только что сделал я, они погубили, в конце концов Республику при помощи того самого средства, которое должно было ее сохранить. Гракхи хотели отнять у патрициев их земли; а нужно было помешать патрициям эти земли приобретать. Правда, впоследствии эти самые патриции приобрели еще больше земли несмотря на закон; но это случилось потому, что, когда закон был принят, зло успело укорениться и было уже поздно этому воспрепятствовать.

Страх и надежда — вот два орудия, при помощи которых управляют людьми, но вместо того, чтобы пользоваться этими двумя орудиями, не делая различия между ними, следует использовать их в соответствии с их природой. Страх не возбуждает, он сдерживает; и использование его в законах о наказаниях, служит не тому, чтобы побуждать делать добро, а тому, чтобы помешать творить зло. Не видно даже, чтобы страх перед нищетой делал когда-либо бездельников трудолюбивыми. Вот почему, для того, чтобы возбудить среди людей настоящее соревнование в труде, следует показывать им, что труд — это не средство избежать голода, а способ достигнуть благосостояния. Так давайте же установим такое общее правило: никто не должен быть покаран за то, что он не делал чего-либо, но за то, что он сделал.

Следовательно, для того, чтобы пробудить какую-либо нацию к деятельности, ее нужно увлечь великими надеждами, возвышенными желаниями, высокими положительными побудителями к действию<sup>28</sup>. Главные движущие силы, которые заставляют людей действовать, если их хорошенько рассмотреть, сводятся к двум: сластолюбию и тщеславию; если вы отнимите у первого то, что принадлежит второму, то вы обнаружите при окончательном рассмотрении, что все сводится почти что к одному только тщеславию. Нетрудно увидеть, что все сластолюбцы, щеголяющие этим, не более как тщеславны; их так называемое сластолюбие — это не более как щегольство, и оно состоит не столько в том, чтобы наслаждаться, сколько в том, чтобы выставить напоказ или расписывать свое сластолюбие. Истинное наслаждение просто и безмятежно; оно любит тишину и покой; тот, кто его испытывает, поглощен им всецело, он не забавляется тем, что говорит: «Я наслаждаюсь». Но тщеславие — это плод предрассудков; из них оно рождается и ими питается. Отсюда следует, что арбитры суждений народа — это арбитры его поступков. Народ оценивает что-либо в соответствии с тем значением, которое он этому придает; показать народу, что он должен ценить, значит — сказать ему, что он должен делать. Само название «тщеславие» выбрано не наилучшим образом, потому что это лишь одна из двух разновидностей самолюбия. Здесь мне нужно точнее разъяснить мою мысль. Предрассудок, который придает большую цену чему-то незначительному, порождает тщеславие; тот же, который имеет своим предметом нечто великое и прекрасное само по себе, порождает гордость. Следовательно, народ можно сделать гордым, или тщеслав-

ным в зависимости от того, какие мы выберем предметы, на которые направим его суждения.

Гордость более естественна, чем тщеславие, потому что она состоит в том, чтобы ценить себя за то, что действительно ценно; тогда как тщеславие, придающее цену тому, что никакой ценности не имеет — это лишь результат постепенно складывающихся предрассудков. Требуется некоторое время, чтобы затуманить глаза нации. Поскольку нет, в самом деле, ничего более прекрасного, чем независимость и сила, то всякий складывающийся народ с самого начала горд. Но никогда еще в период своей молодости ни один народ не был тщеславен; ибо тщеславие по своей сущности индивидуалистично: оно не может служить орудием столь великого дела, как образование единой Нации.

Два противоположных состояния ввергают людей в оцепенение безделья: одно из них — то душевное спокойствие, в силу которого мы довольствуемся тем, чем обладаем; второе — это ненасытное вожделение, дающее чувствовать невозможность его удовлетворения. Тот, кто живет, не имея желаний, и тот, кто знает, что он не может получить того, что желает, равным образом пребывают в бездействии. Чтобы действовать, нужно и стремиться к чему-либо и быть в состоянии этого достигнуть. Всякое Правительство, которое хочет сделать народ деятельным, должно позаботиться о том, чтобы дать ему предмет занятий, способный его увлечь. Сделайте так, чтобы труд давал гражданам большие выгоды и преимущества, представляющиеся таковыми не только вам, но и им; тогда вы непременно сделаете их трудолюбивыми. Среди этих выгод и преимуществ богатство отнюдь не является всегда наиболее привлекательным; оно может быть даже наименее привлекательно, если только не служит средством достижения того, что прельщает граждан.

Самый обычный и самый верный путь к удовлетворению своих желаний, каковы бы они ни были, — это власть. Поэтому к какой бы страсти ни имел склонность человек или народ, если страсти эти сильны — он всеми силами стремится к власти: либо как к цели, если он горд или тщеславен; либо как к средству, если он мстителен или слаготлюбив.

Вот почему именно в правильно понимаемом умении распоряжаться силой в гражданском обществе и состоит великое искусство Правительства; не только для сохранения самого себя, но и для распространения во всем Государстве деятельности, жизни, чтобы сделать народ деятельным и трудолюбивым.

Сила в гражданском обществе проявляется двумя путями: одним — при помощи законов, через посредство органов власти; другим — противозаконным, с помощью богатств. Повсюду, где богатства господствуют, сила и власть обычно разделены, ибо средства разбогатеть и средства достигнуть власти не одни и те же и поэтому редко используются одними и теми же людьми. Тогда власть видимая находится в руках магистратов, а власть действительная — в руках богачей. При такого рода Правлении все идет по воле людских страстей; ничто не ведет в нем к цели установлений.



Тогда получается, что предмет вожделения разделяется: одни стремятся к власти, чтобы продать пользование ею богачам и таким способом обогатиться самим; другие, и их большинство, стремятся непосредственно к богатству, так как они уверены, что при помощи богатств они со временем приобретут силу, купив либо саму власть, либо тех, кто является ее блюстителями.

Предположите, что в Государстве, устроенном таким образом, почести и власть, с одной стороны, передаются по наследству; а, с другой, средства приобрести богатства доступны лишь для меньшинства людей и зависят от влияния, от покровительства, от друзей: не может быть тогда, чтобы нацию в большей ее части не охватило всеобщее отчаяние и оцепенение, если она видит, как несколько пройдох богатеют, а потом, на этом же основании, постепенно достигают высших должностей.

Итак, говоря в общем, у всякой богатой нации Правительство слабо, и я называю «слабым» равно как то Правительство, которое действует слабо, так и то, которое нуждается в насильственных средствах, чтобы удержаться, что, в общем, одно и то же.

Ничто не может разъяснить мою мысль лучше, чем пример Карфагена и Рима. Первый убивал, распинал на кресте своих генералов, своих магистратов, своих членов, а представлял собой всего лишь Правительство слабое, которое непрерывно находилось в состоянии страха и неустойчивости. Второй никого не лишал жизни и даже не конфисковывал имущества; обвиненный преступник мог уйти с миром, и процесс на этом заканчивался. Сила этого замечательного Правления не нуждалась в жестокости; самым великим из несчастий было перестать быть одним из его членов<sup>29</sup>.

Народы будут трудолюбивы, когда труд будет в почете, а сделать труд почетным всегда зависит от Правительства. Пусть почет и власть будут достижимы для граждан, тогда они будут стремиться их достигнуть; но если граждане увидят, что уважение и власть слишком от них далеки, они не сделают и шага. Не тяжесть труда, но его бесполезность лишает их рвения.

\* \* \*

Меня спросят, можно ли, обрабатывая свое поле, приобрести способности, необходимые для того, чтобы управлять. Я отвечу, что можно, при Правлении простым и справедливым, таком, как наше. Большие способности замечают патристическое рвение; они необходимы, чтобы руководить народом, который совершенно не любит свою страну и совершенно не почитает своих правителей. Но сделайте так, чтобы народ проникся любовью к государству, чтобы он стремился к добродетелям, и забудем о ваших великих та-

лантах; они принесут больше зла, чем пользы. Лучший движитель Правления — это любовь к отечеству, и она возвращается в труде на полях. Здравого смысла достаточно, чтобы править хорошо устроенным Государством; а здравый смысл вырабатывается столько же в сердце, сколько и в голове: люди, которых не ослепляют их страсти, поступают всегда правильно.

\*

Люди от природы ленивы; но страстное стремление к труду — это первый плод благоустроенного общества; и если народ вновь впадает в состояние лени и безразличия, то это происходит опять-таки из-за несправедливости этого же самого общества, которое не придает уже больше труду той цены, которой он заслуживает.

Повсюду, где царствуют деньги, те деньги, которые народ отдает, чтобы поддерживать свою свободу, всегда служат только орудием его же порабощения; и то, что платит он сегодня по доброй воле, используется для того, чтобы заставить его платить завтра по принуждению.

\*

Тогда-то нужно будет использовать весь излишек на развитие промышленности и ремесел, чтобы приобрести за границей то, чего не хватает народу столь многочисленному для его пропитания. Тогда возникнут также мало-помалу пороки, неотделимые от этих заведений, и эти пороки, постепенно развращая нацию в ее вкусах и принципах, изменят и уничтожат в конце концов Правление. Это зло неизбежно; и так как необходимо, чтобы создания человеческих рук были конечны, то будет прекрасно, если после долгого и полнокровного существования Государство скончается вследствие развращенности населения.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Всякий ребенок, рожденный на острове, будет гражданином и членом Республики, когда он достигнет определенного возраста, в соответствии с постановлениями; и никто не сможет стать таковым иначе, как этим способом.

Таким образом, право гражданства не сможет быть даровано ни одному чужестранцу, кроме как один раз в пятьдесят лет, да и то одному единствен-

ному, если таковой появится и будет сочтен того достойным, либо же самому достойному из тех, которые появятся. Его принятие станет общим праздником для всего острова.

Всякий корсиканец, который, достигнув полных сорока лет, не женится и никогда не состоял в браке до этого, будет лишен права гражданства на всю жизнь.

Всякий человек, который, меняя свое местожительство, перейдет из одного прихода в другой, потеряет право гражданства на три года и, по истечении этого срока, будет записан в новый приход и уплатит сбор; в противном случае он будет лишен права гражданства до тех пор, пока не уплатит этого сбора.

Из предыдущей статьи исключаются все те, кто занимает какую-либо общественную должность; они должны пользоваться всеми правами гражданства в том приходе, в котором они находятся, до тех пор пока исполняют свою должность.

Корсиканцы находились под властью генуэзцев; известно, какие притеснения заставили их восстать около сорока лет тому назад. С тех пор они сохранили свою независимость. Между тем, борзописцы все время называют их мятежниками; и неизвестно, сколько веков будут они продолжать их так называть. Нынешнее поколение вообще не знало порабощения: трудно постигнуть, как человек, рожденный свободным и сохраняющий свою свободу, может быть мятежником, в то время как удачливый узурпатор через два или три года превращается в священного монарха, в законного короля. Таким образом, правило давности применяется лишь в пользу тирании; оно никогда не применяется в пользу свободы. Такое понимание столь же разумно само по себе, сколь и лестно для сторонников таких взглядов. К счастью, названия это не суть вещей. Освободившись ценою своей крови, корсиканцы, мятежники или не мятежники, теперь свободны и достойны этого, назло генуэзцам и борзописцам.

В каждом приходе будет вестись реестр всех земель, которыми владеет каждый человек. Никто не сможет владеть землею за пределами своего прихода. Никто не сможет владеть более, чем ... земли<sup>30</sup>. Тот, у кого ее будет столько, сможет при помощи обмена приобрести еще столько же, но не больше, даже если земля будет худшего качества; и все дары, все наследства в виде земель не будут иметь силы.

Потому что вы правили справедливо в течение трех лет свободным народом, он поручает вам еще на три года так же им управлять.

Никакой мужчина-холостяк не будет иметь права составлять завещание, но все его имущество перейдет к общине.

Корсиканцы, тише! Я буду говорить от имени всех. Пусть те, кто несогласны, удалятся, а те, кто согласны, поднимут руку.

Необходимо, чтобы этому акту предшествовало обнародование, когда каждому предписывалось бы отправиться на место своего жительства в срок, который будет указан, под страхом лишиться права гражданства прирожденного или приобретенного.

1. Весь корсиканский народ объединится, принеся торжественную клятву, в едином Политическом организме; членами его будут с этого времени как те корпорации, из которых складывается нация, так и отдельные индивидуумы.

2. Этот акт объединения будет отпразднован в один и тот же день на всем острове; и все корсиканцы будут присутствовать при этом празднестве, насколько это будет возможно: каждый в своем городе, селении или приходе в соответствии с тем, как это будет более подробно указано.

3. Формула клятвы, произносимой под открытым небом, положи руку на Библию:

Во имя всемогущего Бога и на святых Евангелиях, священной и нерушимой клятвою соединяюсь я телом, имуществом, волею и всеми моими силами с корсиканскою нацией, чтобы принадлежал я ей безраздельно, я сам и все, что от меня зависит. Я клянусь жить и умереть ради нее, соблюдать все ее законы, подчиняться всем ее законным правителям и магистратам во всем, что будет согласно с законами. И так да будет Бог мне в помощь в этой жизни и да смилуется он над моею душою. Да здравствуют вечно свобода, справедливость и Республика корсиканцев! Аминь. И все, держа правую руку поднятою, ответят: Аминь.

В каждом приходе будет вестись точный реестр всех тех, кто будет присутствовать на этом торжестве. Их имена, имена их отцов, возраст и местожительство будут записаны в этом реестре.

Что до тех, которые в силу уважительных причин не смогут присутствовать на этом торжестве, то для них будут назначены другие дни, чтобы они могли принести ту же клятву и записаться в течение самое большее трехмесячного срока; по истечении сего времени всем тем, которые пренебрегут выполнением этого долга, будет за пропуском срока отказано в их праве и они останутся в классе чужеземцев или соискателей, о чем будет сказано ниже.

Страна обретает наибольшую силу своей независимости тогда, когда земля ее производит столько, сколько она может родить, т. е. когда в стране столько земледельцев, сколько их может быть.

На каждого ребенка, который будет следовать за пятым, отцу будет выделен общиной надел.

Те отцы, чьи дети будут отсутствовать, могут засчитывать их лишь после возвращения; а те дети, которые целый год будут пребывать вне острова, вообще не могут быть приняты в расчет даже после их возвращения.

Люди отвернутся от суеверий, когда будут полностью заняты своими гражданскими обязанностями, когда национальным празднествам будет придан настоящий блеск, когда большую часть того времени, которое они посвящали бы церковным обрядам, они станут посвящать обрядам гражданским; и все это можно сделать, если проявить некоторую ловкость так, чтобы не раздражить духовенство, дабы и на его долю всегда оставалось кое-что, но его часть должна быть настолько мала, что она не будет привлекать к себе внимания.

Из всех образов жизни более всего привязывает людей к их родной стране жизнь сельская.

Стражи законов смогут созывать Генеральные Штаты всякий раз, когда им это будет угодно; и со дня созыва их и до последующего дня после окончания собрания власть великого Подесты<sup>31</sup> и Государственного Совета будет приостановлена.

Личность Стражей законов будет священна и неприкосновенна; и никто на острове не будет иметь власти их арестовать.

Каждый приход будет иметь право отозвать своих стражей законов и заменить их другими всякий раз, когда ему это будет угодно, но если только они не будут отозваны особым решением, то будут таковыми пожизненно.

В случае чрезвычайного созыва Штатов Сенатом, они не могут быть распущены, пока не будет распущен Сенат или великий Подеста отрешен от своей должности.

Все законы о наследовании должны быть направлены к тому, чтобы приводить все к равенству таким образом, чтобы каждый имел кое-что и чтобы никто не имел ничего излишнего.

Всякий корсиканец, который покинет свой приход, чтобы поселиться в другом приходе, потеряет свое право гражданства на три года; по истечении этого срока по его ходатайству и после оглашения, в случае, если за ним не будет никакой провинности, он будет вписан в реестры этого нового прихода и в то же сословие, в которое он был занесен в своем старом приходе: гражданином, если был он гражданином, патриотом, если был патриотом, и соискателем, если был только соискателем.

И корсиканцы должны были платить дань за то, чтобы получить, как милость, право не носить оружия.

На острове не будет ни одного экипажа; духовные лица и женщины смогут пользоваться креслами на двух колесах; но другие, каково бы ни было их положение, смогут путешествовать лишь пешком или верхом, если только они не увечны или не тяжело больны.

Никто не будет допущен к присяге в том, что касается его интересов. Но присяга не...

Никого нельзя будет заключать в тюрьму за долги; и даже в случае конфискации, которые могут иметь место в домах какого-либо должника, ему будут оставлены, помимо одежды, чтобы прикрыть тело, его плуг, волы, постель и самая необходимая утварь.

Всякий холостяк, который женится до того, как ему исполнится двадцать лет, или только после того, как ему исполнится тридцать, или который женится на девице, еще не достигшей пятнадцати лет, или же на девице или вдове, возраст которой будет отличаться от его возраста более, чем на двадцать лет, будет исключен из сословия граждан, если только он не зачислен в это сословие в воздаяние за службу Государству.

Учитывая неравномерное производство продуктов на острове, не следует закрывать пути сообщения; нужно в некотором роде считаться с предрассудками народа и с его близорукостью. Видя, что ему не разрешают идти по соседству к его соотечественникам за теми продуктами питания, которых ему не хватает, он обвинил бы наши законы в произволе и в жестокости; он возмутился бы против них или втайне их возненавидел бы.

Если бы мы могли обойтись без денег и вместе с тем иметь все те выгоды, которые они дают, мы гораздо лучше использовали бы такие преимущества, чем обладая богатствами; потому что мы отделили бы эти выгоды от пороков, которые их отравляют и которые деньги приносят с собою.

Никто не должен быть магистратом по положению или солдатом по положению. Все должны быть готовы выполнять без различия те обязанности, которые возлагает на них отечество. На острове не должно быть никакого иного положения, как положение гражданина, и только оно одно должно заключать в себе все остальные.

Пока деньги будут корсиканцам полезны, они будут их любить; а пока они будут их любить, Республика будет содержать<sup>32</sup> среди них лазутчиков и изменников, которые будут влиять на характер принимаемых решений и будут, так сказать, держать Государство на жалованьи у его прежних господ.

Не следует никоим образом рассчитывать на воодушевление сильное, но всегда кратковременное — результат вновь обретенной свободы. Народный

героизм — это минутный порыв, за которым следуют слабость и упадок сил. Нужно основывать свободу народа на его образе жизни, а не на его страстях. Ибо его страсти преходящи и изменчивы; между тем, действие хорошего государственного устройства длится столько же, сколько оно существует; никакой народ не может продолжать оставаться свободным дольше, чем до тех пор, пока он ощущает благо свободы.

Пусть они вновь как следует вспомнят, что всякого рода привилегии выгодны для частных лиц, которые их получают, и ложатся бременем на нацию, которая их дает.

Все Правительства, основанные на насилии, впадают в смешное противоречие: желая держать народы в состоянии слабости, они тем не менее сами хотят с их помощью стать сильными.

Нация никоим образом не будет знаменита, но она будет счастлива. О ней не будут говорить, ее мало будут почитать во внешнем мире, но она будет иметь у себя изобилие, мир и свободу.

Всякий проситель, который отвергнет посредничество старейших или который, приняв это посредничество, откажется подчиниться их решению, если он проиграл это дело в судебном установлении, будет занесен в особые списки и признан неспособным в течение пяти лет исполнять любую общественную должность.

Всякая дочь гражданина, которая выйдет замуж за корсиканца, получит приданое от прихода жениха, к какому бы классу он ни принадлежал: этим приданым будет всегда участок земли, и его будет достаточно, если жених будет соискателем, чтобы он мог быть переведен в класс патриотов.

Из всех Правлений демократическое всегда обходится дешевле всего, потому что в нем общественная роскошь — это лишь изобилие людей и потому что там, где народ — господин, власть не нуждается ни в каких блестящих атрибутах.

Ибо, когда два или несколько Государств подчинены одному и тому же государю, то в этом нет ничего противного праву и разуму. Но если одно Государство подвластно другому Государству, то это представляется несовместимым с природою Политического организма.

Хотя я и знаю, что у корсиканской нации есть предрассудки весьма противные моим принципам, мое намерение состоит вовсе не в том, чтобы при помощи искусства убеждать корсиканцев принять эти мои принципы. Напротив, я хочу им изложить мое мнение и мои основания настолько ясно, чтобы здесь не оказалось ничего, что могло бы ввести в заблуждение; потому что

весьма возможно, что я ошибаюсь, и мне было бы очень досадно, если бы они приняли мое мнение себе во вред.

Откуда пришли на Корсику раздоры, ссоры, гражданские войны, которые раздирали ее в течение стольких лет и принудили в конце концов прибегнуть к помощи пизанцев<sup>33</sup>, а затем и генуэзцев? Не было ли все это делом рук знати? Не она ли привела народ в отчаяние и заставила его предпочесть покой в рабстве бесчисленным бедствиям, которые он испытывал под властью стольких тиранов? Хочет ли он теперь, после того как сбросил ярмо, возвратиться в то состояние, которое заставило его под это ярмо склониться?

Я не буду проповедывать им мораль, я не стану предписывать им такие добродетели. Но я поставлю их в такое положение, что они будут обладать этими добродетелями, не зная самого этого слова; и будут добрыми и справедливыми, не зная как следует, что такое справедливость и доброта.

Я не знаю, как это получается, но я хорошо знаю, что больше всего мошенничеств оказывается именно в тех делах, в которых больше всего реестров и счетных книг.

Таковы были эти юные римляне, которые, прежде чем командовать армиями, были в них квесторами или казначеями. Такие казначеи не были людьми низкими; им не приходило даже в голову, что можно нажиться на порученных их попечению общественных суммах; и военные кассы без риска можно было передавать в руки Катонов.

Вместо того, чтобы обуздывать роскошь при помощи законов против роскоши, лучше предупреждать ее при помощи такого управления, которое делает ее невозможною.

Я убежден, что, если хорошо поискать, на острове можно будет найти залежи железа; будет лучше, если найдут железо, чем если найдут золото.

И даже если нет уверенности, лучше начать с того состояния, которое естественно ведет к другому и от которого можно всегда перейти к первому, чем начать с такого состояния, от которого вернуться к первому уже нельзя, и которое не сулит уже ничего, кроме разрушения и разорения.

*Le prerogative che goderanno le suddette famiglie* \*.

Разрушительна для духа Республики статья, по которой военные должны быть безоговорочно подчинены магистратам и смотреть на себя лишь как на служителей Закона. Крайне важно, чтобы занятие военной службой не являлось постоянным само по себе, но было лишь одним из случаев занятий

\* Преимущества, которыми будут пользоваться названные выше семьи (итал.)<sup>34</sup>.



гражданина. Если бы дворянство обладало прерогативами, отличиями в войсках, то вскоре военные начальники сочли бы, что они стоят выше начальников гражданских; на правителей Республики стали бы смотреть уже только как на «судейских крючков»; и Государство, управляемое по-военному, очень скоро подпало бы под его деспотизма.

Это великолепное средство научить все подчинять Закону — когда все видят, как возвращается к частной жизни человек, которого столь уважали, когда он был в должности; и для него самого уверенность в том, что он когда-нибудь опять станет частным человеком преподает ему великий урок блюсти права частных лиц.

Например, в силу того, что провинция Капо Корсо не может производить ничего, кроме вина, следует препятствовать производству его в остальных частях острова, дабы эта провинция могла сбывать свой продукт.

Ибо, в силу того, что собственность частных лиц столь непрочна и столь зависима, Правительству необходима лишь незначительная сила, и оно руководит подданными, так сказать, мановением своего пальца.

Где те государи, которые решатся собрать богословов, чтобы справиться у них, законно ли то, что они хотят предпринять?

Я питаю глубокое уважение к Генуэзской Республике; я почитаю также в отдельности каждого суверена, хотя я и говорю им всем иногда несколько суровые истины. Да будет угодно небу, чтобы для их же собственной пользы, им чаще решались говорить эти истины и чтобы они иногда удаивали их выслушивать.

Обратите внимание, умоляю вас, что я не выдаю здесь ни повинности, ни какие бы то ни было принудительные работы за безусловное благо; было бы лучше, если бы все это делалось по доброй воле и за плату, если бы только средства платежа не вызвали бесконечного множества огромных злоупотреблений и несчастий, еще больших, еще более безграничных, чем те несчастья, которые могут произойти от такого принуждения, особенно, когда те, которые налагают повинности, относятся к тому же разряду, что и те, на кого эти повинности налагаются.

Ибо, когда будет существовать лишь один вид доходов, именно — плоды земли, то будет уже и один только вид достояния, а именно — сама земля.

Ибо подлинный дух собственности публичной состоит в том, чтобы право на собственность у частных лиц было прочно в роду по прямой линии и весьма слабо или ничтожно по боковой линии родства.

Корсиканцы еще находятся почти в состоянии естественном и здоровом; но необходимо большое искусство, чтобы удержать их в этом состоянии, потому что их предрассудки все больше отдаляют их от него: у них есть именно то, что для них нужно, но они хотят того, что не принесет им добра. Чувства говорят им верно: обманывают же их сотни ложных познаний. Они видят обманчивый блеск соседних народов и горят желанием стать такими же, потому что не знают их бедствий и не видят, что они сами несравненно лучше.

Воспрепятствовать вывозу продуктов питания это значит подорвать крупные земельные владения.

Благородный народ! Я хочу дать вам вовсе не искусственные и систематизированные законы, изобретенные людьми; но привести вас к одним только законам природы и порядка, которые повелевают сердцу и не насилуют желаний.

# ДОПОЛНЕНИЯ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ,  
ИЛИ ОПЫТ  
О ФОРМЕ РЕСПУБЛИКИ<sup>1</sup>  
(Первый набросок)



КНИГА I  
ПЕРВЫЕ ПОНЯТИЯ  
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОРГАНИЗМЕ<sup>2</sup>

Глава I  
ПРЕДМЕТ СЕГО ТРУДА

Столь много знаменитых писателей рассматривало уже принципы Правления и нормы гражданского права, что об этом предмете нельзя сказать ничего полезного, что не было бы уже сказано. Но, быть может, удастся прийти к большему согласию, быть может наилучшие соразмерности Общественного организма окажутся более отчетливо установленными, если мы начнем с того, что постараемся лучше определить саму его природу. Это именно я и пытался сделать в данном сочинении. Вот почему речь здесь идет никак не об управлении этим Организмом, но о его устройстве; я говорю о том, как он живет, а не о том, как он действует. Я описываю его пружины и составные части и расставляю их по местам. Я привожу машину в положение, при котором ее можно уже пустить в ход. Другие, кто мудрее меня, будут направлять ее движения.

## Глава II

О ПЕРВИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА <sup>3</sup>

Исследуем прежде всего, откуда возникает необходимость политических установлений.

Сила человека столь соразмерна с его естественными потребностями и с его изначальным состоянием, что едва только это состояние изменяется и потребности эти возрастают, как он начинает нуждаться в помощи ему подобных; и когда, наконец, его желания простираются на всю окружающую его природу, содействия всего человеческого рода едва хватает, чтобы их удовлетворить. Так получается, что те же причины, которые делают нас злыми, превращают нас, кроме того, еще и в рабов и порабащают нас, нас развращая. Сознание нашей слабости идет не столько от нашего естества, сколько от нашей алчности; наши нужды сближают нас по мере того, как наши страсти нас разделяют; и чем больше мы превращаемся во врагов по отношению к себе подобным <sup>4</sup>, тем меньше можем мы без них обойтись. Таковы первые узлы, создающие первичное общество всех людей; таковы основы той всеобщей благожелательности <sup>5</sup>, признанная необходимостью которой подавляет, казалось бы, осознание ее; той благожелательности, плоды которой каждый хотел бы собирать, не будучи сам обязан радеть о ней. Ибо, что до естественного тождества людей, то его роль в этом отношении ничтожна; оно для них является в равной мере предметом и раздоров, и единения и столь же часто порождает среди них соперничество и ревность, как и доброе понимание и согласие.

Из этого нового порядка вещей возникает множество неизмеримых, беспорядочных и непрочных отношений, которые люди постоянно извращают и изменяют, так что на одного человека, трудящегося над тем, как бы их укрепить, приходится сто человек, которые трудятся над тем, как бы их разрушить. А так как существование каждого человека, среди ему подобных, зависит в естественном состоянии от тысячи иных отношений, которые все время изменяются, то он никогда не может наверняка быть одним и тем же человеком в течение двух минут своей жизни; спокойствие и счастье — для него лишь миг; все непостоянно, кроме беспомощности, которая есть результат этих превратностей. Если бы его чувства и мысли и могли подняться до любви к порядку и до возвышенных понятий о добродетели, он все равно никогда не смог бы с надежностью применить эти свои принципы при том состоянии вещей, когда он не может даже отличить добро от зла и порядочного человека от скверного.

Первичное общество всех людей, такое, каким оно может возникнуть только из наших взаимных потребностей, не оказывает, следовательно, никакой

I.  
~~De Contract Social~~  
~~De la Société Civile~~  
~~ou Social~~  
 Mais sur la <sup>formation de la société politique</sup> ~~formation de la République~~  
 Livre I  
~~De la formation du corps social~~  
 =====  
 Chapitre I

Фрагмент рукописи Руссо — первый набросок «Общественного договора»

действенной подмоги человеку, впадшему в ничтожество; или, в крайнем случае, придает новые силы лишь тому, у кого их и так уже слишком много, тогда как слабый, опустившийся, задавленный, затертый в толпе себе подобных не находит ни убежища, где бы ему укрыться, ни какой-либо поддержки в своей слабости и, в конце концов, погибает жертвою того самого обманувшего его союза, который, как он ожидал, должен был принести ему счастье.

[Если мы убедимся в том, что причины, побуждающие людей соединиться между собою добровольными узами, не содержат ничего, что соотносилось бы с предметом такого объединения; что, напротив, счастье одного, далекое от того, чтобы быть целью общего благоденствия, из которого каждый мог бы извлечь свое собственное, это счастье одного человека составляет несчастье другого; если мы увидим, наконец, что вместо того, чтобы стремиться всем к общему благу, люди сближаются между собою лишь потому, что они все от этого блага удаляются, — то мы должны при этом понять, что даже если бы такое состояние и могло существовать, оно было бы лишь источником преступлений и бед для людей, из которых каждый имел бы в виду лишь собственную выгоду, следовал только своим склонностям и внимал лишь своим страстям.] \*

\* Здесь и в дальнейшем в квадратные скобки взяты абзацы, вычеркнутые автором в рукописи (Ред.).

Таким образом, сладостный голос природы уже не может быть для нас непогрешимым руководителем, как и независимость, от нее нами полученная, — желанным состоянием; спокойствие и невинность ускользнули от нас навсегда, прежде чем мы вкусили от их прелестей. Недоступная для неспособных одутить ее тупых людей первобытных времен, ускользающая от людей просвещенных в позднейшие времена, счастливая жизнь золотого века всегда была состоянием чуждым человеческому роду, потому ли, что он не мог ее оценить, когда ею мог наслаждаться, потому ли, что она была для него уже потеряна, когда он мог бы ее оценить.

Более того: эта совершенная независимость и эта неупорядоченная свобода, даже если бы она и соединялась неизменно с первобытною невинностью, все же страдала бы существенным пороком, вредным для развития самых замечательных наших способностей, именно: отсутствием той связи между частями, которая создает целое. Земля была бы населена людьми, между которыми не было бы почти никакого сообщения; мы соприкасались бы в нескольких точках, но ни одна из них не соединяла бы нас; каждый человек оставался бы в одиночестве среди всех остальных, каждый помышлял бы лишь о себе самом; наш рассудок не мог бы развиваться; мы жили бы, ничего не чувствуя, мы умирали бы, не успев пожить; все наше счастье состояло бы в том, что мы не ведали бы нашей ничтожности; не было бы ни доброты в наших сердцах, ни нравственности в наших поступках, и мы никогда не вкусили бы от самого восхитительного душевного чувства — любви к добродетели.

[Несомненно, что слова *человеческий род* представляют для ума лишь чисто собирательное понятие, не предполагающее никакой действительной связи между индивидуумами, его составляющими. Добавим к этому, если угодно, следующее предположение: будем представлять себе человеческий род в виде отвлеченной личности, которая наряду с чувством общего существования, придающим ей индивидуальность и делающим ее единой, обладает всеобщей двигательной силой, приводящей в действие каждую часть ради цели общей и соотносящейся с целым. Представим себе, что это общее чувство есть чувство принадлежности к человечеству и что естественный закон представляет собою принцип действия всей машины. Посмотрим затем, как сказываются на организме человека взаимоотношения его с ему подобными: и совершенно вопреки тому, что мы предположили, увидим, что развитие общества заглушает в сердцах чувство принадлежности к человечеству, пробуждая личный интерес, и что представления о естественном законе, который следовало бы скорее назвать законом разумности, начинают развиваться лишь тогда, когда предшествующее этому развитие страстей делает бессильными все предписания сего закона. Отсюда видно, что этот так называемый общественный договор, продиктованный природою, это в действительности фантазия, по-

скольку условия его всегда или неизвестны, или неосуществимы, неизбежно приходится либо не ведать их, либо преступать.

Если бы первичное общество всех людей существовало не только в теориях философов, то оно представляло бы, как я уже говорил, отвлеченное существо, обладающее своими собственными качествами, отличающимися от качеств отдельных существ, его составляющих; приблизительно так же, как химические соединения обладают свойствами, которые они не получили ни от одного из веществ, входящих в их состав. Там существовал бы всеобщий язык, которому природа научила бы всех людей и который был бы первым орудием их взаимного общения. Там существовало бы нечто вроде всеобщего головного мозга, который служил бы для сообщения между всеми частями. Благо или зло для общества не представляли бы себе лишь как сумму благ или зол для отдельных лиц, как в простом скоплении людей, но они заключались бы в той связи, что их объединяет; оно превышало бы эту сумму, и хотя общественное благоденствие и не зиждилось бы на счастье частных лиц, но оно было бы источником этого счастья.]

Неверно, что в независимом состоянии разум побуждает нас содействовать общему благу, имея в виду наш же собственный интерес<sup>6</sup>. Частный интерес не только не согласуется с общим благом, но, напротив, при естественном порядке вещей они взаимно исключают друг друга; законы общества — это ярмо, которое каждый согласен наложить на других, но никак не отягчить им самого себя. «Я чую, что сею смуту и ужас среди людей, — говорит независимый человек, заглушаемый мудрецом, — но получается, что либо должен быть несчастен я сам, либо я должен стать причиной несчастья других, а ведь никто не дорог мне так, как я сам»<sup>7</sup>. «Тщетно, — мог бы он добавить, — желал бы я примирить свой интерес с интересами других; все, что вы мне говорите о выгодах закона общества, было бы верно, будь я убежден в том, что если я буду в точности соблюдать этот закон по отношению к другим, все они будут его соблюдать по отношению ко мне. Но какую гарантию можете вы мне дать по этому поводу? и может ли мое положение быть хуже, чем в том случае, когда я подвергнусь опасности всевозможных бед, которые мне могут причинить более сильные, не смея сам покатиться за счет слабых? Либо дайте мне поручителей в том, что не будет совершено никакой несправедливости, либо не надейтесь, что я, со своей стороны, от нее воздержусь. Напрасно будете вы мне твердить, что, отрекаясь от обязанностей, налагаемых на меня естественным законом, я лишаю себя одновременно и тех прав, которые он дает, и что насилия, которые я совершу, оправдают те насилия, которые захотят совершить в отношении меня. Я соглашаюсь на это тем более охотно, что решительно не вижу, как могла бы меня от них оградить моя сдержанность. К тому же, от меня будет зависеть привлечь на свою сторону сильных, разделив с ними отобранное у слабых; это лучше, чем справедливость, обеспечит мои выгоды и мою безопасность». Доказательством



того, что именно так рассуждал бы человек просвещенный и независимый, является то, что именно так рассуждает всякое суверенное общество, отдающее отчет в своем поведении лишь себе самому.

Что можно ответить основательного на такие речи, если только мы не хотим призвать на помощь нравственности религию и заставить Божью волю непосредственно вмешаться с целью укрепления связей человеческого общества. Ведь возвышенные понятия о Боге мудрых, сладостные законы братства, которые Он нам внушает, общественные добродетели чистых душ, образующие ту истинную веру, исповедания которой Он от нас требует, никогда не будут доступны толпе. Для нее всегда будут создавать богов, столь же безрассудных, как она сама, и она принесет им в жертву некоторые незначительные свои удобства, чтобы предаться в честь богов этим множеству ужасных и разрушительных страстей. Вся Земля залилась бы кровью, и род человеческий погиб бы в скором времени, если бы философия и законы не сдерживали неистовств фанатизма и если бы голос людей не был сильнее гласа этих богов.

В самом деле, будь понятия о высшем Существо и о естественном законе во всех сердцах врожденными, совершенно излишнею заботою было бы особо наставлять людей и в первом, и во втором. Это означало бы учить нас тому, что было бы нам уже известно, а способ приняться за это дело гораздо лучше подходил бы для того, чтобы нас о нем заставить позабыть. Если же эти понятия не врождены, то все те, кому Бог их не дал, вовсе и не обязаны их знать. Как только для сего дела понадобились особые наставления, вот и есть уже у каждого народа свои собственные, и, как ему доказывают, только они одни — верные, и вот отсюда гораздо чаще происходят резня и убийства, чем согласие и мир.

Оставим же в покое священные заповеди различных религий, коих извращение вызывает не меньше преступлений, чем можно было бы избежать при соблюдении этих заповедей; и давайте предоставим философу исследование вопроса, который богослов всегда трактовал лишь во вред человеческому роду.

Но первый обязательно отошлет меня к человеческому роду, ибо лишь ему одному надлежит выносить решение, поскольку наибольшее благо для всех — единственная его страсть. Индивидуум, скажут мне, должен обращаться к общей воле, чтобы узнать, в какой мере должен он быть человеком, гражданином, подданным, отцом, ребенком, и когда подобает ему и жить и умереть<sup>8</sup>. «Прекрасно вижу и признаю, что это — тот принцип, с которым могу я сообразоваться; но я не вижу еще, — скажет нам независимый человек, — причины, по которой я должен подчиниться этому принципу. Дело не в том, чтобы научить меня тому, что есть справедливость; дело в том, чтобы показать, какая польза для меня в том, чтобы быть справедливым». В самом деле, пусть общая воля представляет собой в каждом индивидууме чистый

акт рассудка, который при молчании страстей делает заключение о том, что человек может требовать от себя подобного и что тот вправе требовать от него — никто не будет возражать против этого<sup>9</sup>. Но где же найдется такой человек, который смог бы подобным образом отделить себя от себя самого? и если забота о личном самосохранении — это первая из заповедей природы, то можно ли его заставить рассматривать человеческий род в целом так, чтобы он возложил на себя такие обязанности, связи которых с тем, как он сам устроен, он не видит нисколько? Разве не остаются в силе все те же возражения? и разве не остается опять-таки рассмотреть, почему его личная выгода требует, чтобы он подчинился общей воле?<sup>10</sup>

Более того: поскольку искусство обобщать таким образом свои мысли — одна из самых сложных и развивающихся позже всего способностей человеческого разума<sup>11</sup>, — будут ли люди обычного склада когда-нибудь в состоянии вывести из такого способа рассуждать правила своего поведения? И если бы приходилось испрашивать совета у общей воли по поводу отдельного поступка<sup>12</sup>, то сколько же раз случалось бы человеку, имеющему добрые намерения, обманываться в выборе правила или в применении его и следовать лишь своей склонности, полагая, что повинуетя он закону? Что же сделает он, дабы оградить себя от заблуждения? Прислушается ли к внутреннему голосу? Но этот голос, как говорят, возник лишь в результате привычки судить и чувствовать в условиях общества и согласно его законам; он никак не может, следовательно, служить для установления таких законов. И потом, нужно было бы, чтобы в его душе не поднялась ни одна из тех страстей, которые говорят громче совести, заглушают ее робкий голос и заставляют философов утверждать, что этот голос не существует. Будет ли он сообразоваться с принципами писаного Права, с имеющими общественный характер действиями всех народов, с молчаливыми соглашениями даже врагов человеческого рода? Тогда опять возникает первая трудность, ибо лишь из общественного состояния, установленного среди нас, мы выводим понятия, свойственные состоянию, которое мы представляем себе в воображении. Мы судим о первичном обществе всех людей по нашим отдельным обществам; установление малых Республик побуждает нас помышлять о великой; и мы, собственно, начинаем становиться людьми, лишь став гражданами. Отсюда видно, что следует думать об этих так называемых космополитах, которые, оправдывая свою любовь к отечеству своею любовью к человеческому роду, похваляются тем, что любят всех, дабы иметь право не любить никого.

То, что доказывает нам в этом отношении рассуждение, полностью подтверждается фактами; и если даже не углубляться далеко в древность, мы легко увидим, что здравые представления о естественном праве и об общем братстве всех людей распространились довольно поздно и развивались в мире столь медленно, что лишь христианство, обобщив эти мысли, дало им широкое распространение. Еще в законах Юстиниана мы находим во многих слу-

чаях оправдание древних жестокостей, и не только по отношению к явным врагам, но и по отношению ко всем, кто не был подданным Империи; так что в глазах римлян человечество простиралось не далее границ их владений.

В самом деле, долгое время полагали, как это отмечает Гроций<sup>13</sup>, что чужеземцев и особенно варваров дозволено обирать, грабить, угнетать и даже превращать в рабов. Отсюда понятно, как можно было спрашивать у незнакомцев, не оскорбив их, разбойники они или пираты, ибо это занятие тогда не считалось позорным, а, напротив, слыло как бы почетным. Первые герои, такие как Геракл и Тезей<sup>14</sup>, ведшие войну с разбойниками, сами тоже разбойничали; а греки часто называли мирными договорами такие соглашения, которые заключались между народами, вовсе не находящимися в состоянии войны. Слова «чужеземцы» и «враги» долгое время были синонимами у многих древних народов, даже у латинян. *Hostis enim, — говорит Цицерон, — apud majores nostros dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus*\*. Ошибка Гоббса, таким образом, вовсе не в том, что, по его утверждению, между людьми независимыми и ставшими способными к общежитию существует состояние войны, но в том, что, по его предположению, это состояние естественно для человеческого рода и является причиною тех пороков, что, на самом деле, суть его результат.

Но хотя и не существовало никакого естественного и первичного общества, включавшего всех людей; хотя, становясь способными к общежитию, люди делаются несчастными и злыми; хотя законы справедливости и равенства ничего не значат для тех, кто живут одновременно в условиях свободы естественного состояния и подвержены нуждам состояния общественного, — мы, далекие от того, чтобы полагать, что для нас не существует ни добродетели, ни счастья и что небо оставило нас беззащитными перед порчею нашего рода, попытаемся из самого зла извлечь лекарство, которое должно его исцелить. Возместим при помощи новых ассоциаций, если это возможно, отсутствие первичной ассоциации, общей для всех людей. Пусть наш неистовый собеседник<sup>15</sup> сам судит об итогах. Покажем ему, как при помощи искусства более совершенного может быть исправлено зло, которое зарождающееся искусство причинило природе; покажем ему всю ничтожность того состояния, которое он почитал счастливым, всю ложность того рассуждения, которое он считал основательным. Пусть увидит он в лучшем устройстве вещей награду добрым делам, возмездие за дурные деяния и отрадное согласие справедливости и счастья. Просветим его разум новыми познаниями, согреем его сердце новыми чувствами, и да научится он умножать свое бытие и счастье, разделяя их с себе подобными. Если рвенье мое не ослепляет меня в этом предприятии, то можно не сомневаться, что, обладая сильною душою и здравым смыслом,

\* «У предков наших назывался врагом тот, кого сейчас мы называем чужеземцем» (лат.) (Цицерон. De Officiis, кн. I, гл. XII)<sup>16</sup>.

сей враг рода человеческого отречется, в конце концов, от своей ненависти как и от своих заблуждений; что причина, ввопившая его в заблуждение, приведет его вновь к человечеству; что он научится предпочитать мнимой выгоде выгоду правильно понятую, что он станет добрым, добродетельным, чувствительным, и, наконец, одним словом, из свирепого разбойника, каким он хотел быть, превратится в самую надежную опору хорошо устроенного общества.

### Глава III

#### О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ <sup>17</sup>

Человек рождается свободным, а между тем повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они. Как совершилась эта перемена? Об этом ничего не известно. Что может придать ей законность? Ответить на это возможно. Если бы я рассматривал лишь вопрос о силе так же, как и другие, я бы сказал: пока народ принужден повиноваться и повинуетя, он поступает хорошо; но если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его,— то он поступает еще лучше; ибо, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому ее у него похитили, он либо имеет все основания вернуть ее, либо же вовсе не было оснований ее у него отнимать. Но общественное состояние — это священное право, которое служит основанием для всех остальных прав; оно, однако, не имеет своего источника в природе; следовательно, оно основывается на соглашениях. Надо выяснить, каково это соглашение и как оно могло сложиться <sup>18</sup>.

Как только потребности человека превышают его способности, а предметы его желаний растут и умножаются, оказывается, что либо он должен навеки остаться несчастным, либо должен попытаться дать себе новое бытие, которое дало бы ему те средства, кои он не находит уже более в самом себе. Как только силы, препятствующие нашему самосохранению, превосходят в своем противодействии силы, которые каждый индивидуум может приложить, чтобы их преодолеть, изначальное состояние не может более продолжаться; и человеческий род погиб бы, не приди на помощь природе искусство <sup>19</sup>. Однако, поскольку человек не может создать новых сил, а может лишь объединять и направлять силы уже существующие, то у него нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному движителю, заставить их действовать соединенно и направить к одной цели. Такова основная задача, которую разрешает установление Государства.

Итак, если мы соединим эти условия и устраним из общественного соглашения то, что не составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к следующим положениям: «Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под руководство общей воли свою волю, имущество, силу и саму свою личность, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в неотчуждаемую часть целого».

Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное целое, состоящее из стольких членов, сколько голосов насчитывает общее собрание, и которому общее *я* дает единство формы, жизнь и волю. Это лицо юридическое, образующееся, следовательно, в результате объединения всех других лиц, именуется вообще Политическим организмом: его члены называют этот Политический организм *Государством*, когда он пассивен, *Сувереном*, когда он активен, *Державою* — при сопоставлении его с ему подобными. Что до самих членов, то они в совокупности именуются *Народом*, а в отдельности называются *Гражданами*, как члены *Гражданской общины* или как участвующие в верховной власти, и *Подданными*, как подчиняющиеся законам Государства. Но эти термины, редко употребляемые во всем их точном значении, часто принимают один за другой; и достаточно уметь их различать, когда того требует смысл рассуждения<sup>20</sup>.

Из этой формулы видно<sup>21</sup>, что акт первоначальной конфедерации<sup>22</sup> содержит взаимные обязательства всего народа и частных лиц и что каждый индивидуум, вступая, так сказать, в договор с самим собою, оказывается принявшим двойное обязательство: именно как член Суверена в отношении частных лиц и как член Государства по отношению к Суверену. Но нужно отметить, что здесь нельзя применить то положение Гражданского права, что никто не обязан выполнять обязательства, взятые перед самим собой, ибо велико различие между обязательствами, взятыми перед самим собою, и обязательствами, взятыми по отношению к целому, часть которого ты составляешь. Следует еще заметить, что, поскольку каждый выступает в двойном качестве, решение, принятое всем народом, может иметь обязательную силу в области отношений всех подданных к суверену, но не может, по противоположной причине, наложить на суверена обязательства по отношению к себе самому, и что, следовательно, если бы суверен ввел закон, от которого он не мог бы себя освободить, это противоречило бы самой природе Политического организма. Поскольку суверен может рассматривать себя лишь в одном единственном отношении, то он попадает в положение частного человека, заключающего соглашение с самим собою. Раз так, то нет и не может быть никакого основного закона, обязательного для Народа в целом: это, однако, не означает, что Народ как целое не может с полным успехом взять на себя обязательства по отношению к другим, по меньшей мере, в том, что не противоречит его природе как целого; ибо по отношению к чужеземцу он выступает как обычное существо, как индивидуум.

Как только эта масса людей объединяется таким путем в одно целое, уже невозможно причинить вред ни одному из его членов, не задев целого в какой-либо части его существа. И тем более нельзя причинить вред целому так, чтобы члены его этого не почувствовали; потому что, кроме жизни всех членов, о которой идет речь, все они подвергают опасности часть своего естества, причем этой частью суверен в данное время не распоряжался, и безопасное пользование ею им обеспечено лишь под защитой общества. Стало быть, и долг и выгода в равной мере обязывают обе договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и одни и те же люди должны стремиться использовать в этом двояком отношении все преимущества, которые дает им объединение. Но надлежит установить еще некоторые различия в том отношении, что у суверена, образуемого лишь из частных лиц, его составляющих, никогда не бывает таких интересов, которые противоречили бы интересам этих лиц; следовательно, верховная власть суверена не может никогда нуждаться в каком-либо поручителе перед частными лицами; ибо невозможно, чтобы организм вдруг захотел вредить своим членам. Не так обстоит дело с отношениями подданных к суверену; несмотря на общий интерес, ничто не могло бы служить для суверена порукою в выполнении подданными своих обязательств, если бы он не нашел средств обеспечить их верность себе. В самом деле, каждый индивидуум может, как человек, иметь особую волю, противоположную общей или несходную с этой общей волей, которой он обладает как гражданин. Само его независимое существование может заставить его рассматривать то, что он должен уделять общему делу, лишь как безвозмездное приношение, потеря которого будет не столь ощутима для других, сколь уплата этого приношения обременительна для него самого; и если бы он рассматривал то юридическое лицо, которое составляет Государство, как отвлеченное существо, поскольку это — не человек, он пользовался бы правами гражданина, не желая исполнять обязанностей подданного; и эта несправедливость, усугубляясь, привела бы к разрушению Политического организма.

Итак, чтобы Общественный договор не стал пустою формальностью, нужно, чтобы независимо от согласия частных лиц суверен имел какие-либо поручительства за выполнение их обязательств по отношению к общему делу. Клятва — это, обычно, первое из таких поручительств; но поскольку она по своему происхождению относится к совершенно иному разряду вещей и поскольку каждый в соответствии со своими внутренними принципами изменяет по своей воле налагаемое ею обязательство, то в политических установлениях с клятвой мало считаются и не без основания предпочитают обеспечение более вещные, выявляющиеся из природы самого дела<sup>23</sup>. Таким образом, первоначальное соглашение молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим. Обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом. Но здесь важно хорошо помнить, что особый и отличительный ха-

рактер этого соглашения состоит в том, что народ заключает договор лишь с самим собою; то есть договор заключается между народом в целом, как сувереном, и частными лицами, его составляющими, как подданными: условие это составляет весь секрет и двигательную силу политической машины, и оно одно только делает законными, разумными и безопасными обязательства, которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и открывали бы путь чудовищнейшим злоупотреблениям.

Этот переход<sup>24</sup> от состояния естественного к состоянию общественному производит в человеке весьма приметную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и придавая его действиям тот нравственный характер, которого они ранее были лишены. Только тогда, когда голос долга сменяет плотские побуждения, а право — желание, человек, который до сих пор считался только с самим собою, оказывается вынужденным действовать сообразно другим принципам и советоваться с разумом, прежде чем следовать своим склонностям. Но хотя он и лишает себя в этом состоянии многих преимуществ, которые получает от природы, он вознаграждается весьма значительными другими преимуществами; его способности упражняются и развиваются, его представления расширяются, его чувства облагораживаются, и вся его душа возвышается до такой степени, что если бы заблуждения этого нового состояния не низводили часто человека до состояния еще более низкого, чем то, из которого он вышел, то он должен был бы непрерывно благословлять тот счастливый миг, который навсегда вырвал его оттуда и который из тупого и ограниченного животного создал разумное существо — человека.

Сведем весь этот итог к легко сравнимым между собой положениям. По Общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на все то, что ему необходимо; приобретает же он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает. Чтобы не ошибиться в этих оценках, надо точно различать естественную свободу, границами которой является лишь физическая сила индивидуума, и свободу гражданскую, которая ограничена общей волей; а также различать обладание, представляющее собой лишь результат применения силы или право того, кто пришел первым, и собственность, которая может опираться лишь на основные юридическое<sup>25</sup>.

#### О ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ<sup>26</sup>

Каждый член общины подчиняет себя ей в тот момент, когда она образуется, таким, каков он есть в это время, подчиняет ей самого себя и все свои силы, составной частью которых являются те владения, которые он занимает. Это не означает, что вследствие такого акта владение, переходя из рук в

руки. изменяет свою природу и становится собственностью в руках суверена. Но так как силы Государства несравненно больше, чем силы отдельного человека, то и его владение фактически более прочно и неоспоримо, хотя и не становится от этого более законным, по крайней мере, по отношению к чужеземцам. Ибо Государство по отношению к своим членам является хозяином всего их имущества в силу формального соглашения: это — самое священное из прав, известных людям. Но для других государств оно является таковым лишь по праву первой заимки, перешедшему к нему от отдельных лиц: это право менее бессмысленно и менее отвратительно, чем право завоеваний, однако, при ближайшем рассмотрении оно оказывается едва ли более законным.

Вот каким образом соединенные и смежные земли частных лиц превращаются в территорию, подвластную всему народу, а право суверенитета, распространяясь с подданных на занимаемые ими земли, становится одновременно вещным и личным, что ставит владельцев в большую зависимость, а самые их силы делает залогом их верности. Монархи древности, видимо, не понимали, как следует, этого преимущества и считали себя не столько господами стран, сколько повелителями людей. Поэтому они называли себя лишь Царями персов, скифов, македонян; наши же государи называют себя более хитро Королями Франции, Испании, Англии. Владея, таким образом, землей, они могут быть вполне уверены, что ее обитатели у них в руках.

Замечательно в этом отчуждении то, что община, принимая земли частных лиц, вовсе не отбирает у них эти земли, — она лишь обеспечивает этим лицам законное распоряжение ими, превращая захват в подлинное право, и пользование в собственность. Тогда, поскольку основание ее уважается всеми членами Государства и защищается всеми силами этого Государства от чужеземца, эти частные лица, в результате уступки, выгодной для общины, а еще более для них самих, приобретают, так сказать, все то, что отдали: загадка эта очень легко объясняется различием прав, которые имеют суверен и собственник на одну и ту же землю.

Может также случиться, что люди начинают объединяться раньше, чем они стали чем-либо обладать, и, захватив затем участок земли, достаточный для всех, пользуются им сообща или же разделяют его между собой либо поровну, либо в определенных соотношениях, установленных сувереном. Но каким бы путем ни происходило это приобретение, право, которое каждое частное лицо имеет на свое собственное владение, всегда подчинено тому праву, которое община имеет на все владения, без чего не было бы ни прочности в общественных связях, ни действительной силы в осуществлении суверенитета.

Я закончу эту главу замечанием, которое должно служить основой всей системы отношений в обществе: первоначальное соглашение не только не уничтожает естественное равенство людей, а напротив, заменяет равенством



как личностей и перед законом все то неравенство, которое внесла природа в их физическое естество; и хотя люди могут быть от природы не равны по силе или способностями, они все становятся равными в силу соглашения и по своим правам.

#### *Глава IV*

### В ЧЕМ СОСТОИТ СУВЕРЕНИТЕТ И ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО НЕОТЧУЖДАЕМЫМ <sup>27</sup>

Итак, в Государстве существует общая сила, его поддерживающая, и общая воля, направляющая эту силу; приложение одной к другой и образует суверенитет. Из этого видно, что суверен, по своей природе, представляет собою лишь условную личность, существующую только как нечто отвлеченное и собирательное, и что понятие, которое связывают с этим словом, не может быть соединено с понятием об обычном индивидууме. Но так как это — одна из важнейших посылок в области политического права, то попытаемся разъяснить ее получше.

Я полагаю, что могу установить в качестве неоспоримого правила, что одна только общая воля может управлять силами Государства в соответствии с целью его установления, каковая есть общее благо. Ибо, если противоположность частных интересов сделала необходимым установление гражданских обществ, то именно согласие этих интересов и сделало сие возможным. Общественную связь образует как раз то, что есть общего в этих различных интересах; и не будь такого пункта, в котором согласны все интересы, общество не могло бы существовать. Но поскольку воля всегда направлена к благу существа, ее изъявляющего, объект частной воли есть всегда частный интерес, а воли общей — интерес общий, то из этого следует, что только одна эта последняя является или должна быть истинным двигателем Общественного организма.

Я признаю, что может возникнуть подозрение, не может ли во всем совласть какая-нибудь частная воля с волею общею, и, следовательно, если предположить, что такая частная воля существует, — то нельзя ли было бы беспрепятственно доверить ей всецело руководство общественными силами. Но, даже если не предупреждать те решения данного вопроса, которые я дам ниже, каждому уже сейчас должно быть ясно, что если общая воля заменяется частною, то эта последняя есть орудие излишнее, когда они согласны между собой, и вредное, когда они противоположны. Должно быть также ясно, что подобное предположение бессмысленно и невозможно по самой природе вещей, ибо частные интересы всегда стремятся к преимуществам, а общественный интерес стремится к равенству.

Более того, если бы и удалось установить на минуту согласие частной и общей воли, то не было бы никогда уверенности в том, что это согласие будет продолжаться и в следующую минуту и что между этой частной и общей волею никогда не возникнет противодействия. Порядок вещей в человеческом обществе подвержен стольким переворотам, а способ мыслить, как и образ жизни, изменяется столь легко, что было бы чересчур большой смелостью утверждать, что люди будут желать завтра того же, чего они хотят сегодня; и если общая воля менее подвержена такому непостоянству, то ничто не может уберечь от него волю частную. Таким образом, если бы даже Общественный организм и мог сказать однажды: «Я сейчас хочу всего того, чего хочет такой-то человек», то никогда не смог бы он сказать, имея в виду это же человека: «Я захочу того же, чего захочет он завтра». Таким образом, общая воля, которая должна руководить Государством, это — не воля какого-то прошлого времени, но воля настоящей минуты; и подлинная отличительная особенность суверенитета состоит в том, что он всегда подразумевает согласие во времени, месте и действии между руководством общей волею и использованием публичной силы: на такое согласие не приходится уже рассчитывать, если эту силою располагает другая воля, какою бы она ни была. Правда, в Государстве с добрым порядком всегда можно определить, продолжает ли действовать тот или иной акт воли народа по тому, не отменен ли он другим актом противоположного характера. Но предыдущий акт может оставаться в силе лишь пока есть на то прямое и молчаливое согласие народа; в дальнейшем мы увидим, какие условия необходимы, чтобы можно было предполагать существование такого согласия.

Подобно тому, как вопрос о воздействии души на тело в человеческом организме служит предметом бесконечных размышлений в философии, точно также вопрос о воздействии общей воли на публичную силу в государственном организме служит неисчерпаемой темой науки политической. Именно здесь заблудились все Законодатели. Я опишу ниже все наилучшие средства, которые применялись для разрешения этого вопроса, а в их оценке буду опираться на свои рассуждения лишь в той мере, в какой это будет подтверждено опытом. Если желать и делать — это одно и то же для всякого свободного существа и если воля этого существа соответствует в точности тем усилиям, которые оно прилагает для ее воплощения, то очевидно, что во всем, что не превышает силы общественной, Государство всегда в точности исполняло бы все то, чего желает суверен, и так, как он этого желает, если бы в гражданском организме воля представляла собою столь же простой акт, а действие — столь же простой результат этой самой воли, как в организме человеческом.

Но даже если бы связь, о которой я говорю, и была установлена настолько достоверно, насколько то возможно, не все трудности все же были бы устранены. Деяния людей, всегда менее совершенные, нежели деяния приро-

ды, никогда не ведут столь же прямо к цели. В политике, как и в механике, нельзя избежать действий более слабых или менее скорых и потерь силы или времени. Общая воля редко бывает волею всех, а общественная сила всегда меньше, чем сумма частных сил; так что в пружинах Государства есть нечто эквивалентное трению в механизмах; это нечто нужно уметь сводить к наименьшей возможной величине и его нужно, по крайней мере, уметь рассчитать и вычесть заранее из общей силы, чтобы в точности соразмерить применяемые средства и тот результат, который мы хотим получить. Но, не входя в эти многотрудные розыскания, которые и составляют науку Законодателя, закончим обоснование понятия о гражданском состоянии.

## Глава V

### ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ <sup>28</sup>

Есть тысяча способов собрать людей, но существует лишь один единственный, чтобы их объединить. Вот почему я излагаю в этом моем сочинении лишь одну методу образования политических обществ, хотя среди множеств скоплений людей, существующих ныне под этим названием, не найдется и двух, которые были образованы одинаково и ни одного такого, которое было бы образовано по той методе, каковую я устанавливаю. Но я иду права и основания и не оспариваю фактов. Попытаемся же исследовать в соответствии с этими принципами, какие суждения должно вынести о других путях гражданского объединения, таких, какими их себе представляют большею частью наши писатели.

1. Естественный авторитет отца семейства распространяется на его детей и после того периода, когда они были еще слабы и нуждались в нем, и, таким образом, продолжая ему повиноваться, они делают по привычке и из благодарности, в конце концов, то, что делали прежде по необходимости,— все это понять нетрудно; и легко увидеть узы, могущие объединять семью. Но, если отец умирает, и тогда один из сыновей без всякого права захватывает такую же власть, какою обладал отец над всеми, над своими братьями, находящимися почти в том же возрасте, и даже над чужими людьми,— это уже не имеет ни причины, ни основания. Ибо естественные права возраста, силы, родительской нежности, обязанности сыновней благодарности,— всего этого уже нет при новом порядке; и братья будут дураками или людьми бесчувственными, если подчинят своих детей власти человека, который, в силу естественного закона, должен оказывать всяческое предпочтение своим собст-

венным детям. Здесь более не видно связей, которые объединяли бы главу и членов. Действует одна лишь сила, а природа не говорит уже ничего.

Остановимся на минуту на этом сопоставлении, проводимом с воодушевлением столькими авторами<sup>29</sup>. Во-первых<sup>30</sup>, если бы между Государством и семьею и существовало так много сходства, как они утверждают, то даже из этого не следовало бы еще, что правила поведения, принятые в одном из этих двух обществ, подходят для другого. Эти общества слишком различаются по своей величине, чтобы быть управляемы одинаковым образом; и всегда будет огромное различие между управлением домашним, когда отец видит все сам, и гражданским управлением, когда правитель почти все видит лишь чужими глазами. Для того чтобы положение дел здесь стало одинаковым, нужно было бы, чтобы дарования, сила и все способности отца возрастали пропорционально величине семьи и чтобы душа могущественного монарха относилась к душе обычного человека так, как размеры его владений относятся к достоянию одного частного лица.

Но как может управление Государством походить на управление семьею, которая имеет столь отличное от него начальное основание? Отец физически сильнее, чем дети, и потому до тех пор, пока им нужна его поддержка, отцовскую власть можно по справедливости считать установленною самой природой. В большой семье, члены которой от природы равны между собою, политическая власть, устанавливаемая чисто произвольно, может быть основана только на соглашениях, а магистрат может приказывать гражданину только в силу законов. Обязанности отца продиктованы ему естественными чувствами и таким тоном, который редко позволяет ему не повиноваться. У правителей нет ничего похожего на это правило, и они в своих отношениях с народом на деле связаны только теми обещаниями, которые они ему дали и исполнения коих он вправе требовать. Другое различие, еще более важное, состоит в том, что у детей нет ничего, что они не получили бы от отца и поэтому, очевидно, все права собственности принадлежат ему или же от него исходят. Совершенно противоположным образом обстоит дело в большой семье, где общее управление устанавливается лишь для того, чтобы обеспечить прочность владений частных лиц, появление которых предшествует ему. Главная цель трудов всего дома состоит в том, чтобы сохранить и умножить отцовское достояние, дабы отец мог когда-нибудь разделить его между детьми, не уменьшая их доли; тогда как богатство государя<sup>31</sup>, которое отнюдь не увеличивает благосостояние частных лиц, стоит им почти всегда мира и изобилия. Наконец, малая семья обречена на то, чтобы угаснуть и распасться однажды на ряд других подобных семейств. Большая же семья создана для того, чтобы длительно существовать все в одном и том же состоянии; и поэтому для роста малой семьи нужно, чтобы она увеличивалась, тогда как для большой семьи достаточно, чтобы она сохранялась в своих размерах; более того, можно даже доказать, что всякое увеличение для нее скорее вредно, чем полезно.

По многим причинам, вытекающим из самой сути дела, в семье должен приказывать отец. Во-первых, власть не должна распределяться поровну между отцом и матерью, но следует, чтобы управление было единым и чтобы, при расхождении во мнениях, один голос был преобладающим и решающим. Во-вторых, сколь легкими мы бы ни захотели признать недомогания, свойственные женщине, они все же создают для нее некоторый период бездеятельности: это достаточное основание, чтобы не отдавать ей в данном деле первенства; ибо при совершенном равновесии какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы склонить весы в ту или иную сторону. Кроме того, муж должен иметь право надзора за поведением жены, потому что для него важно, чтобы дети, которых он вынужден признавать, не принадлежали кому-нибудь другому. Женщина, которой не нужно опасаться ничего подобного, не имеет таких же прав по отношению к своему мужу. В-третьих, дети должны повиноваться отцу сначала по необходимости, затем из благодарности; получая от него все, в чем они нуждаются, на протяжении первой половины своей жизни, они должны посвятить вторую половину жизни тому, чтобы доставлять отцу все ему необходимое. В-четвертых, что до слуг, то они также обязаны ему служить за то содержание, которое он им дает, исключая тот случай, когда условия найма перестают их удовлетворять, и они расторгают договор. Я ничего не говорю о рабстве, потому что оно противно природе, и ничто не может его узаконить.

Ничего подобного нет в обществе политическом. Правитель не только не имеет естественного интереса в счастии частных лиц, но нередко даже пытается найти свою собственную пользу в том, чтобы они были несчастны. Корона наследственна? Тогда при этом нередко ребенок повелевает взрослыми<sup>1</sup>. Корона выборна? Тогда при проведении выборов дают себя чувствовать тысячи неудобств; и в том, и в другом случае утрачиваются все преимущества отцовского авторитета. Если у вас только один правитель, то вы отданы на милость господина, у которого нет никаких оснований вас любить; если у вас правителей несколько, то приходится терпеть одновременно и их тиранию, и их раздоры. Одним словом, злоупотребления неизбежны, а последствия их пагубны во всяком обществе, где общественный интерес и законы не имеют никакой естественной силы и беспрестанно ущемляются личным интересом и страстями правителя и членов.

Хотя деятельность отца семейства и деятельность государя должны быть направлены к одной и той же цели, пути их столь различны, обязанности и права их настолько отличаются, что смешать их можно, только создав себе самые ложные представления о начальных основаниях общества и впад в заблуждения, роковые для человеческого рода. В самом деле, если голос

<sup>1</sup> Французский закон о совершеннолетних королей доказывает, что весьма разумные люди и долгий опыт научили народы, что еще большее несчастье быть управляемым регентами, чем детьми.

природы — это лучший совет, к которому хороший отец должен прислушиваться, чтобы хорошо исполнять свои обязанности, то для магистрата голос природы — только ложный наставник, который беспрепятственно действует, увлекая этого последнего в сторону от выполнения его обязанностей и рано или поздно приводит к его гибели или к гибели Государства, если магистрата не удержат от этого благоразумие или добродетель. Единственная предосторожность, необходимая отцу семейства, это оградить себя от пороков и помешать извращению своих естественных склонностей; но эти-то естественные склонности и развращают магистрата. Для того чтобы поступать хорошо, первому из них нужно лишь прислушиваться к голосу своего сердца; второй же становится предателем в тот самый миг, когда слушается голоса сердца; самый его разум должен быть для него подозрителен, и он должен руководиться только общественным разумом, который есть Закон. Вот почему природа создала множество хороших отцов семейств; но мне неизвестно, чтобы человеческая мудрость когда-либо создала хорошего короля. Посмотрите в *Civilis* \* Платона, каковы те качества, которыми должен обладать человек, призванный к тому, чтобы быть королем, и назовите кого-нибудь, кто обладал ими. Если даже предположить, что такой человек существовал и носил корону, то разве разум позволит основывать на чуде принцип человеческих Правлений? Таким образом, несомненно, что общественные связи Гражданской общины не могли и не должны были образоваться ни путем расширения семейных связей, ни по их образцу.

2. Человек богатый и могущественный приобрел огромные земельные владения и предписал законы тем, которые пожелали в них поселиться; он им это дозволил лишь при условии, что они признают его высшую власть и будут повиноваться во всем его воле, — сие я могу еще понять. Но как могу я признать, что договор, предполагающий права, существовавшие ранее, может быть первоосновой Права и что в этом тираническом акте нет двойной узурпации, именно: собственности на землю и свободы жителей? Как частное лицо может завладеть огромной территорией и лишить этой территории человеческий род иначе, как не в результате наказуемого захвата, поскольку этот акт лишает других людей мест обитания и источников существования, которые природа дает им всем в общее пользование? Признаем право первой заимки за потребностями и трудом; но можем ли мы не ставить границ этому праву? Достаточно ли ступить ногою на общий участок земли, чтобы провозгласить себя тотчас же его безраздельным владельцем? <sup>1</sup> Достаточно

\* «Политик» (лат.).

<sup>1</sup> Я видел, не знаю уж в каком сочинении, озаглавленном, кажется, *Голландский Обзоратель*, весьма милый принцип: он состоит в том, что всякий участок земли, населенный лишь дикарями, должен считаться пустующим, и им можно законным образом завладеть в силу естественного права, а жителей прогнать оттуда, не причиняя им никакого зла.

ли иметь силу, необходимую для того, чтобы прогнать оттуда всех остальных людей, чтобы отнять у них право вернуться на этот участок? В каких пределах акт вступления во владение может быть основой собственности? Когда Нуньес Балбоа, став на берегу, объявил от имени Кастильской короны, что он вступает во владение Южным морем и всей Южной Америкой, было ли того достаточно, чтобы лишить всех жителей этих стран их владений и преградить доступ в них всем государям мира? Такого рода формальные акты повторялись впоследствии неоднократно и довольно безуспешно. Ибо Католический Король мог бы сразу завладеть из кабинета всем миром, но ему пришлось бы затем исключить из своих владений все то, чем ранее еще завладела другие государи.

Каковы же те условия, которые необходимы, чтобы узаконить право первой заимки на какой-либо участок земли? Во-первых, чтобы на этой земле еще никто не поселился; во-вторых, чтобы тот, кто пришел раньше всех, занял лишь столько, сколько необходимо ему для прокормления; в-третьих, чтобы земля переходила во владение в результате расчистки и обработки ее — этого единственного признака собственности, который должен быть уважаем другими. Права человека до общественного состояния не могут простирается далее; все остальное — это лишь насилие и узурпация, противные естественному праву, и сие не может служить основанием для права в состоянии общественном.

Итак, если у меня не больше земли, чем нужно мне для жизни, и достаточно рук, чтобы ее обрабатывать, то, если я буду отчуждать еще от нее, у меня остается земли меньше, чем мне нужно. Что же могу я уступить другим, не отнимая у себя средств к существованию; или же, какое соглашение заключу я с ними, чтобы ввести их во владение тем, что мне не принадлежит? Что касается до условий этого соглашения, то совершенно очевидно, что они незаконны и недействительны для тех, кого они безоговорочно подчинят чужой воле. Ибо, помимо того, что такое подчинение несовместимо с природою человека и что лишить человека свободы воли это значит лишить его действия какой бы то ни было нравственности, выговаривать с одной стороны неограниченную власть, а с другой — безграничное повиновение значит устанавливать соглашение бесполезное, бессмысленное, невозможное. Разве не ясно, что у нас нет никаких обязанностей по отношению к тому, от кого мы вправе всего потребовать? и разве уже это единственное условие, несовместимое ни с каким другим, не влечет за собою неизбежно недействительности такого акта? Ибо как может мой раб иметь права, обращенные против меня, когда все, что он имеет, принадлежит мне; и если таким образом его право — мое, то разве не лишены какого-либо смысла слова: мое право, обращенное против меня же?

3. По праву войны победитель, вместо того чтобы убить своих пленников, делает их навсегда рабами; несомненно, он поступает правильно с точки зре-

ния своей выгоды. Но, поскольку он поступает в отношении их так лишь по праву войны, состояние войны между ним и побежденными отнюдь не прекращается; ибо оно может прекратиться лишь вследствие свободного и добровольного соглашения, так же, как оно началось. Если же победитель не убивает всех своих пленников, то его так называемое милосердие отнюдь не является таковым, раз приходится платить за него свободу, которая лишь одна может придать цену жизни. Поскольку эти пленники более полезны для него живые, чем мертвые, он оставляет им жизнь во имя своих интересов, но никак не их; поэтому они не обязаны ему ничем, кроме как повиновением, покуда они вынуждены повиноваться. Но в ту минуту, когда угнетенный народ может сбросить ярмо, надетое на него силою, и избавиться от своего повелителя, т. е. от своего врага, то, если может он так поступить, он лишь использует право войны, которая не прекращается до тех пор, пока имеет место насилие, разрешенное этим правом. Тогда, как же может состояние войны служить основой договора относительно объединения, имеющего своею целью лишь справедливость и мир? Можно ли представить себе что-либо более бессмысленное, чем слова: «мы объединены в одно целое ввиду того, что между нами идет война». Но ложность этого так называемого права убивать пленников была столь явно признана, что не найдется уже, быть может, ни одного цивилизованного человека, который решился бы применять или требовать применения этого фантастического, вымышленного и варварского права, и даже ни одного софиста, который за вознаграждение решился бы его защищать.

Итак, я утверждаю, во-первых, что, поскольку победитель не имеет права предавать побежденных смерти, после того, как они складывают оружие, то он не может и основывать их порабощение на праве, которого вовсе не существует. Во-вторых, если бы у победителя даже и было такое право и он бы им не воспользовался, то из этого никогда не возникло бы гражданское состояние, но лишь видоизмененное состояние войны.

Добавим, что если под словом *война* понимается война внутри общества, то этим предполагается существование обществ, возникших до этого, происхождение которых уж никак не объясняется. Если же под этим понимается война частная, человека с человеком, то при этом будут лишь господин и рабы, но никак не правитель и граждане; и, чтобы отличать это последнее отношение, понадобится всегда предполагать наличие некоего общественного соглашения, создающего Народ как целое и объединяющего членов между собою, а также с их правителем.

Таково на самом деле подлинное отличие гражданского состояния; народ — это народ, независимо от его правителя; и если государь погибает, между подданными существуют еще связи, объединяющие их в нацию как одно целое. Вы не найдете ничего подобного в принципах тирании. Как только тиран перестает существовать, все разъединяется и рассыпается пра-



хом, как превращается в кучу пепла дуб, когда погасает пожравший его огонь.

4. С течением времени насильственная узурпация превращается в законную власть; одна давность может превратить узурпатора в высшего магистрата, а стадо рабов — в Нацию — вот что решались утверждать многие ученые люди, и это подтверждается чуть ли не всеми авторитетами<sup>32</sup>, кроме авторитета разума. Между тем длительное насилие не только не может со временем преобразиться в настоящее Правление, но, напротив, неоспоримо, что, когда народ был бы столь безрассуден, что добровольно предоставил своему правителю неограниченную власть, то такую власть нельзя было бы передавать по наследству; и уже одно то, что она существует столь долго, способно сделать ее незаконной. Ибо нельзя предполагать, что дети, которые родятся в будущем, одобряют сумасбродства своих отцов, как нельзя, по справедливости, заставлять их расплачиваться за ошибку, которой они не совершали.

Нам скажут, я это знаю, что вообще не существующее не имеет никаких свойств, и потому ребенок, который еще должен родиться, не обладает никакими правами; так что его родители могут отказаться от своих прав и за себя, и за него, причем ему нельзя на это жаловаться. Но, чтобы разбить столь грубый софизм, достаточно отличать те права, которые сын получает единственно от отца, как, например, право собственности на его имущество, от тех прав, которые он получает лишь от природы и своего человеческого достоинства, как, например, свободу. Несомненно, что по закону разума отец может уступить первые, единственным собственником коих является он сам, и лишить своих детей этих прав. Но не так обстоит дело со вторыми, которые суть непосредственные дары природы, и которых, следовательно, ни один человек не может у них отобрать. Предположим, что завоеватель ловкий и весьма усердный, ради счастья его подданных убедил бы их, что, имея лишь одну руку, они будут жить спокойнее и счастливее; разве было бы этого достаточно, чтобы на вечные времена обязать всех детей отрубить себе руку, чтобы выполнить обязательства своих отцов?

Что до молчаливого согласия, допуская существование которого хотят узаконить тиранию, то легко увидеть, что его нельзя предположить в случае даже самого длительного безмолвия народа: ибо помимо того, что страх не позволяет частным лицам протестовать против человека, располагающего публичной силой, народ, который может явить свою волю только как Целое, не имеет возможности собраться, чтобы ее провозгласить. Напротив, молчания граждан достаточно, чтобы отвергнуть непризнанного правителя: чтобы они его признали, они должны говорить и притом говорить совершенно свободно. Впрочем, все, что говорят по этому вопросу юрисконсульты и другие люди, которым за это платят, вовсе не доказывает, что народ не вправе вернуть себе захваченную у него свободу, а лишь то, что пытаться так посту-

пать опасно. Этого никогда и не следует делать, когда изведешь бóльшие беды, чем потеря свободы.

Весь этот спор об общественном соглашении, как мне кажется, сводится к одному весьма простому вопросу. Что могло побудить людей добровольно соединиться в общественный организм, если не их общая польза? Общая польза и есть следовательно, основание гражданского общества. Установив это, что еще остается нам сделать, чтобы отличить Государства, имеющие законное основание, от насильственно образованных и ничем не узаконенных скопищ, как не рассмотреть предмет или цель тех и других. Если форма общества ведет к общему благу, она следует духу его создания, если же она отвечает лишь интересу правителей, то она незаконна в силу права разума и человеческой природы; ибо если бы даже общественные интересы и оказывались иногда согласны с интересами тирании, то этого преходящего согласия не было бы достаточно для того, чтобы узаконить Правление, коего оно не являлось бы принципом. Когда Гроций отрицает, что всякая власть устанавливается в пользу управляемых, он даже слишком прав в отношении действительного положения вещей; но речь идет о том, как должно быть в согласии со справедливостью. Его единственное доказательство звучит странно; он выводит его из власти господина над его рабом, как если бы один факт узаконивал другой, а рабство само по себе было менее несправедливо, чем тирания. Именно право рабовладения как раз-то и нужно было обосновать. Речь идет не о том, что имеет место, но о том, что пригодно и справедливо, и не о такой власти, которой люди вынуждены повиноваться, но о той, которую обязаны признавать.

## *Глава VI*

### О ВЗАИМНЫХ ПРАВАХ СУВЕРЕНА И ГРАЖДАНИНА <sup>33</sup>

Если общий интерес есть цель ассоциации, то ясно, что общая воля должна быть правилом действий Общественного организма. Это — лежащий в основе принцип, который я пытался обосновать. Посмотрим теперь, какую должна быть власть этой воли над всеми частными лицами и каким образом она всем им является.

Государство, или Гражданская община составляет условную личность, которая живет в согласных действиях и единении ее членов, и потому первая и наиболее важная из ее забот — это забота о самосохранении: забота эта требует силы всеобщей и побудительной, дабы двигать и управлять каждой частью наиболее удобным для целого способом. Подобно тому, как природа

наделяет каждого человека неограниченной властью над всеми членами его тела, так и общественное соглашение дает Политическому организму неограниченную власть над всеми его членами; и это и есть та власть, осуществление которой, направляемое общей волею, носит, как я сказал, имя суверенитета.

Но так как, кроме общества, как лица юридического, мы должны принимать в соображение и составляющих его частных лиц, жизнь и существование которых естественно независимы от его существования, то данный вопрос требует еще некоторого обсуждения.

Все дело в том, чтобы четко различать те права, которые имеет суверен на граждан, и те права, которые он должен в них уважать; а также обязанности, которые они должны нести в качестве подданных, и естественное право, которым они должны пользоваться как люди. Совершенно ясно, что все то, что каждый человек отчуждает по общественному соглашению из своих естественных способностей, своего имущества и своей свободы, составляет, несомненно, лишь часть всего того, чем важно владеть обществу.

Итак, все то, чем гражданин может служить Государству, он должен сделать; суверен же, со своей стороны, не может налагать на подданных узы, бесполезные для общины: ибо как в силу закона разума, так и в силу закона естественного ничто не совершается без причины. Но не следует смешивать то, что приличествует, с тем, что необходимо, простую обязанность с правом в узком смысле слова и то, что от нас могут потребовать, с тем, что мы должны сделать по доброй воле.

Обязательства, связывающие нас с Общественным организмом, непреложны лишь потому, что они взаимны, и природа их такова, что нельзя действовать на пользу другим, не действуя одновременно на пользу себе. Почему общая воля всегда направлена прямо к одной цели и почему все люди постоянно желают счастья каждого из них, если не потому, что нет никого, кто не относил бы втайне этого слова *каждый* на свой счет и кто не думал бы о себе, голосуя в интересах всех? Это доказывает, что равенство в правах и вытекающее из него представление о справедливости порождается предпочтением, которое каждый оказывает самому себе, и, следовательно, самой природою человека; что общая воля, для того чтобы быть действительно таковою, должна быть ею как по своей цели, так и по своей сущности; что она должна исходить от всех, чтобы затем обратиться на всех, и что она теряет присущее ей от природы верное направление, коль скоро относится к какой-либо индивидуальной и строго ограниченной цели, ибо тогда, поскольку мы выносим решение о том, что не есть мы, нами уже не руководит никакой истинный принцип равенства.

В самом деле, как только речь заходит о каком-либо факте или частном праве на что-либо, не предусмотренном общим и предшествующим соглашением, то дело становится спорным: это — процесс, в котором заинтересован-

ные частные лица составляют одну из сторон, а весь народ — другую, но в котором я не вижу ни закона, коему надлежит следовать, ни судьи, который должен вынести решение. Смешно было бы тогда ссылаться на особо по этому поводу принятое решение общей воли, которое может представлять собою лишь решение, принятое одной из сторон, и которое, следовательно, для другой стороны является только волей частной, подверженной в этом случае несправедливости или заблуждению. Поэтому подобно тому, как частная воля не может представлять волю общую, так и общая воля, в свою очередь, не может, не изменяя своей природы, превратиться в частную; она не может выносить приговор в отношении такого-то человека или такого-то факта. Когда народ Афин, например, нарицал или смешал своих правителей, присуждал награду одному, налагал штраф на другого и посредством множества частных декретов осуществлял все без исключения действия Правительства, народ не имел уже тогда, собственно говоря общей воли; он действовал уже не как суверен, но как магистрат.

Исходя из этого, надо признать, что волю народа делает общею не количество голосующих, а объединяющий их общий интерес. Ибо при такого рода устройении каждый по необходимости подчиняется условиям, которые он делает обязательными для других: тут замечательно согласуются выгода и справедливость, что придает решениям по делам, касающимся всех, черты равенства, которое тотчас же исчезает при разбирательстве любого частного дела, ввиду отсутствия здесь того общего интереса, который объединял и отождествлял бы волю судьи с волею тяжущейся стороны.

С какой бы стороны мы ни восходили к основному принципу, мы всегда придем к одному и тому же заключению, именно: общественное соглашение устанавливает между гражданами такого рода равенство в правах, когда все они принимают на себя обязательства на одних и тех же условиях и все должны пользоваться одинаковыми преимуществами. Таким образом, по самой природе этого соглашения, всякий акт суверенитета, т. е. всякий подлинный акт общей воли, налагает обязательства на всех граждан или дает преимущества всем в равной мере; так что суверен знает лишь Nation как целое и не различает никого из тех, кто составляет это целое. Что же, собственно, такое акт суверенитета? Это не приказ высшего низшему и не повеление господина рабу, но соглашение Государства как Организма с каждым из его членов, соглашение законное, ибо оно имеет основою Общественный договор; справедливое, ибо оно добровольное и общее; полезное, так как оно не может иметь иной цели, кроме блага всех, и прочное, так как поручителями за него выступают вся сила общества и высшая власть. До тех пор, пока подданные подчиняются только такого рода соглашениям, они не подчиняются никому, кроме своей собственной воли; и спрашивать, каковы пределы прав соответственно суверена и частных лиц, это значит спрашивать, до какого предела простираются обязательства, которые эти последние могут

брать по отношению к самим себе — каждый в отношении всех и все в отношении каждого из них.

Из этого следует, что верховная власть, какой бы неограниченной, священной, неприкосновенной она ни была, не переступает и не может переступать границ общих соглашений, и что каждый человек может всецело распорядиться тем, что ему эти соглашения предоставили из его имущества и его свободы, так что суверен никак не вправе наложить на одно из частных лиц большее бремя, чем на другое, ибо тогда спор между ними приобретает частный характер и поэтому власть суверена здесь более не компетентна.

Раз мы допустили эти различия, в высшей степени неверно было бы утверждать, что Общественный договор требует в действительности от частных лиц отказа от чего-либо; положение последних в результате действия этого Договора становится на деле более предпочтительным, чем то, в котором они находились ранее, так как они не просто отчуждают что-либо, но совершают лишь выгодный для них обмен образа жизни неопределенного и подверженного случайностям, на другой — лучший и более надежный; естественной независимости — на свободу в гражданском состоянии: возможности вредить другим — на собственную безопасность; и своей силы, которую другие могли бы превзойти, на право, которое объединение в обществе делает неодолимым. Сама их жизнь, которую они доверили Государству, постоянно им защищается; и если они рискуют ею или отдают ее во имя его защиты, то разве делают они этим что-либо иное, чем то, что они делали еще чаще, да еще с большею опасностью, в естественном состоянии, если, вступая в неизбежные схватки, будут защищать с опасностью для своей жизни то, что служит им для ее сохранения. Верно, что все должны сражаться, если это необходимо, за отечество, но зато никто не должен никогда сражаться за самого себя. И разве мы не выигрываем, подвергаясь ради того, что обеспечивает нам безопасность, части того риска, которому нам обязательно пришлось бы подвергнуться ради нас самих, как только мы лишились бы этой безопасности.

## Глава VII

### НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

Вот, как мне кажется, самые верные представления, какие можно иметь о первоначальном соглашении, которое есть основа всякого истинного Политического организма; развить эти представления было бы тем более важно, что их не усвоили как следует те, которые обращались к этому вопросу и

Il faut avoir soin de joindre les principes. <sup>Le droit que le peuple social</sup>  
~~de la nation est de donner au souverain sur les sujets le droit de punir de~~  
~~qui se rapporte borné de l'utilité publique~~ <sup>les peines qui sont de</sup>  
~~notre droit complet au souverain. De même, on s'imagine qu'aucun~~  
~~opinion n'est opposée à la communauté. On s'imagine bien à l'égard~~  
~~de la nation et toujours à une Religion mais les dogmes de cette Religion~~  
~~ne lui imposent qu'au sujet de la morale~~ <sup>à la morale</sup>  
~~la liberté de conscience tous les autres ne sont pas de sa compétence~~  
~~et de même pour aucun des peuples tel qu'on ne peut qu'ici~~  
~~plus fait qu'il appartient au titre souverain~~ <sup>à la nation</sup>

Il y a deux <sup>des</sup> dogmes ~~de la~~ <sup>Religion</sup> ~~qui~~ <sup>qui</sup> ~~ne~~ <sup>ne</sup> ~~peuvent~~ <sup>peuvent</sup> ~~être~~ <sup>être</sup> ~~mis~~ <sup>mis</sup> ~~en~~ <sup>en</sup> ~~opposition~~ <sup>opposition</sup> ~~avec~~ <sup>avec</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~raison~~ <sup>raison</sup>  
~~les dogmes qui ont un rapport à la morale~~ <sup>qui le regardent</sup> ~~comme~~ <sup>comme</sup> ~~une~~ <sup>une</sup> ~~raison~~ <sup>raison</sup>  
~~pour les lois; cette Religion consiste~~ <sup>à ce que l'on admette</sup>  
~~deux principes: l'un est que le souverain a le droit de punir~~ <sup>de punir</sup>  
~~de tout crime~~ <sup>de tout crime</sup> ~~et~~ <sup>et</sup> ~~l'autre~~ <sup>l'autre</sup> ~~est~~ <sup>est</sup> ~~que~~ <sup>que</sup> ~~le~~ <sup>le</sup> ~~peuple~~ <sup>peuple</sup> ~~est~~ <sup>est</sup> ~~libre~~ <sup>libre</sup>  
~~de penser comme il veut~~ <sup>de penser comme il veut</sup> ~~à~~ <sup>à</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~religion~~ <sup>religion</sup> ~~et~~ <sup>et</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~ne~~ <sup>ne</sup> ~~pas~~ <sup>pas</sup> ~~être~~ <sup>être</sup> ~~obligé~~ <sup>obligé</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~suivre~~ <sup>suivre</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~religion~~ <sup>religion</sup>  
~~repeller sans en être obligés.~~ <sup>de la religion</sup>

On doit donc dire il faut qu'on dise ~~il~~ <sup>il</sup> ~~est~~ <sup>est</sup> ~~indéfini~~ <sup>indéfini</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~religion~~ <sup>religion</sup>  
 Ces dogmes de la religion ont une profession de foi qui est  
 celle qu'il appartient à la loi de prescrire non pas précisément  
 comme dogme de Religion mais comme fait de la société  
 qui est de la loi à lui imposer d'être bon citoyen et de  
 faire ce qu'elle ne peut pas obliger <sup>à la loi</sup> ~~à~~ <sup>à</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~religion~~ <sup>religion</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~suivre~~ <sup>suivre</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~religion~~ <sup>religion</sup>

Фрагмент рукописи Руссо — первый набросок «Общественного договора»

всегда основывали гражданское управление на произвольных принципах, вовсе не вытекающих из природы этого соглашения. Мы увидим далее, с какою легкостью выводится из тех принципов, которые я только что установил, вся политическая система, и насколько их следствия естественны и ясны. Но давайте закончим закладывать основания нашего здания.

Поскольку союз людей в обществе имеет определенную цель, то как только он образовался, следует пытаться ее осуществить. Чтобы каждый хотел того, что он должен делать в соответствии с обязательствами Общественного договора, нужно, чтобы каждый знал, чего он должен хотеть. Хотеть же он должен общего блага; бежать — того, что есть зло для всего общества. Но так

как Государство это существо воображаемое, рождающееся из договора, то его члены не обладают от природы никакой общей для них чувствительностью, извещенные непосредственно которою они испытывали бы приятное ощущение от того, что Государству полезно, и болезненное ощущение, как только ему будет причинен вред. Они не только не предотвращают угрожающие ему беды, но даже весьма редко успевают их облегчить, когда начинают их ощущать; нужно предвидеть эти беды задолго, чтобы их отвратить или исцелить. Как же могут частные лица оградить общину от бед, которые они начинают видеть или ощущать лишь после того, как все уже свершилось? Как могут они ей доставить блага, о которых могут судить лишь по их результату? Как, к тому же, увериться, что, непрерывно побуждаемые природою вернуться к своему изначальному состоянию, они никогда не пренебрегут этим новым, искусственным состоянием, преимущества которого они ощущают лишь по результатам, часто весьма отдаленным? Если даже предположить, что все они все время подчинены общей воле, то как может эта общая воля являть себя во всех случаях? Будет ли она всегда очевидною? И не заслонит ли ее когда-нибудь своими обманчивыми выгодами частный интерес? Неужели народ все время будет оставаться в собраньи, чтобы провозглашать общую волю, или же положится на частных людей, всегда готовых подменить эту общую волю своею? Наконец, будут ли все действовать в полном согласии, какой порядок установят они в своих делах, какие будут у них средства, чтобы договориться, и как распределят они общие труды между собою?

Эти трудности, которые должны были казаться неодолимыми, были устранены при помощи самого возвышенного из всех человеческих установлений или, скорее, небесным вдохновением, которое научило народ подражать в этом мире непреложным наказаниям божества. С помощью какого непостижимого искусства удалось найти средство подчинить людей, чтобы сделать их свободными? использовать для служения Государству имущество, руки и самую жизнь его членов, не принуждая их и не спрашивая их мнения? сковать их волю с их собственного согласия? придавать решающее значение их согласию вопреки их отказу и принуждать их самим себя наказывать, когда они делают то, чего не хотели? Как может оказаться, что все повинуются, а никто не повелевает? что они служат и не имеют господина? когда в действительности они тем более свободны, что при кажущемся подчинении никто не теряет из своей свободы ничего, кроме того, что может вредить свободе другого? Эти чудеса творит Закон. Одному только Закону люди обязаны справедливостью и свободою. Этот именно спасительный орган воли всех восстанавливает в праве естественное равенство между людьми. Этот небесный голос внушает каждому гражданину предписания разума общественного и научает его, поступаая согласно правилам собственного своего разумения, не быть при этом беспрестанно в противоречии с самим собою. Законы — это единственный движитель Политического организма, он действует и ощущает

лишь ими. Без законов Государство, образовавшись, есть всего лишь тело без души; оно существует, но не может действовать. Ибо недостаточно, чтобы каждый был покорен общей воле; чтобы ей следовать, нужно ее знать. Вот что порождает необходимость в законодательстве.

Законы, собственно — это лишь условия гражданской ассоциации. Народ, повинующийся законам, должен быть, следовательно, их творцом; ибо лишь тем, кто вступает в объединение, положено определять те условия, на которых они хотят объединиться. Но как они их определяют? Сделают это с общего согласия и следуя внезапному вдохновению? Есть ли у Политического организма орган для выражения его воли? Кто сообщит ему предусмотрительность, необходимую, чтобы проявления его воли превратить в акты и заранее их обнародовать? Как иначе провозгласит он их в нужный момент? Как можно хотеть, чтобы слепая толпа, которая часто не знает, чего она хочет, ибо она редко знает, что ей на пользу, сама задумала и совершила столь трудное дело, как создание системы законов, являющее собою возвышеннейшее усилие человеческой мудрости и прозорливости? Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не всегда видит, в чем оно. Общая воля всегда направлена верно и прямо, никогда не возникает необходимости в том, чтобы ее поправлять, но ее надо уметь вопрошать вовремя. Ей следует представить вещи такими, какие они есть, иногда — такими, какими они должны ей представляться; надо показать ей тот верный путь, которым она хочет следовать; оградить ее от разлагающей воли частных лиц; раскрыть перед ней связь стран и эпох; уравновесить обманчивый блеск близких и ощутимых выгод опасностью отдаленных и скрытых бед.

Частные лица видят благо, которое отвергают; народ хочет блага, но не ведает, в чем оно. Все они в равной мере нуждаются в поводырях; надо обязать первых сообразовать свою волю с разумом; надо научить второй знать то, чего он хочет. Тогда результатом просвещения народа явится добродетель частных лиц, и из этого союза разума и воли в Общественном организме возникает точное взаимодействие частей и наибольшая сила целого. Вот что порождает нужду в Законодателе.



## КНИГА II

### УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ

#### Глава I

#### ЦЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ

Общественным соглашением мы дали Политическому организму его сущность и жизнь; сейчас речь идет о том, чтобы при помощи законов сообщить ему движение и наделить волей. Ибо первоначальный акт, посредством которого этот Организм образуется и становится единым, не определяет еще ничего из того, что он должен делать для самосохранения. Вот к этой-то великой цели и направлено умение создавать законы. Но в чем это умение? где найти гения, им владеющего? и какие добродетели необходимы тому, кто решается его применять? Такие розыскания — дело обширное и трудное, и оно может даже остановиться на половине пути того, кто надеялся увидеть рождение правильно устроенного Государства.

#### Глава II

#### О ЗАКОНОДАТЕЛЕ<sup>34</sup>

В самом деле, для того, чтобы открыть наилучшие правила обдежития, подобающие народам, нужен ум высокий, который знал бы все нужды людей и не испытывал ни одной из них; который не имел бы ничего общего с нашею природой, но знал все, что природе всех нас свойственно; чье счастье не зависело бы от нас, но кто согласился бы все же заняться нашим счастьем. Словом, потребовался бы Бог, чтобы дать хорошие законы человеческому роду; и, как пастухи — существа высшего вида по сравнению со скотом, который они пасут, так и пастыри людские, являющиеся вожаками людей, должны были быть существами лучшей породы, чем их народы.

Этот вывод, к которому Платон приходил в том, что касается права, для определения свойств человека, призванного к гражданской деятельности или к тому, чтобы стать царем, поисками которого он занят в своей книге о *Правлении*, Калигула, по сообщению Филона, использовал на деле, чтобы доказать, что повелители мира — это существа высшей природы по сравнению с остальными людьми. Но если верно, что великие государи встречаются ред-

ко, то что же тогда говорить о великом Законодателе? Ибо первому надлежит лишь следовать тому образцу, который должен предложить второй. Этот — механик, который изобретает машину; тот — лишь рабочий, который ее собирает или пускает в ход. При рождении обществ, говорит Монтескье, сначала правители Республик создают установления, а затем уже установления создают правителей Республик.

Тот, кто считает себя способным создать народ, должен чувствовать себя способным, так сказать, изменять человеческую природу. Он должен превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое совершенное и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивидуум в известном смысле получает свою жизнь и свое бытие; нужно, чтобы он в некотором роде изуевчил организм человека, дабы его укрепить; чтобы на место физического и самостоятельного существования, которое нам всем дано природой, он поставил существование частичное и моральное. Одним словом, нужно, чтобы он отнял у человека все его собственные, врожденные силы и дал ему взамен другие, не являющиеся для него таковыми, и которыми он не мог бы пользоваться без содействия других. И вот, чем больше эти естественные силы иссякают и уничтожаются, а силы, вновь приобретенные, возрастают и укрепляются, тем более прочным и совершенным становится также и первоначальное устройство. Так что, если каждый гражданин ничего не может сделать без всех остальных, а сила, приобретенная целым, равна сумме естественных сил всех индивидуумов или превышает эту сумму, то можно сказать, что законы достигли той самой высокой степени совершенства, какая только им доступна.

Законодатель — в любом отношении человек не обыкновенный в Государстве. Если он должен быть таковым по своим дарованиям, то не в меньшей мере должен быть он таковым по своей роли. Это — не магистратура: это — не суверенитет. Эта роль учредителя Республики совершенно не входит в ее учреждения. Это, в некотором роде, должность особая и почти божественная, не имеющая ничего общего с властью человеческой. Ибо если тот, кто повелевает людьми, не должен властвовать над законами, то и тот, кто властвует над законами, также не должен повелевать людьми: иначе, его законы, созданные, чтобы служить его страстям, часто лишь увековечивали бы совершенные им несправедливости, и он никогда не мог бы избежать того, чтобы частные интересы не исказили святости его создания. Расхождения писаного Права подтверждают те личные мотивы, которыми были продиктованы там решения; огромная, бесформенная, противоречивая компиляция, дело рук то слабоумного императора, то падшей женщины и подкупного магистрата, который всякий раз, когда он желал нарушить закон, тут же издавал новый, который давал ему на это право.

Когда Ликург хотел дать законы своему отечеству, он начал с того, что отрекся от царской власти. В большинстве греческих городов существовал

обычай поручать составление законов чужестранцам. Рим в пору своего наибольшего расцвета возродил в своих недрах все преступления тирании и видел уже себя на краю гибели, потому что соединил на головах одних и тех же людей знаки достоинства законодателя и власти царя.

Это вовсе не означает, будто когда-либо считали, что воля одного человека может стать законом без согласия народа. Но как отказать в таком согласии тому, о ком известно, что он является повелителем и соединяет в себе доверие и силу народа? Людям разумным трудно заставить себя выслушать; люди слабые не решаются говорить; и вынужденное молчание подданных уже столь часто сходило за молчаливое одобрение, что со времен римских императоров, которые, прикрываясь именем Трибунов, присвоили себе все права народа, осмеливались уже ставить волю государя выше Закона, хотя лишь от Закона получает государь свою власть. Но мы рассматриваем права, а не злоупотребления.

Вот почему тот, кто составляет законы, не имеет, следовательно, или не должен иметь какой-либо власти их вводить; народ же не может лишиться себя этого высшего права, ибо, согласно первоначальному соглашению, только общая воля налагает обязательства на частных лиц, и никогда нельзя быть уверенным в том, что воля какого-либо частного лица будет согласна с общеною, если только ее не сделать предметом свободного голосования народа.

Если говорят <sup>35</sup>, что в том случае, когда весь народ один раз добровольно, согласно определенных форм и без принуждения подчинился одному человеку, то все желания этого человека, в силу этого подчинения, должны признаваться актами общей воли, то это софизм, на который я уже ответил. Я добавлю, что предполагаемое добровольное подчинение народа всегда сопряжено с неким условием: что народ отдает себя под власть государя никак не ради выгоды этого последнего, по ради своей собственной; что, если каждый человек обещает повиноваться безоговорочно, то он это делает ради блага всех; что государь в подобном случае также берет на себя обязательства, от коих зависят обязательства народа; и что даже при самом неограниченном деспотизме он не может нарушить свою клятву, не освобождая тотчас же своих подданных от клятвы, принесенной ими.

Если бы даже народ и был столь неразумен, что ничего себе не выговорил в обмен на свое повиновение, кроме права его ограничивать, то такое право опять-таки по своей природе было бы связано с условием. Чтобы пояснить эту истину, нужно принять в соображение, что те, кто утверждают, будто обещание, даваемое без всяких условий, налагает строго определенные обязательства на того, кто такое дает, тщательно различают, однако, обещания, даваемые совершенно без чего-либо взамен, и обещания, заключающие в себе все же некоторые молчаливо подразумеваемые, но очевидные условия: ибо в этом последнем случае все они согласны в том, что действи-

тельность обещаний зависит от выполнения подразумеваемого условия; как в том случае, когда один человек, нанимаясь на службу к другому, очевидно, подразумевает, что тот будет его кормить. Точно так же народ, выбирая себе одного или нескольких правителей и обещая им повиноваться, очевидно, предполагает, что они сделают из его свободы, которую он им отчуждает, лишь такое употребление, какое будет для него выгодно; не будь этого, народ был бы безумен, а его обязательства были бы в силу этого недействительны. Что же до такого рода отчуждения, когда оно исторгается силою, то, как я показал выше, оно недействительно, и люди обязаны повиноваться силе лишь до тех пор, пока они вынуждены это делать.

Остается, однако, все же выяснить, выполняются ли условия и, следовательно, является ли воля государя действительно общей волей: в этом вопросе единственный судья — народ. Таким образом, законы подобны чистому золоту, природу которого невозможно изменить никакими воздействиями и которое восстанавливается в своем естественном виде при первом же испытании. Более того: противно природе воли, которая над самой собою не властна, брать какие-либо обязательства на будущее; можно, конечно, обязаться сделать, но нельзя обязаться желать; это ведь весьма различные вещи — исполнять то, что обещано, так как это обещано, и желать исполнить даже то, что ранее обещано не было. Таким образом нынешний Закон не должен быть актом вчерашней общей воли, но действием воли нынешней; и мы обязуемся делать не то, чего все хотели, но то, чего все хотят: ибо решения суверена как суверена касаются лишь одного его, и он всегда волен их изменить. Отсюда следует, что когда Закон говорит от имени народа, то он говорит от имени нынешнего народа, а не прежнего. Сила законов, хотя они и приняты, незыблема лишь до тех пор, пока народ, будучи волен их отменить, этого, однако, не делает: сие подтверждает, что в настоящее время он с ними согласен. Несомненно также, что в предполагаемом случае провозглашенные изъявления воли законного государя налагают обязательства на частных лиц лишь до тех пор, покуда нация, которая может беспрепятственно собраться и ей воспротивиться, ничем не проявляет своего несогласия.

Эти разъяснения показывают, что поскольку общая воля — это непрерывная внутренняя связь Политического организма, то, какие бы полномочия ни получил ранее Законодатель, ему не может быть дозволено действовать иначе, как направляя эту волю при помощи убеждения; не дозволяется ему также предписывать частным лицам что-либо такое, что не было предварительно утверждено общим согласием — из страха разрушить первым же действием саму сущность того, что хотят создать, и разорвать узел общественной связи, полагая, что этим укрепляется общество.

Я вижу, таким образом, в деле создания законов одновременно две вещи, которые, казалось бы, исключают одна другую: предприятие, превышающее

всякие человеческие силы, и — для осуществления его — власть, которая сама по себе ничего не значит.

И вот еще одна трудность заслуживающая внимания. Ошибкою мудрецов часто было то, что они говорили с простым народом своим, а не его языком, поэтому народ никогда их не понимал. Есть множество разного рода понятий, для которых существует только один язык и которые невозможно перевести народу. Очень широкие планы и слишком далекие предметы равно ему недоступны; и так как каждому индивидууму, к примеру, не видится иной цели управления, кроме его личного счастья, то он плохо представляет себе те преимущества, которые извлечет из постоянных лишений, налагаемых на него благими законами. Для того чтобы рождающийся народ мог понять великие принципы справедливости и основные правила пользы государственной, необходимо, чтобы следствие могло превратиться в причину; чтобы дух общезначительности, который должен быть результатом первоначального устройства, руководил им и чтобы люди до появления законов были тем, чем они должны стать благодаря этим законам. Таким образом, Законодатель, не имея возможности воспользоваться ни силою, ни доводами, основанными на рассуждении, по необходимости прибегает к власти иного рода, которая может увлекать за собою, не прибегая к насилию, и склонять на свою сторону, не прибегая к убеждению.

Вот что во все времена вынуждало отцов наций прибегать к вмешательству неба и наделять своею собственной мудростью богов, дабы народы, покорные законам Государства, как законам природы, и усматривая ту же силу в создании физического тела и в создании духовной организации, повиновались по своей воле и покорно несли бремя общественного благоденствия. Решения этого возвышенного разума, недоступного простым людям, Законодатель и вкладывает в уста бессмертных, чтобы подчинить божественной власти тех, кого не смогло бы поколебать в их упорстве человеческое благоумие. Но не всякому человеку пристало возвестить глас богов и не всякому поверят, если он объявит себя истолкователем их воли. Величие того, что говорится от их имени, должно подкрепляться красноречием и твердостью, превосходящими человеческие. Нужно, чтобы огонь одушевления соединился с глубинами мудрости и постоянством добродетели. Одним словом, великая душа Законодателя — это подлинное чудо, которое должно оправдать его призвание. Любой человек может высечь таблицы на камне или приобрести треножник для предсказаний; или сделать вид, что вступил в тайные сношения с каким-нибудь божеством; или выучить птицу, чтобы она вещала ему что-либо на ухо; или найти какой-либо другой грубый способ обманывать народ. Тому, кто умеет делать лишь это, пожалуй, удастся собрать толпу безумцев; но ему никогда не основать царства, и его нелепое создание вскоре погибнет вместе с ним. Ибо если пустые фокусы создают скоропреходящую связь, то лишь мудрость делает ее долговременной. Все еще действующий

иудейский закон и закон потомка Исмаила, который вот уже одиннадцать веков управляет половиною мира, доныне возвещают о великих людях, которые их продиктовали; и в то время, как горделивая философия или слепой сектантский дух видят в них лишь удачливых обманщиков, истинного политика восхищает в их установлениях тот великий и могучий гений, который дает жизнь долговечным творениям.

Не следует, однако, заключать из всего этого вместе с Уорбертоном, что политика и религия могут иметь один и тот же предмет, но то, что одна иногда служит орудием другой. [Каждому достаточно понятна полезность политического объединения для того, чтобы сделать некоторые мнения постоянными и сохранять их в своде учения и секты; что же до содействия религии в гражданском устройстве, то также ясно, что не менее полезно иметь возможность придать моральной связи внутреннюю силу, которая проникает в душу и никогда не зависит от благ, бед, самой жизни человеческой и всех ее событий.]

Я не думаю, что противоречу в этой главе тому, что я сказал выше о малой полезности клятвы в договоре об установлении общества; ибо существует весьма большое различие между тем, чтобы оставаться верным Государству лишь потому, что поклялся ему в верности или потому, что считаешь его установлением небесным и нетленным.]

### Глава III

#### О НАРОДЕ, КОТОРОМУ НАДЛЕЖИТ ДАТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ

Хотя я рассматриваю здесь Право, а не обыкновения, я все же не могу не бросить несколько беглых взглядов на те соотношения, которые необходимы во всяком добром внутреннем устройстве.

Подобно искусному архитектору, который, прежде чем возвести здание, обследует и изучает почву, чтобы узнать, сможет ли она выдержать его тяжесть, мудрый Законодатель не начинает сочинять законы наудачу, но испытует предварительно, способен ли народ, которому он их предназначает, им подчиниться. Вот почему Платон отказался дать законы жителям Аркадии и Киренаики, зная, что оба эти народа богаты и не потерпят равенства. Вот почему на Крите были хорошие законы и дурные люди, ибо Минос взялся установить порядок в народе, исполненном пороков. Долго блистали на земле тысячи таких народов, которые никогда не вынесли бы благих законов; народы же, которые способны были к этому, имели на то лишь весьма крат-

кий период времени во всей своей истории. Народы, как и люди, податливы лишь в молодости; старея, они становятся неисправимыми. Когда обычаи уже установились и предрассудки укоренились, опасно и бесполезно было бы пытаться их затрагивать. Народы не терпят, даже когда говорят о том, чтобы сделать их счастливыми, подобно тем глупым и малодушным больным, которые дрожат при виде врача. Немного есть народов, развращенных под властью тирании, которые придавали бы хоть малейшее значение свободе; и даже те народы, которые ее желают, не в состоянии уже ее выдержать.

Это не значит, что подобно некоторым болезням, которые все переворачивают в головах людей и отнимают у них память о прошлом, и в истории Государств не бывает бурных времен, когда перевороты действуют на народы так же, как некоторые кризисы на индивидуумов; когда на смену забвению приходит ужас перед прошлым, и когда Государство, пожираемое пламенем гражданских войн, так сказать возрождается из пепла и вновь оказывается в расцвете молодости, освобождаясь из рук смерти. Так было со Спартой во времена Ликурга, с Римом после Тарквиниев, так было в наши времена в Голландии и в Швейцарии после изгнания тиранов.

Но такие события редки; это — исключения, причина которых всегда лежит в особой природе такого Государства. Вообще же, народы, изнуренные долгим рабством и пороками, составляющими его свиту, утрачивают одновременно и любовь к отечеству и понимание того, что такое счастье: они утешаются, бедствуя, так как воображают, что лучше не может быть; они живут совместно без какого-либо действительного союза, как люди, собранные на одном и том же участке земли, но разделенные пропастями. Собственное убожество нисколько их не поражает, потому что они ослеплены честолюбием и так как никто не видит того положения, в котором они находятся, но лишь то, к которому стремятся.

У народа в этом состоянии невозможно здоровое первоустройство, потому что его воля не менее испорчена, чем его устройство. Ему больше нечего терять, он больше ничего не может выиграть; отупев от рабства, он презирает блага, которых не знает. Смуты могут уничтожить такой народ, переворотам же более его не возродить; и как только разбиты его оковы, он и сам распадается и уже больше не существует как народ. А раз так, ему отныне требуется уже повелитель, а никак не освободитель.

Народ же, еще не испорченный, может иметь вследствие своей многочисленности такие пороки, которые не свойственны его природе. Объяснюсь.

Подобно тому, как природа установила границы роста для хорошо сложенного человека, вне пределов которых она создает уже лишь великанов или карликов, так и для наилучшего устройства Государства есть свои границы протяженности, которую оно может обладать и не быть при этом ни слишком велико, чтобы им можно было хорошо управлять, ни слишком мало, чтобы оно было в состоянии поддерживать свое существование собст-

венными силами. Трудно придумать что-либо более безрассудное, чем принципы этих народов-завоевателей, которые полагали, что все время увеличивают свое могущество, безмерно расширяя свою территорию. Уже начинают понимать, что для всякого Политического организма есть свой максимум силы, который он не может превышать и от которого он, увеличиваясь в размерах, часто отдаляется. Но, быть может, еще не совсем понимают, что чем более растягивается связь общественная, тем более она слабеет, и что вообще Государство малое всегда относительно сильнее большого.

Для того чтобы убедиться в этом правиле на опыте, достаточно раскрыть историю, и тысячи доводов могут это подтвердить. Во-первых, управление становится более затруднительным при больших расстояниях, подобно тому, как груз становится более тяжелым на конце большего рычага. Управление становится также более обременительным по мере того, как умножаются его ступени; ибо в каждом городе есть прежде всего свое управление, которое оплачивается народом; в каждом округе — свое, также оплачиваемое народом; то же — в каждой провинции; затем идут крупные губернаторства, наместничества и вице-королевства, содержание которых обходится все дороже по мере того, как мы поднимаемся выше. Наконец, наступает черед высшего управления, которое пожирает все. Почти не остается средств для чрезвычайных случаев; а когда приходится прибегать к этим средствам, Государство всегда оказывается на грани разорения. У Правительства оказывается меньше силы и быстроты действий, чтобы заставить соблюдать законы, не допускать притеснений, карать злоупотребления, подавлять мятежи, которые могут вспыхнуть в отдаленных местах. Народ в меньшей мере может испытывать привязанность к своим правителям, которых он никогда не видит; к отечеству, которое в его глазах столь же необъятно, как весь мир; и к согражданам своим, большинство из которых для него чужие люди. Одни и те же законы не могут быть пригодны для столь многих разных наций<sup>36</sup>, обладающих различными нравами, живущих в противоположных климатических условиях и не допускающих поэтому одной и той же формы Правления. Различные законы порождают лишь смуты и неурядицы среди подданных; живя под властью одних и тех же правителей и в постоянном между собою общении, они переходят беспрестанно с места на место и, подчиняясь другим обычаям, никогда не бывают убеждены, действительно ли им принадлежит их достояние. Таланты зарыты, добродетели неведомы, порок безнаказан среди этого множества людей, незнакомых друг другу, которых место нахождения управления сосредоточивает в одном месте. Правители, обремененные делами, ничего не видят собственными глазами. И вот уже необходимы особые меры для поддержания повсюду авторитета центральной власти, потому что множество ее представителей в отдаленных местах всегда стремятся либо выйти из подчинения ей, либо ее обмануть;



эти меры поглощают все заботы общества; уже нет сил заботиться о счастье народа; их едва хватает для защиты его в случае нужды. Так Государство, слишком большое для его внутреннего устройства, неизбежно должно погибнуть, раздавленное своею собственной тяжестью.

С другой стороны, Государство, чтобы обладать прочностью, должно создать для себя надежное основание, дабы оно успешно противостояло тем потрясениям, которые ему обязательно придется испытать, и выдержать те усилия, которые неизбежно потребуются для поддержания его существования; ибо у всех народов есть некоторая центробежная сила, под влиянием которой они постоянно действуют друг против друга и стремятся увеличить свою территорию за счет соседей. Таким образом, слабые рискуют быть в скором времени поглощены; и едва ли можно сохраниться иначе, как приведя себя в некоторого рода равновесие со всеми, что сделало бы давление приблизительно одинаковым.

Из этого видно, что есть причины, заставляющие Государство расширяться, и причины, заставляющие его сжиматься; и талант политика не в последнюю очередь выражается в том, чтобы найти между теми и другими такое соотношение, которое было бы наиболее выгодным для сохранения Государства. Можно сказать вообще, что первые причины, будучи чисто внешними и относительными, всегда должны быть подчинены вторым, которые суть внутренние и абсолютные. Ибо прочное и здоровое устройство — это первое, что следует найти; и должно больше рассчитывать на силу, порождаемую хорошим образом Правления, нежели на средства, даваемые большой территорией.

Впрочем, известны Государства, устроенные таким образом, что необходимость завоеваний была заложена уже в самом их устройстве: чтобы поддержать свое существование, они должны были непрестанно увеличиваться. Возможно они и радовались немало этой счастливой необходимости, но она преуказывала им, однако, наряду с пределом их величины и срок неизбежного их падения.

Чтобы Государство могло быть хорошо управляемо, необходимо, чтобы его величина или, лучше сказать, его протяженность были соразмерны со способностями тех, которые им управляют; и невозможность того, что гениальные умы будут непрерывно преемствовать друг другу в Правлении, требует, чтобы рассчитывали не на гениальность, а на здравомыслие. Вот отчего многие нации, достигшие величия при прославленных правителях, неизбежно начинают влачить жалкое существование под властью тех слабых, которые не преминут наследовать первым; и если велико только Государство, то государь почти всегда слишком мал. Когда, напротив, случается, что Государство слишком мало для его главы, а это бывает очень редко, то оно опять-таки плохо управляется, потому что его глава, увлеченный размахом своих замыслов и честолюбивыми проектами, забывает об ин-

тересах народа, и народ оказывается не менее несчастен при правителе, злоупотребляющем избытком талантов, чем при каком-нибудь другом правителе, ограниченном отсутствием у него таковых. Это неудобство управления монархией, даже благоустроенной, особенно ощущается тогда, когда она наследственна и правитель не избирается народом, а становится таковым по праву рождения. Было бы хорошо, если бы территория королевства могла, так сказать, расширяться или сокращаться при каждом царствовании сообразно способностям государя; между тем таланты Сената, во всяком случае, есть величина более постоянная, и при таком устройстве Государство может иметь постоянные границы, причем управление от этого не страдает.

К тому же, принципом, лежащим в основе всякого общества, правильно устроенного и управляемого по законам, была бы возможность легко собирать всех его членов в одном месте всякий раз, когда это было бы необходимо; и мы увидим далее, что собрания представителей не могут ни представлять Организм, ни получать от него полномочия, достаточные для того, чтобы выносить решения от его имени в качестве суверена. Из этого следует, что Государство должно было бы ограничиться самое большее одним единственным городом. Ибо, если в Государстве несколько городов, то столица всегда будет обладать на деле верховенством, а другие города будут ей подчинены: при такого рода устройстве тирания и злоупотребления неизбежны.

Следует заметить, что Политический организм можно измерять двумя способами, именно: протяженностью территории и численностью населения, и что между первым и вторым из этих измерений существует соотношение, необходимое, чтобы определить для Государства подходящие ему размеры: ибо Государство<sup>37</sup> составляют люди, а людей кормит земля. Отношение это должно быть таким, чтобы земли было достаточно для пропитания жителей Государства, а их должно быть столько, сколько земля может прокормить. Именное такое соотношение создает *максимум* силы данного количества населения; ибо, если земли слишком много, то охрана ее тягостна, обработка — недостаточна, а продуктов — избыток; если же земли недостаточно, то Государство, дабы сие восполнить, оказывается зависящим от своих соседей<sup>38</sup>.

Соображения, подсказываемые этой важной темой, завели бы нас слишком далеко, если бы нам пришлось на этом остановиться. Несомненно, например, что невозможно выразить в числах постоянное отношение между протяженностью земли и числом людей, необходимым для ее заселения; это невозможно сделать как по причине различий в качествах почвы, степени ее плодородия, в свойствах производимых ею продуктов, во влиянии климатических условий, так и вследствие различий, которые представляет организм людей, населяющих эту землю, из которых одни потребляют мало в плодородном краю, а другие много — на менее благодарной земле. Мало того, следует еще принять в расчет большую или меньшую плодovitость жен-

щин; то, что в стране могут быть более или менее благоприятные условия для заселения, чему Законодатель может надеяться способствовать своими установлениями; но для того он всегда должен основывать свои суждения не на том, что он видит, а на том, что предвидит, и должен исходить не столько из настоящего состояния населенности, сколько из того, каких размеров она должна естественным образом достигнуть. Наконец, в тысячах случаев особые условия местности требуют или позволяют занимать больше или меньше места, чем это кажется необходимым. Так, следует расселяться реже в гористой стране, где естественные уголья, именно: леса и пастбища, требуют от человека меньшей затраты труда; где, как показывает опыт, женщины плодотворнее, чем на равнинах, и где большая поверхность склонов оставляет для обработки лишь малую горизонтальную площадь, которая одна только и может приниматься в расчет, когда речь идет об использовании плодородной земли. Напротив, можно селиться гуще вблизи берега моря, даже среди почти бесплодных скал и песков, потому что рыболовство может в значительной степени дополнить здесь то, что приносит земля, потому что люди здесь должны быть более сплоченными в борьбе с корсарами и морскими бродягами; потому что, кроме всего прочего, такую страну легче всего освободить от избыточного населения, развивая торговлю и создавая колонии.

К этим условиям следует добавить еще одно, которое, однако, не может заменить никакое другое, но без которого все другие условия бесполезны: народ должен пользоваться благами изобилия и прочного мира. Ибо время, когда складывается Государство, подобно времени, когда строится батальон, — это момент, когда Организм слабее всего, когда он менее всего способен к сопротивлению и когда его легче всего уничтожить. Можно успешнее сопротивляться во время полного беспорядка, чем в момент брожения, когда каждый поглощен своим положением, а не общей опасностью. Пусть только война, голод или мятеж возникнут в этот критический момент, и Государство неминуемо падет. Это не значит, что многие Правительства не возникали именно во время таких бурь; но тогда эти-то Правительства и разрушают Государство. Узурпаторы всегда вызывают или выбирают такие смутные времена, чтобы провести, пользуясь охватившим все общество страхом, разрушительные законы, которых народ никогда не принял бы в спокойном состоянии; и можно сказать, что выбор момента для первоначального устройства — это один из самых несомненных признаков, по которым можно отличить творение Законодателя от действий тирана.

Напомним, пусть даже с риском кое-что повторить, о том, что должен учесть Законодатель, прежде чем давать установления народу; ибо это весьма важно для того, чтобы не тратить попусту время и власть. Прежде всего, он не должен пытаться изменять установления народа, уже имеющего государственное устройство; еще менее — стараться восстанавливать установле-

ния уже уничтоженные или возвращать к жизни пружины, уже использованные; ибо с силою законов дело обстоит так же, как с солью и ее вкусом. Поэтому силу можно придать тому народу, у которого ее никогда не было, но никак нельзя вернуть силу народу, ее потерявшему; это соображение я считаю основным. Агис пытался восстановить в Спарте устройство, данное Ликургом; Маккавеев хотели восстановить в Иерусалиме теократию Моисея; Брут хотел вернуть Риму былую свободу; Риенци пытался сделать то же впоследствии. Все они были героями; даже последний из них был героем в какую-то минуту своей жизни. Все они погибли, пытаюсь свершить то, что задумали.

Всякий многочисленный народ неспособен к устройению; Государство слишком малое совершенно лишено какой-либо прочности; даже Государства средних размеров иногда лишь сочетают в себе оба эти недостатка.

И надобно также принимать в расчет соседей. Малым Государствам Греции позволило длительно существовать именно то, что они были окружены такими же малыми Государствами, и все они вместе не уступали в силе весьма крупному Государству, когда объединялись во имя общего интереса. Жалкое это положение — быть расположенным между двумя могущественными соседями, завидующими друг другу; трудно удержаться от вмешательства в их споры и не быть раздавленным вместе с более слабым. Всякое Государство, вклинившееся в другое, следует считать за ничто. Всякое Государство, которое слишком велико для его обитателей или слишком густо населено для своей территории, едва ли стоит больше, если только это неправильное отношение не случайно и если оно не обладает естественною силою, вновь восстанавливающей соотношение правильное.

Наконец, нужно принимать в расчет различные обстоятельства; ибо, к примеру, никоим образом не следует говорить об упорядочении народу, когда он голоден, или о благоразумии — фанатикам; война же, заставляющая умолкнуть действующие законы, едва ли позволяет их устанавливать. Но голод, неистовство, война не длятся вечно. Нет, наверное, ни человека, ни народа, в жизни которого не было бы временного просвета и такой минуты, когда он готов внять голосу рассудка, — вот это мгновение и надо уметь уловить.

Какой же народ способен к восприятию законов? Тот, который никогда не знал на себе ярма законов; у которого нет укоренившихся обычаев и предрассудков, и который, однако, оказывается объединен уже в каком-либо союзе по происхождению или интересу; который не боится, что его раздавит внезапное нашествие, и который, не вмешиваясь в споры своих соседей, может сам противостоять каждому из них или воспользоваться помощью одного, чтобы отразить другого; тот народ, все члены которого могут быть известны каждому из них и которому нет нужды возлагать на человека большее бремя, нежели то, какое он может вынести: тот, который

может обойтись без других народов и без которого может обойтись всякий другой народ<sup>1</sup>, тот, который не богат и не беден и обходится собственными средствами<sup>39</sup>: одним словом, тот, который сочетает устойчивость народа древнего с восприимчивостью народа молодого. Трудность создания законов определяется не столько тем, что необходимо устанавливать, сколько тем, что необходимо разрушать; причина же столь редкого успеха в этом деле — невозможность сочетать естественную простоту с потребностями общежития. Все эти условия, признаю, трудно соединимы; потому-то мы и видим так мало правильно устроенных Государств.

#### Глава IV

### О ПРИРОДЕ ЗАКОНОВ И О ПРИНЦИПЕ ГРАЖДАНСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ<sup>40</sup>

То, что есть благо и что соответствует порядку, является таковым по природе вещей и не зависит от какого-либо соглашения между людьми.

Всякая справедливость от Бога, Он один ее источник; но если бы мы умели получать ее с такой высоты, мы бы не нуждались ни в Правительстве, ни в законах. Несомненно, для человека существует всеобщая справедливость, исходящая лишь от разума и основанная на простом праве человечности<sup>41</sup>. Но эта справедливость, чтобы быть принятой нами, должна быть взаимной. Если рассматривать вещи с человеческой точки зрения, то при отсутствии естественной санкции законы справедливости бессильны между людьми; они приносят выгоду лишь бесчестным и бремя — праведному, если этот последний соблюдает их в отношениях со всеми, а никто не соблюдает их в отношениях с ним. Необходимы, следовательно, соглашения и законы, чтобы объединить права и обязанности и вернуть справедливость к ее предмету. В естественном состоянии, где все общее, я ничем не обязан тем, кому я ничего не обещал, я признаю чужим лишь то, что мне не нужно.

Важно, однако, объяснить здесь же, что я понимаю под словом *закон*. Ибо до тех пор, пока люди не перестанут вкладывать в это слово понятия расплывчатые и метафизические, можно будет знать, что такое закон природы, и мы будем продолжать не знать, что такое закон в Государстве.

---

<sup>1</sup> Если бы из двух соседних народов один не мог обойтись без другого, то создалось бы положение очень тяжелое для одного, но очень опасное для другого. Всякий мудрый народ в подобном случае постарается поскорее освободить другой от этой зависимости.

Мы сказали, что Закон — это публичный и формальный акт общей воли; и подобно тому, как по первоначальному соглашению каждый подчинился этой воле, от одного только этого соглашения получает свою силу всякий закон. Но попытаемся дать более четкое представление об этом слове *закон*, взятом в его собственном и узком смысле, в котором он имеется в виду в данном сочинении.

Предмет и форма законов — это то, что составляет их природу: форма дается той властью, которая постановляет; предмет заключен в том, о чем постановляется. Эта часть вопроса, единственная, о которой идет речь в этой главе, была, как нам кажется, весьма плохо понята всеми теми, кто писал о законах.

Поскольку то, о чем постановляется, непременно относится к общему благу, то из этого следует, что предмет Закона должен носить общий характер, так же как и воля, его диктующая, и этот вдвойне всеобщий характер и составляет истинную отличительную особенность Закона. В самом деле, когда частный предмет находится в различных отношениях с различными индивидуумами, то, поскольку каждый имеет по отношению к этому предмету свою собственную волю, не может быть общей воли совершенно единой по отношению к этому общему предмету.

К чему относятся эти слова *всеобщий* или *общий характер*, которые здесь значат то же самое? К человеческому роду, рассматриваемому отвлеченно, или к тому, что относится к целому, о котором идет речь: целое же является таковым лишь по отношению к своим частям. Вот почему общая воля всего народа вовсе не является общею по отношению к частному лицу, являющемуся чужестранцем; ибо это частное лицо не является членом данного народа. Таким образом, в тот момент, когда народ рассматривает частный предмет, пусть это будет даже один из его собственных членов, между целым и частью устанавливается такого рода отношение, которое превращает их в два отдельных существа: одно — это часть, а другое — целое без этой части. Но целое минус часть вовсе не есть целое; и пока такое отношение существует, нет более целого, а есть две неравные части.

Напротив, когда весь народ выносит решение, касающееся всего народа, он рассматривает лишь себя самого, и если тогда образуется отношение, то это — отношение целого предмета, рассматриваемого с одной точки зрения, к целому же предмету, рассматриваемому с другой точки зрения, — без какого-либо разделения этого целого. Тогда то, о чем выносится решение, имеет общий характер, так же как и воля, выносящая это решение, — и вот именно такой акт я и называю законом.

Когда я говорю, что предмет законов всегда имеет общий характер, я разумею под этим, что Закон рассматривает подданных как целое, а действия — по их родам и видам, но никогда не рассматривает одного человека в отдельности или единичный и индивидуальный поступок. Таким образом

Закон вполне может установить, что будут существовать привилегии, но он не может предоставить таковые никакому определенному лицу; он может создать несколько классов граждан, может даже установить те качества, которые дадут право принадлежать к каждому из этих классов, но он не может точно определить, что такие-то и такие-то будут внесены в тот или иной из этих классов; он может установить королевское Правление и сделать корону наследственной, но он не может ни избирать короля, ни провозглашать какую-либо семью царствующей. Словом, всякое действие, объект которого носит индивидуальный характер, не относится к законодательной власти<sup>1</sup>.

Уяснив себе это, нетрудно понять, что теперь излишне спрашивать о том, кому надлежит составлять законы, ибо они суть акты общей воли; и о том, стоит ли Государь выше законов, ибо он член Государства; и о том, может ли Закон быть несправедливым, ибо никто не бывает несправедлив по отношению к самому себе; и о том, как можно быть свободным и подчиняться законам, ибо они суть лишь записи изъявлений нашей воли.

И еще из этого видно, что раз в Законе должны сочетаться всеобщий характер воли и ее предмета, то все распоряжения, которые самовластно делает какой-либо человек, кем бы он ни был, никоим образом законами не являются; даже то, что приказывает суверен по частному поводу,— это тоже не закон, а декрет; и не акт суверенитета, а акт магистратуры, как я это объясню ниже.

Самое важное, что следует из такого понятия о законе, состоит в том, что оно ясно показывает нам истинные основания справедливости и естественного права. В самом деле, первый закон, первый подлинный основной закон, вытекающий непосредственно из общественного соглашения, заключается в том, что каждый отдает во всем предпочтение тому, что есть наибольшее благо для всех.

Таким образом, определение действий, способствующих этому наибольшему благу посредством соответствующих особых законов, и есть то, что составляет положительное право в узком смысле этого слова. Все содействующее этому наибольшему благу, но не определенное законами, составляет акты доброжелательства<sup>11</sup>; привычка же, побуждающая нас совершать такие поступки даже себе в ущерб, есть то, что называют силой, или добродетелью<sup>42</sup>.

<sup>1</sup> [И это одна из причин того, почему Закон не может иметь обратной силы; ибо посредством его постановлялось бы относительно частного факта, вместо того, чтобы выносить постановление вообще о целом роде действий, которые, не будучи еще действиями определенных лиц, получают личный характер лишь после обнаружения закона и по воле тех, кто их совершают].

<sup>11</sup> Я полагаю, что у меня нет никакой необходимости предупреждать, что это слово не следует понимать на французский лад.

Распространите это положение на первичное общество всех людей, представление о котором дает нам Государство. Защищаемые тем обществом, членами которого мы являемся, или тем обществом, в котором мы живем, когда естественное отвращение к причинению зла не уравновешивается более в нас боязнью, что нам самим его причинят, мы склоняемся одновременно природою, привычкою, разумом к тому, чтобы в наших отношениях с другими людьми поступать почти так же, как и в отношениях с нашими согражданами; и из этой склонности, претворенной в действия, возникают принципы обоснованного естественного права, отличного от естественного права в собственном смысле, которое основано лишь на чувстве верном, но весьма расплывчатом и часто заглушаемом нашей любовью к самим себе.

Вот как образуются в нас первые отчетливые понятия о справедливом и несправедливом. Ибо Закон предшествует справедливости, а не справедливость Закону. И если Закон не может быть несправедливым, так не потому, что в основе его лежит справедливость,— это, возможно, не всегда бывает так,— но потому, что противно природе, чтобы кто-либо хотел вредить сам себе, и здесь не бывает исключений.

Это великая и возвышенная заповедь: поступать с другими так, как нам бы хотелось, чтобы поступали с нами. Но разве не очевидно, что такое правило не только не может служить основанием справедливости, но и само нуждается в обосновании? Ибо где та ясная и основательная причина, в силу которой я вел бы себя, оставаясь самим собою, сообразно с теми желаниями, которые были бы у меня, будь я другой человек? К тому же ясно, что эта заповедь подвержена тысячам исключений, которым никогда еще не давали иных объяснений, кроме софистических. Разве судья, осуждающий преступника, не хотел бы, чтобы его оправдали, будь он сам преступник? Где найдется такой человек<sup>43</sup>, который бы захотел, чтобы ему в чем-нибудь отказали? разве отсюда следует, что нужно исполнять все, что у нас просят? На чем же основывается другая аксиома *cuique suum* \*, служащая основой всякому праву собственности, как не на самом праве собственности? И если я не говорю вместе с Гоббсом: *все мое*<sup>44</sup>, то почему бы мне, по меньшей мере, не признать своим в естественном состоянии все то, что для меня полезно и чем я могу завладеть?

Итак, истинные начала, определяющие, что справедливо, а что нет, следует искать в основном и всеобщем законе наибольшего блага всех, а не в частных отношениях между отдельными людьми; и не может быть никакого частного правила справедливости, которое не выводилось бы с легкостью из этого первого закона. Итак, *cuique suum*, потому что собственность частных лиц и гражданская свобода суть основания общины. Итак, *пусть брат твой будет для тебя, как ты сам*, потому что личное я, распространенное на це-

\* Каждому свое (лат.).



лое, — это самая сильная связь первичного общества всех людей, а Государство обладает самую высокую степенью силы и жизненности, какую оно только может иметь, когда личные страсти каждого из нас соединяются в нем. Одним словом, встречается множество случаев, когда актом справедливости было бы причинить вред ближнему своему, тогда как правилом всякого справедливого деяния обязательно должна быть наибольшая общая польза: здесь не бывает исключений.

## Глава V

### РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ <sup>45</sup>

Чтобы упорядочить целое, или придать наилучшую форму государству, следует принять во внимание различные отношения. Во-первых, действие всего Организма на самого себя, т. е. отношение целого к целому, или суверена к Государству; а это отношение слагается из отношения посредствующих сил <sup>46</sup>, как мы увидим ниже. Законы, управляющие этим отношением, носят название *политических законов* и именуются также *основными законами* не без известных причин, если это законы мудрые. Ибо если в каждом Государстве существует лишь один правильный способ дать ему хорошее устройство, то народ, нашедший этот способ, не должен ни в коем случае ничего в нем изменять. Но если установленный строй плох, то зачем принимать за основные те законы, которые не дают ему быть хорошим? Впрочем, при любом положении дел народ всегда властен изменить свои законы, даже наилучшие; ибо если какому-нибудь человеку угодно причинить зло самому себе, то кто же вправе помешать ему в этом?

Второе отношение — это отношение членов между собою или же ко всему Организму; и оно должно быть в первом случае сколь возможно малым, а во втором — сколь возможно большим, так, чтобы каждый гражданин был совершенно независим от всех других и полностью зависим от Гражданской общины, что достигается всегда с помощью одних и тех же средств; ибо лишь сила Государства дает свободу его членам. Из этого-то второго отношения и возникают гражданские законы.

Законы, определяющие осуществление и форму верховной власти по отношению к частным лицам, назывались в Риме *законами о величии*: например, закон, запрещающий апеллировать в Сенат на приговоры народа, и закон, делающий личность Трибунов священною и неприкосновенною.

Что же до особых законов, устанавливающих соответственные обязанности и права граждан, то они назывались *гражданскими законами*, когда касались семейных отношений и собственности на имущество; *общественным*

*благочинием* — когда относились к поддержанию доброго порядка в обществе и безопасности людей и вещей.

Можно рассмотреть и третий вид отношений между человеком и Законом, именно: между слушанием и наказанием; а это отношение ведет к установлению *уголовных законов*, которые в сущности представляют собою не столько особый вид законов, сколько придают силу всем остальным.

К этим трем родам законов добавляется четвертый, наиболее важный из всех; эти законы запечатлены не в мраморе, не в бронзе, но в сердцах граждан; они-то и составляют подлинный организм Государства; они изо дня в день приобретают новые силы; когда другие законы стареют или слабеют, они возвращают их к жизни или восполняют их, сохраняют народу дух его первых установлений и незаметно заменяют силою привычки силу власти. Я разумею нравы и обычаи: эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального; в этой области великий Законодатель трудится незаметно — тогда, когда кажется, что он вводит лишь преобразования частного характера, — но это лишь дуга свода, неколебимый замочный камень которого в конце концов образует гораздо медленнее складывающиеся нравы. Из этих различных родов законов я ограничиваюсь в этом сочинении рассмотрением законов политических.

## Глава VI

### О РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ <sup>47</sup>

Если попытаться определить, в чем именно состоит то наибольшее благо всех, которое должно быть положено в основу всякой системы законов, то мы увидим, что оно сводится к следующим двум главным вещам: *свободе* и *равенству*. К свободе — поскольку всякая зависимость от частного лица настолько же уменьшает силу Государства; к равенству, потому что свобода не может существовать без него.

Я уже сказал, что такое свобода гражданская. Что касается до равенства, то под этим словом не следует понимать, что все должны обладать властью и богатством в совершенно одинаковой мере <sup>48</sup>; но, что касается до власти, — она должна быть такой, чтобы она не могла превратиться ни в какое насилие, и всегда должна осуществляться по праву положения в обществе и в силу законов; а что до богатства, — ни один гражданин не должен обладать столь значительным достатком, чтобы иметь возможность купить другого, и ни один — быть настолько бедным, чтобы быть вынужденным себя продавать. Это предполагает в том, что касается до знатных и богатых,

ограничение размеров их имущества и влияния, что же касается до людей малых — умерение скарედности и алчности<sup>49</sup>.

Но эти общие цели всякого хорошего первоустройства должны видоизменяться в каждой стране в зависимости от тех отношений, которые порождаются как местными условиями, так и отличительными особенностями жителей; и на основе этих именно отношений и следует определять каждому народу особую систему законов, которая должна быть лучшей, пусть, быть может, не сама по себе, но для того Государства, для которого она предназначена. Если, к примеру, почва неблагоприятна и бесплодна или земли слишком мало для жителей данной страны? обратитесь тогда к промышленности и ремеслам, произведения которых вы станете обменивать на съестные припасы, которых вам недостает. Если же, напротив, вы занимаете богатые равнины и плодородные склоны? если вы живете на хорошей земле, и у вас недостает населения? тогда посвятите все ваши заботы земледелию и изгоните ремесла, чтобы они окончательно не лишили край населения, сосредоточив в нескольких пунктах территории то небольшое число жителей, которое там есть: ибо известно, что, при прочих равных условиях, население в городах растет медленнее, чем в деревнях. Если вы занимаете протяженные и удобные берега? тогда пустите в море корабли, развивайте торговлю и мореходство. Если море омывает у ваших берегов лишь почти неприступные скалы? тогда оставайтесь варварами и питайтесь рыбой; так вы будете жить спокойнее, лучше, быть может, и, уж наверное, счастливее. Словом, кроме правил, общих для всех, каждый народ в себе самом заключает некое начало, которое располагает их особым образом и делает его законы пригодными для него одного. Так, некогда для древних евреев, а недавно для арабов главным была религия, для афинян — литература, для Карфагена и Тира — торговля, Родоса — мореходство, Спарты — война, а для Рима — добродетель. Автор *Духа законов* показал на множестве примеров, каким путем Законодатель направляет первоустройство страны к каждой из этих целей.

Устройство Государства становится воистину прочным и долговечным, когда сложившиеся в нем обычаи соблюдаются настолько, что естественные отношения и законы всегда совпадают в одних и тех же пунктах и последние, так сказать, лишь укрепляют, сопровождают, выправляют первые. Но если Законодатель, ошибаясь в определении своей цели, следует принципу, отличному от того, что вытекает из природы вещей; если один из принципов ведет к порабощению, а другой — к свободе; один — к накоплению богатств, другой — к увеличению населения; один — к миру, другой — к завоеваниям, — тогда законы незаметно потеряют свою силу, внутреннее устройство испортится и волнения в Государстве не утихнут до тех пор, пока оно не подвергнется разрушению или изменениям и пока неодолимая природа не вступит вновь в свои права.

КНИГА III  
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ,  
ИЛИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Прежде чем говорить о различных формах Правления, было бы хорошо определить точный смысл, который следует придавать этому слову в Обществе, основанном на законах.

Глава I  
ЧТО ТАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КАКОГО-ЛИБО ГОСУДАРСТВА <sup>50</sup>

Я предупреждаю читателей, что эта глава требует известного внимания и что я не владею искусством быть ясным для того, кто не хочет быть внимательным.

Всякое свободное действие имеет две причины, которые сообща его производят: одна из них моральная, именно: воля, определяющая акт, другая — физическая, именно: сила, его исполняющая. Когда я иду по направлению к какому-нибудь предмету, то нужно, во-первых, чтобы я хотел туда пойти; во-вторых, чтобы ноги мои меня туда доставили. Пусть паралитик захочет бежать, пусть не захочет того человек проворный — оба они останутся на месте. У Политического организма — те же движители. В нем также различают силу и волю: эту последнюю — под названием законодательной<sup>1</sup> власти; первую — под названием власти исполнительной. Ничто в нем не делается или не должно делаться без их участия.

Мы видели, что законодательная власть принадлежит народу и может принадлежать только ему. Легко можно увидеть также, что исполнительная власть принадлежать народу не может [...].

---

<sup>1</sup> Я говорю *исполнительная* и *законодательная*, а не *исполнительствующая* и *законодательствующая*, потому что беру эти два слова как прилагательные. Вообще же, я не придаю большого значения всем этим грамматическим пустякам: однако я полагаю, что в поучающих сочинениях часто нужно обращать внимание не столько на обычное употребление, сколько на аналогию, если она делает смысл более точным.

## ПИСЬМА С ГОРЫ



### ПИСЬМО VI

*Верно ли, что автор нападает на Правительства.  
Краткий разбор его книги.  
Судебная процедура, учиненная в Женеве, беспримерна  
и не вызвала подражания ни в одной стране.*

Еще, сударь, одно письмо<sup>1</sup>, и вы от меня освободитесь. Но, приступая к нему, я нахожусь в весьма странном положении: я обязан его написать и не знаю, что в нем сказать. Можете ли вы себе представить, чтобы нужно было оправдываться в преступлении, которое тебе неизвестно, и защищаться, не зная в чем тебя обвиняют? Однако это именно то, что я должен сделать по вопросу о Правительствах. Не предъявив обвинения, меня судят, клеймят за то, что я опубликовал два сочинения «дерзких, возмутительных, нечестивых, направленных на уничтожение христианской религии и всех Правительств»<sup>2</sup>. Что касается религии, то у нас было, по крайней мере, некоторое основание установить, что имелось здесь в виду, и мы это уже рассмотрели. Но что касается до Правительств, ничто не может нам здесь дать ни малейшего указания. По этому вопросу постоянно избегали какого-либо рода разъяснения: никогда ничего не желали сказать ни о том, в каком это месте я собирался уничтожить Правительства, ни каким образом, ни с какой целью, ни также что-либо, могущее доказать, что преступление

это не является воображаемым. Дело обстоит так, как если бы судили кого-нибудь за то, что он убил человека, не говоря где, кого, когда: за убийство вообще. При инквизиции обвиняемого заставляют угадать, в чем его обвиняют, но его не судят, не сказав ему, за что именно.

Автор *Писем из Долины* столь же старательно избегает объясниться по поводу этого, так называемого преступления<sup>3</sup>; он объединяет как то, что относится к религии, так и то, что относится к Правительствам в одном и том же предьявляемом мне обвинении; затем, приступая к вопросу о религии, он заявляет, что желает этим ограничиться, и держит свое слово. Как же мы сможем проверить обвинение в уничтожении Правительств, если те, кто его предьявляют, отказываются сказать в чем оно заключается?

Заметьте, как одним росчерком пера этот автор изменяет постановку вопроса. Совет провозглашает в своем решении, что мои книги стремятся уничтожить все Правительства; автор *Писем* говорит только, что Правительства подвергаются в этих книгах самой смелой критике. Но это весьма различные вещи. Критика, какой бы смелой она ни была, отнюдь не является заговором. Критиковать или порицать какие-либо законы — это не значит ниспровергать все законы. Это все равно, как если бы кого-либо стали обвинять в том, что он убивает больных, когда он указывает на ошибки врачей.

Повторяю, что же можно возразить против доводов, которых не хотят огласить? Как можно оправдать себя, если приговор вынесен без указания мотивов? Пусть, без всяких доказательств, эти господа говорят, что я хочу ниспровергнуть все Правительства; и пусть я скажу, что не хочу ниспровергнуть все Правительства; эти утверждения совершенно равноценны, за исключением того, что презумпция в мою пользу: ибо нужно предположить, что я лучше знаю, чем кто-либо другой, что именно я намерен сделать.

Но, в чем такая равноценность отсутствует, так это в результатах наших утверждений. На основании их утверждений моя книга сожжена и издан указ о моем аресте, а то, что утверждаю я, ничего здесь не изменяет. Если же я докажу, что обвинение ложно и приговор незаконен, то позор, которым они меня покрыли, падет на них самих: постановление о моем аресте, палач — все должно обратиться против них; ибо никто столь радикальным образом не разрушает Правительство, как тот, кто использует его прямо противоположно цели его установления.

Недостаточно, однако, одних моих утверждений, нужно, чтобы я привел доказательства; и в этом видно, насколько плачевна участь частного лица, подчиненного несправедливым магистратам, когда им нечего страшиться суверена и когда они ставят себя выше законов. На бездоказательном утверждении они строят доказательства; и вот невинный наказан. Более того, они вменяют ему в преступление и то, что он защищается, и готовы наказать его еще и за то, что он доказал свою невиновность.

## L E T T R E S

ÉCRITES DE LA

M O N T A G N E.

PAR J. J. ROUSSEAU.

EN DEUX PARTIES.



A AMSTERDAM,

Chez MARC MICHEL REY.

MDCCLXIV.

Титульный лист первого издания  
«Писем с Горы» Руссо  
Амстердам, 1764

Как же мне показать, что они не сказали правды, как доказать, что я отнюдь не уничтожаю Правительства? Какое бы место из своих сочинений ни стал я защищать, они скажут, что это не то, которое они осудили, хотя они и осудили все как хорошее, так и плохое, не делая никакого различия. Чтобы у них не осталось никакой увертки, пришлось бы, следовательно, все перебрать, все просмотреть с начала и до конца, книгу за книгой, страницу за страницей, строку за строкой и даже чуть ли не слово за словом. Пришлось бы, кроме того, рассмотреть все Правительства мира, ибо мои противники говорят, что я уничтожаю их все. Какое предприятие! Сколько лет пришлось бы употребить на это! Сколько *фолиантов* пришлось бы написать! И после этого, кто их стал бы читать?

Требуйте же от меня того, что осуществимо. Всякий здравомыслящий человек должен удовлетвориться тем, что я могу вам сказать: вы же, конечно, ничего другого от меня и не хотите.

Из двух моих книг, сожженных одновременно на основании одних и тех же обвинений, только лишь в одной рассматриваются политическое право и проблемы правления. Если во второй книге эти вопросы и рассматриваются, то лишь в виде резюме первой<sup>4</sup>. Таким образом, я предполагаю, что обвинение падает только лишь на первую книгу. Если это обвинение относилось бы к какому-либо отдельному месту, то его, несомненно, процитировали бы; из него, по крайней мере, извлекли бы какое-либо положение, переданное верно или неверно, как это сделали относительно пунктов, касающихся религии.

Следовательно, разрушает Правительства система, излагаемая в этом труде в целом: нужно поэтому лишь изложить эту систему или сделать раз-

бор этой книги; и, если мы там не обнаружим с очевидностью тех разрушительных принципов, о которых идет речь, то будем, по крайней мере, знать, где их искать в этом труде, следуя методу автора.

Но, сударь, если, делая этот разбор, который будет кратким, вы найдете нужным сделать какой-либо вывод, то, пожалуйста, не спешите. Подождите, чтобы мы это обсудили вместе. Потом вы вернетесь назад, если пожелаете.

Что определяет единство Государства? Это — единение его членов. Но из чего рождается единение его членов? Из связующего их обязательства. До этого пункта все согласны.

Но какова основа этого обязательства? Вот где мнения авторов расходятся. По мнению одних <sup>5</sup>, это сила; по мнению других <sup>6</sup>, это отцовская власть; по мнению третьих, это воля Божия <sup>7</sup>. Каждый устанавливает свой принцип и нападает на принципы других. Я и сам не поступил иначе: следуя наиболее здравой части рассуждений тех, кто обсуждал эти вопросы, я принял за основание Политического организма соглашение между его членами; и я опроверг принципы, отличающиеся от моих.

Независимо от истинности этого принципа, он превосходит все остальные прочностью того, что он кладет в основу общества, ибо, что может служить более надежным основанием обязательств между людьми, нежели добровольное обязательство того, кто обязуется? Можно оспаривать любой иной принцип <sup>1</sup>, но этот принцип оспаривать нельзя.

Но в силу этого условия свободы, заключающего в себе другие условия, всякого рода обязательства оказываются недействительными, даже перед судом людским. Таким образом, для того, чтобы определить это обязательство, нужно объяснить его природу; нужно найти его применение и его цель; нужно доказать, что оно приемлемо для людей и не содержит ничего противного естественным законам. Ибо столь же недопустимо нарушать естественные законы Общественным договором, как недопустимо нарушать позитивные законы <sup>8</sup> соглашениями частных лиц: и лишь благодаря этим самым законам и существует свобода, сообщающая силу этому обязательству.

В результате этого рассмотрения я нахожу, что установление Общественного договора представляет собой соглашение особого рода, в силу которого каждый принимает обязательство по отношению ко всем; откуда следует взаимное обязательство всех в отношении каждого, что и является непосредственным предметом единения в обществе <sup>9</sup>.

Я говорю, что это обязательство является обязательством особого рода потому, что, будучи абсолютным, безусловным, безоговорочным, оно не мо-

---

<sup>1</sup> Даже принцип воли Божией, по крайней мере в том, что касается его применения. Ибо, хотя и ясно, что то, чего хочет Бог, это то же самое, чего должен желать и человек, но не ясно, желает ли Бог, чтобы одно Правление предпочиталось другому, или чтобы повиновались Жаку, а не Гийому <sup>10</sup>. Но об этом-то и идет речь.



жет, однако, быть несправедливым и подверженным злоупотреблениям; ибо невозможно, чтобы Организм пожелал вредить самому себе, поскольку воля всего целого является волей всех.

Оно еще особого рода потому, что связывает договаривающихся, не подчиняя их никому, и потому, что, давая им одну их волю в качестве закона, оно оставляет их столь же свободными, какими они были и ранее.

Воля всех — это, следовательно, приказ, высший закон; и этот общий и олицетворенный закон и есть то, что я называю сувереном.

Из этого следует, что суверенитет неделим, неотчуждаем, и что он пребывает по самой своей сути во всех членах Организма.

Но как действует это отвлеченное и коллективное существо? Оно действует посредством законов и оно не могло бы действовать иначе.

Но что же такое закон? Это публичное и формальное провозглашение общей воли относительно предмета, представляющего общий интерес.

Я говорю относительно предмета, представляющего общий интерес потому, что Закон потерял бы свою силу и перестал быть законом, если бы его предмет не касался всех.

Закон не может, по своей природе, быть принят ради какого-либо частного или индивидуального случая; но применение Закона распространяется на частные и индивидуальные случаи.

Законодательная власть, которая есть Суверен, нуждается, следовательно, в другой власти, которая исполняет, то есть, которая превращает Закон в акты частного характера. Эта вторая власть должна быть установлена таким образом, чтобы она всегда исполняла Закон и чтобы она исполняла всегда только лишь Закон. Отсюда и происходит учреждение Правительства.

Что такое Правительство? Это — посредствующий организм, установленный для сношений между подданными и сувереном, уполномоченный приводить в исполнение законы и поддерживать свободу как гражданскую, так и политическую.

Правительство, в качестве составной части Политического организма, участвует в выражении общей воли, которая его устанавливает; являясь же само корпусом, оно имеет свою собственную волю. Эти две воли иногда бывают между собой согласны, а иногда противостоят друг другу. Общий результат этого согласного действия и этой борьбы и определяет работу всей машины.

Принцип, лежащий в основе различных форм Правления, заключается в числе членов, составляющих Правительство. Чем меньше это число, тем большей силою обладает Правительство; чем больше это число, тем Правительство слабее; и так как верховная власть имеет всегда склонность к ослаблению, то Правительство стремится всегда усилиться. Таким образом, корпус исполнительный должен с течением времени брать верх над корпусом законодательным; и когда Закон, в конце концов, оказывается подчинен людям, то остаются лишь рабы и господа, а Государство разрушено.

До этого разрушения Правительство должно, путем своего естественного развития, изменять свою форму и переходить постепенно от большого числа своих членов к меньшему.

Различные формы, которые может принимать Правление, сводятся к трем главным. Сравнив эти формы по их преимуществам и недостаткам, я отдаю предпочтение той из них, которая является промежуточной между двумя крайними и которая называется аристократией. Здесь нужно вспомнить, что устройство Государства и устройство Правительства суть вещи весьма отличные друг от друга, и я их не смешивал. Наилучший из видов Правления — аристократический; наихудший вид верховной власти также аристократический <sup>11</sup>.

Эти рассуждения влекут за собой еще и другие относительно того, каким образом вырождается Правление и относительно средств, которые могут поддержать разрушение Политического организма <sup>12</sup>.

Наконец, в последней книге я рассматриваю, путем сравнения с наилучшим Правлением, когда-либо существовавшим, а именно с Правлением Рима, внутреннее управление, наиболее благоприятное для лучшего устройства Государства; затем я заканчиваю эту книгу и всю работу разысканиями о том, каким образом религия может и должна входить, как составная часть, в Политический организм.

Что думали вы, сударь, читая этот краткий и верный разбор моей книги? Я это угадываю. Вы говорили самому себе: «Вот история образа Правления Женевы». Это то, что сказали при чтении этого труда все, кто знает ваше государственное устройство <sup>13</sup>.

И в самом деле, этот Первоначальный договор, эта сущность суверенитета, это владычество законов, это установление Правительства, этот способ сосредоточивать его функции в различных ступенях, чтобы уравновесить власть силою, эта тенденция к захвату власти, эти периодические собрания, эта ловкость, умение обходиться без них, это, наконец, близкое разрушение ваших установлений, которое вам угрожает и которое я хотел предупредить, не есть ли все это точь-в-точь изображение вашей Республики, с момента ее рождения и до сего дня?

Я, следовательно, взял ваше государственное устройство, которое нахожу прекрасным, за образец политических установлений; и ставя вас в пример Европе, далекий от стремления вас уничтожить, я излагал средства вас сохранить. Это устройство, как бы хорошо оно ни было, не лишено недостатков: можно было предупредить искажения, которые оно претерпело, оградить его от опасности, которой оно подвергается сейчас. Я предвидел эту опасность, я о ней говорил, я указывал на меры ее предупреждения: было ли это с моей стороны желанием разрушить ваше устройство, если я обращал внимание на то, что нужно было сделать для его сохранения? Из-за моей любви к этому устройству, я и желал, чтобы ничто не могло его исказить. Вот в чем все мое

преступление; я возможно был неправ; но, если любовь к отечеству меня ослепляла в этом отношении, то ему ли следовало меня за это наказывать?

Как мог я стремиться ниспровергать все Правительства, если я привял за их основание все то, на чем основано ваше? Один этот факт уничтожает обвинение. Раз уже существовало Правление, устроенное по моему образу, я не мог, следовательно, стремиться разрушать все существующие Правления. Ах, сударь, если бы я ограничился лишь разработкой некой отвлеченной системы, то вы можете быть уверены, что никто ничего бы не сказал: удовольствовались бы тем, что «Общественный договор» вместе с *Государством* Платона, *Утопией* и *Севарамбажи*<sup>14</sup> изгнали бы в область фантазий. Но я описывал нечто уже существующее, а желали, чтобы оно изменило свой облик. Моя книга содержала доказательства готовившегося покушения: вот чего мне не простили.

Но вот что покажется вам странным. Моя книга нападает на все Правительства, и она не запрещена ни одним из них!<sup>15</sup> Она утверждает преимущества одного Правительства<sup>16</sup>, ставит его в пример, и это-то Правительство ее и сжигает! Не странно ли, что Правительства, на которые нападают, молчат, а Правительство, которое не затрагивают, свирепствует? Что же, магистрат Женевы становится защитником других Правительств против своего собственного! Он наказывает своего собственного гражданина за то, что он оказал предпочтение законам своей страны перед всеми другими? Постижимо ли это? и поверили бы вы этому, если бы сами того не видели? Во всех других странах Европы, разве кто-либо подумал преследовать по суду этот труд? Нет; этого не сделало даже и то Государство<sup>17</sup>, в котором он был напечатан<sup>1</sup>. Даже Франция, где магистраты в этом отношении столь строги; разве там запретили эту книгу? Ничего подобного: сперва наложили запрет на ввоз голландского издания, но оно было перепечатано без разрешения авторов<sup>18</sup> во Франции, и это издание там распространяется беспрепятственно. Следовательно, здесь было дело коммерческое, а не административное. Предпочли, чтобы доход от книги получил французский издатель, а не иностранный; вот и все.

*Общественный договор* не был сожжен нигде, кроме Женевы, где он не был напечатан; только лишь женевский магистрат обнаружил в нем принципы, разрушительные по отношению ко всем Правительствам. Правду говоря, этот магистрат ничего не сказал, каковы эти принципы; и тут я думаю, он поступил весьма осмотрительно.

Результат неосторожных запрещений заключается в том, что сами они не соблюдаются и подрывают силу власти. Моя книга в Женеве у всех в руках, и разве не живет она там также во всех сердцах! Прочтите ее, сударь, эту

<sup>1</sup> В разгаре шума, вызванного судебными преследованиями в Париже и Женеве, застигнутый врасплох магистрат запретил обе книги: но, рассмотрев их сам, этот мудрый магистрат изменил свое мнение, главным образом относительно *Общественного договора*.

книгу, столь очерченную, но столь же и необходимую; вы в ней повсюду увидите, что Закон там ставится выше людей; вы там всюду увидите требования свободы, но не выходящей из-под власти законов, без которых свобода не может существовать и подчиняясь которым мы всегда свободны, какого рода Правление ни было бы. Тем самым, я, говорят, не угождаю Властям. Тем хуже для них; ибо я защищаю их подлинные интересы, если бы только они могли их видеть и им следовать. Но страсти ослепляют людей относительно собственного их блага. Те, кто подчиняют законы человеческим страстям, суть действительные разрушители Правительств: вот люди, которых следовало бы наказывать.

Основы Государства одни и те же при всех Правлениях, и эти основы установлены в моей книге лучше, чем в какой-либо другой. Когда затем речь заходит о сравнении различных форм Правления, нельзя избежать того, чтобы не взвесить преимущества и недостатки каждого из них в отдельности; я думаю, что именно это я и сделал с беспристрастием. Все взвесив, я отдал предпочтение образу Правления моей страны. Это было естественно и разумно; меня бы стали порицать, если бы я так не поступил. Но я отнюдь не сделал исключения и для других Правлений; напротив, я показал, что каждое из них имеет свое основание, заставляющее предпочитать его любому другому, в зависимости от людей, времени и места. Таким образом, я отнюдь не разрушал все формы Правления, и все их обосновывал.

Говоря, в частности, о монархическом Правлении, я выявил его преимущества, но не скрыл также и его недостатков<sup>19</sup>. Это является, я полагаю, правом мыслящего человека. И, если бы я его исключил, чего, конечно, не сделал, то разве следовало бы из этого, что меня должны были бы наказать в Женеве? Был ли в какой-либо монархии отдан приказ об аресте Гоббса за то, что его принципы разрушительны для всякого республиканского Правления? и судят ли там, где правят короли, тех авторов, которые отвергают и унижают Республики? Не является ли это право взаимным? и Республиканцы не являются ли суверенами в своей стране, подобно тому, как короли являются таковыми у себя? Что касается меня, то я не отвергал ни одного из Правлений и не пренебрег ни одним из них. Рассматривая их, сравнивая их между собою, я держал весы и высчитывал вес: ничего другого я не делал.

Нигде не должно наказывать рассудок или даже рассуждения; это наказание было бы слишком ярким свидетельством против тех, кто его наложил. Петиционеры очень хорошо установили<sup>20</sup>, что моя книга, в которой я не захожу за пределы рассмотрения вопроса в общем его виде, отнюдь не нападая на образ Правления Женевы, и которая издана за пределами ее территории, не может рассматриваться иначе, как одна из тех, которые трактуют об естественном и политическом праве, и относительно которых законы не представляют Совету никакой власти; эти книги всегда открыто продавались в города, какой бы принцип в них ни выдвигался и какое бы мнение в них ни

высказывалось. Я не единственный, кто, обсуждая отвлеченно вопросы политики, мог трактовать их с некоторой смелостью. Не всякий это делает, но каждый человек имеет право это делать. Многие пользуются этим правом; но я единственный, кого наказывают за то, что он им воспользовался. Несчастный Сидней<sup>21</sup> думал так же, как и я, но он действовал: именно за свои действия, а не за свою книгу, он имел честь пролить свою кровь. Альтузий<sup>22</sup> в Германии нажил себе врагов, но его не подвергали преследованию в уголовном порядке. Локк, Монтескье, аббат де Сен-Пьер<sup>23</sup> рассматривали эти же вопросы и нередко, по меньшей мере, столь же вольно. Локк, в частности, рассматривал их на основе тех же принципов, что и я<sup>24</sup>. Все трое родились под властью королей, спокойно жили и умерли в почете, в своих странах. Вам известно, какому обращению подвергся я в своей стране.

Поэтому будьте уверены, что эти унижения не только не заставили меня покраснеть, но я горжусь ими, ибо они служат лишь выяснению причины, в силу которой я им подвергаюсь, а эта причина заключается в том, что у меня большие заслуги перед моей страной. Поведение Совета<sup>25</sup> в отношении меня, конечно, меня огорчает, ибо разрывает узы, которые были для меня столь дороги. Но, может ли оно меня унижить? Нет, оно меня возвышает, оно меня ставит в ряды тех, кто страдал за свободу. Мои книги, что бы с ними ни сделали, будут всегда свидетельствовать сами за себя; и обращение, которому они подверглись, лишь спасет от позора те сочинения, которые удостоятся чести быть сожженными вслед за моими.

## ПИСЬМО VII

### *Нынешнее положение Женевского Правительства, установленное Эдиктом о посредничестве.*

Вы скажете, сударь<sup>26</sup>, что я слишком многословен, но я был вынужден к этому; да и трактуемые мною темы не обсуждаются в эпиграммах. Кроме того, темы эти не уводят меня столь далеко, как это может показаться, от той, которая вас интересует. Говоря о себе, я думал о вас; и ваш вопрос столь тесно связан с моим, что разрешение его связано с разрешением моего. Мне остается лишь сделать вывод. Всюду, где невинность под угрозой, ничто не может находиться в безопасности. Всюду, где законы нарушаются безнаказанно, нет больше свободы.

Однако, поскольку можно отделять частный интерес от интереса общественного, ваши мысли по этому вопросу еще не ясны. Вы настаиваете, чтобы я помог вам их уточнить. Вы спрашиваете, каково нынешнее положение ва-

шей Республики и что должны делать ее граждане. Легче ответить на первый вопрос, чем на второй.

Этот первый вопрос вас, конечно, меньше затрудняет сам по себе, чем противоречивые решения, которые ему даются вокруг вас. Люди, обладающие весьма здравым смыслом, вам говорят: «Мы самый свободный из всех народов»; а другие, также обладающие весьма здравым смыслом, утверждают: «Мы живем в состоянии самого жестокого порабощения». Которые же из них правы? — спрашиваете вы меня. И те и другие, сударь, но в различных отношениях: их примиряет одно очень простое различие. Ничто не может быть более свободным, чем ваше юридическое положение; но ничто не может быть более рабским, чем ваше действительное положение.

Ваши законы обретают свою силу только от вас самих. Вы признаете лишь те из них, которые создаются вами. Вы платите лишь те подати, которые налагаете сами. Вы избираете начальников, которые вами управляют. Они имеют право судить вас лишь в соответствии с предписанными формами. В Генеральном Совете вы являетесь законодателями, суверенами, независимыми от какой-либо человеческой власти. Вы ратифицируете договоры, вы решаете вопросы мира и войны. Сами ваши магистраты называют вас *сиятельнейшими, высокочтимыми и владетельными Государями*. Вот в чем ваша свобода, а теперь — вот в чем ваше рабство.

Организм, на который возложено исполнение ваших законов<sup>27</sup>, является их истолкователем и высшим арбитром. Он заставляет их говорить, как ему угодно. Он может заставить их умолкнуть<sup>28</sup>. Он может даже их нарушить, а вы не можете навести здесь порядок: Организм стоит выше законов.

Начальники, которых вы избираете, обладают, независимо от вашего избрания, другими полномочиями, полученными не от вас, и они расширяют эти полномочия за счет тех, которые получают от вас. Будучи ограничены в ваших выборах<sup>29</sup> малым числом людей, которые все придерживаются одинаковых принципов и движимы одинаковыми интересами, вы делаете с соблюдением величайших формальностей маловажный выбор. В этом деле важно было бы иметь возможность отвергнуть всех, между которыми вас принуждают сделать выбор<sup>30</sup>. При видимости свободы избрания вы оказываетесь столь стесненными со всех сторон, что не можете даже избрать ни первого Синдика<sup>31</sup>, ни Синдика стражи; глава Республики и главный военачальник избираются не вами.

Если вас не вправе облагать новыми налогами, то и вы не вправе отменять старые. Финансы Государства так поставлены, что без вашего участия они могут обеспечивать все<sup>32</sup>. Поэтому нет никогда нужды считаться с вами в этой области, и ваши права в этом отношении оказываются частично упраздненными и совершенно ненужными.

Правила судопроизводства, которым нужно следовать, когда вас судят, предписаны; но, когда Совет не желает им следовать, никто не может ни при-

нудить его к этому, ни обязать исправить допущенные им нарушения. Относительно этого я в состоянии представить вам доказательства, и вы знаете, что не только я могу это сделать.

В Генеральном Совете ваша суверенная власть скована: вы можете действовать лишь только тогда, когда это угодно вашим магистратам, и говорить только тогда, когда они вас спрашивают. Если они даже вовсе не пожелают собирать Генеральный Совет, то ваша власть, ваше существование окажутся превращенными в ничто, а вы сможете лишь тщетно роптать на это, тогда как они будут презирать этот ропот.

Наконец, если на этом собрании вы — суверенные Государи, то выйдя из него, вы — уже ничто<sup>33</sup>. Четыре часа в год подчиненно-суверенные, вы являетесь подданными<sup>34</sup> остальную часть вашей жизни, и вы полностью предоставлены чужому произволу.

С вами произошло, господа, то, что происходит со всеми Правительствами, подобными вашему. Сначала законодательная власть и исполнительная, которые составляют суверенитет, не отделены друг от друга. Суверенный народ сам проявляет свою волю и сам делает то, что он хочет. Вскоре неудобство этого участия всех во всем вынуждает суверенный народ возложить на нескольких его членов выполнение своей воли. Эти должностные лица, после выполнения данного им поручения, дают в этом отчет и опять становятся равны всем остальным. Мало-помалу эти поручения делаются частыми и, наконец, постоянными. Незаметно образуется корпорация, действующая постоянно. Постоянно действующая корпорация не может давать отчета в каждом акте. Она отдает отчет лишь в главнейших. Вскоре она приходит к тому, что не дает отчета больше ни в каком. Чем активнее становится действующая власть, тем более она ослабляет власть волеизъявляющую. Воля вчерашняя начинает считаться и волей сегодняшней, тогда как вчерашний акт не освобождает от необходимости действовать сегодня. Наконец, бездействие власти волеизъявляющей подчиняет ее власти исполняющей. Действия последней, а вскоре и ее воля, делаются независимыми. Вместо того, чтобы действовать, подчиняясь волеизъявляющей власти, она оказывает на нее воздействие. Тогда в Государстве остается лишь одна действующая власть: это — власть исполнительная. Исполнительная власть является только лишь силой, а там, где царит одна только сила, Государство распадается<sup>35</sup>. Вот, сударь, как разрушаются, в конце концов, все демократические Государства.

Просмотрите летопись вашего Государства с того времени, когда ваши Синдики, простые исполнители, учрежденные общиной для выполнения того или иного дела, низко кланяясь, отдавали ей отчет в выполнении поручения и возвращались тотчас же в разряд частных лиц<sup>36</sup>, до того времени, когда эти же самые Синдики, пренебрегая правами начальников и судей, которые они получали при своем избрании, стали им предпочитать произвол власти, корпорации<sup>37</sup>, члены которой не избираются общиной, и которая над нею





устанавливается вопреки законам. Проследите за развитием, которое отделяет эти два положения вещей, и вы узнаете, в каком состоянии вы оказались и через какие ступени вы к нему пришли.

То, что происходит с вами, мог бы предвидеть какой-нибудь политик два века тому назад. Он бы сказал: «Первоначальное устройство, которое вы создаете, хорошо для настоящего времени, но плохо для будущего. Оно хорошо для того, чтобы установить политическую свободу, но плохо для ее сохранения; и то, что составляет сейчас вашу безопасность, в скором времени превратится в железо ваших оков. Эти три организма<sup>38</sup>, которые настолько входят один в другой, что от наименьшего зависит деятельность наибольшего, находятся в равновесии, пока действие наибольшего необходимо и пока законодательство не может обойтись без Законодателя. Но, как только эта свобода установлена, установивший ее организм не в состоянии ее поддерживать, и она должна погибнуть. И сами ваши законы станут причиной вашей гибели». Вот именно это с вами и произошло. Это же, в ином масштабе, было причиной падения и Польского Правительства, но из-за противоположной крайности. Конституция Польской Республики хороша лишь для образа Правления, в котором нечего больше менять<sup>39</sup>. Ваша же, наоборот, хороша только до тех пор, пока постоянно действует законодательный Организм.

Ваши магистраты всегда неустанно трудились над тем, чтобы высшую власть Генерального Совета передать Малому Совету через посредство Совета Двухсот, но их усилия имели различные последствия в зависимости от того, как они их к этому прилагали. Почти все их блестящие предприятия проваливались, потому что они встречали сопротивление и потому что в таком Государстве, как ваше, сопротивление общества всегда непреодолимо, когда оно основывается на законах.

Причина этого очевидна. Во всяком Государстве Закон говорит тогда, когда говорит суверен. Однако при такой демократии, когда народ является сувереном, когда внутренние разделения нарушают всякие формы и заставляют умолкнуть все виды власти, остается одна лишь его власть; и на чью сторону склоняется тогда наибольшее число, на той стороне Закон и власть.

Если Граждане и Горожане, взятые вместе, не являются сувереном, то Советы без Граждан и Горожан являются им еще в меньшей степени, ибо они по своей численности составляют только лишь его наименьшую часть. Как только речь заходит о высшей власти, все в Женеве делается равными, как гласит Эдикт<sup>40</sup>. «Пусть все довольствуются положением Граждан и Горожан, не стремясь искать предпочтения друг перед другом и присваивать себе какую-либо власть и господство над другими». Помимо Генерального Совета, нет другого суверена, как только лишь Закон; но когда на сам Закон делаются нападки со стороны его служителей, то поддержать его должен Законода-

тель. Вот почему всюду, где царит подлинная свобода, в важных предприятиях народ почти всегда имеет преимущество.

Но не важными предприятиями ваши магистраты привели дела в то положение, в каком они находятся ныне. Это было сделано путем умеренных и постоянных усилий, путем почти незаметных изменений, последствия которых вы не могли предвидеть и которые вы с трудом даже могли заметить. Народу невозможно непрестанно остерегаться всего того, что происходит; и эта бдительность была бы поставлена ему даже в упрек. Его обвинили бы в проявлении беспокойства и волнения, в том, что он постоянно готов бить тревогу по пустякам. Но из этих-то пустяков, которые замалчиваются, Совет умеет со временем делать нечто. Доказательство этому — то, что происходит в настоящее время у вас на глазах.

Вся власть в Республике находится в руках Синдиков<sup>41</sup>, которые избираются в Генеральном Совете. Они там приносят присягу<sup>42</sup>, потому что он один стоит выше их. И они приносят эту присягу только лишь в этом Совете, потому что только ему одному они обязаны отчетом в своем поведении, в своей верности относительно выполнения присяги, которую они там принесли. Они клянутся честно и нелицеприятно творить правосудие. Они единственные магистраты, которые приносят такую клятву на этом Собрании, потому что они суть единственные, кому это право предоставляется сувереном<sup>I</sup> и кто его осуществляет, подчиняясь только власти суверена. При публичном суде над преступниками только они одни клянутся перед народом, вставая со своих мест<sup>II</sup> и поднимая свои жезлы, «в том, что они судили праведно, без ненависти и лицемерия, моля Бога их покарать, если они поступили противу этого». И в прошлом приговоры по уголовным делам выносились от одного лишь их имени<sup>43</sup>, без упоминания иного Совета, кроме как только Совета Граждан, как это видно из приговора по делу Морелли, который приводится выше<sup>44</sup> и из приговора по делу Валентина Жентийя<sup>45</sup>, упоминаемого в сочинениях Кальвина<sup>46</sup>.

Однако вы прекрасно понимаете, что эта исключительная власть, получаемая таким образом непосредственно от народа, весьма стесняет притязания Совета. Поэтому, естественно, чтобы освободиться от этой зависимости, он старается мало-помалу ослабить власть Синдиков, растворить в Совете

<sup>I</sup> Это право предоставляется их Лейтенанту лишь через их посредство и поэтому он не приносит никакой присяги в Генеральном Совете. «Но,— говорит автор *Писем*<sup>47</sup>,— разве менее обязательна присяга, которую приносят члены Совета, и исполнение обязательств, взятых перед самим Божеством, зависит ли от места, в котором они даются?» Нет, конечно. Но следует ли из этого, что безразлично, в каком месте и кому принести присягу? Не указывает ли этот выбор лишь только на то, кем дается эта власть, либо, кому нужно отдавать отчет в использовании ее? С какими государственными мужами имеем мы дело, если им нужно говорить об этом? Разве они не знают об этом или притворяются, что не знают?

<sup>II</sup> Совет здесь также присутствует, но члены его не клянутся и сидят.

судебную власть, которую они получили, и незаметно передать этому постоянному организму, члены которого не избираются народом, большую, но временную власть магистратов, которых он избирает. Сами Синдики не только не противятся этому изменению, но должны также его приветствовать, потому что они бывают Синдиками только раз в четыре года и могут даже ими не быть; тогда как, что бы ни случилось, они являются Советниками всю свою жизнь, ибо *грабо*<sup>48</sup> превратились уже в ненужный церемониал<sup>III</sup>.

Как только это будет достигнуто, избрание Синдиков также превратится в церемонию, столь же ненужную, как и созыв Генерального Совета; и Малый Совет будет весьма мирно наблюдать за исключениями или предпочтениями, которые народ может оказывать всем членам — Синдикам, когда все это потеряет полностью свое значение.

Для достижения же этой цели существует, прежде всего, одно великое средство, которого народ не может знать. Это — внутренний порядок, установленный в Совете, форму которого, хотя она и регламентируется Эдиктами, Совет может устанавливать по своему усмотрению<sup>IV</sup>, без какого-либо надзирателя, который мог бы ему в этом помешать; ибо, что касается до Генерального Прокурора, то его в этом отношении нужно считать за ничто<sup>V</sup>. Но это

<sup>III</sup> Согласно первоначальному устройению, четыре вновь избранных Синдика и четыре прежних Синдика выводили ежегодно восемь из шестнадцати остающихся членов Малого Совета и предлагали восемь новых, кандидатуры которых ставились затем на голосование в Совете Двухсот и либо принимались, либо отклонялись. Но незаметно из состава старых Советников стали выводить только лишь тех, чье поведение давало основание для порицания; и в случае совершения ими какого-нибудь тяжкого проступка не ожидали выборов, чтобы их наказать, а заключали их сразу же в тюрьму и судили, как самое незначительное частное лицо<sup>49</sup>. Благодаря этому правилу — не откладывать наказание и делать его суровым, — остающиеся Советники были все безупречны, не давали никакого повода к исключению, что и превратило этот обычай в церемониальную и пустую формальность, носящую сегодня название *грабо*, замечательное следствие свободного управления, когда сам захват может осуществляться, только лишь опираясь на добродетель.

К тому же, только взаимное право обоих Советов могло бы помешать одному из них осмелиться воспользоваться *грабо* против другого (разве что сговорившись с ним), из опасения, что другой оплатит ему тем же. В сущности грабо служит лишь тому, чтобы держать их объединенными против Горожан и выбрасывать одного при помощи другого из тех членов, у которых не оказалось бы чувства солидарности.

<sup>IV</sup> Таким образом, начиная с 1655 г.<sup>50</sup> Малый Совет и Совет Двухсот установили у себя баллотировку и билеты, вопреки Эдикту<sup>61</sup>.

<sup>V</sup> Генеральный Прокурор<sup>52</sup>, должность которого учреждена, чтобы он был мужем Закона, является лишь человеком Совета. По двум причинам эта должность почти всегда исполняется противно духу ее установления. Одна из них — порок самого этого установления, который превращает эту магистратуру в ступень для вхождения в Совет; тогда как Генеральный Прокурор по закону должен довольствоваться своим местом, и ему должно было быть воспрещено Законом домогаться какого-либо другого. Второй причиной является неосторожность народа, который доверяет эту должность людям, имеющим родственные связи в Совете<sup>53</sup>, или принадлежащим к семьям,

го еще недостаточно. Нужно приучить сам народ к такой передаче судебной власти. Для этого не начинают с учреждения для разбирательства важных дел судов, состоящих из одних Советников, а учреждают сначала менее значительные суды для разбирательства дел менее важных. Обычно председательствование в этих судах поручается какому-либо Синдику, которого заменяют иногда бывшим Синдиком, а затем Советником, причем никто не обращает на это внимания. Этот прием повторяют без шума до тех пор, пока он не войдет в обычай. Затем это переносится на уголовные дела. Для какого-либо более важного случая учреждается суд, чтобы судить граждан. Используя закон относительно отводов, председательствовать в этом суде поручается какому-либо Советнику. Тогда народ открывает глаза и начинает роптать. Ему говорят: «На что вы жалуетесь? Посмотрите на примеры; мы не вводим ничего нового»<sup>54</sup>.

Вот, сударь, политика ваших магистратов. Они вводят свои новшества мало-помалу, медленно, так, чтобы никто не видел их последствий. И когда, наконец, новшества замечают и хотят внести исправления, сами же магистраты начинают кричать, что здесь желают вывести новшества.

И в самом деле, посмотрите, не выходя за пределы этого примера, что они сказали по этому поводу. Они опирались на закон об отводах<sup>55</sup>, им отвечают: «Основной закон Государства<sup>56</sup> гласит, что граждане должны быть судимы только своими Синдиками. При столкновении этих двух законов, второй должен исключить первый. В подобном случае для соблюдения их обоих нужно было бы скорее избирать Синдика *ad actum*»<sup>57</sup> \*. Как только это слово сказано, кажется, что все погибло. Синдика *ad actum*». Как новшество<sup>58</sup>! Что до меня, то я в этом не вижу ничего, что было бы столь ново, как они говорят. Если это касается самого слова, то его употребляют каждый год при выборах; а если это касается сущности, то она является еще менее новой, ибо первыми Синдиками, которые существовали в городе, были лишь Синдики *ad actum*. Когда Генеральный Прокурор подлежит отводу, не нужен ли другой Генеральный Прокурор *ad actum* для исполнения его функций? А его помощники, которые берутся из Совета Двухсот для заполнения судов, разве они суть что-либо иное, как не Советники *ad actum*? Когда появляется какое-либо новое злоупотребление, отнюдь не будет новшеством предложить против него новое средство. Напротив, это будет означать стремление восста-

---

члены которых могут входить в Совет, не учитывая, что они не преминут употребить против него же самого то оружие, которое он им дает для защиты. Я слышал, что женеццы делают различие между человеком из народа и мужем Закона; как будто это не одно и то же. Генеральные Прокуроры должны были бы в течение шести лет своей службы быть начальниками Горожан и составить после этого их Совет. Но получили ли эти горожане от своих Прокуроров хорошую защиту и добрые советы и должны ли они поздравлять себя с таким выбором?

\* При бумагах (т. е. секретарь) (*лат.*).

новить прежнее положение вещей. Но эти господа не любят, чтобы копались таким образом в древностях их города. Только в древностях Карфагена и Рима<sup>59</sup> позволяют они искать объяснения ваших законов.

Я не буду делать никакого сопоставления между теми их предприятиями, которые потерпели неудачу, и теми, которые удались: даже если в количественном отношении они компенсировали друг друга, то это отнюдь не так в отношении общего результата. При всяком удавшемся предприятии они выигрывают в силе, а при неудавшемся теряют только время. Вы же, которые стремитесь и можете стремиться только лишь к сохранению вашей конституции, напротив, если что теряете, то ваши потери реальны, а если что выигрываете, то не выигрываете ничего. При подобном развитии событий как же можно надеяться оставаться все время в том же положении?

Из всех периодов, над которыми заставляет задуматься поучительная история вашего Правления<sup>60</sup>, самым замечательным по причинам, обусловившим его характер, и самым значительным по своим результатам был период, породивший Регламент о Посредничестве. Начало этому славному периоду было положено одним неосторожным предприятием, несвоевременно осуществленным вашими магистратами. Они потихоньку присвоили себе право облагать налогами<sup>61</sup> и, не укрепив еще в достаточной степени свою власть, пожелали уже употребить во зло это право. Вместо того, чтобы сделать это своим завершающим ударом, они, побуждаемые жадностью, нанесли его прежде других, а именно, после одного волнения<sup>62</sup>, которое тогда еще окончательно не утихло. Эта ошибка повлекла за собою другие, более существенные, которые трудно было исправить. Каким же образом столь тонкие политики могли не знать простого правила, которое они нарушили в данном случае? В любой стране народ лишь тогда замечает, что на его свободу покушаются, когда покушаются на его карман, а поэтому-то ловкие захватчики весьма остерегаются это делать, пока все остальное не сделано. Ваши же магистраты пожелали нарушить этот порядок, за что и поплатились<sup>VI</sup>. Последствия этого дела вызвали движение 1734 г., плодом которого явился ужасный заговор<sup>63</sup>.

Это было второй ошибкой, худшей, чем первая. Обладая всеми преимуществами, которые дает время, они, однако, лишают себя этих преимуществ вследствие поспешности своих действий и приводят всю машину в такое состояние, что она внезапно сама начинает работать; это то, что чуть и не

---

<sup>VI</sup> Налоги, установленные в 1716 г.<sup>64</sup>, были введены для покрытия расходов, связанных с новыми укреплениями. План этих новых укреплений был огромный<sup>65</sup>, и он был выполнен частично. Столь обширные укрепления делали необходимым наличие большого гарнизона; и целью создания этого большого гарнизона было держать Граждан и Горожан под ярмом. Таким образом, за их же счет выковывали готовые для них цепи. Этот проект был хорошо составлен, но он осуществлялся в обратном порядке, и поэтому-то он не мог удалиться.

получилось в данном случае. События, предшествовавшие Посредничеству, заставили их потерять столетие и произвели еще другое неблагоприятное для них последствие, заключающееся в том, что Европа узнала, что эти Горожане, которых магистраты желали уничтожить, изображая их в виде разнузданной черни, умели, пользуясь своим перевесом, соблюдать умеренность, которой магистраты, пользуясь преимуществами, никогда не проявляли <sup>66</sup>.

Я не скажу, должно ли считаться обращение с просьбой о Посредничестве третьей ошибкой <sup>67</sup>. Это Посредничество было предложено, или казалось, что это было так. Я не могу и не хочу вникать в то, было ли оно действительно предложено или же было исходатайствовано. Я знаю только одно, что когда вы подвергались самой большой опасности, все хранили молчание и что это молчание было нарушено лишь тогда, когда этой опасности стала подвергаться другая партия. Впрочем, я тем более не хочу обвинять ваших магистратов в том, что они якобы умоляли о посредничестве, что даже осмеливаться говорить об этом — является в их глазах самым большим преступлением.

Один гражданин <sup>68</sup>, жалуясь на незаконный, несправедливый и позорящий его арест, вопрошал, как ему нужно поступить, чтобы прибегнуть к Гарантии <sup>69</sup>. Магистрат, к которому он обратился, осмелился ему ответить, что за один уже этот запрос он заслуживает смерти. Но по отношению к суверену это было бы преступлением столь же тяжким, а может быть и еще более тяжким, со стороны Совета, нежели со стороны простого частного лица, и я не вижу, в чем заключается заслуживающее наказания смертной казнью преступление человека, повинного в обжаловании во втором случае, узаконенном Гарантией,— случае, являющемся следствием первого.

Скажу еще, что я отнюдь не собираюсь обсуждать столь щекотливый и столь трудно разрешимый вопрос. Относительно того, что нас здесь интересует, я рассматриваю только состояние вашего образа Правления, определенное прежде Регламентом, подписанным Полномочными, но извращенное теперь новыми мерами, предпринятыми вашими магистратами. Я принужден сделать длинное отступление, чтобы прийти к цели; соблаговолите же следовать за мною, и мы благополучно придем к ней.

Я вовсе не беру на себя смелость критиковать этот Регламент <sup>70</sup>. Напротив, я восхищаюсь его мудростью и уважаю его беспристрастность. Я полагаю, что он содержит самые справедливые намерения и самые разумные постановления. Когда знаешь, сколь много обстоятельство было против вас в этот критический момент, сколь много предрассудков вы должны были победить, какие влияния преодолеть, сколько ложных положений разрушить; когда вспоминаешь, с какой уверенностью ваши противники рассчитывали раздавить вас чужими руками,— то можно лишь воздать хвалу усердию, постоянству и талантам ваших защитников, справедливости Держав, выполнявших обязанности посредников, и неподкупности Полномочных, завершивших этот труд, целью которого был мир.

Что бы ни говорили, Эдикт о Посредничестве оказался спасительным для Республики; и если его не нарушат, то он будет служить ее сохранению. Если этот труд и не совершенен сам по себе, то он является таковым относительно. Он совершенен по отношению к своему времени, месту и обстоятельствам. Он наилучший из того, что могло бы вам подойти. Он должен быть для вас неприкосновенным и священным из соображений благоразумия, даже если бы он не стал для вас таковым в силу необходимости. И вы не должны вычеркивать из него ни одной строки, даже если бы было в вашей власти его уничтожить. Даже более того, само основание, делающее его необходимым, делает этот Эдикт необходимым весь целиком. Так как все его статьи, уравновешивая друг друга, обеспечивают устойчивость, то изменение одной из них — его разрушит. Насколько этот Регламент полезен, настолько же он будет и вреден, если его таким образом исказить. Нет ничего опаснее, как взять отдельно несколько Статей и оторвать их от целого, которое они укрепляют. Лучше пусть все здание будет снесено до основания, чем оно пошатнется. Дайте только вынуть хотя бы один камень из свода, и оно раздавит вас под своими развалинами.

Это можно легче всего понять, если рассмотреть Статьи, на которые ссылается Совет, и те из них, которые он хочет исключить. Вспомните, сударь, в каком духе я предпринимаю это рассмотрение. Будучи далек от того, чтобы советовать вам изменять Эдикт о Посредничестве, я хочу вам дать понять, насколько важно не допускать на него никакого посягательства. Если кажется, что я и критикую некоторые Статьи, так это для того, чтобы показать, каковы были бы последствия изъятия других, которые их исправляют. Если кажется, что я предлагаю неподходящие здесь средства, так это я делаю для того, чтобы показать недобросовестность тех, кто находит трудности непреодолимыми, тогда как их очень легко устранить. Сделав это разъяснение, я со спокойной совестью перехожу к сути дела, будучи уверен, что говорю с человеком, слишком правдивым для того, чтобы он мог мне приписать намерения, совершенно противоположные моему.

Я хорошо понимаю, что если бы я обращался к чужестранцам, то мне бы подобало, дабы меня поняли, начать с описания вашей конституции. Но это описание уже в достаточной для них мере сделано в статье «Женева» г-на д'Аламбера<sup>71</sup>; и более подробное изложение было бы для вас излишним, ибо вы знаете ваши политические законы лучше, чем я сам, или, по крайней мере, ближе видели их применение; я, следовательно, ограничусь тем, что бегло коснусь тех Статей этого Регламента, которые относятся к настоящему вопросу и которые наилучшим образом могут послужить его разрешению.

Уже из первой Статьи<sup>72</sup> я вижу, что Правительство у вас состоит из пяти ступеней, подчиненных и в то же время независимых, т. е. таких, каждая из которых обязательно должна существовать; из этих ступеней ни одна не может посягать на права и атрибуты другой, и в эти пять ступеней входит Гене-

ральный Совет. Исходя из этого, я вижу, что в каждой из пяти ступеней заключается особая частица Правительства; но я никак не вижу здесь устрояющей власти, которая их устанавливает, связывает и от которой они все зависят; я никак не вижу здесь суверена. Но во всяком политическом Государстве необходимо наличие высшей власти, центра, в котором все сходится, принципа, из которого все исходит, суверена, который все может.

Вообразите, сударь, что кто-либо, описывая вам конституцию Англии, станет говорить так: «Правительство Великобритании состоит из четырех ступеней, из которых ни одна не может посягнуть на права и атрибуты других, а именно: Король, Верхняя Палата, Нижняя Палата и Парламент». Не сказали бы вы тотчас же: «Вы ошибаетесь: здесь только лишь три ступени. Парламент, когда в нем заседает Король, включает их все; он является не четвертой ступенью, а единым целым. Он являет собою единственную и высшую власть, от которой каждая ступень получает свои права и существование. Облеченный законодательной властью, он может изменять даже основной Закон, в силу которого существует каждая из этих ступеней. Он может это делать, и, более того, он это делал».

Этот ответ верен; ясно, как он может быть применен к делу. И, однако, существует еще та разница, что Английский Парламент является сувереном лишь в силу Закона и представляемых им прав и полномочий. Тогда как Генеральный Совет Женевы не учрежден и не уполномочен никем. Он суверен сам по себе. Он является живым и основным Законом, который дает жизнь и силу всему остальному и который не знает других прав, как только его собственные. Генеральный Совет не является какой-либо ступенью в Государстве; он сам — это и есть Государство.

Статья вторая<sup>73</sup> гласит, что Синдики могут быть взяты только лишь из состава Совета Двадцати пяти. Однако Синдики являются магистратами на годичный срок, которых народ избирает и выбирает не только для того, чтобы они были его судьями, но, в случае надобности, и его защитниками от постоянных членов Советов, которых он не выбирает<sup>VII</sup>.

Действие этого ограничения зависит от различия, существующего между властью членов Совета и властью Синдиков. Ибо если это различие будет не очень велико и какой-либо Синдик не станет ценить свою власть как Син-

---

<sup>VII</sup> Предоставляя право выбора членов Малого Совета Совету Двухсот, очень легко было согласовать это право с основным Законом. Для этого достаточно было прибавить, что войти в состав Совета нельзя иначе, как только лишь после отправления должности Аудитора<sup>74</sup>. Иерархия должностей тогда лучше соблюдалась бы, и все три Совета участвовали бы в выборах того, кто все приводит в действие; это было бы не только важно, но и необходимо для сохранения единства государственного устройства. Женевцы могут не понять преимущества этого условия, если учесть, что выбор Аудиторов имеет в настоящее время мало значения; но эта должность рассматривалась бы совсем иначе, если бы только через нее открывался бы доступ в Совет.



дика на годичный срок выше постоянной его власти как Советника, то такое избрание будет для него почти безразличным. Он не очень будет стараться получить такую власть и ничего не сделает, чтобы ее оправдать. Если все члены Совета, движимые одним и тем же духом, будут следовать одним и тем же принципам, то народ при их одинаковом поведении не сможет сделать исключения в отношении кого-либо из них и, будучи в состоянии выбирать лишь таких Синдиков, которые являются уже Советниками, путем такого избрания не только не обеспечит себе защитников от посягательств Совета, но лишь придаст Совету новые силы для угнетения свободы.

Хотя то же самое избрание имело обычно место с самого начала существования этого установления, но, поскольку оно было свободным, оно не имело тех же последствий. Когда народ сам избирал Советников<sup>75</sup>, или же когда он избирал их косвенным образом через избранных им Синдиков<sup>76</sup>, ему было безразлично и даже выгодно выбирать своих Синдиков из числа уже избранных им Советников<sup>VIII</sup>; и тогда было разумным оказывать предпочтение начальникам, уже имевшим опыт в делах. Но в настоящее время над этим соображением должно было бы взять перевес иное, более важное. Вот насколько верно, что один и тот же обычай будет иметь иные последствия из-за изменений в связанных с ним обычаях и что в подобном случае отказ от новшеств сам окажется новшеством.

Статья III Регламента<sup>77</sup> более важна. Она говорит о Генеральном Совете, созываемом на законном основании. Она о нем говорит для того, чтобы определить присущие ему права и обязанности, и возвращает ему многие из тех прав, которые были незаконно присвоены низшими Советами. Эти права в своей совокупности, конечно, велики и прекрасны. Но, во-первых, они перечислены и уже тем самым ограничены. То, что устанавливают, исключает то, что не установлено; и даже само слово *ограничены* фигурирует в этой Статье. Однако сама сущность суверенной власти заключается в том, что она не может быть ограничена; она может все, или же она ничто<sup>78</sup>. Ввиду того что суверенная власть содержит в себе в наивысшей степени все виды активной власти Государства и потому, что само существование Государства определяется

---

<sup>VIII</sup> Малый Совет вначале состоял только лишь из нескольких нотаблей или прюдомов, избираемых из среды народа Синдиками<sup>79</sup>. Эти нотабли или прюдомы должны были служить помощниками Синдикам. Каждый Синдик избирал себе четыре или пять помощников, срок полномочий которых истекал вместе с его собственным; иногда даже он их сменял на протяжении своей службы. Генрих, именуемый Испанцем, стал первым пожизненным Советником в 1487 г.; он был поставлен на эту должность Генеральным Советом. Не было даже необходимости быть Гражданином, чтобы занимать этот пост. Закон относительно этого был издан лишь по случаю дела некоего Мишеля Гийе де Тонон, который, став членом узкого Совета, был оттуда изгнан из-за множества его ультрамонтанских ухищрений, принесенных им из Рима, где он вырос. Магистраты города, бывшие тогда подлинными женевацами и отцами народа, питали отвращение ко всем этим ухищрениям.

ею, она не может в нем признавать наличия других прав, как только лишь свои права и те, которые она передает. Иначе обладатели этих прав совершенно не входили бы в состав Политического организма. Они были бы чужды ему из-за того, что эти права в нем не содержались бы; и юридическое лицо распалось бы из-за этого отсутствия единства.

Само это ограничение положительно в том, что касается налогов. Сам суверенный Совет не имеет права отменять те их них, которые были установлены до 1714 г. Он, следовательно, зависит от высшей власти. Что же это за власть?

Законодательная власть состоит из двух неотделимых друг от друга элементов: творить законы и охранять их, т. е. иметь право надзора над исполнительной властью. В мире не существует такого Государства, где суверен не обладал бы правом такого надзора. Иначе, из-за отсутствия всякой связи, всякого подчинения между этими двумя властями, исполнительная власть не зависела бы совершенно от законодательной; исполнение не имело бы никакой необходимой связи с законами; *Закон* стал бы только лишь словом, и это слово ничего бы не означало. Генеральный Совет во все времена обладал правом оберегать свое собственное творение, и он всегда осуществлял это право. Однако об этом совершенно не говорится в данной Статье; и если бы это не восполнялось другой Статьей<sup>80</sup>, то из-за одного такого умолчания ваше Государство было бы разрушено. Этот пункт важен, и я вернусь к нему ниже.

Если ваши права, с одной стороны, в этой Статье ограничены, то с другой — они в ней расширены в параграфах 3 и 4<sup>81</sup>, но возмещается ли одно другим? Принципы, установленные в «Общественном договоре»<sup>82</sup>, показывают, что, вопреки общему мнению, заключение союзов между Государствами, объявление войны и заключение мирных договоров не являются актами суверенитета, а действием правительственным и эта точка зрения соответствует практике тех наций, которые наилучшим образом познали истинные принципы политического права. Осуществление власти во внешних сношениях не добавляет народу. Высокие государственные принципы ему недоступны. Он должен в этом отношении полагаться на своих правителей, которые, будучи всегда более просвещенными в этих вопросах, едва ли заинтересованы в том, чтобы заключать договоры, не выгодные для отечества. Высший порядок требует, чтобы народ оставлял им весь внешний блеск, сосредоточивая свое внимание единственно на существенном. Для каждого гражданина важно главным образом то, чтобы внутри страны соблюдались законы, охранялось право собственности и охранялась безопасность частных лиц. Поскольку все будет хорошо обстоять относительно этих трех пунктов, предоставьте Советам вести переговоры и заключать договоры с иностранными Государствами, ибо не отсюда будут исходить опасности, которых вам следует более всего опасаться. В центре прав народа должны быть поставлены права личности; и если можно посягнуть на права отдельных лиц, то всегда можно поработить народ в

целом. Я мог бы сослаться на мудрость римлян, которые, предоставляя Сенату большую власть во внешних сношениях, принуждали его уважать в самом городе даже последнего из его граждан<sup>83</sup>. Но не будем искать примеров так далеко<sup>84</sup>: горожане Невшателя вели себя гораздо более мудро, находясь под властью своих государей, чем вы под властью ваших магистратов IX. Они не заключают мира и не объявляют войны, не ратифицируют договоров, но пользуются своими вольностями без опасения их утратить. И так как Закон не предусмотрел, что в маленьком городе некоторые почтенные горожане могут оказаться преступниками, то внутри стен этого города не требуется установления отвратительного права совершать аресты без соблюдения соответствующих формальностей, каковое право там даже неизвестно. У вас же всегда соблазняются видимостью и пренебрегали сущностью дела. У вас слишком занимались Генеральным Советом и недостаточно — его членами. Нужно было менее думать о власти и больше о свободе<sup>85</sup>. Вернемся же к Генеральному Совету.

Кроме ограничений Статьи III, в Статье V и в Статье VI содержатся еще гораздо более странные ограничения<sup>86</sup>: суверенный Организм не может ни образоваться, ни производить какое-либо действие сам по себе и находится в абсолютном подчинении у подначальных ему коллегий в том, что касается его деятельности и вопросов, подлежащих его рассмотрению. Поскольку эти коллегии, несомненно, не станут утверждать предложений, которые будут им особенно невыгодны, то, если интересы Государства окажутся в противоречии с их интересами, этим последним будет всегда оказано предпочтение, ибо Законодателю дозволено заниматься рассмотрением лишь того, что они одобрили.

Стремясь подчинить все праву, уничтожают первое из правил — справедливость и общее благо<sup>87</sup>. Когда же люди поймут: ничто не порождает смут столь губительных, как самовластье, при помощи которого хотят от них избавиться. Такая власть сама по себе является наихудшей из смут. Применение такого средства, дабы упредить их появление, равносильно тому, как если бы людей стали убивать, чтобы у них не было лихорадки.

Большое беспорядочное собрание людей может наделать много вреда. В многолюдном собрании, хотя бы и созванном по закону, если каждый может говорить и предлагать то, что он хочет, теряется много времени на выслушивание разных глупостей, и может даже возникнуть опасность совершения таковых. Вот несомненные истины. Но разумно ли предотвращать злоупотребление, ставя это собрание в зависимость только от тех, которые желали бы его упразднить, и делая так, что в нем могли выступать с предложениями лишь те, кто больше всего заинтересован в том, чтобы ему вредить?

---

<sup>IX</sup> Об этом я говорю, оставляя в стороне нарушения, которые, конечно, отнюдь не оправдываю.

Ибо, сударь, не так ли именно обстоит здесь дело, и найдется ли хоть один женевец, который мог бы сомневаться в том, что Генеральный Совет был бы упразднен навсегда, если бы его существование полностью зависело от Малого Совета?

Этот последний, однако, и есть тот Организм, который один созывает эти собрания и который один предлагает там то, что ему угодно. Ибо, что касается Совета Двухсот, он повторяет только лишь распоряжения Малого Совета; и пусть последний освободится от Генерального Совета, Совет Двухсот почти ни в чем не будет его стеснять; и он пойдет вместе с ним по пути, который он себе проложил вместе с вами.

Но что мне опасаться непокладистого старшего, в котором я никогда не нуждаюсь, который может показываться лишь тогда, когда я ему это позволю, и отвечать лишь тогда, когда я его спрашиваю? Низведя его до такого положения, не могу ли я считать, что я от него освободился?

Если говорят, что Закон Государства предотвратил упразднение Генерального Совета, сделав его созыв необходимым для выборов магистратов и для утверждения новых эдиктов, то я отвечаю, по первому пункту, что, ввиду того что вся сила Управления перешла из рук магистратов, избираемых народом, в руки Малого Совета, который он не избирает и из состава которого берут главных из этих магистратов, то и избрание и собрание, на котором оно происходит, являются лишь пустой формальностью, лишенной содержания, и что собрания Генерального Совета, созываемые только для этой цели, могут рассматриваться как не имеющие никакого значения. Я отвечаю еще, что по тому, как складывались обстоятельства, было бы даже легко обойти этот Закон, причем это не остановило бы хода дел. Ибо предположим, что либо из-за отвода всех выдвинутых кандидатов, либо под каким-нибудь другим предлогом избрание Синдиков не производится, и тогда Совет, в котором незаконным образом растворяется их власть, не станет ли осуществлять эту власть без них, как он ее уже теперь осуществляет независимо от них? Не осмеливаются ли уже вам говорить <sup>88</sup>, что Малый Совет, даже без Синдиков, есть Правительство? Следовательно, и без Синдиков управление Государством будет продолжать осуществляться. А что касается до новых эдиктов, то я ручаюсь, что они никогда не будут столь необходимы, чтобы этот Совет не мог при помощи прежних эдиктов и путем узурпаций легко обойтись без новых эдиктов. Тот, кто ставит себя выше старых законов, легко может обойтись без новых <sup>89</sup>.

Приняты все меры для того, чтобы никогда не возникала необходимость в ваших общих собраниях. Дело не только в том, что периодически созываемый Совет, учрежденный или, скорее, восстановленный в 1707 г. X, заседал

X Эти периодические Советы столь же древни, как и Законодательство, как это видно из последней Статьи Церковного Указа <sup>90</sup>. В Указе 1576 г., напечатанном в 1735 г., сказано, что созыв этих Советов производится раз в пять лет, но в Указе 1561 г., напечатанном в 1562 г., сказано, что они созываются раз в три года. Неверно

всего лишь один раз и только для того, чтобы себя упразднить<sup>XI</sup>, но и в том, что в силу параграфа 5 Статьи III Регламента кредиты на покрытие расходов по управлению были установлены без вас и навсегда. Только лишь в одном-единственном и невероятном случае неизбежности какой-либо войны Генеральный Совет должен быть созван обязательно.

Малый Совет мог бы совершенно упразднить созыв Генерального Совета, рискуя вызвать лишь некоторые Петиции, которые он в состоянии отклонить, или же пробудить некий тщетный ропот, которым он может, ничем не рискуя, пренебречь. Ибо, согласно Статьям VII, XXIII, XXIV, XXV, XLIII, всякого рода сопротивление запрещено в любом случае; а средства, не предусмотренные государственным устройством, в него не входят и не могут исправлять его недостатки.

Однако Малый Совет так не поступает, потому что в сущности это ему весьма безразлично и потому, что видимость свободы приучает терпеливее сносить рабство. Он без труда для себя вас забавляет либо выборами, не имеющими значения для власти, предоставляемой в силу этих выборов и для выбора избираемых лиц, либо законами, которые кажутся важными, но которые он старается сделать бессильными, соблюдая их, лишь поскольку это ему угодно.

Впрочем, на этих собраниях ничего нельзя предлагать, на них ничего нельзя обсуждать. Малый Совет председательствует на них как сам, так и через Синдиков, вносящих туда дух кастовой замкнутости. Он является в них, кроме того, магистратом и господином своего суверена. Не противоречит ли всякому здравому смыслу то, что исполнительный корпус регулирует порядок работы законодательного корпуса, что он ему предписывает то, чем тот должен вестись, лишает его права высказывать свое мнение и осуществляет свою абсолютную власть, распространяя ее на акты, изданные для ее ограничения?

То, что столь многочисленный корпус<sup>XII</sup> нуждается в определенных правилах благочиния и в порядке — я с этим согласен. Но пусть это благочиние говорить, что целью этих Советов было лишь заслушать этот Указ, ибо то, что он был отпечатан именно в это время, давало каждому возможность легко его прочесть в любое удобное для него время, не нуждаясь только для этого в созыве Генерального Совета. К сожалению, приложили много усилий к тому, чтобы изгладить из памяти также многие старые обычаи, которые были бы теперь весьма полезны для объяснения Эдиктов.

<sup>XI</sup> Этот Эдикт об упразднении я рассмотрю ниже.

<sup>XII</sup> Генеральный Совет в Женеве созывался в прошлом очень часто, и на его собраниях обсуждалось все то, что приобретало какое-либо значение. В 1707 г. Синдик Шуэ сказал в одной из речей<sup>93</sup>, ставшей знаменитой, что эти частые созывы были в прошлом причиной слабости и несчастья Государства. Ниже мы увидим, что следует об этом думать. Он подчеркивает чрезмерное увеличение числа членов этого Совета, которое сделало бы в настоящее время невозможным столь частый его созыв, утверждая, что в прошлом численность этого Собрания не превосходила 200—300 человек, а что в настоящее время оно состоит из 1300—1400 человек. С обеих сторон допущено было много преувеличений.

В самых ранних собраниях Генерального Совета участвовало по меньшей мере от 500 до 600 членов. Было бы, возможно, затруднительно назвать хотя бы одно из

и этот порядок не уничтожают цели, ради которой они были установлены! Разве установить порядки, не влекущие за собой порабощения нескольких сот человек, по своей природе степенных и холодных, труднее, чем сделать это в Афинах, о которых нам рассказывают, что там собрание состояло из нескольких тысяч граждан, горячих, порывистых и почти необузданных; труднее, чем в той столице мира<sup>91</sup>, где народ, собравшись вместе, осуществлял частично исполнительную власть,— и труднее, чем в наши дни в Большом Совете Венеции, столь же многочисленном, как и ваш Генеральный Совет? Жалуются на безначалие<sup>92</sup>, царящее в Английском Парламенте, но, однако, в этом собрании, состоящем более чем из семисот членов, где обсуждаются столь важные дела, где сталкивается столько интересов, где переплетается столько интриг, где возбуждается столько умов, где каждый член имеет право говорить,— все делается, все выполняется; и эта великая монархия идет своим путем. А у вас,— где интересы столь просты, столь несложны, где нужно руководить, так сказать, лишь делами одной семьи,— вас пугают бурями<sup>93</sup>, как если бы все готово было погибнуть! Нет ничего легче на свете, таких собраний, которое насчитывало бы лишь 200 или 300 членов. В 1420 г. там насчитывалось 720, голосовавших за всех остальных<sup>94</sup>; а вскоре сюда вошло еще более двухсот Горожан<sup>95</sup>.

Хотя город Женева и стал более торговым и более богатым, он не смог сделаться более населенным, так как укрепления не позволяли его расширить за пределы городской стены, и это было причиной сноса домов в пригородах. Впрочем, не обладая почти никакими землями и зависая, в отношении своего существования, от соседей, он никогда не смог бы расшириться, не ослабив себя. В 1404 г. в нем было 1300 домов, где насчитывалось, по крайней мере, 13 000 душ. В настоящее же время их едва ли наберется более 20 000, что далеко не равно отношению 3 к 14. Однако из этого числа нужно исключить еще Уроженцев, Жителей, Иностранцев, не входящих в Генеральный Совет, число которых очень увеличилось по отношению к числу Горожан со времени предоставления убежища французам и развития промышленности. Численность участников некоторых Генеральных Советов в наше время доходила до 1400 и даже 1500 человек, но обычно она не приближалась к этой цифре. Если численность некоторых из них и доходит до 1300, то это лишь в критических случаях, когда все добрые граждане, по-видимому, считают, что своим отсутствием они нарушают присягу, или же когда магистраты, со своей стороны, призывают извне тех, кто от них зависит, для того, чтобы обеспечить себе их поддержку в своих махинациях. Однако эти махинации, неизвестные в XV в., отнюдь не требовали тогда подобных мер. В большинстве случаев обычное число участников Генеральных Советов колебалось между 800 и 900 человек. Иногда оно было ниже числа участников 1420 г., в особенности, когда собрание Совета заседает летом и когда речь идет о делах маловажных. Я сам присутствовал в 1754 г. на заседании Генерального Совета<sup>96</sup>, на котором, несомненно, не присутствовало и 700 членов.

Из этих различных соображений следует, что, взвесив все, надо признать, что Генеральный Совет в настоящее время по своей численности представляет собой приблизительно то, чем он был два или три века тому назад<sup>97</sup>, или же, по крайней мере, что он мало чем отличается от этого. Однако все в нем тогда говорили. Порядок и благочиние, которые царят в нем ныне, не были тогда еще установлены. Иногда там раздавались крики. Но народ был свободен, магистрат пользовался уважением, а Совет собирался часто. Следовательно, г-н Синдик Шуэ обвинял ложно и рассуждал неправильно.

сударь, как установить добрый порядок в вашем Генеральном Совете. Как только искренне захотят сделать это ради общего блага, — тогда все там будут свободны, и все там будет происходить более спокойно, чем сейчас.

Предположим, что в Регламенте была бы принята метода, обратная той, которой последовали; что вместо того, чтобы определять права Генерального Совета, определили бы права других Советов; а это тем самым показывало бы и его права. Согласитесь, что тогда только один Малый Совет обладал бы совокупностью видов власти, весьма странной для свободного и демократического Государства, обладателями которых оказались бы начальники, которых народ отнюдь не выбирает и которые остаются на своих постах пожизненно.

Прежде всего это было бы соединением двух вещей, несовместимых во всех других странах, а именно: управления делами Государства и осуществления прав высшей судебной инстанции в отношении имущества, жизни и чести граждан.

Это была бы ступень, самая последняя по своему положению и первая по своей власти.

То был бы низший Совет, без которого все мертво в Республике, который только один предлагает, который решает первым и только его голос, даже в его собственном деле, позволяет иметь право голоса вышестоящим Советам.

Корпус, который признает власть другого корпуса и который только один имеет право назначать членов этого корпуса, которому он подчинен.

Высший Суд, на решения которого подаются апелляции, или же, наоборот, нижестоящий судья, председательствующий в Судах, высших по отношению к нему; который после того как он заседал в качестве нижестоящего судьи в Суде, на решения которого подаются апелляции, не только заседает как высший судья в Суде, к которому апеллируют, но и имеет в этом Верховном Суде лишь таких коллег, которых он сам себе выбрал.

Ступень, наконец, одна имеющая собственную деятельность, которая определяет деятельность всех других ступеней и, поддерживая в них принятые ею решения, выражает свое мнение два раза, а голосует три раза<sup>XIII</sup>.

Апелляция Малого Совета к Совету Двухсот — это поистине детская игра; это просто своего рода фарс в политике, если это когда-либо имело место. Поэтому нужно ли, собственно, называть эту апелляцию апелляцией, ибо это — мольба о помиловании перед лицом правосудия, обжалование приговора в кассационном порядке. Непонятно, что это такое. Можно ли думать,

<sup>XIII</sup> В Государстве, образ правления которого является республиканским и где говорят по-французски, нужно было бы создать особый административный язык для дела управления. Например, *обсуждать*, *высказывать свое мнение*, *голосовать* — это три весьма различные понятия, которые французы недостаточно различают. *Обсуждать* — это значит взвешивать доводы за и против; *высказывать свое мнение* — значит вы-

что если бы Малый Совет хорошо не сознавал, что это последнее обжалование остается без последствий, то он добровольно отказался бы от права на него, как он это сделал? Такое бескорыстие не в его правилах.

Если решения Малого Совета не всегда поступают на утверждение Совета Двухсот, то это бывает по делам частных лиц с прениями сторон, когда для магистрата совершенно безразлично, какая из них проиграет или выиграет процесс. Но в делах, которые возбуждаются в обязательном порядке, в каждом из тех дел, в которых заинтересован сам Малый Совет, исправляет ли когда-либо Совет Двухсот допущенную несправедливость? Защищает ли он когда-либо обиженного? Осмеливается ли он не утвердить то, что содеял Малый Совет? Использовал ли он когда-нибудь, хоть раз, с честью свое право помилования? Я с горечью вспоминаю времена, память о которых ужасна и неизгладима. Некий гражданин<sup>99</sup>, которого Малый Совет приносит в жертву своему мщению, обжалует приговор перед Советом Двухсот; несчастный унижается до того, что просит о помиловании<sup>100</sup>; его невиновность известна всем; все правила были нарушены в этом процессе, но ему отказывают в помиловании, и невинный погибает. Фацио столь хорошо сознавал бесполезность обжалования в Совет Двухсот, что не удостоил воспользоваться этим правом.

Я ясно вижу, что представляет собой Совет Двухсот в Цюрихе, в Берне, во Фрейбурге и в других аристократических Государствах, но я не могу сказать, что он представляет собой в вашем государственном устройстве и какое место он в нем занимает. Является ли он высшим Судом? В таком случае абсурдно, чтобы в нем заседал низший Суд. Является ли он Собранием, представляющим суверен? В таком случае тот, кого представляют, должен избирать своего представителя. Учреждение Совета Двухсот не может иметь иной цели, как умерить огромную власть Малого Совета; а он, наоборот, придает только больше веса этой же самой власти. Однако всякое Собрание, постоянно действующее вопреки духу своего назначения, плохо устроено.

Зачем распространяться здесь об общепризнанных вещах, которые известны каждому женевицу? Совет Двухсот ничего не представляет сам по себе. Это лишь Малый Совет, который вновь появляется в иной форме. Один-

---

ражать свое мнение и обосновывать его; *голосовать* — это подавать свой голос, когда остается только подсчитать голоса. Сначала какой-либо вопрос ставится на обсуждение; в первую очередь по этому вопросу высказываются мнения, а в последнюю очередь он ставится на голосование. Суды имеют повсюду приблизительно одни и те же формы, во ввиду того, что в Монархиях народ не нуждается в том, чтобы знать эти термины, их знает только адвокатское сословие. Совершая другую неточность в этом специальном языке, г. де Монтескье, который знал этот язык столь прекрасно, однако всегда говорил *исполнительствующая власть*, нарушая, таким образом, аналогию и образу прилагательное от слова *исполнитель*, являющегося существительным. Это такая же ошибка, как если бы он сказал *законодательствующая власть*.



единственный раз он попытался сбросить иго своих повелителей и обрести независимое существование <sup>101</sup>; и из-за этой единственной попытки чуть было не произошло крушение Государства. Только лишь благодаря Генеральному Совету Совет Двухсот сохраняет еще видимость власти. Это было ясно видно в тот период времени, о котором я говорю, это будет еще видно впоследствии, если Малому Совету удастся достичь своей цели. Таким образом, когда в согласии с последним Совет Двухсот способствует ущемлению прав Генерального Совета, он тем самым способствует своему упадку; и если он думает, что идет по стопам Совета Двухсот в Берне, то в этом он жестоко заблуждается. Но почти всегда в этом Совете наблюдалось мало осведомленности и еще менее мужества; иначе и не может быть, если принять во внимание, каким образом этот Совет пополняется <sup>XIV</sup>.

Вы видите, сударь, насколько, вместо того чтобы определять права суверенного Совета, было бы полезнее определять обязанности Советов, которые ему подчинены; и, не идя дальше, вы видите с еще большей очевидностью, что в силу некоторых Статей, взятых в отдельности, Малый Совет является верховным арбитром законов, а вследствие этого — и судеб всех частных лиц. Когда рассматривают права Граждан и Горожан, собранных в Генеральном Совете, то эти права выглядят блестяще. Но взгляните на этих же самых Граждан и Горожан за пределами собрания как на отдельных лиц, и что же тогда они собой представляют? Кем они становятся? Рабы самовластья, они оказываются беззащитными перед произволом двадцати пяти деспотов <sup>102</sup>. У афинян их было по крайней мере тридцать. Но что я говорю — двадцать пять. Достаточно девяти для судебного решения по делам гражданским и тринадцати — по делам уголовным. Достаточно, чтобы семь или восемь из этого числа были заодно, и они окажутся для вас Децемвирами. Но ведь Децемвиры избирались народом, тогда как ни один из этих судей не избирается вами. И это называется быть свободными!

<sup>XIV</sup> Это относится к Совету Двухсот в целом и имеет в виду его дух замкнутой кастовости; ибо я знаю, что в Совете Двухсот есть весьма просвещенные члены, у которых нет недостатка в усердии. Но, находясь постоянно на глазах у Малого Совета, будучи предоставлены его произволу, не имея поддержки, не получая помощи и хорошо сознавая, что их Совет в случае чего от них отступится, они воздерживаются от бесполезных попыток, которые только скомпрометировали бы их и погубили. Подлый сброд шумит и торжествует. Мудрец молчит и тихо стонет.

Впрочем, Совет Двухсот не всегда находился в немилости, в которую он теперь впал. Некогда он пользовался общественным уважением и доверием граждан. Поэтому граждане спокойно давали ему возможность осуществлять права Генерального Совета, которые Малый Совет поэтому постарался присвоить себе таким косвенным путем. Еще доказательство того, о чем будет сказано ниже: Горожане Женевы малодействительны и почти совсем не интересуются государственными делами.

## ПИСЬМО IX

*Ход рассуждения автора «Писем из Долины».*

*Его истинная цель в этом сочинении.*

*Подбор его примеров.*

*Характер Горожан Женева.*

*Доказательство при помощи фактов.*

*Заключение.*

Я думал, сударь, что лучше прямо изложить то, что я хотел сказать, чем пускаться в пространные опровержения. Предпринимать последовательное рассмотрение *Писем из Долины* означало бы пуститься в плавание по морю софизмов. Их понять и изложить означало бы, по моему мнению, их и опровергнуть; но они плавают в таком потоке учености, они погружены в него до такой степени, что рискуешь сам утонуть, желая вытащить их на сушу.

Однако, заканчивая свой труд, я не могу воздержаться от того, чтобы кратко не рассмотреть и труд этого автора. Не разбирая политических ухищрений, которыми он вас завлекает, я удовольствуюсь лишь рассмотрением основ этого труда и тем, что покажу вам на некоторых примерах точность его рассуждений.

Выше вы могли увидеть их непоследовательность по отношению ко мне. По отношению же к вашей Республике они во многих случаях еще более коварны и ни в коем случае не более основательны. Единственная и подлинная цель этих *Писем* заключается в том, чтобы обосновать так называемое негативное право в том его объеме, который ему придают незаконные превышения власти Советом. Этой-то цели все и подчинено либо прямо, путем установления необходимой связи, либо же косвенно, путем ухищрений, обманывая публику относительно существа вопроса.

Обвинения, касающиеся меня, относятся к первому случаю. Совет судил меня вопреки Закону, против чего были поданы Петиции. Для того чтобы обосновать негативное право, нужно пристойно отказать Петиционерам; для того чтобы им пристойно отказать, нужно доказать, что они не правы; для того же, чтобы доказать, что они не правы, нужно настаивать на том, что я виновен, и виновен в такой степени, что для наказания меня за мое преступление нужно было нарушить Закон.

Как содрогнулись бы люди, совершая зло в первый раз, если бы они увидели, что вынуждают себя к печальной необходимости совершать его всегда, быть дурными в течение всей своей жизни из-за того только, что смогли стать такими в какой-то момент, и преследовать до конца его дней несчастного, которого они однажды подвергли гонению.

Вопрос о том, что Синдики должны председательствовать в уголовных судах, относится ко второму случаю. Думаете ли вы, что Совет в сущности очень озабочен тем, будут в них председательствовать Синдики или же Советники, после того, как он растворил права Синдиков в совокупности прав всей своей корпорации? Синдики, некогда избиравшиеся из среды всего народа<sup>1</sup>, теперь избираются только лишь из состава Совета и потому превратились из начальников других магистратов, каковыми они были, в их коллег; и вы могли ясно увидеть на этом деле, что ваши Синдики, не очень дорожа скоропреходящей властью, являются теперь уже только лишь Советниками. Однако этот вопрос выдают за якобы важный, чтобы отвлечь ваше внимание от вопроса действительно важного; чтобы заставить вас поверить еще и в то, что вы продолжаете избирать ваших первых магистратов и что их власть все та же.

Оставим, следовательно, в стороне эти второстепенные вопросы, которые автор, судя по тому, как он их рассматривает, не принимает близко к сердцу. Ограничимся тем, что взвесим те основания, которые он приводит в пользу негативного права, рассматриваемого им с большей тщательностью; потому что от того, будет оно принято или отклонено, зависит, быть вам рабами или же свободными людьми.

Искусство, с каким он самым ловким образом действует, состоит в том, чтобы свести к общим положениям целую систему, слабые стороны которой можно было бы легко увидеть, если бы он сам эту систему всегда применял. Дабы отвлечь вас от преследуемой им особой цели, он льстит вашему самолюбию, занимая ваше внимание высокими материями; и в то же самое время, делая эти материи не подлежащими рассмотрению теми лицами, которых хочет обмануть, он им льстит и привлекает на свою сторону, прикидываясь, что относится к ним как к мужам государственным. Он обольщает, таким образом, народ, дабы его ослепить, и превращает в философские проблемы те вопросы, что требуют для своего разрешения только лишь здравого смысла, чтобы никто не мог его здесь уличить и, не понимая его, не осмелился выразить ему неодобрение.

Желать следовать за ним в его отвлеченных софизмах — означало бы впасть в ту же ошибку, в которой я его упрекаю. Впрочем, по вопросам, рассматриваемым таким образом, можно выражать любое мнение, никогда не ошибаясь, ибо в эти положения входит столько различных элементов, рассматривать эти предложения можно со столь различных сторон, что среди них всегда найдется такая, которая будет соответствовать тому виду, кото-

---

<sup>1</sup> Обращалось столь большое внимание на то, чтобы при этом выборе не имело места какое-либо исключение или предпочтение, кроме как только то, которое основано на личных заслугах, что в силу отмененного впоследствии Эдикта два Синдика должны были всегда избираться от нижней части города, а два от верхней<sup>103</sup>.

рый мы пожелаем им придать. Когда пишут книгу о политике для широкой читающей публики, в ней можно философствовать сколько угодно: автор, желающий, чтобы его читали и судили только лишь образованные люди всех наций, сведущие в рассматриваемых им вопросах, безбоязненно прибегает к абстракциям и обобщениям; он не вдается в элементарные подробности. Если бы я обращался только к вам одному, то и я мог бы применить такую методику. Но тема этих *Писем* представляет собой интерес для всего народа, состоящего в большинстве из людей, у которых больше здравого смысла и способности суждения, нежели начитанности и образованности, и которые, хотя и не владеют научным жаргоном, но поэтому тем более способны понять истину во всей ее простоте. В подобном случае приходится выбирать между интересами автора и интересами читателей; и тот, кто хочет принести больше пользы, должен решиться на то, чтобы меньше блистать.

Другим источником заблуждений и ошибочных случаев приложения является то, что представления об этом негативном праве продолжают оставаться слишком расплывчатыми, слишком неточными. Этому служит то, что под видом доказательств приводятся примеры, которые здесь наименее уместны, внимание ваших сограждан отвлекают от предмета, на который оно должно быть направлено, высокопарными рассуждениями о тех предметах, которые им предлагают, их гордость возбуждают противу их рассудка и исподволь утешают тем, что владыки мира не более свободны, чем они. С ученым видом рожются во тьме веков; вас торжественно проводят перед лицом народов древности; перед вами последовательно разворачивают картины Афин, Спарты, Рима, Карфагена<sup>104</sup>; засыпают вам глаза песком Ливии, дабы помешать увидеть происходящее вокруг вас.

Пусть точно определяют, как я постарался сделать, это негативное право в том виде, в каком его желает осуществлять Совет; и я утверждаю, что никогда еще на земле не было ни одного Правления, при котором Законодатель, всячески скованный корпусом исполнительной власти, безоговорочно подчинив законы произволу этого корпуса, был бы низведен до такого положения, когда ему их разъясняют, обходят, нарушают по своей прихоти, а он никогда не может противопоставить этому злоупотреблению иного возражения, иного права, иного сопротивления, как только лишь бесполезный ропот и бессильные протесты.

В самом деле, посмотрите, до какой степени ваш Аноним принужден извращать сущность вопроса, дабы иметь возможность менее неудачно приводить свои примеры.

«Негативное право,— говорит он на странице 110,— поскольку оно представляет возможность не устанавливать законы, а препятствовать тому, чтобы все без разбора могли приводить в действие власть, устанавливающую законы, и поскольку оно не облегчает нововведения, но представляет воз-

мощность препятствовать нововведениям, прямо преследует ту главную цель всякого политического общества, которая заключается в том, чтобы сохранить себя, сохраняя свое внутреннее устройство».

Вот весьма умеренное негативное право; и, по смыслу изложенного, это право действительно является столь существенной частью демократического государственного устройства, что для такого устройства Государства было бы вообще невозможно сохраниться, если бы законодательная власть могла всегда приводиться в действие любым членом из тех, кто входит в ее состав. Вы понимаете, что нетрудно привести примеры в подтверждение столь несомненного принципа.

Но если это вовсе не то понятие о негативном праве, о котором идет речь, если в приведенном месте нет ни одного слова, которое не являлось бы ложью из-за того применения, которое автор желает ему дать, то вы признаете, что доказательства преимуществ совсем иного негативного права не очень-то убедительны, если относятся к тому праву, которое он желает установить.

«Негативное право не является правом устанавливать законы...» Да, но оно является правом обходиться без законов. Превращать каждый акт своей воли в особый закон гораздо удобнее, чем соблюдать общие законы, даже тогда, когда сам являешься их творцом. «Но оно является правом препятствовать тому, чтобы все без разбора могли приводить в действие власть, устанавливающую законы». Следовало бы сказать вместо этого: «Но оно является правом препятствовать тому, чтобы кто бы то ни было мог защищать законы от власти, которая их себе подчиняет».

«Правом, не облегчающим нововведения...» А почему бы нет? Кто же может помешать вводить новшества тому, кто облечен властью и кто не обязан никому давать отчета в своем поведении? «Но предоставляющим возможность препятствовать нововведениям». Скажем лучше: «возможность препятствовать сопротивлению нововведениям».

В этом-то, сударь, и заключается самый тонкий софизм, наиболее часто встречающийся в рассматриваемом мною сочинении. Тому, кто обладает исполнительной властью, никогда не бывает нужно, чтобы его нововведения сопровождалось шумом. Ему нет никакой нужды в том, чтобы такое нововведение устанавливалось официальными актами. Ему достаточно, при повседневном осуществлении своей власти, подчинять все мало-помалу своей воле; и это никогда не ощущается слишком заметно.

Напротив, те, кто имеет достаточно внимательный взгляд и достаточно пронизательный ум, чтобы заметить такой ход событий и предвидеть его последствия, располагают для его пресечения лишь только двумя средствами: либо сразу же воспротивиться первому нововведению, которое всегда бывает пустяковым, и тогда на них начинают смотреть как на людей бесчестных, смутьянов, буквеедов, всегда готовых найти повод для ссоры;

либо же в конце концов восстать против усугубляющегося злоупотребления, и тогда начинают кричать о нововведении. Что бы ни предпринимали ваши магистраты, я ручаюсь, что вы не сможете, если будете этому противиться, избежать хотя бы одного из этих двух упреков. Но, стоя перед таким выбором, отдайте предпочтение первому. Всякий раз, как Совет нарушает какой-либо обычай, он преследует свою цель, которой никто не видит и которую он весьма остерегается показывать. При всяком сомнении всегда пресекайте любое нововведение, малое или большое. Если бы у Синдиков было в обычае входить в Совет с правой ноги, а они пожелали бы входить туда с левой, то и в этом, говорю я, им следовало бы помешать.

Мы имеем здесь весьма существенное доказательство легкости делать заключения «за» и «против», применяя методу, которой следует наш автор. Ибо, примените к праву Граждан подавать Петиции то, что он применяет к негативному праву Советов, и вы увидите, что его предложение, высказанное в общем виде, лучше соответствует этому последнему применению, чем первому. «Право Петиций,— скажете вы,— будучи правом не устанавливать законы, а правом препятствовать нарушению их тою властью, которая должна их применять, правом, предоставляющим возможность не вводить новшества, а препятствовать их введению, прямо преследует ту главную цель политического общества, которая заключается в том, чтобы сохранить себя, сохраняя свое внутреннее устройство». Не это ли как раз и желали сказать Петиционеры<sup>105</sup>, и не кажется ли, что автор рассуждал за них? Нельзя, чтобы слова искажали нам смысл понятий. Так называемое негативное право Совета является в действительности позитивным правом и даже самым позитивным из тех, какие только можно себе представить, ибо оно делает Малый Совет единственным прямым и неограниченным господином Государства и всех законов; а право Петиций, взятое в его истинном значении, само является только лишь негативным правом. Оно состоит единственно в том, чтобы препятствовать исполнительной власти исполнять что-либо противу законов.

Проследим признания автора относительно представленных им положений. Если добавить к ним несколько слов, то окажется, что он наилучшим образом обрисовал картину вашего настоящего положения.

«Так же, как никогда не будет свободы в таком Государстве, где корпус, на который возложено исполнение законов, будет обладать правом заставлять их говорить по своей прихоти<sup>106</sup>, ибо он сможет заставлять выполнять, как законы, свою самую тираническую волю...»<sup>107</sup>.

Вот, я полагаю, картина, взятая с натуры. Но взгляните на воображаемую картину, противопоставляемую этой:

«Никогда не будет Правительства также и в таком Государстве, где народ стал бы осуществлять без всяких правил законодательную власть».

Согласен: но кто же предлагал, чтобы народ осуществлял законодательную власть без всяких правил?

Дав, таким образом, определение иного негативного права, нежели то, о котором идет речь, автор проявляет большое беспокойство о том, к чему должно относиться это негативное право, о котором совсем и нет речи; и он устанавливает относительно него принцип, который я, конечно, не стану оспаривать. Он говорит, что «если Правительство без неудобств может обладать этой негативной властью, то будет естественно и хорошо, чтобы оно ею обладало». Затем следуют примеры, которых я не стану рассматривать, ибо они слишком далеки от нас и во всех отношениях чужды рассматриваемому нами вопросу.

Только пример Англии, который у нас перед глазами и который он не без основания приводит как образец правильного равновесия между соответствующими властями, заслуживает краткого рассмотрения, и только лишь после этого я позволю себе здесь сделать сравнение малого с великим.

«Несмотря на то, что власть короля весьма велика, нация не побоялась предоставить королю еще и право негативного голоса. Но, поскольку король не может долго обходиться без законодательной власти и поскольку для него небезопасно ее раздражать, эта негативная сила является фактически лишь только средством останавливать предприятия законодательной власти; и государь, спокойно обладая обширной властью, предоставляемой ему конституцией, будет заинтересован в том, чтобы эту конституцию защищать»<sup>11</sup>.

Следуя этому рассуждению и применению, которое ему желают дать, вы можете подумать, что исполнительная власть Английского короля более велика, чем власть Совета в Женеве; что негативное право, которым обладает этот Государь, похоже на то, которое незаконно присваивают себе ваши магистраты; что ваше Правительство, точно так же как и Правительство Англии, не может обойтись без законодательной власти; и, наконец, что как одно, так и другое в равной степени заинтересованы в защите конституции. Если автор не это хотел сказать, так что же еще другое имел он в виду и какое тогда отношение к его теме имеет этот пример?

Однако дело обстоит здесь во всех отношениях совершенно противоположным образом. Английский король, облеченный законами столь большой властью для их защиты, не обладает никакой властью их нарушать. Никто в подобном случае не пожелал бы ему повиноваться, каждый опасался бы за свою голову; сами министры могут ее лишиться, если станут раздражать Парламент; и в нем же рассматривается поведение самого короля. Каждый англичанин, находясь под защитой законов, может не бояться королевской

---

<sup>11</sup> Стр. 117.

власти. Самый последний человек из народа может требовать и получить самое полное удовлетворение за малейшее оскорбление. Если предположить, что Государь осмелится в чем-либо самом незначительном нарушить Закон, то это нарушение будет тотчас ему же поставлено на вид; и у него не будет ни права, ни власти настаивать на этом нарушении.

У вас же власть Малого Совета не ограничена во всех отношениях. Он одновременно и Министр и Государь, тяжущаяся сторона и судья. Он приказывает и исполняет; он вызывает в суд, арестовывает, заключает в тюрьму, судит и сам наказывает; всё в его власти; все служащие ему лица неуловимы; он никому не дает отчета ни в своем, ни в их поведении; ему ничего не нужно опасаться со стороны Законодателя, которому он только один имеет право дать высказаться и перед которым он не станет себя обвинять. Он никогда не бывает вынужден давать удовлетворение за совершенную им несправедливость; и самое большое, на что может надеяться угнетаемый им невинный, это — убраться подобру-поздорову, но не получив ни удовлетворения, ни возмещения за причиненный ему ущерб.

Судите об этом различии, основываясь на самых недавних фактах. В Лондоне напечатано сатирическое произведение с резкими нападками на министров, на Правительство и даже на самого Короля<sup>108</sup>. Издатели арестованы, но Закон не разрешает этого ареста; поднимается ропот в обществе, и их вынуждены освободить. Дело на этом не заканчивается; печатники в свою очередь привлекают магистрата к ответственности и получают огромное возмещение за причиненный им ущерб. Пусть сопоставят это дело с делом женевского книготорговца господина Бардэна, о котором я скажу ниже. Другой случай. В городе происходит кража; без доказательств и на основании необоснованных подозрений один гражданин противу законов заключен в тюрьму; в его доме производится обыск; он подвергается всевозможным оскорблениям, какие только наносятся злоумышленникам. В конце концов его невинность признана и его освобождают из-под ареста; он жалуется, но жалоба его остается без последствий; и этим все заканчивается.

Предположим, что в Лондоне я имел бы несчастье не понравиться Суду; что вопреки справедливости и без оснований он, под предлогом вредности какой-либо из моих книг, приказал бы сжечь ее, а меня арестовать. Я обратился бы тогда с жалобой в Парламент на том основании, что был осужден противозаконно; я бы это доказал и получил бы самое полное удовлетворение, а судья был бы наказан и, может быть, смещен.

Перенесем теперь в Женеву господина Уилкса, и пусть бы он высказал, написал, напечатал, опубликовал против Малого Совета хотя бы четвертую часть того, что он открыто сказал, написал, напечатал, опубликовал в Лондоне против Правительства, Суда, Государя. Я не стал бы решительно утверждать, что его бы казнили, хотя и полагаю, что это было бы именно



так; но его безусловно тотчас же арестовали бы и в скором времени очень сурово покарали<sup>III</sup>.

Скажут, что господин Уилкс являлся членом Законодательного корпуса в своей стране; а я разве не был таковым же в своей? Правда, автор *Писем* желает, чтобы не обращали никакого внимания на положение гражданина. «Правила процедуры,— говорит он,— одинаковы и должны быть таковыми для всех людей. Они вытекают не из права Гражданства, а из права принадлежности к человечеству».

К счастью для вас, на деле это не так<sup>IV</sup>, а в том, что касается этого правила, то здесь под весьма пристойными словами скрывается весьма жестокий софизм. Лицеприятие магистрата, которое в вашем Государстве превращает его часто в противную сторону по отношению к Гражданину, но никогда — по отношению к иностранцу, требует в первом случае, чтобы Закон принимал гораздо большие предосторожности относительно того, чтобы обвиняемый не был осужден несправедливо. Это различие слишком хорошо подтверждается фактами. Не было, может быть, с момента установления Республики ни одного примера несправедливого осуждения иностранца, а кто сочтет, сколько можно найти в ваших летописях несправедливых и даже жестоких судебных расправ над Гражданами? Впрочем, весьма ясно, что меры предосторожности, которые необходимо принимать для обеспечения безопасности последних, могут прекрасно распространяться на всех обвиняемых, потому что целью этих мер является не спасение виновного, а защита невинного. Поэтому-то и не делается никакого исключения в Статье XXX

<sup>III</sup> Ввиду того что господин Уилкс находился в этом отношении под защитой Закона, для привлечения его к ответственности потребовалось употребить другой прием; и к этому делу опять приехали религию.

<sup>IV</sup> Право подавать прошение о помиловании принадлежит, в силу Эдикта, лишь только Гражданин и Горожанам; но через их посредничество это право и другие права были предоставлены также Уроженцам и Жителям<sup>109</sup>, которые, подлежа суду, как и они, нуждались в тех же предосторожностях для обеспечения своей безопасности; а иностранцы этого были лишены. Понятно также, что выбор четырех родственников или друзей для оказания помощи обвиняемому на уголовном процессе<sup>110</sup> не представляет для них большой пользы. Право такого выбора выгодно лишь для тех, кого магистрат, может быть, заинтересован погубить и кому Закон дает судью, являющегося его естественным врагом. Даже удивительно, что после стольких ужасных примеров Граждане и Горожане не приняли больше мер для обеспечения своей безопасности и что вся область уголовных дел, для которых нет ни эдиктов, ни законов, отдается чуть ли не на произвол Совета. Услуга, которой уже одной достаточно, чтобы женеццы и все справедливые люди были постоянно обязаны благословлять Посредников, состоит в отмене допроса с пристрастием<sup>111</sup>. Я всегда горько смеюсь при виде стольких прекрасных книг, в которых европейцы любят себя, расхваливая друг друга по поводу своей гуманности, книг, издаваемых в тех же самых странах, где забавляются тем, что, дабы установить виновность человека, ломают и дробят его члены. Я говорю о пытке как о почти безошибочном средстве, применяемом сильным для того, чтобы обвинить слабого в преступлениях, за которые он хочет его наказать.

Регламента, которая явно выгодна только для женеццев. Вернемся же к сравнению негативного права в обоих Государствах.

Негативное право английского Короля состоит в следующем: в возможности созывать и распускать Законодательный корпус, которую имеет только он один, и в возможности отклонять проекты законов, выносимые на его рассмотрение, но оно никогда не состояло в том, чтобы препятствовать законодательной власти разбирать нарушения Закона, совершенные по вине Короля.

К тому же это негативное право весьма ограничивается, во-первых, законом о трехгодичном сроке<sup>V</sup>, который обязывает Короля созывать новый Парламент к концу определенного периода; затем той необходимостью, которую испытывает сам Король в том, чтобы Парламент почти никогда не распускался<sup>VI</sup>, и, наконец, негативным правом Палаты Общин по отношению к нему самому, которое столь же значительно, как и негативное право Короля.

Это право ограничивается еще тем полновластием, которым обладает по отношению к себе самой каждая из обеих Палат, после того как они бывают созваны, как в том, чтобы предлагать, обсуждать, рассматривать законы и все вопросы, относящиеся к делам Управления, так и в той части исполнительной власти, которую они осуществляют, и совместно и в отдельности, как в Палате Общин, ведающей рассмотрением случаев ущемления прав народа и нарушений законов, так и в Палате Лордов, являющихся верховными судьями по уголовным делам, в особенности же по делам, относящимся к государственным преступлениям.

Вот, сударь, каково негативное право английского Короля. Если ваши магистраты требуют для себя только лишь такого права, то я вам советую его у них не оспаривать. Но я совершенно не понимаю, для чего им, при нашем настоящем положении дел, может быть нужна законодательная власть; так же как и не вижу, что может их принудить ее созвать для того, чтобы она на самом деле действовала; потому что новые законы никогда не бывают нужны людям, стоящим выше законов; потому что Правительство, существующее на свои собственные финансы и не находящееся в состоянии войны, нисколько не нуждается в новых налогах и потому что если весь Корпус облекается властью начальников, которые выдвигаются из его же среды, то выбор этих начальников становится почти безразличен.

Я даже не вижу, в чем бы мог ограничивать их власть Законодатель, который если и существует, то существует лишь на минуту и может всякий раз выносить решения только лишь по тому единственному вопросу, по которому они его запрашивают.

<sup>V</sup> Сделавшимся семилетним вследствие ошибки, в которой англичане не расквантуются<sup>112</sup>.

<sup>VI</sup> Ввиду того что Парламент предоставляет субсидии только лишь на один год, Король вынужден их у него испрашивать ежегодно.

Правда, английский Король может объявлять войну и заключать мир. Но помимо того, что эта власть является более кажущейся, чем действительной, по крайней мере в том, что касается войны, я уже показал и в сказанном выше и в *Общественном договоре*, что это не то, что вам нужно, и что надо отказать от почетных прав, когда хочешь пользоваться свободой. Я признаю еще, что этот Государь может раздавать и отнимать должности по своему усмотрению, и благодаря этому подкупать по одному членов Законодательного корпуса. Это именно то, что дает полное преимущество Совету, которому подобные средства не очень нужны и который порабощает вас с меньшими издержками. Подкуп есть злоупотребление свободой, но он есть доказательство, что свобода существует и нет нужды подкупать людей, находящихся в твоей власти. Что же касается должностей, то, не говоря о тех, которыми располагает Совет либо сам, либо через Совет Двухсот, он поступает еще лучше в отношении должностей наиболее важных, он замещает их своими собственными членами, что ему еще более выгодно; ибо всегда бываешь более уверен, когда делаешь что-либо своими собственными руками, чем руками другого. История Англии полна доказательств сопротивления королевских чиновников своим государям, когда те желали нарушать законы. Посмотрите, много ли сможете вы найти у себя примеров подобного сопротивления Совету со стороны государственных чиновников, даже в самых отвратительных случаях. Как только кто-либо в Женеве начинает получать жалованье от Республики, он тотчас же перестает быть гражданином: он только лишь раб и сторожевой пес Совета Двадцати пяти, готовый попирать отечество и законы, как только тот ему прикажет это делать. Наконец, Закон, который не оставляет Королю в Англии никакой власти творить зло, дает ему очень большую власть творить добро. Не похоже на то, чтобы Совет стремился расширить свою власть в этом направлении.

Английские Короли, которым их преимущества обеспечиваются нынешней конституцией, заинтересованы в том, чтобы ее защищать, ибо у них мало надежды ее изменить. Ваши же магистраты, напротив, уверенные в возможности использовать формы вашей конституции, чтобы совершенно изменить ее сущность, заинтересованы в том, чтобы сохранять эти формы<sup>113</sup> как орудие незаконного присвоения власти, которое они совершают. Последний опасный шаг, который им остается сделать, это тот, который они делают сегодня. Сделав этот шаг, они смогут сказать, что еще более, чем английский Король, заинтересованы в сохранении установленной конституции, но совсем по иной причине. Вот все сходство, которое я нахожу между политическим положением Англии и вашим. Я предоставляю вам судить, при котором из них существует свобода?

После этого сравнения автор, который любит ссылаться на великие примеры, предлагает вам пример древнего Рима. Он пренебрежительно ставит ему в упрек то, что его Трибуны были смутьянами и бунтовщиками<sup>114</sup>. Он

горько оплакивает сложившуюся якобы под влиянием этого бурного управления печальную судьбу этого несчастного города, который, однако, не представлял собой еще ничего при учреждении этой магистратуры, а за время ее пятисотлетнего правления покрыл себя славой, познал благоденствие и стал столицей мира. Ему пришел конец, потому что всему бывает конец; причиной его конца был незаконный захват власти его знатью, его Консулами и генералами. Он погиб из-за чрезмерного роста своего могущества, но он приобрел такое могущество лишь только благодаря положительным качествам своего Правления. Можно сказать в этом смысле, что его погубили Трибуны<sup>VII</sup>.

Впрочем, я не извиняю ошибки римского народа; я сказал о них в *Общественном договоре*. Я порицал римлян за незаконный захват исполнительной власти, которую они должны были только сдерживать<sup>VIII</sup>; я показал, на основе каких принципов должен был быть учрежден трибунат; я указал, какие должны были быть поставлены ему пределы и каким образом все это могло осуществиться. Эти правила плохо соблюдались в Риме. Но они могли бы соблюдаться лучше. Однако взгляните на то, что трибунат совершил, несмотря на присущие ему превышения своей власти, а чего бы он только не сделал, если бы им хорошо руководили? Мне неясно, что хочет сказать здесь автор *Писем*. Чтобы сделать вывод, направленный против него самого, я взял бы тот же пример, который выбрал он.

---

<sup>VII</sup> Трибуны совершенно не выходили за черту города; они не обладали никакой властью вне его стен. Поэтому-то Консулы, во избежание их контроля, иногда проводили Комиции в деревне. Однако цепи римлян были выкованы вовсе не в Риме, но в его армиях; из-за своих побед они утратили свободу. Эта потеря произошла, таким образом, не по вине Трибунов.

Правда, Цезарь использовал их, как Сулла использовал Сенат. Каждый использовал средства, которые он считал наиболее быстрыми или наиболее верными для достижения власти. Но нужно было кому-нибудь ее достичь, и какое имело значение, кто именно, Марий или Сулла, Цезарь или Помпей, Октавиан или Антоний должен был стать узурпатором. Какая бы партия ни взяла верх, захват власти от этого не становился менее неизбежным. Находившимся вдали армиям нужны были начальники; и было несомненно, что один из этих начальников станет повелителем Государства. Трибунат для этого ничего не сделал.

Впрочем, тот же выпад, который делает здесь автор *Писем из Долины* против народных Трибунов, был уже сделан в 1715 г. Государственным Советником господином Шапоруж в его памятной записке, направленной против существования должности Генерального Прокурора. Господин Луи Ле Фор, с блеском исполнявший тогда эту должность, показал ему в весьма замечательном письме, написанном им в ответ на эту записку<sup>115</sup>, что влияние и власть Трибунов явились спасением для Республики и что ее разрушение произошло совершенно не из-за них, а из-за Консулов. Несомненно, Генеральный Прокурор Ле Фор совершенно не предвидел, что кто-либо в наши дни вновь станет защищать мнение, которое он столь основательно опроверг.

<sup>VIII</sup> См. *Общественный договор*, кн. IV, гл. V. Я думаю, что в этой очень краткой главе можно почерпнуть несколько хороших правил, касающихся этого вопроса.

Однако не будем искать так далеко эти великие примеры, столь громкие сами по себе и столь обманчивые по тому применению, которое им находят. Не позволяйте выковать вам цепи, обольщаясь своим самолюбием. Будучи слишком малыми, чтобы сравнивать себя с кем бы то ни было, оставайтесь сами собой и не заблуждайтесь насчет вашего положения. Древние народы не являются более образцом для народов новых времен: они им чересчур чужды во всех отношениях. Вы же, женеvцы, в особенности должны сидеть на своем месте и не стремиться к достижению высоких целей, которые ставят перед вами, чтобы скрыть от вас ту пропасть, которую перед вами разверзают. Вы не римляне и не спартанцы, вы даже не афиняне. Оставьте эти великие имена, которые вам совершенно не подходят. Вы — торговцы, ремесленники, горожане, всегда занятые своими частными интересами, своей работой, своей торговлей, своею прибылью<sup>116</sup>. Вы — люди, для которых сама свобода является лишь средством беспрепятственно приобретать и надежно владеть<sup>117</sup>.

Такое положение требует для вас особых правил. Не будучи праздными, как древние народы, вы не можете, как они, беспрестанно заниматься вопросами Правления; но именно потому, что вы не можете столь пристально за ним следить, оно должно так быть устроено, чтобы вам было легче видеть его действия и предупреждать злоупотребления. Выполнение всякого общественного дела, которого требуют от вас ваши интересы, должно быть для вас тем более облегчено, что это дело вам трудно дается и вы неохотно за него принимаетесь. Ибо пожелать совершенно освободиться от его выполнения — означало бы пожелать перестать быть свободными. *Нужно сделать выбор*, говорит Благодетельный философ<sup>118</sup>; *и тем, кто не может переносить ничего трудного, остается лишь искать отдыха в рабстве*<sup>119</sup>.

Народ, беспокойный, бездельник, суетливый, который, не имея своих собственных дел, всегда готов вмешиваться в дела Государства, нуждается в том, чтобы его сдерживали, — я это знаю; но, повторяю еще раз, разве Горожане Женеvы являются таким народом? Они менее всего на него похожи; они даже его антиподы. Ваши Граждане, всецело поглощенные своими домашними занятиями и всегда холодно относящиеся ко всему остальному, помышляют об общественном интересе лишь тогда, когда бывает задет их собственный. Слишком мало заботясь о том, чтобы надзирать за поведением своих правителей, они замечают уготованные им цепи лишь только тогда, когда начинают ощущать их тяжесть. Всегда чем-то отвлеченные, обманутые, всегда сосредоточенные на других предметах, они дают себя обмануть относительно самого важного и всегда ищут лекарство, потому что не сумели предупредить болезнь. Стремясь слишком точно размерить свои действия, они совершают их всегда с опозданием. Их медлительность погубила бы их уже сто раз, если бы их не спасало нетерпение магистрата и если бы в своем стремлении поскорее завладеть высшей властью он сам не предупреждал их об опасности.

Проследите историю вашего образа правления, и вы увидите, как Совет, всегда проявлявший горячность в своих предприятиях, не преуспевал чаще всего из-за слишком большой поспешности в их осуществлении. Вы увидите, как Горожане, всякий раз спохватившись, осуждают то, чему они позволили совершиться, не оказав своевременно сопротивления.

В 1570 г. Государство было обременено налогами и испытывало многие бедствия. Ввиду того что при сложившихся обстоятельствах было трудно часто созывать Генеральный Совет, на нем было внесено предложение уполномочить другие Советы заботиться об удовлетворении текущих нужд. Предложение было принято<sup>120</sup>. Исходя из этого, они начали присваивать себе постоянное право устанавливать налоги; и на протяжении более чем столетия им это разрешают, не оказывая ни малейшего сопротивления.

В 1714 г. в тайных целях<sup>IX</sup> осуществляется огромное и нелепейшее предприятие — строительство укреплений, что делается без ведома Генерального Совета и вопреки тому, что написано в Эдиктах. В связи с этим милым проектом вводятся на десять лет налоги, по поводу которых также не запрашивается его мнение. Появляется несколько жалоб; но ими пренебрегают; и все умолкает<sup>121</sup>.

В 1725 г. истекает срок, на который были введены налоги; нужно его продлить. Хотя и с запозданием, Горожане должны были обязательно выступить на защиту своих, столь долго находившихся в пренебрежении прав. Но ввиду того, что чума в Марселе и Королевский банк нарушили торговлю<sup>122</sup>, каждый, опасаясь за судьбу своего состояния, забывает об опасностях, угрожающих его свободе. Совет же, который не упускает из виду своих целей, продлевает срок взимания налогов через Совет Двухсот, минуя Генеральный Совет.

По истечении этого второго срока граждане пробуждаются и после ста шестидесяти лет бездействия заявляют, наконец, по-настоящему о своих правах<sup>123</sup>. Тогда, вместо того чтобы уступить или же выждать, подготавливается заговор<sup>X</sup>. Этот заговор раскрывают; Горожане вынуждены взяться за ору-

<sup>IX</sup> Об этом говорилось раньше.

<sup>X</sup> Речь шла о том, чтобы, соорудив ограду вокруг возвышения, на котором расположена Городская Ратуша, превратить это возвышение в своего рода крепость, дабы иметь возможность господствовать оттуда над всем народом. Уже был подготовлен для этой ограды лес, создан план оборонительных сооружений, высшим офицерам гарнизона отданы соответствующие приказания, боеприпасы и оружие перевозятся из Арсенала в Городскую Ратушу, на одном из отдаленных бульваров устанавливают двадцать две пушки, еще несколько пушек тайно перевозят в другое место, — одним словом, все приготовления к самому насильственному из всех предприятий, сделанные без запроса мнения Советов, Синдиком Стражи и другими магистратами, оказались недостаточными основаниями, когда все было раскрыто, для того, чтобы добиться суда над виновными, и даже для того, чтобы выразить явное неодобрение их плану. Более того, Горожане, бывшие тогда хозяевами города, дали

жие; и из-за этого насильственного действия Совет теряет в один миг то, что было им незаконно захвачено на протяжении целого столетия.

Едва только все, казалось бы, успокоилось, как, ввиду невозможности примириться с такого рода поражением, зреет новый заговор. Нужно опять браться за оружие; вмешиваются соседние Державы; и взаимные права, наконец, урегулированы <sup>124</sup>.

В 1650 г. <sup>125</sup> низшие Советы устанавливают у себя способ подсчета голосов, который лучше прежнего, но который не соответствует Эдиктам. Генеральный Совет продолжает следовать прежнему способу, при котором допускается множество злоупотреблений, и это продолжается на протяжении пятидесяти лет с лишним, до тех пор, пока Гражданам не приходится в голову пожаловаться на это нарушение и потребовать введения подобного способа подсчета голосов в Совете, членами которого они являются. В конце концов, они этого требуют; и самое невероятное здесь то, что им в ответ на это преспокойно возражают, отсылая их к тому же самому Эдикту, который нарушается уже в течение полувека <sup>126</sup>.

В 1707 г. одного гражданина <sup>127</sup> противозаконно подвергают тайному суду, осуждают и расстреливают из аркебузы в тюрьме; другого вешают <sup>128</sup> на основании показания единственного явного лжесвидетеля; третьего находят мертвым <sup>129</sup>. Все это происходит без последствий, и об этом заговорят лишь только в 1734 г., когда кто-то пожелает запросить у магистрата сведения о гражданине, расстрелянном из аркебузы тридцать лет тому назад.

В 1736 г. учреждаются уголовные суды без участия Синдиков. Среди царивших тогда беспорядков граждане, занятые столькими иными делами, не могли думать обо всем. В 1758 г. повторяется тот же маневр <sup>130</sup>, и тот, кого это касается, намерен жаловаться; ему не дают высказаться; и все умолкает. В 1762 г. этот же маневр повторяют <sup>131</sup> снова <sup>XI</sup>. Наконец, год спустя гражданине обращаются с жалобой. Но Совет отвечает: «Вы опоздали — такой обычай уже установлен!».

им возможность беспрепятственно покинуть их убежище, не учинив им ни малейшей обиды, не войдя в их дома, не потревожив их семьи, не тронув ничего из принадлежащего им имущества. Во всякой другой стране народ стал бы убивать такого рода заговорщиков и грабить их дома.

<sup>XI</sup> И по какому же случаю! Вот государственная инквизиция, от которой бросает в дрожь. Постижимо ли, что в свободной стране может быть наказан в уголовном порядке какой-либо гражданин <sup>132</sup> за то, что в своем письме к другому гражданину, которое не было напечатано, он рассуждал в пристойных и умеренных выражениях о поведении Магистрата по отношению к третьему гражданину? Найдете ли вы примеры подобного насилия в странах с Правлением самым неограниченным? При отставке г-на де Силуэтта я написал ему письмо <sup>133</sup>, которое обошло весь Париж. Это письмо отличалось смелостью, могущей, как я сам нахожу, вызвать порицание; это, может быть, единственная вещь, достойная порицания, какую я когда-либо написал в своей жизни. Однако по этому поводу мне не было сделано ни малейшего упрека, и об этом даже никто и не помышлял. Во Франции за пасквили наказывают,

В июне 1762 г. один гражданин<sup>134</sup>, которого Совет возненавидел, опорочен в его протоколах, и принимается постановление о его аресте, вопреки самым определенным предписаниям Эдикта. Его родные, пораженные этим, подают прошение, чтобы их ознакомили с Постановлением, в ответ они получают отказ, и все умолкает. Прождав год, опороченный гражданин, видя, что никто не протестует, отказывается от своего права гражданства<sup>135</sup>. Горожане открывают, наконец, глаза и восстают против нарушения Закона; но уже слишком поздно.

Более памятным по своему характеру случаем, хотя речь шла о самом незначительном факте, явился тот, который произошел с господином Бардэном. Один книготорговец заказывает своему корреспонденту экземпляры новой книги; до того как эти экземпляры прибыли, книга была запрещена. Книготорговец извещает магистрат о своем заказе и спрашивает, что ему делать. Ему приказывают сообщить, когда эти экземпляры придут. Они прибывают; он об этом сообщает; и их конфискуют. Он ожидает, чтобы книги ему возвратили или оплатили; но ни того, ни другого не делают. Он снова их требует, но их ему не возвращают. Он подает прошение о том, чтобы они были отосланы обратно, возвращены ему или оплачены, но во всем этом ему отказывают. Он терит свои книги; а ведь те, кто задержал эти книги, суть должностные лица, на которых возложена обязанность наказывать за воровство!<sup>136</sup>

Надо хорошо взвесить все обстоятельства, при которых имел место этот факт, и я сомневаюсь, чтобы можно было найти другой подобный пример в действиях какого-либо Парламента, Сената, Совета, Дивана<sup>137</sup> или какого-либо рода Суда. Если бы пожелали посягнуть на право собственности без какой-либо на то причины или какого-либо повода, и вплоть до самого его основания, то не смогли бы сделать это более открыто. Однако это дело свершилось, и все молчали; и не будь более серьезных притеснений, об этом никогда бы не заговорили. А сколько других дел осталось неизвестными из-за того, что не представилось случая их выявить?!

Если предыдущий пример малозначителен сам по себе, то вот другой, совсем иного рода. Еще немного внимания, сударь, к этому делу, и я не стану говорить о всех других, которые я мог бы также назвать.

20 ноября 1763 г. на Генеральном Совете, собравшемся для избрания Лейтенанта и Казначея, Граждане замечают различие между имеющимся

---

и это очень хорошо. Но предоставляют частным лицам достаточную свободу рассуждать между собою об общественных делах; и это неслыханное дело, чтобы стали кого-либо преследовать за то, что он в письмах, оставшихся рукописными, высказал свое мнение не в сатирическом и не в оскорбительном тоне по поводу того, что творится в судах. После того как я был столь большим сторонником республиканского образа Правления, придется ли мне изменить свое мнение в старости и считать, что, в конечном счете, больше подлинной свободы в Монархиях, чем в наших Республиках?



у них напечатанным текстом Эдикта и рукописным, который зачитывает им Государственный Секретарь, различие, заключающееся в том, что избрание Казначей должно, согласно первому тексту, производиться одновременно с избранием Синдиков, а согласно второму — одновременно с избранием Лейтенанта. Они замечают, кроме того, что избрание Казначей, которое, согласно Эдикту, должно происходить каждые три года, производится, согласно обычаю, лишь каждые шесть лет и что по истечении трех лет довольствуются тем, что предлагают утвердить того, который в настоящее время занимает эту должность.

Эти различия в тексте Закона между рукописью Совета и напечатанным текстом Эдикта, которые до того времени не были замечены, заставили обратить внимание на другие различия, вызвавшие беспокойство относительно других частей текста. Несмотря на то, что опыт показывает Гражданам бесполезность даже самых обоснованных Петиций, они, тем не менее, по этому поводу подают их опять, прося о том, чтобы оригинал текста Эдиктов был передан на хранение в Канцелярию или в другое такое публичное место, по выбору Совета, где можно было бы сравнивать этот текст с напечатанным.

Однако вы помните, сударь, что в статье XLII Эдикта 1738 г. сказано, что как можно скорее должен быть напечатан общий кодекс законов Государства, содержащий все Эдикты и Регламенты. По прошествии двадцати шести лет об этом кодексе еще не было и речи; а Граждане хранили молчание! XII

Вы должны еще вспомнить, что в памятной записке, напечатанной в 1745 г., один исключенный член Совета Двухсот<sup>138</sup> подверг сильному сомнению точность текста Эдиктов, напечатанных в 1713 г. и перепечатанных в 1735 г., в периоды, способные в равной мере вызвать подобного рода подозрения. Он говорит, что сличил с рукописными текстами имеющиеся у него напечатанные тексты Эдиктов, и утверждает, что нашел в них много ошибок, которые и отметил; и он приводит подлинные выражения Эдикта 1556 г., полностью опущенные в напечатанном тексте. На эти столь серьезные обвинения Совет ничего не ответил; и граждане хранили молчание!

Согласимся, если вам угодно, с тем, что достоинство Совета не позволяло ему тогда ответить на обвинения исключенного из его среды члена. Но это

XII Какое извинение, какой предлог можно найти для несоблюдения столь определенной и важной Статьи? Понять это невозможно. Когда случайно об этом скажешь в разговоре с какими-либо магистратами, они холодно отвечают: «Каждый отдельный Эдикт напечатан; соберите их». Как будто можно быть уверенным, что все было напечатано, или как будто сборник таких бумажек представляет собой полный свод законов, общий кодекс, отвечающий требованиям подлинности и такой, каким его представляет Статья XLII! Вот каким образом эти господа выполняют столь определенное обязательство! Какие ужасные последствия могут произойти от подобных уступлений!

же самое достоинство, скомпрометированная честь, поставленная под подозрение верность текстов требовали теперь проверки, становившейся необходимой из-за наличия столь многих к тому причин, и которой были вправе добиваться те, кто ее требовал.

Ничего подобного. Малый Совет оправдывает<sup>139</sup> изменение, внесенное в текст Эдикта старым обычаем, которому Генеральный Совет, не воспротивившийся ему в самом начале, больше не вправе противиться теперь.

Он объясняет различие между рукописью Совета и напечатанным текстом тем, что эта рукопись является сборником Эдиктов с теми изменениями, которые допускаются на практике и на которые своим молчанием дал согласие Генеральный Совет, тогда как напечатанный текст является сборником тех же Эдиктов в том виде, в каком они были приняты Генеральным Советом.

Также старым обычаем он оправдывает и утверждение Казначея, противно Эдикту, согласно которому он должен переизбираться. Нет ни одного нарушения Эдиктов, замеченного Гражданами, которого он не оправдывал бы наличием прежних нарушений. Нет ни одной жалобы со стороны Граждан, которой он бы не отверг, ставя им в упрек то, что они не пожаловались ранее.

А что касается до сообщения им подлинного текста законов, то в этом им ясно отказано<sup>XIII</sup>: либо на том основании, что *сие противно правилам*, либо потому, что Граждане и Горожане *не должны знать иного текста законов, кроме напечатанного*, хотя Малый Совет следует иному тексту и велит следовать ему и в Генеральном Совете<sup>XIV</sup>.

Следовательно, считается неправильным, если тот, кто заключил какую-либо сделку, получил бы на руки оригинал относящегося к ней акта, когда расхождения в копиях дают ему основание сомневаться в их достоверности

---

<sup>XIII</sup> Эти столь резкие и столь определенные отказы на все самые умеренные и самые справедливые Петиции кажутся мало правдоподобными. Постигнимо ли, чтобы Женевский Совет, состоящий в большей своей части из людей просвещенных и рассудительных, не почувствовал отвратительного и даже ужасного позора в том, что свободным людям, членам Законодательного Корпуса, отказывают в предоставлении подлинного текста законов и порождают, таким образом, как бы преднамеренно подозрения, вызываемые таинственностью и неясностью, которые постоянно окружают этот текст в их глазах? Я склонен думать, что эти отказы даются ему недешево, но что он взял себе за правило уничтожить обычай Петиций путем неизменно отрицательных ответов. В самом деле, не следует ли предположить, что самые терпеливые люди откажутся от мысли просить о чем-либо, если им постоянно отказывают. Прибавьте к этому предложение, уже сделанное в Совете Двухсот, возбудить преследование против авторов последних Петиций за то, что они использовали право, которое им предоставлено Законом. Кто отныне пожелает подвергнуться риску предстать перед судом за выступления, которые, как это заранее известно, останутся безуспешными? Если в этом состоит план, которому следует Малый Совет, то нужно признать, что он следует ему весьма исправно.

<sup>XIV</sup> Извлечение из ресестров Совета от 7 декабря 1763 г. в ответ на устные Представления, сделанные 21 ноября шестью Гражданами или Горожанами.

и правильности; и считается правильным наличие двух различных текстов одних и тех же законов, одного текста для частных лиц, а другого — для Правительства! Слыхали ли вы когда-нибудь о чем-либо подобном?! И, однако, перед лицом этих запоздалых открытий, перед лицом всех этих возмутительных отказов Граждане, которым было отказано в их самых законных требованиях, молчат, ждут и бездействуют!

Вот, сударь, каковы общеизвестные факты, совершающиеся в вашем городе, и все они лучше известны вам, чем мне. Я бы мог добавить еще сотню других, не считая тех, которые ускользнули от моего внимания. Но и этих фактов уже достаточно, чтобы судить, являются или являлись когда-либо Горожане Женевы я уже не говорю людьми беспокойными и бунтарями, но людьми бдительными, внимательными, легко поднимающимися на защиту своих самых бесспорных прав, которые попираются самым явным образом.

Нам говорят, что «нация, живая, изобретательная и весьма занимающаяся своими политическими правами, крайне нуждается в том, чтобы ее Правительство обладало негативной властью». Объясняя себе, в чем состоит эта негативная власть, можно в принципе согласиться с ее существованием. Но к вам ли можно ее применять? Разве позабыли, что в других странах вас считают более хладнокровными, чем другие народы? И как можно сказать, что народ Женевы много занимается своими политическими правами, когда видно, что он ими занимается всегда с запозданием, проявляет к ним отвращение и вспоминает о своих правах только тогда, когда к этому его принуждает самая близкая опасность? Так что только от Совета зависит, чтобы Горожане совершенно не занимались своими правами, если на эти права не будет производиться столь грубых посягательств.

Сопоставим на минуту обе партии, дабы иметь возможность судить о том, действий которой из них надо больше опасаться и которой из них нужно предоставить негативное право сдерживать проявление таких действий.

С одной стороны, я вижу народ, весьма немногочисленный, мирный и хладнокровный, состоящий из людей трудолюбивых, любителей барыша, послушных, ради собственного интереса, законам и их служителям, всецело занятых своею торговлей или своими ремеслами. Все они, равные в своих правах и мало отличающиеся по своему имущественному положению, не имеют у себя ни начальников, ни подчиненных; все они из-за своей торговли, из-за своего положения, из-за своего имущества находятся в большой зависимости от магистрата и потому должны с ним считаться; все они опасаются вызывать его неудовольствие; если у них возникает желание вмешаться в общественные дела, то это всегда бывает во вред их собственным. Отвлекаясь, с одной стороны, делами, представляющими больший интерес для их семей, с другой стороны, удерживаемые соображениями осторожности, повседневным опытом, который учит их, насколько в столь малом Государстве, как ваше, где всякое частное лицо находится постоянно на глазах у Со-

вета, бывает опасно его оскорблять, — они имеют самые серьезные основания жертвовать всем ради мира. Ибо они могут процветать только благодаря миру; и при этом положении вещей каждый, сбитый с толку погоней за своей личной выгодой, предпочитает свободе покровительство и угождает Совету ради собственного блага.

С другой же стороны, я вижу, в маленьком городе, дела которого, в сущности, очень мелки, как независимый и постоянный Корпус магистратов, почти праздный по своему положению, занимается главным образом тем, что весьма естественно для тех, кто повелевает, т. е. непрерывным увеличением своей власти. Ибо честолюбие, так же как и скупость, питается своими успехами; и чем больше кто-либо увеличивает свое могущество, тем больше им овладевает желание стать всемогущим. Этот Корпус, стремясь постоянно подчеркнуть едва заметную разницу между своими членами и прочими людьми, равными им по рождению, видит в них лишь людей, стоящих ниже его, и горит желанием видеть в них своих подданных. Вооруженный всей публичной властью, блюститель всякой власти, истолкователь и учредитель законов, его стесняющих, он превращает их в наступательное и оборонительное оружие<sup>140</sup>, делающее его грозным, почитаемым и священным для всех тех, на кого он пожелает обрушиться. Именем самого Закона он может безнаказанно нарушать Закон. Он может покушаться на конституцию, делая вид, что ее защищает; он может наказывать, как бунтовщика, всякого, кто в действительности осмеливается ее защищать. Все предприятия этого Корпуса становятся для него легкими; он не оставляет никому права препятствовать их исполнению или их знать. Он может действовать, устанавливая отсрочки, отрешать от должности; он может соблазнять, запугивать, наказывать тех, кто ему сопротивляется; и если он удостоивает делать это под какими-либо предложениями, так больше для соблюдения приличий, нежели в силу необходимости. У него, следовательно, есть желание расширить свою власть, и он обладает средством достичь всего того, что желает.

Таково взаимное положение Малого Совета и Горожан Женевы. Кто же из них, Малый Совет или Горожане, должен обладать негативной властью, чтобы останавливать предприятия другого? Автор *Писем* уверяет, что Малый Совет<sup>141</sup>.

В большинстве Государств внутренние беспорядки производит озверелая и тупая чернь, возбуждаемая вначале невыносимыми притеснениями, а затем тайно подстрекаемая ловкими смутьянами, облеченными какой-либо властью, которую они хотят расширить. Но можно ли вообразить что-либо более ложное, чем подобное представление о Горожанах Женевы, по крайней мере в отношении той их части, которая противостоит власти, добиваясь соблюдения законов. Во все времена эта часть всегда была промежуточной ступенью между богатыми и бедными, между правителями Государства и чернью. Этот разряд, состоящий из людей, примерно равных по своему достатку, по своему

положению, по своему образованию, стоит недостаточно высоко, чтобы иметь какие-либо притязания, и недостаточно низко, чтобы ему нечего было терять. Их главный интерес, общий для всех, заключается в том, чтобы законы соблюдались, магистраты уважались, конституция сохранялась и спокойствие Государства не нарушалось. Ни один человек этой ступени не пользуется ни в каком отношении таким превосходством над другими, чтобы он мог подвергнуть их опасности ради своего частного интереса. Это наиболее здоровая часть Республики, единственная, относительно которой можно быть уверенным, что она не ставит перед собой иной цели, как только благо всех. Поэтому всегда можно наблюдать в их общих выступлениях благопристойность, скромность, почтительную твердость, известную степенность людей, чувствующих, что право на их стороне и что они выполняют свой долг<sup>142</sup>. Посмотрите, напротив, на кого опирается другая часть: на людей, утопающих в довольстве, и на самую гнусную часть народа. Не между этими ли двумя крайними ступенями, одна из которых как бы создана для того, чтобы покушать, а другая — чтобы продаваться, нужно искать любовь к справедливости и к законам? Из-за них-то всегда и вырождается Государство: богатый держит Закон в своем кошельке, а бедный предпочитает хлеб свободе. Достаточно сравнить эти две партии, чтобы иметь возможность судить, которая из них должна первой посягнуть на законы. И в самом деле, посмотрите на протяжении вашей истории, не исходили ли все заговоры всегда со стороны магистратуры и не прибегали ли Граждане к силе только тогда, когда это было нужно для того, чтобы оградить себя от насилия.

Несомненно, это только шутка, когда, говоря о последствиях применения права, которого требуют ваши сограждане, вам изображают Государство, которое стало бы жертвой происков, подкупа, жертвой первого встречного. Такого рода негативное право, которым желает обладать Совет, было неизвестно до сего времени; но какие же беды произошли из-за этого? Однако произошли бы ужасные беды, если бы он пожелал на этом настоять, столкнувшись в это время с притязаниями Горожан на обладание своим негативным правом. Переверните в обратную сторону довод, который основывается на двухсотлетнем процветании, и что же тогда вы сможете ответить? Это Правление, скажете вы, установленное временем, опирающееся на столь многие писанные акты, узаконенное в результате столь давнего обычая, освященное величием своих успехов и при котором негативное право Советов никогда не было известно, — не лучше ли оно того другого, самовластного Правления, того, свойств которого мы еще не знаем, как и не знаем, как оно отразится на нашем благодетельствии, но относительно которого разум подсказывает, что оно лишь ввергает нас в пучину несчастья?

Предполагать, что все злоупотребления существуют лишь в партии, на которую нападают, а в своей партии — отсутствие каких-либо злоупотреблений — это весьма грубый и весьма обычный софизм, которого должен остере-

регаться всякий разумный человек. Нужно предполагать наличие злоупотреблений как с той, так и с другой стороны, потому что они проникают всюду; но это не означает, что они одинаковы по своим последствиям. Всякое злоупотребление — это зло, часто неизбежное, из-за которого не нужно упразднять то, что хорошо само по себе. Но сравните, и вы найдете, с одной стороны, беды несомненные, беды ужасные, без конца и без края, а с другой — злоупотребление, которое хотя и велико, но преходяще, и которое если имеет место, то несет всегда вместе с собою и средство от него избавиться. Ибо, скажу еще раз, свобода может существовать только при соблюдении законов или общей воли; а общей воле так же не присуще вредить всем, как воле частной вредить самой себе. Но предположим, что это злоупотребление свободой столь же естественно, как и злоупотребление властью. Однако всегда будет различие между тем и другим в том, что злоупотребление свободой обращается во вред народу, который ею злоупотребляет, и, наказывая его за совершенную им ошибку, принуждает его искать средства от нее избавиться. Таким образом, с этой стороны, зло — это всегда лишь только кризис, оно не может быть постоянным состоянием; тогда как злоупотребление властью, всегда обращаясь во вред не сильному, а слабому, не имеет по своей природе ни меры, ни узды, ни пределов: оно прекращается лишь вместе с уничтожением того, кто один страдает от такого злоупотребления. Скажем, следовательно, что нужно, чтобы бразды Правления находились в руках малого числа лиц, а право надзора за ним принадлежало всему народу; и, что если злоупотребление неизбежно как с одной, так и с другой стороны, то все же лучше, чтобы народ был несчастным по своей вине, чем угнетаем, находясь под властью кого-либо другого.

Первый и самый главный интерес всего народа всегда состоит в том, чтобы соблюдалась справедливость. Все желают, чтобы условия были одинаковы для всех, а справедливость и есть такое равенство. Гражданин желает только, чтобы существовали законы и чтобы они соблюдались. Каждый частный человек, принадлежащий к народу, хорошо знает, что если исключения и бывают, то они не в его пользу. Таким образом, все опасаются исключений; а кто боится исключений, тот любит Закон. У правителей же это совсем иначе: само их положение является привилегированным; и они повсюду ищут для себя привилегий<sup>xv</sup>. Если они желают иметь законы, так не для того, что-

<sup>xv</sup> Справедливость в народе является добродетелью, присущей его положению точно так же, как насилие и тирания в начальниках есть порок, свойственный их положению. Если бы мы, частные лица, оказались на их месте, то мы сделали бы, подобно им, насильниками, захватчиками, людьми, творящими беззаконие. Поэтому, когда магистраты начинают нам расхваливать свою честность, умеренность, справедливость, они нас обманывают, если хотят завоевать таким образом наше доверие, которое мы им не обязаны оказывать. Не то чтобы они не могли обладать лично этими добродетелями, которыми хвалятся; но тогда они представляют собой исключения, а Закон никак не должен принимать во внимание то, что является исключением.

бы им повиноваться, а для того, чтобы властвовать над ними. Они желают иметь законы, чтобы самим стать над ними и внушить страх к себе их именем. Все им благоприятствует в осуществлении этого: они пользуются правами, которыми обладают, чтобы присвоить себе без риска те права, которыми не обладают. Поскольку они всегда говорят от имени Закона, даже его нарушая, тот, кто осмеливается защищать Закон от них, считается бунтовщиком, мятежником и должен погибнуть. Они же всегда уверены в безнаказанности своих предприятий, и самое худшее, что с ними может случиться, — это, что они не преуспеют в осуществлении своих планов. Если они нуждаются в поддержке, то всюду ее находят. Объединение сильных есть явление естественное; а слабость слабых состоит в том, что они не могут объединиться таким же образом. Такова уж судьба народа, что, как внутри него самого, так и вовне, его судьями оказываются тяжущиеся с ним стороны. Ему повезло, если среди них ему удастся найти судей в достаточной мере справедливых, чтобы они стали защищать его вопреки их собственным правилам, вопреки столь свойственной человеческому сердцу склонности предпочитать и поощрять интересы, подобные нашим собственным! Вы однажды обладали этим преимуществом, что было вопреки всякому ожиданию. Когда Посредничество было принято, считали, что вы будете раздавлены. Но вы получили просвещенных и твердых защитников, неподкупных и великодушных Посредников, и тогда справедливость и истина восторжествовали. Если бы вам посчастливилось так еще раз! Тогда на вашу долю выпало бы очень редкое счастье, но ваши угнетатели, по-видимому, почти совершенно не опасаются этого!

Разрисовав вам все воображаемые беды, могущие произойти от применения права, столь же древнего, как и ваша конституция, права, которое никогда не вызывало никакой беды, прикрывают, отрицают беды, порождаемые присвоенным себе новым правом, а эти беды ощущаются уже сейчас. Признавая по необходимости, что Правительство может злоупотреблять негативным правом вплоть до самой невыносимой тирании<sup>143</sup>, утверждают, что не произойдет того, что происходит, и превращают в невероятную возможность то, что происходит сейчас на ваших глазах. Осмеливаются утверждать<sup>144</sup>, что никто не скажет, будто нынешнее Правительство не отличается справедливостью и мягкостью; и заметьте, что это говорится в ответ на Петиции, в которых содержатся жалобы на несправедливости и насилия нынешнего Правительства. Вот что можно назвать поистине прекрасным стилем; это — красноречие Перикла<sup>145</sup>, который, потерпев в борьбе поражение от Фукидида, докazuje зрителям, что, наоборот, тот был им побежден.

Таким образом, владея без всякого на то повода чужим имуществом<sup>146</sup>, заключая в тюрьмы без основания невинных<sup>147</sup>, пороча, не выслушав его, одного гражданина<sup>148</sup>, незаконно судя другого<sup>149</sup>, защищая непристойные книги<sup>150</sup>, сжигая те, которые дышат добродетелью, преследуя их авто-

ров, утаивая подлинный текст законов, отказывая в удовлетворении самых справедливых требований, проявляя самый жестокий деспотизм, попирая свободу, которую они должны были бы защищать, угнетая отечество, которому они должны были бы быть отцами, эти господа сами себя расхваливают за великую справедливость выносимых ими приговоров; они приходят в восторг от мягкости своего управления; они смело утверждают, что все с ними в этом согласны. Однако я весьма сомневаюсь, чтобы таково было также и ваше мнение; и я, по крайней мере, убежден в том, что Петиционеры думают не так.

Пусть частный интерес не делает меня несправедливым! Из всех наших склонностей это та, которой я наиболее остерегаюсь, и я полагаю, что не дал ей ни в коей мере собою овладеть. Ваш магистрат справедлив в вопросах, для него безразличных; я думаю, что он даже склонен всегда быть справедливым; должности у него малоходные<sup>151</sup>; он оказывает правосудие, а отнюдь не торгует им; он лично неподкупен, бескорыстен; и я знаю, что в столь деспотическом Совете царят еще прямотушие и добродетели. Указывая вам на последствия применения негативного права, я меньше говорил вам о том, что магистраты будут делать, став носителями верховной власти, чем о том, что они будут продолжать делать, дабы стать носителями такой власти. Как только они будут признаны таковыми, в их интересах будет всегда блюсти справедливость; и уже сейчас их интерес чаще всего состоит именно в этом<sup>152</sup>. Но горе всякому, кто осмелится призывать на помощь еще и законы и требовать свободы! Против этих несчастных все становится дозволенным и законным. Справедливость, добродетель, даже личный интерес никак не смогут устоять перед стремлением господствовать; и тот, кто будет справедлив, став господином, не останавливается ни перед какой несправедливостью на пути к тому, чтобы им стать.

Подлинный путь к тирании состоит отнюдь не в том, чтобы открыто покушаться на общее благо: это означало бы поднять всех на его защиту; но в том, чтобы последовательно нападать на всех его защитников и запугивать всякого, кто посмел бы даже только стремиться стать таким защитником. Внутрите всем, что интерес всего народа не есть чей-либо личный интерес, и уже одним этим будет установлено рабство; ибо, когда каждый окажется под ярмом, где же будет общая свобода? Если кто-либо, осмеливаясь заговорить, будет тотчас же раздавлен, кто же пожелает ему подражать? И что же будет органом всей общей массы, когда каждый индивидуум будет хранить молчание? Правительство будет жестоко преследовать тех, кто станет проявлять рвение, и будет справедливо по отношению к другим до тех пор, пока не сможет быть безнаказанно несправедливым по отношению ко всем. Тогда справедливость Правительства обратится уже в расчетливость, дабы без оснований не расточалось его собственное достоиние.

Следовательно, с одной стороны, Совет справедлив и должен быть таковым ради своей выгоды, а с другой — он возвел в систему быть в высшей сте-



пени несправедливым, и тысячи примеров должны были вас научить, насколько слабою для вас защитою от ненависти магистрата суть законы. Что же произойдет, когда, став единственным, безраздельным господином в силу своего негативного права, он ничем не будет стеснен в своих действиях и не будет встречать препятствий для своих страстей? В столь малом Государстве, где никто не может сокрыться в толпе, кто же тогда не будет пребывать в постоянном страхе и не испытывать ежеминутно несчастье иметь своими господами тех, кто ему равен? В больших Государствах частные лица слишком далеко находятся от своего государя и правителей, чтобы те могли их видеть; их спасает их незначительность; и если народ платит, то его оставляют в покое. Но вы не сможете сделать ни одного шага, не ощутив тяжести ваших цепей. Родственники, друзья, покровительствуемые лица, шпионы ваших господ будут в еще большей степени вашими господами, чем они сами; вы не посмеете ни защищать свои права, ни требовать того, что вам принадлежит, из страха нажить себе врагов; самые темные тайники не сокроют вас от тирании; нужно будет неизбежно стать либо ее приверженцем, либо ее жертвой. Вы будете ощущать и политическое рабство и рабство гражданское; вы едва будете сместь свободно дышать. Вот, сударь, к чему должно естественным образом привести вас применение негативного права в том виде, в каком его присваивает себе Совет. Я не думаю, чтобы он пожелал применить его столь пагубным для вас образом; но он, несомненно, это может сделать; и одна уверенность, что он может быть безнаказанно несправедлив, заставит вас испытать те же муки, как если бы он действительно был таковым.

Я показал вам, сударь, состояние вашей конституции таким, каким оно представляется моим глазам. Из сказанного мною следует, что эта конституция, взятая в целом, хороша и здрава и что, ограничивая свободу необходимыми для нее пределами, она в то же самое время упрочивает ее в той мере, в какой это только возможно. Ибо из того, что Правительство обладает негативным правом, обращенным против нововведений Законодателя, а народ обладает негативным правом, обращенным против превышений власти Советом, следует, что царят только законы и что они царят над всеми. Первый человек в Государстве подчинен им в той же мере, что и последний; никто не может их нарушать; никакой частный интерес не может их изменять; и конституция остается незыблемой.

Но если, напротив, служители законов становятся единственной над ними властью и могут заставлять их говорить или молчать по своему усмотрению; если право Петиций, этот единственный залог законов и свободы, представляет собой лишь призрачное и пустое право, не могущее ни в коем случае иметь какую-либо силу, то я не вижу рабства, которое могло бы сравниться с вашим; и ваше представление о свободе — тогда лишь только презренный и ребяческий обман, который даже непристойно предлагать здравомыслящим людям. Для чего тогда нужно созывать Законодателя, раз

воля Совета — это единственный Закон? Для чего нужна официальная церемония избрания магистратов, которые уже заранее ваши Судьи и получают от этого избрания власть, которую они осуществляли и до этого? Подчинитесь добровольно и откажитесь от этих детских игр, которые, превратившись в пустую трату времени, только унижают вас еще лишний раз.

Это положение, являясь наихудшим из тех, в какое только можно попасть, имеет только одно преимущество — оно может измениться лишь к лучшему. Это единственное средство выбраться из пучины бедствий; но это средство всегда действенно, когда люди, наделенные умом и сердцем, его знают и умеют им воспользоваться. Пусть укрепляет вас в ваших поступках уверенность в том, что нельзя пасть ниже, чем вы пали! Но будьте уверены, что вам не удастся выбраться из пропасти до тех пор, пока вы не перестанете оставаться разьединенными, до тех пор, пока одни будут желать действовать, а другие — пребывать в покое.

Вот, сударь, я и дошел до конца этих *Писем*. Показав вам то состояние, в котором вы находитесь, я не стану вам указывать пути, которым вам нужно следовать, чтобы из этого состояния выйти. Если такой путь существует, то вы и ваши сограждане у себя на месте должны лучше его видеть, чем я. Если знаешь, где находишься и куда должен идти, то можешь двигаться без труда.

Автор *Писем* говорит, что «если в каком-либо Правительстве замечается склонность к насилию, то не нужно ждать для ее пресечения, чтобы в нем укрепилась тирания»<sup>xvi</sup>. К сказанному он добавляет, предполагая случай, который считает, в сущности, химерой, что «остается еще одно печальное, но законное средство, к которому можно было бы прибегнуть в этом крайнем случае, как прибегают к хирургической операции при появлении гангрены»<sup>xvii</sup>. Я как раз и рассмотрел, подходит ли ваше положение или нет под определение такого предположительно химерического случая. Следовательно, мой совет вам здесь больше не нужен; автор *Писем* дал вам его за меня. Все средства протестовать против несправедливости дозволены, когда они бывают мирными; а тем более дозволены те, которые разрешены законами.

Когда законы нарушаются в отдельных случаях, вы можете прибегать к вашему праву Петиций. Но когда оспаривается само это право, нужно прибегать к Гарантии. Я не включил ее в число средств, могущих сделать любую Петицию действенной. Сами Посредники не пожелали этого сделать; ибо они заявили, что не желают нисколько посягать на независимость Государства; ибо тогда они положили бы, так сказать, ключ к Правительству

---

<sup>xvi</sup> Страница 172.

<sup>xvii</sup> Страница 101.

в свой карман <sup>XVIII</sup>. Таким образом, в отдельных случаях отклоненные Петиции могут иметь своим последствием созыв Генерального Совета; но непризнание самого права Петиций, по-видимому, дает основание прибегнуть к Гарангии. Нужно, чтобы машина содержала в самой себе все пружины, приводящие ее в действие, но когда она останавливается, надо звать рабочего, чтобы он ее исправил <sup>153</sup>.

Я слишком хорошо вижу, к чему ведет применение этого средства, и я чувствую, как сжимается от этого мое сердце патриота. Потому, повторяю, я не предлагаю вам ничего; да и что могу я вам осмелиться сказать? Советуйтесь с вашими согражданами и подсчитывайте голоса только лишь после того, как вы их взвесите. Опасайтесь беспокойной молодежи, наглого богатства и продажной нищеты; от них нельзя ожидать никакого спасительного совета. Советуйтесь с теми, кого порядочность умеренного достатка ограждает от соблазнов честолюбия и от нищеты; с теми, чья почтенная старость венчает безупречную жизнь; с теми, кого долгий опыт научил разбираться в общественных делах; с теми, кто, не питая честолюбивых замыслов, заключающихся в стремлении играть видную роль в Государстве, довольствуется положением его граждан; наконец, с теми, кто, не преследуя никогда в своих поступках иной цели, как только благо отечества и сохранение законов, заслужил своими добродетелями уважение общества и доверие людей, им равных.

Но главное — объединяйтесь все! Вы неизбежно погибнете, если будете оставаться разделенными. И почему бы вам разъединяться, когда вас объединяют столь значительные общие интересы? Как, при подобной опасности, осмеливаются поднимать голос низкая зависть и мелкие страсти? Стоят ли они того, чтобы их удовлетворяли столь дорогой ценой, и нужно ли, чтобы вашим детям когда-нибудь пришлось сказать, плача над своими цепями: «Вот плоды разногласий наших отцов!»? Одним словом, здесь важно не столько обсуждать, сколько пребывать в согласии. Выбор решения, которое вы примете, — это не самое важное дело; пусть оно будет само по себе плохим, но принимайте его все вместе; уже только поэтому оно будет наилучшим; и вы всегда сделаете то, что нужно сделать, если вы это сделаете сообща. Вот мое мнение, сударь, и я кончаю тем, с чего начал. Повиняюсь вам, я выполнил свой последний долг по отношению к отечеству. Теперь я прощаюсь с теми, кто в нем живет <sup>154</sup>. Они больше не смогут мне причинить ничего дурного; а я уже больше не могу сделать для них ничего хорошего <sup>155</sup>.

---

<sup>XVIII</sup> Последствием такой системы было бы учреждение суда Посредничества, находящегося в Женеве, занимающегося разбором дел по нарушению законов. В результате деятельности этого суда суверенитет Республики был бы вскоре уничтожен, но свобода граждан была бы обеспечена гораздо более, чем она может быть обеспечена, если отменить право Петиций. Однако быть сувереном лишь по названию значит не много; но быть свободным на деле значит многое.

## ФРАГМЕНТЫ И НАБРОСКИ



### О БОГАТСТВАХ<sup>1</sup>

О дорогой мой Хризофил!<sup>2</sup> Я прихожу в такое восхищение от картины близкого твоего счастья, которую мы начертали, когда беседовали с тобой в прошлый раз, что не могу не поддаться желанию еще раз на нее оглянуться: посему давай, прошу тебя, нанесем на эту картину последние штрихи, и придадим такое очарование ее образу, чтобы сердце твое никогда не прекращало являть тебе в оной цель и дабы мое сердце, созерцая эту картину, заранее наслаждалось радостью видеть тебя счастливым.

Признаюсь тебе без обиняков: до сих пор я смотрел на тебя лишь как на честолюбивого юношу, готового немалые дарования принести в жертву ради надежды приобрести крупное состояние и пожертвовать сокровищами, полученными от природы, ради тех сокровищ, которые приносит с собою мнение общества. Мне нравилось с тобою встречаться, я спешил, так сказать, насладиться радостями твоей беседы, подобно тому, как спешишь отдохнуть под сенью юного и прекрасного дерева, которое вот-вот будет срублено, и всякий раз, расставаясь с тобою, я говорил со вздохом: «Он мог бы стать человеком. но хочет богатства».

Но сколь удивлен я был и очарован, когда ты открыл мне всю глубину своего сердца, и я увидел в нем достойный любви и чистый источник той жадности, что меня неприятно поражала; и сколь корил я себя от всего сердца за свою несправедливость, когда та слабость, в коей я тебя обвинял, пока-

залась мне в тебе лишь еще одним основанием для того, чтобы ты стал достоин моего уважения!

Да, рек ты мне тоном, проникшим мне в душу, я стремлюсь к богатству, но для того лишь, чтобы исправлять вызванные им несправедливости. Я стеснаю при виде несчастных, чьи беды я не могу облегчить; я корю себя за то, что питаю к ним лишь бесполезную жалость, и я ненавижу такое положение, когда человечность не может иметь никакого действенного проявления.

Конечно, добавляя ты, я придаю цену богатствам, поскольку они употребляются на то, чтобы облегчить другим бремя бедности; и золоту, с помощью которого можно купить блага неоценимые. Будьте покойны, сколько бы сокровищ я ни мог приобрести, мне никогда не будет их доставать для совершения всего того добра, которое я желал бы совершить. Признаюсь тебе откровенно: такая речь, идущая из глубины твоего сердца, чуть было не поколебала мое окончательно. Я понимаю, что та бедность, которою я так гордился, в действительности хуже, нежели хорошее материальное положение, когда к желанию принести пользу добавляются средства, позволяющие ее принести, и, быть может, гораздо прекраснее пристойно пользоваться богатствами, нежели уметь без оных обходиться. Богач благодетель видится мне проводником воли божества в этом мире, гордостью рода человеческого и подражателем Провидения, коего богач очерстневший есть лишь орудие.

Я замечаю, что чем больше размышляю я над твоими благими чувствами, тем больше теряю из того счастья, коим я наслаждался в своем положении: я лишен той надежды, что поддерживает твоё рвенье и которая могла бы меня утешить, и посему желанье облегчить другим бремя их бедности побуждает меня не столь терпимо нести бремя бедности своей, и я опасаясь, как бы, твердя мне столь настоятельно о том добре, которое хочешь ты сотворить когда-нибудь в будущем, ты не причинил мне нечаянно реального зла в настоящем.

Несколько успокаивает меня в этом отношении то, что, хотя многие бедняки думают так же, как я, мне никогда не приходилось встречать ни одного богача, который следовал бы таким же принципам. Я подозреваю, что, очевидно, должны существовать такие причины, которые заставляют людей менять образ мыслей, когда изменяется их положение, и которые отнимают у них желанье творить благо, когда они получают такую возможность. Позволь же мне прояснить вместе с тобою свои сомнения и проследовать за тобой по пути к богатству, как если б я был на твоём месте или же как если бы ты был не хуже меня, не для того, однако, чтобы отвратить тебя от твоих добрых замыслов, но в утешенье мне, что не могу я сам задумать ничего подобного.

Первое, что я замечаю, приступая к такому рассмотрению, это огромное расстояние между богатством и бедностью, причем я не знаю, чем заполнить это пространство; ибо ты мне много рассказывал о том, как станешь себя вести, когда разбогатеешь, но ничего не сказал мне о том, что ты будешь делать, обогащаясь. Между тем, помышляя столь загодя о другом конце жизни, ты не должен, как кажется мне, забывать о ее течении, и мне кажется, что

недостаточно рассуждать о конце твоего путешествия, если не разведаетшь ты также и пути. К примеру, прежде нужно обратить некоторое внимание на то, какими ты желаешь воспользоваться орудиями, дабы достичь своей цели: ибо поскольку ты ставишь себе задачей использовать те богатства, которые приобретаешь, иначе, нежели пользуются ими люди обычные, ты не должен, мне кажется, использовать обычные пути их приобретения, чтобы не вступить с первых же шагов в противоречие с самим собою. Посему, дабы возвысить богатства тем употреблением, какое ты хочешь из них сделать, необходимо, чтобы прославление оных начиналось с самого их возникновения и чтобы источник их был столь же чист, сколь пристойным должно быть их применение.

Я не боюсь, что ты соблазнишься незаконными путями к богатству; я знаю, что твои друзья и занятия позволят тебе, не творя несправедливости, получить весьма немалые доходы. Но мне трудно понять, как сможешь ты накопить эти доходы, не отступая от своих принципов, или же, сколько времени должен будешь ты быть безжалостным, чтобы стать в один прекрасный день благодетелем.

Скажи мне, Хризофил, остановится ли для тебя ход жизни в течение всего времени твоего постепенного возвышения? Разве не будет существовать ни бед, которые необходимо облегчить, ни бедных, которым необходимо помочь, до тех пор пока тебе не останется желать ничего большего? Или же придется до той поры отказывать в помощи любому честному человеку, изнемогающему под бременем несчастья, от которого ты мог бы его избавить? «Друг мой, из чувства человечности я должен оставить Вас погибать: ибо у меня нет еще тех ста тысяч ливров дохода, которые мне нужны, чтобы Вам помочь. Я жесток, это правда, и я сейчас не дам и одного экю, чтобы спасти весь человеческий род; но воротитесь через тридцать лет, когда я буду богат, и Вы увидите, какой я буду благодетель». Сколь странный путь к добру — начинать с того, чтобы делать зло, и к добродетели — через все убивающие ее пороки! Неужели ты думаешь, что сладостный голос природы все также удостоит звучать в твоей груди, после того, как ты был глух к нему столь долго? Неужели ты думаешь, что тридцать лет очерствения позволят тебе после этого срока открыть свое сердце для жалости, а кошелек — для несчастных бедняков? <sup>3</sup> О, мой друг! если хочешь ты стать человеком лишь в старости, заручись чтобы природа позволила тебе дожить до старости, дабы, обманувшись в своих ожиданиях, ты не окончил свои дни, не успев подобреть, и не умер бы, не успев пожить! Воистину, глубокое презрение должен ты питать к трусости того императора, кто столь сожалел о потере одного только дня <sup>4</sup>, ты, который с самого начала сбрасываешь со счетов весь срок твоей молодости и три чет верти дней своей жизни, о которых в самом лучшем случае можно сказать, что они лишь потеряны.

Учти, сверх того, что, помимо риска умереть прежде времени, ты рискуешь также и тем, что твои старания могут не увенчаться успехом. Ведомо ли

тебе, что во всем том, что касается до фортуны, она сильнее, нежели рвенье и старанье? Подобно своенравной красавице, она бежит тех, кто гонится за нею, и преследует тех, кто ее презирает. Бденье, дарования и даже удача не могут надежно обеспечить ее благосклонность. Причудница временами бросает Аристиппа ради Диогена<sup>5</sup> и приемную финансиста ради пыльного кабинета философа. Лейбниц умрет в достатке, а Лас — в бедности<sup>6</sup>. Кто же может тебе поручиться за то, что исход будет благополучным? Сколь дерзко рассчитывать в том, что касается до исполнения своих обязанностей, на успех, столь мало зависящий от тебя самого, или же какое безрассудство в такой мере основывать на счастливом исходе сомнительного дела все то, что должно быть честного и человеческого во всех делах твоей жизни? Несчастный! Смеешь ли ты подобным образом обрекать превратностям судьбы добродетели в связи с богатством? Если ты умрешь прежде времени или если небо не благословит твоего труда, твоя юность, растраченная в напрасной погоне за химерою, облетит последние дни твоей жизни позором и отчаянием. Какой ужасный удел — пожертвовать всем ради богатств, которые не удалось обрести, прожить жизнь подобно алчному ростовщику и умереть бедным и покинутым подобно моту, не унеся с собой в могилу ни благословений других людей, ни удовлетворения самим собою и, умирая, не осчастливить по крайней мере одного человека.

Вы теперь человек бедный и порядочный. Но знаете ли Вы, во что превратитесь, разбогатеет? Ведомо ли Вам, что мысли Ваши и принципы помимо Вашей воли изменятся, когда изменится Ваше положение, и что помимо Вашей воли, когда не будете Вы тем, что Вы есть сейчас, Вы перестанете думать так, как думаете сейчас.

Я бы хотел, говорите Вы, разбогатеть, чтобы давать доброе применение своим богатствам, и если я желаю себе благосостояния, то лишь для того, чтобы иметь возможность творить благо и помогать несчастным. Как если бы первое благо не состояло в том, чтобы не творить зла! Как это возможно обогатиться самому, не содействуя этим обеднению других людей, и что сказали бы о человеке-благотворителе, который сначала обобрал бы всех своих соседей, чтобы затем иметь удовольствие подавать им милостыню! Вас, кто так рассуждает, кем бы Вы ни были, я объявляю обманутым или лицемером: либо Вы пытаетесь обмануть других, либо же сердце Ваше обманывает Вас самих, скрывая от Вас скупость Вашу под личиною человечности.

Приобретши с помощью несправедливого пути возможность творить в один прекрасный день благодеяния, ты поступишь, как те ревностные богомольцы, которые свято крадут у ближнего своего, дабы воздавать дары Богу.

Но если даже предположить все это и если бы можно было примирить привычку к черствости с целью благотворительности, какою точно ступенью обозначишь ты предел своему богатству! Какое будет у тебя серьезное основание удовлетвориться одним его пределом, а не другим? Какие границы най-

дешь ты в природе вещей, когда бы ты мог сказать по совести: довольно ли? Увы! Если хочешь ты быть в состоянии исправлять все беды, что причинят люди тебе подобные, если хочешь так жить, чтобы власти твоей хватило настолько, насколько далеко простираются наши несчастья, тогда видится мне, как, ненасытный и жестокосердный вплоть до конца своих дней, ты все копишь и копишь без краю, ибо недостает тебе богатства, чтобы изливать благодеяния, и умираешь, подавленный грузом золота, лет и скупости, ни разу не найдя ни времени, ни средств сделать хоть кому-нибудь добро.

Трудись же, будь ревностен и проворен, доставляй себе сколь возможно больше, но трать соответственно; слепи пользоваться своими достатками, воздавая бедняку, и сразу же обращай сии низкие деньги в добрые дела. Но независимо от твоей воли обязательно должно будет пройти некоторое время между тем моментом, когда суммы к тебе поступят, и тем, когда ты их раздашь. О Хризофил! бойся сего опасного промежутка, дрожи, как бы ты ни прельстился соблазном злоупотреблять этим священным залогом, и помни, что чем больше стойкость человека, тем меньше властны над ним искушения.

Образ мыслей людей во многом зависит от того, с кем им приходится жить, и от того, какие им приходится преодолевать искушения. Трудно сохранить верность таким принципам, которые беспрестанно подрываются, и всем тем, что нас окружает, и теми страстями, что внутри нас. Состояние, в котором ты живешь, позволяет, чтобы голос чести и правды доходил до тебя непрестанно, роскошь же, коей не можешь ты наслаждаться, мало тебя привлекала; но не найдется, что так будет тогда, когда умеренность будут тебе выставлять премудростью школьною, когда надежда их осуществить даст силу всем твоим желаньям. когда презреть придется и притягательную силу мающих наслаждений, и непрерывные насмешки тех, кто будет равен тебе, и когда всем твоим добрым человеческим чувствам без конца будут противопоставлять то, что приличествует твоему новому состоянию. Посему, как только ты разбогатеешь, тебе по необходимости придется выбирать между тем, чтобы жить как богач и быть неумолимым, и тем, чтобы жить как бедняк и выглядеть смешным. А в том положении, в какое поставлен ты небом, ты можешь жить скромно, не унижаясь, и исповедовать добродетель, без борьбы за нее. Подобное преимущество считаешь ли ты за ничто? К тому же все те суммы, которые со временем придется затрачивать на твое содержание, сейчас распределены внутри общества и, быть может, приносят в нем без твоего участия больше пользы, нежели ты мог бы принести сам, когда эти суммы приобретешь, — еще одно соображение, придающее некоторый вес предыдущему.

Но поверь мне, дорогой Хризофил, что либо выгода твоя подскажет тебе софизмы, убедительные для твоей добродетели, либо ты никогда не накопишь больших богатств.



Но посмотрим покуда, какие же чудеса совершишь ты с помощью своих сокровищ? Если послушать тебя, то можно подумать, что только богач может быть благодетелем и что нам всем, беднякам, не дано наслаждение когда-либо совершить самый сладостный акт человечности.

Если послушать, как ты говоришь о тех преимуществах, которые достаток дает человечности, разве не покажется, что нельзя творить благо иначе, как с помощью денег? Такое мнение больше подобает тому, кто считает, что высшее блаженство в его сундуках, нежели тому, кто ищет его в благах подлинных.

Большие потребности порождаются крупными состояниями, мудро говорил Фаворинус<sup>7</sup>, и нередко наилучшее средство дать себе то, в чем нуждаешься, состоит в том, чтобы отнять у себя то, чем обладаешь в избытке.

Что же сделал он для меня? Он дает мне пропитание. Э, да разве не жил бы я и без него? Нет, он не дал мне жить, он заставил меня томиться и умирать в самом позорном рабстве. Он опозорил меня и унизил, он погасил во мне всю гордость, присущую незаурядному уму, он вскормил меня не столько хлебом, сколько поруганиями, а жизнь, которую я вел в его постылом доме, сотни раз заставляла меня желать смерти... Но я-то, что сделал я для него в то же время? Я питал его тщеславие, я избавил его задубелую душу от пресыщенности самой собою, я оживил ее за счет своей собственной. Тогда как мое содержание обременяло лишь его кошелек, я ради него исчерпал свои старанья, свои таланты, свою свободу, свое естество; за деньги он выпил мою кровь и жизнь и притязал, что дает мне пропитание.

Я знаю, что самые совестливые из тех низких людей, которых зовут порядочными, столь презирают тонкость чувств, и что с такою удобною для них честностью, гордые тем, что не совершат никогда очевидной несправедливости, они, однако, не гнушаются таких прибытков, которые, не выходя незаконными, тем не менее чинят вред другим людям. Но ты, мой дорогой Хризозифил, с твоими возвышенными взглядами, что возлагают на тебя долг более суровый, ты знаешь, что первое, какое надлежит творить добро — в том, чтобы никому не творить зла, и что от законов справедливости еще очень далеко до законов добродетели. Сколь законным бы ни был твой прибыльток, другие, кто, быть может, больше в нем нуждаются, могли бы получить его вместо тебя, и разве, в сущности, ты не отнимаешь у них, если поступаешь им во вред. Я вижу, следовательно, что во всех твоих делах тебя постоянно занимает опасение, как бы кому-нибудь не повредить, сам того не зная; и я не могу себе вообразить, как ты сможешь когда-либо успокоить себя насчет этого сомнения, невыносимого для всякой души благодетельной: как бы печально не причинить несчастья другим людям.

Если нельзя быть истинно человеческим и оставаться богачом, как же можно быть человеческим и обогащаться?

Богатства. Их желают, чтобы дать им доброе применение, но им не дают такого применения, когда ими обладают.

Когда считаешь, что ты выше бед человечества, не чувствуешь уже, когда такие беды постигают других людей.

Я поостерегся бы выставлять такие препятствия перед человеком заурядным, и я прекрасно знаю, что он посмеется надо мною; но что до тебя, который хочет стать добродетельным и кто лишь для того только и стремится к богатству, то тебя эти препятствия касаются, и ты должен их преодолеть.

...Я полагаю, что ты не ответишь мне, что лучше ты сам к своей выгоде делаешь то, что кто-либо другой все равно сделает, если ты откажешься, ибо это значило бы, что ты гордишься тем, что ты не последний из людей, и тем, что ты отрекаешься от добродетели до тех пор, пока на свете не будет людей злых и дурных.

Многие почтенные люди легко признаются мне, что лучше уж они сами воспользуются плодами мошенничеств, которые совершили бы другие люди, будь они на их месте: таковы скромные признания всякого, кто считает себя достаточно добродетельным, чтобы не принадлежать к самым несчастным среди людей, и кто считает себя обязанным быть справедливым лишь после того, как справедливыми станут все. О Хризофил! если б знал я сердце твое достаточно, мне не нужно было бы опровергать подобные извинения, ибо у тебя никогда не хватило бы духу придумать такое.

Умножайте число железных дверей, запоров, цепей, стражей и надзирателей, возводите повсюду виселицы, колеса, эшафоты, изобретайте ежедневно новые пытки, ожесточайте свою душу видом всех страданий немощных, создавайте кафедры и коллежи, где учат лишь тем правилам, которые вам подносят; привлекайте все новых писателей, платите им, чтобы воровство бедняка покрыть еще большим позором, а к воровству богача пробудить еще более безнаказанность; придумывайте каждодневно всё новые отличия, дабы у одного узаконить, а у другого покарать одни и те же действия под разными именами. Но будьте покойны, что ваше ненасытное вожделение послужит лишь для того, чтобы питать вожделения других людей; ваши мошенничества лишь соберут вокруг вас множество других мошенников, которые воздадут вам такими же мошенничествами, несмотря на все ваши старания и ваш опыт; толпа падших женщин, низких орудий ваших наслаждений, омерзенье оных сносить будет лишь для того, чтобы за ваш счет вознаградить себя с презреннейшими из ваших клиентов; вашу чувственность напичкает пища, наихудшая в своем роде; на столе вашем появятся лишь отбросы стола людей скромных, что сами доставляют себе пищу. Ваши жадные слуги за высокую цену подадут вам подкрашенного навозу, и вы, с вашим извращенным вку-

сом, этого даже не узнаете, а прихлебатели ваши не посмеют пожаловаться; и те, и другие втайне посмеются при виде того, как хозяин дома, то есть арбитр вкуса, испступленно отравляет самого себя, добродетельно наслаждаясь, вкушая испорченные блюда, тем, что они обошлись ему столь дорого. Между тем ваше состояние, дурно приобретенное и еще более дурно управляемое, будет растрчено в погоне за счастьем, бегущим вас непрестанно; от этого добра вам останутся лишь угрызения совести насчет его источника и сожаленье о его потере. Старанья ваши будут обмануты, двери ваши — высажены, засовы — взломаны, сундуки — вскрыты. Все принятые вами предосторожности обернутся лишь к вашему разоренью, и если вам случайно встретится добродетельный человек, на которого вы могли бы положиться, сразу же сотня мошенников вступит в сговор, чтобы навлечь на него подозренье и чтобы им было удобнее вас обкрадывать. Окруженный людьми с заgreбушими руками, вы не сможете следить ни за одним из них, не выпуская из вида тысячи других; все примет у вас перед глазами формы, противные действительности; все будет вам говорить лишь о привязанности, и все будут вас ненавидеть; вашу непреклонность не поколеблют люди добродетельные, лишь лесть пройдох сможет тронуть ваше сердце; единственные, кто сумеет пробудить вашу жалость, это те презренные, которые ничьей жалости не заслуживают. Даже оказываемые вами благодеяния, порочные в источнике их и в распределении, явят собою лишь новые преступления; наконец, тысячи коварных и подлых друзей захотят, казалось бы, пролить кровь на вашей службе и умереть за вас в случае необходимости, на деле же они втайне будут надеяться увидеть лишь желанный миг вашей агонии. И не рассчитывайте даже, что они будут ждать, дабы вас покинуть, чтобы вы не могли этого уже заметить; их жадность не оставит им для того времени, и ни для кого из вас смерть не жальится, предупредив это удручающее зрелище; вы увидите, что эти люди гонятся лишь за тем, что их к вам привязывало! ограбленный еще при вашей жизни и у себя на глазах, вы умрете всеми покинутым бедняком, потому что жили богачом, прославляемым всеми; и, дабы выразить в немногих словах то, что в вашей судьбе всего ужаснее, — при всех бедах, что обрушиваться будут на вас непрестанно, если иногда и покажется, что выгода принимает вашу сторону, сама человечность возрадуется, взирая на ваши несчастья.

Жестокие смущенья посеют печаль в твоей душе в разгар наслаждений. Среди самых шумных твоих пиров, тысячи горьких воспоминаний, тысячи гибельных угрызений вскричат в глубине твоего сердца громче, чем все приглашенные тобою гости. Сколько раз с трудом сдерживаемые слезы, навертываясь на твои глаза, в один миг прогонят то притворное веселье, которое все старались проявлять за столом! Сколько раз представится тебе, что вместо благоуханного вина, наполняющего твой кубок, ты пьешь кровь тех несчастных, за которых ты упрекаешь себя в том, что сделал их такими. И если кары явятся тебе вот так, среди наслаждений, что же тебе останется, чтобы отразить их приступ?

И не думай, что это наихудшее из состояний, до которого тебя может низвести мягкость к себе и жестокость к другим. Сожаленья и угрызения совести содержат в себе, сколь бы ни были они жестоки, еще некоторый, не знаю уж какой, остаток тайного наслаждения души, в которой не угасли еще окончательно любовь к добру и очарование чувства. Бойся превыше всего того омертвения развращенных сердец, того позорного и ужасного паденья, последнего предела отупения и последнего плода той борьбы, которую тупой и бесчувственный богач должен постоянно вести со своею естественною чувствительностью.

Пусть останутся они одни в своих просторных дворцах, и пусть свитою служат им лишь угрызения совести и тоска. И раз так любят они раболепие, пусть окружают их одни только слуги!

Он взирает без жалости на тех несчастных, обремененных непрерывной работой и получающих за нее едва лишь кусок черствого черного хлеба, что служит им для продленья бедственного их существования. Он не находит ничего странного в том, что доход распределяется обратно пропорционально труду и что жестокий и сладострастный бездельник жиреет на поте миллион несчастных, истощенных тяжелым трудом и нуждою. Таково их состояние, они в нем родились, привычка все уравнивает, говорит он, и я не более счастлив под лепным потолком, чем волопас под соломенной кровлей и чем, должен был бы он добавить, даже вол в своем стойле. Но когда речь заходит о тех диких странах, обитатели которых, не ведая трудов и потребностей, живут в постоянной безмятежности? Тогда он нежно скорбит об участи этих несчастных, лишенных естественного блаженства готовить другим жизненные удобства, и ему никак не понять, что можно жить в такой стране, где нет тех почтенных богачей, что столь милосердно сосут кровь народа. В самом деле, как же не предпочесть блестящую участь бедняги, который нам служит, праздности дикаря, которая нам ни к чему? Таковы противоречия, в которые впадают наши так называемые мудрецы, низкие восхвалители богатства, еще более низкие хулители бедности, умеющие к тому же благоразумно прииспосабливать свою философию ко вкусам того, кто за нее платит.

...Но не чрезвычайно ли странно, что эти изнеженные люди, ничего не щадящие ради некоторых мнимых удобств и тратящие порою немало денег, чтобы избавиться себя от шумного соседства, боятся истратить несколько денье, чтобы избавиться от какого-нибудь нищего? Антипатия между богачом и бедняком столь велика, что первый предпочитает доставлять неудобства самому себе, нежели немного облегчить положение второго.

Наименьший из взносов, какой только можно сделать в торговлю благодеяниями, — это деньги.

Вместо того чтобы низменным образом вступить в класс богачей, оставаясь в классе людей достойных и не посягай на то вечное разделение между этими двумя классами, которое установила между ними природа.

Один умеет извлекать свидетельства дружбы только лишь из своего кошелька, тогда как другой щедро расточает свои заботы, время, дарования, чувства, жизнь. И после такого столь неравного разделения неблагодарный богач, кичась несколькими жалкими подачками, смеет еще нагло требовать признательности.

У нас есть дарования, или, по меньшей мере, руки, оставим же этим людям их недостойные богатства и сбережем нашу свободу; поверь мне, Хризофил, их положение будет более затруднительным, нежели наше.

Самое блистательное состояние не может нас оградить от его превратностей: мы никогда не подчиним его себе, пользуясь собственным его оружием. Дабы его победить, нужно использовать иное оружие, лучшей закалки.

...Все это творится с таким блеском, с таким чванством, что тщеславие извлекает из этого пользу прежде, нежели человеческая природа успевает это заметить.

...Это значит, по меньшей мере, засвидетельствовать, что ты сочувствуешь ему в его бедствиях. Ибо в чем разница между тем, чтобы высказать ему это посредством доброго слова или посредством мелкой монеты, если не в том, что последний способ более удобен, более свойственен человеческой природе и менее лжив? Я признаюсь, однако, что еще более удобно вместо всякого ответа лишь пронестись в прекрасной карете мимо бедняка и забрызгать его лицо грязью.

Но хочешь сделать нечто, еще более полезное для человеческой природы? Не стремись к богатству, более того, научись без него обходиться; презирай высокомерие богача и научи людей на примере собственного бескорыстия искать счастья в делах более благородных.

#### [НАБРОСОК ПЛАНА]

Величие народов.	О Торговле.
Правление.	О Путешествиях.
О Законах.	О Пище.
О Религии.	Заблуждения общества.
О Чести.	Развитие наук.
О ф. <sup>1</sup>	Обсуждение Респ[ублики] Платона.

## [О ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ]

## 1

Каждый, кто, искренне отказавшись от всех предрассудков человеческой суетности, серьезно задумается обо всех этих предметах, в конце концов обнаружит, что такие громкие слова, как общество, справедливость, законы, взаимная защита, помощь слабым, философия, прогресс разума, — не что иное, как приманки, придуманные ловкими политиками или льстивыми трусами для того, чтобы обманывать простаков, и, несмотря на все софизмы резонеров, придет к заключению, что наиболее чистым естественным состоянием из всех является то, при котором люди наименее злы, наиболее счастливы и наиболее многочисленны на земле <sup>1</sup>.

## 2

Голос природы и голос рассудка никогда не были бы в противоречии <sup>2</sup>, если бы человек сам не наложил на себя обязательств, которые он, впоследствии, всегда вынужден предпочитать естественному побуждению.

## 3

Но в естественном состоянии обязанности человека всегда подчинены заботе о самосохранении, которая и есть первая и наиболее важная из всех <sup>3</sup>.

## 4

...откуда следует, что нарушить естественный Закон — это не что иное, как необычными и противными естественному порядку действиями создать особое исключение в каком-нибудь из этих общих соотношений.

## 5

Хотя ассоциации, о которых я говорил, только подразумевались, имели лишь одну определенную цель и длились не более необходимости, их породившей, они все же могут дать ему некоторое глубокое представление <sup>4</sup>...

## 6

Однако ссоры были так редки, а взаимная помощь осуществлялась так часто, что из этого свободного общения должно было возникнуть значительно больше доброжелательства, чем ненависти, т. е. такого состояния духа, которое совместно с чувствами сострадания и жалости, запечатленными в сердце каждого, должно было позволить людям достаточно мирно жить в сообществе<sup>5</sup>.

## 7

До тех пор, пока люди сохраняли свою первоначальную невинность, они не нуждались ни в каком ином руководстве, кроме голоса природы; до тех пор пока люди не сделались злыми, они были избавлены от необходимости быть добрыми<sup>6</sup>; ибо большинство бедствий, от которых они страдают, значительно реже исходит от природы, чем от их ближних, поэтому, до тех пор пока человек не испытал соблазна причинить зло другому, благодеяния были почти излишней обязанностью; и можно сказать, что сама добродетель, составляющая счастье того, кто в ней упражняется, извлекает свою красоту и полезность из несчастий рода человеческого.

Но пришло, наконец, время, когда ощущение счастья сделалось относительным и когда потребовалось оглянуться на других, чтобы понять, счастлив ли ты сам. Еще позднее наступило время, когда благополучие каждого индивидуума оказалось в такой степени зависимым от содействий всех остальных и когда интересы переплелись столь тесно<sup>7</sup>, что потребовалось возвести некоторую общую преграду, признаваемую всеми, которая ограничивала усилия каждого, стремящегося устроить свою жизнь за счет других.

## 8

Когда мы рассматриваем естественный порядок, кажется явным, что человек предназначен быть самым счастливым из всех созданий; когда мы рассуждаем, имея в виду теперешнее его состояние, человеческий род кажется наиболее достойным сожаления. И, значит, весьма вероятно, что большая часть бедствий человека — дело его собственных рук<sup>8</sup>, кажется, будто бы он приложил больше усилий, чтоб испортить свое положение, чем природа положила, чтобы сделать его хорошим.

Если бы человек жил в одиночестве, у него было бы мало преимуществ перед остальными животными. Именно во взаимном общении развиваются его наиболее возвышенные способности и проявляется превосходство его натуры<sup>9</sup>.

Забываясь лишь об удовлетворении своих потребностей, он благодаря общению с себе подобными приобретает вместе с познаниями, которые должны его просветить, чувства, которые должны сделать его счастливым. Одним сло-

вом, лишь становясь членом общества, он становится моральной личностью, разумным животным, царем среди животных и подобием Бога на земле <sup>10</sup>.

Но человек может быть весьма разумным существом, даже обладая очень ограниченными познаниями. Ибо, обращая внимание исключительно на интересующие его предметы, он мог рассматривать их очень внимательно и очень правильно сопоставлять, соответственно своим истинным потребностям. С тех пор как его кругозор расширился и он пожелал все узнать, он отказался в своих рассуждениях от такой очевидности, стал уделять гораздо больше внимания увеличению числа суждений, чем ограждению их от ошибок, и стал значительно более рассуждающим и значительно менее разумным существом.

Все эти несоответствия зависят больше от устройства общества, чем от устройства человека <sup>11</sup>, ибо, что представляют собой его физические потребности по сравнению с теми, которые он у себя выработал, и как может человек надеяться, обладая ими, улучшить свое положение, если удовлетворение этих новых потребностей доступно лишь немногим и даже, в большинстве случаев, лишь избранным. и один человек не может ими наслаждаться без того, чтобы тысячи не были лишены этой возможности и не погибали в нищете после многих мук и напрасных страданий.

## 9

Эпохой наиболее постыдных проявлений развращенности и наибольших бедствий человека было то время, когда новые страсти уже заглушили естественные чувства, а человеческий разум еще недостаточно развился, чтобы заменить естественные побуждения правилами благоразумия. Другая эпоха, на первый взгляд менее ужасная, но в действительности еще более пагубная, это та, когда люди, изодрываясь в искусстве рассуждения и безмерно предаваясь ему, дошли до ниспровержения и уничтожения всего учения об обществе и о нравственности. и стали рассматривать моральную систему лишь как приманку в руках умных людей для извлечения выгоды из доверчивости простаков.

## 10

Как только человек начинает сравнивать себя с другими, он непременно становится их врагом <sup>12</sup>, ибо каждый стремится в душе быть самым могущественным, самым счастливым, самым богатым, не может не считать своим тайным врагом всякого, кто имеет те же замыслы и тем самым становится препятствием на его пути. Вот первичное и основное противоречие, которое превращает общественные привязанности в простую видимость, и только для того, чтобы свободнее предпочесть себя остальным, мы делаем вид, будто предпочитаем их себе.



## 11

Изолированный человек] существо столь слабое, или, по крайней мере, силы его настолько соразмерны его естественным потребностям и его первобытному состоянию, что стоит только этому состоянию измениться или его потребностям возрасти, как он уже не может обойтись без себе подобных, и когда в результате дальнейшего развития, его желания распространяются на всю природу, содействия всего рода человеческого едва ли достаточно для их удовлетворения. Вот так те же причины, которые делают нас дурными, превращают нас и в рабов, наша слабость рождается из нашей жадности, наши потребности сближают нас, по мере того как наши страсти нас разделяют, и чем больше мы становимся врагами, тем меньше мы можем обойтись друг без друга <sup>13</sup>.

## 12

Однако, хотя среди людей не существует естественного и всеобщего общества, хотя они становятся злыми и несчастными, приобретая способность жить в обществе, хотя законы справедливости и равенства ничего не значат для тех, кто живет одновременно и в независимости естественного состояния и в подчинении потребностям Общественного состояния, отнюдь не полагая, что для нас нет более ни добродетели, ни счастья и что небо оставило нас без помощи при нравственной гибели рода людского, постараемся извлечь из самого зла лекарство, которое должно его излечить, путем новых ассоциаций исправим внутренний порок общей ассоциации. Пусть наш необузданный собеседник сам будет судьей наших трудов; покажем ему, как усовершенствованное искусство жить совместно исправляет зло, причиненное природе <sup>14</sup> искусством первоначальным; покажем ему всю бедственность того состояния, которое он считал счастливым, покажем ему, при более разумном устройстве, цену хороших поступков, кару за дурные и дружественное согласие справедливости и счастья; просветим его разум новыми познаниями, согреем его сердце новыми чувствами, и пусть он научится ощущать радость от умножения своего существа. путем объединения с себе подобными, наконец <sup>15</sup>, пусть, ради собственных, лучше понятых интересов, он станет справедливым, благодетельным, умеренным, добродетельным, другом людей и самым достойным из наших граждан.

## 13

Ежели бы нам удалось объяснить ему истинное устройство здорового и основанного на законах правления, то, если рвение не ослепляет меня в осуждении этого великого начинания, несомненно, что, обладая сильной душой и здравым умом, этот враг рода человеческого отрекся бы, наконец, от своей ненависти и от своих ошибок и из свирепого разбойника, которым он желал

быть, стал, ради своих лучше понятых интересов, справедливым, благотельным, умеренным, добродетельным, другом людей и самым достойным из наших граждан.

## 14

Быть может, вам удалось бы отсрочить или предотвратить некоторые несчастья, которые, впрочем, быть может, с вами никогда и не случаются, но вы сможете это сделать, только доставив себе еще более вероятные несчастья и не менее пагубные <sup>16</sup>.

## 15

...чтобы продолжать с того места, откуда мы с вами начали. Испытаем в какой-либо области искусства управления то, что хотелось бы сделать и во всех науках; разрушим все сделанное ранее, сейчас — это лучшее, что можно сделать, ибо, чтобы установить порядок, сообразный с поступками л[юдей], следует предварительно тщательно упорядочить различные отношения, которые должны существовать между ними.

## 16

*Глава I*О ЕСТЕСТВЕННОМ ПРАВЕ  
И О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ <sup>17</sup>

Начнем с устранения двусмысленности, являющейся источником многих софизмов.

Существуют два способа рассмотрения...

**[ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАШЕНИИ]**

## 1

Народ может вступать в соглашение только с самим собой; ибо если бы он вступал в соглашение с теми, кому он доверил управление, то, сделав их посетителями всей своей власти и не имея никакой гарантии договора, оказалось бы, что он не договаривается с ними, а поистине отдает себя на их милость <sup>1</sup>.

## 2

Как можно рассчитывать на обязательства, если договаривающихся невозможно принудить к их выполнению и если интерес, который их [...] изменившись [...]<sup>2</sup>

## 3

Вы меня закабалили силой, и до тех пор, пока вы были сильнее, я вам честно повиновался; теперь, поскольку причина, по которой я вам подчинялся, прекратила свое существование, мое подчинение прекращается, и вы не можете объяснить, почему я вам повиновался, не сказав одновременно, почему я вам более не повинуюсь<sup>3</sup>.

## 4

Передоверие, которое никогда не может быть законно, ибо оно основано на власти, не выгодной ни господину, ни рабу, и, следовательно, — противно естественному праву. Потому что преимущества повелевающего, исключая личное обслуживание, являются лишь воображаемым благом, существующим только в мнении людей, а для личного удобства Государя совершенно безразлично, имеет ли он подданных на сто тысяч больше или меньше. Еще меньшее благо быть вынужденным к повиновению, когда нет никакого ручательства, что повелевать будут разумно; но чтобы можно было по своей воле передавать народы от хозяина к хозяину как стадо, не сообразуясь ни с их интересами, ни с их мнением, то говорить об этом серьезно — значит издеваться над людьми.

## 5

Ибо, поскольку все гражданские права основаны на праве собственности, как только последнее будет уничтожено, никакое другое не сможет сохраниться<sup>4</sup>. Справедливость станет только химерой, а управление — лишь тиранией, и, поскольку общественная власть не будет иметь никакого законного основания, никто не будет обязан ее признавать, если его не вынудят к тому силой.

## 6

Так же, как говорят, что красота есть лишь совокупность самых обыкновенных черт лица, можно сказать, что и добродетель есть лишь совокупность самых общих волеизъявлений<sup>5</sup>.

## 7

Злоба — это по существу, не что иное, как противопоставление личной воли общественной, и поэтому среди злых не может быть свободы, ибо, если бы каждый следовал своей воле, она противоречила бы воле общей или же воле его соседа, а чац ) всего обоим, а если бы он был вынужден подчиняться общей воле, то никогда бы не мог следовать своей.

## 8

Поскольку в государстве общая воля является законом для справедливого и для несправедливого <sup>6</sup> и всегда направлена на общественное благо и на благо частных лиц, публичная власть должна быть лишь исполнительницей этой воли, откуда следует, что из всех видов Правительства лучшее по своим свойствам то, которое ей лучше всего соответствует: такое, у членов которого меньше всего личных интересов, противоречащих интересам народа; ибо такая двойственность интересов не может не привести к появлению у руководителей личной воли, часто при управлении берущей верх над общественной; если полнота тела приносит вред голове, то она уже позаботится о том, чтобы тело не прибавляло в весе. Если счастье народа служит препятствием честолюбию его руководителей, пусть народ и не льстит себя надеждой когда-либо быть счастливым.

Но если правительство организовано так, как должно, и если оно следует тем принципам, которые оно должно соблюдать, то его первой заботой в области экономики <sup>7</sup> или общественного управления будет непрерывное наблюдение за выполнением общей воли, являющейся одновременно и правом народа, и источником его счастья. Всякое решение этой воли называется законом, и, следовательно, первая обязанность руководителей следить за их выполнением <sup>8</sup>.

## 9

Невозможно, чтобы правительство посягнуло на свободу, пока оно действует только в интересах общественного блага, ибо в этом случае оно лишь выполняет общую волю, и никто не может считать себя поработанным, если он подчиняется только своей собственной воле <sup>9</sup>.

## 10

Но каждый раз, когда речь идет об истинном акте суверенитета, который представляет собой не что иное, как провозглашение общей воли, народ не может иметь своих представителей <sup>10</sup>, потому что он не в состоянии удостовериться-

ся, что они не подменяют его воле изъявления своим и не заставят частных лиц именем народа повиноваться распоряжениям, которых он и не давал и не собирався давать. От преступления оскорбления величества свободны очень немногие Правительства.

### 11

Поэтому не следует смешивать сущность гражданского общества с сущностью суверенитета. Ибо общественный организм возникает в результате единичного волевого акта, и вся продолжительность его существования является лишь следствием и результатом предшествующих обязательств, действие которых прекращается только при распаде этого организма. Но суверенитет, который является лишь осуществлением общей воли, свободен, как она, и не подчинен никакого рода обязательствам. Каждый акт суверенитета, так же как каждый момент его существования, абсолютен, независим от предшествующего момента, и никогда суверен не действует потому, что он хотел, но потому, что он хочет <sup>11</sup>.

### 12

Я уже говорил в другом месте, какова цель общественного управления, и указывал, как должно быть организовано правительство, чтобы самым прямым путем стремиться к этой цели; здесь мне остается рассмотреть, что оно должно делать, чтоб достигнуть ее, или как можно ближе к ней подойти.

Цель правительства — осуществление общей воли, мешают ему в достижении этой цели — препятствия частных волеизъявлений <sup>12</sup>.

### 13

Все важнейшие обязанности правительства содержатся в следующих немногих основных пунктах: 1 — заставить соблюдать законы, 2 — защищать свободу, 3 — поддерживать добрые нравы и 4 — заботиться об удовлетворении общественных потребностей. Однако какими бы важными ни казались эти требования, они сведутся к пустым, бесплодным и невыполнимым предписаниям, если им не придаст действительности активный и возвышенный принцип, который должен их вдохновить: именно это я и хотел бы попытаться объяснить.

### 14

Первая цель, которую ставили перед собой люди в гражданском союзе, была их взаимная защита, т. е. обеспечение жизни и свободы каждого всем обществом. Следовательно, первая обязанность правительства — обеспечить Гражданам возможность мирно наслаждаться и той и другой, и даже соблюдение самих законов требуется столь строго лишь потому, что закон есть не

что иное, как изъявление общественной воли, и ее нельзя нарушить не посягнув на свободу. Поскольку все Общество — это не что иное, как совокупность частных лиц, его права основаны лишь на их правах.

## 15

Когда все части государства способствуют его прочности, когда все его силы готовы, в случае необходимости, объединиться для его защиты и когда все отдельные лица заботятся о своей безопасности лишь в той мере, в какой она будет полезна для безопасности государства, тогда этот организм защищен как нельзя лучше и всей своей массой сопротивляется нападениям извне. Но когда общественный порядок не упрочен и действие его не имеет единого направления, а его силы, разделенные и противодействующие друг другу, взаимно уничтожаются, малейшего усилия достаточно, чтобы нарушить это равновесие, и государство разрушается при первом нападении.

## 16

Скажем, в заключение, что сердце Граждан — лучшая охрана Государства, что Государство всегда будет хорошо защищено, если оно хорошо управляется, что эта область управления столь тесно связана со всеми другими, что хорошее правительство не нуждается ни в войсках, ни в союзниках, а плохое становится еще хуже, опираясь на таких защитников.

## 17

Поскольку я должен говорить о правлении, а не о суверенитете, вынужденный, кроме того, ограничиваться общими правилами, приложимыми ко всему, я начал с того, что допустил существование хороших Законов; Законов, не продиктованных никакими частными интересами и, следовательно, являющихся созданием народа в целом. Я потребовал, чтобы они строго соблюдались и чтобы руководители, в своих собственных интересах, подчинялись им наравне с народом. Я показал, что это можно осуществить только при хороших правах и любви к родине, я говорил о средствах достигнуть того и другого. Мне думается, теперь я могу заключить, что, поскольку все эти правила осуществимы и достаточны, ибо любовь к родине заменяет все, возможно с их помощью счастливо и мудро править свободным народом, не придумывая для этого особой породы людей, более совершенной, чем наша, даже если станут утверждать, что римляне и спартанцы были иными по своей природе, чем мы. Вот все, что я хотел сказать о том разделе Общественной экономики, которая относится к управлению людьми; мне остается рассмотреть ту, которая касается управления имуществом.

## 18

Удивительно, что среди стольких существенных различий Аристотель заметил только одно, даже не универсальное. А именно, что Республика управляется множеством руководителей, тогда как у семьи всегда только один.

## 19

Первоначальное сообщество не могло быть построено по образцу семьи, ибо, поскольку оно было составлено из множества семей, не имевших до объединения ни одного общего закона, сообщество не могло воспользоваться их примером для установления законов государства. Напротив, государство, если оно хорошо управляется, должно дать всем семьям общие законы и в равной мере обеспечить власть отца, послушание слуг и обучение детей.

## 20

В тех Государствах, где нравы более совершенны чем Законы, как это было в Римской Республике, власть отца была неограниченно велика, но повсюду, где, как в Спарте, законы являются источником добрых нравов, власть частного лица должна быть настолько подчинена общественной, чтобы даже в семье оказывалось предпочтение распоряжениям Республики перед распоряжениями отца. Это утверждение кажется мне бесспорным, хотя из него вытекает следствие, противоречащее следствию из *Духа Законов*<sup>13</sup>.

## 21

Одинаково опасно, чтобы Суверен посягал на функции Магистрата или Магистрат на функции суверенитета.

## 22

Одним из первых законов государства должно быть запрещение одному и тому же лицу занимать одновременно несколько должностей, либо для того, чтобы большее число граждан принимало участие в управлении, либо, чтобы не предоставлять ни одному из них больше власти, чем хотел законодатель.

## 23

Вот почему власть магистратов, вначале распространявшаяся только на л[удей], вскоре оказалась правом на владения, и, таким образом, титул главы рода превратился в конце концов в титул суверена территории<sup>14</sup>.

## 24

Могущество народа служит скорее доказательством его способности распространяться или сохранять свои границы, чем доказательством его благополучия.

## 25

Что касается распространенного соображения, будто следует непрестанно занимать простой народ, отвлекая его воображение от дел правления для того, чтобы он был спокоен и благоразумен, то это соображение опровергается опытом: ибо никогда в Англии не было так спокойно, как сейчас, и никогда частные лица столько не занимались делами нации и столько их не обсуждали. И, наоборот, посмотрите, как часты перевороты на Востоке, где дела Правления всегда являются для народа непроницаемой тайной.

Совершенно очевидно, что эти варварские и софистические принципы были введены в обиход развращенными и бесчестными министрами, весьма заинтересованными в том, чтобы их злоупотребления не были преданы [гласности?].

## 26

Если существует государь, следующий противоположным принципам, то это тиран. А если существует подданный, способный внушить такие принципы своему государю, то это предатель.

## 27

Многие почитали честность и вознаграждали добродетель, но одно дело характер монарха, а другое — дух монархии<sup>15</sup>. Прислушайтесь, как кипит и ропщет партер при развязке «Тартюфа»; этот грозный ропот, от которого должны бы затрепетать короли, лучше всего объяснит вам, что я хочу сказать.

## 28

И[исус] Х[ристов], царство которого было не от мира сего, никогда не помышлял дать хоть пядь земли кому бы то ни было и вовсе не владел ею сам, но его смиренный наместник, присвоив себе земли Цезаря, распределил земное царство между служителями Божиими.

## 29

...мудрость правления, действенность Законов, неподкупность правителей, доверие народа, согласие между всеми сословиями и, главное, всеобщее стремление к общему благу...



## [О СЧАСТЬЕ НАРОДА]

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Я буду говорить правду и скажу ее так, как это ей подобает. Малодушные читатели, которых ее простодушие отвращает и ее искренность возмущает, закройте мою книгу, не для вас она написана. Язвительные читатели, ценящие в истине лишь то, что может питать вашу злобную душу, закройте и отбросьте мою книгу, вы не найдете в ней того, что вы ищете, и вскоре увидите отращение, которое питает к вам автор.

Если это сочинение попадет в руки человека добрых нравов, который ценит добродетель, любит своих собратьев, сожалеет об их ошибках и ненавидит их пороки, который умеет иногда растрогаться бедствиями человечества и, главное, который стремится к самоусовершенствованию, он может спокойно прочесть эту книгу. Мое сердце найдет отклик в его сердце.

Мне приятно льстить себя мыслью, что некогда какой-нибудь государственный муж окажется Гражданином, что он будет изменять порядки не для того только, чтобы поступать иначе, чем его предшественник, а для того, чтобы улучшить положение дел; что забота о народном благе не будет у него постоянно только на устах, но хоть немного будет и в сердце. Что он не сделает народы несчастными для того, чтобы укрепить свою власть, но заставит свою власть служить установлению счастья народов. Что, по счастливой случайности, ему попадется на глаза эта книга, что мои смутные мысли вызовут у него более полезные, что он будет стремиться сделать людей лучше, или счастливее, и что, быть может, и я окажусь к этому причастным. Эта мечта заставила меня взять в руки перо.

## 1

После того как несколько лет пройдут и изглядят из литературной летописи мое имя, пусть останется оно жить у какого-нибудь народа, бедного и неизвестного, но мудрого и счастливого, народа, который, предпочитая мир и невинность славе и победам, иногда будет с удовольствием читать...

## 2

Ибо, истощив все приятные занятия, чтобы избежать безделья, ставшего непереносимым благодаря привычке к размышлениям, приходится в конце концов вернуться к занятиям полезным. Впрочем, искусства, самые, казалось бы, пустые...

[О СЧАСТЬЕ НАРОДА]<sup>1</sup>

## 1

Среди стольких промыслов, искусств, роскоши и великолепия, мы ежедневно скорбим о страданиях человечества и считаем столь труднопереносимым бремя нашего существования, отягченное всеми его бедствиями, и в то же время нет, пожалуй, среди дикарей, живущих голыми в лесу, раздираемых терниями, платящих потом или кровью за каждый съеденный кусок, ни одного, кто бы не был доволен своей участью, не находил бы удовольствия в жизни и не наслаждался бы каждым днем своего существования так радостно, будто его не ожидают назавтра те же тяготы. Самые большие наши бедствия происходят от тех стараний, которые мы затратили на предотвращение малых.

## 2

Начнем с устранения двусмысленности выражений. Лучшее Правление отнюдь не всегда самое сильное. Сила — лишь средство, цель ее действия — счастье народа. Но смысл слова «счастье», достаточно неопределенный для отдельных людей, еще менее определен для народов, и именно из различия представлений о счастье рождается различие политических принципов, которые ставят себе целью. Попытаемся же составить мысленное представление о счастливом народе, а затем, на основании его, установим свои законы.

Вы спрашиваете, господа, — какой народ был самым счастливым<sup>2</sup>; я не достаточно учен, чтобы действительно разрешить этот вопрос, но попытаюсь установить надежные принципы для его разрешения; если мне это удастся, я смогу считать, что действую согласно вашим намерениям и не отклонился от цели.

Где же этот счастливый человек, если только он существует? Известно ли это кому-нибудь? Счастье — отнюдь не просто наслаждение, оно не заключается в преходящем изменении души, но в постоянном и сугубо внутреннем чувстве, о котором не может судить никто, кроме того, кто его испытывает; значит, никто не может с уверенностью решить, что другой счастлив, ни, следовательно, установить достоверные признаки счастья отдельных лиц. Но дело обстоит иначе с политическими обществами. Их благо, их беды явны и очевидны, их внутреннее чувство является чувством общественным. Без сомнения, толпа при этом ошибается, но в чем она не ошибается? Для каждого, кто умеет видеть, люди — то, чем они кажутся, и не будет дерзостью судить об их моральной сущности.

Несчастье людей заключается в противоречии, существующем между нашим состоянием и нашими желаниями, между нашими обязанностями и нашими склонностями, между природой и общественными установлениями, меж-

ду человеком и гражданином. Сделайте человека чем-нибудь одним, и вы делаете его счастливым, насколько это для него возможно.

Отдайте всего человека государству или же предоставьте его полностью самому себе, но если вы делите его сердце на части, оно разрывается<sup>3</sup>; и не вздумайте вообразить, что государство может быть счастливо, когда все его члены страдают. То моральное состояние, которое вы называете счастьем народа, само по себе лишь химера: если никто не испытывает чувства благополучия, то оно ничего не стоит, и семья отнюдь не процветает, если не преуспевают дети.

Дайте людям возможность соответствовать своей природе, пусть они будут такими, какими они хотят казаться, и пусть кажутся такими, каковы они в действительности<sup>4</sup>. Тем самым вы вложите в их сердца закон общежития; люди, способные к нему по своей природе и Граждане по своим склонностям<sup>5</sup>, они станут едины, станут добры, станут счастливы, и их благоденствие будет благоденствием Государства; ибо, будучи чем-то, лишь благодаря ему, они станут чем-либо лишь для него, у Государства будет все, что есть у них, и оно будет всем, что они собой представляют. К силе принуждения вы тем самым добавили силу волеизъявления, к общественной сокровищнице вы присоединили имущество частных лиц; Государство будет всем, чем оно может быть, когда охватит все. Семья, указывая на своих детей, скажет: благодаря им я процветаю. Во всякой другой государственной системе всегда найдется что-нибудь, что не будет принадлежать государству, хотя бы воля его членов, а кто же может не принимать во внимание влияние этой воли в делах? Когда каждый хочет счастья лишь для самого себя, не существует счастья для отечества.

## 3

...и, главное, не будем забывать, что общественное благо должно в чем-то быть благом для всех, иначе — это слово, лишенное смысла.

## 4

Моральное состояние народа меньше зависит от абсолютного состояния его членов, чем от их отношений между собой.

## 5

Чтобы ясно понять, каким образом народ может быть счастлив, начнем с рассмотрения состояния тех, кто не счастлив. Выясняя, чего им не хватает, чтобы быть счастливыми, мы сможем узнать, чем должен обладать тот, который счастлив.

## 6

...счастье народа<sup>6</sup>, недостаточно будет даже подсчитать голоса; и благополучие народов, которое от столь многого зависит, нельзя определить так же легко, как благополучие отдельных лиц. Следовательно, необходимо различать среди множества признаков, могущих ввести в заблуждение относительно счастья народа, истинные признаки, его характеризующие.

## 7

Если для того, чтобы начать с правильного определения рассматриваемого положения, я мог бы точно установить, в чем состоит при любом правлении истинное благоденствие Государства и каковы наиболее бесспорные признаки, по которым можно утверждать, что какой-либо народ счастлив и процветает, вопрос был бы почти разрешен самим определением: но, так как это определение зависит от множества отдельных правил, которые можно установить лишь путем обсуждения и лишь по мере углубления в этот вопрос, я буду вынужден в настоящее время ограничиться самым общим определением, но таким, которому, я полагаю, ни один здравомыслящий ч[еловек] не сможет отказать в одобрении.

Итак, я утверждаю, что самый счастливый народ — это тот, который может легче всего обойтись без всех остальных, а наиболее процветающий — тот, без которого меньше всего могут обойтись остальные<sup>7</sup>.

Если бы я составил собирательное представление о счастье государства из представлений о счастье каждого из граждан, его образующих, я смог бы сказать нечто более ясное многим из читателей, но, помимо того что никогда нельзя было бы сделать никаких заключений из этих метафизических понятий, зависящих от способа мышления, от расположения духа, от настроения и от характера каждого индивидуума, оказалось бы, что я дал весьма неточное определение. Государство может быть организовано прекрасно и таким образом, чтобы навеки обеспечить его процветание и благоденствие, и все же его граждане, занятые каждый осуществлением своих личных целей, никогда не были бы им довольны. Когда Ликург ввел свои законы, ему пришлось вынести не только бесконечные жалобы, но даже дурное обхождение лакедемонян, и он был вынужден прибегнуть к хитрости и отправиться заканчивать свои дни на чужбине, чтобы заставить своих сограждан сохранить законодательство, сделавшее их самым прославленным и самым уважаемым народом из всех существовавших на земле. Разве римляне непрестанно не жаловались на правление, при котором они стали властителями мира, и даже сейчас, разве народ, управляемый лучше всех, не ропщет сильнее других? Не существует правления, способного принудить своих Граждан быть счастливыми, лучшее из них то, которое предоставляет им эту возможность, если они разумны. И это счастье никогда не будет принадлежать толпе.

Общественное управление следует видоизменять отнюдь не в соответствии со склонностями или желаниями каждого отдельного человека, для того, чтобы быть хорошим, оно должно быть установлено на более общих законах. В любом государстве мудрое правление способно, при помощи образования и обычаев, выработать общественные нравы и так руководить склонностями отдельных людей, что они обычно оказываются более довольны правительством, под властью [которого] они живут, чем были бы под властью любого другого, безразлично, лучшего или худшего. Ибо, хотя люди жалуются всегда, быть может, оказавшись в каком-нибудь другом положении, они будут жаловаться еще сильнее. Следовательно, не по ощущению Гражданами своего счастья, а значит, и не по самому их счастью должно судить о процветании Государства.

Можно к тому же сказать, [что] общим положением всего народа в целом, наиболее благоприятным для счастья отдельных лиц, является то, при котором он может жить счастливо, не нуждаясь в содействии никаких других народов; ибо тогда, чтобы наслаждаться полным, доступным людям счастьем, достаточно с помощью мудрых законов позаботиться о взаимной выгоде всех людей, что меньше бы зависело от них самих, если бы приходилось прибегать к помощи чужеземцев. А если при этом другие народы нуждаются в том, который сам ни в ком не нуждается, то нельзя себе представить положения более благоприятного для того, чтобы сделать членов этого общества столь счастливыми, сколь это возможно для людей.

Я мог бы также утверждать, что наиболее счастливым народом является тот, у кого больше всего денег, или тот, который ведет самую обширную торговлю, или народ наиболее искусный в ремеслах, и такое мнение оказалось бы наиболее единодушным. Но, если эти определения правильны, тогда то, которое я дал ранее, должно быть их неперменным следствием, ибо<sup>8</sup> если деньги и делают богачей счастливыми, то не столько благодаря непосредственному обладанию ими, сколько потому, что, во-первых, позволяют им удовлетворять свои потребности, во всем осуществлять свою волю и никогда ни от кого не зависеть, а во-вторых, позволяют повелевать другими и держать их в зависимости от себя. А это как раз те представления, из которых я составил свое о счастливом и процветающем народе.

Что же касается торговли и ремесел, то, поскольку их главная цель — обеспечивать оборот и создавать избыток денег, на которые можно получить сколько угодно и того и другого, и, снова предполагая это определение правильным, мы видим, что и оно также входит в мое определение.

После того как я показал, что мое определение включает все остальные и что оно, следовательно, наиболее общее, мне остается показать, что оно также и наиболее правильное и лучше всего согласуется с нашим представлением о счастье и благоденствии.

Все наши потребности — это потребности двух родов, а именно: физические, необходимые для нашего сохранения, и те, которые относятся к нашим удобствам, наслаждениям, пышности и предметы которых носят обычно название роскоши. Последние буквально становятся истинными потребностями, когда длительное использование создает у нас привычку наслаждаться ими и когда наше физическое устройство, так сказать, приспособилось к этой привычке. Так, горожанка, находясь в течение двух часов в сильный летний зной в поле без зонтика, почти неминуемо получит солнечный удар, а быть может, и смертельную болезнь, тогда как крестьянка не почувствует себя плохо; горожанин не может обойтись без лошади, чтобы отправиться в свое загородное поместье, путь к которому его арендатор ежедневно проходит пешком. А иной придворный, привыкший к удобству почтовой кареты, не смог бы без неудобства проделать то же путешествие верхом. Так все, вплоть даже до самых ядов, может стать в результате привычки физической потребностью, как опиум у турок и реальгар у китайцев.

## 8

Но когда сам правншь народом, который должен сделать счастливым, надо ли писать книги, чтобы научить государей, как составить счастье народов? Короли, поучайте на собственном опыте.

## 9

Поступайте так же, но по более справедливым мотивам; вы должны заботиться о безопасности ваших подданных, защищать их самих и их имущество от насилий и притеснений; но это еще всего лишь половина вашей задачи, вы должны сделать их даже счастливыми. В этом-то и состоят совершенные обязанности государя.

[О РОСКОШИ, ТОРГОВЛЕ И РЕМЕСЛАХ] <sup>1</sup>

## [1]

Если бы людям было дано знать, насколько опасность заблуждений <sup>2</sup> превосходит ту пользу, которую они получают от познаний, они с меньшею жадностью внимали бы урокам философов; философы же давали бы людям уроки

с большею осмотрительностью, будь им ведомо, что одно-единственное ошибочное рассуждение подрывает доверие к ним больше, нежели могут им помочь завоевать доверие людей сотни открытых ими истин. Наилучшее применение, которое можно дать философии, — это использовать ее для искоренения того зла, что она причинила, даже если бы пришлось при этом пожертвовать приносимым ею благом, ежели таковое будет. Ибо все-таки лучше исключить то доброе, что добавляется к первичным познаниям нашего разума и чистым чувствам естества, нежели оставить дурное. Следовало бы, для выгоды общества, чтобы философы распределили труды свои между собою таким образом, чтобы после многих книг и диспутов все они опровергли друг друга и чтобы все в целом оказалось как бы недействительным. Правда, тогда мы ничего не знали бы, но мы согласились бы в том чистосердечно и на деле сократили весь тот путь, который должны проделать в поисках истины, идя назад от заблуждения к полному неведению.

Дабы содействовать достижению этой спасительной цели, я попытаюсь рассмотреть некоторые вопросы политики и морали, поднимаемые и разрешаемые некоторыми нынешними писателями; вопросы, относящиеся к числу тех, над которыми я обязан был поразмыслить. Я также надеюсь таким способом развить некоторые теоремы, которые, опасаясь отступить от предмета моего рассмотрения, я выдвинул без доказательств в других своих сочинениях. Но, поскольку при всем этом я задаю целью не столько установить новые истины, сколько поколебать заблуждения, я чистосердечно признаюсь, что, когда никто не будет помнить о сочинениях моих противников, мои собственные сочинения станут совершенно излишни. У меня нет никакого желания указывать путь моим современникам, — я лишь их предупреждаю, когда обнаруживаю, что тот, кто берется указывать им путь, на самом деле ведет их неверно; и мне не пришлось бы утомлять современников, излагая свое мнение, если бы никто не брался ими руководить.

Вопрос, который я полагаю здесь рассмотреть, касается роскоши, торговли и ремесел, однако не в отношении их к правам, как я это рассматривал ранее, но под новым углом зрения, в том, что касается до отношения этого вопроса к процветанию Государства.

Все древние смотрели на роскошь как на признак порчи нравов и ослабления Правления. Законы против роскоши<sup>3</sup> почти столь же древни, как и сами общества политические. Такие законы были у египтян; древние евреи получили их от своего Законодателя<sup>4</sup>; их находят даже у персов; что же до греков, то их глубокое отвращение к азиатской пышности — это наилучший закон против роскоши из тех, что они могли бы иметь.

Это презрение к роскоши было еще сильнее у римлян. Роскошь и пышность, принятые у других наций, были для них поистине предметом насмешек; а то, как они обращались с предметами роскоши и знаками пышности во время своих триумфов, гораздо более способно было выставить на осмеяние

все пустое великолепие побежденных народов, нежели пробудить у победителей желание им в этом подражать.

Было естественно, что презрение к роскоши сказывалось на отношении к торговле. Римляне ею гнушались, греки предоставляли у себя заниматься ею чужеземцам<sup>5</sup>; рукоеслами занимались у них почти одни только рабы; и даже от людей, занимавшихся свободными искусствами, требовались выдающиеся дарования, чтобы им оказывалось известное уважение, да и то в Риме такие люди могли приобрести это уважение лишь во времена Республики. Одним словом, в тех странах, где деньги презирали<sup>6</sup>, почти всегда получалось так, что в средствах их приобретения находили нечто позорящее.

Когда народы эти начали приходиться в упадок, после того как тщеславие и любовь к наслаждениям пришли на смену любви к отечеству и к добродетели, тогда со всех сторон стали проникать пороки, любовь к наслаждениям, и для их удовлетворения нужны были лишь роскошь да деньги. Обогащались частные лица, расцвели торговля и ремесла, Государство же вскоре погибло.

Между тем, в пору величайшего развращения, философы и политики не прекращали громко восставать против всех этих расстройств, последствия которых они предвидели. Никто им не возражал, и никто не исправлялся. Соглашались, что их доводы основательны, и вели себя так, чтобы эти доводы получали новые основания. Сами эти витии обличали заблуждения народа лишь для того, чтобы сделать более простительными свои собственные. Они публично клеймили пороки, коих пример подавали бы сами, если бы другие их уже не предупредили.

Так, ведя себя противно собственным своим принципам, эти люди тем не менее почитали истину. Так все нации согласились во все времена осудить роскошь, даже предаваясь ей; при этом в течение столь долгой вереницы столетий ни один философ не осмелился противоречить общему мнению.

Я не притязую на то, чтобы подкрепить этим всеобщим согласием то мнение, которое мне надлежит отстаивать. Я знаю, что философия, принимая доказательства философов, вполне обходится без их свидетельств и что разуму только и надлежит, что создавать авторитеты. Но, наученный опытом тому, сколь вредно именовать парадоксами<sup>7</sup> предположения доказанные, я заранее стараюсь лишить этого средства тех, у кого нет никаких иных средств опровергнуть то, что предстоит мне доказать. Я их, следовательно, предупреждаю, что нападаю на то именно мнение, которое следует именовать парадоксом столь же неслышанным до сего дня, сколь смешон он и опасен, и что, опровергая эту слабодушную и извращенную философию, удобные принципы которой завоевали ей среди нас столь много сторонников, я лишь присоединяю свой голос к крикам всех наций и защищаю дело здравого смысла, равно как и дело общества.

Наконец, спустя столько веков, двое людей<sup>8</sup>, стремясь прославиться, высказывая странные мнения, могущие польстить вкусам того столетия, в кото-



ром они живут, осмелились в наши дни опровергнуть все экономические принципы политиков древности и выдвинуть на их место совершенно новую систему правления, и притом столь блестящую, что трудно было ею не увлечься; не говоря уже о том, что для частных интересов эта система была выгодна, она к тому же явила еще одно средство достичь успеха в тот век, когда никого не заботит уже больше благо общественное и когда слова эти, смехотворно опошленные, служат лишь извиненьем для тиранов и предлогом для мошенников.

## [2]

Дабы рассуждать основательно о том вопросе, о котором идет речь, я хотел бы вначале установить ясный и определенный принцип, такой, чтобы против него никто не мог выдвинуть разумных возражений и чтобы вместе с тем этот принцип мог служить основой для всех моих разысканий; иначе, располагая вместо определения лишь теми смутными представлениями, которые создаются у каждого по-своему и притом согласно его личным склонностям, мы никогда не узнаем как следует, что надлежит разуметь, говоря о счастье и процветании какого-либо народа.

Прежде чем говорить о средствах сделать какой-либо народ счастливым и процветающим, попытаемся определить, в чем именно состоит слава и благоденствие народа или же по каким именно признакам можно узнать, что народ пребывает в таком состоянии.

Я хорошо понимаю, что этот вопрос покажется весьма затруднительным для разрешения большинству нынешних политиков. Ибо один мне заявит без колебаний, что нация самая счастливая это та, у которой лучше всего развиты ремесла; другой, что это та, у которой еще больше процветает торговля; третий, что та, у которой больше всех денег; большинство же будет считать счастливой ту нацию, у которой все эти преимущества соединены в самой высокой степени. Рассмотрим прежде всего, верны ли эти определения.

Во-первых, что до торговли и ремесел, то совершенно очевидно, что даже в той системе, на которую я нападаю, это скорее средства, применяемые для того, чтобы содействовать обеспечению процветания Государства, чем сама сущность процветания. Ибо я не думаю, чтобы кто-нибудь, с целью показать, в чем именно состоит счастье народа, решился когда-либо выдвинуть в качестве доказательства то, что народ счастлив, когда он состоит из работников и торговцев<sup>9</sup>. И если даже я бы и согласился с тем, что работники и торговцы необходимы нации для удовлетворения нужд общества, отсюда никак не следует, что нация счастлива именно благодаря этому, поскольку можно доказать, как я это и сделаю впоследствии, что торговля и ремесла, обеспечивая удовлетворение некоторых потребностей мнимых, приводят к возникновению гораздо большего числа потребностей подлинных.

Мне скажут, быть может, что ремесла, мануфактуры и торговля имеют свою целью не столько удовлетворение личных потребностей граждан, сколько обогащение Государства, либо путем привлечения денег из-за границы, либо ускоряя обращение тех денег, которые в Государстве уже есть; откуда следует заключить, что все счастье народа состоит в том, чтобы он был богат на звонкую монету, — вот это и остается мне рассмотреть<sup>10</sup>.

Поскольку золото и серебро — это лишь знаки<sup>11</sup>, представляющие предметы, на которые они обменены, они не имеют, собственно, никакой безотносительной ценности, и даже от суверена не зависит<sup>12</sup> придать им таковую. Ибо когда государь устанавливает, например, что кусок серебра, такого-то веса и чеканенный таким-то образом, будет стоить столько-то ливров или солей, он определяет этим некую меру для обращения и не делает ничего более. Экую стоить тогда столько-то ливров или флорин столько-то солей, это поистине так; но ясно, что цена соля или ливра и, следовательно, флорина или экую останется столь же изменчивой, как и ранее, и будет в обращении продолжать повышаться или падать не по воле государя, но в силу совсем других причин. Все операции, которые производятся над самой монетой для установления ее цены, это, следовательно, лишь операции мниморезультативные; если же они и дают определенный реальный эффект, то лишь в отношении выдаваемых ежегодно жалований, пенсий и всех платежей, размеры которых выражены лишь в идеальных ливрах, флоринах<sup>13</sup> или других им подобных единицах. Таким образом, когда государь поднимает цену монеты, то это мошенничество, посредством которого он обманывает своих кредиторов, когда же он цену монеты понижает, то здесь мошенничество иного рода, — при помощи его государь обманывает своих должников. Но поскольку цена всех товаров повышается или понижается пропорционально изменению цены монеты, в обращении все время сохраняется одно и то же соотношение между знаком и представляемой им вещью. То, что я здесь говорю о деньгах из серебра, должно равным образом пониматься и в отношении цены золотой и серебряной марки<sup>14</sup>, которая определяется публичным эдиктом. Эта цена есть лишь то, во что ее превращает курс обращения; и, вопреки всем эдиктам, здесь ощущаются подобные же колебания, зависящие от того, хорошо или плохо идут дела.

Хотя деньги не имеют сами по себе никакой реальной ценности, они, в силу молчаливого соглашения, приобретают таковую во всякой стране, где они в ходу; и эта ценность измеряется соответственно сочетанию причин, ее определяющих. Эти причины могут быть сведены к трем основным, именно: 1) изобилие монеты или ее редкость; 2) изобилие или недостаток продуктов питания и других товаров; 3) степень обращаемости, которая зависит от количества обменов, т. е. от оживленности торговли. В зависимости от того, каким образом сочетаются в той или иной стране эти три условия, деньги могут подскочить в цене непомерно либо же упасть почти совершенно, откуда сле-

дует, что Государство может оказаться в таком положении, когда, обладая весьма большим количеством денег, оно, в действительности, пребывает в пре-великой бедности и испытывает недостаток в самом необходимом; и, напротив, в Государстве может не быть денег, а между тем оно оказывается весьма богатым, благодаря изобилию в нем тех предметов, на приобретение которых другие народы вынуждены тратить деньги.

К этому первому наблюдению следует добавить второе, не менее важное и вытекающее из первого как его отдаленное следствие: оно состоит в том, что надлежит четко различать из ряда вон выходящие богатства, составляющие исключение, и средний достаток, обычный у данного народа<sup>15</sup>.

Поскольку эти слова *богатый* и *бедный* имеют смысл относительный, бедные существуют лишь постольку, поскольку существуют богатые; и все это может разумеется не только в одном лишь смысле; однако в настоящее время я ограничусь только отношением между этими двумя понятиями.

Богатым называют такого человека, у которого добра больше, нежели обычно его имеет большинство людей; бедным же называют не только того, у кого добра недостаточно для жизни, но и того, у кого добра меньше, чем у других. В обществе возможны такого рода перевороты, в результате которых один и тот же человек может становиться то богатым, то бедным, без того чтобы состояние его увеличивалось или уменьшалось<sup>16</sup>.

То же самое можно сказать о нациях, если взять каждую из них в отдельности и сопоставить между собою. Поэтому каждый народ прилагает едва ли не больше забот, хотя и более скрытно, к тому, чтобы нарушать выгоды других народов, нежели к тому, чтобы трудиться над приобретением выгод для себя. Интересы человечества приносятся тогда Политическим организмом в жертву интересу своего народа, подобно тому как они приносятся изо дня в день частными лицами в жертву духу собственности. Между тем не без труда можно понять, каким образом то, что какая-либо страна беднеет, может содействовать благосостоянию жителей другой страны.

Предположим, что после долгого и мучительного напряжения усилий народ в этом отношении достиг осуществления своих намерений, что он разорил своих соседей и собрал в своих руках столько золота и серебра, сколько есть этих металлов во всех других странах; и посмотрим, что воспоследует из такого его процветания для личного благоденствия каждого из граждан в отдельности.

1. Если эти богатства распределены поровну, достоверно, что такое равенство богатств не может сохраниться надолго, или богатств как бы не будет существовать для тех, кто ими обладает, потому что в том, что превосходит непосредственно необходимое для жизни, выгоды богатства ощущаются лишь соразмерно различиям в достатке.

Следовательно, если при таком предположении все эти богатства исчезнут за одну ночь, причем так, чтобы это не сказалось на изменении цен на

продукты питания и другие товары, никто не почувствует подобной потери и едва ли даже кто-либо заметит ее на следующий день.

Но останавливаться на столь химерическом предположении как равное распределение богатств<sup>17</sup>, значило бы слишком злоупотреблять временем; существование такого равенства нельзя допустить даже в порядке предположения, ибо оно не заключается в природе вещей; и я полагаю, что не найдется ни одного здравомыслящего читателя, который сам не предвосхитил бы такой вывод.

2. С того момента, как людям стало известно применение золота, они все стремятся собрать его побольше, и их успехи в этом отношении, естественно, соответствуют различным степеням проворства и алчности соперников, т. е. они должны быть весьма неодинаковыми. Это первоначальное неравенство в соединении с вызвавшими его алчностью и дарованиями должно было еще увеличиться само по себе. Ибо один из пороков обществ<sup>18</sup>, уже утвердившихся, проявляется в том, что трудность приобретения возрастает здесь пропорционально потребностям; именно излишек в руках богатых дает им возможность обирать бедняка, отнимая у него необходимое.

Это — аксиома в делах, как и в физике, что ничто не творит ничего. Деньги — это подлинные семена денег, и заработать первый экю бесконечно труднее, нежели второй миллион<sup>19</sup>.

К тому же преступления наказуются лишь тогда, когда толкнувшая на них крайняя нужда делает их простительными. Они стóят чести и жизни немущему и приносят славу и состояние богачу. Бедняк, который, чтобы купить хлеба, возьмет одно экю у жестокосердого богача, утопающего в золоте, — это преступник, которого ведут на виселицу; тогда как окруженные почетом граждане беспрепятственно сосут кровь из ремесленника и землянина<sup>20</sup>; тогда как монополии торговца и лихоимство откупщика именуются полезными талантами и приносят тем, кто занимается этими делами, милость государя и уважение общества. Вот каким образом богатство всей нации за счет всего народа образует избыток богатств в руках немногих лиц и как сокровища миллионеров умножают нищету граждан. Ибо при таком неравенстве безмерном и противоестественном неизбежно получается так, что богачи, утопающие в радостях жизни, поглощают пропитание народа, а ему с трудом продают лишь черствый черный хлеб, по одной крошке за каплю его пота, и притом ценою его порабощения.

Добавьте сюда неизбежный рост цен на все предметы вследствие обилия монеты и особенно вследствие недостатка продуктов питания, что должно неминуемо проистечь из подобного положения, как я это докажу ниже, и вы поймете, сколь легко доказать, что чем богаче деньгами какое-либо Государство, тем больше должны в нем страдать бедняки.

Итак, поскольку торговля и ремесла — это у нации лишь проявления потребностей ее и поскольку деньги не есть вовсе признак подлинного богатств-

ва, отсюда следует, что сочетание всех этих вещей не есть также признак счастья.

Дабы устранить иные бесполезные исчисления, надлежит различать те средства, которые частные лица используют, стремясь обрести счастье, каждый сообразно своему характеру и наклонностям, и те средства, которые Общественный организм может использовать для достижения той же цели. Ибо поскольку общество не может ни предвидеть, ни удовлетворить различные желания тех, кто его составляет, оно не обременяет себя нисколько этою заботою; оно лишь заботится о защите всех членов и об их общей безопасности; в том же, что касается до средств к существованию, оно радеет лишь о том, чтобы частные лица были в состоянии сами заботиться об удовлетворении своих нужд. Так что все обязательства, которые конфедерация может взять на себя в отношении своих членов, сводятся к следующим двум положениям: мир и изобилие. Причем под этим словом «мир» надлежит разуметь не только безопасность, обеспечивающую мир внутри общества, но также и свободу, без которой не может быть никакого подлинного мира. Ибо тирания и рабство явно представляют собою состояние войны; и нетрудно доказать, что раб, убивающий своего господина, не грешит, поступая так, ни против естественного закона, ни даже против права международного.

Что до изобилия, то я разумею под этим словом не такое положение вещей, при котором некоторые люди обладают всем в изобилии, тогда как все остальные вынуждены к ним прибегать, чтобы получить от них средства к существованию за ту цену, которую этим людям угодно будет назначить, равно как и не то предположительное и невозможное, по крайней мере на долгий срок, положение дел, когда все находят у себя под рукою без труда и усилий, чем удовлетворить свои потребности, но такое состояние, когда все, что необходимо для жизни, имеется валицо в стране в таком количестве, что каждый человек в состоянии приобрести своим трудом<sup>21</sup> все, что ему нужно, чтобы себя прокормить.

## [О ЧЕСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ]

### 1

В любой стране, где не царят роскошь и развращенность, общественное признание добродетели человека — это самая сладостная награда, которую он может получить, и любое доброе дело не нуждается в ином вознаграждении, кроме провозглашения его добрым во всеуслышание. Эта истина вытекает

из только что изложенных мною принципов, и, к чести человечества, опыт подтверждает ее. Что побуждало лакедемонян к добродетели, если не желание почитаться добродетельными? Что, приведя триумфаторов к Капитолию, возвращало их к их плугу? <sup>1</sup> Вот источник корысти более надежной и менее опасной, чем богатства, ибо слава, приносимая добрыми делами, не сопряжена с такими неудобствами, как слава, приносимая богатством, и дает гораздо большее удовлетворение тем, кто научился ее ценить. Как же можно побудить людей к добродетели? следует научить их восхищаться ею и уважать тех, кто в ней упражняется. Огромное преимущество организованного таким образом Государства состоит в том, что злонамеренные не имеют никакой возможности осуществлять свои дурные замыслы и что порок не может добиться какого бы то ни было успеха.

Я не теряю надежды услышать однажды, как кто-нибудь из современных Философов скажет то же самое о тех блистательных народах, у которых, наряду с богатством, царствует ненасытная жажда их приумножения.

Мне кажется, нужно немного разъяснить свою мысль, иначе мало читателей согласится со мной. А ведь речь идет о том, чтобы убедить всех, кто поклоняется только Маммоне <sup>2</sup>.

Одной из странностей человеческого сердца является то обстоятельство, что, несмотря на свойственную всем людям склонность благоприятно судить о самих себе, существуют свойства, в отношении которых люди считают себя еще более достойными презрения, чем они этого действительно заслуживают. Так преобладающей страстью они считают корыстолюбие, хотя у них существует другая, более сильная, более общая и легче поддающаяся исправлению, которая пользуется корыстолюбием лишь как средством своего удовлетворения; это — страсть отличаться от других людей <sup>3</sup>. Делают все возможное для обогащения, но стремятся к богатству лишь для того, чтобы добиться почета. Это утверждение доказывается тем, что, не удовлетворяясь умеренным состоянием, представляющим собой достаток, каждый хочет достичь той степени богатства, которая привлекает к себе все взоры, но увеличивает хлопоты и заботы и становится почти таким же бременем, как и самая бедность. Еще одно доказательно — это смехотворное употребление богачами своих богатств. Вовсе не богачи наслаждаются их обилием, эти блага служат лишь для привлечения взоров и восхищения окружающих. Достаточно ясно, что желание выделиться является единственной причиной роскоши, проявляющейся в пышности <sup>4</sup>, так как существует очень незначительное число сластолюбцев, умеющих ценить проявление ее в изнеженности и сохранять всю ее прелесть и доступную ей простоту. И мы видим, как, следуя одному и тому же принципу, все семьи непрестанно трудятся то для своего обогащения, то для разорения. Это — Сизиф, который лезет из кожи вон, чтобы вкатить на вершину горы камень, который он через минуту столкнет обратно <sup>5</sup>.

## 2

Итак, совершенно несомненно, что мы меньше ищем собственное счастье в себе самих, чем в мнении окружающих. Все наши труды направлены лишь на то, чтобы казаться счастливыми. Мы не делаем почти ничего для того, чтобы стать счастливыми в действительности, и если лучшие из нас хоть на минуту перестали бы ощущать, что на них смотрят, ни от их счастья, ни от их добродетели ничего бы не осталось. О афиняне! говорил Александр<sup>6</sup>, каких трудов мне стоит заслужить вашу похвалу. Один хочет, чтобы им восхищались за его доблесть, другой — за его могущество, этот — за богатства, тот — за доброту. Все хотят, чтобы ими восхищались. Вот тайная и конечная цель человеческих поступков. Различны лишь средства ее достижения. Именно выбор этих средств зависит от искусства законодателя. Народы, правда, и сами видят эту цель, но его дело указать к ней путь. Я признаю, что богатства всегда являются первым путем, который приходит на ум; ибо, помимо уважения, которые они вызывают, именно они доставляют также все жизненные удобства, но в сопровождении всех тех бедствий, которые корыстолюбие ежедневно приносит нравам, Государству и Гражданам. Итак, следовало бы добиться, чтобы обладание богатствами не давало выигрыша в жизненных удобствах, но вело к потерям в уважении. Вот этого-то превосходно и достигали законы Лакедемонии и добрые нравы первых римлян, откуда я заключаю, что задача эта осуществима.

## 3

Корыстолюбие портит самые лучшие поступки. Тот, кто поступает хорошо только ради денег, ждет лишь лучшей оплаты, чтобы поступать дурно. Насколько добродетель, честь, даже почести и похвалы возвышают душу, настолько же денежные награды ее принижают, поэтому и презирают их мужественные люди. Во время недавней осады Лилля г. де Буфлер<sup>7</sup>, руководивший обороной города, желая разведать некоторые крепостные работы врага, к которым нельзя было приблизиться без крайней опасности, предложил добровольцам из солдат выполнить это поручение и двадцать пять луидоров награды тому, кто с ним справится. Вызвался один-единственный гренадер, имени которого я, к моему величайшему сожалению, не знаю, получил указания, отправился и под ужасным огнем произвел наблюдения со всем самообладанием храброго и разумного человека, каким он и был. Он остался невредим, и, когда явился дать отчет о том, что видел, маршал проникнутый восхищением, вместо двадцати пяти луидоров велел отсчитать ему пятьдесят. Мой генерал, сказал ему гренадер, возьмите обратно свои пятьдесят луидоров, ради денег этого не сделать. Я утверждаю, что именно для этого солдата и для подобных ему отважных людей следует придумать награды, и не беда,

что их даст государь, если Закон их не предусмотрел и если им не придана юридическая форма, обеспечивающая доверие и способная предотвратить злоупотребления.

## 4

Если, при прочих равных условиях, выполнять свой долг полезнее, чем не выполнять его, в добрый час; но тот, кто продает себя, чтобы выполнить свой долг, готов продать себя за большую цену, чтобы его нарушить; расчет весьма прост — заработок увеличится и ему заплатят обе стороны.

Ты платишь такому коменданту, чтобы он удержал крепость, но ему платят еще больше за то, чтобы он сдал ее. Разве ты думаешь, что этот человек не умеет считать, и разве ты не видишь, что на деньги, которые ему дает враг, он покупает при твоём дворе честь быть награжденным за верность, а если бы он по глупости остался тебе верен, он пошел бы ко дну; он слишком дорожит честью, чтобы не быть плутом, он слишком хороший гражданин, чтобы не быть предателем; а если он любит славу, он должен быть безумцем, чтобы не стать предателем. Великий министр, прославленный монарх, высокий ум, каким ты являешься, попробуй найди от этого хорошее средство, ручаюсь, что тебе не удастся. Ты велишь его повесить. Бедняга! Тебе уже сказали однажды, что не вешают человека, располагающего сотней тысяч эку<sup>8</sup>. Да в конце концов, как же ты узнаешь, что этот человек виновен, если тебе докажут, что он невинен<sup>9</sup>. Как, ты решил быть строгим? Право же, без всяких оснований. Тем лучше для мошенников. Если и останется какой-то честный человек, который их стесняет, он вскоре будет повешен.

## 5

Естественная ли склонность заставила людей соединиться в общество, были они вынуждены к этому своими взаимными потребностями, несомненно, что именно из этого общения родились их добродетели и их пороки и, в какой-то мере, все их моральное естество. Там, где нет общества, не может быть ни справедливости, ни милосердия, ни человеколюбия, ни великодушия, ни скромности, ни, главное, заслуги обладания всеми этими добродетелями, я хочу сказать, всей трудности упражнения в них среди существ, исполненных всеми обратными этим добродетелям пороками. С точки зрения морали, является ли общество, по своей сути, добром или злом? Ответ зависит от сравнения возникших в результате образования общества добра и зла, от соотношения пороков и добродетелей, порожденных им у тех, кто его составляет, и при таком подходе вопрос разрешается чрезвычайно легко, и лучше было бы опустить завесу над всеми поступками людей, чем открыть нашим взорам отвратительное и опасное зрелище, которое они собой представляют, но, всматриваясь пристально, мы вскоре видим, что в решение этой задачи входят



и другие обстоятельства, которые обязан учесть философ и которые в значительной мере изменяют наш печальный вывод. А добродетель одного человека добрых нравов облагораживает человеческий род сильнее, чем могут его унижить все преступления злых.

## 6

Меня поражает, что среди такого множества удивительных открытий, сделанных в наши дни, никто еще не заметил, что именно при дворе королей зародилась философия. Мне кажется, что это парадокс не хуже других. В первобытные времена люди, еще не отесанные, считали, что, дабы иметь право повелевать другими, следует превосходить их в мудрости, и, руководствуясь этой идеей, государи были не только судьями справедливого и хорошего, но также прекрасного и истинного.

## 7

Всегда будет возвышенным и трудным делом подчинить свои самые дорогие привязанности родине и добродетели.

## 8

Если бы Брут оправдал<sup>10</sup>, или отказался осудить своего сына, как посмел бы он когда-нибудь осудить другого Гражданина? О консул, сказал бы ему преступник, разве я сделал нечто худшее, чем предательство родины, и разве я тоже не сын ваш?

## 9

Мне досадно за св. Августина<sup>11</sup>, что он позволил себе шутить над этим возвышенным и прекрасным добродетельным поступком. Отцы церкви не смогли понять, что они приносят вред своему делу, унижая насмешкой все самое высокое, что было создано мужеством и честью; из стремления еще приподнять возвышенность христианства они сделали из христиан людей малодушных и лишенных...

## 10

Пусть мне покажут в наши дни хотя бы одного судью, способного принести в жертву родине и законам жизнь своих детей. Возможно, несколько женщин умрут ради той призрачной чести, которая заключается в мнении других людей, но пусть мне покажут хотя бы одну, способную умереть за ту истинную честь, которая заключается в чистоте поступков.

## 11

На одного писателя, который учит их презирать жизнь, приходится сотня таких, которые учат их жертвовать всем ради ее сохранения.

## 12

Один честный ч[еловек] способен сдерживать всех живущих на его улице; порок всегда стыдится разоблачить себя в глазах добродетели.

## 13

Душа воспламеняется и ум возносится, когда говорят о добродетели. Даже самые порочные иногда чувствуют ее божественные восторги, и нет такого злодея, который не почувствовал в своем сердце искры этого божественного огня и не был способен на героические чувства и поступки, по крайней мере один раз в жизни.

## 14

Ибо то, что самые необузданные и разнузданные люди сразу и добровольно подчинились самому жестокому и строгому управлению, какое когда-либо существовало, это — чудо, которое могло произойти лишь благодаря внезапному восторгу перед добрыми нравами и добродетелью, охватившему целый народ <sup>12</sup>.

## 15

## О ЧЕСТИ

Отцы церкви проявляли большое пренебрежение к добродетелям древних язычников, не имевших, по их мнению, никаких принципов, кроме стремления к суетной славе. Мне кажется, однако, что их очень затруднило бы обоснование столь дерзкого утверждения. Ибо как могли бы они найти в поведении Сократа, Фоклона <sup>13</sup>, Анаксагора <sup>14</sup>, Аристида <sup>15</sup>, Катона, Фабриция или в писаниях Платона, Сенеки <sup>16</sup> и Марка Антонина <sup>17</sup> хоть малейший повод к такому обвинению? Вероятно, они остереглись бы с такой язвительностью клеветать на язычников, если бы предвидели, что скоро настанет день, когда самих христиан будут с основанием укорять в том же, в чем они укоряли мудрость языческого мира.

## [ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ]

## 1

Если этот принцип справедлив, то из него соответственно вытекает следующий: необходимость тщательно изгонять из всего, что зависит от человеческого труда, всякие машины и всякие изобретения, способные сократить работу, сэкономить рабочую силу и дать тот же результат с меньшей затратой усилий <sup>1</sup>.

## 2

Рассуждая совершенно последовательно, следовало бы стремиться делать предметы промышленности непрочными и некрепкими и как можно менее долговечными и считать истинными благами пожары, кораблекрушения и всякие другие опустошения, составляющие несчастье людей.

## 3

Если бы нашли какой-нибудь способ облегчить вспашку земли и сократить число занятых на ней волов, то это усовершенствование непременно вызвало бы понижение цен на хлеб и повышение цен на мясо. Необходимо выяснить, будет ли такая деятельность столь же полезна беднякам, сколь она будет невыгодна больным, которые больше нуждаются в бульоне, чем в хлебе.

## 4

Следует вообще заметить, что если сдельная оплата в многочисленных промыслах доставляет средства к существованию большому числу людей, то одновременно она делает более тяжелым существование всего народа из-за ее неперемennого следствия — удорожания продуктов питания.

## 5

Я признаю, что деньги облегчают обмен, однако надо сделать больше, пусть обмен станет почти ненужным, добейтесь, чтобы каждый, по возможности, сам удовлетворял все свои потребности.

## 6

Именно недостаток в железе заставил американцев <sup>2</sup> сначала пренебречь мореплаванием, а затем и вовсе забросить его.

## 7

Налоги — это особый вид дохода, и поскольку большая часть налогов по своей природе тает в руках тех, кто их собирает, они разоряют народ, не обогащая казначейства, и, следовательно, всегда приносят больше вреда, чем пользы.

## 8

Длительное время черпая средства из кошелька богачей займами и из кошелька бедняков налогами, Англия, в конце концов, неизбежно разорится по той единственной причине, что она оплачивает свои долги исключительно за счет налогов.

## [О РОДИНЕ]

## 1

Земля, на которой мы живем, общая мать и кормилица всех людей, она родина человеческого рода. Однако никакие особые чувства нас к ней не привязывают; если бы мы все могли быть перенесены на другую планету, и жить там с большими удобствами, кто бы из нас вздумал пожалеть об этой? Но совершенно иная любовь привязывает нас к стране, где мы родились, к родине в собственном смысле этого слова; эти привязанности так же различны, как различны климаты, правительства и образы жизни; одни, родившись в хорошей стране, легко забывают ее, живя в худшей; другие, среди благополучия чужой страны, непрестанно сожалеют о своем бедном доме и, вздыхая, вспоминают свои пески и скалы. Для первых — родина повсюду, где им хорошо, для вторых — хорошо может быть только на родине. Откуда такое противоречие? Может быть, оно происходит оттого, что они пользуются различным языком, чтобы выразить одно и то же, и слово родина не имеет в обоих случаях одинакового смысла.

Эта мысль, уже давно смутно и неясно представавшая предо мной, случайно получила прояснение и развитие, когда я меньше всего занимался ею. Однажды, читая книгу аббата Дюбо<sup>1</sup> о поэзии и живописи, я натолкнулся на следующий отрывок, который привлек мое внимание: «Мы знаем сейчас народы, которым ныне уже более не соответствует характер, приписываемый древ-

ними авторами их предшественникам. Жители Рима не походят более на древних римлян, столь знаменитых своими военными доблестями».

На этих словах я прерываю чтение, я спрашиваю себя, правда ли, что современные римляне соотечественники древних. Я с негодованием представляю себе...

Я пытаюсь обнаружить, что могут иметь общего эти две породы людей, выросшие на одной почве. Я углубляюсь в размышления на эту тему, книга выскальзывает у меня из рук. Мысли роятся толпой, и затем, улетучиваясь с той же легкостью, наводит меня, в конце концов, на план набросать на бумаге те из них, которые мне удастся запомнить, они и составляют предлагаемый читателю неотделанный и беспорядочный сборник <sup>2</sup>.

## 2

Чтобы понять, как люди могут быть соотечественниками, нужно знать, что такое родина и какого рода узами они с ней связаны. Такое исследование невозможно без того, чтобы не обратиться к самым первым связям человека вообще.

Мы зависим от вещей через свои аппетиты, от людей в силу своих привязанностей и от тех и от других по привычке; я не вижу никаких иных уз, которые могли бы привязывать человека предпочтительно к одному, а не к другому месту. Однако человек устроен так, что из потребностей у него рождаются аппетиты и создаются привычки. Для сохранения людей, либо как индивидуумов, либо как род, необходимо, чтобы их естественные аппетиты удовлетворялись, а из ежедневно удовлетворяемых аппетитов рождаются привычки, нужные для сохранения людского рода. Отсюда бы, казалось, следовало, что из любви к самим себе все народы, одинаково привязанные к предметам своих аппетитов и своих привычек, являющихся также средством их сохранения, должны испытывать одинаковую привязанность к земле, питающей их с самого рождения, и которая одна доставляет их чувствам эти предметы; что, если бы и существовали какие-нибудь различия, то они бы зависели от большей или меньшей легкости получения этих предметов, и те, кто с большим трудом добывали бы себе все необходимое, меньше любили бы страну, которая им все это доставляет, что в действительности не так, как мы уже говорили выше. Следовательно то, что любят в своей стране, то, что, собственно, называют родиной, это совсем не то, что относится к нашим аппетитам и порождаемым ими привычкам, это не просто место и не просто вещи, предмет этой любви нечто более близкое нам <sup>3</sup>.

## 2

Если граждане получают от нее все, что способно придать цену их существованию, — мудрые законы, простые нравы, все необходимое, мир, свободу и уважение других народов, — они воспламеняются любовью к столь нежной матери. Они не будут знать иной настоящей жизни, кроме той, которую они от нее получили, ни иного истинного счастья<sup>4</sup>, как употребить свою жизнь на служение родине; и они будут считать одним из ее благодеяний честь, в случае необходимости, пролить всю свою кровь для ее защиты.

## 3

И, согласно данному мной определению добродетели, любовь к родине непременно к ней приводит, так как мы охотно желаем того, чего желают те, кого мы любим<sup>5</sup>.

## 4

Любовь к человечеству наделяет людей множеством добродетелей, например, кротостью, справедливостью, умеренностью, милосердием, снисходительностью, но отнюдь не внушает им мужества, твердости и т. д.; и не наделяет их также той силой, которую сообщает им любовь к родине, возвышающая их до героизма.

## 5

Из различных событий ист[ории] Рима и, между прочим, из истории Атилия Регула, видно, что римляне, попадавшие в руки врага, считали себя как бы лишенными права гражданства и, так сказать, натурализованными среди тех, кто их пленил. Однако эта нелепая точка зрения существовала только в их мнении, и ничего соответствующего ей нельзя обнаружить в поступках этих добродетельных мужей. Сам Регул<sup>6</sup>, считавший себя карфагенянином и отказавшийся занять свое место в Римском Сенате, так явно выступал в нем против интересов своей новой родины и против наказов своих хозяев, что, если он действительно вынужден был сохранять им верность и повиноваться их распоряжениям, то самый возвышенный из человеческих поступков окажется не более чем преступлением предателя, и следовало бы по справедливости оправдать ужасную казнь, которой в наказание за неповиновение его предали жестокие карфагеняне.

## [ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ СПАРТЫ И РИМА] <sup>1</sup>

### 1

Я предоставляю любителям современной истории определить, которая из этих двух картин ей больше подходит. Что касается меня, любящего рассматривать лишь те примеры, на которых человечество может учиться и которыми оно может гордиться; видящего среди своих современников лишь бесчувственных государей и стонающие народы; войны, в которых не заинтересован никто и которые приводят в отчаяние всех; огромные армии в мирное время, однако бездеятельные во время войны; министров, всегда занятых, для того чтобы ничего не делать; таинственные договоры, не имеющие цели; союзы, которых долго добивались и которые на следующий же день расторгают; наконец, подданных, тем более несчастных, чем богаче Государство, и тем более презираемых, чем могущественнее Государь; я опускаю завесу над всеми этими прискорбными и горестными предметами и, не в силах облегчить наши страдания, по крайней мере избегаю их рассматривать.

Но я люблю обращать свои взоры на те картины почитаемой нами древности, где я вижу людей, достигших, благодаря возвышенным установлениям, высшей степени величия и добродетели, доступной человеческой мудрости. Обзорение таких достойных уважения памятников в свою очередь возвышает душу и воспламеняет мужество; мы в какой-то мере участвуем в героических деяниях этих великих мужей, кажется, будто размышление об их величии наделяет и нас долей его, и об этих великих людях и об их речах можно было бы сказать то же, что говорил Пифагор об изображениях богов, наделяющих новой душой тех, кто обращается к ним за предсказаниями <sup>2</sup>.

В измышлениях своих сказок поэты не могут придумать ничего, что способно нам больше понравиться, чем сочетание достоинства и счастья и даже быть столь поучительным. Сердце не может отказаться от нежного интереса к добродетельным людям, и если они преуспевают, то хорошие люди радуются их счастью, потому что те добродетельны, а остальные радуются их добродетели потому, что они счастливы. Хотя в истории редко встречаются такие благоприятные сочетания, однако ей лучше удается их использовать, и когда к картине счастливой мудрости присоединяется священное свойство достоверности, она учит людей подчиняться промыслу Божию и придает прямодушным и чувствительным сердцам больше мужества поступать правильно. Кроме того, история может дополнить недостающее в ее повествованиях для поучения читателей, сочетая и рассматривая с одинаковой точки зрения события и героев, способных объяснить друг друга <sup>3</sup>. Такие сопоставления позволя-

ют лучше различить, что является делом судьбы, а что делом благоразумия; при противопоставлении людей или народов все, что их различает, ошибки, которые делает один из них, позволяют нам заметить, как мудро второй их избегает, и для нас одинаково поучительны и их недостатки и их достоинства. На мой взгляд в поисках сопоставления, сочетающего все эти преимущества, нельзя найти лучшего, чем параллель между теми двумя государствами, которые я собираюсь сравнивать. Рим и Спарта вознесли людскую славу до ее высшего предела; оба блистали одновременно и доблестью и мужеством, оба испытали большие превратности судьбы и обоим выпали на долю еще большие удачи, оба своей мудростью способствовали успеху или завоевывали его, и опровергли своим прочным и стойким общественным устройством распространенные предрассудки о непостоянстве свободных народов. Когда цели велики — отношения ошутимы; в том и в другом государстве сначала правила цари, затем каждое стало свободным и, наконец, оба погибли под властью тиранов; каждому пришлось бороться с грозным соперником, часто приводившим его на границу гибели, соперником, которого, однако, все же удавалось победить, но чье поражение оказывалось гибельным для победителей; увеличение обоих государств, хотя и очень неодинаковое, также послужило причиной их падения. Наконец, и в том и в другом отмечаются одинаковая гордость, одинаковые нравы, одинаковые правила и, главное, одинаковое восхищение своей родиной. Что же касается различий, то их всегда наберется больше, чем нужно для оправдания моего сопоставления, и у меня будет столько случаев говорить о них ниже, что не стоит отмечать их здесь.

Причины образования государства Спарты не менее необычны, чем ее законы, и ее основание произошло путем совершенно противоположным установлению других правлений. Среди различных состояний человека, способного жить в обществе, одной из крайностей является гражданская свобода, а другой — естественная свобода. Различные политические устройства образуют между этими двумя крайностями столько же промежуточных степеней свободы, начиная с чрезмерной вольности и кончая тиранией. Спарта же, напротив, начав с деспотизма, вскоре выродилась в анархию, являя ход развития, обратный естественному, что было следствием завоевания Пелопоннеса Гераклидами<sup>4</sup>. После того, как Еврисфен и Прокл<sup>5</sup> с глупой жадностью присвоили себе все имущество частных лиц, под тем предлогом, что Лакония завоеванная страна, жители, которых ничто более не привязывало к родине, бежали в соседние страны, и оба тирана, владыки обширной пустыни, узнали на собственном опыте, что суверенитет и собственность несовместимы, что права Государя зиждятся исключительно на правах его подданных и что невозможно, не давая ничего взамен, длительно повелевать людьми, которым нечего терять.



Чтобы заменить жителей, которых не захотели удержать, уступив им часть их собственного имущества, призвали иноземцев, которым пришлось дать больше, чем взяли у их предшественников, так что случилось, как всегда будет случаться и впредь, что цари обеднели из-за того, что все захватили. Но, непрерывно отдавая и ничего не получая, правительство не в состоянии было долго просуществовать. Пришлось, в конце концов, вернуться к налогам, которыми и следовало с самого начала удовлетвориться. Агис взимал налоги со всей строгостью Государя, считающего, что ему все дозволено и которого опыт никогда не исправит. Народ от ропота перешел к восстанию. Взятые за оружие, Агис оказался сильнее, и жители Гелоса<sup>6</sup>, побежденные и порабожденные, навеки явили в Спарте тщетный и пагубный пример жесточайшего рабства среди самой полной свободы.

Отнюдь не укрепив своей власти такими жестокостями, цари, не позаботившись прикрыть видимостью законной власти несправедливый ее захват, лишали себя помощи в те неизбежные моменты слабости, когда одно только право может заменить силу и когда самое сильное правительство, чтобы оно ни делало, оказывается во власти народа. Поэтому им вскоре пришлось изменить свои методы, и государи, никогда не руководившиеся рассудком, столь же неумеренные в своей снисходительности, как и в своей строгости, позволили слишком ясно увидеть, что они справедливы лишь из боязни, и следует непрерывно нападать на их власть, чтобы предупредить злоупотребления ею. Но больше всего способствовало падению верховной власти ее разделение между обоими царями. Ибо, непрерывно пытаясь захватить власть друг у друга, они лишились ее оба. Не сумев заставить ни полюбить себя за милосердность, ни уважать за справедливость, они оказались вынуждены наперебой низменно льстить толпе и создали себе больше врагов, чем приверженцев, своей слепой пристрастностью, заставившей их ненавидеть, и безнаказанностью преступлений, заставившей их презирать.

Совокупность всех этих причин за несколько поколений полностью уничтожила в Спарте монархию, и от правительства не оставалось ничего, кроме пустой формы, лишенной реального значения, и только препятствующей установлению лучшего государственного управления. Государство впало в анархию, худшую чем естественная независимость, потому что не было никакого способа из нее выйти, и, так как пока существовали цари, народ не мог ни установить себе законов, ни избрать магистратов, царская власть, лишенная силы, служила лишь защитой своеволия и разбоя. При таких обстоятельствах, когда Политический организм был на грани распада, появился Законодатель.

Чтобы правильно судить о том, что совершил Ликург<sup>7</sup>, на мгновение представим себе, что он ограничился бы только замыслом.

Если бы Карфаген находился в Италии, а Афины на Пелопоннесе, быть может, Рим и Спарта существовали бы еще и поныне.

Но он не видел, что любовь к завоеваниям была неизбежным пороком его общественного устройства, пороком более сильным, чем закон, подавляющий эту любовь, ибо гражданская жизнь лакедемонян отличалась такой суровостью, что в армии они жили с большими удобствами, чем у себя дома; и тяготы войны были для Спарты изнеженностью, и хотя эта изнеженность и была совсем нового рода, тем не менее она привела к ограничению прежних размеров государства пределами его территории и принизила его граждан, делая их не более чем равными другим людям.

## 2

Оба они устраивали множество представлений, собраний и церемоний, учредили множество коллегий и особых обществ для того, чтобы породить и поддерживать среди Граждан те приятные привычки и то невинное и бескорыстное общение, которые образуют и питают любовь к родине. Они воспользовались сходными средствами, чтобы прийти к одной и той же цели противоположными путями. Ибо один из них, внушая своим народам страх перед Богами, любовь к богослужениям и вкус к мирному обществу, просветил их мужество и умерил их жестокость; другой, теми же мирными занятиями, сумел привить своим подданным военные наклонности и таланты; и оба они, будучи врагами насилия и завоевания, стремились только обеспечить независимость и спокойствие государства.

## 3

Что касается размеров этих государств, то между ними не может быть никакого сравнения. Спарте, почти что ограниченной пределами своих стен, не удалось даже покорить Грецию, являющуюся, можно сказать, лишь ничтожной точкой в Римской империи. А Рим, подданными которого были столько царей, так далеко простер свое господство, что в конце концов вынужден был сам себя ограничить. У Спарты не было перед Римом даже преимущества, присущего маленьким государствам, — стойко выдерживать нападения величайших народов, превратности судьбы и приближение полной гибели. Ибо в начале своей истории они были одинаково слабы, и если против одной из них были цари Персии<sup>8</sup>, Эпаминонд<sup>9</sup> и Антипатр<sup>10</sup>, то другой пришлось противостоять галлам<sup>11</sup>, Пирру<sup>12</sup> и Ганнибалу. Выказывая еще большую стойкость в превратностях судьбы, Рим становился после поражений лишь более непреклонным, и эта гордость, коей Спарта не обладала в той же степени, позволила, наконец, Риму восторжествовать над всеми своими врагами. Оба государства отличались одинаковой доблестью, руководимой различными принципами. Всегда готовый умереть за свою страну, спартанец так нежно

любил свою Родину, что пожертвовал бы даже и самой свободой, чтобы спасти ее. Но римляне никогда не могли себе представить, чтобы Родина могла пережить потерю своей свободы, или даже своей славы.

## 4

В эти отдаленные времена, когда нарождающееся и недостаточно упрочившееся право собственности еще не было установлено законом, богатства казались лишь несправедливо присвоенным добром, и когда удавалось отобрать эти богатства у их обладателей, то едва ли считалось грабежом отнять у них то, что им не принадлежало. Гержулес и Тезей, эти герои древности, по существу были просто разбойниками, грабившими других разбойников.

## 5

Однако самым удачным в этом сопоставлении является то, что хотя ни одно из этих государств не достигло возможного для них совершенства, однако их недостатки были различны, и так как одно обладало достоинствами, отсутствующими у другого, то при сравнении зло выявляется не иначе как с лекарством против него. Такое сопоставление событий дает при рассмотрении фактов картину самого превосходного правления и самого доблестного и мудрого народа, какие только могут существовать.

## [О ДВОРЯНСТВЕ]

## 1

Вы просите меня, милостивый государь, высказать свое мнение по вопросу, который вы рассматривали: оказал ли упадок крупных Сеньеров во Франции полезен или вреден для Монархии<sup>1</sup>.

То, что вы подразумеваете под словом Монархия, в устах французов может иметь весьма различный смысл. Если под словом Монархия вы понимаете короля, то вопрос ясен и ответ очевиден; но если вы подразумеваете нацию в целом, то это дело другое, и здесь есть о чем поговорить.

## 2

Вся разница заключается в том, что в те времена зло иногда встречало сопротивление и что оно более не встречает его ныне.

В те времена роскошь увеличивала могущество дворян, а теперь она их губит, роскошь ставит их в самую тесную зависимость от двора и от министров и лишает их способности существовать иначе, чем на непрерывные милости, представляющие собой плоды порабощения народа и цену их собственного порабощения.

## 3

Правда, они жили в услужении, но что представляет собой дворянство как сословие, как не собрание лакеев. Дворянство создано в основном для того, чтобы служить, оно существует только этим и только для этого. Услужение всегда одинаково, различен только господин <sup>2</sup>.

## [О ПРАВАХ]

## ИСТ[ОРИЯ] ПРАВОВ

## 1

Постоянная ошибка большинства моралистов состояла в том, что они принимали человека за существо, в основном, разумное. Человек всего лишь существо, способное чувствовать, которое, действуя, советуется исключительно со своими страстями, и обращается к разуму только для исправления глупостей, которые они заставляют его совершать <sup>1</sup>.

## 2

Рассматривая с философской точки зрения взаимодействие всех частей, входящих в состав нашей обширной вселенной, легко заметить, что главное достоинство каждой из них не заключено в ней самой и что каждая часть была создана не для того, чтобы оставаться отдельной и независимой, но чтобы способствовать, вместе с остальными, совершенству всего механизма в целом.

Так же обстоит дело и в области морали. Пороки и добродетели каждого ч[еловека] относятся не только к нему. Их главное соотношение — это соотношение с обществом, и то, что они представляют собой относительно общественного порядка в целом, и составляет их сущность и их характерные особенности.

## 3

Природа сеет для всех одинаково, но урожай мы собираем разный.

## 4

Прежде всего хорошее и дурное отнюдь не одинаковы по самому своему строению. Правильный и хороший поступок должен быть таким не только по своей цели, но еще и в отношении всех его возможных связей. Наоборот, всякое действие, порочное хотя бы в одном только отношении, как бы похвально оно ни было в других, становится само по себе дурным. Таким образом, при прочих равных условиях, зло, неизбежно, должно превышать добро, в соответствии с тем множеством объектов, к которым могут относиться моральные свойства каждого поступка. Кроме того...

## 5

Что, если в каждом поступке оставить в стороне средства и рассматривать лишь цель, то обнаружится несравненно больше хороших поступков, чем дурных. Все они имеют непосредственной или отдаленной целью благополучие того, кто их совершает, причину саму по себе весьма хорошую и весьма невинную, если бы для ее достижения не применялись преступные средства. Многие делают добро просто из чистой добродетели и не имея иной цели, кроме самого добра, но трудно поверить, чтобы человек когда-либо делал зло ради удовольствия поступать дурно. Отсюда я заключаю, что во всем нашем поведении больше ослепления, чем злого умысла, и что один добродетельный человек приносит человечеству больше чести, чем унижают его все дурные. Я отнюдь не чувствую себя униженным преступлениями Каллигулы, Нерона и Гелиогабала<sup>2</sup>, но мою душу рассказ о добродетелях Антонина<sup>3</sup> облагораживает и возносит.

## 6

Закон действует только вовне и руководит лишь поступками, только нравы проникают во внутрь человека и направляют волеизъявления.

## 7

Во всякой стране, где государственное устройство включает нравственность, законы всегда направлены более на поддержание обычаев, чем на наказания и на поощрения. Для этого достаточно общественных обязательств, которыми частные лица пренебрегают лишь в развращенных странах, где такие обязательства в самом деле достойны презрения.

## 8

...грядущим векам, что вы существовали, если вы не оставите им ни философской системы, ни стихов, ни комедий, ни статуй? Подумайте только, что если бы, к несчастью, все народы Греции подражали вам, столько прекрасных вещей, которые они передали потомству, были бы потеряны навсегда. Подумайте, что ради добродетели дозволено действовать лишь поскольку слава...

Торопитесь отказаться от законов, пригодных лишь для того, чтобы сделать вас счастливыми. Думайте лишь о том, чтобы о вас много говорили, когда вас больше не будет, и никогда не забывайте, что если бы великих мужей не прославляли, то не стоило и быть великими.

## 9

Любовь к литературе рождается из праздности и питает ее, таким образом занятие литературой возмещает о начале развращения народа и быстро завершает его. Помимо праздности, занятие свободными искусствами возмещает еще о неравенстве состояний, о склонности к незначительному, о появлении роскоши: о трех источниках, из которых широкой струей изливаются в наше общество пороки<sup>4</sup>. Что же касается механических искусств, то, устраняя все неудобства, они расслабляют тела, поработают души и создают иные беды, более опасные, которые я еще не обсуждал и о которых, быть может, у меня будет случай поговорить в другом месте.

## 10

Все первые философы проповедовали добродетель, и это их счастье, ведь за другую проповедь их побили бы камнями. Но когда народы стали просвещенными и решили, что они тоже философы, они незаметно привыкли к самым странным утверждениям, и не было такого чудовищного парадокса, для которого желание выделиться не нашло бы поддержки. Усомнились даже в самой добродетели и в божестве, и так как всегда необходимо думать иначе, чем думает народ, то за философами дело не стало, чтобы выставить в смешном виде то, чему он поклонялся.

## 11

Знать, богачи, и та блестящая часть общества, которую называют «хорошим обществом», стараются из всех сил всем своим поведением отличаться от других людей. Надо одеваться иначе, чем народ, ходить, пить, есть иначе, чем народ, говорить, думать, поступать, жить иначе, чем народ. Все же остается еще одно пренеприятное обстоятельство. Это необходимость вместе со всеми пользоваться четырьмя стихиями. Не могли бы мы найти учтивый способ избавиться от девяти десятых совокупности тех людей, чье неблагоприятное дыхание загрязняет воздух, которым мы дышим?

## 12

...и, начиная свою карьеру со столь неравными силами, их различие увеличивается еще на весь тот путь, на который один опередит другого.

## 13

Общественное мнение, великую силу которого искусно применяли древние законодатели, находится в полном пренебрежении у современных правительств, ибо, раз они сами с ним не считаются, как бы они научили граждан уважать его.

## 14

Если бы они тратили немного меньше усилий, говоря нам, что мы должны поступать хорошо, и несколько больше на то, чтобы хорошо поступать самим, думаете ли вы, что их пример был бы менее полезен, чем их наставления? Зачем им тратить на то, чтобы сообщать нам о наших обязанностях, время, которое они должны были бы употребить на выполнение своих? и т. д.

## 15

Современная история не лишена замечательных событий, но это лишь события, я вижу несколько великих деяний, но я не вижу в ней более великих людей.

## 16

Каждый род занятий, каждое ремесло имеют свой особый словарь для пристойного выражения. присущих им пороков. О министре не скажут, что он притесняет народ, но что он изыскивает средства, ни о финансисте, что он обворовывает государя, но что он умеет устраивать свои дела. Плут скажет, что он *заработал* кошелек, а куртизанка, что она приобрела положение.

Пристойность существует теперь только в выражениях, и чем больше разврата в душах, тем больше стараются выбирать слова и соблюдать чистоту в своих речах. Мне было бы во сто раз приятнее, если бы человек пришел и смело сказал мне, что он предал своего друга и благодетеля.

## 17

Министр, изыскивающий средства, откупщик, делающий выгодное дело, плут, зарабатывающий кошелек, все они делают, примерно, одно и то же, но каждый стремится смягчить существо дела, пользуясь выражениями своего ремесла. Пусть какой-нибудь наглец заявил мне без обвиняков, что он только что совершил неслыханное мошенничество, я увижу в его речах может быть несколько больше наглости, но наверное значительно меньше малодушия.

## 18

Как бы то ни было, кражи и разбой меняют свои свойства, меняя свои соотношения; мелкие — обеспечивают и приводят на виселицу или на колесо тех, кто их совершает, а крупным обеспечена безнаказанность, и они, в конце концов, приводят к славе.

## 19

Существуют страны, в которых общественное достоинство не приносит более никаких доходов. Это случается, когда ремесло того, кто крадет у общества, настолько облагорожено, что все почтенные люди нации с достоинством им занимаются, и гордо называют своими правами то, что раньше называли бы кражами.

## 20

Поразительно, как, пользуясь прекрасным принципом, что нет ничего дурного в том, чтобы красть у государя, удается быстро успокоить совесть относительно любых видов краж вообще.

## 21

Большинство грабителей с большой дороги начинали с того, что были контрабандистами, и убийства, которые они совершали для того, чтобы сохранить свою жизнь, вскоре привели их к убийствам прохожих для того, чтобы овладеть их кошельком.



## 22

Они жертвуют своей свободой ради сохранения своей жизни, как путешественник отдает свой кошелек грабителю, чтобы не быть убитым; разве это значит, что вор приобрел кошелек честным путем или что владелец не имеет права отобрать свой кошелек у вора, как только сможет это сделать.

## 23

Бессмысленность жестоких пыток в Японии, где позор имеет такую силу. Смотрите Манделсло<sup>5</sup>, стр. 424.

## 24

## [ОГЛАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ИСТОРИИ НРАВОВ»]

Кн. I, гл. I. О нравах вообще; гл. II. О диких народах; гл. III. О варварских народах; гл. IV. О цивилизованных народах; гл. V. О просвещенных народах; гл. VI. О народах тружениках; гл. VII. О добродетельных народах; гл. VIII. О религии.

Кн. II, гл. I. О египтянах; гл. II. О персах; гл. III. О скифах; гл. IV. О греках; гл. V. О карфагенянах; гл. VI. О галлах; гл. VII. О германцах; гл. VIII. О римлянах.

СООБРАЖЕНИЯ  
ОБ ОБРАЗЕ ПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ  
И О ПРОЕКТЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ,  
СОСТАВЛЕННОМ В АПРЕЛЕ 1772 г.



*Глава II*

*ДУХ ДРЕВНИХ УСТАНОВЛЕНИЙ*

Когда читаешь древнюю историю, кажется, что попадаешь в иной мир, к иным существам. Что общего у французов, англичан, русских с римлянами и греками? Почти ничего, кроме внешности. Сильные души последних кажутся первым какими-то преувеличениями истории. Как могут они, чувствуя себя столь ничтожными, допустить, что были на свете столь великие люди? Однако эти люди существовали, и они были подобными нам человеческими существами. Что же мешает нам быть мужами, как они? Наши предрассудки, наша низменная философия, мелкокорыстные страсти, соединившиеся во всех сердцах с эгоизмом в результате наших нелепых установлений, которые отнюдь не гений вызвал к жизни.

Я смотрю на нации новых времен. Я вижу в них множество составителей законов и ни одного законодателя. У древних я вижу трех главных законодателей: Моисея, Ликурга и Нуму. Все трое обратили главные свои заботы на цели, которые показались бы нашим докторам права достойными лишь насмешки. И все трое достигли таких успехов, которые были бы сочтены невозможными, если б они не были так непременно засвидетельствованы.

Первый задумал и совершил удивительное дело: создать нацию как единый организм из скопища несчастных беглецов, которые не имели ни ремесел, ни талантов, ни добродетелей, ни мужества и ни одной пяди своих земельных владений, так что представляли собою чужеродное тело на лице земли. Моисей решил превратить это бродячее и раболепствующее племя в Политический организм, в свободный народ; и когда оно бродило в пустыне, не имея и камня, чтобы преклонить голову, Моисей дал ему прочное устройство, выдер-

жавшее испытания времени, судьбы и всевозможных завоевателей, — то устройство, которое не могли ни разрушить, ни даже изменить пять тысячелетий, и которое существует еще сегодня во всей своей силе, даже тогда, когда эта нация как единое целое уже более не существует.

Чтобы помешать своему народу раствориться среди чуждых народов, он дал ему нравы и обычаи, несовместимые с правами и обычаями других наций; он слишком обременил свой народ обрядами и особыми церемониями; он стеснил свой народ тысячью способами, чтобы непрестанно держать его в напряжении и сделать его чужеродным телом среди других людей; все узы братства, которые установлены им между членами его Республики, превратились в границы, отделяющие сей народ от его соседей и не позволяющие ему с ними смешиваться. Вот почему эта удивительная нация, столь часто угнетаемая, столь часто распыляемая по свету и, казалось бы, уничтоженная, но неизменно преклоняющаяся перед своим законом, все же сохранилась до наших дней, расселившись среди других народов, но с ними не смешиваясь; вот почему ее нравы, законы, обряды существуют и будут существовать столько, сколько будет существовать мир, несмотря на ненависть к ней и преследования со стороны остальной части человеческого рода.

Ликург взялся дать установления народу, уже испорченному рабством и пороками, которые суть результат рабского состояния. Он наложил на народ железное ярмо, такое ярмо, подобного которому не нес еще ни один народ; но он привязал его к ярму и, никогда его не снимая, отождествил народ, так сказать, с этим ярмом. Он беспрестанно льял народу его отечество — в законах, в играх, в доме, в привязанностях, в празднествах; он не оставлял народу ни минуты покоя, не давал ему оставаться с самим собою наедине. И из этого постоянного принуждения, облагороженного высшею целью, родилась в народе горячая любовь к отечеству, которая всегда была самой сильной или даже единственной страстью спартанцев и сделала их существами сверхчеловеческими. Спарта была всего лишь один город — это правда; но одною только силою своего устройства этот город давал законы всей Греции, сделался ее столицею и повергал в трепет персидскую монархию. Спарта была тем очагом, из которого ее законодательство распространяло свое влияние на все, окружающее ее.

Те, кто видел в Нуме только учредителя религиозных обрядов и церемоний, весьма неверно судили об этом великом человеке. Нума была подлинным основателем Рима. Если бы Ромул только собрал разбойников, которые в результате той или иной неудачи могли разбежаться, его несовершенное дело, по всей вероятности, не смогло бы выдержать испытания временем. Но именно Нума сделал это дело прочным и долговечным, объединив этих разбойников в нераздельный организм, превратив их в граждан не столько посредством законов, которые еще едва ли требовались при их грубой бедности, сколько сладостными установлениями, привязавшими их друг к другу, а всех вместе — к их земле; сделал, наконец, их город священным посредством тех легкомыс-

ленных и суеверных, на первый взгляд, обрядов, силу и действенность которых еще столь немногие могли оценить; а основы этих законов заложил, однако, именно Ромул, свирепый Ромул.

Такие же стремления вдохновляли всех древних законодателей, когда они создавали свои установления. Все они искали таких уз, которые бы привязали граждан к отечеству и друг к другу; и они нашли эти узлы в особых обычаях и религиозных церемониях, исключительных и национальных по своему характеру; в играх, собиравших воедино многих граждан; в упражнениях, укреплявших, наряду с физической силой и выдержкой, их гордость и уважение к самим себе; в зрелищах, напоминавших им историю предков; несчастья предков, их добродетели и победы взывали к сердцам граждан, воспаляли в них дух соревнования, привязывали их крепко к отечеству, о котором они напоминали им непрестанно. Стихи Гомера, которые читали грекам на торжественных собраниях не в тесных залах, с подмостков и за плату, но под открытым небом и перед всей нацией; трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида<sup>1</sup>, которые часто перед ними представляли; награды, которыми при одобрении всей Греции венчали победителей в играх, — вот что, постоянно зажигая в гражданах дух соревнования и стремление к славе, делало их мужество и добродетели столь непоколебимыми, что сегодня мы не можем себе это даже представить; людям новых времен не дано даже вообразить себе нечто подобное. Если есть у них законы, то единственно для того, чтобы научить их покорно подчиняться своим господам, не воровать из карманов и не отдавать слишком много денег мошенникам, занимающим общественные должности. Если они умеют делать хоть что-нибудь — так только забавлять женщин легкого поведения в их бездельи и самим с приятностью бездельничать. Если собираются они вместе, то в храмах для отправления культа, в котором нет ничего национального и который ничем не напоминает об отечестве; или в запертых залах и за деньги — чтобы смотреть изнеживающие, развращающие представления, где умеют говорить лишь о любви, где декламируют скоморохи и жеманятся проститутки; чтобы там брать уроки разврата — единственные уроки, которые там, так сказать, преподаются и которые не проходят для них без пользы; на празднествах, где народ, презираемый неизменно, лишен всякого влияния, где публичное осуждение или похвала не имеют никаких последствий; на непристойных сборищах, чтобы там заводить тайные связи и искать наслаждений, которые более всего разъединяют, отдаляют людей друг от друга и более всего расслабляют души. Разве может это пробуждать патриотизм! Нужно ли удивляться, что столь различный образ жизни приводит к столь различным результатам и что люди новых времен уже не находят в себе ничего от той душевной силы, которая во всем вдохновляла древних? Простите мне эти отступления — вы заставили говорить во мне остатки моего бывшего сердечного жара. Теперь я с удовольствием возвращаюсь к духу установлений всех тех современных мне наций, что ближе всего подходит на дух установлений древних народов, о которых я только что говорил.

### Глава III

#### ПРИМЕНЕНИЕ

...Не пренебрегайте некоторыми украшениями общественной обстановки; пусть она будет благородна, величественна и пусть великолепие проявляется не столько в вещах, сколько в людях. Трудно поверить, до какой степени душа народа отражает то, что видят его глаза, и как много значит для него величие церемониала. Это придает власти вид порядка и законности, внушающий доверие, и отвлекает от мысли о своеволии и прихоти, которые связываются с правлением самовластным. Нужно только в блеске торжества избегать пышности, мишуры, пестроты и роскошных украшений, как это обычно бывает при дворах. Праздники свободного народа должны всегда быть проникнуты пристойностью и торжественностью, и на них должно давать ему любоваться лишь тем, что достойно его уважения. Римляне на триумфах выставляли напоказ чрезвычайную роскошь; но то была роскошь побежденных; чем больше было в ней блеска, тем меньше в ней было соблазнов; сам ее блеск был великим уроком для римлян. Взятые в плен короли заковывались в цепи из золота и драгоценных камней. Это, конечно, роскошь. Часто к одной и той же цели приходят противоположными путями. Два мешка шерсти перед креслом Канцлера в английской палате лордов составляют в моих глазах украшение трогательное и возвышенное. Два снопа пшеницы, помещенные вот так же в польском Сенате, по-моему, возымеют там не менее прекрасное действие.

Огромное имущественное различие, отделяющее вельмож от мелкого дворянства,— это большое препятствие для преобразований, необходимых для того, чтобы любовь к отечеству сделалась преобладающей страстью. Пока роскошь будет царить среди вельмож, алчность будет царить во всех сердцах. Предметом народного восхищения всегда будет предмет желаний отдельных людей; и если нужно быть богатым, чтобы блистать, то преобладающей страстью всегда будет желание быть богатым. Это главное средство развращения, которое нужно сколь возможно ослабить. Если бы что-либо другое, что привлекает к себе внимание, если бы знаки общественного положения отличали должностных лиц, то те, кто были бы только богаты, были бы лишены этих знаков; тайные их желания, естественно, устремились бы к этим почетным отличиям, т. е. к отличиям, которые дают за заслуги и доблести,— если бы достичь успеха можно было только таким путем. Часто Консулы Рима были очень бедны: но им полагалось иметь ликторов; народу очень хотелось получить право на ликторские атрибуты, и, таким образом, плебен были допущены к консульскому званию.

Устранить роскошь полностью там, где царит неравенство, представляется мне, признаюсь, делом весьма затруднительным. Но нет ли средства изменить цели этой роскоши и сделать пример ее менее заразительным? Когда-то, например, небогатые польские дворяне состояли при вельможах, которые давали

им воспитание и содержание в своей свите. Вот роскошь поистине великая и благородная, коей неудобство я прекрасно понимаю, но которая, по крайней мере, не унижала, а возвышала души, внушала им добрые чувства, энергию и за все время существования Республики не породила у римлян никаких злоупотреблений. Я читал, что герцог д'Эпернон, повстречавшись однажды с герцогом де Сюлли, хотел затеять с ним ссору, но, имея в свите только лишь шестьсот дворян, он не решился напасть на Сюлли, у которого была свита из восьмисот человек. Сомнительно, чтобы роскошь такого рода могла оставить большой простор для всяких ненужных расточительств; такой пример, по крайней мере, не введет бедных в искушение. Позвольте вельможам в Польше иметь роскошь лишь такого рода: отсюда пойдут, быть может, несогласия, разделение на партии, ссоры, но такая роскошь не развратит нацию. Кроме роскоши этого рода, допустим еще роскошь воинскую, роскошь оружия, конницы; но да будет презираем всякий щегольской наряд, и если отказаться от таких нарядов нельзя заставить женщин, то пусть их, по меньшей мере, научат порицать и презирать щегольские наряды на мужчинах.

Впрочем, не законами против роскоши можно достичь ее окончательного искоренения: ее нужно вырвать из глубины сердец, запечатлев в них вкусы более здоровые и более благородные. Запретить то, чего делать не следует, есть средство негодное и бесполезное, если не сделать предварительно то, чего не следует делать, ненавистным и презренным; неодобрение Закона лишь тогда бывает действенным, когда оно скрепляет неодобрение, уже вынесенное разумом. Всякий, кто берется дать народу разумные установления, должен уметь властвовать над мнениями и с их помощью управлять страстями людей. Это верно особенно в той области, о которой я сейчас говорю. Законы против роскоши скорее возбуждают желание принуждением, нежели подавляют его наказанием. Простота в нравах и нарядах — это плод не столько закона, сколько воспитания.

#### Глава IV

#### ВОСПИТАНИЕ

Это важный раздел<sup>1</sup>. Именно воспитание должно придавать душам национальную форму и так направлять мнения и вкусы граждан, чтобы они были патриотами по склонности, по страсти, по необходимости. Дитя, раскрывая глаза, должно видеть отечество, и до смерти не должно ничего видеть, кроме отечества. Всякий истинный республиканец с молоком матери впитал в себя любовь к отечеству, т. е. к законам и свободе. Эта любовь составляет все его существо; он видит только отечество, он живет лишь для него; коль скоро он один — он ничто; коль скоро у него нет больше отечества — он больше не существует; и если он не умирает, то тем хуже для него.

Национальное воспитание — это достояние лишь свободных людей; только у них — общее существование, и только они действительно связаны Законом. Француз, англичанин, испанец, итальянец, русский — все они почти один и тот же человек. Он выходит из школы уже совсем подготовленным к распушенности, т. е. к рабству. В двадцать лет поляк не должен быть иным человеком; он должен быть поляком. Я хочу, чтобы, научаясь читать, он читал о своей стране, чтобы в десять лет он знал все, что она производит, в двенадцать — все ее провинции, все дороги, все города; чтобы в пятнадцать лет он знал всю ее историю, в шестнадцать — все законы; чтобы не было в Польше ни подвига, ни героя, которыми не были бы полны его память и сердце и о которых он не мог бы сразу же рассказать. Из этого следует заключить, что я бы желал, чтобы дети посещали не обычные занятия, руководимые иностранцами и священниками. Предмет, порядок и форму занятий должен определить Закон. Наставниками должны быть только поляки; все, если возможно, люди женатые; все известные своими добрыми нравами, честностью, здравомыслием, познаниями и все предназначенные впоследствии на должности не более важные или более почетные — ибо то невозможно, — но менее трудные и более видные, после того, как некоторое число лет они будут хорошо исполнять эту должность. Особенно остерегайтесь превращать в ремесло звание педагога. Всякое должностное лицо в Польше должно иметь лишь одно постоянное звание — звание гражданина. Все занимаемые этими лицами должности и особенно те, которые столь важны, как должность педагога, должны считаться лишь испытательными вехами и ступенями для того, чтобы подняться выше, когда это заслужишь. Я призываю поляков обратить внимание на это правило, на котором я снова и снова буду настаивать; я считаю его ключом к самой великой двигательной силе в Государстве. Ниже вы увидите, как можно, на мой взгляд, сделать это правило осуществимым во всех случаях.

Мне вовсе не по духу те различия в гимназиях и академиях, которые приводят к тому, что бедных и богатых дворян воспитывают по-разному и по-разному<sup>2</sup>. Все, будучи равны в силу основного закона Государства, должны воспитываться вместе и одинаково; и если нельзя установить воспитания общественного, совершенно бесплатного, нужно, по крайней мере, установить за него такую плату, чтобы ее могли вносить бедные. Разве нельзя было бы в каждой гимназии определенное число мест сделать просто бесплатными, т. е. оплачиваемыми Государством, и ввести то, что во Франции называют стипендиями?<sup>3</sup> Эти места, предоставляемые детям бедных дворян, которые это заслужили не как милостыню, но как награду за добрые услуги отцов, сделались бы в силу этого права почетными и могли бы принести двойную пользу, которую не следует пренебрегать. Для этого нужно было бы, чтобы эти места предоставлялись не по произволу, а по своего рода особому постановлению, о чем скажу ниже. Те, которые заняли бы эти места, назывались бы *Детьми Государства* и отмечались бы каким-либо почетным знаком, который давал бы им старшинство по отношению к другим детям их возраста, не исключая детей вельмож.

Во всех гимназиях нужно устроить для детей гимнастические залы или места для телесных упражнений. Эта область воспитания, которою столь часто пренебрегают, является, на мой взгляд, наиболее существенной его частью, и притом не только для воспитания людей крепких и здоровых телом, но еще более для воспитания морального — а этой стороной дела либо совершенно пренебрегают, либо заменяют ее массой педантичных и бесполезных постановлений, а сие все равно, что бросать слова на ветер. Я никогда не устану повторять, что хорошее воспитание должно быть предупреждающим. Помешайте порокам зародиться, вы тем самым достаточно сделаете для воспитания добродетели. Средство достижения этого при соответствующем общественном воспитании крайне просто: оно состоит в том, чтобы всегда держать детей в напряжении не при помощи скучных занятий, в которых они ничего не понимают и которые делаются для них ненавистными потому только, что они должны сидеть неподвижно; но упражнениями, которые им нравятся, потому что они удовлетворяют естественную потребность их растущих организмов в движении; и не только в этом будет для них привлекательность таких занятий.

Никак нельзя допускать, чтобы каждый ребенок играл отдельно, как ему захочется: дети должны играть все вместе и на виду, так чтобы у них всегда была общая цель, к которой все стремятся и которая возбуждает дух соперничества и соревнования. Те родители, которые предпочтут домашнее воспитание и захотят, чтобы дети воспитывались у них на глазах, должны все же посылать своих детей на эти упражнения. Обучение детей может быть домашним и частным, но их игры должны быть общественными и общими для всех; ибо здесь дело идет не только о том, чтобы их занять, дабы вырастить их крепкими, сделать их подвижными и стройными, но и о том, чтобы с детства приучить их жить на глазах у своих сограждан и воспитать в них желание заслужить общественное одобрение. Для этого надо, чтобы призы и награды победителям присуждались не по единоличному мнению тех, которые будут руководить такими упражнениями, или же начальников гимназий, но по одобрению и по решению зрителей; и можно рассчитывать, что эти решения всегда будут справедливы, особенно, если позаботиться о том, чтобы сделать такие игры привлекательными для всего народа, устраивая их не без некоторых приготовлений и так, чтобы они представляли собою интересное зрелище. Тогда можно предположить, что все честные люди и все добрые патриоты сочтут своим долгом и удовольствием на них присутствовать.

В Берне существует весьма необычное упражнение для молодых патрициев, оканчивающих гимназию. Это то, что называют *внешним подобием Государства*<sup>4</sup>. Это уменьшенная копия всего того, что составляет управление Республикой: сенат, адвокаты, чиновники, судебные приставы, ораторы, тяжбы, приговоры, торжества. Это внешнее подобие Государства имеет даже свое маленькое Правительство и некоторые доходы; и это установление, разрешенное и поощряемое главою Государства, есть питомник государственных мужей,



которые когда-нибудь будут управлять общественными делами на тех же должностях, которые они сначала исполняют лишь играючи.

Какую бы форму ни придать общественному воспитанию, в подробности которого я сейчас не вхожу, надо создать коллегия магистратов первой ступени, которая осуществляла бы высшее управление воспитанием и назначала бы, смещала и замещала по своей воле как директоров или начальников гимназий, которые являются, как я уже говорил, кандидатами на высшие магистратуры, так и тех, кто руководит упражнениями; надо позаботиться о поощрении усердия и бдительности этих последних, открыв или закрыв им доступ к высшим должностям в зависимости от того, как они справятся с этими прежними своими обязанностями. Поскольку от этих учреждений зависит все будущее Республики, слава и судьба нации, я, скажу прямо, придаю им такое значение, какое, к моему крайнему удивлению, им нигде не придают. Я огорчен за человечество, что столько мыслей, представляющихся мне нужными и полезными и притом легко осуществимыми, оказываются все еще очень далекими от всего того, что осуществляется на деле.

Впрочем, здесь я об этом только упоминаю; но для тех, к кому я обращаюсь, будет достаточно и упоминания. Эти еще не развитые мысли намечают в общей форме те пути, неизвестные современным людям, которыми древние, отвергая то, что должно быть чуждо человеческой природе, воспитывали в людях такую душевную силу, такой патриотический пыл, такое уважение к большим и настоящим личным качествам, что у нас нет тому даже примеров, хотя зачатки этих качеств живут в сердцах всех людей и только ждут, чтобы их побудили к развитию надлежащими установлениями. Исправьте в этом духе воспитание, обычаи, привычки, нравы поляков и вы разовьете в них эти зачатки, которые еще не удалось заглушить с помощью извращенных принципов, устаревших установлений и эгоистической философии, проповедующей и убивающей. Нация будет вести счет своему второму рождению со времени ужасного кризиса, из которого она выходит; и, видя то, что совершили ее еще недисциплинированные члены, она будет ждать долго и получит много от хорошо продуманных установлений; она полюбит, она будет уважать Законы, которые будут ласкать ее благородную гордость, которые сделают ее счастливой и свободной; вырвав из своей груди страсти, заставляющие обходить законы, нация вскормит те страсти, которые внушат к законам любовь; и, наконец, сама она, так сказать, обновляясь, вновь приобретет в своей новой жизни силу нарождающейся нации. Но без этих предосторожностей не ждите ничего от ваших законов. Какими бы мудрыми, какими бы предусмотрительными они ни были, их будут обходить, они будут бесполезны; и вы исправите некоторые злоупотребления, которые вас оскорбляют, чтобы вызвать другие, которых вы не предусмотрели. Вот те предварительные замечания, которые я счел необходимым сделать [...]

ВЫПИСКИ К. МАРКСА  
ИЗ «ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА»  
Ж.-Ж. РУССО



Публикуемые выписки Маркса из «Общественного договора» Руссо содержатся в одной из пяти тетрадей с выписками по истории стран, по теории и истории государства, которые Маркс делал во время своего пребывания в Крейцнахе летом и осенью 1843 г., в знаменательный для формирования его мировоззрения период, когда осуществлялся переход Маркса от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму. Важнейшим этапом этого процесса явились его работы по критическому пересмотру гегелевской философии права, в которых он закладывает основы нового мировоззрения и указывает впервые на пролетариат как на общественную силу, способную осуществить социалистическую революцию («К критике гегелевской философии права. Введение». — Соч., т. I). Крейцнахские тетради с выписками, создававшиеся в период, непосредственно предшествовавший написанию этой работы, дают нам некоторое представление о том, как совершался этот переход во взглядах Маркса.

Выписки из «Общественного договора» Руссо находятся во второй тетради, озаглавленной «Заметки по истории Франции». В ней содержатся выписки еще из нескольких книг по истории Франции, а также из книги Монтескье «Дух законов». Однако эти выписки не ставят своей задачей дать полный конспект книги, а — и это характерно для метода научной работы Маркса — содержат материал главным образом по вопросам, представлявшим для Маркса специальный интерес — о собственности и ее формах. Они показывают его стремление выявить социально-экономические факторы, определяющие исторический процесс.

Для выписок из «Общественного договора» Маркс пользовался изданием 1782 г., страницы которого указываются им в тексте выписок. Они занимают 17 страниц из 67 всей рукописи второй тетради. Выписки Маркса буквальны, но иногда он делает некоторые сокращения или дополняет текст отдельными словами; пересказывает Маркс лишь замечание Руссо о главном препятствии к осуществлению демократии (стр. 482). Собственное замечание Маркса только одно: он называет «достойным внимания» примечание Руссо о фактическом неравенстве людей перед законом в зависимости от их имущественного положения (стр. 474—475). Но отношение Маркса к тем или иным высказываниям Руссо проявляется также в многочисленных подчеркиваниях и отчеркиваниях, да и самый подбор выписываемых мест говорит за себя. Особенно ярко видно значение, придаваемое Марксом тем или иным вопросам, в составленном им предметном указателе к данной тетради. В нем шестнадцать рубрик с широкой тематикой (народное представительство, формы собственности, формы правления, рабство и свобода и др.). Около двух третей цитируемых страниц относится к «Общественному договору». Указатель был опубликован полностью в Marx — Engels Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Band I, Halbband II. Berlin, 1929, стр. 123. Его анализ показывает поиски и подход Маркса к материалистическому пониманию истории.

Обобщением черновых выписок явилась также статья Маркса «К еврейскому вопросу», в которой поставлен вопрос о различии между буржуазной и социалистической революцией (Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, 2-е изд., т. 1). Маркс использует в ней сделанные выписки из «Общественного договора» и приводит довольно большую выдержку из него.

Текст, принадлежащий Марксу, печатается в публикации полужирным курсивом: подчеркивания, сделанные самим Марксом, — светлым курсивом, в разрядку; подчеркивания, совпадающие с подчеркиваниями в книге, — светлым курсивом.

Рукопись публикуется по фотокопии, хранящейся в ЦПА ИМЛ, ф. 1, оп. 1, № 116.

Выписки подготовлены к публикации старшим научным сотрудником Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Н. И. Непомнящей.

Институт марксизма-ленинизма  
при ЦК КПСС

**ВЫПИСКИ ИЗ «ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА»  
ЖАН-ЖАКА РУССО**

*Книга 1.*

«Общественное состояние — это священное право, которое служит основанием для всех остальных прав. Это право, однако, не является естественным, следовательно, оно основывается на *соглашениях*». Стр. 3.

«Самое древнее из всех обществ и единственное естественное — это *семья*». Стр. 4.

«Таким образом, семья... прообраз политических обществ, правитель — это подобие отца, народ — детей». Стр. 5.

«Таким образом человеческий род оказывается разделенным на стада скота, каждое из которых имеет своего вожака, берегущего оное с тем, чтобы его пожирать. Подобно тому, как пастух — существо высшей природы по сравнению с его стадом, так и пастыри людские, кои суть вожаки людей, — существа природы высшей по отношению к их народам». Стр. 6.

«Итак, если существуют рабы по природе, так только потому, что существовали рабы вопреки природе». Стр. 7.

«Самый сильный никогда не бывает настолько силен, чтобы оставаться постоянно повелителем, если он не превращает своей силы в право, а повиновения ему — в обязанность». Стр. 8.

«Отказаться от своей свободы — это значит отречься от своего человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее обязанностей». Стр. 12.

«Такой человек, пусть бы даже он и поработил полмира, всегда будет лишь частное лицо; его интерес, отделенный от интересов других людей, это всегда только частный интерес». Стр. 19.

«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всю общую силу личности и имущество каждого из членов ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». «Такова основная задача, которую разрешает общественный договор». Стр. 22.

«Эти статьи... сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины». Стр. 22, 23. «Если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то,

поскольку теперь не было бы такого старшего над всеми, который был бы вправе разрешать споры между ними и всем народом, каждый, будучи судьей самому себе в некотором отношении, начал бы вскоре притязать на то, чтобы стать таковым во всех отношениях; естественное состояние продолжало бы существовать, и ассоциация неизбежно стала бы тиранической или бесполезной». Стр. 23.

«Мы найдем, что оно (*т. е. общественное соглашение*) сводится к следующим положениям: *Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого*». Стр. 23.

«Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное целое, состоящее из столько же членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее я, свою жизнь и волю. Это лицо юридическое... *Гражданская община... республика, или политический организм*: его члены называют этот политический организм *государством*, когда он *пассивен, суверен*, когда он *активен, державою* — при сопоставлении его с ему подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности получают имя *народа*, а в отдельности называются *гражданами* как участвующие в верховной власти, и *подданными* как подчиняющиеся законам государства». Стр. 23.

«Каждый индивидуум, вступая, так сказать, в договор с самим собою, оказывается принявшим двойное обязательство, именно: как член суверена в отношении частных лиц и как член государства по отношению к суверену». Стр. 26.

«Решение, принятое всем народом... не может... наложить на суверена обязательства по отношению к себе самому и... следовательно, противоречило бы самой природе политического организма, если бы суверен предписал сам себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить». Стр. 26.

«По отношению к чужеземцу оно (*государство*) выступает как обычное существо, как индивидуум». Стр. 27.

«Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным». Стр. 29.

«Надо точно различать естественную свободу, границами которой является лишь физическая сила индивидуума, и свободу гражданскую, которая ограничена общей волей; а также различать обладание, представляющее собой

~~117~~ Sur les libertés p. 35.

Les promesses et tant considérés comme dispositions de bon public. Il faut  
à savoir que chaque particulier a sur son propre fonds, et sur son  
côté a droit que le gouvernement a sur tous; sans quoi il n'y aurait  
ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la  
souveraineté: p. 36

un lien de dévouement et d'égalité naturelle, le point fondamental est de  
constituer une égalité morale et légitime telle que la nature veut que  
nature d'égalité morale entre les hommes et que, pour être jugés  
de force ou en justice les deux amitiés, égales par convention et de droit.  
Souveraineté morale qui s'exprime dans l'égalité naturelle: p. 37

— Dans les mêmes gouvernements, cette égalité n'est qu'appareil et illusoire  
elle ne sert qu'à maintenir le pouvoir dans la main et le sort dans  
son usurpation. Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux  
qui possèdent et utiles à ceux qui n'ont rien: dans le fait  
que l'état social n'encourage pas les honnêtes quant à ce qu'ils ont  
dans quelque chose et qu'aucun Dieu n'a rien de trop.

лишь результат применения силы или право того, кто пришел первым, и ответственность, которая может основываться лишь на законном документе». Стр. 31.

«Каждый член общины подчиняет себя ей в тот момент, когда она обращается, таким, каков он есть в это время, подчиняет ей самого себя и все свои силы, составной частью которых является и принадлежащее ему *имущество*... государство является в отношении своих членов хозяином всего их имущества в силу общественного договора, который в государстве служит основой всех прав; но для других держав государство является таковым лишь по праву первой заимки, перешедшему к нему от отдельных лиц». *Для закрепления права первой заимки Руссо ставит следующие условия:*

- 1) чтобы на этой земле еще никто не жил;
- 2) чтобы занято было лишь столько, сколько необходимо, чтобы прокормиться;
- 3) чтобы вступали во владение землею не в силу какой-либо пустой формальности, но в результате расчистки и обработки ее — этого единственного признака собственности, который при отсутствии юридических документов должен быть признаваем другими». Стр. 33.

«Как может человек или народ завладеть огромною территорией, лишив человеческий род этой территории, иначе, как не в результате наказуемого захвата, поскольку этот акт лишает других людей мест обитания и источников существования, которые природа дает им всем в общее пользование?» Стр. 34.

«Теперь понятно, каким образом соединенные и смежные земли частных лиц превращаются в территорию, подвластную всему народу, и каким образом право суверенитета, распространяясь с подданных на занимаемые ими участки земли, становится одновременно вещным и личным... Владея таким образом землей, они (*т. е. теперешние короли*) могут быть вполне уверены в том, что ее обитатели у них в руках». Стр. 35.

«Владельцы рассматриваются как хранители общего достояния». Стр. 35. «Право, которое каждое частное лицо имеет на свою собственную землю, всегда подчинено тому праву, которое община имеет на все земли, без чего не было бы ни прочности в общественных связях, ни действительной силы в осуществлении суверенитета». Стр. 36.

«Первоначальное соглашение не только не уничтожает естественное равенство людей, а, напротив, заменяет их равенством как личностей и перед законом все то неравенство, которое внесла природа в их физическое естество; и хотя люди могут быть неравны по силе или способностям, они становятся все равными в результате соглашения и по праву». Стр. 37. *Руссо делает*

*к последней фразе следующее достойное внимания примечание:* «При дурных правлениях это равенство лишь кажущееся и обманчивое; оно служит лишь для того, чтобы бедняка удерживать в его нищете, а за богачом сохранять все то, что он присвоил. На деле законы всегда приносят пользу имущим и причиняют вред тем, у кого нет ничего: отсюда следует, что общественное состояние выгодно для людей лишь постольку они все чем-либо обладают и постольку ни у кого из них нет ничего излишнего».

*Книга II.*

«Одна только общая воля может управлять силами государства в соответствии с целью его установления, каковая есть *общее благо*... Общественную связь образует как раз то, что есть общего в этих различных (*т.е. частных*) интересах... Обществом должно править, руководясь единственно этим общим интересом». Стр. 38. «*Суверенитет*... осуществление *общей воли*... суверен... коллективное существо, может быть представляем только самим собою. Передаваться может *власть*, но никак не воля». Стр. 39.

«Воля отдельного человека по своей природе стремится к преимуществам, а общая воля — к равенству». Стр. 39.

«Нелепо, чтобы воля сковывала себя на будущее время». Стр. 39.

«В силу той же причины, по которой суверенитет *неотчуждаем*, он *неделим*». Стр. 41.

«Для того, чтобы воля была общею, не всегда необходимо, чтобы она была единодушна; но необходимо, чтобы были подсчитаны все голоса». Стр. 41.

«Наши политики, не будучи в состоянии *разделить* суверенитет в *принципе* его, разделяют суверенитет в его *проявлениях*». Стр. 41.

«Они делают из суверена какое-то фантастическое существо, сложенное из частей, взятых из разных мест». Стр. 42. «Заблуждение это проистекает из того, что они... приняли за *части* верховной власти лишь ее *проявления*». Стр. 42.

«Общая воля неизменно *направлена прямо к одной цели* и *стремится всегда к пользе общества*... из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу, но не всегда видят, в чем оно». Стр. 45.

«Часто существует немалое *различие* между *волею всех* и *общей волею*. Эта вторая блюдет только общие интересы; первая — интересы частные и представляет собою лишь сумму изъявлений воли частных лиц. Но отбросьте из этих изъявлений воли взаимно уничтожающиеся край-



ности; в результате сложения оставшихся расхождений получится общая воля». Стр. 45.

«Когда в ущерб основной ассоциации образуются частичные ассоциации, то воля каждой из этих ассоциаций становится *общей* по отношению к ее членам и *частной* по отношению к государству: тогда можно сказать, что голосующих не столько же, сколько людей, но лишь столько, сколько ассоциаций». Стр. 46.

«Если государство или гражданская община — это не что иное, как *условная личность*, жизнь которой заключается в союзе ее членов, и если самой важной из забот ее является забота о *самосохранении*, то ей нужна *сила всеобщая* и побудительная, дабы двигать и управлять каждой частью наиболее удобным для целого способом. Подобно тому, как природа наделяет каждого человека неограниченной властью над всеми членами его тела, общественное соглашение дает политическому организму неограниченную власть над всеми его членами, и вот *эта власть, направляемая общей волей*, носит, как я сказал, имя *суверенитета*». Стр. 48.

«Суверен... не может налагать на подданных узы, бесполезные для общины; он не может даже желать этого, ибо в силу *закона разума*... ничто не совершается без причины». Стр. 49.

«Почему общая воля всегда направлена прямо к одной цели и почему все люди постоянно желают счастья каждого из них, если не потому, что нет никого, кто не относил бы этого слова *каждый* на свой счет и кто не думал бы о себе, голосуя в интересах всех? Это доказывает, что... *общая воля*, для того чтобы она была поистине таковой, должна быть общей как *по своей цели*, так и *по своей сущности*, что она должна *исходить от всех*, чтобы относиться ко *всем*, и что она теряет присутствие ей от природы верное направление, если устремлена к какой-нибудь *индивидуальной и строго ограниченной* цели, ибо тогда, поскольку мы выносим решение о том, что *является для нас посторонним*, нами уже не руководит никакой истинный принцип равенства». Стр. 50.

«Как только речь заходит о каком-либо факте или частном праве... то дело становится спорным. Это — процесс, в котором заинтересованные частные лица составляют одну из сторон, а весь народ — другую». Стр. 50.

«Поэтому, подобно тому, как частная воля не может представлять волю общую, так и *общая воля*, в свою очередь, *изменяет* свою природу, если она направлена к *частной цели*, и не может, как общая, выносить решение ни в отношении какого-нибудь человека, ни в отношении какого-нибудь факта». Стр. 51.

«Исходя из этого, надо признать, что волю делает общею не столько число голосов, сколько общий интерес, объединяющий голосующих. Ибо при такого рода устройении каждый по необходимости подчиняется условиям, которые он делает обязательными для других». Стр. 52.

«Всякий акт суверенитета, т. е. всякий подлинный акт общей воли, налагает обязательство на всех граждан или дает преимущества всем в равной мере, так что суверен знает лишь нацию как целое, и не различает ни одного из тех, кто ее составляет... соглашение целого с каждым из его членов». Стр. 53.

«Верховная власть, какой бы неограниченной, священной, неприкосновенной она ни была, не переступает и не может переступать грани общих соглашений... что каждый человек может всецело распоряжаться тем, что ему эти соглашения предоставили из его имущества и его свободы». Стр. 53.

«Общая воля не может высказаться по поводу предмета частного». Стр. 61.

«Когда весь народ выносит решение, касающееся всего народа, он рассматривает лишь самого себя и если тогда образуется отношение, то это — отношение целого предмета, рассматриваемого с одной точки зрения, к целому же предмету, рассматриваемому с другой точки зрения,— без какого-либо разделения этого целого. Тогда сущность того, о чем выносятся решения, имеет общий характер так же, как и воля, выносящая это решение. Этот именно акт я и называю законом». Стр. 62.

«Когда я говорю, что предмет законов всегда имеет общий характер, я разумею под этим, что закон рассматривает подданных как целое, а действия — как отвлеченные, но никогда не рассматривает человека как индивидуум или отдельный поступок. Таким образом, закон вполне может установить, что будут существовать привилегии, но он не может предоставить таковые никакому определенному лицу; закон может создать несколько классов граждан, может даже установить те качества, которые дадут право принадлежать к каждому из этих классов, но он не может конкретно указать, что такие-то и такие-то лица будут включены в тот или иной из этих классов; он может установить королевское правление и сделать корону наследственной, но он не может ни избирать короля, ни провозглашать какую-либо семью царствующей,— словом, всякое действие, объект которого носит индивидуальный характер, не относится к законодательной власти». Стр. 62, 63.

«Республика — всякое государство, управляемое посредством законов, каков бы ни был при этом образ управления... всякое правление посредством законов есть республиканское». Стр. 64.

*Примечание к этой фразе гласит:*

«Чтобы правительство было законосообразным, надо, чтобы оно не смешивало себя с сувереном, но чтобы оно было его служителем: тогда даже монархия есть республика...» Стр. 64.

«Законы, собственно — это лишь условия гражданской ассоциации. Народ, повинующийся законам, должен быть их творцом». Стр. 64.

«Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не всегда видит, в чем оно. Общая воля всегда направлена верно и прямо, но решение, которое ею руководит, не всегда бывает просвещенным». Стр. 65.

«Частные лица видят благо, которое отвергают; народ хочет блага, но не ведает, в чем оно». «Надо обязать первых согласовать свою волю с их разумом; надо научить второй знать то, чего он хочет. Тогда результатом просвещения народа явится союз разума и воли в общественном организме». Стр. 65.

«Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое замкнутое и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивидуум в известном смысле получает свою жизнь и свое бытие... должен поставить на место физического и самостоятельного существования существование частичное и моральное... Нужно, чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен другие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без содействия других. Чем больше эти естественные силы иссякают и уничтожаются, чем больше силы, вновь приобретенные, возрастают и укрепляются, тем более прочным и совершенным становится также и первоначальное устройство; так что, если каждый гражданин ничего собою не представляет и ничего не может сделать без всех остальных, а сила, приобретенная целым, равна сумме естественных сил всех индивидуумов или превышает эту сумму, то можно сказать, что законы достигли той самой высокой степени совершенства, какая только им доступна». Стр. 67, 68.

Тот, кто властвует над законами, также не должен повелевать людьми. Иначе его законы, орудия его страстей, часто лишь увековечивали бы совершенные им несправедливости, он никогда не мог бы избежать того, чтобы частные интересы не искажали святости его создания. Когда Ликург да-

вал законы своему отечеству, он начал с того, что *отрекся* от царской власти. В большинстве греческих городов существовал обычай поручать составление законов чужестранцам». Стр. 68, 69.

«Никогда нельзя быть уверенным в том, что воля какого-либо частного лица согласно с общею, пока она не станет предметом свободного голосования народа». Стр. 70.

«Итак мы обнаруживаем в деле создания законов одновременно две вещи, которые, казалось бы, исключают одна другую: предприятие, превышающее человеческие силы и, — для осуществления его, — власть, которая сама по себе ничего не значит». Стр. 70.

«Для того, чтобы рождающийся народ мог одобрить здравые положения политики и следовать основным правилам пользы государственной, необходимо, чтобы *следствие могло превратиться в причину*, чтобы дух общежительности, который должен быть результатом первоначального устройства, руководил им и чтобы *люди до появления законов были тем, чем они должны стать благодаря этим законам*». Стр. 71.

«Чтобы народы, покорные законам государства как законам природы и усматривая одну и ту же силу в *сотворении человека* и в создании гражданской общины». Стр. 71, 72.

«Народ даже не терпит, когда касаются его недугов, желая их излечить, подобно тем глупым и малодушным больным, которые дрожат при виде врача». Стр. 75.

«Подобно тому, как природа установила границы роста для хорошо сложенного человека... Для всякого политического организма есть свой максимум силы, который он не может превышать и от которого он, увеличиваясь в размерах, часто отдаляется. Чем более растягивается связь общественная, тем более она слабеет; и вообще государство малое относительно сильнее большого». Стр. 78.

«С другой стороны, государство, чтобы обладать прочностью, должно создать для себя надежное основание». Стр. 81.

«Две главные вещи (*т. е. всякой системы законов*), *свобода и равенство*. Свобода — поскольку всякая зависимость от частного лица настолько же уменьшает силу государства; равенство, потому что свобода не может существовать без него». Стр. 89.

«Именно потому, что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранять его». Стр. 90.

«Эти общие цели всякого хорошего первоустройства должны *видоизменяться* в каждой стране в зависимости от тех отношений, которые порождаются как местными условиями, так и отличительными особенностями жителей». Стр. 90.

«Устройство государства становится воистину прочным и долговечным, когда сложившиеся в нем обычаи соблюдаются настолько, что *естественные отношения и законы* всегда совпадают в одних и тех же пунктах, и последние, так сказать, лишь укрепляют, сопровождают, выправляют первые». Стр. 92.

*Теперь, в конце 2-й книги, Руссо переходит к разделению законов:*

1) «*Действие всего организма на самого себя, т. е., отношение целого к целому*, или суверена к государству. А это отношение складывается из отношения промежуточных членов... законы, управляющие этим отношением, носят название *политических законов* и именуются также *основными законами...*» Стр. 94.

2) «*Отношение членов между собою или же ко всему организму*. Оно должно быть в первом случае сколь возможно малым, а во втором — сколь возможно большим, дабы каждый гражданин был совершенно независим от всех других и полностью зависим от гражданской общины, что достигается всегда с помощью одних и тех же средств... из этого-то второго отношения... возникают *гражданские законы*.

3) *Отношение между человеком и законом*, именно: между послушанием и наказанием. А это отношение ведет к установлению уголовных законов, которые, в сущности, не столько представляют собою особый вид законов, сколько придают силу другим законам». Стр. 95.

4) «*Нравы, обычаи, мнение общественное*». Стр. 96.

### *Книга III.*

«Всякое свободное *действие* имеет две причины, которые сообщают ему производят: одна из них — моральная, именно: *воля, определяющая акт, другая — физическая, именно: сила, его исполняющая*». Стр. 97.

«У политического организма — те же движители; в нем также различают силу и волю; эту последнюю под названием *законодательной власти*, первую — под названием *власти исполнительной*». Стр. 98.

«Исполнительная власть, напротив, не может принадлежать всей массе народа как законодательнице или суверену, так как эта *власть выражается лишь в актах частного характера*, которые вообще не от-

носятся к области закона, ни, следовательно, к компетенции суверена, все акты которого только и могут быть, что законами». Стр. 98.

«Сила народа нуждается, следовательно, для себя в таком доверенном лице, которое собирало бы ее и приводило в действие согласно указаниям общей воли, которое служило бы для связи между государством и сувереном... Вот... смысл *правительства*». Стр. 98.

«Что же такое правительство? Посредствующий организм, установленный для сношений между подданными и сувереном, уполномоченный приводить в исполнение законы и поддерживать свободу как гражданскую, так и политическую». Стр. 99.

«Члены этого организма именуются магистратами или *королями*, т. е. *правителями*; а весь организм... *государем*. Таким образом совершенно правы те, кто утверждают, что акт, посредством которого народ подчиняет себя правителям, вовсе не *договор*. Это, безусловно, не более как *поручение*, *должность*; исполняя это поручение, они, простые чиновники суверена, осуществляют его именем власть, блюстителями которой он их сделал». Стр. 99. «Правительство или верховное управление... осуществление исполнительной власти согласно законам». Стр. 100.

«В правительстве... посредствующие силы, соотношение которых и определяет отношение целого к целому, или суверена к государству». Стр. 100.

«Правительство... в котором можно выделить некоторые другие отношения... пока мы не достигнем среднего неделимого члена, т. е. единственного главы или высшего магистрата, который можно представить себе находящимся в середине этой прогрессии, как *единицу* между рядом дробей и рядом целых чисел». Стр. 104.

«Государство существует само по себе... Правительство — только благодаря суверену». Стр. 105.

«Между тем, для того чтобы Правительственный организм получил собственное *существование*, жил *действительной жизнью*, отличающей его от организма государства; чтобы все его члены могли действовать согласно и в соответствии с той целью, для которой он был учрежден, он должен обладать отдельным *я*, чувствительностью, общей его членам, силой, собственной волей, направленной к его сохранению. Это отдельное существование предполагает Ассамблеи, Советы и т. д., право обсуждать дела и т. д., права, звания, привилегии и т. д.». Стр. 106.

«*Общая сила* Правительства, будучи всегда силой государства, никогда не изменяется; из чего следует, что чем больше оно затрачивает этой силы,

чтобы воздействовать на своих собственных членов, тем меньше остается ему силы, чтобы воздействовать на весь народ». Стр. 108.

«В Правительстве каждый член, во-первых, это *он сам — частная воля*, затем *магистрат — корпоративная воля*, и потом — *гражданин — общая воля*, последовательность прямо противоположная той, какой требует общественное состояние». Стр. 110.

«Когда вся власть оказывается в руках одного человека, тогда частная воля и воля корпоративная полностью соединены и, следовательно, последняя достигает той наивысшей степени силы, какую она только может иметь... наиболее активным из правительств является Правление единоличное». Стр. 110.

«Напротив, объединим управление и законодательную власть; сделаем государя из суверена, а каждого гражданина сделаем магистратом; тогда корпоративная воля, слившись с общею волею, не будет активнее последней и оставит за частной волей всю ее силу... правительство... будет обладать *минимумом* относительной силы, или активности». Стр. 110, 111.

«Каждый магистрат почти всегда облечен какою-либо функцией Управления, между тем как каждый гражданин, взятый в отдельности, не исполняет *никакой функции суверенитета*». Стр. 111.

«Чем многочисленнее магистрат, тем больше воля корпоративная приближается к общей воле; тогда как при одном-единственном магистрате эта же корпоративная воля есть... лишь воля отдельного лица». Стр. 112, 113. «Разные виды или формы Правительства различают по *числу* членов, которые их составляют». Стр. 114.

«Больше граждан-магистратов, чем граждан — просто частных лиц... *демократия*». Стр. 114.

«Правление в руках малого числа... *аристократия*». Стр. 114.

«Правление в руках единственного магистрата, от которого получают свою власть все остальные»... «*Монархия, королевское правление*». Стр. 114, 115.

### *Демократия*

«Государь и суверен, будучи одним и тем же лицом, образуют, так сказать, Правление без Правительства». Стр. 117. *Главным препятствием для демократии Руссо считает то обстоятельство, что народ, — который под влиянием, оказываемым частыми интересами на общественные дела, отвлекается от*

*общих целей в частных выгодах, — в качестве законодателя развращается.* Стр. 117.

«Так что (в монархии,) то духовное единство, что образует государя, является одновременно и физической единицей, в которой все способности, соединяемые законом с такими усилиями при другом правлении, оказываются объединенными сами собою». Стр. 126.

«Излишек у частных лиц и создает то, что необходимо для удовлетворения нужд всего общества». Стр. 140. «Отсюда следует, что общественное состояние может существовать лишь тогда, когда труд людей приносит больше, чем необходимо для удовлетворения нужд их». Стр. 140.

«Так как их (т.е. граждан) одолевает лень и у них в избытке деньги, то у них, в конце концов, появляются солдаты, чтобы служить отечеству, и представители, чтобы его продавать». Стр. 171.

«В стране, действительно свободной, граждане все делают своими руками — и ничего — при помощи денег; они не только не платят, чтобы освободиться от своих обязанностей, но они платили бы за то, чтобы исполнять их самим... натуральные повинности менее противны свободе, чем денежные подати». Стр. 172.

«Охлаждение любви к отечеству, непрерывное действие частных интересов, огромность государств, завоевания, злоупотребление властью натолкнули на мысль о депутатах или представителях народа в собраниях нации. Это то, что в некоторых странах смеют называть третьим сословием. Таким образом частные интересы двух сословий поставлены на первое и второе места, интересы всего общества — лишь на третьем». Стр. 173.

«Суверенитет не может быть представляем по той же причине, по которой он не может быть отчуждаем. Он заключается, в сущности, в общей воле, а воля никак не может быть представляема; или это она, или это другая воля, среднего не бывает. Депутаты народа, следовательно, не являются и не могут являться его представителями; они лишь его уполномоченные; они ничего не могут постановлять окончательно. Всякий закон, если народ не утвердил его непосредственно сам, недействителен; это вообще не закон». Стр. 173.

«Понятие о представителях принадлежит новым временам; оно досталось нам от феодального правления, от этого... Правления... при котором... звание человека было опозорено». Стр. 174.



«Поскольку закон — это провозглашение общей воли, то ясно, что в том, что относится до *власти законодательной*, *народ* не может быть *представляем*; но он может и должен быть представляем в том, что относится к власти исполнительной, которая есть сила, приложенная к закону». Стр. 175.

«У греков все, что народу надлежало делать, он делал сам; непрерывно происходили его собрания на площади... *рабы* выполняли его *работу*; главной заботой его была собственная свобода». «Гражданин может быть совершенно свободен лишь тогда, когда раб будет до последней степени рабом... Вы же, народы новых времен, у вас вообще нет рабов, но вы — рабы сами; вы платите за их свободу своею». Стр. 175, 176.

«Как те, кто несогласен с большинством, могут быть свободны и одновременно подчиняться законам, на которые они не давали согласия?.. Когда на собрании народа предлагают закон, то членов собрания спрашивают, собственно говоря, не о том, одобряют они это предложение или отвергают, а о том, сообразно оно или нет с *общей волей*, которая есть их воля. Каждый, подавая свой голос, высказывает свое мнение по этому вопросу, и путем подсчета голосов определяется *изъявление общей воли*. Если одерживает верх мнение, противное моему, то сие доказывает, что я ошибался, и что то, что я *считал* *общей волею*, ею не было». Стр. 197.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# О СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЯХ ЖАН-ЖАКА РУССО



Завиден удел мыслителей, чье творчество, движимое страстной любовью к людям, к человеку, оказывая огромное воздействие на современников, вместе с тем по своим целям и задачам, по самим своим методам было устремлено далеко в будущее.

Все новые и новые поколения, чьим поистине вечным спутником стал автор «Общественного договора», открывают новые глубины его мысли. Ибо мысль Руссо пытлива, отмечена редкостными чертами диалектики и материалистическими прозрениями, дышит жгучей ненавистью ко всякому неравенству и угнетению, к лжи и двуличию окружающего общества, окрылена мечтой о том, как человеческая личность наконец-то обретет внутреннюю цельность и действительную, а не мнимую свободу в ассоциации, в которой править будет общая воля, в подлинно демократическом государстве народного суверенитета, где исчезнут крайности имущественного состояния, всеислие эгонистических частных интересов и вечная их борьба между собой.

Руссо ощущал приближение эпохи кризиса и революций<sup>1</sup>. Вопреки его колебаниям и сомнениям в отношении роли насилия, дух революции витал

---

<sup>1</sup> См. Ж.-Ж. Руссо. Эмиль. Пер. П. Первова. М., 1896, стр. 255.

над его сочинениями. Не удивительно, что в 1788 г. Марат читал «Общественный договор» в первых импровизированных клубах — под открытым небом, в садах Парижа и вызывал восторженные аплодисменты слушателей. «Я с трудом мог бы назвать имя хоть одного революционера, — добавляет сохранивший для нас этот факт один из лидеров конституционалистов-монархистов Малле дю Пан, — который не был бы захвачен этими разрушительными теоремами и не горел бы желанием их осуществить. «Общественный договор» был Кораном будущих ораторов в 1789 г., якобинцев 1790 г., республиканцев 1791 г. и бешеных самых неистовых (*des forcés les plus atroces*)»<sup>2</sup>. В 1788 г. сочинил «хвалу» Руссо и Б. Барер<sup>3</sup>.

В конце 1790 и начале 1791 г. основатель «Социального кружка» аббат К. Фоше излагал политические и уравнивательные идеи «Общественного договора» в серии речей, горячо встречавшихся многотысячной аудиторией — демократического и плебейского состава<sup>4</sup>.

Широко распространенное отношение к Руссо как к «предтече» революции 1789 г.<sup>5</sup> выразил в 1791 г. писатель С. Мерсье, посвятив ему книгу как одному из тех философов и писателей, который больше всего сделал для ее подготовки (*premiers auteurs de la Révolution*)<sup>6</sup>. В похвальном слове, изданном одним из членов Конвента месяц спустя после его открытия, особо выделена роль Руссо в том перевороте в понятиях, в идеях, который предшествовал революции политической и социальной<sup>7</sup>.

Хорошо известно глубокое преклонение перед Руссо якобинцев. Через всю жизнь пронес Робеспьер это глубоко личное чувство, полное вместе с тем большого общественного значения. «Могущественный и добродетельный гений Руссо подготовил ваши труды», — говорил он 11 августа 1791 г. своим коллегам — депутатам Национального собрания<sup>8</sup>. Робеспьер видел в Руссо гения свободы<sup>9</sup>, человека, более других знаменитых людей века заслуживаю-

<sup>2</sup> «*Mercurie Britannique*», XIV, 10 mars 1799. — «О степени влияния, оказанного французской философией на революцию», стр. 4.

<sup>3</sup> B. Barère. *Eloge de J.-J. Rousseau, citoyen de Genève*. 1788.

<sup>4</sup> C. Fauchet. *Discours sur le «Contrat Social»*. — «*Bouche de fer*», Octobre 1790 — avril 1791, № XI—XXXI.

<sup>5</sup> В настоящее время изучение и роль политической теории Руссо во Франции XVIII в., включая первые годы революции, подробно рассмотрены в работе Joan Mac Donald. *Rousseau and the French Revolution, 1762—1791*. University of London, 1965; см. также G. Mac Neil. *The Cult of Rousseau and the French Revolution*. — «*Journal of the History of Ideas*», v. VI, 1945, p. 197—212.

<sup>6</sup> L. S. Mercier. *De J.-J. Rousseau considéré comme l'un des premiers auteurs de la Révolution*, v. I, II. Paris, 1791.

<sup>7</sup> «*Eloge de J.-J. Rousseau*». *Citoyen de Genève par M. E. Petit, Citoyen Français*, a Paris, Octobre 1792.

<sup>8</sup> М. Робеспьер. *Избранные произведения*, т. I. М., 1965, стр. 161; см. также стр. 164 — «Руссо — человек, больше всего способствовавший подготовке революции».

<sup>9</sup> Там же, стр. 234.

щего почестей со стороны участников революции<sup>10</sup>. То был, по его словам, мыслитель, глубоко осознавший ту истину, что подлинный государственный человек «сеет в одном веке, а пожинает в следующих веках»<sup>11</sup>.

Робеспьер преклоняется перед возвышенностью души Руссо, открыто нападая на тиранию; «если бы он был свидетелем этой революции, предтечей которой он является и которая перенесла его останки в Пантеон, может ли кто-нибудь сомневаться в том, что его благородная душа с восторгом приняла бы дело справедливости и равенства?»<sup>12</sup>

Велико было, хотя и гораздо меньше изучено, воздействие Руссо на умы левых якобинцев — эбертистов и первых идеологов плебейских масс — «бешеных».

По наблюдениям, сделанным С. Л. Сытиным, особенно значительно было влияние Руссо на Варле, в глазах которого Руссо — это великий, бессмертный, возвышенный и добродетельный философ — гений и отец человечества, добрый друг народа, председательствующий в храме философии. Свое восторженное преклонение перед «Общественным договором» Варле выражал тем, что называл его «книгою судеб»<sup>13</sup>.

Гораздо более сложна, чем это может показаться, проблема отношения Руссо к революции и революции 1789—1794 гг. к Руссо, ибо по справедливому выводу Лаканала только эта революция помогла как следует прочесть «Общественный договор»<sup>14</sup>.

Пророческий пафос политической и социальной мысли Руссо отчетливо ощутил Байрон, так писавший о нем в «Чайльд Гарольде»:

*Он одарен был Пифии глаголом,  
Им в мире целом он зажег пожар  
И разрушеньем угрожал престолом,  
Не Франции ль, гнетомой произволом  
Наследственным,— принес он этот жар?*<sup>15</sup>

«Защитник вольности и прав», — сказал о нем А. С. Пушкин в «Евгении Онегине», а в черновых набросках определил отношение к Руссо и его почитателей, и недругов еще более выразительно, сказав: «Апостол».

Да, проникновенность наставника, учителя и темперамент оратора водили пером Руссо, они-то и определили особенности литературного стиля, поэтики его социально-политических рассуждений.

<sup>10</sup> Там же, т. II, стр. 141.

<sup>11</sup> Там же, стр. 124.

<sup>12</sup> Там же, т. III, стр. 173.

<sup>13</sup> См. Varlet. Plan d'une nouvelle organisation..., p. 31; Pot-pourri national, p. 3, 31; «Le Panthéon français», p. 2.

<sup>14</sup> «Moniteur, ou Gazette universelle», 11 octobre 1794.

<sup>15</sup> Байрон. Сочинения, т. I. СПб., изд. Брокгауз — Ефрон, 1904, стр. 110.

«Приятие» той или иной эпохой мыслителей и писателей прошлого глубоко избирательно. В обществе, разделенном на враждебные социальные группы и классы, оно не может не быть сложным, разноречивым. Именно такого рода картину дифференциации и даже поляризации мнений представляет собой огромная литература о Руссо, выросшая главным образом с конца XIX в. и с тех пор непрерывно умножающаяся<sup>16</sup>.

Еще со времен Французской революции проявляется стремление тех или иных антидемократических групп либо присвоить себе Руссо, выдав его, скажем, за сторонника умеренной конституционной монархии<sup>17</sup>, либо, исказив его подлинные взгляды и намерения, опорочить, дискредитировать его в глазах десятков и сотен тысяч его почитателей во многих странах Европы и Америки как мыслителя якобы «реакционного». Отсюда столь многочисленные в XVIII в. «опровержения» «Общественного договора», в составлении которых весьма активна была в частности клерикальная реакция<sup>18</sup> и особенно участвовавшие в наше время попытки очернить Руссо и его «Общественный договор» как источник идеи правомерности революционно-демократической диктатуры, которую ее противники в прошлом и настоящем стремятся всячески очернить, именуя «тоталитарной демократией»<sup>19</sup>. Но как убедительно показало принявшее широкий международный характер празднование 250-летия со дня рождения Руссо и 200-летия со дня выхода в свет «Общественного договора»<sup>20</sup>, творчество этого мыслителя являлось и является законным наследием тех, кто идет в первых рядах борцов за общественный прогресс. Непреходящий интерес, который вызывает эпоха Просвещения<sup>21</sup>,

<sup>16</sup> Уже составленный А. Шинцем в 1941 г. далеко не исчерпывающий обзор ее составил объемистую книгу (см. A. Schintz. *Etat présent des travaux sur J.-J. Rousseau*). Погодичная библиография дается с 1905 г. в «Анналах общества им. Ж.-Ж. Руссо» в Женеве, где издан весьма ценный указатель («*Annales de la Société J.-J. Rousseau*», Tables de tomes I—XXXV, 1905—1962. Genève, s. a.). Заслуживают быть особо отмечены историографические обзоры П. Алатри (Paolo Alatri. *Problemi i figure del Settecento politico francese nella recente storiografia*.—«*Studi Storici*», 1964, N 1, 2; *Problemi critici su Rousseau*.—«*Nuova Rivista storica*», 1965, fasc. III—IV).

<sup>17</sup> Таково было, например, намерение П. Гудена (см. P. Gudin. *Supplement au Contrat Social, applicable particulièrement aux grandes nations*, 1790).

<sup>18</sup> См., например: Roustan. *Offrande aux autels de la patrie, contenant la défense du Christianisme, ou réfutations du Contrat Social*, 1774; Isnard. *Observations sur le principe qui a produit les révolutions de France, de Genève et d'Amérique dans le dix-huitième siècle*, 1789. Анализ этой литературы см. R. Derathé. *Les réfutations du Contrat Social au dix-huitième siècle*.—«*Annales de la Société J.-J. Rousseau*», t. XXXII, 1950; также G. Mac Neil. *The Anti-Revolutionary Rousseau*.—«*American History Review*», v. 58, 1952—1953, p. 808—823.

<sup>19</sup> J. L. Talmón. *The Origins of totalitarian democracy*. London, 1952; J. W. Chappman. *Rousseau — Totalitarian or liberal*. N.-Y., 1956.

<sup>20</sup> См. «*Etudes sur le „Contrat Social“ de J.-J. Rousseau*».—«*Actes des journées d'études organisées à Dijon pour le commémoration de 200 anniversaire du „Contrat Social“*». Publications de l'Université de Dijon, t. XXX. Paris, 1964, 535 p.

<sup>21</sup> Одним из свидетельств этого интереса является усиление плодотворных международных контактов и связей в процессе комплексного изучения многих входящих

подтверждает понимание ее как центральной эпохи в истории нового времени<sup>22</sup>.

А то, что при этом среди плеяды могучих дарований Руссо привлекает в наши дни внимание особенно глубокое и вызывает чувство симпатии к себе весьма, мы бы сказали, личное, может объясняться только тем, что именно в его многогранной мысли демократа с наибольшей силой и полнотой раскрываются лучшие, исторически наиболее ценные направления и устремления прогрессивной мысли этого замечательного века<sup>23</sup>.

Жизнь Руссо рассказана им самим в его знаменитой «Исповеди», с зоркостью самонаблюдения и с мужеством открытости, составившими эпоху в познании и в изображении внутреннего мира человека. Излишне было бы поэтому в данной статье сколько-нибудь подробно останавливаться на фактах его биографии, к тому же весьма небогатой внешними событиями. Поэтому нами будут отмечены лишь те из них, которые были непосредственно связаны с поворотами в формировании его внутреннего мира, с историей его творчества.

Будущий философ родился 28 июня 1712 г. в Женеве, в семье часовщика и племянницы протестантского пастора. Предками Руссо были французские ремесленники, принадлежность которых к числу протестантов-гугенотов заставила их покинуть родину вследствие религиозных преследований<sup>24</sup>.

Существует обширная, непрерывно пополняющаяся литература на тему: «Руссо и Женева»<sup>25</sup>. Отбрасывая присущие ей явные преувеличения и крайности, связанные с упрощенным применением так называемого биографического метода, представители которого склонны чересчур прямолинейно «выводить» происхождение тех или иных положений, концепций мыслителя непосредственно из его жизненных впечатлений, нельзя не признать действительно огромное значение условий, в которых протекали детство и юность Жан-Жака для формирования его личности.

Объясняется это прежде всего чертами своеобразия в историческом развитии родины Руссо. В то время как во всей Европе в XVIII в. господствовали феодально-абсолютистские режимы, хоть и ослабленные ростом внутренних противоречий, жители кантонов Швейцарии еще в XIII—XV вв. в ходе

---

сюда проблем; тенденция эта проявляется в созыве международных конгрессов по истории Просвещения, в издании сборника статей ученых различных стран под ред. П. Франкастеля («Utopie et institutions», Paris, 1964), в начатой сейчас подготовке их совместными силами полного собрания сочинений Д. Дидро, нового издания «Литературных корреспонденций» Гримма и т. д.

<sup>22</sup> Н. И. Конрад. Запад и Восток. М., 1966, стр. 8.

<sup>23</sup> См. В. Святловский. Русский утопический роман. Пг. 1922, стр. 10.

<sup>24</sup> См. E. Ritter. La famille et la jeunesse de J.-J. Rousseau.— «Annales de la Société J.-J. Rousseau», t. XVI, p. 1—250.

<sup>25</sup> См. об этом А. С. Алексеев. Этюды о Ж.-Ж. Руссо, т. II. Связь политической доктрины Ж.-Ж. Руссо с государственным бытом Женевы. М., 1887.

долгой и упорной борьбы против духовных и светских феодалов, в том числе столь мощных, как Габсбурги, герцоги Бургундские и Савойские, отстаивали свою независимость, заключив между собой так называемый вечный союз. В частности городская община Женевы, изгнав в 1535 г. своего синьора — епископа, обрела всю полноту верховной власти, формальным обладателем которой стал Генеральный совет, куда входили все полноправные группы жителей (т. е. «граждане» и «горожане»).

Однако эти демократические формы неизбежно разлагались под влиянием достигавшей здесь большой глубины социальной дифференциации. Уже время Реформации XVI в. Кальвин наложил на строй молодой республики отпечаток правления аристократического и отчасти теократического, бразды которого с тех пор оказались захваченными буржуазной верхушкой, патрициатом, орудием которого стал Малый Совет или Совет Двадцати пяти.

Этот процесс расширения и укрепления власти буржуазной олигархии, хотя он и шел постепенно, как бы незаметно, вызывал систематическое сопротивление демократических слоев Женевы. В выступлениях их представителей П. Фадио, Делакана и других, в составлявшихся ими проектах выдвигались идеи и требования, связанные с защитой суверенных прав народа, впоследствии несомненно нашедшие свое отражение в политическом учении Руссо, которому в 1737 г. довелось наблюдать взрыв гражданской войны в Женеве, приведшей к вмешательству «посредников» во главе с Францией, выработавших акт 1738 г., ограничивший права Генерального совета.

Женева становится в это время центром энергичного буржуазного развития. Вот зарисовка с натуры, сделанная пером Руссо: «Все заняты, все в движении, все спешат на работу и по своим делам... Сходите в квартал Сен-Жерве: кажется, там собрались часовщики со всей Европы»<sup>26</sup>. В другом месте: «Беспорядочно наваленные груды тюков и бочек, запах индийских пряностей и москательных товаров создают у вас впечатление морского порта»<sup>27</sup>, в третьем — вас оглушает шум ситценабивных и полотняных фабрик.

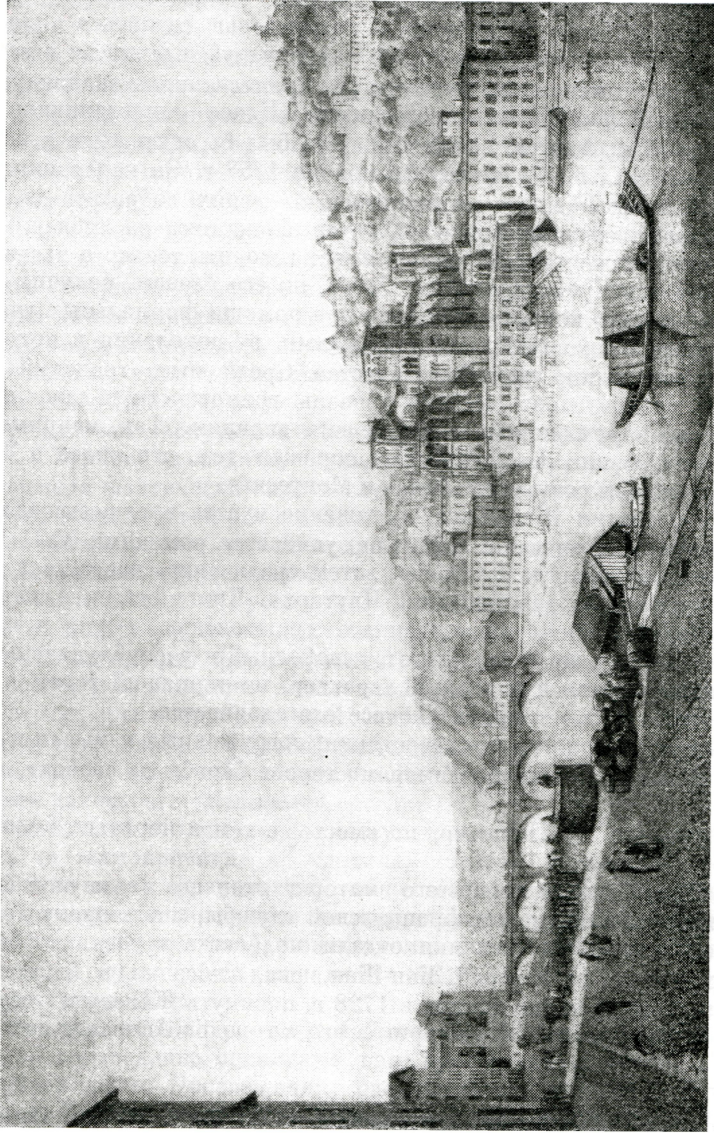
Это был новый для тогдашней Европы вид социально-экономического развития, внутренние противоречия которого особым образом окрашивали борьбу за политические права, за восстановление и укрепление старых, более демократических порядков.

Но этот новый буржуазный уклад отнюдь еще не вытеснял характерные для Швейцарии формы экономической жизни, представленной мелкими самостоятельными ремесленниками и торговцами, к среде которых относились и родители Руссо, в то же время принадлежавшие к полноправной группе граждан Женевы.

<sup>26</sup> Ж.-Ж. Руссо. Письмо к д'Аламберу.— Избр. соч., т. I. М., 1961, стр. 140—141.

<sup>27</sup> Там же, стр. 141.





*Вид Лиона в конце XVIII в.*

И хотя Жан-Жаку довелось в юности изведать немало тумачков и колотушек, без чего нельзя было из ученика и подмастерья сделаться полноправным мастером, в свои зрелые годы Руссо сохранил убеждение во всестороннем превосходстве именно ручного труда ремесленника-индивидуала и обусловленных им форм общественной жизни. «Класс ремесленников — это та среда, в которой я родился, в ней я должен был бы жить и ее я покинул на свою беду», — писал он Троншену 26 ноября 1758 г. Он подчеркивал, что ремесленники Женевы во многом отличаются от своих собратьев из других стран. «Женевский часовщик — человек, который постоит за себя в любом обществе. Парижский же часовой мастер умеет говорить только о часах»<sup>28</sup>.

В среде женевских ремесленников Руссо, по его словам, получил то общественное воспитание, которое дается не при помощи формальных учреждений, а традициями и правилами, переходящими от поколения к поколению и внушающими юношеству достойные чувства. Среди этих традиций и навыков отметим сравнительно высокий уровень грамотности и даже образованности, а также стремление к политическим знаниям. Так, например, английский путешественник Джон Мор был поражен тем, что видел в Женеве людей труда за чтением сочинений Локка и Монтескье.

В духовном развитии Жан-Жака обогащение чувств предшествовало развитию ума. Сначала по почам с отцом он упивается романами XVII в., начиная со знаменитой некогда «Астреи», затем среди книг своего деда он находит «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Книга эта сыграла огромную роль в формировании общественных, гражданских чувств и идеалов Жан-Жака. Именно она привила ему тот, «свободный и республиканский дух, воспитала тот неукротимый и гордый характер, не терпящий гнета и порабощения»<sup>29</sup>, которым будет пронизано все его творчество.

Юноша жил, как и многие его сверстники, погруженный в мысли и мечты об Афинах, о Риме, увлеченный примерами героев борьбы за свободу, против тирании.

Знамение времени? Да, конечно, но вместе с тем и черта глубоко индивидуальная.

Рождение Руссо стоило жизни его матери; отец его покинул в 1722 г. Женеву после ссоры с офицером французской службы, на сторону которого стали местные власти. Родственники отдали подростка в ученики. Тирания хозяина-ремесленника, от которой Жан-Жак искал спасения в безудержном чтении, вынудила его в конце концов в 1728 г. покинуть Женеву и отправиться на поиски лучшей доли. Случай привел его в городок Аннеси в дом госпо-

<sup>28</sup> J. J. Rousseau. Correspondance générale, t. IV. Paris, 1925, p. 142—143.

<sup>29</sup> Ж.-Ж. Руссо. Исповедь.— Избр. соч., т. III. М., 1961, стр. 13. В дальнейшем «Исповедь» цитируется по этому изданию.

жи Варан, где он нашел покровительство, дружбу а затем и более нежное чувство.

Почти пятнадцать лет провел Руссо в герцогстве Савойском, незадолго до этого вошедшем в состав Сардинской монархии. По языку и культуре край этот был французским, относительно отсталым, подверженный влияниям католической церкви, переход в ряды паствы которой здесь всячески поощрялся королем Виктором-Амедеем. Совершившая этот шаг молодая швейцарская дворянка Луиза де Варан, награжденная за это небольшой пенсией (служившей также вознаграждением за выполнение секретных поручений), решила направить на этот путь и своего юного воспитанника. Не без осложнений и ненадолго совершилось вскоре в Турине «обращение» Руссо в католичество, но попытка затем определить его в семинарию, чтобы открыть ему карьеру духовного лица, закончилась полной неудачей. Иезуитам — друзьям госпожи Варан — явно не удалось уловить в свои сети душу одного из будущих светочей европейского Просвещения.

Прежде чем вернуться к г-же Варан в Анниси, Руссо проводит некоторое время в Турине, «в людях», служа в качестве секретаря, в котором его знатные господа фактически видели слугу или лакея, служба которого отличалась от круга обязанностей его сотоварищей.

Переживания эти отравили душу Жан-Жака горечью унижений, связанных с сословным неравенством.

Пребывание юного Руссо в доме госпожи Варан, его жизнь в Савойе, далекой от новых общественных веяний, не могли не наложить своеобразного отпечатка на процесс формирования начал его мировоззрения.

Своеобразие влияния личности Варан, ее литературных вкусов, как и всей атмосферы патриархальной жизни Савойи, далекой от шума больших городов, отразилось в философской лирике молодого Руссо (поэма «Сад в Шарметтах»), в его «Посланиях» к Ш. Борду и к Паризо. Во многом дополняет эти данные его «Исповедь».

Своеобразие это мы видим в двух чертах. Здесь разделялась, поддерживалась та «самокритика» и критика, которой подверглись господствующие дворянские верхи французского общества, внутренняя политика абсолютистского государства, доведшего до разорения крестьянские массы, в творчестве Ларошфуко («Максимы»), Сент-Эвремона, де Лабрюйера, обычно рассматриваемых как выдающиеся моралисты конца XVII в., развивающих и углубляющих линию Монтеня.

Вышедшую в 1688 г. книгу Лабрюйера «Характеры, или Нравы нынешнего века» справедливо оценивают как произведение, многое в котором предвосхищает черты Просвещения, раскрытые в творчестве Монтескье, Руссо и Дидро. Книга эта отмечена чертами социальной критики. Знаменитыми, в частности, стали горькие строки, посвященные в ней крестьянам. «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: гряз-

ные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копя и перекапывая ее... они наделены... членораздельной речью... это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логове, где утоляют голод ржавым хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай и заслуживают этим право не остаться без хлеба, который посеяли»<sup>30</sup>.

Запомним эти строки. Дополненные собственными жизненными наблюдениями, они отзвучат не только в отдельных сочинениях Руссо, но во всем его облике печальника за горькую судьбу тех, «кто дает нам хлеб, а нашим детям молоко», и непримиримого врага «дикого барства», обрекающего крестьян на эту страшную участь.

Встреча с крестьянином, боявшимся показать, что у него есть белый хлеб, ветчина и вино, из страха, что об этом узнают и увеличат налог на него, заронила в душу молодого Руссо «семя той непримиримой ненависти, которая впоследствии выросла в моем сердце к притеснениям, испытываемым несчастным народом, и к его угнетателям»<sup>31</sup>.

Но не только это направление критики передал конец XVII в. демократическому направлению Просвещения XVIII в. Раздел шестой книги Лабрюйера, названный им глухо «О житейских благах», представляет собой сатиру на возвышающегося богача. Она подготовляет позднейший вывод Руссо о том, что все виды неравенства сводятся к имущественному. Осуждая моральную капитуляцию дворянства перед новым богачом — буржуа (в карьере которого мы видим характерные черты эпохи первоначального накопления, так как откупа, казнокрадство и взяточничество еще занимают главное место среди мутных источников этих состояний), Лабрюйер в то же время клеймит моральную деградацию человека, добывающегося богатства, что предвосхищает идею сочинения молодого Руссо «О богатствах».

«Нажить состояние — это такое сладостное выражение и смысл его так приятен, что оно у всех на устах», — пишет иронически Лабрюйер. «Нельзя не признать, — говорит он далее, — что настоящее — за богачами; зато будущее — удел добродетели и таланта. Гомер был, есть и пребудет всегда, а мытарей — откупщиков уже нет»<sup>32</sup>.

Антиципирована у этого автора и тема враждебности интересов людей, которая займет такое огромное место в социальной критике Руссо. «Нет в мире человека, — пишет Лабрюйер, — который был бы связан с вами узами знакомства и доброжелательности, любил вас... и который не был бы готов порвать с вами и стать вашим врагом ради своей выгоды»<sup>33</sup>. «Каждый считает себя наследником должностей, титулов и достоинства своего ближнего ч.

<sup>30</sup> Жан де Лабрюйер. Характеры... М.—Л., 1964, стр. 263.

<sup>31</sup> Руссо. Исповедь, стр. 149. Перевод исправлен.

<sup>32</sup> Лабрюйер. Характеры, стр. 138.

<sup>33</sup> Там же, стр. 139.



*Вид Марселя в конце XVIII в.*

движимый этой корыстной мыслью, всю жизнь невольно и тайно желает другому смерти»<sup>34</sup>.

Явственно звучит у Лабрюйера известная идеализация среднего достатка, что можно объективно считать одним из истоков той школы эгалитаризма, признанным главой которой станет Руссо. Я «по мере сил избегаю как бедности, так и богатства и нахожу себе прибежище в золотой середине», — говорит Лабрюйер. «Долговечнее всего скромный достаток: ничто так быстро не иссякает, как большое состояние».

Однако, воспринимая и внутренне поддерживая критику окружающего общества, его «нравов», данную моралистами конца XVII в., кружок госпожи Варан не только не подхватывает заложенные в ней общественно-политические тенденции, а, напротив, относя эту критику к порокам неизменной человеческой природы, придает скептицизму XVI—XVII вв. характер учения, отвращающего человека от участия в каких-либо действиях, направленных на преодоление отрицательных сторон общественных отношений. Именно в таком плане эта среда, в частности, воспринимала и толковала учение стоиков.

Именно таким — скептически настроенным созерцателем окружающей жизни — стремилась сделать госпожа Варан своего воспитанника, — молодого Руссо, и он хотел в эти годы убедить себя и своих читателей в том, что действительно стал человеком, усвоившим заветы стоиков, научившимся следовать примеру их учителей Зенона и Эпиктета, равнодушных к внешним условиям, полностью погруженных в самих себя.

И Монтень и Лабрюйер тоже учат его в эти годы смеяться над суетой человеческой жизни.

Вот почему с такой тревогой и осуждением воспринимал Руссо вести о возобновлении в 1737 г. в Женеве борьбы демократических слоев ее населения против господствующей буржуазной олигархии, а став во время поездки на родину очевидцем этих событий, он был охвачен противоречивыми чувствами. То был, с одной стороны, — ужас перед насилием: «Я поклялся никогда не вмешиваться ни в какую гражданскую войну и никогда не поддерживать свободу ни силой оружия, ни личным участием, ни своим одобрением»<sup>35</sup>. С другой — восторг: «Я был охвачен первым порывом патриотизма, возбужденным во мне восставшей с оружием в руках Женевой»<sup>36</sup>.

Двойственность эта уже никогда не покинет его мысль, его чувство.

Весной 1740 г. Руссо в силу чисто личных мотивов покидает дом г-жи Варан и отправляется в Лион, чтобы занять там место гувернера детей тамошнего начальника судебных установлений Мабли, знаменитыми братьями которого были историк, моралист Габриэль Мабли и философ-сенсуалист

<sup>34</sup> Л а б р ю й е р. Характеры, стр. 141.

<sup>35</sup> Р у с с о. Исповедь, стр. 192. Перевод исправлен.

<sup>36</sup> Там же, стр. 193.

Кондильяк, с которым он благодаря этому обстоятельству позже познакомился.

И в этот лионский год жизни Руссо еще остается во многом под влиянием тех взглядов, против которых он вскоре выступит открыто. Так по крайней мере можно полагать на основании двух (датируемых 1742 г.) «Посланий» к лионским знакомым — литератору Ш. Борду и высокоценимому им, как человеку, врачу Паризо.

Будущий враг роскоши, социальных контрастов между богатством и бедностью, Руссо воспевает здесь ту самую промышленность, которая, производя эти предметы роскоши, обогащает буржуазных собственников и обрекает на тяжкий труд и нищету тех, чьими руками создаются эти богатства.

*Возьмем промышленность. Пороков лишена,  
Нам украшает жизнь удобствами она,  
И, делая для нас полезную работу,  
О всех потребностях людских несет заботу.  
Ее щедротами прославлен и богат,  
Недаром твой Лион так радует наш взгляд.*

*Вы гордость Франции, Лион все страны чтут,—  
Питомцев Плутоса чарующий приют,  
Родник обилья, сокровище вселенной,  
Художеств и наук ревнитель неизменный!<sup>37</sup>*

Но все эти дифирамбы производят впечатление чего-то искусственного, наносного, временного, не отвечающего настроению, доминирующему в душе автора.

Разочарованный во всем строе окружающей его жизни, Руссо, в поисках лучшего, обращает свой взор назад, к легендарной эпохе золотого века. Об этом говорят строфы, дописанные им к стихотворению «Пастушеский век» Грессе, популярного представителя пасторальной поэзии XVIII в.

Не фантазия ли наше представление о существовании в далеком прошлом сказочной поры безоблачного счастья?— спрашивал этот поэт. Ведь существование ее не подтверждается письменным свидетельством ни одного очевидца; открывая летописи, мы находим повсюду лишь сожаления об этом веке тех, кто, рисуя его картину, жалуется, что сам родился позже.

Но кто же мог бы поведать людям историю этого царства простоты?— недоумевает Руссо. Блаженство его могло быть запечатлено лишь в неумирающих воспоминаниях; ибо появившись тогда суетное искусство письма, оно заставило бы исчезнуть это счастье. Будем поэтому искать свидетельств лишь в людских сердцах, в тех самых бесплодных сожалениях, о которых говорит

<sup>37</sup> Руссо. Избр. соч., т. I, стр. 312.

Грессе. Ибо именно они помогают людям открыть в самих себе, в таких, какими они стали, то, чем они перестали быть. «Пусть ученый видит основание своей веры в летописях, я нахожу более надежные свидетельства в себе самом»<sup>38</sup>, — делает Руссо многозначительный вывод.

Мысль эта с тех пор не покинет его. Чем дальше, тем острее и тревожней будет им ощущаться утрата человеком полноты своей личности, своего бытия. Ощущение ущербности человека в современном ему обществе и раздумья о причинах этой беды и о возможных средствах избавления от нее, будут всегда сопутствовать социологическим размышлениям Руссо. Ибо то была центральная мысль этой поворотной эпохи, эпохи глубокого кризиса, когда чуть ли не все слои общества оказались каждый по-своему недовольными своим положением. «Мы наделены смутным инстинктом, влекущим нас к полному счастью лишь для того, чтобы чувствовать пустоту того, которым мы в состоянии обладать»<sup>39</sup>, — запишет впоследствии Руссо.

Огромное, в сущности определяющее значение в идейном развитии Руссо имел первый парижский период его жизни, охватывающий 1742—1756 гг.<sup>40</sup>

Объясняется это, конечно, в первую очередь тем, что именно к середине века французское общество переживает новое, сильнейшее обострение кризиса феодально-абсолютистского строя<sup>41</sup>. Думается, что с этим связан и бурный подъем в конце сороковых — пятидесятых годов активности творцов новой, буржуазной идеологии, мощная, изобилующая выдающимися дарованиями когорта которых и положила собственно в это время основание движению Просвещения, превратив именно Париж в его всеевропейский центр.

Роль и место Руссо в идеологической борьбе его эпохи оказались в высшей степени сложными.

С одной стороны, захваченный этим могучим потоком, вовлеченный благодаря сближению с Дидро и д'Аламбером в создание «Энциклопедии», в

<sup>38</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. VI, 1825, p. 110.

<sup>39</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres et Correspondance inédites, publiées par M. G. Strekeisen-Moultou. Paris, 1961, p. 354.

<sup>40</sup> Впервые Руссо побывал в Париже в 1731 г. Встреча с прославленной столицей жестоко его разочаровала. «Войдя в Париж через предместье Сен-Марсо, я увидел только узкие зловонные улицы, безобразные темные дома, картину грязи и бедности, нищих, ломовых извозчиков... Это сразу так поразило меня, что все подлинное величие, которое я впоследствии видел в Париже, не могло изгладить первого впечатления» («Исповедь», стр. 145).

Полной неудачей окончилась тогда и попытка какого бы то ни было «устройства».

<sup>41</sup> Отдавая должное стремлению Л. С. Гордона привлечь внимание к изучению кризиса «старого порядка», мы полагаем в то же время, что вряд ли можно говорить о существовании в 50—60-е годы XVIII в. «революционного» кризиса, а тем более революционной ситуации (см. Л. С. Гордон. Революционный кризис во Франции 50—60-х годов XVIII века и литература французского Просвещения.— «Проблемы истории рабочего и демократического движения». (Материалы научной конференции 21—23 мая 1963 года). Уфа, 1963, стр. 77—85.





Вид уголка Парижа в конце XVIII в.

дружеские отношения с «партией философов», он неотделим в нашем сознании от истории ее борьбы против социальных основ и защищавших их духовных сил «старого порядка», т. е. против феодально-абсолютистского строя.

Но с другой стороны, Руссо был открыт миру и самому себе благодаря его выступлению против веры во всемогущее действие прогресса наук и искусств, против «просветительских» иллюзий, за которыми стоял оптимизм буржуазии, верившей в то, что развитие промышленности, вовлечение колоний в мировые экономические, торговые связи являются орудиями и условиями прогресса «нравов». И чем глубже открывался самому Руссо социальный плач осуждения им искусств и наук как источника и спутника роскоши, имущественного неравенства, чем больше углублялась его критика этого неравенства — тем неизбежнее и круче расходились пути Руссо и «энциклопедистов» во главе с другом-врагом — Дидро<sup>42</sup>.

<sup>42</sup> Это меткое определение принадлежит Ж. Фабру (см. J. Fabre. Deux frères ennemis: Diderot et Jean-Jacques.— «Diderot Studies», III. 1961. См. также René Huret. Les sciences sociales dans l'Encyclopédie. La philosophie de l'histoire et le problème des origines sociales. Paris, 1923; его же: Rousseau et l'Encyclopédie. Essai sur

Но пока что Руссо с жадностью использует все возможности, чтобы увидеть, наблюдать поближе в салонах Парижа блистающих здесь Вольтера и Монтескье, Бюффона и Рейналя, Мармонтеля и Мариво, Фонтенеля, Тюрго, Кондорсе. Напомним, что устроителями этих салонов были как представители старых, дворянских «верхов», так и богатые буржуа (к числу которых принадлежал, как известно, и Гольбах).

В этом личном сближении «партии философов» с верхушечной частью третьего сословия проявлялась в бытовом плане буржуазная природа центрального ядра и правого, умеренного крыла Просвещения.

Вскоре Руссо ощутит как нечто чуждое ему и даже враждебное то чересчур отвлеченное отношение к положению массы, которым будет отмечено мировоззрение энциклопедистов, отлившееся позже в концепцию «разумного эгоизма», который придавал решающее значение «частному», личному интересу, вопреки всем оговоркам, делавшимся, в частности Гельвецием, относительно необходимости сочетать его с интересом общественным.

Так жизнь разрушает иллюзии, овладевшие душой Руссо в годы его жизни в савойской провинции. Если раньше он видел в науках и искусствах прибежище от общественных бедствий, от треволений жизни, то теперь его разочаровывает равнодушие завсегдатаев столичных салонов к кардинальным проблемам общественного бытия, восприимчивых им в плане моральном, нравственном, этическом. Его оскорбляет и возмущает откровенная злость и недоброжелательность одних, дряблость, бессилие добрых намерений других.

Назревавший в душе Руссо протест против условностей окружающего общества проявился и в его личной жизни. «Разочаровавшись в той культуре, перед которой он еще благоговел в обществе г-жи Варан, Руссо искал теперь только пристанища, в котором мог бы дать простор своим нежным чувствам... И он был счастлив, что в обществе своей Терезы он застраховал себя от всего того, что так опротивело ему в ученом и светском Париже»<sup>43</sup>, — справедливо писал один из первых русских исследователей Руссо, имея в виду сближение Руссо в 1745 г. с Терезой Левассер, дочерью приехавшего из провинции бедного чиновника, зарабатывавшей трудом швеи на хлеб себе и своей семье. Все его попытки привить ей навыки культуры оказались безуспешными. Но в доброте ее сердца, в ее чистосердечной привязанности Руссо, по его словам, нашел подлинное счастье, насколько это было возможно в обстоятельствах его жизни, как с горечью добавляет он.

Не было ли вызвано чувством протеста и решение Руссо, принесшее много горя спутнице его жизни, но неукоснительно им выполнявшееся,—

---

la formation des idées politiques de Rousseau (1742—1756). Paris, 1925; R. Bouvier. Rousseau avec et contre les encyclopédistes; J. Proust. Diderot et l'Encyclopédie. Paris, 1962.

<sup>43</sup> А. С. Алексеев. Этюды о Ж.-Ж. Руссо, т. II. М., 1837, стр. 48.

помещать своих детей в воспитательный дом. Социальные мотивы этого поступка были отчетливо названы Руссо, когда он в ответ на вопрос о его причинах, заданный ему мадам Франкейль, невесткой богатого откупщика, ответил ей так: «Природа позволяет всем иметь детей,— так как она доставляет всем достаточно пропитания, но класс богатых, т. е. ваш класс, крадет у моего класса хлеб моих детей»<sup>44</sup>.

Примерно на один год (июнь 1743 — август 1744) Руссо покинул Париж ради должности секретаря французского посланника в Венеции, которым был тогда назначен абсолютно не пригодный для этого поста аристократ, граф де Монтегю. Руссо пришлось одному выполнять всю работу<sup>45</sup>, не видя самой элементарной признательности, но испытывая грубые придирки, что и привело к неминуемому разрыву.

Но наблюдения над новой действительностью обогатили Руссо; по его словам, именно в Венеции у него родился замысел труда «Политические установления», из которого впоследствии вышел «Общественный договор»<sup>46</sup>.

В развитии Руссо большую роль сыграла несомненно дружба с Дидро. В нем он нашел человека равного ему годами, но намного опередившего его в богатстве приобретенных им знаний и в зрелости своего философского мировоззрения<sup>47</sup>. Он выделялся также остротой своего критического отношения к окружающей действительности. Обладая уже известным литературным опытом (его «Философские письма» вышли в 1746 г.) и связями в мире издателей и книгопродавцев, Дидро играл роль старшего по отношению к Руссо и Кондильяку, встречи с которыми у него происходили раз в неделю за совместным обедом. Знакомится Руссо и с знаменитым математиком д'Аламбером, который в эти годы уже вел вместе с Дидро подготовку будущего грандиозного предприятия — издания «Энциклопедии» (1751—1765). Дидро, зная пока Руссо лишь как человека, увлекающегося музыкой и пишущего в этой области, поручил ему вести отдел музыки, для которого им и был написан ряд статей. Но тут «Письма о Слепых» Дидро навлекают на него гонения; он был арестован и заключен в башню Венсенской крепости, вблизи Парижа. Отправившись туда навестить друга, Руссо прочел в книжке журнала «Французский Меркурий», который он захватил с собой, сообщение о конкурсе, объявленном Дижонской академией на тему: «Способствовало ли

<sup>44</sup> J.-J. Rousseau. Correspondance générale, t. I, p. 309.

<sup>45</sup> Недавно опубликованы составлявшие им довольно обширные донесения (J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III. Paris, 1964, p. 1045—1234.

<sup>46</sup> Руссо. Исповедь, стр. 252. Мы не располагаем другими данными, которые подтверждали бы это сообщение. Возможно, тогда имело место зарождение этого замысла лишь в самой общей его форме.

<sup>47</sup> Впоследствии Руссо, страдавший, как известно, болезненной подозрительностью, склонен был, безо всяких, конечно, оснований, приписывать злomu умыслу Дидро то, что он стремился придать его произведениям «тот жестокий и мрачный характер, которого они больше не имели, когда он перестал меня направлять» («Исповедь», стр. 339).

возрождение наук и искусств очищению нравов», и впечатление это было настолько сильно, что решило его участь. В одном из своих писем к Мальзербу — государственному деятелю либерального направления — Руссо в 1764 г. рассказал о ниспешившем на него озарении. «Как только я прочел это, — говорит он в «Исповеди», — передо мной открылся новый мир и я стал другим человеком»<sup>48</sup>.

В другом автобиографическом произведении, как бы служащем продолжением его «Исповеди», в диалоге «Руссо судит Жан-Жака» философ рассказал, что уже до 1749 г. он, дивясь успехам человеческого ума, поражался, как вместе с ним растут и общественные бедствия. Вопрос же, выдвинутый Дижонской академией, открыл ему глаза, рассеял хаос в его мыслях и обратил в надежды все его видения. «Мои чувства с непостижимой быстротой настроились в тон моим мыслям. Все мелкие страсти были заглушены энтузиазмом истины, свободы, добродетели»<sup>49</sup>.

Академия в Дижоне была основана в 1740 г. на средства незадолго до этого умершего старейшины парламента Бургундии Пуффье. Это сообщество не украшал блеск имен, сколько-нибудь известных в науке, большинство его членов привлекала лишь возможность получать небольшую сумму из капитала, завещанного учредителем. То были дилетанты в науках, отнюдь не начеренные урывать для занятий ими много времени от своих повседневных профессиональных занятий — на службе церкви, в качестве законников или врачей.

Но что было действительно примечательного в облике этой академии, это что она к 1750 г. «была всецело буржуазной по своему составу и по своему духу, столь исключительно буржуазной, как ни одно другое ученое общество в стране»<sup>50</sup>. Продиктованный ее основателем устав исключал возможность вступления сюда представителей высшего духовенства, дворянства и даже высших кругов магистратуры.

Руссо, раздвинув рамки предложенной темы, вложил в ее трактовку новый, конкретный и притом глубоко социальный смысл. Основанием для его страстных нападок на результаты прогресса наук и искусств было именно осуждение его отрыва от нужд повседневной жизни рядового человека, от его запросов.

Руссо высмеивает «повсеместное предпочтение дарований приятных дарованиям полезным... У нас нет больше граждан; и если они еще и остались, рассеянные по нашим глухим деревням, то погибают там в бедности и пренебрежении» (26) \*.

<sup>48</sup> Руссо. Исповедь, стр. 305.

<sup>49</sup> Там же, стр. 306.

<sup>50</sup> M. Bouchard. L'Académie de Dijon et le premier Discours de Rousseau. Paris, 1950, p. 36.

\* Здесь и далее в скобках даются ссылки на страницы настоящего издания.

Он осуждает исчезновение в искусстве гражданственных начал и воспитательного значения, свойственных ему в античности.

С этим связано осуждение роскоши, следствием которой и является распушенность нравов и испорченность вкуса.

Несмотря на комплименты по адресу Людовика XIV и его преемника, в сущности «Рассуждение» направлено против духа абсолютизма, поощряющего развитие роскоши, связанных с нею новых потребностей — и все это во имя все более полного порабощения подданных. Осуждаются при этом именно те науки и искусства, или точнее тот путь их исторического развития, на котором они, скажем, в культуре французского классицизма XVII в. приобрели функцию укрепления диктатуры дворянства и ее орудия — абсолютизма.

«Литературы и Искусства — менее деспотичные, но, быть может, более могущественные,— пишет Руссо,— покрывают гирляндами цветов железные цепи, коими опутаны люди»<sup>51</sup>, они «подавляют в них чувство той исконной свободы, для которой они, казалось бы, рождены; заставляют их любить свое рабское состояние...» (12).

Как показала вызванная дебютом Руссо полемика, именно от обвинения наук и искусства в том, что, питаемые роскошью, они в свою очередь усиливают тягу к ней, шла его мысль к осуждению не только этой, но и всякой иной формы социального неравенства<sup>52</sup>. Тут намечалось размежевание между идеологами буржуазного ядра Просвещения, выражавшего социально-политическую, этическую и эстетическую позицию состоятельной буржуазии, и идеологами радикально-демократического крыла, которых иные привыкли, думается, несколько упрощенно именовать идеологами мелкобуржуазными и которые в действительности выражали позицию широких народных масс. «Я знаю,— говорит Руссо,— что наша философия... утверждает, ...что роскошь сообщает блеск государствам». Пока он, осуждая роскошь, исходит из соображений прежде всего моральных, нравственных, вопрошая: «Что станется с добродетелью, если люди будут вынуждены обогащаться любой ценой? Древние политики беспрестанно говорили о нравах и о добродетели; наши — говорят лишь о торговле и о деньгах» (21).

<sup>51</sup> Возможно, что именно этот образ нашел свое новое развитие в творчестве молодого Маркса, писавшего о критике, которая «сбросила с цепей украшавшие их фальшивые цветы» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 415).

<sup>52</sup> Этим позиция Руссо по отношению к роскоши и отличалась от той критики ее, которая раздавалась из буржуазной среды и имела в виду главным образом «непроизводительные» траты верхушки дворянства и его главной опоры — королевского двора. В 1742 г. академия в г. По избрала для конкурса следующую тему: «Приносит ли повсеместное распространение роскоши государству больше пользы или вреда?» Нападки на роскошь мы находим и в речах, произнесенных в Дижонской академии в 1743 г.— Фромажо и в 1749 г.— Лантена де Дамерси, говорившего, что крайности роскоши, нарушая божественный закон, разоряют семьи, развращают нравы и потрясают самые основы государства (см. M. Bouchard, L'Académie de Dijon et le premier Discours de Rousseau. Paris, 1950, p. 42—43).

Руссо противопоставил безнравственности роскоши, аморальности богатства — как проявлений эгоизма — добродетель умеренности и гражданственной этики. В разработке основ этой этики и проявлялось историческое своеобразие формы, в которую было облечено объективно революционное содержание единства того социального и политического аспекта, в которых будущее общество рисуется в творчестве Руссо.

Руссо не только высоко поднял знамя критики, демократической по ее целям, но и обогатил ее методы, восстав против одностороннего рационализма просветителей и эгоистического толкования «интеллектуалами» силы рассудка. «Протест Руссо против рационализма, защита чувства против рассудка неотделимы от протеста социального», — пишет В. Ф. Асмус. По словам этого исследователя, Руссо удалось в своем дебюте «сильно и смело выразить горячий протест плебея, который видит, что плоды прогресса цивилизации не только остаются для него недоступными — по его социальному положению, — но что самые блага цивилизации, основывающиеся на господстве рассудка над чувствами, далеко не безусловны, заключают в себе оборотную, отрицательную сторону»<sup>53</sup>.

Разоблачение двойственности прогресса цивилизации на основании его социальных результатов тем самым было направлено против просветительства как тактики, как источника иллюзий об автоматическом прогрессе, улучшении форм общественной жизни под влиянием успеха просвещения, преодоления «предрассудков».

Дебют Руссо имел огромный успех. Он открыл автору самого себя, его предназначение философа, а Дижонскую академию навсегда прославил в анналах истории.

Наблюдавший за изданием «Рассуждения» Дидро сообщал заболевшему автору, что его превозносят до небес: «Успех беспрецедентный!»<sup>54</sup>. По словам М. Гримма, издававшего при участии Дидро «Литературные корреспонденции», это сочинение Руссо произвело в Париже нечто вроде переворота<sup>55</sup>. По рассказу Дюсо, огромные толпы стояли у дверей книжной лавки, где продавалась эта книга, ее с жадностью читали люди всех положений. «Герцоги и придворные в восторге вторили Руссо, ораторствовали против роскоши, требовали опрощения жизни и радикальных реформ в нравах»<sup>56</sup>.

Но в материальном отношении успех этот автору ничего не дал, так как Дидро вынужден был отдать печатать книгу без авторского вознаграждения.

Жгучую актуальность проблем, прямо или косвенно затронутых в «Рассуждении о влиянии наук и искусств», показала та оживленная и обширная

<sup>53</sup> В. Ф. Асмус. Руссо. М., 1962, стр. 11.

<sup>54</sup> Руссо. Исповедь, стр. 316.

<sup>55</sup> Correspondance littéraire... par Grimm, Diderot..., t. II. Paris, 1877, p. 319.

<sup>56</sup> Цит. по А. С. Алексееву. «Этюды о Руссо», т. I. М., 1887, стр. 60.

полемика, которую оно вызвало<sup>57</sup>. И в этой закипевшей горячей схватке Руссо смог сам отчетливее осознать тот глубоко демократический социальный смысл осуждения общественной роли наук и искусств<sup>58</sup>, который в самом «Рассуждении» был приоткрыт лишь частично (связь их с роскошью). Ход полемики потребовал от ее участников додумать до конца свои социальные позиции.

Столкнулись противоположные взгляды на имущественное, социальное неравенство, на общественную пользу или вред роскоши.

Ведь осудив науки и искусства на том основании, что они, порождаясь роскошью, в свою очередь усиливают погоню за ней, Руссо тем самым открыто пошел против течения буржуазной мысли, всячески превозносившей роскошь как источник заработка для бедняков, как стимул развития производительных сил общества, роста географического распределения труда и т. д.

Маркс, разделяя в своих ранних работах богатство на расточительное и промышленное, писал, что презрение к людям обладателя первого из этих видов проявляется также в виде «подлой иллюзии, будто его необузданная расточительность и безудержное непроизводительное потребление обуславливают труд, а тем самым существование другого»<sup>59</sup>.

При этом естественно защита роскоши означала защиту имущественного неравенства, якобы обусловленного неравенством способностей.

Одним из наиболее энергичных защитников неравенства был Вольтер. «На нашей несчастной планете невозможно, — писал он, — чтобы люди, живя в обществе, не были бы разделены на два класса — один из угнетателей, другой из угнетенных... Человеческий род, такой, каков он есть, не может существовать без множества полезных людей, не имеющих ровно ничего (*une infinité d'hommes utiles, qui ne possèdent rien du tout*), ибо зажиточный человек наверно не покинет своей земли для того, чтобы обработать вашу, и если вам нужна пара башмаков, то шить ее не станет лицо, более или менее высокопоставленное. Таким образом, равенство есть нечто наиболее естественное и в то же время наиболее химерическое»<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> Материалы эти вскоре были собраны и изданы отдельной книгой, вторым изданием которой обладает Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (см. «*Les avantages et les désavantages des sciences et des arts. Par Mr. J.-J. Rousseau et autres Savants Hommes*». Nouvelle édition, t. I, II, A Londres, 1756).

<sup>58</sup> Нам представляется обоснованным предположение Ф. Б. Элиашберг о том, что под «искусствами» (*arts*) Руссо фактически подразумевал «художества» в значении этого слова у нас в XVIII в., т. е. включал сюда и понятие об определенной группе ремесел, близких к искусствам (в частности, о тех из них, в которых мастера-«искусники» изготовляли предметы роскоши, обладавшие рядом качеств предметов искусства).

<sup>59</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 608.

<sup>60</sup> «*Dictionnaire philosophique portatif*», статья «*Egalité*». Londres, 1764, p. 172, 173

«Апологией роскоши» назвал Вольтер свою поэму «Светский человек», написанную им в 1736 г. Герой ее, выражающий мысли автора, признателен природе за то, что он родился именно в XVIII в., так как он любит роскошь, изысканность, все виды приносимых ими радостей. Избыток, роскошь необходимы, ибо они связывают оба полушария узами обмена, торговли, несущими европейцам все новые улады жизни<sup>61</sup>.

Вольтер неоднократно ссылается на то, что именно роскошь в быту богача обеспечивает заработок множеству бедняков<sup>62</sup>.

Эта мысль настолько часто повторяется, что становится общим местом экономической доктрины буржуазии XVIII в., связанной с теорией и практикой меркантилизма, призывавшего к погоне за благородным металлом, получаемым в обмен на вывозимые товары, состоявшие во Франции в значительной своей части из предметов роскоши.

Вольтер восторженно отзывался о книге экономиста Ж. Мелона «Политический опыт о торговле и промышленности» (1734), одна из глав которой была посвящена прославлению роскоши<sup>63</sup>. Сочинение это Вольтер назвал трудом умного человека, гражданина и философа, чувствующего дух своего времени<sup>64</sup>. А между тем Мелон с самым серьезным видом вносил, например, предложение распространить на Францию систему рабовладения, как обеспечивающую предпринимателям и государству ряд преимуществ в их взаимоотношениях с рабочей силой. То был безудержно жадный и жестокий дух эпохи первоначального накопления.

В 1745 г. Французская Академия избрала следующую тему для своего конкурса на премию по красноречию: «Мудрость Господня в неравном распределении богатств». Удостоено награды было сочинение моралиста Л. Воленарга, писавшего в нем: «Неверно, что закон природы — равенство. Она ничего не сотворила равным. Ее высший закон — это подчинение и зависимость».

Шатлу в книге «О процветании общества» (1746) утверждал, что неравномерность в распределении способностей и обусловленное этим различие в успехах вполне естественны<sup>65</sup>.

Оппоненты Руссо, принадлежавшие как к знати, зараженной носившими в воздухе идеями Просвещения (польский король Станислав Лещинский), так и к представителям буржуазной интеллигенции, почувствовали, что

<sup>61</sup> См. Voltaire. Oeuvres complètes, t. 9. Paris, 1817, p. 17—19.

<sup>62</sup> См. его «Мысли об обществе» (Вольтер. Избр. произв. М., 1947, стр. 536), статью о роскоши в «Философском словаре».

<sup>63</sup> J.-F. Melon. Essai politique sur le commerce. Ed. E. Daire. Economistes financiers du XVIII siècle. Paris, 1843, p. 742—749.

<sup>64</sup> Voltaire. Lettre à M. T\*\*\*, sur l'ouvrage de M. Melon et sur celui de M. Dutot. 1738, p. 14; J.-F. Melon. Op. cit., p. 724—727.

<sup>65</sup> Chastellux. De la félicité politique, t. II, p. 252.



острие критики в «Рассуждении о влиянии наук и искусств» направлено против неравенства и всего того, что его порождает и усугубляет<sup>66</sup>. Так, каноник Готье из Нанси, повторяя приведенные выше аргументы, превозносил благодетельность неравномерного распределения богатств, дающего заработок «простому народу». Он заявлял, что не представляет себе, «как могли бы существовать остальные подданные, если бы богачи воздерживались от своих трат?»<sup>67</sup>

Некогда приятель Руссо по Лиону литератор Ш. Борд, теперь ставший секретарем местной академии, не мог простить ему того, что он забыл, как восхвалял в «Послании» к нему в 1742 г. «царство Плутоса», лишенное теней и противоречий. Борд был убежден, что «только роскошь и может питать и занять народ» как в военное, так и в мирное время. «Труд бедняка оплачивается избытком богача»<sup>68</sup>. Для миллионов граждан роскошь является надеждой, поощрением, поддержкой, без которой они прозябали бы в ужасающей бедности и нищете.

Руссо же становится теперь на противоположную позицию, которую он в дальнейшем будет все более и более укреплять. Да, существует связь между роскошью и бедностью, но не та, которую восхваляют его противники, а прямо противоположная. В своем ответе Борду он прямо заявляет, что роскошь и богатство меньшинства являются причиной бедности массы: «если бы не было роскоши, то не было бы и бедняков». Ибо это она растрчивает средства, необходимые для самого минимального улучшения условий жизни народа. «Роскошь кормит сотню бедняков в городе и морит голодом сотни тысяч в деревне». Роскошь ненавистна для него уже потому, что она расточает на прихоти и излишества то, что необходимо для существования тысяч людей. «Нам нужна мука на наши парики, вот почему столько бедняков совсем не имеют хлеба»<sup>69</sup>.

Мысль Руссо, отражая выпады противников, проникает все глубже и глубже в первопричины общественных неурядиц. И в ответе польскому королю С. Лещинскому читаем: «Первый источник зла — неравенство; из неравенства возникли богатства, они породили роскошь и праздность, роскошь породила искусства, а праздность — науки»<sup>70</sup>. Все это явилось причиной порчи нравов, сделало интересы людей непримиримо враждебными. Впоследствии Руссо рассказал, как известие о том, что его «Рассуждение» о науках и искусствах удостоено Дижонской академией первой премии, вновь и с особой силой про-

<sup>66</sup> В разделе о социальной критике у Руссо автор привлекает некоторые наблюдения, сделанные Н. А. Буковской в процессе подготовки под его руководством канд. диссертации на эту тему в Одесском университете.

<sup>67</sup> «Les avantages et les désavantages des sciences et des arts...», t. I, p. 151.

<sup>68</sup> Ibidem, t. II, p. 214.

<sup>69</sup> J. J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III. Paris, 1964, p. 79.

<sup>70</sup> Ibidem, p. 49—50.

будило в нем «все идеи, вдохновившие мой труд, оживило их с новой силой и окончательно привело в брожение ту закваску героизма и добродетели, которую с детства мой отец, моя родина и Плутарх вложили в мое сердце»<sup>71</sup>.

Своеобразным итогом этой полемики о первом «Рассуждении» явилось предисловие Руссо к его пьесе «Нарцисс», увидевшей впервые свет рампы 18 декабря 1752 г. Руссо был прав, относя его к числу удачных своих сочинений и связывая это с тем, что здесь он «впервые изложил свои принципы немного более открыто, чем делал это до сих пор»<sup>72</sup>.

Думается, что это прежде всего и проявилось в том, что он, двигаясь на ощупь, вплотную приближается к пониманию действительного источника социального неравенства и называет его во всеулышание: это — частная собственность. «Люди были добры и не имели пороков до тех пор, пока не были изобретены эти ужасные слова (*ces mots affreux*) *твое* и *мое*, прежде чем появился этот род людей жестоких и грубых, именуемых господами, и другой род людей — мошенников и лгунов, называемых рабами, прежде чем появились люди настолько мерзкие, что они осмеливались иметь излишек, в то время как другие умирали от голода», — писал он<sup>73</sup>.

Исходя из типичного для философии Просвещения противопоставления положительных природных свойств человека его моральной испорченности в общественном состоянии, Руссо теперь открыто связал это грехопадение с возникновением частной собственности, заявив: «...это слово Собственность, которое стоит стольких преступлений нашим так называемым почтенным людям (*ce mot de Propriété qui coûté, tant de crimes à nos honnêtes gens*), не имеет среди дикарей почти никакого смысла; ничто не толкает их к тому, чтобы обманывать друг друга»<sup>74</sup>.

Мысль Руссо движется вперед, обвиняя науки и искусства не только потому, что они спутники роскоши, но и за то, что они стимулируют развитие тех новых форм отношений (мы их определяем как буржуазные), распространение которых философы Просвещения во главе с Вольтером всячески прославляли.

«Наши писатели все рассматривают как шедевр политики этого века: науки, искусства, роскошь, коммерцию, законы и другие узы, которые, ту же стягивая между людьми узел общественных связей (*resserrant entre les hommes les noeuds de la société*) при помощи личного интереса, ставя всех людей в положение взаимной зависимости, приводят к тому, что они все нуждаются друг в друге и обладают общими интересами, заставляют каждого из них

<sup>71</sup> Руссо. Исповедь, стр. 338.

<sup>72</sup> Поэтому, например, Д. Исаак имел все основания посвятить этому «Предисловию» отдельную небольшую главу в книге общего характера о Руссо (см. Dumitru I s a c. J.-J. Rousseau. Bucuresti, 1966, p. 118—125).

<sup>73</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III, p. 80.

<sup>74</sup> Ibidem, t. II, 1961, p. 970.

содействовать счастью других, чтобы иметь возможность добиться его для себя».

Руссо видит в последствиях этих связей, в особенности в этой «*commerce*»<sup>75</sup> больше дурного, нежели хорошего. Ведь это они сделали для людей невозможным жить вместе, не вытесняя, не обманывая, не предавая, не уничтожая друг друга. «Среди людей существует тысяча источников их развращения; и хотя науки являются возможно самым обильным источником и действующим скорее других, он был далеко не единственным. Все то, что облегчает сообщения и связи (*la communication*) между различными нациями, приносит им не добродетели друг друга, но их беззакония и преступления, и искажает у них нравы, свойственные их климату и устройству их правления. Таким образом, не науки совершили все зло; им принадлежит в этом только большая доля, а именно то, что они придали нашим порокам привлекательный вид, сделали так, что они выглядят добропорядочно и это не позволяет испытывать по отношению к ним ужас и отвращение»<sup>76</sup>.

Таким образом, уже не науки и искусства, а противоречия интересов — «вот пагубный источник насилий, измен, лицемерия и всех тех ужасов, которые неизбежны при таком положении вещей, когда каждый, — притворяясь, что он действует в интересах благоденствия или славы других, стремится только к тому, чтобы его состояние превысило их и за их счет. Что мы выиграли при этом? Много болтовни, богатей и резонеров, т. е. врагов добродетелей и здравого смысла. Зато мы потеряли невинность и добрые нравы. Толпа пресмыкается в нищете; все люди — рабы порока, не содеянные преступления уже заключены в глубине их сердец и, чтобы совершить их, не хватает только уверенности в безнаказанности»<sup>77</sup>.

И вот из этих-то новых для него наблюдений и мыслей Руссо делает следующий обобщающий вывод: «Странный и гибельный строй (*étrange et funeste constitution*), при котором накопленные богатства всегда облегчают накопление с их помощью еще более крупных состояний, а тот, кто ничего не имеет, не в состоянии ничего приобрести, где добродетельный человек не имеет никакой возможности выйти из нищеты, а самые большие мошенники более всех почитаемы, и где надо обязательно отказаться от добродетели, чтобы стать так называемым почтенным человеком!»

---

<sup>75</sup> Отметим, что слово «*commerce*» в эпоху Руссо, в отличие от XIX в., в значительной мере сохраняло, как и в латыни, еще и свое первое, более общее значение, т. е. означало всякие виды сношений, связей между людьми, а потом уже — торговые сношения. Ведь римляне, говоря: *habere commercium cum Musis, commercium epistolarium, sermonis, loquendi et audiendi*, имели в виду то, что человек связан с музами, общается с ними, а не торгует, что он ведет переписку, беседу, обменивается мыслями с другими людьми, а вовсе не ведет с ними торговлю.

<sup>76</sup> J.-J. Rousseau. *Oeuvres complètes*, t. II, p. 964.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 968—969.

В заключение этого обвинительного акта Руссо следующим образом он разделяет различие между собой и теми витиями (*déclamateurs*), которые сотни раз говорили об этих пороках общества. Дело в том, что у них это была пустая декламация, а он исходит из определенных оснований (*je dis sur des raisons*): «Они заметили зло, а я открыл его причины: и дал возможность увидеть нечто весьма утешительное и весьма полезное, показав, что все эти пороки свойственны не вообще человеку, а человеку, дурно управляемому»<sup>78</sup>.

Следовательно Руссо теперь связывает порчу, «развращение» людей в обществе с пороками его скверного политического устройства, существующих в нем видов управления; от этого вывода нити ведут к статье «О политической экономии»<sup>79</sup> и к первому наброску «Общественного договора», т. е. к произведениям, созданным не позже 1754 г.

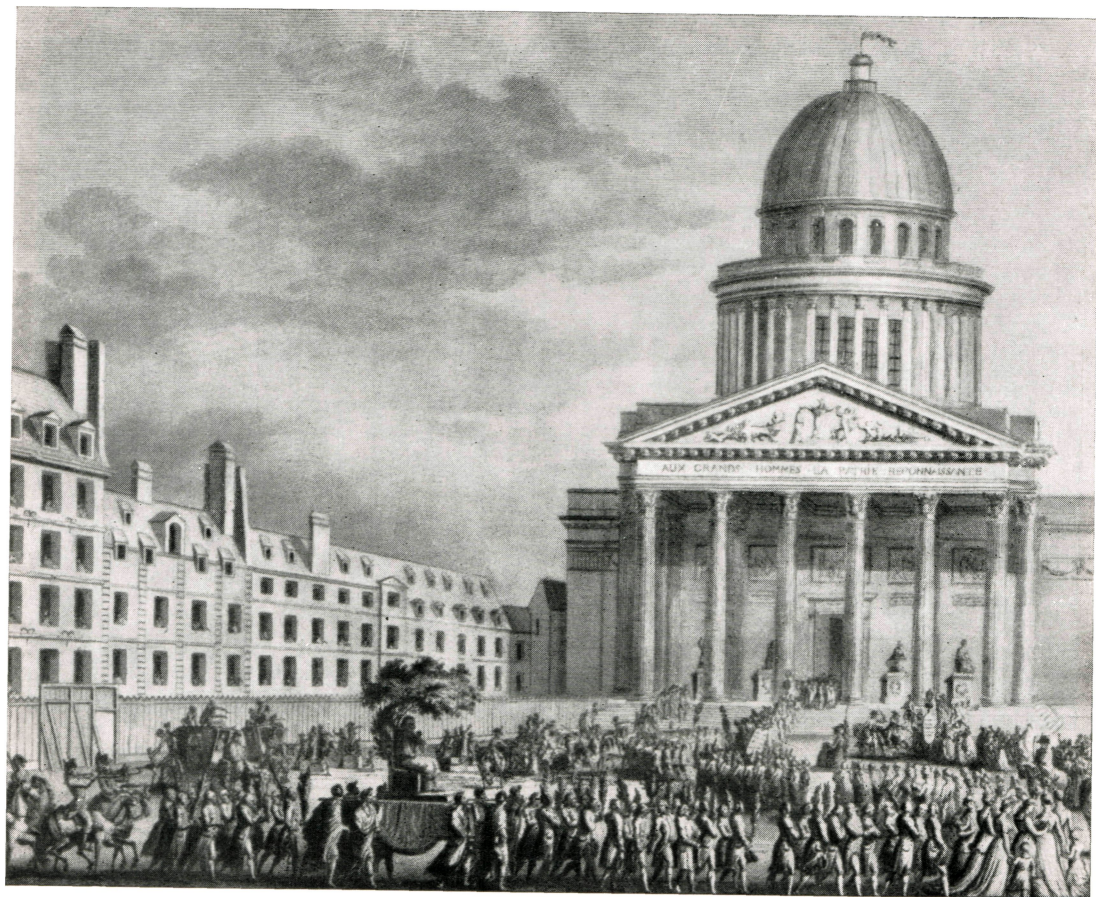
Что же это такое «нравы» (*moeurs*), о предохранении которых от разлагающего влияния «наук и искусств» так печется Руссо? Конечно, это отнюдь не только совокупность моральных и нравственных устоев. В терминологии социологии XVIII в. — это сложный комплекс, включающий и род управления, и материальный уклад жизни, т. е. то, что обозначается понятием традиции, «обычаи» (*usages, coutumes*). При этом под словом «*moeurs*» подразумеваются положительные проявления всех этих свойств людей в ранние времена их истории. Вот почему каждый народ, обладающий такого рода «нравами» и вследствие этого соблюдающий законы, должен тщательно оберегать себя от распространения наук и в особенности от появления ученых, ибо «малейшее изменение в обычаях, даже если оно в некоторых отношениях выгодно, всегда приносит ущерб нравам, ибо обычаи — эта мораль народа и с того момента, как он перестает их соблюдать, единственным его правилом остаются его страсти, а уздой — закон, который может до некоторой степени сдерживать злых, но никогда не в силах сделать их добрыми»<sup>80</sup>.

Неверие в возможность полного возрождения народа, утратившего первозаданную чистоту и простоту «нравов», станет постоянным спутником мыслей Руссо о будущем (позже оно примет форму отрицания возможности для народа вернуть завоеванную и утраченную свободу). Но субъективные мотивы будут видоизменяться. В 1753 г. проблема эта ставится и решается Руссо преимущественно в плане особенностей моральной природы человека, обуславливающей необратимость изменений к худшему; порочный народ невозможно вернуть к добродетели, речь может идти не о том, чтобы сделать

<sup>78</sup> J. J. Rousseau. *Oeuvres complètes*, t. II, p. 969.

<sup>79</sup> На эту преемственную связь указывает, в частности, и тот факт, что мысль о том, что накопленное богатство помогает приобрести еще большее, находит свое развитие в этой статье.

<sup>80</sup> J.-J. Rousseau. *Oeuvres complètes* t. II, p. 971.



*Перенесение праха Руссо в Пантеон 11 октября 1794 г. Гравюра конца XVIII в.*



*Гробница Руссо на Тополином острове в Эрменонвилле.  
Рисунок с натуры и гравюры Ж. Моро младшего*

добрыми тех людей, кто перестал быть таковыми, но сохранить в этом состоянии тех, кто еще не испортился. Как и в «Рассуждении», Руссо полагает, что искусства и науки, после того, как они привели к расцвету пороков, необходимы, чтобы не дать им превратиться в преступления. Но теперь он связывает это с невозможностью вернуть социальные основы былого совершенства, а именно тщетно пытались бы вернуть людей опять в «состояние первичного равенства, сохранявшего их невинность и бывшего источником их добродетели: испорченные сердца их всегда уже останутся такими: нет больше лекарства, кроме некоего огромного переворота (а moins de quelque grande révolution), которого следует столь же опасаться, как и того зла, которое он мог бы исцелить; желать его достойно осуждения, а предвидеть невозможно»<sup>81</sup>. Он надеется, что удастся совершить некий отвлекающий маневр, изменив страсти людей. «Дадим другую пищу этим тиграм, с тем чтобы они не пожирали наших детей», — предлагает Руссо, предвосхищая этим одну из главных мыслей Фурье.

Вот почему в противоположность тому, что о нем говорили, как о человеке, призывающем вернуться к временам дикости<sup>82</sup>, — Руссо высказывается за то, чтобы «старательно поддерживать академии, коллежи, университеты, библиотеки, спектакли и другие виды развлечений, способные отвлечь человека от дурных поступков»<sup>83</sup>. Ибо лучше жить с мошенниками, чем с разбойниками.

Атмосфера резкого подъема в конце 40-х — начале 50-х годов XVIII в. духовной, идеологической активности противников феодально-абсолютистского строя радикализовала социальную мысль Руссо, который, как мы видели из содержания «Предисловия» к пьесе «Нарцисс» в 1752 г., своим путем пришел к выводу о том, что появление частной собственности и обусловленное этим превращение интересов во враждебные — было главной причиной, исходным пунктом всех бедствий человечества.

Можно себе представить, с каким трепетом воспринял Руссо в 1753 г. известие о том, что увенчавшая его премией Дижонская академия темой своего нового конкурса по проблемам морали избрала именно тот вопрос, который уже несколько лет фактически был в центре его размышлений: «О происхождении и основаниях неравенства среди людей». «Потрясенный важностью вопроса, — рассказывает он, — я был удивлен, что академия решается предложить его; но раз у нее нашлось достаточно храбрости для этого, я тоже набрался храбрости и взялся за разработку»<sup>84</sup>.

<sup>81</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III, p. 56.

<sup>82</sup> Именно так, как известно, истолковал его намерения Вольтер, чье мнение было весьма авторитетно.

<sup>83</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. II, p. 972.

<sup>84</sup> Руссо. Исповедь, стр. 338.

Чтобы спокойнее обдумать эту великую тему, Руссо отправляется на неделю в селенье Сен-Жермен, вблизи Парижа. Там, уйдя подальше в лес, вспоминает он, «я искал; я находил там картину первобытных времен, историю которых смело стремился начертать; я обличал мелкую людскую ложь; я дерзнул обнажить человеческую природу, проследить ход времен и событий, извративших ее, и, сравнивая человека, созданного людьми, с человеком естественным, показать людям, что достигнутое ими мнимое совершенство — источник их несчастий»<sup>85</sup>.

Из этих размышлений и возникло «Рассуждение о неравенстве», которое понравилось Дидро больше других сочинений Руссо, и при создании этого труда советы Дидро были для него наиболее ценны<sup>86</sup>.

Труд этот явился внутренне подготовленным, смелым выступлением против неравенства, материалистическим раскрытием тайны его происхождения и природы его «оснований», которую автор, вопреки буржуазной точке зрения, всецело связал с общественным состоянием.

Значение этого выступления Руссо и определяется прежде всего тем, что господствовавшему в окружавшем его обществе неравенству — сословному, политическому и социальному, имущественному — он противопоставил главное требование народа и демократической общественной мысли — требование равенства.

Как это всесторонне показал В. И. Ленин, в эпоху подготовки и проведения буржуазных революций именно идея равенства наиболее полно и решительно выражает цели и задачи антифеодальной борьбы<sup>87</sup>.

Усугубление социального неравенства во Франции в эпоху разложения феодально-абсолютистского строя происходит в XVIII в. уже в значительной мере вследствие развития в недрах этого строя капиталистического уклада.

Изучение форм, отдельных этапов развития этого уклада намного отстает от интенсивности изучения феодального строя в эпоху его кризиса, имеющего уже долгую и богатую традицию в историографии различных направлений.

В современной французской историографии налицо несомненное усиление интереса к проблемам истории буржуазных отношений во Франции XVIII в., причем разрабатываются они главным образом в столь излюбленном в этой стране жанре исследований локального характера<sup>88</sup>, среди кото-

<sup>85</sup> Руссо. Исповедь, стр. 338.

<sup>86</sup> Там же, стр. 339.

<sup>87</sup> См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, стр. 226.

<sup>88</sup> Автор этой статьи с признательностью воспользовался предоставленным ему проф. А. Д. Люблинской составленным ею ценным обзором новейшей французской литературы по этим вопросам, где рассматриваются работы П. Леона, К. Ришара, Ж. Рамбера, Р. Перну и др. С весьма содержательным докладом об изучении социальной истории выступил в декабре 1966 г. в секторе новой истории Института истории АН СССР проф. А. Собыль; в настоящее время доклад этот опубликован (см. «Новая и новейшая история», 1967, № 2, стр. 29—36).



рых, несомненно, первое место принадлежит изданной посмертно блестящей работе Ж. Лефевра, его «Этюдам по истории Орлеана»<sup>89</sup>, что же касается первых опытов обобщения материала, то они пока привели к появлению нескольких научно-популярных работ<sup>90</sup>.

Маркс, отдавший много сил исследованию ранних стадий развития капитализма, видел в XVIII в. то время, на протяжении которого буржуазное общество сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости. Между тем в последующей марксистско-ленинской историографии эти проблемы, например применительно к Франции, еще не подверглись систематическому изучению.

Мы знаем, что развитие капиталистического уклада влечет за собой складывание новых, более сложных социальных отношений и противоречий. Энгельс определил эти последствия как образование «общей противоположности между эксплуататорами и эксплуатируемыми, богатыми туеядцами и трудящимися бедняками»<sup>91</sup>, и он считал гениальным открытием высказанную Сен-Симоном еще в 1802 г. мысль о том, что Великая французская революция была классовой борьбой не только между дворянством и буржуазией, но также «между дворянством, буржуазией и неимущими»<sup>92</sup>.

Известно, что впоследствии В. И. Ленин назвал такого рода противоречия второй социальной войной, поскольку они находятся как бы на втором плане в эпоху, когда первоочередной проблемой развития общества является освобождение его от пут феодальных пережитков.

Но и Ф. Энгельс и В. И. Ленин своими работами неопровержимо доказали, что элементы этой «общей противоположности», этой «второй социальной войны» складываются не тогда, когда разрешены задачи антифеодальной борьбы, не на почве, уже очищенной от феодальных пережитков, а задолго до этого и играют сначала существенную роль в борьбе против этих пережитков. Элементы этой «второй социальной войны» Энгельс видел в сопутствовавших уже с XVI в. каждому крупному буржуазному движению самостоятельных движениях того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата, и считал, что именно отражением этого рода противоречий, бедственного положения «трудящихся бедняков» и их первых вооруженных выступлений были в XVI и XVII вв. первые утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII в. — коммунистические теории (Морелли и Мабли)<sup>93</sup>.

Поскольку до последнего времени нами явно недооценивался уровень развития капиталистического уклада во Франции XVIII в., то это не могло не

<sup>89</sup> G. Lefebvre. Etudes orleanaises, t. I, II. Paris, 1962—1963.

<sup>90</sup> См., например, Colmet. La classe bourgeoise. Paris, 1959.

<sup>91</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 17.

<sup>92</sup> Там же, стр. 269.

<sup>93</sup> Там же, стр. 17—18.

сказаться на отсутствии внимания к изучению последствий этого процесса в структуре французского общества этой эпохи, в характере социальных противоречий, в отражении их в творчестве мыслителей-демократов, которые рассматривались поэтому исключительно как борцы против феодально-абсолютистского гнета, т. е. как представители левого крыла буржуазного движения.

Отнюдь не отрицая главенствующего значения уничтожения феодальных пережитков, но придавая большое значение в борьбе против них той социальной дифференциации, которую несло с собой развитие капиталистического уклада, мы считаем необходимым подходить к истории идеологической борьбы во Франции в середине XVIII в., и в частности к изучению социальной и политической мысли Руссо, с учетом сложной природы социальных противоречий этой переходной эпохи.

Мы имеем в виду, в частности, то обстоятельство, что социальное неравенство во Франции в рассматриваемую нами эпоху не могло не усугубляться процессом первоначального накопления капитала. Мы видим, как в его осуществлении здесь применяются все те методы, используются все те источники, которые были раскрыты Марксом в знаменитой XXIV главе I тома «Капитала»<sup>94</sup>.

И хотя значение тех или иных методов и источников этого процесса во Франции было иным, чем в Англии, но суть первоначального накопления и здесь была та же — в основе его лежало отделение непосредственных производителей от средств производства, а на другом полюсе — быстрый рост богатств буржуазной верхушки третьего сословия во Франции, особенно широко наживавшейся на займах государству, на откупных операциях, на различных формах эксплуатации колоний.

Экспроприация, разорение крестьян проходили здесь с меньшим применением насильственных методов, чем в ходе «огораживаний» в Англии, а главным образом были результатом непомерной тяжести сеньориальных повинностей и налогов и других тягот, налагаемых на земледельца абсолютистским государством. Крестьянин, этот бедный Жак-Простак, искал из этого положения выход во все новых займах у деревенского ростовщика. А «изобретательность денежных воротил была беспредельной: ссуды деньгами, ссуды хлебом, ссуды скотом под залог земли или будущего урожая, часто скрытые под маской совершенно безобидных контрактов»<sup>95</sup>, приводили к тому, что земля крестьянина попадала в руки сельского или городского буржуа, представителя нового дворянства, а крестьяне вынуждены были все больше и больше прибегать к испольной аренде, которую Маркс определял как форму ренты, переходную от феодальной к капиталистической.

<sup>94</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 725—773.

<sup>95</sup> М. Блок. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1952, стр. 196.

Не станем излагать сколько-нибудь подробно содержание «Рассуждения о неравенстве» и других социально-политических сочинений Руссо. Они предстают теперь перед советскими читателями в данном издании в новых переводах впервые с такой полнотой.

Но зато постараемся проследить за основным направлением движения мысли Руссо и за развитием, углублением, обогащением ее от произведения к произведению.

При этом будем иметь в виду буржуазную трактовку естественных прав и естественного состояния человека и ту, которую дает этим понятиям Руссо.

Он различает два вида неравенства; то, которое называет естественным или физическим, поскольку оно установлено природой и состоит в различии возраста, состояния здоровья, сил тела и свойств ума или души, и второй вид, который можно было бы назвать неравенством в положении личности<sup>96</sup> или политическим, ибо оно зависит от своего рода соглашения и установлено или по меньшей мере разрешено с согласия людей. Проявляется оно в различного рода привилегиях, которыми одни пользуются за счет других; к числу их относится возможность быть более богатым, более почитаемым, более могущественным или даже заставлять себе подчиняться благодаря всему этому.

Свою задачу Руссо видит в том, чтобы установить, когда наступил момент, в который право уступило силе, а природа была подчинена закону; объяснить, при помощи какой цепи чудес сильный мог осмелиться заставить себе служить слабого (*le fort pu se résoudre à servir le faible*), а народ решил приобрести воображаемый покой ценою утери того благополучия, которым он обладал.

Путь к разрешению этой задачи Руссо видит чисто дедуктивный. Начнем с того, говорит он, что отбросим все факты, ибо цель наша не в отыскании исторических истин, а в создании чисто логических и условных гипотез (*raisonnements hypothétiques et conditionnels*), скорее способных разъяснить природу вещей, чем доказать их подлинное происхождение, гипотез, подобных тем, которые постоянно создают наши физики относительно образования вселенной.

История человека, какой ее видит Руссо, не почерпнута из лживых книг, написанных людьми, но взята из природы, которая никогда не лжет.

«Рассуждение о неравенстве» прожило долгую, сложную и на редкость плодотворную жизнь. В экономических работах К. Маркса 50-х годов, а затем в «Анти-Дюринге» Ф. Энгельса была раскрыта причина его огромного влияния на социологическую и социальную мысль XVIII в.

То, что в поисках ответа на вопрос о происхождении и основаниях неравенства мысль Руссо устремилась в далекое прошлое, то, что она, опираясь

<sup>96</sup> В оригинале *inégalité morale ou politique*.

на гипотезу о «естественном состоянии», сводит эту задачу к исследованию взаимоотношения одной произвольно взятой «пары» из живущих изолированно, независимо от всех других человеческих существ, было полно глубокого смысла. Здесь инстинктивно мысль Руссо шла тем же путем, что и мысль великих представителей классической буржуазной политической экономии. «Единый и обособленный охотник и рыбак, с которых начинают Смит и Рикардо, — писал Маркс, — ...это робинзонады, которые отнюдь не являются — как воображают историки культуры — лишь реакцией против чрезмерной утонченности и возвращением к ложно понятой естественной жизни»<sup>97</sup>. В этих «робинзонадах» Маркс видит не отражение некогда существовавших отношений, а «скорее, предвосхищение „гражданского общества“, которое подготовлялось с XVI века, а в XVIII веке сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости»<sup>98</sup>. Именно «в этом обществе свободной конкуренции отдельный человек выступает освобожденным от естественных связей...»<sup>99</sup>, но к этому факту идеологи буржуазного развития, равнодушные к интересам масс (Смит, Рикардо, физиократы), относятся не так, как выразители, защитники интересов этих масс — мыслители радикально-демократического направления (Руссо и его последователи).

Для первых «этот индивидуум XVIII века — продукт, с одной стороны, разложения феодальных общественных форм, а с другой — развития новых производительных сил, — начавшегося с XVI века, — представляется идеалом, существование которого относится к прошлому; он представляется им не результатом истории, а ее исходным пунктом»<sup>100</sup>. Иначе говоря, буржуазный индивидуализм и выражающая его эгоистическая, частноблагочестивая и в сущности антидемократическая по отношению к неимущим трактовка концепции «естественных прав» обосновывают этот свой взгляд ссылками на первоначальную историю человека, жившего якобы вне общества, чтобы доказать этим, что, и живя в обществе, он вправе думать в первую очередь и главным образом о себе.

Демократическое же направление общественной мысли XVIII в. в лице Руссо прибегает к такого рода допущению во имя существенно иных целей.

А именно, как это показал Энгельс в «Анти-Дюринге», Руссо прибег к такого рода модели, нащупывая материалистическое объяснение причин, по которым один такого рода «обособленный первобытный охотник» не мог подчинить себе, поработить второго посредством насилия, а только поставив его в такое положение, в котором тот не мог без него обойтись<sup>101</sup>. «Какие могли быть цепи зависимости среди людей, ничем не обладающих?» — спрашивал

<sup>97</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 709.

<sup>98</sup> Там же.

<sup>99</sup> Там же.

<sup>100</sup> Там же, стр. 709—710.

<sup>101</sup> Там же, т. 20, стр. 100.

Руссо, доказывая тем самым и обратное, — что в окружающем его обществе XVIII в. эти цепи, наложенные на человека повсюду, как он скажет в «Общественном договоре», порождены частной собственностью и пагубными последствиями ее появления.

Мышление Руссо формировалось в школе рационализма XVIII в. с присущей ему абсолютизацией идейных мотивов исторической деятельности людей<sup>102</sup>.

Поэтому, сформулировав приведенное выше материалистическое положение, Руссо все же говорит, что «намерен показать происхождение неравенства и его рост в последовательном прогрессе человеческого разума» (*développement successif de l'esprit humain*), поскольку разум индивидуумов, совершенствуясь, портил человеческий род, так как человек, становясь существом общественным, превращался тем самым в существо дурное и злое. Но в действительности Руссо обнаружил корни этого неравенства не в прогрессе цивилизации (это было бы в сущности повторением выводов «Рассуждения о влиянии наук и искусств»), а в возникновении той самой частной собственности, которая в глазах «классических» идеологов буржуазного Просвещения лежала в основе всех успехов человеческого общества<sup>103</sup>.

В глазах же Руссо акт этот имеет совершенно противоположный характер и значение.

Когда в знаменитом начале второй части «Рассуждения о неравенстве» он провозглашает, что первый человек, огородивший участок земли и осмелившийся заявить «это мое», нашел людей, достаточно простодушных, чтобы ему поверить, — стал тем самым подлинным основателем гражданского общества, то это звучит в устах Руссо не как панегирик и прославление, а как тягчайшее обвинение.

Ведь у этого человека не было никаких прав поступать так, ибо он лгал. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов мог бы уберечь человеческий род тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы в тот момент людям: «Остерегайтесь слушать этого обманщика: вы погибнете, если забудете, что плоды для всех, а земля — ничья». Именно такой человек, разоблачивший обманщика, мог стать подлинным благодетелем человечества, но его не нашлось, и первородный грех — создание частной собственности путем обмана одним многих (или что то же — немногими — всех) — совершился.

<sup>102</sup> В. И. Ленин и н. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 58.

<sup>103</sup> Напомним, что основатель школы физиократов Ф. Кенэ несколько позже определял «естественное право» именно как «право человека на вещи, пригодные для его пользования», и даже в справедливости видел «естественный и верховный закон, признанный светом разума, и точно определяющий, что принадлежит индивиду и что другим индивидам» (Ф. Кенэ. Избранные экономические произведения. М., 1960, стр. 329, 334).

Осуждение этого греха осуществляется Руссо как бы в нескольких планах. Один из них — социологический, в котором сам автор воспринимал и решал стоящую перед ним задачу.

Объективное же значение этого выпада имело в тех конкретно-исторических условиях двойкий смысл и значение. Выражая им протест против скопления в руках относительно немногих привилегированных собственников огромной массы земель во Франции<sup>104</sup>, Руссо атаковал этим подгнивающие основы феодального строя.

Но в то же время удар этот наносился и по крупной буржуазной собственности, которая, во-первых, разрасталась в эпоху затянувшегося первоначального накопления именно путем огораживаний, которыми, по словам Ш. Моразе, во Франции занимались многие «просвещенные» собственники, стремившиеся повышать качество обработки земли, разводить больше породистого, высокопродуктивного скота для снабжения растущего населения ближайших городов. А вырывать эти колья и засыпать канавы, которые можно было видеть по всей стране, приходилось беднейшим крестьянам, которых разоряло это наступление обуржуазившихся собственников на общинные земли, в частности на выгоны для выпаса скота<sup>105</sup>.

А во-вторых, удар этот был направлен и против той теории, с помощью которой буржуазный рассудок стремился наиболее убедительным в глазах масс способом объяснить как происхождение собственности, так и доказать законность ее неограниченного приращения в руках имущих.

Такого рода концепцией являлась, несомненно, трудовая теория происхождения собственности, развитая Локком, сочинения которого Руссо хорошо знал и высоко ценил, почтительно именуя его в этом же «Рассуждении» «мудрым»<sup>106</sup>.

Будучи «классическим выразителем правовых представлений буржуазного общества в противоположность феодальному»<sup>107</sup>, в стране, уже пережившей буржуазную революцию, Локк в своей теории строил такую цепь умозаключений, которая, с одной стороны, превращала каждого человека в своего рода собственника, а с другой — всячески маскировала увеличение собственности одних людей за счет труда других. А именно, писал он, «поскольку каждый человек обладает некоторою собственностью, заключающейся в

<sup>104</sup> Около трехсот пятидесяти тысяч представителей духовенства и дворянства были обладателями одной трети земель (притом лучших).

<sup>105</sup> Ch. M o r a z e. La France bourgeoise. Paris, 1946, p. 76.

<sup>106</sup> Мысль о целесообразности такого рода сопоставления была нам высказана Л. С. Гордоном. Ранее, вслед за Шатобрианом, отмечалось сходство этого начала второй части «Рассуждения о неравенстве» со следующими строками из «Мыслей» Паскаля: «Это собака моя,— говорили эти бедняги;— это мое место на солнышке.— Вот начало и образ захвата всей земли» (P a s c a l. Pensées. Paris, 1883, p. 404; Ch a t o b r i a n d. Le génie du christianisme, partie III, livre II, ch. VI).

<sup>107</sup> К. М а р к с. Теории прибавочной стоимости, ч. I, М., 1955, стр. 348.

его собственной личности, на которую кроме него самого никто не имеет прав, то можно сказать, что труд его тела и работа его рук принадлежат ему по природе вещей». Следовательно, «то, что человек извлек из предметов, созданных и предоставленных ему природой, он слил со своим трудом, с чем-то таким, что ему неотъемлемо принадлежит, и тем самым делает это своей собственностью»<sup>108</sup>.

Руссо примыкает к «трудовой» теории собственности, заявляя, что «невозможно себе представить, чтобы это понятие — собственность — возникло иначе, чем из трудовой деятельности (d'ailleurs que de la main d'oeuvre), ибо мы не видим, что, кроме своего труда, человек мог внести в что-либо не им созданное, чтобы себе это присвоить» (80).

Однако Руссо из такого рода понимания происхождения собственности делает не только антифеодальные, как это было у Локка, но и антибуржуазные выводы.

Расхождение между ними проявляется наиболее резко в двух главных чертах. Локк утверждает, что акт образования собственности «не зависит от определенно выраженного согласия всех, совместно владеющих»<sup>109</sup>, т. е. он всецело оправдывает того инициатора первого «огораживания», того основателя гражданского общества, которого Руссо, как мы видели, так резко осудил именно за обман, за то, что он не спросил разрешения других людей. Локк же прямо заявляет, что, приступив к обработке такого участка, человек «как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния». Больше того, «его право не утрачивается, если даже и сказать, что каждый обладает равным с ним правом на эту землю и, следовательно, он не может присвоить ее, не может огородить ее без согласия всех своих собратьев, всего человечества»<sup>110</sup>.

Этим Локк как бы предвидел возражения идеологов демократического лагеря, которые в лице Руссо провозгласили, что такого рода согласие совершенно обязательно. «Я приобрел этот участок земли своим трудом», — скажет тот, кто его присвоил. «Но кто определил границы ваших владений, — могли бы ему ответить, — и на каком основании притязаете вы на то, чтобы вам, за наш счет, уплатили за тот труд, который мы на вас вовсе не возлагаем?» И затем Руссо вкладывает в уста «собратьев» этого человека вопрос, который Локк совершенно не волновал. «Разве вам неизвестно, — спросят они „захватчика“, — что множество ваших братьев погибает или страдает от недостатка того, чего у вас слишком много, и что вам нужно категорическое и единодушное согласие человеческого рода, чтобы присвоить себе из общих средств существования то, что превышает вашу потребность» (83).

<sup>108</sup> Д. Локк. Избранные философские произведения в двух томах, т. II. М., 1960, стр. 19.

<sup>109</sup> Там же, стр. 28.

<sup>110</sup> Там же.

Конечно, очень слабой была ссылка Локка на то, что люди сами, якобы, «согласились на непропорциональное и неравное владение землей», сделав это «вне рамок общества и без какого-либо договора»<sup>111</sup>. Локк утверждал, что сначала предел такого участка был ограничен потребностями человека и его семьи, так как захватывать больше было бесполезно и бесчестно. Изменило положение вещей появление денег, сделавших возможным накопление, аккумуляцию избытка.

Как видим, Локк тщательно обходит в своих рассуждениях и аргументах самую опасную проблему — вопрос о происхождении этого избытка, о том, что позволяет сберегать, накапливать деньги и превращать их в капитал.

Руссо в явной полемике с ним на страницах «Рассуждения о неравенстве» нарушил этот заговор молчания и во всеуслышание назвал этот источник, заключающийся в труде другого человека. «Как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих, — писал он, — исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью; и обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета (on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons) (78).

О том, с какой яростью встретила общественная мысль, выражавшая мировоззрение состоятельных буржуа, выпад Руссо против «естественности» и «правомерности» ничем и никем не ограничиваемой частной собственности, лучше всего можно судить по заметкам Вольтера на полях присланного ему Руссо экземпляра «Рассуждения о неравенстве». «Как, — восклицал Вольтер, — тот, кто обработал, засеял и огородил [участок земли], не имеет права на плоды своих трудов? Как, этот человек, лишенный понятия о справедливости, этот вор [т. е. Руссо] хотел бы стать благодетелем рода человеческого? Вот философия нищего (d'un gueux), который желал бы, чтобы бедняки обокрали богатых»<sup>112</sup>.

Позже, в одном из своих диалогов, Вольтер вкладывает эти мысли в уста изображаемых им собеседников: «Эту нелепость, — говорит один из них, — написал, очевидно, какой-то вор с большой дороги, захотевший сострить». «Я подозреваю, — отвечает ему другой, — что это просто ленивый бездельник: вместо того, чтобы портить участок своего умного и трудолюбивого соседа, нужно было лишь ему подражать... Автор этого отрывка мне представляется необщественным животным»<sup>113</sup>.

Постижение Руссо связи между развитием производительных сил и формами собственности выражается далее в выводе о том, что «неизбежным след-

<sup>111</sup> Д. Локк. Избранные философские произведения..., т. II, стр. 31.

<sup>112</sup> G. R. Havens. Voltairs marginalia on the pages of Rousseau.— «Ohio State University Studies», 1933, 6, p. 15.

<sup>113</sup> Вольтер. Избр. произв. М., 1947, стр. 467 (перевод исправлен).



ствием обработки земли был ее раздел», который и «привел к возникновению нового вида права, а именно права собственности, отличного от права, которое вытекает из естественного закона» (80).

«Золото и серебро — на взгляд поэта, железо и хлеб — на взгляд философа — вот что цивилизовало людей и погубило человеческий род». Начало этого «великого переворота» (*une grande révolution*) Руссо видит в проявлении простейших орудий труда; возможность благодаря им увеличить количество добываемых продуктов приводит к появлению семьи, индивидуальных жилищ и «своего рода собственности». А это привело в свою очередь к общественному разделению труда. «Как только появилась нужда в том, чтобы одни люди плавил и ковали железо, необходимо было, чтобы другие люди их кормили» (80).

Весь ход мысли Руссо был теперь направлен против свойственного буржуазным взглядам стремления связать рост имущественного и общественного неравенства исключительно с различиями в способностях и силах людей, с трудолюбием и бережливостью одних и мотовством других. Философ-демократ категорически отвергает мысль о пропорциональности могущества и богатства мудрости или добродетели их обладателей, равно как их физической силе и духовным способностям. Иначе говоря, он решительно отвергает тезис о «естественном» происхождении «превосходства» одних людей над другими в современном ему обществе.

В то же время Руссо не отрицает известного значения неравенства сил и способностей человека. Он признает, что физически более сильный производил своим трудом больше, чем другие, самый искусный извлекал лучшие результаты из своей работы (80). Но отличие позиции автора «Рассуждения о неравенстве» от буржуазных его защитников в том, что они стремились доказать роль именно этих природных различий как единственного или во всяком случае главного источника современного социального неравенства; Руссо же утверждает, что если бы человек оставался в естественном состоянии, то эти различия не могли бы привести к резким контрастам в материальном положении отдельных индивидуумов. Различия эти приобрели большое значение только с переходом в общественное состояние, когда роль их была многократно усилена вследствие появления нового неравенства, порожденного самими людьми (*inégalité de combinaison*).

Здесь, например, слабость (как и беспечность), проявленная некоторыми людьми, когда начинался раздел земли, привела не к каким-либо временным лишениям, а к тому, что они вынуждены были идти работать на других людей, оказавшихся при этом разделе более сильными и более предусмотрительными.

Мысль Руссо идет путем, проложенным буржуазными идеологами антифеодалного лагеря, и в то же время обнаруживает усиливающееся между этими теоретиками и им расхождение в использовании достигнутых ими ре-

зультатов и выдвигает новую проблему противоречивости социального развития и новый подход к ней, с позиций трудового большинства нации.

Четыре вида различий видит Руссо между людьми в общественном состоянии: богатство, знатность или ранг, могущество и личные достоинства. Присоединяясь здесь в большей мере, чем по другим поводам, к «общей» точке зрения философии Просвещения, Руссо готов признать, что все они вырастают из последнего. Но тут же в его мышлении берет верх его особая позиция и он заявляет, что все эти виды различий «сводятся в конце концов к богатству», ибо с его помощью можно легко купить все остальное.

Равенство в обладании хотя бы первичными средствами существования воспринимается Руссо не только как естественное, «запрограммированное», так сказать, природой, но и как единственно разумный порядок вещей. Вот почему является абсурдом, «явно противоречит естественному закону... чтобы горстка людей утопала в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого» (98).

Выдвигая в современном ему обществе на первый план значение неравенства социального, экономического, Руссо склонен переносить это и на понимание прошлого, даже недооценивая роль насилия, «внеэкономического принуждения», которое было особенно сильно на начальных стадиях исторического развития, в то время как для Руссо первая эпоха в жизни людей была та, которая узаконила богатство и бедность, вторая — та, что принесла могущество и беззащитность, третья — где утверждались господство и порабощение (92).

Взлет материалистической мысли Руссо во втором «Рассуждении» с особой силой проявился в его гениальной догадке о социальных предпосылках возникновения государства.

Возникновение частной собственности вызвало среди людей ожесточенную борьбу.

Несправедливые захваты, чинимые богачами, разбойные нападения на их владения со стороны бедняков сделали людей скупыми и злыми. Право первой заимки столкнулось с правом более сильного. Таким образом, по мнению Руссо, не люди в естественном состоянии, как это полагал Гоббс, а нарождающееся общество было в состоянии самой страшной внутренней борьбы — и в описании ее мы видим характерные черты не феодального, а рождающегося буржуазного общества. В самом деле, в обществе феодальном, расчлененном на сословия, цехи, гильдии, т. е. на всевозможные замкнутые корпорации, в обществе мало динамичном, скорее даже застойном, сами противоречия как-то обобщены и надолго заторможены, ибо тут нет простора для сколько-нибудь широкого проявления «личного интереса», для подобной «атомизации», сдерживаемой, в частности, рамками этих членений.

Последствия этих переворотов оказались пагубными для всех членов общества, но главный ущерб разгоревшаяся между людьми «война всех против

всех» приносила богачам, ибо опасность для имуществ была односторонней и угрожала только им. Богач, зная, что его захваты основаны на шатком и в сущности ложном праве, и понимая, что все то, что он приобрел при помощи силы, может быть отнято у него тем же путем, оказался в отчаянном положении. Один против всех, так как вследствие взаимной зависти он не мог объединиться с равными ему против многочисленных врагов в лице массы менее состоятельных и неимущих, он и разработал «самый обдуманнейший из всех планов, которые когда-либо зарождались в человеческом уме». Состоял он в том, чтобы «обратить себе на пользу самые силы тех, кто на него напал, превратить своих противников в своих защитников, внушить им иные принципы и дать им иные установления, которые были бы для него настолько же благоприятны, сколь противоречило его интересам естественное право».

«Словом, — предложил богач, — давайте соединим наши силы в высшую власть, которая, правя нами согласно мудрым законам, будет защищать интересы всех членов ассоциации». Коварный план этот увенчался полным успехом; «все бросились прямо в оковы, веря, что этим они обеспечат себе свободу».

И далее Руссо делает вывод, подтверждающий неразрывное единство его представлений о росте социального неравенства и политического угнетения. «Таково было или должно было быть происхождение общества и законов, которые наложили новые пути на слабого и придали новые силы богатому, безвозвратно уничтожили свободу естественного состояния, навсегда установили закон собственности и неравенства, превратили ловкую узурпацию в незыблемое право и ради выгоды нескольких честолюбцев обрекли с той поры человеческий род на труд, рабство и нищету» (84).

Нельзя не согласиться с Ги Бесс, полагающим, что эта позиция Руссо показывает, «как далеко в историю уходит мысль основателей исторического материализма»<sup>114</sup>.

Таким образом в поступательном развитии неравенства первой ступенью было установление права собственности и закона, второй — установление магистратуры, третьей — превращение власти, основанной на законах, в неограниченную. Так «постепенно поднимает свою отвратительную голову деспотизм: пожирая все, что он увидит хорошего и здорового во всех частях государства, он начнет в конце концов попираť ногами и законы и народ и утвердится на развалинах Республики». Чудовище это поглотит все и у народов не будет больше ни правителей, ни законов, но одни только тираны. «Это — последний предел неравенства и крайняя точка, которая замыкает круг и смыкается с нашей отправною точкою. Здесь отдельные лица вновь становятся равными, ибо они суть ничто; а так как у подданных нет иного

<sup>114</sup> Guy Bessé. J.-J. Rousseau, la solitude et l'histoire. Les Cahiers du Centre d'études et de recherches marxistes. Paris, 1964, p. 11.

закона, кроме воли их господина, а у него — нет другого правила, кроме его страстей, то понятие о добре и принципы справедливости вновь исчезают; здесь все сводится к одному только закону более сильного и, следовательно, к новому естественному состоянию...» (95).

Ф. Энгельс высоко оценил это наблюдение Руссо, видя в нем постижение закона отрицания отрицания<sup>115</sup>, характерного для прогресса как процесса внутренне противоречивого, антагонистического.

Именно диалектический характер этого рассуждения и помогал Руссо сделать объективно революционный вывод, гласящий: как только люди оказываются в силах изгнать деспота, у него не может быть оснований жаловаться на насилие. «Восстание, которое приводит к убийству или к свержению с престола какого-нибудь султана, это акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает» (96).

Как и предвидел Руссо, у «Рассуждения о неравенстве» «во всей Европе нашлось очень мало читателей, понявших его, а среди них никого, кто захотел бы о нем говорить». Так как труд этот был написан для соискания премии, то он и послал его в Дижон, будучи, впрочем, при этом заранее уверен, что не получит премии, ибо знал, «что не за такого рода произведения академиями даются награды»<sup>116</sup>. Именно так и случилось, что не помешало сыграть этому сочинению Руссо огромную роль в развитии радикальной социальной критики XVIII и XIX вв.

Время создания «Рассуждения о неравенстве» отмечено для Руссо высоким взлетом его материалистической и диалектической мысли и представляет собой на наш взгляд вершину его творчества и в критике неравенства и угнетения социального и политического, и в определении новых, положительных форм его государственного и общественного идеала.

К 1753—1754 гг. относится также создание весьма важной программной статьи «О политической экономии»<sup>117</sup>, вероятно и сочинения «О богатствах», и начало работы над первым наброском «Общественного договора»<sup>118</sup>.

<sup>115</sup> См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 143—144.

<sup>116</sup> Руссо. Исповедь, стр. 339.

<sup>117</sup> Так как она была опубликована в V т. «Энциклопедии», вышедшем осенью 1755 г., то время ее написания определяется сравнительно точно.

<sup>118</sup> Оба эти произведения не увидели свет при жизни автора. Первое из них, изданное впервые в 1853 г., датируется, в частности, на основании некоторых косвенных данных (страница рукописи представляет собой обратную сторону конверта с адресом Руссо этого времени). Не включенное в III том собрания его сочинений в серии «Библиотека Пледды», произведение это, согласно любезному сообщению одного из редакторов — проф. Б. Ганьбена, войдет в V том издания, с комментариями этого известного специалиста. Что касается первого наброска «Общественного договора», то, относя начало работы над ним к 1753—1754 гг., исходят, например, из то-

Первым обнаружением положительных социальных и политических принципов, которым суждено было стать программой радикальной демократии XVIII в. в ее грядущих боях против феодально-абсолютистского строя, явилось опубликование в 1755 г. статьи Руссо «О политической экономии»<sup>119</sup>.

Содержание статьи, если исходить из строгого понимания предмета данной науки, лишь в весьма незначительной степени отвечает своему названию. Примыкая в сущности к традиционному пониманию «политической экономии» как экономической политики государства, Руссо здесь выдвинул программу демократического курса такой политики, определив при этом в общих чертах и тип, характер того устройства государства, которое гарантирует осуществление такого курса.

Развивая далее мысли «Рассуждения о неравенстве» о ненормальности социальных контрастов, Руссо провозглашает, что «самое большое зло уже свершилось, когда есть бедные, которых нужно защищать, и богатые, которых необходимо сдерживать». Поэтому в задачу правления, руководствующегося критериями естественности и разумности, входит «предупреждать чрезмерное неравенство состояний, не отнимая при этом богатств у их владельцев, но лишая всех остальных возможности накапливать богатства» (125), не воздвигая приютов для бедных, но предохраняя граждан от превращения в бедняков.

Так, на страницах широко популярной во всей Европе «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера Руссо поднял знамя эгалитаризма, знамя борьбы за равенство не только в правовом, но и в имущественном положении людей.

Статья «О политической экономии» имеет одну нелегко объяснимую особенность. Будучи скорее всего написанной позже «Рассуждения о неравенстве», она после содержавшегося в нем резкого осуждения частной собственности весьма неожиданно провозгласила, что соответствующее право это — «самое священное из прав граждан и даже более важное в некоторых отношениях, чем свобода» (128).

Думается, что объяснение этому надо искать в том, что, во-первых, Руссо делает теперь ударение на «праве», которого он не признавал ни за тем, кто совершил первую заимку — без согласия остальных людей, ни за тем, кто опирался впоследствии на так называемое право сильного. Во-вторых, если только общество может превратить захват в право, то, с другой стороны, только имущество дает надежное поручительство в выполнении гражданами их обязательств по общественному договору, т. е. в выполнении ими законов.

---

го, что его текст содержит ряд мест, включенных Руссо в статью «О политической экономии».

<sup>119</sup> Не случайно поэтому при издании ее отдельной брошюрой к названию издателем был добавлен подзаголовок «О гражданине», отвечавший широкому характеру рассматриваемых здесь проблем, удержанный и в русском переводе 1787 г.

Собственность — основание общественного договора, говорит Руссо, а по сравнению с «Рассуждением о неравенстве» он теперь находится под гораздо более сильным влиянием договорной концепции происхождения общества и государства.

Осуждение собственности, и в тоже время признание ее, представляет собой центральное противоречие в мировоззрении Руссо, налагающее свой отпечаток на всю систему его социальных взглядов и не преодоленное им до конца жизни <sup>120</sup>.

Следует учитывать, что в ту эпоху, когда речь шла о защите частной собственности, например крестьянина, — от опасности справа — от феодала, с его притязаниями на тяжелейшие повинности, от феодально-абсолютистского государства, облагавшего эту собственность произвольными налогами, — позиция Руссо имела свои важные, прогрессивные стороны.

В то же время надо иметь в виду, что Руссо не просто защищал частную собственность в духе буржуазных идеологов, но, как мы это сейчас увидим, связывал эту защиту с целым рядом оговорок в понимании природы, характера этой собственности и прав по отношению к ней общества и государства.

Совокупность, система мыслей Руссо о том, какой должна быть собственность, чтобы служить основой и гарантией подлинно демократического политического строя, — это не что иное, как манифест сложного, противоречивого мировоззрения народных масс, восстающих в эту эпоху, прежде всего, против пережитков феодальной собственности, феодальной эксплуатации, но враждебных и буржуазному пониманию собственности как праву на ничем и никем не ограниченное приращение ее в руках одного человека — и тем самым права на превращение ее в орудие угнетения имущим массы неимущих <sup>121</sup>.

<sup>120</sup> Отметим, что видимо даже в этом виде статья (вследствие своих эгалитаристских позиций) вызвала неудовольствие редакторов «Энциклопедии» и, вероятно, главного из них — Дидро. Только этим можно объяснить столь редкий в подобной практике случай, как помещенные вслед за статьей Руссо (опубликованной в V томе этого издания) в XI томе статьи Буланже на ту же тему («Oesolomie politique» — указанием на этот факт автор обязан Л. С. Гордону), но полностью лишенной критики социального неравенства. Примечательно и то, что написание статьи «Равенство» («Egalité») было поручено кавалеру Жокуру, известному умеренностью своих социально-политических взглядов, а Руссо больше не привлекался к сотрудничеству в «Энциклопедии».

<sup>121</sup> Портному социальная программа Руссо, не сведенная им воедино, была предвещением не «Манифеста равных», выражавшего коммунистические взгляды Бабефа и его единомышленников, а скорее манифеста «бешеных» — знаменитой речи Жака Ру в Конвенте 25 июня 1793 г., в которой он требовал не уничтожения частной собственности, а только установления предела «жадности скупщиков», т. е. энергичной борьбы против спекуляции.

Советской исторической науке, благодаря трудам академика В. П. Волгина, принадлежат наибольшие заслуги в исследовании эгалитаристского направления, во французской общественной мысли XVIII в. В многолетних исследованиях В. П. Волгина на обширном фактическом материале всесторонне, систематически рассмотрен ряд существеннейших аспектов этого явления<sup>122</sup>.

Однако последующее развитие науки показало, что сведение понятия об эгалитаризме к защите интересов мелкого буржуа чересчур узко<sup>123</sup>. Социальная база эгалитаристских идей шире и сложнее.

Мы полагаем, что это прежде всего связано с отмечаемой В. И. Лениным нерасчлененностью общества<sup>124</sup>, стоящего еще перед своей буржуазной революцией, когда вместе с мелкими собственниками — будущими санюлотами — иуды и предпролетарии города и деревни, плебейские массы.

Мы полностью солидарны с тем, что именно «способность слышать и воспринять невысказанные вслух, не выраженные словами самые глубокие и жизненные жалобы и требования народа позволили Руссо стать в большей мере, чем кому-либо другому, и в его общественной теории, и в его художественном творчестве, выразителем пробуждающегося, поднимающегося на борьбу народа»<sup>125</sup>, так как именно Руссо обладал даром выражать в яркой и нередко афористической форме эти не только невысказанные, но часто даже еще и не осознанные до конца мысли миллионов угнетенных и обездоленных<sup>126</sup>.

Руссо не прекращает пропаганду эгалитаризма, непрерывно углубляя ее. Так в «Общественном договоре» (1762) констатируя, что «законы всегда приносят пользу имущим и причиняют вред тем, у кого нет ничего», он делал вывод о том, что «общественное состояние выгодно для людей лишь поскольку они все чем-либо обладают и поскольку ни у кого из них нет ничего излишнего» (167).

В этой мысли Бабеф видел «эликсир», т. е. суть «Общественного договора»<sup>127</sup>. Как показывают публикуемые впервые в данном издании выписки

---

<sup>122</sup> В. П. Волгин. Уравнительные теории XVIII века.— В сб. статей: «Очерки по истории социализма». Изд. 4 дополн. М.—Л., 1935, стр. 181—213; его же: Социализм и эгалитаризм.— Там же, стр. 378—393; его же: Социальные и политические идеи во Франции перед революцией (1748—1789). М.—Л., 1940, стр. 32—46; его же: Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958, стр. 205—256.

<sup>123</sup> Этим, в частности, страдала остающаяся по сю пору единственной в нашей литературе работа Б. В. Бернадинера. «Социально-политическая философия Ж.-Ж. Руссо». Воронеж, 1940.

<sup>124</sup> См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 10, стр. 17.

<sup>125</sup> А. З. Манфред. Жан-Жак Руссо — провозвестник революции.— «Вопросы истории», 1964, № 1, стр. 109.

<sup>126</sup> Там же, стр. 113.

<sup>127</sup> См. В. М. Далин. Грахх Бабеф. М., 1963, стр. 432.

К. Маркса из этого трактата, он также обратил особое внимание на эту мысль Руссо, назвав ее «примечательной». «Вы хотите сообщить Государству прочность? — спрашивает далее Руссо в „Общественном договоре“.— Тогда сблизьте крайние ступени, насколько то возможно; не терпите ни богачей, ни нищих. Эти два состояния, по самой природе своей неотделимы одно от другого, равно губительны для общего блага: из одного выходят пособники тирании, а из другого — тираны. Между ними и идет торг свободой народною, одни ее покупают, другие — продают» (188).

Взаимосвязь эгалитаризма социальных воззрений и демократизма политического идеала осуществляется в мышлении Руссо при сохранении большого значения в нем тех особенностей рационализма XVIII в., совокупность которых Маркс определил как «политический рассудок»<sup>128</sup>, пример которого он видел, как известно, в умственном облике Робеспьера<sup>129</sup>. Ход мыслей «Неподкупного» в известной мере был подготовлен именно работами Руссо, видящего в сознательных действиях людей, в возможности использовать средства политики орудие борьбы стихийно, но отчетливо действующих закономерностей социального, экономического развития. «Именно поэтому, что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранять его» (190), — писал Руссо.

Заявив в «Эмиле» (1762), что «все полно безумия и противоречий в людских установлениях и учреждениях», он, имея в виду знаменитое сочинение Монтескье, в сущности игнорирующее связь политического строя с особенностями социального положения масс, осуждает то, что «всеобщий дух законов во всех странах выражается в постоянном покровительстве сильному против слабого, имущему против неимущего»<sup>130</sup>.

«Вы полагаетесь на существующий строй общества, — говорит он „сильным мира сего“, — не помышляя о том, что этот строй подвержен неизбежным революциям, и что вы не можете ни предвидеть, ни предупредить ту из них, которую смогут увидеть ваши дети. Вельможа делается ничтожным, богач — бедняком, монарх — подданным; разве удары судьбы столь редки, что вы можете рассчитывать избежать их? Мы приближаемся к состоянию кризиса и к веку революций. Кто может вам поручиться за то, чем вы тогда станете? Все то, что создано людьми, они могут и разрушить; неизгладимы лишь те черты, которые запечатлевает природа, а она не создает ни принцев, ни богачей, ни вельмож»<sup>131</sup>.

И совершенно новым для молодой демократической мысли был вывод Руссо, гласивший: «Тот, кто поедает в праздности то, что он сам не зарабо-

<sup>128</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 441.

<sup>129</sup> См. Е. З. Серебрянская. Об эволюции мировоззрения Робеспьера.— Сб. «Из истории якобинской диктатуры». Одесса, 1962, стр. 263—316.

<sup>130</sup> Руссо. Эмил, стр. 257.

<sup>131</sup> Там же, стр. 255—256. Перевод исправлен.



тал, — крадет это, и рантье, которому государство платит за то, что он ничего не делает, в моих глазах ничем не отличается от разбойника, живущего за счет прохожих». В обществе каждый человек должен своим трудом оплачивать свое содержание. «Труд, таким образом, является неизбежной обязанностью человека в общественном состоянии. Всякий праздный гражданин — богатый или бедный, могущественный или слабый — это дармоед»<sup>132</sup>.

Таким образом, в эгалитаризме выражены не только количественные расхождения с буржуазией в понимании природы собственности (а только это и передает понятие о мелкобуржуазности), но и существенные качественные различия.

Основой для понимания этого может служить данный Марксом в «Капитале» анализ сущности и истории взаимоотношений трех различных форм частной собственности: феодала, основанной на чужом труде, собственности мелкого производителя на средства и условия производства, зиждущейся на личном труде, и собственности буржуазной; первая и третья служат в отличие от второй средством присвоения чужого труда, условием эксплуатации. «Частная собственность, добытая трудом собственника, основанная, так сказать, на срастании отдельного независимого работника с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы»<sup>133</sup>, — писал Маркс.

В нашей литературе вопрос об особенностях единоличной трудовой собственности при феодализме наиболее подробно рассмотрен Б. Ф. Поршневым<sup>134</sup>, который подчеркивает, что сама по себе она не является даже зачатком буржуазной собственности и начинает перерождаться в таковую только тогда, когда в обществе складываются капиталистические производственные отношения. В то же время эта личная трудовая собственность, выражая противоположность интересов крестьян и ремесленников интересам феодалов, будучи, таким образом, антитезой феодальной земельной собственности, становится затем и «противоположной буржуазно-капиталистической собственности»<sup>135</sup>. Вот это последнее обстоятельство мы не учитывали, рассматривая трудовую собственность и ее защиту и идеализацию в эгалитаристских идеях исключительно как проявление мелкобуржуазности в социальных отношениях и в идеологической борьбе.

<sup>132</sup> Руссо. Эмиль, стр. 257. Выписки с этими мыслями Руссо в тетрадях Сен-Симона см. в статье Ж. Дотри «Чем Сен-Симон и Фурье обязаны Ж.-Ж. Руссо». — В сб. «История социалистических учений». М., 1964, стр. 199—208.

<sup>133</sup> К. Маркс. Капитал, т. 1, гл. XXIV. — Соч., т. 23, стр. 772; см. также письмо К. Маркса В. И. Засулич от 8 марта 1881 г. — Соч., т. 35, стр. 137.

<sup>134</sup> См. Б. Ф. Поршнев. Феодализм и народные массы. М., 1964, стр. 52—53.

<sup>135</sup> Там же, стр. 54. Речь идет о периоде кризиса феодальных отношений, предшествующем установлению господства капиталистических отношений.

Защитника личной трудовой собственности мы и видим в Руссо. Качественно его эгалитаризм отделяет его от мыслителей буржуазных тем, что Руссо рассматривает собственность как право, объем пользования которым должен регулироваться демократическим государством. В «Общественном договоре» он прослеживает, как «право суверенитета, распространяясь с подданных на занимаемые ими участки земли, становится одновременно вещным и личным» (166). Таким образом право, которое частное лицо имеет на свою землю, должно быть подчинено праву, которым обладает община на все земли, и отдельные владельцы будут поэтому рассматриваться только как «хранители общего достояния»<sup>136</sup>.

Это своеобразное опережение радикально-демократической мыслью действий буржуазных групп, которые победу народа над крупной феодальной собственностью используют в 1793—1794 гг. в эгоистических интересах, концентрируя в своих руках большие земельные площади, вызовет обострение классовой борьбы во французской деревне в дни якобинской диктатуры<sup>137</sup>.

Ибо ведь якобинская конституция 1793 г. (ст. 16) определяла право собственности как право каждого гражданина «пользоваться и располагать по своему усмотрению (*à son gré*) своим имуществом, своими доходами», а проект Робеспьера, выдержанный в духе «Общественного договора», был им оставлен при себе, без движения.

С наибольшей отчетливостью выражен эгалитаризм социальных взглядов Руссо в его «Проекте конституции для Корсики», где он писал: «...дело не в том, что нужно совершенно уничтожить собственность частных лиц, потому что это невозможно, но в том, чтобы заключить ее в более тесные пределы, дать ей меру, принципы, узду, которая бы ее сдерживала, направляла, ограничивала ее рост и которая бы держала ее всегда в подчинении по отношению к общественному достоянию» (*subordonnée au bien public*). Эта мысль весьма отчетливо выражает стремление подчинить собственность граждан «общему благу», всячески ограничивая для этого ее «частный» характер. Руссо говорит об этом еще более прямо, заявляя: «Я хочу, чтобы право собственности Государства было сколь возможно большим и сколь возможно незыблемым, а право собственности граждан сколь возможно малым и непрочным». Вот поэтому он, стремясь избежать того, «чтобы собственность заключалась в такого рода вещах, обладание которыми является безраздельным, как это имеет место, например, в отношении звонкой монеты и денежных зна-

<sup>136</sup> О том, что такого рода позиция еще не выходит за рамки демократического, но частнособственнического социального идеала, свидетельствует усвоение ее Робеспьером под влиянием уроков революционной борьбы в 1792—1793 гг.

<sup>137</sup> См. об этом Н. М. Лукин. Избр. соч., т. I. М., 1963, стр. 230—306 и Ж. Лефевр. Аграрное движение в эпоху террора М.—Л., 1936 (в особенности — документальное приложение на стр. 134—203).

Титульный лист немецкого перевода  
«Философских произведений» Руссо.  
Ревель, 1779

ков» (284), рекомендует свести до минимума торговлю, заменять уплату налогов исполнением трудовых повинностей в пользу государства и т. п. Таким образом Руссо именно в этом проекте с наибольшей силой защищает идею мелкой трудовой собственности, стремясь, предотвращая ее рост, предупредить тем самым усугубление неравенства, превращение этой собственности в орудие порабощения одного человека другим. Для этой цели он рекомендует так называемые аграрные законы, под которыми по римской традиции имелось в виду установление максимальных размеров земельного участка, которым может обладать один собственник.

В отличие от других сторонников эгалитаризма Руссо не верит только в одни меры уравнительного характера и отнюдь не смотрит только назад, в глубину патриархальных отношений. «Если лишь ввести налоги на предметы роскоши,— пишет он в том же проекте,— закрыть свои порты для торговли с заграницей, уничтожить мануфактуры, остановить обращение звонкой монеты, то этим мы только ввергнем народ в леность, нищету, уныние... Мы уничтожим силу богатства, не возрождая силу труда» (288).

Конечный вывод Руссо гласит: «Нужно, чтобы все имели средства к существованию и чтобы никто не обогащался: вот основной принцип процветания нации» (278).

Исходя уже из этих отличительных особенностей позиции Руссо, мы предложили<sup>138</sup> расчленить понятие об эгалитаризме, выделив в нем два направления.

<sup>138</sup> См. В. С. Алексеев-Попов. Об идее равенства в идеологической подготовке Великой французской революции.— Одесский университет. Юбилейная научная сессия, посвященная 100-летию О.Г.У. Общественные, исторические и юридические науки. Тезисы докладов (на укр. языке). Одесса, 1965, стр. 56—60.

Johann Jakob Rousseau's,  
Vürger zu Genf,  
**Philosophische Werke.**  
Erster Band.



Composé et imprimé par  
M. de la Harpe  
aus dem Französischen überfetzt.

Reval und Wefenberg,  
bey Albrecht und Compagnie. 1779.

Первое — дистрибутивный или распределительный эгалитаризм — ограничено требованием раздробления крупной (феодалной) земельной собственности между тружениками, но не выходит за пределы буржуазного понимания природы частной собственности. Представляют его авторы аграрно-уравнительных проектов (например, А. Гудар, по подсчетам которого каждый француз мог бы при осуществлении подобных преобразований получить 3—4 га земли)<sup>139</sup>.

Второе направление — эгалитаризм критический, главой его и является Руссо. Критическая его направленность проявляется, во-первых, в уже рассмотренных нами требованиях подчинения собственности и собственника народу-суверену, общей воле, и, во-вторых, в том, что мысль Руссо еще более определенно проявляет свою вторую, антибуржуазную сторону в критике избытка, богатства как орудия ограбления и угнетения неимущего труженика. К этому вопросу мы сейчас и перейдем.

Думается, что, оперируя введенным Ф. Энгельсом понятием о существовании с XVI в. «общей противоположности между богатыми тунеядцами и трудящимися бедняками», мы недостаточно конкретно определяем те особенности производственных отношений, которые вызывают эту противоположность к жизни в ходе зарождения и развития элементов капиталистического уклада. Здесь очень важно наблюдение Маркса над тем, что противоположность между отсутствием собственности и собственностью до тех пор не мыслится как противоречие, «пока ее не понимают как противоположность между трудом и капиталом»<sup>140</sup>. Только на этой стадии данная противоположность между неимущими и имущими приобретает энергичную, напряженную форму, побуждающую к разрешению заключенного в ней противоречия.

В связи с этим приобретает большое значение верная оценка роли формирующегося в XVIII в. предпролетариата.

В. Марков, признавая, что он еще не мог отчетливо выделиться из среды «санкюлотов», что его сознание выработалось в гораздо меньшей мере, чем мелкой буржуазии, в то же время отмечает большую его фактическую численность, чем это принято считать, поскольку столяр из Сент-Антуанского предместья и зависимый ткач из Лиона были лишь по названию «свободными» ремесленниками. Немногим отличалось и положение многочисленных исполщиков на селе.

И в связи с этим Марков подчеркивает, что «без этого источника (Reservoir) неимущих, живших продажей своей рабочей силы, мастера и лавочники оставались бы промежуточным слоем, не способным к действию»<sup>141</sup>.

<sup>139</sup> См. Л. С. Гордон. Некоторые итоги изучения запрещенной литературы эпохи Просвещения. — «Французский ежегодник», 1960. М., 1961, стр. 101—106.

<sup>140</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 585.

<sup>141</sup> W. Markov. Revolutionsregierung und Volksbewegung in Frankreich. 1793—1794. — «Wissenschaftliche Annalen», 1957, N 8, S. 509.

В XVIII в. переход этот уже происходил, и горячее сочувствие Руссо к тем, кто во всей своей жизни ощущал его тяжесть, позволило ему одному из первых отразить это явление. Мысль о противоречии интересов работодателей и рабочих уже изредка мелькает в анналах эпохи<sup>142</sup>. Так, например, парижские печатники писали в 1725 г. о кознях хозяев против подмастерьев, которые являются «орудием создания их богатств»<sup>143</sup>. Автор одного из памфлетов против предпринимателей заявлял в 1757 г., что не было еще угнетения столь отвратительного, что даже рабы в Алжире не испытывают более жестокого обращения<sup>144</sup>.

Из тех направлений, в которых движется мысль Руссо, постигая тенденции, объективно связанные уже с развитием элементов нового буржуазного уклада, мы остановимся на следующих: протест против ускорения накопления богатств в одних руках, констатация взаимосвязи богатства и бедности, разоблачение роли избытка как орудия обогащения за счет труда массы.

Первый из этих моментов был намечен Руссо еще в «Предисловии» к пьесе «Нарцисс» (1752—1753). В статье «О политической экономии» он закрепляет эту мысль, констатируя, что приобретать тем труднее, чем больше потребность в чем-либо и что «труднее заработать первый пистоль, чем второй миллион» (136).

Вторая особенность социального развития впервые закреплена им в дактируемом тоже примерно 1753 г. произведении «О богатствах», осуждаемых здесь в нравственном, моральном плане именно за то, что никто не может их приобрести, не делая беднее других людей. Поэтому-то план молодого человека — Хризософа, собирающегося ряд лет посвятить накоплению богатств с тем, чтобы затем помогать людям, Руссо сравнивает с действиями такого благотворителя, «который сначала обобрал бы всех своих соседей, чтобы затем иметь удовольствие подавать им милостыню» (410). В этом же сочинении Руссо инкриминирует лжеумудрецу, хвалителю богатства и хулителю бедности то, что он «взирает без жалости на несчастных бедняков, изнуряемых непрерывной работой и получающих за нее едва лишь кусок черствого черного хлеба, продлевающего их бедственное существование. Он не находит ничего странного в том, что доход распределяется обратно пропорционально труду, и в том, что жестокий и сладострастный бездельник

<sup>142</sup> В значительной степени мысль эта еще не выделилась тогда из сферы социальной психологии, не была зафиксирована в какой-либо литературной форме, тем более еще не имела тогда сколько-нибудь четкой концепции. В нашей литературе обратилась к изучению этой весьма важной задачи покойная С. А. Лотте, успевшая, однако, проделать лишь большую предварительную работу, частично оставшуюся неизданной; отсюда нами взяты приведенные ниже примеры.

<sup>143</sup> P. Chavef. *Compagnons imprimeurs et imprimeries clandestines à Paris sous la règne de Louis XV.* — «Revue d'histoire économique et sociale», t. XXVI, 1940, N 1.

<sup>144</sup> L. Morin. *Essai sur la police des compagnies imprimeurs sous l'ancien régime.* Lyon, 1898, p. 22.

жиреет на поте миллиона несчастных бедняков, истощенных тяжелым трудом и нуждой (que le profit soit en raison inverse du travail et que le riche se graisse de la sueur d'un million de misérables épuisés de fatigue et de besoin)

В сущности остается еще неясным то место статьи «О политической экономии», в котором Руссо говорит: «Резюмируем в нескольких словах сущность общественного договора людей двух состояний: „Вы во мне нуждаетесь, ибо я богат, а вы бедны; заключим же между собой соглашение: я позволю, чтобы вы имели честь служить у меня при условии, что вы отдадите мне то немногое, что у вас остается, за то, что я возьму на себя труд приказывать вам“» (137).

Может ли возникнуть сомнение в характере социального облика этих двух групп, или, как называет их по традиции Руссо, «состояний» (états)? Полагаем, что нет. Речь явно идет о производственных отношениях, представляющих собой буржуазный уклад, формирующийся внутри разлагающегося феодального общества. Во всяком случае в этом не сомневался Маркс, когда он, цитируя это место, в знаменитой XXIV главе I тома «Капитала», устанавливающей методы и этапы первоначального накопления, сопроводил содержащуюся в нем прямую речь следующим пояснительным замечанием: «говорит капиталист»<sup>145</sup>, а в содержании ее видит требование, предьявляемое будущим хозяином к понимаемым им на работу пролетаризированным мелким производителям — отдать ему их прялки и ткацкие станки, превращающиеся теперь в средства, обеспечивающие его «командование над прядильщиками и ткачами и высасывание из них неоплаченного труда»<sup>146</sup>.

Во всяком случае нам ясно, что звучащее в этой речи работодателя выражение — *de me servir* — получает теперь новый смысл и говорит не о личном услужении, а о работе по найму.

Рассмотрение данного направления социальной мысли Руссо приводит нас к проблеме связи общественно-политических позиций Просвещения с развитием экономических учений, с формированием начал политической экономии<sup>147</sup>.

Что касается Руссо, то изучение этой столь существенной стороны его воззрений намного уступает и по количеству и объему работ и по их уровню огромной литературе, посвященной его политическому учению<sup>148</sup>.

<sup>145</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 756.

<sup>146</sup> Там же.

<sup>147</sup> Первой работой, посвященной этому вопросу, является книга Faure - Soulet. *Economie politique et progrès au siècle des Lumières*. Paris, 1964.

<sup>148</sup> Ch. Bourthoumieux. *Essai sur le fondement philosophique des doctrines économiques*. Rousseau contre Quesnay. Paris, 1936; H. Schorer. *Sozialökonomische und Steuerpolitische Anschauungen von J.-J. Rousseau*. — «Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik», Festschrift für Alfred Amonn zum 70. Geburtstag Hrsg. von V. Wagner u. B. Marbach. Bern, 1953, S. 39—56; J. Soury. Rousseau — économiste. — «Revue d'histoire économique et sociale», 1965, N 12.

В чем выражались главные и общие особенности буржуазной экономической мысли данной эпохи? Как это убедительно показано Ж. Фор-Суле, такого рода центральное место здесь занимает вера в гармонию интересов в экономических отношениях как между отдельными членами общества, так и между ними и обществом в целом. Богатство немногих якобы «гармонически» дополняет бедность и даже нищету масс, служа для них источником заработка. Рост производства может и должен происходить путем свободного, не регулируемого государством обмена между индивидуумами.

Отбрасывая идеи меркантилизма, буржуазная мысль середины XVIII в. сводит роль денег к функции посредника в этом обмене, в процессе свободной конкуренции. Все течения этой мысли, включая дебютировавшую почти одновременно с Руссо школу физиократов, решительно выступают при этом за экономическое преимущество, превосходство крупной буржуазной собственности над обрекаемой таким образом на разрушение мелкой трудовой собственностью крестьянина и ремесленника.

Идея прогресса у буржуазных идеологов «связана с представлением о росте производства, а собственность рисуется им установлением, способным это обеспечить; ибо в действительности неравенство, которое она в себе содержит, усиливает личную заинтересованность и содействует накоплению капиталов»<sup>149</sup>.

Против этой иллюзии и направлено острое мысли Руссо, его критика ранних буржуазных отношений, как об этом свидетельствуют не только его всемирно известные завершённые произведения, но в значительной мере и литературно отделанные, подчас довольно пространственные наброски, фрагменты сочинений социально-экономического характера, перевод которых включен в данное издание. Сами по себе они не служили еще предметом специального изучения, образцы которого относятся к числу важных достижений советской текстологии. Не решен еще вопрос о датировке отдельных набросков и о внутренней связи между ними.

Столь авторитетный исследователь, как Р. Дератэ, не склонен усматривать связь<sup>150</sup> между фрагментами, публикуемыми под собирательным наименованием «О счастье общества» (*Du bonheur public*) и «О чести и о добродетели», и между этими двумя группами фрагментов и опубликованным ранее Воганом обширным наброском, именуемым «Роскошь, коммерция и ремесла»<sup>151</sup>. Нам же, исходя из особенностей содержания этих набросков, наличие такой связи представляется весьма вероятным. В частности, фрагменты первых двух групп явно объединяет проходящая через них одна общая мысль: возможно, перед нами подготовительные наброски к задуманному Руссо

<sup>149</sup> Faure-Soulet. *Economie politique...*, p. 210.

<sup>150</sup> См. J.-J. Rousseau. *Oeuvres complètes*, t. III, Paris, 1964, p. 1515.

<sup>151</sup> J.-J. Rousseau. *Political writings*, v. I, p. 344—349.

сочинению «О счастье народа», толчком к которому послужило обращение к нему в 1762 г. бернского Экономического общества.

В своем ответе Руссо говорил, что из предложенных его вниманию нескольких тем именно на подобной он остановился бы, если бы имел в виду такого рода работу<sup>152</sup>. Нам и представляется, что он раньше, чем оставить это намерение, успел зафиксировать свои мысли в ряде набросков.

Интересно, что в век, изобиловавший во Франции утопиями<sup>153</sup>, Руссо подходит в начале 60-х годов к проблеме счастья, одной из магистральных тем общественной мысли<sup>154</sup> в связи с усилением в это время влияния экономической мысли именно в таком плане.

Размышляя над вопросом о том, в чем именно заключается процветание народа и по каким признакам можно узнать, какой из них находился или находится в этом состоянии, Руссо категорически отказывается признать состоятельными с точки зрения интересов большинства народа критерии, выдвигавшиеся буржуазными экономистами, теоретиками меркантилизма, видевшими источник благоденствия нации в увеличении количества звонкой монеты, притекающей в страну вследствие усиленного развития в ней ремесел и внешней торговли. Развитие этих форм хозяйственной активности он готов в крайнем случае признать средствами, ведущими к благополучию, но не самой сущностью процветания (*essence de la prospérité*), ибо в глазах Руссо никак не может служить доказательством счастья народа то, что он состоит из работников и торговцев (*d'ouvriers et de marchands*) (436).

Объясняется это тем, что для Руссо решающее значение имеет не количество производимых товаров и не сумма дохода от их продажи, а характер распределения результатов всей экономической деятельности нации, причем он приближается к пониманию связи между неравным, несправедливым характером этого распределения и распределением собственности.

Думается, что самого пристального внимания заслуживает мысль Руссо о том, что именно излишек в руках богачей дает им возможность отнимать у бедняка необходимое (*c'est le superflu même des riches qui les met en état de dépouiller le pauvre de son nécessaire*), ибо в этом положении выражено более глубокое понимание связи богатства одиночек с бедностью массы, чем то, с которым мы встречались ранее.

Таким образом, в то время как буржуазная мысль видит в росте богатств результат неустанного трудолюбия и одаренности собственника (а Кальвин видел в этом признак того, что он и его деятельность угодны богу), Руссо

<sup>152</sup> См. J.-J. Rousseau. *Correspondance générale*, t. VII, p. 205.

<sup>153</sup> См. об этом подробную вводную статью В. Краусса к недавно изданной им весьма ценной антологии отрывков из такого рода сочинений (W. Krauss. *Die Reise nach Utopie*. Berlin, 1964).

<sup>154</sup> См. R. Mauzi. *L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIII siècle*. Paris, 1960.



один из первых<sup>155</sup> оценил этот путь как путь преступлений, которые данная организация общества не только позволяет совершать безнаказанно, но еще и всячески за них вознаграждает. Ибо «монополии торговца и лихоимство откупщика именуются полезными талантами и приносят тем, кто занимается этими делами, милость государя и уважение общества», в то время как бедняк, который, чтобы купить себе хлеба, возьмет экю у утопающего в золоте жетокосердного богача, ведут на виселицу (439).

Таким образом, не вследствие прилежания и талантов новых, буржуазных собственников и тем более не в силу «древнего происхождения» и заслуг в защите государства от внешних врагов старых, феодальных собственников, а за счет большинства народа и к ущербу для него (*au préjudice du public*) «богатство всей нации... образует избыток богатств в руках немногих и... сокровища миллионеров умножают нищету граждан. Ибо при таком неравенстве безмерном и противоестественном (*inégalité monstrueuse et forcée*) неизбежно получается так, что богачи, утопающие в радостях жизни, поглощают пропитание народа, а ему с трудом продают лишь черствый черный хлеб, по одной крошке за каплю его пота, и притом ценою его порабощения» (*et ne lui vend qu'à peine un pain sec et noir au poids de la sueur et au prix de la servitude*) (439).

Однако горькие наблюдения Руссо над парадоксами окружавшей его социальной действительности не увлекли, да и не могли увлечь его на путь, ведущий к задачам и приемам политической экономии. Для этого не было предположительно ни субъективного, ни объективного характера.

Да, он один из первых в истории демократической мысли его эпохи заклеил «противоположность между богатством, которое не трудится, и бедностью, которая трудится, чтобы жить»<sup>156</sup>, но это обвинение не легло в основу сочинений, относящихся к сфере политической экономии.

Нет, Руссо бессознательно отправлялся от этой группы наблюдений над абсурдностью, «обратной пропорциональностью» социальных отношений для того, чтобы, оставив более глубокий анализ производственных отношений другим мыслителям, самому отдаться критике «мира наыворот» в иных сферах человеческих взаимоотношений.

Мы имеем в виду тот несомненный факт, что именно Руссо принадлежит та огромная заслуга, что он первый заклеил порочность буржуазных отношений в тех их «производных» явлениях, которые порождают «отчуждение» человеческой личности от самой себя.

То огромное место, которое эта проблема заняла в истории критики капитализма и «самокритики» буржуазной интеллигенции, в наше время обусловило повышенный интерес на Западе к этому аспекту творчества Руссо как мыс-

<sup>155</sup> Он сделал это за несколько лет до Ленге, которого Маркс рассматривает как пример критики буржуазно-либерального взгляда на взаимоотношения рабочего и работодателя (см. К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, ч. I, стр. 322—328).

<sup>156</sup> К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, ч. I, стр. 284.

лителя и художника слова. При этом совершенно явственно определилось понимание самого этого явления вне всякой связи с конкретными особенностями буржуазного общества и стремление поставить Руссо у истоков такого рода трактовки<sup>157</sup>.

В то же время марксистская философия и история общественной мысли до недавнего времени уделяли проблеме отчуждения весьма мало внимания, и положение стало изменяться лишь в самые последние годы<sup>158</sup>. При этом вопрос о роли идеи «отчуждения» в мировоззрении Руссо систематически изучается только польским исследователем Б. Бачко<sup>159</sup>.

Роль этой идеи у Руссо может быть осознана и верно оценена только на основании того нового, что внес по сравнению с ним, Гегелем и Фейербахом в материалистическое раскрытие исторических, социальных, классовых корней этого явления Маркс в своих «Экономическо-философских рукописях» 1844 года.

Маркс писал по этому поводу, что в «Феноменологии духа» Гегеля заключалась «скрытая, еще неясная для самой себя» критика; поскольку она «фиксирует отчуждение человека, хотя человек выступает в ней только в виде духа, — постольку в ней заложены в скрытом виде все элементы критики, подготовленные и разработанные часто уже в форме, высоко поднимающейся над гегелевской точкой зрения»<sup>160</sup>.

Многое в этой оценке проливает свет на характер и значение идеи отчуждения у Руссо.

Субъективно в них стоят особняком его глубокие критические суждения о характере отношений туземцев-богачей и трудящихся на них бедняков и осуждение того «ненормального» положения человеческой личности, которое, как это показал Маркс, в действительности обусловлено именно уродливым характером труда при капитализме. Ибо в этих условиях «деятельность рабочего не есть его самодеятельность. Она принадлежит другому, она есть утрата рабочим самого себя»<sup>161</sup>. В процессе труда рабочий чувствует себя «оторванным от самого себя»<sup>162</sup>. Отчужденный труд отчуждает от человека его человеческую сущность<sup>163</sup>.

<sup>157</sup> Особенно отчетливо такого рода тенденция проявляется у авторов, склонных видеть в Руссо родоначальника современного экзистенциализма.

<sup>158</sup> См. Роже Гароди. Марксистский гуманизм. М., 1959, стр. 35—108; В. М. Ситников. Проблема «отчуждения» в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма. М., 1962; Т. И. Ойзерман. Проблема отчуждения и буржуазная легенда о марксизме. М., 1965; В. А. Кравченко. Проблема отчуждения и социальное развитие личности.— Автореферат кандидатской диссертации. Одесса, 1967.

<sup>159</sup> Им был опубликован на эту тему ряд статей, в том числе одна и на русском языке, в настоящее время обобщенных в ценной, хотя отчасти и спорной монографии (В. В а s z k o). Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa, 1964).

<sup>160</sup> К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Из ранних произведений, стр. 626.

<sup>161</sup> Там же, стр. 563.

<sup>162</sup> Там же.

<sup>163</sup> См., там же, стр. 567.

Маркс увидел именно в этом основу всех других, производных форм неравенства, угнетения, ущемления личности в буржуазном обществе, поскольку «...вся кабала человечества заключается в отношении рабочего к производству и все кабальные отношения суть лишь видоизменения и следствия этого отношения»<sup>164</sup>.

Руссо же по причинам и объективного и субъективного характера не смог связать два направления своей критики. Ибо, во-первых, он жил в эпоху, когда буржуазные отношения еще далеко не приобрели необходимые для этого преобладающее значение, степень распространенности. И, во-вторых, даже наблюдая в поведении личности черты, явно порожденные экономикой капитализма, он, отдавая дань идеализму, видел в этом проявление импульсов психологического характера.

Парадоксальность социального бытия и «мира, вывернутого наизнанку», как его назовет Фурье, Руссо воспринимал как антитезу человека в естественном состоянии и в уклонившемся от своей цели (общее благо) состоянии общественного, как антитезу «человека» и «гражданина».

Дикарь выше всего ценит покой, «гражданина» же терзают душевные муки, бурные страсти; бедняки обременены чрезмерными трудами, а богачи предаются еще более опасной неге, что заставляет одних умирать от нужды, а других от избытка.

В литературе о Руссо далеко не достаточно еще учтено воздействие на его творчество Монтеня, призывавшего взглянуть на людей, которым «свойственно вечно гореть и вмешиваться во все на свете», которые «суются во все, что им сулит хлопоты и обязанности, и не чувствуют, что живут, если не исполнены тревоги и возбуждения»<sup>165</sup>. Но если у Монтеня преобладает подход индивидуально-психологический, то у Руссо он становится социально-психологическим. Член гражданского общества в отличие от изображенного Монтенем индивидуума, который ищет себе занятий лишь для того, чтобы себя занять<sup>166</sup>, по словам Руссо, обречен на вечные хлопоты поисками источников существования. Ибо он «всегда деятельный, работающий в поте лица, беспрестанно терзает самого себя, стремясь найти занятия еще более многотрудные; он работает до самой смерти; он даже идет на смерть, чтобы иметь возможность жить... Он заискивает перед знатными, которых ненавидит, и перед богачами, которых презирает» (96—97).

Но антитеза этим не исчерпывается. Дикарь ценит покой и свободу, поскольку они приносят ему абсолютное наслаждение, не зависящее от мнения других дикарей. Высшие же ценности гражданина являются в его глазах таковыми, поскольку они обладают, определяя это термином нашей эпохи,—

<sup>164</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 570.

<sup>165</sup> М. Монтень. Опыты. Книга третья. М.—Л., 1960, стр. 282.

<sup>166</sup> См. там же.

«знаковой природой»<sup>167</sup>, т. е. представляют собой не натуральную, «потребительскую» ценность, а сугубо относительную, условную. «Я доказал бы, наконец,— говорит Руссо,— что если горсть людей могущественных и богатых находится на вершине величия и счастья, тогда как толпа пресмыкается в безвестности и нищете, то это происходит оттого, что первые ценят блага, которыми они пользуются, лишь постольку, поскольку другие этих благ лишены, и, оставаясь в том же положении, они перестали бы быть счастливыми, если бы народ перестал быть несчастным» (94).

Так, например, истинную причину погони людей за богатствами он видит в их тщеславии, в страсти отличиться, выделяться из массы, в ненасытном честолюбии.

Диктуемая эгоизмом, алчностью и честолюбием погоня за богатством обуславливает беспрестанные столкновения людских интересов. «Если скажут мне: общество так устроено, что каждому человеку выгодно служить другим, я отвечу, что это было бы очень хорошо, если бы ему не было еще более выгодно вредить им». Дело в том, что «вред, приносимый ближнему, всегда приносит больше дохода, чем услуги». Вопрос, следовательно, только в том, чтобы обеспечить себе безнаказанность: могущественные пускают для этого в ход силу, а слабые прибегают к хитрости.

В наиболее развращенном виде разоблачение борьбы частных интересов в окружающем обществе дано Руссо в обширном девятом примечании к «Рассуждению о неравенстве».

И далее предвосхищая общий ход наблюдений и рассуждений Фурье, заклеившего «мир навыворот»<sup>168</sup>, предвосхищая даже отдельные частности его критики, Руссо рисует картину общества, в котором каждый «видит свою выгоду в несчастье другого», где мы «извлекаем пользу из невзгод наших ближних и проигрыш одного почти всегда становится причиной благополучия другого».

Концепция «отчуждения» в значительной мере и рождена поисками ответа на вопрос о том, что порождает эту жестокую и слепую борьбу частных интересов.

Что же происходит в глубине души человека, вступившего в общественное состояние? Прежде всего Руссо клеймит рост потребностей и страстей, обуславливающих стремление человека «расширяться», поставить на службу своим запросам судьбу других людей, что ведет к быстрому росту «зависимости всех от всех». Человеку в обществе «нужно сначала позаботиться о

<sup>167</sup> Мысль эта была высказана Ю. М. Лотманом.

<sup>168</sup> Фурье писал, что «всякий трудящийся находится в состоянии войны с мас-сой и неблагожелателен к ней в силу личного интереса». (Ш. Фурье. Новый хозяйственный и социетарный мир.— Избр. соч., т. III. М., 1954). См. об этом В. С. Алексеев-Попов. Социальная критика у Ж.-Ж. Руссо и великие утописты.— В сб. «История социалистических учений». М., 1964, стр. 209—229.

том, что необходимо, потом об избытке. Затем приходят наслаждения, за ними огромные богатства, появляются подданные, затем рабы и нет у него ни минуты передышки». При этом, чем менее естественны и настоятельны потребности, тем более разгораются страсти.

Становясь рабом своих искусственных потребностей, человек теряет независимость и свободу в самых различных ее формах — свободу гражданскую, свободу личного суждения, мнения, ибо «как только приходится смотреть чужими глазами, так приходится и хотеть чужою волею»<sup>169</sup>.

Лежащий глубоко в социальных отношениях, источник этого взрыва протеста у Руссо против «искусственных» потребностей вскрыл Маркс в 1844 г., говоря, что «в рамках частной собственности... каждый человек старается пробудить в другом какую-нибудь *новую* потребность, чтобы... поставить его в новую зависимость»<sup>170</sup>. Вот почему каждый новый продукт представляет собой новую *возможность* взаимного обмана и взаимного ограбления.

Люди — жертвы искусственно созданных потребностей, — делает Маркс вывод, подтверждающий глубокую пронизательность Руссо в этом вопросе.

Наиболее отчетливым выражением идеи отчуждения у Руссо с присущими ей ударениями и оттенками является констатация им того факта, «что человек, привыкший жить в обществе, всегда живет как бы вне себя (*hors de lui même*), а в мнении других и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного своего существования» (97).

Формулировка эта приводит нас далее к важнейшему моменту в концепции отчуждения у Руссо, говорящему о двойственности, двуплановости жизни человека в современном ему обществе. Полная зависимость человека от мнения о нем других людей «лишает его устойчивой морали, все сводит к одной лишь видимости — все в людях становится притворным и наигранным, честь, дружба, даже добродетель».

В обществе, где каждый думает только о себе, один человек должен заинтересоваться в своей судьбе, в своем успехе другого, заставить его находить действительную или кажущуюся выгоду в том, чтобы действовать в его пользу. А это делает его «лукавым и изворотливым с одними, непреклонным и жестоким с другими и приводит его к необходимости обманывать всех тех, в ком он нуждается, если он не может их заставить себя бояться» (81).

Преодолевая присущий стилю мышления XVIII в. метод рассмотрения отдельных индивидов — и в социологии, и в политической экономии («робинзонады»), и в искусстве, — Руссо одним из первых раскрывает взаимосвязи личности с обществом, ставя деградацию первой в прямую зависимость от порочности организации второго, «Невозможная вещь, чтобы человек, расширяющий себя непрерывно на целое общество и занятый все время

<sup>169</sup> Ж.-Ж. Руссо. Эмиль. М., 1896, стр. 75.

<sup>170</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 599.

подделкой самого себя в отношениях с другими людьми, не начинал понемногу лгать и в отношениях с самим собой»<sup>171</sup>.

«Перемещение» личности человека из его «я» во внешний мир, превращение ее в наименее значительную часть нас самих, превращение его в игарище страстей, влекущих его к иллюзорным целям, как бы раздробляет эту личность, оставляя от нее одни осколки.

Глубоко прав Ю. М. Лотман, подчеркивая, что «проблема человека-дробь — одна из основных в системе Просвещения — очень существенна и для его частной руссоистской подсистемы», усиленно разрабатывающей антитезу «целостное — раздробленное»<sup>172</sup>.

Призыв Руссо сделать человека «целостным» мог быть услышан и претворен в жизнь только научным социализмом.

Уже на первой стадии развития, в своем грубом виде, коммунизм, по словам Маркса, «мыслит себя как реинтеграцию или возвращение человека к самому себе, как уничтожение человеческого самоотчуждения»<sup>173</sup>. Но приближается он к этой цели только на следующей, более высокой стадии, когда выступает как упразднение частной собственности — этого самоотчуждения человека — и в силу этого, как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека, а потому как полное «...возвращение человека к самому себе, как человеку *общественному*, т. е. *человечному*»<sup>174</sup>.

Мы знаем, что, осудив частную собственность в «Рассуждении о неравенстве», Руссо не удержался на этой высоте социальной критики. Поэтому он и не видел путей преодоления самоотчуждения человека, и разоблачение его полно и гнева, и горечи, и отчаяния, которому суждено было конец его жизни отравить сознанием трагического одиночества («Диалоги», «Прогулки одинокого мечтателя»).

Два мотива определяют этот особый трагизм. Первый — это мысль о человеке, «погруженном в противоречия с самим собой»<sup>175</sup>, и второй — образ человека «одинокое в толпе»<sup>176</sup>. А таким особенно остро чувствует себя, конечно, тот, кто, подобно Руссо, видит все «безумие людских установлений». Отсюда предрасположенность к уходу в самого себя, к самоизоляции, связанная с душевными заболеваниями зрелых лет, осложнявшаяся мучительными конфликтами с недавними друзьями — энциклопедистами, ставшими затем его врагами во главе с Вольтером, и преследованиями со стороны правящих групп Франции и Швейцарии, обречших его на скитания, полные оскорблений, угроз и преследований.

<sup>171</sup> J.-J. Rousseau. Mon portrait.— «Oeuvres complètes». t. I. Paris, 1959, p. 1121.

<sup>172</sup> См. сб. «Эпоха Просвещения», под ред. академика М. П. Алексеева. Л., 1967, стр. 213.

<sup>173</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 588.

<sup>174</sup> Там же.

<sup>175</sup> Ж.-Ж. Руссо. Эмиль, стр. 74.

<sup>176</sup> Ж.-Ж. Руссо. Новая Элоиза.— Избр. соч., т. II, стр. 274.

Широкая известность общих очертаний политического учения Руссо делает излишним сколько-нибудь подробный пересказ его основных положений, особенно в непосредственной близости к самим текстам соответствующих его сочинений.

Ограничимся поэтому, в дополнение к уже сказанному выше, рассмотрением главных, несущих конструкций этого учения и их социального содержания и направления.

Сын своего века, Руссо смотрел на общества одновременно и сквозь призму представлений о механических силах, и о целостности живого организма. Первым он в значительной мере уподоблял борьбу частных и общего интересов. Стоя на защите второго, он, как мы знаем, провозгласил выдержанное в духе новой, гражданственной и патриотической этики определение добродетели как «соответствия воли отдельного человека общей воле».

В обмене мыслями с Дидро и в его статье «Естественное право» Руссо нашел понятие об общей воле, которому суждено было занять центральное место в его политическом учении.

Дидро дал определение этого понятия нормативное, далеко не свободное от черт метафизичности, но в то же время отмеченное печатью демократической, гражданственной этики. Следует признать огромной заслугой Дидро то, что именно он, провозгласив общую волю, направленную на достижение общего блага, благодетельной, свободной от заблуждений, просвещающей человека относительно природы его мыслей и желаний, объявил ее основой новой антиэгоистической, гражданственной добродетели. Ибо добродетельным, великим, возвышенным будет только то, что задумано людьми в их общих интересах; упустить это из виду, значит дать поколебаться понятиям о добре и справедливости<sup>177</sup>.

В этих строках зерно общественно-политической философии автора «Общественного договора», и в этом отношении якобинцев следует признать учениками не только Руссо, но и Дидро.

Но дело в том, что, возвысившись до этого замечательного, по сути революционного определения, Дидро проявил свойственную ему крайнюю умеренность тактики.

Отвечая на вопрос о том, где же хранилище общей воли, он указал не только на принципы писаного права всех народов, что было явно ошибочно, но заявил, с явной оглядкой на правителей, что силу и непогрешимость этой общей воли якобы соединяет, воплощает в себе частная воля смертных венецосцев<sup>178</sup>, т. е., практически, Дидро обесценил выдвинутую им смелую идею, пытаясь приспособить ее к концепции «просвещенного абсолютизма».

<sup>177</sup> Д и д р о. Соч., т. VII. М., 1947, стр. 259.

<sup>178</sup> Там же, стр. 260.

Руссо подхватил идею Дидро об общей воле и, освободив ее от этих оговорок, поднял высоко над головами народов, стонавших от бесправия, от гнета венецианцев.

Уже в статье «О политической экономии» Руссо, вступив в горячую полемику с Дидро, заявил, что правители не только «от природы» не заинтересованы в счастье частных лиц, но, напротив, часто даже ищут свою выгоду в их бедах.

В то же время Руссо присоединился к пониманию Дидро общей воли как источника законов, как меры справедливости, видя в ней главный принцип правления, основанного на законах или народного, т. е. такого, которое имеет своей целью благо народа и состоит в том, чтобы следовать общей воле.

Теперь Руссо, в отличие от наиболее последовательных буржуазных радикалов, которые отстаивали требование всеобщего избирательного права, оставляя в стороне социальное неравенство, отнюдь не отождествляет понятие об общей воле с результатами голосования при сохранении этого неравенства (позже он назовет это «волей всех»). Несовпадение этих понятий объясняется тем, что «всякое политическое общество состоит из меньших обществ различного рода, из которых каждое имеет свои интересы и свои „правила“». Кроме того, что существуют такого рода «частные ассоциации», оформленные и признанные государством, «все частные лица, которых объединяет тот или иной частный интерес, образуют такое же число постоянных или недолговечных сообществ».

Главную цель демократического государства Руссо и видит в том, чтобы разъяснить каждому гражданину, что при решении того или иного вопроса он должен видеть свой наибольший личный интерес в том, что нужно и полезно для большинства.

Так рождается новое, пронизанное гражданской, патриотической этикой определение добродетели как «соответствия воли отдельного человека общей воле», т. е. объективному интересу большинства.

Понятие о патриотизме приобретает социальное и демократическое содержание. Закрепляя сказанное в «Рассуждении о неравенстве», Руссо в статье «О политической экономии» обвиняет существующую организацию общества в том, что она блюдет только интересы имущих, «весьма усердно защищает огромные владения богача и едва позволяет несчастному бедняку пользоваться хижиной, которую он построил своими руками. «Все выгоды общества, — спрашивает Руссо тех, кто прославлял блага общественного состояния, — разве они не для могущественных и богатых?». Ведь что касается бедняка, то «чем больше обязано ему человечество, тем в большем отказывает ему общество» (136).

Как же может испытывать привязанность к своей родине угнетаемая масса, для которой вообще выход из естественного состояния, где она имела хо-





ŒUVRES  
COMPLETTES  
DE J. J. ROUSSEAU,  
CITOYEN DE GENÈVE  
NOUVELLE ÉDITION,  
TOME PREMIER.

A PARIS,

chez  
 { BELIN, Libraire, rue St. Jacques, n°. 56.  
 GAILLE, rue de la Harpe, n°. 136.  
 GEORGIN, rue du Coq St. Honoré.  
 VOLLAND, quai des Augustins, n°. 25.

1793.

*Фронтиспис и титульный лист собрания сочинений Руссо. Париж. 1793.*

тя бы право самообороны, принес одни бедствия? Ведь слово отечество может иметь для нее только отвратительный или смешной смысл. «Пусть же родина покажет себя общей матерью граждан; пусть выгоды, коими пользуются они в своей отчизне, сделают ее для них дорогою».

Внося демократическое, социальное начало в понятие о патриотизме, Руссо в то же время являлся врагом грабительских, кровавых войн, поборником мира и превращения народов в единую, дружную семью, члены которой сбросили с себя всяческий гнет. Именно это новое содержание он внес в древнюю мечту человечества о вечном мире, как это показывает публикуемое выше его суждение о сочинении на эту тему аббата Сен-Пьера.

Нам близка и глубоко созвучна та высокая оценка, которую дает Руссо идее вечного мира, видя в ней мысль наиболее достойную подлинного гуманиста.

С каждым годом сознательнее и сознательнее выступая в качестве защитника прав бедняка, Руссо видит самое трудное в правлении — это умение защитить бедняка от тирании богача, ведь без этого не может действовать сколько-нибудь эффективно система политической демократии, ибо «только в отношении людей со средним достатком законы действуют со всей своей силой: они в равной мере бессильны и против сокровищ богача и против нищеты бедняка: первый их обходит, второй — от них ускользает; один рвет паутину, а другой — сквозь нее проходит» (124—125).

Утверждая: «Родина не может существовать без свободы, свобода без добродетели, добродетель без граждан» (125), Руссо, оставаясь еще под определенным влиянием просветительской концепции эволюции и особенностей «политического рассудка», в этой статье придает чуть ли не решающее значение в достижении общего благополучия именно воспитанию граждан в соответствующем духе силами «народного» правления.

Под общей волей Руссо понимал объективный интерес подавляющего большинства народа. Такого рода постановка вопроса была мыслима в условиях классовой «нерасчлененности» общества перед буржуазной революцией вследствие отсутствия глубокой социальной дифференциации на отдельные четко очерченные классы, вследствие близости миллионов мелких собственников-тружеников к еще большей массе тружеников — мелких собственников (крестьянство, ремесленники).

Но идея эта была не только мыслима, она была необходима как мировоззренческое, теоретическое, а затем программно-политическое выражение единства всех названных сил и низших слоев буржуазии в борьбе против общих противников, из которых врагом № 1 являлся феодально-абсолютистский строй, врагом № 2 — крупная либеральная, конституционно-монархическая буржуазия — противник ограничения свободы накопления, «избытка», свободы приращения собственности.

Демократизм политической теории Руссо обычно ассоциируется у нас с учением о народном суверенитете, душой и движущей силой этой теории является именно концепция общей воли и борьба за ее всевластие средствами и силами народа — суверена.

Пусть даже будут правы современные критики того метода, при помощи которого Руссо конструировал это понятие и связывал его с остальными элементами своей теории. Пусть будет, например, прав С. Гоффман, утверждающий, что «общая воля» у Руссо зиждется на нескольких постулатах, взятых а priori. Фактически для этого критика важно не это, а то, что в его глазах определяет «фиктивность»<sup>179</sup> самого понятия, т. е. невозможность близости

<sup>179</sup> S. Hoffmann, Du «Contrat social», ou le mirage de la volonté générale. — «Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle», nouvelle serie. Paris, 1954, N 16, p. 306.

единства интересов большинства в главном, в решающем, делающая якобы всю политическую теорию Руссо бесплодной, иллюзорной, ничем не могущей облегчить борьбу людей.

В «Общественном договоре» Руссо так определяет задачу, которую он ставит перед собой: «Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всюю общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде» (160).

Эту-то проблему и разрешает общественный договор. Статьи его, если их верно понимать, сводятся к одной единственной: «Полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины», ибо только при этом условии все оказываются в равном положении.

Демократическую трактовку Руссо далеко не новой в его время<sup>180</sup> идеи общественного договора выделяет примат общего над частным: «Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого» (161).

Акт ассоциации создает условное коллективное целое, *personne morale*, состоящее из столькох членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это и есть Политический организм, и вместе с тем суверен.

«...Одна только общая воля может управлять силами государства в соответствии с целью его установления, каковая есть общее благо,— провозглашает Руссо.— Ибо, если противоположность частных интересов сделала необходимым установление обществ, то именно согласие этих интересов сделало сие возможным. Общественную связь образует как раз то, что есть общего в этих различных интересах, и не будь такого пункта, в котором согласны все интересы, никакое общество не могло бы существовать. Итак, обществом должно править, руководясь единственно этим общим интересом» (167—168).

Суверенитет народа — это есть осуществление общей воли, которая всегда стремится к равенству, в то время как частная воля отдельного человека стремится к преимуществам. Суверенитет неделим, неотчуждаем, непредставляем.

Общая воля всегда определена и всегда направлена к пользе общества.

Весьма существенно различие, проводимое Руссо между общей волей и волей всех. Первая блюдет только общие интересы граждан, вторая — интересы частные и представляет собой не что иное, как сумму изъявления воли частных лиц (170).

Гегель видел в этом различие между общим и истинно всеобщим и находил, что оно «прекрасно выражено в знаменитом *Contrat social* Руссо: там

---

<sup>180</sup> См. капитальное исследование R. Derathé. *Rousseau et la science politique de son temps*. Paris, 1950.

говорится, что законы государства непременно должны иметь своим источником всеобщую волю (*volonté générale*), но они вовсе не обязательно должны быть потому волей всех (*volonté de tous*)»<sup>181</sup>, под которой следует понимать результаты голосования в условиях имущественного неравенства граждан, среди которых «в ущерб основной ассоциации образуются те или иные фракции и частичные ассоциации».

Руссо не разъяснил, что именно он понимал под этими частичными или частными ассоциациями. Мы вправе предположить, что, с одной стороны, он мог иметь в виду пережитки различного рода феодальных корпораций (цехи, гильдии и т. п.), а с другой — деятельность тесно сплоченных групп представителей новой «аристократии богатств», т. е. буржуазии.

Как решает Руссо вопрос о путях установления господства демократии, общей воли?

Сделав, еще в 1756 г., вывод о том, что «полезное для всего общества почти никогда не осуществляется иначе, как силой, ибо частные интересы почти всегда этому противятся» (150), Руссо не забыл его и доказал это ходом своей мысли в «Общественном договоре», где читатель приходит к пониманию того, что путем перехода от господства знатных и богатых к государству «общей воли», «общего блага» («общественного спасения») может быть только система фактического всевластия народа, осуществляемого при помощи насилия, в форме демократической диктатуры. Здесь читаем: «Пока народ принужден повиноваться и повинует, он поступает хорошо; но если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его, то он поступает еще лучше».

И все же, несмотря на определенность этих выводов, Руссо никогда не мог преодолеть двойственности своего отношения к революции. С одной стороны, с каждым новым годом своей жизни и с каждым новым шагом в развитии своего творчества он все более и более отчетливо видел ее неизбежность, более того, ощущал ее приближение, и объективно своими социально-политическими сочинениями активно готовил умы к этой революции. С другой стороны, его страшила перспектива насильственной ломки старых порядков, последствия которой, как ему позже казалось, могут оказаться лекарством, что горше самой болезни.

Граждане «всегда хотят собственного блага, но не всегда его ясно видят. Подкупить народ нельзя, но его можно обмануть». «Исправьте мнения людей и нравы их сами собой сделаются чище», — читаем мы в четвертой книге «Общественного договора». Если гражданин в своем суждении, заблуждаясь, готов поддерживать решение, идущее во вред общему делу, то его

---

<sup>181</sup> Гегель. Энциклопедия философских наук. Часть первая. Логика. М.—Л., 1930, стр. 269.

вправе удерживать от этого шага. Это значит, что его заставят быть свободным».

Имея в виду этот ход мысли Руссо, Д. Берти весьма удачно для условий XVIII в. назвал такую идею мыслью о «воспитательной диктатуре»<sup>182</sup>.

Главу IV четвертой книги «Общественного договора» — «О диктатуре» — Руссо посвящает рассмотрению особых условий, переживаемых государством во время кризиса, когда возникают случаи, не предвиденные законодателем, и обстоятельства требуют экстренных решений, а существующие законы не могут примениться к событиям. Но закон есть выражение общей воли, в подобных же случаях она очевидна, поскольку «первое желание народа состоит в том, чтобы государство не погибло», т. е. речь идет о спасении отечества.

На основании опыта древнего Рима Руссо полагает, что в такого рода исключительных обстоятельствах опасность может быть устранена двумя способами: либо управление сосредоточивают в руках одного или двух членов правительства, не расширяя его компетенцию в целом; если этого недостаточно, то «назначают высшего правителя, который заставляет умолкнуть все законы и на некоторое время прекращает действие верховной власти. Магистрат, заставляющий ее умолкнуть, не может заставить ее говорить. Он может творить все, исключая законы». Прообраз второго пути Руссо видит в назначении в Риме диктатора в час чрезвычайной внутренней или внешней опасности для государства.

В литературе о Руссо рассматривают проблему диктатуры обычно только в рамках непосредственно посвященной ей главы «Общественного договора». Это, однако, несправедливо. Ибо, во-первых, когда Руссо выдвинул в статье «О политической экономии», еще в 1755 г., положение о примате в идеальном государстве общего интереса по отношению к интересам частным, сформулировав понятие о добродетели в духе гражданственном и патриотическом, определив ее как подчинение интересов личности интересам общества, он этим уже пролагал путь, приведший его впоследствии к признанию необходимости и правоспособности диктатуры. Вторым важнейшим этапом на этом пути был вывод в «Суждении о вечном мире» о том, что все полезное для всего общества (public) почти всегда осуществляется только при помощи силы, единственно способной сломить сопротивление эгоистических «своекорыстных» частных интересов.

Поэтому Е. Н. Петров с полным основанием утверждал, что «идея диктатуры была присуща демократической теории Руссо», что в «Общественном договоре» было дано «сочетание идей демократии и диктатуры: диктатура

---

<sup>182</sup> Д. Берти. Демократы и социалисты в Италии в период Рисорджименто, М., 1965, стр. 282.

может быть необходима для спасения демократии и служить для ее укрепления»<sup>183</sup>.

Хотя Робеспьер в своей знаменитой речи «О принципах революционных методов управления»<sup>184</sup> 25 декабря 1793 г. и говорил, что «теория революционных методов управления столь же нова, как и революция, породившая ее», что «ее нечего искать в трудах политических писателей, не предвидевших эту революцию», но совершенно несомненно, что вся система аргументации в пользу необходимости и главное правомерности революционных методов управления, зиждящихся «на самом священном из всех законов — на благе народа, на самых неопровержимых правах, на необходимости», сложилась в школе демократической, гражданской и патриотической этики Руссо и непосредственно восходит к построению и выводам главы «О диктатуре» из четвертой книги «Общественного договора»<sup>185</sup>.

Велика, следовательно, заслуга Руссо, вся школа мысли которого воспитывала в поколениях будущих бойцов революции «мужество противозаконности». Но не менее велика проницательность автора «Общественного договора», предупреждавшего об обоюдоостром характере грозного оружия диктатуры, вследствие чего «никогда не следует приостанавливать священную силу законов, если дело не идет о спасении отечества». При этом Руссо настаивал на том, чтобы продолжительность периода диктатуры была ограничена весьма кратким сроком, который ни в коем случае не может быть продлен, «и, раз настоящая необходимость миновала, диктатура делается тиранической или бесполезной» (245).

Этот вывод предвосхищал положение дел во Франции летом 1794 г., когда, как писал Энгельс, вследствие победы войск Республики при Флерюсе 24 июня 1794 г., террор стал не пуген и сохранялся Робеспьером только в качестве средства «удержать власть в своих руках»<sup>186</sup>.

<sup>183</sup> Е. Н. Петров. Политические идеи Руссо и французская революция 1789—1794 гг.—«Ученые записки ЛГУ», т. 52. Серия историч. наук. Вып. 6. 1940, стр. 82.

<sup>184</sup> См. М. Робеспьер. Избр. произв., т. III. М., 1965, стр. 90—98. Принятый перевод понятия *gouvernement révolutionnaire* в названии этой речи и в ряде ее мест как «революционное правительство» нам представляется ошибочным. Робеспьер противопоставляет революционный метод управления, т. е. революционную диктатуру конституционному методу управления. Существование двух значений термина *gouvernement* в политической лексике якобинцев, как и у Руссо, не учитывается нашими переводчиками.

<sup>185</sup> Более подробно основные линии восприятия и развития идейного наследия Руссо в период Великой французской революции были показаны в докладах В. М. Далина и автора этих строк на конференции в Одесском гос. университете, посвященной 250-летию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо (см. В. М. Далин и Грах Бабеф. М., 1963 по указателю имен, и «Тезисы докладов» этой конференции. Одесса, 1962, стр. 14—28).

<sup>186</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. письма, 1953, стр. 413.

Но никоим образом не следует «спрямлять» мысль Руссо о диктатуре и освобождать ее от свойственных ему противоречий.

Поставив в центр своих размышлений проблему взаимоотношений личности и общества, подданного и государства, человека и гражданина, Руссо не мог в то же время в своем понимании диктатуры естественно возвыситься до всех тех выводов, которые были извлечены из наследия его мысли участниками революции на основании уроков ее опыта. Прийдя к пониманию неизбежности в исключительных обстоятельствах насилия в виде диктатуры во имя общественного блага, Руссо не в состоянии был признать необходимость такого рода проявления этого насилия, как революционный террор.

По сути эту проблему он рассматривал более подробно только в 1753 г. в статье «О политической экономии», где он, исходя из нерасторжимого единства государства, как живого организма, с каждым его членом, считал невозможным согласие общей воли на то, «чтобы один член Государства... ранил или уничтожил другого, за исключением того случая, когда такой человек в здравом уме тычет пальцами ему прямо в глаза» (122). Здесь Руссо-гуманист, враг всякой деспотии и произвола отстаивает тезис о связи безопасности частных лиц с самим существованием общественной конфедерации, общественного состояния, которые фактически распадутся, если в государстве «погиб один-единственный гражданин, которого можно было спасти», «если несправедливо содержали в тюрьме хотя бы одного гражданина, или если был проигран хоть один судебный процесс вследствие явного неправосудия» (123).

«Разве благо одного гражданина — это в меньшей степени общее дело, чем благоденствие всего Государства? — вопрошал Руссо. — Если нам скажут, что справедливо, чтобы один погиб ради всех, я восхищусь таким изречением в устах достойного и добродетельного патриота, который обрекает себя на смерть добровольно и подчиняясь долгу ради спасения своей страны. Но если под этим понимают, что Правительству дозволено принести в жертву невинного ради безопасности многих, то я нахожу, что этот принцип — один из самых отвратительных, какие когда-либо изобретала тирания, самый ложный из всех, какие можно выдвинуть... наиболее открыто противоречащий основным законам общества».

В статье «О политической экономии» Руссо писал: «Мысленно отторгните от народа одного индивидуума за другим, а затем заставьте сторонников этого принципа лучше объяснить, что они понимают под Организмом Государства, и вы увидите, что, в конце концов, они сведут Государство к небольшому числу людей, которые не суть народ, но служители народа, и которые, обязавшись особою клятвою погибнуть самим ради его безопасности, нытаются этим доказать, что он должен погибнуть во имя их безопасности» (123). И в этом противоборстве двух мыслей, двух аспектов понимания Руссо свободы — одно из величайших проявлений диалектичности его мировоззрения.

Он борется за суверенитет народа, за решающую роль общей воли, интересов большинства в организации, во всей жизни общества, и несмотря на все свои колебания он возвышается до понимания неизбежности революции и демократической диктатуры. И в то же время Руссо мудрый защитник прав личности, ее своеобразного суверенитета от возможного произвола со стороны диктатуры, теряющей свой демократический характер.

Найти выход из этого противоречия Руссо не мог. В период высшего подъема Великой французской революции, в дни наиболее тесного единения якобинцев с народом они видели этот выход и смело шли по этому пути. «Революционное правление — это деспотизм свободы против тирании», — говорил Робеспьер. «Нет свободы для врагов свободы», — так сформулировал этот принцип Сен-Жюст.

Таковы ведущие идеи социальных и политических сочинений Жан-Жака Руссо, имеющие ключевое значение во всей системе его мировоззрения.

Руссо не ушел от нас. Его мысль, не стареющая благодаря своей диалектической хватке и материалистическим прозрениям, сопровождала и сопровождает повсюду борцов за свободу народов, за свободу и счастье человека.



# РУССО

## И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

### XVIII — начала XIX века

Среди зарубежных мыслителей и писателей, чье творчество особенно глубоко повлияло на развитие русской литературы и общественной мысли, всей русской культуры, имя Жан-Жака Руссо должно быть названо в первую очередь. Действительно, трудно назвать иностранного писателя, влияние которого на русского читателя было бы таким глубоким и таким длительным. Можно с полным основанием утверждать, что интерес к Руссо в России возник еще до того, как его имя приобрело во Франции громкую популярность, и оставался живым и активным в годы, когда на Западе творчество его привлекало уже главным образом историков литературы и общественной мысли. В середине XVIII в. Сумароков жаловался на популярность сочинений Руссо среди русской молодежи: «Они в беседах только во время ветра бывают, а в тихое время читают они книгу Жака Руссо [...] об алмазном веке, в котором люди крайним невежеством украшались»<sup>1</sup>.

А в 1901 г. Л. Толстой назвал Руссо в числе своих ближайших литературных предшественников. «Прежде всего я обязан двоим — Руссо и Стендалю. Руссо не отдавали должного; не ценили благородства его мыслей, порицали его на все лады. Я прочел всего Руссо, да, все двадцать томов, включая „Музыкальный словарь“. Я не только восхищался им; я боготворил его:

---

<sup>1</sup> А. П. Сумароков. Полн. собр. всех соч., т. X. Изд. 2. М., 1787, стр. 128.

в пятнадцать лет я носил на груди медальон с его портретом как образок. Многое из написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам»<sup>2</sup>.

Имя Руссо влетает в творческую биографию Радищева и Карамзина, Пушкина и Герцена, Достоевского и Толстого. И это не одно из многих имен в длинном перечне литературных увлечений. Имя Руссо возникает всякий раз, когда заходит речь о коренных вопросах мировоззрения: о проблеме народа и народности, об отношении к правам человека, природе его личности и природе общества, об историческом прогрессе, о значении цивилизации и науки, о плебейской ненависти к угнетению и о высоком представлении о достоинстве человека. Наследие Руссо органически связано с историей русского общественного сознания, и глубоко прав был А. И. Герцен, писавший в 1865 г.: «Мы так же пережили Руссо и Робеспьера, как французы»<sup>3</sup>. При изучении международных связей русской литературы проблема «Руссо и Россия» — одна из центральных. Она неожиданно проступает как подоснова таких проблем, как «Шиллер и русская литература», «Байрон и русская литература», и часто исследователь с изумлением убеждается, что именно те черты того или иного мыслителя Запада, которые были навеяны Руссо, связаны с руссоистской традицией плебейской демократической культуры, оказывались особенно близкими и понятными русскому передовому читателю, а его-то мы и имеем, естественно, в виду.

Глубина и длительность влияния идей Руссо на деятелей русской культуры не были случайностью. Страна, основную часть населения которой составляло крестьянство, поработенное феодальным гнетом, вырабатывала в своих недрах в качестве передовой теории идеи боевого антифеодального демократизма. Антитеза существующего несправедливого общества и прекрасного естественного порядка, свободы человека и рабства подданного, отвращение от культурного прогресса, промышленного развития, разделения труда, как неизбежных спутников угнетения, гневное осуждение сословных предрассудков и сословной культуры, внимание к человеческой личности — все эти идеи были близки демократической культуре государства, в котором борьба с крепостным правом и его порождениями оставалась самой живой, актуальной задачей в течение длительного времени. Именно плебейский эгалитаризм был наиболее близок настроениям русской демократии в крепостническую эпоху, поскольку, с одной стороны, она боролась за равенство против всех форм угнетения, а с другой — не могла быть противницей частной собственности уже потому, что основным пунктом ее программы было наделение крестьян землей и уничтожение нетрудовой собственности помещиков во

<sup>2</sup> «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., Гослитиздат, 1960, стр. 154.

<sup>3</sup> А. И. Герцен. Собр. соч., в тридцати томах, т. XVII. М., 1959, стр. 322.

Титульный лист русского перевода  
первого «Рассуждения»  
Ж.-Ж. Руссо. 1768

имя защиты трудовой собственности. И именно потому, что основной социальный конфликт русской жизни длительное время носил характер борьбы народных масс и феодально-помещичьего государства, демократические идеи Руссо долго оставались для русского читателя живыми и актуальными.

Любопытно проследить, как идеи, которые обычно называют «руссоистскими» и которые на самом деле точнее было бы называть антифеодальными и демократическими, зарождаются в русской культуре задолго до возникновения произведений Руссо и проникновения их в Россию. В этих идеях сквозит убеждение в том, что положительное начало скрыто в природе, в ее «естественном порядке». Это представление мелькает в средневековых описаниях рая как вполне материального, прекрасного и изобильного края. В «Сказании отца нашего Агапия» (перевод XII в.) в раю «одр и трапеза украшена от камня драгааго и лежаще хлеб на нем белее снега [...] кладезь белеи млека и слажеи мѣду». Таков же рай в послании новгородского архиепископа Василия Тверскому епископу Федору. В «Сказании об Индийском царстве» речь идет о сказочно прекрасном и социально благоустроенном крае: «А нет в моей земли ни татя, ни разбойника, ни завидлива человека, занеже моя земля полна всякого богатства. А нет в моей земли ни ужа, ни жабы, ни змеи, а хотя и войдет, ту и умрет». В литературе XVII в. средневековая утопия, изображающая фантастический неземной край, противопоставляемый действительности, заменяется изображением пейзажа, красоты природы, противопоставляемой «нсмилости» людей. Так, в «Житии» протопопа Аввакума рядом с описанием жестокостей и самоуправств воеводы Пашкова, «зимы еретической», царящей на русской земле, появляется кар-

РАЗСУЖДЕНИЕ,  
УДОСТОВЕРЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЯ  
ОТЪ

## АКАДЕМИИ ДИЖОНСКОЙ

въ 1750. году,

НА  
ВОПРОСЪ  
ПРЕДЛОЖЕННОЙ СЕЮ  
АКАДЕМІЕЮ,

Что позстановленіе *Наукъ и худо-  
жествъ* спосовствопало ли ко  
*исправленію нраповдъ?*

сочиненное  
ГОСПОДИНОМЪ

Ж. Ж. РУССО.

переводилъ  
ПАВЕЛЪ ПОТЕМКИНЪ.

---

*Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis.*  
OVID.



Печатано при Императорскомъ Московскомъ Уни-  
верситетѣ 1768. года.

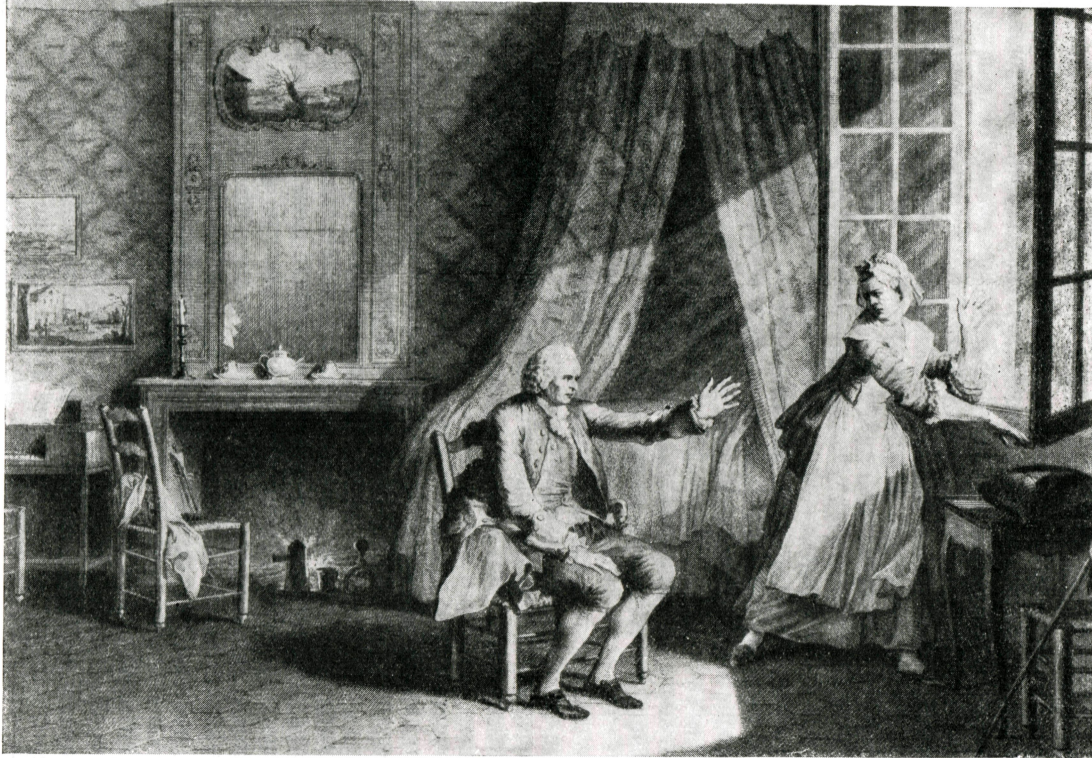
тина прекрасной природы. В основе пейзажа у Аввакума — противопоставление справедливости и красоты созданной богом природы и злобы человека: «...горы высокие, утесы каменные и зело высоки,— двадцать тысяч верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их палатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы,— все богоделанно. Лук на них растет и чеснок,— больши романовскаго луковицы, и сладок зело. Там же растут и конопли богорасленныя, а во дворах травы красныя и цветкы и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры, и таймени, стерледи, и омули, и сигк, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во океане море большим, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени жирни гораздо,— нельзя жарить на сковороде: жир все будет». Этот «богоделанный» и «богорасленный» мир создан на благо человека, содержит все необходимое для человеческого счастья: «А все то у Христа тово света наделано для человеков, чтоб, успокояся, хвалу богу воздавал». Зло исходит от человека, нарушающего естественный порядок: «А человек, суете которой уподобится, дние его, яко сень, преходят; скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съестъ хошет, яко змия; ржет зря на чужую красоту, яко зребя; лукавствует, яко бес»<sup>4</sup>.

Так возникают в мироощущении Аввакума примечательные антитезы. Природа, божье создание — союзник человека и источник блага. «Курочка у нас черненькая была; по два яичка на день приносила ребяти на пищу, божиим повелением нужде нашей помогая; бог так строил [...] Ни курочка, ни што чудо была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублей при ней плюново дело; железо! А та птичка одушевленная, божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку основую из котла тут же клевала; а нам против этого по два яичка на день давала. Слава богу, вся строившему благая!»<sup>5</sup> Во всем описании звучит нежность, которую испытывает Аввакум к этому прекрасному, созданному богом миру. Природа — божественна по своей сути, и поэтому не грех молиться за зверя: «Богу вся надобно: и скотинка и птичка во славу его, пречистого владыки, еще же и человека ради»<sup>6</sup>. Особенно важно последнее — природа создана «человека ради», ради его земного благополучия, мирного счастья. Эта мысль противоречит неоднократно высказываемому тем же Аввакумом по традиции средневековому аскетическому убеждению в том, что земная жизнь — юдоль плача и страдания. Вместе с тем, показательно, что тот же протопоп Аввакум, который служил молебен о здравии кур («молебен пел, воду святил, куров кропил и кадил»), молился о гибели сына воеводы Пашкова.

<sup>4</sup> «Житие протопопа Аввакума». М., «Academia», 1934, стр. 110—111.

<sup>5</sup> Там же, стр. 99.

<sup>6</sup> Там же, стр. 100.



*Последние слова Ж.-Ж. Руссо.* Гравюра Мора младшего

Не случайно образ широты и приволья в природе широко распространился в фольклоре XVII в. Замечательна запись, сохранившаяся в сборнике Кирши Данилова. В ней резко противопоставлены порядок, широта и красота в природе и беспорядок, нарушение всех человеческих связей в обществе:

*Высока ли высота поднебесная,  
Глубока глубота акян-море,  
Широко раздолье по всей земли,  
Глубоки омогы Непровския,  
Чуден крест Леванидовскоя,  
Долги плеса Чевыпецкия,  
Высокия горы Сорочинския,  
Темны леса Брынския,  
Черны грязи Смоленския,  
А и быстрья реки понизовския.  
При царе Давыде Евсеевиче,  
При старце Макарье Захарьевиче,  
Было беззаконство великое:  
Старицы по кельям — родильницы,  
Чернецы по дорогам — разбойницы,  
Сын с отцом на суд идет,  
Брат на брата с боем идет,  
Брат сестру за себе емлет<sup>7</sup>.*

Противопоставление красоты и правды, царящих в природе, неправде человеческого общества выражено здесь с большой художественной силой и еще не осознанным, но зреющим пафосом социального отрицания.

Следует признать, что народная мысль эпохи крепостничества изучена нами недостаточно. Конечно, не следует искать в ней сколь-либо ясной социальной программы, но вместе с тем неоспорим тот факт, что именно она в глубинах своих породила чувства и образы, питавшие демократические теории той эпохи. Так, в народном сознании складывалось убеждение в природном равенстве людей, в праве народа-труженика самому вершить свою судьбу. Но, конечно, не знали, что осуществляют идею народного суверенитета, те крестьяне — участники восстания 1769—1771 гг. в Кижях, которые организовывали свою власть как непосредственное управление общинной (судёма), в которой не было «ни первого, ни последнего»<sup>8</sup>, а выбранный староста присягал народу: «Я буду стараться за вас до последней капли крови»<sup>9</sup>, отчитывался перед народом и сменялся им. Точно так же не знал, что весьма

<sup>7</sup> «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». М. — Л., 1958, стр. 259—260.

<sup>8</sup> Я. Балагуров. Кижское восстание. Петрозаводск, 1951, стр. 69.

<sup>9</sup> Там же, стр. 52.

точно воспроизводит мысль одного из произведений Новикова («Рецепт г. Безрассуду»), тот крестьянин, который говорил летом 1824 г., обращаясь к дворянину, осматривавшему Бородинское поле, на котором еще дотлевали кучи человеческих костей: «Что, узнаете ли, которая князя, графа или нашего брата, простого человека»<sup>10</sup>.

«Предруссоистские» идеи мы обнаруживаем и в русской литературе XVIII в. задолго до того, как раздался мощный голос французского мыслителя, откликнувшийся во всех уголках Европы. Кризис рационалистического сознания, веры в спасительную силу отвлеченного разума и абсолютистского государства заставил обратиться к природе человека как высшей ценности. Тот самый Кантемир, который начинал свою деятельность с прославления разума, науки и просвещения, видя именно в них средство против всех форм социального и нравственного зла, в конце 1730-х гг. написал сатиру «На человеческое злонравие вообще. Сатир и Перьерг», в которой город, его нравы, обычаи, вся городская цивилизация объявлены ложью и злом, а положительный герой — лесное существо сатир — отказывается от всяких сношений с извращенными и лживыми жителями города — «ничего не требую, в лес свой возвращаюсь»<sup>11</sup>.

Таким образом, учение Руссо пришло в Россию как живое, пламенное слово, отвечающее с беспощадной решительностью на вопросы, выдвинутые самой русской действительностью. На всем протяжении своей жизни в русской литературе Руссо воспринимался целостно — как талантливый писатель с самобытным литературным стилем и политический мыслитель, учитель жизни, «защитник вольности и прав», по характеристике Пушкина. При этом достойна быть отмеченной следующая особенность. Как отмечал академик В. П. Волгин, во Франции «Общественный договор» привлекал в середине XVIII в. «несравненно меньше внимания, чем другие произведения Руссо»<sup>12</sup>. В. П. Волгин при этом ссылается на данные Д. Морне<sup>13</sup>, согласно которым из 500 каталогов частных библиотек дореволюционного времени 126 содержали «Новую Элоизу», но только 67 — «Рассуждение о неравенстве» и лишь один — «Общественный договор». Между тем, у нас есть все основания утверждать, что для русского читателя Руссо — писатель и Руссо — автор «Общественного договора» с самого начала стояли рядом<sup>14</sup>. Мы не имеем

<sup>10</sup> «Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г.». Собр. и изд. П. И. Щукиным, ч. III. М., стр. 9.

<sup>11</sup> Антиох Кантемир. Собрание стихотворений. Л., 1956, стр. 120.

<sup>12</sup> В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958, стр. 227.

<sup>13</sup> D. Mornet. Les enseignements des bibliothèques privées (1750—1780). — «Revue d'histoire littéraire», XVII, juillet — sept., 1910.

<sup>14</sup> Для понимания особенностей восприятия и истолкования в России идей «Общественного договора» очень много дает учет различия между фигурирующими в этом трактате понятиями о «общей воле» и «воле всех». Свое изложение этого вопроса в

исчерпывающего обзора каталогов русских библиотек XVIII в., но знакомство с теми, которые сохранились до настоящего времени, убеждает в том, что подсчет по русским библиотекам дал бы решительно иные цифры. «Общественный договор» не был редкой книгой в русских библиотеках. Имелся он, например, и в библиотеке Румянцева-Задунайского<sup>15</sup>, которой пользовался высоко ценивший Руссо Я. Козельский. В своем основном труде «Философические предложения» (1768) он поставил Руссо на первое место среди близких ему философов: «Из всех философов нашел я только четырех человек, а именно: господ Руссо, Монтескиу, Гельвеция и некоторого анонима, коего книга под титулом „Philosophie morale réduite et ses principes“, которые писали основательно о материях правоучительной философии»<sup>16</sup>. Из всех сочинений Руссо Я. Козельский особенно высоко ценит «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» и «Об общественном договоре», на которые в своей книге широко опирается. Восприняв идею общественного договора, Козельский особенно горячо откликнулся на критику цивилизации и идею естественной доброты и гармоничности человеческой природы. В «Рассуждениях двух индийцев, Калана и Ибрагима, о человеческом познании» (1788) он писал: «Чтение сочинений славного философа Руссо и созревающее размышление заставили меня примечать пользу от наук, и тут я, к удивлению моему, находил несколько сходно с его мыслями, что науки в руках моих приносят мне пользу, а в руках моего ближнего причиняют мне вред. Такие опыты возбуждали горячность мою на согласное с Руссом проклятие наук и на оглашение их орудиями всякого зла и вреда»<sup>17</sup>.

Следует отметить, что именно эта сторона вопроса: проблема естественной доброты или врожденной испорченности природы человека — стала в России первоначально наиболее дискуссионной, возбуждающей острые споры вокруг наследия Руссо. Если представители зарождающегося демократического лагеря, ссылаясь на авторитет Руссо, говорили о естественной доброте человека и, следовательно, возлагали ответственность за все зло, царящее в мире, на извращенную структуру общества, то дворянские идеологи видели зло в коренных пороках природы человека. Реакционные деятели и дворянские либералы делали из этой предпосылки различные выводы: консерваторы

настоящей работе, а также в статье «Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века» («Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 167. — «Труды по русской и славянской филологии», т. VIII, Тарту, 1965), я строю на основе анализа проблемы, предложенного В. С. Алексеевым-Поповым (см. «Тезисы конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо», Одесса, 1962, стр. 23 и сл.).

<sup>15</sup> Гос. Исторический музей, ф. 342, ед. хр. 113, л. 88.

<sup>16</sup> «Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в.», т. I, 1952, стр. 418.

<sup>17</sup> Там же, стр. 554—555.



апеллировали к спасительной силе самодержавия, их противники требовали просвещения и законодательного ограничения эгоизма людей (в том числе и царей). Не случайно наиболее острые споры вокруг наследия Руссо загорелись именно в связи с этим вопросом. Утверждение природной доброты человека связывалось с отрицанием пользы наук, а мысль о врожденной злобе людей — с требованием исправлять их ум и сердце наукой, моралью и политикой. В этом отношении любопытны темпераментные выступления против Руссо А. П. Сумарокова, который в специальной статье «К добру или к худу человек рождается» доказывал врожденный эгоизм людей: «Человек рождается ради себя к добру, а ради другого человека, и ради всякого другого животного к худу. Каждое дышащее вредоносно другому дышащему и во своем и в чужом роде». «Все наши действия происходят от любви к себе и от ненависти к другому. Не естествен, но Моралью и Политикой склонны мы к добродетели»<sup>18</sup>. Из этого следовало высказанное Сумароковым в статьях «О новой философической секте» и «О слове Мораль» резкое осуждение той критики просвещения и цивилизации, которая была развернута в сочинениях Руссо, начиная с его первого «Рассуждения». Сумароков резко осуждает русских сторонников Руссо, говорящих: «Не надобны науки ради того, что сказал Жак Руссо, что науки вредны, а кто де ему не верит, тот да будет проклят»<sup>19</sup>.

В том же духе, с рационалистических позиций осмивал русских последователей Руссо и Фонвизин:

*Без грамоты ниш, без мыслей философ,  
Он, не читав Руссо, с ним тогчас согласился,  
Что чрез науки свет лишь только развратился*<sup>20</sup>.

До начала 1770-х годов спор вокруг Руссо был связан с проблемой отношения к науке и просвещению. Именно эта сторона вопроса особенно затрагивала русских дворянских рационалистов XVIII в. Социально-политические выводы учения Руссо еще не обважились, и связь идей общественного договора с революционной практикой не была очевидна. Это приводило к любопытному парадоксу: работы Руссо, богатые примерами своеобразного историзма («Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов», «О происхождении неравенства»), подвергаются в лагере дворянских рационалистов резкому осуждению. Зато положительно оценивается «Общественный договор», так как он привлекает их рационалистической методой рассуждения. А демократизм излагаемой в этом трактате доктрины парализуется своеобразной «поправкой»: на место народа-суверена у Руссо ставится дво-

<sup>18</sup> А. П. Сумароков. Полн. собр. всех соч., т. X, стр. 132.

<sup>19</sup> Там же, стр. 127.

<sup>20</sup> Д. И. Фонвизин. Собр. соч. в двух томах, т. I. М.—Л., 1959, стр. 213—214.

рянство, долженствующее «корпусом своим представлять нацию»<sup>21</sup>, народная же масса вообще исключается из рассуждений. «Договор» истолковывается как соглашение граждан-дворян, носителей политического суверенитета, и государя. Такой подход позволил М. М. Щербатову сблизить Руссо и Монтескье и использовать их общий авторитет для критики «Наказа» Екатерины II. Комментируя известное место в «Наказе», которое позже привлекло внимание Радищева, «какой предлог самодержавного правления? — Не тот, чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действия их направить к получению самого большего ото всех добра», Щербатов замечает: «Не может быть другого предмету окромя сего ни в каком правлении; ибо, говорит Руссо: „Понеже великие правители первоначально были избраны народами для утверждения их благополучия, то во учинении с сими избранными правителями договора между уступленных прав народ не мог свою естественную вольность уступить, яко вещь такую, без которой его благополучие никак соделаться не может; а если бы, последует сей писатель, и нашелся такой неосторожной народ, которой бы свою вольность уступил, то должно его почитать яко безумного, от которого никакой договор силы не имеет“». Но должно здесь рассмотреть, соответствует ли самодержавная власть такому первенствующему договору. И сие мне кажется сумнению подвергнуто»<sup>22</sup>. Причем интересно, что Щербатов не только ссылается на «Общественный договор», но и, цитируя его с большой вольностью, придает мысли Руссо, казалось бы, даже более демократическое звучание, чем то, которое присуще было оригиналу. Он утверждает, что гражданское состояние человека сохраняет всю полноту свободы состояния естественного. Именно такое же утверждение мы встретим в дальнейшем у Радищева. Между тем Руссо считал, что «благодаря общественному договору человек теряет свою естественную свободу [...] выигрывает же он гражданскую свободу»<sup>23</sup>. Однако «решительность» Щербатова не должна нас вводить в заблуждение. Именно она — лучшее свидетельство того, что в начале 1770-х годов еще не появился тот русский читатель, который мог бы прочесть в сочинениях Руссо декларацию народоправства. Щербатов видит в нем лишь союзника в борьбе за ограничение самодержавия и не допускает мысли, что под понятие о суверенном народе можно подвести не просвещенное дворянство, а «невежественную» крестьянскую массу.

Новый этап в отношении к Руссо приходится на последнюю четверть XVIII в. Именно в этот период в сочинениях Радищева русская демократическая мысль XVIII в. получила свое зрелое и полное выражение. Естественно, что истолкование Руссо стало одним из путей формирования той системы общественных идей, которые оградили идейную программу русской демокра-

<sup>21</sup> Д. И. Ф о н в и з и н. Собр. соч. в двух томах, т. II, стр. 265.

<sup>22</sup> М. М. Щ е р б а т о в. Неизданные сочинения. — «Труды ГИМ», 1935, стр. 23.

<sup>23</sup> J.-J. R o u s s e a u. Oeuvres complètes, t. VI. Paris, 1824, p. 27.

тии XVIII в., выражавшей боль и гнев, протест и чаяния масс крепостного крестьянства.

Радищев познакомился с произведениями Руссо еще в юношеском возрасте, причем знакомство с сочинениями «женевского гражданина» было лишь частью его широкого ознакомления с литературой французского Просвещения. То, что уже тогда в сознании Радищева вперед выдвинулись Руссо, Гельвеций и Мабли, чрезвычайно характерно для его позиции. Само сочетание этих имен свидетельствует, что уже в эти годы речь шла не о пассивном усвоении, а о свособразном истолковании, внимании активном, избирательном, органически связанном с формированием собственной системы воззрений.

Сопоставление с идеями Руссо чрезвычайно существенно для понимания позиции Радищева<sup>24</sup>. Между тем вопрос этот не только еще не был предметом серьезного научного рассмотрения, но даже не была сделана элементарная работа: в произведениях Радищева не обнаружены скрытые цитаты из сочинений Руссо, не произведено сопоставление политической терминологии обоих мыслителей. Между тем количество подобных цитат весьма значительно. Так, например, в главе «Новгород» «Путешествия из Петербурга в Москву» читаем дважды повторенную мысль: «Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность», «право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом»<sup>25</sup>. Эти места следует сопоставить с известным положением из «Общественного договора», гласящим, что «так как всегда прав самый сильный, то и нужно лишь действовать так, чтобы стать таковым. Но что же это за право, которое исчезает, как только прекращается действие силы?» (кн. I, гл. III).

Ф. Ушаков в сочинении, переведенном, отредактированном и изданном Радищевым, так излагает доктрину «Общественного договора»: «Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своей сохранности соединенными силами, подчиненное власти, в нем находящейся; но как все люди от природы суть свободны, и никто не имеет права у них отнять сия свободы, следовательно, учреждение обществ предполагает всегда действительное или безмолвное согласие»<sup>26</sup>. Непосредственно за этим идет фраза, вполне возможно внесенная Радищевым при публикации им сочинений Ушакова в 1789 г., настолько тесно она связана с полемикой против тех русских мыслителей, которые, подобно Гоббсу, отстаивали тезис о врожденно злой природе человека-эгоиста («единственника»): «О сем иные сомневаются,

<sup>24</sup> Наиболее полно вопрос рассмотрен в статье: T. Witkowski. Radišev und Rousseau.— «Studien zur Geschichte der russischen Literatur des XVIII Jahrhunderts» Berlin, Akademie-Verlag, 1963.

<sup>25</sup> А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. I. М.—Л., 1938, стр. 263—264.

<sup>26</sup> Там же, стр. 188.

почитая народ собранием единственников. Но оно представляет нравственную особу, общим понятием и хотением одаренную». Показательно, что для подкрепления своей позиции Радищев сослался на Руссо, приведя его слова о том, что «l'Etat ou la Cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres» («Du contrat social», Livre II, Chap. IV). Вместе с тем весьма примечательно и различие: Руссо говорит о государстве, Ушаков — Радищев переводят это понятие словом «народ». Как мы увидим, это отнюдь не случайно. Многие основные идеи Руссо: идея народного суверенитета, общественного договора, эгалитарного распределения собственности, представление о том, что сама эта собственность должна зиждиться на личном труде, и ряд других, более частных тезисов его обширного наследия были близки Радищеву и разделялись им. Однако из этого не следует, что в позиции двух мыслителей не было значительных расхождений.

Радищев прошел еще в молодости школу гельвецианского материализма и до конца дней своих считал, «по системе Гельвециевой», что «разум идет чувствованиям в след, или ничто иное есть, как они»<sup>27</sup>. Материалистическое понимание природы человека наложило отпечаток на этику Радищева, определив ряд расхождений его с Руссо. Разница между утверждением Руссо о врожденно доброй природе человека и разделяемым Радищевым тезисом о том, что он по рождению ни добр, ни зол, не была существенной для их общественно-политических воззрений, ибо оба мыслителя были убеждены в том, что источником зла является не «естество», а несправедливое общественное устройство, оба верили в высокое предназначение человека. Антропологическая природа человека, по мнению Радищева, прекрасна. Зло рождается в обществе. Согласно радищевскому представлению о человеке, о его исконной антропологической основе,— это «существо, всесилоу и всеведению сопричастное»<sup>28</sup>, наделенное внешним «благоепием», стремящееся и к личному, и к общему благу. Основанному на представлениях сенсуалистического материализма идеалу человеческой личности соответствовал и определенный общественный идеал. Человек рожден для счастья: «Дерзай желати своего блаженства и блажен будешь»<sup>29</sup>.

Но уже здесь начинаются расхождения между поклонником гельвецианского материализма Радищевым и Руссо: Радищев верит в спасительную силу человеческого эгоизма. Человеческое общество возникает не вопреки индивидуальному эгоизму, а благодаря ему. Человек-эгоист социален, а не антиобществен по своей природе. Стремление человека к личному счастью не противостоит стремлению к нему других людей, ибо все они, живя в одинаковых условиях, подвергаясь одинаковому воздействию среды, имеют сход-

<sup>27</sup> А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. III, стр. 346.

<sup>28</sup> Там же, т. II, стр. 51.

<sup>29</sup> Там же, т. III, стр. 29.

ные представления, сходные потребности и интересы. В свободном от угнетения обществе эгоистическое стремление человека к личному счастью вместе с тем есть и гражданственное стремление к общему благу. «Доколе единомыслие в обществе царствовало, закон не что иное был, как собственное каждого к пользе общей побуждение, не что иное, как природное почти стремление исполнять каждому свое желание; ибо каждый в особенности своей не много чего желал, как чего желали все...»<sup>30</sup> Из этого проистекало убеждение в том, что личная польза человека совпадает с нравственными критериями, и стремление связать материальный интерес с общественной моралью. «Всякое действие его (человека. — Ю. Л.) во благе и во зле есть мздоимно», так как «причина к общежитию есть единственная, а именно собственная каждого польза»<sup>31</sup>. Другим следствием изложенной системы являлось убеждение в том, что, заключая общественный договор, человек сохраняет всю свободу естественного состояния, поскольку его свобода, по Радищеву, не имеет (в отличие от того, как на это смотрел Руссо) антиобщественного характера. «Закон положительный. — писал Радищев в „Опыте о законодательстве“, — не истребляет, не долженствует и немошен всегда истребить закона естественного»<sup>32</sup>.

«Гражданин, — писал Радищев в „Путешествии“, — становясь гражданином, не перестает быть человеком»<sup>33</sup>.

Из подобного понимания характера общества закономерно вытекало и представление о «естественном» государственном порядке. Цель государства — счастье граждан: «Государство есть великая машина, коея цель есть блаженство граждан»<sup>34</sup>. Радищевское понимание природы человека заставляет его верить в народную массу, поэтому идея прямого и непосредственного народовластия находит в нем естественного и страстного защитника: «Собрание граждан именуется народом; соборная народа власть есть власть первоначальная, а потому высшая...» Исполнительная власть, которую «вверяет народ единому или многим», находится под прямым и непосредственным контролем народа. «Худое власти народной употребление есть преступление»<sup>35</sup>.

В демократической программе Руссо Радищева привлекали беспощадное отрицание всего феодального порядка и идея прямого народовластия, мысль о народе «в соборном его лице» как источнике и носителе суверенитета. Эти представления навсегда вошли в политическое сознание Радищева. Однако различия в понимании природы человека породили и различие в толко-

<sup>30</sup> Там же, (ср.: «Свою творю, творя всех волю». — Курсив мой. — Ю. Л.).

<sup>31</sup> Там же, стр. 30.

<sup>32</sup> Там же, стр. 10.

<sup>33</sup> Там же, стр. 47.

<sup>34</sup> Там же, стр. 5.

<sup>35</sup> Там же, стр. 10.

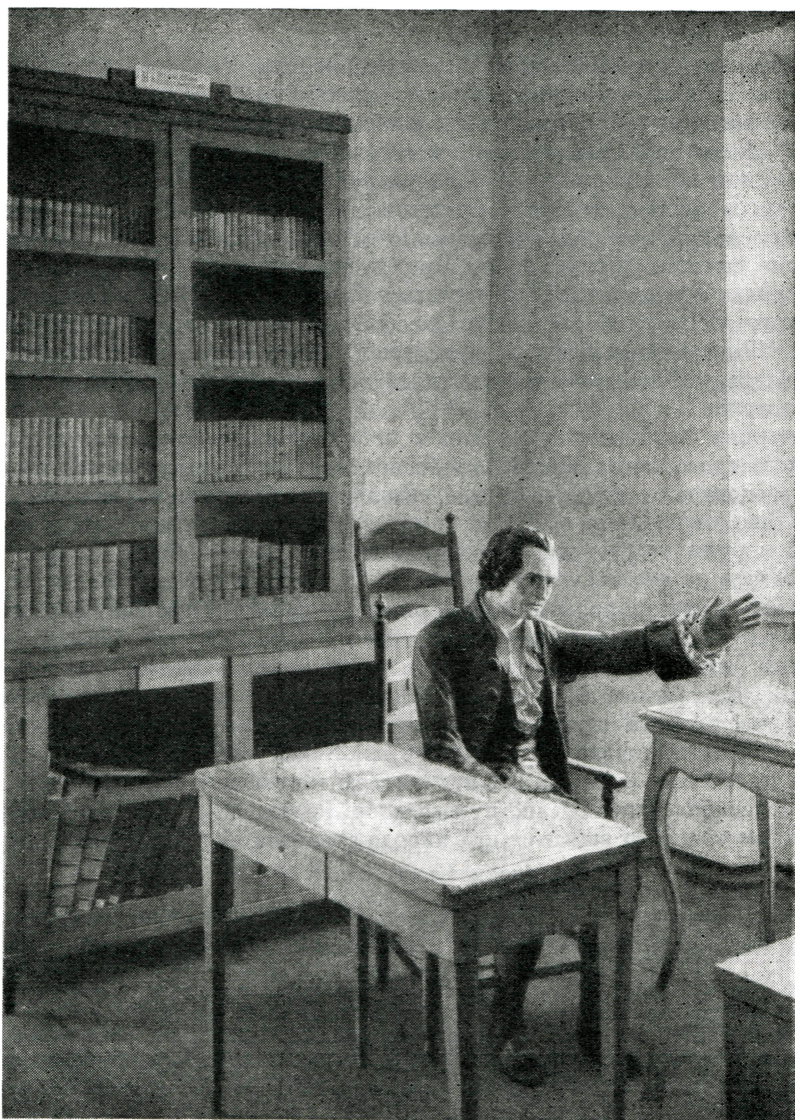
вании природы общественного договора. Некоторые из этих различий дают основание говорить о большей, по сравнению с Руссо, революционности мышления и выводов Радищева. Размышляя о механизме политического управления, гарантирующем полноту народного суверенитета, Радищев сначала, подобно Руссо, видел условие его действительности в малых размерах территории государства. поскольку еще в примечаниях к переводу Мабли он недвусмысленно выразил свое отрицательное отношение к защищаемой Мабли идее народного представительства, отдавая явное предпочтение прямому народоправству, сторонником которого, как известно, был и Руссо. Именно поэтому он в начале 1780-х годов предсказал будущей освобожденной России федеративное устройство (опять-таки высоко ценимое Руссо). Россия рисовалась ему в оде «Вольность» как свободный союз небольших по территории общин, способных осуществлять непосредственное участие всех граждан в управлении.

*Из недр развалины огромной,  
Среди огней, кровавых рек,  
Средь глады, зверства, язвы темной,  
Что люгый дух властей возжег,—  
Возникнут малые светила;  
Незыблемы свои кормила  
Украсят дружества венцом,  
На пользу всех ладью направят...<sup>36</sup>*

Однако в дальнейшем Радищев к этой идее не возвращался и даже резко осудил Руссо в одном из своих черновых набросков за мысль о том, что обширным государствам по природе их свойственна монархия. Здесь он писал, что Руссо «с умствованием много вреда» сделал тем, что, «не взяв на помощь историю, думал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие»<sup>37</sup>. Отказавшись от идеи федерации, Радищев разработал оригинальную теорию защиты народного суверенитета. Он его видит не в существовании парламента (отчуждение суверенитета) и не в возможности всего народа собираться на площади, а в постоянной готовности народа к вооруженному выступлению. Революция превращается в постоянно действующий политический институт. Именно в ходе ее народ осуществляет свой суверенитет. Он отвергает действия той власти, которая не

<sup>36</sup> А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. I, стр. 16.

<sup>37</sup> Там же, т. III, стр. 47. Необходимо в то же время учитывать, что Руссо рассматривал монархию, как и любую иную форму организации исполнительной власти, как «служителя» народа, единственного и безраздельного обладателя власти законодательной. Но сохранение им самого термина монархия, отождествлявшегося в глазах Радищева с самовластием, «насилием», не могло не вызвать его негодования.



*Восковая фигура Ж.-Ж. Руссо*  
в библиотеке кн. Н. Е. Юсупова в Архангельском

соответствует его интересам, и учреждает новую, сохраняя за собой право сбросить и ее в случае необходимости. Прообразом такой системы Радищев считал древнерусское вече, якобы свободно приглашавшее и изгонявшее князей<sup>38</sup>. Если народ постоянно готов к защите своего суверенитета, то безразлично, как организована исполнительная власть. В этом случае Радищев, как и Руссо, приходивший к аналогичным выводам относительно любой власти, действующей сообразно законам (*légitime*), был склонен и единоличное правление считать республикой. При этом Радищева интересовал вопрос о критериях, которые могут свидетельствовать о нарушении властью первоначального договора и, следовательно, быть достаточным основанием для революции. Решал он его очень интересно. Люди вступают в общество для своего блага, собственная польза отдельного человека — основа общественного договора.

Критерием исполнения государем своих обязанностей является счастье отдельного гражданина. Поскольку (здесь, как было уже отмечено выше, Радищев расходится с Руссо) эгоизм отдельного человека должен совпадать в справедливо устроенном обществе с общенародными интересами и является основой морали, то государство, созданное как орудие общей пользы, не может посягать на счастье даже одного из граждан: «Отъявй единое из сих прав (имение, честь, вольность или жизнь. — Ю. Л.) у гражданина, государь нарушает первоначальное условие и теряет, имея скиптр в руках, право ко престолу»<sup>39</sup>. Единственный случай угнетения есть свидетельство искажения всего государственного порядка. Радищев выписал «мнение судии Гольма»: «Если человек заключается властью незаконною, то сие есть достаточная причина всем для принятия его в защиту [...] Когда свобода подданного нарушается, то сие есть вызов на защиту ко всем английским подданным»<sup>40</sup>. Уничтожение несправедливой власти мыслится Радищевым как революционный акт, венцом которого является суд народа-суверена над мятежником-царем:

*Преступник власти, мною данной,  
Вещай, злодей, мной увенчанный,  
Против меня восстать как смел*<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Ср. у Монтескье в «Духе законов», произведении Радищеву хорошо известном: «Чтобы заставить своих правителей подчиняться законам, крityане придумали весьма своеобразное средство, а именно — восстание. Часть граждан восставала, возмущалась, обращала в бегство правителей и заставляла их вернуться к частной жизни. Это считалось законным образом действия. Кажется, что учреждение, обращавшее мятеж в средство противодействия злоупотреблениям власти, должно было бы погубить любую республику; но оно не разрушило республики Крита...» (Ш. Монтескье. Избр. произв. М., 1955, стр. 260).

<sup>39</sup> А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. III, стр. 15.

<sup>40</sup> Там же, стр. 44.

<sup>41</sup> Там же.



Народная революция и суд над царем утверждаются как своеобразный государственный институт, проявление народного суверенитета. В примечании Радищева к переводу из Мабли читаем: «Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками»<sup>42</sup>. «Худое власти народной употребление есть преступление величайшее, но судить о нем может только народ в соборном своем лице»<sup>43</sup>, — писал Радищев в юридических набросках. Суд над царем мыслится как общенародный акт (ср.: «На вече весь народ течет»). Таким образом, система внутренних порядков и установлений демократического государства, создаваемая Радищевым, не только включала, как это было у Руссо, потенциальную возможность революционных выводов и действий народа (притом лишь в определенных исторических условиях), но и прямо узаконивала народную революцию в качестве гаранта верховенства народа и торжества общих интересов.

Однако другая грань в отличиях позиции Радищева и Руссо раскрывает большую революционность французского мыслителя. Именно потому, что Радищев стоял на почве этики материалистов XVIII в. и был убежден в том, что разумно понятый личный интерес полностью совпадает с общественным, он не допускал никакого насилия над личностью, в том числе и революционного. Мысль о том, что общество может диктовать индивидууму свои нормы свободы, вопреки его естественным представлениям о счастье, мысль о том, что человек и гражданин имеют разное представление о свободе, была Радищеву органически чужда. Поэтому Радищев не воспринял тех элементов учения Руссо, которые подготавливали теорию революционной диктатуры. Не случайно он в дальнейшем осудил деятельность якобинцев. В конце жизни в «Песни исторической» он пишет о Сулле:

*Нет, ничто не уравнился  
Ему в лютости толикой,  
Робеспьер дней наших разает*<sup>44</sup>.

Итак, система общественно-политических воззрений Радищева, во многом сближаясь с идеями Руссо, в определенном смысле с ними расходилась. Этим объясняется наличие и восторженных, и остро полемических суждений Радищева о сочинениях «гражданина Женевы». Но при этом, вследствие причин, отмеченных выше, именно творчество Радищева было вершиной в истории рецепции общественно-политических идей Руссо в России XVIII в. Екатерина II имела все основания найти в «Путешествии» Радищева «умствование, взятое из разных полумудрецов его века, как-то Руссо, аббе Рейналя»<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Там же, т. II, стр. 282.

<sup>43</sup> Там же, т. III, стр. 10.

<sup>44</sup> Там же, т. I, стр. 97.

<sup>45</sup> А. Н. Радищев. Избр. соч. М.—Л., ГИХЛ, 1949, стр. 667.

Однако Руссо — не только публицист-проповедник, но и писатель, автор романов, создатель художественного направления. Эта сторона его творчества также широко отразилась в русской литературе XVIII в. Касаясь ее, мы снова будем иметь в виду не столько перечень переводов, сколько общую картину восприятия и истолкования Руссо русскими писателями.

Здесь мы отчетливо замечаем две тенденции. Первая связана с демократическим направлением в развитии русской прозы. Она проявлялась в стремлении взглянуть на феодальное общество глазами «естественного человека», отвергающего все формы угнетения и предрассудков. Авторы подобных произведений создают в русской прозе повествовательную традицию, связанную с идеями Руссо, высказанными в его общественно-политических трактатах, в «Эмиле» и «Новой Элоизе». Причем это направление и роман Руссо воспринимало больше в плане идейном, чем чисто художественном. Следы интереса к «Исповеди» обнаруживаются в этом лагере значительно реже.

Сама сущность философского романа просветителей требовала наличия в нем двух планов: критического изображения жизни в ее реальном облике и утверждения превосходства жизни в ее «естественном виде». Двуплановый подход к явлениям действительности мог в практике художественной прозы реализовываться несколькими путями. Писатель мог сосредоточить внимание на «естественном» развитии, вынеся сопоставление его с реальной действительностью за скобки и предоставляя делать это сопоставление самому читателю. Так возникли утопии об «естественном» обществе и сюжеты, построенные на «робинзонаде». Герой, изъятый из общества, развивался по законам человеческой природы, не зная угнетения и общественного зла. Повествование о воспитании по образцу «Эмиля» Руссо или рассказы о жизни путешественника, оказавшегося на необитаемом острове, позволяли отделить истинные потребности от ложных, противоестественные привычки, воспитанные обществом и модой, от вытекающих из самой человеческой природы прав, интересов и склонностей. К этому же ряду относятся произведения о «добрых» дикарях, их естественной и потому счастливой жизни.

Сопоставление «естественных» мыслей человека, воспитанного в соответствии с его прекрасными возможностями, и предрассудков, уродливостей современного общества сообщало этим произведениям ту двуплановость, которая составляла отличительную черту просветительского философского романа.

Появлялись романы, где сопоставление «дикого» и человека современного общества переносилось и на русскую почву. Назовем хотя бы роман П. Богдановича «Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света», вышедший в Петербурге в 1781 г. и, «вторым тиснением», в 1790 г.

П. Богданович был человеком, беспорно «захваченным просветительски-

Титульный лист  
русского перевода второго  
«Разсуждения» Ж.-Ж. Руссо. 1770

ми идеями»<sup>46</sup>. Взгляды его не были свободны от противоречий, но присущее ему критическое отношение к самодержавно-крепостническому порядку не вызывает сомнений. П. Богданович не во всем согласен с «женевским гражданином», для критики идей которого он использует доводы Вольтера. В приложении к роману он поместил перевод «Разговора дикого с бакалавром из сочинений г. Вольтера». Однако и с последним его позиция совпадает далеко не полностью. В его романе «дикий» совсем не в восторге от имущественного неравенства и не считает его нормальным. Он изумлен тем, что мать его возлюбленной выставляет требование: «Чтобы вы имели несколько земли [...], чтобы могли сказать: моя земля, мой дом и пр., но как притом все уже земли заняты и все принадлежит одной половине людей, а другая владеть оными ожидает своей очереди, то покамест не придет ваша очередь, я вам запрещаю изъясняться в любви перед дочерью моей». Ацем (так зовут «дикого») подвергся нападению разбойника. «Ты жестокосерднейший из всех людей на свете.— Нет,— отвечивал ему разбойник,— я с жалостию у тебя одного (кошелька.— Ю. Л.) спрашиваю, необходимость меня к тому понуждает. Я рожден от таких родителей, которые никогда ни на одну ступень земли у себя не имели: они выучили меня ремеслу [...], но обстоятельства времени

РАЗСУЖДЕНИЕ  
О  
НАЧАЛѢ И ОСНОВАНИИ  
НЕРАВЕНСТВА

МЕЖДУ  
ЛЮДЬМИ,  
СОЧИНЕННОЕ  
ГОСПОДИНОМЪ  
Ж. Ж. РУССО,  
перевелъ  
ПАВЕЛЪ ПОТЕМКИНЪ.

*Non in depravatis, sed in his quae bene secundum naturam se habent, considerandum est quid sit naturale.*  
ARISTOT. о пол. К. 2.



Печатано при Императорскомъ Московскомъ  
Университетѣ 1770, году.

<sup>46</sup> Л. Светлов. А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII в.— Сб. «Из истории русской философии XVIII—XIX вв.». М., Изд. МГУ, 1952, стр. 64—65; Г. Макогоненко. Новые материалы о Д. И. Фонвизине и неизвестные его сочинения.— «Русская литература», 1958, № 3, стр. 137.

сделали оное для меня бесполезным, и меня самая крайность принудила приняться за разбойничество»<sup>47</sup>.

Разбойник — тоже своего рода «естественный» человек, он изгнанник из общества. И то, что он выступает не как преступник, а как жертва, раскрывает преступность общественного порядка. Если роман начинается тем, что «дикий человек, скитавшийся в одних токмо лесах и пустынях [...], вознамерившись обозреть все различные народы, обитающие на сем малом земном шаре, пришел некогда [...] в столицу самого просвещеннейшего государства» (стр. 6), то в конце он ее с проклятием покидает: «Ах! Боже мой! — воскричал Ацем, — что слышу я? Ах, чудовища! Жестокие, бесчеловечные! Нет, не хочу более у вас оставаться: непостоянство ваше приводит меня в ужас; я менее буду подвержен бедствиям, скитаясь по самым дремучим лесам; там могу я следовать по своей воле движениям естества, и там и львы, и тигры не столь свирепы» (стр. 53). Правда, противник руссоистской идеи «уединенного жития», П. Богданович отправляет своего героя искать страну, «где люди лучше, справедливее, человеколюбивее, великодушнее и чувствительнее поступают», но, оставаясь в цензурных возможностях, автор не мог изобразить утопической картины всеобщего равенства и благоденствия и оборвал на этом роман.

Идеал «естественного» человека, с точки зрения которого оценивается действительность, мог быть воплощен не только в дикаре, но и в ребенке. В этом отношении особо примечателен «Отрывок путешествия в ...И\*\*\* Т\*\*\*».

«Отрывок» построен весьма знаменательно. Сталкивая два описания жизни — крестьян и богачей, «любимцев Плutowых»<sup>48</sup>, автор вводит в повествование образы трех грудных младенцев. Для того чтобы создать такой образ в начале 1770-х годов, надо было пережить своеобразный идейно-художественный перелом. До тех пор, пока добродетель человека ставилась в прямую зависимость от его «разумности», а чувства оценивались как источник «эгоистических», антиобщественных устремлений, положительный герой — и это характерно не только для Сумарокова, но и для Фонвизина — должен был быть «разумным». Для Фонвизина «Простаков» — значащее имя характеристики глупого, т. е. отрицательного, персонажа. Простак же Вольтера — положительный герой именно в силу детского простодушия характера, ставящего его вне мира социального зла. Показательно, что уже Нарезный в «Российском Жиль-Блазе» использовал фамилию «Простяков» как значащее имя для положительного персонажа. Рупором авторских идей у Фонвизина выступает Стародум — человек, умудренный опытом, годами, чтением нравственных сочинений. Ребенок вводится в литературу лишь как объект воспи-

<sup>47</sup> П. Богданович. Дикий человек, смеющийся учености и правам нынешнего света. Второе тиснение. СПб., 1790, стр. 51.

<sup>48</sup> От Плутос — бог богатства у древних греков.

тэвия. Он раскрывает свои положительные качества прилежным усвоением наук, тем, что рассуждает как взрослый. Митрофан же, сохраняющий детский ум в недетском возрасте, — отрицательный персонаж.

Для того чтобы сделать ребенка не только положительным героем, но и носителем лучших человеческих качеств, надо было поставить нравственную ценность в зависимость не от ума, а от близости к «природе человека».

Хотя осуждение дворян произносится в «Отрывке» детьми разных возрастов (эпизод с крестьянскими детьми, разбегающимися при виде дворянского мундира), но центральное место занимают образы трех грудных младенцев, воплощающих три основные черты природы человеческой личности. Автор «Отрывка», бесспорно, читал «Эмиля» Руссо, где образ грудного младенца неоднократно выступает в той же роли. Руссо писал: «Жалуются на состояние детства, а не видят того, что род человеческий погиб бы, если бы человек не начинал с состояния детства»<sup>49</sup>. И далее о грудных младенцах: «Их первый голос, говорите вы, плач? Охотно верю: вы угнетаете их с самого рождения; первые дары, которые они получают от вас, — цепи; первое обращение, которое они испытывают с вашей стороны, — пытки. Располагая свободно только голосом, могут ли они не воспользоваться им для жалобы? Они кричат о зле, которое вы им делаете; если бы вас так связали, вы бы кричали громче их»<sup>50</sup>. Руссо виделась связь природы ребенка с общественными проблемами, когда он писал: «Никогда не забуду, как на моих глазах один из этих несносных плакс получил шлепок от своей кормилицы. Он моментально умолк: я подумал, что он испугался. Я сказал себе: это будет рабская душа, от которой ничего не добьешься иначе как строгостью. Я ошибся: несчастный задохнулся от гнева, он почти перестал дышать; я видел, как он посинел. Минуту спустя последовали пронзительные крики; все признаки злобы, бешенства, отчаяния этого возраста сказались в его звуках. Я боялся, что он испустит дух от волнения. Если бы я сомневался в том, что чувство справедливого и несправедливого врожденно душе человеческой, то один этот пример убедил бы меня. Я уверен, что раскаленная головешка, упавшая случайно на руку этого ребенка, была бы для него менее чувствительна, чем этот шлепок, довольно легкий, но данный с очевидным намерением оскорбить»<sup>51</sup>.

Речь, конечно, идет не о каком-либо заимствовании внешнего приема, — точно так же, как интерес к детям (и особенно крестьянским) у Тургенева, Некрасова, Толстого и Чехова, каждый раз своеобразно переосмысленный, не представлял заимствования, а вытекал из природы мировоззрения самих этих писателей. Автор «Отрывка путешествия в И\*\*\*Т\*\*\*» резко подчеркнул этот мотив: он ввел в повествование трех грудных младенцев одного

<sup>49</sup> Ж.-Ж. Руссо. Эмиль, или о воспитании. СПб., 1913, стр. 12.

<sup>50</sup> Там же, стр. 19.

<sup>51</sup> Там же, стр. 42—43.

возраста в одной и той же избе — случай редкий и маловероятный с точки зрения житейского правдоподобия, той эмпирической правды, которая привлекала, например, Чулкова. Но автора в данном случае это не беспокоит. В бытовом ключе дано отрицательное — описание жизни крестьянина; здесь отклонения от правдоподобия были бы нарушением торжественно сформулированного принципа: «Истина пером моим руководствует!» Но младенцы представляют второй, «теоретический» план отрывка. Они призваны нести «философскую» правду о природе человека. В данном случае осуществляется тот принцип, который сформулировал Руссо, характеризуя романы Вольтера: «Он нарушал правдоподобие, не нарушая правды»<sup>52</sup>. Недаром помощь младенцам оценивается автором «Отрывка» как «услуга человечеству».

Что же считает автор «Отрывка» «естественными» свойствами человека? Первая потребность — пища: «Увидел я, что у одного унал сосок с молоком; я его поправил, и он успокоился». Далее, это — стремление к сохранению жизни: «Другого нашел обернувшегося лицом к подушонке из самой толстой холстины, набитой соломой; я тотчас его оборотил и увидел, что без скорой помощи лишился бы он жизни, ибо он не только что посиinel, но и, почернев, был уже в руках смерти; скоро и этот успокоился». Третий младенец олицетворяет стремление избежать страданий: «Подошел к третьему, увидел, что он был распеленан, множество мух покрывали лицо его и тело и немилосердно мучили сего ребенка; солома, на которой он лежал, также его колола, и он произносил пронзающий крик. Я оказал и этому услугу [...]; замолчал и этот»<sup>53</sup>.

Автор истолковывает протест младенцев как свидетельство наличия у человека природных, неотъемлемых прав и прямо переходит отсюда к общим социальным вопросам. Отсутствие пищи и страдания младенцев — философская «робинзонада», свидетельствующая о «неестественности» отнятия средств пропитания и мучений народа. «Смотря на сих младенцев [...], вскричал я: жестокосердный тиран, отъемлющий у крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! Посмотри, чего требуют сии младенцы! У одного связаны руки и ноги, приносит ли он о том жалобы?»<sup>54</sup> Нет, он спокойно взирает на свои оковы. Чего же требует он? Необходимо нужного только пропитания. Другой произносил вопль о том, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третий вопил к человечеству, чтобы его не мучили. Кричите, бедные твари, сказал я, проливая слезы, приносите жалобы свои, наслаждайтесь последним

<sup>52</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III. Paris, 1824, p. III.

<sup>53</sup> «Сатирические журналы Н. И. Новикова». М. — Л., 1951, стр. 296.

<sup>54</sup> Любопытное свидетельство того, что образы младенцев имеют «философский», а не «эмпирический» смысл: спеленуты, конечно, все три младенца, а не один, но автор в каждом из них берет лишь то, что может прояснить идею «естественных» нужд; поэтому связанные руки и ноги двух других младенцев его уже не интересуют.

сим удовольствием во младенчестве; когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь. О солнце, лучами щедрот своих Россию озаряющее, призри на сих несчастных!»<sup>55</sup>

Обращает на себя внимание то, что в число «естественных» потребностей автор «Отрывка», разойдясь с Руссо, не включил свободу. Показательно и то, что младенец «спокойно взирает на свои оковы», а сам путешественник, «оказав услугу человечеству», совершает действие, резко осужденное Руссо, — пеленает ребенка «другими, хотя и не чистыми, но однако же сухими пеленками». Вспомним, что именно обычаи пеленания, а также найма кормилиц встретили со стороны Руссо резкое осуждение как «протivoестественные». Под влиянием энергичной проповеди Руссо эти обычаи стали исчезать во второй половине XVIII в. из практики воспитания. Известно, что Екатерина II, демонстрируя свою связь «с идеями века», изгнала пеленки из детской своих внуков — великих князей Александра и Константина. Автор «Отрывка», бесспорно, читал вышедшего в 1762 г. «Эмиля», и позиция его в этом вопросе не может рассматриваться как случайная. Конечно, ошибочно было бы полагать, что автор «Отрывка» признает «естественным» положение скованного раба, если только он сыт, — антикрепостнический дух отрывка не подлежит сомнению, и в этом отношении мы можем вполне положиться на революционное чутье И. А. Добролюбова, который склонен был скорее преувеличивать, чем замалчивать связь сатириков XVIII в. с либералами — обличителями своего времени. Расходясь с Руссо, автор «Отрывка» сближался с этикой французских материалистов Гельвеция и Гольбаха. Философы-материалисты считали, что человек обладает лишь следующими «естественными» свойствами: стремлением к наслаждению и отвращением к страданию и смерти. Стремление к свободе возникает уже как вторичная потребность в обществе, отнимающем у человека возможность наслаждения.

Определенная часть произведений отразила и проблематику «Новой Элоизы». Таковы «Письма Эрнеста и Доравры» Ф. Эмина и роман Н. Эмина «Игра судьбы».

Однако, как мы уже говорили, в последней четверти XIX в. в русской прозе наметилось и иное истолкование наследия Руссо-писателя, причем на первый план выдвинулся вопрос о Руссо — мастере психологического анализа. Именно здесь и возник интерес к «Исповеди». Как известно, в системе идей Руссо «Исповедь» не только не противостояла его общественно-политическим трактатам, но, напротив того, органически с ними согласовывалась. Сама идея предельного обнажения своей души была связана с верой в природную доброту человеческого сердца, в значительность отдельной человеческой личности. Беспредельная искренность подразумевала противопоставление естественной чистоты и социальной испорченности, вытекала из

<sup>55</sup> Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 298.

той критики лицемерия, которая прозвучала уже в ранних работах Руссо. Однако в русской традиции вопрос этот подчас получал иное толкование. Сложная противоречивость идей французского мыслителя, выступавшая под его пером как диалектически сложное целое, здесь оборачивалась возможностью различных интерпретаций. Руссо в восприятии русского писателя-демократа XVIII в. и современного ему дворянского литератора, конечно, не был одинаков. Каждый период в развитии русской общественной мысли, русской литературы открывал своего Руссо, видя идейное богатство французского писателя сквозь светофильтры своего мировоззрения.

В этом смысле показательно, что для русского писателя (и читателя) демократического лагеря в XVIII в. Руссо-мыслитель и социолог заслонил Руссо-педагога и писателя-психолога. На подобный характер рецепции указывает тот факт, что русские журналы XVIII в. переводят и публикуют из романа «Новая Элоиза», как правило, философские и общественно-политические рассуждения. То же характерно и для отрывочных переводов в рукописных сборниках той поры. В высшей степени показательно, что в наследии такого внимательного читателя Руссо, каким был Радищев, мы не встречаем ни одного упоминания об «Исповеди». Зато произведение это привлекло внимание деятелей другого общественного и литературного лагеря.

Д. И. Фонвизин принадлежал к писателям, органически усвоившим традиции рационалистической культуры. Тем непримиримее он был к Руссо и его культурпессимизму. Однако в конце 1770-х годов в его сознании происходит явный сдвиг. Наблюдение над русской действительностью и посещение Франции повергли самого Фонвизина в глубокий пессимизм. Вера в разум как двигатель прогресса была поколеблена.

Рационалистическое сознание искало выхода из общественных конфликтов на пути чисто политических преобразований. Стремление к социальным реформам было ему чуждо, и не случайно представители русского рационализма принимали Монтескье, но решительно отвергали Руссо. Однако для Фонвизина кризис веры в политические реформы не привел к выдвиганию социальных требований. Отказавшись от веры в политический прогресс, Фонвизин обратился к идее личного усовершенствования. Политическим ухищрением им была противопоставлена личная чистота. Не случайна самохарактеристика Фонвизина (и его alter ego Стародума) в эти годы: вместо распространенной в просветительской литературе формулы «друг человечества» — «друг честных людей». С этих позиций меняется отношение к Руссо, в котором Фонвизин видит не социального пророка, а мыслителя, преодолевающего беспощадной искренностью ложь в себе самом.

Показательно изменение отношения Фонвизина к Руссо в письмах из Франции в 1778 г. В начале он еще не выделяет его из круга энциклопедистов, распространяя и на него свое ироническое отношение к деятельности философов просвещения. Он пишет сестре 11/22 марта 1778 г.: «Руссо твой



в Париже живет, как медведь в берлоге [...] Мне обещали показать этого уroda. Вольтер также здесь; этого чудотворца на той неделе увижу»<sup>56</sup>. В нравственном разложении предреволюционной королевской Франции Фонвизин увидел влияние материалистической философии, а в самих философах его, в первую очередь, заинтересовал их человеческий и нравственный облик. «Все они, выключая весьма малое число, не только не заслуживают почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер». «Мало в них человеческого [...] Не могу вам довольно изъяснить, какими скаредами нашел я в натуре тех людей, коих сочинения вселили в меня душевное к ним почтение»<sup>57</sup>. И именно это — нравственная высота, совпадение жизни и проповеди — заставляет Фонвизина выделить Руссо и переменить свое к нему отношение. В письме, написанном в августе 1778 г., сообщая сестре слух о самоубийстве Руссо, он пишет: «Итак, судьба не велела мне видеть славного Руссо! Твоя, однако, ж, правда, что чуть ли он не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века. По крайней мере бескорыстие его было строжайшее»<sup>58</sup>. Особенно же потряс Фонвизина замысел «Исповеди» и то бесстрашие, с которым Руссо — автор «Исповеди» обнажал «без малейшего притворства всю свою душу, как мерзка она была в некоторые моменты, как сии моменты завлекали его в сильнейшие злодеяния, как возвращался к добродетели»<sup>59</sup>. Жанр этого произведения Фонвизин определил так: «Книга, которую он сочинил, есть не иное что, как исповедь всех его дел и помышлений»<sup>60</sup>. Показательно, что начатое им в конце жизни автобиографическое произведение Фонвизин назвал «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». И если в 1778 г. в письмах к сестре Фонвизин не без иронии писал «твой Руссо», то в 1784 г. в письме к родным фигурирует уже «наш любимый Руссо»<sup>61</sup>.

Начало революции во Франции заставило по-новому прочесть сочинения Руссо. Наследие французского философа стало предметом полярно-противоположных оценок. В одном и том же 1794 г. мы можем найти такие суждения. И. В. Лопухин, масон, в книге «Излияние сердца, чтущего благость единоначалия» писал: «Le Mr. Sansjugement<sup>62</sup>, желая издать такую книгу, которая бы ни с какой в мире не сравнилась (что, может быть, и удастся ему в глупости), начинает писать о равенстве состояний. Для справок вынимает из своей библиотеки „Contrat social“». А в том же году заточенный за воль-

<sup>56</sup> Д. И. Фонвизин. Собр. соч. в двух томах, т. II, 1959, стр. 438.

<sup>57</sup> Там же, стр. 443, 444.

<sup>58</sup> Там же, стр. 452.

<sup>59</sup> Там же, стр. 479.

<sup>60</sup> Там же, стр. 81.

<sup>61</sup> Там же, стр. 535.

<sup>62</sup> Имя это означает в переводе «Безрассудный». Цит. по «Друг юношества», 1809, май, стр. 48.

подумство в Валаамской монастырской тюрьме П. А. Словцов в стихотворном послании к М. М. Сперанскому так изливал свои чувства:

*Сажу в стенах, где нет полдневного луча,  
Где тает вечная и тусклая свеча.  
Я болен, весь опух и силы ослабели,  
Сказал бы более, но слезы одолели.  
Я часто жалеюсь, почто простой народ  
Забыл естественный и дикий жизни род?  
Почто он вымыслил гражданские законы  
И утвердил почто правительство и троны?*<sup>63</sup>

Большой интерес представляет эволюция оценок Руссо в творчестве Н. М. Карамзина. На протяжении творческого пути Карамзина он несколько раз коренным образом пересматривал свое отношение к Руссо, причем каждый раз характер изменения оценок определялся, с одной стороны, внутренней эволюцией самого писателя, а, с другой, — тем, что развитие общественной жизни XVIII — начала XIX в. раскрывало и подчеркивало все новые и новые стороны в наследии Руссо.

В начале Французской революции отношение Карамзина к Руссо было благожелательным. Это тем более бросалось в глаза, что и непосредственные литературные руководители Карамзина — масоны из кружка А. М. Кутузова — Н. И. Новикова, и официальная литература относились к Руссо в эти годы отрицательно. В 1786 г., переводя по заказу Новикова прозой поэму Галлера «О происхождении зла», Карамзин, видимо, был согласен с тем, что источник его в природе человека, отрицающая мысль о том, что близость к естественному состоянию освобождает от пороков. Лапландцы «суть те же рабы пороков. Они подобно нам нерадивы, исполнены скотских вожделений, суетны, корыстолюбивы, ленивы, завистливы и злобны. Не все ли едино, рыбий ли жир или золото смертоносную вражду производит»<sup>64</sup>. Но в 1791 г. в «Московском журнале», рецензируя книгу «Voyage de Mr. le Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique par Cap de Bonne Esperance dans les années 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 et 1785», Карамзин писал прямо противоположное: «Путешественники говорят противное прежним, описывающим самыми гнусными красками человека дикого или натурального». Он протестует против «иных философов», которые, говоря о «натуре человеческой», «представляют ее злою». «Я осмелюсь сказать, — замечает он, — что если где-нибудь на сей земле уважают еще благопристойность в поведении и нравах, то надобно идти искать храм ее среди пустынь»<sup>65</sup>. В «Письмах русского путешественни-

<sup>63</sup> «Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в.», т. I, стр. 404

<sup>64</sup> «О происхождении зла». Перевод с нем. В типографии Компании Типографической, 1786, стр. 59.

<sup>65</sup> «Московский журнал», 1791, ч. I, кн. 1, стр. 114—118.

ка», которые начали появляться в «Московском журнале» в том же году, читатель встречал не только ряд сочувственных упоминаний имени Руссо, но и ссылки на его идеи. Цюрихский юноша прославляет «союз братский» вольного и простого народа: «Мы [...] не знаем роскоши, которая свободных в рабов и тиранов превращает. На что нам блеск искусства, когда природа нам сияет во всей своей красе»<sup>66</sup>.

Не следует думать, что сочувствие Карамзина руссоистическим тезисам в эти годы определялось непониманием связей, существовавших между идеями «жизневого гражданина» и революционной практикой. Для Карамзина — внимательного читателя французских газет, журналов и брошюр, побывавшего в эти бурные дни в Париже, связь эта не осталась тайной. Но в те дни это еще не пугало его. В первой книжке журнала за 1792 г. он рекомендовал русскому читателю книгу Мерсье «De J.-J. Rousseau, considéré comme l'un de premiers auteurs de la révolution», называя ее и «Руины» Вольнея «важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем году»<sup>67</sup>. Показательно, что, по условиям русской цензуры тех дней Карамзин не мог не только прореферировать рекомендуемую им книгу, но и дать ее полное название, заменив упоминание революции скромным «etc». Связь идей Руссо и революции была подчеркнута в книге, которую Карамзин рекомендовал русскому читателю самым недвусмысленным образом. Следы чтения книги Мерсье сохранились в произведениях Карамзина. Например, видимо, здесь он заимствовал рассказ о впечатлении, которое произвела на Руссо ария Орфея в опере Глюка<sup>68</sup>. Карамзин внимательно и сочувственно информировал своих читателей о культе Руссо в революционном Париже, откликнувшись, например, на постановку пьесы «J.-J. Rousseau à ses derniers moments». Карамзину присуще было очень широкое восприятие наследия Руссо. В отличие от представителей более демократических кругов он воспринимает Руссо не только как политического писателя, но и как выдающегося психолога. В «Письмах русского путешественника» он отмечал: «„Confessions“ de J.-J. Rousseau, Stillings Jugendgeschichte и Anton Reiser предпочитаю я всем систематическим психологиям в свете»<sup>69</sup>. Карамзин останавливается на влиянии Руссо-писателя, сопоставляя «Новую Элоизу» и «Вертера» («основания и многие положения (situations) в „Вертере“ взяты из „Элоизы“, но в нем более натуре») <sup>70</sup>.

<sup>66</sup> Там же, ч. IV, кн. 2, стр. 187.

<sup>67</sup> «Московский журнал», 1792, ч. V, кн. 1, стр. 150—151.

<sup>68</sup> Ср. «Письма русского путешественника», 1801, ч. V, стр. 207 и прим. на стр. 5 в книге Мерсье.

<sup>69</sup> «Московский журнал», ч. II, кн. 1, стр. 42. «Stillings Jugendgeschichte» — опубликованная в 1777—1778 гг. серия автобиографических книг немецкого писателя И. Г. Юнга, названного Штиллингом (1740—1817); Anton Reiser — вышедший в 1785—1790 гг. в Берлине автобиографический роман видного представителя периода «Бури и натиска» К. Ф. Морица (1757—1793).

<sup>70</sup> «Московский журнал», ч. VI, кн. 1, стр. 41.

Перелом в отношении к Руссо обозначился не тогда, когда раскрылась связь его идей с революцией, а когда сама эта революция приняла решительно неприемлемый для Карамзина, как и для всего круга его единомышленников, характер — в 1793 г., т. е. после установления якобинской революционной диктатуры<sup>71</sup>. Первым выступлением Карамзина против Руссо явилась статья «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Весьма важно точно датировать это произведение. Еще в статье «Что нужно автору?» (начало 1793 г.) Карамзин отзывался очень положительно о «человеколюбии» Руссо, что в условиях тех дней не могло еще звучать двусмысленно: «В самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия»<sup>72</sup>. Но стремительная динамика политической жизни этого года определяла и эволюцию оценок Руссо, и мы не поймем их, если не будем стремиться к точным — по дням — датировкам. Статья «Нечто о науках» писана в 1793 г., но, как указал сам автор, это было еще «при жизни Боннета». А так как швейцарский натуралист и философ Шарль Бонне скончался 20 мая 1793 г., то значит статья эта была написана, когда революционная борьба уже достигла большого напряжения, но не привела еще к победе антижирондистского восстания 31 мая — 2 июня 1793 г. и к установлению якобинской диктатуры. Это и определяет дух статьи. Она направлена против культурпессимизма Руссо, но весьма далека от того ругательного тона, который в это время, под влиянием правительства, возобладал в русской печати. Карамзин писал: «Руссо! Руссо! Память твоя теперь любезна человекам; ты умер, но дух твой живет в „Эмиле“, но сердце твое живет в Элоизе — и ты восставал против наук, против Словесности! И ты проповедывал счастье невежества, славил бессмыслие, блаженство зверской жизни! Ибо что иное как не зверь есть тот человек, который живет только для удовлетворения своим физическим потребностям»<sup>73</sup>. Однако любопытно, что в этой статье Карамзин не нападает на «философов XVIII века», не смешивает энциклопедистов и Руссо и не винит их, как это было свойственно в те дни почти всем русским литераторам, в подготовке революции<sup>74</sup>. Более того, нападая на Руссо, он озабочен

<sup>71</sup> Отношение Карамзина к якобинской диктатуре было противоречивым: резкое осуждение выступлений санкюлотов сочеталось с личным преклонением перед Робеспьером. Подробнее см. Ю. Логман. Этика и тактика революционной борьбы в отражении русской литературы конца XVIII в. Статья I.— «Труды по русской и славянской филологии Тартуского университета», т. VIII. Тарту, 1965.

<sup>72</sup> Н. М. Карамзин. Соч., т. III, 1848, стр. 372.

<sup>73</sup> Там же, стр. 396.

<sup>74</sup> Один из наиболее страстных поклонников Руссо в России, переводчик его общественно-политических трактатов П. С. Потемкин, писал И. И. Шувалову: «Вы, будучи знакомы всем философам нашего века: Вольтеру, Руссо, Рейналю и грубому Дидро (...), вразумите меня постигнуть, как могли они, столь знаменитые разумом люди, возбуждая народы к своевольству, не предвидеть пагубные следствия для народа? Как могли они не предузнать, что человек может быть премудр, но человеки буйны суть» («Московский вестник», 1809, ч. I, стр. 89).

*Титульный лист русского перевода  
статьи «О политической экономии»,  
СПб., 1777*

тем, чтобы защитить идею просвещения, особенно просвещения русских крестьян, от невежд, которые «под эгидой славного женеваго гражданина злословят просвещение»<sup>75</sup>. Карамзин пытался отгородиться и от «якобинского» духа Руссо, и от реакции, прославляя быстрое, но эволюционное движение к идеалам, провозглашенным философами XVIII столетия. Статья оптимистична по своему духу и резко выделяется на фоне всего того, что писалось в эти дни в России о Франции, ее философах и политической жизни. Однако увидеть свет ей было суждено только в 1794 г., когда настроения Карамзина резко переменились. Якобинская диктатура и революционный террор потрясли его. Конец этой диктатуры, кратковременное смягчение реакции в России в 1796 г. вызвали у Карамзина новые надежды и он снова сочувственно отозвался о революции и ее пророке Руссо: «Французская революция — одно из тех событий, которые на долгие века определяют судьбы людей. Начинается новая эра: я ее вижу, но Руссо ее предвидел. Прочтите примечание в „Эмиле“, и книга выпадет у вас из рук»<sup>76</sup>.

С иных позиций начал полемизировать Карамзин с Руссо в 1800-е годы, когда вся система идей XVIII в. была им подвергнута решительному пересмотру. Такие его сочинения, как «Чувствительный и холодный» и «Моя исповедь» весьма показательны для определения новых принципов изображения человека в карамзинской прозе XIX в. Его позиция в этом вопросе про-

<sup>75</sup> Н. М. Карамзин. Соч., т. III, стр. 374.

<sup>76</sup> «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб., 1866, стр. 480. В том месте «Эмиля», о котором идет речь (кн. III, п. 136), Руссо утверждал, что «мы приближаемся к эпохе кризиса, к веку революции», а в примечании отрицал возможность длительного существования современных ему европейских монархий.

## СТАТЬЯ

О  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
**ЭКОНОМИИ,**  
или  
ГОСУДАРСТВЕННОМЪ  
**БЛАГОУЧРЕЖДЕНИИ.**

Переведена изъ Энциклопедіи.



вЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ  
при Императорской Академіи Наукъ  
1777 года.

тивопоставлена просветительской традиции XVIII в., традиции Радищева и, особенно, Руссо. В очерке «Чувствительный и холодный» (направленность этого произведения подчеркнута подзаголовком: «Два характера») Карамзин демонстративно утверждает врожденную природу человеческого характера, независимость его от внешних условий. Не случайно очерк начинался прямой полемикой с просветительской точкой зрения: «Дух системы заставлял разумных людей утверждать многие странности и даже нелепости: так, некоторые писали и доказывали, что наши природные способности и свойства одинаковы; что обстоятельства и случаи воспитания не только образуют или развивают, но и дают характер человеку, вместе с особенным умом и талантами [...] Нет! одна Природа творит и дает: воспитание только образует. Одна Природа сеет: искусство или наставление только поливает семя, чтобы оно лучше и совершеннее распустилось. Как ум, так и характер людей есть дело ея: отец, учитель, обстоятельства, могут помогать его дальнейшим развитиям, но не более»<sup>77</sup>. Вся судьба героев очерка, Эраста и Леонида, определена не средой, не воспитанием, а врожденными свойствами. Даже политические воззрения героев всецело обусловлены их врожденным темпераментом: «Эраст обожал Катона, добродетельного самоубийцу, — Леонид считал его помешанным гордецом. Эраст восхищался бурными временами греческой и римской свободы — Леонид думал, что свобода есть зло, когда она не дает людям жить спокойно»<sup>78</sup>.

Однако особенно отчетливо этот поворот во взглядах Карамзина проявился в повести «Моя исповедь», своеобразном «Анти-Эмиле». Повесть эта направлена и против «Эмиля», и против «Исповеди» Руссо, и — шире — против идеи врожденной доброты, а, следовательно, внутренней значительности человеческой личности. Однако, трактуя природу человека как врожденно-эгоистическую, злую, Карамзин выступает против подчеркнутого интереса человека к своей личности, против субъективизма, тем самым подымая руку и на собственное творчество предшествующих периодов. Именно в подобном смысле легко могли быть истолкованы слова: «Ныне путешествуют не для того, чтобы узнать и верно описать другие земли, но чтобы иметь случай поговорить о себе»<sup>79</sup>. Но ведь именно в этом упрекали самого Карамзина его многочисленные критики! Он, однако, пошел еще дальше — и передал отрицательному герою свои собственные программные заявления 1790-х годов. В «Моей исповеди» этот отрицательный герой оправдывает свою страсть к самопризнаниям, свой интерес к описанию собственных чувств направлением современной ему литературы: «Ныне всякой сочинитель романа спешит

<sup>77</sup> Н. М. Карамзин. Соч., т. III, стр. 618—619.

<sup>78</sup> Там же, стр. 622. Напомним, что Катон был одним из любимейших героев Руссо, а понятие о свободе у него часто сопутствует эпитет бурная (orageuse). Образ Катона был весьма популярен в русской литературе от Ломоносова до Радищева.

<sup>79</sup> Н. М. Карамзин. Соч., т. III, стр. 504.

как можно скорее сообщить свой образ мыслей о важных и неважных предметах. Сверх того, сколько выходит книг под титлом: „Мои опыты“, „Тайный журнал моего сердца“! Что за перо, то и искреннее признание»<sup>80</sup>. Но ведь это же те принципы, которые неоднократно декларировал сам Карамзин! В статье «Что нужно автору?» (1793) он писал: «Ты берешься за перо и хочешь быть Автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: „Каков я?“ Ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего»<sup>81</sup>.

Карамзин передал герою «Моей исповеди» и свое любимое выражение: «Весь свет казался мне беспорядочною игрою китайских теней». «Я родился философом — носил все равнодушно и твердил любимое слово свое: „Китайские тени! Китайские тени!“»<sup>82</sup>. Но ведь читатель прекрасно помнил, что еще в 1801 г. Карамзин в заключении «Писем русского путешественника» так характеризовал мир в авторском тексте от своего собственного лица!

Однако главный адресат полемики — все же не собственное творчество. Повесть, как уже отмечалось, направлена против принципов Руссо. И название ее — «Моя исповедь» и слова о том, что «нынешний век можно назвать веком откровенности [...] Мы хотим жить, действовать и мыслить в прозрачном стекле»<sup>83</sup> — не могли не напомнить читателю об «Исповеди» Руссо. В еще большей мере повесть направлена против «Эмиля». Перед читателем проходит жизнь героя, построенная как повествование о воспитании человека. Учителями героя были «природа», «естественное влечение» и воспитатель-швейцарец — персонаж, который пройдет в дальнейшем через ряд литературных произведений. Он мелькнет в черновиках «Евгения Онегина: «Мосье швейцарец благородный», «Мосье швейцарец очень строгий», «Мосье швейцарец очень важный»<sup>84</sup>. В сочетании с такой характеристикой воспитателя формула:

*Учил его всему шутя,  
Чтоб не измучилось дитя —  
Не докучая бранью [шумной] —<sup>85</sup>*

становится описанием педагогики Руссо, основанной на отказе от средств принуждения. Воспитывать играя — один из принципов Руссо. Лишь в дальнейшем, когда воспитателем стал «француз убогий», весь отрывок переосмыслился. Образ швейцарца-воспитателя в русской литературе дожил до эпохи 40—50-х годов. Воспитатель-женевец, который «изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогике от „Эмиля“ и Песталоцци до Базедова и

<sup>80</sup> Там же.

<sup>81</sup> Там же, стр. 374.

<sup>82</sup> Там же, стр. 515.

<sup>83</sup> Там же, стр. 504.

<sup>84</sup> Пушкин и др. Полн. собр. соч., т. VI, М., 1937, стр. 215.

<sup>85</sup> Там же.

Николай»<sup>86</sup>, определит годы ученичества Бельтова. «Молодой швейцарец» воспитывал и Лавредкого.

Воспитатель в «Моей исповеди» — не только земляк Руссо, он вольнодумец и республиканец. «Я родился в республике и ненавижу тиранство»<sup>87</sup>, — говорит он.

Предоставленный «природе», воспитанный по правилам просветительской педагогики, герой Карамзина вырастает, однако, эгоистом. Человек, по мнению автора, не может почерпнуть основ морали ни в своей природе, ни в своих разумно понятых интересах. Инстинктивные стремления его — антиобщественны. Не менее важно и другое; предоставленный самому себе, отделившийся от всего «внеличностного»: морали, религии, народных обычаев, семейных привязанностей — герой обречен не только на себялюбие, но и на неизбежную скуку — жизнь его делается пустой. Человек XVIII в., герой просветительских романов, убежденный в том, что «мораль — в природе вещей», уверенный в доброте неизвращенного человека, находил опору в самом себе. Именно через собственные «интересы» герой приобщался к народу и человечеству. Вместе с утратой веры в человеческую личность возникает стремление опереться на вне человека лежащие силы — прежде всего, на традицию, обычай. Человек, оторванный от обычаев, мыслится как безнравственный и пустой, бессодержательный. Именно стремление заполнить душевную пустоту побуждает героя совершить ту цепь нелепых и безобразных поступков, которая составляет фабулу «Моей исповеди». Герой Карамзина, по сути дела, даже не эгоист, в понимании XVIII в., ибо не стремится к собственному благу. Убежденный в том, что счастья вообще нет, он хочет лишь развлечений, заполняющих жизнь. Суть же его забав не в том, что они доставляют ему счастье ценой притеснения других людей, а в циническом удовольствии осмеяния любых нравственных принципов. В этом смысле показательное совпадение «забав» героя «Моей исповеди» и Ставрогина, независимо от того, явилось ли это совпадение плодом случайности или означало сознательную переключку.

Герой «Моей исповеди» «наделал много шума в своем путешествии — тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым непристойным образом; а всего более тем, что с добрыми католиками, целуя туфель папы, укусил ему ногу и заставил бедного старика закричать изо всей силы»<sup>88</sup>.

Это как раз те дерзости «совсем неслыханные», «совсем дрянные и мальчишеские», которыми развлекался «принц Гарри»:

«Николай Всеволодович поднял мадам Липутину — чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно перед ним робевшую, — сделал с ней два тура,

<sup>86</sup> А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. IV. М., 1955, стр. 90.

<sup>87</sup> Н. М. Карамзин. Соч., т. IV, стр. 506.

<sup>88</sup> Там же, стр. 507—508.



уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив, наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок»<sup>89</sup>.

Эпизод с губернатором в «Бесах» разительно напоминает поступок Карамзинского героя в Ватикане: «Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает,— угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича [...] Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а, с другой стороны и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того, чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.— Nicolas, что за шутки! — простонал он машинально, не своим голосом»<sup>90</sup>.

Не один Карамзин пересмотрел в начале XIX в. свое отношение к наследию Руссо. Вопрос этот был неотделимо связан с общей идейной проблематикой эпохи: с отношением к Французской революции и всему комплексу вызванных ею к жизни конфликтов.

Отношение к Руссо в России начала XIX в. было очень своеобразным. Вниманию к творчеству писателя не падало: дневники, письма той поры свидетельствуют о живом интересе русских читателей к творчеству Руссо. Так двадцатилетний Андрей Тургенев записывал в дневнике 21 декабря 1801 г.: «„Новая Элоиза“» будет моим Code de morale во всем: в любви, в добродетели, в должностях общественной и частной жизни»<sup>91</sup>. Об общественном интересе к творчеству Руссо в эти годы нельзя судить по количеству переводов, весьма ограниченному. Мы имеем сведения, что издание ряда переводов из Руссо в эти годы по разным причинам, частично, видимо, цензурным, не было доведено до конца. Так, В. Попугаев в стихотворении «Ода на случай позволения, сделанного советом на пропуск Contrat Social, сочинение славного Женевского философа Руссо, представленное цензуре на рассмотрение», приветствовал данное цензурой разрешение «великих гениев читать»<sup>92</sup>. Однако в свет это издание не появилось, как не появилось из-за цензурного запрета и приветствовавшее его стихотворение Попугаева. А в ноябре 1801 г. А. Кайсаров сообщал Андрею Тургеневу: «Карамзина просят перевести „La nouv [elle] Heloi [se]“ и дадут по 30 рублей за лист»<sup>93</sup>. Издание это тоже не состоялось.

<sup>89</sup> Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в десяти томах, т. VII. М., 1957, стр. 51.

<sup>90</sup> Там же, стр. 53—54.

<sup>91</sup> Архив ИРЛИ АН СССР. Архив бр. Тургеневых, ф. 309, № 272, л. 21 об.

<sup>92</sup> «Поэты-радищевцы», 1935, стр. 278—279.

<sup>93</sup> Архив ИРЛИ АН СССР. Архив бр. Тургеневых, ф. 309, № 50, л. 42 об.

В эти годы Руссо начинает восприниматься как писатель, созвучный романтическому культу природы и бурному субъективизму русских поклонников Шиллера. В сознании русских читателей начала XIX в. он при этом чаще всего воспринимается в противопоставлении Вольтеру. Андрей Тургенев в письме Жуковскому (1802) рассказывал о своей беседе с Е. М. Соковниной: «Я сказал, что ты переводишь Вольтера; она: „А он обещал мне, что никогда не будет любить Вольтера“; я: „Он, поверьте, совсем его не любит, а Руссо его наставник“»<sup>94</sup>. Характерно, что тут же нашелся третий собеседник, который «восстал против Руссо».

Новая эпоха в истории восприятия идей Руссо в России началась в период формирования дворянской революционности. Поколение декабристов с детства было знакомо с его сочинениями. Александр Муравьев на следствии показал, что вольнодумство свое заимствовал от чтения «разных политических книг», среди которых назвал «Contrat Social de J.-J. Rousseau»<sup>95</sup>. М. Фонвизин показал, что «свободный образ мыслей» сложился у него «в 17-ть лет из чтения Монтеスキю, Райналя и Руссо»<sup>96</sup>. Н. Крюков сообщил, что чтение Руссо породило в нем «желание познать человека и то, что может служить к его счастью»<sup>97</sup>. Н. Муравьев вспоминая детские годы, когда он, «не ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением „Contrat Social“ Руссо, мысленно начертал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться чрез пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собою надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику»<sup>98</sup>. Однако свидетельства эти сравнительно немногочисленны, что заставляет исследователя задуматься. Нет никакого сомнения, что подавляющее большинство декабристов было широко осведомлено о идеях и сочинениях Руссо и что знакомство это произошло рано, на грани детского и юношеского возрастов. Между тем, в ответах на знаменитый седьмой вопрос следственной комиссии: «Откуда заимствовали первые вольнодумческие и либеральные мысли», где специально предлагалось назвать книги, способствовавшие «мнениям сего рода», большинство декабристов не называли Руссо. Они называли Бенжамена Констана, Бентама, Биньона, Герена, Дестю де Траси, политические газеты, журналы и парламентские отчеты после 1815 г. и другие источники. Вряд ли можно предположить в этом лишь прием самозащиты, поскольку тут же, в этих же показаниях они открыто признавались в речах, мнениях и делах неизмеримо более криминальных, с точки зрения их судей, чем чтение Руссо. Вероятнее

<sup>94</sup> Архив ИРЛИ АН СССР. Архив бр. Тургеневых, ф. 309, № 4759.

<sup>95</sup> «Восстание декабристов», т. III, стр. 8.

<sup>96</sup> Там же, стр. 66.

<sup>97</sup> Там же, т. XI, стр. 371.

<sup>98</sup> «Русский архив», 1885, № 9, стр. 25.

предположить, что в ряде случаев показания были искренними. Дело, видимо, в том, что, несмотря на безусловное знакомство с сочинениями Руссо, многие декабристы не связывали его идеи с теми конкретно-политическими задачами, которые им приходилось решать. В принципиальном отношении идеи Руссо отпугивали их своей беспощадной плебейской радикальностью. Как решение конкретных политико-тактических вопросов они представлялись наивными, не соответствующими той сложности общественно-политических проблем, которая раскрылась в результате всемирно-исторического опыта конца XVIII — начала XIX века. На фоне практических рекомендаций Бенжамена Констана пафос Руссо воспринимался как высокопарные мечтания, годные для юношей, но не для политиков.

В этом смысле показательным, что Н. Тургенев с его либеральным догматизмом относился к Руссо весьма противоречиво. Хорошо с детства зная его сочинения, он сочувственно выделял в нем одну, свойственную и самому Тургеневу мысль: народ в нравственном отношении выше дворянства. Читая в 1816 г. «Исповедь», он замечает: «Давно уже я заметил, что между простыми людьми гораздо более хороших и добрых людей, нежели между людьми, принадлежащими к высшим классам. Это замечание Руссо для меня приятно»<sup>99</sup>. Однако социально-политические концепции Руссо, сама идея общественного договора, ему кажутся наивными. Еще в 1811 г. он присоединился к критику-иезуиту Жофруа, утверждавшему, что «Contrat Social outrage tres ennuyeux и непонятнее апокалипсиса»<sup>100</sup>. Уже зрелым политическим мыслителем, одним из ведущих идеологов Союза Благоденствия, Н. Тургенев, осуждая ссылки на Руссо в речи президента неаполитанского парламента, писал: «Без буфонства они не на час. Теория договора есть настоящее буфонство; но может быть ясна для итальянских понятий»<sup>101</sup>.

Совершенно иным было отношение к Руссо в более радикальных кругах декабристского Юга. Например, В. Ф. Раевский «Общественный договор» Руссо «вытвердил, как азбуку»<sup>102</sup>. Не случайно его ум так занимало идеальное государство «Атлантида»<sup>103</sup>. А. В. Поджио называл себя: «Поклонник мо-

<sup>99</sup> Н. Тургенев. Дневники, т. II. — «Архив бр. Тургеневых», вып. 3. СПб., 1913, стр. 316.

<sup>100</sup> Там же, стр. 85 («Общественный договор очень скучен»). Любопытно сопоставить с утверждением консервативного Т. фон Бока: «Библейское общество есть не что иное, как Ж.-Ж. Руссо в духовном облачении. Направление этого общества по существу революционно, как направление и самого Евангелия» (А. В. Предтеченский. Записка Т. Е. Бока. — Сб. «Декабристы и их время». М.—Л., 1951, стр. 200).

<sup>101</sup> «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу». М.—Л., 1936, стр. 319.

<sup>102</sup> П. Е. Щеголев. Декабристы. М., 1926, стр. 13; ср. «Литературное наследство», т. 60, стр. 116.

<sup>103</sup> «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 660—661.

его любимого Руссо»<sup>104</sup>. Как отмечал исследователь, возникшее в те же годы в Одессе радикальное разночинное «Общество независимых» «интеллектуально тяготело к идеям „Общественного договора“ Руссо („Общество независимых. Закон его — следовать природе. Монаршей власти не признавать, а быть всем равными, признавать натуру творцом всего“)»<sup>105</sup>.

В этом плане особенный интерес представляет динамика отношения к наследию Руссо А. С. Пушкина.

Даже среди своих современников Пушкин выделялся глубиной и органичностью связей с культурой «философского столетия». Причем именно лучшее наследие просветителей — демократические идеи равенства людей и их исконных, неотъемлемых прав, — в значительной степени питало революционный пафос молодого Пушкина. В период сближения в Кишиневе с кружком М. Орлова обаяние идей природного равенства и общественного договора для поэта резко возросло. Пушкин, конечно, читал Руссо и прежде. В лице поклонником Руссо был Кюхельбекер. Да и вообще трудно представить себе образованного молодого человека тех лет, незнакомого с сочинениями Руссо, чье имя уже более полувека было неразрывно связано с политической жизнью, философией, публицистикой, литературой. Однако бесспорно, что самостоятельное отношение Пушкина к Руссо сложилось именно в связи с общим идейным влиянием на него декабристов Юга.

В Кишиневе, в тесном общении с демократически настроенными членами тайных обществ Пушкин заново пересмотрел свое отношение к философу, чьи взгляды, например, к кругу Николая Тургенева явно не встречали одобрения. Специально изучивший этот круг вопросов Б. В. Томашевский пишет: «Под влиянием политических споров, возбуждаемых революционной обстановкой на Западе, Пушкин обращается к Руссо и перечитывает его произведения»<sup>106</sup>. Именно в это время Руссо начал восприниматься поэтом как «защитник вольности и прав» или, в черновом варианте, — «Руссо — Апостол наших прав»<sup>107</sup>. Строки эти написаны еще в Кишиневе, в мае 1823 г., приблизительно за полгода до того, как возник первоначальный план «Цыган».

Поэма «Цыганы» обычно трактуется как разрыв Пушкина с романтизмом и осуждение индивидуализма романтического героя.

Думается, что проблематика поэмы вообще лежит в несколько иной плоскости. Под влиянием бесед с кишиневскими декабристами, напитанными просветительскими демократическими идеями об исконной доброте и равенстве людей, Пушкин задумал поэму о жизни «естественного» человека. Такой сюжет совсем не ояначал стремления уйти от острой проблематики в буколичес-

<sup>104</sup> А. В. По д ж и о. Записки декабриста. 1930, стр. 59.

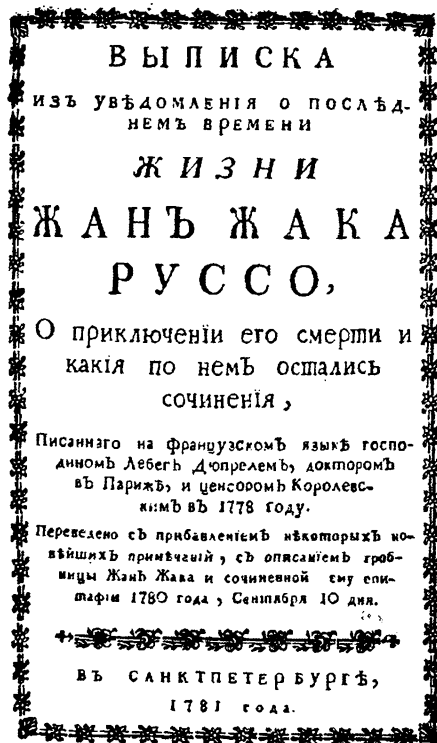
<sup>105</sup> «Декабристы». Неизданные материалы и статьи под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. М., 1925, стр. 76.

<sup>106</sup> Б. В. Т о м а ш е в с к и й. Пушкин и Франция. Л., 1960, стр. 95—96.

<sup>107</sup> П у ш к и н. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 233.

Титульный лист брошюры с биографией  
Ж.-Ж. Руссо. СПб., 1781

ское благодущие. Идеал прекрасных возможностей человека лишь оттепляет мысль о его угнетенном, рабском состоянии. «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах», — писал Руссо в «Общественном договоре». Замысел поэмы о свободном народе, живущем по законам природы, был исполнен политической остроты и вполне созвучен настроениям кишиневских декабристов — друзей Пушкина. С самого начала замысел поэмы строился на противопоставлении «естественной» жизни цыганского табора и «противоестественной» цивилизации. Мир цыган — мир воли и веселья. Уже в первых черновиках появилась формула: «Как вольность, весел их ночлег». Веселье и свобода для Пушкина так же тесно связаны, как уныние и рабство. И не случайно эпитет «веселый» первоначально густо окрашивал все описание жизни цыган. В черновой редакции: «веселым табором ночуют»<sup>108</sup>; Земфира боре «все так весело, так живо»<sup>110</sup>, в дни молодости в старом цыгане кровь «весело кипела»<sup>111</sup>. Алеко стал «вольный житель мира, и солнце весело над ним полуденной краскою блещет». В дальнейшем Пушкин разнобразил систему эпитетов, но это не изменило общей тональности повествования. В представлениях Руссо, Мабли и других философов демократического крыла Просвещения, свобода неразрывно связана с равенством и бедностью. Если описание нищеты реального народа современности (например, русского крестьянина в «Путешествии из Петербурга в Москву») — свидетель-



привыкла к «веселой воле»<sup>109</sup>, в та-

<sup>108</sup> Там же, т. IV, стр. 405.

<sup>109</sup> Там же, стр. 408.

<sup>110</sup> Там же, стр. 413.

<sup>111</sup> Там же, стр. 423.

ство социальной несправедливости, так как подразумевает на другом общественном полюсе роскошь, то идеальный народ философской повести весь беден, и это мыслится как необходимое условие равенства. Руссо уже в своем первом «Рассуждении» на тему, предложенную Дижонской академией, доказывал, что науки губительны не сами по себе, а именно потому, что не могут развиваться без роскоши: «Что были бы искусства без роскоши, которая их питает?»; «Вот каким образом, роскошь, распущенность и рабство во все времена становились наказанием за попытки выйти из счастливого неведения, в которое погрузила нас вечная Мудрость»<sup>112</sup>. Мабли писал о современной ему Европе (цит. по переводу А. Н. Радищева): «Разумы равно от сребролюбия и сладострастия изнемогают»<sup>113</sup>. Таким образом картины бедности и мудрого неведения входили в положительную характеристику народа. В них видели залог равенства и социальной справедливости. Так появляются «изданные шатры». Вместо «полузавешанных коврами» первоначально было: «Покрытых бедными коврами», «рубищем». Бедность и воля — синонимы. Старый цыган говорит:

*Будь наш — привычки к нашей доле,  
Бродящей бедности и воле*<sup>114</sup>.

Пушкин резко подчеркнул эту связь (бедность и свобода) в наброске примечания к «Цыганам»: «Привязанность к дикой вольности, обеспеченной бедностью»<sup>115</sup>.

Антитезой бедной и простой жизни цыган является «неволя душных городов». Цивилизованное общество — богатое и рабское одновременно: там «проят денег да цепей»<sup>116</sup>.

*...там огромные палаты,  
Там разноцветные ковры...*<sup>117</sup>

Жилище старого цыгана и Земфиры

*...телега,  
убогим крытая ковром*<sup>118</sup>.

Старый цыган также противопоставляет свободу и богатство:

*Ты любишь нас, зоть и рожден  
Среди богатого народа.  
Но не всегда мила свобода  
Тому, кто к неге приучен*<sup>119</sup>.

<sup>112</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. I. Paris, 1815, p. 25, 23.

<sup>113</sup> А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. II, стр. 245.

<sup>114</sup> Пушкин. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 180.

<sup>115</sup> Там же, т. XI, стр. 22.

<sup>116</sup> Там же, т. IV, стр. 185.

<sup>117</sup> Там же.

<sup>118</sup> Там же, стр. 202.

<sup>119</sup> Там же, стр. 136.

Именно любовь к роскоши, неспособность привыкнуть «к заботам жизни бедной» не дала Овидию насладиться в изгнании вольностью. В черновых вариантах особенно резко подчеркнуто то, что герой оставил ради свободы «златую» «роскошь и забавы», бросил «цепи роскоши пустой»<sup>120</sup>.

Активное сближение Пушкина с демократическими тенденциями философской мысли XVIII в. сильно чувствуется в «Цыганах». Деятели «Союза благоденствия» придавали просвещению особое значение в освободительной борьбе, и Пушкин до южной ссылки вполне разделял их убеждения. Даже в 1821 г. в Кишиневе, переживая усиление радикальных настроений, поэт все еще верил в связь просвещения и свободолюбия. Он стремился в «просвещении стать с веком наравне»<sup>121</sup>. Но уже в 1824 г., одновременно с работой над «Цыганами», он пишет:

*Где благо, там уже на страже  
Иль просвещение, иль тиран*<sup>122</sup>.

Тирания и цивилизация здесь приравнены. За этим стоит убеждение, что человеческое общество страдает не от несовершенства человека, а от порочности устройства общества, которое должно быть переделано. Эта мысль подчеркнута и в «Цыганах». Алеко «волен», потому что презрел «оковы просвещения».

Противопоставление свободы патриархального общества рабству цивилизации особенно резко выразилось в судьбе героя поэмы. Город, из которого ушел герой, — царство Закона. «Его преследует Закон». Закон с большой буквы — это, конечно, не какой-нибудь конкретный, нарушенный героем закон, а само гражданское общество, само выродившееся «общественное состояние».

В предшествующий период Пушкин, как и большинство декабристов, считал, что народ неразумен, подчинен страстям и может двигаться к свободе, лишь подчиняясь просвещенному руководству. Поэтому он уделял особое внимание Закону как силе, способной регулировать отношения между членами общества, властью и народом: «С вольностью святой Законов мощных сочетанье». Но если считать, что люди по природе склонны к добру, если между частным и общим благом нет противоречий, то отпадает необходимость в Законе, регулирующем отношения человека к другим людям. Цыгане живут без властей, без Закона, не образуя гражданского общества. Очень существенна такая деталь. Земфира, объясняя отцу, почему Алеко решил стать цыганом, первоначально говорила: «Ему по сердцу наш закон». Пушкин исправил «по сердцу» на «по праву» и остановился на этом варианте как на окончательном — переписал отрывок<sup>123</sup>. Но в окончательном тексте он резко изменил смысл: у цыган нет Закона. Закон — принадлежность гражданского общества,

<sup>120</sup> Там же, стр. 414—415.

<sup>121</sup> Там же, т. II, кн. 1, стр. 187.

<sup>122</sup> Там же, стр. 333.

<sup>123</sup> Там же, т. IV, стр. 409, 410.

враг свободы. Стих звучал так: «Его преследует Закон». Ребенок не будет гражданином, потому что Алеко хочет воспитать его человеком. Центральное место в этом отношении — изъятый из окончательного текста монолог Алеко над колыбелью младенца. Сын Алеко вместе с жизнью получил «неоценимый дар свободы».

*Расти на воле без уроков  
Не знай стеснительных палат  
И не меняй простых пороков  
На образованный разврат.  
Под сенью мирного забвенья  
Пушкой цыгана бедный внук  
Лишен и неги просвещения  
И пышной суеты наук —  
За то беспечен, здрав и волен...<sup>124</sup>*

А далее:

*От общества быть может я  
Отъемлю ныне гражданина —  
Что нужды — я спасаю сына —  
И я б желал, чтоб мать <моя>  
Меня родила в чаще леса...<sup>125</sup>*

При этом необычайно существенно то, что в роли «естественного народа» у Пушкина выступает народ кочевой, лишенный земельной собственности. Следует помнить, что Руссо в трактате «О причинах неравенства» подчеркнул, что именно возникновение земельной собственности порождает общественное состояние человека. Ту же мысль развивал и Радищев в хорошо известном Пушкину трактате «О человеке, его смертности и бессмертии».

Сын Алеко — «дитя любви, дитя природы», а не закона: Алеко и Земфиру связывает свободная сердечная склонность, а не юридическая зависимость. Не случайно Пушкин отбросил формулы «Я для него супругой буду», «И я его женою буду», ради: «Но я его подругой буду»<sup>126</sup>. Слово «муж» будет применено к Алеко лишь тогда, когда начнется борьба между ним и Земфирой за право ее на свободу. Принимая Алеко в семью и общество, старик не требует ни клятв, ни обрядов, ни обязательств:

*Я рад. Останься до утра  
Под сенью нашего шатра  
Или пробудь у нас и доле,  
Как ты захочешь...<sup>127</sup>*

<sup>124</sup> Пушкин. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 445.

<sup>125</sup> Там же, стр. 446.

<sup>126</sup> Там же, стр. 409 и 180.

<sup>127</sup> Там же, стр. 180.



Только добровольное согласие удерживает Алеко в обществе цыган. За преступление он накажется лишь изгнанием, ибо, как доказывали многие мыслители XVIII в., общество не может ни удерживать человека против его воли, ни лишать жизни.

Свободные люди патриархального общества просты душой, добры, им не знакомы злоба и ревность. «Нет существа более кроткого, чем человек в первобытном состоянии» (Руссо. О происхождении неравенства), ибо именно в нем проявляется с наибольшей силой природа человека. Радишев писал: «Из внешнего сложения человека мы видели, что менее всех других животных он способен к хищности. Пальцы его не вооружены острыми когтями для раздиранья своей снеди, как у тигра; нет у него серпообразных клыков на отъятие жизни [...] Итак, человек не есть животное хищное»<sup>128</sup>.

Доброта человека, ведущего естественный образ жизни, исключает ревность — чувство собственника. «Караибы — народ, который менее, чем какие-либо из ныне существующих народов, отделился от естественного своего состояния, — как раз миролюбивее всех в своих любовных делах и менее всех подвержены ревности, хотя они и живут в знойном климате, который, казалось бы, должен сообщить страстям этим еще большую деятельность»<sup>129</sup>.

Характерно, что в монологе Алеко над колыбелью сына ревность причислена к общественным предубеждениям наравне с сословной дворянской честию, зависимостью от вельмож и т. д.

*Нет не преклонит он колени  
Пред идолом какой-то чести,  
Не будет вымышлять измен  
Трепеща тайно жаждой мести*<sup>130</sup>.

Однако если внимательно рассмотреть первоначальный замысел поэмы, то становится очевидным, что даже в период наиболее решительного отрицания современных общественных порядков Пушкин не был во всем согласен с Руссо. Руссо считал, что «естественный человек» прост, добродушен, не лрок. Он говорит даже о «косности первобытного состояния», называет человека в естественном состоянии тупым животным. Страсти — губительное начало в человеческом существе. Высшая добродетель требует отказа от личного счастья, героизма. Обычный человек заботится о своем собственном счастье. «Взоры истинного героя простираются дале: счастье людей — вот его цель»<sup>131</sup>. На основе подобных представлений выростала мораль героического аскетизма, разнобразно проявившаяся и в якобинском искусстве, и в творчестве Шиллера, и в русской гражданской поэзии 1800—1810-х годов.

<sup>128</sup> А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. II, стр. 53. Отрывок этот — явно скрытая цитата из «Рассуждения» Руссо о происхождении неравенства.

<sup>129</sup> Ж.-Ж. Руссо. Рассуждение о происхождении неравенства, 68 стр. настоящего издания.

<sup>130</sup> Пушкин. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 446.

<sup>131</sup> J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. I, 1815, p. 392.

Позиция Пушкина была более сложной. Он отдал дань (особенно в лирике) декабристскому противопоставлению гражданской и любовной поэзии. В его стихотворениях первого петербургского и южного периода мы встретим идеал сурового гражданина, пренебрегающего радостями любви. Но в лирике тех же лет мы найдем и другой идеал, связанный с пониманием природы страстей философами-материалистами XVIII в. Это будет образ человека, гармонически развитого, исполненного жизненных сил и жажды счастья, свободолюбивого не вопреки своей привязанности к земной любви и красоте, а именно благодаря ей. Страстная, яркая личность не противостоит в этом понимании героическому образу борца, а сливается с ним. Раевский призывал Пушкина оставить «другим певцам любовь» и воспеть свободу. В том же духе высказывался и С. Тургенев. Рылеев отказывался от любовной поэзии («Любовь никак нейдет на ум, увы, моя отчизна страдает»). Пушкин и сам в оде «Вольность» демонстративно отказался петь «Цитеры слабую царицу». Но в стихотворении «Краев чужих неопытный любитель...» поэт приравнял страстность натуры свободолюбию. Как равные идеалы, стоят рядом —

*...гражданин с душою благородной,  
Возвышенной и пламенно свободной*

и —

*...женщина — не с холодной красотой,  
Но с пламенной, пленительной, живой*<sup>132</sup>,

а в собрании Кривцова — еще выразительнее: «огненной, пленительной, живой». «Хладному и пустому» свету противопоставлен «блистательный, веселый, просвещенный» (отношение в 1817 г. к просвещению еще положительное) круг друзей. А мы уже видели, что «веселый» у Пушкина — устойчивый синоним понятий «свободный» и «свободолюбивый» (ср. в «Кавказском пленнике»: «С веселым призраком свободы»).

То же противопоставление мы находим и в «Цыганах». Мир неволи — мир однообразия, серости, где страсти заменены торговлей, где нет ни ярких умов, ни ярких чувств. Мир цыган не только свободен — он ярок, нестроен, самобытен, исполнен огня, страстей и движений. Это добрые, но самобытные и пламенные характеры.

«Все живо посреди степей»<sup>133</sup>:

*Ложмогъев ярких пестрота,  
детей и старцев нагота,  
Собак и лай и завыванье,  
Вольники говор, скрип телег,  
Всё скудно, дико, всё нестройно,*

<sup>132</sup> Пушкин. Полн. собр. соч., т. II, кн. 1, стр. 43, 522.

<sup>133</sup> Там же, т. IV, стр. 179.

*Но все так живо-неспокойно,  
Так чуждо мертвых наших нег,  
Так чуждо этой жизни праздной,  
Как песнь рабов однообразной!*<sup>134</sup>

В городах:

*Любви стыдятся, мысли гонят*<sup>135</sup>.

В этом стремлении подчеркнуть полноту красок народной жизни нельзя не увидеть и подхода, отличного от романтического. Противопоставляя личность «толпе», романтики охотно говорили о герое ярком, необычном, грандиозном. Но сама эта характеристика подразумевала представление о «пошлой» и безликой толпе. Мысль о яркой личности, составляющей лишь единицу в «пестро-нестройной», яркой народной толпе, романтизму чужда. Если он и обращается к народу, то делает это в поисках «внеличностного»: смирения, простоты, отказа от индивидуального своеобразия. Между тем в «Цыганах» личность Земфиры не менее ярка, чем Алеко. Противостоит не яркий герой безликой массе, а яркость свободного примитивного народа однообразию рабской жизни города.

Если бы вся разработка сюжета была завершена в этом ключе, то и трагическая развязка — результат столкновения двух сильных и свободных натур — не бросила бы тени на антитезу жизни вольного народа степей и рабского мира цивилизации. Но между замыслом поэмы и ее завершением для Пушкина пролегли дни горьких разочарований и тяжелых размышлений.

События 1823 г., неудачи европейских революций, разгром кишиневского гнезда декабристов, горькое недоумение при виде равнодушия народов к своим правам и оторванности передовых людей от народа — все это ввело Пушкина в новый цикл размышлений, и они привели к пересмотру оценки основных идей Руссо. Прежде всего подверглась сомнению просветительская идея природной доброты и разумности человека, на которой зиждилась вера в общественные преобразования.

*[И взор я бросил на] людей,  
Увидел их надменных, низких,  
[Жестоких] ветреных судей,  
Глупцов, всегда злодейству близких,  
Пред боязливой их толпой  
[Жестокой], суетной, холодной  
[Смешон] [глас] правды благо<родны>й,  
Напрасен опыт вековой*<sup>136</sup>.

<sup>134</sup> Там же, стр. 182.

<sup>135</sup> Там же, стр. 185.

<sup>136</sup> Там же, т. II, кн. 1, стр. 293.

*Кто жил и мыслил, тот не может  
В душе не презирать людей*<sup>137</sup>.

Эти строки создавались почти одновременно. Пушкина стал занимать образ эгоиста, Наполеона. Черты его проступили в облике Онегина и Алеко. Но и «мирные народы» перестали восприниматься как носители положительного идеала. Поэма «Цыганы» получила пессимистическую концовку. Прежде бедность воспринималась как залог свободы и счастья. Мучительные, «злые» страсти раздирают лишь цивилизованное общество. Охваченный раздумьями переходного периода, Пушкин склонен видеть трагическое несовершенство в самой природе человека. Бедность не несет счастья:

*Но счастья нет и между вами,  
Природы бедные сыны!..  
И под издранными шагами  
Живут мучительные сны*<sup>138</sup>.

Разочарование Пушкина в 1823 г. в идеях Руссо было частью широкого процесса переоценки теоретического наследия XVIII в. Казалось бы, этим и должна была закончиться история русского руссоизма как живого общественного течения. Новые идеи: историзм, диалектика, новые имена философов Запада — Шеллинга, Гегеля, великих социалистов-утопистов, казалось, должны были навсегда заслонить сочинения «женевского гражданина». Но реальная история русской общественной мысли пошла иной дорогой. Специфическая судьба русской демократии привела к тому, что идеи Руссо еще долго сохраняли актуальность для русского писателя и читателя. Демократизм, эгалитарное решение проблемы собственности, революционный пафос борьбы с насилием над личностью, психологический анализ, основанный на вере в ценность любого человеческого существа, в то, что страдания отдельной личности имеют всемирно-историческое значение, требование неумолимой искренности от писателя, суровый максимализм социальной и этической программы — все это делало сочинения Руссо исполненными для русского читателя XIX в. живого интереса. Все основные направления русской общественной мысли второй половины XIX в. от Чернышевского и Добролюбова до Толстого и Достоевского оказались, каждое по-своему, сложно соотносимыми с идейным наследием великого французского мыслителя — гуманиста и демократа.

\*

Изучение дальнейшей судьбы идей Руссо в России не входит в задачу настоящего обзора. Однако рассмотренные нами факты получают исторический смысл лишь в связи с перспективами дальнейшего развития русского руссоизма.

<sup>137</sup> Пушкин. Полн. собр. соч., т. II, кн. 1, стр. 24.

<sup>138</sup> Там же, т. IV, стр. 203—204.

Прежде всего следует подчеркнуть, что, и перейдя за грани исторически очерченной проблематики XVIII в., наследие Руссо оставалось живым и современным для деятелей русской культуры середины и второй половины XIX в. Конечно, не абстрактный интерес к далекому прошлому заставил молодого Добролюбова читать в 1853 г. «Об общественном договоре» по рукописному переводу<sup>139</sup>. Но наиболее ярким свидетельством того, что сочинения Руссо сохранили для русского читателя и через сто с лишним лет после их написания всю силу и обаяние современности, является, с одной стороны, непрекращающаяся полемика, с другой, — как и в XVIII столетии — избирательность в усвоении его наследия. Он не становится «классиком», все идеи которого одинаково принимаются, поскольку в равной мере далеки от злобы дня. Каждый из лагерей русской мысли XIX в. имеет «своего» Руссо.

Не рассматривая этого сложного вопроса в полном объеме, отметим лишь, что в интерпретации наследия Руссо в эти годы можно выделить три основных направления.

Первое — связано с оценкой Руссо революционными демократами. Конечно, в этой связи, лишь Чернышевского. Н. Г. Чернышевский был страстным поклонником Руссо, о котором писал: «Ничего, кроме дивно-гениального, не отдавал он в печать»<sup>140</sup>. Однако в отношении его к наследию французского мыслителя происходила показательная эволюция. Чернышевский до ареста явно, в первую очередь интересуется Руссо как социальным мыслителем. При этом ему свойственна тенденция «приблизить» Руссо к идеям русских шестидесятников. В «Антропологическом принципе в философии», давая знаменитое определение связи социальных учений с общественной позицией писателя, он говорит: «Руссо — революционный демократ» (VII, 223). Но для Чернышевского «революционный демократ» — это не только обличитель *политической* несправедливости феодально-крепостнического порядка (это для него — «либерал»). В понятие «революционный демократ» непременно входит и критика *социального* угнетения. Революционный демократ для Чернышевского — социалист, и в Руссо он стремится подчеркнуть то, что может быть истолковано как проповедь социализма. В известной работе о Тюрго Чернышевский делит всех предреволюционных мыслителей Франции на защитников «общественного права» (цензурная замена слова «социализм») и сторонников «индивидуального права», т. е. буржуазных отношений. Ко вторым он относит физиократов. При такой постановке вопроса разница между Мабли и Руссо стирается и, видимо, совершенно сознательно. Чернышевский их безоговорочно объединяет в лагере тех, кто безуспешно пытался противостоять «индивидуальному праву», защищая «общественное право»: «Из мыслителей, занимавшихся

<sup>139</sup> См. С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953, стр. 51.

<sup>140</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XV. М., ГИХЛ, 1950, стр. 239 (все дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте).



Фронтиспис издания  
«Избранных мыслей» Ж.-Ж. Руссо.  
СПб., 1801

социально-экономическими вопросами, такими защитниками были Мабли, Морелли, — но их усилия изменить господствующее направление оставались напрасны. Напрасно также шли против него Жан-Жак Руссо в „Contrat social“, Эльвееус в некоторых местах своего „Traité de l'homme“, Дидро в некоторых из лучших своих сочинений» (V, 304).

При этом показательно, что ссылка дана именно на «Общественный договор», а не на трактат о равенстве. Это свидетельствует, что для Чернышевского государство «общей воли» призвано было защищать «общественные права» от напора буржуазного эгоизма и противостояло физиократическому принципу невмешательства политики в экономику.

Не менее любопытно, что во второй период жизни Чернышевского Руссо раскрылся для него как

психолог, предвосхищающий идею ненормативной сложности человеческой натуры. Уже в Петропавловской крепости он попросит у А. Н. Пыпина прислать восемь томов Руссо, отдельно оговорив «Confession de J.-J. Rousseau» (XIV, 489). В дальнейшем он начал переводить «Исповедь»<sup>141</sup>, которая оказала заметное влияние на его позднейшие литературные опыты.

Второе направление в истолковании Руссо в эти годы связано с именем Л. Н. Толстого. Влияние Руссо на Толстого было столь значительным, что любая попытка охарактеризовать этот вопрос в пределах сжатого обзора заранее обречена на неудачу. Толстой познакомился с творчеством Руссо в юношеские годы и неоднократно обращался к нему в дальнейшем. Позже Толстой рассказывал: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая „Музыкальный словарь“. Я не только восхищался им; я боготворил его: в пятнадцать лет

<sup>141</sup> См. Н. Г. Чернышевский. Незаконченные материалы. Саратов, 1939.

Титульный лист издания «Избранных мыслей» Ж.-Ж. Руссо. СПб., 1801

я носил на груди медальон с его портретом как образок. Многое из написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам»<sup>142</sup>. Точность воспоминаний мемуариста подтверждается многочисленными другими источниками. Так, в письме Б. Бувье, председателю Общества Ж.-Ж. Руссо в Женеве, Толстой писал: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости»<sup>143</sup>. Составляя в начале 1880-х годов список книг, оказавших на него влияние, Толстой включил в раздел «с 14-ти до 20-ти лет»:

«Rousseau Confession — огромное  
Emile — огромное  
„ Nouvelle Héloïse — очень  
большое (т. 66, стр. 67).

Убеждение в том, что «Руссо не стареет», сопровождало Толстого на всем протяжении его жизненного пути. Чтение Руссо неизменно вызывало у писателя размышление над наиболее волнующими его вопросами. Показательна запись в дневнике в сентябре 1890 г.: «Вчера читал «Emil'a» Руссо. Да, дурно я повел свою семейную жизнь» (т. 51, стр. 86)<sup>144</sup>.

<sup>142</sup> Поль Буайе. Три дня в Ясной Поляне. — «Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., Гослитиздат, 1960, стр. 154.

<sup>143</sup> Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 75. М., 1956, стр. 234. В дальнейшем все ссылки на это издание — в тексте.

<sup>144</sup> Ср. отзыв о «Новой Элоизе» в письме А. Л. Толстому от 29 сентября 1898 г.: «Это прекрасная книга. Заставляет думать» (т. 71, стр. 454).

## ДУХЪ

ИЛИ

## ИЗБРАННЫЯ МЫСЛИ

Ж. Ж. РУССО.

Переводъ съ Французскаго

*Анастасии Мартыновой.*

Въ Санктпетербургѣ, 1801.

Печатано въ Императорской Типографіи.

Съ дозволенія С. П. Б. Цензуры.

При всей неизбежности того, что любая попытка кратко охарактеризовать отношение Толстого к Руссо будет грубо приблизительна, можно отметить, что основным, привлекавшим его в наследии французского мыслителя, был демократизм, вера в доброту естественных порывов человека и осуждение общества, искажающего прекрасные свойства природы. С этим было связано требование искренности, понимаемое как освобождение естественной истины от общественной лжи. Такое понимание объединяло психологизм Толстого и художественный метод «Исповеди». Однако в отличие от революционных демократов, антитеза «истина природы человека — ложь общественного порядка» дополнялась у Толстого противопоставлением: «интуитивное (истинное, природное, народное) — рациональное (ложное, искусственное, барское)». В этом случае истина раскрывалась как рационально не истолковываемая сложность, а человеческое существо — как живое противоречие (в противопоставлении мертвой однозначности теории, бюрократии, государства и разума). Это порождало несколько иное истолкование «Исповеди», характерно отраженное в лаконической записи Горького: «Об „унизительных порывах плоти“ он (Л. Н. Толстой — Ю. Л.) хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу „Исповеди“ Руссо»<sup>145</sup>. Это можно было бы истолковать как «аскетизм» позднего Толстого, если бы рядом не было оправдания физиологической любви как «искренней» и «естественной»: «Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые»<sup>146</sup>.

Во второй период творчества Толстого Руссо все чаще начинает привлекать его не только требованием истины как искренности, освобождения от условной лжи общества, но и призывом к правде как социальной справедливости. Не случайно, выписывая для народного чтения «Изречения мыслителей разных стран и разных веков», он избрал известное место из трактата о неравенстве — о первом человеке, огородившем участок земли. Но еще более интересно, что, наряду с точными цитатами, он включил несколько изречений с пометкой «по Руссо», подчеркнув тем самым, что это не перевод, а изложение основной для Руссо и достойной народного внимания, с точки зрения Толстого, мысли. Изречения эти таковы: «Всякий неработающий человек — негодай. И потому хорошо всякому человеку уметь работать. Это нужно бедному, чтобы кормиться, а богатому для того, чтобы не чувствовать себя всегда виноватым» (т. 40, стр. 372). Эта мысль показалась Толстому настолько важной, что он с небольшими изменениями переписал ее дважды (ср. т. 41, стр. 116) и далее: «Так же, как противно закону природы то, чтобы дитя управляло взрослым или безумный мудрым человеком, так же противно закону природы и то, чтобы горсть людей была пресыщена излишествами, в то время как голодная толпа не имеет необходимого» (т. 41, стр. 388). Однако в отличие от Чернышевского, Толстой видел в Руссо не социалиста, а эгалитариста, защит-

<sup>145</sup> М. Горький. Собр. соч., в тридцати томах, т. 14, М., Гослитиздат, 1951, стр. 265.

<sup>146</sup> Там же, стр. 266.



ника трудовой крестьянской собственности и земельного закона в духе пропагандируемой им программы требований Генри Джорджа. Проповедь власти «целого» совершенно ускользала от его внимания, а Руссо приобретал черты противника государства<sup>147</sup>. При этом Толстого привлекало то, что у Руссо он вычитывал, свойственную ему самому, двойную постановку вопроса — «объективную»: как справедливо устроить социальную жизнь народа (в первую очередь — проблему владения землей), и «субъективную»: как образованному человеку организовать свою жизнь так, чтобы жить в ладу с совестью. Интересно, что, если в изречениях «по Руссо» он хотел выразить *сущность* тех или иных высказываний французского мыслителя, то в неоконченной повести «Мать» Толстой решил воспроизвести *сущность* личности в идейной позиции Руссо, создав образ «по Руссо» — воспитателя Петра Никифоровича: «Он был — не сказать поклонник Руссо, хотя знал и любил его, но был человеком того же склада ума. Это был человек такой, каким мы представляем себе древних мудрецов (...) Он говорил, что жить, как мы живем, не стоит и предлагал мужу (повествование ведется от лица женщины — Ю. Л.) отдать всю землю крестьянам, а самим жить трудами» (т. 29, стр. 252—254). Близость этого образа «по Руссо» идеалам самого автора — очевидна. Руссо был для Толстого действенным писателем. Говоря, что основной вопрос философии: «Что мне делать?», Толстой добавлял «в особенности у Руссо» (т. 35, стр. 183).

Третий тип истолкования Руссо наиболее полно выразился в Достоевском. Если для Толстого Руссо и Евангелие были явлениями одного рода, то Достоевский видит в них антонимы. Достоевского неудержимо влекло к Руссо, но он сопротивлялся этому влечению и спорил всю жизнь с Руссо так же, как всю жизнь вел полемический диалог с Белинским. В черновиках к «Преступлению и наказанию», в разделе «Идея романа» он записал: «Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страдаем. Тут нет никакой несправедливости...»<sup>148</sup> Объект полемики не назван, но ясен. Отождествляя демократию и буржуазность, Достоевский ведет с Руссо острую полемику, видя в нем проповедника социального и политического равенства, что, с его точки зрения, равнозначно буржуазному индивидуализму. Чернышевский видит народность Руссо в его вражде к буржуазной собственности, Толстой — демократа-эгалитариста, противника диктаторства, неотделимого, по его мнению, от социализма. Достоевский противопоставляет демократизм

<sup>147</sup> Интересно указать, что истолкование Руссо как проповедника анархической критики государства и игнорирование многочисленных высказываний автора «Общественного договора» о господстве общей воли над частной было широко распространено в окружении Толстого. Л. Л. Толстой, выступивший против отца со статьей «Отрицание или самосовершенствование?», писал: «Как Руссо был подготовителем французской революции, так Толстой был зажигателем русской. Тот и другой были врагами существующих государственных и общественных организаций своего, да и всякого времени» (т. 56, стр. 538).

<sup>148</sup> «Из архива Ф. М. Достоевского. Преступление и наказание. Неизданные материалы». М.—Л., Центархив, 1931, стр. 167.

народности и видит в Руссо — проповеднике демократических идей — защитника антинародной буржуазности. Руссоизм становится для него «европейской» идеей в отличие от «русской» — христианства<sup>149</sup>. В черновиках «Подростка» это сказано особенно резко: «Он ненавидит Женевские идеи (т. е. человеколюбие, т. е. добродетель без Христа) и не признает в добродетели ничего натурального»<sup>150</sup>. Очень характерна другая запись: «Если бы я был чиновник или буржуа, говорит Он, я бы желал порядка, спокойствия, чтоб покомфортнее прожить, в 1-х) мне, а в 2-х) (из гуманности) и другим (с атеизмом-то!). Мало того: сам бы поддерживал порядок. Но так как я честен и совестлив, то я (с атеизмом) хочу откровенного разрушения и злодейства, а не хочу Женевских идей (разрядка моя. — Ю. Л.). Но не справился с злодейством и загрызла совесть»<sup>151</sup>. С этой позиции, как когда-то у Карамзина, «искренность» становится синонимом себялюбия, т. е. лжи, а «исповедь», обнажающий душу монолог, придается отрицательным героям<sup>152</sup>. Наслаждение исповедью равнозначно наслаждению самосозерцанием, т. е. наслаждению эгоизмом, следовательно, преступлением. Жажда «искренности» свойственна у Достоевского «сладострастникам». «Как Руссо находил наслаждение загалливаясь, так и Он находил сладострастное наслаждение загалливаться перед юношей, даже развращать его полною своей откровенностью»<sup>153</sup>.

Итак, восприятие Руссо в русской литературе XIX в. сложно развивало проблемы, возникшие еще в XVIII столетии. XX век дал в этом отношении новое — острота идейных споров в связи с кругом проблем, поднятых Руссо, не ослабла. Но споры, чаще всего, шли не вокруг произведений Руссо, а его идей, сложно преломленных в европейской культурной традиции XIX в. В таких вопросах, как отношение к «толстовству», антитеза «культуры» и «дивинизации» у Блока, проповедь «естественности» у Куприна («Олеся», «Листригоны») и во многих других спорах, проявляется в новом виде знакомая нам проблематика. Однако «руссоизм» и культура XX в. — особая и сложная проблема.

<sup>149</sup> В этом смысле показательно, что со Швейцарией связан и воспитанный в деревне под Базелем князь Мышкин, и «гражданин кантона Ури» — Ставрогин.

<sup>150</sup> «Ф. М. Достоевский в работе над романом „Подросток“. Творческие рукописи». — «Литературное наследство», т. 77. М., «Наука», 1965, стр. 89. Курсив Достоевского.

<sup>151</sup> Там же.

<sup>152</sup> Следует отметить, что явной пародией на сам принцип «исповеди», обнажения души, выступает известная игра в рассказы о дурных поступках на празднике у Настасьи Филипповны. Инициатором ее выступает шут и диник Фердыщенко, который рассказывает явно с проекцией на Руссо случай совершения им мелкой кражи с последующим обвинением невинной служанки. Эпизод обличения воров своей жертвы — крайне близкий пересказ соответствующего места «Исповеди». Рассказ Фердыщенко об этом воспринимается как диническое хвастовство.

<sup>153</sup> «Ф. М. Достоевский в работе над романом „Подросток“. Творческие рукописи», стр. 90.

## КОММЕНТАРИИ

В комментариях приняты следующие сокращенные обозначения:  
Избр. соч.—Ж.-Ж. Руссо. Избранные сочинения. Составитель И. Е. Верцман, т. I—III. М., 1961.

C. G.—J. J. Rousseau. Correspondance générale, t. I—XX. Paris, 1924—1934.

A. R.—«Annales de la Société J.-J. Rousseau», t. I—LXII. Genève, 1904—1963.

Работы Руссо по вопросам искусства, литературы, истории языка, его художественные произведения и «Исповедь» цитируются по первому из названных выше изданий.

Ссылки на «Эмиля» даются по русскому переводу П. Первова. Москва, 1896; при цитировании внесены некоторые исправления.

При указаниях на сочинения некоторых авторов, особенно часто цитируемых Руссо, помимо общей сноски на книгу и главу указаны и страницы по следующим изданиям:

Г. Г р о д и й. О праве войны и мира. Перевод А. Л. Саккети, под ред. С. Б. Крылова. Три книги. М., 1956.

Т. Г о б б с. Избранные произведения, под ред. В. В. Соколова, т. 1, 2. М., 1965.

Дени Дидро. Собрание сочинений в десяти томах. Под ред. М. К. Луппола. М.—Л., 1939—1940.

Д. Л о к к. Избранные философские произведения, под ред. А. А. Макаровского, т. I, II. М., Соцэргиз, 1960.

М. М о н т е н ь. Опыты. Подготовили А. С. Бобович, Ф. А. Коган-Бернштейн, Н. Я. Рыкова и А. А. Смирнов, т. I—III. М., 1958—1960. Серия «Литературные памятники».

III. М о н т е с к ь е. Избранные произведения. М., 1955.

П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания. Подготовили М. Е. Грабарь-Пассек и С. Л. Маркиш, т. I—III. М., 1963. Серия «Литературные памятники».

РАССУЖДЕНИЕ... ПО ВОПРОСУ...  
«СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ  
ОЧИЩЕНИЮ ПРАВОВ?»

Написано Руссо после того, как он прочел в журнале «Французский Меркурий» за октябрь 1749 г. сообщение Дижонской академии об объявленном ею на следующий год конкурсе на тему: «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению правов?» (см. рассказ Руссо об этом в его «Исповеди», кн. 8.— Избр. соч., т. III, стр. 305—307).

Победа Руссо на этом конкурсе была его первым крупным успехом. Осенью 1750 г., в Париже, под наблюдением Дидро было осуществлено первое издание этого сочинения, за которым последовал ряд других изданий и переводов.

Рукопись основного текста не сохранилась, дошло до нас только «Предисловие».

Первый русский перевод П. Потемкина появился в 1768 г., второе издание было выпущено в 1787 г. «Типографической Компанией», незадолго до того основанной выдающимся русским просветителем Н. И. Новиковым.

Современное критическое издание с самым подробным комментарием осуществлено Дж. Хевенсом (J.-J. Rousseau. Discours sur les Sciences et les Arts. Edition critique avec une introduction et un commentaire par George R. Havens. New-York—London, 1946, XIII, 278 p.).

<sup>1</sup> Имя Руссо (с указанием «Женевец») было указано впервые в повторном издании этого «Рассуждения», вышедшем в том же году в Женеве.

<sup>2</sup> «Предупреждение» написано гораздо позже (1763), впервые напечатано в издании его сочинений 1781 г.

<sup>3</sup> Имеется в виду сравнение первого «Рассуждения» с более зрелыми произведениями Руссо, вошедшими в издание его сочинений 1763 г.

<sup>4</sup> Речь идет об осуждении «Эмиля» парижским парламентом 9 июня 1762 г., за которым последовал ряд преследований во Франции и в Швейцарии.

<sup>5</sup> «Предисловие» было опубликовано вместе с основным текстом в 1750 г.

<sup>6</sup> Овидий, Публий Назон (43 г. до н. э.—17 г. н. э.), знаменитый римский поэт, автор «Тристий» — скорбных посланий, написанных в ссылке, в стране, с жителями которой он не имел общего языка. Словами Овидия Руссо иносказательно определил свое положение среди людей, которые назовут его варваром за отказ преклоняться перед ролью искусств и наук.

<sup>7</sup> ...*зудостоился одобрения нескольких Мудрецов*...— Подразумевается отношение группы энциклопедистов во главе с Дидро и д'Аламбером.

<sup>8</sup> Имеется в виду так называемая Священная Лига 1576 г. периода религиозных войн во Франции.

<sup>9</sup> ...*в некотором роде новое произведение*...— Рукопись второго варианта не сохранилась.

<sup>10</sup> ...*которые легко увидеть*...— В действительности, обнаружить сделанные Руссо дополнения с уверенностью не удастся. Ими могла быть выдержка из «Философских мыслей» Дидро, так как они были осуждены парижским парламентом, сам он был в заключении, почему Руссо и не мог их цитировать в 1750 г. Далее речь может идти о филиппике против неравенства (стр. 26) и о сочувственном упоминании о «толпе бедных гордецов» — швейцарцев, сокрушивших династию герцогов Бургундских, так как Дижон, куда посылалось «Рассуждение» на конкурс,— главный город Бургундии, утратившей самостоятельность именно в результате этого поражения ее войск в 1477 г. в битве при Нанси.

<sup>11</sup> *...или же порче Правов...*— Руссо, вставив эти слова в текст первоначальной формулировки темы, значительно расширил этим ее рамки.

<sup>12</sup> *...перед знаменитою Академией...*— Заслуги этого «ученейшего собрания» Руссо здесь явно преувеличивает, возможно, под влиянием мотивов тактического характера.

<sup>13</sup> Эта строка из Горация была избрана Руссо в качестве обязательного де-виза.

<sup>14</sup> *...человек... рассеивает... светом своего разума... мрак...*— В этом зачине налицо влияние просветительской философии истории в лице Вольтера и Кондильяка.

<sup>15</sup> *И все эти чудеса вновь совершились на памяти недавних поколений.*— В этих словах содержится частичный положительный ответ на конкретно-исторический вопрос, поставленный темой конкурса, о значении эпохи Возрождения.

<sup>16</sup> *Европа уже опять впадала в варварство первых веков.*— Имея в виду эпоху средних веков, Руссо разделяет господствовавшую в историографии Просвещения односторонне отрицательную ее оценку как периода умственного застоя и регресса культуры.

<sup>17</sup> *...наукоподобный жаргон, еще более презренный, чем само невежество...*— Понимается средневековая схоластика.

<sup>18</sup> *Тупой мусульманин...*— Туредкий султан Магомет (Мехмет) II (1451—1481), завоевавший столицу Византии — Константинополь.

<sup>19</sup> Имеется в виду захват в 1453 г. турками-османами Константинополя, основанного римским императором Константином. В этом разделе Руссо несколько иронически воспроизводит соответствующее место «Введения» д'Аламбера к «Энциклопедии».

<sup>20</sup> *...литература и искусство... покрывают гирляндами цветов железные цепи...*— Возможно, эту метафору имел в виду молодой Маркс, когда писал о критике, сбрасывающей с цепей украшавшие их искусственные цветы во имя того, чтобы человечество «сбросило цепи и протянуло руку за живым цветом» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 415).

<sup>21</sup> *Как было бы приятно жить среди нас...*— В развиваемом далее обвинении людей в общественном состоянии в двойственности содержится зародыш мысли об отчуждении человеческой личности в таких рода условиях, которую Руссо развивает в ряде позднейших сочинений.

<sup>22</sup> *Александр, желая удержать иттиофагов в зависимом от него положении...*— Здесь использован рассказ римского автора Плиния Старшего («Естественная история», кн. VI, гл. XXV) об Александре Македонском и иттиофагах (буквально — пожиратели рыб; это прозвище служило у греков общим названием для многих менее развитых народов, обитавших по берегам Красного моря и Персидского залива).

<sup>23</sup> *...заменяется опасным пирронизмом.*— Пирронизм — скептицизм, по имени греческого философа Пиррона (ок. 376—270 гг. до н. э.).

<sup>24</sup> Пример неудачен, ибо впоследствии было доказано существование именно такого рода связи.

<sup>25</sup> *Сезострис* — легендарный фараон Египта.

<sup>26</sup> *...завоевана Камбизом, затем греками, римлянами, арабами и, наконец, турками.*— Речь идет о завоевании Египта, куда Камбиз — царь персов — вторгся в 525 г. до н. э., Александр Македонский в 322 г. до н. э., римляне в 30 г. до н. э., арабы в 642 г. и турки в 1547 г. н. э.

<sup>27</sup> *...один раз у Трои, а другой — у собственных своих очагов.*— Имеется в виду победа греков в ходе Троянской войны над малоазийскими племенами и их союзниками и затем Марафонская битва (490 г. до н. э.), где была греками одержана победа над персами.

<sup>28</sup> Монтеень. Опыты, кн. III, гл. VIII. Об искусстве собеседования, стр. 180. Монтеень, Мишель, де (1533—1592) — знаменитый французский скептик и моралист; его главное сочинение «Опыты», как показывают далее примечания к ряду произведений Руссо, имело для последнего огромное значение источника многих плодотворных мыслей.

<sup>29</sup> *...всея наших остроумцев, кроме одного.* — Здесь, вероятно, Руссо выделяет Дидро.

<sup>30</sup> *...получила лишь новых повелителей.* — Греция попала в 338 г. до н. э. под власть Македонии, затем Рима, а после падения Византии — под власть Турции.

<sup>31</sup> *Демосфен* (385—322 г.г. до н. э.) — величайший оратор Древней Греции. Его образ Руссо воспринимал в свете устоявшейся традиции, выделявшей в нем черты патриотизма (выступления против Филиппа Македонского, «филиппики», попытка восстания против господства Александра Великого), отмеченного приверженностью к старине, с ее патриархальной простотой быта и нравов. В этом отношении фигура Демосфена в известном смысле стояла для Руссо в том же ряду образов античности, что и воспетый Плутархом Фабриций.

<sup>32</sup> *Во времена Энниев и Теренциев...* — Римский поэт Энний Квинт (239—169 г. до н. э.), автор «Анналов», рассматривающихся как национальный эпос, и комеднограф Теренций Публий (195—159 г.г. до н. э.) воспринимаются Руссо не только как современники периода упадка Рима, но, в прямом соответствии с центральной концепцией данного «Рассуждения», как одни из виновников этой катастрофы. Причина этого заключается в том, что они воплощают в себе эллинофильскую культуру, противостоящую наследию римской старины.

<sup>33</sup> *...Рим, основанный пастухом...* — Согласно Плутарху, мифические основатели Рима — Ромул и Рем — были пастухами.

<sup>34</sup> *...прославленный земледельцами...* — Мысль эта может иметь два оттенка — солдаты Рима, принесшие ему славу внешних завоеваний, в большинстве своем были крестьянами; земледелие занимало почетное положение в нравах и воззрениях Рима времен республики.

<sup>35</sup> *Но после Овидиев, Катуллов, Марциалов...* — Творчество этих поэтов I в. до н. э. и I в. н. э., знаменовавшее собой высший подъем культуры Рима, определяет для Руссо его упадок, вероятно, вследствие любовных и шуточных мотивов и сюжетов их произведений.

<sup>36</sup> *...был пожалован титул «арбитра хорошего вкуса».* — Автор романа «Сатирикон» Петроний (I в. н. э.) был удостоен звания «арбитр изящного» («arbiter elegantiae») (Т а ц и т. Анналы, XVI, 18).

<sup>37</sup> *А что скажу я о том центре Восточной империи...* — Имеется в виду Константинополь, ставший столицей восточной части Римской империи после ее распада на два государства.

<sup>38</sup> *...вот он, чистый источник, из которого просочились к нам знания...* — Руссо разделял распространенную в его время отрицательную оценку Византии и ее центра — Константинополя, и потому выступает против иной точки зрения, сторонники которой, в частности Дидро, видели именно в Византии источник ознакомления Европы с наследием античной культуры.

<sup>39</sup> *В Азии есть огромная страна...* — Имеется в виду Китай.

<sup>40</sup> *...от уха невежественного и грубого монгола...* — Монголы напали в X в. на Китай. По-видимому, имеется в виду ввук Чингисхана Кублай, положивший начало монгольской династии Юань в Китае (1280—1367).

<sup>41</sup> *...нация, где изучали добродетель...* — Это — традиционная идеализация древних персов; Монтеень в «Опытах» (кн. I, гл. XXV) приводит сообщение греческого историка Ксенофонта (434—355 г.г. до н. э.) о том, что персы обучали своих детей «добродетели, как другие народы обучают своих детей наукам».

<sup>42</sup> ...история ее установлений стала восприниматься как философский роман.— Речь идет о книге Ксенофонта «Киропедия» (*De Cyri institutione*) (см. Монтень. *Опыты*, кн. I, гл. XXV).

<sup>43</sup> *Таковы были скифы...*— История этого народа, мало известная в фактическом отношении, питала в XVIII в. представление о добрых и счастливых дикарях. Историк Роллен, ссылаясь на римского автора II в. Юстина, писал, что скифы жили «в состоянии невинности и простоты», что им были неведомы ни искусства, ни пороки.

<sup>44</sup> *...перо, уставшее описывать преступления...*— Имеется в виду римский историк Тацит (54 г.—ок. 117 г. н. э.), который в своих книгах «История» и в особенности «Анналы» гневно осуждает преступные деяния верхов Рима времен Клавдия и Нерона. Но Руссо неверно представляет себе последовательность создания Тацитом его произведений, ибо написание «Германии», с сочувственным описанием нравов ее первобытных обитателей, предшествовало созданию «Анналов», откуда Руссо в 1754 г. начинал делать переводы.

<sup>45</sup> *...эта ницца крестьян...*— Имеются в виду швейцарцы.

<sup>46</sup> *О, Спарта, вечное пострадание бесплодной учености!*— Противопоставление Спарты и Афин (набросок на эту тему сохранился среди фрагментов его сочинений) Руссо воспринимал сквозь призму традиции, например, Монтень, писал: «Говорят, что ораторов, живописцев и музыкантов приходилось искать в других городах Греции, но законодателей, судей и полководцев— только в Лакедемоне. В Афинах учили хорошо говорить, здесь— хорошо действовать» («Опыты», кн. I, гл. XXV, стр. 182). Перифразом этой формулы Руссо заканчивает данное «Рассуждение».

<sup>47</sup> *...где тиран с таким старанием собирал творения первого из поэтов...*— Употребление Руссо термина «тиран» в ряде случаев восходит к античному, отнюдь не отождествлявшего его с понятием о деспоте (см. об этом в тексте «Общественного договора», стр. 216). Руссо имеет в виду афинского тирана Писистрата (ок. 600—527 гг. до н. э.), при котором, согласно преданию, собраны и сведены в единое целое отдельные песни поэта Гомера «Илиада» и «Одиссея», сохранявшиеся до того лишь в памяти певцов-рапсодов.

<sup>48</sup> *Лакедемон.*— В древности юго-восточная, гористая часть Пелопоннеского полуострова именовалась Лакония, почему государство Спарта известно было также под именем Лакедемона.

<sup>49</sup> *...чей... уклад жизни Монтень без колебаний предпочитает не только законам Платона...*— см. «Опыты» (кн. I, гл. XXXI, «О каннибалах»). Для понимания генезиса социальных идей Руссо важен монолог, обращаемый Монтенем к мудрецам древности: «Вот народ,— мог бы сказать я Платону,— у которого нет никакой торговли..., никаких признаков власти..., никаких следов рабства, никакого богатства, никаких наследств, никаких разделов имущества... Насколько далеки от совершенства пришлось бы ему признать вымышленное им государство!» (там же).

<sup>50</sup> *«Но ведь,— говорит он,— они не носят коротких штанов!»*— Эти заключительные слова названной выше XXXI гл. I кн. «Опытов» Монтеня произносятся автором после его беседы с одним из трех туземцев, прибывших в 1562 г. в Руан, и связаны с той особенностью одежды индейцев, что они носили длинные брюки (заимствованные от них североамериканскими колонистами, а уже от них— европейцами). Вот почему в оригинале и говорится о том, что туземцы эти не носят *haut-de-chaussées*, коротких штанов с чулками, впоследствии, когда они стали исключительно частью костюма дворянства, известных под названием *culottes*. Но *haut-de-chaussées* могло означать также и нижнее белье.

<sup>51</sup> См. Монтень. *Опыты*, кн. II, гл. XXXVII, стр. 519.

<sup>52</sup> См. Монтень. *Опыты*, кн. III, гл. XIII, стр. 357.

<sup>53</sup> Речь идет о Платоне, вольный перевод выдержки из произведения которого «Апология Сократа» приводится ниже. Руссо не читал по-гречески. В 1693 г. Жири издал французский перевод этого сочинения.

<sup>54</sup> *Сначала Сократ в Афинах, за ним Катон-старший в Риме...*— Образы эти в главах Руссо символизируют лагерь защитников патриархальной старины, с простотой ее быта и нравов. См. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Марк Катон, т. I, стр. 430—451.

<sup>55</sup> *...повелись имена: Эпикур, Зенон, Аркесилай.*— Противопоставление имен этих философов, представителей весьма различных направлений, даже боровшихся между собой (материализм, стоическая школа и скептицизм), свободе и бескорыстию носит произвольный характер и призвано выразить осуждение философии как таковой.

<sup>56</sup> *С тех пор, как среди нас начали появляться ученые, ...добродетельные люди сокрылись.*— Это перевод цитаты из 95-го «Послания к Луцилию» римского философа и поэта Сенеки (жил в 6—65 гг. н. э.). Руссо нашел ее скорее всего в «Опытах» Монтеня (кн. I, гл. XXV), где она подкрепляет положение о том, что наука «не учит нас ни правильно мыслить, ни правильно действовать». Один из соперников Руссо на конкурсе в Дижонской Академии, Грослей, избрал эти слова Монтеня своим девизом.

<sup>57</sup> Эта так называемая прозопопея Фабриция была первоначальным ядром всего «Рассуждения» (см. «Исповедь».— Избр. соч., т. III, стр. 306) и стала его идейным и композиционным центром. Руссо ложил ее в уста исторического персонажа Гая Фабриция Луциана, консула 287 и 282 гг. до н. э., чье имя стало впоследствии образцом староримских добродетелей. Черты этого образа Руссо взял у Плутарха (см. «Сравнительные жизнеописания»). Жизнь Пирра, т. II, стр. 51—55). Традиционную обрисовку этой фигуры содержала книга Мабли («О римлянах и французах», 1740).

<sup>58</sup> *Что это за незнакомый язык?*— Речь идет о широком распространении в Риме греческого языка.

<sup>59</sup> *...превратились в рабов тех никчемных людей, которых вы покорили!*— Имеются в виду греки: родина их была покорена Римом, а это имело следствием энергичное проникновение в него греческой культуры.

<sup>60</sup> *Останки Карфагена стали добычей флейтиста!*— Подразумевается император Нерон (37—68 гг. н. э.). См. Светоний. Нерон, 10.

<sup>61</sup> *...Это завоевание мира, чтобы установить в нем царство добродетели.*— Пример свойственной Руссо идеализации древнего Рима.

<sup>62</sup> *Когда Киней принял наш Сенат за собрание царей...*— Киней Фессалийский (III в. до н. э.), ученик Демосфена и сам знаменитый оратор, отправленный в Рим в качестве посла Пирром, царем Эпира, у которого он находился на службе, сообщил, что «Сенат показался ему собранием царей» (Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. II, стр. 52). В его устах это, видимо, должно было звучать как похвала.

<sup>63</sup> *...чего я не мог бы вложить в уста Людовика XII или Генриха IV?*— Пример либо некритически усвоенной идеализации образа этих монархов, характерного для просветителей (например, для Вольтера), либо следования традиции, независимо от личного отношения к ней самого Руссо.

<sup>64</sup> *...тот из богов, который был врагом людского покоя...*— Руссо, вероятно, имеет в виду Гермеса, как глашатая богов, гонца, исполнителя воли их главы Зевса и, кроме того,— автора разнообразнейших открытий и изобретений. Греки отождествляли образ Гермеса, охарактеризованный выше, с фигурой Гермеса Трисмегиста (трижды величайшего), как называли бога древних египтян Тота. Последний же считался у себя на родине божеством разума, изобретателем языка и письменности, творцом искусств и наук.

<sup>65</sup> Мысль о происхождении наук и искусств из пороков человека имеет давнюю традицию, в которую в средние века многое привнесла церковь.



<sup>66</sup> *Нетрудно понять аллегорию сказания о Прометее и не похоже на то, чтобы греки, приковавшие его на Кавказе...*—Здесь в связи с основной концепцией своего «Рассуждения» Руссо допускает произвольное толкование мифа, по которому Прометей был прикован не «греками», а слугами Зевса в наказание за то, что он похитил у молнии Громовержца божественный огонь и принес его людям на землю. Поэтому — в переносном смысле — Прометей считался греками также изобретателем искусства и образ его был окружен величайшим почитанием.

<sup>67</sup> *...огонь жжется, когда к нему прикасаются.*—Источником здесь послужил для Руссо опять-таки Плутарх, рассказ которого был Руссо переосмыслен в том же направлении, что и весь миф о Прометее. Рассказ этот послужил также сюжетом для фронтисписа к первому изданию данного «Рассуждения». Руссо в одном из писем так пояснил эту аллгорию: «Факел Прометея — это факел знания, он предназначен для великих гениев; Сатир, который, увидев впервые огонь, бежит к нему и хочет его обнять, олицетворяет обыкновенного человека, который, пленившись блеском наук, отдался их изучению; Прометей, который кричит и предупреждает об опасности — гражданин Женевы». Таким образом, в восприятии или, во всяком случае, в истолковании Руссо в это время его собственная роль критика «обжигающего» огня искусств и наук отождествляется им с ролью Прометея, что резко расходится с исходным содержанием мифа и с многовековой традицией в его понимании. Возможно, что такого рода отход Руссо отчасти объясняется неточностями перевода Амни «Моральных сочинений» Плутарха.

<sup>68</sup> *...колодца, в котором скрылась истина.*—Старинное выражение это восходит к словам Демокрита, приведенным в «Установлениях» Лактанция.

<sup>69</sup> Аналогичную мысль см. у Монтеня, «Опыты», кн. I, гл. IX, стр. 47.

<sup>70</sup> *...каждый бесполезный гражданин может рассматриваться как человек вредный.*—В этих строках заключается первая по времени формулировка принципов гражданственной этики Руссо, направленной как против паразитизма «привилегированных» сословий, так и против бездушного эгоизма богатой буржуазии. Огромное значение этих принципов раскрывлось в революции 1789—1794 гг., потребовавшей от каждого патриота активного служения ее делу. Фактически сформулированный Руссо еще в 1750 г., этот принцип лег тогда в основу понятия о «цивизме», служил критерием при «чистках» в Якобинском клубе и т. д.

<sup>71</sup> *...вы, которые открыли нам, почему тела притягивают друг друга в пустоте.*—Имеется в виду И. Ньютон (1642—1727), открывший закон всемирного тяготения.

<sup>72</sup> *...отношения пространств, пройденных за равные промежутки времени.*—Речь идет о втором законе Кеплера (1571—1630).

<sup>73</sup> *...какие кривые имеют сопряженные точки.*—Этот вопрос рассматривался в «Заметках на различные математические темы», опубликованных Дидро в 1748 г.

<sup>74</sup> *...как человек все видит в Боге.*—Речь идет о книге Мальбранша (1638—1715) «О розыскании истины» (1674—1675), в которой развивается мистико-идеалистическое воззрение, согласно которому познать вещи — значит увидеть их в боге, содержащем их в виде понятий.

<sup>75</sup> *...как душа и тело отвечают друг другу.*—Так Руссо передает смысл той части учения Лейбница (1646—1716), которая говорила о предустановленной гармонии души и тела.

<sup>76</sup> *...какие небесные тела могут быть обитаемы.*—Фонтенель (1657—1757) в своих «Беседах о множественности миров» (1686) утверждал, что Луна, а также Марс и некоторые другие планеты обитаемы.

<sup>77</sup> *...какие насекомые размножаются необычным образом.*—Естественпытатель Реомюр (1683—1757), представивший Руссо в Академию наук, когда тот выступал там с сообщением о новой системе записи пот, опубликовал в 1732—1742 гг. свой труд о насекомых, в котором писал, что некоторые из них размножаются простым делением.

<sup>78</sup> *Разве перипатетики в чем либо сомневались?* — Перипатетики — философская школа, основанная в Афинах Аристотелем в 335 г. до н. э.

<sup>79</sup> *Разве Декарт не построил вселенную из кубов и вихрей?* — Критическое отношение Руссо к теории родоначальника рационализма Декарта (1596—1650) о происхождении миров в результате вихревых движений частиц материи, вероятно, восходит к мыслям Вольтера в его «Философских письмах» (1734) и «Основам философии Ньютона», несомненно известных Руссо (см. «Эмиль», кн. I, IV).

<sup>80</sup> *...объяснять глубокую тайну электричества...* — Проблема эта занимала умы многих современников Руссо, в частности и Дидро (см. его «Объяснение природы», 1754). Академии в Бордо и Дижоне объявляли конкурс на посвященное этой проблеме сочинение.

<sup>81</sup> *...вооруженные своими пагубными парадоксами, подкапываются под самые основы веры...* — Следует думать, что источником этой характеристики является, с одной стороны, антипатия Руссо к атенстическим выводам французского материализма; с другой — оправданно критическое отношение к буржуазной части энциклопедистов, в чьих воззрениях он видел тенденции эгоистические и космополитические («враги общественного мнения»). В целом эта характеристика свидетельствует, однако, о том, что Руссо оставались неясны те заслуги энциклопедистов, в которых проявилось их стремление поставить культуру на службу новым, прогрессивным для своего времени, общественным интересам.

<sup>82</sup> *...людского тщеславия.* — Ср. Монтень. Опыты, кн. III, гл. IX «О тщеславии».

<sup>83</sup> *...роскошь сообщает блеск государствам...* — Это пункт, кладущий начало социальной критике у Руссо.

<sup>84</sup> *...наши говорят лишь о торговле и о деньгах.* — В этих словах еще более отчетливо сказывается резко отрицательное отношение молодого Руссо к буржуазному духу.

<sup>85</sup> *...если продать его в Алжир.* — Имеется в виду, по-видимому, английский экономист В. Петти (1623—1687), в книге которого «Опыт политической арифметики» говорится, что француз стоит примерно 60 фунтов стерлингов, так как такова цена ему в Алжире, на тамошнем рынке рабов.

<sup>86</sup> *...где человек не стоит ничего...* — Вероятно, имеется в виду французский экономист Мелон, который, исходя из размеров потребления каждого человека, пытался установить, во что он обходится государству или, как он выражался, какова его стоимость.

<sup>87</sup> *...один сибарит стоил бы добрых тридцати лакедемонян.* — Сибарис — древнегреческая колония в Лукании (Южная Италия), разбогатевшая на торговле. Изнеженный образ жизни ее жителей — сибаритов — вошел еще в древности в поговорку. Точно так же Лакедемон, иначе говоря Спарта, стал символом суровой простоты быта, неприхотливости.

<sup>88</sup> *...покорена горстью крестьян...* — В 510 г. до н. э. Сибарис был разрушен жителями Кротона, находившегося неподалеку другой колонии, основанной выходцами из Германии.

<sup>89</sup> *Монархию Кира завоевал... государь...* — Это был Александр Македонский, вторгшийся в Персию в 334 г. до н. э.

<sup>90</sup> Речь идет о безуспешных попытках персидского царя Дария, Александра Македонского и римских завоевателей покорить скифов.

<sup>91</sup> *Две знаменитые республики оспаривали друг у друга власть над миром...* — Речь идет о Карфагене и Риме, борьба между которыми привела к трем так называемым Пуническим войнам (264—241; 218—201 и 149—146 гг. до н. э.).

<sup>92</sup> *Франки завоевали Галлию, саксы — Англию...* — Первое произошло в III—IV, второе — в V в. н. э.

<sup>93</sup> Речь идет о борьбе швейцарского народа против дома Габсбургов, события ко-

торой, начала XIV в., связаны с именем легендарного героя Вильгельма Телля, и против дома Бургундов. Герцог Бургундский Карл Смелый, предпринявший попытку покорения швейцарцев, был ими разбит и погиб в битве при Нанси в 1477 г.

<sup>94</sup> ...наследник Карла V...— испанский король Филипп II (1527—1598).

<sup>95</sup> ...ловцов сельдей...— Имеются в виду голландцы, жители северной части Соединенных провинций, свергнувшие власть испанской монархии в ходе буржуазной революции в Нидерландах 1565—1576 гг.

<sup>96</sup> ...терпят провал шедевры драматической поэзии...— Имеется в виду провал пьес Мольера «Мизантроп» (1666) и Расина «Федра» (1677).

<sup>97</sup> ...отвергаются чудеса гармонии...— Подразумеваются произведения композитора Ж.-Ф. Рамо (1683—1764), например, его опера «Зороастр», не имевшая успеха.

<sup>98</sup> ...знаменитый Аруэ...— настоящая фамилия Вольтера.

<sup>99</sup> Карл, Пьер— французские художники Карл Ван-Лоо (1705—1765), пользовавшийся большим успехом, и Жан-Батист Пьер (1713—1789), профессор Академии изящных искусств, автор рисунка фронтисписа для титульного листа первого издания данного «Рассуждения» Руссо.

<sup>100</sup> В оригинале vis-a-vis (визави) — так назывался экипаж с двумя сидениями, расположенными друг против друга.

<sup>101</sup> А ты, соперник Праксителя и Фидия...— Речь идет о Ж.-Б. Пигальи (1714—1785), выдающемся французском скульпторе, названном ниже. Пракситель и Фидий — величайшие ваятели древней Греции (V и IV вв. до н. э.).

<sup>102</sup> ...лепить животы смешных уродцев...— Вероятно, имеются в виду модные в XVIII в. подражания китайской мелкой пластике.

<sup>103</sup> Когда гоги опустошили Грецию...— Это совершили вестготы под предводительством своего первого короля Алариха в 396 г.

<sup>104</sup> Карл VIII оказался повелителем Тосканы...— Французский король Карл VIII в 1495 г. с большой легкостью завоевал ряд земель в Италии, но французам пришлось уйти оттуда в том же году под давлением объединенных сил папы римского, германского императора и Венеции (см. Монтень. Опыты, кн. I, гл. XXV, стр. 184).

<sup>105</sup> ...тот здравомыслящий человек...— Монтень (см. «Опыты», кн. I, гл. XXV).

<sup>106</sup> ...начинали понимать толк в картинах, гравюрах...— Руссо, говоря о картинах и гравюрах в Риме, либо проявляет свою неосведомленность, либо имеет в виду не живопись масляными красками и не гравюру как вид графики, поскольку и то и другое римлянам не было еще известно, а употребляет эти понятия в более широком их смысле, для обозначения мозаик, фресок, гравирования на камне и на металле.

<sup>107</sup> ...возвышение дома Медичи и возрождение искусств...— Медичи — род, правивший во Флоренции в XV—XVI вв., в эпоху итальянского Ренессанса.

<sup>108</sup> ...вы одержали бы с Ганнибалом победу при Каннах и при Тразимене...— При Тразимене в 217 г. до н. э. и при Каннах в 216 г. до н. э. карфагенский полководец Ганнибал нанес два тяжчайших поражения войскам Рима.

<sup>109</sup> ...Цезарь пересек бы с вами Рубикон...— 10 января 49 г. до н. э. Цезарь с одним из своих легионов перешел реку Рубикон, отделявшую провинцию Галлию Предальпийскую от Италии, что нарушало закон и означало начало гражданской войны.

<sup>110</sup> ...не с вами перешел бы Ганнибал через Альпы и не с вами победил бы Цезарь виших предков...— Войска Ганнибала, начавшего в 218 г. до н. э. поход в Италию, преодолевали малодоступные проходы через Альпы, войска Цезаря боролись с воинственным населением Галлии в 58—50 гг. до н. э.

<sup>111</sup> ...безрасудное воспитание изощряет наш ум...— Руссо ведет эту критику с позиций, определяющих мотивы, развитые им впоследствии в «Эмиле». Ср. мысли об этом Монтеня, видевшего цель воспитания в том, чтобы сделать человека добрым и мудрым, а не сообщить ему ненужные знания («Опыты», кн. I, гл. XXVI, стр. 208).

<sup>112</sup> ...сказал один мудрец...— Это — Монтень (см. «Опыты», т. I, гл. XXXV, стр. 196).  
<sup>113</sup> «Философские мысли».— Как указывает эта ссылка, сделанная Руссо, данное место «Рассуждения» представляет собой выдержку из названного сочинения Дидро (гл. VIII). Так как оно вышло анонимно и было осуждено, то появление этой ссылки может быть объяснено двумя путями: либо эта фраза и примечание представляют собой одно из тех добавлений, которые Руссо сделал после того, как он отослал рукопись в Академию Дижона (см. выше, прим. 10), либо эту фразу внес Дидро, наблюдавший в связи с болезнью Руссо за печатанием «Рассуждения».

<sup>114</sup> ...по свидетельству самого великого из их царей.— Имеется в виду Агесилай (399—358 гг. до н. э.), известный полководец, стремившийся к гегемонии Спарты. Монтень пишет, что, когда Агесилая спросили: чему, по его мнению, следует обучать детей,— он ответил: «Тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми» («Опыты», т. I, гл. XXV, стр. 182).

<sup>115</sup> ...благоразумия и справедливости.— См. Монтень. Опыты, кн. I, гл. XXV, стр. 181. Перевод исправлен.

<sup>116</sup> ...Платон... рассказывает...— См. его «Первый Алкивиад», XVII.

<sup>117</sup> См. Монтень. Опыты, кн. I, гл. XXV, стр. 181.

<sup>118</sup> ...Астиаг,— говорится у Ксенофонта,— спросил у Кира...— Астиаг — последний царь Мидии, низвергнутый его внуком, персидским дарем Киром, покорившим эту страну в 550 г. до н. э. Рассказ этот, содержащийся в «Киропедии» Ксенофонта, Руссо заимствовал у Монтеня («Опыты», кн. I, гл. XXV, стр. 182). Ксенофонт (434—355 гг. до н. э.) — греческий историк и философ, ученик Сократа, автор трудов исторического, историко-политического и философского характера. Находился при дворе Кира-младшего, которого сопровождал в походе против его старшего брата Артаксеркса Мнемона (401 г. до н. э.). С десятью тысячами греков пробился к Геллеспонту (Черное море) и описал эту эпопею в «Анабазисе».

<sup>119</sup> ...все заблуждения сердца и ума...— Руссо имеет в виду искусство Рококо, в частности, вероятно, живопись Буше, в которой мифологические сюжеты трактовались в эротическом духе.

<sup>120</sup> ...если не из пагубного неравенства...— Как было отмечено выше (стр. 604), существует предположение, что этот раздел был добавлен Руссо при подготовке рукописи «Рассуждения» к печати.

<sup>121</sup> ...погибают там в бедности и пренебрежении.— Это первое по времени проявление той глубокой симпатии к труженикам полей, которое станет затем характерной для всей системы взглядов Руссо.

<sup>122</sup> ...этот великий монарх...— Людовик XIV (1643—1715); восхваление его не могло быть искренним.

<sup>123</sup> ...эти знаменитые общества...— Во Франции еще при Ришелье были учреждены в Париже Академия наук (1637), а затем Академия искусств (1648), Академия надписей и изящной словесности. В подражание им и под тем же названием «академий» стали возникать в провинции общества любителей наук и искусств, игравшие роль не столько научных, сколько культурно-просветительных центров (1700 — Лион, 1705 — Кан, 1726 — Марсель, 1736 — Руан, 1740 — Дижон, затем — Бордо, Тулуза, а всего — более 40).

<sup>124</sup> ...его августейшим преемником...— Людовик XV (1710—1774).

<sup>125</sup> ...послужившие образцом для всех королей Европы...— По примеру Франции академии стали учреждаться в Германии, России, Италии и в других странах.

<sup>126</sup> ...все есть мое представление о них...— Имеется в виду философия субъективного идеализма английского мыслителя Беркли (1684—1753), хорошо известная во Франции.

<sup>127</sup> ...ни много бога, кроме вселенной.— Вероятно, здесь речь идет о французском

философе-материалисте Ламетри (1709—1751), чья «Естественная история души» появилась в 1745 г., а «Человек — машина» — в 1748 г.

<sup>128</sup> ...добро и зло в области нравственности — это выдумки. — Мысль об относительности этих попятней характерна для философии Просвещения. Например, Вольтер писал: «Добродетель и порок, добро и зло в каждой стране — это то, что полезно или вредно обществу».

<sup>129</sup> ...люди суть волки... — Это одно из первых выступлений Руссо против воззрений английского философа Г. Гоббса (1588—1679), который свою ненависть к английской буржуазной революции XVII в. и убежденность в необходимости абсолютной, неограниченной власти монарха выразил в трактовке естественного состояния, как ожесточенной «войны всех против всех», конец которой якобы и кладет заключение договора с правителем о полном подчинении ему всех подданных. В то же время в этой концепции отразились и особенности враждебных взаимоотношений индивидуумов в системе буржуазных отношений, рано развившихся в Англии. Основными сочинениями Гоббса были: «О гражданине» (1642) и «Левифав» (1651).

<sup>130</sup> Нечестивые писания Левкиппа и Диагора... — Левкипп — греческий философ V в. до н. э., которому приписывают создание атомистической теории и роль учителя Демокрита. Диагор — греческий философ V в. до н. э., который, став последователем атомистической теории и Демокрита, пришел к отрицанию существования богов и надобности в религиозных таинствах и культах, за что и был прозван атеистом.

<sup>131</sup> Спиноза — выдающийся голландский философ-материалист (1632—1677); отрицательное отношение к нему Руссо объясняется тем, что он видел в нем атеиста.

<sup>132</sup> Султан Азмет — Ахмет III (1703—1730), при котором в Константинополе появилась первая типография (1727).

<sup>133</sup> Халиф Омар (634—644) — преемник Магомета; при нем завершилось объединение Аравии и одержаны победы над Персией и Византией. В 642 г. он покорил Египет.

<sup>134</sup> ...как верх нелепости. — Руссо имеет в виду отрывок из «Опыта о нравах и духе народов» Вольтера, посвященный Аравии и магометанству (гл. VI), опубликованный в 1745 г. в журнале «Французский Меркурий».

<sup>135</sup> Григорий Великий — римский папа Григорий I (ок. 540—604). Дидро писал в «Философских мыслях» (№ XLIV), на которые Руссо ссылается выше, что Григорий Великий подражал отцам церкви, уничтожавшим произведения своих противников.

<sup>136</sup> Бэконы, Декарты и Ньютоны... Имена Декарта и Ньютона упоминаются уже в юношеской поэме Руссо «Сад в Шарметтах» и впоследствии не раз встречаются в его сочинениях, имя же английского философа-материалиста Ф. Бэкона (1561—1626) он больше не упоминает. Причислил он его к наставникам человеческого рода в данном случае, несомненно, под влиянием Дидро, который считал Ф. Бэкона во многом учителем и предшественником создателей французской «Энциклопедии» в этом их предприятии.

<sup>137</sup> ...был в Риме консулом... — Речь идет о Цицероне (106—43 гг. до н. э.), выдающемся политическом деятеле и ораторе, избранном в 63 г. до н. э. римским консулом.

<sup>138</sup> ...величайший из философов — канцлером Англии. — Имеется в виду Ф. Бэкон (см. прим. 136).

<sup>139</sup> ...когда страсти безмолвствуют. — Это выражение мы встречаем у Мальбранша в предисловии к его «Розысканиям истины».

<sup>140</sup> ...между двумя великими народами... — Имеются в виду Афины и Спарта.

## РАССУЖДЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ОСНОВАНИЯХ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Как и первое «Рассуждение», написано на конкурсную тему, объявленную Дижонской Академией на 1754 год. Впервые напечатано в июне 1755 г.

Премия, однако, была присуждена сочинению другого соискателя — аббата Тальбера, — произведению явно посредственному.

Впрочем, на этот раз и сам Руссо не рассчитывал на успех. Трактат вызвал возмущение всего правого, буржуазного крыла Просвещения во главе с Вольтером.

«Рассуждение» посвящено Женевской республике, т. е. всем гражданам Женевы, являющимся членами Генерального Совета. Посвящение было встречено весьма холодно Малым Советом, высшим органом исполнительной власти в Женеве, который считал себя оскорбленным тем, что произведение не посвящено непосредственно ему, не говоря уже о том, что идеи этого произведения были враждебны представителям буржуазного патрициата.

По своему замыслу «Рассуждение» является как бы связующим звеном между первым «Рассуждением» Ж.-Ж. Руссо и статьей «О политической экономии» (1755).

На русский язык переведено впервые в 1770 г.  
Новейшее критическое издание — Ж. Л. Лесеркля (J.-J. Rousseau. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Introduction, commentaires et notes explicatives par J. L. Lecercle. Paris, 1954) и «Сочинения» в библиотеке «Pléiade», т. III. Paris, 1964. Неоднократно переводилось на русский язык. Первый перевод — П. С. Потемкина (1770), последний по времени перевод — С. Н. Южакова (1907).

<sup>1</sup> Как сообщает Руссо в «Исповеди» (Избр. соч., т. III, стр. 342), это «Посвящение» он начал писать в Париже до 1 июня 1754 г. — дата отъезда его и его гражданской жены Терезы Левассер в Женеву, а закончил по дороге туда в Шамбери и пометил этим пунктом 12 июня 1754 г.

Вероятно, во время своего пребывания в Женеве (июль — октябрь 1754 г.) Руссо по секрету и познакомил некоторых женевцев с текстом этого «Посвящения». Во всяком случае, Ж.-Ф. Де Люк в своем письме к Руссо от 20 января 1755 г. говорит о его «замечательном „Посвящении“». В некоторых письмах, посланных Руссо из Парижа, по возвращении из Женевы, он сообщал, что сначала намерен был получить предварительное согласие Генерального Совета на опубликование этого «Посвящения», но убедился, что в случае обращения туда встретил бы отказ.

Когда началось печатание книги, Руссо старался сделать так, чтобы Совету были посланы ее первые экземпляры. Как свидетельствует запись в протоколах Совета от 18 июня 1755 г., получив текст «Посвящения» вместе с письмом от Руссо от 4 июля, там решили, поскольку оно уже отпечатано, не подвергать его обсуждению, выразив лишь свое удивление тем, что один из сограждан прославляет себя произведениями, говорящими о его выдающихся дарованиях. В таком же духе высказались в своих личных письмах к Руссо первый Сипдик Ж.-Л. Шуэ и его предшественник Дю Пан. Впрочем, второй из них заметил, что автор «Посвящения» явно польстил магистратам Женевы, представив их такими, какими они должны были бы быть, а не такими, каковы они в действительности. Такого же рода упрек прозвучал и среди отзывов печати; например, Формей прямо писал, что нарисованная Руссо картина жизни Женевы относится к области утопии, а не к реальной действительности.

<sup>2</sup> *...уже тридцать лет тружусь...* — Здесь Руссо явно преувеличил давность своих размышлений и трудов на темы гражданского характера, отнеся их начало к дням своей юности.

<sup>3</sup> *...и о неравенстве, которое установлено людьми...* — Следует учитывать глубокие различия между содержанием «Посвящения», адресованного буржуазному патрициату

Женева, и содержанием самого «Рассуждения», пронизанного ненавистью ко всем видам неравенства.

<sup>4</sup> *Аристотель* (384—322) — величайший древнегреческий философ, колебавшийся между идеализмом и материализмом.

<sup>5</sup> Еще Монтескье в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян» (гл. IX) указывал на то, что республиканский строй может удержаться лишь в стране, ограничивающей размеры своей территории (Избр. произв., стр. 85—88).

<sup>6</sup> *«...склониться под какое-либо иное»*.— В 1751 г. Руссо писал женевицу Марсе де Мезьеру: «Я понял всю цену свободы, так как был вынужден жить среди рабов. Как бы счастливы, живя в лоне своей семьи и вашей страны, живя среди мужей и попинаясь только законам, т. е. разуму».

<sup>7</sup> *«...налицо один правитель, принадлежащий данному народу, а другой — чуждый ему»*.— В оригинале это выражено сложно: «s'il y a un chef national et un autre étranger». Второй из них это, вероятно, римский папа. Термин «national» в смысле «национальный» почти не встречается у Руссо в связи с тем, что термин «нация» (nation) у него не отделился еще от термина «народ» (peuple).

<sup>8</sup> *«вышел из-под гнета Тарквиниев»*.— Тарквиний Гордый (VI в. до н. э.), по преданию последний царь древнего Рима, был изгнан в результате восстания.

<sup>9</sup> *«...выгодно его захватить»*.— Женева граничила с Савойей, Швейцарскими Кантаонами и Францией, правительство которой вело значительные денежные дела с женевискими банкирами.

<sup>10</sup> *«...одним только магистратам»*.— Руссо, таким образом, защищает одно из тех исключительных прав патрициата Женева, против которых он впоследствии так решительно выступил в «Письмах с Горы», отстаивая права и свободы большинства ее населения. По акту о посредничестве 1738 г. Генеральный Совет, включивший всех граждан, получил широкие права: выборов должностных лиц, заключения договоров, издания законов и введения налогов. Однако при этом устанавливалось, что ни одно предложение не может вноситься в этот Совет до того, как оно обсуждалось и было одобрено в Совете Двадцати пяти и в Совете Двухсот, что фактически давало семьям патрициата право контроля над Генеральным Советом.

<sup>11</sup> *«...устройство первых Правлений»*.— Ниже об этом состоянии «зарождающегося общества» говорится, что оно наименее подвержено переворотам и является «лучшим для человека».

<sup>12</sup> *«...нарушали общественное согласие»*.— Намек на события гражданской войны 1737 г. в Женеве; о неизгладимом впечатлении, произведенном ими на Руссо, он гораздо более откровенно рассказал в V книге своей «Исповеди».

<sup>13</sup> *«...зловещим кривотолкам и ядовитым речам»*.— Этими словами Руссо осуждает недоброжелательных Посредническим актом 1738 г.

<sup>14</sup> *«...о добродетельном гражданине»*.— Имеется в виду отец философа — И. Руссо, часовых дел мастер и одно время учитель танцев. В 1722 г. он покинул Женеву и поселился неподалеку, в г. Нийон; умер в 1747 г. в Люне.

<sup>15</sup> *«...книги Тацита, Плутарха и Гроция»*.— *Плутарх из Хероней* (Беотия) (ок. 46—126 гг. н. э.) — величайший древнегреческий писатель-моралист, отчасти философ, но работы его в этой области (т. е. морали) эклектичны и особого значения не имеют. Бессмертие принесли Плутарху его «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греческих и римских деятелей, имевшие огромную популярность и влияние на общественную мысль XVII и в особенности XVIII в.

*Гроций, Гуго* (1583—1645) — нидерландский законовед, государственный деятель и историк, выдающийся авторитет в области буржуазной теории естественного права и происхождения государства из общественного договора.

<sup>16</sup> *«...граждане и даже простые обитатели»*.— Гражданами (citoyens) в Женеве считались полноправные подданные Республики; вторую группу составляли урожен-

цы (patifs), которые могли рассчитывать перейти в первую, члены же третьей, низшей группы, именовавшиеся обитателями (habitants), пользовались лишь правом проживания на территории Женевы и могли заниматься там определенной профессией, но были полностью лишены каких бы то ни было политических прав.

<sup>17</sup> ...*память о тех злосчастных событиях...*— Имеются в виду события гражданской войны в Женеве в 1737 г.

<sup>18</sup> ...*любовь к земной отчизне, что их кормит.*— Речь идет о церковнослужителях Женевы; идеализируя и их, Руссо приписывает им высокие моральные качества; впоследствии же они выступают активно против «Общественного договора» и «Эмиля».

<sup>19</sup> ...*Общество богословов и литераторов...*— (Société de Theologiens et de Gens de Lettres).— Речь идет, вероятно, об Академии учрежденной Кальвином в Женеве в 1559 г.

<sup>20</sup> ...*принципы тех варваров, что считаются священными...*— Вероятно, здесь имеется в виду деятельность ордена иезуитов и кровавая практика инквизиции.

<sup>21</sup> ...*и наименее продвинувшимся из всех знаний...*— До нас дошел в виде фрагмента набросок несколько иного текста начала этого «Предисловия» (Библиотека г. Невшателя, рукописи, № 7854, л. 17 об.): «Если верно, что папизм дельфийского храма представляет собой одно из наиболее полезных наставлений человеческой мудрости; если верно, что для человека столь важно познать себя,— то нельзя отрицать, что тема этого рассуждения составляет один из наиболее важных вопросов из числа тех, которые философия могла бы...» Впоследствии в «Эмиле» Руссо изменит свою точку зрения и будет считать, что эта задача должна следовать за приобретением других знаний.

<sup>22</sup> ...*надпись дельфийского храма...*— Дельфы — общегреческий религиозный центр в Фокиде, у подножья горы Парнас, известный своим оракулом и храмом Аполлона. Древнейший храм здесь был сооружен в середине IX в. до н. э. легендарными зодчими Трофонием и Агамедом. На его внутренних колоннах золотом были начертаны изречения семи мудрецов: «Хорошо во всем соблюдать меру»; «все наперед обдумай»; «лови время»; «много рук напортят дело»; «поручисься — намучишься»; «познай самого себя»; «ничего слишком». Руссо имеет в виду предпоследнее изречение.

<sup>23</sup> *Подобно статуе Главка...*— Главк — морское божество в мифологии древних греков. Скульптурные изображения представляют его в образе получеловека-полурыбы, с грудью, покрытой водорослями и раковинами, с длинными волосами и бородой. Саму эту метафору Руссо мог встретить у Платона («Государство», X, 611), хотя там она использована в ином, характерном для него идеалистическом смысле: соединенная с телом душа настолько изменяется, что ее бессмертная природа становится неузнаваемой.

<sup>24</sup> ...*состояние... которое, быть может, никогда не существовало...*— Это место вызвало множество истолкований. Его объясняли стремлением Руссо оградить себя от нападков со стороны богословов, но против этого говорит широкая распространенность представлений о естественном состоянии в литературе Просвещения. Указывалось, что, оценивая это представление как гипотезу, он мог иметь в виду отсутствие убедительных фактических доказательств существования в далеком прошлом этого состояния,— но ведь на протяжении этого же «Рассуждения» Руссо не раз применяет чисто рационалистический метод доказательств, не говоря уже, например, о всецело построенном на этом методе «Общественном договоре». Значительно позже, отвечая на нападки архиепископа Парижского на эту книгу, Руссо писал: «Этот [естественный] человек не существует, говорите вы, пусть будет так, но мы можем допустить его существование» («Письмо Кристофу Бомону»). Впрочем, и Пуфендорф полагал, что в действительности естественное состояние существовало только частично и в ограниченном виде.

<sup>25</sup> ...*Аристотелей и Плинийев нашего века.*— Плиний — имеется в виду Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) — древнеримский писатель, ученый. Главный его труд



«Естественная история в 37 книгах» представляет собой своеобразную энциклопедию. В данном случае имена Аристотеля и Плиния служат Руссо в собирательном и переносном смысле для обозначения современных ему философов и естествоиспытателей.

<sup>26</sup> *Бурламаки Жан-Жак* (1694—1748) — швейцарский законовед и публицист, занимал в Женевской Академии кафедру естественного права, видным теоретиком которого являлся. В своих сочинениях он ищет основы этого права, основы нравственности и политики в первоначальной природе человека, с чем Руссо не был согласен. Здесь Руссо цитирует вышедшее в 1747 г. сочинение Бурламаки «Принципы естественного права» (гл. I, § 2).

<sup>27</sup> *...для их общего сохранения.*— Один из главных авторитетов римского права Ульпиан (170—228 гг. н. э.) давал следующее определение: «Естественное право — это то, чему природа учит все живые существа» (Дигесты, I, I, 1). Формулировка эта восходит к взглядам стоиков. Руссо мог знать об этой позиции «древних» из сочинения Пуфендорфа («Право естественное и право международное»), которого в этом вопросе комментировал его французский переводчик Барбейрак (кн. II, гл. II, § 3, прим. 7).

<sup>28</sup> *...уже в самом этом обществе.*— Это представление о весьма постепенном процессе развития человека и его разума существенно и выгодно отличает Руссо от его предшественников — теоретиков естественного права.

<sup>29</sup> *...простейших действий человеческой души.*— Психологические воззрения Руссо находятся под влиянием сенсуализма Кондильяка. Человек, в понимании Руссо, существо сначала чувствующее, а лишь потом уже мыслящее. Естественное право основано поэтому на двух принципах, предшествующих появлению разума: себялюбии и состраданию. Себялюбие (*amour de soi*) как императив самосохранения, естественный и законный, Руссо при этом противопоставляет самолюбию (*amour propre*), рождающемуся из сравнения с другими людьми, источник зла для совести и для общества. Необходимо, таким образом, иметь в виду отличие данного словоупотребления от припятого в русском языке.

<sup>30</sup> *...добавлять сюда еще свойство общежителности.*— В заключающемся здесь совершенно произвольном утверждении Руссо о сугубо индивидуальном образе жизни человека в естественном состоянии заключается существенное расхождение его со взглядами по этому вопросу философов его эпохи, в частности с Дидро, чью позицию Руссо критикует позже в первом варианте «Общественного договора».

<sup>31</sup> *...прежде, чем делать из него человека.*— Это положение связано с утверждением Руссо о том, что появление чувствительности предшествует формированию разума. Основывая нравственную сторону жизни человека именно на первой черте, свойственной всем людям, он, в отличие от энциклопедистов, выводивших нравственную жизнь из разума, что исключало из нее «непросвещенный» народ, придавала тем самым большую демократичность своей общеполитической позиции.

<sup>32</sup> *...мучениям по вине другого.*— Эти воззрения восходят к мыслям античных авторов, особенно в их описаниях золотого века (см., например, Сен е к а. Послания к Луцилию, XC, 45). Эти мысли Руссо мог встретить и у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XI, «О жестокости», стр. 125).

<sup>33</sup> *...при разрешении вопроса о происхождении неравенства в положении личностей.*— Здесь фигурирует нелегкое для истолкования, а значит и для перевода, понятие о «*inégalité morale*». Трудность понимания определения «*morale*» связана прежде всего с тем, что по традиции оно воспринимается как «моральный», т. е. относящийся к нравственности. Действительно, оно употребляется Руссо и в этом смысле, но, например, не в данном случае, ибо было бы бессмысленно говорить о нравственном неравенстве людей. Поэтому тут мы предлагаем понимать «*inégalité morale*» как «неравенство в положении личностей». Мы встретим еще это понятие в его принятом в XVIII в. значении авторами «физический» и тогда передадим как «духовный»,

а иногда как «условный» (personne morale), т. е. опять-таки личность, не имеющая своего физического естества.

<sup>34</sup> ...то, что создано божественной волей...— Здесь, как и в ряде аналогичных мест, проявляется дуализм позиции Руссо в проблемах происхождения человека, общества и государства. Явное преобладание у него в целом реалистической тенденции позволяет все же считать некоторые из таких упоминаний о роли «божественной воли» уступкой деистического характера.

<sup>35</sup> В настоящем издании опущены примечания, посвященные вопросам естественно-исторического характера, уже устаревшие, и сохранены те, в которых нашли свое отражение социальные воззрения Руссо. Изменена в связи с этим и нумерация примечаний.

<sup>36</sup> Персий, Флакк (34—62 гг. н. э.) — римский поэт; в дошедших до нас шести его сатрах, проникнутых влиянием философии стоиков и представляющих подражание Горацию, он осуждает испорченные нравы своего времени, рассуждает об истинной свободе.

<sup>37</sup> Одни не колебались предположить...— См. Гуго Гроций. О праве войны и мира. Вступление, § IX.

<sup>38</sup> Другие говорили...— См. Д. Локк. О государственном правлении, книга вторая, «О гражданском правлении», гл. II, «О естественном состоянии», § 4.

<sup>39</sup> Третьи, надежив сперва...— См. Т. Гоббс. О Гражданине, I, XIV.

<sup>40</sup> ...к писаниям Моисея...— Имеется в виду включающее десять заповедей так называемое законодательство Моисея, записанное им, согласно Библии, непосредственно со слов бога (Библия, вторая книга Моисеева, гл. 20—24).

<sup>41</sup> Начнем же с того, что отбросим все факты...— Примеры, рассмотренные Руссо, не могли содержать данных, подтверждающих существование одинокого доисторического человека; тем решительнее он отбрасывает саму возможность и необходимость обращения к истории и этнографии и провозглашает достаточность метода чисто аналитического, рационалистического.

Но эта решимость отбросить факты могла иметь еще другой смысл и другое значение. Можно было считать, что Руссо имеет в виду те факты, при помощи которых объясняла происхождение вселенной и человека религиозная, библейская традиция, приписывавшая сотворение их богу. Среди авторов XVIII в., известных Руссо, у него были в этом отношении предшественники. Так Б. Лами еще в 1737 г. в своей «Риторике» отстранял версию Библии, чтобы объяснить изобретение языка людьми, «рожденными землей». Это было повторено в 1749 г. Кондильяком во второй части его «Опыта о происхождении человеческих знаний».

<sup>42</sup> ...наши натуралисты...— Намек на «Теорию земли» Бюффона и «Опыт Космологии» Мопертюи.

<sup>43</sup> ...предоставлен самому себе...— В этих словах видели отзвук известной фразы из «Апологии Раймунда Сабундского» Монтеня: «Рассмотрим с этой целью человека, взятого самого по себе, без всякой посторонней помощи, вооруженного лишь своими человеческими средствами...» («Опыты», кн. II, гл. XII, стр. 141).

<sup>44</sup> ...нахожусь в Лицее афинском...— Лицей, или Ликей — первоначальное название священной рощи, расположенной вблизи древних Афин, где сооружен был храм Аполлона Ликейского, потом — здания для гимнастических игр. Там в 335 г. до н. э. Аристотель основал философскую школу, посившую это имя и просуществовавшую до IV в. н. э.

<sup>45</sup> ...имея судьями Платонов и Ксенократов...— Ксенократ — древнегреческий философ (394—314 гг. до н. э.), один из первых учеников Платона и его преемник в Академии, известный чистотой своих нравов; до нас дошли лишь незначительные отрывки из его сочинений. Образ Ксенократа Руссо мог встретить у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XXXIII, стр. 473).

<sup>46</sup> ...стал в конце концов тем, чем он стал.— Позиция Руссо в вопросе об эволюции видов ограничена и выражена не отчетливо. Дидро в своем сочинении «Об истолковании природы» (XI—XII) высказался по проблеме эволюции гораздо смелее и определеннее.

<sup>47</sup> *Гоббс утверждает...*— См. «О Гражданине» (I, 4 и 12) и «Левнафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (Избр. произв. в двух томах, т. 2, стр. 150—151). Находя в самой природе людей такие три основные причины войн их друг с другом, как соперничество, недоверие и жажду славы, этот философ видел в них в свою очередь следствие первоначального равенства физических и в еще большей степени духовных способностей человека (в то время как Руссо подчеркивал неравенство сил и способностей людей в естественном состоянии).

<sup>48</sup> *Один знаменитый философ...*— Речь идет о Монтескье, который в своем произведении «О духе законов» (кн. I, гл. II) писал, что человек в естественном состоянии «чувствует лишь свою слабость» и что поэтому нападать друг на друга чуждо таким людям» (Избр. произв., стр. 165—166).

<sup>49</sup> *Кэмберленд Р.* (1631—1718) — епископ англиканской церкви, автор трактата о естественных законах (1672), переведенного на французский язык Барбейраком (1744). Тезису Гоббса о «войне всех против всех» Кэмберленд противопоставляет закон всеобщей благожелательности.

<sup>50</sup> *Пуфендорф, Самуил* (1632—1694) — немецкий правовед, теоретик естественного права, учение о котором он использовал, однако, не для борьбы с феодализмом и абсолютной монархией, а для узаконения феодально-крепостнических порядков. Основные труды его «О праве естественном и праве международном» и «Об обязанности человека и гражданина по естественному праву». В данном случае Руссо имеет в виду первое из этих сочинений (кн. I, гл. I и II).

<sup>51</sup> *...говорит Франсуа Кореаль...*— Кореаль, Франциско (1648—1708) — автор «Путешествий в Западную Индию», первый том вышедшего в 1722 г. французского перевода которых Руссо почти дословно цитирует здесь (ч. I, гл. VIII, стр. 117).

<sup>52</sup> *...не замечают этого сами.*— Древние авторы, описывая золотой век, начинали с Геспода («Труды и дни», стих 116), именно так описывали безболезненную кончину счастливых людей.

<sup>53</sup> *...мнение Платона.*— См. «Государство», кн. III, 405—406.

<sup>54</sup> *Подамирий и Махаон* — сыновья Асклепия, врачи в архейском войске, осаждавшем Трои (их имена фигурируют во II, IV и XI песнях «Илиады» Гомера). Фенелон упомянул их в XII книге «Приключений Телсмака».

<sup>55</sup> *Цельс, Авл Корнелий* — римский писатель I в. до н. э., давший в своем энциклопедическом сочинении лучшее, систематизированное и критическое изложение основ античной медицины.

<sup>56</sup> *Гиппократ* (ок. 460—377 г. до н. э.) — выдающийся греческий врач и естественный испытатель, один из основоположников античной медицины. В настоящее время считается, что диета была введена задолго до Гиппократа.

<sup>57</sup> *...готтентоты мыса Доброй Надежды...*— Главным источником сведений Руссо о готтентотах была цитируемая им ниже книга П. Кольбе «Описание мыса Доброй Надежды», изданная на французском языке в Амстердаме в 1741 г. и вошедшая затем в V том «Всеобщей истории путешествий», изданной в Париже в 1748 г., откуда Руссо и делал обширные выписки, см. также в книге Ж. Шинар (G. Chinar d. L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVII et au XVIII siècle, Paris, 1934, I, 34, и в статье Ж. Пира («Revue d'histoire littéraire de la France», 1956, p. 355—378).

Из всех авторов работ, поданных на конкурсе Дижонской академии, Руссо единственный так тщательно работал над материалами путешествий, черпая в них данные по этнографии и антропологии (см. R. T i s s e r a n d. Les concurrents de J. J. Rousseau à l'Académie de Dijon pour le prix de 1754. Paris, 1936).

<sup>58</sup> ...согласно Кореалю...— См. «Путешествия Франсуа Кореаля в Западную Индию». Париж, 1722, т. I, ч. I, гл. V, стр. 85.

<sup>59</sup> ...в Мексике называют тлакатцином...— Животное, о котором идет речь, это, по-видимому, опоссум, из семейства сумчатых.

<sup>60</sup> *Лазг, Жан* (1593—1649) — голландский географ, натуралист. Он изложил наблюдения, сделанные мореплавателями Маркграфом и Пизоном во время экспедиций, принятых Голландской компанией Западной Индии, в книге «Новый свет, или Описание восточной Индии», появившейся сначала по-голландски, затем по-латыни в 1633 г., переведенной на французский язык в 1650 г. Тлакатцин упоминается на стр. 143 этого издания.

<sup>61</sup> ...во всяком животном я вижу лишь хитроумную машину...— В этом сравнении проявляется влияние на Руссо идей механистического материализма, выраженных, в частности, в книге Ламетри «Человек — машина».

<sup>62</sup> ...человек отличается... от животного лишь как большее от меньшего— Руссо не выделяет человека из царства животных, как существо разумное. Он не признает картезианского противопоставления разума ощущениям. Эти его мысли навеяны идеями сенсуализма.

<sup>63</sup> ...способности к совершенствованию...— В этом месте заключена полемика с Кондильяком, ибо Руссо пытается воссоздать историю человека как рода, а Кондильяк пишет историю человека как индивидуума.

<sup>64</sup> ...подсказал обитателю берегов Ориноко, как применять дощечки...— Ф. Кореаль в своем сочинении (т. I, стр. 260—261) рассказывает, что племена, обитающие между Ориноко и Амазонкой, «имеют смешной обычай сплющивать голову и лицо своих детей, сейчас же после их рождения. Они помещают для этого голову между двумя предназначенными для этого дощечками». Вольтер в своих заметках на полях этого «Рассуждения» записал, что дикари сплющивают детям лоб, чтобы они могли стрелять в птиц, пролетающих над их головами.

<sup>65</sup> ...а разум человеческий все же многим обязан страстям...— Руссо возражает гут христианским моралистам, с присущим им осуждением страстей и проповедью аскетизма и «умерщвления плоти». Он во многом опирается на Монтеня, утверждавшего, что большинство добрых действий нашей души нуждаются в импульсе и ими вызваны («Опыты», кн. II, гл. XII). Еще более энергичную защиту страстей предпринял Дидро, заявивший в своих «Философских мыслях», что только страсти, и притом великие страсти, могут подвигнуть душу на великие дела. Бурламаки видел в страстях причину, вызвавшую отход человека от естественного закона («Принципы политического права», гл. III, IV). Оригинальность Руссо в этом вопросе состоит в мысли о взаимозависимости страстей и разума с момента появления понятия о потребности. Таким образом, в представлениях об эволюции оказались тесно связанными потребности, видоизменения в нравственном облике человека и в развитии его умственных способностей. Кондильяк также писал, что наши «потребности упражняют наши способности» («Трактат об ощущениях», IV, 9, 3).

<sup>66</sup> ...отдаляясь от животного состояния...— Наблюдение это сделано еще античными философами (см., например, Цицерон. De officiis, I, XI), встречается оно и у Монтескье в «Духе законов», кн. I, гл. I.

<sup>67</sup> ...вместе с разливом Нила...— Это утверждение, само по себе отнюдь не оригинальное, вместе с тем представляет собой явный отказ от наивно идеалистического объяснения происхождения наук и искусств из пороков человека, дававшегося Руссо в первом «Рассуждении».

<sup>68</sup> *Еврот* — наибольшая река Лакедемона (Спарты).

<sup>69</sup> ...чем народы Юга...— Здесь Руссо воспроизводит мысли Монтескье, введшего в широкий оборот идеи географического материализма, писавшего в «Духе законов», что «бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными

в труде, мужественными, способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва» (кн. XVIII, гл. IV, «Прочие следствия плодородия и бесплодия страны»). Вольтер в своих замечаниях на полях этого «Рассуждения» Руссо не согласился с этими мыслями и написал: «Это неверно — все искусства идут из теплых стран».

<sup>70</sup> ...на ближайшую почву.— Сведения эти взяты из цитируемой ниже книги отца Дю Тертра «Общая история островов св. Христофора, Гваделупы и Мартиники и других в Америке», 1654; дополненное издание вышло в 1667 г. под названием: «Общая история Антильских островов, обитаемых французами».

<sup>71</sup> Ср. С. П у ф е н д о р ф. О праве естественном и о праве международном, кн. II, гл. 11, § 2.

<sup>72</sup> ...с вопросом о происхождении языков.— Проблема эта привлекала Руссо прежде всего своим общесоциологическим аспектом. В то время как традиция, восходящая к Аристотелю («Политика», I), видела своего рода атрибуты изначальной природы человека в его социальности и в обладании речью, Руссо видит в этом приобретение, сделанные человеком только лишь в ходе длительного исторического пути его развития. См. также принадлежащий Руссо «Опыт о происхождении языков», опубликованный только после его смерти (Избр. соч., т. I, стр. 221—267). Эта проблема в середине XVIII в. привлекала большое внимание. Мопертюи посвятил ей свои «Философские размышления о происхождении языков и значении слов» (1748), Дидро — «Письма о глухонемых» (1751).

<sup>73</sup> ...исследований по этому вопросу г-на аббата де Кондильяка...— Имеется в виду «Опыт о происхождении человеческих знаний» (1746), написанный в то время, когда его автор, живя в Париже, находился в близких отношениях с Дидро и Руссо. На замечания последнего Кондильяк ответил в одном из примечаний к своей «Грамматике», входящей в его «Курс уроков принцу Пармскому», т. II, 1775.

Кондильяк, Этьен Бонно де Кондильяк (1715—1780), младший брат философа-моралиста аббата Габриэля Бонно Мабли — выдающийся представитель французского сенсуализма, в разработку которого он внес значительный вклад своим «Трактатом об ощущениях» (1754), представляющим его главный труд.

<sup>74</sup> ...его собственным созданием.— Это гипотеза Кондильяка («Опыт о происхождении человеческих знаний», ч. II, разд. I, гл. I, § 7).

<sup>75</sup> ...изобрести искусство речи...— Эту трудность увидел до этого и Кондильяк (назв. соч., ч. I, разд. II, гл. V, § 49), разрешая ее разделением языков на инстинктивный и рассудочный.

<sup>76</sup> ...крик самой природы.— Эта мысль также уже была выдвинута Кондильяком, различавшим три вида знаков: 1) случайные, 2) естественные, или крики, которые природа создала для выражения ощущения радости, страха и т. д., 3) избранные самими людьми (назв. соч., ч. I, разд. I, гл. IV, § 35). Таким образом, «крик природы» это самый простой вид естественных знаков, к числу которых Кондильяк относит также жесты.

<sup>77</sup> ...смысл целого предложения.— Эта мысль также уже была высказана Кондильяком (назв. соч., ч. II, разд. I, гл. IX, § 82); ее мы находим также у Мопертюи («Рассуждение о различных способах, которыми люди пользовались для выражения своих понятий» (Сочинения, т. III. Лион, 1756, стр. 444).

<sup>78</sup> ...единственным временем глаголов.— Ср. Кондильяк, назв. соч., ч. II, разд. I, гл. IX, § 85.

<sup>79</sup> ...а что до прилагательных...— И тут мысль Руссо совпадает с выводом Кондильяка (назв. соч., ч. II, разд. I, гл. IX, § 82), в то время как Дидро придерживался противоположной точки зрения, полагая, что прилагательные возникли первыми («Письма о глухонемых». — Собр. соч., т. I).

<sup>83</sup> ...обширнее становится словарь.— Кондильяк, напротив, считал это невозможным (назв. соч., ч. II, разд. I, гл. X, § 102).

<sup>81</sup> ...нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия...— Эта номиналистская теория общих понятий навеяна Локком («Опыт о человеческом разуме», II, 11 и IV, 7, 9), где он пишет: «Первопонятие в уме — это понятие об отдельных предметах, от которых разум возвышается незаметными ступенями к небольшому числу понятий более общих». Руссо «слово» и «понятие» объединяет более тесно, чем Локк, и в еще большей мере, чем Кондильяк, для которого слово это всего лишь «знак понятия» (см. Кондильяк, назв. соч., ч. I, разд. IV, гл. I).

<sup>82</sup> ...средств чисто человеческих...— Руссо как бы вынужден к этому признанию, не видя выхода из противоречий, к которым приводит стремление объяснить происхождение языков без вмешательства посторонних сил. В то же время ясно, что это признание нанесит сильный удар всей исторической и во многом материалистической концепции происхождения неравенства, развитой в данном «Рассуждении». Это со злорадством подметил филолог Н. Бозе (1717—1789), в статье «Язык» в «Энциклопедии»; не мог скрыть позже своей радости по поводу этой слабости Руссо и такой идеолог аристократической реакции, как Жозеф де Местр («Санкт-Петербургские вечера», беседа вторая).

<sup>83</sup> ...мало подготовила она их способность к общежитию...— Мысль о врожденной социальности человека поддерживалась в древности Аристотелем, Цицероном, стоиками, в новое время — Пуфендорфом, Барбейраком, энциклопедистами — Лидро, Жокурром. Руссо отрицает существование природной социальности в естественном состоянии, поскольку она основана на удовлетворении потребностей, не существующих еще в этом состоянии. Впрочем, позиция Руссо в этом вопросе не была последовательной и постоянной. Например, в «Исповедании веры Савойского викария», он склонен признать существование у человека от природы в потенции некоторых зачатков чувства социальности.

<sup>84</sup> ...столь несчастного, как человек в этом состоянии.— Такого рода суждение было распространено в социологической мысли XVII и XVIII вв., но в данном случае Руссо отвечает непосредственно С. Пуфендорфу («О праве естественном и о праве международном», кн. II, гл. I, § 8).

<sup>85</sup> ...ми поковок, ни добродетелей...— Руссо считал, что естественный человек добр, не сознавая этого, а только гражданин, связанный общественным договором, может быть добродетельным. Мысль Руссо будет колебаться между идеалом естественной доброты и высшим моральным идеалом гражданской добродетели. Только разум, умение рассуждать и сравнивать себя с другим человеком в ходе постоянных отношений с ним рождает в человеке понятия о морали, о добре и зле в нравственном смысле.

<sup>86</sup> ...заключать вместе с Гоббсом...— Этот философ, охотно цитируемый Пуфендорфом, писал: «В естественном состоянии мы находим лишь страсти, правящие на свободе, войны, страх, бедность, ужас, одиночество, дикость, невежество, жестокость» («О Гражданине», гл. I, § 1). Французский переводчик Гоббса Барбейрак возражал против этого, предвосхищая, таким образом, несогласие Руссо.

<sup>87</sup> ...мнит себя единственным обладателем всего мира.— Руссо поддерживает принцип Гоббса — «Природа дала каждому человеку право на каждую вещь». В то же время он категорически отрицает вывод Гоббса о неизбежности состояния «войны всех против всех» в дообщественном, естественном состоянии.

<sup>88</sup> Злой,— говорит он...— Вольтер в своих замечаниях подчеркнул слово «злой» и написал: «Дикарь не в большей мере является злым, чем волк, испытывающий голод».

<sup>89</sup> Слова эти, сказанные о скифах в «Истории» Юстина (II, 15), представляющей собой изложение 44 книг «Истории» Помпея Трога, Руссо взял, вероятно, в хорошо знакомой ему книге Г. Гроция «О праве войны и мира» (кн. II, гл. II, § 2).

Юстин, Марк Юниан, римский историк II в. до н. э.

<sup>90</sup> ...отвращением, которое он испытывает при виде страданий ему подобного.— Сходное место встречается у Дидро (*Oeuvres*, IV, стр. 101). Это можно объяснить, по-видимому, тем, что эти вопросы ими часто обсуждались и их точки зрения совпадали.

<sup>91</sup> ...самый злостный хулитель добродетелей человеческих.— Руссо имеет в виду Б. Мандевилля, автора «Басни о пчелах» (1723 и 1728) (франц. перевод 1740), в которой проводится мысль о том, что индивидуальные пороки обуславливают процветание общества, а добродетель ведет к разорению.

<sup>92</sup> ...автор «Басни о пчелах»...— Речь идет о Б. Мандевилле (см. предыдущее примечание), и приводится краткое изложение отрывка из этого его сочинения (франц. перевод 1740 г., т. II, «Опыт любви к людям», стр. 27—29).

<sup>93</sup> Сулла — римский диктатор (138—78 гг. до н. э.), представитель наиболее реакционной части крупных землевладельцев-оптиматов. О его чувствительности см. Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. II, стр. 144.

<sup>94</sup> ...этому Александру Ферскому...— Пример этот взят у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XXVII, «Трусость мать жестокости»); первоисточником же служит Плутарх.— «Сравнительные жизнеописания», т. I, «Жизнь Целоппада», XXIX.

Александр Ферский — тиран в Ферах, в Греции, в 70 г. до н. э., известный своей жестокостью: он закапывал своих врагов живыми в землю или бросал на растерзание диким зверям.

<sup>95</sup> ...вместе с Андромахой и Приамом...— Андромаха — жена Гектора, легендарного героя Троянской войны, сына Приама, царя Трои; они выведены в поэме Гомера «Илиада».

<sup>96</sup> ...на место того, кто страдает...— Это говорил Ларошфуко в своих «Моральных рассуждениях». Руссо читал эту книгу вместе с г-жей Варан (см. «Исповедь». — Избр. соч., т. I, стр. 89). См. также Жан де Лабрюйер. Характеры, гл. IV, «О сердце», № 48. М.—Л., 1964, стр. 92. Два принципа моральной жизни, предшествующие разуму: любовь к себе и сострадание, обладают разной природой, но Руссо не сомневается, что они могли быть одной и той же природы. В «Эмиле» он их сближает, объединяет — сострадание вытекает из любви человека к самому себе.

<sup>97</sup> ...отождествить себя с тем, которого убивают.— Здесь Руссо полемизирует с Б. Мандевиллем.

<sup>98</sup> Ювенал. Сатиры, XV, II, 131—133.

Ювенал — римский поэт (ок. 60—130 гг. н. э.). Его критика нравственного упадка рабовладельческого Рима была созвучна Руссо.

<sup>99</sup> Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобою...— Заповедь христианской религии, сформулированная в Евангелии от Матфея, 7, 12, и в Евангелии от Луки, 6, 31.

<sup>100</sup> ...который должен был бы подчиняться.— Хотя Руссо в первой части «Новой Элоизы» и протестовал против угнетения женщины, которую выдают замуж из соображений выгоды, вопреки ее желанию, тем не менее его взгляды на положение женщины не выходят за рамки буржуазного кругозора. Как известно, и французская революция XVIII в. не поставила проблему эмансипации женщины, а «Гражданский кодекс» Наполеона I закрепил ее зависимое положение. Даже Вольтер против слов о подчинении написал: «Почему?», ибо в отличие от Руссо не признавал естественного неравенства между полами и считал, что женщины могут делать все то же, что и мужчины.

<sup>101</sup> Ср. Монтень. Опыты, кн. I, гл. XXXI, «О каппибалах».

<sup>102</sup> ...огородив участок земли...— В литературе вопроса вслед за Шатобрианом («Гений христианства», ч. III, кн. II, гл. VI) видели прообраз всей этой сцены в словах Б. Паскаля: «Эта собака моя — сказали эти бедняги; это мое место под солнцем».

Вот начало и образ захвата всей земли» (Паскаль. Мысли, ч. I, гл. II. Париж, изд. Астье, 1883, стр. 404). Однако, несмотря на то, что после этого у Паскаля следует рассуждение о пагубности имущественного неравенства, все же связь мысли Руссо с этим отрывком весьма сомнительна (см. об этом выше, стр. 520).

<sup>103</sup> *...требовали от них новой изобретательности.*—Здесь налицо очевидное противоречие. Руссо говорит в данном месте не об одиноком человеке, а о человеческом обществе, ибо ни одно изобретение человека изолированного не могло быть передано детям и в их лице следующим поколениям.

<sup>104</sup> *...движущая сила человеческих поступков...*—Тут позиция Руссо формально совпадает с точкой зрения энциклопедистов, в действительности же они расходятся в понимании самого этого благополучия. Первые мыслят его более индивидуалистически, Руссо — более гражданственно.

<sup>105</sup> *...они объединялся с ними в одном стаде...*—Руссо тут отступает от своего тезиса о полном одиночестве первобытного человека и приближается к пониманию исторической истины. Дидро в «Продолжении апологии аббата де Прад» (§ 5) также говорит о том, что природа толкает человека к объединению в стадо, как она это делает с животными.

<sup>106</sup> *...совершенствовались изобретательность и навыки.*—Тут сказывается просветительская переоценка духовного фактора и недооценка роли общественной практики.

<sup>107</sup> *...своего рода собственности...*—Попытка проследить постепенное ее образование есть шаг вперед по сравнению с картиной, нарисованной в начале II части. В этом отношении Руссо мог опереться на соответствующие мысли Платона («Законы», кн. III, 680—681). Бюффон в 1752 г. описал семейную организацию индейцев Северной Америки («Естественная история»).

<sup>108</sup> *Каждая семья превращалась в маленькое общество...*—Затем Руссо откажется от этой мысли, чтобы вновь прийти к ней в окончательном тексте «Общественного договора».

<sup>109</sup> *...и люди чувствовали себя несчастными, потеряв их, хотя они и не чувствовали себя счастливыми, обладая ими.*—Руссо не понимал, что рост потребностей движет развитие производства. Для него потребности — своего рода оковы, тормоз для развития. Один из источников этой мысли — Платон («Государство», кн. II, 369—373).

<sup>110</sup> Ср. близкое к этому описание геологических катастроф в истории земли у Бюффона («Естественная история», т. II).

<sup>111</sup> *...человек от природы жесток...*—Имеется в виду точка зрения Гоббса и то, что именно для смягчения нравов человек нуждается в системе внутреннего управления.

<sup>112</sup> *...побуждаемый равно инстинктом и разумом...*—Трудное для понимания место. Речь не может идти о самом древнем периоде, когда человек еще не пользовался разумом, и в то же время это стадия, предшествующая появлению собственности. Трудность понимания снимается, если видеть тут разум в зачаточном его виде. Ибо человек в естественном состоянии хоть и руководствуется одним инстинктом, но является свободно действующим.

<sup>113</sup> *...согласно аксиоме мудрого Локка...*—См. Локк. Опыт о человеческом разуме, кн. IV, гл. III, § 18.

<sup>114</sup> *...как раз посередине (juste milieu)...*—«Какая химера», — написал Вольтер против этого места. Большая часть критиков поддержала это мнение (например, автор статьи в «Journal des savants».—«Журнал ученых», 1756, т. II, июнь, стр. 414).

<sup>115</sup> *...не нарушавшими их независимость.*—Описание счастливой жизни такого ро-



да, общества, не знающего ни бедности, ни богатства, ни применения металлов, дал Платон («Законы», кн. III, 678, 679). Известно, что во Франции в первой половине XVIII в. был создан ряд социальных утопий (см. извлечения из них в издании: W. K r a u s s, Die Reise nach Utopie, Berlin, 1964), но нам не известно о знакомстве с ними Руссо, кроме упоминаемой им в «Письмах с Горы» книги Д. В е р а с. История севарамбов (см. стр. 360). Знал же он, наверное, статью Дидро в первом томе «Энциклопедии» «Бакхиониты», в которой описываются философы, изгнанные из своей среды пагубные различия между «твоем» и «моим» и ставшие после этого счастливыми в той мере, в какой это дозволено человеку. Знал Руссо, конечно, и «Утопию» Т. Мора.

<sup>116</sup> ...одному полезно иметь запас пищи на двоих...— Проницательность этой мысли отмечена Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге» (Соч., т. 20, стр. 100).

<sup>117</sup> ...обработки металлов и земледелие...— Дидро в статье «Земледелие» (Agriculture) в «Энциклопедии» также связывает его происхождение с появлением собственности.

<sup>118</sup> ...этот огромный переворот.— Именно об этих строках Энгельс говорит, что учение Руссо в первом своем изложении, можно сказать, блистательно выставляет напоказ свое диалектическое происхождение. Руссо видит в возникновении неравенства прогресс, который был антагонистичен, он в то же время был и регрессом, ибо с каждым новым шагом вперед, который делает цивилизация, делает шаг вперед и неравенство («Анти-Дюринг», отд. I.— Соч., т. 20, стр. 143).

<sup>119</sup> ...прочнее и лучше цивилизованною...— Здесь применен термин «poliser», однозначный в данном случае с «civiliser».

<sup>120</sup> ...залежи руды образуются только в бесплодных местах...— Таково было распространенное в XVIII в. в науке мнение, лишенное действительных оснований. Для Руссо это соображение говорило еще об одной трудности в прогрессе материальной культуры.

<sup>121</sup> ...овощи и коренья...— Эту картину Руссо нашел, вероятно, в книге Дю Тертра «Общая история островов св. Христофора», ч. V, гл. I, § 5.

<sup>122</sup> ...область их применения.— См. П л а т о н. Государство, кн. II, 369—371.

<sup>123</sup> Когда древние, говорит Гроций, прозвали Цереру законодательницей...— Этот философ допускал существование первобытного коммунизма, первоначальной общественной собственности, в первую очередь на землю. Он, как и Пуфендорф, считал, что разрушившее это коллективное владение право первой заимки было затем упрочено соответствующими соглашениями между людьми. Руссо привел этот отрывок буквально из французского перевода сочинения Гроция «О праве войны и мира» (кн. II, гл. II, § 2), который в свою очередь здесь использовал комментарии Сервия к «Энеиде» Вергилия (к стиху 53, кн. IV).

Перера (Деметра) — греческая богиня плодородия и земледелия.

<sup>124</sup> ...назвали Фесмофориями...— Фесмофории — празднества в честь богини Деметры в древней Греции. Так как земледелие явилось основой оседлости и благосостояния, то Деметру начинают почитать как богиню-законодательницу (Фесмофору). Она становится покровительницей брака и семьи и, таким образом, как бы основательницей гражданского общества.

<sup>125</sup> ...наряду со складывающимся неравенством... (inégalité de combinaison).— Как видно, Руссо предполагает теперь наличие двух видов неравенства — естественного и возникающего при переходе к общественному состоянию — к гражданскому обществу.

<sup>126</sup> Быть и казаться — это, отныне, две вещи совершенно различные...— Более подробно Руссо развил эту мысль в своем «Письме к Кристофу де Бомону», архиепископу Парижскому. Быть и казаться для современного человека вещи столь же разные, как действовать и говорить, и первое вытекает из второго. Подлинная же причина этого — противоречие между характером общественного строя (ordre social) и природой, откуда все пороки людей и все беды общества.

<sup>127</sup> *...их рабом, даже становясь их господином...*— Это первое появление мысли, которая была разработана впоследствии в «Общественном договоре» и в «Эмиле».

<sup>128</sup> *...стали бедняками, ничего не потеряв.*— Это рассуждение предвосхищает мысль левого якобинца А. Шометта, высказанную им в речи 27 февраля 1793 г. в Конвенте.

Руссо присоединяется тут к Гоббсу; но глубокое различие между ними в данном вопросе состоит в том, что для него «война всех против всех» не есть проявление человеческой сущности, а порождена возникновением частной собственности в конце эпохи естественного состояния; более подробно развита эта мысль во фрагменте «О состоянии войны» (J. J. Rousseau. Political writings, v. I, 1915, p. 293—307 и J. J. Rousseau. Oeuvres compl., t. III. Paris, 1964, p. 601—616).

<sup>129</sup> Следует отметить, что, в отличие от ряда социальных критиков этого и даже позднейшего времени, Руссо не дал себя сколько-нибудь серьезно увлечь мыслью о двустороннем ущербе, причиненном развитием неравенства и богатам и беднякам.

<sup>130</sup> *...сколько протигоречливо его интересам естественное право.*— В огромной литературе XVIII в. по естественному праву и теории общественного договора это один из немногих примеров трактовки возникновения государства как акта защиты интересов богачей, предпринятого по их инициативе.

<sup>131</sup> *...закон собственности и неравенства...*— Соединение этих двух понятий в сфере действия одного закона подтверждает сказанное в предыдущем примечании.

<sup>132</sup> *...немногих граждан мира (âmes cosmopolites)...*— В наши дни Руссо употребил бы здесь слово «гуманист». Он осуждает космополитизм в том сугубо отрицательном смысле, какой мы сейчас придаем этому слову как презрение к своему народу. Прославляемый Руссо патриотизм свободен от какой бы то ни было национальной ограниченности. Он сохраняет чувство человеческой общности. Это демократический патриотизм, предшественник позднейшего революционного патриотизма масс времен Великой французской революции.

<sup>133</sup> *...между собой в естественном состоянии...*— Ср. Монтескье. О духе законов, кн. X, гл. II.

<sup>134</sup> *...завоеваниями более могущественного...*— Намек на Гоббса, «Левинафан», гл. XX.

<sup>135</sup> *...объединением слабых...*— См. д'Аламбер. Вступительная статья к «Энциклопедии», 1751, стр. III.

<sup>136</sup> *...кроме закона более сильного.*— У Руссо, тут и в дальнейшем, острая критика права завоевания — опровержение Гроция и Пуфендорфа, признававших это «право». Руссо здесь мог опираться на аргументы, выдвинутые Дидро в статье «Власть» (Autorité) в «Энциклопедии».

<sup>137</sup> *...как это сделал Ликург в Спарте...*— Предание приписывает именно этому деятелю создание основных законов Спарты, установивших раздел земель между ее гражданами на началах равенства, учреждавших суровое общественное воспитание и возрасте с 7 до 20 лет и предусматривавших умерщвление физически слабых детей.

<sup>138</sup> *...как можно скорее отдать себя в рабство.*— Это критика воззрений Т. Гоббса, очень близкая к тому, что писал по этому поводу Локк («О гражданском правлении», гл. VII, § 12 и 93).

<sup>139</sup> Полагают, что речь идет о басне Лафонтена «Старик и осел», в которой второй говорит первому: «Наш брэг — это наш хозяин».

<sup>140</sup> *...говорил Плиний Траяну...*— См. П л и н и й. Панегирик Траяну, V, 7.

<sup>141</sup> *...говорил Брасид...*— По рассказу Геродота (VII, 135) — таковы были слова, сказанные Булисом и Спертием сатрапу Гидарнесу. Текст этот фигурирует в книге Э. Де ла Борси. «О добровольном рабстве». Брасид — спартаецкий полководец во время Пелопонесской войны, в V в. до н. э.

<sup>142</sup> *Персеполис* — столица древней Персии.

<sup>143</sup> *...из которой многие...*— В частности, Руссо, несомненно, имеет в виду вышедшую в Англии в 1680 г. книгу сторонника наследственной монархии Р. Филмера «Патриарх».

<sup>144</sup> Локк это сделал в своем первом трактате «О государственном правлении».

<sup>145</sup> Эта цитата из «Истории» Тагита приведена в XV разделе книги А. Сиднея «Рассуждения о Правлении», которую Руссо читал в период его работы над «Рассуждением о неравенстве». Одна из рукописей Библиотеки г. Невшателя (Ms 7842) содержит два листа его выписок из этой книги, среди которых имеется и эта цитата.

<sup>146</sup> А. Сидней говорил об этом в своих «Рассуждениях о Правлении», написанных в 1680—1683 гг. и изданных только в 1698 г.; первый французский перевод вышел в 1702 г.

<sup>147</sup> *...чем мягкость этой власти...*— Боссюэ писал: «Королевская власть — это власть отцовская, и ее отличительная черта — это доброта».

<sup>148</sup> *...факты с точки зрения права...*— Это позиция, противоположная той, которую Руссо в «Общественном договоре» критикует в методе Гроция (кн. I, гл. II).

<sup>149</sup> *...известного сочинения...*— Это «Трактат о правах христианнейшей королевы на различные владения, входящие в Испанское королевство», 1667. Авторами его были А. Билен и аббат де Бурзейс. Оно представляет собой манифест, опубликованный после смерти Филиппа IV, когда Людовик XIV готовился к вторжению в Испанские Нидерланды, и в то же время желал, чтобы иностранные державы смотрели на него как на правителя, якобы подвластного законам, вынуждающим его нарушить данное ранее слово и взяться за оружие.

На этот памфлет А. Сидней намекал в своей книге (франц. перевод 1702 г., т. II, стр. 238); саму же цитату Руссо нашел у Барбейрака, который, оспаривая Гоббса и солидаризируясь с Пуфендорфом, в своем переводе его книги «О праве естественном и о праве международном» (кн. VII, гл. VI, § 10, прим. 2), цитируя этот памфлет, утверждает, что король должен подчиниться основным законам государства.

<sup>150</sup> *...авторитетным мнением Барбейрака, который ясно заявляет, следуя Локку...*— Речь идет о переводе Барбейрака «Гражданского правления» Локка. По странной непоследовательности, Руссо, поддерживая мнение Пуфендорфа, присоединяется к противоположной позиции Локка («О гражданском правлении», гл. IV, § 23). Эта ссылка на Барбейрака появилась только в издании 1782 г. Руссо полностью разделяет теорию Локка по этому вопросу. Он мог прочесть также у Монтескье: «Неправда, что свободный человек может себя продать» («О духе законов», кн. XV, гл. 2).

<sup>151</sup> *Пуфендорф говорит...*— См. Пуфендорф «О праве естественном и о праве международном», а также «Общественный договор», кн. I, гл. IV («О рабстве»).

<sup>152</sup> *...и юрисконсульты, которые с важностью провозгласили...*— Речь идет о тех, кто в древности и в последующие эпохи присоединялись к позиции, сформулированной Аристотелем.

<sup>153</sup> *...следуя общепринятому мнению...*— Руссо, по-видимому, ссылается на статью «Власть политическая», написанную Дидро для «Энциклопедии». Твердого мнения Руссо здесь еще не высказывает, из чего можно заключить, что его трактат «Политические установления» (Institutions politiques) еще находился в процессе создания.

<sup>154</sup> *...договор между народом и правителями, которых он себе выбирает...*— В трактовку этого договора Руссо позже внесет свое особое, демократическое содержание.

Р. Дератэ полагает, что в этот период Руссо еще представляет себе договор скорее как договор подчинения (acte de soumission); что позже он эту мысль отвергнет и придет к пониманию договора как акта ассоциации (contrat de l'association) (см. R. Derathé. J.-J. Rousseau et la science politique de son temps. Paris. 1950, p. 222—223).

<sup>155</sup> *...на всех членов Государства без исключения...*— Здесь Руссо свою точку зрения излагает более четко, чем это выражено у Пуфендорфа (см. Пуфендорф. О праве естественном и о праве международном, кн. VII, гл. VI, § 9).

<sup>156</sup> ...и власть магистратов...— Исправления в черновиках «Политической экономии» показывают, что в этом месте Руссо пишет «магистраты», а подразумевает — «король».

<sup>157</sup> ...огняло у подданных пагубное право ею распорядиться.— Эта оговорка Руссо указывает на его значительные колебания в вопросе о насильственных мерах общественных преобразований.

<sup>158</sup> ...фанатизм заставляет ее проливать.— Руссо следует в данном месте Пуфендорфу («О праве естественном и о праве международном») и еще далек от идей, развитых им в последней главе «Общественного договора».

<sup>159</sup> ...геронты в Спарте, сенат в Риме и даже сама этимология нашего слова сель-ор...— Все три слова означают старейших, старших (греч. и лат.).

<sup>160</sup> ...называть самих себя богоравными и царями царей.— В поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» мы встречаем эти определения применительно, например, к Агамемнону.

<sup>161</sup> ...власти, основанной на законах...— В оригинале «pouvoir légitime», что обычно переводится как «законная», но это не совсем точно передает мысль Руссо.

<sup>162</sup> ...ни в магистратах, ни в законах.— Здесь в окончательном варианте был опущен отрывок, вписанный рукой неизвестного лица на небольшом листке, куда Руссо внес свои исправления. Впервые отрывок опубликован А. Р., т. XXXIV, 1956—1958, р. 71—77. Он говорит о ненужности наемных войск в том государстве, где «магистраты делают общее дело с народом», интересы которого совпадают с интересами его главы.

<sup>163</sup> ...заставить говорить о себе...— Вольтер подчеркнул эти слова и сделал пометку, обращенную к автору: «О ты, обезьяна, подражающая Диогену, как ты осуждаешь сам себя». И несколько ниже добавляет: «Как ты все утрируешь, как ты все изображаешь в ложном свете».

<sup>164</sup> ...защищать общие интересы государства.— В оригинале chose commune, и мы это понимаем в данном случае как государство.

<sup>165</sup> ...усилить власть, всех их сдерживающую.— Вольтер, подчеркнув эти слова, написал на полях, как бы обращаясь к Руссо: «Говоря, что королевская власть сдерживает и подавляет все группировки, ты этим воздал великую хвалу монархии, против которой сам восстаешь».

<sup>166</sup> Лукан, Марк Анней (39—65 гг. н. э.) — древнеримский поэт, названная выше поэма которого была направлена против единовластия императора. Эти строки приведены в «Рассуждениях о правлении» А. Сиднея, разд. XIX.

<sup>167</sup> Воган предполагает, что цитата в оригинале должна выглядеть так: «sui compositis rebus nulla spes», если это выдержка из Тацита («История», I, 21). Вполне допустимо предположение, что в таком виде она заимствована у А. Сиднея, у которого она приведена в таком виде «quibus ex honesto nulla est spes» (А. Сидней. Рассуждения о правлении, разд. XIX).

<sup>168</sup> ...только сила его и низвергает.— Дидро в «Энциклопедии» (в статье «Политическая власть») оправдывает таким же способом восстание против деспотизма (см. Diderot. *Textes choisis*, t. II, 1955, р. 164—165): «Тот же закон, что создал деспотическую власть, затем сокрушает ее: это закон более сильного».

<sup>169</sup> ...Диоген никак не мог найти человека...— Диоген (404—323 гг. до н. э.), из Синопа, греческий философ, ученик Антисфена, основателя кинической философской школы. Диоген отвергал все достижения цивилизации и призвал ограничиться только удовлетворением необходимых потребностей. Слова Руссо связаны с легендой о Диогене, якобы с фонарем в руках искавшем добродетельного человека.

<sup>170</sup> Катон, — скажет этот читатель, — погиб вместе с Римом. — Катон — речь идет о Катоне Младшем, или Утическом (95—46 гг. до н. э.), стороннике республиканского строя (см. прим. 37 на стр. 635).

<sup>171</sup> *Геродот рассказывает, что после убийства Лже-Смердиса...*— Геродот (ок. 484—425 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, автор истории греко-персидских войн, в третьей книге которой описывается этот эпизод (III, 67—84). Лже-Смердис — самозванец, выдававший себя за Смердиса, брата царя Персии Камбиза, корону которого он узурпировал в его отсутствие. В 521 г. до н. э. был убит семью заговорщиками, передавшими власть Дарию.

<sup>172</sup> *«Естественная история»*.— Речь идет о сочинении знаменитого представителя французского естествознания этой эпохи Бюффона (1707—1788), имевшего большое влияние на формирование естественнонаучных воззрений Руссо.

<sup>173</sup> *Один знаменитый автор...*— Намек на Мопертюг, который проводит эту мысль в своем «Опыте моральной философии», вторая глава которого озаглавлена: «О том, что в обычной жизни сумма несчастий превосходит сумму благ». Для животных Бюффон устанавливал обратное соотношение («Естественная история», т. XII).

<sup>174</sup> *...это я доказал.*— Ср. «Последний ответ г. Борду». Идеализированные изображения природной доброты людей в «естественном» состоянии Руссо мог в избытке найти в описаниях путешествий, в частности, у того же П. Кольбе, писавшего, что «доброта готтентотов, их честность, любовь к справедливости и целомудрие составляют такие добродетели, которыми немногие народы обладают в такой же степени».

<sup>175</sup> *...огромный и страшный лондонский пожар...*— Вероятно, Руссо имеет в виду пожар 1666 г., во время которого было уничтожено 13 200 зданий.

<sup>176</sup> *...Монтень порицает афинянина Демада...*— Демад — афинский оратор IV в. до н. э., противник Демосфена, государственный деятель. Монтень пишет о нем в «Опытах» (кн. I, гл. XXII — «Выгода одного — убыток для другого»). Сам пример заимствован у Сенеки.

<sup>177</sup> *...всякого цивилизованного человека.*— Вольтер пишет против этого места на полях: «И в еще большей мере всякого дикаря, насколько только это для него возможно».

<sup>178</sup> Руссо возобновит этот аргумент в связи с обсуждением «Поэмы о катастрофе в Лиссабоне» Вольтера, которому он по поводу землетрясения 1755 г. писал 18 августа 1756 г.: «Согласитесь, что это не природа сосредоточила в одном месте двадцать тысяч шести- и семиэтажных домов, и если бы жители этого большого города селились бы более равномерно... то жертв было бы намного меньше, а возможно, что их не было бы вовсе». (С. Г.), т. II, р. 306).

<sup>179</sup> Подчеркивается, что собственность не относится к «естественным» правам.

<sup>180</sup> *...приносят в жертву суетным песнопениям...*— Речь идет о хорах кастратов.

<sup>181</sup> *...оскорбляют требования человечности.*— Мы узнаем здесь одну из главных в общественном отношении тем романа Руссо «Новая Элоиза».

<sup>182</sup> *...мишут себя жизни...*— Ср. «Новую Элоизу», ч. III, письма XXI и XXII, в которых Руссо развивает свои мысли о самоубийстве (Избр соч., т. II, стр. 317—331).

<sup>183</sup> *...реальгара* (также реагал или реалгал).— Минерал оранжево-красного цвета, сернистый мышьяк. Применяется в красильном деле и для борьбы с вредителями сельского хозяйства, в XVIII в. также в медицине.

<sup>184</sup> *...не одним философом.*— См. Монтескье. Персидские письма, письмо СХVIII. М., 1956, стр. 273—274.

<sup>185</sup> *...средства к жизни бедным...*— Объяснение это было весьма распространенным. См., например, Монтескье. О духе законов, кн. VII, гл. IV.

<sup>186</sup> *...единственное оправдание заповеди...*— Некоторые исследователи полагают, что речь здесь идет о запрете вкушать плод «древа познания добра и зла» (Библия, кн. Бытия, 2, 16—17).

<sup>187</sup> ...Паламед изобрел числа во время осады Трои...— В «Илиаде» Паламед представлен как человек, придумавший ряд игр.

<sup>188</sup> Речь идет о Платоне («Государство», кн. VII, 522).

<sup>189</sup> *Агамемнон* — царь Микен, возглавлявший греческие войска в походе против Трои.

<sup>190</sup> *Исаак Фоссиус* (1618—1689). Трактат его, изданный в Оксфорде в 1673 г., в том, что касается изначальной роли ритма и пантомимы, превосходит мысли Руссо, высказанные им в «Эмиле», в «Опыте о происхождении языков» и в «Словаре музыкальных понятий» («Dictionnaire musical»), где он вновь цитирует этого автора в статьях «Музыка» и «Ритм».

<sup>191</sup> *Герцог де Виллар, Клод Луи Гектор* (1635—1734) — маршал Франции. Анекдот, рассказанный Руссо, не фигурирует в его «Мемуарах», отчасти, впрочем, апокрифических, опубликованных в 1736 г. в Гааге.

<sup>192</sup> ...то место у Исократ...— См. «Ареопагитика», 21, 22 (143—144). Исократ (436—338 гг. до н. э.) — четвертый из десяти аттических ораторов. Прославился своими писанными речами, предназначавшимися для чтения, к числу которых относится и названная выше, призывающая восстановить устройство Солона.

## О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Статья эта впервые была напечатана в V томе «Энциклопедии», вышедшем в 1755 г. Отдельным изданием опубликована под названием «Гражданин, или Политическая экономия» в Женеве Дювиларом без согласия Руссо (см. письмо Руссо к Верну от 22.X.1758 г.). Некоторые поправки и дополнения были внесены по рукописи в посмертное издание сочинений 1782 г., осуществленное Дюейру и Мульгу.

В настоящем издании перевод сделан со сводного текста, изданного Воганом после сверки всех пяти печатных изданий статьи.

Большая часть рукописи хранится в городской библиотеке Невшателя (Швейцария).

Статья дважды переводилась на русский язык — А. М. Лужковым в 1777 г. и В. Медведевым в 1787 г.

<sup>1</sup> ...управление домою...— Понятие «экономия», встречающееся у Ксенофонта, было рассмотрено Аристотелем, понимавшим под «οἶκος» не просто дом, а хозяйство в более широком смысле, нежели домашнее. Взгляды именно этого античного мыслителя оказали значительное влияние на Руссо. Мы имеем, в частности, в виду тот факт, что Аристотель под экономией понимал совокупность непосредственно полезных вещей, т. е. потребительских стоимостей, имеющую, по природе своей, естественные количественные границы, в отличие от «хрематистики» — накопления богатства в виде денег, предела не имеющего, к которому он, в общем, относился отрицательно.

<sup>2</sup> ...политической экономией — или еще Руссо ее именует «публичной» (publique) и гражданской (civile).

<sup>3</sup> См. «Новую Элоизу», где мы находим довольно детальное изображение принципов ведения домашнего хозяйства. О домашних слугах и поденщиках говорит часть IV (письмо X.— Избр. соч., т. II, стр. 377 и сл.), об обязанностях хозяев, об их образе жизни, об управлении своим состоянием — часть V (письмо II, стр. 456—485), о воспитании детей — тоже часть V (письмо III, стр. 485—512).

<sup>4</sup> *Если бы между Государством...*— Этот и последующие четыре абзаца повторяются с незначительными отклонениями в тексте первого наброска «Общественного договора» (кн. I, гл. V). Косвенное свидетельство того, что Руссо включил в эту статью отрывок из уже существовавшего первого наброска «Общественного договора».

<sup>5</sup> *...самою природой.*— Фактически Руссо уже тут близок к точке зрения, выраженной в «Общественном договоре» (кн. I, гл. II), где говорится, что «самое древнее из всех обществ и единственно естественное — это семья».

<sup>6</sup> *...тогда как богатство казнь...*— В первом наброске «Общественного договора» это место выглядит иначе: «богатство государя, далекое от того, чтобы добавлять нечто к благополучию частных лиц, почти всегда стоит им покоя и изобилия».

Воган полагает, что этот текст является первоначальным.

<sup>7</sup> *...затем из благодарности...*— В «Рассуждении о причинах неравенства» и в «Общественном договоре» отрицается вытекающая из признательности детей их обязанность повиноваться отцу после достижения самостоятельности. То, что в данной статье автор придерживается иной, общепринятой точки зрения, может рассматриваться как свидетельство ее более раннего происхождения.

<sup>8</sup> *...о рабстве...*— Руссо упомянул его, возможно, лишь потому, что Аристотель в той части «Политики» (см. прим. 1), где он рассматривает экономно «домашнюю», рассматривает отношения между хозяином и его рабами (гл. IV—VII).

<sup>9</sup> *...очень немного хороших магистратов...*— В изданиях 1758 и 1772 гг. эта фраза заканчивается так: «но сомнительно, что за то время, сколько стоит мир, человеческая мудрость создала десять человек, способных править себе подобными». Окончательный текст появился лишь в издании 1782 г.

<sup>10</sup> *Роберт Филмер* (1604—1688) — английский политический деятель и политический писатель, автор ряда книг, в том числе и «Патриарх, или Естественная власть Монархов» (1680).

<sup>11</sup> *...два выдающихся человека...*— Это, подвергшие книгу Филмера критике, Альджернон Сидней и Джон Локк, первый в своих «Рассуждениях о правлении», второй — в трактате «О государственном правлении» (кн. II).

<sup>12</sup> См. А р и с т о т е л ь. Политика, кн. I, гл. II.

<sup>13</sup> *...власть исполнительная...*— В оригинале «executrice», а не «executive», как в первом наброске «Общественного договора» и в его окончательном тексте (кн. III, гл. I).

<sup>14</sup> *Да будет мне позволено...*— В черновой рукописи этой фразе предшествует следующая: «Если бы я намеревался точно определить, в чем состоит политическая экономия, я нашел бы, что ее задачи сводятся к трем главным: руководить осуществлением законов, поддерживать гражданскую свободу и заботиться о нуждах государства. Но чтобы уразуметь связь этих трех целей, необходимо обратиться к принципу, их объединяющему». Таким образом, Руссо еще не различает отчетливо собственно предмета политической экономии, сливающейся у него не только с экономической, но и со всей внутренней политикой данного государства.

<sup>15</sup> *...дают этой машине...*— Легкость, с которой Руссо переходит от сравнения общества с живым организмом к сравнению его с машиной, во многом объясняется тем, что эти слова во французском языке его времени звучали почти как синонимы, что объясняется их употреблением в латинском языке, где под машиной понималось всякое соединение частей и органов, образующих некое целое, одушевленное или нет (см. G. G a y o u. Le français classique. 6 ed. Paris, 1948, p. 530).

<sup>16</sup> *...в здоровом состоянии.*— Этот абзац весьма близок к «Введению» к «Левифану» Гоббса, где государство сравнивается с «искусственным человеком».

<sup>17</sup> *...чтобы заслужить свой скудный обед...*— Это замечание вызвано словами Гоббса о роли гражданского закона («О гражданине», гл. VI, § 16).

<sup>18</sup> *...в статье «Право»...*— Речь идет о статье Дидро «Естественное право» («Droit naturel») в V томе «Энциклопедии». Великий принцип, о котором идет здесь речь, — несомненно идея главенства общей воли, но значение слов Руссо, называющего свою статью лишь развитием принципа, взятого им у Дидро, до сих пор остается неясным.

<sup>19</sup> ...мир — как один большой город...— Вероятно, здесь имеется в виду одна из концепций философии стоиков, которые, согласно сообщению Цицерона («De Finibus bonorum et malorum», III, 64), видели в мире, управляемом провидением, общий «большой» город богов и людей.

<sup>20</sup> ...ее изображению в своих пещерах.— См. Д. Дидро. Собр. соч., т. VII, стр. 205.

<sup>21</sup> ...и в сатирах Макиавелли...— Вероятно, имеется в виду критика действительности в сочинении Макиавелли «Князь». Отдельных сочинений в жанре сатиры у этого автора нет.

<sup>22</sup> ...объединившихся в большое общество...— Значит, здесь Руссо допускает существование такового, что им полностью отрицается в первом наброске «Общественного договора» (кн. I, гл. II).

<sup>23</sup> ...общей защитой...— Эта формулировка совпадает с той, что дает Локк («О гражданском правлении», гл. IX, § 123).

<sup>24</sup> ...должен соблюдать их он сам...— Таким образом, Руссо решительно отбрасывает принцип права, характерный для абсолютистских режимов, гласивший: «*principes legibus solutus est*» (правитель свободен от соблюдения законов).

<sup>25</sup> ...Платон и рассматривает...— см. «Законы», кн. IV, с. 719 и до конца книги.

<sup>26</sup> ...суровость наказаний...— Руссо следует тут мыслям, высказанным Монтескье как в «Персидских письмах» (письмо XXX), так и в «Духе законов» (кн. VI, гл. IX, XII и XIV).

<sup>27</sup> См. развитие этих мыслей в «Общественном договоре» (кн. II, гл. XI и кн. III, гл. VIII). Связь эта указывает на значение данной статьи в творческой истории этого трактата.

<sup>28</sup> Оснований собирать нацию тем меньше...— Пример изменения точки зрения Руссо, который в «Общественном договоре» высказывается как раз за частый созыв общих собраний данного народа (кн. III, гл. XIII) для выявления общей воли.

<sup>29</sup> В Китае...— В отличие от «Духа законов» Монтескье и книг других авторов той эпохи Китай занимает в политических сочинениях Руссо сравнительно скромное место. Все же в данной статье он трижды ссылается на пример этого государства (которое слыло в XVIII в. образцовым), не указывая, однако, своих источников.

Мы знаем, что по просьбе г-жи Дюпен он читал «Описание Китайской империи» отца Дю Хальда, к которому часто прибегал Монтескье.

<sup>30</sup> ...интенданта сажают в тюрьму.— Здесь Руссо применяет термин, бытовавший во Франции, где интендантами именовались наместники, управлявшие отдельными провинциями и областями.

<sup>31</sup> ...В центре и на севере Азии...— В оригинале «Tartarie» (Тартария). Во французской системе географических наименований XVIII в. под этим понимались обширные пространства Центральной и Северной Азии за Уралом, в Сибири, в Монголии, заселенные, по мнению авторов, народами преимущественно тюрко-монгольского происхождения. Само слово «Tartarie», возможно, связано со словом «татары».

<sup>32</sup> ...Августин. Аврелий (354—430), епископ Гиппонский (в Северной Африке); крупнейший древнехристианский богослов, философ-мистик.

<sup>33</sup> ...самого Сократа Катону...— В «Исповеди Савойского викария» Руссо по сходным мотивам противопоставляет Сократа Иисусу.

<sup>34</sup> Помпей, Гней (106—48 гг. до н. э.), римский полководец и политический деятель. В 60 г. до н. э. вступил в состав Триумвирата, включавшего Красса и Юлия Цезаря; в борьбе с последним за власть потерпел поражение, бежал в Египет, где был убит.

<sup>35</sup> ...воюет с софистами...— Софисты (греч.— мастер, художник) — древнегреческие философы, являвшиеся учителями «мудрости» и «красноречия» (V в. до н. э.). «Старшие» софисты в большинстве своем были материалистами в понимании природы



(Протагор, Гиппий и др.). Они выражали интересы рабовладельческой демократии. Другая группа тяготела к рабовладельческой аристократии (Критий, Гипподам), являлась идеалистами. Софисты в спорах нередко использовали всякого рода уловки, неправомерные доводы, отсюда — софизм.

<sup>36</sup> *...от завоевателей мира...*— Имеется в виду главным образом Юлий Цезарь, завоевавший Галлию, Египет, ведший войну в Британии и на Балканах.

<sup>37</sup> *...покидает землю...*— После поражения своих сторонников, республиканцев, Катон Младший в 46 г. до н. э. покончил с собой.

<sup>38</sup> *...не может отказать никому.*— Руссо связывал весьма тесно и, может быть, даже несколько односторонне понятие о патриотизме с чувством гражданским, политическим. Он писал 1 марта 1764 г., в горькие для него дни изгнания, из Мотье, полковнику Пикте: «Не стены и не люди образуют отечество: это делают законы, нравы, обычаи, Правительство, конституция, всем этим обусловленный образ жизни. Отечество заключено в отношениях между Государством и его членами; когда они изменяются или уничтожаются, исчезает и отечество; итак, милосливый государь, оплачем наше: оно погибло, а остающийся ныне призрак способен лишь его позорить» (С. G., X, p. 337—338).

<sup>39</sup> *...или уничтожал другого...*— В черновике далее говорится: «кроме тех случаев, когда речь идет о самосохранении общественного целого и частного лица» (conservation publique et particulier).

<sup>40</sup> *...основные соглашения...*— Речь идет о самом общественном договоре, т. е. об акте, оформляющем ассоциацию.

<sup>41</sup> *...своим имуществом...*— В черновике добавлено: «и своей свободой».

<sup>42</sup> Подразумевается Александр Македонский. Вынести осуждающий приговор в Афинах могло лишь народное собрание голосованием, подвергая обвиненного ostracismu — изгнанию.

<sup>43</sup> *...среди великолепия триумфов.*— Триумф — в древнем Риме — торжественный въезд в столицу победоносного полководца по окончании похода.

<sup>44</sup> *Порций Лека* — народный трибун (199 г. до н. э.) — автор «Порцийских законов» (leges Porciae), запрещавших наказание плетью и смертную казнь для римских граждан.

<sup>45</sup> *...ремесел полезных и трудных...*— Мысль эта восходит к Платону («Государство», кн. II, 13, 372 с—373 д).

<sup>46</sup> *...дурным гражданином.*— Идя вслед за Монтескье, для которого каждый вид правления основывался на определенной страсти, Руссо им придает большое значение в системе политической организации: «Все человеческие установления основаны на страстях и поддерживаются ими: все то, что берется против страстей и подавляет их, не способно, следовательно, укреплять эти установления» («Письма с Горы», письмо первое).

<sup>47</sup> Ср. «Общественный договор», кн. II, гл. VII.

<sup>48</sup> *...повиноваться другим...*— В «Эмиле» (кн. II) Руссо займет противоположную позицию.

<sup>49</sup> *...результат воспитания...*— В черновике после этого: «ибо они могли бы из них сделать очень хороших сыновей и очень плохих граждан».

<sup>50</sup> *Общественное воспитание... осуществляемое посредством законов.*— В черновике мысль об общественном воспитании развита следующим образом. «Оно является одним из основных приемов правления народного и основанного на законах (publice et légitime), и при его помощи станут «удачно» наставлять молодых граждан в том, как надо соединить все свои страсти в любви к отечеству, все свои желания в общей воле, и как, следовательно, возвысить свои добродетели до такой высоты, куда их может вознести человеческая душа, воспитанная для столь великих целей».

<sup>51</sup> *...и вершиною.*— В дальнейшем Руссо изменил свой взгляд на последователь-

ность получения роли воспитателя. Сначала Руссо считал, что она самая почетная и тем самым достойна увенчать деятельность гражданина, позже эта должность становится в его глазах лишь первым шагом на пути служения обществу.

<sup>52</sup> *...критяне, лакедемоняне и древние персы.*— Действительно, древние греки и персы уделяли большое значение общественному воспитанию детей.

<sup>53</sup> *...совершило чудеса.*— Руссо здесь непосредственно отправляется от Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XXXI), а косвенно от Платона, отстаивающего идею общественного воспитания как в «Государстве», так и в «Законах» (кн. I), где он имеет в виду опыт Спарты и Крита.

<sup>54</sup> *...никогда не бесполезен.*— Ср. «Эмиль», кн. III.

<sup>55</sup> *...к управлению имуществом.*— Было бы полезно исследовать соотношение этого определения Руссо с формулировкой сен-симонистов, различавших управление людьми и управление вещами.

<sup>56</sup> *...как показал Пуффендорф.*— См. «О праве естественном и праве международном», кн. IV, гл. X, § 4.

<sup>57</sup> *...предназначенными для другого.*— В «Эмиле» (кн. III) на очень широкой основе, в предвидении приближающихся революций, отвергнута эта точка зрения, отдающая дань влияниям консервативным и патриархальным.

<sup>58</sup> Ср. «Общественный договор», кн. III, гл. IV.

<sup>59</sup> *...состоит трудность справедливой и мудрой экономики.*— В черновике говорится: «Чтобы устранить эти противоречия, представим себе дела (*représons les choses*) после установления Правительства и станем исследовать не то, что есть, а то, что должно было бы быть» (*moins ce qui est que ce qui devrait être*). Это одно из ярких свидетельств намечающегося уже в этой статье нормативного похода к анализу явлений общественной жизни, окончательно возобладавшего в «Общественном договоре».

<sup>60</sup> *...основатель учрежденный Республики.*— Это законодатель, охарактеризованный подробно в «Общественном договоре» (кн. II, гл. VII).

<sup>61</sup> *...разойтись в мнениях с Бодэном.*— Жан Бодэн (1530—1596) — французский политический мыслитель. Считал частную собственность неприкосновенной, а причину переворотов видел в существовании имущественной дифференциации. Его сочинение «Шесть книг о Государстве» имело большое и еще недостаточно изученное влияние на Руссо. В данном случае имеется в виду книга VI этого сочинения, гл. II, стр. 617, изд. 1577 г.

<sup>62</sup> *Ромул* — вместе с братом его Ремом — по преданию, внуки Нумитора, царя Альбалонги, основавшие Рим, названный Ромулом по своему имени, где он стал его первым царем в 753—716 гг. до н. э.

<sup>63</sup> *...квестора Катона.*— Речь идет о Катоне Утическом, успешно исправлявшем в 65 г. до н. э. пост квестора — одного из управляющих государственной казной, эрариумом.

<sup>64</sup> *...мало находится Гальба.*— Гальба Сервий Сульпиций (5 г. до н. э.—69 г. н. э.) — в 68—69 гг. н. э. римский император. Возможно, Руссо имеет в виду тот факт, что, будучи уже в 32 г. н. э. консулом и правителем нескольких провинций, Гальба при преемниках Августа отклонял предложения стать императором, управлял Африкой и Испанией и только после низвержения Нерона принял этот сан.

<sup>65</sup> *...поставку хлеба в годы неурожайные.*— Руссо воспроизводит конкретные черты экономической политики французского абсолютизма. См. об этом: Г. Е. Афанасьев. Условия хлебной торговли во Франции в конце XVIII столетия. Одесса, 1892.

<sup>66</sup> *...устроить общественные склады.*— Руссо высказывает здесь точку зрения, противоположную развитой основателем доктрины физиократов Кенэ в статье «Зерно» в VII томе «Энциклопедии» (1757), написанной с позиций буржуазного требования свободы торговли, где он решительно выступал против идеи общественных складов.

К этой мысли внимание Руссо, кроме опыта Женевы, могла привлечь еще и книга Ж. Мелона, «Политический опыт о торговле и промышленности», считавшего, что в небольших странах такого рода склады могут быть весьма полезны.

<sup>67</sup> *Носиф* («Прекрасный») — по библейским сказаниям, один из сыновей патриарха Иакова, проданный своими братьями в Египет и занявший впоследствии высокую должность при дворе египетского фараона. Он воспользовался семилетним неурожаем, чтобы превратить независимых землевладельцев в государственных крестьян и заставить их платить казне пятую часть своего дохода.

<sup>68</sup> *...отбираем у людей полезных.*— В черновике добавлено: «что рано или поздно должно привести к разорению народа и к обезлюдению страны».

<sup>69</sup> *...победы Александра...*— Речь идет об Александре Македонском.

<sup>70</sup> *Лишь при осаде Вей начали платить римской пехоте.*— На значение этого факта Руссо обратил внимание благодаря Монтескье (См. «Размышления о причинах величия и падения римлян», гл. I). Вейи — этрусский город, расположенный к северу от Рима, который вел с ним упорную и долгую войну.

<sup>71</sup> *...Марий был первым, кто во время Югуртинской войны...*— Марий (156—86 гг. до н. э.) — римский полководец, началом его военной славы послужили победы в войне с нумидийским царем Югуртой (111—105 гг. до н. э.).

<sup>72</sup> *...быть телохранителями Цезаря...*— В Риме телохранителями царей было 300 всадников. Сципион впервые набрал себе телохранителей из римских воинов, получивших при Марии название преторианцев. Преторианская гвардия была преобразована при Августе и приобрела огромное влияние.

<sup>73</sup> *...мирное пользование тем, что ему принадлежит.*— Характер этого определения еще раз свидетельствует о близости многих мыслей этой статьи Руссо к Локку, писавшему, что «основной целью вступлении людей в общество является стремление мирно и безопасно пользоваться своей собственностью» («О гражданском правлении», гл. XI, § 134.— Избр. философ. произв., т. II, стр. 76).

<sup>74</sup> *...при обложении.*— На полях черновика в этом месте написано «Смотри у Локка», что подтверждает сказанное выше.

<sup>75</sup> *...или его представителей...*— Эта мысль и сама ее формулировка также взяты у Локка, считавшего, что для сбора налогов всегда необходимо получать согласие большинства, которое дает его либо само, либо через посредство избранных им представителей («О гражданском правлении», гл. XI, § 140.— Избр. философ. произв., т. II, стр. 82). Вероятно, именно этим влиянием Локка в данном случае объясняется и то, что в своей статье Руссо отводит такого рода важную роль представителям народа, правомерность самого института которых он впоследствии будет отрицать (см. «Общественный договор», кн. III, гл. XV).

<sup>76</sup> *...не исключая самого Бодэна, который писал, что монархи «не имеют права облагать своих подданных налогом без их согласия» («Шесть книг о Государстве», кн. VI, гл. II).*

<sup>77</sup> *...в книге О духе законов...*— См. Монтескье. О духе законов, кн. XIII, гл. XIV.

<sup>78</sup> *...обложение... для свободных людей.*— В черновике следовали за этим следующие строки о косвенных налогах, затем вычеркнутые автором: «Что касается обложения зерна и товаров, то здесь трудно сделать так, чтобы оно было пропорциональным имущественному положению отдельных групп, потому что есть пищевые припасы, которые бедняки потребляют в большем количестве, а их-то преимущественно и облагают налогами».

<sup>79</sup> *...различие между необходимым и избыточным.*— Этим понятием пользуется также и Монтескье для определения роскоши («О духе законов», кн. XIII, гл. VII); понимая его весьма относительный характер, авторы XVIII в. не могли внести сюда никаких уточнений.

<sup>80</sup> ...*сверх необходимого*.— Монтескье («О духе законов», кн. XIII, гл. VII), вопреки утверждению Руссо, также учитывает относительную тяжесть налога для той или иной категории населения.

<sup>81</sup> ...*приказывать вам*.— Этот отрывок К. Маркс приводит в I томе «Капитала», вставив в начале, после слов «вы во мне нуждаетесь»,— «говорит капиталист» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 756).

<sup>82</sup> *Поземельная галья*— налог, падавший во Франции при «старом порядке» всей своей тяжестью на Третье сословие, т. е. в основном на крестьян, так как духовенство и дворянство были от него освобождены.

<sup>83</sup> ...*стеснения народа*.— Однако впоследствии, например в «Соображениях об образе Правления в Польше» (1772), Руссо решительно выскажется в пользу поземельного налога, взимаемого при этом без всяких исключений.

<sup>84</sup> ...*сколько родит его поле*.— Такая система существовала во Франции, о пагубных ее последствиях Руссо говорит в своей «Исповеди» (Избр. соч., т. III, стр. 148—149).

<sup>85</sup> *Дарий I Гистасп* (550—485 гг. до н. э.) — персидский царь, совершавший походы в Скифию и против греков.

<sup>86</sup> ...*и не делает их ни более, ни менее состоятельными*.— Это критика доктрины меркантилизма, отождествлявшей умножение количества денег в стране с ростом благосостояния населения.

<sup>87</sup> В «Шести книгах о Государстве» (кн. VI, гл. II) Бодэн называет этих людей *imposteurs*. Тогдашнее написание этого слова придавало ему внешнюю форму, аналогичную с графемой слова «обманщики», «лжецы», что во времена Руссо создавало определенную игру слов, которая пропала с того момента, как слово «налог» стало писаться не «*impost*», а «*impôt*».

### СУЖДЕНИЕ О ВЕЧНОМ МИРЕ

Эта работа Руссо сделана была им, вероятно, почти одновременно с извлечением «Из проекта вечного мира г-на аббата де Сен-Пьера» в 1756 г.

В первом случае Руссо изложил содержание обширного «проекта» Шарля Ирины де Сен-Пьера (1658—1743), во втором дал ему критическую оценку, выразив собственное отношение к проблеме мира, огромное значение которого он, страстный враг войн, высоко ценил.

В то время как резюме содержания сочинения Сен-Пьера было напечатано в Амстердаме в 1761 г., «Суждение о вечном мире» было опубликовано только после смерти философа, в 1782 г., в предпринятом в Женеве Мульту и Дюпейру издании «Собрания сочинений» Руссо (т. 23, стр. 68—82).

Рукопись, не переделанная Руссо, хранится в Библиотеке г. Невшателя (№ 7859). Наиболее подробно прокомментирована эта работа в издании «Сочинений» Руссо в библиотеке «Шлеяда» (J.-J. R o u s s e a u. Oeuvres complètes, t. III, Paris, 1964, p. 591—601).

Русский перевод первой из этих работ был издан И. Ф. Богдановичем в 1771 г. В настоящее время новые переводы обоих этих сочинений включены в сборник «Трактаты о вечном мире», составленный И. С. Андреевой и А. В. Гулыгой (Москва, 1963, стр. 107—149).

<sup>1</sup> Трибунал маршалов Франции служил для разбора дел чести дворян.

<sup>2</sup> ...*и Генрих IV не был сумасшедшим, ни Сюлли — фантазером*.— Руссо, несомненно, идеализирует внутреннюю и внешнюю политику Генриха IV, короля Франции (1589—1610).

Сюлли, Максимилиан де Бегюн (1560—1641) — один из наиболее выдающихся министров Франции, известный множеством проведенных им реформ.

<sup>3</sup> *Карл V Габсбург*, король Испании и император Священной Римской империи (1519—1555). Это о нем говорили, что в его владениях «никогда не заходит солнце».

<sup>4</sup> *Его сын...*— Речь идет о Филиппе II (1556—1598) — короле Испании. Карл V после Аугсбургского мира (1555) отрекся от власти. Его империя распалась. Испания, Италия и американские колонии отошли к его сыну Филиппу II, а германские владения вместе с императорским титулом — к брату Карла V — Фердинанду (1556—1564).

<sup>5</sup> *...австрийская династия...*— дом Габсбургов, царствовавший в Священной Римской империи германской нации с 1273 г., сначала с перерывами, а с 1438 г. закрепивший за собою обладание этим титулом.

<sup>6</sup> *Филипп III* — король Испании (1598—1621).

<sup>7</sup> *...мятеж в Нидерландах...*— Речь идет о буржуазной революции в Нидерландах XVI в.

<sup>8</sup> *...военные приготовления для борьбы с Англией...*— Речь идет о назревавшей войне между Англией и Испанией в конце XVI в.

<sup>9</sup> *...разделенный на две ветви...*— Речь идет о разделении дома Габсбургов после 1556 г. на две линии — австрийскую и испанскую.

<sup>10</sup> *...герцог Савойский...*— Герцогство Савойское расположено в Северной Италии в области, пограничной с Францией и Швейцарией. В XV в. входило в состав Швейцарского союза, позже было занято французскими войсками, в 1559 г. вновь обрело самостоятельность. Речь идет о герцоге Карле-Эммануэле I (1562—1630).

<sup>11</sup> *...с королем Яковом...*— Имеется в виду английский король Яков I (1603—1625), сын Марии Стюарт, королевы Шотландии, где до этого правила эта династия.

<sup>12</sup> *...король шведский...*— Сигизмунд III Ваза, правил в 1592—1599 гг., до этого, с 1587 г., король польский.

<sup>13</sup> *Протестанты* — сторонники реформированной церкви, отошедшие от католицизма в XVI в. в ходе движения Реформации. Французские короли прибегали иногда к союзу с немецкими протестантами в своей борьбе против других германских князей.

<sup>14</sup> Проводя внешнюю политику, Генрих IV поддерживал силы, противостоящие Габсбургам, — герцога Савойского, Венецию, Голландию, протестантских князей в Германии.

<sup>15</sup> *...заговоров католиков...*— В Англии после Реформации официальной была признана так называемая англиканская церковь. Католическая церковь, не желая смириться с поражением, организовывала заговоры. Выступления этих оппозиционных групп часто прикрывались религиозными лозунгами.

<sup>16</sup> *...Объединенных провинций...*— Речь идет о Голландии, образовавшейся благодаря объединению северных провинций Нидерландов в конце XVI — начале XVII в.

<sup>17</sup> *Померания* — земли в Северной Германии, вошедшие в состав Пруссии при курфюрсте Фридрихе-Вильгельме I (1640—1688).

<sup>18</sup> *...главою Аугсбургского исповедания...*— Аугсбургское исповедание — изложение лютеранского вероучения, утвержденное на имперском сейме в Аугсбурге (1530 г.), созданном Карлом V с целью примирения протестантов и католиков.

<sup>19</sup> Богемия — так именовалась территория Чехии, которая была заселена кельтским племенем бойев, отсюда и произошло это название. В XVI в. Чехия была захвачена Габсбургами.

<sup>20</sup> *Герцог Савойский получал Милан и Ломбардскую корону...*— Милан — главный город Ломбардской области, ведущей свое название от племени лангобардов, владевших ею в VI—VIII вв. Герцогство Савойское получило большую часть этой территории и о. Сицилию много позже, по Утрехтскому миру 1713 г., вместе с титулом короля.

<sup>21</sup> *Удар кинжала...*— В 1610 г. фанатик-католик Равельяк убил Генриха IV, готовившегося к войне против Испании и австрийских Габсбургов.

## ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ

То центральное место, которое занимает этот трактат в творчестве Руссо, как социального и политического мыслителя, делает излишним его характеристику в данной справке. Об истории написания этого сочинения кратко говорится в связи с судьбой первого его наброска (стр. 660). Историю публикации трактата освещает переписка Руссо с его постоянным издателем М. Реем в Амстердаме (см. «Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Marc-Michel Rey», publ. par J. Bosscha. Amsterdam — Paris, 1858; а также переписка Руссо с другими лицами (С. G., t. VII). Библиографию изданий содержит книга Сеньелье (J. Senélier. Bibliographie générale des oeuvres de J.-J. Rousseau. Paris, 1950). На русский язык «Общественный договор» переводился в конце XVIII в., однако этот перевод не был опубликован; затем «Общественный договор» переводился В. Ютаковым в 1903 г., С. Нестеровой (1906), Френкелем (1906) и Л. Немаковым (1907).

Основными критическими изданиями являются издания Ч. Вогана (J. J. Rousseau. Political writings, v. II, p. 1—134) и отдельное издание 1918 г.; наиболее подробный комментарий: J. Veaulavon (1918), M. Halbwachs (1943) и Р. Дератэ в Собр. соч. Руссо в библиотеке «Шлеяда», т. III. Париж, 1964.

<sup>1</sup> *...Этот небольшой трактат извлечен мною из более обширного труда...*— Речь идет о «Политических установлениях», о которых Руссо в письме к Мульту от 18 января 1762 г. сообщал, что предпринял эту работу десять лет тому назад, т. е. примерно в 1752 г. С. G., t. VII, p. 63—64). До нас дошел только первый набросок «Общественного договора», попытки же рассматривать отдельные наброски и отрывки как части первоначального сочинения оказались несостоятельными (см. J.-J. Rousseau. Contrat social, ed. E. Dreyfus-Brissac. Paris, 1903).

<sup>2</sup> *Я хочу исследовать, ...если принимать людей такими, каковы они, а законы — такими, какими они могут быть.*— Это определение отчетливо указывает на отличие целей Руссо от задач Монтескье, который в своем «Духе законов», как отмечено в «Эмиле» (кн. V, п. 377), довольствовался изучением права так называемого позитивного, т. е. известного из практики и существующих в разных государствах видов правлений, в то время как Руссо делает предметом своего исследования само политическое право, в его теоретическом виде, и законы — в их идеальном, т. е. нормативном виде. При этом он намерен опираться на нравственность и логику, а не на историю и юриспруденцию. «Я ишу права и основания (droit et raison) и не оспариваю фактов», — говорит он в первом наброске «Общественного договора» (см. стр. 318).

<sup>3</sup> *...чтобы не оказалось никакого расхождения между справедливостью и пользой.*— В этой формулировке проявляется представление Руссо об изначальном характере справедливости. Но зародыш ее, присущий человеку, может развиться только в общественном, гражданском состоянии. Именно сочетание справедливости и пользы должно позволить Общественному организму (Corps social) укрепить свою внутреннюю связь и прочность.

<sup>4</sup> *Поскольку я рожден гражданином свободного Государства и членом суверена...*— Речь идет о Женевской Республике, сыном гражданина которой родился Руссо. Говоря о том, что он является членом суверена, Руссо мог иметь в виду и народ Женевы в целом и ее Генеральный Совет, куда входили только две полноправных категории жителей.

<sup>5</sup> *Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах.*— Противопоставление это в сущности метафизично, ибо в дообщественном состоянии человек не был свободен уже из-за крайнего подчинения своего силам природы. В «Эмиле» (кн. II, п. 35) Руссо разъясняет, что существует два вида зависимости человека: зависимость от вещей (лежащая в самой их природе), и зависимость от других людей (создаваемая обществом). Первая, не заключая в себе никаких элементов нравственных, якобы не вредит свободе и не порождает в человеке никаких пороков; вторая же, не будучи

упорядочению (а это нельзя сделать в общественном состоянии по отношению к какой-либо частной воле), порождает все пороки. Положение о том, что человек рождается свободным, противостоит тезису идеологов «старого порядка», например Боссюэ, о том, что «все люди рождаются подданными».

<sup>6</sup> *Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они.*— Понятие о рабской зависимости фигурирует здесь в переносном смысле, что видно опять-таки из более распространенного изложения этой мысли в «Эмиле» (кн. II, п. 27). Руссо утверждает, что свобода и власть человека простираются лишь до тех пор, куда простираются его природные силы; остальное — это рабство, иллюзии, тщеславие. Самое господство бывает рабским, когда оно основано на человеческих предрассудках (именно таково в данном случае значение понятия *opinion*), ибо в этом случае человек зависит от предрассудков тех, которыми управляет с помощью предрассудков. «Чтобы руководить ими как тебе угодно, ты должен вести себя — как им угодно». Так, правитель оказывается подданным своих министров, те — своих секретарей, хозяева — своих слуг. Поэтому важнейшее благо не власть, а свобода. См. также «Письма с Горы», письмо VIII.

<sup>7</sup> *Самое древнее из всех обществ и единственное естественное — это семья.*— В этом определении Руссо явно отступил от позиций, которые он занимал в статье «О политической экономии» и в первом наброске «Общественного договора» (см. стр. 319), где он выступает в качестве решительного противника патримониальной теории, видевшей происхождение общества в семье и выводившей власть монарха из власти отцовской. Это изменение взглядов Руссо может объясняться тем, что в трактовке семьи в окончательном тексте «Общественного договора» он делает упор на роль соглашения в ее сохранении и упрочении и в этом смысле видит в ней древнейшую модель общества. Ранее же отношение Руссо к договорной теории происхождения общества было гораздо более сдержанным. В своей новой аргументации Руссо опирается на Бодэна, утверждавшего, что руководство делами семьи представляет «подлинную модель управления Государством» («Шесть книг о Государстве», кн. I, гл. II), и на Локка («Опыт о гражданском управлении», гл. V, § 4, 14, 23).

<sup>8</sup> *Гроций отрицает, что у людей всякая власть устанавливается для пользы управляемых...*— См. Гуго Гроций. О праве войны и мира. Книга первая, гл. III, VIII, 1—16. Этот философ утверждал, что положение о решающей роли интересов подданных при установлении власти не является всеобщей истиной, поскольку некоторые правительства сами по себе существуют ради правителя, как, например, правление хозяина, при котором польза раба — чужда и случайна для хозяйства (Г. Гроций, указ. соч., стр. 132).

<sup>9</sup> *...Трактат...*— В первом издании после этого слова стояло «рукописный» и в связи с этим отсутствовало указание на место издания. Оно было осуществлено в 1765 г. в Амстердаме под названием: «Соображения о древнем и нынешнем Правлении Франции».

*Маркиз Р. Л. д'Аржансон* (1694—1757) занимал в 1744—1747 гг. пост министра иностранных дел, но был удален вследствие происков фаворитки, маркизы Помпадур.

<sup>10</sup> *Так же полагает и Гоббс.*— Имеется в виду в особенности его книга «Левиафан» (ч. II, гл. XVIII), в которой этот философ исходит из того, что члены общества, обложившись по общественному договору повинностью монарху, не могут без его разрешения ни изменить форму правления, ни осуждать действия этого монарха, ни наказывать его, равно как и посягать на его право судить их, объявлять войну и заключать мир, назначать министров и т. д. (см. Т. Гоббс. Избр. произв. в двух томах, т. 2, стр. 197—209).

*Филон Александрийский, или Филон-иудей* (ок. 20 г. до н. э.—54 г. н. э.) — видный представитель еврейского эллинизма. Участвовал в посольстве, направленном еврейской общиной Александрии к римскому императору Гаю Цезарю Калигуле (37—41 гг. н. э.) в поисках защиты от преследований за отказ воздвигнуть его статуи

в синагогах. Посольство это было отвергнуто императором, и Филон написал тогда посвященное этой коллизии защитительное сочинение, прочитанное в римском сенате после смерти Калигулы.

<sup>12</sup> *Аристотель прежде, чем все они...*— См. его «Политику», кн. I, гл. V, где утверждается: «Природа, в видах сохранения, создала определенные существа, чтобы повелевать, и другие, чтобы повиноваться». В противоположность Руссо Г. Гродий полностью солидаризировался с этой концепцией; больше того, он фактически шел еще дальше, добавляя к этому положению Аристотеля, что «так точно и некоторые народы по свойственному им образу мыслей предпочитают лучше подчиняться, нежели господствовать», и приводит ряд примеров, трактуемых им в этом духе (Г. Гродий. О праве войны и мира, кн. 1, гл. III, стр. 129).

Отрывок из книги Аристотеля, резюмированный Руссо, цитируется Пуфендорфом («О праве естественном и праве международном», кн. III, гл. II, п. 8).

<sup>13</sup> *...вплоть до желания от них освободиться.*— В этом утверждении проявляется свойственная Руссо недооценка силы и упорства сопротивления рабов, обусловленная, возможно, недостаточной изученностью в XVIII в. истории классовой борьбы эпохи античности.

<sup>14</sup> *...спутники Улисса...*— Улисс — латинское наименование Одиссея. Имеются в виду его спутники, о которых, в кн. X поэмы Гомера «Одиссея» повествуется, что на острове Эя волшебница Цирцея превратила часть их в свиней. Однако здесь ничего не говорится о том, что они полюбили свое скотское состояние.

<sup>15</sup> *...ни о короле Адаме, ни об императоре Ное...*— Иронически титулуя королем первого человека, согласно библейской традиции вылепленного богом из глины, Руссо, возможно, намекает на книгу Р. Филмера «Патриарх». Французский переводчик книги Пуфендорфа — Барбейрак в одном из своих примечаний пишет, что Филмер выводит неограниченную власть современных монархов из верховной власти Адама.

*Ной* — библейский патриарх, спасшийся со своей семьей во время всемирного потопа и давший затем основание новому роду. Развивая свой намек, Руссо именует Ноя императором, а под тремя великими монархами, возможно, подразумевает его сыновей — Хама, Сима и Иафета.

<sup>16</sup> *...дети Сатурна...*— Сатурн — римское имя греческого бога Кроноса, младшего из Титанов, отца Зевса.

<sup>17</sup> *...Робинзон...*— Имеется в виду герой романа «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо из Йорка» (1719) английского писателя Даниэля Дефо (1660—1731).

<sup>18</sup> *Всякая власть — от Бога...*— Воспроизведение текста из Евангелия: «Ибо нет власти не от Бога» («Послание к римлянам апостола Павла», 13). Утверждая, что повиноваться следует только властям законным, и определяя закон как выражение общей воли членов данного общества, Руссо тем самым фактически отрицает традиционную богословскую аргументацию божественного происхождения, а следовательно, незыблемого характера прерогатив всякого монарха.

<sup>19</sup> Это одна из центральных по значению глав всего трактата. Написана она, вероятно, в период разработки главного вопроса — о природе общественного договора, — одной из последних, ибо нет следов ее происхождения в первом наброске трактата и по сравнению с самим заголовком и замыслом разработана она совсем в другом плане.

Предполагалось, очевидно вначале, историческое рассмотрение вопроса об античном рабстве (в плане «Духа законов» Монтескье, который гл. II кн. XV своего труда посвятил взглядам римских законников на происхождение рабства). Но вместо спора с Аристотелем и другими авторами древности, Руссо ополчается на Гродия, Гоббса и Пуфендорфа.

Задача главы — опровергнуть тезис первого из них о том, что вовсе не является



истиной, будто суверенитет всегда и без исключения принадлежит народу. Тем самым Руссо готовит читателя к восприятию гл. I кн. II — О неотчуждаемости суверенитета.

<sup>20</sup> *...говорит Гроций...*— Имеются в виду следующие слова этого философа: «Каждый человек волен отдаться кому угодно в личную зависимость <...> Так разве же не волен свободный народ также подчиниться кому угодно <...> не сохранив за собой ни малейшей доли этой власти» (см. Гуго Гроций. О праве войны и мира. Кн. I, гл. III, VIII, стр. 128).

<sup>21</sup> Уже один из первых оппонентов — Э. Люзак в «Письме анонима к Ж.-Ж. Руссо» (1766) — выступил против того, что последний свел понятие об «отчуждении» только к двум случаям — дать или продать, и заявил, что оно означает всякую передачу права, почему и может осуществляться многими путями и способами.

<sup>22</sup> *...как говорит Рабле...*— Имеется в виду роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» великого французского писателя-гуманиста Ф. Рабле (1483—1555), изобразившего потребности короля в крайне преувеличенном виде.

<sup>23</sup> *...в пещере Циклопа...*— Имеется в виду «Одиссея» Гомера, в девятой песне которой содержится этот эпизод. Циклоп — одноглазый великан в греческой мифологии.

<sup>24</sup> *...безумие не творит право.*— Ср. Ш. Монтескье. О духе законов, кн. XV, гл. II.

<sup>25</sup> *Гроций и другие видят происхождение... права рабствования еще и в войнах.*— См. Г. Гроций. О праве войны и мира, кн. III, гл. VII, «О праве на пленных», где он писал: «По природе, т. е. независимо от человеческих действий, или в первобытном состоянии природы, никто из людей не является рабом... В этом смысле можно принять за истину изречение юристов, что рабское состояние противно природе. Однако, когда рабство возникает в силу акта человека, т. е. вследствие договора или правонарушения, оно не противоречит естественной справедливости» (стр. 662). Провозглашая, что взятые в войну, формально объявленной (solenellement, что ошибочно передано в цитируемом выше нашем новейшем переводе, как «торжественная (!?) война»), все пленные становятся рабами в силу международного права, Гроций присоединяется к мнению тех античных авторов, которые маскировали подлинные цели этого порабощения заботой о жизни пленных и в связи с этим само наименование раба (servus) выводили из обычая сохранять им жизнь (servare), вместо того чтобы убивать (стр. 663).

<sup>26</sup> *...от природы люди вовсе не враги друг другу.*— Это утверждение прямо направлено против концепции Т. Гоббса (см. «О гражданине», гл. I и «Левиафан», ч. II, гл. XIII), которая подвергается еще более острой и открытой критике в незавершенной работе Руссо «Состояние войны» (см. J.-J. Rousseau. Political writings, with introductions and notes by С. E. Vaughan, v. I. Cambridge, 1915, p. 281—308).

<sup>27</sup> *...не может существовать войны частной...*— Этот тезис Руссо направлен одновременно как против концепции войны каждого против каждого в естественном состоянии, развивавшейся Гоббсом, так и против политической практики осуждаемого здесь Руссо феодализма.

<sup>28</sup> *...Установлениями Людовика IX...*— Людовик IX — французский король из династии Капетингов (1226—1270), по прозвищу Святой. Подразумеваемые здесь преобразования способствовали укреплению центральной власти и преодолению проявлений феодальной раздробленности и анархии.

<sup>29</sup> *...что превращались Божьим миром...*— Под этим названием (Pax Dei или Treuga Dei) известны постановления, принимавшиеся первоначально в порядке самозащиты католической церковью, а затем воспринятые в своих интересах и королевской властью в ряде стран в середине века: запрещение вести военные действия в определенные дни и периоды (праздники и посты), в отношении духовенства, монастырей и церквей, затем женщин, купцов и т. д.

<sup>30</sup> *...системы самой бессмысленной...*— В данном случае Руссо, как и многие его современники, под феодальным правлением (*gouvernement féodal*), по-видимому, подразумевает существование иерархии политической власти и сохранение широких прерогатив в руках более крупных владетельных сеньюров, соперничество и борьба которых принимает форму характерных для этой эпохи феодальных междоусобиц.

Говоря о том, что эта система противна всякому упорядоченному внутреннему управлению, Руссо употребляет термин *politie*, ведущий свое происхождение от древнегреческой терминологии, в которой оно означало «внутреннее устройство». Боясь, чтобы термин этот не был смешан с *politique*, политика, Руссо предупреждал издателя «Общественного договора» Рея, в письме к нему от 23 декабря 1761 г., о непустимости подобной ошибки. В дальнейшем изложении Руссо многократно пользуется этим понятием, но уже выраженным в словах французского языка (*police*) и значение которого восходит к древнегреческой «политике» в смысле правление, внутреннее управление, как это передавали по-русски в XVIII в.— «уставы благочиния».

<sup>31</sup> *...Катон-сын начинал свою военную службу...*— Речь идет о Марке Порции Катоне Лидинии, который служил в 173 г. до н. э. в римских легионах в Лигурии (южное побережье современной Франции и граничащие с ним области Италии), умер в 152 г. до н. э.

<sup>32</sup> *...Катон-отец написал Попилию...*— Отец предыдущего Марк Порций Катон Старший, или Цензор (234—149 гг. до н. э.).

Попилий-Марк Попилий Лений, будучи консулом в 173 г. до н. э. успешно вел войну в Лигурии.

<sup>33</sup> *...осаду Клузиума...*— Главный город Этрурии, где в 225 г. н. э. галлы одержали победу над римлянами.

<sup>34</sup> *победитель не имеет более никакого права на их жизнь.*— Ср. III. Монтескье. О духе законов, кн. X, гл. III, «О праве завоевания», в которой уже были высказаны эти мысли (Избр. произв., стр. 275—277).

<sup>35</sup> Ср. Монтескье. О духе законов, кн. XV, гл. II.

<sup>36</sup> *...не приводит к уничтожению состояния войны...*— Этот вывод вносит существенный корректив в сказанное Руссо выше о том, что якобы рабы начинают любить свое рабское состояние.

<sup>37</sup> *...основание общества.*— Руссо возражает против теории двойного договора — пакта ассоциации и акта подчинения народа правителю, выдвинутой Пуфендорфом («О праве естественном и о праве международном», кн. VII, гл. II). Для Руссо подлинным договором является лишь первый из них.

<sup>38</sup> *...люди не могут создавать новых сил...*— В этом рассуждении явственно ощущается влияние на мышление Руссо в области социологии механицистских тенденций философской мысли XVIII в.

<sup>39</sup> *Такова основная задача, которую разрешает Общественный договор.*— Подобная трактовка концепции договорного происхождения государства была направлена против прочно укоренившегося до того отождествления понятия о суверенитете с правами единоличного и неограниченного государя (англ. — *sovereign*, франц. — *souverain*, итал. — *sovrano*), т. е. как атрибута правительственной, королевской власти, но ни в коем случае не народа.

<sup>40</sup> В первом наброске: «неотъемлемой», буквально неотчуждаемой (*inaliénable*).

<sup>41</sup> *...а горожанина — за гражданина.*— Здесь Руссо опирается на главу шестую книги первой «Шести книг о Государстве» Бодэна; она называется «О гражданине и о различии между подданным, гражданином, чужеземцем, городом, городской общиной и Государством». Бодэн здесь утверждает, что «город (*ville*) — это городская община (*cité*), как это некоторые пишут, не в большей мере чем дом составляет семью». Понятие о гражданской общине (*sité*) оформляется у Бодэна на почве развития во

Франции городов-коммун и при использовании представлений античности о полисе греков и *civitas* римлян (см., например, Ц и ц е р о в. *De officiis*, I, 17, 53).

<sup>42</sup> ...Когда Бодэн собрался говорить о наших Гражданах и Горожанех...— Имеется в виду то место главы VI первой книги Бодэна о государстве, в котором говорится: «В Женеве Гражданин не может быть ни Синдиком города, ни членом Совета XXV, а Горожанин может ими быть», в то время как в действительности дело обстоит как раз наоборот.

<sup>43</sup> Имеется в виду статья «Женева» в VII томе «Энциклопедии (1757), на которую Руссо ответил «Письмом к д'Аламберу о зрелищах» (Избр. соч., т. I, стр. 65—178).

<sup>44</sup> ...акт ассоциации...— В первом наброске: «акт первоначальной конфедерации».

<sup>45</sup> ...я суверену.— В этом коренное отличие понятия об этом акте у Руссо и у Гоббса, видевшего в этом серию взаимных соглашений между частными лицами (*mutual covenants one with other*), и у тех теоретиков, кто видел здесь акт подчинения народа избранным им правителям. У Руссо же люди образуют сами две договаривающиеся стороны, ибо они рассматриваются с двух точек зрения — как члены суверена и как частные лица, подданные Государства. Собравшись, народ образует то целое (суверен), с которым он и заключает соглашение.

<sup>46</sup> Этот аргумент уже был учтен Гоббсом («О гражданине», гл. VI, п. 14).

<sup>47</sup> ...не обязательна даже Общественный договор.— Вот это признание за народом, как сувереном, ничем не ограниченного права изменять законы своего государства, даже самые лучшие, и лежащее в их основе первоначальное соглашение, а следовательно, изменить и форму правления — и вызвало в Женеве ярость ее буржуазной олигархии. Ведь принципы и статьи Конституции Женевы по Акту о посредничестве 1738 г. подчеркивали, что она представляет собою договор между правящими и управляемыми и может быть пересмотрена лишь с взаимного «согласия обеих сторон».

<sup>48</sup> «Святость Общественного договора и законов» фигурирует ниже среди позитивных принципов гражданской религии (кн. IV, гл. VIII, стр. 254).

<sup>49</sup> ...никому из них в отдельности.— В отличие от Правительства, имеющего дела с отдельными гражданами, Суверен, т. е. народ как целое, знает только ту их совокупность, общие интересы которой отражает и выражает общая воля, проявляющаяся в законе, трактующем предмет общего характера, затрагивающий всегда равно всех граждан и никогда никого из них в отдельности.

<sup>50</sup> ...за потребностями и трудом.— Наличие этих условий делает у Руссо, в отличие от Локка («О государственном управлении», кн. II, гл. V), понятие о трудовой собственности конкретным и недвусмысленным.

<sup>51</sup> Когда Нуньес Бальбоа...— Васко Нуньес де Бальбоа (1475—1517) — испанский мореплаватель, авантюрист, конквистадор.

<sup>52</sup> ...как хранители общего достояния...— Эта мысль будет воспринята идеологами демократических групп в период буржуазной революции 1789 г. в процессе борьбы со стяжательскими тенденциями и спекулятивными действиями городской и сельской буржуазии.

<sup>53</sup> Ср. Г о б б с. О Гражданине, гл. XII, п. 7.

<sup>54</sup> Но наши политики...— Здесь Руссо имеет в виду не Монтескье, как это обычно считают, а Гроция, Барбейрака и Бурламаки, считавших, что суверенитет должен быть разделен между отдельными лицами или органами, в то время как для Руссо неделимая суть его сводится к осуществлению права законодательства, а многие из тех прерогатив, в которых названные ученые видели также «части» суверенитета. Руссо относит не к нему, а к компетенции верховной исполнительной власти.

<sup>55</sup> Каждый может увидеть в третьей и четвертой главах первой книги Гроция.— Речь идет о сочинении Гроция «О праве войны и мира».

<sup>56</sup> Георг I (1714—1727) — английский король, ранее — курфюрст Ганноверский (под именем Георга Людвига — 1698—1714).

<sup>57</sup> Яков II (1685—1688) — английский король из династии Стюартов, пытавшийся восстановить абсолютную королевскую власть. Реакционная политика Якова II вызвала недовольство, и в 1688 г. заговорщики пригласили на престол его зятя — Вильгельма Оранского, штатгальтера Нидерландов. Последний с помощью нидерландского флота высадился в Англии, низложил Якова II. Эти события получили в буржуазной историографии название «Славной революции».

<sup>58</sup> ...чтобы не выставить Вильгельма узурпатором.— Речь идет об охарактеризованной выше т. н. «Славной революции» 1688 г., фактически представлявшей собой дворцовый переворот, осуществленный в Англии новым дворянством и буржуазией.

<sup>59</sup> По мнению некоторых исследователей, при написании этой и следующей главы большую роль сыграла статья Дидро «Естественное право», опубликованная в V т. «Энциклопедии». Налицо даже текстуальная близость некоторых формулировок, хотя в то же время несомненно стремление Руссо прийти к собственному пониманию и определению сущности общей воли.

<sup>60</sup> ...он желает дуриго.— Руссо применяет здесь к общей воле известное рассуждение Сократа о поведении индивидуумов, согласно которому никто не является злым по собственной воле, которая всегда имеет верное направление, а в понимании ее.

<sup>61</sup> ...частичные ассоциации...— Гоббс называет их «подчиненные объединения».

<sup>62</sup> См. д'Аржансон «Соображения о древнем и нынешнем правлении Франции», гл. II. Как это часто бывает у Руссо, цитата приведена не совсем точно.

<sup>63</sup> Нума Помпилий — по преданию, второй из семи римских царей. С его именем связан ряд правовых и религиозных реформ.

<sup>64</sup> Сервий Туллий (578—534 гг. до н. э.) — шестой римский царь, сын одного из богов и рабыни Тарквиния Приска, который сделал его своим зятем. Сервию Туллию приписывается реформа, разделившая население столицы, включая плебеев, на основании имущественного ценза, на 193 центурии, а все население и всю территорию Рима на 4 городских и 26 сельских округов, или триб. Он был убит своим зятем Тарквинием Гордым.

Имена Нумы и Сервия объединены с Солоном как авторов реформ, отнюдь не предупредивших рост политического неравенства между отдельными группами граждан.

<sup>65</sup> Макиавелли. История Флоренции, кн. VII.

<sup>66</sup> См. Локк. О гражданском правлении, гл. VIII.

<sup>67</sup> *Спрашивают: как частные лица.*— Это ответ на вопрос, поставленный Локком (см. «О гражданском правлении», гл. IX).

<sup>68</sup> ...то право, которого у них нет.— Самоубийство с точки зрения Руссо не есть использование права. См. письмо милорда Эдуарда в «Новой Элоизе» Руссо (часть III, письмо XXII.— Избр. соч., т. II, стр. 325—331). Ср. Локк, назв. соч., гл. III.

<sup>69</sup> ...кого опасно оставлять в живых.— Этот ход рассуждения приводит к выводу о том, что право наказания и его пределы может определяться только правом законной защиты общества. Эту точку зрения несколько позже разовьют итальянские просветители Ч. Беккариа, в его ставшей знаменитой книге «О преступлениях и наказаниях», и Г. Филанджери.

<sup>70</sup> То, что есть благо и соответствует порядку...— В данном, более широком аспекте понятие о порядке (ordre) ведет свое происхождение от философии Платона. Об этом говорит, в частности, следующее далее указание на божественное происхождение справедливости.

<sup>71</sup> Возможно, Руссо имеет в виду даваемое Монтескье определение закона как отношений, неизбежно вытекающих из природы вещей («О духе законов», кн. I, гл. I.— Избр. произв., стр. 136).

<sup>72</sup> ...я называю Республикою всякое Государство, управляемое посредством законов.— Эта позиция Руссо оказала в дальнейшем сдерживающее влияние на форми-

рование республиканской идеи во Франции, так как затрудняла усвоение классовой природы монархии. Проявилось это, в частности, в линии поведения М. Робеспьера в дни политического кризиса лета 1791 г., когда впервые возникло массовое демократическое республиканское движение, к которому он, однако, не примкнул.

<sup>73</sup> *...я своей книге о Правлении.*— Это название скорее может обозначать сочинение Платона «Государство», однако место, которое имеет в виду Руссо, находится в диалоге «Политик», гл. X—XIII и XXIX—XXXII (Платон. Сочинения, ч. VI. М., 1879. стр. 69—71, 98—100, 127).

<sup>74</sup> *...создают правителей Республик.*— См. Монтескье. Размышления о причинах величия и падения римлян, гл. I (Избр. произв., стр. 50).

<sup>75</sup> *...от царской власти.*— В первом наброске Руссо употребил по традиции термин «*souveraineté*», связанный с «*souverain*» — государь, верховный правитель. Но поскольку он вложил в это понятие новое содержание, именуя сувереном только народ в его совокупности, то он заменил его другим понятием «*royauté*» (королевская, царская власть).

<sup>76</sup> *...Децемвиры никогда не присваивали себе...*— Децемвиры — коллегия из десяти лиц (отсюда ее название), избиравшаяся у римлян для различных поручений. Руссо имеет в виду наиболее известную, созданную в 451 г. до н. э., выработавшую законы, выгравированные на десяти медных досках. Ввиду недостаточности этих законов, избранные в 450 г. децемвиры сделали необходимые дополнения («Законы 12 таблиц»), но не сложили с себя чрезвычайных полномочий по истечении их срока и вели себя диктаторски, что и вызвало их отрешение от власти.

<sup>77</sup> *Те, кто смотрят на Кальвина лишь как на богослова...*— Кальвин (1509—1564) — один из главных представителей движения буржуазной реформации. С 1541 г. он стал во главе теократического правления протестантской Женевы, подавляя оппозицию суровыми мерами, вплоть до смертной казни. При нем преследовались театр, танцы и иные светские развлечения. Суровый дух кальвинизма имел известное влияние на формирование взглядов Руссо, а фигуру самого Кальвина здесь он явно идеализирует. Изменяя в целом свой взгляд на настоящее и прошлое Женевы, под влиянием событий 1762 г., Руссо увидел по-иному образ Кальвина, о котором напишет во втором из своих «Писем с Горы», что это был, конечно, великий человек, но в конце концов это был человек, и «что особенно скверно — богослов; у него было честолюбие гения, чувствующего свое превосходство и возмущающегося, если это оспаривают».

<sup>78</sup> *...его «Наставление».*— Имеется в виду сочинение Кальвина «Наставление в христианской вере» (1536), представляющее собой как бы свод возрений протестантизма.

<sup>79</sup> *...подлинное чудо.*— Фигура законодателя близка в глазах Руссо к традиционному образу пророка. См. кн. II, гл. II первого наброска «Общественного договора» и «Письма с Горы», письмо III.

<sup>80</sup> *...иудейский закон и закон потомка Измаила.*— Потомок Измаила — Магомет; арабы рассматривают себя как потомков Измаила и его 12 сыновей.

Иудейский закон — законодательство Моисея, высокую оценку которому Руссо дает во II гл. «Соображений об образе правления в Польше» и в одном из дошедших до нас набросков («О евреях»).

<sup>81</sup> *...горделивая философия или слепой сектантский дух видят в них лишь угодливых обманщиков.*— Имеются в виду как общая концепция сущности религии, свойственная Просвещению в целом, так и отмеченные этими чертами отдельные произведения, например, пьеса Вольтера «Магомет», в которой он трактуется именно как лицемер.

<sup>82</sup> *Уорбертон, Уильям (1698—1779)* — епископ Глочестерский, автор трактатов «Союз Церкви и Государства» (1736) (французский перевод 1742 г.) и «Божественное законодательство Моисея» (1737—1741).

<sup>83</sup> ...одна служит орудием другой.— Это мысль Макиавелли («Рассуждение на первую декаду Тита Ливия», кн. I, гл. XI).

<sup>84</sup> *Аркадия* — область в древней Греции, в центре Пелопоннеса, с мягким климатом и условиями, благоприятными для животноводства, что и сделало в древности Аркадию символом легко добываемого достатка.

<sup>85</sup> *Киренаика* — плодородная страна на севере Африки, где греческие колонисты в VII в. до н. э. основали первые поселения с центром в г. Кирене. Впоследствии, в 321 г., Кирена создала союз пяти государств под покровительством Птолемея — македоно-греческих правителей Египта.

<sup>86</sup> ...*Минос взялся установить порядок*...— Минос — мифический царь острова Крита. Ему приписывается создание морского господства Крита, древнегреческое законодательство, в разработке которого ему помогал Зевс, являвшийся его отцом.

<sup>87</sup> Речь идет об изгнании представителей испанских и австрийских Габсбургов из Нидерландов в ходе буржуазной революции 1566—1609 гг. и из Швейцарии на протяжении XIV и начала XV в.

<sup>88</sup> ...*движитель гражданского износился*.— Ср. Макиавелли. Указ. соч., кн. I, гл. XVI и XVII.

<sup>89</sup> *Юность не детство*.— Как показывает храпящий в Женевской городской библиотеке экземпляр первого издания этого трактата с пометками Руссо, он вписал эти слова, чтобы устранить противоречие между положением о том, что большинство народов восприимчивы (*dociles*) лишь в молодости, и следующим за этими словами утверждением о том, что подчинять народы законам надо в пору юности или зрелости.

<sup>90</sup> ...*еще не созрел для уставов гражданского общества*.— Этот отрывок один из наиболее сложных для понимания. В значительной мере он направлен против идеализации деятельности и всего образа Петра Великого Вольтером, в посвященной ему книге и в книге о Карле XII, причем Руссо выпадает в противоположную крайность.

Главный упрек Руссо состоит в том, что правитель этот «начал создавать из своих подданных немцев и англичан, в то время когда надо было формировать русских» — обусловлен тем, что Руссо видел первое правило деятельности законодателя в создании или укреплении национального характера.

<sup>91</sup> Предположения эти носят произвольный характер, и Вольтер был прав в их критике (см. его «*Idées republicaines*», XXXVII).

<sup>92</sup> Проблема эта была поставлена Аристотелем в его «*Политике* (VII, 4, 1326 а—в), затем вновь Монтескье в «*Духе законов*» (кн. VIII).

<sup>93</sup> ...*срок неизбежного их падения*.— Тут усматривали реминисценции из Макиавелли («*Рассуждение на десятую главу Тита Ливия*», 1, 6) и из Монтескье («*Размышления о причинах величия и падения римлян*», гл. IX).

<sup>94</sup> *Тласкаланская республика*...— была признана испанцами во время их завоевания Мексики.

<sup>95</sup> ...*собственными средствами*.— Мысль эта, возможно, восходит к взглядам Аристотеля («*Политика*», VII, гл. IV, 1326 а—в).

<sup>96</sup> ...*вернул и отстоял свою свободу*...— Речь идет о борьбе жителей Корсики против Генуи и Франции, успешно возобновленной ими в первой половине XVIII в.

<sup>97</sup> ...*этот островок еще удивит Европу*.— В этом пророчестве хотели видеть предсказание появления Наполеона Бонапарта, родившегося на Корсике семь лет спустя, в 1769 г. Но, конечно, Руссо имел в виду нечто совсем иное, а именно: он видел в неспорченности корсиканцев духовной и материальной цивилизацией, в лучших сторонах их натуры, проявившихся в борьбе за независимость, в энергии их предводителя Паскале Паоли источник тех свежих, созидательных сил, которые могут позволить этому небольшому народу осуществить у себя идеал свободы и справедливости.

<sup>98</sup> *...для Рима — добродетель.* — Идеалистическая мысль эта сформулирована Руссо под явным влиянием Монтескье, писавшего об этой, свойственной каждому из государств, своей особой цели: «Так у Рима была цель — расширение пределов государства, у Лакедемона — война, у законов иудейских — религия, у Марселя — торговля, у Китая — общественное спокойствие, у родосцев — мореплавание» («О духе законов», кн. XI, гл. V. — Избр. произв., стр. 289). Как видим, на историю Рима Монтескье смотрел более реалистично, нежели Руссо, постоянно ее идеализирующий.

<sup>99</sup> *...от этого не улучшается.* — Как это часто бывает у Руссо, цитата эта из книги д'Аржансона «Соображения о древнем и нынешнем Правлении Франции» неточна. Вот текст этого места: «Та или иная отрасль торговли, приобретаемая ценою денег, приносит лишь мнимую выгоду Королевству в целом и лишь обогащает несколько городов или частных лиц, которые уже и так находятся в довольстве».

<sup>100</sup> Ср. Монтескье. О духе законов (кн. I, гл. III).

<sup>101</sup> См. «Письма с Горы», письмо V, в котором Руссо поясняет суть понятия о Правительстве в монархии и республике.

<sup>102</sup> *...единение души и тела.* — Сравнение это взято из философии картезианства. Для Декарта существовали не только два принципа — душа и тело, но и третий, посредствующий, — представляющий собой союз этих двух.

<sup>103</sup> *...среднее пропорциональное которой — Правительство.* — Попытка Руссо определить место и роль высшей исполнительной власти при помощи математических аналогий отражает влияние господствующих тенденций века и носит явно механицистский характер, своеобразным образом сочетающийся со свойственным ему уподоблением государства и правительства двум — большему и меньшему — организмам.

<sup>104</sup> *...коллегию именуют светлейший государь.* — Речь идет о так называемом Большом Совете («коллегия мудрых»). На этом примере видно также, что для Руссо существует не только единоличный, но и коллегияльный государь.

<sup>105</sup> *...в понимании геометров...* — Во времена Руссо область отношений и пропорций относили к компетенции геометров.

<sup>106</sup> *...бывало до восьми императоров одновременно...* — Имеется в виду период резкого обострения кризиса Римской империи в III в. н. э., когда императоров назначал сенат и возводила на трон преторианская гвардия.

<sup>107</sup> *...что империя разделена.* — Римская империя была окончательно разделена при императоре Феодосии в 395 г. н. э. на Западную, с центром в г. Риме, и Восточную, столицей которой стал Константинополь (Византия).

<sup>108</sup> Это — Монтескье (см. «О духе законов», кн. III, гл. III).

<sup>109</sup> *...один и тот же принцип...* — это суверенитет, верховенство народа.

<sup>110</sup> *Первые общества управлялись аристократически.* — Руссо здесь отходит от античной традиции (А р и с т о т е л ь. Политика, III, 10, 7), видевшей древнейшую форму в монархии.

<sup>111</sup> Слово жрецы — *prêtres* — происходит от латинского *presbyter* — старейший (заимствовано из греческого). Старейшины — *les anciennes* — от латинского *anteanus*, от *ante* — впереди, перед, т. е. первоприсутствующие. Сенат — *sénat* — от латинского *senex*, *senes* — совет старейших. Геронты — от греческого слова — *геронτες* — «старцы» — название старейших членов племени, составлявших его совет.

<sup>112</sup> *Станислав Лещинский (1705—1709)* — польский король, ставленник короля шведского Карла XII. Руссо мог взять эту цитату из «Замечаний о правлении Польши» С. Лещинского, французский перевод которых появился в 1740 г. Близкое по смыслу место отсюда приводит Руссо в «Письмах с Горы» (письмо IX, стр. 392) и вспоминает о них в своих позднейших «Соображениях об образе Правления в Польше». Мабли приписывает слова эти не отцу, а деду С. Лещинского. («О правлении и о законах Польши», *partie I, ch. 1.* — *Oeuvres, t. VIII. Londres, 1789, p. 67—68.*)

<sup>110</sup> Совсем иной, отрицательный отзыв о Бернской республике дает Руссо в своих «Сочинениях об образе Правления в Польше» (гл. XI).

<sup>111</sup> Здесь явное заблуждение Руссо; преобладание богачей Аристотель видел в олигархии («Политика», III, VII, 1279в), в аристократии же он, верный патриархальным традициям античного полиса, считал возможным осуществить наиболее совершенную гражданскую организацию общества при условии численного и политического преобладания «среднего класса» («Политика», IV, II, 1295в).

<sup>115</sup> *Архимед* (ок. 287—212 гг. до н. э.) — великий греческий математик и физик.

<sup>116</sup> Хотя в предыдущей главе Руссо и объявил худшим из видов правления, основанных на законе, наследственную аристократию, но теперь читателю становится ясно, что эта пальма первенства должна остаться за наследственной монархией. Недаром в «Полисинодии аббат де Сен-Пьер» он приходит к выводу о том, что «у всех народов, имеющих короля, абсолютно необходимо установить такую форму Правления, которая могла бы без него обходиться» (см. J.-J. Rousseau. Political writings, v. I, p. 399).

<sup>117</sup> Имеется в виду текст Библии из первой Книги Царств, 8, именуемой также первой книгой пророка Самуила, последнего судьи Израиля, которому бог, в наказание за отступничество его народа, открыл картину того произвола и угнетения, которому его соотечественников подвергнет новый царь, поставленный над ними в виде кары.

<sup>118</sup> ... *показал Макиавелли*. В следующих за этим строках и в примечании, которое было включено составителями в издание его «Сочинений» 1782 г., Руссо дает этому противоречивому деятелю положительную характеристику, довольно резко расходящуюся с его позднейшей репутацией. Точка зрения Руссо имеет своих предшественников, например в лице Спинозы (см. его «Политический трактат», гл. V, § 7), и более отдаленных в лице профессора права XVI в. в Оксфорде А. Жентили («De Legationibus», кн. III, гл. 9), соответствующую поддержку приволил П. Бейль в своем знаменитом «Словаре» (ст. «Макиавелли»). Весьма существенно, что сходную позицию занимал Дидро, который в статье «Макиавеллизм» в т. IX «Энциклопедии» (1765, стр. 793) писал, что когда автор «Государя» создавал этот свой трактат, то он им словно хотел сказать своим согражданам: «читайте хорошенько это произведение. Если вы когда-либо согласитесь иметь повелителя, он будет таким, каким я вам его нарисовал: вот хищный зверь, которому вы отдаетесь».

<sup>119</sup> В «Государе» Макиавелли изображает Цезаря Борджиа (ок. 1476—1507) известного своими чудовищными преступлениями, ценой которых он захватил власть в ряде отдельных феодальных владений, на которые тогда распадалась Италия.

<sup>120</sup> *Римская курия*...— В оригинале «la cour de Rome», т. е. римский двор, но в тексте речь явно идет о Ватикане, который один только присвоил себе право налагать запрет на ту или иную книгу. Но в то же время имеется в виду и двор папы как светского государя.

<sup>121</sup> ...*повиноваться безропотно*.— Именно к этому призывал, например, Боссюэ, считавший единственно возможным со стороны подданных «почтительные представления», но без ропота, без мятежей; Кальвин в своем «Institution de la religion chrétienne» (1560, t. IV, ch. XX, § 24), известном Руссо, писал, что «мы должны настолько соблюдать порядок, установленный Богом, что нам надлежит почитать даже тиранов, находящихся у власти».

<sup>122</sup> Явное указание на посвященную этому вопросу кн. XI, гл. VI «О духе законов» Монтескье.

<sup>123</sup> Здесь речь идет не о *liberum veto*, как это часто предполагают, а о неограниченных полномочиях министров и других высших должностных лиц в сфере их деятельности.



<sup>124</sup> В древности этот вопрос обсуждали Платон («Законы», кн. III и VI), Аристотель и Полибий.

<sup>125</sup> ...*демократия — для Государств малых и бедных.*— Руссо неоднократно сетовал на недостаточную определенность терминов, к которым ему приходилось прибегать. Именно так получилось с терминами «демократия» и «монархия». Подразумеваемая и в том и в другом случае верховенство народа-суверена по отношению к исполнительной власти, Руссо видел в монархии республику с постоянным президентом, для более оперативного действия исполнительной власти в стране больших размеров. Но даже такие страстные поклонники Руссо, как А. Н. Радищев, не могли не стать жертвой недоразумения, считая, что этот философ, «не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие» (Полн. собр. соч., т. III. М.—Л., 1952, стр. 47).

<sup>126</sup> См. Chardin. Voyages en Perse, v. III. Amsterdam, 1735, p. 76, 83—84.

<sup>127</sup> ...к экватору...— в оригинале la ligne.

<sup>128</sup> ...*маис, кускус, сорго, хлеб из маниоковой муки.*...— Слово «кускус» арабского происхождения, означает шарики из мяса и муки жареные в масле: было заимствовано неграми Африки, которые по сходству называли так зерна маиса (кукурузы). Хлеб из маниоковой муки (cassave) готовится некоторыми народами Южной Америки из корней кустарника маниоки (исп.) после удаления отсюда ядовитых веществ.

<sup>129</sup> *Позилуппо* — горный кряж к северо-западу от Неаполя, покрытый виноградниками, впоследствии его предместье.

<sup>130</sup> Имеется в виду Вольтер.

<sup>131</sup> *Кoadьютор* — помощник или заместитель епископа (викарный епископ). Речь идет о занимавшем этот пост известном своим распутством кардинале Жане де Ретц.

<sup>132</sup> Это не цитата, а пересказ отрывка из «Введения» к «Истории Флоренции» Макиавелли.

<sup>133</sup> *Агрикола, Гней Юлий* (39—93) — римский политический деятель и полководец, тесть Тацита.

<sup>134</sup> Речь идет о древнейших преданиях, а не о исторических фактах.

<sup>135</sup> См. Макиавелли. Рассуждение на первую декаду Тита Ливия, кн. I, гл. II и III.

<sup>136</sup> *Август, Гай Юлий Октавиан* — первый римский император (63 г. до н. э.—14 г. н. э.).

<sup>137</sup> *Тиберий, Клавдий*, римский император (14—37 г. н. э.).

<sup>138</sup> «Serrari di Consiglio», точнее «Serrata del maggiore Consiglio» — «Закрытие Совета» — один из актов, оформлявших аристократическо-олигархический строй Венеции, в котором теперь принадлежность к этому Совету стала наследственной привилегией семей так называемых нобилей, чьи имена впоследствии были внесены в особую золотую книгу.

<sup>139</sup> «Squittinio della libertà veneta» — анонимный памфлет, изданный в 1612 г. и имевший целью доказать права императоров на Венецианскую республику.

<sup>140</sup> *Охлократия* — этот греческий термин (от ολλος — чернь) впервые, кажется, употреблен Полибием.

<sup>141</sup> *Олигархия* (иначе олигократия), по терминологии Аристотеля — государство, в котором власть принадлежит ограниченному числу фамилий.

<sup>142</sup> *«Гиерон»* — диалог греческого историка Ксенофонта, в котором описываются средства, какими государь может осчастливить свою страну. Гиерон Старший, царь Сиракузский, в Сицилии правил в 478—467 гг. до н. э.

<sup>143</sup> *Корнелий Непор* (95—25 гг. до н. э.) — римский историк, главным из многочисленных сочинений которого является серия биографий знаменитых людей, предвосхитивших некоторые приемы «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Миль-

тиад — афинский полководец и политический деятель, прославившийся победой над персами при Марафоне в 490 г. до н. э.

<sup>144</sup> См. Монтескье. О духе законов, кн. XI, гл. VI, где аналогичное рассуждение кончается словами «погибли Рим, Лакедемон и Карфаген».

<sup>145</sup> Ср. с Гоббсом «Левинафан», гл. XXVI.

<sup>146</sup> *Ценз* — В древнем Риме со времени нового государственного устройства Сервия Туллия проводились имущественная перепись населения граждан и распределение их на пять классов. На основе этой переписи — ценза — осуществлялись раскладка податей, распределение граждан по центуриям в войска, давалось право участия в выборах, право быть избранным, занимать известные должности. Перепись населения касалась только римских граждан.

<sup>147</sup> Эта глава, как и последняя третьей книги с красноречивым названием «Способы предупреждать захват власти», направлена против Совета Двадцати пяти в Женеве — органа власти буржуазной олигархии и подготавливает непосредственное разоблачение последней в «Шисьмах с Горы» Руссо.

<sup>148</sup> ...*великому царю*... — имеются в виду, вероятно, походы на Грецию персов при царе Дарии I Гистаспе (550—485 г. до н. э.).

<sup>149</sup> ...*австрийскому дому*... — Речь идет о династии Габсбургов.

<sup>150</sup> *Комиции* — народные собрания в древнем Риме.

<sup>151</sup> *Граки* — вародные трибуны (в 133 г. до н. э. Тиберий и в 123 г. Гай), безуспешно пытавшиеся провести в жизнь аграрные и другие реформы в интересах плебеев.

<sup>152</sup> *Ликторы* — служители (преимущественно из вольноотпущенников), которые давались высшим магистратам для услуг и приведения в исполнение наказаний. Они носили при себе пучки розог.

<sup>153</sup> ...*рабы исполняли его работу*... — Это приближение к пониманию рабовладельческого характера греческой демократии.

<sup>154</sup> В дальнейшем эта позиция полного и безоговорочного отрицания Руссо представительной системы несколько видоизменилась. В главе VII своего проекта реформ образа правления в Польше (1772) Руссо признает, что «законодательная власть не может проявляться сама по себе и не может действовать иначе, как через депутатов» (J.-J. Rousseau. Oeuvres, complètes, t. III. Paris, 1964, p. 926). Поэтому речь может и должна идти лишь о более частой смене этих депутатов и о предъявлении им императивных мандатов, т. е. наказов избирателей, чтобы не допустить той бесконтрольности, которую Руссо клеймил в практике английского парламентаризма.

<sup>155</sup> *Многие утверждают*... — В сущности это были все авторы, трактовавшие со времен средних веков общественный договор как акт подчинения. Они изображали его как формальное и взаимное обязательство — подданных повиноваться, а государя — править в общих интересах. Эта концепция в XVIII в. стала общим местом; мы находим ее и в «Энциклопедии» (статья «Политическая власть», т. I), и в «Рассуждении о неравенстве» Руссо. Но, в силу различных соображений, ее не принимали Гоббс и Локк.

<sup>156</sup> Имеется в виду тезис Пуфендорфа («О праве естественном и о праве международном», кн. VII, гл. II, § 8) о том, что за актом ассоциации следовал акт подчинения.

<sup>157</sup> Здесь Руссо использует аргументы, при помощи которых Гоббс («О гражданстве», гл. VII) показывает, как политический организм переходит от первоначальной демократии к аристократии или к монархии.

<sup>158</sup> ...*временная форма*... — К этому абзацу с особенной энергией привлекала внимание членов Совета Двадцати пяти прокурор Женевы Троншев, упирая на то, что Руссо рассматривает существующие формы политической организации как опытные и потому сугубо временные.

<sup>159</sup> Этот раздел главы — о периодических собраниях — явился для Генерального прокурора Женева Троншена основным материалом для обвинения Руссо в стремлении к испровержению всех существующих правительств (С. G., t. VII, p. 373).

<sup>160</sup> См. Гр о д и й. О праве войны и мира, кн. II, гл. V, § 24, где провозглашается такого рода право за каждым подданным при условии, что он его осуществит в одиночку, а не в группе и не тогда, когда Государство в нем нуждается (мысль, высказанная Руссо в примечании).

<sup>161</sup> В Берне тюрьма, где отбывали наказание осужденные за наиболее тяжелые преступления, назывались «Schallen haus» или «Schallenwegk», т. е. дом, заведение с колокольчиками, вероятно потому, что арестантам вешали, посылая их на общественные работы, на шею колокольчики; в Женеве же исправительная тюрьма носила прозвище «дисциплина» — («La discipline»), что значило в ту эпоху «бичевание» и «плеть». Поэтому слова Руссо «mis aux sonnettes et. a la discipline» означают в обоих случаях, учитывая эту игру слов, — заключить в тюрьму или подвергнуть исправительным работам.

<sup>162</sup> См. Та д и т. История, I, 85.

<sup>163</sup> *Отон, Марк Сальвий* (32—69 гг. н. э.) в 69 г. н. э. был на короткое время провозглашен императором.

<sup>164</sup> *Вителлий, Авл* — был в 69 г. н. э. провозглашен войсками императором, но в том же году убит солдатами Веспасиана. Речь идет о периоде, когда Вителлий был еще только претендентом на власть.

<sup>165</sup> Ср. П у ф е н д о р ф. Указ. соч., кн. VII, гл. II, § 7.

<sup>166</sup> Ср. Б у р л а м а к н. Принципы политического права, ч. I, гл. V, § 13. Женева, 1751, стр. 34.

<sup>167</sup> Ср. «Соображения об образе Правления в Польше», гл. IX.

<sup>168</sup> *...при рассмотрении дел.* — Из этого явствует, что Руссо допускает и такой случай, когда суверен, наряду с функциями законодательными, хотя бы частично вершит и дела правительственные.

<sup>169</sup> См. М о н т е с к ъ е. О духе законов, кн. II, гл. II.

<sup>170</sup> *...бедные варнабигы* (Barnabots) — так называли в Венеции обедневшую часть знати, жившую в квартале, носившем имя св. Варнавы.

<sup>171</sup> *...ее Правление не более аристократично, чем наше.* — Руссо этим хотел сказать, что поскольку в Венеции власть сосредоточилась в руках узкой группы знати (фактически уравнивая тем самым многих ее представителей в правах с обычными гражданами), то род ее правления, строго говоря, ближе к олигархическому, чем к аристократическому.

<sup>172</sup> Речь идет о сочинении Сен-Пьера «Рассуждение о Полисинодии» (1718). Как и из сочинений этого автора о вечном мире, Руссо сделал и из этой его работы извлечение, а также написал свое «Суждение» о ней (см. J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III, p. 617—634 и 635—645).

<sup>173</sup> По преданию, Ромулом были учреждены три трибы, считавшиеся благодаря древности происхождения своих членов патрицианскими. Традиция отождествляет первые две с племенами, жившими вблизи Альбанских гор у Рима (альбаны, Ramnenses), вторую с племенем сабинов (по имени их царя Татия — Tatienses). Третья триба (Luceres), отождествляемая с племенем этрусков, жившим севернее первых двух, именуется чужестранцами, отличавшимися языком и многими другими чертами.

<sup>174</sup> *Сервий Туллий*, шестой римский царь (VI век до н. э.) установил деление населения Римского государства не по племенному, а по имущественному принципу (на основании ценза). Сервий Туллий был свергнут Тарквинием Гордым.

<sup>175</sup> В а р р о н. О сельском хозяйстве, III, 1. Это место цитируется Сигоннусом («О древнем гражданском праве римлян», I, 3, стр. 15), откуда, вероятно, и взял его Руссо.

<sup>176</sup> П л и н и й. Естественная история, XVIII, 3.

<sup>177</sup> *Сабин, Аппий Клавдий* переселился в Рим в 504 г. до н. э., положил начало клавдийской трибе, прозван так по народности сабинов, к которой принадлежал.

<sup>178</sup> *Компигалии* — праздник 2 мая в честь ларов — добрых духов, покровителей домашних очагов и улиц городов. Название идет от слова *composita* — перекресток.

<sup>179</sup> *Паганами* (от *pag* — крестьянская община) — религиозный праздник, учрежденный Сервием Туллием, отмечавшийся 24 января.

<sup>180</sup> *...орудий войны* (*instruments de guerre*) — так назывались саперы в войсках Рима.

<sup>181</sup> *...последний Тарквиний* — по прозвищу «Гордый», седьмой и последний царь Рима (534—510 гг. до н. э.).

<sup>182</sup> *...курульные магистраты*. — Права магистратов в древнем Риме различались в зависимости от их ранга. Некоторые обладали правом обращения к народу, другие — правом наложения взысканий и т. д. Магистраты делились на высших и низших, на имевших присвоенное курульное кресло и не имевших, на обыкновенных и чрезвычайных.

<sup>183</sup> Ц и ц е р о н. О законах, III, 15. Возможно, что Руссо пользуется тут изложением этой мысли у Монтескье в «Духе законов», кн. II, гл. II. — Избр. произв., стр. 172.

<sup>184</sup> *Эфоры* — высшие должностные лица в Спарте, введенные (по преданию) Ликургом.

<sup>185</sup> *Агис III* — спартанский царь, задумавший восстановить Ликургово устройство Спарты, однако в 241 г. до н. э. он был убит.

<sup>186</sup> *Клеомен* — спартанский царь (235—220 гг. до н. э.), сын Леонида II, боровшегося против реформ Агиса IV: по его указу были убиты четыре эфора и отменен эфорат. После его падения последний был вновь восстановлен.

<sup>187</sup> См. М а к и а в е л л и. Рассуждение на первую декаду Тита Ливия, кн. I, гл. XXXIV и XXXV.

<sup>188</sup> *Катилина, Луций Сергий* (108—62 гг. до н. э.) — представитель патрицианского рода, пытавшийся путем заговора подготовить захват власти, но безуспешно. Цицерон, избранный консулом на 63 г., вел против Катилины борьбу в сенате.

<sup>189</sup> Имеется в виду «Письмо к д'Аламбер в зрелищах» (Ж.-Ж. Руссо. Избр. соч., т. I, стр. 65—177).

<sup>190</sup> Черновой текст трактата, посланный Руссо издателю М. Рею в Амстердам в декабре 1760 г., не содержал этой главы, она была добавлена позже (письмо ему же от 23 декабря 1761 г., С. G. t. VII, р. 2). Первоначальный, более краткий текст этой главы, еще даже без заглавия, мы находим на обороте листов главы о законодателе первого наброска «Общественного договора», с которой у нее есть логическая связь. Это скорее всего и говорит о времени написания главы о гражданской религии в процессе подготовки окончательного текста трактата.

<sup>191</sup> *...такая ученость*. — Эта точка зрения представлена как несомненная в статье де Жокюра «Миф» (*Fable*) в «Энциклопедии» (т. VI, 1756, стр. 343). Руссо знал специально посвященные этой теме книги, например «Историю манихейства» Бособра, но скорее всего говорит о тех авторах, которые популяризировали эти воззрения, как это делал Фонтенель («О происхождении мифов», 1724) и в особенности Юм («Естественная история религии», франц. перевод 1759—1760 гг.).

<sup>192</sup> *...Молох...* — Молох — в Библии так назван бог аммонитян, которому приносились человеческие жертвы.

<sup>193</sup> Эпизод этот Руссо взял у Плутарха, рассказывающего его более подробно и приписывающего его жителям острова Хиоса. В более обширном примечании, сделанном Руссо от руки в его печатном экземпляре, он говорит, что не мог привести это название. Объясняется это, вероятно, игрой слов, связанной с тем, что во французском произношении название этого острова (*Chio*) звучит так же, как название

опухоли такой части тела, которая, по мнению Руссо, не могла быть названа в печати.

<sup>194</sup> *Ваал* (или владыка) — первоначально у хананеян божество, покровительствующее определенному месту, бог племени и, кроме того, верховное божество. Ваал сходен с Зевсом и Юпитером по своему главенствующему положению в системе верований данного народа.

<sup>195</sup> *Хананеяне* — библейский термин, далекий от исторической определенности. Так именовались сначала жители прибрежных («низменных») земель в отличие от горных частей Палестины, Финикии и страны филистимлян. Кроме финикиян сюда входили моавитяне, аммонитяне, иудеи и другие народы.

<sup>196</sup> *Хамос* — бог аммонитян.

<sup>197</sup> *...говорил Иефай аммонитянам.* — Иефай — в Библии один из судей израильских, избранный в предводители против аммонитян и победивший их. Цитируемые его слова — Библия. Книга Судей, гл. II.

<sup>198</sup> *Вульгата* — латинский перевод Библии.

<sup>199</sup> *Фокейская война...* — Фокея — колония Афин в Ионии, была захвачена персами, при Дарии Гистаспе, потом, приняв сторону царя Сирии Антиоха III в его войне с римлянами, была последними завоевана и разграблена.

<sup>200</sup> *Юпитер Капитолийский*, назван так по месту нахождения храма, воздвигнутого в древнем Риме в его честь на capitoлийском холме, где были крепость и святилище.

<sup>201</sup> *...видимом земном правителе...* — выражение, заимствованное у Монтескье («О духе законов», кн. XXIV, гл. V), имеется в виду папа римский.

<sup>202</sup> *Халифы* — или *калифы* — представители или наместники пророка, титул, присвоенный себе преемниками Магомета; отсюда название их государства — халифат.

<sup>203</sup> *Али, Ибн-Абу-Талиб* (род. ок. 600—661 гг. н. э.) — племянник и зять Магомета, калиф с 656 г. Те, кто признавал его законным преемником пророка, образовали секту шиитов, которая внесла в ислам элементы мистики и пантеизма, распространилась в Персии (Иран) и Индии.

<sup>204</sup> *...нарекли себя главами Церкви...* — Имеется в виду так называемая «королевская реформация» в Англии, когда Генрих VIII актом о супрематии объявил себя в 1533 г. главой англиканской церкви.

<sup>205</sup> *...русские цари.* — Петр I учредил в 1721 г. Синод для руководства делами церкви и веры, находившийся под контролем верховной светской власти, возглавляемой монархом.

<sup>206</sup> П. Бейль, чей «Словарь» хорошо знал Руссо, был его непосредственным предшественником и, вероятно, учителем в критике христианства с политико-государственной точки зрения; вопреки утверждению о невозможности для христиан создать жизнеспособное государство, Монтескье шел за Гоббсом, писавшим, что государство и христианская республика — это одно и то же, а Руссо — за Бейлем, когда писал, что эти понятия исключают друг друга.

<sup>207</sup> *...или общим, или частным.* — Имеются в виду два аспекта религии: один чисто идеологический, другой — политический, см. письмо Руссо к Л. Устери от 18 июля 1763 г. (С. G., t. X, p. 37) и «Письма с Горы», письмо I.

<sup>208</sup> См. Г о б б с. О гражданине, гл. XVII, § 28 и гл. VI, § 11. Далее в оригинале: «il rogaît pardonner à l'auteur le bien en faveur du mal».

<sup>209</sup> Подразумевается римско-католическая церковь.

<sup>210</sup> Ср. «Письмо Кристофу Бомону», в котором такого рода неправомерные притязания государства Руссо объясняет предположением о том, что верования людей определяют их мораль и что от их представлений о будущей жизни зависит их поведение в этой. Но в обществе каждый его член вправе только знать — считает

ли другой для себя обязательным быть справедливым, а суверен вправе изучать мотивы, на которых каждый основывает это обязательство.

<sup>211</sup> Руссо, в принципе убежденный сторонник свободы совести и полной терпимости, стоя в общефилософском плане на позициях деизма, а не материализма, вслед за Локком отказывает атеистам в гражданских правах, как бы видя в них тех, кто не хочет присоединиться к общественному договору (см. кн. IV, гл. II), и потому не имеющих права оставаться в среде данного гражданского общества.

<sup>212</sup> Когда в 1765 г. Рей издал «Соображения» д'Аржансона, то в них не оказалось цитируемых здесь Руссо строк. Возможно, это объясняется неисправностью рукописи, которую печатали уже после смерти автора, о чем говорится в предисловии издателя.

<sup>213</sup> Когда заговор Катилины (см. выше, прим. 188) потерпел поражение, Цезарь выступил против смертной казни для него.

<sup>214</sup> Речь идет о продиктованном политическими мотивами переходе Генриха IV в 1593 г. в католичество. Руссо намекает на связанный с этим эпизод, изображенный в написанной епископом Роденским Гардуэном де Префиксом «Истории короля Генриха Великого» (1661, стр. 200).

<sup>215</sup> Страница книги с этим примечанием была уже отпечатана, когда издатель Рей получил от Руссо письмо с требованием снять его. Выполняя волю автора, он отпечатал заново эту часть книги, и лишь несколько ее экземпляров разошлись в первоначальном виде.

#### ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ДЛЯ КОРСИКИ

В разработку проекта конституции для жителей Корсики Руссо вложил свои самые заветные эгалитаристские, социально-уравнительные чаяния, весь жар своего политического демократизма. Этим его сочинение резко отличалось от проекта Франческо Васко, выдержанного в духе просвещенного абсолютизма, и от целей англичанина Босвела, посетившего Корсику под предлогом написания биографии главы ее национального правительства генерала Паоли, но в действительности в силу совсем иных мотивов, во имя которых английский либерализм всегда умел «примирять» служение своим идеям и порой весьма неблагоприятным целям английской внешней политики. Для полноты картины назовем еще нового претендента на установление там неограниченной личной власти, появившегося на многострадальном острове в лице Дж. Горани весной 1764 г.

Но для П. Паоли и его среды фраза, оброненная Руссо в «Общественном договоре» о Корсике, в сочетании с общей репутацией автора, сделали именно его наиболее желательным творцом новых установлений для корсиканцев. В качестве посредника между Паоли и Руссо выступил осенью 1764 г. Маттео Буттафоко, представитель дворянских кругов острова, офицер на французской службе (см. С. Г., т. XI, XII, XIII).

Предполагалась поездка Руссо на Корсику. Удержали его полученные им сведения об интервенционистских планах французского правительства по отношению к Корсике, которые и были осуществлены несколько позже (на основании Версальского соглашения 15 мая 1768 г.). Руссо направил Буттафоко обширный вопросник, в ответ на который получил от него немало материалов, в том числе собственную его записку по давнему вопросу, защищавшую привилегии корсиканского дворянства и его право на возвращение земель, отнятых Генуей.

В своем проекте Руссо называет этот документ «рукописью из Весковадо». Работа его над проектом шла с января по сентябрь 1765 г., в спешке, урывками, и позже он к нему больше не возвращался.

Текст впервые неполностью и со многими ошибками опубликован Ж. Штрекайзен-Мульту в 1861 г. («Oeuvres et Correspondance inédites de J.-J. Rousseau». Paris, 1861).

Первое критическое издание осуществил Воган (J. J. Rousseau. Political writings, v. II), недочеты которого сейчас восполнил С. Штеллинг-Мито, публикуя это сочинение Руссо в собрании его сочинений, изданных библиотекой «Шлеяда» (J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III. Paris, 1964).

Историю создания данного проекта см. в книге Е. Дедек-Эри (E. Dedek-Éry. J.-J. Rousseau et le Projet de Constitution pour la Corse. Philadelphie, 1932).

На русском языке проект публикуется впервые.

<sup>1</sup> *Выгодное положение острова Корсика...*— В первоначальном варианте сочинение это начиналось так: «Если бы остров Корсика был совершенно свободен и подвластен лишь своим жителям, он мог бы извлечь преимущества из своего положения, благодаря этому достигнуть цветущего состояния и по примеру других государств Италии создать установления, которые с помощью развития промышленности, морского флота и торговли привели бы к тому, что Корсика стала бы играть роль и во внешнем мире».

<sup>2</sup> *...сорок лет непрерывных войн...*— С XIV в. Корсика находилась под властью Генуи. Неоднократно корсиканцы поднимались на борьбу, пытались сбросить с себя игоземное иго. В 1729 г. они вновь взяли за оружие против Генуи, которая, однако, призвав на помощь австрийцев, в 1730 г. восстановила свою власть. В 1735 г. авантюрист барон Теодор Нейгоф был провозглашен королем острова, но выпущен бежать (1738) под давлением французских войск, которые прибыли по просьбе Генуи. В 1741 г. началось новое восстание. В последующие годы движением руководил Паскуале Паоли, который в борьбе с Францией ориентировался на Англию. Паоли со званием Генерала возглавил национальное правительство острова, но в конце 1764 г. на Корсике вновь появились французские войска, присланные сюда по договору с Генуей.

<sup>3</sup> *Генуя, владеющая еще частью побережья...*— Генуя — один из сильнейших городов-государств Италии, наибольшего расцвета достигла в XII—XIV вв. После захвата турками Константинополя (1453) Генуя постепенно приходит в упадок. По образу правления она являлась аристократической республикой. Власть Генуи в Корсике отчасти сохранилась в прибрежной полосе.

<sup>4</sup> *...со стороны берберов.*— Берберы — группа народностей, населяющая Сев. Африку (Ливия, Алжир, Тунис). Основное занятие — земледелие, скотоводство, но нередко они становились и корсарами (пиратами).

<sup>5</sup> *...подчиненные грозным повелителям...*— Подразумеваются генуэзцы.

<sup>6</sup> *...слабыми и зависимыми.*— Здесь и в других местах Руссо пользуется книгой «Рассмотрение Революции острова Корсика против Генуэзской Республики. Историческое, политическое и документальное» корсиканца М. Буттафуоко (1730—1806), участника освободительной борьбы, стоявшего на умеренных позициях.

<sup>7</sup> *...Государство, богатое людьми, всегда сильно.*— На обороте листа рукописи без знака своски имеются такие строки, предназначенные, вероятно, для примечания: «Большая часть захватчиков использовала одно из этих средств для укрепления своей власти: первое — разорять покоренные народы и делать их дикими; второе — напротив, состоит в том, чтобы расслаблять их под тем предлогом, чтобы их просвещать (instruire) и обогащать. Первый из этих путей производил всегда обратное действие по отношению к цели, и результатом его всегда были акты мужества со стороны угнетенных народов, перевороты, создание республик. Другой путь имел всегда свое действие: народы, расслабленные, развращенные, произносящие, будучи в рабстве, прекрасные речи о свободе, все были угнетены своими повелителями, а затем и уничтожены завоевателями».

<sup>8</sup> *...он вынужден создавать колонии...*— У Руссо еще сохраняется «античное» представление о колониях, как средстве избавиться от избыточного населения.

<sup>9</sup> ...автор сочинения, написанного в 1764 г. в Весковадо...— Речь идет о Буттафуоко и о написанном им в этом городе на итальянском языке проекте конституции для Корсики. Руссо одобрял его демократические стороны, но отвергал пристрастный взгляд автора на дворянство.

<sup>10</sup> ...все наше дело удивительно упрощается.— На оборотной стороне листа без знака примечания Руссо записал: «Вот что я должен сейчас сказать по этому поводу. Я должен сначала рассмотреть иной сюжет. Образовать Правление для народа, несомненно, вещь полезная. Но в этом деле я знаю нечто еще более полезное. Это образовать народ для Правления».

<sup>11</sup> Отдельные церковные приходы и судебные округа...— В оригинале *rièves* и *juridictions*.

Пьева — церковный округ, вмещающий в себя несколько приходов, под пачальством пьевано, вознаграждаемого частью десятины; деление это, однако, использовалось не только церковью, но и государством в качестве административного: пьева примерно соответствуют позднейшим кантонам. Под судебным округом, возможно, Руссо подразумевает следующее. До освобождения от господства Генуи, корсиканская знать обладала также и судебной властью на территории своих феодалов. Руководитель национального правительства Паоли сохранил за ней это право, подчинив при этом ее контролю Высшего Совета и Палаты Синдиков. Территорию юрисдикции бывшего сеньора или нескольких сеньоров Руссо и называет *juridiction*, что мы переводим как «судебный округ».

<sup>12</sup> Во всех своих меморандумах, в Аахенском протесте...— Под этими меморандумами подразумеваются документы, исходившие от национального правительства и Генерального Совета Корсики, обращенные к европейским державам и их государям. В них излагались и защищались требования и права народа Корсики. Некоторые из них приведены в приложениях к книге о Корсике англичанина Д. Босвела, посетившего в 1766 г. остров с письмом к Паоли от Руссо и опубликовавшего дневник своего путешествия. Франц. перевод: J. Boswell. *Etat de la Corse, suivi d'un Journal d'un voyage dans l'isle...*, t. I, II. Londres, 1769. В Аахене 18 октября 1748 г. державами был заключен договор, вернувший Корсику под власть Генуи.

<sup>13</sup> ...папы пожаловали остров Корсику.— С падением Западной Римской империи Корсика принадлежала попеременно Византии, готам, вандалам и другим захватчикам. В 754 г. ею овладели франки, а в 850 г. — сарацины. В нач. XI в. Корсика была подчинена пизанцам, а с 1077 г. верховным ее главой стал папа Урбан II, в свою очередь передавший правление пизанцам, а последние — Генуе.

<sup>14</sup> Против этого абзаца на обороте листа написано: «Существование дворянства предполагает крепостное право (*la servitude*), а каждый крепостной, которого терпит закон, — это гражданин, отнятый у государства».

<sup>15</sup> Все лены, присяга вассалов, чинш и феодальные повинности... — Руссо перечисляет формы феодальной зависимости, присущие разным ступеням феодальной иерархии.

<sup>16</sup> ...сеньориальные грамоты и права...— фиксировали взаимоотношения сеньора и его вассалов и формы феодальной зависимости от них крестьян.

<sup>17</sup> ...что именуют местным названием: *Terra di Comune*.— Со времени одного из первых вооруженных выступлений в середине XIV в. корсиканский патриот Самбукуччио д'Аландо изьял из-под власти сеньоров часть острова, которая стала называться *Terra di Comune*, т. е. земля Коммуны, земля в общем пользовании. Об этом рассказывает английский путешественник Босвел в своей выше названной книге (см. прим. 12).

<sup>18</sup> ...город Корге...— Город в центральной части острова, являвшийся фактически его столицей. На возвышенности у города — старинный замок или крепость. В описы-



ваемое после завоевания независимости время — место пребывания высшей исполнительной власти и ежегодных сессий законодательного органа — Генерального Совета. Здесь же находились и высшие судебные органы и с 1764 г. университет.

<sup>19</sup> *Мы разравнивали до сих пор национальную почву...*— Слова эти имеют прямое значение (подготовка почвы к постройке здания) и вместе с тем означают выделение того общего, что соединяет судьбы народа Корсики с жизнью других народов. Но тут же Руссо хотел подчеркнуть и огромное значение черт национального своеобразия. Вычеркнутый в рукописи абзац говорит о необходимости знать национальный характер того народа, которому хотят дать управление. Каждый человек, который, так сказать, не носит в своей душе национального костюма, «не может быть ни хорошим гражданином, ни верным подданным, и законодательство состоит не в том, что является общим для всех законов мира, но в том, что оно имеет отличного».

<sup>20</sup> *Остров Корсика, говорит Диодор...*— Этот абзац Руссо полностью заимствовал из перевода «Всеобщей истории» Диодора Сицилийского (т. II, кн. V, гл. XI), сделанного аббатом Террасоном и изданного в Париже в 1737—1744 гг. Руссо заказал Дюшену семь томов этого издания, прежде чем начать переговоры с Буттафоко о написании настоящего «Проекта» (С. G., т. IX, р. 74), и книги были ему отправлены 12 марта 1763 г. в Понтарлье.

<sup>21</sup> *...как три величайших державы...*— Это Германская империя, Австрия и Франция.

<sup>22</sup> *...Швейцария дрожит, когда нахмурит брови какой-нибудь французский министр.*— Швейцария должна была играть для корсиканцев роль примера в двояком отношении. Положительно — своим демократическим прошлым, к тому же явно идеализированным в духе традиций, опытом героической борьбы своего многочисленного народа за независимость. Отрицательного — последствиями развития там социального и политического неравенства, связанного, как мы бы это определили, с последствиями развития буржуазных отношений. Критика этой картины, развернутая детально в «Письмах с Горы», преодолена теперь в общем виде. А последствия независимости Швейцарии от министров Франции во главе с Шуазелем и ее дипломатических представителей Руссо испытал на себе в период изгнания, т. е. в 1762—1765 гг.

<sup>23</sup> *...не носить оружия.*— В этом абзаце Руссо вновь использует рукописное сочинение Буттафоко по истории национального движения на Корсике.

<sup>24</sup> *...как, например, пистолы во Франции.*— Пистоль — старинная испанская золотая монета, чеканившаяся с XVI в. В 1730 г. пистоль был равен 20 ливрам. В 1762 г. он приравнивался к 10 франкам (см. «Словарь Французской Академии», изд. 1762 г.). Монета имела широкое хождение в качестве так называемой счетной монеты или измерителя относительной ценности других монетных единиц.

<sup>25</sup> Рядом с этим абзацем Руссо написал: «Когда единственным проявлением роскоши будет изобилие продуктов, то каждый будет стремиться отличаться такого рода роскошью».

<sup>26</sup> Домен, представлявший в Риме владение государства (*ager publicus*), превратился при феодализме в частное и личное земельное владение короля.

<sup>27</sup> *...старь эшевеном и купеческим старшиной.*— Эшевен — должностное лицо в городах феодальной Франции. С XI в. появилось эшевенство как орган зарождавшегося городского самоуправления. Эшевены могли быть избраны горожанами или назначены сеньором. Купеческий старшина (*prévôt des marchands*) играл роль главы этого городского управления.

<sup>28</sup> Между этим абзацем и следующим Руссо записал отдельно следующую мысль: «Из этой взаимной зависимости, в которой, полагают, заключены связи общества, рождаются все те пороки, которые его разрушают. Английский народ не любит свободу ради нее самой; он ее любит, ибо она приносит деньги». Сходная мысль была высказана им ранее относительно жевевских буржуа в «Письмах с Горы».

<sup>29</sup> Здесь кончаются связное изложение и первая часть проекта. Далее текст представляет собой отдельные записи.

<sup>30</sup> *...более, чем ... земли.*— В этом месте Руссо оставил пропуск, не располагая точными данными для определения максимальных размеров земельного участка.

<sup>31</sup> *...великий Подеста.*— Подестой в средние века в Италии называли высшее должностное лицо городской общины. Название это сохранилось за ним и в системе демократического управления Корсикой, созданного при Паоли. Руссо по традиции и по аналогии сохраняет его в качестве титула главы центральной исполнительной власти в своем проекте.

<sup>32</sup> *Республика будет содержать...*— Подразумевается враждебная корсиканцам Генуэзская Республика.

<sup>33</sup> *...прибегнуть к помощи пизанцев.*— Пиза — город в Средней Италии на побережье Корсикапского пролива. Одно время был самостоятельной республикой, вела борьбу с Генуей из-за Корсики и Сардинии.

<sup>34</sup> Это начало текста одной из статей проекта конституции для Корсики, с рукописью которого ознакомился Руссо (см. прим. 9). В данном случае речь идет об одной из привилегий дворянства, против сохранения которой по этому проекту оп решительно протестует.

## ДОПОЛНЕНИЯ

### ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ

#### (ПЕРВЫЙ НАБРОСОК)

Рукопись этого сочинения была передана Ж. Штрекайзен-Мульту в Библиотеку Жекевы в 1882 г. и впервые опубликована в оригинале русским ученым А. С. Алексеевым в приложениях к его «Этюдам о Руссо» (т. I. Москва, 1887), затем уже Э. Дрейфус-Брисаком в его издании «Общественного договора» (1896) и Ч. Воганом в I т. «Political writings of J.-J. Rousseau». Cambridge, 1915, p. 434—511.

Это беловая копия, явно предназначенная для печати. Если принять распространенную точку зрения, согласно которой именно эту рукопись Руссо, находясь в Мопморанси, показывал в декабре 1760 г. своему издателю М. Рею (см. его письмо от 23 декабря 1761 г., С. G., t. VII, p. 2), то надо считать, что рукопись имела уже тогда законченный вид, а вторая часть ее оказалась впоследствии утерянной.

Творческая история «Общественного договора» и место в ней данного первого наброска еще ждут своего всестороннего исследования. Обычно его датируют 1758—1760 гг., когда Руссо, увидя, что первоначальный обширный замысел «*Политических установлений*» превосходит его силы, решил извлечь оттуда и опубликовать трактат гораздо меньшего размера (см. его «Исповедь», кн. X.— Избр. соч., т. III, стр. 449).

Судя по многим признакам, первый набросок отнюдь не отделен от окончательного текста рядом лет, как полагали ранее; напротив, работа Руссо над ним непосредственно привела к появлению окончательной редакции. Это не исключает, однако, включения в рукопись разделов, написанных ранее 1758 г.

К числу таких более ранних разделов относятся два. Первый — это глава II книги I «О первоначальном обществе человеческого рода», написанная вскоре после статьи Дидро «Естественное право», опубликованной в V т. «Энциклопедии», вышедшем в ноябре 1755 г., и с которой Руссо систематически полемизирует, опровергая ряд положений Дидро. Вторым более ранним разделом, относящимся к 1754 или к 1755 г., является глава I книги I, части которой мы находим в тексте статьи Руссо «О политической экономии», опубликованной в V т. «Энциклопедии».

Основываясь на осуществленной Р. Дерате публикации данной рукописи в III т. «Oeuvres complètes» Руссо в «Библиотеке Плеяды», 1964, мы воспроизводим в примечаниях наиболее существенные разночтения, различая при этом первоначальное состояние данной рукописи, изменения, внесенные впоследствии Руссо, и окончательный текст первого издания «Общественного договора». Более детальное сопоставление изменений, в частности стилистического характера, не входило в нашу задачу.

Мы не воспроизводим первый вариант раздела «О гражданской религии», так как его основное содержание весьма близко к окончательному тексту (стр. 247—255).

Ввиду того что, в соответствии с принятым в данном издании расположением материала, окончательный текст трактата публикуется раньше первого наброска, все основные примечания справочного характера даны именно к нему и, как правило, не повторяются при комментировании первого наброска.

Сопоставление глав этого текста и окончательной редакции сделано Е. Дрейфус-Брисаком в его издании: J.-J. Rousseau. Contrat social. Paris, 1896, p. 265.

<sup>1</sup> ...*Опыт о форме Республики.*— Руссо долго искал название, которое наиболее точно выражало бы цель его труда. Окончательное название («Об Общественном договоре») было и первоначальным, но он его сначала заменил, назвав рукопись «О гражданском обществе». Также не сразу установился и подзаголовок, прошедший через такие изменения: «Опыт об образовании Государства» (Политического организма).

<sup>2</sup> Руссо сначала назвал эту книгу так: «Об образовании политического организма» («De la formation du corps politique»).

<sup>3</sup> В черновике эта глава называлась: «О том, что от природы не существовало никакого общества между людьми» («Qu'il n'y a point naturellement de société entre les hommes»). В рукописи, хранящейся в Невшателе, название главы звучит так: «О естественном праве и о первоначальном обществе человеческого рода» («Du droit naturel et de la société générale»), что более явственно указывает, чем позднейшие названия, на связь этой главы со статьей «Естественное право» в «Энциклопедии» и тем самым на время, когда Руссо начал работать над первым наброском «Общественного договора».

<sup>4</sup> ...*мы превращаемся во врагов по отношению к себе подобным.*— Намек на концепцию Гоббса.

<sup>5</sup> ...*той всеобщей благожелательности.*— Вероятно, намек на слова Пуффендорфа: «Эта всеобщая благожелательность не предполагает ни другого основания, ни другого мотива, кроме подобия одной и той же природы или человечества» («О праве естественном и о праве международном», кн. II, гл. III, § 18).

<sup>6</sup> ...*в независимом состоянии разум побуждает нас содействовать общему благу, имея в виду наш же собственный интерес.*— Первоначально было так: «Чтобы каждый содействовал общему благу, необходимо было либо наличие силы, принуждающей его к этому, либо его личной заинтересованности».

<sup>7</sup> Это цитата из статьи Д. Дидро в «Энциклопедии» «Естественное право» (т. V, § 3).— Соч., т. VII, стр. 202.

<sup>8</sup> Ср. «Письмо Кристофу де Бомону» Руссо и анализ этого вопроса в работе R. Derathé «J.-J. Rousseau et a science politique de son temps», p. 155 и сл. и статью Ф. Хайманн: «La loi naturelle dans la philosophie politique de J.-J. Rousseau» (A. R., t. XXX, 1943—1945, p. 65—109).

<sup>9</sup> Ср. статью «Естественное право» в «Энциклопедии», т. V, § 6 и 7 (см. Д. Дидро. Соч., т. VII, стр. 203—205).

<sup>10</sup> См. статью «Естественное право», § 9 (Д. Дидро. Соч., т. VII, стр. 205—206).

<sup>11</sup> ...*способностей человеческого разума.*— См. «Новая Элоиза», ч. V, письмо III.— Ж.-Ж. Руссо. Избр. соч., т. II, стр. 489—512.

<sup>12</sup> См. ст. «Естественное право», § 8. «Но, скажете вы, где же хранилище этой всеобщей воли?» и т. д. См. Д. Дидро. Соч., т. VII, стр. 204—205.

<sup>13</sup> См. Г р о ц и й. О праве войны и мира, кн. II, гл. XV, § 5.

<sup>14</sup> *Геракл и Тезей* — герои греческой мифологии.

<sup>15</sup> Ср. ст. «Естественное право», § 5: «Итак, что мы ответим нашему неистовому собеседнику, прежде чем задушить его?» (Д. Д и д р о. Соч., т. VII, стр. 203).

<sup>16</sup> Цитата заимствована у Барбейрака в примечании к приведенному выше тексту Гродия. Руссо пропустил слово «is» перед «discubatug».

<sup>17</sup> В отличие от предыдущей, эта глава почти целиком вошла в окончательный текст. С существенными дополнениями она составляет главы I, VI, VII, VIII и IX первой книги «Общественного договора».

<sup>18</sup> ...*каково это соглашение и как оно могло сложиться*.— В черновике еще было добавлено: «чтобы быть законным».

<sup>19</sup> ...*человеческий род погиб бы, не приди на помощь природе искусство*.— Эта формула заменена в окончательном тексте гл. VI кн. I словами о том, что «человеческий род погиб бы, не измени он своего образа жизни» (стр. 160), так как она делала чересчур сильное ударение на искусственном происхождении общественного договора.

<sup>20</sup> Этот и два предыдущих абзаца были вставлены уже непосредственно в окончательный текст гл. VI кн. I.

<sup>21</sup> Отсюда, в окончательном тексте, начинается новая, VII гл. книги первой, состоящая из этого абзаца и двух следующих.

<sup>22</sup> ...*акт первоначальной конфедерации*...— В окончательном тексте — «акт ассоциации».

<sup>23</sup> Эта фраза о клятве исключена из окончательного текста.

<sup>24</sup> Этот и следующий абзацы, дополненные коротким абзацем о свободе в моральном отношении, образуют главу VIII книги I.

<sup>25</sup> ...*на основании юридическое*.— В окончательном тексте: «на законном документе» (*sur un titre positif*). Следует напомнить, что в отличие от естественного права — творения природы — позитивным правом в XVII—XVIII вв. именовались законы, созданные в человеческом обществе самими людьми.

<sup>26</sup> Сначала ничто не выделяло этот раздел из остального текста главы. Вероятно, лишь тогда, когда Руссо решил превратить его в отдельную главу (гл. IX, кн. I), он дал ему отдельное название (а также добавил сюда отрывок из гл. V).

<sup>27</sup> Первоначально эта глава называлась так: «О том, что такое суверенитет и что он неотчуждаем».

<sup>28</sup> Эта глава, вероятно, принадлежит к первоначальному по времени написания ядру данного сочинения; она ближе всего стоит к содержанию «Рассуждения о происхождении неравенства» и к статье «О политической экономии».

<sup>29</sup> ...*столькими авторами*.— Это Филмер, Боссюэ («Политика, извлеченная из текстов „Священного писания“», 1709, кн. II и III), Рамзей («Опыт политики...», согласной с принципами автора „Телемака“, 1719).

<sup>30</sup> Этот абзац и четыре следующих мы находим в статье «О политической экономии» (стр. 109—112).

<sup>31</sup> ...*богатство государя*...— Первоначально: «Богатство государства (*la richesse du publicque*) оказывается лишь средством, часто весьма скверно используемым, имеющим целью обеспечить частным лицам мир и изобилие». В статье «О политической экономии» было: «богатство казны».

<sup>32</sup> ...*это подтверждается чуть ли не всеми авторитетами*...— Гродий, например, писал, что если даже «верховенство» (*souveraineté*) было вначале приобретено силой, оно может стать законным вследствие желания, молчаливо выраженного, обеспечивающего владельцу обладание им («Право войны и мира», кн. II, гл. IV, § 14). Весьма близок к этому взгляд Боссюэ («Политика...», кн. II, разд. II, стр. 79).

<sup>33</sup> За исключением первого абзаца вся эта глава вошла в окончательный текст (кн. II, гл. IV — «О границах верховной власти суверена»).

<sup>34</sup> Глава сохранена под тем же названием в окончательном тексте.

<sup>35</sup> Этот абзац и четыре следующих не сохранены в окончательном тексте, так как они представляют собой отступление от характеристики законодателя, дополняя содержание гл. IV и V книги первой по вопросу о рабстве и общей воле.

<sup>36</sup> *...законы не могут быть пригодны для столь многих разных наций...*— Первоначально речь шла о различных «провинциях» (provinces).

<sup>37</sup> *...ибо Государство...*— Первоначально: «la République». Это говорит о том, что слово «Республика» Руссо употребляет в более древнем — общем значении «государства», а не только для обозначения определенного его вида (отличного в первую очередь от монархии).

<sup>38</sup> *...оказывается зависящим от своих соседей.*— Первоначально было добавлено: «или вынуждено ослаблять себя созданием колоний», которые Руссо воспринимает в античном значении, видя в них потерю главного богатства страны — ее населения — и потому источник ослабления.

<sup>39</sup> Первоначально тут еще было: «тот, кто, выходя из переворота (d'une révolution), наслаждается, однако, глубоким миром».

<sup>40</sup> В окончательном тексте сохранено основное содержание этой главы (кн. II, гл. VI «О законе»).

<sup>41</sup> Первоначально было: «Что касается тех, кто признает всеобщую справедливость, исходящую из одного разума и основанную на простом праве человечности, то они заблуждаются. Отнимите у разума голос совести, и он моментально замолкнет».

<sup>42</sup> *...силой, или добродетелью.*— Ср. «Эмиль», кн. V: «Слово добродетель происходит от — силы; сила есть основание всякой добродетели. Добродетель принадлежит существу слабому, но сильному своей волей; в этом одном состоит превосходство человека справедливого». Руссо имеет тут в виду латинское virtus.

<sup>43</sup> *Где найдется такой человек...*— В первоначальном тексте более выразительно: «Где тот богат, который не захотел, если бы он был бедным, чтобы богатый отдал ему свое имущество?»

<sup>44</sup> *...все мое...*— По мнению Гоббса, человек в естественном состоянии действительно имеет право на все (jus in omnia), данное ему природой («О гражданине», гл. I, § 10).

<sup>45</sup> Эта глава почти целиком вошла в окончательный текст «Общественного договора» (кн. II, гл. XII).

<sup>46</sup> *...из отношения посредствующих сил...*— Первоначально было: «средних членов» (termes intermédiaires).

<sup>47</sup> Глава эта полностью вошла в окончательный текст «Общественного договора» (кн. II, гл. XI).

<sup>48</sup> *...в совершенно одинаковой мере...*— Первоначально было: «под этим словом не надо понимать математическую точность» (une rigueur géométrique).

<sup>49</sup> На обороте этого (68-го) листа рукописи находится следующий пассаж (частично вычеркнутый), формулирующий мысль, которую мы не раз встречаем у Руссо: «Не надо думать, что это можно легко установить во всех государствах (cités). Я не вижу больше в Европе народа, который был бы в состоянии вынести почетное бремя свободы, они могут только носить цепи. Ноша свободы создана не для слабых плеч».

<sup>50</sup> В окончательном тексте соответствующая глава названа: «О правительстве вообще».

#### ПИСЬМА С ГОРЫ

19 июня 1762 г. Малый Совет Женевской Республики, фактическое ее правительстве, находившееся в руках буржуазной олигархии, по докладу Генерального Прокурора Жана-Робера Троншена осудил «Эмиля» и «Общественный договор» и постановил

«разорвать их и сжечь... перед Ратушей, как сочинения дерзкие, постыдно-скандальные, нечестивые, направленные к разрушению христианской религии и всех правительств», а их автора — в случае его появления на территории Женевы — арестовать и подвергнуть соответствующему преследованию.

Сообщение об этом решении поразило Руссо. «Как! Осужден до того, как меня выслушали? А в чем же преступление? Где доказательства? Женевцы, если такова ваша свобода, то я нахожу, что о ней мало стоит сожалеть» (С. G., t. VII, p. 318), — пишет он Мульту 22 июня 1762 г.

Произвол, допущенный в отношении писателя-демократа, вызвал ропот среди граждан Женевы. Наиболее смелой критике подверг эти действия Малого Совета полковник Ш. Пикте. В своем письме от 22 июня к издателю Э. Дювилару-младшему он вскрыл подлинные мотивы этого акта, продиктованные пристрастием Совета к Вольтеру и его желанием прислужиться Версальскому двору. Письмо это стало распространяться в списках, автор и адресат были привлечены к судебной ответственности и осуждены, причем было допущено грубое нарушение ряда процессуальных норм.

Руссо полагал, что опубликование его «Письма к Кристофу де Бомону», архиепископу Парижскому, содержавшего опровержение обвинений, выдвинутых против «Эмиля» и «Общественного договора», даст повод и Малому Совету Женевской Республики пересмотреть свою позицию, но последний упорствовал, запретив 26 апреля 1763 г. перепечатку этого «Письма».

Тогда в своем письме от 12 мая 1763 г. (С. G., t. IX, p. 284) к Первому синдикату Руссо формально отрекся от звания гражданина Женевы. Малый Совет молчаливо зарегистрировал этот акт, придав тем самым ему законную силу.

Только 18 июня 1763 г. сорок граждан и горожан Женевы внесли в ее Малый Совет «представление» (Représentation) с жалобой на решение, принятое в 1762 г. в отношении Руссо, и на произвол, допущенный в деле Пикте — Дювилара и книгопродавцев Жана и Исаака Бардена, у которых были конфискованы 24 экземпляров «Эмиля». Первые и главные пункты этого протеста Совет оставил без внимания, что вызвало повторное и тоже фактически безрезультатное обращение к нему 8 августа 1763 г. уже ста граждан, а 20 августа — письмо к Первому синдикату, подписанное уже 480 лицами, требовавшими, чтобы рассмотрение этого вопроса было передано Генеральному Совету как единственному истолкователю законов.

Малый Совет, обеспокоенный этой попыткой демократической трактовки, в духе Руссо, основ конституции Женевы, вновь прибег к услугам виднейшего идеолога патрициата Ж. Троншена, которым и был составлен подробный и энергичный ответ, опубликованный 31 августа 1763 г. Он признавал только за Малым Советом право судить об обоснованности «представлений», жалоб граждан, т. е. решать вопрос о том, должны ли они становиться предметом обсуждения Генерального Совета или нет. «Если Совет, рассмотрев их, не подтверждает их, что должно произойти? То, что они отпадают». Именно эту практику граждане вскоре назвали «отрицательным правом» Малого Совета и месяц спустя, 29 сентября, в своем новом обращении к Первому синдикату отказались признать законность такого рода притязаний.

Как раз в это время в Женеве и начала распространяться брошюра, озаглавленная «Письма из Долины» («Lettres écrites de la Campagne») <sup>1</sup>, опубликованная анонимно и принадлежащая перу прокурора Ж. Троншена, выступившего в них в качестве изощренного подборника исключительных прав Малого Совета Женевы, т. е. в роли защитника всевластия ее буржуазного патрициата. «Письма» эти были изданы в два приема. 27 сентября 1763 г. появились четыре первых, относившихся именно

<sup>1</sup> Так, «Долиной» (буквально — деревня) и «Горой» в Швейцарии тех лет назывались низменная ее часть и горная, почему мы видим в этом своего рода имена собственные.

к осуждению Руссо; последнее, защищавшее претензии Малого Совета на «отрицательное право», было издано только 23 октября 1763 г.

Первый эффект, произведенный этими «Письмами», был весьма значителен. Гражданам ограничились лишь опубликованием в ноябре сборника своих «Представлений» и ответов Совета; на выборах 1764 г., лишённые руководства и организации, они еще раз избрали кандидатов, предложенных им Малым Советом.

Показательно, что хотя принадлежность Троншону «Писем из Долины» вскоре после их появления ни для кого, в том числе и для Руссо, не была тайной, он ни в чем не использовал это в своей полемике, желая вести ее на принципиальной высоте и отводя аргументы, относящиеся к личности оппонента.

Еще в письме к Марсэ де Мезьер от 24 июля 1762 г. в сущности были намечены те шесть пунктов, которые составили затем главные темы первых шести «Писем с Горы» (С. G., t. VIII, p. 35—39). Вырисовывается тут двойное направление задуманного Руссо удара — и по буржуазным магистратам Женевы, и по тем ее пасторам, которые вместе с ними были в столь идеализированном виде изображены в «Посвящении» 1754 г. к его «Рассуждению о происхождении неравенства».

Так как новый ответ Малого Совета от 31 августа 1763 г. не удовлетворил большую группу Граждан, то они, сообщая Руссо текст этого ответа, в котором справедливо видели доказательство стремлений «сделать наше Правление олигархическим», полагали, что это обязывает Граждан укрепить свой союз (*il va cimenter et augmenter l'union de la Bourgeoise*), и просили Руссо помочь им своим советом в дальнейшей борьбе. Руссо вскоре после этого приступил к выполнению этой просьбы, о чем свидетельствует сохранившийся набросок. Он прекратил было эту работу, ознакомившись с уже составленным в Женеве текстом ответа Малому Совету и найдя его в общем удовлетворительным, но отличающимся от его замысла, ибо сам он считал лучшим средством побороть принципы олигархии — это заставить ее сторонников извлечь самим из них выводы и довести их как можно дальше (письмо к Де Люку от 26 сентября 1763 г. (см. С. G., t. X, p. 138—139)). Это письмо Руссо пришло в Женеву к моменту появления «Писем из Долины», экземпляр которых был ему оттуда послан 30 сентября 1763 г. Де Люком, заклинявшим его дать на них достойный ответ, из чувства любви «к нашему Отечеству, к Справедливости и к Свободе». Тут же он предложил необходимую помощь в предоставлении нужных материалов. Руссо погружился в «длительные размышления» и после некоторых колебаний со страстью отдался этой работе. 25 октября 1763 г. он торопит Де Люка с присылкой дополнительной документацией (С. G., t. X, p. 189). Для большей надежности часть ее была передана с сыном Де Люка, который собирался совершить паломничество к Руссо в Мотье, куда он и прибыл 22 ноября, причем один из его чемоданов был наполнен материалами для Руссо (там же, стр. 250).

Таким образом, работа над «Письмами с Горы» началась в октябре 1763 г. и, вероятно, уже близилась к концу в середине ноября 1763 г., когда Руссо стал искать издателя. При этом вначале у него была мысль о двух различного рода сочинениях. Первое, более краткое, представляющее собой его личную защиту, он предполагал закончить к концу 1763 г., с тем чтобы оно могло быть использовано демократическими кругами Женевы на выборах в Генеральный Совет (С. G., t. VIII, p. 355—356). О характере второго произведения мы узнаем из его письма от 18 марта 1764 г. к изгнанному патрицианом женевицу Леньепсу, поселившемуся в Париже (чьи письма к Руссо с 1763 г. наполнены материалами по политической истории их родины). Это был замысел политической истории Женевы, но он был оставлен ввиду других работ (С. G., t. X, p. 362). Впрочем, до нас дошли некоторые отрывки работ Руссо по истории Женевы, набросанные не ранее конца мая 1764 г. (см. Th. Dufour. *Recherches bibliographiques* t. II, p. 143). Но затем Руссо объединил эти два замысла, сохранив аргументацию исторического характера в своем боевом публицистическом памфлете.

После неудачной попытки издания книги в Авиньоне, куда он начал посылать рукопись в начале мая 1764 г., Руссо прибег к услугам своего постоянного голландского издателя М. Рея; их переписка по этому вопросу, начавшаяся 9 июня 1764 г., освещает все перипетии этого дела («Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Marc-Michel Rey», publ. par J. Bosscha. Amsterdam — Paris, 1858, p. 165—167; см. также С. Г., т. XI, p. 158).

26 августа 1764 г. пришли первые корректуры, 5 ноября 1764 г. у Руссо был уже в руках первый экземпляр книги, а 18 декабря «Письма с Горы» начали распространяться в Женеве.

До нас дошли четыре рукописи «Писем с Горы»: первый набросок всего текста, который сохраняется в Библиотеке г. Невшателя, рукопись пятого письма, находящаяся в Женеве, и две рукописи седьмого письма, из коих одна находится в Отделе рукописей Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва), а другая — в одном из частных собраний в Женеве.

Следует полагать, что всего существовало три или четыре редакции текста «Писем», из которых последняя и была передана издателю, причем, видимо, план их и основное содержание оставались неизменными. Ряд вариантов был опубликован (А. Р., т. XX). Первые пять «Писем» посвящены почти исключительно защите религиозных взглядов Руссо и разоблачению несостоятельности осуждения его и его книг в Женеве в чисто юридическом отношении, поэтому в данном издании, как и в издании Вогана, они опущены, а включены лишь письма VI, VII и IX, как обладающие наибольшим политическим значением и представляющие собой выдающийся образец боевой демократической публицистики XVIII в.

<sup>1</sup> *Еще сударь одно письмо...*—Трудно сказать, имеет ли Руссо в виду только личность Генерального прокурора Троншена, или он придает фигуре своего корреспондента более собирательные черты.

<sup>2</sup> *...уничтожение христианской религии и всех Правительств...*—Текст соответствующих документов см. в публикации М. Viridet. Documents officiels et contemporains sur quelques-unes de condamnations dont l'Emile et le Contrat social ont été l'objet en 1762. Genève, 1850, p. 20.

<sup>3</sup> См. «Письма из Долины», стр. 10.

<sup>4</sup> *...в виде резюме первой.*—В кн. V «Эмиля» содержится краткое резюме «Общественного договора».

<sup>5</sup> Здесь имеются в виду сторонники так называемого «договора подчинения»: Гроций, Пуфендорф, Барбейрак, взгляды которых Руссо уже подвергал критике в «Рассуждении о происхождении неравенства» и в «Общественном договоре», кн. I, гл. III.

<sup>6</sup> *...по мнению других...*—Речь идет о Боссюэ и Рамзее.

<sup>7</sup> *...по мнению трезвиз, это воля Божия.*—Боссюэ, Рамзей и Жюрье видят в боге скорее источник суверенитета, находящегося в руках короля, чем источник происхождения самого гражданского общества.

<sup>8</sup> *...нарушать позитивные законы.*—См. «Общественный договор», кн. I, гл. V.

<sup>9</sup> См. «Общественный договор», кн. I, гл. VI, стр. 161.

<sup>10</sup> *...чтобы повиновались Жаку, а не Гийсму.*—Намек на соперничество семьи Оранских и Стюартов в Англии после буржуазной революции XVII в. Жак — Яков II Стюарт, Гийом — Вильгельм Оранский, штатгаудер Нидерландов, призванный в 1688 г. на английский престол под именем Вильгельма III, после так называемой «Славной революции», точнее государственного переворота.

<sup>11</sup> *Наилучший из видов Правления — аристократический; наихудший вид верховной власти также аристократический.*—Ср. «Общественный договор», кн. III, гл. III—VII.



<sup>12</sup> ...задержать разрушение Политического организма...— Ср. «Общественный договор», кн. III, гл. X—XIV.

<sup>13</sup> ...кто знает ваше государственное устройство.— Один из немногих дошедших до нас откликов женеццев 1762 г. мы находим в письме Мульту от 16 июня 1762 г. к Руссо, где он писал после запрещения «Общественного договора» Малым Советом, что граждане Женевы говорят об этой книге как «арсевале свободы», и в то время, как «меньшинство мечет громы и молнии, большинство торжествует. Оно даже почти прощает вам ваши религиозные взгляды за ваш патриотизм».

<sup>14</sup> 24 декабря 1764 г. Руссо просил Дюшена выслать ему (С. G., т. XII, р. 164) «Утопию» Томаса Мора (1516); «Историю Севарамбов» Дени Вераса (1677). В это время «Письма с Горы» уже вышли из печати.

<sup>15</sup> ...она не запрещена ни одним из них! — Действительно, ни Парламент Парижа, ни Сенатерна, ни Штаты Голландии, ополчившиеся на «Эмиля», не подвергли преследованиям «Общественный договор»; любопытно, что он не был осужден и испанской инквизицией (см. M. Defougeux. L'inquisition espagnole et les livres français au XVIII siècle. Paris, 1936, p. 170). Причина заключалась, вероятно, в том обобщенном характере, которым отличался этот трактат: Руссо писал 29 мая 1764 г. по этому поводу его издателю, М. Рею, что это книга, «в которой правительства рассматривались в своих основах, и, что, следовательно, автор тут не перешел и не мог перейти границы чисто философского» рассмотрения проблемы (С. G., т. VII, р. 256).

<sup>16</sup> ...утверждает преимущества одного Правительства...— Речь идет о Женевской Республике.

<sup>17</sup> ...даже и то Государство...— Речь идет о Голландии; о мерах, принятых здесь в отношении распространения «Общественного договора» см. «Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Marc-Michel Rey», publ. par J. Bosscha. Amsterdam — Paris, 1858, p. 165—167.

<sup>18</sup> ...было перепечатано без разрешения автора...— В оригинале речь идет о контрафакции (contrefaçon) — так в XVIII и XIX вв. называли своего рода «поддельные» — повторные издания, осуществлявшиеся тайком от автора, с тем, чтобы не платить ему гонорара.

<sup>19</sup> См. «Общественный договор», кн. III, гл. VI.

<sup>20</sup> Петиционеры очень хорошо установили...— См. «Représentations des citoyens et bourgeois de Genève», 1763, p. 110—115.

<sup>21</sup> А. Сидней был казнен в 1682 г. Руссо сделал в своих тетрадях ряд выписок из сочинения Сиднея «Рассуждения о правлении» (см. Th. Dufour. Recherches bibliographiques, t. II, p. 135).

<sup>22</sup> Альгузий Иоганн (1557—1638), немецкий государствовед, автор книги «Политика» (1603), в которой развиваются принципы веделомости и неотчуждаемости суверенитета.

<sup>23</sup> Локк, Монтеस्कье, аббат де Сен-Пьер.— В невшательской рукописи «Писем с Горы» последний не фигурирует, Локк охарактеризован как «знаменитый» (illustre), а Монтеस्कье как «бессмертный».

<sup>24</sup> ...Локк ... рассматривал их на основе тех же принципов, что и я.— Не говоря уже о различной социальной направленности учений Локка и Руссо, они отличаются и по ряду формальных моментов. Локк в духе идей буржуазного либерализма стремился обеспечить максимум свободы и безопасности индивидуума, сводя к минимуму права и роль государства, в то время как Руссо подчинял во всем гражданина Политическому организму в целом. Руссо имеет в виду, вероятно, продиктованную различными мотивами, но свойственную им обоим ненависть к произволу власти, к абсолютизму.

<sup>25</sup> ...поведение Совета.— Речь идет о Совете Двадцати пяти, фактически державшем в своих руках власть в Женеве; члены его избирались пожизненно.

<sup>26</sup> Эти первые фразы отсутствуют в невшаттельской рукописи «Писем», седьмое из которых начиналось с заверения Руссо в том, что он высоко ценит «Регламент о посредничестве» 1738 г. и не намерен нападать на законы Женевы с требованием их изменений; но, по-видимому, он отбросил это начало как чересчур робкое и даже отчасти заискивающее перед противником.

<sup>27</sup> *...Организм, на который возложено исполнение ваших законов...*— Речь идет о Малом Совете, или Совете Двадцати пяти (см. выше прим. 25).

<sup>28</sup> *Он может заставить их умолкнуть.*— В трех рукописях после этого стояли слова: «без того, чтобы вы могли об этом узнать».

<sup>29</sup> *Будучи ограничены в ваших выборах...*— Граждане (Citoyens) и Горожане (Bourgeois) Женевы избирали ежегодно на собрании Генерального Совета четырех Синдиков, этих высших магистратов их республики, которых Руссо поэтому и именует здесь правителями (chefs). Но при этом число кандидатур было ограничено восемью, да и те заранее намечались членами Малого Совета из их собственной среды. См. раздел «Выборы синдиков», в «Эдиктах Женевской Республики», Женева, 1735, стр. 4—8.

<sup>30</sup> *...между которыми вас принуждают сделать выбор.*— В действительности Граждане и Горожане имели такого рода право («Эдикты», стр. 6), но они никогда им не пользовались, вероятно, вследствие преобладающего влияния буржуазной олигархии, заседавшей в Малом Совете. Трудно сказать, подействовало ли напоминание Руссо или Граждане сами вспомнили об этом своем праве, но только на выборах 1766 г. все предложенные Малым Советом кандидатуры были четыре раза отвергнуты и единственным выходом явилось новое посредничество Берна, Цюриха и Франции.

<sup>31</sup> *...не можете даже избрать ни первого Синдика...*— Еще одна неточность Руссо: кандидат, собравший больше других голосов в Генеральном Совете, провозглашался первым Синдиком, т. е. его избрание формально зависело от Граждан и Горожан.

<sup>32</sup> *...они могут обеспечивать все.*— Пятый параграф статьи III «Регламента о посредничестве» («Reglement de l'illustre Médiation pour la pacification des troubles de la République de Genève», Genève, 1738). Малый Совет был действительно уполномочен, не подвергая их на рассмотрение Генерального Совета, взимать налоги и субсидии, установленные до 1714 г., т. е. до внесения существенных изменений в налоговую систему Женевы, ставших необходимыми в связи с постройкой укреплений в 1715 г. Речь шла при этом о падавших на основную массу населения косвенных налогах (на вино, зерно, соль), а также о пошлинах на продажу недвижимости и на наследство (см. P. O'M a r a. Geneva in the eighteenth century: a socio-economic study of the Bourgeois city-state, during its golden age. Chicago, 1954, p. 187—249).

<sup>33</sup> *...вы — уже ничто.*— В Невшаттельской рукописи более определенно: «вы — простонародье, какие-то люди, чернь (la canaille), с которой обходятся с высшей мерой презрения» (qui on ne traite qu'avec le dernier mépris).

<sup>34</sup> *...лоданными.*— Здесь в этой рукописи стояло: «рабами».

<sup>35</sup> *...Государство распадается.*— Ср. в «Общественном договоре», кн. III, гл. X: «В тот момент, когда Правительство присваивает себе права суверена, общественное соглашение разорвано».

<sup>36</sup> Именно таково было происхождение института Синдиков.

<sup>37</sup> *...произвол власти корпорации.*— Речь идет все о том же Малом Совете, или Совете Двадцати пяти.

<sup>38</sup> *Эти три организма...*— Это — Генеральный Совет, Совет двухсот, Малый Совет.

<sup>39</sup> *...ничего больше менять.*— В «Общественном договоре» (кн. III, гл. VII) Руссо осуждает тогдашнее государственное устройство Польши, исходя из других соображений: поскольку в нем отсутствуют единство в правительстве и внутренняя связь в государстве. Позже, в 1772 г., Руссо выступил сам в качестве автора проекта реформ управления в Польше.

<sup>40</sup> Эта фраза не обнаружена в «Эдиктах Женевской Республики».

<sup>41</sup> *Вся власть... в руках Синдиков...*— Здесь Руссо воспроизводит аргументацию, развитую Гражданами и Горожанами Женевы в их «представлении» от 8 августа 1763 г. («Représentations des Citoyens et Bourgeois de Genève», р. 65—67), в котором говорилось: «наша Конституция... передает всю власть в руки гг. Синдиков» и т. д.

<sup>42</sup> *Они там приносят присягу...*— Полный текст этой присяги напечатан в «Эдиктах Женевской Республики», 1735, стр. 8—9. Руссо приводит отсюда несколько фраз, выделяя их курсивом.

<sup>43</sup> *...приговоры по уголовным делам выносились от одного лишь их имени...*— Эти и некоторые другие сведения Руссо почерпнул в «Истории Женевы» Я. Верна и А. Рустана, из которой он делал извлечения в своей тетради для выписок.

<sup>44</sup> О деле Жана Морелли, чья книга была осуждена Синдиками, Руссо говорит в четвертом из «Писем».

<sup>45</sup> *...по делу Валентина Женгийя...*— Судебное дело это рассматривалось при Кальвинне.

<sup>46</sup> Весь конец этого абзаца представляет собой почти текстуальное заимствование из «Представления» Граждан и Горожан Женевы от 8 августа 1763 г. («Représentations», стр. 62—63). Сочинения Кальвина содержат приговор, вынесенный 5 сентября 1558 г. (см. Calvin. Recueil des opuscules. Genève, 1566, р. 1962; см. также J. Sprink. J.-J. Rousseau et Genève. Paris, 1934, р. 68).

<sup>47</sup> См. «Письма из Долины», Ж. Троншена, стр. 80.

<sup>48</sup> *Грабо* — старинное демократическое установление, состоявшее в том, что Советники, прежде чем быть утвержденными, проходили «чистку», подвергаясь критике общественного мнения (см. H. Fazy. Les constitutions de la République de Genève, 1890, р. 52).

<sup>49</sup> Весьма близкое к этому описание находится в книге «Advis et devis de l'ancienne et nouvelle police de Genève» Ф. Бонивара (по позднему изд. 1865 г., стр. 25—26), соответствующая выписка из которой содержится в одной из записных книжек Руссо.

<sup>50</sup> В девятом «Письме» Руссо датирует эти факты 1650 г., но в действительности они имели место впервые именно в 1655 г. (см. J. A. Gautier. Histoire de Genève des origines à l'année 1691, t. VII. Genève, 1909, р. 355 и E. Rivoir. Les sources du droit du canton de Genève, t. IV. Aarau, 1935, р. 245—246).

<sup>51</sup> Речь идет об Эдикте 1568 г., который устанавливал, что при выборах каждый советник называет кандидатуры, за которые он подает голос на ухо секретарю (см. «Edits de la République de Genève», 1735, р. 4—5, § 10).

<sup>52</sup> В старину Генеральный прокурор имел в Женеве весьма разнообразные функции, перечисленные в «Эдиктах Женевской Республики», 1735, стр. 53—56. Будучи прежде всего общественым обвинителем, он участвовал в отправлении правосудия по уголовным и гражданским делам, а также осуществлял надзор по делам опеки и строительства (см. G. Wegner. Le procureur général de l'ancienne république de Genève d'après les edits de 1543 et 1568», в «Etrennes genevoises», 1929, р. 34—58). Верно то, что лица, занимавшие эту должность, превратились в важное орудие в руках Малого Совета.

<sup>53</sup> *...родственные связи в Совете...*— Жан Троншен, занимавший пост Генерального прокурора с 1762 г. до 1768 г., как и его предшественники Ж. Дю Пан (1734—1741), Ж. Галифе (1741—1747), Л. Бюссон (1747—1753) и А. Ревиллио (1753—1759), все были либо родом из патрицианских семей, либо находились с ними в родстве.

<sup>54</sup> *...мы не вводим ничего нового.*— Сам Ж. Троншен указал на несколько случаев, причем первый из них относится еще к 1734 г., в которых синдик не председательствовал в суде по уголовным делам («Письма из Долины», стр. 75—78).

<sup>55</sup> *Они опирались на закон об отводах...*— В таком небольшом государстве, как

Женева, где многие граждане находились между собой в той или иной степени родства, право отвода занимало значительное место в его законах, образуя особый III раздел его «Эдиктов по гражданскому праву» (1735, стр. 14—19). В уголовных делах можно было заявить отвод тому или иному лицу из состава суда, находящемуся по отношению к одной из сторон в состоянии двоюродного родства до десятой степени.

<sup>56</sup> *Основной закон Государства...*— В своем «Представлении» от 18 июня 1763 г. Граждане и Горожане ссылались на ст. X раздела XII «Эдиктов по гражданским делам» (см. «Représentations», стр. 12—13), а в такого же рода петиции от 8 августа 1763 г. они напоминали даже об «Основном законе государства», записанном в 1387 и 1420 гг., подтвержденном в 1543, 1568, 1713 и 1738 гг. (там же, стр. 70).

<sup>57</sup> *...Синдика ad actum.*— Авторы названной выше петиции видели один из двух основных законов государственного строя Женевы в положении о том, что если Синдики в определенных случаях выбывают, вследствие сделанного им отвода, то они должны заменяться Синдиками ad actum, т. е. секретарями, избранными Генеральным Советом.

<sup>58</sup> *Какое новшество!*— Руссо опровергает этот аргумент патрицианской олигархии, заявившей 25 июня 1763 г. устами Малого Совета авторам «Представления», что название ad actum якобы столь же ново, как и выражаемая им мысль. Однако ежегодно в Женеве назначались секретари ad actum для сбора голосов Граждан и Горожан, собравшихся на заседание Генерального Совета.

<sup>59</sup> *Только в древностях Карфагена и Рима...*— Выпад против Троншена, постоянно ссылавшегося в своих «Письмах», именно на эти два примера (стр. 114, 115, 119—121).

<sup>60</sup> *...поучительная история вашего Правления...*— В ранних рукописях эпитет «бурная» (orageuse) более откровенно выражал взгляд Руссо на прошлое Женевы как на историю напряженной борьбы основной массы ее жителей с буржуазно-патрицианской верхушкой.

Вмешательство в события 1734—1737 гг. Берна и Цюриха, связанных с Женевой договором об общем подданстве, а также Франции, единственной из крупных держав, поддержавшей в это время с Женевой регулярные дипломатические отношения, привели к заключению компромисса между борющимися лагерями, зафиксированному в ратифицированном Генеральным Советом 8 мая 1738 г. Регламенте о посредничестве («Réglement de l'illustre Médiation pour la pacification des troubles de la République de Genève». Genève, 1738). Статьи этого «Регламента» вместе с Эдиктами политическими и по вопросам гражданского права составили основу законодательства Женевы.

<sup>61</sup> *...присвоили себе право облагать налогами...*— Руссо имеет в виду действительный характер этого акта, так как юридически это право вводить новые налоги было дано Малому Совету решением Генерального Совета от 2 апреля 1570 г. В первом издании «Писем» это место было изложено так: «Еще до того, как они достаточно укрепили свое могущество, они пожелали присвоить себе право вводить налоги».

<sup>62</sup> *...плодом одного волнения...*— Речь идет о деле Фацио и событиях 1703 г. Новые налоги, которые вызвали протест жителей, были приняты в 1714—1715 гг., чтобы покрыть расходы на строительство укреплений, и с Генеральным Советом о них не консультировались, в силу закона 1570 г.

<sup>63</sup> *...плодом которого явился ужасный заговор.*— Об этой связи движения 1734 г. с законом 1570 г. говорят Верн и Рустан в том месте своей «Истории Женевы», выписку из которого сделал Руссо в своих тетрадах.

<sup>64</sup> *Налоги, установленные в 1716 г.*— или, скорее, в 1715 г.

<sup>65</sup> Историческую справку об этом, соответственные карты и чертежи см. у L. Bloch del. Le développement urbain de Genève à travers les siècles. Genève — Nyon, 1946.

<sup>66</sup> Первоначально оканчивалась эта фраза более энергичным восхвалением горожан, которые в отличие от магистратов, т. е. буржуазных патрициев, «...умели при своем успехе сохранять порядок, справедливость, умеренность, даже великодушные,—

которого магистраты никогда не проявляли в своем поведении, поскольку они не щадили даже человеческой крови).

<sup>67</sup> ...должно ли считать обращение с просьбой о Посредничестве третьей ошибкой.— Мы видели, что первоначально Руссо склонен был более определенно солидаризироваться с идеологом патрициата Ж. Троншеном в положительной оценке значения «Регламента о посредничестве» 1738 г. Но затем, вероятно, в результате изучения источников, присланных ему демократически настроенными деятелями Женевы, он приходит к иному, более пронизательному и более критическому пониманию того, что вмешательство внешних сил, породившее этот компромисс, произошло по призыву олигархической верхушки Женевы, не видевшей в своем распоряжении достаточно сил внутри республики, чтобы противостоять давлению ее демократических кругов. Такое понимание вопроса подтверждает, в частности, переписка советника Ж. Л. Дю Пана с жителем Берна А. Фрейденрейхом, хранящаяся в Публичной библиотеке Женевы.

<sup>68</sup> Речь идет о А. Г. Бине, подвергшемся необоснованному аресту, доказавшем свою невиновность, но тщательно добивавшемся впоследствии возмещения причиненного ему морального и материального ущерба. Руссо знал об этом эпизоде от самого Бине, с которым был знаком, находился с ним в переписке, в ходе которой тот познакомил его со всеми обстоятельствами своего дела (письмо Бине к Руссо от 27 мая 1763 г. хранится в Рукописном отделе Библиотеки г. Невшателя; см. также письмо Руссо к Мульту от 4 июня 1763 г.— С. G., t. IX, p. 328). Подробный отчет об этом деле Бине дал в своем «Мемуаре», опубликованном им в Женеве в 1776 г. Документы по истории этого дела хранятся в архиве семьи Троншен, находящемся в Публичной библиотеке Женевы.

<sup>69</sup> ...прибегнуть к Гарантии.— Речь идет о заключительной части «Регламента о посредничестве», в которой его авторы (французский король и кантоны Цюрих и Берн) заявляли, что в целях предупреждения повторения имевших место «волнений», они берут на себя гарантию соблюдения всех изложенных выше статей данного «Регламента». 19 ноября 1761 г. Бине, ссылаясь на это положение, обратился к Генеральному прокурору, требуя, чтобы на основании принципа о гарантиях тот дал ему возможность получить требуемое им удовлетворение. По словам Бине, ответ Генерального прокурора гласил, что если бы он это исполнил, то вследствие характера его должности его должны были бы самого приговорить к смертной казни, как виновного в оскорблении величества.

<sup>70</sup> В первоначальной рукописи место этого и трех следующих абзацев, в которых говорится о «Регламентах» как «наилучшем», из тех, что может подойти жителям Женевы, занимали следующие строки, служащие вступлением к намечавшемуся рассмотрению не только плюсов, но и минусов этого акта.

<sup>71</sup> ...в статье «Женева» г-на д'Аламбера.— Появилась в 1757 г., в VII т. «Энциклопедии». Руссо отвечал на нее открытым письмом к д'Аламберу «О зрелищах».

<sup>72</sup> Эта статья говорила о том, что Правительство Женевы состоит из четырех Синдиков, Совета Двадцати пяти, Совета Шестидесяти, Совета Двухсот и Генерального Совета, сохраняющих каждый все свои права, и о недопустимости в будущем вносить сюда какие-либо изменения.

<sup>73</sup> Статья эта устанавливает, что Синдики могут быть избраны только из состава Совета Двадцати пяти, а члены этого Совета могут быть выбраны только из граждан, входящих в Совет Двухсот.

<sup>74</sup> ...после отправления должности Аудитора.— В VIII «Письме» Руссо определяет эту должность как помощников Лейтенанта. Они избирались Генеральным Советом и исполняли функции, в настоящее время входящие в обязанности следователей (см. «Эдикты Республики Женевы», 1735, стр. 29—36).

<sup>75</sup> Когда народ сам избирал Советников...— Таков был первоначальный порядок

(см: L. Micheli. Les Institutions municipales de Genève au XV siècle.— «Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève», t. XXXII, 1912, p. 88). Но зато этот автор не соглашается с тем объяснением происхождения Малого Совета, которое дает Руссо, а именно—Л. Микели считает, что он был с самого начала официальным органом.

<sup>76</sup> *...избранных или Синдиков...*— В одном из посредствующих вариантов видны следы явной идеализации первых по времени магистратов Женевы, якобы представлявших собой «подлинных отцов народа».

<sup>77</sup> Статья начинается с указания на права Генерального Совета, законным образом «закрепленные и ограниченные следующими статьями», после чего следует перечисление шести важнейших прав: законодательство, выборы, заключение договоров и союзов, право объявления войны и заключения мира, вводить новые налоги и возводить укрепления.

<sup>78</sup> *...она может все или же ничто.*— См. «Об общественном договоре», кн. III, гл. XVI, где говорится, что ограничивать верховную власть—значит уничтожить ее (стр. 224). Но, подходя с другой точки зрения, Руссо говорит об известных пределах компетенции власти суверена (кн. II, гл. IV, в частности, стр. 173—174).

<sup>79</sup> В данном случае источником Руссо служит сочинение Ф. Бонивара (по изд. 1865 г., (стр. 25—26), из которого им была сделана соответствующая выписка.

<sup>80</sup> Первый намек на право представлений (droit de représentation) петиций, о котором подробно говорится в письме VIII.

<sup>81</sup> Речь идет о праве Генерального Совета утверждать и отклонять договоры и союзы и о праве принимать или отклонять объявление войны и заключение мира.

<sup>82</sup> См. «Общественный договор», кн. II, гл. II, стр. 169.

<sup>83</sup> Вариант одной из рукописей: «Римляне оставляли большую власть Сенату во внешних делах, но внутри государства последний гражданин был для него почтенен. Король Англии может объявить войну или заключить мир вопреки воле нации, но он не может взять ни одного су из кармана англичанина, ни причинить ему иной, хоть малейший ущерб. Факт, подобный делу Бардена или Бине, был бы в состоянии потрясти всю Англию. Вот что я называю быть свободным. Вы же чересчур заняты вопросом о Генеральном Совете и недостаточно—о его членах. Вы суверен, когда вы собрались все вместе, но надо заботиться о вашей свободе и в тех случаях, когда вы разделены».

<sup>84</sup> В одном из вариантов текста читаем: «Я мог бы как любой другой приводить в качестве примера римлян, шведов, англичан: я не хожу так далеко в поисках за удивительными сравнениями».— Ж. Троншен приводит в качестве примера шведов на стр. 115 своих «Писем из Долины».

<sup>85</sup> В одном из вариантов Руссо следующим образом развил свои обвинения против нарушителей прав граждан Женевы: «В 1706 г. Робер Водене был заключен в тюрьму и оставался там более двух месяцев, не зная, в чем его обвиняют, и не видя никого из своих судей, вопреки тексту соответствующего Эдикта, требующего, чтобы обвиняемый был допрошен в течение первых же 24 часов и чтобы тот, кто выдвинул против него обвинение, был также в тюрьме. В 1707 г. Пьер Фацио был расстрелян в тюрьме, и никто не знал за участие в каком преступлении, в то время как Эдикт требует, чтобы краткое изложение процесса было прочитано перед народом секретарем Совета, а приговор был сообщен первым Синдиком для этой же цели. В тот же период Леметр, не сознавшись ни в чем под пыткой, был осужден и казнен на основании показания одного свидетеля, публично признанного мошенником, который позже получил плату. В это же время множество людей было заключено в тюрьмы, лишено прав гражданства, изгнано или приговорено к другим видам наказаний, и так и неизвестно за какое именно преступление... В 1719 г. Исаак Руссо был осужден за то, что поднял шпагу против оскорбившего его некоего Готье, капитана французской

службы, имевшего родственников в Совете; это было нарушением Эдикта, требующего, чтобы тот, кто обвиняет, был помещен в тюрьму вместе с обвиняемым.

<sup>86</sup> Речь идет о следующих ограничениях антидемократического характера в ст. V «Регламента о посредничестве» — вопросы, обсуждаемые в Генеральном Совете, могли быть внесены туда только Синдиками, Малым и Большим Советом. В ст. VI: в Совете Двухсот мог обсуждаться тот или иной вопрос лишь после того, как он был предметом положительного рассмотрения в Совете Двадцати пяти, а в Генеральный Совет точно так же вопрос мог поступать лишь из Совета Двухсот.

<sup>87</sup> Понятия справедливости и общего блага, общей пользы часто ассоциируются у Руссо. Так, в первом наброске «Общественного договора» читаем: «всякое справедливое деяние обязательно основано на принципе наибольшей общей пользы».

<sup>88</sup> См. «Письма из Долины», стр. 66.

<sup>89</sup> В одном из вариантов читаем: «Посмотрите на Англию, где исполнительная власть настолько сильна... Одному только королю принадлежит право созывать Парламент, но кроме того, что закон его обязывает делать это раз в три года, его заставляет сокращать этот срок его собственный интерес, необходимость, поскольку Парламент утверждает субсидии только на один год и ежегодно приходится просить их у него вновь».

<sup>90</sup> К этой статье внимание Руссо привлек Левьепс (см. его письмо к нему от 12 июля 1763 г.— С. G., т. X, р. 25).

<sup>91</sup> ...в этой столице мира,— т. е. в Риме.

<sup>92</sup> ...жалуются на безначалие.— В оригинале — «impolice», т. е. дурное управление. Неологизм этот не удержался, хотя сам Руссо несколько раз употребляет его в своих сочинениях.

<sup>93</sup> Руссо имеет в виду речь первого синдика Ж.-Р. Шуэ 5 мая 1707 г. в Генеральном Совете, имевшую большой резонанс. Она была переиздана в «Mélanges Ch. Giliard». Lausanne, 1954, р. 394—400.

<sup>94</sup> Собрание Генерального Совета 29 февраля 1420 г. имело исключительно большое значение, поскольку оно должно было высказаться по поводу притязаний герцога Савойского Амедея VIII на суверенитет Женевы. Оно закончилось голосованием и подписанием акта. Историк Ж. Готье (J. A. Gautier. Histoire de Genève, t. I, 1896, р. 313) говорит о 622 подписавшихся, Руссо же говорит в первых вариантах «Писем» о 727 лицах и о 720 — в печатном тексте; это число он взял либо у J. Spon. Histoire de Genève, 1730, t. I, р. 174, либо у Vernes et Roustan. Histoire de Genève.

<sup>95</sup> Руссо нашел эти сведения одновременно у Верна и Рустана и в «Хронике» Мишеля Розе (выписки из которой он также делал). В изд. 1894 г. это место находится на стр. 42.

<sup>96</sup> Руссо присутствовал на заседании Генерального Совета 21 июля 1754 г. (см. L. Courtois. Chronologie critique de la vie et des oeuvres de J.-J. Rousseau. A. R., t. XXV, 1923, р. 77—78). Заседание было создано, чтобы принять присягу от синдика П. Мюссара, избранного в его отсутствие. Так как не было голосования, то в протоколе не записано число присутствующих. За месяц до этого, 13 июня 1754 г., на заседании, ратифицировавшем Туринский договор, насчитывалось 1098 присутствовавших.

<sup>97</sup> Этот вывод не совпадает с заключением историков. Так, A. Roget в своем этюде («Le Conseil Général» в «Etrennes genevoises». 1879, t. III, р. 120—121) считает, что в прошлом собрания этого Совета были гораздо менее многочисленными, чем в XVIII в.

<sup>98</sup> Имеется в виду то место «Писем из Долины» (стр. 154), в котором говорилось, что «картина чудовищного урагана может дать представление о волнениях несчастных Сиракуз, где народ хотел сам и обсуждать дела, и приводить их в исполнение».

<sup>99</sup> Речь идет о Н. Леметре, наряду с П. Фацио выступавшем в защиту демократических прав, он был арестован, подвергнут пыткам и повешен (см. A. Corbaз.

Pierre Fatio, précurseur et martyr de la démocratie genevoise, 1662—1707. Genève, 1913, p. 112, 252—261). «Я располагаю также историей Леметра в повествовании о волнениях 1707 г.», — писал Руссо Ивернуа 31 августа 1764 г. (С. G., t. XI, p. 253). Сведения об этом человеке он получил скорее всего от Де Люка, в бумагах которого и сейчас хранится «Отчет о деле Леметра» (в Публичной библиотеке Женевы).

<sup>100</sup> Воган (J.-J. Rousseau. Political writings, v. II, p. 226, прим. 5) сообщает, что о помиловании Леметра просила Совет Двухсот его жена, что засвидетельствовано в протоколах.

<sup>101</sup> Руссо имеет здесь в виду не волнения 1734—1737 гг., как полагает Воган, а дело аудитора Жана Саразена (1667 г.), из «Отчета», о котором Руссо сделал выписки (см. E. Mallet. Conflit entre le Petit Conseil et le Conseil des Deux-Cents en 1667, ou épisode de l'auditeur Sarasin.— «Memoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève», t. I, 1840, p. 277—320).

<sup>102</sup> ...перед произволом двадцати пяти деспотов. — До Руссо только Жак Микели Дюкре осмеливался предъявлять такого рода обвинения Малому Совету в узурпации свободы граждан Женевы, в порабощении их (см. его «Supplication avec Supplément présentée aux Louables Cantons de Zürich et de Berne en Juillet et Décembre 1744». Bâle, 1745, p. 62—63).

<sup>103</sup> Этот порядок установили «Ордонансы» 1543 г., но он был отменен Генеральным Советом.

<sup>104</sup> Именно так поступал Троншен. См. «Письма из Долины», стр. 112—115.

<sup>105</sup> См. «Représentations des Citoyens et Bourgeois de Genève», 1763, p. 127—128 (29 сентября 1763 г.).

<sup>106</sup> Цитата неточна. В «Письмах из Долины» говорится только о «праве их создавать» (стр. 110).

<sup>107</sup> См. «Письма из Долины», стр. 111.

<sup>108</sup> Руссо имеет в виду известное дело Джона Уилкса (1727—1797), члена Палаты общин, выступившего в 1762 г. с резкой критикой политики правительства, сначала в анонимном памфлете, затем на страницах газеты «Северный Британец» («The North Briton»). На ее страницах он 23 апреля 1763 г. напал на тронную речь, содержащую требование конфискации его печатных произведений и затем его ареста. У Уилкса были изъяты все бумаги, он был исключен из различных парламентских комиссий. Но оказалось, что при этом был нарушен habeas corpus act. 6 декабря 1763 г. суд, признав действия властей незаконными, обязал их выплатить Уилксу 1000 фунтов стерлингов компенсации. Руссо знал об обстоятельствах этого дела из газет.

<sup>109</sup> Это право было дано им с 1568 г. См. «Edits de la République de Genève», 1735, p. 44—45.

<sup>110</sup> Это было подтверждено «Эдиктом о посредничестве» (ст. XXXI).

<sup>111</sup> См. ст. XXXII. Речь идет об отмене пытки, применявшейся в ходе следствия.

<sup>112</sup> Об этом шла речь в письме к Руссо Ленъенса от 18 октября 1763 г. (С. G., t. X, p. 178).

<sup>113</sup> ...чтобы сохранять эти формы... — В ранней рукописи за этим шло: «Сама видимость свободы им полезна, чтобы помешать народу вунзить к нему почтение; им нужно его терпение и время и они без ощутимого переворота (sans révolution sensible) достигнут своей цели».

<sup>114</sup> Троншен писал, что «трибуны расширили свое право оказывать противодействие всем актам, исходящим от Магистратов... Им ничего не стоили самые безрасудные законы, самые кричащие обвинения» («Письма из Долины», стр. 120).

<sup>115</sup> Эти два сочинения к моменту создания «Писем с Горы» не были изданы, но получили широкое распространение в списках, один из которых, вероятно, Руссо получил из Женевы. Polemike этой посвящен этюд G. Werneg. La controverse Chapeaurouge — Le Fort sur le rôle politique du procureur général dans l'ancienne



République de Genève.— «Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève», 1929, t. XXXV, p. 181—322.

<sup>118</sup> Эти дышащие суровым критическим реализмом строки, представлявшие резкий контраст с восхвалением «отцов» Женевы в «Посвящении» «Рассуждения о неравенстве», не могли прийти в по вкусу женеvским бюргерам. Этим не преминул воспользоваться Вольтер и привел их в серии цитат из «Писем с Горы», фигурирующих в его брошюре «Мнение граждан». Эти строки он прокомментировал следующим провокационным образом, написав: «мы не были иными, когда мы сопротивлялись Филиппу II и герцогу Савойскому. Мы приобрели нашу свободу своей храбростью и ценой своей крови; и так же мы будем ее защищать».

<sup>117</sup> В главе XV книги III «Общественного договора» Руссо писал, имея в виду буржуазную часть своих читателей и несомненно среди них и своих соотечественников-женевцев: «Вы больше делаете для вашего барыша, нежели для вашей свободы и гораздо меньше страшитесь рабства, нежели нищеты» (стр. 223).

<sup>118</sup> Под псевдонимом «Благодетельный философ» издавал свои сочинения Станислав Лещинский — польский король (1677—1766).

<sup>119</sup> См. т. II сочинений Лещинского (Париж, 1763, стр. 266—267).

<sup>120</sup> Речь идет о постановлении Генерального Совета 2 апреля 1570 г., собравшемся в разгар эпидемии чумы.

<sup>121</sup> 19 июня 1714 г. Малый Совет постановил использовать 20 тысяч эку звонкой монетой на постройку укреплений, а для этого увеличить старые и ввести новые налоги. Среди жителей проявлялось недовольство этими мерами, не утихавшее до 1718 г. См. P. O'M а г а. Op. cit., 1954, p. 210—219.

<sup>122</sup> Чума в Марселе свирепствовала в 1720—1721 гг.; говоря о Королевском банке, Руссо, вероятно, имеет в виду падение во Франции так называемой системы Лоу, по которой впервые был предпринят широкий выпуск бумажных денег. Но понадобилось еще несколько лет, чтобы деловая жизнь в Женеве вошла в колею. См. H. L u t h y. La Banque protestante en France de la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution, t. I. Paris, 1959, p. 424.

<sup>123</sup> Они сделали это в своем формальном «Представлении» 4 марта 1734 г.

<sup>124</sup> Руссо изложил довольно точно историю столкновений, начавшихся в ночь с 30 июня на 1 июля 1734 г. и вызвавших вооружение горожан. 20 декабря в Генеральном Совете вотировался Эдикт об умиротворении, но это не достигло цели. Заговор, о котором идет речь далее, был организован Бернаром де Буде, графом де Монреаль, который вооружил несколько сот граждан низшего состояния и предоставил их в распоряжение Совета. Новые вооруженные столкновения (21 августа 1737 г.) привели к обращению за посредничеством к Цюриху, Берну и Франции.

<sup>125</sup> Это было скорее в 1665 г.

<sup>126</sup> 1 декабря 1706 г. Малый Совет рассматривал памятную записку, переданную четырьмя гражданами «от имени многих других», содержавшую предложение проводить в Генеральном Совете выборы при помощи бюллетеней, как это делалось в Совете Двухсот. При помощи различных ухищрений это предложение было отклонено, но решено было дополнительно принять ряд мер предосторожностей, обеспечивающих свободу голосования.

<sup>127</sup> Это был Пьер Фадно.

<sup>128</sup> Имеется в виду Н. Леметр, осужденный на основании единственного свидетельского показания.

<sup>129</sup> Речь идет о Жане Пиаже, одном из главных руководителей горожан Женевы, утонувшем в Роне 18 августа 1707 г. при попытке бежать вплавь.

<sup>130</sup> 14 января 1736 г. суд рассматривал дело трех горожан, обвинявшихся в том, что они помогали руководителю демократов Микели Дюкре ночью по Роне проникнуть в Женеву. Из состава суда получили отвод родственники Дюкре.

<sup>131</sup> 27 декабря 1758 г. адвокат Жак Мерсье был осужден за составление жалобы по делу З. Бине и трех других граждан, безвинно заключенных в тюрьму. В суде, который должен был рассматривать это дело, обычно председательствовали два синдика — П. Фабри и П. Мюссар, но 27 декабря первый отсутствовал, а второй — получил отвод.

<sup>132</sup> Руссо намекает на дело Пикте — Дювилара. Ш. Пикте, патриций, связанный с кругами буржуазии, написал 22 июня 1762 г. издателю и книгопродавцу Э. Дювилару письмо, в котором восставал против осуждения сочинений Руссо и говорил об участии в этом Вольтера и о независимости суждений Малого Совета. Письмо это распространялось в Женеве в списках, и Пикте и Дювилар были привлечены к суду и приговорены к лишению гражданских прав, первый — на полгода, второй на год и к возмещению издержек. Материалы по этому делу Марк Вириде опубликовал в названном выше издании документов по «делу» об осуждении «Эмиля» и «Общественного договора» (1850, р. 27—40). Троншеп, конечно в осуждающем Пикте тоне, говорит об этом деле в «Письмах из Долины», стр. 91.

<sup>133</sup> Это письмо фигурирует в X книге «Исповеди» Руссо (Избр. соч., т. III, стр. 463—464). См также A. Rog et. Les premiers défenseurs genevois de Rousseau.— «Etrennes genevoises», t. I, p. 351—532.

<sup>134</sup> Это был сам Руссо.

<sup>135</sup> Руссо сделал это в письме от 12 мая 1763 г. (С. G., t. IX, p. 284).

<sup>136</sup> Дело Бардена составляло один из трех разделов первых «Представлений» граждан Женевы от 18 июля 1763 г. и единственный, по которому ими было получено удовлетворение. Этому книгопродавцу была возмещена стоимость конфискованных у него 24 экземпляров «Эмиля» Руссо. См. J. Kleinschmidt Les imprimeurs et libraires de la République de Genève, 1700—1798. 1948, p. 60—61.

<sup>137</sup> *Диван* — собрание ближайших советников правителя на Востоке.

<sup>138</sup> Это был Жак Микели Дюкре; см. его «Supplifications avec Supplément», 1745, p. 73—75.

<sup>139</sup> Ответ этот датирован 7 декабря 1763 г. и был сейчас же напечатан.

<sup>140</sup> Троншен писал, что «негативное право... представляет собой оборонительное оружие» («Письма из Долины», стр. 147—148).

<sup>141</sup> «Поскольку право представлений способно стать наступательной силой, могущей все опрокинуть, то мудрость Законодателя может ему противопоставить силу, способную ему сопротивляться: эта сила — негативное право, представляющая собой не что иное, как обязательство Совета тщательно рассматривать „Представления“» («Письма из Долины», стр. 148).

<sup>142</sup> Руссо пародирует тут отрывок из пятого из «Писем из Долины», стр. 137.

<sup>143</sup> См. «Письма из Долины», стр. 145—146 — «нельзя доказать, я согласен, что Совет не может злоупотреблять этим правом».

<sup>144</sup> См. там же, стр. 104.

<sup>145</sup> См. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Жизнь Перикла, т. I, стр. 196—225.

<sup>146</sup> Имеется в виду дело Бардена (см. прим. 136).

<sup>147</sup> Дело Бине (см. прим. 68).

<sup>148</sup> Руссо имеет в виду самого себя.

<sup>149</sup> Речь идет о Жаке Мерсье (см. прим. 131).

<sup>150</sup> Имеются в виду сочинения Вольтера.

<sup>151</sup> Таковыми они были вначале, но с XVIII в. размеры жалований значительно увеличились; см. A. Rog et. Le Petit Conseil.— «Etrennes genevoises», 1877, t. II, p. 12—17.

<sup>152</sup> Речь идет о четырех Синдиках.

<sup>153</sup> В 1766 г. действительно было сделано предложение нового посредничества

со стороны Цюриха, Берна, Франции, но без успеха; выработанный ими проект нового «Регламента» был отклонен Генеральным Советом, и волнения теперь длились в Женеве до революционных событий последних лет XVIII в.

<sup>154</sup> «Во мне совершился переворот, который я никогда не мог себе вообразить,— писал Руссо Леньепсу 15 июля 1764 г.—Самое глубокое безразличие сменило мой былой пыл по отношению к родине. Женеве для меня больше не существует» (С. Г., т. XI, р. 186). В этом горьком признании мы вправе видеть прозрение Руссо под влиянием враждебного отношения к нему буржуазной олигархии Женевы.

<sup>155</sup> «Женевцы сделали мне чересчур много зла, чтобы они могли меня не ненавидеть,— писал Руссо Мульту 2 апреля 1763 г.,—а я, я их знаю чересчур хорошо, чтобы не презирать». И две недели спустя он делал горькое признание, говоря: «Мое единственное преступление заключается в том, что я их чересчур сильно любил» (С. Г., т. IX, р. 211, 239).

### ФРАГМЕНТЫ И НАБРОСКИ

В данный раздел включено одно сравнительно крупное, но незавершенное сочинение, стоящее особняком среди других фрагментов. Это письмо, или диалог, «О богатствах», задуманное как самостоятельное произведение; таково же, несомненно, происхождение дошедших до нас зачинов и набросков текста «опытов» Руссо по древней истории («Параллель между государствами Спарты и Рима», «История Лакедемона»).

Ждущим своего исследования является вопрос о связи таких фрагментов, как «О счастье народа», «О законах», «О роскоши, торговле и ремеслах», «О чести и добродетели». Авторам этих строк они представляются набросками одного цельного произведения — «О счастье народа» (*Du bonheur public*), мысль о создании которого была навеяна темами, повергнутыми на суд Руссо Бернским экономическим обществом в 1762 г.

Другая группа фрагментов примыкает к основным трактатам Руссо, в которых разрабатывается данная тема. Это диклы набросков, объединенные издателями под заголовками «О естественном состоянии», «Об общественном соглашении».

Фрагменты (кроме диалога «О богатствах») содержатся в рукописях, хранящихся в библиотеке г. Невшателя, Публичной и университетской библиотеках г. Женевы. Первые публикации фрагментов осуществлялись В. Янсеном, Ж. Штрекайзен-Мульту, Э. Дрейфус-Брисаком, Э. Риттером, Ж. Ванденберже, Ч. Вогавом в изданиях, названных в примечаниях. Некоторая часть впервые опубликована в Собрании сочинений Руссо в библиотеке «Шлеяда», Paris, t. III, 1964, р. 473—560.

На русский язык все эти тексты переводятся впервые.

### *О богатствах*

<sup>1</sup> Набросок впервые опубликован в 1853 г. (См. J.-J. Rousseau. Discours sur les richesses, publié pour la première fois par F. Bovet. Paris).

<sup>2</sup> *Хризифил* — такого греческого имени не существует, Руссо составил его в качестве характеристики выведенного им персонажа, оно означает любящий золото, т. е. деньги. Прием характерный для литературы, и в частности драматургии, XVIII в.

Что же касается применения греческих имен как таковых, то с этим Руссо мог встретиться в хорошо ему известной книге Ж. де Лабрюйера. «Характеры, или нравы нынешнего века», в которой они даны всем ее персонажам.

<sup>3</sup> ...для несчастных бедняков.— В оригинале — malheureux.

<sup>4</sup> ...того императора, кто столь сожалел о потере одного только дня...— Речь идет о Марке Аврелии Антонине (121—180 гг. н. э.), авторе философского сочинения («Наедине с собой», пер. С. Рогозина. М., 1914), в котором он выступает как последователь греческого стоика Эпиктета.

<sup>5</sup> ...бросает Аристиппа ради Диогена...— Аристипп — греческий философ V в. до н. э., основатель школы киренаиков, названной так по городу Кирена, на северном побережье Африки, откуда он был родом. Он учил, что высшее благо — это удовольствие, наслаждение, чем и отличался от Диогена, личным примером показывавшего, что мудрец должен свести к минимуму свои потребности.

<sup>6</sup> Лейбниц умрет в достатке, а Лас — в бедности.— Лейбниц (1646—1716) — великий немецкий философ-просветитель, математик.

<sup>7</sup> Фаворинус или Фаворин — учитель красноречия в «Атене», учрежденном в Риме императором Адрианом (117—138 гг. н. э.), автор ряда сочинений на греческом языке.

### [Набросок плана]

<sup>1</sup> В оригинале («des f.» Р. Дератэ отвергает чтение, предложенное Воганом («о французах»), но вряд ли прав, видя в этом наброске не план, а запись вопросов для самого себя.

### [О естественном состоянии]

<sup>1</sup> Это весьма важное определение показывает, что, вопреки распространенным представлениям, для Руссо «естественное состояние» — это не далекое прошлое, а норма и даже идеал будущего.

<sup>2</sup> Это одно из центральных положений философии Руссо, сформулированное в одной из рукописей «Эмиля» (А. R., t. VIII, 1912, p. 273), как протест против того, что условия жизни человека в обществе превращают его в «двойное существо» (être double). В IV кн. «Эмиля» влияние этих условий превращает заботу о самосохранении (l'amour de soi) в эгоистическое чувство — самолюбие (l'amour-propre) именно тогда, когда человек «находится вне природы и впадает в противоречие с самим собой». В «Общественном договоре» (кн. IV, гл. VIII) говорится, что «все установления, ставящие человека в противоречие с самим собой, не стоят ничего» (стр. 251).

<sup>3</sup> Ср. «Рассуждение о неравенстве» (стр. 52—53) и «Эмиль», стр. 283.

<sup>4</sup> Ср. «Рассуждение о неравенстве», стр. 74.

<sup>5</sup> В оригинале — en troureau, т. е. буквально — в стаде. Этот фрагмент, как и предыдущий, говорит об эпохе, охарактеризованной в «Рассуждении о неравенстве» как эпохе «нарастающего общества».

<sup>6</sup> Ср. «Рассуждение о неравенстве», стр. 63.

<sup>7</sup> Ср. там же, стр. 77.

<sup>8</sup> Эта мысль — лейтмотив взглядов Руссо на историю.

<sup>9</sup> В этой весьма глубокой мысли проявляется известное понимание роли общественных условий в формировании и развитии человека. Ср. «Общественный договор», кн. I, гл. VIII, стр. 164.

<sup>10</sup> Ср. «Рассуждение о происхождении неравенства», стр. 78, где речь идет о появлении морали в складывающемся обществе.

<sup>11</sup> В «Письме Кристофу де Бомону» Руссо пишет: «Я нашел, однако, что развитие просвещения и рост пороков происходят всегда в силу одной и той же причины не среди индивидуумов, а у народов. Это различие я тщательно учитываю, но никто из нападавших на меня этого не понял».

<sup>12</sup> Мы уже встречались с мыслью Руссо о том, что вражда среди людей имеет источником эгоистическое «самолюбие», проявляющееся именно в сопоставлении человеком себя с другими людьми и порождаемое только условиями жизни в обществе

и рефлексией. Ср. «Руссо судит Жан-Жака», первый Диалог (J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. I, 1959, p. 669).

<sup>13</sup> Этот фрагмент, как и два следующих, представляют собой первую редакцию соответствующих разделов первого наброска «Общественного договора» (см. стр. 305).

<sup>14</sup> См. стр. 308. Говоря о «независимом человеке», Руссо имеет в виду статью Дидро «Естественное право» (Дидро. Соч., т. VII, стр. 203).

<sup>15</sup> Отброшенная первая редакция этого места имела следующий вид: «1) пусть он сделает для своего собственного преуспеяния то, что отказался сделать из чувства долга, 2) постараемся научить его столь хорошо знать, в чем состоят истинные способы быть счастливым...»

<sup>16</sup> Слева от текста пометка «развить». В нижней части фрагмента примечание: «Власть распоряжаться (pouvoir de commander) во имя сохранения свободы».

<sup>17</sup> Это, вероятно, первоначальное название гл. II кн. I первого наброска «Общественного договора».

### [Об общественном соглашении]

<sup>1</sup> Ср. «Общественный договор», кн. III, гл. I, стр. 193 и гл. XVI «О том, что учреждение Правительства отнюдь не есть Договор» (стр. 224—225) с первым наброском «Общественного договора», кн. I, гл. III, стр. 315.

<sup>2</sup> Ср. «Рассуждение о происхождении неравенства» (стр. 91).

<sup>3</sup> См. «Общественный договор», кн. I, гл. III и IV.

<sup>4</sup> См. статью «О политической экономии», стр. 128.

<sup>5</sup> Ср. там же, стр. 119.

<sup>6</sup> Ср. там же, стр. 113.

<sup>7</sup> ...в области экономии...— Руссо употребляет здесь этот термин (l'économie) в его восходящем к античности значении, в котором он фигурирует в начале его статьи «О политической экономии» (см. стр. 109).

<sup>8</sup> См. «О политической экономии», стр. 118.

<sup>9</sup> Ср. «Общественный договор», кн. I, гл. VI.

<sup>10</sup> В гл. XV, кн. III «Общественного договора» говорится еще более прямо, что общая воля «никак не может быть представляема» (стр. 222).

<sup>11</sup> О том, что суверен не связан предшествующими изъявлениями его воли, см. гл. IV кн. I первого наброска «Общественного договора» (стр. 317). См. также окончательный текст, кн. I, гл. VII (стр. 162—163).

<sup>12</sup> Этот фрагмент и следующие, кончая 26, относятся к процессу работы Руссо над статьей «О политической экономии».

<sup>13</sup> См. Монтескье. О духе законов, кн. V, гл. VII.— Избр. произв., стр. 204; здесь говорится, что сильная отцовская власть необходима в республике и излишня в монархии, с чем Руссо не согласен, утверждая, что, напротив, именно в республике государство как бы заменяет отцов, осуществляет общественное воспитание и т. д. См. «О политической экономии», стр. 126—127.

<sup>14</sup> Эта мысль развита в III гл. кн. I (стр. 315) первого наброска «Общественного договора» и соответственно в гл. IX кн. I окончательного текста, трактующей «О владении имуществом».

<sup>15</sup> Ср. в «Общественном договоре» (гл. VI кн. III), где говорится, что «смешивать королевское правление с правлением доброго короля — это значит вводить самого себя в заблуждение» (стр. 207).

### [О счастье народа]

<sup>1</sup> Опубликовано впервые Ж. Штрекайзен-Мульту, воспроизведено Воганом («Political writings», v. I, p. 350—351).

<sup>2</sup> Начало этого наброска и его содержание говорят о том, что он связан с обращением к Руссо Экономического общества в Берне.

<sup>3</sup> *...она разрывается...*— Раньше эта часть фразы кончалась так: «Он равно несчастен, какая бы часть не взяла верх: и не воображайте, что гражданин мог бы жить счастливо, если бы Государство переживало затруднения».

<sup>4</sup> Здесь Руссо противоречит тому, что он говорил об этом, например, в «Письме к Кристофу де Бомон», где он критикует несоответствие между «быть» и «казаться» в современном ему обществе.

<sup>5</sup> *...и Граждане по своим склонностям...*— Здесь Руссо с наибольшей отчетливостью выражает свое понимание общественной природы человека.

<sup>6</sup> Фраза начиналась, очевидно, со слов: «Чтобы определить, в чем состоит...»

<sup>7</sup> Руссо не был последователен в своей оценке связей одного народа с другими, склоняясь к отрицанию их необходимости (см. R. Derathé. *La dialectique du bonheur chez J. J. Rousseau*.— «Revue de théologie et de philosophie». Lausanne, 1652, II, p. 81—96).

<sup>8</sup> Первоначальный вариант следующей части фразы: «ибо понятие о счастье не связано столь непосредственно с понятием о деньгах».

### [О роскоши, торговле и ремеслах]

<sup>1</sup> Два фрагмента, публикуемые под этим названием, находятся в одной рукописи, и ранее публиковались как одно целое. В данное время Р. Дератэ считает, что это не только различные фрагменты, но что они и написаны в разное время.

Р. Дератэ сближает второй из этих набросков с восемью фрагментами серии, посвященной «счастью народа», что подтверждает нашу классификацию. Тут повторяются такие выражения, как «нация счастливая и процветающая», «народ счастливый и процветающий». Действительно, поражает сходство начал этих двух отрывков, но самое существенное в том, что и тут и там рассматривается один и тот же вопрос — «о счастье народа». Второй из отрывков по сравнению с восьмым фрагментом из цикла «О счастье народа» представляет собой более тщательную обработку этого сюжета. Р. Дератэ отмечает, что лишь чисто издательские соображения воспрепятствовали опубликованию их один за другим.

<sup>2</sup> Ср. «Эмил», кн. III, где говорится: «Чем люди больше знают, тем больше они ошибаются, поэтому единственное средство избежать заблуждений — это быть в поведении».

<sup>3</sup> Несмотря на уравниательные черты своего социального идеала, Руссо позже скептически оценивал законы против роскоши, видя в них лишь паллиатив, отрицая возможность с их помощью искоренить роскошь до конца (*qu'on vient à bout d'extirper le luxe*). См. «Соображения об образе Правления в Польше», гл. I.

<sup>4</sup> *...древние евреи получили их от своего Законодателя...*— Речь идет о Моисее.  
<sup>5</sup> *...греки предоставляли у себя заниматься ею чужеземцам.*— В Греции торговлей занимались многие чужеземные купцы, входившие в группу метеков.

<sup>6</sup> В «Соображениях об образе Правления в Польше» говорится, что одно из средств создать нацию свободную, мирную и мудрую — это «сделать деньги презируемыми и, если возможно, ненужными».

<sup>7</sup> Ср. в «Эмиле» — «Я предпочитаю быть человеком парадоксов, чем человеком предассудков».

<sup>8</sup> *...двое людей...*— Речь идет о ком-то из защитников идей меркантилизма в экономической теории XVIII в.

<sup>9</sup> *...состоит из работников и торговцев (d'ouvriers et de marchands)...*— Поскольку в окружавшей его действительности Руссо мог с большей отчетливостью увидеть все отрицательные черты буржуазных отношений в сфере промышленности и торговли,

а в деревне они были более скрыты, замаскированы видимостью «независимости» индивидуального производителя, то для руссоизма оказалась характерной именно идеализация сельской жизни. Идеалом Руссо был «народ земледелец», состоящий из «hommes rustiques», формы хозяйственной жизни которого он описал несколько позже в своих советах жителям Корсики, а затем — полякам.

<sup>10</sup> Абзац этот заканчивался следующими словами, впоследствии вычеркнутыми: «Наиболее существенная выгода, извлекаемая нацией из своей промышленности (de son industrie), — это привлечение денег из-за границы».

О двух видах потребностей (правда, несколько иначе названных) см. окончание восьмого фрагмента цикла «О счастье народа», что подтверждает близость данных двух набросков.

<sup>11</sup> *Поскольку золото и серебро — это лишь знаки...* — В своих взглядах на природу и роль денег Руссо здесь как бы примыкает к номиналистской теории денег, отрицая тот факт, что драгоценные металлы являются своего рода товаром, обладающим собственной стоимостью. Ср. также «Проект конституции для Корсики», стр. 276.

<sup>12</sup> *...даже от суверена не зависит...* — Это утверждение говорит о том, что Руссо не разделял крайностей сторонников номиналистской теории денег, утверждавших, что от государственной власти всецело зависит придать любому предмету любую цену, в том числе и монете.

<sup>13</sup> *...в идеальных ливрах и флоринах...* — Вследствие того что в ту эпоху в обращении находились монеты с весьма различным фактическим содержанием драгоценного металла в качестве так называемой счетной или идеальной монеты, с которой их соотносили, выбирались наиболее полноценные в данном отношении единицы.

<sup>14</sup> *...цена золотой и серебряной марки...* — Марка — старинная мера веса благородных металлов, равна 8 унциям, т. е. примерно 225 гр.

<sup>15</sup> *...средний достаток, обычный у данного народа...* — В оригинале «des richesses exclusives de quelques particuliers et celles qui sont communes à toute une nation». При переводе понятия «commun» часто допускают ошибку, когда принимают только одно, наиболее распространенное его значение — «общий», и упускают из виду иное значение: «средний», «наиболее распространенный».

<sup>16</sup> *...чтобы состояние его увеличивалось или уменьшалось...* — В «Соображениях об образе Правления в Польше...» читаем: «Богатство, выражаемое в деньгах, лишь относительно: в зависимости от отношений, которые могут изменяться в силу тысячи причин, можно оказаться то богатым, то бедным, обладая одною и тою же суммою, но не тем или иным имуществом в натуре... Среди народов тот, у которого больше денег, имеет преимущество. Но не это решает судьбу частных лиц, и не на этом зиждется процветание нации» (гл. XI, Об экономической системе).

<sup>17</sup> Несмотря на свой эгалитаризм, Руссо всегда утверждал, что под равенством не следует понимать, что размеры богатств у всех граждан должны быть абсолютно одинаковы.

<sup>18</sup> *Ибо один из пороков обществ...* — В первой редакции было сильнее: «что лучше всего показывает безумие (l'extravagance) существующих обществ».

<sup>19</sup> *...нежели второй миллион...* — Эти строки мы встречаем в статье «О политической экономии» (см. стр. 136). Но особенно важная мысль о роли избытка, позволяющего богачу отнять у бедняка необходимое, там отсутствовала.

<sup>20</sup> *...окруженные почетом граждане беспрепятственно сосут кровь из ремесленника и землепашца (citoyens honorés s'abreuvent paisiblement du sang de l'artisan et du laboureur)*. — Этот образ встречается также в наброске «О состоянии войны»: «Я вижу... голодную толпу, изуренную голодом и трудом, чьи кровь и слезы спокойно пьет богатч» (см. J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III, 1964, p. 699).

<sup>21</sup> Наиболее резко Руссо выдвигает требование обязательности труда в «Эмиле» (кн. III).

## [О чести и добродетели]

<sup>1</sup> *Что, приводя триумфаторов к Капитолию, возвращало их к их плугу?* — Имеется в виду Цинциннат, вождь римских патрициев, консул 460 г. до н. э., получивший во время войны с племенем эквов полномочия диктатора и вернувшийся затем к плугу; образ его стал нарицательным. Капитолий — кремль в древнем Риме, его главное святилище, выстроен на холме.

<sup>2</sup> *...кто поклоняется только Маммоне.* — Маммона («сокровище») — в Библии (Новый завет) — олицетворение богатства.

<sup>3</sup> *...страсть отличиться от других людей.* — В психологическом плане трактовка этой страсти и ее роли в обществе у Руссо связана с большим и отрицательным местом, которое он отводит «самолюбию», рождающемуся именно из сопоставления себя с другими людьми и стремления обогнать, опередить их, что характерно для быта и нравов, складывавшихся под влиянием формировавшихся буржуазных отношений.

<sup>4</sup> *...роскоши, проявляющейся в пышности.* — Кондильяк, в своих «Cours d'études», опубликованных в 1775 г., различает три вида роскоши, проявляющихся в пышности (de magnificence), комфорте (de commodités) и в легкомысленных развлечениях (de frivolités). — Oeuvres complètes, t. X. Paris, 1798, p. 459). Второй из них Руссо и именует, вероятно, роскошью изнеженности (de mollesse).

В первом фрагменте из цикла «Влияние климата на цивилизацию» Руссо говорит, что этот вид потребностей связан с чувственностью. В отрывке «О вкусе» он пишет, что «нас губит не столько роскошь изнеженности, сколько роскошь суественности и тщеславия» (de vanité). Именно «роскошь тщеславия», которая «никому не приносит добра, является подлинным бичом общества. Это она несет нищету и смерть в деревни; это она опустошает землю и губит человеческий род». И объясняется это тем, что «глупый богатч (fastueux imbecile) находит свое удовольствие лишь в мнении о нем другого человека».

<sup>5</sup> После этого в рукописи находится абзац, содержащий вопрос: «Итак, о чем же именно идет речь в данном пункте в отношении законов?» и дававший ответ: «О том, чтобы внушать желание и облегчить средства вызывать при помощи добродетели то преклонение, которое ныне можно добыть только при помощи богатства».

<sup>6</sup> *...говорил Александр.* — Имеется в виду Александр Македонский.

<sup>7</sup> *Во время недавней осады Дилля г. де Буфлер.* — Буфлер Луи Франсуа, герцог, де (1644—1711), французский полководец. Речь идет о трехмесячной осаде Дилля в 1708 г. имперскими войсками под начальством принца Евгения Савойского, в результате которой город был ими взят. Буфлер отличился в обороне города и был сделан герцогом и пэром.

<sup>8</sup> *...располагающего сотней тысяч экю.* — Возможно, это намек на эпизод, который Руссо приводит в десятом примечании к «Рассуждению о происхождении неравенства».

<sup>9</sup> Первоначально более сильно: «когда все, кто тебя окружают, подкуплены с тем, чтобы признать его невиновным».

<sup>10</sup> *Если бы Брут оправдал.* — Речь идет о первом по времени консуле Рима Люции Юнии Бруте, который был одним из руководителей движения против тирании Тарквиния и вдохновителей изгнания этого последнего царя; во время заговора с целью его возвращения в Рим в 509 г. до н. э. был казнен ряд изменников, в том числе и два сына Брута, которых он приказал казнить у себя на глазах.

<sup>11</sup> Руссо имеет в виду два близких по содержанию места в сочинении Августина «О граде божием» (кн. III, гл. XVI и кн. V, гл. XVIII), в которых идет речь о названном выше поступке Люция Юния Брута и цитируется «Энеида» Вергилия (кн. VI, 820 и сл.), склонного осуждать эти действия.

<sup>12</sup> Можно полагать, что это намек на законы Ликурга в Спарте.

<sup>13</sup> *Фокион* — афинский полководец (400—317 гг. до н. э.) — ученик Платона. Жизнь его описана Плутархом.



<sup>14</sup> *Анаксагор* — греческий философ ионической школы (род. около 500 г.— 428 г. до н. э.), родоначальник древней атомистики.

<sup>15</sup> *Аристид* — афинский государственный деятель (ок. 530 — 467 гг. до н. э.), полководец при Марафоне, Платее, глава консервативной партии. Ему посвятил одно из своих жизнеописаний Плутарх.

<sup>16</sup> *Сенека, Луций Анней* (4 г. до н. э.— 65 г. н. э.) — римский философ, моралист стоического направления, отчасти включающего и воззрения Эпикура. В XVIII в. наиболее читаемым сочинением Сенеки были его «Послания к Луцилию».

<sup>17</sup> *Марк Антонин* — римский император Марк Аврелий Антонин (161—180 гг. н. э.).

### [Экономика и финансы]

<sup>1</sup> В этом наброске, как и в следующих, отчетливо проявляется отрицательное отношение Руссо к процессу машинизации, говорящее об ограниченности его взглядов.

<sup>2</sup> Речь идет, вероятно, о жителях колоний Англии в Северной Америке.

### [О родине]

<sup>1</sup> Речь идет о книге аббата Дюбо «Критические размышления о поэзии и о живописи», т. II. Париж, 1719, стр. 216. В выписке Руссо ошибочно написал «народы» вместо «два народа» (римляне и голландцы).

<sup>2</sup> О какого рода замысле Руссо идет речь, установить пока не удастся.

<sup>3</sup> Руссо писал 1 марта 1764 г. полковнику Пикте: «Ни стены, ни люди не образуют отечества: это делают законы, нравы, обычаи, Правительства, конституция, обусловленный всем этим образ жизни. Отечество заключено в отношениях Государства к его членам; когда эти отношения изменяются или уничтожаются, отечество исчезает» (С. G., t. X, p. 337—338). В этом определении налицо известное преувеличение, исторически объясняемое тем, что Руссо один из первых философов нового времени связал понятие о патриотизме со своим демократическим, этическим, политическим и социальным идеалом, что объективно подготовляло появление революционного патриотизма конца XVIII в.

<sup>4</sup> Первый вариант: «истинной славы».

<sup>5</sup> Речь идет о чисто этическом определении добродетели, которое Руссо дал также в статье «О политической экономии», видя ее в согласии частной воли с общей.

<sup>6</sup> *Регул, Марк Атилий*, римский полководец плебейского происхождения, был консулом 267 г. и 256 г. до н. э., в 256 г. разбил карфагенский флот при Эгномосе у Сицилии, переправился в Африку, где также одержал ряд побед, но в 255 г. понес там полное поражение и попал в плен к карфагенянам.

### [Параллель между государствами Спарты и Рима]

<sup>1</sup> Предназначение этого наброска, представляющего начало цельной работы, неясно. Время его возникновения относят к 1751—1753 гг. В нем отчетливо выражено то предпочтение древней истории, и в частности именно этих двух государств, истории новой, современной Руссо, которое он проявлял всю жизнь и объяснил в «Новой Элоизе» (кн. I, письмо XII.— Избр. соч., т. II, стр. 38) несравненно большей поучительностью заключающихся в ней примеров, вследствие того что она была богаче великими деяниями и, главное,— великими людьми (см. ниже: [О нравах], фрагмент 15).

<sup>2</sup> ...*обращается к ним за предсказаниями.*— Это цитата из «Опытов» Монтеня (кн. III, гл. II, стр. 37). Об этих взглядах приверженцев Пифагора сообщает Сенека: Письма, 94.

<sup>3</sup> Думается, что эти мысли могли возникнуть у Руссо в известной мере под влиянием «Сравнительных жывеописаний» Плутарха.

<sup>4</sup> *Гераклиды* — в греческой мифологии потомки Геракла, пришедшие вместе с дорическими племенами в Пелопоннес, чтобы вновь завоевать покоренные некогда их родоначальником Аргос, Лакедемон и другие земли.

<sup>5</sup> *Еврисфен* и *Прокл* — потомки Геракла, владевшие Лакедемоном.

<sup>6</sup> *Гелос* — селение в Лаконии на берегу моря, восточнее р. Еврот, в низменности, еще и сейчас носящей это название. Существовало предположение, что само название илов — поработленного спартиатами местного населения — происходило от названия Гелоса; впоследствии это объяснение было признано несостоятельным.

<sup>7</sup> Здесь речь идет о Ликурге, законодателя Спарты, а ниже о Нуме, бывшем в глазах Руссо «подлинным основателем Рима»; такого рода сопоставление двух деятелей подтверждает сказанное выше о влиянии Плутарха на замысел данной работы Руссо.

<sup>8</sup> ...цари Персии — это были Дарий (521—485 гг. до н. э.) и Ксеркс (485—465 гг. до н. э.).

<sup>9</sup> *Эпаминонд* — выдающийся государственный деятель и полководец Фив (418—362 гг. до н. э.), вел ряд упорных войн со Спартой, значительно ее ослабивших.

<sup>10</sup> *Антипатр* — македонский полководец (400—319 гг. до н. э.), при Филиппе и Александре Великом участвовал в их борьбе за покорение Греции.

<sup>11</sup> *Галлы* — многочисленный и воинственный народ кельтского племени, занимавший пространство между Альпами, Пиренеями и морями Средиземным и Северным.

<sup>12</sup> *Пирр* — царь Эпира (318—272 гг. до н. э.), призванный одним из противников Рима, предпринял в 280 г. до н. э. поход против него, но встретил упорное сопротивление; выигранное им сражение 279 г. до н. э. у Аскулума стоило огромных жертв (отсюда — «Пиррова победа»), а в 275 г. до н. э. войска его были окончательно разбиты римлянами и он покинул Италию.

### [О дворянстве]

<sup>1</sup> Первоначально: «для нации».

<sup>2</sup> Эта малоизвестная, полная презрения различия характеристика дворянства представляет собой противоположность взглядам выходца из кругов дворянства Монтескье, который отводил дворянству почетное место. См. «Дух законов», кн. III, гл. IV; кн. IV, гл. II.

### [О нравах]

<sup>1</sup> В «Эмиле» (кн. V) содержится иной, почти противоположный тезис, гласящий, что Высшее существо, дав человеку умеренные страсти, «добавило к ним разум, чтобы ими руководить». А в письме к Мирабо-старшему от 26 июля 1767 г. (С. Г., т. XVII, р. 156) Руссо вопрошал: «что нам дает то, что разум нас просвещает, если руководит нами страсть». По своему содержанию данный набросок в целом примыкает к письмам Руссо о морали, адресованным гр. С. Удето.

<sup>2</sup> *Гелмогabal* — римский император (217—222 гг. н. э.), настоящее имя его Варий Авитус Бассиан, близкий родственник Каракаллы, обладавший значительным сходством с ним. После смерти последнего был выдан за него и провозглашен армией императором. Выделялся своей распущенностью.

<sup>3</sup> *Антонин* — римский император Марк Аврелий.

<sup>4</sup> Это определение весьма близко к кругу мыслей первого «Рассуждения» и к полемике по поводу него, в частности к г. Борду, что позволяет отнести данный набросок к началу 1750-х годов.

<sup>5</sup> См. J. A. Mandelslo. Relation du voyage d'Adame Olearius en Moscovie, Tartarie et Perse, t. I. Paris, 1659, p. 424.

## СООБРАЖЕНИЯ ОБ ОБРАЗЕ ПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

Написано зимой 1771/72 г.; как и проект конституции для Корсики, свидетельствует о глубоком сочувствии, с которым Руссо относился к борьбе народов за свою национальную независимость, за право самим определять свою судьбу. Но как и названный выше проект, так и данный родился в результате контактов Руссо с представителями не пародных масс, а прогрессивных дворянских верхов. В данном случае посредником между ними и Руссо был живший в Париже гр. М. Виельгорский, обратившийся к нему от имени польских кругов, намечавших провести ряд реформ.

Рукопись первой редакции хранится в Библиотеке г. Невшателя; в окончательной редакции была передана М. Виельгорскому и хранится в Кракове, в библиотеке Чарторыйских.

Издано впервые посмертно в 1782 г. в Собрании сочинений, осуществленном Дюпейру и Мульту, со множеством неточностей и опечаток.

Первое научное критическое издание — в публикации Вогана (J.-J. Rousseau. *Political writings*, v. II. Cambridge, 1915), современное издание по краковской рукописи — в J.-J. Rousseau. *Oeuvres complètes*, t. III. Paris, 1964, p. 951—1041, 1733—1804.

В данное издание включены лишь главы этих «Соображений», представляющие наибольший принципиально-теоретический интерес. Это глава II — «Дух древних установлений», говорящая о том, что Руссо отдавал себе отчет (по крайней мере в годы написания этого произведения) в глубоком различии между жизнью народов в древности и в его время, и глава IV — «Воспитание», показывающая как идеи по этому вопросу, развитые им в статье «О политической экономии» (1755) и в «Эмиле» (1762), Руссо пытался применить в своем конкретном проекте преобразований политического и общественного устройства.

### Глава II

#### *Дух древних установлений*

<sup>1</sup> *Эсхил, Софокл, Эврипид* — величайшие драматурги древней Греции.

### Глава IV

#### *Воспитание*

<sup>1</sup> *Это важный раздел.* — В своей высокой оценке роли воспитания в идеальном («республиканском») государстве Руссо верен традиции Просвещения (см. Монтескье. *О духе законов*. Кн. IV, гл. V), которая определяла особенно большое значение, придававшееся этому вопросу кругами польского дворянства, занятого в конце XVIII в. проектами реформ. Члены созданной в Польше в начале 70-х годов специальной «Комиссии Национального воспитания» хорошо знали как «Эмиля» Руссо, так и данное его «Рассуждение». См. об этом A. J o b e r t. *La Commission d'Education Nationale en Pologne (1773—1794)*. Dijon, 1941.

<sup>2</sup> *...бедных и богатых дворян воспитывают по-разному и порознь.* — Руссо был информирован М. Виельгорским о возмущении рядовой шляхты тем, что в «Дворянский коллеж», учрежденный П. Конарским, допускались только сыновья магнатов.

<sup>3</sup> *Такого рода стипендии учреждались в Польше богатыми дворянскими семьями.*

<sup>4</sup> *...внешним подобием Государства.* — В названном выше коллеже П. Конарского была осуществлена аналогичная идея.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН\*

- Аввакум 557, 558  
Август, Гай Юлий Октавиан 215, 391, 636, 651  
Августин Аврелий 121, 444, 634, 682  
Агамемнон 106, 630, 632  
Агесилай 614  
Агис I, царь Спарты 452  
Агис III 242, 343, 654  
Агис IV 242, 654  
Агрикола Гней Юлий 214, 651  
Адам 154, 642  
Адриан, император 678  
Аламбер, д', см. д'Аламбер  
Аландо (Alando) Самбукуччио, д' 658  
Аларих 613  
Алатри (Alatri) Паоло 490  
Александр, великий князь 577  
Александр Македонский 12, 123, 133, 442, 607, 608, 612, 635, 637, 682, 684  
Александр Ферский 65, 625  
Алексеев А. С. 491, 502, 506, 660  
Алексеев М. П. 544  
Алексеев-Попов В. С. 3, 533, 542, 562  
Али Ибн-Абу-Талиб 250, 655  
Алкивиад 614  
Альтузий (Althusius) Иоганн 360, 667  
Амеды VIII герцог Савойский 495, 673  
Амио (Ашуот) Жак 611  
Аммон (Ammon) Альфред 536  
Анаксагор 445, 683  
Андреева И. С. 638  
Андромаха 65, 625  
Антиох III, царь Сирии 655  
Антипатр 453, 684  
Антисфен 630  
Антоний, Марк Триумвир 391  
Антонин, см. Марк Аврелий Антонин  
Аржансон (d'Argenson) Рене Луи, д', маркиз 153, 170, 254, 641, 646, 649, 656  
Аристид 445, 683  
Аристипп из Кирены 410, 678  
Аристотель 31, 41, 47, 112, 153, 203, 216, 612, 617—620, 623, 624, 629, 632, 633, 642, 648—651  
Арсесилай 17, 610  
Артаксеркс II Мнемон, царь Персии 614  
Аруэ, см. Вольтер  
Архимед 203, 650  
Асклепий 621  
Асмус В. Ф. 506  
Астиаг, царь Мидии 25, 614  
Афанасьев Г. Е. 636  
Ахмет III, турецкий султан 28, 615  
Бабеф (Babeuf) Франсуа Ноэль (назв. Гай Гракх) 528, 529, 552  
Базедов И. Б. 585  
Байрон, Джордж Ноэль Гордон 489, 556  
Балагуров Я. 560  
Бальбоа (Balboa) Васко Нуньес, де 166, 322, 645  
Барбейрак (Barbeugac) Жан 89, 169, 619, 621, 624, 629, 642, 645, 662, 666  
Барден (Bardin) Жан 664

\* Страницы «Приложений» набраны курсивом.

- Барден (Bardin) Исаак 387, 664, 672, 676  
 Барер (Barère) Бертрац де Вьезак 488  
 Бачко (Bazsko) Бронислав 540  
 Бейль (Bayle) Пьер 250, 650, 655  
 Беккариа (Beccaria) Чезаре 646  
 Белинский В. Г. 603  
 Бентам (Bentham) Иеремия 588  
 Беркли (Berkeley) Джордж 27, 614  
 Бернадинер Б. В. 529  
 Берти (Berti) Джузеппе 551  
 Бесс (Besse) Ги 525  
 Билен (Bilain) Антуан 629  
 Бине (Binet) Абрагам Гедеон 671, 672, 676  
 Бине (Binet) Захария 676  
 Биньон (Bignon) Луи Пьер 588  
 Блок А. А. 604  
 Блок (Bloch) Марк 516  
 Блондель (Blondel) Луи 670  
 Бобович А. С. 605  
 Бовэ (Bovet) Феликс 677  
 Богданович И. Ф. 638  
 Богданович П. И. 572—574  
 Бодэн (Bodin) Жан 130, 134, 141, 162, 636—638, 641, 644, 645  
 Бозе (Beuzée) Никола 624  
 Бок Т. Е. фон 589  
 Болавон (Beaulavon) Жорж 640  
 Бомон (Beaumont) Кристоф, де 618, 627, 655, 661, 664, 678, 680  
 Бонивар (Bonivard) Франсуа 669, 672  
 Бонне (Bonnet) Шарль 582  
 Борд (Bordes) Шарль 495, 499, 509, 631, 685  
 Борджиа (Borgia) Цезарь 650  
 Босвел (Boswell) Джеймс 656, 658  
 Боска (Bosscha) Ж. 640, 666, 667  
 Бособр (Beausobre) Исак 654  
 Боссюэ (Bossuet) Жак Бенин 629, 641, 650, 662, 666  
 Бофор (Beaufort) Франсуа, де, герцог 228  
 Боэси (Boëtio) Этьенн, де ла 628  
 Брасид 87, 628  
 Брут Люций Юний 444, 682  
 Брут Марк Юний 343  
 Буайе (Boyer) Поль 601  
 Буье (Bouvie) Бернар 601  
 Буье (Bouvier) Р. 502  
 Буде (Boudet) Бернар, граф де Монреаль 675  
 Буковская Н. А. 509  
 Буланже (Boulanger) Никола Антуан 528  
 Булис 628  
 Бургундские герцоги 22, 492, 606, 613  
 Бурзейс (Bourzeis) Амабль, аббат, де 629  
 Бурламаки (Burlamaqui) Жан-Жак 41, 619, 622, 645, 653  
 Бургомье (Bourthoumieux) Шарль 536  
 Буттафуоко (Buttafuoco) Матье 656—659  
 Буфлер (Bouffler) Луи Франсуа 442, 682  
 Бушар (Bouchard) Марсель 504, 505  
 Буше (Boucher) Франсуа 614  
 Бэкон (Bacon) Франсис 29, 615  
 Бюиссон (Buisson) Луи 669  
 Бюффон (Buffon) Жорж-Луи Леклерк 99, 502, 620, 626, 631  
 Ваал 248, 655  
 Вагнер (Wagner) В. 536  
 Вайян де (Vaillant) 580  
 Ванденберже (Wandenbergger) Ж. 677  
 Ван-Лoo (Van-Loo) Шарль Андре (назв. Карл) 23, 613  
 Варан (Warens) Луиза Элеонора 495, 498, 502, 625  
 Варле (Varlet) Жан 489  
 Варрон Теренций 235, 653  
 Василий, архиепископ Тверской 557  
 Васко (Vasco) Далмаццо Франческо 656  
 Верас (Vairasse) Дени 358, 627, 667  
 Вергилий 151, 627, 682  
 Верн (Vernes) Жакоб 669, 670, 673  
 Верне (Vernet) Жакоб 632  
 Вернер (Werner) Жорж 669, 674  
 Вердман И. Е. 605  
 Веспасиан Тит Флавий, римский император 653  
 Вильгорский (Wielhorski) Михаил Иосиф, гр. 685  
 Виктор-Амедей, король сардинский 495  
 Виллар (Villars) Клод Луи Гектор герцог, де 108, 632  
 Вильгельм Оранский, штатгаудер Голландии, затем король Англии под именем Вильгельма III 170, 355, 646, 666  
 Вириде (Viridet) Марк 666, 676  
 Вителлий Авл, римский император 230, 653  
 Витковский (Witkowski) Т. 565

- Вовенарг (Vauvenargues), Люк де Клазье 508
- Воган (Vaughan) Чарльз Эдвин 537, 630, 632, 633, 640, 643, 657, 660, 666, 674, 677, 679, 685
- Водене (Vaudenet) Робер 672
- Волгин В. П. 5, 528, 529, 561
- Вольней (Volney) Константен Франсуа 581
- Вольтер Франсуа-Мари Аруэ 23, 502, 507, 508, 510, 513, 522, 544, 573, 574, 576, 579, 582, 588, 607, 612, 613, 615, 616, 622—626, 630, 631, 647, 648, 651, 664, 675, 676
- Габсбурги, императорский дом 492, 612, 639, 652
- Галифе (Gallifé) Ж. Б. 669
- Галлер (Haller) Альберт 580
- Гальба Сервий Сульпиций, римский император 130, 636
- Ганнибал 24, 144, 453, 613
- Ганьебен (Gagnebin) Бернар 6, 526
- Гардуэн де Префикс (Hardouin de Prefix) Жан 656
- Гароди (Garaudy) Роже 540
- Гегель Георг Фридрих Вильгельм 540, 550, 598
- Гектор 625
- Гелиогабал Варий Авитус Бассиан 456, 684
- Гельвеций (Helvetius) Клод Адриан 502, 562, 565, 566, 577, 600
- Генрих IV, король Франции 18, 147—150, 255, 610, 638, 639, 656
- Генрих VIII, король Англии 655
- Генрих, по прозвищу Испанец 372
- Георг I, король Англии 169, 645
- Геракл (Геркулес) 205, 310, 454, 662, 684
- Герен (Heeren) Арнольд Герман Людвиг 588
- Геродот 98, 138, 628, 631
- Герцен А. И. 556, 586
- Гесиод 621
- Гете Иоганн Вольфганг 581
- Гидарнес 628
- Гиерон Старший, царь сиракузский 216, 651
- Гийе (Guillet) Мишель, де Тонон 372
- Гийом, см. Вильгельм Оранский
- Гиппий 635
- Гипподам 635
- Гиппократ 52, 621
- Главк 40, 618
- Глюк Христофор Виллибальд 581
- Гоббс Томас 27, 28, 48, 64, 153, 250, 310, 347, 359, 524, 565, 605, 615, 620, 621, 624, 626, 628, 629, 633, 641—643, 645, 646, 652, 655, 661, 663
- Гольбах (Holbach) Поль 502, 577
- Гольм, судья 570
- Гомер 248, 463, 496, 609, 621, 625, 630, 642, 643
- Горани (Gorani) Джузеппе 656
- Гораций Флакк Квинт 10, 607, 620.
- Гордон Л. С. 500, 520, 528, 534
- Горький А. М. 602
- Готье (Gautier) Жан-Антуан 669, 673
- Готье Жозеф, каноник из Нанси 509
- Готье, капитан 672, 673
- Гофманн (Hoffmann) С. 548
- Грабарь-Пассек М. Е. 606
- Гракх Гай 222, 652
- Гракх Тиберий 222, 652
- Графф (Graff) Антон 96
- Грессе (Cresset) Жан Батист Луи 499, 500
- Григорий I Великий, папа 28, 615
- Гримм (Grimm) Фридрих Мельхиор 491, 506
- Грослей (Grosley) Пьер-Жан 610
- Гроций (де Гроот) Гуго 37, 80, 153, 155, 156, 158, 159, 169, 227, 250, 310, 325, 605, 617, 620, 624, 627—629, 641—643, 645, 653, 661, 662, 666
- Гроций Франс, брат предыдущего 250
- Губер (Hubert) Рене 501
- Гудар (Goudar) Анж 534
- Гуден (Gudin) П. 490
- Гудон Жан Антуан 248
- Гулыга А. В. 638
- Д'Аламбер (d'Alembert) Жан Батист Лерон 162, 246, 370, 492, 500, 503, 527, 606, 607, 628, 645, 654, 671
- Далин В. М. 529, 552
- Дарий I Гистасп 138, 612, 631, 638, 652, 655, 684
- Дедек-Эри (Dedeck-Héry) Э. 657
- Декарт Рене 20, 29, 185, 612, 615, 649
- Делакан (De La Chana) 492
- Де Люк (De Luc) Жан Франсуа 616, 665, 674
- Де Люк (De Luc) Жан Андре, сын предыдущего 665

- Демад 100, 631  
 Демокрит 611, 615  
 Демосфен 15, 608, 610, 631  
 Дератэ (Derathé) Робер 490, 537, 549, 629, 640, 661, 678, 680  
 Дестю де Траси (Destutt de Tracy) Антуан Луи Клод 588  
 Дефо Даниэль 642  
 Дефурно (Defourneaux) Марселен 667  
 Джордж Генри 603  
 Днагор 28, 615  
 Андро Дени 491, 495, 500—503, 506, 514, 527, 528, 529, 545, 546, 582, 600, 605; 606, 608, 611, 612, 614, 615, 619; 621—630, 633, 634, 646, 650, 660—662, 679  
 Диоген 96, 410, 630, 678  
 Диодор Сицилийский 268, 269, 659  
 Дионсий 206  
 Дмитриев И. И. 583  
 Добролюбов Н. А. 577, 598, 599  
 Достоевский Ф. М. 556, 587, 598, 603, 604  
 Дотри (Dautry) Жан 531  
 Дрейфус-Брисак (Dreyfus-Brisac) Эдмонд 640, 660, 661, 677  
 Дэр (Daire) Эжен 508  
 Дюбо (Du Bos) Жан Батист, аббат 447, 683  
 Дювиллар (Duvillard) Эммануэль 632, 664, 676  
 Дю Пан (Du Pan) Жан Луи 616, 669, 671  
 Дюпейру (Du Peugou) Пьер-Александр 632, 638, 685  
 Дюпен (Dupin) Луиза-Мари 634  
 Дюсо (Dusaulx) Жан-Жозеф 506  
 Дю Тертр (Du Tertre) Жан Батист, 623, 627  
 Дюто (Dutot) 508  
 Дюфур (Dufour) Теофил 508, 665, 667  
 Дю Хальд (Du Hald) Жан-Батист 634  
 Дюшен (Duchesne) Никола Бонавентюр 659, 667  
 Д'Эпернон (D'Épernon) Жан-Луи, герцог 465  
 Евгений, принц Савойский 682  
 Еврисфен 451, 684  
 Екатерина II 564, 571, 577  
 Елпатьевский С. Я. 602  
 Жак, см. Яков II, Стюарт  
 Жентий (Gentil) Валентин 364, 669  
 Жентили (Gentilis) Альберик 650  
 Жилиар (Giliard) Шарль 673  
 Жирн (Giry) Луи 610  
 Жобер (Jobert) Амбруаз 685  
 Жокур (Jaucourt) Луи, де, шевалье 528, 624, 654  
 Жофруа (Geoffroi) 589  
 Жуковский В. А. 588  
 Жюрье (Jurieu) Пьер 666  
 Засулич В. И. 531  
 Зевс 248, 610, 642, 648, 655  
 Зенон 17, 498, 610  
 Иаков I, см. Яков I  
 Иефай 248, 655  
 Ивернуа (Ivernois) Франсуа 674  
 Измаил 182, 337, 647  
 Иисус Христос 249, 427, 558, 604, 634  
 Инар (Inpard) Максимин 490  
 Иосиф («Прекрасный») 132, 283, 637  
 Исак (Isac) Думитру 510  
 Исократ 108, 632  
 Кайсаров А. С. 587  
 Калпгула Гай Цезарь 153, 179, 247, 332, 456, 641, 642  
 Кальвин Жан 180, 364, 492, 618, 647, 650, 669  
 Камбиз, царь Персии 14, 607, 631  
 Каптемир Антиох 561  
 Каракалла Марк Аврелий Антопин, римский император 684  
 Карамзин Н. М. 556, 580—587, 604  
 Карл, см. Ван-Лоо Шарль  
 Карл II Стюарт, король Англии 355  
 Карл V Габсбург, император 22, 147, 613, 639  
 Карл VIII Валуа, король Франции 23, 613  
 Карл XII, король Швеции 648  
 Карл Смелый, герцог Бургундский 613  
 Карл-Эммануил I, герцог Савойский 147, 639  
 Каррьер (Carrrières) Луи, де 248  
 Катилина Луций Сергий, римский император 244, 245, 252, 254, 654, 656  
 Катон Марк Порций Цепзор, Старший 17, 445, 610, 644  
 Катон Марк Порций Лициний 158, 644  
 Катон Марк Порций Младший, или Утичский 96, 122, 130, 158, 254, 298, 584, 630, 631, 634—636  
 Катулл Гай Валерий 15, 608  
 Кейру (Causton) Ж. 633

- Кенэ (Quesnay) Франсуа 519, 636  
Кеплер Иоганн 611  
Кией Фессалийский 18, 610  
Кир, царь Персии 21, 25, 612, 614  
Кир, персидский царевич 614  
Кирша Данилов 560  
Клавдий — Тиберий Клавдий Друз, римский император 609  
Клейншмидт (Kleinschmidt) Ж. 676  
Клеомен 242, 654  
Коган-Бернштейн Ф. А. 605  
Козельский Я. П. 562  
Кольбе (Kolbe или Kolben) Петер 621, 631  
Кольме (Colmet) Д. 515  
Конарский (Konarsky) П. 685  
Кондильяк Этьен Бонно, де 58, 499, 503, 607, 619, 620, 622—624, 682  
Кондорсе Жан-Антуан 502  
Конрад Н. И. 491  
Констан Бенжамен 588, 589  
Константин I Флавий Валерий Аврелий, римский император 11, 607  
Константин, великий князь 577  
Корба (Corbaх) Андре 673  
Кореаль (Coréal) Франциск (Франсуа) 49, 53, 621, 622  
Корнелий Непот 216, 651  
Кравченко В. А. 540  
Красс Марк Лициний 634  
Краусс (Krauss) Вернер 538, 627  
Кривцов Н. И. 596  
Критий 635  
Кромвель Оливер 228, 252  
Кронос 247, 642  
Крылов С. Б. 605  
Крюков Н. А. 588  
Ксенократ 46, 620  
Ксенофонт 25, 216, 608, 609, 614, 632, 651  
Ксеркс, царь Персии 684  
Кублай, хан 608  
Куприн А. И. 604  
Куртуа (Courtois) Луи 673  
Кутузов А. М. 580  
Кэмберленд (Cumberland) Ричард 48, 621  
Кюхельбекер В. К. 590
- Лабрюйер (La Bruyère) Жан 495, 496, 498, 625, 677  
Лаканаль (Lakanal) Жозеф 489  
Лактанций 611  
Ламетри (La Mettrie) Жюльен 614, 622  
Лами (Lamy) Бернар 620
- Лантен де Дамерей (Lantin de Damerey) 505  
Ларошфуко (La Rochefoucauld) Луи-Александр 495, 625  
Лас (Las) 410, 678  
Ла Тур (La Tour) Морис Кантен, де 48  
Лафонтен Жан 628  
Лэрт (Laët) 53, 622  
Левассер (Levasseur) Тереза 502, 616  
Левкипп 28, 615  
Лейбниц Готфрид Вильгельм 410, 611, 678  
Леметр (Le Maître) Никола 379, 672—675  
Ленге (Linguet) Симон Никола Анри 539  
Ленин В. И. 514, 515, 519, 529  
Леньепс (Lenieps) Туссен Пьер 665, 673, 674, 677  
Леон (Léon) Пьер, 514  
Леонид II, спартанский царь 654  
Лесеркль (Lecerclе) Ж.-Л. 616  
Лефевр (Lafevvre) Жорж 515, 532  
Ле Фор (Le Fort) Луи 391, 674  
Лещинский (Leszczynski) Станислав 201, 392, 508, 509, 649, 675  
Лещинский Богуслав, отец предыдущего 201, 649  
Лещинский Рафаил, дед Станислава 201, 649  
Лже-Смердис, самозванец 98, 631  
Ликург 25, 86, 92, 171, 179, 180, 183, 333, 338, 343, 431, 452, 461, 478, 628, 654, 682, 684  
Локк (Lock) Джон 78, 87, 89, 360, 494, 520—522, 605, 620, 624, 626, 629, 633, 637, 641, 645, 646, 652, 656, 667  
Ломоносов М. В. 584  
Лопухин И. В. 579  
Лотман Ю. М. 542, 544, 582  
Лотте С. А. 535  
Лоу (Law) Джон 675  
Лужков А. М. 632  
Лукач Марк Анней 95, 630  
Лукин Н. М. 532  
Луппол М. К. 605  
Луций Эмилий Павел 681  
Луцилий 610, 619, 683  
Люблинская А. Д. 514  
Людовик IX 157, 643  
Людовик XII 18, 610  
Людовик XIII 169  
Людовик XIV 88, 505, 614, 629  
Людовик XV 505, 614  
Люзак (Luzac) Э. 643  
Лютн (Lüthy) Герберт 675



- Мабли (Mably) Габриэль Бонно 498, 515, 565, 568, 571, 591, 592, 599, 600, 610, 623, 649
- Мабли, брат предыдущего 498
- Магомет 249, 615, 647, 655
- Магомет (Мехмет) II, турецкий султан 607
- Макаровский А. А. 605
- Макдональд (Mac Donald) Джоан 488
- Макиавелли, Николо ди Бернардо, деи 115, 171, 181, 204, 215, 634, 646, 648, 650, 651, 654
- Маккавен, правитель Иудеи 343
- Макнейл (Mac Neil) Гордон 488, 490
- Макогоненко Г. П. 573
- Малле (Mallet) Э. 674
- Малле дю Пан (Mallet du Pan) Жак 488
- Мальбранш (Malebranche) Никола 611, 615
- Мальзерб (Malesherbes) Кретьен Гийом, де Ламуаньон 504
- Маммона 441, 682
- Мандевиль (Mandeville) Бернар, де 65, 66, 625
- Мандельсю (Mandelslo) Жан-Альбер 460 685
- Манфред А. Э. 529
- Марат Жан-Поль 488
- Марбах (Marbach) Б. 536
- Мариво (Marivaux) Пьер-Шарль 502
- Марий Гай 133, 237, 245, 391, 637
- Мария Стюарт, королева Шотландии 639
- Марк Аврелий Антонин, римский император 445, 456, 678, 683, 684
- Маркграф 622
- Маркиш С. Л. 605
- Марков (Markov) Вальтер 534
- Маркс Карл 5, 469, 470, 473, 505, 507, 515—518, 520, 529—531, 534, 536, 539—541, 543, 607, 638
- Мармонтель (Marmontel) Жан Франсуа 502
- Марсэ де Мезьер (Marcet de Mezières) Исаак Ами 617, 665
- Мартьянов И. 601
- Марциал Марк Валерий 15, 608
- Махаон 52, 621
- Медведев В. 631
- Медичи, дом 24, 204, 613
- Мелон (Melon) Жан Франсуа 508, 612, 637
- Мерсье (Mercier) Луи Себастьян 488, 581, 676
- Местр (Maître) Жозеф Мари, де, граф, 624
- Микели (Micheli) Леопольд 672
- Микели Дюкре (Micheli du Crest) Жак Бартелеми 674—676
- Мильтиад 216, 652
- Минос 182, 337, 648
- Мирабо (Mirabeau) Виктор Рикетти, старший 684
- Модзалевский Б. Л. 590
- Мози (Mauzi) Робер 508, 538
- Моисей 46, 248, 343, 461, 462, 620, 647, 680
- Молох 247, 654
- Мольер Жан Батист Поклен 613
- Монтегю (Montaigu) Пьер-Франсуа, де, граф 503
- Монтень Мишель 14, 16, 25, 100, 498, 503, 541, 544, 586, 605, 608—614, 619, 620, 622, 625 631, 636, 683
- Монтескье Шарль-Луи де Секонда 48, 135, 137, 179, 209, 232, 333, 350, 352, 360, 379, 426, 470, 494, 495, 502, 530, 562, 564, 570, 578, 588, 606, 617, 621, 622, 628, 629, 631, 634, 635, 637, 638, 640, 642—650, 652—655, 667, 679, 684, 685
- Мопертюи (Mauvertuis) Пьер-Луи Моро, де 99, 620, 623, 631
- Мор Джон 494
- Мор Томас 358, 627, 667
- Моразе (Morazé) Шарль 520
- Морелли (Morelly) Жан 364, 669
- Морелли (Morelly) утопист-коммунист 516, 600
- Морен (Morin) Л. 535
- Мориц К. Ф. 581
- Морне (Mornet) Даниэль 561
- Моро (Moreau) младший, Жан Мишель 513, 559
- Мульту (Moultou) Поль 632, 638, 640, 664, 667, 671, 677, 685
- Муравьев А. М. 588
- Муравьев Н. М. 588
- Мюссар (Mussard) Пьер 673, 676
- Наполеон I 598, 625, 648
- Нарежный, В. Т. 574
- Нейгоф (Neuhof) Теодор, де, барон 657
- Некрасов Н. А. 575
- Неманов Л. 640
- Непомнящая Н. И. 470
- Нерон, римский император, 456, 605, 610

- Нестерова С. 640  
 Николай (Nikolau) Генрих Людвиг, фон 586  
 Никомед 216  
 Новиков Н. И. 561, 576, 577, 580, 606  
 Ной 154, 642  
 Нума Помпилий 171, 234, 461, 462, 646, 684  
 Нумитор, царь Альбалонги 636  
 Ньютон Исаак 29, 611, 612, 615  
  
 Овидий Публий Назон 9, 15, 82, 591, 606, 608  
 Ойзерман Т. Н. 540  
 Оксман Ю. Г. 590  
 Октавиан, см. Август  
 Олеарий Адам 685  
 Омар, халиф 28, 615  
 О'Мара (O'Mara) Патрик 668, 675  
 Орлов М. Ф. 590  
 Отанес 98  
 Оттон Марк Сальвий римский император 230, 653  
  
 Паоли (Paoli) Паскуале 648, 656—658, 660  
 Паламед 106, 632  
 Паризо 495, 499  
 Паскаль Блез 520, 625, 626  
 Пашков А. Ф., воевода 557, 558  
 Первов П. 487, 605  
 Перикл 402, 676  
 Перну (Perroud) Р. 514  
 Персий Флакк 44, 620  
 Песталотти Иоганн Генрих 585  
 Пети (Petit) Э. 488  
 Петр I 183, 648, 655  
 Петров Е. Н. 551, 552  
 Петроний, прозванный Арбитр 15, 608  
 Петти Вильям 612  
 Пиаже (Piaget) Жан-Антуан 674  
 Пигаль (Pigalle) Жан-Батист 23, 613  
 Пизон (Pison) Гильом 622  
 Пикте (Pictet) Шарль 635, 664, 676, 683  
 Пир (Pire) Жорж 621  
 Пирр 453, 610, 684  
 Пиррон 607  
 Писистрат 609  
 Пифагор 450, 683  
 Платон 16, 22, 25, 46, 52, 87, 88, 106, 117, 137, 179, 182, 207, 321, 332, 337, 358, 416, 445, 609, 610, 614, 618, 620, 621, 626, 627, 632, 634—636, 646, 647, 651, 682  
 Плиний, старший 41, 87, 235, 607, 618, 619, 628, 654  
 Плутарх 37, 154, 494, 510, 606, 608, 610, 611, 617, 625, 652, 654, 676, 683, 684  
 Плутос 499, 509  
 Подалирий 52, 621  
 Поджо А. В. 589, 590  
 Полибий 651  
 Помпадур (Pompadour) Жанна Антуанетта, де, маркиза 641  
 Помпей Гней 122, 245, 634  
 Помпей Трог 624  
 Поппий 158, 644  
 Попугаев В. В. 587  
 Порций Лека 124, 635  
 Поршнев Б. Ф. 531  
 Потемкин П. С. 582, 606, 616  
 Прад (Prades) Жан-Мартин, де, аббат 626  
 Пракситель 23, 613  
 Предтеченский А. В. 589  
 Приам 65, 625  
 Прокл 451, 684  
 Прометей 19, 611  
 Протагор 635  
 Пруст (Proust) Жак 502  
 Птоломен, династия 648  
 Пуфендорф (Puffendorf) Самуэль 48, 89, 129, 618, 619, 621, 623, 624; 627—630, 636, 642, 644, 652, 653, 661; 666  
 Пуффье (Pouffier) Гектор-Бернар 504  
 Пушкин А. С. 489, 556, 561, 585, 590—598  
 Пыпп А. Н. 600  
 Пьер (Pierre) Жан-Батист 23, 613  
  
 Рабле Франсуа 155, 643  
 Равальяк (Ravallac) Франсуа 639  
 Радишев А. Н. 556, 564—568, 570, 571, 573, 578, 584, 592, 594, 595, 651  
 Раевский В. Ф. 589, 596  
 Раймон (Raymond) Марсель 6  
 Раймунд Собундский 620  
 Рамбер (Rambert) Ж. 514  
 Рамзей (Ramsay) Аллан 6, 8  
 Рамзей (Ramsay) Эндрю 662, 666  
 Рамо (Rameau) Жан-Филипп 613  
 Расин Жан 613  
 Ревиллио (Revilliod) Абрагам 669  
 Регул Марк Атилий 449, 683  
 Рей (Rey) Марк Мишель 153, 640, 654, 656, 660, 666, 667

- Рейналь (Raunal) Гильом Тома, аббат 502, 571, 582, 588  
 Рейсер С. А. 599  
 Рем 608, 636  
 Реомюр (Réaumur) Рене Антуан, де 611  
 Ретц (Retz) Жан-Франсуа, де, кардинал 651  
 Ривуар (Rivoir) Эмиль 669  
 Риенци (Rienzi) Никола (Кола) Габри-  
 но, ди 343  
 Рикардо Давид 518  
 Ритгер (Ritter) Эуген 491, 677  
 Ришар (Richard) К. 514  
 Ришелье Арман Жан Дюплесси, карди-  
 нал 614  
 Робеспьер Максимилиан 488, 489, 530,  
 532, 552, 554, 556, 571, 582, 647  
 Rogozin С. 678  
 Роже (Roget) Амедей 673, 676  
 Розе (Roset) Мишель 673  
 Роллен (Rollin) Шарль 609  
 Ромул 130, 215, 234, 236, 238, 282, 462,  
 463, 608, 636, 653  
 Росселе (Rosselet) Клер 6  
 Ру (Roux) Жак 528  
 Румянцева-Задунайский П. А., гр. 562  
 Руссо (Rousseau) Исаак 37, 617, 672  
 Рустан (Roustan) Антуан-Жак 669, 670,  
 673  
 Рустан (Roustan) 490  
 Рыкова Н. Я. 605  
 Рылеев К. Ф. 596
- Сабин Аппий Клавдий 235, 654  
 Савойские герцоги 492  
 Саккети А. Л. 605  
 Самуил 204, 650  
 Саразен (Sarasin) Жан 674  
 Сатурн 154, 247, 642  
 Светлов Л. М. 573  
 Светоний Гай С. Транквила 610  
 Светловский В. В. 491  
 Севострис 14, 607  
 Сенека Лудий Анней 445, 610, 619, 631,  
 633  
 Сенелье (Senélier) Жан 640  
 Сен-Жюст Луи Антуан 554  
 Сен-Пьер (Saint-Pierre) Шарль Ирене  
 Кастель, аббат 142, 143, 146—148, 150,  
 233, 360, 547, 638, 650, 653, 667  
 Сен-Симон Анри 515, 531  
 Сент-Эвремон (Saint-Evremond) Шарль,  
 де 495
- Сервий Маур Гонорат 627  
 Сервий Туллий, римский царь 171, 234—  
 239, 646, 652—654  
 Серебрянская Е. З. 530  
 Сигизмунд III Ваза, король Швеции 148,  
 149, 639  
 Сигониус, собственно Сигонио (Sigonio),  
 Карло 653  
 Сидней (Sidney) Альджернон 88, 360,  
 629, 630, 633, 667  
 Сизиф 441  
 Силуэтт (Silhouette) Этьен, де 394  
 Ситников В. М. 540  
 Слозцов П. А. 580  
 Смердис 631  
 Смирнов А. А. 605  
 Смит Адам 518  
 Собыль (Soboul) Альбер 514  
 Соковнина Е. М. 588  
 Соколов В. В. 605  
 Сократ 17, 18, 67, 122, 445, 610, 614, 634,  
 646  
 Солон 171, 632, 646  
 Софокл 463, 685  
 Сперанский М. М. 580  
 Спертий 628  
 Спинк (Spink) Джон Стефенсон 669  
 Спиноза Барух 28, 615, 650  
 Спон (Spon) Якоб 673  
 Стендаль, собственно Бейль Аври-Марк  
 555  
 Сулла Лудий Корнелий 65, 215, 245, 391,  
 571, 625  
 Сумароков А. П. 555, 563, 574  
 Сури (Soury) Ж. 536  
 Сципион Публий Корнелий 637  
 Сытин С. Л. 489  
 Сюлли (Sully) Максимилиан де Бетюн  
 147, 148, 150, 465, 638
- Гальбер (Talbert) Франсуа Ксавье, аб-  
 бат 616  
 Тальмон (Talmon) Ж. Л. 490  
 Тарквинии, царский род 33, 183, 338  
 Тарквиний Гордый Лудий, римский царь  
 239, 617, 646, 653, 654, 682  
 Тарквиний Приск 646  
 Тацит Корнелий 37, 87, 206, 214, 230, 608,  
 609, 617, 629, 630, 651, 653  
 Тезей 310, 454, 662  
 Телемак 621, 662  
 Телль Вильгельм 613  
 Теренций Публий 15, 608  
 Террасон (Terrasson) Жан, аббат 659

- Тиберий Клавдий, римский император 215, 651
- Тиссеран (Tisserand) Роже 621
- Тит Ливий 181, 204, 648, 651, 654
- Толстой А. Л. 601
- Толстой Л. Л. 603
- Толстой Л. Н. 555, 556, 575, 598, 600—603
- Томашевский Б. В. 590
- Тот 19, 610
- Траян Ульпий, римский император 87, 628
- Трояшен (Tronchin) Жан-Робер 353, 364, 391, 405, 494, 652, 653, 663—666, 669—672, 674, 676
- Трофоний 618
- Тургенев А. И. 587, 588
- Тургенев И. С. 575
- Тургенев Н. И. 589, 590
- Тургенев С. И. 589, 596
- Турго (Turgot) Анн-Робер-Жак 502, 599
- Удето (Houdetot) Елизавета Франсуаза Софи, гр. 684
- Уилкс (Wilkes) Джон 387, 388, 674
- Улисс 154, 642
- Ульпиан Домиций 619
- Уорбертон (Warberton) Вильям 182, 250, 337, 647
- Урбан II, папа 658
- Устери (Usteri) Леонард 655
- Ушаков Ф. В. 565, 566
- Фабр (Fabre) Жан 501
- Фабий Кунктатор 253
- Фабри (Fabri) Пьер 676
- Фабриций Гай Луцин 18, 445, 608, 610
- Фаворинус, собственно Фаворинос или Фаворин 412, 678
- Фази (Fazy) Анри 669
- Фатио (Fatio) Пьер 379, 492, 670, 672—675
- Федор Добрый, епископ 557
- Фейербах Людвиг 540
- Фенелон (Fénelon) Франсуа Салиньяк, де ла Мот 621, 662
- Феодосий II, византийский император 649
- Фердинанд Габсбург, император 639
- Фидий 23, 613
- Филанджери (Filandgieri) Гаэтано 646
- Филипп II, король испанский 613, 639, 675
- Филипп III, король испанский 147, 639
- Филипп IV, король испанский 629
- Филипп Македонский 608, 684
- Филмер (Filmer) Роберт 112, 629, 633, 642, 662
- Филон Александрийский 153, 332, 641
- Фокнон 445, 682
- Фонвизин Д. И. 563, 573, 574, 578, 579
- Фонвизин М. А. 588
- Фонтенель (Fontenelle) Бернар ле Бовье, де 502, 611, 654
- Фор (Faure) Луи, де 391
- Фор-Суде (Faure-Soulet) Ж. 536, 537
- Формей (Formey) Жан-Луи-Самуэль 616
- Фоссий (Fossius) Исаак 106, 632
- Фоме (Fouchet) Клод, аббат 488
- Франкастель (Francastel) Пьер 491
- Франкейл (Francueil) Сюзанн 503
- Фрейденрейх (Freudenreich) Абрагам 671
- Френкель 640
- Фридрих-Вильгельм I, курфюрст прусский 639
- Фромажо (Fromageaut) 505
- Фукидид 402
- Фурье Шарль 513, 531, 541—543
- Хайманн (Hoymann) Франц 661
- Хальбвакс (Halbwachs) Морис 640
- Хамос 248, 655
- Хакотин А. Д. 6
- Христос, см. Иисус
- Хэвенс (Havens) Джордж 522, 606
- Цезарь Гай Юлий 24, 122, 215, 245, 254, 391, 613, 634, 635, 656
- Цельс Авл Корнелий 52, 621
- Церера 80, 627
- Циклоп 156, 643
- Цинцинат Луций Квинт 682
- Цицерон Марк Туллий 241, 245, 254, 310, 615, 622, 624, 634, 645, 654
- Чарторыйские, князья 685
- Чепмен (Chapman) Д. В. 490
- Чернышевский Н. Г. 598—600, 602, 603
- Чехов А. П. 575, 602
- Чингисхан 608
- Чулков М. Д. 576
- Шапоруж (Chapeaurouge) Жан-Жак, де 391, 674
- Шарден (Chardin) Жан 138, 211, 651
- Шатлу (Chastellux) Франсуа Жан, де, маркиз 508
- Шатобриан Франсуа Рене, де 520, 625

- Шеллинг Фридрих Вильгельм 598  
Шиллер Фридрих 556, 588, 595  
Шинар (Chinard) Жильбер 621  
Шинц (Schintz) Альбер 490  
Шове (Chauvet) П. 535  
Шометт (Chaumette) Пьер Гаспар (назв. Анаксагор) 628  
Шорер (Schorer) Г. 536  
Штеллинг-Мишо (Stelling-Michaud) Свен 657  
Штрейкгайзен-Мульту (Streckeisen-Moultou) Жорж 500, 657, 660, 677, 679  
Шуазель (Choiseul) Этьен Фрапсуа, де, герцог 659  
Шувалов И. И. 582  
Шуэ (Chouet) Жан-Луи 616  
Шуэ (Chouet) Жан-Робер 376, 377, 673
- Щеголев П. Е. 589  
Щербатов М. М. 564  
Щукин П. И. 561
- Эврипид 463, 685  
Элиашберг Ф. Б. 507  
Эмин Н. Ф. 577
- Эмин Ф. А. 577  
Энгельс Фридрих 515, 517, 518, 526, 534, 552, 627  
Энний Квинт 15, 608  
Эпаминонд 453, 684  
Эпиктет 498, 678  
Эпикур 17, 610, 683  
Эсхил 463, 685
- Юань, династия 608  
Ювенал Деций Юний 625  
Югурта, царь нумидийский 637  
Южаков С. Н. 616  
Юм Давид 654  
Юнг-Штилинг (Jung-Stilling) Иоганн Генрих 581  
Юпитер 248, 249, 655  
Юстин Марк Юннан 64, 609, 624, 625  
Юстиниан 309  
Юсуфов Н. Б., кн. 569  
Ютанов В. 640
- Эврипид 463, 685  
Яков II, Стюарт, король Англии 169, 355, 646, 666  
Янсен (Jansen) В. 677

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

<i>Жан-Жак Руссо</i> . Портрет работы А. Рамзей. Масло. 1765 г. Национальная Шотландская галерея. Эдинбург . . . . .	8
<i>Жан-Жак Руссо</i> . Портрет работы Ла Тур. Пастель . . . . .	48
<b>Фронтиспис первого издания трактата Ж.-Ж. Руссо «Рассуждение о происхождении неравенства»</b> . Подпись: «Он возвращается к равным себе» . . . . .	50
<i>Титульный лист первого издания трактата Ж.-Ж. Руссо «Рассуждение о происхождении неравенства»</i> . Амстердам, 1755 . . . . .	51
<i>Жан-Жак Руссо</i> . Рисунок А. Граффа . . . . .	96
<i>Титульный лист отдельного издания статьи Ж.-Ж. Руссо «О политической экономии»</i> . Женева, 1765 . . . . .	111
<i>Титульный лист первого русского перевода работы Ж.-Ж. Руссо «О вечном мире»</i> . С.-Петербург, 1771 . . . . .	145
<i>Титульный лист первого издания «Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо</i> . Амстердам, 1762 . . . . .	157
<i>Ж.-Ж. Руссо</i> . Миниатюра XVIII в. Государственный Эрмитаж. Ленинград . . . . .	176
<i>Титульный лист «Общественного договора» Руссо, изданного в Лионе в 1790 г., из Библиотеки кн. В. Б. Юсупова в Архангельском</i> . . . . .	197
<i>Ж.-Ж. Руссо</i> . Мраморный бюст. Неизвестный французский мастер XVIII в. Историко-краеведческий музей, г. Винница . . . . .	208
<i>Посмертная маска Ж.-Ж. Руссо</i> работы Гудона . . . . .	248
<i>Фрагмент рукописи Руссо — первый набросок «Общественного договора»</i> . . . . .	305
<i>Фрагмент рукописи Руссо — первый набросок «Общественного договора»</i> . . . . .	331
<i>Титульный лист первого издания «Писем с Горы» Руссо</i> . Амстердам, 1764 . . . . .	354
<i>Черновая рукопись «Писем с Горы», письмо VII</i> . Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Москва . . . . .	364
<i>Выписки К. Маркса из «Общественного договора» Руссо</i> . Центральный партархив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Москва . . . . .	473
<i>Вид Лиона в конце XVIII в.</i> Гравюра того времени . . . . .	493
<i>Вид Марселя в конце XVIII в.</i> . . . . .	497
<i>Вид уголка Парижа в конце XVIII в.</i> . . . . .	500

<i>Перенесение праха Руссо в Пантеон 11 октября 1794 г.</i> Гравюра конца XVIII в.	512
<i>Гробница Руссо на Топомином острове в Эрменонвилле.</i> Рисунок с натуры и гравюры Моро младшего . . . . .	513
<i>Титульный лист немецкого перевода «Философских произведений» Руссо. Ревель, 1779 . . . . .</i>	533
<i>Фронтиспис и титульный лист собрания сочинений Руссо. Париж, 1793 . .</i>	547
<i>Титульный лист русского перевода первого «Рассуждения» Ж.-Ж. Руссо, 1768 .</i>	557
<i>Последние слова Ж.-Ж. Руссо.</i> Гравюра Моро младшего . . . . .	559
<i>Восковая фигура Ж.-Ж. Руссо в библиотеке кн. Н. Б. Юсупова в Архангельском . . . . .</i>	569
<i>Титульный лист русского перевода второго «Рассуждения» Ж.-Ж. Руссо, 1770 .</i>	573
<i>Титульный лист русского перевода статьи «О политической экономии». СПб., 1777 . . . . .</i>	583
<i>Титульный лист брошюры с биографией Ж.-Ж. Руссо. СПб., 1781 . . . . .</i>	591
<i>Фронтиспис издания «Избранных мыслей» Ж.-Ж. Руссо. СПб., 1801 . . . . .</i>	600
<i>Титульный лист издания «Избранных мыслей» Ж.-Ж. Руссо. СПб., 1801 . . . .</i>	601

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

От редакции . . . . .	5
-----------------------	---

### Т Р А К Т А Т Ы

<i>Рассуждение, получившее премию Дижонской Академии в 1750 году по вопросу, предложенному этой же Академией: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?»</i> Перевод А. Д. Хаютина . . . . .	9
Предуведомление . . . . .	9
Предисловие . . . . .	9
Рассуждение по вопросу: Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов? . . . . .	10
Часть первая . . . . .	11
Часть вторая . . . . .	19
<i>Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми.</i> Перевод А. Д. Хаютина . . . . .	31
Предисловие . . . . .	40
Предуведомление о примечаниях . . . . .	44
Рассуждение . . . . .	45
Часть первая . . . . .	47
Часть вторая . . . . .	72
Примечания . . . . .	98
<i>О политической экономии.</i> Перевод А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова . . . . .	109
<i>Суждение о вечном Мире.</i> Перевод А. Д. Хаютина . . . . .	142



<i>Об Общественном договоре, или Принципы политического права. Перевод</i>	
<i>А. Д. Хяутина и В. С. Алексеева-Попова . . . . .</i>	151
Предуведомление . . . . .	151
Книга I, в которой исследуется, как человек переходит от естественного состояния к гражданскому, и каковы существенные условия Соглашения * . . . .	151
Глава I. Предмет этой первой Книги . . . . .	152
Глава II. О первых Обществах . . . . .	152
Глава III. О праве сильного . . . . .	154
Глава IV. О рабстве . . . . .	155
Глава V. О том, что следует всегда восходить к первому Соглашению . . . . .	159
Глава VI. Об общественном Соглашении . . . . .	160
Глава VII. О Суверене . . . . .	162
Глава VIII. О гражданском состоянии . . . . .	164
Глава IX. О владении имуществом . . . . .	165
Книга II, в которой рассказывается о Законодательстве . . . . .	167
Глава I. О том, что суверенитет неотчуждаем . . . . .	167
Глава II. О том, что суверенитет неделим . . . . .	168
Глава III. Может ли общая воля заблуждаться . . . . .	170
Глава IV. О границах верховной власти суверена . . . . .	171
Глава V. О праве жизни и смерти . . . . .	174
Глава VI. О законе . . . . .	176
Глава VII. О Законодателе . . . . .	179
Глава VIII. О народе . . . . .	182
Глава IX. Продолжение . . . . .	184
Глава X. Продолжение . . . . .	186
Глава XI. О различных системах законодательств . . . . .	188
Глава XII. Разделение законов . . . . .	190
Книга III, в которой рассказывается о политических Законах, т. е. о форме	
Правления . . . . .	191
Глава I. О Правительстве вообще . . . . .	191
Глава II. О принципе, определяющем различные формы Правления . . . . .	196
Глава III. Разделение Правлений . . . . .	198
Глава IV. О Демократии . . . . .	199
Глава V. Об Аристократии . . . . .	201
Глава VI. О Монархии . . . . .	203
Глава VII. О Правлениях смешанных . . . . .	208
Глава VIII. О том, что не всякая форма Правления пригодна для всякой страны . . . . .	209

\* Здесь приведено оглавление «Общественного договора», составленное самим Руссо.

Глава IX. О признаках хорошего Правления . . . . .	213
Глава X. О злоупотреблении Властью и о ее склонности к вырождению	214
Глава XI. О смерти Политического организма . . . . .	217
Глава XII. Как поддерживается верховная власть суверена . . . . .	218
Глава XIII. Продолжение . . . . .	218
Глава XIV. Продолжение . . . . .	220
Глава XV. О Депутатах или Представителях . . . . .	221
Глава XVI. О том, что учреждение Правительства отнюдь не есть Договор	224
Глава XVII. Об учреждении Правительства . . . . .	225
Глава XVIII. Способы предупреждать захват Власти . . . . .	226
<b>Книга IV, в которой продолжается рассмотрение политических Законов и изла-</b>	
<b>гаются средства укрепить внутреннее устройство Государства . . . . .</b>	<b>228</b>
Глава I. О том, что общая воля неразрушима . . . . .	228
Глава II. О голосованьях . . . . .	229
Глава III. О выборах . . . . .	232
Глава IV. О римских Комициях . . . . .	234
Глава V. О Трибунате . . . . .	242
Глава VI. О Диктатуре . . . . .	243
Глава VII. О Цензуре . . . . .	246
Глава VIII. О гражданской религии . . . . .	247
Глава IX. Заключение . . . . .	256
<i>Проект конституции для Корсики. Перевод А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-</i>	
<i>Попова . . . . .</i>	<i>257</i>
Предисловие . . . . .	257
Проект . . . . .	258
Часть первая . . . . .	258
Часть вторая. Отдельные наброски . . . . .	292

#### ДОПОЛНЕНИЯ

<i>Об Общественном договоре, или Опыт о форме Республики. (Первый набросок).</i>	
<i>Перевод А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова . . . . .</i>	<i>303</i>
Книга I. Первые понятия об Общественном организме . . . . .	303
Глава I. Предмет сего труда . . . . .	303
Глава II. О первичном обществе человеческого рода . . . . .	304
Глава III. О первоначальном соглашении . . . . .	311
Глава IV. В чем состоит суверенитет и что делает его неотчуждае-	
мым . . . . .	316
Глава V. Ложные представления об общественной связи . . . . .	318
Глава VI. О взаимных правах суверена и гражданина . . . . .	325
Глава VII. Необходимость положительных законов . . . . .	328

<b>Книга II. Установление законов . . . . .</b>	<b>332</b>
Глава I. Цель законодательств . . . . .	332
Глава II. О Законодателе . . . . .	332
Глава III. О народе, которому надлежит дать установления . . . . .	337
Глава IV. О природе законов и о принципе гражданской справедливости . . . . .	344
Глава V. Разделение законов . . . . .	348
Глава VI. О различных системах законодательств . . . . .	349
<b>Книга III. О политических законах, или Об учреждении Правительства . . . . .</b>	<b>351</b>
Глава I. Что такое Правительство какого-либо Государства . . . . .	351
<i>Письма с Горы. Перевод Н. А. Полторацкого . . . . .</i>	<i>352</i>
Письмо VI . . . . .	352
Письмо VII . . . . .	360
Письмо IX . . . . .	381
<i>Фрагменты и наброски. Перевод В. С. Алексеева-Попова . . . . .</i>	<i>407</i>
О богатствах. Перевод А. Д. Хаютина . . . . .	407
[Набросок плана] . . . . .	416
[О естественном состоянии] . . . . .	417
[Об общественном соглашении] . . . . .	421
[О счастье народа] . . . . .	428
Предисловие . . . . .	428
[О счастье народа] . . . . .	429
[О роскоши, торговле и ремеслах]. Перевод А. Д. Хаютина . . . . .	433
[О чести и добродетели] . . . . .	440
[Экономика и финансы] . . . . .	446
[О родине] . . . . .	447
[Параллель между государствами Спарты и Рима] . . . . .	450
[О дворянстве] . . . . .	454
[О нравах] . . . . .	455
<i>Соображения об образе Правления в Польше и о проекте его изменения, составленном в апреле 1772 г. Перевод А. Д. Хаютина . . . . .</i>	<i>461</i>
Глава II. Дух древних установлений . . . . .	461
Глава III. Применение . . . . .	464
Глава IV. Воспитание . . . . .	465
<b>Выписки К. Маркса из «Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Публикация Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Подготовлена Н. И. Непомнящей</b>	<b>469</b>

## П Р И Л О Ж Е Н И Я

О социальных и политических идеях Жан-Жака Руссо. <i>В. С. Алексеев-Попов</i> . . . . .	487
Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века. <i>Ю. М. Лотман</i> . . . . .	555
Комментарии. <i>В. С. Алексеев-Попов</i> и <i>Л. В. Борщевский</i> . . . . .	605
Указатель имен. <i>Л. В. Борщевский</i> . . . . .	686
Список иллюстраций . . . . .	696

*Жан-Жак Руссо*

ТРАКТАТЫ

*Утверждено к печати редколлегией серии  
«Литературные памятники»*

Редактор издательства *Л. А. Катанская*  
Художник *А. А. Ефремов*  
Технические редакторы *Ю. В. Рылина, Л. В. Касцова*

Сдано в набор 23/VIII 1967 г. Подписано к печати 3/1 1968 г.

Бумага № 2. Формат 70 × 90<sup>1/16</sup>. Усл. печ. л. 56,5.

Уч.-изд. л. 48,6. Тираж 30.000. Тип. вак. 3384

Цена 3 р. 30 к.

Издательство «Наука». Москва  
К-62, Подсосенский пер., 21

---

2-я типография издательства «Наука».  
Москва Г-99, Шубинский пер., 10

## ОШЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
16	17 сн.	каж <del>т</del> ся	осталась
34	1 сн.	пр <del>н</del> ятом	приятном
107	15 сн.	более	боли
168	7 сн.	общ <del>ю</del>	общ <sup>е</sup> ю <sup>1</sup>
199	4 св.	объявить	объять
384	17 сн.	что	кто
482	1—2 сн.	частыми	частными
500	15 сн.	1961	1861
510	9—10 сн.	les hommes les poeuds de a société	les hommes les poeuds de la société
530	20 св.	(190)	(189)
577	21 св.	И. А. Добролюбов	Н. А. Добролюбов
612	12 сн.	находившегося неподалеку другой	находившейся неподалеку от другой
612	11 сн.	из Германии	из Греции
614	22 сн.	(стр. 604)	(стр. 606)
621	24 сн.	архейском	ахейском
627	7 св.	(см. стр. 360)	(см. стр. 358)
634	4 св.	malgum	malogum
635	16 сн.	берется	борется
696	9 сн.	331	329
696	6 сн.	364	363
696	1 сн.	500	501

Жан-Жак Руссо. Тракаты.